АБДИЖАМИЛ
НУРПЕИСОВ

КРОВЬ
И
ПОТ

В день
рождения Израиля
от Крестинской
28.I.81 г.
Белозёва

Постановлением
Центрального Комитета КПСС
и Совета Министров СССР
писателю
НУРПЕИСОВУ
Абдижамилу Каримовичу
за трилогию
«Кровь и пот»
(Книга I—«Сумерки», книга II—«Мытарства»,
книга III—«Крушение»)
присуждена
Государственная премия СССР
1974 года.



АБДИЖАМИЛ НУРПЕИСОВ

КРОВЬ И ПОТ

РОМАН В ТРЕХ КНИГАХ

• СУМЕРКИ
• МЫТАРСТВА
• КРУШЕНИЕ

Авторизованный перевод с казахского
ЮРИЯ КАЗАКОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЖАЗУШЫ»
Алма-Ата — 1980

Каз 2
Н 90

Нурпеисов Абдижамил

Н 90 Кровь и пот: (Трилогия). Авториз. пер. с казах. Ю. Казакова (2-е изд.) — Алма-Ата: Жазушы, 1980 — 656 с.

Историко-революционная трилогия видного казахского прозаика Абдижамила Нурпеисова «Кровь и пот» охватывает события, происходившие в Казахстане во время первой мировой войны и гражданской войны 1918—1920 гг.

Автор рассказывает о нелегкой жизни рыбаков-казахов на берегу Аральского моря, о беспощадной эксплуатации их труда. Назревающие социальные конфликты вылились в открытую борьбу русского пролетариата и казахских бедняков за установление Советской власти. Терпит крушение мир социальной несправедливости и угнетения.

Прозу Нурпеисова отличает широта обобщений, яркость самобытных национальных характеров, тонкость психологического анализа.

Трилогия «Кровь и пот» удостоена Государственной премии СССР за 1974 год.

Каз 2

$Н\frac{70700-201}{402(05)80}$ 193—80 4702230200

Текст романа печатается по изданию: Москва, «Советский писатель», 1977.

Друзья мои! Чтобы живо чувствовать всю дерзость человеческого духа, надобно быть в открытом море, где одна тоненькая дощечка, как говорит Виланд, отделяет нас от блаженной смерти.

Н. М. Карамзин
«Остров Борнгольм»

КНИГА ПЕРВАЯ

СУМЕРКИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Сухопарая, возбужденная Каракатын, задыхаясь, вбежала в землянку. Бросив у печурки охапку кривых сучьев, она подобрала подол бязевого платья и опустилась на колено возле свекрови, монотонно баюкавшей внука. На потолке светилось единственное окно. Оно было затянуто тугой, прозрачной бараньей брюшиной. На дворе был вечер, солнце садилось, и этот матовый пузырь слабо, розово светился. Он почти не давал света, и в комнате стояла такая темнота, что лица старухи не было видно, только едва белел жаулык над ее головой.

— Ай-яй, какой срам!— радостно сказала Каракатын.— Ты знаешь младшего брата Каратаза? Танирбергеном его зовут...— Она передохнула, облизываясь.— Так вот гляжу, этот Танирберген останавливается у Еламана. Конь весь в мыле, загнал совсем... К седлу заяц и лиса приторочены. А заяц — с козленка, ей-богу, не вру! Теперь слушай... И кто же к нему выскакивает? Акбала! Он ей что-то говорит, а она, сука, к ноге его жмется, а сама за штаны из седла его тянет. Ну начал он ее тут щупать! Потаскуха она! У, гадина!

В эту минуту в землянку неловко вобрался муж. Был он крупен, силен и каждый раз не входил, а протискивался в землянку. Каракатын кинулась к печурке разводить огонь. Она суетилась в темноте, искала огниво, опрокинула стоявший под ногами чугунный чайник с водой, потом споткнулась о пустое ведро. В доме поднялся грохот.

— Да чтоб пусто вам было! Чтоб вы сгорели! Да чтоб вы пропали все!— вопила Каракатын, сваливая все на ребятишек. Но она не могла долго кричать, потому что мысли ее теперь были заняты другим.

А хозяин молчал. Он давно привык ко всему этому. Привык к нечистоте, к лени Каракатын, к ее крикливости и к тому, что в доме нет уюта.

Несколько мерзлых рыбешек в сетке бросил он прямо у дверей, и рыбешки глухо брякнули. Потом, стоя у порога, стащил с себя мокрую одежду с обледенелыми рукавами и тоже бросил. Потом прямо в сапогах сел на кошму.

Каракатын, забыв про все, улыбалась. Она стояла на коленях перед печкой, опираясь на руки, заглядывала в топку — там еле тлел огонек. Подув раза два на огонь и отодвинувшись, она опять ухмыльнулась.

— А Еламан-то... Вот дурак-то! Какую женушку отыскал...

Аккемпир тяжело повела глазами на сноху: «Лучше бы на себя посмотрела! Обрадовалась!»

— Измучился бедняга!— вдруг вспомнила Каракатын о муже.— Целый день не ел... Давай сапоги сниму.

— Сам сниму,— буркнул Дос.— Поторопись с обедом.

Некоторое время все молчали. Огонь в печке разгорался.

— Ты, случаем, не глянул на дом Еламана?— спросила Каракатын у мужа, и опять на лице ее появилоеь удовольствие.

В ауле она больше всех не любила молодую жену Еламана. Не любила за ее молодость, за красоту, но больше всего за то, что Дос в раздражении всякий раз упрекал ее Акбалой. И вот теперь Каракатын торжествовала: в доме Еламана, у Акбалы, сидел молодой джигит.

— Ай да Акбала!— все повторяла Каракатын, и глаза ее весело и яростно блестели.— Прямо днем, а? И хоть бы могла чего-нибудь с мужиком, а то ведь не может — лежит, как пузатая верблюдица.

— А ну хватит!— сказал Дос, стягивая сапог.

Свет померк в глазах Каракатын. Ей вдруг стало холодно, нехорошо, душно. Вот же, вот — и Акбала оказалась шлюхой, а что с того? Мужу все равно, и Каракатын в его глазах все такая же...

— Да что же это!— трахнула она кочергой о землю.— Молчи да молчи! Все время молчи! Она беспутная тварь, а ты молчи! Весь аул ненавидит эту суку, а я молчи! Да она и забрюхатела от Танирбер...

— Э!— Дос с размаху хватил жену сапогом по голове. Удар был так силен, что Каракатын чуть язык не прикусила. Слезы мгновенно брызнули у нее из глаз, в носу защипало, она задохнулась.

Дос был человек тихий, серьезный, но иногда внезапное бешенство охватывало его, и тогда трудно было с ним справиться. Перехватив сапог поудобнее, со срашным лицом, он было привстал, но Аккемпир вдруг вскочила, вырвала сапог и бросила к двери.

— Перестань!— сказала она властно.— Плохую жену побоями не исправишь!

И Каракатын, зная, что муж ее теперь больше не тронет, повалилась на пол и заголосила. Она знала, что муж не пожалеет ее, она не искала заступника в этом доме. Знала она свою беспомощную, жалкую долю, знала, что никуда не годится, что муж и свекровь всегда правы.

Ребятишки, до этого молчавшие, тоже заревели во весь голос, в темной комнате, освещенной только багровым неверным светом из печки, начался такой крик, что Дос, нашарив и натянув кое-как снятый было сапог, выскочил на улицу. Ему даже жарко стало от бешенства. Он схватил на ходу лом и побежал было уже к дому Еламана. «Я им покажу! Они сейчас у меня...»— яростно думал он, глядя на гнедого скакуна в серебряной сбруе, привязанного у дома. Но тут он заметил человека, бредущего со стороны залива. Он остановился,

пригляделся и узнал Еламана. Тогда он повертел лом, отвернулся, будто вышел посмотреть на запад, узнать, какая завтра будет погода. Потом еще больше разозлился, плюнул и пошел домой, с печалью думая о друге.

II

Зима наступила давно, вернее, должна была наступить давно, но все еще не по времени стояли теплые дни, и море не замерзало. Да и сильный постоянный ветер дул из степей, уносил тонкий ледок и шугу в открытое море.

Только со вчерашней ночи зима наконец установилась, хватил крепкий мороз, и утром весь широкий залив Тущыбас, насколько хватало глаз, был затянут сплошным льдом.

Лед был тонок еще, но рыбакам так не терпелось, что Еламан, Мунке, Дос и Рай вышли на лед. Лед мягко колыхался у них под ногами, потрескивал, и рыбаки, чтобы не быть всем в одном месте, далеко разбрелись. Они держались близко к берегу и тянули свои сети по мелководью. Кое-кто из них, привыкнув к треску и проседанию льда, принимался уже мурлыкать себе что-нибудь под нос — очень все радовались, что сегодня вечером не будут пустовать их котлы.

Особенно радовался Еламан. Часто поднимал он голову, глядел на освещенный солнцем ледяной залив. Слабый ветер с берега гнал по льду снежную крупку, и бесконечно и серебристо вилась по гладкому льду поземка. Глядел Еламан на сияющую поземку и видел, как кормит он вечером ухой свою брюхатую жену. Не один раз еще с вечера выходил он из дому к морю, смотрел, как теряет свой блеск вода, покрываясь льдом, будто затуманиваясь, как одна за другой гаснут в ней звезды. Выходил он и ночью, пробовал лед у берега пяткой, и ему казалось, что крепко. Тогда он совсем выходил на лед и, боясь поскользнуться, провалиться, делал несколько шагов от берега. И опять оказывалось крепко.

Тогда он вынес на лед и, пробив несколько лунок, поставил сеть. А на рассвете проснулся, послушал, как дышит жена, вылез из теплой постели и пошел ловить рыбу.

Он был одинок здесь, на льду, в море. Других рыбаков он как бы не замечал — с ним была только его привычная работа, небо над головой, и еще с ним были его мысли. И он думал, что он одинок не только в море, но и в жизни. Он думал, что из близких в ауле живет его единственный двоюродный брат Рай. Но Рай еще молод и тоже сирота и живет у старой бабушки.

Он думал, что и жена его тоже одинока, и родители ее живут далеко, что она дочь кочевника и сильно тоскует. Он воображал, как она жила раньше, дома. Он думал о ее юрте, о медленно передвигающихся вдали, волнующихся, переливающихся в степи серых и бурых пятнах. Это были стада, они паслись вдалеке, и только один-два

всадника маячили над ними и над степью. Это были верблюды и овцы, и вечером они возвращались к юрте, и в юрте зажигался огонь в очаге, и овцы перхали, а верблюды сопели в темноте и ложились спать, и от них хорошо пахло шерстью и молоком.

Конечно, ей трудно было здесь, на ветреном бугре, над морем, в этой скудной жизни. А она красива была, цвет лица имела нежный, и конечно же первыми невзлюбили ее женщины аула. Что могла она им ответить? И разве виновата была, что оказалась красивее и наряднее даже девушек в этом бедном ауле? Ни к кому не ходила она в гости, а если случалось ей идти аулом — шла, высоко подняв голову, сумрачно поводя по сторонам темными красивыми глазами. И о ней думали нехорошо.

Еламан даже кряхтел, вспоминая все это. Он не понимал, как можно говорить плохо о ее красоте. Но он не понимал сначала и другого. Ну хорошо, она горда и равнодушна к соседям, но и к нему она была равнодушна. А ведь он был один ей близкий человек здесь, и он любил ее.

Скучны, тяжелы были его вечера. Когда он уходил в море, ему дышалось свободнее, работа занимала его. Он думал о рыбе, о ее приходах и уходах, думал о ветре, о солнце, о погоде и обо всем, о чем может думать человек на воле. Думал он и о жене, и в море ему казалось, что она должна любить его, что она привыкнет...

Но вечерами ему было плохо. Он смотрел в глаза жены и видел в них отчужденность. И как рыба в море приходила и уходила, и он знал, когда она приходит и уходит, но не знал *почему,* так и тут — он видел, что что-то проходит в глазах и лице жены, но не знал *что,* а знал одно только, что это не он, не его жизнь живет в глубине ее души.

Заставал он ее заплаканную, спрашивал, отчего у нее слезы, но она отворачивалась или вовсе выходила, и в такие минуты на лице ее не было ничего, кроме тупого упрямства.

И Еламан постепенно убедился, что на душе у жены, как дым, лежит горе. А какое горе — он не знал. Он только понял, что она — ее лицо, ее руки, ее тело — с ним, а душа —далеко. До него доходили слухи, что она девушкой любила молодого джигита и замуж за рыбака идти не хотела. Но он старался об этом не думать. Когда он начинал об этом думать, ему становилось горячо и душно. Как наяву, видел он тогда ее губы — вот они раскрываются, и над ней наклоняется кто-то другой и целует ее, а ее руки в это время нежно, сильно гладят шею, спину, затылок того! Еламан жмурился и мотал головой и решал больше об этом не думать.

Как всякий смирный, тихий человек, он не хотел винить других, ему легче было винить самого себя. И постепенно он пришел к мысли, что виновата не жена, а он. Он виноват был в том, что взял ее от родных, от привычного кочевья и привез сюда, на берег моря. Он виноват, что беден, что рыба не всегда ловилась и что беден был весь аул.

Этой весной она понесла от него. Она заметно пополнела, погрузнела и больше всего любила лежать на неприбранной постели. И начались перемены в их жизни. Если и раньше Еламан старался как мог, то теперь он даже покрикивал на нее, когда она хотела ему помочь.

Изменилась и она. Не то чтобы полюбила его, но все-таки уже и не плакала, помягчела душой и часто подолгу смотрела на мужа. Иногда она подходила к нему сзади, стояла тихо, думая о чем-то, и когда он нечаянно оборачивался, видел, что она с удовольствием смотрит, как он работает. По-прежнему в ее глазах не было любви, но что-то другое было — дружеское было, участливое, будто она ему сестра или мать.

Ну ничего, скоро должно все кончиться. Вот и тесть, старик Суйеу, обещал приехать, так и передал через длинное ухо: «Скажи рыбаку, сейчас пощусь, а после поста приеду!» Груб, властен был старик, дома все боялись его, боялись громко ходить, громко говорить. А Еламан любил его, да и старик к зятю хорош был, звал его не иначе как «рыбаком», любил пошутить с Еламаном и часто посмеивался, не посмеивался даже, а так — пофыркивал от удовольствия.

Думал Еламан сначала, что старик под видом шутки издевается над ним за бедность, но потом понял, что тот любит его, и сам полюбил его, как отца. Он даже чувствовал себя при старике ребенком, большим сыном, который для родителей, каким бы ни был большим, все равно остается как бы маленьким.

И всю эту неделю мучился Еламан, что нечем старика угостить, что нет у него молодых баранов, что даже рыбы хорошей нет. «Какой ты мужик! Какой ты муж?— презрительно говорила ему Акбала.— Хоть бы козленка достал!» Да, плох, плохо его дело, тяжело, стыдно жить...

Так думал Еламан весь день на море, так он вспоминал и перебирал все в уме, а сам работал и работал красными, грубыми руками, горбил спину над работой, потому что одна она была ему радостна — иногда больше, иногда меньше,— и она его кормила. И жену его кормила и того ребенка, что был в ней.

Он перетряхивал сети, и руки у него мерзли, а рыбы попадалось мало. И поплавки за ночь вмерзли в лед. Сбросив полушубок, Еламан все рубил, колол тонкий, но крепкий лед и вырубил все поплавки только к вечеру. Он работал и думал обо всем, о прошлом и о будущем и не заметил, как прошел короткий зимний день. Он вспотел, набитые ладони его саднило, он сильно дышал, и пар несло ветром в море. Но все-таки было ему хорошо, потому что хоть и мало попалось рыбы, но все хорошая — усачи и сазаны. И, запихивая в мешок большого желтобрюхого сазана, уже замерзшего и ставшего как полено, он опять подумал: вот приехал бы теперь старик Суйеу, наелся бы сладкой жирной рыбы и был бы сыт и доволен зятем.

Ветер начал уже посвистывать, и вспотевшему Еламану стало холодно. Он подобрал и надел полушубок. Полушубок настыл, и Ела-

ману стало еще холоднее. И пожалел он, потужил, что не успел переставить сети, крепко потужил, да уж некогда было — падал вечер.

Солнце стояло низко. Диск его, большой и дрожащий в холодных струях ветра, уже почти касался дальних бурых гребней увала. Весь запад горел в огне, и красный свет грозно и мрачно освещал снизу редкие крупные облака, туго сбитые ветром. Облака эти, как раскаленные угли, казались живыми существами, отчаянно сопротивлявшимися наступлению тьмы. А тьма неотвратимо наступала и брала в плен весь мир. Ведь свет и мрак — это как смерть и жизнь. Как над каждой жизнью царит неотвратимый рок, так и над светом, когда пробьет его час, нависает мрак, он входит в свет, пронзает и гонит его, и окутанная черным саваном земля, покорная и печальная, уходит в ночь.

Еламан поглядел на солнце, на облака, на холодную багряную зарю, подумал о ночи и устало закинул за спину мешок с рыбой. Замучился он сегодня думать о жене, но и теперь, подвигаясь по льду, он думал все о ней. Скоро ей рожать, а она одна, и кому за ней посмотреть? Перед уходом он приготовил воды и дров, даже в дом занес, у печки сложил и воду у печки поставил, но все равно она одна, а он не может с ней быть.

Он поднял глаза, поглядел на обрыв, на степь и аул и заметил верхового, остановившегося возле его дома. «Кто бы это мог быть?»— с удивлением подумал он, сильно щурясь и стараясь рассмотреть всадника.

Как орлы на голых скалах, поселились рыбаки на самом ветру, на открытом месте. Землянки их стояли в ряд по обрыву, одна возле другой, и с моря все было видно, кто вышел и куда пошел и где топят печь.

И вот Еламан увидел, как из землянки вышла жена и взяла коня за узду. Даже издали было видно, как она рада, как, закинув голову, нежно смотрела на всадника.

«Неужели старик Суйеу приехал?»— обрадовался Еламан. И он с детской гордостью стал думать о том, как любит их старик, свою дочь и его, так любит, что конца поста не дождался и приехал, и как хорошо, что у него есть сегодня рыба, старик поест и будет доволен.

Он шел и не сводил глаз с землянки. Всадник спешился, обнял его жену, и они вошли в дом. И только они вошли, ну, может быть, прошла какая-нибудь минута, как короткая труба задымила.

Еламан выбрался на берег. Путь по тропинке показался ему долог, и он пошел прямиком. Мешок с рыбой уже не был в тягость, он шел быстро, и сухой, ломкий бурьян трещал у него под ногами.

У самого своего дома он полез на крутой яр. Одной рукой он держал мешок, другой хватался то за кусты конопляника, то за карликовый красный бурьян.

Когда он поднялся наконец на обрыв и подошел к дому, прежде всего посмотрел на коня и остановился. Гнедой скакун с поджарыми боками был зол и горяч. Он выворачивал, выкатывал горящий глаз с

кровавым белком, прядал ушами, грыз удила, постукивал точеными ногами, пена накидана была у него под копытами. И еще вертелась тут же рыжая, как лиса, гончая сука, долго нюхала она Еламана, забегала под ветер, потом, уловив что-то одинаковое в запахе чужого человека с запахом дома, в котором скрылся ее хозяин, смело подбежала к Еламану и лизнула его руку.

Еламан опять, как и давеча на льду, вспотел, снял шапку и утер лицо. А ведь такая хорошая рыба попалась ему сегодня...

III

Он вошел медленно и еще покашлял перед тем, как войти. Ему почему-то было стыдно, и сердце сильно билось. Молодой гость быстро вскочил и покраснел.

— А!— громко сказал он и протянул руки.— Здравствуйте. Еламан-ага! Наконец-то!

Еламан буркнул что-то, глядя в сторону, и стал раздеваться у двери, сильно шурша промерзшим полушубком.

И Акбала что-то уж слишком быстро подбежала к мужу, взяла, выхватила у него мокрый полушубок, развесила над огнем, а потом, стоя на коленях, приготовила ему постель возле печки. Никогда она не встречала его так, никогда так не суетилась.

Вот, значит, как. Вот, значит, приехал молодой гость, а ей двигаться трудно, она грузная, но она суетилась, легка была в движениях и вроде бы даже живот подбирала, чтобы не так был заметен, и мясо, которое для отца берегла, все уже опустила в казан. Никогда не ходила она по соседям, гордая была, кочевница, а теперь пошла и нанесла всего, и чай между тем закипел, и Еламан видел, как она заваривала — никогда так крепко не заваривала она ему. Еламан только глазами поводил, следил за ней, молчал и удивлялся.

Она и раньше любила наряжаться, но тут уже как-то Еламану нехорошо даже стало — лучшее платье надела. Лучшее шелковое платье с двойной оборкой, и белой шелковой шалью покрыла голову, и лица не закутала, как должно было бы. Знала, знала, что лицо у нее нежно и бело, а по белому и нежному — угольные ресницы, и брови, и аспидно-черный влажный блеск глаз!

Никогда не смотрела она прямо на людей, всегда взгляд ее был рассеян, мимолетен. Всегда она опускала тяжелые ресницы, и трудно было с ней говорить — ведь всегда трудно говорить с женщиной, которая не подымает на тебя глаз.

Но теперь глаза ее блестели, они были расширены и темны, с мучительной любовью смотрела она на гостя, и, как ночные зарницы, в них что-то проходило, в этих темных влажных глазах, что-то полыхало. И Еламану стало страшно, он почувствовал что она уходит от него, и это было мучительно и ужасно, потому что это происходило при нем, на его глазах. И это было еще противно.

Еламан уже больше смотреть на это не мог, опустил голову, уставился на свои ноги. Он и думать не мог, он только обкусывал застывший лед на усах и чувствовал, как его начинает ломать, лихорадить. Танирберген что-то спрашивал у него, но он не понимал ничего, в голове звенело, он чувствовал, как набухают вены на руках. «Только спокойно!»— думал он.

Долгое время все молчали, и молодой мурза взглядывал на Акбалу, а та — на него. Но этого Еламан не видел и не хотел видеть.

— Еламан-ага!— нежно, вкрадчиво сказал гость.— Чувствую я, обижены вы на нас... И я тоже не одобряю брата, но что я могу? Разве он слушает меня? Сколько раз я его просил — не враждуйте с соседними родичами, смягчите сердце...

Еламан раздраженно фыркнул. «А, шайтан!— подумал он.— При чем тут вражда?»

Акбала сидела рядом, разливала чай, и когда муж фыркнул, замерла и нахмурилась. Ей стало стыдно перед гостем за грубого мужа. И мурза тут же заметил это.

— Хоть мы и не одного рода,— продолжал он,— но ведь мы живем рядом на маленьком клочке земли. И эта земля, Еламан-ага,— земля наших предков! Что же может быть для нас дороже мира и согласия! Нам бы следовало последним делиться друг с другом, а не враждовать!

Жадно слушала его Акбала. Слова о том, что «последним делиться надо», особенно ей понравились. Принимая у гостя пиалу, она изумленно и покорно посмотрела на него. И рука ее все никак не могла расстаться с рукой гостя. И Еламан смотрел на это.

Акбала опомнилась, отняла руку, но тут же подумала: «А что такого? Я просто любезна». Сегодня у них необычный гость, очень умный, и как он умно, хорошо сказал: «Нужно последним делиться», и она с надеждой ждала, что и муж скажет что-нибудь такое же умное и любезное, а он мрачен, ничего не говорит в ответ... Надо же как-то сгладить его неприветливость, она же хозяйка.

А Еламан все молчал. Он знал, что еще девушкой она любила молодого мурзу из богатого аула, готова была бежать с ним, стать его женой. Он всегда помнил об этом, весь этот год, каждый день и каждую ночь. Помнил, но молчал, не упрекал, не ругался. Он хотел покоя в доме. А теперь этот покой нарушен, и злоба, ревность душили его. И эта ласковость гостя — это все дерьмо верблюжье, не для Еламана он говорит, он перед ней выговаривается, ей он хочет понравиться тем, что он все забыл, что добр и незлопамятен.

Глубоко, печально вздохнул Танирберген, поднял глаза и опустил и руками слегка развел, как бы говоря: что я могу поделать, разговор не выходит, не получается, груб Еламан и не хочет мира. Печаль и укоризна легли на холеное лицо молодого гостя, а Акбала уже враждебно смотрела на мужа, потому что он унизил ее. И она закусывала губы, разливая чай.

Мурза устроился поудобнее, опустил глаза в пиалу, чай хлебал

красиво, маленькими глотками. Он сразу понял, что Акбала не любит мужа и что она по-прежнему красива и нежна. И как можно любить такого грубияна! И хорошо, что не любит, потому что плевать ему на этого дурака Еламана, не к нему же он приехал! Э, неважно, что сейчас она ждет ребенка и ничего не может, это будет потом. Ему только и нужно было знать, будет или не будет, и теперь он знает. А Еламан пускай ловит рыбу.

Он поднимал горячие глаза над пиалой и прямо смотрел в лицо Акбалы, а та тоже смотрела ему в глаза, и он понимал, что она его хочет, и он хотел ее.

И красавец мурза взял домбру, забренчал чуть слышно, зашептал на струнах любовную песнь. И лицом своим заиграл, под напев домбры то улыбался блаженно, будто видел солнце, то мрачно сдвигал брови и опускал глаза в безмерной тоске.

Ах, какой он все же дурак, какой глупец — он думал пойти против самого себя, против предначертаний рока. Как тонка была Акбала девушкой, как любила его, а он послушался братьев Кудайменде и Алдабергена и женился, нехотя женился на дочке богача из рода Тлеу-Кабак. И все прошло, пропало, и Акбале стало все равно, она вышла за Еламана. Год тому назад все это произошло, всего лишь год. И вот он опять у нее, с ней, и она счастлива, он видит, как она его любит.

Так он думал и так играл на домбре, когда в землянку, нагибаясь, вошел Мунке. Танирберген отложил домбру и стал приветлив.

— Аксакал, проходите сюда!— быстро подвинувшись, предложил он.

Мунке ничего не ответил, вздохнув, сел скромно, поближе к двери. Раза два только он взглянул на гостя. Потом как бы безразлично спросил:

— Что это ты вдруг пожаловал к нам? Раньше тебя не видать было...

— Охотился, охотился, дорогой аксакал.

— А! Охотился, значит...

— Знаете мою рыжую суку, мою сары каншик — замечательная собака. Настигает зверя, как ястреб. А тут вот, у Бел-Арана, выскочила лиса... И что с ней случилось, с моей сары каншик? Гонит, гонит, никак не возьмет лису. И коня я загнал, и лису взяли уже вот тут, возле вашего аула. Хотел было я домой поворачивать, да смотрю, конь устал, пусть, думаю, отдохнет, да и не зайти неудобно, раз возле аула оказался...

— Так...— сказал Мунке, улыбаясь.— Не думал, не гадал, говоришь, да лиса привела? Ну что ж, очень хорошо. Очень мы тебе все рады, прямо даже веселье в ауле. А где же твой младший брат?

— О! Жасанжан учится, большим человеком будет, в Оренбурге учится. Скоро приедет...

Танирберген обрадовался разговору. Он решил рассказать подробно об успехах своих братьев, потому что знал — Акбала будет

слушать его внимательнее всех. Но старый рыбак вдруг почему-то перестал улыбаться, будто забыл о госте, повернулся к Еламану и заговорил с ним.

Они говорили о вечном: о том, что лед в этом году замерзает поздно, что рыбы мало и трудно ее ловить в холода, и хорошая погода случается редко. Они могли говорить так подолгу, и каждый день, и всю жизнь, потому что это было для них, и для рода отцов их, и для детей самое важное, и им вовсе неважно было, как там и где учится брат молодого мурзы.

Они поговорили обо всем этом как следует, не торопясь, внимательно слушая друг друга. Потом Еламан сказал, что его вызывал к себе русский купец, на которого они работали.

— Так, так,— быстро сказал Мунке.— И что же?

— «Когда же будет рыба?»— говорит.

— Так, так. А ты что?

— А что я? Говорю, лед слабый, плохо держит. Большими группами ловить опасно, провалимся.

— Верно! А он что?

— «Чтобы была, говорит, рыба!»

— Да-а... Рыба. Богатым нужна рыба, и нам нужна рыба тоже. А еще мы и пожить хотим на этом свете, верно?— и повернулся к заскучавшему, обиженному Танирбергену.— Слышал я, что твой брат... гм... как бы тебе сказать... богатый овцами твой брат выдвинул себя на волостные выборы, а?

Кудайменде все звали за глаза Каратазом. Но Мунке был вежливый рыбак, и он удержался, не назвал брата мурзы этой кличкой, а сказал более пространно, но Танирберген понял его, нахмурился, прищурился высокомерно.

— Да, он участвует в выборах. А что?

— Да так, ничего. Пожелаем ему удачи. Пожелаем, Еламан?— сказал простодушно Мунке, будто и в самом деле радовался за брата гостя. Потом он мелко засмеялся и толкнул Еламана в бок. Он все смеялся и толкал Еламана, и глаз его совсем не стало видно от удовольствия.— Слыхал, а?— простодушно говорил он.— Чего наши любимые друзья задумали, а?— И опять смеялся и толкал Еламана.— Они маленькие, низенькие, повыше им захотелось, а? Вот, скажем, мы все в косяке и все кобылки, а глядишь, жеребец придет, так игогокнет, что и дышать не посмеешь, вот оно как.— И, так же посмеиваясь, Мунке поднялся.— Ну я пойду, до свиданья, сосед!

— Посидите еще,— неуверенно попросила Акбала.

— Куда тут! Ребенок болен, жена дома одна...

Мунке ушел. Мурза неестественно улыбался, красные пятна пошли у него по скулам. Все молчали.

IV

Еламан осиротел рано. Отца его Науана убил Абралы — отец Танирбергена. И вот как это вышло. Однажды на кочевье рядом друг с другом расположились два враждовавших между собой аула. Аула было два, а колодец один, драки было не миновать, и она случилась. Сначала туда поскакали одиночные всадники, потом их все прибавлялось, дрались уже целыми семьями, пыль поднималась столбом над местом драки и медленно уволакивалась в сторону.

Абралы был тогда молод и ловок, и конь у него был хорош. Длинной пикой он сбивал одного за другим джигитов бедного аула. Он визжал и скалил зубы, и все это видел Науан. Тогда Науан не выдержал и поскакал с одной нагайкой к Абралы. Наперерез ему один за другим из пыли выскакивали всадники. Но нагайка Науана была тяжела, он вплел в нее свинцовый провод, и удар ее был страшен. Получив удар такой нагайкой, человек выл и сползал с лошади. Так Науан сшиб двух всадников, но не они ему были нужны, он пробивался к Абралы.

Когда началась драка и все поскакали, Науан замешкался — слишком долго ловил лошадь. Он скрипел зубами от стыда, слыша, как вдали дерутся, кричат, а он все возится тут. Тогда он поймал первую попавшуюся лошадку и сразу вскочил на нее, потому что седлать уже не было времени. Лошадка попалась необъезженная, пугливая, и как только Науан достиг наконец Абралы — кобылка вдруг испугалась, вильнула и поскакала прочь. Абралы погнался за Науаном, быстро догнал его, бросил поводья и обеими руками всадил пику в бок Науана. Науан побелел, что есть силы сжал коленями бока кобылки и все-таки удержался. Абралы пронесся мимо, пика, выворачиваясь, хрустнула, и стальной наконечник холодным комком остался под сердцем Науана.

Мотаясь на коне, чувствуя смертный холод, тоску и черноту в глазах, Науан все-таки доскакал до дому и, пытаясь опереться на кричавшую жену, свалился в пыль у своего порога.

Так овдовела молодая мать и осиротел Еламан. А через год мать, уступая родственникам, вышла замуж за глухого старика, помучилась с ним около года, тосковала, ссыхалась, чернела и умерла. Тогда Еламан ушел от старика, ночевал где придется и был одинок в этом мире. Что мог он поделать и куда пойти?

Но в конце концов каждый человек находит свое место, маленькое или большое, и Еламан стал пасти козлят в своем ауле. А повзрослев, нанялся к Кудайменде и пас у него коней семь лет.

Задолго до этого времени, когда Еламан сосал еще грудь матери, добрые приятели Науан и Суйеу в желании породниться помолвили Еламана и Акбалу. Зимы и весны по очереди приходили и уходили, и много было удач в жизни друзей, но больше было неудач, и все-таки Суйеу любил друга, а потом стал любить и Еламана и слова своего обратно не взял.

А невеста все хорошела с каждым годом, наливалась тугой силой, и Еламан день и ночь думал о ней и часто приезжал к старику Суйеу. Все время его окружала привычная степь, не на чем было задержаться глазу, нечего было разглядывать, можно было думать сколько угодно, и Еламан думал об Акбале.

Он понимал, что нехорошо ездить к старику слишком часто, без повода, но долго не мог терпеть. Тогда он поручал табун своему помощнику-подпаску и отправлялся к Суйеу.

Однажды он уехал в аул к зимовью в низине Куль-Кура ночью и долго говорил со стариком. А когда к утру вернулся — узнал, что ночью на табун напали волки и зарезали подаренного Кудайменде сватом из Аяк-Кума прекрасного скакуна.

Кудайменде обедал, когда ему сказали об этом. Он утер руки и лицо и поскакал в табун со своими джигитами. Они скакали так быстро, что пыль стреляла клубками из-под копыт и распухала потом, поднимаясь к небу. Еламан издали увидел всадников. Он спешился и ждал, с тревогой следя за бешеным ходом коней. На сердце у него становилось тяжело. Когда Кудайменде подскакал и осадил коня, Еламан почтительно протянул к нему обе руки. Кудайменде привстал на стременах и стегнул его плетью по голове.

— Ты! Собака!— закричал он.— Где жеребец?

Еламан, бледнея, побежал к своему коню. Взлетев в седло, он кинулся было к Кудайменде, но джигиты стерегли его.

— Но, но!— бормотали они, дрожа ноздрями и оттирая его.— Тихо! Тихо, парень!..

Еламан молча кружил перед Кудайменде, все шарил по седлу, ища плетку, но джигиты наезжали на него, не подпускали к Кудайменде, а он, не глядя на них, смотрел через головы на Кудайменде и изредка говорил:

— Так ты плеткой меня? Ну ладно, попомни...

Он повернулся и поскакал прочь, оставив свою семилетнюю работу. Джигиты погнались было за ним, но скоро отстали и вернулись к табуну. А Еламан все скакал и скакал — одинокий, как и во всю свою жизнь, одинокий и яростный.

В тот год из Уральска приехал купец Федоров и открыл на берегу моря промыслы. Еламан нанялся к нему. А после Еламана от Кудайменде ушли упрямец Дос и подпасок Рай. Плохо было работать у Федорова, жесток он был и жаден. Но в байском ауле было еще хуже, и много молодых табунщиков, верблюжатников бросили кочевье и осели на берегу моря, стали ловить рыбу.

В этом году рыбакам пришлось особенно плохо. Море долго не замерзало, на берег наползал гнилой туман. Но вот второй день начало морозить, и уже лед стал в заливах, и можно было наконец ловить.

Еламан всю ночь лежал не шевелясь. В первый раз ему было неприятно, что рядом лежит жена. Он старался не прикасаться к ней, и

хоть тело ее было, как всегда, теплое, ему казалось на этот раз, что ему леденит бок, и он не мог заснуть. Как бы он мог избить ее, как бы он мог стегать плетью по ее красивому лицу! Но он не сделал ей ничего, он даже не сказал ей ни слова, только тяжелая печаль сошла к нему в душу, он потемнел лицом и не мог поднять на жену глаз, будто он сам был виноват в чем-то.

Теперь он лежал во тьме и думал о роде Абралы, потому что все несчастья к нему приходили из этого рода. Отец Танирбергена, убийца отца Еламана, был из рода Абралы, и все эти баи, мурзы, все эти красавцы джигиты, скачущие по степи, загоняющие лисиц и волков, пьющие кумыс вволю и любящие женщин вволю,— все они не оставляли его, не отступали, и это было самое плохое.

Заснул он не скоро и проснулся по своему обыкновению очень рано. Рассвет еще не наступал, и в доме было темно. Над всей великой степью, над ее увалами, над редкими спящими аулами, над морем неутомимо и ровно несся холодный ветер. Труба от печки в еламановской землянке была без заслонки, и в ней гудело, а по комнате гулял сквозняк.

Акбала спала, и, как всегда, во сне она была нежна к нему, потому что была не с ним, а уходила куда-то, и тело ее было доверчиво, и она прижималась к нему. Так было каждую ночь, так было и теперь, и Еламану было приятно. Ему было еще и потому приятно, что тело жены все круглело, все больше занимало места, и он, просыпаясь, всегда думал, сколько ей осталось еще носить.

Проснувшись теперь, он опять по привычке стал думать об этом, как вдруг что-то мягко, еле слышно толкнуло его в бок несколько раз. Это *тому* было тесно в черной горячей утробе, *тому* было там неловко уже, и в нем была не только кровь и жизнь, в нем уже были мускулы, и косточки, и тайная внутренняя воля, и он толкался, требуя себе простора. Испуганно Еламан отодвинулся к стенке и затаил дыхание, заулыбался, забыл про все.

Тягучее, томительное чувство овладело им, ему не хотелось шевелиться, а глаза щипало, и сладко ныло сердце. «Что это со мной?»— думал он и пытался улыбнуться, но глаза его по-прежнему были мокры, а дыхание стеснено.

Так он полежал еще очень тихо, глядя, как светлеет окошечко в потолке, потом крепко вытер глаза и выбрался из-под одеяла. Оделся он быстро, бесшумно, сунул за пазуху сетку для рыбы, надвинул на глаза шапку и, пригнувшись, стал было отворять дверь, как вруг увидел брошенных на пол возле двери лису и зайца, и все в нем сжалось.

V

Зимой и летом жили рыбаки в своих сырых землянках, над морем. Летом всех мучила мошкара, и самый последний бедняк, у которого была хоть пара голов скота, обязательно откочевывал на джайляу, на чистый воздух и зеленую траву. А рыбаки и этого не

могли. Они никуда не могли уйти от моря. Они были как бы на корабле и не могли покинуть его.

Сегодня к Раю приехал дядя, почтенный кария Есбол с полуострова Куг-Арал. Детей у него не было, и вот каждый год в начале зимы он приезжал к рыбакам и привозил бабушке Рая сыбагу. В этот раз он привез опаленного шершавого барана. Рай, покряхтывая от удовольствия, разделал барана, добрую половину ввалил в котел и пригласил рыбаков.

Котел кипел, в доме крепко пахло бараниной, и этот редкий запах веселил сердце. Когда долго ешь все одну рыбу — бараний дух рождает веселые мысли. И рыбаки сразу расселись, разлеглись, и тела их были в покое. Все они были сухи и крепки, как жилы, а лица у них черны от ветров, от летнего зноя и от зимней стужи, только зубы блестели.

В доме поднялся гул, говорили все громко, не слушая и перебивая друг друга, как будто был большой праздник или шел бурный дележ рыбы, и не улыбались, а хохотали во все горло, закидывая головы.

Зато женщины не хохотали, им некогда было, они шептались. Собравшись возле печки, белые платки сдвигались по два и по три сразу.

— А Акбалы-то нет!

— Да, почему же она не пришла?..

— Тяжелая стала, наверно, потому...

Каракатын опять не вытерпела.

— А! Да чтоб она пропала!— с ненавистью сказала она.— Как надо было своего кобеля принять, так она забегала, сучка! У одних пиалу, у других миску... Бегом бегала, сука! А тут — потяжелела...

Ее толкнули в бок и покосились на Еламана. Еламан заметил это. Он не слыхал, о чем говорили, видел только, как бабы поглядывали на него, догадывался, что о его доме речь, хмурился и опускал глаза. Ему было тяжело, и он один среди веселья сидел молча.

А у рыбаков было свое.

— Да... Поздновато в этом году встает лед.

— Придет напасть, так будет пропасть.

— Это верно, худой нынче год.

— Ладно, хоть по заливам подморозило...

— Не знаю, у кого как, а я сегодня усача поймал, хорош усач! Да и повезло, надо сказать, чуть-чуть плавниками только зацепил за сеть — и стоит... Думал, сорвется, аж дух перехватило!

— А то, бывает, и сеть порвет.

— Какое порвет зимой-то! Они только летом играют, сила в них кипит, а зимой, как бревно, на нитке вытянешь...

— Не знаю, как усачи, а вот осетры — те совсем сонные, как пастушья лошадь.

— Правильно!

Мунке, лежавший чуть пониже Есбола и нюхавший бараний дух, поднял голову и оглядел рыбаков.

— Чего там правильно! У него пасть внизу, вот он и смирен, а попадись-ка ему снизу...

Есбол посмотрел на Мунке и улыбнулся. Он знал его с детства и даже дал ему имя. Когда-то, давно, разъезжая по аулам, остановился он на ночлег у рыбаков. С приветствием к нему в землянку пришел смуглый, маленький, крепкий мальчик. Звали его Равиль. Но Есбол, оглядев его, засмеялся и сказал: «Как его зовут? Он так похож на головастого черного мунке!» С тех пор Равиля стали называть Черный Мунке, и Головастый Мунке, и Рыбак Мунке... Ему перевалило за сорок, но кличка так и не отстала, и его все теперь звали просто Мунке.

Он рано женился. Потому что брат его умер в год Кара-Тирспай и от брата осталась молодая вдова. И вот Мунке женился на молодой вдове, очень полюбил ее и имел от нее десятерых детей. Но что-то странное, загадочное было во всех его детях — они все болели и умирали один за другим. Мунке старался, он был хороший муж и отец, и дети рождались, немного жили, видели небо и море, а потом умирали. Теперь у Мунке остался последний, самый младший сын. Но и он болел уже месяц, и Мунке было страшно, что и этот умрет, как все.

Есбол был стар и мудр, и многое ему было дано — он смотрел на грустное темное лицо Мунке и все понимал. «И ты зурият,— с едкой печалью думал он.— Единственная плоть от Пусыра! Горе, горе... Ой-дайт десейше!»[1]

А Мунке тосковал, тосковал, поднялся и пошел домой. Когда он уходил, надевал малахай и уходил, пригибаясь в дверях, все замолчали, и все смотрели ему в спину. Потом кто-то сказал:

— Н-да... здоровый мужик!

И опять все один за другим стали думать, а потом ронять простые тяжелые слова, как и о рыбе перед этим:

— О, страшно сильный этот наш Мунке.

— Лед возьмется долбить...

— Да! И долбит, долбит с утра до вечера.

— Долбит, и не жарко ему, не потеет, а?

— Лед его не доконает. Детишки доконают — каждый год мрут.

— Каждый год...

Огромный котел булькал, клокотал, шумел. Все истомились, дожидаясь мяса. И все примолкли, слушая веселую вечную песню котла, и не сводили глаз с него и с огня, лежали и сидели, и в животах у всех урчало.

Какая-то женщина не вытерпела, плеснула в миску бульона и

---

[1] О времена!

и подала бабке Рая, чтобы та определила засол. В бульоне плавал мягкий кусочек мяса. Бабка мяла его деснами, валяла во рту, горячо ей было, но и сладко — она редко ела мясо.

В это время кто-то завозился за дверью, грабал рукой снаружи, потом отворил, в комнату влетел холодный ветер и задул светильник.

— Ассаламалейкум!— сказал в темноте кто-то.

— Кто это? Эй, светильник зажигайте! Кто это?

— Свои. Верблюжонка ищу.

Рыбаки тихо засмеялись.

— Верблюжонок твой давно в котле...

— Эй, бабы! Свет скоро будет?

Долго искали спички, каждый хлопал ладонями и шарил возле себя. Наконец спички нашли, зажгли свет, и все разом глянули на вошедшего. Он был мал ростом и рыж. На нем была белая баранья шуба, пояс подвязан у груди, чуть ли не под мышками. Шмыгая носом, он переминался с ноги на ногу, уже понимая, что рыбаки верблюжонка не видали, но запах баранины не давал ему уйти, и он несмело, как-то жалко улыбаясь, поглядывал на всех маленькими голубыми глазками.

Он сам знал про себя, что слаб и робок и что все над ним смеются, и теперь думал, почему бы и не посмеяться, пусть смеются. Посмеются, а потом накормят, и это куда лучше, чем шататься по степи за верблюжонком, шайтан его укуси!

— А! Жалмурат! Урус Жалмурат!— весело загалдели рыбаки. Они его так прозвали за рыжий волос и за голубизну глаз.

Жалмурат работал у Кудайменде и не уходил от него, потому что был тих и покорен.

Из котла стали вынимать мясо, и все замолчали, разглядывая куски. Дымящееся мясо на двух подносах поставили перед гостями. Все стали засучивать рукава.

— Жалмурат, дорогой, садись ужинать,— позвала бабка.

Жалмурат сел и тоже загнул рукава, и тихо стало в доме, торжественно и вкусно, тьма уходила, и приходил свет, на душе у каждого становилось горячо, и все посапывали и чавкали — хорошо стало в доме. Только Рай все-таки не вытерпел, передохнул масляным ртом и сказал:

— Ну, как, Жалмурат, вкусный твой верблюжонок?

И все засмеялись на короткое время, а потом опять затихли. После ужина все отвалились, и им можно было думать и говорить о другом. И кто-то спросил:

— Жалмурат, а Жалмурат...

— А?

— Приезжих в твоем ауле нет?

Жалмурат засмущался.

— Приезжих не знаю... Рыжий верблюжонок вот...

— Что?

— Я говорю, рыжий верблюжонок вот пропал...

— А! Спросил бы у Судр Ахмета,— засмеялся Рай.— Он бы тебе его показал...

— Ладно, верблюжонок ерунда. Ты, Жалмурат, лучше скажи о новостях в ауле. Кто стал волостным?

— Новости?.. Да, в ауле наверняка есть новости...— Жалмурат ковырял пол и потел.— Да вот у меня верблюжонок пропал.

Тут уж все засмеялись.

— Ах мы дураки!— кричал Рай.— Спрашиваем у него о новостях! Давайте расспросим у него о рыжем верблюжонке. И он всю ночь нам алхиссу будет петь про него!

Сегодня был день волостных выборов, и рыбакам интересно было, кого же выбрали. Жалмурат посидел еще, очень не хотелось ему выходить на холод, потом вздохнул и ушел.

Он ушел, а рыбаки заспорили, кто у них теперь будет волостным. Одни кричали, что волостным обязательно выберут Кудайменде. Другие были уверены, что победит Ожар-Оспан, из рода Торжимбая с полуострова. Старая бабка Рая все морщилась, перебирала сухими руками по подолу, вслушивалась, стараясь понять что-нибудь, потом сама закричала:

— Эй, чего орете! Один шайтан знает, кто волостным будет. А только будет достойнейший.

Еламан сердито поглядел на нее.

— Ах, бабушка! Где это ты видала достойнейших? Где наш ум, где мудрость? Где доброта? Нет, будь ты добр, хорош, тебя-то как раз и обсядут эти шакалы — нужны им наша мудрость и доброта!

Внезапно и Есбол-кария разозлился, то он дремал после мяса, слушал всех вполуха, а сейчас стукнул себя по коленке и подался вперед.

— Нравы испортились!— громко сказал он.— Нахлобучит на голову свой тумак, сядет на коня, приятели с ним, сброд всякий, ездят по аулам... А чего ещут? Угощения ищут, барашка ищут, у них один бог — баран в котле! А народ работает,— тихо добавил он.— И народ беден. Да! У бедных людей жадные правители — где тут достоинство?

Фитиль лампы, опущенный в рыбий жир, чадил и коптил, свет был неверный, желтый, маленькая землянка была еле освещена. И вот в этом свете между сгрудившимися людьми сидел старик в черной стеганой тюбетейке. Поверх белой рубашки с отложным, как у племени Кабак, воротником надет был черный бешмет. Сидел Есбол согнувшись, спина у него давно была круглая, давно уж удобней всего было смотреть ему вниз, и был похож он на старого орла, дремлющего на камне.

Есбол замолчал, и все молчали, рассматривали его в слабом вздрагивающем свете, и все видели, как он стар, слаб и все думали, что жил он долго, тогда еще, когда никого из них не было на

земле, что он застал другие времена, и был джигитом, и помнил джигитов, о которых теперь поют песни. А теперь он слаб и мудр...

Еламан как-то быстро засобирался домой, натянул рыжую заскорузлую шубу, взял тумак и вышел. Стали понемногу расходиться и остальные, вышел и Рай. Когда все ушли, Есбол повернулся к бабке и стал смотреть на нее. Он смотрел на нее долго и, может быть, вспомнил ее молодой. Старуха перехватила его взгляд и поняла, что он хочет ей что-то сказать, и не то, о чем сейчас говорили и что ее как-то мало интересовало, а другое — настоящее. И она освободила ухо из-под платка и подвинулась, пересела к Есболу.

— Ну, старуха,— начал Есбол,— красавца своего женить собираешься?

Бабка сразу оживилась.

— Ах, Есбол! Да ведь они теперь все сами решают... Нас разве спросятся?

— Ну? Замечала что-нибудь?

— Да есть тут одна...

— Баба?— Есбол поморщился.

— Какая баба — девчонка совсем! А я тебе скажу, она получше любой бабы будет.

— Это как же?

— А что? Испугался?— Бабка засмеялась.

Она засмеялась, и на Есбола дохнуло вдруг чем-то далеким, своей и ее юностью, он увидел вдруг на желтом пергаментном лице старухи трепет былой жизни. Она как бы вернулась туда, в цветущие весенние степи своей молодости. И его тоже.

— Ты ее знаешь,— медленно сказала старуха, все еще улыбаясь.— Она сестра Ализы, жены Мунке.

— Э! Это, значит, младшая дочка Алибия?

— Она и есть,— старуха опять засмеялась лукаво.— Это мальчишка! У Алибия ведь нет сыновей... Вот он ее и балует, она мальчишкой наряжается...

— А!

— Шустрая такая...

— А!

— Вот так, дружок, вот так...— Бабка вдруг заплакала.— Она следит... Следит, когда Рая дома нет. Придет, на домбре поиграет, попоет... Потом домбру бросит, сядет ко мне, прижмется и шепчет...

— Ну?

— Шепчет: «Бабушка! Давай я тебе буду невесткой!»

Есбол неопределенно хмыкнул.

— Сдаешь старуха, сдаешь,— сказал он и начал шарить свой верблюжий зипун. Нашарил, поднялся с трудом, стал тереть замлевшие ноги. Потом пошел к дверям. Старуха тоже поднялась.

— Ведь я женщина все-таки,— тихо и грустно говорила она.— Мне с Раем неловко говорить... А вы оба мужчины, вам легче... Да

и то сказать, близких-то у него, кроме тебя да Еламана, и нету. Посоветуй ему. Девчонка-то больно хороша. Узнай, что он думает, а?

Есбол-кария взял с теплой золы чайник[1] и вышел во двор.

VI

Последний сын Мунке умирал. Он лежал в темной сырой землянке, никого не узнавал и ничего не видел. Ализа сидела возле и молча плакала. Ей хотелось плакать громко, ей было бы тогда легче, но Мунке печально молчал, и Ализа не смела голосить.

Шесть сыновей и три дочери их лежали на кладбище, за домом, на черном бугре. А этот был последний, и зачала его Ализа, когда ей было уже за сорок. Последний сын покидал мать.

— Ну, ну, Ализа!— тихо говорил Мунке.— Будем верить...

Пришел Алибий, отец Ализы. Она взглянула на него снизу, уткнулась в колени и затряслась.

— Дочка, дочка...— сокрушенно забормотал Алибий.— Полежи, дочка, отдохни...

Он поднял ее, подвел к постели, уложил. Она жмурилась и мотала головой, задыхаясь. Все лицо ее было мокро. Отец достал платок, стал вытирать ей лицо.

— Крепись, дочка!— говорил он.— Молись аллаху! Ну что будешь делать, что делать, отдохни, милая, аллах милостив.

Он говорил так, а лицо у него прыгало и глаза наливались слезой. Он сдержался и вроде бы беспечно сказал:

— Шалунья хотела прийти со мной, да я не позволил, дома оставил...— Так он звал свою младшую дочку Бобек.

До самого утра приходили к Мунке рыбаки. Поздно вечером пришли Есбол, Еламан и Рай. Потом зашел и долго сидел Дос. Уже поздно ночью приходили и тихо говорили с хозяином другие рыбаки. Утром, собравшись на лед, они решили оставить Мунке дома. Но Еламан, подумав, увел Мунке в море. Он считал, что лучше отвлечься работой, чем сидеть возле плачущей жены. Бездельем горю не поможешь.

Вместе с Еламаном и Мунке работали Рай, Дос и джигит Култума. Култума был из соседнего рода Кабак. Приехал он сюда налегке, приехал заработать, а семью оставил дома. Он был услужливый, исполнительный, веселый парень. Попеть любил, повеселиться, вместо домбры брал пиалу, помахивал возле рта и пел тонким голоском:

И трава — песня, и заноза — песня, и песня — песня!
Рысью скачу я на ослике сером!
Эй, бедняжка, бедняжка, бедняжка...

Замерзнут рыбаки на льду, скучно им станет, и тогда кричат они Култуме:

---

[1] Для вечернего омовения.

— Эй, ну-ка спой о сером ослике!

Но сегодня все молчали, работали споро, поглядывали на Мунке. А Мунке, перебирая сети, нет-нет да и останавливался, выпрямлялся, поворачивался к берегу и, приоткрыв рот, слушал. Все ему казалось, что в ауле голосит Ализа.

Сегодня рыбы попалось порядочно. Оставив часть рыбы себе, рыбаки решили хоть немного сдать и пошли к промыслу. Каждый тянул за собой маленькие салазки.

Все они шли гурьбой, и каждый с облегчением шагал после дня тяжелой работы. Даже на ветру, на морозе одежда их пахла рыбой, руки пахли рыбой и сапоги тоже, и говорили они, конечно, о рыбе.

— Рыба-то сегодня попалась у самого берега...

— Апыр-ай! Тянет ее что-то на мелководье!

— Она зимой странная,— сказал Еламан.— То глубину ищет, а то до тех пор к берегу идет, пока не упрется спиной в лед, а брюхом в дно.

Невдалеке уже, у самого берега, под песчаными холмами белели три дома. Поблизости виден был большой холодильник. Это и был промысел. Рыбаки прибавили шагу и скоро вошли в холодильник. Он был еще пуст и гулок. В нос рыбакам ударил сильный запах рыбы, из темной глубины тянуло холодом. Там работали женщины — смутно двигались белые платки казашек и русских баб. Заслышав рыбаков, из темноты ледника показался Иван Курносый. Он состоял приказчиком при Федорове, но повадок хозяина не имел, был всегда радушен, весел, хоть и неискренней приказчичьей веселостью. Рыбаки чувствовали это и недолюбливали Ивана.

— А, Еламан... Еламанушка!— заулыбался Иван еще издали.

— Ласков больно,— пробормотал тихо Мунке.

— Рыбка в твоем мешке веселит его,— так же тихо ответил Еламан. Он поглядел по сторонам и нахмурился.

— Где этот рыжий парень?— спросил он у Ивана.

— Андрей, что ли? Зачем он тебе сдался?

— Рыбу принять надо...

— Тю! Да я сам приму, пошли!

Еламан сделал каменное лицо и отвернулся. Он знал, что Иван всегда пишет меньше. Потоптавшись, он велел рыбакам ждать и пошел искать Андрея. Он везде поглядел, но не увидел, кого искал. Тогда он отворил большую дверь в самой глубине ледника и заглянул туда. Немного погодя он вышел уже вместе с высоким рыжим парнем. Это и был Андрей — летом засольщик, зимой делал что придется: лед колол, принимал рыбу. С казахами он был хорош, и они любили его и называли по-своему: Сары-бала[1].

---

[1] Рыжий парень.

— Чего это вы кислые?— спросил сразу Андрей.— Случилось что-нибудь?

— Да нет... Так просто.

Казахи сдали рыбу, один за другим понуро вышли из приемки. На улице невдалеке от приемки они сразу заметили нескольких человек в черном. Один из них был владелец промысла, русский купец Федоров. Характера он был крутого, казахов презирал, и его прозвали в народе Тентек-Шодыром[1]. Нынешняя неустойчивая зима никак не давала рыбакам выйти на лед далеко в море, а у берега рыбы попадалось мало, и купец был постоянно зол.

Его все боялись. Боялся его и Еламан и всегда старался держаться подальше. А сегодня вот попался на глаза, растерялся и подошел несмело, со смутным страхом на душе.

— Здравствуй...— пробормотал он, опуская глаза.

— Гм... Как рыба?

— Мало... У берега много не наловишь.

— Как мало?

— Да так... по пуду на человека было.

Федоров отвернулся, закурил. Потом зыркнул глазами по санкам рыбаков.

— Так чего же вы половину рыбы домой прете, а?

— Да это так... семьям понемножечку.

— Я тебе дам — семьям!

Еламан молчал.

— Так вот! Я порядки тут наведу! С завтрева чтоб брать домой рыбу только с моего позволения. Понятно?

— Как же так?..

— А вот так! Пока не обеспечите промысел рыбой — домой ни хрена! Ясно? А сейчас поворачивай оглобли, чтобы всю рыбу сдать!

И холодно поглядел на Еламана бесцветными, как соль, глазами. Еламан не решился спорить дольше. Быстро взглянув на Федорова, он пробормотал:

— Ладно... пусть будет по-вашему.

Мрачно подошел к дожидавшимся его рыбакам, ни на кого не глядя, молча, решительно забрал у всех, кроме Мунке, всю рыбу и повез назад.

— Что ж это, Еламан, дорогой?— поспешая за Еламаном, спрашивали рыбаки.

Только когда Федоров отошел далеко и не мог ничего услыхать, Култума рассердился.

— Меня бог создал, а не этот купец в черной одежде!— кричал он.— Что за оскорбление! А ну пустите мою руку, я ему покажу!

— Помолчи!— коротко, хмуро сказал Еламан.

И маленький щуплый джигит замолчал.

---

[1] Свирепый Федор.

VII

На перевале Бел-Аран показался всадник. Он ехал из Куль-Куры. Гнедой конь под ним дымился, курчавился мокрой шерстью, но шел еще бодро и ходко, перевал Бел-Аран был дня него еще легок. На самом перевале конь вдруг шарахнулся, косясь на могильный камень. Рябой, с синевато-темным лицом всадник в верблюжьей шубе, в мерлушковом тумаке быстро глянул маленькими глазками в ту сторону, куда испуганно косился конь, и остановился, натянув поводья.

С вершины Бел-Арана далеко было видно кругом. Прямо впереди виднелись аулы Пирмана и Ширмана, а подальше, у самого моря, пестрели землянки рыбачьего аула; за ними, среди мягких прибрежных песчаных холмов, виднелось зимовье Алибия и рядом — Судр Ахмета. В стороне от моря огромным бурым пятном тянулись пески Ак-баур. В песках было много колодцев, трава росла обильно, и Кудайменде разбил свое зимовье возле самых песков.

В вечерней прозрачности поднимались над байским аулом дымки, и слышны были все звуки в ауле. Слышно было, как на разные голоса заливались собаки, как блеяли загнанные в кошары на ночь овцы, как взмыкивали коровы и хрипло ревели верблюды. Эти звуки хорошо, сладко было слушать в отдалении, хорошо было глядеть на дымки, на горбы юрт.

Вот какой-то мальчишка на стригунке галопом вынесся на холм, вот он тянется вверх тонкой фигуркой, загораживает глаза рукой от низкого солнца, оглядывается, вот он увидел что-то, что ему было нужно, взмахнул ногами, стукнул стригунка пятками по бокам и, пригнувшись, птицей полетел в сторону моря. Всадник поглядел мальчишке вслед, улыбнулся и тоже тронул своего коня вниз, на Ак-баур. Всадник был громоздок и тяжел, колени его почти касались ушей коня, руки, в которой он держал плеть, не было видно из-под длинного рукава шубы, в седле сидел он прочно, грузно.

Уж солнце стало заходить, когда он въехал на окраину аула. Аул этот был богат скотом и знаменит собаками, в каждой юрте было по десятку волкодавов и гончих. Первой учуяла и заслышала всадника тонкая серая сучка из крайней юрты. В ответ на ее лай во многих местах послышались хрип, вой и рев — и серыми, рыжими и черными клубками навстречу всаднику начали выкатываться собаки. Всадник спокойно глядел, как они несутся к нему, стараясь обогнать друг друга. Он только подобрал полы широкой шубы и продолжал ехать спокойно рысью, помахивая тяжелой плеткой.

В двух окнах высокого дома, куда всадник направил коня, желтел вечерний огонек. «А!— подумал всадник.— Алдеке ужинать собрался после дневного поста!» Как раз в этот момент его и настигли собаки. Корноухий черный кобель первым прыгнул на

него, но не достал, только клацнул зубами. Всадник слегка замахнулся на него — кобель даже захрипел от ярости. По своей привычке он сразу прыгнул на круп коня, стараясь достать человека сзади. Всадник, кося на кобеля маленьким глазом, расчетливо ждал, и, когда кобель прыгнул и уже коснулся передними лапами крупа коня, всадник коротко, со страшной силой ударил его по морде плетью. Черный кобель, взвыв, грохнулся навзничь. В тот же миг на всадника кинулся огромный рыжий волкодав. Все так же равнодушно и точно всадник стегнул и его и невозмутимо продолжал свой путь.

Обогнув овчарню, он остановился перед домом, в окнах которого еще издали заметил огонек. Он спешился, привязал коня и вошел в дом.

— Добрый вечер!— холодновато сказал он.

— Э! Кто такой?.. А, это ты, Кален. Плохо вижу. По ногам тебя узнал. Длинноногая среди птиц — цапля, а среди людей — Кален, а? Хе-хе-хе...

Так говорил и похохатывал сивобородый жирный старик Алдаберген, старший брат Кудайменде. Раньше он занимался торговлей, покупал по аулам шкурки и шерсть, разбогател, выставлял себя на волостные выборы, потом промотался, постарел... Теперь он посмирнел, отошел от всех мирских дел, много молился, соблюдал уразу и намаз, подремывал, перебирал четки. Стал он старчески неопрятен, жаден на еду и не любил, когда приходили, мешали ему, любил есть один.

— Как это ты уцелел? Хе-хе... Я слыхал, как бесились собаки.

— Уцелел,— равнодушно сказал Кален.

— Или тебя сопровождал кто-нибудь из нашего аула?

— Да нет, один ехал...— Кален думал, пригласит его старик поужинать или нет.

— Апыр-ай, не верю! Ведь наши аламойнаки, как... как львы! Как дорвутся, так... хе-хе, ноги поотрывают!

Хвалиться не детьми, не скотом, не богатством, а собаками — это было в роду Абралы. Алдаберген все еще не верил Калену.

— Ну, ну, не стесняйся! Покажи, где тебя порвали наши аламойнаки?— Старик даже потянулся к Калену посмотреть его ноги и шубу.

— Брось,— вяло сказал Кален.— Щенки ваши аламойнаки, где им со мной...

«Нет, не пригласит, старый хрен!»— подумал Кален, присел рядом со стариком и стал жевать баурсаки. Желваки задвигались у него под толстым тумаком, брови зашевелились, лицо стало свирепым. Алдаберген с испугом поглядывал на него. «Вот вор! Не дай бог с ним встретиться где-нибудь в степи! Ай-ей-ей!».

Пожевав баурсаков, Кален поднялся и пошел вон. Он решил зайти к Кудайменде, тот был не так жаден. Весь день Кален мотался по степи верхом, устал и был голоден. Он только подходил

к дому Кудайменде, а из кухни уже слышен был запах копченого конского мяса. Кален повеселел. «Тут не сорвется!»— думал он.

Увидев Калена, Кудайменде перестал натягивать сапог. Сапоги он надевал обычно в дальнюю дорогу.

— Далеко собрался?— спросил Кален.

Кудайменде промолчал, потом натянул сапог и стал глядеть в сторону.

— Ладно, коль дела, так езжай, только жену да котел с собой не бери,— рассмеялся Кален.

У Кудайменде он чувствовал себя вольно, хозяина не стеснялся. Но, увидав, что хозяин чем-то недоволен, сердит, Кален перешел к делу:

— Ну, бай-еке, выбирай сам, врать мне тебе или правду сказать, чего я повидал по аулам.

Кудайменде засопел и вдруг яростно сказал:

— А ведь твой нагачи... этот, как его? Карибай из рода Карабас — ведь он тоже любил бить собак по чужим аулам? Так ты, значит, в него пошел, а?

— Э!— Кален засмеялся.— Какой казах не бьет жен и собак?

— Молчи! Молчи, пес! Ты в чьем это ауле плеткой размахался?

Кален холодно посмотрел на бая и стал серьезным, понял, что тот не шутит. Теперь и Кудайменде в упор смотрел на него.

— Говорят, ты про меня многое брешешь по аулам. Ну-ка давай мне самому скажи!

Кален только теперь понял, почему Кудайменде так встретил его. Дней десять назад у него в доме за дастарханом собрался народ. Среди гостей был и Абейсын, один из верных джигитов Кудайменде. Поглядывая на Калена, он целый вечер говорил о Кудайменде.

— Наш великий Кудаке,— говорил он,— это джигит! Кого с ним сравнить? Некого!

— А ну брось! Черный навозный жук твой Кудаке!— оборвал его Кален.

Огромный Кален в накинутой на плечи толстой шубе сидел боком у дастархана, держал на коленях голову сахара и крепко хряпал, откалывая кусок за куском. Он знал, что Абейсын донесет на него.

— Бог дал мне жизнь,— гневно продолжал он,— и если Каратаз придет по мою душу, я ему все жилы порву! Эй, ты!— Он оглядел Абейсына и побледнел.— Будешь доносить на меня, скажи и это, запомнил?

Слух о том, что Кален назвал Кудайменде Каратазом и черным навозным жуком, мгновенно прошел по аулам. Посмеялись и забыли, а Кудайменде не забыл.

— А ну скажи мне в глаза!— кричал он.— Повтори, пес шелудивый, что ты думаешь о своем бае!

Кален молча натянул сапоги, потом взял в руку плеть и тумак.

Змеиные глазки его загорелись, хрящеватые маленькие уши налились кровью.

— Спиной ко мне сидишь,— сказал он, подходя к Кудайменде.— Смотреть на меня, значит, не хочешь? Ладно! Я уйду, а ты... Знаешь, что про тебя по аулам говорят?

— Ты и говоришь, подлец!

— Ладно. Только попомни — завтра выборы, так? Так вот ты голым задом в снег сядешь!

Кудайменде стал задыхаться, лицо у него вспухло и зачугунело.

— А-а! Вот ты и заговорил, вор! Раньше у меня был друг-вор, теперь еще один враг-вор, ну ничего!.. Знаю, знаю, уйдешь к этим рыбакам, может, еще стрелять в меня оттуда будешь.. Пошел вон!

— Ну и что? И пойду к рыбакам!— тихо сказал Кален.— А пока я тебя, шакал, попотчую в твоем доме, а не у рыбаков!

В комнату один за другим входили встревоженные джигиты Кудайменде. Кален, мельком оглянувшись на них, стиснул доир бугристой громадной рукой.

Кудайменде даже не успел подняться, успел только крикнуть:

— Хватайте вора!— и загородился рукой.

Кален стегнул его, метя в голову, но попал по руке и тут же поворотился к джигитам. У джигитов горели глаза, они пригнулись, кто-то уже было кинулся на Калена, сзади хорошо было кидаться, и они умели это — бить человека сзади, но когда Кален повернулся, когда они увидели крошечные змеиные глаза, хрящеватые, прижатые к черепу уши и синевато-черное рябое лицо конокрада, они сжались, замешкались...

— Отойди, убью!— рявкнул Кален, взмахивая толстым доиром и кидаясь к двери. Джигиты отскочили, и Кален, вывалившись из дому, тут же вскочил на коня.

На коне он уже спокойно, нехорошо ощерившись, оглядел аул и медленно тронулся в степь.

Кудайменде лежал молча. Джигиты переглядывались, им было неловко. Кудайменде поглаживал руку, щупал кость, не перебита ли.

— Кудаке... как вы?— наконец спросил кто-то.

Тогда Кудайменде поднялся и поглядел на своих джигитов.

— У, твари!— сказал он.— Пошли вон, шваль трусливая!

Джигиты, понурясь, вышли.

Кудайменде опять сел и долго молчал. Ни слова не сказал он и своей байбише, когда она вошла, только как был, в одежде, лег лицом к стене.

Из головы у него не шли слова Калена насчет завтрашних выборов. И зачем только он выставлял себя на них? Сначала его уговаривал старший брат Алдаберген. Потом принялся за него и младший Танирберген, он слушал, слушал, и яд будущей власти вошел в него. Сколько было хлопот, сколько разъездов, сколько денег на угощения и какие сладкие мысли были по ночам!

Ах, проклятый Кален! Ну ничего, ничего, авось и обойдется, ибо

все, что нужно, сделано... А тогда — клянусь аллахом!— найдем местечка два в тюрьме — одно Калену, другое Еламану.

Так думал Кудайменде, поглаживая, пробуя губами горевшую, вспухшую руку.

VIII

Хорошо говорить о море. Хорошо говорить самому и слушать, что говорят другие. Говоришь медленно, слушаешь чутко и решаешь, когда и куда идет осетр, и что предвещают красные облака вечером, и какой лед лучше всего для рыбака.

И сегодня рыбаки собрались у Рая, мало-помалу разговорились, и только вошли во вкус и начали уже шуметь, как кто-то привязал коня у двери, тяжело спрыгнул и, гулко, громко здороваясь, вошел в дом. Вошедший сильно нагнул голову, но все равно доставал тумаком до потолка землянки, и рыбаки сразу узнали Калена.

— Ага-жан, садись скорей!— с притворным испугом закричал кто-то.— А то крышу развалишь!

Но шутку как-то не приняли, молча разглядывали Калена, ждали, что он скажет. В свою очередь, пристально оглядев всех, Кален притулился у двери, присел на одно колено.

— К тебе пришел, Еламан, — просто сказал он.— Работы у вас не найдется?

— Лошадок надоело ловить, рыбки захотелось?— не утерпел Рай. Рыбаки испуганно сжались. Кален напрягся, подался вперед, жилы на висках у него набухли. Потом он передохнул и обмяк.

— Ха!— сказал он.— Я все думал — ты щенок мокроносый, а ты уже кусаешься...

Несколько человек засмеялись, все задвигались, закашляли. Один Еламан был по-прежнему хмур.

— Чего это ты к нам решил?— спросил он.

— Да вот слышал, человек тебе нужен. Возьмешь пайщиком?

— А Каратаз как?

— Ну Каратаз! Каратаз сам по себе, а я сам... А к слову сказать, ты тоже ведь работал на Каратаза! Говори прямо, нужен тебе человек лед долбить?

— Нужен-то нужен...

— Вот и возьми меня!

— Да я не решаю. Иди к Шодыру...

— Другой разговор! А Каратаз тут ни при чем, понял? Теперь с вами русскому баю послужу, а там поглядим, как и чего.

— Ладно... Ты вот что скажи, кто стал волостным?

— Каратаз.

— Карата-аз?

Все помолчали, потом Рай сказал:

— Похоже на то, что счастье слепо, идет не к тому, а?

Есбол-кария сидел до сих пор, свесив голову на грудь, и не по-

нять было, слышал ли он что-нибудь или дремал. Но вот он шевельнулся, поглядел на всех исподлобья.

— Ничего!— сказал он с расстановкой.— Даже итсигек... даже итсигек, я говорю, цветет до поры до времени.

— Ну пойдет теперь жизнь!— горько и вяло протянул кто-то.

— Н-да... Тут Каратаз, там русский бай...

— Вот тут и вертись!

Один Еламан все молчал и думал. Но думал он не о Каратазе. Кудайменде что — Танирберген, вот кто главный. Он и хозяином будет, и Каратазом будет вертеть, и все в волости будет так, как он захочет.

Но Еламан помнил и другое. Помнил он Акбалу и как Танирберген был у него в доме. Он знал, что рыбаки об этом знают, и не мог говорить о Танирбергене — рыбаки могли нехорошо подумать о его словах.

А рыбаки шумели все больше. Считали богатство Кудайменде, его овец и верблюдов. И чем дольше считали, тем выходило больше, и всем ясно уже было, что все дело в этих овцах и верблюдах.

Вдруг послышался глухой, ни на что не похожий звук, как бы звериный долгий вопль. Он шел откуда-то, вырывался, держался, как вьюга,— долго, потом ослабевал, затихал, чтобы через мгновение начаться снова. Звук этот не был похож ни на крик женщины, ни на стон мужчины, но он не был одновременно и воплем зверя, и еще он был тосклив и безудержен. И никто сначала не понял, откуда идет этот дрожащий непрерывный низкий звук,— одним казалось, с моря, другим — из-под земли, третьим — с неба...

— А!— вдруг крикнул что есть силы кто-то.— Это же Ализа!

Никто ему не отозвался, все слушали с сомнением, потому что все знали голос Ализы, а это был не ее голос. И все сразу подумали о ее десятом сыне, о мальчике, у всех что-то оборвалось в душе. Ее сын долго болел, он был уже по другую сторону тьмы, Мунке ходил с проваленными глазами все эти дни, и рыбаки знали, что страшное придет непременно, но как всегда старались не думать об этом. И когда кто-то закричал: «Ализа!»— никто ему не ответил, но все подумали, что это она и, значит, все кончено.

И тут все повскакали, стали одеваться, потому что нужно было знать, она это кричит или нет и что означает этот крик,— все сгрудились в дверях, вываливаясь на волю, но Еламан протиснулся, выскочил из землянки первым и почему-то побежал. Почему он бежал, он не знал — он редко бегал, а тут бежал без шубы, без шапки к землянке Мунке. И чем ближе подбегал, тем ужасный вопль становился слышнее, и Еламану было больно, он все уже знал и бежал все медленнее. И уже у порога он остановился.

Ему стало страшно, и он вспомнил о старших, об аксакалах — пусть они входят первые. Он остановился и пропустил вперед Есболакария и других, а сам вошел неохотно, неслышно, жадно и испуганно дыша воздухом землянки, в котором ему уже слышался запах смер-

ти. Он увидел, что низенькая землянка уже полна народу. Над казаном клубился пар, но что там кипело, никто не знал, и никто не думал об этом. Посреди комнаты мерцала лучина. Ее багровый свет слабо освещал лица. Рыбаки сидели кругом, глядели на огонь, и все стены и углы были темны от их теней.

Еламан боялся глядеть на Ализу. А замолчавшая Ализа в сбитом платке думала о казане, пыталась вспомнить, что там кипит. Ей было странно, она вдруг стала легкой, молодой, а эти рыбаки были ее гостями. Ей казалось, что ее мальчик уснул, и все прошло, и рыбаки пришли ее поздравить. Она пыталась сказать что-то приветливое, почтительное, но только приподнималась, а ее опять усаживали.

Потом внимание ее отвлекли Рай и Дос. Потому что они вдруг встали, пошли, заранее нагибаясь, в угол и что-то там стали делать. Она увидела, как они накрыли ее сына белым саваном и молча перенесли его к правой стенке[1].

— У-у-у!— низко и страшно завыла она и стала драть себе лицо ногтями. На нее накинулись, она успела еще вскочить, но все-таки ее свалили, подмяли, но она все выла сквозь закушенные губы, и человек пять еле повалили ее ничком, заломив руки за спину.

Тогда она вдруг замолчала, сплюнула раз и другой сухим ртом и потом хрипло позвала:

— Верблюжонок мой!

Ее еще боялись отпустить, а она опять позвала:

— Верблюжонок мой!..

Рыбаки стали отворачиваться, тихо кашлять. Одни отвернулись от света, было видно только, как дрожат у них скулы, другие плакали не таясь. Плакал, уткнувшись в стенку, и Еламан.

Четверо рыбаков с мокрыми лицами подняли Ализу и уложили на постель, губы ее были до крови искусаны, лицо изранено, но она закрыла глаза и не кричала больше, только дышала бурно.

И тогда все услышали голос старика, читающего нараспев:

— Велик и могуч аллах, а мы все лишь тень его тени, и не знаем мы, сколько отпущено роком видеть нам свет и ночь, радоваться луне, звездам и солнцу. И каждый уходит к роду отцов своих в свое время, потому что никому еще от сотворения мира не дано пережить самого себя, ибо человек ничтожен — так ничтожен, что не смеет даже благодарить аллаха за смерть свою...

Ализа не открывала глаз, она слушала этот голос, как бы равнодушный к жизни и смерти — не только ее сына, но любой жизни и смерти на земле, голос и жестокие слова, погружающие ее во тьму. Она их понимала даже не умом, а душой, потому что она понимала, что последний ее сын умер только что и перестал дышать. И она думала — странно так, отдаленно думала, и опять не умом, а душой — думала, как было бы хорошо, если бы сын ее не рождался вовсе, а жил всегда в теплой мягкой темноте и что-нибудь видел, какую-то

---

[1] У мусульман умерших кладут к правой стене дома.

свою жизнь, а потом умер бы вместе с матерью, и смерть его была бы незаметной, легкой. Кричать она уже не могла.

А Мунке был мужчина, он был рыбак, великий работник, и он знал, что ему не подобает плакать. Но когда Дос и Рай накрыли его сына саваном, когда они понесли его к правой стенке, когда забилась и закричала чужим голосом Ализа,— Мунке не смог больше терпеть. Он пополз в угол и прижался там лицом к стене, закрылся рукавом и стал дрожать.

Есбол-кария поглядел на него и подвинулся к нему.

— Уа, Мунке!— горестно и громко окликнул он, и все испуганно затихли.— Уа, Мунке, Мунке!..— И Есбол-кария часто задышал.

— Слышишь, Мунке? Слышишь, шумит море? Слышишь ты, как дышат рыбаки? Бог забрал у тебя данное тебе! Но кто может противостоять воле аллаха! Или ты думаешь, ты лучше всех?

Есбол-кария еще чаще задышал, и лицо его стало жалким, губы запрыгали.

— Вот я уже и стар...— задыхаясь, сказал он и невидяще глянул на рыбаков, а они не смотрели на него, каждый зажал лицо ладонями.— Я не думал о жизни и смерти, когда был молод, а вот уже и я скоро уйду. . И мне хуже тебя, потому что хоть я и не ведал смерти детей, но не знал я и жизни их. Не было у меня детей, Мунке!

Есбол-кария покривился. И руками почему-то щупал себя по бокам и за ноги, щупал, будто искал что-то.

— Были... были бы...— он задохнулся на минуту.— Я бы думал о них сейчас, они были бы со мной... Уа, Мунке! Всю жизнь я был один-одинешенек...

Тогда Мунке перевернулся и передохнул. Потом крепко утерся рукавом. И затих. Он не ободрился, не покрепчал духом, но и не дрожал больше. Ализа молча и шумно дышала.

Долго все молчали, думая, что кто-нибудь скажет что-то, но никто не говорил, и рыбаки стали потихоньку расходиться. Пошел домой и Еламан — с Мунке и Ализой остались старики.

Он шел один, ничего не видел и не слыхал. Только у самого дома услышал он за спиной чье-то прерывистое дыхание и резко остановился. Кто-то шел за ним, и он сначала не мог понять, кто. Потом кто-то прошел мимо него, не остановившись, прикрыв рот жаулыком, нагнув голову, и он понял, что это Акбала. Еламан догнал ее, взял за руку, и они пошли рядом. Он хотел сказать ей что-нибудь, но не мог ничего придумать.

В нетопленой их землянке стояла стужа. Но они даже и лампу зажигать не стали, только скинули с себя верхнее и легли на полу возле печки.

По привычке они отвернулись друг от друга. Еламан закрыл глаза, но не заснул, а стал думать о смерти, о рыбе, о своем будущем ребенке, о Федорове и Танирбергене... Акбала не шевелилась, дышала ровно и глубоко. «Спит?— подумал Еламан и решил:— Наверное, спит!»

Он еще полежал. Уставший за день, засыпал он всегда быстро, а тут сон не шел. Где-то глухо лаяли собаки. Потрескивал лед у берега. Потом послышались снаружи тихие шаги. Потом скрипнула дверь, и кто-то крадучись протиснулся в землянку. Еламан сперва похолодел, потом его обожгло, он вскинулся в испуге и стал шарить возле себя.

— Тихо, тихо...— услышал он свистящий шепот.— Выйди-ка на минутку...

По голосу Еламан узнал Сары-балу. Он не подал виду, что испуган, стал подниматься, но остановился и послушал Акбалу. Та все так же ровно, глубоко дышала. Еламан успокоился и посмотрел в темноте в сторону Сары-балы — тот уже выходил. Тогда Еламан, накинув первую попавшуюся одежонку, пошел следом. Дверь у них поскрипывала иногда, и он ее долго осторожно прикрывал.

А Акбала не спала. Она чутко слушала. Слышала она, как кто-то пришел, как вышел Еламан, как долго, неслышно прикрывал дверь. Выпростав ухо, она слушала все эти звуки, потом вскочила и, простоволосая, босая, неверно ступая в темноте по холодному полу, дошла до двери. Сердце у нее билось от страха, но ей надо было знать, кто пришел и зачем. Встав на цыпочки, она стала глядеть в верхнюю щель. Она знала, что Еламан силен. Но ночной гость был еще крупнее. Они стояли невдалеке, шагах в десяти, но было так темно, что она не могла узнать, кто пришел. Она только знала, что русский.

Голос ночного гостя был низок и груб. «Может, Иван Курносый?»— подумала Акбала. Ивана Курносого она боялась. Прижав руки к груди, приоткрыв рот, она прислушивалась. Но на улице свистел ветер, и она слышала только:

— Новый волостной... сегодня... Федорова...

Грубый голос гудел и гудел, а Акбала ничего не слышала, но скоро успокоилась. Ночной гость разговаривал тихо, ему что-то отвечал Еламан, потом Еламан спрашивал, а отвечал тот, и она поняла, что это не враг.

Еламан сгоряча вышел из землянки в чем попало. Долго он на ветру не устоял, и они подошли, стали в затишье, у самой двери.

Теперь Акбала их не видела, зато слышала все.

— Так вот... Федоров говорит — плохой улов. Рыбы совсем нет, понял? Завтра придется выходить на лед, понял?

И голос Еламана:

— Да лед-то, лед тонок! У берега половить еще можно...

— Поговори иди с ним! Сказано, завтра пойдете в море. Гляди, как знаешь, мое дело сказать... А только будь осторожен!

— Хоп. Спасибо, дорогой...

Тот большой тенью тихо пошел прочь, а Еламан, поглядев ему вслед, повернулся и стал нашаривать дверь. Акбала на цыпочках подбежала к печке и забралась под одеяло. Сердце у нее колотилось, ноги застыли, но она старалась дышать ровно. «Что это? Что это?—

испуганно думала она.— «Будь осторожен...» Что это?»— и старалась унять дрожь.

Еламан, шурша, разделся, залез под одеяло. Осторожно ворочаясь, он коснулся холодных ног Акбалы и стал укрывать их. Тогда Акбала повернулась к нему:

— Еламан!

— А?— Еламан удивленно привстал.

Акбала молча прижалась к нему. Он лег и стал греть ее.

— Кто это приходил?— шепотом спросила она, немного согревшись.

— Что? Кто приходил?..— тоже шепотом переспросил он, отдаленно думая о том, что приходил Андрей. Он только чувствовал горячее тело жены и ее большой живот. Он пощупал ее грудь — и грудь была большая и тугая.

— Что ты спросила...— опять повторил он... Но в этот момент он услыхал, как в животе Акбалы что-то толкнулось, приподнялось и опало, и он тут же все забыл. И с нежностью стал думать о том, кто его так сильно толкнул.

IX

Заснул он в черноте, в черноте и проснулся. Жизнь еще не совсем вернулась к нему, как он почувствовал уже, что не выспался. Глаза его слипались и голова валилась.

Он снова задремал было, но в утренней дреме уже думал обо всем и вдруг вспомнил, что у Мунке умер сын. Тогда он сел и стал тереть глаза. Через минуту он совсем очнулся. Сына Мунке по обычаю надо было хоронить сегодня. И тут он вспомнил Андрея, этого Сары-балу, и тонкий лед, и то, что им сегодня надо идти ставить сети далеко в море. Подумав обо всем как следует, Еламан решил идти к русскому купцу, чтобы всем отпроситься на день.

Он хотел было совсем встать, но, уткнувшись лицом ему в бок, заревым сном спала Акбала, и Еламан решил еще посидеть. Все в ауле спали, не слышно было ни плача Ализы, ни лая собак. Только за стеной свистел ветер, а под боком тихо дышала жена.

Потом она вздохнула, пробормотала что-то очень тихо и нежно, перевернулась на другой бок и потянула к себе одеяло. Еламан послушал ее дыхание, встал, оделся и вышел на улицу. Было еще совсем темно, и дул ветер. Еламан поднял голову — на небе не было ни одной звезды. Холодный ветер обжигал ему лицо. Сквозь ветер отдаленно доносился слабый, но низкий и постоянный гул.

Еламан посмотрел туда. Сначала он не увидел ничего. Тогда он решил подождать и спрятаться от ветра. Через некоторое время он опять поглядел на море. Начинался еле ощутимый зимний рассвет. От берега вдаль уходила белесая равнина. Еламан знал, что это лед. А моря все не было видно, и по-прежнему издалека доносился гул. «Видать, до самого Бозбие схватило льдом»,— подумал Еламан,

привычным ухом прикидывая расстояние, с которого слышался ему гул моря.

Подождав еще немного, он пошел вниз. Он шел не торопясь, все думая об Ализе и Мунке, и о себе и о Федорове, и не скоро подошел к берегу. Ночной ветер смел легкую порошу со льда, и лед жестко синел в бледном утреннем свете. Еламан пошел по льду, нарочно крепко стуча коваными каблуками рыбацких сапог. Лед не колебался, не пружинил под ногами. Весь залив Тущы-Бас был скован морозом.

По привычке Еламан стал соображать, как было бы хорошо рыбакам переждать дня три, а не идти сегодня далеко в море. Он знал, что при волнении в море лед чем дальше от берега, тем более зыбок и слаб. И он боялся, что Федоров сегодня все-таки погонит их в море. Промыслы его давно пустуют, а он жаден! Пришел ему на ум и Кудайменде. Он знал, что Кудайменде не любит рыбаков с кручи. Но никогда не думал он, что волостной в первый же день своего избрания приедет к Федорову. Как это сказал Андрей?.. «Эти рыбаки — самая рвань!— якобы говорил Кудайменде Федорову.— Работать не любят, с бабами только лежат. Живут же другие в моих аулах! И хорошо живут! А эти потому и сбежали, что ленивы. Ты говоришь, рыбы нет. Откуда же тут быть рыбе? Отбери ты у них все снасти. А я тебе найду настоящих джигитов в своих аулах».

Да, так, уговаривал Федорова Кудайменде. Еламан и раньше думал, что им туго придется, когда Кудайменде станет волостным. Но чтобы в первый же день приехать к Федорову!

Еламан боялся идти сразу к Федорову и пошел сперва к Ивану Курносому. Иван уже встал и ел вчерашнюю рыбу. Как только Еламан отворил дверь, в нос ему ударил противный для степняков сильный запах квашеной капусты.

— А, Еламан...— промурчал Курносый, прожевал, покосился на рыбу и опять принялся есть. Потом утерся, но не вытерпел и ухватил еще кусок.

— Знаю, знаю,— быстро, небрежно сказал он, перестав на минуту жевать.— У вас вчера пацаненок загнулся... Знаю, хоронить надо. Ступай к Федорову... Только гляди!

Еламан вышел на крыльцо, подумал немного и все-таки решил идти. В доме Федорова уже встали, молодая беленькая бабенка толклась возле печи на кухне. Увидев Еламана, она присела к столу и стала разглядывать его.

Казахов она не любила, брезговала, но Еламан ей понравился. Он не был красив, но был плечист, крупен, и одежда сидела на нем аккуратно.

Еламан не привык стесняться с женщинами. Но он знал только своих, казашек, а те были смирны, скромны с мужчинами. И еще они были привычно смуглы, черны волосом и глазами...

Эта же сидела белая, полная, разглядывала его светлыми глаза-

ми, и в них он уже видел желание, откровенное, жадное — ноздри ее подрагивали, и Еламан смутился.

— Бай дома?— спросил он неуверенно.

Она поднялась, прищурилась, еще раз оглядела его жадно с головы до ног и пошла в комнаты. Икры ее кинулись Еламану в глаза, они были белые, не как у казашек.

«Черт! Везет этому Федорову, такая баба!»— подумал Еламан, прокашлялся и стал оглядываться. Первое, что он увидел, была кровать. Кровать была никелированная, подушки торчали стоймя, как бы навострив уши. Ослепительно белый подзор спускался до самого пола, а под одеялом угадывалась мягкая округлость перины. «Вот где они спят,— опять подумал Еламан.— Везет чертям!» Он с тоской переступил с ноги на ногу. «Однако, шлюха она!»— решил он окончательно и, чтобы не расстраиваться, стал думать о том, что сегодня надо хоронить сына Мунке и что на лед далеко в море выходить опасно.

Где-то в комнатах, в глубине дома, послышался женский смех. Потом некоторое время было тихо. Еламан устал ждать и по привычке степных казахов пошел в глубь дома искать, куда ушла эта проклятая баба и где Федоров.

Войдя в третью или четвертую комнату, он увидел, что Федоров целует эту шлюху, а она сидит у него на коленях. Увидев Еламана, баба опять засмеялась, а Федоров побагровел, спихнул ее с коленей и торопливо поднялся. Проходя мимо Еламана, она опять оглядела его, опять ноздри ее дрогнули, а глаза прищурились и потемнели.

Как только она вышла, Федоров засопел и шагнул к Еламану. Еламан только теперь понял, что вошел не вовремя, и смутился.

— Таксыр...— почтительно начал он.

— Ах ты косая морда!— заорал Федоров и побагровел.— Ах ты азиат!

Еламан побелел и отступил к порогу.

— Таксыр...— опять сказал он просительно.— У Мунке умер ребенок...

Федоров подскочил к нему и тыльной стороной ладони стеганул его по губам.

— Ты... по до-мам лазить, ко-соглазая морда?— хрипло приговаривал он и хлестал Еламана справа налево. Еламан все белел, но не защищался.

— Таксыр,— упрямо повторил он, неловко шевеля разбитыми губами.— Таксыр, лед тонок... Погоди дня три, ты что, погубить нас хочешь?

Федоров коротко сунул Еламану кулаком в зубы и заорал:

— Пошел вон, сука!

Еламан стукнулся затылком о стену, пополз было вниз, но удержался. Кровь сильно пошла у него изо рта. Утеревшись, покачнувшись, держась за притолоку, Еламан пошел вон. Федоров было кинулся за ним, хотел затравить собаками, но опомнился, отошел.

Вернувшись, он поглядел на правую руку. Рука распухла и дрожала. «А ведь этот азиат Кудайменде прав!— подумал он.— Недаром он аж шипит на этого Еламана». Он опять поглядел на руку, стал растирать ее. «А здорово я ему врезал!»— подумал он и усмехнулся. Чтобы успокоиться, он закурил. Руки его все дрожали, правая рука ныла, папиросу свертывать было неудобно. Зато сладка показалась ему первая затяжка! Задохнувшись, выкатив глаза, он долго откашливался. Потом, отдохнув, стал курить уже спокойно. И пот пошел у него по шее и по лбу.

— Ф-фу!— сказал он, сел к столу и оглядел комнату. Задержался взглядом на фотографическом портрете щегольски подтянутого молодого офицера. Нахмурился, покашлял. «Давно не было вестей, не на фронт ли, спаси бог, забрали?»

Потом вспомнил, что и сам давно уже не писал сыну, нашел бумагу, перо, заглянул в чернильницу. Чернила еще были. Опять сел к столу и задумался.

В прошлом году сын приезжал, женился на дочери богача соседа, купца первой гильдии Маркова. Последие годы Марков вошел в силу, строил в Аральске первые большие дома, построил церковь, построил гостиницу, организовал акционерное общество «Хива». Рыба с Аральского моря, тюки хлопка из Хивинского ханства, караваны с чаем и шелком из Китая — все шло через его руки. Породнившись с Марковым, Федоров пошел в гору. А ведь раньше крепко прижимали его свои же купцы. То соли достать не мог, то подвод под рыбу не было...

Став сватом Маркова, он первым делом попросил свата поприжать своего конкурента, богатого купца Егорова, по прозвищу Хромой Жагор. И сват постарался. В прошлом году Хромой Жагор все лето никак не мог достать соли, и только в один год три раза протухали у него большие партии рыбы.

Вообразив, что чувствовал Хромой Жагор, вываливая гнилую рыбу в море, Федоров ухмыльнулся. «Погоди, хромой черт!— с удовольствием думал он.— Ты у меня запрыгаешь!»

Федоров, раскорячившись, начал было письмо и уж написал, что дела его, слава богу, понемножку поправляются, как вдруг вспомнил Еламана. Настроение писать пропало. Отложив письмо, он велел позвать к себе Ивана.

— Давай иди к рыбакам, мать их...— сурово сказал он и посопел.— Скажи, чтобы непременно всем выйти на лед. Скажи, если не пойдут — всех рассчитаю, трынки не оставлю!

— Борис Николаевич, лед-то и вправду хреновый. Тонок еще.

— Ты! Поговори еще! Али сытая жизнь надоела?

— Воля ваша, Борис Николаевич, только я в том смысле, что снастей можем лишиться.

— Не давай им новых снастей, старые сойдут...

Иван все понял и вышел. Федоров подошел к окну, поглядел, как тот торопливо пошел к аулу, и усмехнулся. Три года назад, купив по

случаю промысел, решил он поехать на Аральское море. Дети его учились, и жена должна была оставаться дома. Федоров решил ехать один, но раздумался, как ему долгое время быть без бабы. Но до самого отъезда дыхнуть некогда было. Вот тогда-то ему и повезло. Проезжая как-то мимо церкви, заметил он на паперти молоденькую нищенку. Он слез с тарантаса, подошел поближе. Одета нищенка была кое-как, но он мысленно прикинул, что из нее получится, если ее одеть и подкормить. Получалось ничего себе... Нищенка была сирота, и Федоров скоро сговорился с ней.

Оставалось уладить ее отъезд с ним. Федоров все-таки побаивался жены и решил для отвода глаз выдать нищенку замуж за Ивана. «Дурак!— говорил он ему.— Кто ты есть? Червь! А я тебе благодетель! Ты не гляди, что она нищая, я какое-никакое приданое ей справлю. Желаю, чтоб ты на ней женился, и все! Понял? За мной не пропадет».

Иван сперва покочевряжился, потом согласился с неохотой. А когда в церкви глянул на невесту в фате — обомлел: так хороша была вчерашняя нищенка. Федоров был сватом, и при всем честном народе крепко обнял свата счастливый Иван, крепко же и поцеловав мокрыми губами.

Вспомнив поцелуй Ивана, Федоров даже и теперь сплюнул, утерся рукавом и с удовольствием сказал вслух:

— Дур-рак!

X

Иван Курносый в рыбацкий поселок пришел мрачный. Собрав рыбаков, он хмуро передал приказ Федорова. Сегодня в море нужно было выходить обязательно. Если добром не пойдут, Федоров отберет все рыбацкие снасти. Сообщив приказ купца, Иван поглядел на Еламана. Он знал, что Еламана слушаются и что многое зависит от него. А Еламан, сгорбившись, пристально разглядывал что-то у себя под ногами. Он знал, что Федоров жаден и пойдет на любую крайность. И он не хотел вмешиваться, рыбаки должны решать сами.

Рыбаки поговорили. Они прикидывали так и сяк, и выходило, что надо идти. И когда уже всеми решено было идти в море, Кален вдруг буркнул:

— Пойдем в море — ладно. А хоронить когда? О душе мальчишки и заботы нет...

Мунке с утра сидел, уткнув лицо в ладони. Услышав Калена, он поднял голову, обвел всех воспаленными глазами.

— Нет нам жизни без Тентек-Шодыра. Что будешь делать... И что думать о мертвых, о живых надо думать и заботиться. Ну завтра похороним... А то и сегодня успеем, если пораньше вернемся. Надо идти, рыбаки...

— Идти так идти!— сказал Еламан, вставая и поправляя платок на рту.— Пошли!

И первый пошел вон, а за ним, на ходу подпоясываясь, застегиваясь, стали выходить и другие.

На улице было нехорошо. Заунывно выл морозный ветер, мелкая твердая снежная крупа секла лицо. Посмотрев на низкое небо, повернувшись спиной к ветру, Еламан затосковал — все было плохо последние дни: и погода, и смерть в ауле.

К Еламану подошли рыбаки: и Мунке, и Дос, и Рай. Помолчали. Кое-кто сморкался, вытирал выжатые ветром слезы.

— Н-да... Погодка!

— Вроде на бурю тянет, а?

— Задует с севера, лед от берега отнесет.

— А и точно, ребята, отнесет, а?

— Может, поговорить с Тентек-Шодыром?

— Апыр-ай, поговоришь с ним!

Народ все подходил, и вдруг показался Итжемес. Итжемес был младшим братом старика Суйеу. В этом году его женили, но толку с этого никакого не вышло. По-прежнему он был пустой малый. Слабосильный, болтливый. Работал от случая к случаю. То ездил с подводчиками в город, то рыбачил. Работал на льду он только первые дни, а потом уставал, мерз и отсиживался дома.

Из-за уважения к Суйеу рыбаки не решались обделять его. В прошлом году они всю зиму кормили его, выделяя мертвую долю. Теперь он опять пристал к ним, и опять неуютно ему было в море.

На нем была заношенная черная куртка, которую он купил у русских в городе. Рукава ее были подвернуты, но все равно куртка была ему велика. Рай поглядел на куртку и перестал хмуриться, заулыбался.

— А-а,— насмешливо начал он,— а я это себе думаю, какой такой русский бай пожаловал? А это никак ты, сват?

Итжемес тотчас, заикаясь, затараторил:

— Р-раньше, понимаешь, боялся одетых в ч-черное. Ай к-как боялся! А теперь с-сам оделся в ч-черное, никого теперь не стал бояться!

Он вдруг осекся и уставился на море. И все тоже повернулись и опять стали смотреть на море. Итжемес испуганно заморгал.

— В-вы что, на л-лед собираетесь?— Он еще больше начал заикаться.— Н-ну с-счастливо! С-счастливо половить рыбки!

Он помолчал, потом разозлился, потом удивился на себя:

— В-возьмите и м-меня тоже! Д-добыча общая, и жизнь общая, а?

Его стали отговаривать, но Итжемес, выворачивая огромные ноздри, никого не слушал, кричал, и чем больше кричал, тем больше никого не слушал. Слова какие-то бродили в нем, и он их выталкивал и был занят этим делом, и то понимал себя, то не понимал, а других не понимал и подавно.

Рай, разинув рот, глядел на его ноздри и радовался: «Ай, ну и ноздри, как у сайгака!»

— Сват, а сват, погоди-ка!— начал Рай.

— Н-нет, не п-погожу...

— Да ты послушай!

— Н-не послушаю!— и Итжемес решительно заковылял за сетью.

Еламан не любил своего свояка. Проводив его хмурым взглядом, он кивнул рыбакам и пошел домой. Акбала безучастно сидела у печки. Еламан не хотел показывать своей тревоги, но она, как только взглянула на него, испугалась и тяжело поднялась.

— Ты вот что... ты не волнуйся,— начал Еламан и смутился.— Мы сейчас это... на лед идем. Вот рукавицы где-то...

Он неловко стал искать рукавицы, Акбала тоже стала искать и скоро нашла. Еламан хотел выйти, но она схватила его за рукав.

— Это опасно?— с тревогой спросила она.

— Да нет, ничего...

— Ты все скрываешь от меня,— печально сказала Акбала и отвернулась. Она боялась, сама не зная чего. Вернее, она боялась всего. Вот вчера кто-то тайком приходил к нему предупредить об опасности. Потом Еламан пришел домой весь в крови, с выбитым зубом...

Еламан потоптался, покашлял, потом обнял жену.

— Погода мне не нравится, с севера тучи идут, ветер. Да ты не бойся, ты же знаешь, такое ли мы видали!

Он хотел уйти, но Акбала опять не дала ему.

— Ужасная погода,— отчаянно сказала она. Губы ее тряслись, лицо помертвело.— Страх какой-то напал на меня. Слышишь, не оставляй меня сегодня одну, не оставляй, Еламан, милый, я чего-то боюсь...

Она спрятала лицо у него на груди, и Еламан стал гладить ее. «Это у нее потому, что рожать скоро,— думал он.— Первый ребенок, это, наверное, всегда так, все эти страхи».

Когда муж ушел, Акбала не шевельнулась, только приложила горячее лицо к дверному косяку. Потом она повернулась и оглядела пустую комнату. Когда в степи стоит юрта, когда вокруг бараны и верблюды, и бегают дети и собаки, и горит огонь в очаге — так все тогда шумно, весело, потому что в степи идет жизнь. Но вот юрту снимают, и все уходят на другое место, неся туда свою жизнь, и на брошенном кочевье остаются мусор, зола и пыль — и ничего больше. Акбала оглядывала пустую комнату, и она напоминала ей покинутое кочевье. И ей казалось, что если она до вечера посидит в этой комнате, то умрет от тоски. Тело ее ломало, тяжесть какая-то была в руках и в ногах. Так случалось с ней часто в последнее время, и тогда она ходила к Ализе посидеть, поговорить. А теперь вон как Ализу скрутило, ах, не дай бог, вот так и самой испытать это!

Хотела Акбала чем-нибудь заняться, да нечем было. Дрова были занесены, вода припасена, даже вещи в комнате были прибраны. С тех пор как она потяжелела, Еламан вставал чуть свет и делал все сам. От скуки Акбала решила сварить коже. Она пошла к соседям

и принесла ступу и пест. Потом растолкла чашку пшеницы и высыпала в котел. Печка не тянула, ветром забивало трубу. Дым толчками фукал из топки. Стало трудно дышать, и она распахнула дверь. И тотчас, будто ждала под дверью, в дом сунулась Каракатын.

— А я уж думала, у тебя пожар,— сказала она и села рядом.— Эхе-хе, занепогодило-то как! Как бы мы тут все не осиротели, как вон Ализа.

Акбала сжалась в тоске и потупилась. И, будто нарочно, Каракатын стала говорить о своих предчувствиях. Все получалось у нее жутко, и Акбале совсем стало невмоготу.

— Я сейчас за дровами ходила, лед видела. Не поверишь, тонок, как темя младенца, ей-богу! Под ногами так и гнется!

У Акбалы по всему телу вдруг выступила испарина, и в низу живота резко потянуло. Испугавшись, побелев, она широко раскрыла глаза.

— О господи... Да перестаньте же!— жалко попросила она.

Каракатын встрепенулась и понеслась во весь дух:

— Ложись скорей, ложись, беда случится! Испугалась? Сколько ему? Месяцев семь, наверно? Богу молись, не гордись... Семимесячный сразу может выскочить, маленький... Ох, какое у тебя опасное время — плод созрел, понимаешь?

— Ах, да оставьте вы меня в покое...— опять жалко сказала Акбала.

Каракатын даже в лице переменилась. Оно посерело, закаменело, но и злобное веселье заиграло на нем.

— А, ты вот как?— Каракатын поднялась.— Это на мою-то заботу? Это я-то тебе покой нарушаю? Я ей советы даю, первый раз рожать будет, а? Я-то о ней забочусь, а? «Оставьте меня в покое»! Да чтоб твое пузо лопнуло! Да чтоб ты пропала!

Каракатын ушла, а Акбала, усмиряя дрожь, стала думать о муже. Эта черная сатана совсем запугала ее, и она не могла усидеть дома. На улице ледяной ветер сразу прохватил ее до костей. Дрожа и запахиваясь, она огляделась. Черные тучи подступали. Все еще секла жесткая снежная крупа. Синий лед затянуло местами белой порошей. Вдалеке еле видны были темные точки фигур рыбаков. Дальше за ними море еще не замерзло, до самого горизонта простиралась темная лохматая вода. Оттуда, от водяной массы, преодолевая тонкий посвист ветра, приходил и другой звук — низкий, ревущий.

Акбала пошла на берег моря. Ей показалось, что ветер все крепчает. Редкий пожелтевший прибрежный камыш, наполовину поломанный, сухо свистел и шуршал. Возле берега уже показались закраины, на лед языками залилась красная вода. В некоторых местах лед лопнул, отошел от берега. Окна чистой воды морщились под берегом черной рябью.

Акбала так напугалась, что ноги не держали ее. «Господи!— молилась она.— Сохрани его там, сохрани их всех, не дай нам осиро-

теть!» Она вернулась. Дом был холоден и полон дыму. Коже не вскипело, мука села на дно. «Ах, как плохо! — тосковала она.— Зачем он ушел, зачем они все ушли!

Пачкая руки в саже, она глубже в топку засунула тлеющий камыш, и труба вдруг свирепо, грозно загудела. Ток воздуха был так силен, что камыш почти вырвало из рук Акбалы. Акбала, похолодев, сама не своя, бросилась на улицу. У дверей она упала, но тут же вскочила и, приподняв подол, выбежала.

Небо было черное. Тучи волной неслись на Акбалу. Страшный ветер дул прямо с севера. В воздухе что-то неслось, кувыркалось, летели какие-то пучки, куски чего-то рваного, песок колол иглами. С головы Акбалы сорвало жаулык. Задыхаясь, она ухватилась за косяк и повернулась к морю. Вначале она ничего не видела, ей казалось, что кто-то яростно бьет ее, отрывает от косяка, толкает к морю, даже приподнимает и встряхивает. Волосы свалились ей на лицо, потом поднялись над головой и шелестели на ветру. Собрав волосы, Акбала прижала их к затылку и опять посмотрела на море. Она увидела, что лед оторвался по всему берегу и уходил в море.

— Еламан!.. Еламан!..— страшно, низко закричала она и повалилась ничком. Жгучая боль ударила ее в низ живота, она перевернулась навзничь, закричала, потом закусила посиневшие губы, потом опять закричала, все так же низко и страшно. Начались схватки.

XI

Жалмурат в белой шубе на быстроходном холощеном верблюде гнал перед собой верблюжий табун. Робкий, не находчивый на людях, Жалмурат среди верблюдов чувствовал себя совсем другим человеком. Он знал о них все, что нужно знать, и они знали, что он знает, и слушались его.

Он гнал верблюдов к морю, все время держа их в одном гурте. Особенно пристально следил он за рыжим верблюжонком с непробитой ноздрей. Он придирался к нему, гонялся за ним, и когда напуганный верблюжонок смирнел, успокаивался и Жалмурат. Он оглядывал гурт, все было в порядке, и тогда он начинал думать о рыжей верблюдице и искал ее глазами. Он любил эту голенастую пышношерстную верблюдицу. На сердце у него становилось горячо и сладко, когда он смотрел на нее. И все ей прощал. Даже когда она несправедливо обижала молодых, кусала их и они визжали, он только думал: «Так, так его! Ну-ка подергай его, непослушного, за уши!» В этом году рыжая верблюдица раньше всех должна была опроститься, и Жалмурат перессорился со всеми женщинами байского дома, но все лето не давал возить на ней груз. Теперь она уже ходила последние дни.

Жалмурат гнал табун скоро. Он видел, как ей худо, как она сопит и тяжело бежит, но передышки не давал. Его беспокоило сейчас другое. Он с тревогой посматривал на небо, оглядывался назад. Быстро

и низко его догоняли тяжелые черные тучи. К перемене погоды у него обычно начинали гореть ладони рук и подошвы ног, потом начинали ныть кости, ломило в пояснице. Сейчас ему казалось, что в суставах у него песок и они скрипят. В прореху под мышкой задувал ветер, бок холодило. «Ай!— думал Жалмурат.— Совсем худо! Совсем худо! Неужто буря будет?»

Он поглядывал на море, и ему далеко было видно. Он видел, как все дальше по льду уходили рыбаки. Вот они стали совсем как точки и остановились. Значит, подошли к проруби. Еламан был добр, и Жалмурат много раз получал от него сыбагу. И он думал, что, может быть, и сегодня Еламан даст ему рыбы и он накормит жену и детей свежей ухой. От этой мысли ему становилось теплее, и суставы вроде не так трещали и скрипели.

Верблюды обычно охотно пасутся среди прибрежных солончаков и никуда не уходят. Подогнав гурт к морю. Жалмурат спешился и пошел к вожаку — крупному белогубому верблюду. На всякий случай он спутал вожаку передние ноги. Теперь он никуда не побежит, и весь гурт будет пастись возле него.

Потом он пошел к берегу. На берегу стояли двое в черном. Прищурившись, Жалмурат вгляделся и узнал Ивана Курносого и Андрея. Жалмурат заулыбался им издали, закивал, но вдруг кто-то настиг и ударил его сзади, подхватил, перекувырнул. Это налетел шквал. Он был так резок и внезапен, что, только сидя на песке, изо всех сил упираясь ногами и руками, Жалмурат понял, кто его ударил и перекувырнул.

Поднялась пыль, камыш лег на землю, кругом почернело. И Жалмурат, и Андрей, и Иван Курносый одновременно увидали, как стал рваться лед у берега, как между льдом и берегом сразу оказалась полоса воды и весь лед, сколько его было в заливе, чернея змеевидными трещинами, пошел в море.

Увидев это, Андрей ахнул и побежал к лодке.

За ним побежали Иван с Жалмуратом.

— Ты чего?— крикнул, подбегая, Иван.

— Рыбаков спасать надо!— Андрей, ухватившись за нос лодки, спихивал ее в воду.

— Тю! Сдурел!— закричал Иван, оттаскивая Андрея.— Зальет, не видишь — буря!

— Гляди, людей уносит!

— А хрен с ними, пускай уносит...

Иван Курносый, согнувшись, закрывая лицо рукавицей, пошел прочь от берега.

Андрей растерялся, он поглядел вслед Ивану, потом на море, потом на Жалмурата.

— Жалмурат!— заорал он, потому что ничего не слышно было.— Поедешь?

Жалмурат молча закивал, вдвоем они навалились на лодку, спихнули в воду, и вот уже, подпрыгнув раза два на одной ноге, в

лодку кинулся Андрей, будто верхом на коня вскакивал, вот и Жалмурат, гремя мерзлой шубой, грудью бросился на нос и перевалился через борт — и лодку понесло от берега.

Только теперь Жалмурат понял, какую сделал оплошку. Он никогда в жизни не был на воде, не садился в лодку, моря боялся до ужаса и теперь вцепился в борта, боясь шевельнуться.

Их несло вслед за льдом, Андрей подгребал. У берега волн еще не было, только крупная беспорядочная рябь, но ветер свистел все сильней, рябь покрывалась белой пеной, в воздухе летела водяная пыль. Жалмурат увидел смерть, зажмурился, и все в нем похолодело и опустилось. Андрей греб и греб, они нагоняли лед, но медленно — лед уходил в море. Волны делались круче, выше, они уже поддавали под корму. «Ради слез маленьких детей... Господи! Ойпырмай...» — думал Жалмурат.

Чем дальше, тем больше окутывала их холодная тьма. Казалось, весь мир сжался в темный ледяной комок, и они были в этом комке. Между льдом и берегом было уж километра три, и на этом пространстве свободной воды стояла беспорядочная толчея. Волны били лодку под корму, с бортов, даже с носа. Грести было невозможно. Андрей отчаялся. Жалмурат, обмерев, только хватал его за ноги и, зажмурившись, бормотал: «Ойпырмай!..» По жиденькой бородке его текла вода, он был мокрый насквозь. Андрей тоже промок, но ему было жарко от гребли, он снял и бросил на дно стеганую куртку.

Поняв, что рыбаков на льду не догнать, он поворотил к берегу. Быстро вечерело, еще потемнело, ветер у берега развел порядочную волну. Андрей греб что есть силы, далеко откидываясь назад при каждом взмахе, но лодку тащило в море.

На западе, под пологом черно-синих туч открылась неширокая смуглая полоска неба. И оттуда, почти параллельно земле и морю, выбились красные лучи солнца; они осветили рваное брюхо низко мчавшихся туч, и казалось, брюхо это, волочась по степи, по увалам, все изодралось и по нему выступила кровь.

Андрей понял, что сейчас солнце канет во тьму и на море упадет зимняя ночь. Жалмурат мотался на дне лодки, он уже и молиться больше не мог, только скулил на бесконечной высокой ноте. Губы его посинели, рук и ног он не чувствовал — замерзал.

Жутко стало Андрею, тоска напала на него, он понимал уже, что спасения не будет, но все греб и греб, далеко откидываясь, хоть спина задеревенела.

С шипением надвинулась очередная волна и выломала весло. Лодка стала боком к волне, потом кормой, опять боком — и, как птица с перебитым крылом, пошла в море.

— Ну, теперь все...— как бы даже с облегчением сказал Андрей и тоже сполз на дно лодки.

Их несло в свисте и шуме, везде шипели волны, солнце зашло и, ничего не стало видно. Вокруг появились разбитые ветром и волной льдины. Иногда лодка стукалась, скреблась о них. Андрей остывал,

потом совсем озяб и почти успокоился. Равнодушие сошло на него, но он еще пытался соображать, как бы выкрутиться. Он не знал, где они сейчас, но знал, что у выхода из залива в море стоит скала Кара-туп. И вот последняя его надежда была, что лед, тронувшийся у подножия Бел-Арана, одним крылом пристанет к скале и задержится.

А если нет — тогда их погонит к юго-востоку, к Каракалпакии, а там уж и смерть. Льды вокруг становились гуще, и все чаще лодка скреблась о них. Жалмурат перестал скулить и лег на дно, в воду. Они вошли во льды, тут почти не качало, но ветер по-прежнему выл, и кругом слышны были гул, треск и шорох ломающегося льда.

Лодку толкнуло раз, другой, потом поднажало, она треснула. Андрей оглядывался, нигде не было воды, кругом смутно белел лед. Лодка снова затрещала, дернулась, поднялась на дыбы. Сломанные доски бортов сжали Андрею ноги, он вырвался, вывалился на лед, заорал: «Жалмурат!» Жалмурат не отозвался. Тогда Андрей, срывая ногти на пальцах, сгреб его за обледеневшую шубу, выволок на лед и перевел дух.

— Эй!— позвал он и потряс Жалмурата.— Слышь, ты! Слышь...

И тут только заметил, что руки и ноги Жалмурата уже закоченели. Жалмурат был мертв. Андрей так напугался, что потащил было тело Жалмурата, потом опомнился, бросил. Потом уже в беспамятстве пошел куда-то по ветру. Идти против ветра он не мог. И сидеть не мог, чувствовал, что замерзает. В темноте он не заметил, провалился в трещину, рванулся вперед и ничком упал на лед, разбив лицо. Немного полежав, он попытался встать. Штормовой ветер сдул со льда всю порошу, и лед был гладок и крепок, как стекло. Андрей елозил по льду локтями и коленками, пытаясь подняться, но ветер сваливал его, и он опять распластывался.

Лежал он на самом краю льда, одна нога его была в воде, но он не мог ни отползти, ни встать. Нога, которая была в воде, стала гореть. Сознание у Андрея мутилось, и ему временами казалось, что он опустил ногу в кипящий котел.

Он шевелился, извивался, как змея, но не двигался с места, нога все еще была в воде. Он начал царапать лед ногтями и содрал все ногти. Его стало корчить, судороги пошли по ногам и спине, и он тонко, по-бабьи заплакал, заголосил...

XII

В эту ночь в рыбачьем ауле никто не заснул. Женщины рыдали и вскрикивали, ребятишки ревели.

Рыбаки были где-то в море, во тьме, и им не было спасения. Но в ауле все-таки слабо надеялись, что, может быть, их подобьет к берегу возле скалы Кара-туп. Хотели было послать в обход по берегу людей, но не было ни подводы, ни теплой одежды. Сидеть и ждать

тоже не было сил, и тогда несколько рыбаков, оставшихся в ауле, пошли на поиски пешком.

Отправив мужчин, женщины немного пришли в себя и занялись Ализой и Акбалой. Акбала совсем обессилела. Со вчерашнего дня она ничего не ела. Недоношенного ребенка завернули в одеяло, положили матери под бок, и она грела его. Ночью все ушли, и Акбала осталась одна. Ветер все еще свистел за стеной, комната была нетоплена, темна, как гроб, по углам сквозило. Акбала от слабости впала в какое-то отупение. Она не могла пошевелиться, не могла зажечь светильник.

Ализе было еще хуже. Она была мать, у которой последний сын лежал у правой стенки дома. И Мунке унесло на льдине. Она высохла за одну ночь, стала похожа на мумию, бредила и никого не узнавала. Алибий со старцем Есболом всю ночь просидели возле нее. Каракатын еще с вечера оделась в траур, ходила по аулу и голосила. А сегодня с утра успела уже два раза побывать у Судр Ахмета, и он ей гадал о судьбе рыбаков на льду.

Первый раз Судр Ахмет гадал на белой кошме. Второй раз он небрежно бросил сорок один боб на старый рваный половик. Схватившись за подбородок, он мрачно и таинственно глядел на бобы. И первый и второй раз Каракатын пришла без подарка, и он был недоволен: «Разбудить человека, вытащить его из теплой постели! А не прихватила хотя бы копченой рыбки! Гм... Дал бы ребятишкам, глядишь, до обеда они и не скулили бы! »

Судр Ахмет тянул с ответом. Нахмурив брови, покусывая кончик жиденькой бородки, он зажмурил глаза и не шевелился. Каракатын совсем перепугалась: «Он думает о предначертаниях рока! Помоги ему аллах!»

Судр Ахмет медлил. «Ах, сатана баба! Прихватить копченой рыбки не догадалась»,— думал он со злостью.

Каракатын стала ерзать и вздыхать. Наконец Судр Ахмет выпрямился, раскрыл глаза и стал как святой.

— О!— сказал он.— О! Недоброе предвещают бобы. Аллах милостив, но... Над страдальцами навис рок!

— Ай-яй-яй! Отец мой, ради бога, погадай еще раз!

— Что-о?

— Погадай еще раз, отец!

— Прочь! Прочь! Я еще не видывал ни одного святого, который повторным гаданием облегчил бы участь, уготованную всем нам самим аллахом!

И Судр Ахмет, запахивая полы зипуна, сердито поднялся с места.

Каракатын понуро брела между песчаными холмами домой, когда мимо нее проскакала с промысла группа всадников. Все они были в черных шинелях. Среди всадников она узнала купца Федорова и Ивана Курносого. Сегодня под Федоровым был отличный конь. В прошлом году он выторговал его у Кудайменде. Все лето

конь пасся на джайляу, в байском табуне, только осенью Федоров попробовал его, раза три ездил на охоту. Конь был хорош, но без дела в табуне заленился.

Пока переваливали Бел-Аран, сытый конь задохнулся. Федоров злился, лупил его плеткой, но вырваться вперед не мог. Сытый конь только отдувался и сыпал на ходу навозом. Но потом конь втянулся, вспотел, за ушами у него потемнело. Далеко впереди, сжавшись в комок, скакал Иван Курносый, за ним еще два-три всадника. Федоров видел их спины, крупы коней и еще больше злился, охаживая плеткой саврасого. « Нет, врешь!— думал Федоров и видел, радовался, как уже вся шея у коня стала мокрой.— Хорош конь, зажрался только!»

Он коней любил и знал прекрасно и теперь знал, что это хорошо, что конь взмок. Ноздри шире раздувать будет, дышать будет свободно, сильно. И правда, конь нес все шибче и начал легко, одного за другим, обходить всадников. «Ах, животина!— умилялся Федоров.— Не прогадал, значит, я с тобой!» Скоро он догнал Ивана, но обойти не мог. По равнине Куль-Кура они скакали рядом. Федоров уже не охаживал коня плеткой, работал поводьями. И саврасый распластывался в беге, копыта дробно и глухо лопотали внизу, ветер свистал, и глаза у Федорова слезились.

Вот понемногу отстал и Иван, и Федоров уже один мчался впереди по прибрежной равнине. Полчаса спустя он оглянулся — никого не было видно сзади. Но Федоров не сбавил хода, только пригнулся и утер слезы. Скакал он к скале Кара-туп.

Почему не заметил он человека перед конем, он и сам бы не сказал. Только конь его вдруг всхрапнул, поднялся на дыбки и прыгнул в сторону. Федоров чуть не вылетел из седла. Проскакав еще метров двадцать, он остановил коня и повернул назад. В человеке он узнал Еламана.

Спрыгнув с коня, ведя его под уздцы, он подошел к Еламану.

— Живы-здоровы, значит?— насмешливо сказал он.— А снасти целы?

Еламан был страшен. Обмороженное, обветренное лицо его было черно, губы рассечены, на подбородке запеклась кровь. Он молчал и в упор смотрел на купца. Федоров стал меняться в лице. Он сразу вспомнил, как вчера бил Еламана.

— Что, стерва, стоишь?— Федоров подошел вплотную.— Снасти где?

Еламан поудобнее перехватил лом. Федоров только сейчас заметил лом и побелел. Быстро глянул назад, в ту сторону, откуда прискакал,— его люди только показались из-за горизонта.

— Ты почему не спрашиваешь, где рыбаки?

Слегка отступив, чтобы было поудобней, Еламан ударил Федорова ломом. Тот успел еще поднять к голове руку с поводьями, и конь вскинулся, дернул его, и первый удар только оглушил его. Он уже валился на Еламана, подламываясь в коленях, когда

Еламан ударил его второй раз по затылку. Федоров упал мешком, слегка на бок, засипел. Темная кровь побежала из-под шапки на лицо. И ноги дернулись раза два.

Еламан бросил лом.

XIII

Лед остановился у скалы Кара-туп, но рыбаки ночью не знали этого. Они только чувствовали, что их не несет больше. Идти куда-нибудь в темноте они боялись и решили ждать рассвета.

Вчера никто из них не верил, что останется в живых. Лед не только оторвало от берега, но и начало крошить. Сплошное поле пошло трещинами. Рыбаки далеко разошлись — им надо было собраться вместе. Они кинулись друг к другу, прыгая со льдины на льдину. Первым попал в трещину и утонул Итжемес, тот самый, что так странно вдруг захотел идти со всеми на лед. Остальные сбились вместе, а потом их настигла ночь. К утру еще трое рыбаков замерзли — они больше всех вымокли. Култума был еще жив, но уже не отзывался, только подрагивал ресницами. Держались только самые сильные — Еламан, Кален, Мунке и Дос. И держался Рай, только ему совсем плохо становилось. Мокрые сапоги его затвердели, ссохлись на морозе, и он шагу не мог ступить. Его била сильная дрожь, он прятался за Еламана от ветра, но молчал, крепился. Его заставляли бегать, он бегал, вскрикивал от боли.

Начался медленный зимний рассвет. Ветер стих, облака стали расходиться. Как только наметился свет на востоке и стало немного видно кругом, все увидели невдалеке высокую грязно-серую скалу.

— Кара-туп!

— Гляди, Кара-туп!

Рыбаки обрадовались, зашумели — все знали, что это Кара-туп, но все снова и снова повторяли на разные лады это слово. Стало еще светлее, и тогда рыбаки стали глядеть друг на друга. Вид их был ужасен — усы, бороды обледенели, лица почернели, глаза одичали.

Еще посветлело. И тут Кален заметил что-то.

— Что это?— громко спросил он.

— Где?

— А вон!

— Верно, чернеет что-то...

Кален осторожно пошел туда. За ним пошли Мунке и Еламан. Когда подошли близко, увидали, что это люди. «Кто же это?»— подумал каждый. Еще ближе подошли — два тела лежали рядом, один на спине, другой ничком, без шапки. Лежавшего на спине сразу узнали. Это был табунщик Жалмурат. Перевернули другого — Андрей. У Андрея были содраны ногти. Исцарапанный лед под

его руками был красен от крови. А рядом, в торосах, рыбаки увидали остов раздавленной лодки.

— Как же это они?— тихо спросил Мунке.

Кален подумал и сморщился.

— Еламан, ты не видал, как вчера двое в лодке за нами пошли, когда нас понесло? Я видал...

— Нас спасать пошли, значит,— тихо сказал Еламан.

Кален посмотрел на него, тронул за рукав.

— Вот что... Иди в аул. Возьми с собой Рая. Он молодой, дорогой разогреется. Я тут побуду, посмотрю за нашими.

Еламан пошел. За ним заковылял Рай. По пути Еламан увидал рыбацкий лом, ему стало жалко лома, и он взял его.

Раю было так больно, что он не мог ступать. Он пробовал ставить ногу боком, но было скользко, и он стал отставать. Еламан обернулся, крикнул:

— Как, дойдешь?

— Иди, иди, я скоро догоню...

Еламан, сгорбившись, пошел дальше, и скоро его не стало видно.

Оставшись один, Рай пошел тише — не так больно было идти — и стал думать о сегодняшней ночи. Сколько горя, страха, и все из-за Федорова! Зачем он погнал их на смерть?

Он думал, думал, и ему было горько. Вдруг, подняв глаза, он увидал коня Федорова. Конь был без всадника, чем-то напуган, всхрапывал, настораживал уши и волочил повод по земле.

Рай, все так же ковыляя и припадая на обе ноги, обогнул песчаный холм. За холмом начиналась узкая слабая тропа в жидких желтых камышах. Рядом с тропой что-то лежало на земле, а над этим стоял, нагнув голову, Еламан. Рай подошел, посмотрел и узнал Федорова. Потом он увидел лом, валявшийся рядом с телом. Рай так испугался, что сел на землю.

— Ага-жан!— он с ужасом посмотрел снизу Еламану в лицо.— Что же теперь будет?

Послышался громкий веселый говор, и несколько всадников во главе с Иваном Курносым рысью выехали из-за камыша...

XIV

— Этот Кален у меня прямо в печенках сидит. А что, если я, как волостной, упеку его, а?— говорил Кудайменде братьям, которых вызвал, чтобы посоветоваться наедине.

Став волостным, он все последние дни разъезжал по аулам и вернулся домой только вчера к вечеру. Завтра ему опять предстояла дорога, на сей раз на долгое время, и он предложил братьям попить вместе утром чаю. Едва проснувшись, братья пришли к нему.

Алдаберген-софы хотел есть. Идя к Кудайменде, он думал, что

он там сейчас поест. Но еду все не подавали, не показывались женщины, и он, сердито посапывая, помалкивал. Он лежал и нюхал, как пахнет из кухни.

Танирберген тоже молчал. Усмехаясь в усы, он поглядывал на Алдабергена.

Кудайменде подождал ответа, потом недовольно буркнул:

— Язык проглотили... А я вот хочу его в Сибирь отправить!

Алдаберген-софы сморщился.

— Дался тебе этот Кален... Да он тебя убьет!

Кудайменде сперва смутился, умолк, стал чесаться. Потом, вспомнив, что он теперь волостной, хохотнул:

— Е, что этот обормот мне сделает?

— Аллах знает! А я только знаю, что он разбойник. По мне, лучше с целым родом враждовать, чем с ним одним. Да!

— А вот увидишь, загоню я его в Сибирь!

Пришла наконец служанка, расстелила дастархан перед братьями, и все принялись за еду. Танирберген все молчал, он думал о Калене. Немало скота пригнал Кален в этот аул. Он по мелочам не воровал и не трогал скота соседних аулов. Он уезжал далеко, за Пять Городов, за Конрат, Чимбай и дальше, и пригонял оттуда одних породистых арабских верблюдов. Все тот же Кален один скакал в сторону Мангистау и у воинственных племен Адай и Табын добывал племенных жеребцов.

Танирберген не вмешивался в эти дела, но много думал о скоте и наконец решил тоже держать скот, но скот отборный, самый породистый. Он рассчитывал в этом деле на Калена, но вот они поссорились, и мысль о скоте пришлось оставить.

Теперь, конечно, нечего было и думать о примирении — Кален от них отошел навсегда. Но молодой мурза не хотел об этом говорить в присутствии простодушного старого софы. Он отодвинул от себя край дастархана, встал и прошел в другую комнату. Кудайменде разозлился, но промолчал.

Алдаберген все это видел, но ему некогда было разговаривать, он пихал в рот холодное мясо. И баурсаки перед ним заметно поубыли. Кудайменде даже удивлялся, глядя на него.

— Так о чем мы говорили? — спросил наконец софы, отваливаясь и утираясь. Теперь он наелся, и ему захотелось поговорить. Но Кудайменде, обиженный на младшего брата, упрямо молчал. Софы сразу догадался: — Э, пустяки, не думай о нем. Его дело — ездить на хорошем коне, одеться покрасивей да пошляться по аулам, по красивым девушкам...

Он заколыхался от смеха, хотел еще что-то сказать, но тут принесли чай, и он опять принялся жевать баурсаки, мерно запивая чаем.

— Гм! — сказал он. — Хорошо. Так вот, в нашем роду Абралы ты самый богатый, самый могущественный. Самый мудрый тоже ты. Твоя дорога тебе видней. Но я старший брат, и я дам тебе совет, а ты как хочешь...— Тут он остановился.

Он поворочался на мягких подушках, устраиваясь поудобней. Когда-то он был силач, да и сейчас еще был крепок. Только жирел неимоверно, и трудно ему ходить.

— Кален это...— он не знал, как его назвать.— Вот раз приехал он ко мне под вечер. Я тогда как раз принимал пищу. После поста, н-да... Вот я его и спрашиваю: «Как это тебя не порвали наши аламойнаки?» А он мне знаешь что? «Плевал, говорит, я на ваших щенков!» Н-да... Брось ты этого Калена!

Кудайменде засопел и стал думать, как бы выругать покрепче брата. Но Алдаберген захотел спать, вдруг встал, еле двигаясь после еды, надел пушпак ишик, подпоясался широким серебряным поясом и ушел.

Тотчас, как будто ждал этого, вошел Танирберген и уселся рядом с Кудайменде.

— Убери дастархан,— приказал он снохе и повернулся к брату.— Болыс-ага, ты достиг своего, ты теперь счастлив. А счастье — неоседланный конь. Плохой ли, хороший ли конь — он всегда с тобой. Счастье — это птица. А птица может улететь...

— Не крути, говори прямо...— буркнул Кудайменде.

— А если прямо... казахи говорят: «Врага жалеть — самому околеть!» Понял? Или ты, или враг!

Кудайменде начал оживать. Он прикрыл глаза и кивнул головой.

— Так-так!— сказал он.

— Не знаю, как ты,— продолжал Танирберген,— я ненавижу всю эту сволочь в дырявых продымленных юртах. Пока они живут в своих юртах, они смирны. Они как отощавший за зиму конь. Когда конь отожрется весенней травой, он делается сильным. Он бесится и не подпускает к себе никого. И вот пока ты у власти — правда на твоей стороне. И держи эту сволочь в черном теле, чтоб не нагуляла жиру. Понял?

Танирберген подождал, не скажет ли чего брат, но брат молчал, тогда молодой мурза взял плеть, лисью шапку и ушел.

Кудайменде не шевельнулся после его ухода. Ноздри его трепетали, на висках вздулись вены, глаза блестели. Значит, брат с ним согласен. Брат сказал то, о чем он и сам думал. И он стал думать, как бы упечь Калена и Еламана в Симир.

В эту минуту слышно стало, как кто-то зашел и снимает сапоги у входа. Потом вошедший переступил порог и в одних мягких ичигах вкрадчиво, не поднимая опущенных глаз, подошел к Кудайменде и робко протянул обе руки. Усевшись, он подобострастно спросил о здоровье домочадцев и скота.

Так входили в дом волостного все. Так вошел и Абейсын, и Кудайменде не обратил на него внимания — ну, приехал по какому-нибудь аульному делу, подождет. Он сидел, глядя себе под ноги, и все думал о словах брата.

— Бай-еке,— начал, кашлянув, Абейсын и тут же прикусил язык, забыл, что волостного надо звать теперь «болыс-еке», и испугался.

— Ну?— Кудайменде исподлобья уставился на Абейсына.

— Привез я вам дурную весть, не знаю, как и сказать...

— Ну? Говори скорей?

— Еламан убил Тентек-Шодыра.

— Что-о? Кто убил?

— Тентек-Шодыра...

— Да не кого! Кто убил, повтори!

— Еламан...

— А? А! Ха-ха... Еламан, а? Отлично!

Кудайменде развеселился, повеселел и Абейсын, поняв, что новость каким-то образом оказалась хорошей.

— Как же... этот Еламан, а?

— Русские привязали его к саням, на промысел привезли. С ним еще Рай. Да, кстати, там на промысле еще одна история...

— Ну?

— Помните, в доме Шодыра жила беленькая такая, молодая бабенка...

— Знаю. Ну и что?

— Эта самая шлюха оказалась женой Ивана Курносого. Законная его баба. Иван Курносый как только приехал на промысел, хозяина больше нет, вот он и давай эту бабу...

— Ладно с бабой! Расскажи про Еламана.

— Я слыхал, русские хотят его сначала к вам привезти. Составят тут всякие акты-макты, а потом — туда!

— Куда?

— Туда! Ну... ну, в уезд, что ли...

— Так, так...— Кудайменде задумался.— Вот что, Абейсын, найди-ка ты писаря. Он тут где-то, ночевал в одной из юрт.

— А! Я его видал, он как раз из дома Алдеке выходил...

«Ах, стервец!— подумал Кудайменде про писаря.— Уж не снюхался ли он с младшей женой софы?— Помолчав, он улыбнулся и сказал:

— Ладно, неважно, откуда выходил, ты его пришли сюда.

Кудайменде послушал, пока Абейсын уйдет, потом повалился на подушки и засмеялся.

— А я-то все думаю, как мне до него добраться, а? Ну теперь все! На ловца и зверь бежит. Сам попался в капкан...

XV

— Аже, к нам гости!..

— Черт их принес! Скажи — не пущу!

— Аже, дорогая! Неудобно, один из них ученый, брат Кудаймендe...

— Кого, кого-о?

— Волостного Кудайменде.

— Ну и наградили имечком, черта!— пробурчала старуха, но немного подобрела. Все-таки, выходит, гости, а не какие-нибудь подводчики, которые возят в город, в лавку богатого татарина мороженую рыбу. И не верховые бродяги, отправившиеся в город за ситцем, за чаем-сахаром. Что ни говори — младший брат волостного, нельзя его гнать в такой мороз.

Но старухе и неловко стало — сперва не пускала, теперь вроде бы испугалась. Старуха была неприступная, властная и не любила менять своих решений.

Будто верблюд, усевшийся на мягкую золу, укрытая до пояса одеялами, она копной сидела на деревянной кровати. «Куда ни шло,— думала она,— если б они переночевали только. А то ведь им мяса, а коню сена давай... Да еще гляди за ними в оба — кобели!— так и норовят наблудить, так и зыркают глазищами, нет ли в доме дочки или молоденькой снохи».

На ходу отряхивая снег, шурша мерзлой одеждой, вошли двое. Один был плотен и приземист, другой — бледный, худощавый. Брови и ресницы их заиндевели. Бледный юноша был в черном драповом пальто, городского покроя, в накинутой поверх пальто волчьей шубе. Войдя в дом, он первым делом стеснительно скинул шубу у порога.

А плотный, низенький вошел и, не снимая верхней одежды, пошел к дальнему углу и сел на одеяло. Потом сбросил тяжелый черный тумак, покряхтывая, принялся стаскивать плосконосые сапоги с налипшим к подошвам снегом. На черной кошме остались снежные следы.

— Жасанжан, дружок, проходи сюда,— отпыхиваясь, позвал он спутника.

Юноша снял возле двери пальто и скромно сел рядом с товарищем.

Дом был нетоплен. В окно и в дверь дул ветер. Юноша тер руки, никак не мог отогреться. Товарищ насмешливо покосился на него. «А верно,— подумал он,— что тихий и не мерзнет, а дрожит. Будто стриженую козу пустили на мороз!»

— Ну как, дружок, продрог?— спросил он как бы участливо.

Сегодня они выехали из Челкара еще до восхода солнца. Под ними были самые выносливые кони, и они надеялись к темноте доехать до дому. Они перевалили Ханские склоны, доехали только до мечети, но темнота застигла их, они замерзли и решили ночевать.

Долгая верховая езда особенно тяжело досталась юноше. Седло стерло ему ляжки, спина ныла, кости ломило. У него было такое ощущение, будто накануне его сильно избили. Вытягивая и растирая замерзшие, онемевшие ноги, Жасанжан незаметно разглядывал комнату. Если не считать чулана, где всю зиму держали теленка, дом был однокомнатный, бедный. В глубине комнаты, у стены, стояли две кровати. Они были одинаковые, с одинаковыми подушками, одеялами и ковриками, и Жасанжан понял, что у хозяина дома, должно быть, две жены.

Вислощекая, громадная старуха так и не шевельнулась, продолжая копной сидеть на широкой деревянной кровати возле печки, она только изредка посматривала презрительно сверху на гостей.

Спутником Жасанжана был Абейсын, верный джигит и посыльный волостного. Усевшись поудобней, оглядев комнату, он заговорил со старухой. Старуха хмуро приставила к уху ладонь, подалась немного к гостям, буркнула:

— Что? Говори громче!

Абейсын поверил, что она не слышит, придвинулся к ней и заорал:

— Из какого рода будете, аже?

«Подлизывается, сукин сын... пройдоха, видать!»— подумала старуха.

— Лежи смирно!— прикрикнула она и шлепнула что-то пошевелившееся под одеялом у ее ног. Шевелился там ребенок, и он тут же заревел во всю мочь.

— Вот зараза!— сказал Абейсын, окончательно поверив, что старуха глухая.— Ну и повезло же нам с ночлегом, сынок! Эта старая карга и воды не поднесет, вот увидишь!

Старуха незаметно усмехнулась. В дом вошли две женщины. Обе были молодые, одна — светлая и высокая, другая — круглолицая, черненькая и толстенькая. Обе несли в подолах кизяк. Весь день чистили они скотный двор, меняли подстилку, и сейчас от них уютно, домашне пахло прелым навозом и овечьей кошарой. Они смущенно пошевелили губами в сторону гостей, прошептав приветствие, и отвернулись. Больше они не осмеливались смотреть на гостей.

В доме Жасанжана еще больше зазнобило. Но когда женщины затопили печку и спустили в котел мясо, он повеселел. Только сквозняк бил ему в затылок от окна, затянутого овечьей брюшиной. Особенно неприятно было, когда открывали и закрывали дверь. Когда дверь открывали, брюшина со звуком «уф-ф» пузырем втягивалась в комнату. Когда же дверь закрывали, брюшина с поспешным выдохом «фу-у!» выпячивалась наружу, будто надувала щеки. Наконец, когда особенно сильно хлопнули дверью, брюшина сказала: «Цок!»— и сухо лопнула. Холодный ветер сразу ударил Жасанжану в спину.

— Заткни это проклятое окно!— сварливо закричала старуха.— Вишь, как подуло! Не можете дверь потише прикрывать! А где это Айганша?

— Ушла в соседний аул.

— Чего она там не видала?

— Посиделки там будут, что ли...

— А вот погоди, девка!— грозно сказала старуха и, взяв с золы кувшин, вышла во двор.

— Ну, друг, держись!— зашептал Абейсын, толкая в бок Жасанжана.— Тут, оказывается, девчонка есть! Хи-хи...

Сухой кизяк под котлом мало-помалу разгорался, и в комнате стало теплеть. Пылающие уголья помешали и придвинули к тагану. Синие огоньки перебегали по углям. В комнате стало уютнее, веселее... И, как бы почувствовав это, из-под одеяла вынырнул мальчишка. Он вынырнул, а под одеялом еще что-то шевелилось и возилось. Потом одна за другой на свет показались еще две головы. Эти двое были еще меньше первого. Они были как котята. Глаза у них заблестели, а приплюснутые носики завертелись. С наслаждением нюхали они запах горящего кизяка.

Сначала все три пары глаз посмотрели на огонь. И этот огонь тут же отразился в глазах. Потом посмотрели на матерей — матери отразились. Посмотрели на гостей — и гости отразились. Старший застеснялся и поспешно спрятался под одеяло. Улыбаясь, Жасанжан и Абейсын вышли во двор присмотреть за лошадьми.

Как только чужие вышли, старший мальчик принялся шалить под одеялом. Сначала он пощекотал в темноте пятки одного из малышей, и тот захлебнулся от смеха. Другого он щипнул за попку, и тут же раздался пронзительный визг.

Светлая женщина вскочила.

— Ах ты тварь!— закричала она и кинулась к кровати.— Я вот тебе сейчас...

Но черная низенькая успела перехватить ее.

— А ну тронь!— злобно сказала она.— Тронь попробуй!

— А, ты защищаешь, да?— У светлой затряслись губы.

Но в этот момент женщины услышали покашливание возвращающегося домой мужа.

— Погоди! Я тебе еще...— Светлая не договорила, сильно ткнула черную в бок и поспешно села на свое место. Хозяин вошел в дом.

— Продрогли небось?— говорил он гостям, которые входили вместе с ним.— Сейчас чай будем пить у огня.

Скоро Жасанжан раскраснелся от тепла. И сон валил, одолевал его, и он улегся на бок, подложив под себя подушку.

Абейсын с хозяином толковали о ранних холодах, о бескормице, о том, что не только в степи, а и в хлевах начал падать скот. Потом Абейсын пустился рассказывать, какой хороший камыш возле

моря и что даже в плохую зиму скот там не отощает, будет жевать сухой камыш. Хозяин зачарованно слушал.

Жасанжан не вмешивался в разговор. Глаза его саднило, будто под веки попал песок, и он все время уплывал куда-то и возвращался. И голоса Абейсына и хозяина тоже уплывали, пропадали, доносились как сквозь войлок и приходили опять. Запах кипящего в котле мяса пробуждал его, он поднимал голову и поводил глазами. Керосиновая лампа выгорала. Только у очага было светло. А так темно было в комнате, особенно в углах.

Низкая черная толстушка, сидя возле мужа, разливала чай. Высокая светлая возилась у котла. Обе раскраснелись и были хороши. На них хотелось долго смотреть. И Абейсын смотрел то на ту, то на другую, как бы выбирая, какая лучше, и никак не мог выбрать, и глаза у него блестели.

Смотрел на них и Жасанжан, но иначе, почти с сожалением. «Что еще, кроме котлов, видят в жизни они?» — горестно размышлял он.

Он долго прожил в большом городе. Там он скучал по дому, по степям, по запахам горящего кизяка и вареной баранины. И вот теперь он ехал, смотрел кругом и думал. Он остановился в незнакомом доме, и все в этом доме точно такое же, как и в его доме, только беднее, и, казалось бы, ему надо радоваться, а он был задумчив и грустен.

XVI

Ах, как Абейсын наелся! Когда он ел, он ни о чем не думал, ничего не слышал, он жевал и глотал, и то, что он жевал и глотал, было горячо, нежно и душисто. Но принесли еще прокисшее молоко, и Абейсын поглядел на него искоса раз, потом опять поглядел, прислушался к себе, что там у него внутри, подумал, потом не удержался, налил себе большую чашку и выпил.

После молока он уже не мог ничего есть и только рыгал. Меховые штаны стали ему тесны, и он распустил шнурок. Когда он ел, старуха с кровати злобно смотрела на него, но это ему было все равно. Плевать ему было, что кто-то там на него смотрит. На него всегда так смотрели. Он не думал о том, что было вчера и что будет завтра. Он хотел сытно поесть сегодня и поел, и душа его успокоилась.

Подстелив под себя край своей тяжелой шубы, он растянулся во весь рост, и ему было хорошо.

Раньше он еще мог говорить о чем-то, теперь все стало безразлично, ему надо было только лежать. Он был как пьяный и все забывал имя хозяина дома. Хозяин не обижался, каждый раз напоминал:

— Меня зовут Тулеу!

— А! Тулеу,— повторял Абейсын и тут же снова забывал.

Хозяин все говорил о скоте, о бескормице, Абейсын не слушал его, кивал изредка отяжелевшей головой, будто внимательно слушает. В доме еще пахло мясом и жирной сорпой с разведенным куртом. Абейсын, хоть и наелся, подставлял нос под этот священный запах и блаженствовал.

Увидев, что женщины хотят стелить постель, он неохотно поднялся, разбудил Жасанжана, и они вместе вышли во двор. На улице было морозно, снег громко скрипел под ногами. Светила ясная луна.

Вдруг забренькал невдалеке колокольчик, заголосили отчаянно у сарая собаки, и в лунном свете на дороге показались сани в двойной упряжке, с визгом пронеслись мимо Абейсына и Жасанжана и въехали во двор.

Жасанжан успел заметить в санях четверых. Один правил лошадьми, другой, закутанный в тулуп, возвышался, как колода,— только ружье блестело под луной. Остальные двое, с закрученными назад руками, крепко были привязаны к саням.

— Что это? Кого это везут?— быстро спросил Жасанжан.

— Еламана, наверно...

— Кого?

— Кого, кого... Может, помнишь рыбака, у него еще женка красивая. Брат твой Танирберген когда-то о ней подумывал...

— Ну?

— Так вот, Еламан — муж этой самой сучки. А с ним рядом его брат Рай. Знаешь, небось, у нас говорят: «Бешеный верблюд на хозяина бросается...» Так этот Еламан на днях убил русского бая.

— И что?

— Да что ты заладил «ну» да «что»! Волостной сейчас в кандалы их — и в город! Вот и везут...

У Жасанжана пальто сползло с плеч. Он подтянул его и испуганно пошел к дому. Тулеу слышал, что кто-то подъехал, сидел и спокойно ждал. Жасанжан с Абейсыном сели и тоже стали ждать. Они думали, что войдут конвойные, но за дверями послышался скрип снега, смех, и в дом вошли парень и девушка. Оба были веселы, брат пытался войти первым в дом, девушка его не пускала. Аул, откуда они пришли, был далек, и она надела огромные, отделанные войлоком сапоги и закуталась в тяжелую черную шубу. Увидев ее, все заулыбались.

Она и сама не могла удержаться от смеха, боролась с братом, была румяна и весела с мороза.

— Тише, еркем, в доме гости,— шепнула ей старшая сноха.

А она их давно увидала, но не обратила внимания, потому что думала, что они — так себе, из тех надоевших уже ей путников, которые каждый день едут по дороге мимо ее дома. Тогда старшая сноха, делая вид, что раздевает ее, шепнула:

— В доме ученый джигит. Угомонись, ради бога!

Девушка замерла, потом медленно повернулась и посмотрела в глубь комнаты. Там лежал ученый джигит, подложив под себя подушки. Заметив, что девушка смотрит на него, он сконфузился и быстро подобрал ноги. А она, взглянув на худощавого, одетого по-русски длинноволосого джигита, тут же отвернулась.

Она раздевалась, уже молчаливая, задумчивая, снимала одну за другой все свои одежки и становилась все стройней и моложе.

— Айганшажан, ты что это так поздно?— машинально спросил Тулеу.

А Абейсын с мороза был бодрый, спать ему расхотелось, он глядел, как раздевается девушка, посапывая, и глаза у него блестели. Айганша чувствовала его взгляд, ей было стыдно, но в доме была одна комната, уйти было некуда, и она только отвернулась к стенке. Абейсын глядел на нее маслянистыми глазками и щипал Жасанжана за ноги. Жасанжан подбирал ноги, но одернуть Абейсына стеснялся.

Как раз в эту минуту в дом ввалились еще двое.

— Ассаламалейкум!— одновременно сказали они, щурясь на свет.

На усах и бородах их блестел лед, брови и ресницы заиндевели. Прямо в одежде они неуклюже сели на постель и тут только разглядели и узнали возвращающегося домой младшего брата волостного Кудайменде.

Не сняв поясов, они сразу сунулись к нему.

— Ой, дорогой, какой ты бледный!

— Апыр-ай, верно говорят: ученье съедает человека.

— Как здоровье, дорогой, соскучился по аулу?

Абейсыну они не понравились, он перебил их:

— С вами ведь еще двое были?

— Ой, мать их... два рыбака с нами, в Челкар везем.

— Куда же вы их дели?

— В верблюжий сарай загнали.

— А чего ж без охраны?

Черный бородач рассмеялся:

— Пес их съест! Далеко не уйдут по морозу в кандалах...

Айганша до сих пор сидела молча, грустно обняв колени. Но, услышав о кандалах, она подняла голову и с тревогой посмотрела на бородача. Жасанжан перехватил ее взгляд, и что-то в нем встрепенулось.

— А почему бы...— неуверенно начал он.— Они, наверно, замерзли совсем, почему бы не пригласить их в дом?— уже потверже сказал он.

Абейсын хмыкнул, отвернулся, подминая под себя подушку, и завалился на бок. Бородач сделал вид, что ничего не слыхал. Зато девушка мгновенно взглянула на Жасанжана умоляющими глазами, благодарно покраснела и отвернулась.

Жасанжан был очень молод, не все слова его принимали всерьез,

да и необидчив он был, но после того, как взглянула на него девушка, он нахмурился.

— Я говорю серьезно!— уже погромче сказал он.— Где ваша совесть? Пригласите их!

Все молчали, и никто не смотрел на него. Жасанжан покраснел до слез — так стыдно ему стало, что его не слушаются. Он вдруг стал как ребенок, даже голос его сорвался на последнем слове.

Наконец Абейсын пошевелился.

— Жасанжан-ау, о чем ты просишь? Они же преступники.

— Все равно они люди!— еще тоньше крикнул Жасанжан.

— Ну вот, ей-богу... Как можно жалеть бандитов?

Но тут на кровати заворочалась старуха, злобно оглядывая каждого по очереди.

— Ах ты злодей!— закричала вдруг она.— От просьбы мальчика камень бы растопился! А тебе хоть бы что?

— Ладно,— поморщился Абейсын.— Не суйся. Не твоего ума дело!

— Что-о? Что ты сказал? Что этот злодей тут говорит? А?

Старуха, наклонившись с кровати, яростно посмотрела на бородача конвойного.

— Веди сейчас же! Если не приведешь, всех из дома выгоню!

— Кария-ау, они же убийцы...— начал оправдываться бородатый.

— Заткнись! Небось не грешнее тебя!

Абейсын беспокойно заерзал. Ткнув локтем бородатого в бок, он шепнул:

— Ну ее к черту! Веди их сюда, а то в самом деле выгонит.— И, вскочив, потянул того за собой на улицу.

Айганша даже засмеялась от гордости за мать. Она и на молодого гостя смотрела с признательностью. С первого взгляда она поняла, что он непохож на уральских джигитов, которые в гостях норовят лечь поближе к девушке. Он совсем не смотрел на нее, а если невзначай встречался взглядом, тотчас краснел и опускал глаза.

На улице заскрипел снег, послышались голоса, потом Абейсын и бородач вошли в дом, ведя арестованных. Оба сильно замерзли, особенно младший, и на обоих были кандалы. Заиндевевшие с мороза кандалы тонко, сухо позванивали. Айганша, вскочив, постелила постель возле печки.

— Идите к огню. Грейтесь,— ласково сказала старуха.

У младшего зуб на зуб не попадал. Он послушно сел к огню и выставил грудь. Старший — крупный мужчина — тоже замерз, лицо его одеревенело. Он сразу узнал младшего брата волостного и сдержался. Поздоровавшись, он сел поодаль и стиснул зубы, чтобы не стучали.

Старуха с удовольствием отметила про себя его выдержку.

— У нас говорят,— начала она,— лучше знать одного по имени, чем сто в лицо... Как звать тебя, дорогой?

— Ен... ламан,— с усилием ответил тот.

— А мальчика?

— Мой братишка, Рай.

— Из какого же вы рода?

— Из рода Жакаим.

— А, дети большого рода, оказывается...

— Нет, почтенная мать, мы из рыбачьего поселка.

— А!— Старуха помолчала.— Голова человека — аллаху мяч. Кто знает, что с нами со всеми будет завтра?— Она вздохнула и снова помолчала, пристально разглядывая Еламана и Рая.— Эти вот говорят, что вы человека убили, а?

Обмороженное лицо Еламана опять закаменело.

— Я рыбак,— неохотно сказал он.— Рыбой жил, рыбой кормился. А нас на смерть гнали. Так чем по пять раз на дню умирать, лучше одного пса убить, а там... если и расплатиться, так один раз! Такое вот дело, почтенная мать.

— Эй, Тулеу,— старуха повернула властное лицо к старшему сыну,— встань, зарежь барана в честь молодых джигитов. Они должны хорошо поесть на дорогу.

— Ой, мать, да у нас в доме есть мясо.

— Молчи! Что-то бережливый больно стал. Весь скот разбазарил, а теперь смотри-ка, какой хозяин стал. Иди заколи валуха. Оставшимся мясом потом дети полакомятся.

Тулеу с двумя женами пошел резать барана. Айганша даже рот приоткрыла от радости и благодарности и снизу посмотрела на грузную фигуру черной старухи, возвышающуюся на кровати. Старуха обычно была жадной, властной, грубой — командовала всеми своими сыновьями и невестками. Но сегодня что-то нашло на нее, и она щедра и ласкова.

Абейсын давно дремал. Но, услыхав, что будут резать барана, он проснулся и повеселел. Старуха краем глаза заметила его радость, но тут же забыла о нем — она говорила с Еламаном.

— Что бы там ни было, а дело сделано. Откуда мне знать, где правда, где ложь. Но только ты верно сказал — лучше один раз умереть, чем умирать каждый день.

В теплой комнате Рая разморило. Не дождавшись еды, он положил голову на колени брата и уснул. Сон одолевал и Еламана, но он держался. Он понимал, что теперь много лет, а может быть, и во всю жизнь не увидит казахского дома, не услышит родной речи, и он все говорил и говорил со старухой, и она его все больше любила.

После ночного ужина Айганша и старшая сноха стали стелить постель гостям. Подушек не хватало, и старшая сноха не знала, что делать. Тогда Айганша принесла свою подушку.

— Еркем-ау, а ты как?— удивилась сноха.

— Ничего,— нахмурясь, прошептала Айганша.— Постели еще одно одеяло, пусть будет мягче.

Лампу не погасили, лишь поубавили фитиль, и до утра она еле мерцала. Поздно улегшиеся гости и хозяева скоро захрапели на разные голоса. А Еламан спал и не спал. Он вспоминал, как пришли с ним прощаться Мунке, Кален, Дос... Акбала где-то лежала в землянке. Он ее не видал еще после родов, но теперь он видел, как она лежала в холодной землянке. Видел он и ребенка своего — худенького, маленького... Друзья наперебой расхваливали ему сына, что он и грудь сосет хорошо, и не плачет, и вовсе не слабый. Он слушал их, а сам думал, что недоношенный сын не выживет.

То он опять и опять видел свирепое море, льды, и жалкую кучку рыбаков во льдах, и тягучий серый рассвет. Видел он, как падает ему под ноги Федоров и как у него потом все течет из-под шапки черная кровь, все течет... Он не раскаивался в том, что сделал. Он думал об оставшихся жене и сыне. О рыбаках, с которыми так сильно сдружился и столько хорошей работы переделал вместе, столько рыбы выловил. О море, которое бывало жестоким, но бывало и прекрасным, щедрым кормильцем бедного аула на круче.

Под утро он крепко уснул и ничего уже больше не видел, ни о чем не думал. Ему казалось, что он спал одну минуту, а бородач уже будил их с Раем пинками.

— Эй, вставай!

Еламан еле поднялся. Рай тоже не выспался. Он моргал, шатался и цеплялся за брата, чтобы не упасть. Гремя кандалами, они пошли к порогу, как стреноженные кони.

— Подождите!— крикнула им вслед Айганша.

Она выхватила из золы горячую лепешку, подбежала к Еламану и, привстав на цыпочки, стала совать ему за пазуху. Потом, застыдившись, хотела убежать, но Еламан, звякнув кандалами, крепко схватил ее руку и прижал к груди.

— Ну, пташка моя,— сказал он, и губы его затряслись.— Будь здорова. Будь счастлива во всю твою жизнь, не знай печали!— и осторожно поцеловал ее в лоб.

Айганша чуть не заревела. Закусив до боли губы, она отвернулась... А Еламан с Раем вышли на резкий морозный воздух. Через десять минут заложат лошадей, и им отправляться в путь. Дорога долгая. Только к вечеру прибудут они в Челкар. И по пути не будет аулов. .

В ровной, безбрежной, покрытой снегом степи не было ни бугорка. Однообразно, невесело брякал колокольчик, хрустел снег под копытами коней, повизгивал под полозьями. Еламан прижал к себе дрожащего на холоде Рая. От самого дома в ложбине они не сказали друг другу ни слова, каждый думал о своем.

Еламан тоже начал мерзнуть. Железные наручники жгли запястья, холод ломил кости, даже в голове отдавалось. В необъятной

мертвой степи, по томительной длинной дороге коченел он от холода, и только горячая лепешка, засунутая девушкой за пазуху, не остывая, согревала ему сердце.

XVII

Над берегом моря ехали шагом два всадника. Один из них был Жасанжан, другой Абейсын. С тех пор как они вместе приехали из города, Абейсын не отставал от Жасанжана. Сначала он свозил его ко всем ближним родственникам, потом по совету Кудайменде они поехали к аксакалам, посетили зимовья Рамберды, Жилкибая и других влиятельных баев и биев в низине Куль-Кура.

Теперь они возвращались домой. Жасанжан дремал на ходу. Во всех домах по нескольку раз в день ел он бесбармак, казы, пил иркит и сорпу и теперь еле держался в седле. Изредка поднимал он голову и сонно поводил глазами, а потом опять дремал. Они долго ехали в безмолвии степи и моря, но вдруг послышался лай собак. Взглянув вперед сонными глазами, Жасанжан увидел среди белых песчаных холмов крышу какого-то зимовья и немного оживился.

— Слушай, это не зимовка старика Суйеу?

— А ну его! Твой болыс-ага и красноглазый старик враги теперь...

Жасанжан, ничего не сказав, повернул коня к одинокому зимовью. «Подумаешь, враги!— подумал он.— Если мои братья враждуют с ним, почему я не могу отдать салем почтенному старцу?» Абейсын усмехнулся и тоже свернул с дороги. «Самостоятельный становится, щенок!»— думал он.

Старик Суйеу был дома. Он сидел в глубине комнаты один, худой, прямой, как свеча. Зимнее солнце сквозь маленькое окошко освещало его, и волосы и борода его сияли. Увидев гостей, он не шевельнулся и тут же отвел взгляд.

— А, парень, здоров ли?— холодно спросил он, глядя мимо гостей Он даже не предложил им места возле себя, а неопределенно кивнул куда-то в сторону порога.— Садись, парень. Говорят, ты порядком уж как вернулся...

— Да, аксакал, я уж давно тут.

— Так, так... Долго ж ты до меня добирался.

Жасанжан покраснел и опустил глаза.

— А теперь небось мимо ехал?

— Да, аксакал.— У Жасанжана не хватило духу соврать.

— Понятно! Дом мой на дороге стоит, погреться, значит, завернул?

С тех пор как забрали зятя, старик Суйеу стал угрюм и ядовит. Он и раньше был крут с домашними, а теперь уж и видеть никого не мог. Все эти дни в доме его стояла грозная тишина. Он не мог поехать в Челкар, в тюрьму к Еламану и Раю, не мог им ничем помочь, и мысли о своем бессилии приводили его в холодное бешенство. Он









перевел сердитый взгляд на джигита из ненавистного аула и стал разглядывать его городскую одежду.

— Что, парень, еще будешь учиться?— презрительно спросил он. А сам подумал: «Небось вообразил уже себя важным тюре. Медные пуговицы навешал, пиджачок, брючки сузил. Да хоть ты индюком надувайся, а для меня ты сопляк!»

Жасанжан побледнел и нахмурился. С тех пор как вернулся он из города, никто не говорил с ним так насмешливо и презрительно. Старик пофыркивал, усмехался, нарочно называл его то «парнем», то «мальчиком», и Жасанжан, расстроившись, стал собираться домой. Из вежливости он выпил одну чашку чаю и тут же перевернул ее.

— Ну, ну, мальчик, что так скоро?— опять не утерпел старик.

— Спасибо, аксакал.

— А-а, и дедовские обычаи уж не по тебе. Совсем русским стал? Ну!.. Ну что же, будь здоров!

Жасанжан, сдерживаясь, вежливо попрощался со всеми домашними и вышел. Когда они порядочно уже отъехали от дома старика Суйеу, Абейсын поравнялся с Жасанжаном.

— Ну? Что я тебе говорил?— отдуваясь, проворчал он.— Не старик, а змея!

Жасанжан ударил коня, поскакал вперед и до Ак-баура ни разу не оглянулся. По приезде в свой аул он разделся и лег. На другой день он встал поздно, попил чаю и пошел сперва проведать старого брата-софы. Посидев немного у софы, он пришел к Кудайменде. Как и вчера, на Жасанжане были черный костюм и черное пальто с медными пуговицами.

— Ты как татарин, содержащий чайхану.— Кудайменде с усмешкой посмотрел на брата.— Брось, дорогой, не смущай ты, ради бога, аул своим городским нарядом. Смеяться все будут.

— Почему?

— Аул не город. В городе все дома рядом стоят, разве там замерзнешь? По городу ходить — это все равно, что ходить по комнатам в доме татарского бая. Ты небось там изнежился, бегая всю зиму из дома в дом...

Жасанжан тихо засмеялся и промолчал. Кудайменде смотрел на него и думал, на какой улице, в каком переулке Оренбурга растерял его брат свою непосредственность. Как, бывало, хохотал, заливался он, как горячо, смело вступал в разговоры, каким выдумщиком был! А сейчас засмеется ли, заговорит ли, побеседует с кем-нибудь — все это сдержанно, скупо...

Однажды Кудайменде поделился своими сомнениями с Танирбергеном. «Портится что-то наш мальчик»,— озабоченно пожаловался он.

Братья и теперь еще ссорились из-за Жасанжана. Два старших брата — Алдаберген-софы и Кудайменде — хотели отдать его в медресе, но Танирберген настоял на своем, сам отвез его в Оренбург и отдал учиться в русскую школу.

— Русское ученье душу ему высушило. Вот увидишь, скоро забудет, что мусульманин, креститься станет, как урус.

— Чего бояться, ага! Русским станет — уездом править будет.

Кудайменде заколыхался от смеха, как бурдюк с кислым молоком. Танирберген рассердился, потянулся за лежавшей поодаль лисьей шапкой и встал. Но тут Кудайменде посерьезнел и приподнялся с подушек.

— Танирберген, постой-ка...

Танирберген послушно остановился и обернулся:

— Ну?

— Ты, говорят, бываешь в рыбачьем ауле?

Танирберген молчал. Только кончики холеных усов его дрогнули. Кудайменде поглядел на его усы и улыбнулся:

— Это, конечно, хорошо, что ты там бываешь... Гм!.. Никто тебе теперь не помешает. Мужа ее, слава богу, далеко загнали.

— Ну и что?

— Да что! Хочешь — бери ее второй женой. А? Вы ведь, кажется, были когда-то как Лейла и Меджнун, а?

Танирберген долго смотрел на брата и все понял. Расправившись с Еламаном, посадив того в тюрьму, брат хотел лишить его и семьи.

— Для казаха вторую жену заиметь пустяки,— задумчиво сказал Танирберген.— С этим мы успеем. А вот есть дела поважнее...

— Ты о чем это?

— Да все о том же... О Калене. Не надо было тебе с ним связываться. А коль связался — одно из двух: или ты его, или он тебя.

Кудайменде нахмурился и засопел. Некоторое время оба молчали.

— Это верно, что в аулы выезжает улук?— спросил Танирберген.

— Верно.

— Когда он у нас будет?

— На днях, наверно...

У Танирбергена заблестели глаза.

— Ну тогда нам действительно везет! Кален известный вор, не так ли? Но воровство еще полбеды. Завтра он, как Еламан, убивать начнет, вот что плохо. И не поручусь...

— Ну?

— Не поручусь, что первый нож будет не тебе.

Кудайменде еще больше насупился.

— Сын Шодыра приехал в Аральск, не слышал? — опять спросил Танирберген.

— Есть такой слух...

— Не слух, а точно.

— Может быть... мстить за отца едет, конечно?

— Какой черт, мстить! Отцовский промысел едет продавать. Тут много народу соберется... Русские, татарские купцы всякие...

— Апыр-ай, а? На скот он думает менять или продавать за деньги?

Танирберген засмеялся было, но тут же осекся — испугался, что брат обидится, тот вообще обижался по пустякам.

— За деньги, конечно,— серьезно сказал он и немного помедлил.— Замечаешь ли ты, болыс-ага, что мир начал меняться? Сегодняшний день похож на вчерашний. Еще вчера кто осмеливался спорить с тобой? Все были твои рабы. Все делали, что ты им велел, и молчали. А теперь у каждого пастуха язык длинней, чем...— он не подыскал сравнения и щелкнул пальцами.— Теперь чуть что, он сразу хвост торчком, забирает жену, детей и чешет к рыбакам, у тебя под носом. Сколько голодранцев за последние два-три года бросили скот и пошли в рыбаки? Придет время — некому будет и твой скот пасти! Подумал ли ты об этом, болыс-ага?

— Ну допустим, думал. А что мне, по-твоему, делать?

— Разве умные люди не говорят: «Каков век, таков и человек»?

— Ну и что?

— А ты — ты только послушай!— а что, если мы сами купим промысел Шодыра?

— А?

— Я говорю, купить промысел нужно нам.

Хмурый до сих пор, Кудайменде вдруг прыснул, захохотал и повалился на подушки. Нахохотавшись, он отер слезы, отдышался и наконец сказал:

— Чего придумал, а? Нам ли браться за русское ремесло!

— А что тут такого?

— Не-ет, милый... Чего уж нам с русскими тягаться.

— Я дело говорю, ага. Купишь промысел — после бога первым будешь в наших местах. И степи твои, и море твое!

— А?

Кудайменде только теперь понял мысль брата. Он оживился, хлопнул себя по ляжкам и задумался. Он был нерешителен, как верблюд перед бродом. Подумав еще раз, он махнул рукой:

— Нет, милый мой, не наше это занятие... Засмеют, позора не оберешься!

Весть о том, что в Аральск приехал сын Тентек-Шодыра и остановился в доме тестя Маркова, вот уже несколько дней волновала все побережье. Везде толковали о том, что молодой офицер из Петрограда приехал продавать с торгов промысел отца. Как только слух подтвердился, на побережье стали съезжаться русские, татарские и казахские купцы.

Первым приехал русский купец, которого казахи прозвали Хромым Жагором. Вслед за ним из Челкара прибыл Темирке. Этот татарин был страшно богат, бесчисленный его скот нагуливал жир в долине Улыкум, в Челкаре у него была большая лавка, шерсть и шкурки двух-трех уездов проходили через его руки. Давно уж не мог он равнодушно думать о рыбе, но на море хозяйничал Федоров. Но вот Федоров погиб, промысел продавался, и Темирке со всеми своими приказчиками приехал в аул Кудайменде.

Танирберген узнал от Темирке, что сюда едет и урядник. Тотчас молодой мурза вызвал писаря из волостной канцелярии, заперся с ним у себя в доме, никуда не показывался и к себе никого не пускал. Абейсына без конца гоняли по соседним аулам. Приезжали какие-то казахи и после секретного разговора с Танирбергеном опять уезжали.

Все замечавший Темирке однажды, усмехнувшись, сказал своим джигитам: «Настоящий-то волостной, по-моему, сидит в доме мурзы...»

К вечеру прибыл урядник и остановился в доме волостного. Кудайменде ни слова не знал по-русски и тут же послал за писарем. До прихода писаря Кудайменде, напряженный, вспотевший, сидел перед урядником и молчал, изредка только бормоча: «Таксыр, таксыр».

Тут зашел Танирберген, и Кудайменде облегченно вздохнул и утерся. Танирберген урядника знал хорошо, знакомство их началось еще прошлым летом. Танирберген однажды пригнал в город много скота. Его люди во главе с Абейсыном продавали скот на базаре, а Танирберген сидел в стороне и баловался чайком. Тут-то его и нашел урядник. Посмотрев на скот, прикинув что-то в уме, он взял молодого мурзу под руку и повел показывать свой новый дом. Танирберген смотрел дом, восхищался, поздравлял... Урядник показывал, хохотал, хлопал его по плечу, а потом весело сказал:

— Мурза, байгази бир![1]

Казахского языка урядник не знал, но это-то он заучил крепко. Мурза тут же дал ему взятку, и они расстались друзьями.

Так вот, Танирберген пришел, и сразу все оживились. Он тоже не знал русского языка, но это его не смущало. Он сразу подошел к уряднику, подал ему руку и поздоровался по-казахски. Потом сел — колено к колену — рядом с русским гостем и, ничуть не смущаясь, продолжал по-казахски:

— Добро пожаловать, таксыр!

Урядник ничего не понял, но сказал:

— Рахмет!

— Жив-здоров ли?

— Рахмет.

— Дорога длинная, зима, устал, наверно?

— Рахмет.

Кудайменде с изумлением смотрел на брата. Каждый раз, когда ему самому приходилось встречаться с русским начальством, он мучился, потел и даже через переводчика не умел говорить. Ему казалось необъяснимым, как это его слова тут же оборачиваются какой-то русской тарабарщиной. А Танирберген не только не смущался, но, казалось, самому уряднику было неловко, что он не знает по-казахски.

---

[1] Мурза, подай (одари) за смотрины!

— Ты с этим улуком лопочешь, будто с каким-нибудь казахом из нашего аула,— не удержавшись, сказал Кудайменде.— Когда это ты с ним познакомился?

— Если старший брат — волостной, разве найдется улук, который бы не знал младшего брата?

Кудайменде с удовольствием захохотал, хлопнув себя по ляжкам.

На другой день за утренним чаем Кудайменде, поглядев на Танирбергена, завел с урядником разговор о Калене.

— Очень много воров развелось,— со вздохом начал он.

— Скот воруют?

— Ой, таксыр, воруют! Совсем покоя лишились.

— Были случаи убийства,— как бы между прочим добавил Танирберген.

Урядник насторожился. Усы его зашевелились. Быстро поставив чашку с чаем, он грозно повел выпуклыми стеклянными глазами по лицам казахов.

— Что такое? Почему не сообщали?

— Не успели, таксыр...

— Ах, рракалии!.. Где убийцы? Какие такие?

— Один вор по имени Еламан убил недавно русского бая. Но мы его схватили и выслали. Но есть еще вор — Кален. Очень опасен...

— Гм!.. Поймаем!

Танирберген подсел к уряднику.

— Таксыр, надо отобрать у него все имущество, а самого сослать в Симир!

— Гм!.. Это нам просто. А факты есть?

— Акты есть. Выявляются хозяева украденного скота.

Кудайменде забеспокоился. Мигнув писарю, чтобы не переводил, он вполголоса буркнул:

— Знай меру, дорогой! Какие такие акты-макты?

— Все сделано по форме.

— И хозяева есть?

— И хозяева и жалобы есть.

— А почему я не знаю?

Танирберген смутился было, но тут же нашелся:

— Так разве тебе до того? У тебя крупные дела.

— А эти твои люди... откуда они знают масти скота Калена?

— Все написано на бумаге.

— Больно скоро что-то узнали вы масть и тавро скота.

— Болыс-ага, ты забывчив стал.— Танирберген еще больше понизил голос:— Разве весь скот этого вора не через наши руки прошел?

Кудайменде покосился на черные усы мурзы и стал думать. Действительно, весь скот Кален пригонял раньше к ним в аул. Одиноко скакал он в любую даль, куда только доходил конь. Потом он пригонял добытый скот и ставил к скоту Танирбергена и Кудайменде. Те дарили ему кобылу с жеребенком или верблюдицу с верблюжонком, причем стремились отдать тоже добытую кем-нибудь ночной по-

рой скотину. И конечно же, весь скот Калена был известен, уже описан писарем, как ворованный из разных аулов волости Кабырги, и уже «хозяева» нашлись, и жалобы их на Калена были у писаря...

Кудайменде опять посмотрел на усы своего брата. «Апыр-ай!— подумал он.— Как это ему все приходит в голову!»

XVIII

К обеду Кален пришел в Ак-баур, в аул волостного. Пришли с ним также Мунке и Дос. Все были безоружны. Только у Калена в рукаве запрятан был толстый, со свинцовой прожилкой доир.

Всю дорогу Кален хмуро молчал, как бы предчувствуя недоброе.

— Это Каратаз... Непременно это он! Обязательно это плешивого дело!— несколько раз повторял дорогой Мунке.

А Кален думал о Еламане, что давно о нем не было никаких вестей. Он тужил о нем, хотел ехать к нему, опалил было овцу, но тут по побережью прошел слух, что приехал сын Шодыра и будет мстить за отца. Кален решил не оставлять в опасную минуту семью Еламана и не поехал.

Когда его вызвали к уряднику, он не хотел никого брать с собой, но рыбаки послали с ним Мунке и Доса.

В степи им встретился Танирберген — охотился. Рыбаки сделали вид, что не заметили его, хотели было пройти мимо, но Танирберген сам подъехал к ним, чтобы поздороваться.

Кален и Дос смотрели в сторону, но добродушный Мунке не выдержал. Когда он увидел, как молодой мурза торопливо слез с коня и почтительно остановился перед рыбаками, Мунке про все забыл.

— Все ли благополучно в твоем ауле?— спросил он.

— Слава богу. Далеко ли путь держите?

— В твой аул идем.

— О? Прекрасно! Наконец-то такие почтенные люди собрались к нам в гости! Болыс-ага сейчас нет в ауле, так я поеду с вами.

— Спасибо, дорогой, только мы не в гости... Нас улук вызывал.

Танирберген изумился и сделал испуганное лицо.

— Бог ты мой! Что же ему от вас надо?

— Не знаем... Если мы и грешны перед богом, так перед улуком чисты.

— Ладно, чего там... Пошли!— буркнул Кален, все еще глядя в сторону.

Танирберген засуетился, проворно снял приторочениую к седлу огненную лису и протянул ее Мунке.

— Улук коварен, как море. И неизвестно, что вас всех ждет. От всей души, в добрый путь!

— Спасибо! Будь первый среди достойных!— сказал довольный Мунке.

Дорогой Мунке все потряхивал лисицей, размышлял и наконец сказал:

— Что там ни говори, а Танирберген — воспитанный джигит. Не то что его брат...

Кален и Дос промолчали.

Степенные казахи к уездному чиновнику заходили обычно робко и разговаривали с ним, сняв шапки и низко кланяясь,— таков был обычай. Но Калену теперь было все равно. Никого не спросившись, он ввалился с друзьями прямо в комнату к уряднику.

Урядник был толст, лохмат, с вислыми пепельными усами. От него крепко пахло табаком, а усы были похожи на длинные рукава казахской шубы. Заложив руки за спину, он шагал из угла в угол по просторной, убранной коврами комнате. Когда в комнату, стуча сапогами, ввалились казахи в больших теплых тумаках, в толстой одежде и по ногам урядника понесло холодом, он резко повернулся и начал багроветь.

— Эт-то чтэ такое!..— загремел было он, но осекся, увидев, что, подпирая тумаком потолок, перед ним стоит могучий, черный и рябой казах.

Схватившись за желто-пестрый эфес длинной, болтающейся по ногам шашки, урядник уставился в змеиные глазки громадного казаха. Тот не моргая глядел из-под тумака. Пошевелив усами, урядник отвел глаза, круто повернулся к стоящему позади переводчику и рявкнул:

— Кто т-такой, а?

Переводчиком был волостной писарь. Вернувшись из города, он быстро отъелся, у него появилось уже брюшко, и вообще стал он весь кругленький, толстенький, с жирным, круглым и плоским лицом. Сразу почуяв, что урядник опешил перед верзилой казахом, писарь решительно вышел вперед и стал между ними. Потом, тыча пальцем в живот Калену, который был на вытянутую руку выше его, он закричал:

— Вот это и есть вор Кален, ваше благородие!

— Ка... Калин?— переспросил урядник.— Вот что, царь Калин...— начал он, усмехаясь, но вспомнил, что тот не понимает по-русски, нахмурился и опять повернулся к писарю.— Спроси у него, воровал ли он скот? Признается ли?

— Слышал? Говори правду его благородию!

— Ай, дорогой, аллах свидетель, у каждого есть свое утро и своя ночь...

— Ты! Вор! Оставь свои ночи при себе, тут тебе не ночь! Воровал скот?

— Это ты о чем говоришь? Воровать-то я давно оставил. Вот пусть они скажут, чем я теперь зарабатываю,— кивнул Кален на Мунке и Доса.— Я сейчас свой хлеб добываю в поте лица, понял? Только точно передай этому лохматому улуку, понял?

— Заткнись! Мы-то знаем, чем ты промышляешь!

— А ну-ка, ну-ка?

— А что! И скажу! Смотри ты, как он перед господином началь-

ником поет! Прямо святой, ишан! А сам небось как волк по ночам рыскает...

Толстые, как грива жеребца, щетинистые усы Калена дрогнули. Он сделал шаг вперед и протянул руку. Писарь проворно отскочил Мунке и Дос перепугались, но Кален вдруг неожиданно усмехнулся.

— Ах ты, плосконосая коротышка!— сказал он и весело повернулся к Мунке и Досу.— Эта коротышка прямо как бог перед нами, а? А перед Каратазом небось на задних лапках стоит, о, паруардыгар!

— Э, алла! Каждая блоха о себе заявить хочет,— вздохнул Мунке.

Вошел Жасанжан. Его никто не заметил, он присел на сложенный у стены вьюк. Жасанжан слышал Калена, когда входил, и ему стало смешно. Писарь побагровел до пота. Урядник ничего не понимал.

— Что он сказал, а?— спрашивал он то у писаря, то у Жасанжана.— Что сказал? Ах, черти, азияты,— что он говорит, спрашиваю, ну?!

Писарь наконец немного оправился.

— Ваше благородие, это опасный вор! Он и людей убивал. И вас сейчас поносил последними словами.

Глаза урядника начали стекленеть.

— Что-о? Ах ты, мерзавец, в Сибирь захотел? Кандалов не нюхал, а?

Рыбаки удивленно переглянулись.

— Что мы сказали этому русскому? Что он сердится?— удивлялся Мунке.

— Он и вас убить грозится, ваше благородие,— говорил между тем писарь.— Надо связать ему руки, ноги, а то беда будет!

Жасанжан не выдержал, вспыхнул.

— Тебя народ твой принимает за образованного!— закричал он писарю.— Принимает тебя за просвещенного гражданина! А ты выучился русскому языку для того, чтобы искажать речь бедных казахов.

Он сам перевел уряднику все, что говорил Кален. Даже как назвал Кален писаря — перевел. Урядник слушал, слушал и захохотал.

— Так... так говоришь...— плосконосая коротышка?— повторял он сквозь смех и даже глаза вытирал платком. Успокоившись, он все-таки недоверчиво оглядел Калена.— Все-таки вид у тебя нехороший, похоже, все правда: и скот воровал, и людей убивал, а?

Жасанжан перевел ему, и Кален засмеялся:

— Э, таксыр, откуда у человека на допросе может быть хороший вид. Скажи спасибо, душа еще не вышла вон!

Урядник устало махнул рукой.

— Ладно, айда-майда домой! Пошел отсюда!

— Жасанжан, долгих лет тебе жизни! Да пошлет тебе аллах счастья!— быстро сказал Кален.

Жасанжан все глядел на конокрада, покуда тот не вышел с рыбаками, и думал: «Я знал, что он был искусный вор, но он к тому же еще и умный казах!»

У каждого есть враги, но не каждый может без хлопот расправиться со своими врагами — для этого нужна власть. Став волостным, Кудайменде почувствовал в себе силу. От Еламана он избавился быстро. Да Еламан и сам в петлю полез — убил русского купца. Очередь была теперь за Каленом, и судьба его была уже предрешена, когда так некстати вмешался в это дело младший брат Жасанжан. Узнав об этом, Кудайменде бросил все дела на полуострове Куг-Арал и прискакал в аул. Не успев еще раздеться как следует, он вызвал Танирбергена и писаря.

— Ну? Как это случилось, выкладывайте!— не глядя на них, буркнул Кудайменде.

Танирберген был бледен от злости.

— Ойбай-ау, если бы чужой был! А то кусает свой же щенок.

— Жасанжан?

— Кто же еще! Я думал, окончит ученье, станет большим человеком, нам опорой будет в борьбе с врагами. А этот щенок обернулся против нас же. Материнские сиськи кусает!

Кудайменде промолчал и отвернулся. «Так тебе и надо! Не послушал тогда меня, отправил его в Оренбург, вот он и научился добру у русских!»

— Это еще не все,— продолжал Танирберген.— В твое отсутствие у нас еще одна новость...

— Ну?

— У брата Алдабергена пропали два коня. Кони хорошие, вороные...

— Может, волки?

— Может, и волки, если они не на двух ногах...

— Кто же тогда, по-твоему?

— Хороший у меня брат, болыс-ага! Как пропажа, так я в ищейку превращаюсь.— Танирберген потупился, усмехаясь в усы.— Если пропадает скот, разве не у вора его ищут?

— А кто, кто вор? И без тебя знаю, что у вора, да вор кто?!

Танирберген посерьезнел и хищно повел глазами.

— Вор близко. В такой мороз вор издалека не придет. Ну а если свой вор, тогда кто не побоится залезать в аул волостного? Только Кален не побоится. Вор — Кален!

Кудайменде быстро собрал к себе всех старейшин родов.

Старейшины стали сейчас частыми гостями большого дома волостного. Они знали, что и теперь их вызвали по какому-то важному делу. Кроме Танирбергена и писаря, были тут и урядник и Жасанжан.

— Уа, сородичи!— начал Кудайменде, когда все собрались у него в доме и разместились, сморкаясь и кашляя.— Я узнал имя вора, угонявшего наш скот. Это Кален. До каких же пор ему грабить нас? Только что он угнал двух коней моего софы-ага.

Жасанжан сразу стал на сторону Калена. Урядник только что хорошо поел, сидел, отдувался, ковырял спичкой в зубах. Старшины загалдели, зашумели, поминали Сибирь. Урядник вначале как-то интересовался, спрашивал у писаря, кто что говорил. Потом скоро утомился, его одолевал сон, и, рассердившись, он махнул рукой:

— Черт вас не разберет! Вот брат твой ученый защищает вора. Ты, ага, сперва разберись со своими. А сцапать этого... Калина, что ли, или как его там, это нам пара пустяков.

Урядник ушел. Ушел и Танирберген, разошлись старейшины. Кудайменде остался с Жасанжаном. Жасанжан начал говорить о справедливости, о совести и чести. Говорил он горячо, сбивчиво, но Кудайменде молчал. Потом нахлобучил тумак и встал. У двери он приостановился и повернулся к брату.

— Ты тут о человечности, о чести хлопочешь,— сказал он.— Начитался разных паскудных книжонок. А у нас вот тут, в наших аулах, своя честь и своя человечность. И ты нас не заговаривай из своих русских книг! Потому что ты еще щенок, мальчишка. И слушать тебя я больше не намерен. Запомни!

Он сильно хлопнул дверью, и Жасанжан долго еще слышал его злые тяжелые шаги по морозному снегу.

XIX

Запыхавшийся Абейсын ворвался в комнату, споткнулся, но удержался за кого-то и заорал:

— Мурза, едет кто-то!

— *Он,* наверно...

— Кому же еще? Ясно, *он*!

— Ну помоги аллах, двинулись!

— Пошли!

— Айда!

Все важные люди сразу потеряли свою важность, засуетились и, толкаясь, повалили на улицу. Тут были Кудайменде, и Темирке, и Танирберген, и Хромой Жагор, и Иван Курносый... Хромой Жагор был грузен, с круто выпяченной грудью, с отвислой нижней губой и сильно припадал на правую ногу. Черный мужик этот был богат и неприступен. Но когда раздалось: «Едет, едет!»— он прытко вскочил, отпихнул одного, другого и первый вывалился на улицу. Бойко помахивая черной тростью, выложенной серебром, он закосолапил впереди всех. Танирберген усмехнулся, толкнул локтем Темирке.

— Гляди-ка! Бог лишил его ноги, а он уже вон где маячит. Что бы было, если у этого дьявола были б все ноги, а?

— И-и, алла, не говори!

Высыпавший на улицу народ толкался, громко переговаривался, джигиты сновали, бегали из дома в дом. Дом для гостя был заранее убран и обставлен. Несколько человек торопливо посыпали дорожку к дому песком.

— Правду говорят, богатого жениха и целовать приятно!— вполголоса заметил Темирке.

— Будто самого губернатора встречаем,— отозвался Танирберген.

Больше уж и не говорили. Приподнимаясь на цыпочки, держа руки козырьками, все глядели на черную, быстро приближающуюся точку. Белый снег ослепительно блестел под солнцем.

Ждать пришлось недолго. Гость на легких санях, весь в морозной пыли, в сопровождении пяти-шести всадников на всем скаку осадил перед ожидавшим его народом. С саней тут же спрыгнул расторопный малый, согнулся в полупоклоне. Молодой Федоров скинул с плеч волчий тулуп, сделал холодное твердое лицо и, блестя золотыми погонами, вышагнул из саней.

Встречающие во главе с Кудайменде, Темирке и Хромым Жагором, будто камыш под ветром, согнулись и загудели кто по-русски, кто по-казахски:

— Аман, таксыр!

— Зрасти!..

— Ассалаумалейкум!

— Добро пожаловать, ваше высокородие!..

Молодой офицер надменно дернул головой и заложил руки за спину. Длинная зимняя дорога его утомила, он торопился. Теперь его раздражало, что вся эта толпа беспорядочно гудела на разных языках, выражая свои чувства, и он ничего не понимал. «Проклятые азиаты!»— думал он. Азиатов он почти не знал, не видел их, но был уверен, что они все хитры, льстивы и легко переходят границы в проявлении чувств. И ему сразу показалось подозрительным подобострастие толпы, улыбки на лицах, склоненные головы. «Азиатская уловка!»— опять подумал он, приняв снова на своем твердом лице холодное выражение.

Танирберген, хорошо знавший Тентек-Шодыра, сразу увидел, как сильно похож молодой Федоров на отца. Та же крупная осанистая фигура, те же небольшие синие глаза, беспричинно мрачнеющие, то же выражение лица, холодное, строгое.

— Вот дьявол, весь в отца!— шепнул он.

— Апыр-ай, а! Как племенной жеребец!— живо откликнулся Кудайменде.— Пошли к нему поближе!

Танирберген молча стоял в сторонке. Он не кланялся, не улыбался, не лез вперед. Молодой Федоров, рассеянно-небрежно оглядывая пеструю толпу, поглядел на него раз, поглядел другой... Чем-то выделялся этот молодой джигит среди угодливых русских, татарских и казахских баев. «Прямо как степной принц! »— мельком подумал о

нем Федоров. Он было пошел уже к дому, встряхивая кистью руки, как бы разваливая толпу надвое, как вдруг приостановился, обернулся, опять поглядел на молодого мурзу и подошел к нему.

— Как звать?

Танирберген не понял вопроса.

— Имя! Имя твое спрашивает!— перевел подскочивший Темирке.

— Танирберген.

— Как? Танир...

— Ваше высокородие... Это очень богатый мурза... По имени Танирберген,— быстро вполголоса говорил Темирке.

— Танир...— опять запнулся Федоров и, поняв, что ему не выговорить, поморщился и отвернулся.

Он пришел в убранный для него дом, вымылся и переоделся. Вошел сопровождавший его проворный малый.

— Ваше высокородие, как изволило понравиться?

— Азия! С тоски подохнешь!

— Ваша правда — Азия-с! Особенно спервоначалу. Потом-то, конечно, и привыкнуть можно. А эти самые азияты, которые вас изволили встречать... Они, значит, в свое время с вашим батюшкой дела вели. Вам бы поговорить с ними, ваше благородие...

— Ну их к черту!

Федоров закусил с дороги. Полежал, отдохнул, потом оделся, вышел на улицу. С ним пошел и расторопный малый. Указывая на два-три дома и большой лабаз возле моря, он сказал:

— Вот, ваше высокородие, это и есть промысел вашего батюшки...

— Это-то? Да ты шутишь, братец?— Федоров даже остановился.

— Как можно, ваше благородие!— гордо сказал малый.— Богатейший промысел!

Подбежал Иван Курносый. Федоров стал обходить с ним хозяйство и все больше мрачнел. А с Иваном творилось что-то странное. Он подергивался, сглатывал слюну, хакал, судорожно вздыхал, будто хотел говорить, и опять хакал, покашливал. Еще при старике Федорове накопил он деньжонок и уж подумывал о собственном промысле. Теперь он хотел еще до торгов заполучить тысячеаршинный черный невод, но не знал, как приступить к делу. Улучив минуту, он стал просить:

— Ваше благородие!.. Вашш высокородие! Век буду бога молить, вашш высокородие... Продайте невод. Тут на промысле неводок есть на тыщу аршин, вашш... Он уж и худой совсем, да мне бы при моей бедности сгодился...

Федоров поморщился, отвернулся.

— Ладно,— невнятной скороговоркой бормотнул он.— Ступай к поверенному, скажешь там, что я разрешил.

Иван поклонился ему в спину и пустился к поверенному.

В свое время молодой Федоров видел несколько рыбозаводов бо-

гатых волжских купцов. И поэтому он предполагал, что наследство отца — может быть, и не такое крупное, но вполне сносное промысловое предприятие. Он добирался сюда чуть не три недели из Петрограда, и велико же было его разочарование! Теперь он рад был, что оставил жену в доме тестя, а то не было бы конца насмешкам.

Отец Федорова был из мужиков. Но мужик он был умный, расчетливый и добился всего своей напористостью и сильной хваткой. А чего добился? Годами жил в степях, в пустыне, среди вот этих дикарей и погиб вдали от семьи от руки дикаря... И не похоронили его как следует, зарыли, как самоубийцу, в степи, на одиноком холме. Никто не оплакал его, даже, может быть, и гроба не сделали, бросили в мелкую яму, кое-как закидали мерзлым песком. Даже деревянный крест на его могиле давно свалил верблюд.

Промысел отца был жалок, люди, окружавшие его здесь, жалки. Понравилась молодому Федорову одна только Шура. С тех пор как вернулась она к Ивану, пошли у нее под глазами темные круги и вся она как-то присмирела, стала жалкой, пугливой. Но даже и теперь лицо ее сияло затаенной красотой. Здесь, в степи, молодой Федоров узнал еще одну тайну отца, который, как он раньше думал, ничем, кроме рыбы, не занимался. Оказывается, отец не так уж плохо разбирался в женщинах...

Федоров улыбнулся было, но тут же опять нахмурился, подозвал шедшего позади малого.

— Где тут живут киргизы-рыбаки?

— Во-он там, на круче, ваше высокородие.

— Много их?

— Да порядком будет-с... Поболе ста дворов.

«А не уехать ли мне!» — подумал вдруг Федоров — такая острая тоска охватила его. Он жалел, что приехал сюда, жалел, что объявил всем в полку о большом наследстве. «Дурак, дурак!»— ругал он себя. Вспомнил он и как провожали его в Петрограде товарищи, как окликали его не Федоровым, а Рябушинским, Ротшильдом. Было порядочно выпито, Федоров раскраснелся, сумрачные синие глаза его повеселели.

Был легкий морозец, носильщики торопились к вагонам, снег на перроне скрипел, пахло перегорелым углем, далеко впереди чухал паровоз, еще дальше лежали в глубину России морозные рельсы — впереди была дорога, теплое купе, стук колес под полом, а потом — кибитка, степи, снег, Азия, какое-то киргизкайсацкое племя, какое-то Аральское море, а еще потом — деньги, много денег!

То один, то другой товарищ отводил Федорова в сторону, нежно хлопал перчаткой по рукаву и с небрежным, искренним смехом просил по возвращении (после того как разбогатеешь!) денег взаймы. И со смехом же Федоров каждому обещал непременно.

И вот теперь он смотрел на затянутое льдом пустынное море, на убогие маленькие постройки отцовского промысла, и у него было такое чувство, будто его обокрали или он крупно проигрался.

На другое утро, едва вставши, Федоров кликнул сопровождавшего его малого.

— Я сейчас уезжаю.

— Ваше высоко... Господь с вами!

— А что мне тут делать, по-твоему?

— Да как что? Завтра же торги, ваше высокородие, поприсутствовать бы вам!

— Вот ты и поприсутствуешь,— усмехнулся Федоров.

И уже к обеду зафыркали возле дома лошади, забрякал колокольчик. Завернувшись в волчий тулуп, Федоров рассеянно кивнул провожавшим и уехал.

XX

К низине Куль-Кура на рысях выехала группа всадников. Глухой топот, хруст снега, фырканье лошадей — забрехали собаки... Одни хрипели от ярости, рвались с привязи, другие ворчали и сонно взлаивали где-нибудь в углу сарая, уткнувшись в теплое брюхо. Всадники, объезжая стороной аул, держали путь к дому Калена, одиноко стоявшему на отлете.

Кален в это время был дома. Решив повидаться с Еламаном, сидевшим в тюрьме в Челкаре, он еще со вчерашнего дня поставил на выстойку своего густогривого гнедого. Вымытый, обстиранный, Кален сидел, готовый в дальнюю дорогу.

С детьми и женой Кален был ласков. Когда он возвращался из своих долгих отлучек, дом наполнялся радостью, всем становилось весело, очаг горел, пламя трепетало, и пусть, пусть за стеной были мороз и ветер — в доме пахло жизнью, детские голоса звенели, как домбра, жена была полна счастья, а злой, сильный, грубый Кален становился слабым и нежным.

И сегодня в доме было тепло и весело, и Кален был умыт и чист, пахло от него свежим телом, свежим бельем, и был он раздет до нижнего, сидел, привалясь к чему-то, разбросав ноги. Два месяца работал он у рыбаков, а теперь был дома, и младший сын, такой же смуглый, низколобый, с глубоко посаженными глазками, как и у отца,— младший сын лазил по плечам, по голове, по груди отца. Кален смеялся, закрывал глаза — ему было щекотно и приятно.

— Ах ты, щенок...— говорил расслабленно Кален и запускал руку под ребрышки, под живот сыну и поднимал его.— В кого это он такой нежный уродился?

— Откуда мне знать?— счастливо смеялась жена.

— Ишь, собачонок, с чего это он меня так любит?

— Видит редко... Завтра увидит, ты уехал, опять тихий станет. Повидаешься с Еламаном, не задерживайся, возвращайся скорее к детям...

И Кален, всю свою жизнь проскакавший в седле, вдруг понял, как одиноко, скучно жили тут без него. Сердце у него стеснилось,

когда он подумал о доме без мужчины. Он поглядел на жену — любящая, одинокая, она и теперь не о себе говорила, она говорила о детях... А была Жамал женщиной сильной! Кален скакал, Кален рыскал по степи, месяцами не сходил с коня, а она, не жалуясь, не сетуя на судьбу, заготовляла дрова и сено на зиму, ходила за детьми и скотом...

И Кален стал думать о себе и о своей жизни. Много он угнал скота, и жизнь его была как бы сплошной ночью, потому что днем отсыпался он где-нибудь в укромной балке, а ночью объезжал аулы. Чей скот он угонял? Раньше об этом как-то не думалось, только кровь играла в жилах, только удаль пела в сердце. А может, угонял он скот у одиноких, или сирот, или слабых? Чего достиг он тем, что усердно служил Кудайменде и приумножал его стада? Он делал зло беднякам, и не обернулась ли жизнь и для него злом?

Он взял домбру, начал задумчиво побренькивать, сынишка затих у него в ногах, бесконечная мелодия шершаво переползала с высокой струны на низкую, будто говорили и никак не могли наговориться два грустных человека.

Вот тут-то он и услыхал морозный топот копыт возле своего дома. Отложив домбру, придерживая осторожно сынишку, он потянулся к окну. Он увидел группу всадников, и вид их ему не понравился, потому что среди всадников были Кудайменде и Абейсын. Не слезая с коня, Кудайменде указывал камчой в сторону скотника и что-то быстро говорил. Пар шел у него изо рта, и его сносило ветром в сторону. Несколько всадников тут же спрыгнули и, разгоняя плетьми собак, побежали к сараю.

— Ты посиди, я схожу узнаю,— торопливо сказала Жамал.

— Чего узнавать... Все понятно!— быстро отозвался Кален, спуская на пол сына и вставая.

Пока он одевался, Жамал успела выскочить на улицу. Дверь сарая была уже раскрыта настежь, и один из джигитов тянул оттуда гнедого Калена. Жамал побежала к сараю. Останавливая то одного, то другого, она кричала в ужасе:

— Почтенные!.. Почтенные... Что же это? Средь бела дня... Что же это? Кален! Кален!..

Потом она оставила джигитов и побежала к Кудайменде. Добежав, она ухватилась за узду коня.

— О-о! Что же ты смотришь? Останови, останови их... У тебя самого есть дети... Ведь есть детки? Останови...

Кудайменде смотрел в сторону, на горизонт, и подергивал за левый повод, стараясь отъехать. К нему подскакал Абейсын.

— Чем ты занимаешься?— буркнул негромко Кудайменде.— За чем смотришь? Болтается тут баба под ногами...

Абейсын круто повернул коня. Но Жамал в эту минуту уже бежала к бурой дойной верблюдице.

— Кален! Кален!— кричала она.— Где же ты? Прогони их...

— Е, а чего он нам сделает?— весело крикнул Абейсын и, подскакав к Жамал, сильно ударил ее доиром по голове. Жамал закричала и присела, закрывая лицо руками. К ней подбежали дети, тоже закричали, заплакали...

— А, волчата,— все так же весело крикнул Абейсын и ловко свалил их конем.

За минуту до этого, так и не успев одеться, из дому выскочил Кален. Он увидел, как растаскивают его скот, как, обливаясь кровью, присела жена, как Абейсын сшиб конем его детей. Абейсын как раз повернулся с конем к нему спиной и не видел его. Молча, с почерневшим от ярости лицом, он кинулся к Абейсыну.

Джигиты были уверены, что Калена нет дома. Увидев, что Кален бежит к ним, они бросили скот, стали ловить своих лошадей.

— Эй! Эй! Абейсын!— закричали они.— Кален!

В этот момент Кален добежал до Абейсына, уперся левой рукой в круп коня, подпрыгнул, но промахнулся. Абейсын обернулся и тонко закричал. Кален еще прыгнул и на этот раз дотянулся, схватил Абейсына за горло, потянул на себя и выволок из седла.

Джигиты поскакали в степь. Пустился за ними и Кудайменде, но скоро опомнился, остановился и поглядел назад. Увидев, что Кален безоружен, Кудайменде замахал руками.

— Эй, эй!.. Сюда скорей!— закричал он джигитам. Джигиты повернули, сбились в кучу и поскакали назад к Калену. Кален увидал их уже близко, соскочил с Абейсына и еще мельком подумал: «Не прикончил, наверно! Жалко!»— а сам уже бежал к сараю. Там он вырвал увесистую подпорку и побежал навстречу всадникам.

— А-а!— крикнули они разом, осадили и кинулись в стороны.

Кудайменде держался позади.

— Эй, собаки!— надрываясь, кричал он своим джигитам.— Трусливые шакалы! Пешего испугались.. Топчи его,топчи-и!..

Потом, оглядевшись, он подскакал к одному джигиту, черному и сутулому.

— Аркан... Где аркан? Заарканъ его!— крикнул он, задыхаясь.

Всадники, разделившись на две группы, начали теснить Калена. Он отмахивался жердью, отступал. Сутулый молча заезжал сзади. Кален чувствовал, что сзади кто-то наезжает на него, но наскакивали и спереди, и он не мог обернуться. И тут сутулый, пришпорив белогривого жеребца, кинулся на Калена. Зашипели разматывающиеся петли волосяного аркана, сутулый тут же резко повернул коня, продел конец аркана под ногу и поскакал. Бросив жердь, Кален пытался растянуть петлю на шее, а сам уже падал, кувыркался, его тут же поддергивало вверх, он вскакивал, пробегал несколько шагов и опять падал... Он уже не думал освободиться из петли, изо всех сил старался упереться ногами в снег, задержаться хоть на секунду, чтобы вырвать сутулого из седла, но сутулый не давал ему передышки, волок и волок. Калена нагнали джигиты, и первым был теперь Кудайменде. На ходу он что есть силы протянул Калена тол-

стым доиром. Другой изловчился, нагнулся и хряпнул Калена по голове тяжелой дубинкой. Кровь брызнула на снег, сутулый, оглядываясь, придержал коня. Лицо у Калена распухло и почернело, он упал, но еще ворочался.

— Ваша взяла...— просипел он сдавленным горлом.

Вспотевшие от ярости, визжа, оттесняя друг друга, еще долго били его джигиты, втаптывая в снег.

Очнулся Кален не скоро, еле разодрал глаза, огляделся. Он лежал за домом, снег вокруг головы набряк кровью, кругом было натоптано. Раздетые ребятишки сидели прямо на снегу и ревели. Рядом лежала избитая Жамал, тоже связанная. Увидев, что муж открыл глаза, она начала смеяться, и Калену стало не по себе.

— Господи!— сквозь смех выкрикивала она.— Жив! Господи!..

А потом заплакала.

Калену было стыдно, и он не смел смотреть на жену. Одной рукой мог он поднять и задушить любого джигита в округе. А теперь, избитый, униженный, он лежал в снегу и не мог подняться. Старший сын стал развязывать скрученные руки отцу и матери, но никак не мог сладить с узлами.

— Беги в аул!— со стоном выговорила Жамал.

Кален молчал, изредка поскрипывая зубами. Голова гудела, все тело болело, было так холодно, что Калену казалось — снег у него уже в животе.

Прибежали соседи из аула, развязали его и Жамал, помогли подняться, стали расспрашивать. Кален все молчал. Соседи уже собирались кучками, шумели, грозили волостному.

— Ладно...— буркнул Кален и поморщился, ему больно было говорить.— Ладно... В пустой степи все храбрые...

Его избили впервые. И в первый раз почувствовал он свое одиночество. Раньше он жил как хотел и ему нравилось быть одному. Потому что никто не видел, когда и куда он уезжал, и когда приезжал, и привозил ли что-нибудь. Но теперь он вспомнил рыбаков, Еламана, и ему стало горько. В степи каждый жил сам по себе, каждый одиноко пас свой скот или скот баев. От края до края расстилалась кругом степь, и вокруг одинокого человека были одни овцы. Или верблюды. Или кони.

А на море одному было нельзя. Нет, нельзя никак было одному на море! И дома, на берегу, нельзя было там жить одному. Потому что не каждый день идет рыба, и не каждому она попадается, и там надо делиться всем, а то пропадешь. И живи он с рыбаками, никакие джигиты не достигли бы его, потому что он бы там не был один...

Так примерно думал Кален, тяжело шагая к дому, неся на руках младшего сына и поддерживая всхлипывавшую жену. Он поглядел на свой дом, остановился, подумал и твердо решил вскорости переехать в рыбачий аул насовсем и перевезти туда семью.

Проводив жену и детей в дом, он опять вышел закрыть ворота са-

рая. Он не жалел о скоте, жалел только коня, потому что не мог теперь поехать в Челкар к Еламану.

Дома Кален завязал белыми тряпками голову и оделся.

— Ну, жена, я пошел... Не скучай.

— Милый... Не оставляй нас!

— Весна скоро. До лета потерпите.

— Я боюсь, дорогой!

Кален только посмотрел мрачно из-под бровей, и Жамал умолкла.

XXI

Стоял полдень. Почти все рыбаки были на льду, когда из города, пристав к возвращавшимся извозчикам, приехал отощавший Рай. За неимением улик его освободили.

В ту страшную ночь, когда рыбаков унесло в море, Рай обморозил себе щеки. В тюрьме его не лечили, и теперь щеки Рая покрыты были струпьями. Старая бабка узнала его по голосу. Узнала и заплакала от радости и от жалости.

— Верблюжонок мой! Ягненок ты мой!..

Попив чаю, поговорив наскоро с бабкой, Рай не утерпел и отправился к Акбале. Увидев Рая, Акбала тяжело поднялась. Она еще не поправилась после родов. Когда-то надменная, любившая наряжаться, она теперь опустилась. Одета была как попало, дом был грязен, не топлен.

Когда пришел Рай, Акбала обрадовалась, засуетилась, постелила ему кошму.

— Благополучно ли вернулся?

— Слава богу...

— А... брат твой... жив ли? Передавал ли что-нибудь?

Акбала вдруг быстро отвернулась и стала вытирать глаза. Рай закусил губу. Оба долго молчали, слышно было только их прерывистое дыхание. Наконец Акбала успокоилась, развела огонь, опустила в казан мясо. Потом поставила самовар и послала соседского мальчишку за Каленом, Мунке и Досом. По обычаю в отсутствие мужа в дом к жене старшие не должны заходить. Теперь, пользуясь возвращением Рая из тюрьмы, Акбала решила пригласить самых почтенных людей аула и хорошо угостить их.

Акбала была молчалива, скрытна. Она не сказала Раю о себе ни слова. Рай тоже помалкивал и ни о чем не спрашивал. Он и так видел, что женге похудела, поблекла, и в доме плохо.

Он отвел глаза и поглядел на сверток из одеяла возле печки. Быстро поднявшись, он отвернул одеяло и увидел крохотное красное личико.

— Это и есть наш мурза,— улыбнулась Акбала.

А Рай опять закусил прыгающие губы. Он вспомнил прощание с Еламаном перед этапом. Этап гнали в Сибирь, а Еламан был в кан-

далах. Прощаясь с Раем, Еламан боялся заплакать, глядел в сторону, переступал, звякая цепями.

— Ну что ж!— быстро говорил он.— Судьба! Я не жалуюсь. Все можно пережить... Но когда остается жена.., совсем одна, с малышом...

Он все-таки не удержался тогда, слезы выступили у него на глазах.

— Слушай, Рай! Мальчик ты мой... Брат, прошу тебя... Посмотри там за ними, помоги, если что...

Еламан давно шагал по сибирским дорогам, а возле печки, в его холодном, темном доме, спало существо с красным личиком. Рай глубоко, с перерывами вздохнул и вдруг спохватился. «Ах я дурак!— подумал он.— Тоску я пришел сюда нагонять?» Он подумал о печальной, похудевшей женге и через силу улыбнулся.

— А?— сказал он весело.— Щенок, а? К нему гости пришли, а он спит! А ну вставай, слышишь?

Рай пощекотал ребенка за нос. Тот не открыл глаз, но тут же закряхтел и зачмокал.

— Женеше, где домбра? Сейчас я его разбужу песней!

Он взял домбру, настроил, стер пыль, послушал звук, немного поперебирал пальцами по грифу, чтобы привыкла рука, потом заиграл и запел.

За дверью затопали, вошли, нагибаясь, Кален, Мунке и Дос. Рай, не переставая петь, улыбнулся, просиял, высоко вскинул брови. Пел он прекрасную песню «Каргаш». Улыбаясь, кивая Раю, рыбаки слушали его и расспрашивали Акбалу о здоровье, о малыше.

Присев, Кален стал смотреть на Рая. Он не любил горя и шел к Акбале с тяжелым чувством, представляя, какой грустный, подавленный сидит у нее Рай. Но Рай пел, подмигивая Калену, и Кален обрадовался. «Молодец парень!— подумал он.— Хорошо держится! Эх, если бы и Еламан был с нами...» Развеселившись, усаживаясь поудобнее, он скинул локтем накинутый на плечи чапан.

— А ну-ка, парень, дай мне!— попросил он и взял у Рая домбру. Еще подстроив ее, он несколько раз свободно ударил пальцами по открытым струнам, потом зажурчал, склонив ухо, веселую мелодию, потом кашлянул и сильно запел песню Сары. Когда-то он прекрасно играл и пел и, если участвовал в состязаниях певцов, народ издалека приезжал послушать его.

Кален пел полным голосом, будто в степи, а не в землянке, и рыбаки в ауле выходили из своих землянок, слушали, и все сходились к дому Акбалы. И дом уж был полон, а снаружи молча напирали, всем хотелось послушать. Кален распелся, его не просили, он пел сам, потому что видел, как блестят глаза у стариков и молодых. Песни Сары были вольны, протяжны, как степь, они прерывались быстрыми взлетающими звуками, и это было как звон жаворонка на рассвете. Песни переплетались с шутками и прибаутками, которые Кален выкрикивая тонким голосом, и все тогда

смеялись, будто слышали эти шутки в первый раз. Пел Кален и томительные грустные напевы, и тогда каждому казалось, что он едет ночью по степи, под высокими звездами, по ковылю и полыни, и нет конца пути...

Кален пел, и была уже полночь, и завтра надо было на рассвете выходить на лед, но рыбаки забыли про все, забыли свою бедную жизнь, свои несчастья и заботы. Акбала радовалась, что у нее в землянке народ, что горит огонь, что звучат песни, и она снова и снова подавала чай, боясь, что все разойдутся слишком скоро. Лицо ее менялось с каждой песней и лихорадочно горело. То ею овладевало тяжелое раздумье, и она грустила, то смеялась вместе со всеми. Ей тоже хотелось петь, но она стеснялась и подпевала Калену про себя, и губы ее шевелились. И губы ее стали нежные и красные, какими они были у нее когда-то давно, еще до замужества. Когда Кален уставал и, отдыхая, пил чай, домбру брал Рай и продолжал петь песню за песней. Никогда не бывало такого вечера в рыбачьем ауле...

Кален давно не пел, давно не брал в руки домбры и уже на улице понял, как охрип и как устали пальцы. Попрощавшись с Раем, он пошел домой. По дороге он думал, как все-таки хорошо пел и что своим пением он как бы незримо помогал далекому Еламану. Он успел полюбить Еламана и с сожалением думал иногда, почему бог не послал ему такого товарища раньше. Еламан был добр и справедлив. Ко всем в ауле он был одинаков, всех любил и всем старался помочь.

Ведь не всегда попадает в сеть рыба, и как часто какой-нибудь рыбак плетется домой с пустым мешком. И Еламан, если у него был хороший улов, всегда подходил к неудачнику и давал рыбы. Не раз его ругали за это, не раз напоминали о разных родах в ауле. Еламан слушал и не сердился, а потом говорил:

— Эх, дорогой! Какие там роды! Все мы тут одного рода, все рыбаки. Без моря нам не прожить. Общая судьба, общий и котел...

Да, настоящий человек был Еламан! И просто замечательно, что Кален сегодня так хорошо пел у его жены — такой одинокой теперь, лишенной даже самой маленькой радости...

Так думал Кален, подходя к дому, как вдруг увидал возле своего дома в темноте женщину, сидящую на верблюде. «Кто бы это мог быть?»— подумал он и заспешил. Подойдя ближе, он узнал жену и обрадовался. Он снял ее с верблюда, поцеловал и тут же подумал о детях, и ему стало еще веселее.

— Куда же мои чертенята попрятались?— радостно бормотал он, разыскивая их среди кошм и тюков.

Он скоро их нашел и понес в дом, не замечая, что жена молчит и прерывисто дышит. В доме Кален поцеловал младшего в лоб и тут же испуганно спросил:

— Что это? Что с ним?— лоб малыша был сух и горяч.

— Прости... не уберегла, заболели оба...

— Как же... Как же это ты, а?

Жамал задыхалась, глотая слезы.

— Да говори же!

— Как ты ушел...— покорно начала Жамал,— опять приехали они... Отняли дом, загнали туда скот... А ребятишек и меня выгнали прямо на снег...

Больше она не могла говорить и, опустившись на пол, зарыдала, спрятав лицо.

Кален машинально гладил головки больных детей и молчал. Он думал, как будет когда-нибудь душить Кудайменде, как схватит его железными своими пальцами за мягкое жирное горло.

Потом он затопил печь, раздел детей и сел возле них. Часа через два у старшего выступил обильный пот. Отец вытирал его. Потом старший сын задышал ровнее и скоро заснул. А младшему было хуже. Дыхание было неровным и коротким, ноздри сузились, губы обсохли и потрескались. Младший был в горячке.

Кален дышал так же тяжело, как и его ребенок. Но думал он о Кудайменде, только о нем, о его горле, о том, как вылезут у него глаза, когда он будет душить его.

Под утро Жамал, обессиленная, задремала было, но через минуту, как ей показалось, вздрогнула и проснулась. Масло в светильнике кончилось, и огонек едва трепетал. В доме было темно, в углах совсем черно. Кален сидел понурившись, темнея своей крупной фигурой. Сначала Жамал подумала, что муж задремал. Но тут же заметила, что плечи Калена дрожат. Все оборвалось у нее в груди. Вскочив, она кинулась к ребенку. Тот лежал, вытянувшись, оскалившись. В слабом свете светильника резко белели его зубы. Жамал закричала, забилась, потом схватила холодное, безжизненное тельце сына, прижала к груди...

А Кален сжимал голову, плечи его тряслись, но думал он о Кудайменде, только о нем, о его жирном теле, о его жирной шее, о его жирном лице, искаженном предсмертной мукой.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

— Уу! Брр!.. Ну и холодина, дьявол!

Иван Курносый долго скреб непослушными красными руками по двери. Дверь закуржавилась, забухла с морозу — еле открыл. Пронзительный степной ветер дул прямо в дверь, и, пока Иван входил и поворачивался, чтобы закрыть за собой, в сенях уже повыдуло все тепло. Иван долго топтался в сенях, стряхивал снег, гремел промерзшими сапогами, потом вошел в дом.

— Жена! А жена! Подавай обедать!

Шура сидела у окна, глядела на улицу, скучно ей было. Не оглянувшись, она неохотно встала, потянулась, зевнула и пошла к теплой плите. Иван, как был в полушубке, сел к столу, стал оттаивать. В доме резко запахло свежей рыбой. Иван сидел, потирал распухшие красные пальцы, думал о чем-то, лицо у него было веселое. Кожа на щеках потемнела, шелушилась от мороза, брови и ресницы заиндевели, в носу заколянело, пучки шерсти, торчавшие из ноздрей, побелели.

Подув на руки, Иван принялся хлебать уху. Из носу у него капнуло раз, другой... Шура поглядела, повела плечом, скучно отвернулась.

— Черпаем рыбку-то, черпаем...— мурчал Иван.— Пудиков тыщ пять будет!

Со вчерашнего дня он только об этом и говорил. Приходил, наскоро хлебал чего-нибудь и тут же уходил. Мысли его были заняты рыбой.

Шура помалкивала. Она заметно похудела, под глазами пошли тени, лицо с кулачок, в глазах — тоска.

— Эх, дьявол!— Иван утирал рот, глядел в стену.— Ну, мать твою, повезло! Всю жизнь мечтал этак-то... Теперь все! Теперь эти всякие азиаты хвосты подожмут. Слышь, сына мне иcделай скорей, наследник мне теперь требоваетcя. А я тебе шелку на платье куплю. Слышь, дура?..

Шура была дочерью звонаря небольшой заштатной церквушки в Уральске. Мать все болела, лежала, постанывала, была всем в тягость. Отец пил сильно и убился пьяный. Сорвался с колокольни, ногой только потом раза два дрыгнул.

Была маленькая — любила в церковь ходить, праздники большие любила. Отец вызванивал наверху, а внизу — народ, ото всех

пахнет новой одежей, сапогами, напирают в церковь, оттуда пение сладкогласное, а на паперти — нищие, убогие, калеки, странники, юродивые...

Отец помер, совсем нечем стало жить, месяца два кое-как перебивались, потом вспомнила нищих, копеечки, ночи три маялась, лицо горело от стыда, потом осмелилась, надела утром на себя самое худое, пошла на паперть. Попросить она не смела, народ мимо шел — она румянцем заливалась, глаза в землю, но дрожавшую руку ковшиком все-таки складывала. Ей подавали, но мало, не до нее там было. Там калеки култышки, язвы всякие гнойные свои выставляли, орали, выкликали дурными голосами, дергали за полы православных христиан — не дашь, так и облает нехорошо, матерно.

Только стал вдруг похаживать к церкви купец. В церковь не шел, ходил перед оградой, поглядывал на Шуру. Дней пять так прошло, на шестой подошел, горбоносый, рыжий, постоял, поглядел усмехаясь.

— Много насбирала?— спросил насмешливо.

Шура задрожала от страху, разжала потную ладошку, показала медяки.

— А ну пойдем со мной!— сказал тогда купец и понизил голос:— Пойдем, пойдем, не обижу! Сыта будешь, одену...

Кончилось все тем, что очутилась она тут, на берегу Аральского моря. При Федорове жилось ей хорошо, сама себе хозяйкой была. Только раз обидел ее Федоров, но крепко, на всю жизнь. Узнав однажды, что она беременна, он заледенел глазами, затвердел скулами, принахмурился. Сколько потом она ни плакала, как ни молила — свез он ее зимой в Челкар, с рук на руки сдал знакомому доктору. Ребенок был ему без надобности.

Сколько времени уж прошло, и Федоров погиб, но эту его непреклонность, холодность, эту зимнюю поездку в город не могла она позабыть. Сидела одна, думала, вот был бы сынок, утеха, а то жизнь пустая...

Был жив Федоров, Иван близко к ней не подходил, встречаясь, кланялся, улыбался смирно. Федоров умер, Иван напился не то с горя, не то с радости, побежал по дому искать Шуру, нашел, навалился, рычал: «Я тебе, сука, покажу, кто тебе муж!» Бил он ее с тех пор крепко, не мог простить ей Федорова, зубами скрипел, один раз чуть не задушил, соседи отняли. Пропал у нее румянец, с тела спала, плечики все в платок кутала, сидела у окна, глядела в степь, глаза тоской исходили.

Купил Иван на торгу сеть федоровскую, взял себе в артель лучших рыбаков из аула, ходил как блажной, по десять раз на день приставал к жене: «Ты это что жа? От Федорова понёсла, от меня не хошь? Чтоб был у меня сын-наследник! Ребра поломаю, кровь с носу, а чтоб был сын!»

Иван поел, утерся, поморгал сонно, устал он сильно за последние дни, промерз, не хотелось опять на мороз идти.

— Жена!— позвал он, скосил глаза вниз, на полушубке, на груди, рыбные кости прилипли, смахнул.— Жена!— позвал погромче.

Шура не оборачивалась. Иван, привстав, рванул ее к себе за плечо, подышал в лицо, поглядел свирепо в скучные ее глаза.

— Что, Федорова вспомнила, гнида? Гляди у меня! Я домой поздно приду, а то и не приду совсем. Ужин мне принесешь, слыхала?

Шура помолчала, вяло кивнула. Иван встал, крякнул, натянул шапку и пошел вон. На улице еще мела вьюга, снег белыми змеями перетягивал дорогу к морю. Иван пошел прямиком по льду и еще издали увидал большие кучи рыбы, чернеющие на белом. От куч шел парок, рыба не успела еще замерзнуть, вяло билась, снег таял на ней. Но много было куч, полузанесенных снегом; подходя, Иван оглядывал все это и радовался.

Тут уже толпился народ из ближайших аулов, кто верхом, кто пешком, человек сто подвалило, и собаки бегали, брехали взволнованно, вороны нервно летали, садились, опять тяжело поднимались, орали — шумно было на льду.

«Гляди-ка!— весело думал Иван.— Все аулы ко мне поднаперли! Небось глаза у всех, как у волков, горят! Ай да Иван, ай да купец!»

Подойдя ближе, он заметил в стороне от толпы отдельную кучку людей. Одеты все они были тепло, и кони у них были раскормленные, ветра не боялись, только хвосты да гривы развевались. Иван вгляделся, узнал баев.

— А, волостной, здорово!— весело крикнул он еще издали, подошел, начал жать руки баям.— То я был приказчиком у бая, а теперь, гляди, сам бай!— по-казахски кричал он сквозь ветер.— В самый раз подъехали, сейчас рыбка вам будет, никого не обижу!

По-казахски говорил он скоро, складно, баи помалкивали, только головами крутили, удивлялись. Иван повернулся, пошел к рыбе. Баи, ведя коней в поводу, двинулись следом. Кудайменде пофыркал, поцокал языком, потом повернулся к шагавшему рядом толстому рыжему баю Рамберды:

— От горячей каши и то пар идет,— сказал он.— А от богатства пар совсем столбом валит! Гляди-ка, как этот тупорылый урус сразу баем стал, а?

Рамберды испугался, что Иван услышит, толкнул Кудайменде, погладил усы и замурлыкал Кудайменде на ухо:

— Помолчим, дорогой!.. Знаешь, кто молчит, тот и выигрывает. Не пихай ногами того, что тебе само в рот лезет, хе-хе...

Потом Рамберды поглядел на Калена и опять толкнул Кудайменде.

— Э! Да тут твой лучший друг,— колыхаясь от удовольствия, шепнул он.

Но Кудайменде не надо было толкать, он и так давно следил за Каленом, стараясь не показать страха. Кален, будто не было рядом никакого Кудайменде, споро черпал с рыбаками рыбу из проруби.

Иван подошел к проруби, начал ногами подгребать баям их сыбагу. Рамберды, будто задумавшись, тоже начал подпихивать к сыбаге рыбку покрупнее. Оглянувшись, Иван захохотал, закричал:

— Давай, давай, Рамберды, действуй! Рыбы много, не жалей!

Подошел Кален, мельком скользнул взглядом по баям, будто царапнул, ухмыльнулся и как бы одному Ивану, но так, чтоб слышали все шонжары, сказал:

— А ты их не учи. Они свое возьмут хоть так, хоть эдак. Да еще и тебя поучат, как брать...

Кудайменде побагровел до поту, повернулся и пошел к коню. Рамберды растерялся, поглядел на Ивана, на уходящего Кудайменде и тоже заторопился к коню, бормоча что-то себе под нос. Иван разинул рот, глядя, как Кудайменде прыгает на одной ноге, садится на коня, потом побежал к нему.

— Ау, бай-еке,— схватился он за полы Кудайменде, но тот уже влез верхом, толкнул Ивана ногой.

— Отойди!

Поехали. Уже с берега Рамберды оглянулся на лед, на кучи рыбы, засмеялся.

— А твой дружок прямо коршуном на нас налетел, а? Ха-ха!..

Стыд жег сердце Кудайменде, он посопел, не нашелся, что сказать, стегнул коня и рысью поскакал вперед.

Иван долго глядел им вслед, потом вернулся к Калену.

— Ты что, сдурел?— заорал он.— Ты чего это к волостному полез, жить на воле надоело, тюрьмы не нюхал, стерва?

— А? Волостной, волостной... Чего это ты расшумелся?

— Я расшумелся? Ах ты паскуда! Вон отсюда, чтоб духу твоего тут не было!

— Это я-то — вон? Да если я уйду — все уйдут! Эй, рыбаки!..

Рыбаки, из последних сил черпавшие рыбу, сразу побросали черпаки.

— Ну как?— насмешливо спросил Кален.

— Ладно, ладно...— пробормотал Иван и отвернулся.

На торге Иван опередил купца-татарина, купившего промысел Федорова, сам купил невод и подговорил самых лучших рыбаков работать у него. С тех пор он побаивался татарина.

Кален подошел к рыбакам, Мунке, Рай, Дос, сгрудившись у проруби, дружно черпали рыбу. Все были мокрые насквозь, на рукавах намерз лед, но работали они быстро, азартно — наконец-то пошла настоящая рыба. Один Мунке приостановился немного и повернулся к Калену.

— Земли им мало, моря теперь захотелось?— буркнул он про баев.

— А! Черт их всех не возьмет, добычу почуяли... Ты думал, молиться они сюда поедут? Дай-ка черпало!— мрачно сказал Кален и взял у Мунке черпало. Заиндевевшее, обветренное лицо его было угрюмо.

II

В аул волостного приехал Темирке. Теперь он был владельцем промысла Федорова. Танирберген до сих пор жалел-тужил, что не купил промысла. Настоящее дело Темирке выхватил у него из-под рук. Умен был Танирберген, но нерешителен и сам знал свою слабость. Знал он, что там, где делаются деньги, не может быть места колебаниям. Человек, делающий деньги, должен быть безжалостным, бесчувственным, вот как толстокожий мурластый Абейсын. Да что там Абейсын — сам Темирке становится, когда надо, к прилавку в своем магазине. Засучив рукава, не брезгуя грязью, бойко торгует всем, вплоть до синьки и краски. А Танирберген такого не мог, боялся замараться, да и не любил торговать, нанял Абейсына.

Абейсын собирал шерсть и шкуры по всей волости Кабырга, ехал в город, заезжал по дороге к Танирбергену, рассказывал, что и как. Косяками гонял он байский скот в город на базар и продавал там. Одежда, чай, сахар байского аула также были заботой Абейсына.

Как он там продавал и покупал, Танирберген не знал... Знал только, что сошлись где-то дорожки татарина со сборщиком. Стоило упомянуть имя Абейсына при татарине, как татарин вздрагивал, начинал таращиться, потом долго покачивал головой в тюбетейке и бормотал себе под нос: «И-и, алла, не говори об этом афенде! Удивительный человек!»

Сколько раз сравнивал Танирберген своего брата волостного с татарином и каждый раз только вздыхал тяжело. Брат и богат был, и волостным стал, а все-таки до этого лопоухого татарина далеко ему было! «Что там говорить, безгранична сила богатства!»— опять со вздохом подумал Танирберген и подсел поближе к Темирке.

— Иван-то наш удачлив оказался,— осторожно начал он.— Слыхал, наверно, об улове?

— Много ли?

— Да говорят, побольше пяти тысяч пудов...

Темирке даже ногами шевельнул и в лице переменился. Танирберген незаметно усмехнулся.

— Теперь у тебя работы хватит, а? Пять тысяч пудов рыбы — не шутка! Послушай, Темирке, а соль-то у тебя есть? Хватит?

— Ой, нет!— тут же быстро сказал Темирке.— Йок, йок! Рыбу Ивана не буду принимать. Ты правильно подумал, у меня для своей не хватит соли...

— Как же ему быть, бедняге?

— Это не мое дело. Пусть опять в море пускает.

Танирберген удовлетворенно вздохнул и опустил глаза. Против Ивана он ничего не имел. Иван все-таки прислал рыбы волостному. Ее тут же повезли в Челкар на двенадцати верблюдах. Если на рыбу хорошие цены, всем братьям по коню будет... Нет, Танирберген ничего не имел против Ивана, он метил дальше.

Помолчали. Кудайменде посапывал, багровел, как всегда, не зная, как приступить к делу. Темирке сидел съежившись, покачивал тюбетейкой. Наконец Танирберген опять заговорил:

— У моего болыс-ага есть к тебе одно дельце, гм... Болыс-ага давно хотел его с тобой обсудить.

Темирке сразу сложил руки на животе, завертел пальцами. Глаза его заблестели, ноздри вздрогнули. Он повернулся к посапывающему Кудайменде.

— Слушаю, бай!

Кудайменде нерешительно задвигался.

— Завтра мы кочуем на джайляу, кха!..— Он кашлянул и покосился на Танирбергена. Он еще не совсем разобрался в сомнительном деле, которое затевал Танирберген. А дело было все в том же Калене.

После неудачи с Каленом, когда вмешался Жасанжан и испортил все, Танирберген решил действовать иначе.

— Оттого, что мы расправимся с одним Каленом, дело не изменится,— внушал он брату.— Пока мы не возьмем в кулак всех рыбаков на берегу, покоя нам не видать. Мы должны показать им нашу власть! А время для этого сейчас самое удобное.

Но Кудайменде нужен был только Кален. Сослать его в Сибирь, и все! Меры, предлагаемые Танирбергеном, не внушали ему доверия.

— Так вот, завтра мы кочуем на джайляу,— опять начал Кудайменде.— Потом, считай, до самой осени, пока не выпадет снег, сюда не вернемся. А из такой дали человеку,— тут он приосанился,— в руках которого все вожжи правления, трудно заниматься другими делами...

— Конечно! Дальше, дорогой бай!

— Вот я и хочу тебе сказать,— тут Кудайменде впервые поглядел Темирке прямо в глаза.— Хочу сказать, что твои рыбаки в своем деле ничего не смыслят. Все они степные казахи. Что они, кроме верблюдов, видели? Они как степные птицы, чуть вода выше щиколоток — умрут от страха.

— Так-так... Дальше, дорогой бай!

— Вон тех рыбаков, что на обрыве, знаешь?

— Так-так...

— Вот они море любят! Они и дно морское, как свой двор, знают.

Танирберген положил руку на колено Кудайменде и придвинулся к Темирке.

— Я добавлю, дорогой мой. Со стороны всегда виднее, не правда ли? Сколько раз я замечал, где много рыбы, там они и ставят сети. Твоих же рыбаков норовят отогнать подальше. А твои растяпы рады и остаткам.

Темирке грустно кивнул головой в тюбетейке.

— Правда, правда. Мурза правду говорит.

Сквозь грусть на лице у него просвечивала уже хищность. Мучительно думал он, к чему же клонит Танирберген. А Танирберген благодушно усмехался.

— Лучший выход, по-моему, захватить с помощью волостного все рыбные места.

— Ай, не знаю!— Кудайменде даже оторопел.— Все-таки это как-то... Не знаю. А можно разве?

— Можно, можно!— обрадовался Темирке.— Вполне можно. Это очень удачная мысль! Такого совета за деньги не купишь. Прекрасный джигит!— хлопал он Танирбергена по спине.— Очень даже можно. Теперь все рыбные места объявим запретной зоной.

— Хазрет, говоришь?— не понял Кудайменде.

— Нет, запрет... запретная зона. Если в этих местах рыбаки будут ставить сети...

— Особенно такие, как Кален, Мунке, Рай, Дос...

— О! Мурза умно говорит. Именно такие! Если они будут ставить сети в запретных местах...

— Забери сети и не отдавай!

— О! Замечательный джигит! Сети не возвращаю. Не отдаю сети. А потом... где вода взбаламучена, где рыба ходит косяками, э? Тоже наши места, э?

Танирберген посмеивался.

— Вот-вот... У тебя выходит, как в игре в асыки. Там, если кто-нибудь сильнее всех, получается: «Если упадет альчи — мое, если не альчи — тоже мое!» Э?

— Э? Хи-хи-хи... Так мое и так мое, э?

Посмеялись. Потом Темирке спохватился, глянул повнимательнее на Танирбергена, сразу понял — без благодарности не обойтись,— поскучнел, покивал тюбетейкой, покряхтел и наконец пробормотал неохотно:

— Твою услугу, бай-еке, клянусь аллахом, не забуду!

III

Стоило Каракатын немного поработать, как настроение у нее портилось окончательно, самая сладость тогда была для нее поругаться с кем-нибудь. Вот и сегодня, швырнув у порога вязанку дров, поглядев на дочь и на старуху свекровь, она злобно забормотала:

— Ух, проклятая веревка, всю спину исполосовала! Я мучаюсь, дрова на себе тащу, а они тут зады греют в теплом доме, возле печки.

Аккемпир смолчала. Балкумис, уже взрослая дочь Каракатын, сидела, обняв колени. Ей тоже хотелось поругаться. Она уж и губы надула, ждала только, что еще скажет мать. Каракатын поглядела на нее, увидала надутые губы.

— Это что ж такое? У, чтоб черное лицо твое треснуло! Что это ты надулась, как Акбала?

— Уж твое лицо, конечно, прекрасно! Не глядела бы!

— А что мое лицо? Может, и почернело чуть, так это от чего? От забот — век тружусь в поте лица, вон на своем горбу дрова таскаю!

— Ну да, раньше лицо у тебя белое было...

— Давай, давай, ляскай зубами, как баба Мунке!

— А ты что, не ляскаешь?

— Дура! Гнида! Вошь! Куда тебе до меня? Вон как бабу Судр Ахмета, будет тебя муж каждый день за волосы драть да палкой колотить, тогда попляшешь! Эх, дожить бы только, вот бы порадовалась!

Балкумис заревела. Обидно ей стало, что никак не может переспорить мать, что нету у нее такой резвости. А Каракатын немного успокоилась, повеселела. Своим языком она гордилась и знала, что ее никому не переругать. Тут она вспомнила еще, что она примерная мать.

— Я хочу, чтоб тебе же, дура, лучше было,— говорила она, раздувая тлеющий огонь в печке.— Вот выйдешь замуж, и, если твои золовки и снохи погладят тебя по голове и скажут: «Эта девушка выросла, воспиталась у примерной, хорошей матери!»— это будет и тебе и нам приятно. Ты не дочь каких-нибудь там безродных, чтоб каждый встречный-поперечный попрекал тебя. Слава богу, твою прекрасную мать тут все знают! Как все — и стар и мал — называют твою мать? «Болган! Болган!»— вот как меня называют! А чтоб его черт раздул — что это с проклятым огнем случилось? Никак не загорается!

Глаза ей ел дым, дрова не горели, и Каракатын опять начала злиться. А тут еще свекровь мимо ходила, одеяла на улице выбивала, и ей пришло вдруг на ум, что ее все зовут Каракатын[1], а старуху свекровь — Аккемпир[2].

— Не могла огонь развести, да?— закричала она на старуху.— Руки не доходят, да?

Аккемпир опять промолчала, только подняла голову в белом жаулыке, гордо пошла к печке и села там, отвернувшись. Каракатын окончательно рассвирепела.

[1] Черная баба.
[2] Белая старуха.

— Пускай мое имя Болган исчезнет,— закричала она,— если я тебе, хрычовка, дам сегодня пожрать!

— Е, милая, оставь еду себе. Дай мне покоя.

— Ах ты, старая стерва, покоя захотела?

Аккемпир обернулась и печально посмотрела на Каракатын. Она увидела черное, с каким-то лягушачьим оттенком, сухое лицо худой злобной бабы. Брови и ресницы были у нее опалены. Большой рот, вывороченные губы, низкий, в два пальца, лоб — ни божьей искры на плоском лице. Аккемпир с отвращением отвела глаза: «О милосердный боже, за какие грехи поставил ты на пути моего единственного сына эту ведьму!»

Каракатын бушевала весь день и слово свое сдержала: ни днем, ни вечером не подпускала она свекровь к дастархану. Накормив вечером детей, убавив фитиль в лампе, поджидала мужа, не дождалась и легла спать.

Дос пришел за полночь, мокрый с ног до головы, в хлюпающих сапогах. Задремавшая было Аккемпир быстро встала, сняла с сына верхнюю одежду, выжала портянки, повесила над печкой.

— Бедный ты мой!— тихо пожалела она его.— Совсем ты с нами измучился. И что это за жизнь? Уходишь на рассвете, приходишь ночью. Мокрый, голодный...

Старуха не любила, чтобы замечали ее горе или недовольствие, но тут ее голос задрожал. Пока Каракатын зевала, собираясь вставать, Аккемпир разожгла огонь, постелила перед очагом одеяло помягче, подложила под бок сыну подушки, заботливо укрыла его. Укрытый, в тепле, Дос все никак не мог согреться и, только когда поел горячего, перестал дрожать.

Характером Дос пошел в мать. Скрытный, уступчивый, он больше всего дорожил миром в доме. После целого дня отлучки, возвращаясь домой поздно ли, рано ли, он первым долгом с тревогой смотрел на мать, стараясь угадать, не ругала ли ее без него Каракатын. Сейчас он видел, что Каракатын зла, и тревожился.

— Ну, бери же, апа,— просил он, пододвигая свою еду к матери.

— Е, сынок мой, что нужно матери, сидящей возле печки? Для меня и воздух теплой комнаты — еда,— сказала Аккемпир и встала. Усевшись на свое привычное место возле печки, она спросила:— Ну, что с рыбой? Не сдали еще?

— Пропала рыба. Птицам и собакам радость...

— Этот, как его?.. Темирке так и не принял ее?

— Нет.

— Какие настали бессердечные времена!— вздохнула мать.

Лишь под утро Дос соснул на часок. Утром, наскоро поев, он оделся и вышел на улицу. Одежда еще не совсем просохла, и он ежился и вздрагивал. Кругом стоял густой туман. Чем ближе подходил Дос к берегу, тем туман все больше белел и густел. Дышать было тяжело, и Дос вяло передвигал ноги.

Кален и Мунке с пятью-шестью рыбаками всю ночь работали в море. Теперь они толпились вокруг горы рыбы на льду и были мрачны.

С тех пор как лед сковал море, рыбаки не знали покоя. За зиму они исходили все море в поисках хорошей рыбы. Каждый раз пробивая толстый, в два аршина, лед, они прочесали неводом весь залив Куль-Куры. Потом, надеясь, что там попадется усач или осетр, несколько дней ловили они на косе возле местечка Бозбие, но каждый раз невод их оказывался пуст. Рыбаки устали, приуныли, и только у зимовья Зайр им неожиданно повезло. Весь тысячеаршинный невод был забит рыбой. Днем и ночью, не давая себе передышки, рыбаки черпали из-подо льда рыбу. Так радостно было им работать, так весело...

Но Темирке вдруг отказался принимать рыбу. Упросить его было невозможно, и рыбаки спешно стали искать выхода. Мороженую рыбу пытались отправить в ближайшие города — Аральск, Казалинск, Камбаш, Челкар и оптом сбыть ее татарам-купцам, державшим свои чайные и лавки. Искали в аулах подводчиков и не могли найти. Местные баи не давали подвод, не веря Ивану на слово и требуя задаток.

Так прошло недели две, и рыба на льду начала вымерзать. Ее растаскивали птицы и собаки, женщины и дети со всех аулов, тащил всякий кому не лень. Весна ударила ранняя, начал таять снег, ломаться лед. Поверх льда пошла талая весенняя вода.

В этот день, после тумана, сильно потеплело к обеду, рыба толстым слоем белела на воде. К вечеру слабый весенний лед стал расходиться, много рыбы потонуло...

Иван подошел со стороны промысла. Плечи у него были опущены, глаза красны, он не спал все эти дни. Подошел, ни с кем не поздоровался, не поговорил. Он скрипел зубами, кружился вокруг оставшейся рыбы. Потом ударил себя по голове, заплакал, побежал куда-то и провалился. Рыбаки вытащили его из воды, повели к берегу.

— Беги, беги домой скорей! Окоченеешь — сдохнешь!

Иван покачивался, мотал мокрой головой...

— Сколько рыбы!..— бормотал он глухо.— Всю жизнь... ждал! А? Богатым стал, а?

Потом вдруг повалился на лед, стал мычать, скреб ногами, возил мокрой головой по снегу и вскрикивал: «Ах да и пропал же я!» Поднялся, повернул было опять к рыбе, но раздумал, тупо потоптался, не зная, куда же теперь идти и что делать, и пошел к промыслу.

Темирке стоял на песчаном бугре перед своим домом. Ивана он давно заметил, сложил руки на животе, крутил пальцами. «А, крестолюб! Мало тебе еще! Вот пускай тебе твой Исса поможет!»

Купив федоровский промысел, Темирке сразу предложил Ивану быть у него приказчиком. Но Иван в приказчики не пошел, купил

тысячеаршинный невод и нанял себе в артель лучших рыбаков. С тех пор Темирке был зол на Ивана.

Теперь он спокойно глядел сверху, как, покачиваясь, будто пьяный, лезет к нему Иван.

— Эй, Темирке! Отец мой!— сказал Иван, задыхаясь.

Темирке отвернулся и пошел домой.

— Бай-еке!...

— Ну? Чего тебе?

— Хоть остатнюю рыбу возьми у меня, а? Христом-богом молю, а?

— Йок, йок! Зачем мне твоя промерзлая рыба...

— Ой-ей-ей! Бай-еке!

— И-и, аллах! Отстань! Какой ты надоедливый, однако! У меня и для своей рыбы соли нет. Ну, прощай!

Поднявшись на крыльцо, Темирке обернулся и еще раз живо поглядел на Ивана, полюбовался, какой он весь мокрый и пьяный от горя, еще раз насмешливо сказал: «Прощай, афенде Иван!»— и вошел в дом.

Для Ивана все было кончено. К своей рыбе на льду он больше не пошел. Лицо у него перекосилось, он все скалил зубы, еле добрался до дому. Увидев жену, он двинулся за ней из комнаты в комнату, загнал в угол, прижал к стене. Глаза у него помутнели, он глядел мимо помертвевшей от страха жены и все повторял:

— Наследник-то! Наследник! А? А, мать твою, наследник-то, я говорю, а?..

IV

Калена теперь не узнать было. Он избегал людей, слонялся по берегу моря один, ночами долго не спал, лежа с открытыми глазами.

Вот и Иван Курносый пропал, не было его нигде. И Кудаймende, Танирберген стали осторожны — вся сила была теперь у Темирке. Все рыбаки из артели Ивана остались без работы, Темирке сетей им не давал. Особенно груб он был с Каленом, Раем, Мунке и Досом — с ними он и говорить не хотел.

Каждый день к дому Темирке приходили казахи — наниматься на рыбный промысел. Зима была плохая, джут, бедные аулы оставляли свои вековечные места, люди толпами тянулись к морю. А рыбаки на круче сильно бедствовали. Скотины у них не было, сетей тоже не было.

Не зная, чем заняться, Кален весной, когда еще лежал по степи талый снег, примкнул к подводчикам, поехал в город Челкар. Оттуда он вернулся в самую распутицу пешком, обросший, весь в грязи. В городе он насобирал по знакомым ниток для вязки сетей, поровну раздал рыбакам.

Но он знал, что это не выход из положения. Отдохнув немного, он взял с собой Рая и отправился с ним в аулы на полуострове

Куг-Арал. Долго они там не задерживались, Рай — у деда Есбола, Кален — у приятеля взяли по верблюду и вернулись в аул. Соседи нанесли им годные для обмена и продажи вещи, и они вместе с астыкчи из соседнего аула стали собираться в Конрат. Ехать одни они не хотели — на караванной дороге пошаливали.

Акбала боялась за Рая, отговаривала от поездки, но Рай уперся, не хотелось ему сидеть дома. Подождав дня два караванщиков, они в один прекрасный день после обеда отправились в путь. Провожать их пошли Акбала и Бобек. Чтобы не стеснять молодых, Кален шибко погнал своего верблюда, пустился вдогонку за ушедшим вперед караваном. В толстом черном тумаке, в толстой шубе, на высоко навьюченном верблюде Кален был грозен. Акбала все поглядывала на него и понемногу успокаивалась. Но, когда Кален скрылся за перевалом, она опять стала бояться за Рая.

Ей хотелось быть веселой, чтобы любимый ее деверь, молодой джигит-караванщик, тронулся в опасный путь с легким сердцем. Но она никак не могла справиться со своим лицом и губами, шла возле верблюда бледная, молчаливая, понуро опустив голову.

— Ну, женеше, оставайтесь!— истомившись, попросил Рай.

Акбала вдруг закрыла лицо платком, зарыдала, как по покойнику, будто в последний путь провожала. Заплакала и Бобек, и грустное получилось расставание. Боясь тоже расстроиться, Рай поскорее погнал верблюда, а женщины остались и долго глядели ему вслед.

Проводив Рая, Акбала стала совсем одинока. Дома было нехорошо, неуютно, постель не убрана, все разбросано... Завернутый кое-как ребенок молча лежал возле печки. Недоношенный, он никогда не кричал, не просил грудь, все спал и спал. Надо было будить его, чтобы покормить. Акбале иногда казалось, что он умер, у нее замирало, обрывалось сердце, она кидалась к сыну, хватала на руки, заглядывала в лицо и долго потом не могла положить его на место.

С тех пор как забрали Еламана, жизнь Акбалы стала скучной. Из дому она почти не выходила, днем и ночью всегда одна. Ходила иногда к Раю, а часто ходить было неловко, и целыми днями, обняв колени, сидела она в пустом доме. Хоть бы ребенок скулил, все было бы лучше, а то тишина и запустение.

Проводив Рая, Акбала пришла домой, присела у порога и стала кусать губы. Отчаяние, злоба охватили ее, она ненавидела все, что было вокруг, задыхаясь, швыряла ногами посуду, тряпки.

— Проклятые, проклятые! Ну что мне делать? Что делать?

Вдруг она оживилась, в глазах зажглось удовольствие — она увидела большой рыбный нож. Задыхаясь, всхлипывая, схватила нож, чувствуя уже в груди, под ложечкой, смертную тугую истому, холод пошел у нее по животу. «Только под грудь!»— жалобно думала она, расстегиваясь, и вдруг схватила сына и вытерла слезы.

— Кормилец мой! Эх, зрачок мой ненаглядный!.. Не надоело тебе еще спать! Проснись-ка... Открой свои глазки.

Она щекотала его за нос. Потом поднесла ему грудь, тыкала сосок в губы. Но ребенок не просыпался. «О господи, чем я тебя прогневила? За что ты меня караешь?»— подумала Акбала, и ей опять стало скучно, неуютно и безразлично.

После того как забрали Еламана, она часто плакала. Она боялась спать одна в доме и иногда всю ночь не смыкала глаз. Было время, когда, не выдержав, она хотела уже ехать к отцу. Но старик Суйеу и слышать не хотел: «Брось, дочка, и не думай! Пока я жив, Еламанову дому не быть пусту!» И опять она жила одна, всего боялась, плакала...

К вечеру с запада пришла черная буря. Ветер дул прямо в дверь землянки. Дверь на скрипучих петлях вздрагивала, постукивала, по комнате гулял сквозняк. Лампа потухла, Акбала села на постели, сердце ее заколотилось. Труба без заслонки завывала на разные голоса. Акбала иногда забывала, что это труба, и ей казалось, что за домом, царапая стену, воют волки. Весь дом, казалось, был наполнен мохнатыми таинственными существами, они шевелились, переходили с места на место, ухали, скрипели, крякали.

Акбала так забоялась, что только сильней прижималась к печке, подбирала ноги, забивалась под одеяло. Вдруг дверь вроде бы приотворилась, в комнату кто-то вошел нагибаясь. Акбала завизжала.

— Тише, тише! Не бойся, это я...— прошептал кто-то, шевелясь в темноте. Потом вошедший чиркнул спичку, осветил комнату и шагнул к Акбале.

— О, танирим!.. Танирберген!— всхлипывая, жалобно сказала Акбала.

Красивый черноусый мурза в лисьей шапке, держа в вытянутой руке зажженную спичку, улыбаясь, подходил к Акбале. Акбала прижала руки к груди, жалко, подстреленно сидела возле печки, смотрела на него широко открытыми мокрыми глазами. Спичка погасла, в темноте мурза кинулся на Акбалу, грубо схватил ее, повалил, стал сильно целовать, царапая усами. Акбала не сопротивлялась. Она лежала безвольная, равнодушная, потом вспомнила всю свою холодную, темную жизнь зимой и заплакала, затряслась. Мурза жадно шарил в темноте по ее телу, шумно дышал, и Акбала тоже вдруг почувствовала, что она хочет его, что он один ей дорог и нужен, и она так притянула его за шею, так прижалась, застонала, так приникла лицом к его голой груди, наслаждаясь мужским запахом, что только под утро успокоилась.

Теперь уже Акбала стала пугать Танирбергена. Рассветало, он старался оторваться от нее, освободиться, а она не пускала, цеплялась, целовала исступленно. Наконец ему удалось освободиться, он быстро оделся, уже выходя, схватил шапку и пояс. Он вышел, пригибаясь, воровато огляделся и зашагал к холму, за которым пасся его стреноженный конь.

Увидев хозяина, щипавший траву одинокий скакун нетерпеливо зашевелил ушами и заржал. Танирберген сел на коня. Страх его уже прошел, и ему захотелось петь. Он понюхал руки, погладил усы — и усы и руки пахли Акбалой. Он ударил коня и поскакал в свой аул в Ак-бауре и, только довольно далеко отъехав, оглянулся весело назад.

Акбала проснулась поздно. Лениво потянулась. Тело было слабое, усталое, закрыла глаза. Сразу заходили в голове мягкие, теплые тени, тускло как-то ей стало, шевелиться не хотелось. Но она все-таки протянула руку к сыну и вдруг подскочила — сына рядом не было, он сиротливо лежал один в углу. Акбале стало стыдно до слез, раскаянье нашло на нее. Тут-то и ввалился старик Суйеу.

Последнее время он частенько наведывался к дочери, всегда привозил чего-нибудь. Теперь он привез опаленную тушу овцы, со стуком бросил ее у двери. Потом снял сапоги, отложил в сторону шубу и тумак. Зоркий старик сразу увидал, что Акбала не в духе. раздраженно нахмурился, но смолчал. По своему обыкновению, он сел на почетное место, прямо вытянул свое сухое тело, уставился в одну точку и замер. И чаю почти не пил. Как только Акбала убрала дастархан, Суйеу встал.

— Погоди, я сейчас мясо опущу в котел,— робко попросила Акбала, но старик только рукой махнул. Уже выходя, нагибаясь, он вдруг обернулся.

— Мать здорова. Привет передавала,— и, не сказав больше ни слова, чужой, далекий, вышел из дому.

Пошел он к Алибию. Приезжая к дочери, он всегда заглядывал к старому другу, и в доме Алибия бывали ему рады. Старуха засуетилась, быстро наложила полный котел оставшегося с зимы жирного копченого мяса и взялась за самовар.

— Давай прочтем до чая бесин намаз,— предложил Алибий.

— А что, уже пора?

— Лучше сейчас, а то опоздаем.

— И то верно. Эх-хе-хе, этот бесин намаз — прямо беда. Беспокойный, как дойный скот весной, то и дело доить надо.— Суйеу усмехнулся и встал.

Вышли на улицу, совершили обряд омовения, посматривая друг на друга. После молитвы тесно сели за дастархан с пышными баурсаками и сухим творогом и только приступили было к чаю, как в дом заскочил джигит, сказал, что во дворе слезает с коня Алдаберген-софы. Алибий суетливо вскочил, закричал, не попадая ногами в чувяки:

— Эй, старуха, вставай живо! Прибери в комнате!

Суйеу нахмурился и мельком взглянул через окошко на улицу. Среди кланявшихся рыбаков грузной тушей возвышался Алдаберген-софы. Он держал камчу с ручкой из таволги, полы свободной лисьей шубы распахнулись. Он поматывал камчой, говорил что-то, задирал голову.

Суйеу зло усмехнулся и отвернулся.

— Как раздулся, а? Еле земля держит,— пробормотал он.

Несколько человек шумно входили в дом. Впереди переваливался Алдаберген-софы, скользнул взглядом по сидевшему на почетном месте Суйеу, отвернулся. Застывший Суйеу тоже не обратил на него внимания.

Алибий помнил их давнюю вражду и теперь не знал, что делать, боялся, как бы не схватились они у него в доме.

— Милости прошу!— приговаривал он ласково.— Как удачно попали, прямо к обеду...

— Хо-хо!..— Софы весело посмотрел в сторону котла.— Я же добра желаю этому дому.

Перед обедом он решил тоже прочесть бесин намаз, стал раздеваться, весело рассказывая:

— А понимаешь, какое дело! Два-то моих коня вороных — помнишь, потерялись зимой?— так нашлись кони-то. В соседнем роде Кабак оказались. Вот возвращаюсь оттуда с тяжбы...

Все как-то неловко помолчали, потому что все вспомнили, как в прошлом году кражу этих двух коней Кудайменде приписал Калену. Старик Суйеу тоже вспомнил, ноздри у него напряглись, он часто заморгал белыми ресницами.

Торопясь скорее сесть за дастархан, софы скомкал обряд омовения. Второпях он забыл почистить зубы масуеком, как положено по обряду, ополоснув только рот водой.

— Э!.. Э, Алдаберген!— тут же скрипуче сказал Суйеу.— Бывало, ты подолгу ковырял палочкой в зубах, все тонкости обряда выполнял. А теперь ты вроде бы забывчив стал. Или эти два вороных лишили тебя памяти, а?

Алдаберген тяжело повернулся и впервые поглядел в упор на старика Суйеу.

— Ах ты, ядовитый старикашка! Да только шкура у меня толстовата, а ты как комар — не укусишь!

— Да-да, в самом деле... Я и забыл, что свинья чувствует только палку.

Алдаберген побагровел. Алибий откровенно струсил.

— Побойтесь вы бога!— заныл он умоляюще.— Что такое с вами, перестаньте же...

Но Алдаберген уже окончательно рассердился.

— Вот что, старый хрыч, у белого царя, знаешь, кандалов хватит! Нашлись твоему зятю, найдутся и тебе.

— А я тебя, злодея, давно знаю. Знаю, знаю: одному — шишки, другому — пышки... Да ничего, в этом мире все преходяще. Когда-нибудь и над родом Абралы затрубит роковой глас. Тогда посмотрим, на кого будут шишки падать...

Алдаберген не дочитал молитвы, не стал ждать обеда, оделся и торопливо ушел. Суйеу молчал. Огорченный Алибий попробовал

заговорить о постороннем — разговор не получался. Суйеу только моргал изредка белыми ресницами да пофыркивал.

— Дурак!— бормотал он.— Истинный дурак! Надел шапку набекрень и хорохорится... Ах, дурак, балбес! Жирная свинья!

Алибий в раздумье уставился в землю. Он знал, что этот день не пройдет Суйеу даром, знал, что быть беде, и кручинился, жалко ему было старика.

V

Давно вечерело, падали сумерки, но ни в одном доме еще не горел свет. Во всех домах была нужда, бабы экономили на всем и берегли керосин. До ночи не зажигали лампы, обходились слабым светом огня под котлами. В некоторых домах еле выкручивали фитиль, чтобы только постелить постель.

В доме Алибия тоже не зажигали света. Перед самым ужином Бобек молча ушла из дому. У Алибия бывало многолюдно в доме, но сегодня гостей не было, старик со старухой одиноко сидели у огня. Давно уж стоял перед ними бесбармак, но есть не хотелось.

— Эй, старуха,— спросил Алибий.— Почему Бобек печальная?

— Ох и не говори! Откуда ж мне знать?

— Ты ее не обижала?

— Как я могу ее обидеть?

— Так чего ж она невеселая?

— А что делать? Единственный ребенок в семье, избаловали... Боюсь, грешным делом, что мы-то думаем о ребенке, а ребенок думает о другом...

— О чем это она может думать?— Алибий, было потянувшийся к мясу, отнял руку.— Что это ты мелешь?

— О бог ты мой! Чего ты все ко мне цепляешься?— Старуха рассердилась, взяла поднос с мясом, унесла. В другой комнате она громко заругалась, загремела, какие-то чашки, ложки посыпались на пол.

Алибий удивился, потом задумался при слабом свете огня. В этом доме как-то забыли, что Бобек — девушка. Но Бобек вдруг перестала ходить по игрищам, стала худеть, затаиваться. Глядя на грустную Бобек, грустили и старики, и мать часто думала последнее время, что девушка уже выросла. «Ах, не мешаем ли мы ее счастью?»— все думала она и покачивала головой.

Вернулась старуха гневная, с пылающими щеками.

— Любишь дочь, так подумай о ее счастье, пока жив!

— Эй, старуха! Молчи, говорят!

— С чего это я должна молчать, да ты...

Пришла Бобек, и старик со старухой сразу замолчали. Бобек хмурилась, на стариков не смотрела, есть не стала, разделась и сразу легла спать. Последнее время она все чаще думала о стариках родителях, жалела их, плакала втихомолку, пока не засыпала. У нее

и теперь стал дрожать подбородок, навернулись слезы, она быстро отвернулась к стене и уткнулась в подушку.

Мать Бобек рожала два раза и оба раза — девочек. Старшая Ализа все хоронила своих детей. Младшей была Бобек. Родители растили Бобек как мальчика, угождали ей, баловали. Бобек смеялась, смеялись и Алибий со старухой, и хорошо становилось в доме, будто солнце заглядывало через тундук. Бобек скучала — старики места себе не находили от тоски. И Бобек старалась все время быть веселой.

Но в последнее время она стала уставать от вынужденной лжи. Раньше она одевалась во все мальчишеское, скакала на коне, играла с ребятами и сама забывала, что она девушка. Она даже ревела не один раз, если ее называли девчонкой. Теперь вся эта игра надоела ей. Рай ушел с караваном куда-то в далекий страшный город, по страшной караванной дороге, и она затосковала. Несколько караванщиков соседних аулов вернулись из Конрата и Шимбая ограбленные, и Бобек стали сниться страшные сны.

Один раз ей приснилось: какие-то черные люди в мохнатых шапках напали на караванщиков, выскакивали из оврага и бросались на верблюдов. Среди караванщиков был и Рай, ему накинули на шею петлю. Зажав конец аркана в ногах, кто-то поскакал по темной степи, Рай захрипел, задыхаясь, поволокся следом... Бобек так испугалась, что закричала: «Рай!»— и проснулась вся в поту.

Проснулась и мать, заворочалась, потом беспокойно встала, прилегла к дочери, обняла ее. Она давно знала, что Бобек любит Рая. Рай и ей нравился, но Бобек была помолвлена с другим, и мать грустно молчала.

— Чего-нибудь испугалась, Бобекжан?— тихо спросила мать.

— Змея во сне руку укусила,— схитрила Бобек.

На другой день она встала пораньше и пошла в рыбачий аул. Посидев сперва у сестры, зашла потом к бабке Рая. Поздоровалась, спросила о здоровье, повздыхала, заговорила о снах, как нужно толковать страшные сны.

— Не знаю...— неуверенно отвечала бабка.— Откуда нам знать? В старину говорили, плохой сон увидишь — к радости.

Потом быстро взглянула на Бобек, спросила:

— А ты что это, не о караванщиках ли сон видала?

Бобек засмеялась, ничего не сказала, взяла прислоненную к печке домбру Рая, вытерла пыль, натянула новую струну. Будто забыв о бабке, стала трогать струну, подпевая невнятно и слабо. Потом остановилась, подумала и вдруг запела в полный голос:

Когда тебя, о мой Карғаш, я вспоминаю —
Я мучаюсь, покоя, сна не знаю...

Бабка сразу высвободила из-под кимешека ухо, оперлась подбородком о колено, подобралась, заслушалась. Когда Бобек дошла до самого тягучего печального места, бабка совсем расстроилась.

— Ах ты, пташка моя!— Она вытерла слезы.— Прямо до костей ты меня пробрала...

Вечером бабка заболела. Акбала принесла ей поесть, но она отвернулась, ничего не ела, а на другой день совсем не встала. После обеда пришла Бобек — странная,— бабка даже не узнала ее. На ней были камчатовая шапка, платье с двойной оборкой. Она не привыкла к женской одежде, чувствовала себя неловко, вся какая-то нескладная, угловатая. Входя в низкую дверь, зацепилась носком кебис за длинный подол платья, чуть не упала.

— Кто это? Бобек? Боже милостивый, что это с тобой такое?— изумилась бабка.

Бобек счастливо засмеялась. Приподняв подол длинного батистового платья, стуча черными блестящими кебис, она подбежала к аже.

— Аже, ну как, идет мне?

— Идет-то идет... А как...— Старуха смутилась, замолчала.

Бобек опять засмеялась, подсела к ней, обняла, с любопытством посмотрела, как легкое платье, опустившись, мягко прикрыло ей ноги.

— Ах, аже! Сколько ни ходи джигитом, только если ты женщина... Раньше, когда маленькой была, ничего. А теперь какому джигиту нужна девушка в штанах?— Бобек с любопытством расправляла платье.

Бабка кивала головой, поглаживала шершавой ладонью руку Бобек.

— Вот Рай ушел с караваном, и я поняла, что я девушка. Ведь, утешая родителей, кого я обманывала? Их и себя...

— Да... Плохо теперь станет твоим старикам. Разве они думали, что под одеждой джигита бьется девичье сердце?

— Я думала об этом,— грустно сказала Бобек.— Да сколько можно обманывать себя и их? Это как голодный ребенок палец свой сосет... А потом, аже, плохо мне теперь дома. Как Рай уехал, мне и свой дом стал чужой, места себе не найду... Как гостья.

Бабка головой закивала, жалостно вздохнула.

— Аже... Почему они не едут так долго?

— А ты не переживай. Знаешь, раньше говорили: «Охотник опаздывает — большая добыча!» Наверно, нагрузились сильно, никак добраться не могут. Дорога-то дальняя.

— Судр Ахмет...

— Ну?

— Судырак ворожил на путников...

Услыхав о Судр Ахмете, бабка заволновалась, замахала руками:

— Тьфу на этого Ахмета! И не думай о нем, дураке! Чтоб во рту этого Судырака змея себе гнездо свила! Ты лучше о Калене подумай...

Обе замолчали, вспоминая Калена. Человек он был надежный,

кроме того, Конрат, Ушсай, Ургенч — места, где Кален не раз бывал когда-то, когда ночной порой скакал по степи за чужим скотом.

— Если Кален, родимый, целехонек, то и все живы-здоровы и до дому дотянутся благополучно!

Так решила старая бабка Рая.

VI

Весна в этом году была неровная. Снег то таял, то снова выпадал, дни стояли ветреные. Богатые баи, хоть и плохая была весна, давно убрались с зимовий, откочевали на просторные джайляу. Скот у них был хорош, юрты теплые, просторные, пусть себе метет весенняя белая поземка — не страшно.

Зато дела простых шаруа были плохи. Скота у них почти не было, да и тот отощал за зиму, и кочевать они не решались. Толковали, рассуждали о погоде, каждый по-своему, выжидали, какой аул откочует раньше. Между тем мелкий скот начал котиться, опять у шаруа выходила задержка. Покидать теплые зимовья не хотелось, ждали, пока молодняк окрепнет, встанет на ноги. А скотина все неохотней жевала остатки прошлогоднего сена, молодую травку повыбили, повытоптали, дойные верблюдицы почти не давали молока.

Другой же причиной, удерживающей прибрежные аулы на зимовьях, были караванщики. Их ждали со дня на день и наконец дождались.

На рассвете из Конрата прибыли караванщики. Тяжело груженные верблюды раскачивались, на каждом было по шесть мешков пшеницы. Большой шум поднялся по аулам, все только и говорили о караване, о Конрате, о смелых джигитах, выдержавших длинный путь. Каждый добавлял что-нибудь свое, преувеличивал, будто сам побывал в пути, все толковали, врали, верили и удивлялись. Самый последний человек, съездив с караванщиком, становился героем, богатырем. Ребятишки бегали из дома в дом, сравнивали бублики, у кого больше. Во всех домах жарили сегодня конратскую кукурузу, толкли просо.

И в рыбачьем ауле на круче было весело. Приехали Кален и Рай, сгрузили каждый по шесть мешков хлеба, стали раздавать рыбакам купленные в Конрате гостинцы. Кален сразу пошел домой, сел среди рыбаков, взял сына на колени, подбрасывал его, гладил, смеялся.

— Ну молодец!— восхищенно сказал Дос.— Теперь обеспечил семью на год. Молодец, что не побоялся ехать в город.

Кален поморщился.

— Чего там молодец... Везде голодные, самому в рот кусок не полезет.

— Ну голодные! На всех не напасешься. Каждый ест, что добудет.

Кален отсадил сына, нахмурился, крепко потер заветрившиеся щеки.

— Жена,— медленно сказал он.— Поди позови сюда рыбаков.

Жамал тотчас вышла, будто знала, что так и случится. Дос даже рот разинул, глядел во все глаза на Калена.

— Неужто раздашь?— не поверил он.

— Не в голой степи живу, среди людей,— рассеянно отозвался Кален, думая о другом.

— Кален! Кален, ты, не подумав, решил!— загорячился Дос.— Шесть мешков тебе на сколько хватит! А разделишь на всех — что кому достанется? Всех не обеспечишь!

— Э, оставь свой ум себе. Работать буду, жену, сына всегда прокормлю.

Дос даже плюнул с досады, встал и вышел. Кален не обиделся, сидел смирно, думал о Еламане, как тот всегда делился с неудачниками, со вдовами и сиротами. Потом поднялся, тяжело ступая, вышел на улицу, подозвал двух джигитов.

— Хлеб разделите между рыбаками. Поровну.

Потом взял сына за руку и побрел в сторону кладбища на черном холме. Жамал поглядела ему вслед, поняла, что он пошел на могилу умершего зимой младшего сына, зашла за угол дома и тихо заплакала.

Полно народу было и в доме Рая. Долго перечислял Рай бабке, чего он ей привез, но бабке не было ни до чего дела. Она держалась за внука и все повторяла, что больше ни на шаг не отпустит его никуда. Немного успокоившись, Рай огляделся и заметил, что среди собравшихся не было Акбалы. Спросить прямо об Акбале он не решился, спросил обиняком:

— Нет ли вестей от Еламан-ага?

— Какие вести! На край света небось загнали...

— Пропал совсем! Сослали, куда ни лошадь, ни верблюд не дойдет!

— А... ребенок его здоров ли?

Каракатын у дверей не утерпела:

— Дьявол его возьмет, недоноска!

— Ну а Акбала как?

Рыбаки молчали, отворачивались, и опять Каракатын не вытерпела:

— Чего о ней спрашивать? Она в сто раз лучше тебя живет, хоть ты и шесть мешков привез!

Рай удивился, что никто из рыбаков не одернул Каракатын. Он задумался, а рыбаки опять заговорили, но уже о другом, пока бабка не крикнула на них:

— А ну, горлопаны! Хватит горланить, марш по домам! Оставьте меня с внуком.

Она была самой старшей в ауле, и ей можно было так говорить. Рыбаки стали послушно расходиться. Скоро дом опустел, но бабка как сидела, так и не шевельнулась — маленькая была, сгорбленная. Пожевав губами, она строго крикнула Раю:

— Наклонись! Подставь ухо!

Она всегда делалась грозной, когда говорила с Раем о Бобек. Рай понял, о ком она хочет ему сказать, засмеялся, крепко обнял бабку.

— Ну, ну! Обрадовался! С чего бы это?

Рай еще крепче обнял старуху.

— У, подлиза! У, хитрец! Раньше что-то ты не обнимал свою бабку, а? Ну ладно... Твоя-то чуть не каждый день ко мне бегала. Ко мне она, что ли, ходила? Нужна я ей! Ну чего рот-то раскрыл, ступай скорей к ней, небось не дождется никак...

Зимовка Алибия недалеко, слышно было, как там лают собаки. Рай чуть не бегом припустил к аулу. Алибий оставил зимовье и перешел в юрту, поставленную чуть поодаль. Увидев знакомую, шестистворчатую, посеревшую на солнце юрту, Рай остановился, чтобы унять сердце.

Перед юртой стоял народ, был там и Алдаберген-софы, но Рай начал здороваться с края, подряд. Увидев такое непочтение, Алдаберген нахмурился, засопел. А Рай здоровался и оглядывался — и вдруг увидел над краем оврага пучок перьев. Смуглая девушка в камчатовой шапке кормила ягненка свежей травой. Она первая увидела Рая, вскочила было, потом опять присела, обняла и поцеловала ягненка. Черные глаза ее блестели, она стала подсматривать за Раем из-за ягненка.

Оживленно разговаривая, гости Алибия пошли в юрту. Рай задержался у дверей, уступая старшим дорогу, потом повернулся, пронзительно взглянул на Бобек и кивнул головой. Рай вошел в юрту, а Бобек, застыдившись, стала шептать ягненку:

— Знаешь, кто к нам пришел! Его зовут Рай... Райжан! Ну иди! Ступай же!

Бобек пустила ягненка на траву, подобрала подол своего батистового платья и побежала домой.

VII

Кто лег, кто сел в юрте, пояса развязали, каждый устраивался как мог, и подали чай, и все хлебали, потели в предчувствии обстоятельного интересного разговора.

— Итак, закупили вы в Конрате все, что надо, и вышли в путь домой... Н-да...

Все даже зажмурились, воображая, как караван выходит из города, а перед ним степь, и много дней пути, и разные приключения.

— Ну-ка расскажи, что было дальше.

Рай взялся за чашку, не спеша отхлебнул остывший чай. Первый раз все должны были слушать только его, и ему было неловко. И Бобек прямо на людях влюбленно смотрела на него.

— Из Конрата выехали мы вечером. Вел нас Кален... Один вел всех караванщиков из трех аулов.

— Разбойников не встречали?

— Нег. Кален-ага вел нас только по ночам. А на день мы все прятались в балках.

— Ну, Кален молодец! Рассказывай дальше.

— Земля к этому времени немного пообсохла, так что из Конрата до крепости Азберген дошли мы легко.

— Верно! Самый трудный путь — от крепости. Говори дальше...

— От крепости-то и пошли наши мучения. Весна-то только начиналась, где снег лежал, а где и проталины, грязь. Но мы вели караван над берегом, по склонам прибрежных гор. Верблюды у нас были хороши! Если бы не верблюды, не знаю, как и дошли бы... Ну вот, только подъехали мы к Каска-Жолу и Кара-Тамаку, как с моря задул ветер и пошел такой снег, какого я не видал! Девять дней не переставая дул ветер и шел снег!

— Да... Видать, хранил вас бог!

Софы Алдаберген, благочестиво закрыв глаза, закивал головой, Медленно перебирая четки, он как бы всей душой устремлялся к богу. И вид у него был тихий, кроткий. Но из-под нависших бровей зорко следил он за всем в юрте и давно уже не спускал глаз с Рая и Бобек. Он знал, что богач из рода Торжимбая, по имени Оспан, сосватал эту дочь Алибия за своего полоумного сына. Последнее время до софы стали доходить слухи, будто Рай и Бобек любят друг друга. А теперь он сам видел это и радовался, потому что Ожар-Оспан с давних пор враждовал с Кудайменде.

Алдаберген сидел, перебирал четки, незаметно усмехался в усы и думал злорадно: «Так тебе и надо! Сидишь, как гусак, надеясь на своих Торжимбаев, а этот вшивый рыбак пристроился под боком твоей жесир и спит с ней! Хи-хи...»

Покончив с четками, он опять обернулся к Раю.

— Ну что же дальше? Со снегом-то?

— Снег все валил, валил, и стало нам совсем плохо. Тогда Кален-ага собрал всех нас, мы привязали верблюдов, поставили их всех в круг, в середину сложили мешки, набросали сверху кошму, забрались под нее и почувствовали себя как дома. Харчей у нас было много, от ветра мы укрылись, чего бояться? Едим мясо, захваченное с конратского базара, варим себе похлебку, чай и в ус не дуем!— Рай посмеялся немного, захохотали и остальные — так все хорошо получалось у караванщиков.

— Значит, только и знали, что ели да пили, говоришь? Это хорошо. Ну а скотина как?

— О!— Рай опять засмеялся.— Разве джигиты не умеют обращаться со скотом? Особенно такие смелые джигиты, как этот пришлый наш зятек!

Рай шутливо хлопнул по плечу сидящего рядом пухлощекого парня. Тот глупо заржал, снова захохотали остальные, тоненько хихикал и Алдаберген. Он, оглаживая бороду, лежал на боку, выделяясь среди остальных своей толстой тушей, трясся, потом вытер глаза и поглядел на Рая.

— Апыр-ай, что это ты, парень, тут мелешь! В твоем Конрате бывали в молодости и мы, н-да... С караваном, с привалами, тоже кое-чего везли, и верблюды у нас были лучше ваших. Так вот, парень, на тех прибрежных склонах, о которых ты тут нам сказки рассказывал, нет никакой травы! А растет там один черный боялыш. Что? Боялыш сечет верблюжьи ноги и в корм не годится. Что? А ты тут разливаешься, мол, ели, пили и верблюдов не обидели. Что? Тебя я, правда, не знаю, но отца твоего знавал... Любил, любил поврать, ничего не скажешь. О, это был настоящий пустобрех.

Алдаберген опять затрясся всем телом, заходясь от смеха. Рай покраснел до слез. Бобек, разливая чай, чуть не выронила чашку.

— Эй, старик!— звонко сказал Рай.— Хоть мы и не родичи, но с давних пор живем соседями. По возрасту вы ровесник моего отца, и я должен вас уважать...

— Ну сейчас он ему покажет!— с восторгом сказал какой-то джигит.

Алдаберген смутился.

— Верно, верно,— торопливо подхватил он, как бы заранее сдаваясь.— Сейчас этот парень от сладких слов дойдет до горьких, а?

— Рай! Рай! Свет мой, хватит тебе, довольно!— закричал Алибий.— Давайте пить чай!

Бобек первый раз в жизни разливала чай. Она все время путала чашки гостей, с заваркой у нее тоже не получалось. Но тут она и про чай забыла, приоткрыв рот, смотрела на Рая, а перед ней уж полно было пустых чашек.

Вошла светлая молодая женщина, внесла второй чайник с заваркой, незаметно подсела к Бобек и ущипнула ее.

— Еркем, заварка у тебя кончилась, теперь наливай из этого...— шепнула она Бобек и так же незаметно вышла из юрты.

Гости опять вернулись к прерванному разговору о караванщиках.

— Ладно, что же вы делали с верблюдами-то?

— Да-да, скажи-ка нам, что там еще, кроме боялыша, растет на склонах?

— Да на склонах полным-полно разной травы! Клянусь вам, от златоногого биюргуна земли не видно! А вьючный верблюд, ведь знаете, ест все подряд.

— Так-то оно так, только на сильном ветру ни одна скотина не пасется, все по ветру ходит, что же вы делали?

— А вот что! На ночь Кален гнал всех верблюдов в затишье, к нашей стоянке, и привязывал там. А рано утром гонит всех гуськом против ветра. Гонит, гонит, а потом пускает их по ветру назад и не дает сбиться с пути. Верблюды чувствуют присутствие человека и держатся вместе, пасутся спокойно.

— Апырмай, а?

— Ну Кален-то! Кален много повидал! Кто-кто, а Кален знает скот, как самого себя.

Заговорили о скоте, о его привычках и повадках, приводили разные случаи, потом наговорились, замолчали, думая, о чем бы еще повыспросить Рая. Тут-то пришлый зять не вытерпел и вступил в разговор.

— Кто, интересно, собирает теперь в аулах шерсть?— ляпнул он и глупо оглянулся.

— Э, дорогой? Зачем тебе? Или с себя шерсть хочешь сдать?

— Зачем, зачем — надо! Серьезно спрашиваю. Я ведь обстриг своего атана, на котором приехал.

— Ну тогда радуйся. Абейсын собирает шерсть.

— С каких это пор?— спросил Рай.

— Да недавно.

Ядовито улыбнувшись, Рай поглядел на Алдабергена. Все знали, что до недавних пор Алдаберген сам собирал по аулам шерсть, шкурки, мерлушку, обвешивал всех во славу божию.

— Апыр-ай, это хороший выбор,— сказал весело Рай.— Теперь бедняга Абейсын нашел тепленькое местечко. Лучше не найти такому волку! Нет, что ни говори, а волк попал в самую кошару!

После этого Рай поднялся и вышел. В юрте все молчали, Алдаберген почернел, Бобек неосторожно прыснула и закрыла лицо рукавом. Она вспомнила свое детство. Тогда по аулам ездил сборщик Алдаберген, и вот перед тем как ему приехать, мальчишки и девочки не спали всю ночь, а Бобек молилась богу, чтобы ночь была потемней. Ночью она бежала к верблюдам, лежащим и сопящим в золе, дергала у них с шеи и с ног свалявшуюся шерсть, а утром в подоле платьица несла ее Алдабергену. Алдабергена она боялась, останавливалась около него, задыхаясь, хлопала ресницами, молчала, но Алдаберген сразу понимал, в чем дело: «А! Доченька пришла, иди, иди сюда! Только что-то у тебя тут маловато, не стоит и взвешивать!»— говорил он, сгребая всю шерсть, запихивал в мешок и давал Бобек горсть урюка. Мать, конечно, узнавала обо всем и долго потом ворчала: «Всю шерсть содрала с верблюдов, голые ходят. Как тебе не стыдно!»

Вспоминая детство и Алдабергена, давясь от смеха, Бобек еле собрала чашки. А успокоившись, злорадно подумала: «Что? Съел? Не будешь связываться с Раем! Так тебе и надо, толстый черт!»

VIII

В последнее время по аулам стали нехорошо поговаривать о Еламане. Рассказывали, что он погиб, будто бы гнали его в Орск, он по дороге бежал и был застрелен солдатами.

Вернувшись из Конрата, Рай как-то в сумерках застал бабку в темной комнате — она сидела в углу, лицом к стене, раскачивалась и глухо повторяла: «Ах, Еламан!» Услыхав Рая, бабка быстро поднялась и сконфузилась.

— Еламана вспомнила. Какой был хороший!— сказала она,

оправдываясь.— Но только я не верю, что с ним беда. Жив должен быть, зрачок мой!

Рай промолчал. Он верил и не верил. Кроме того, озабочен он был поведением Акбалы. Когда он уезжал в Конрат, на Акбалу было жалко смотреть. Прошел месяц, он вернулся и не узнал свою женге. Она стала мягкой и гибкой, глаза у нее блестели счастьем. Она была похожа на лису, вывалявшуюся в чистом снегу.

Рай тужил по Еламану, все вспоминал, какой он был серьезный, добрый, умный. Даже если он погиб, грех было марать жене имя такого человека! Не один раз хотел он поговорить с Акбалой, но неловко было, а потом и неизвестно было ему ничего в точности. Вдруг она возьмет да и скажет: «Любимый мой деверь, о чем это ты говоришь? Какого это джигита ты поймал в моей постели?» От стыда и дорогу к ней забудешь!

И Рай все реже стал ходить к Акбале, да и то больше из-за ребенка Еламана. Вернется с улова, занесет на котел рыбы, возьмет маленького Ашима на руки, походит с ним и пойдет себе домой.

При Рае Акбала сдерживалась, глаза опускала, лицо делала грустнее. Но счастье женщины было видно во всем, в щегольстве нарядов, в быстрой походке, в порывистости, и даже голос у нее другой стал.

Но вот по поселку пробежал еще один слух. Помертвев от ужаса и отвращения, слушал Рай, что чуть не каждую ночь приезжает в аул к Акбале Танирберген. Узнав об этом, Рай пошел к Калену.

В свободное время Кален любил что-нибудь мастерить. Теперь он шил сапоги жене. Рай подсел к нему.

— Кален-ата...

— А?

— Кален-ага, что делать? Акбала совсем пропала.

Кален продолжал шить сапоги.

— Да ты не знаешь, что ли, ничего?

— А что?

— Говорят, Танирберген к Акбале каждую ночь ходит...

Кален изменился в лице, посмотрел на Рая и отложил сапог.

— Не может быть!— хрипло сказал он.

— Правда, Кален-ага.

— Сам видел?

— Нет, сам не видел — люди видели. Каракатын видела, как на рассвете он от Акбалы выходил.

— Ладно, ступай,— сказал Кален, помолчав.

Рай ушел, а Кален бросил сапог жены в угол и стал думать. Потом решил: «Кровному врагу постель Еламана больше не марать! Поймаю, задушу, камень на шею — и в море. А там будь что будет».

Встал, потянулся, хрустя суставами, и вышел на улицу обдумать все на досуге.

IX

Многолюдный шумный аул на берегу моря, где всю зиму лаяли собаки, ревел скот и громко перекликались люди, давно уже откочевал, и в стороне Ак-баура стало тихо. Аул Алибия после приезда караванщиков из Конрата быстро разобрал юрты и тоже исчез. На всем побережье остался теперь только аул рыбаков. Да еще в одном из зимовий в низинке сиротливо стояла юрта Судр Ахмета.

Каждую весну Судр Ахмет больше всех шумел, кричал об откочевке, волновал все окрестные аулы, потом ему что-нибудь мешало, и он оставался.

Байбише Кудайменде как-то за утренним чаем сказала мужу:

— О чем ты только думаешь? Когда же мы кочевать будем? Вон аул Судырака уже собрался...

Кудайменде погладил бородку и засмеялся.

— Ой, жена, что ты понимаешь? Я-то знаю этого Судр Ахмета... У него и нагачи, знаешь,— братья Бакай и Шамай из племени Бестокал, знаешь? Возле урочища Киши-Кум? Тоже пустобрехи. А этот твой Судр Ахмет только голову морочит всем, а вот поглядишь, со своей крикливой верблюдицей будет в хвосте плестись...

Кудайменде как в воду глядел — Судр Ахмет остался, и среди истоптанной, замусоренной земли снявшегося аула стояла только его юрта. Собирался кочевать Судр Ахмет раз двадцать. Он и вчера окончательно решил откочевать на рассвете. Приказав жене все собрать, связать в тюки, он мирно заснул и проснулся на другой день к обеду. Может быть, он проснулся бы и позже, если бы не жена. Будила она его часа три и все-таки разбудила. Судр Ахмет протер глаза, потянулся своим худым хорьковым телом, расслабленно приподнялся и поглядел на улицу. Солнце стояло чуть не над головой.

— Е, так ведь уже полдень!— закричал Судр Ахмет.— Ах ты поганка! Лежала, значит, валялась до обеда, свою вшивую голову на солнышке грела?

— Так ведь я тебя...

— Молчать! Ты же баба... Могла бы хоть раз встать пораньше и разбудить почтенного своего мужа? А теперь кочевать в такую жару? Вогнать единственную верблюдицу в кровавый пот? Замолчи! У, дура! У, тварь, собакой вскормленная!

Жена и не пыталась возражать, боялась, как бы муж не кинулся на нее. Но Судр Ахмет все распалялся:

— Какая же это у меня баба? Сколько раз говорил я ей о кочевке! Так и знал, что не откочуем... С самой зимы я тебе говорю: кочуем! Кочуем, говорил тебе! Ау, жена, кочуем! Кочуем, все долбил тебе...

— Так я же тебя не держала...

— Ай!— закричал Судр Ахмет и потянулся за камчой. Жилы на его тощей шее вздулись веревками.

Жена отскочила в угол, но Судр Ахмет уже бросил камчу и задумался. И правда, о кочевке он начал говорить раньше всех, ранней весной, он совсем сложился, но потом передумал. Через две недели он опять собрался. Утром он должен был тронуться, но вместо этого заседлал коня и поехал по аулам. «Денька через два приеду,— сказал он жене.— Гм!.. Ау, жена! Вон из тех аулов, вон там, в Куль-Куре, попрошу парочку верблюдов, а то как кочевать? Ау, жена! Чтобы у меня порядок был! Прибери там все, полатай... Словом, будь готова!» И с тем уехал.

Судр Ахмет закатился надолго. Он помог откочевать аулам Рамберды и Жилкибая, зимовавшим в низине Куль-Куры, и проводил их почти до джайляу. А на обратном пути он с упоением рассказывал во всех домах, где ночевал, как шумно кочевали на джайляу богатые аулы, попирая, топча всю степь бесчисленным своим скотом.

Уже наступила настоящая весна, когда Судр Ахмет без верблюдов заявился домой. Жена было предложила кочевать налегке, с одной верблюдицей, но Судр Ахмет рассердился:

— Ау, ау, жена! Что я, прокаженный, чтобы кочевать одному? Вот погоди, съезжу в аулы Пирмана и Ширмана...

Аулы Пирмана и Ширмана собирались выезжать на другой день утром, Судр Ахмет договорился с ними кочевать вместе. Но по дороге домой его как-то занесло к рыбачьему аулу. Судр Ахмет поглядел на дымки, синеющие над землянками, остановился и начал в задумчивости покусывать жидкую свою бородку; глазки его прижмурились, и сладость взошла на лицо. «Гм!.. Ей-богу, у них там, наверно, рыбка варится, а?» Он вообразил, как ест сладкую рыбку, как чмокает и облизывает пальцы, и торопливо свернул к рыбакам.

Остановился он в доме Каракатын. Аккемпир и Дос его не жаловали, но Судр Ахмету и дела до них не было. Он ел рыбу, разговаривал с Каракатын, пил чай и, зажмуриваясь от восторга, кричал, какие богатые аулы Рамберды и Жилкибая и как он завтра сам будет кочевать. Опомнился он только в полночь. Вышел на улицу, помочился, посмотрел на звезды и хлопнул себя по ляжкам.

— А бог ты мой! Уж скоро рассвет!

Поймав лошадь, он умостился уже в седле, но тут же сказал громко: «Ау!»— и стал усиленно думать: «Ну куда я поеду ночью? Лучше я завтра пораньше выеду, еще затемно... Бог ты мой, на коне ведь птицей доскачешь!» Решив ехать утром, он слез с коня и пошел опять к Каракатын. Лег он, не раздеваясь, завернулся с головой в чапан, и стал уже было засыпать, как вдруг сбросил чапан и вскочил.

— Ойбай! Ойбай! Зарезал... Вспорол прямо меня!

От криков Судр Ахмета все вскинулись.

— Что? Кто тут? Что такое?— испуганно спросил Дос.

— А ты думаешь — кто? Клоп! Как жеребенок! Вот он... Вот в руке брыкается!

Аккемпир успокоенно вздохнула и повернулась к стенке. «И что за человек!— с раздражением подумала она.— Дожил до возраста

пророка, а такой беспокойный! И какой он только был маленький! Как только его вырастила бедная мать!»

Все опять заснули, но Судр Ахмет не спал, ворочался, брыкался. «Ай, плохо!— думал он.— Плохо мне будет завтра кочевать! Клевать носом буду, как блудливый джигит, всю ночь бегавший по девкам! Эта мысль, что он будет как джигит, ему очень понравилась, и он захихикал под чапаном.

Рыбаки, как и охотники, встают рано. Еще не рассвело, а весь дом Доса уж на ногах. Судр Ахмет не выспался. Зевая так, что челюсти трещали, пошел он за конем. Плохо стреноженный конь ушел далеко, и Судр Ахмет искал его до самого обеда. Аулы Пирмана и Ширмана снялись еще до света и теперь находились, наверное, где-нибудь около сопки Сиргакты.

Злой Судр Ахмет ехал домой и ругал всех подряд — и джайляу, и аулы, и Каракатын, и коня своего. Поругать себя он как-то забыл. Насупившись, подъехал он к дому и увидал, что все уже давно готово к кочевке. Навьюченная верблюдица привязана была к двери дома.

— О, будь ты проклята! О, чтобы губы твои никогда не дотронулись до молока! О невоспитанная!— завопил Судр Ахмет.— Как ты могла брюхатую верблюдицу навьючить до обеда? Что это за издевательство, а?

— Но ты ведь сам о кочевке...

— Какая кочевка, а? Какая кочевка, я у тебя спрашиваю! Язык у тебя в целую сажень! Разве я тебе говорил, чтобы ты до обеда навьючивала верблюдицу? А? Ну скажи! Говорил я тебе о кочевке до обеда?

Жена растерянно молчала. Судр Ахмет пошел в дом. Навстречу ему кинулись дети. Но Судр Ахмет и не взглянул на них. Во все глаза глядел он с порога. Дом был готов к откочевке. Возле лежали тюки, связанные постели, закутанная в одеяла посуда...

В ярости Судр Ахмет начал пинать тюки, колотить посуду. Потом побил жену, побегал, побил заодно и детей, выскочил из дому, сел на коня и уехал. А в одинокой юрте на берегу моря долго еще не смолкали рыдания жены и рев ребятишек.

X

Зима в этом году стояла в степи суровая и в нескольких аулах начисто выкосила скот. Казахи целыми аулами повалили к морю. Все они на разные лады повторяли одно и то же: «Кто у моря живет, с голоду не пропадет!» И все слонялись возле промысла. Плату не просили, только бы снасти дали — хоть рыбы поесть!

Благополучно перенес зиму один аул Кудайменде. Правда, и у него пало с десяток голов, но это были тощие верблюды, на которых всю зиму возили в город рыбу. Кудайменде и Танирберген думали о хозяйстве крепко и заблаговременно. Они только перекочевали на

весеннее джайляу, только пустили скот на выгул, а уж мысли о предстоящей зиме не давали им покоя.

Скота у них с каждым годом прибавлялось, аул богател, и больше всего их теперь занимал вопрос о покосе. И пока власть волостного была в их руках, Танирберген решил отобрать у слабых аулов богатые зеленым кураком прибрежные покосы.

Пастбище, давно привлекавшее их, называлось Кандыузек. Аулы Алибия, Пирмана и Ширмана и Судр Ахмета уже много лет косили сено по обе стороны Кандыузека. Травы там было вдоволь, травы самой густой и сочной, одно плохо: надо было косить по воде, с лодки. Лодки в тех краях были только у Кудайменде, и он каждый год сдавал их в аренду на время покоса.

Теперь по совету Танирбергена Кудайменде хотел взять все покосы себе. Поразмыслив, он послал старшего брата софы передать Алибию, Пирману и Ширману свой салем: «Травы Кандыузека — ваша радость и ваше горе. В этом году всю траву по обоим берегам Кандыузека отдайте мне, а сами берите мой покос по прибрежью. Там самое удобное место для тех, у кого нет лодки. Там, правда, камыш жидковат, зато вода мелкая. Стога тоже можете метать на прибрежье».

А сам между тем размышлял так: если ему удастся зацепиться за Кандыузек в этом году, тамошние пожни отойдут к нему навсегда. Он был уверен, что добродушный Алибий и тихие шаруа Пирман и Ширман навряд ли станут потом заводить тяжбу. Он подумал также и о том, что, может быть, они не согласятся отдать ему покосы в этом году. Он может сослаться на то, что заранее, задолго до покоса, добром просил их согласия, что вовсе не хотел применять силу. Они ослушались и пусть пеняют на себя. Он все равно пошлет туда своих косарей. Да и куда им обращаться со своими жалобами, как не к нему? Где найдут они справедливость, как не у него?

Алдаберген-софы поехал с этим поручением по прибрежным аулам, и все у него выходило хорошо, везде принимали его с почетом. Только в ауле Алибия оскорбили — облаял его Рай, и крепко рассердился тогда Алдаберген. Вернувшись на джайляу, он собрал у себя болтливых джигитов. Радушно угощая их, он стал рассказывать о виденном на берегу.

— О боже, разве у Оспана есть глаза? Всякий вшивый рыбак может окручивать его жесир. А Алибий разве будет перечить своей дочери? Она там трется с рыбаком, а он сидит из-за нее на зимовке и на джайляу не кочует...

До большого рода Торжимбая, разбросанного по всему Акшиле, этот слух дошел чуть не в тот же день. Ожар-Оспан не стал долго разбираться в сплетнях. На другой день он собрал из аулов самых крепких джигитов и послал их к свату. Салем его Алибию был короток: «Дочь твоя, говорят, гуляет с рыбаком. Своим поведением она позорит мою честную голову. Если не хочешь плохого, немедленно кочуй на джайляу. На новом месте, среди благих желаний, сделаем

той двух молодых, соединим их навеки. Если ты согласен — да будет так! А если не послушаешься моего совета, джигиты могучего рода Торжимбая тучей налетят на твой аул!»

Безобидный Алибий до смерти боялся своего свата. Получив такой грозный салем, он тут же разобрал юрту и откочевал. Джигиты Ожар-Оспана, делая вид, что помогают в кочевке дома Алибия, сопровождали его. Они следили за каждым шагом Бобек, ни на минуту не оставляли ее одну, не дали даже проститься с сестрой Ализой. И, как нарочно, никто не приходил в тот день из рыбачьего аула. Ничего не могла Бобек сообщить Раю.

Два дня кочевал аул Алибия и только на третий день остановился на широком лугу под Жаман Боташем. Отсюда Алибий решил отправить джигитов Ожар-Оспана назад.

— Передайте привет моему свату,— хмуро сказал он.— Скажите, что я не думал нарушать клятву, перешагнуть через святое благословение. Правда, она единственный у нас ребенок, и мы держали ее посвободней, не так, как другие... Что поделаешь? Для нас она до сих пор пятилетний ребенок...

Тут один джигит заржал. Он даже руками подперся и голову закинул, так ему было смешно.

— Хо-хо-хо... Пятилетняя!— повторил он.— Может, ее в люльку положить, чтоб она под рыбаков не подкладывалась?

Алибий стерпел и это. Передохнув, он повторил:

— Передайте привет Оспану! Через неделю сделаем той. Сам буду хлопотать на тое. Пусть пришлет жениха. И пусть теперь сами берегут свою жесир...

Больше он ничего не сказал и вышел, не поднимая глаз. Все эти дни Алибий старался не показываться дома, ночевал у соседей. Он не мог видеть слез Бобек и домой не ходил.

Скоро приехал жених с друзьями. Это был первый обрядовый приезд жениха, но жених не хотел соблюдать никаких приличий перед старшими. Грубый, как и его отец, он сразу стал держать себя хозяином в бедном ауле. Всем распоряжался, во все вмешивался, невесту не отпускал от себя ни на шаг, днем и ночью ходил за ней. Она выходила из дому — он шел за ней. Разговаривала с ней женге — он разваливался рядом.

Начался той, он сидел с ней и дышал ей в ухо. Ему давно не терпелось, потому что, по обычаям, после тоя молодых оставляли наедине. Его друзья сальным шепотом сказали, что супружеская постель их уже приготовлена, и жених, еле сдерживаясь, ждал конца тоя, когда все разойдутся. Но веселье затягивалось, и он все больше мрачнел. «О, брехуны! У, ненасытные шакалы!»— думал он и злыми глазами следил за веселыми джигитами.

А молодежь и не думала расходиться. Одну за другой пели песни, говорили, без умолку шумели в большой юрте Алибия. Когда веселье было в самом разгаре, Бобек накинула красный плюшевый камзол и встала. Догадавшись, что ей надо на двор, несколько ее

подружек, звеня чолпами, дружно встали было за ней, но Бобек с усмешкой сказала им:

— Сидите, девушки, сидите. Женишок мой сойдет за сторожа,— и вышла.

Жених опередил ее, вышел первый. Выходя за ним, Бобек схватила прислоненную к косяку треногу и спрятала под камзолом. Ветра не было, на небе неподвижно стояли облака. В разрывах между облаками сверкали крупные звезды. Луна, перевалив зенит, вошла в облака и долго не показывалась. Далеко на широкой равнине Жаман Боташ разносился шум свадебного тоя. Хорошо слышны были в ночной тишине пение, смех, шутки, крики парней и девушек. Рычали и визжали собаки, дерущиеся из-за костей, из темной степи доносилось ржание жеребцов. Смутно чернели силуэты джигитов, разносивших мясо на подносах, и женщин, крикливо разговаривающих возле очагов. Вслушиваясь во все эти с детства знакомые звуки ночного аула, Бобек быстро уходила в степь. Не оглядываясь, она чувствовала, как следом, не отставая, шел жених. Порядочно отойдя от аула, она вдруг обернулась.

— Эй, женишок! Ты ведь не собака. Пора бы тебе и поотстать немного.

Жених остановился. Бобек, чтобы не вызывать подозрения, далеко не пошла, зашла за кусты, накинула на голову чапан и присела. Жених не спускал с нее глаз. Бобек не шевелилась. Прошло довольно долгое время. У жениха стали затекать ноги. Он переступил несколько раз, заругался про себя. Со стороны аула послышались голоса разыскивающих их людей. Немного погодя подошли несколько джигитов.

— Ау, Ожирай!— окружили они его.— Чего ты здесь стоишь, дружище?

— А где же наша женге?

— Чтоб вашу женге!..— сказал Ожирай.

— Э, почему разочаровался? Что случилось?

— Что может случиться... Вон она, сидит, проняло ее!— Ожирай показал в кусты.

Только тут джигиты заметили что-то темное за кустами и захохотали.

— Чего смеетесь? Дураки!— глухо рявкнул Ожирай.— Той ваш там не кончился еще?

Джигиты замолчали, но втихомолку хихикали, перешептывались.

— Бедняга! Вот попался!

— Н-да, невеста-то у него того...

— Невесте что — удовольствие! А он дождаться не может...

Но скоро и джигитов охватило нетерпение. Им захотелось потешиться, и они стали красться к кустам. Подошли почти вплотную к присевшей Бобек, остановились, помолчали, потом окликнули ее. Бобек не шевельнулась.

— Это все-таки наша женге, чего там стесняться!— сказал кто-то

и полез через кусты. Он нарочно трещал, потом нагнулся и закричал:— Эй, эй, идите сюда!

Ожирай, отпихнув других, кинулся первый, выхватил у джигита надетый на треногу камзол, поглядел вокруг и швырнул камзол с треногой в темноту.

XI

Бобек долго бежала по темной степи, шарахалась от каждой тени и вдруг наткнулась на коня. Конь был одного из сватов, стреножен концом поводка и под седлом. Он сразу начал вздыхать, пока она распутывала его и потом, когда уже сидела в седле, подтягивала стремена — так его загоняли на свадебных скачках.

Стало светать. До солнца было еще далеко, но уже слабые, дрожащие столбы света поднялись на востоке, и небо отделилось от земли. Бобек скакала в сторону Бел-Арана, и ей хотелось, чтобы ночь еще длилась. По дороге ей попалась широко разливающаяся весенняя вода в низине. Объезжать залив было долго, и она решила ехать прямо по воде. Сначала было мелко, потом стало глубже, конь с усилием чавкал, оседал под Бобек, сильно дул на воду. Бобек подбирала ноги, со страхом смотрела на темную воду и ждала, что вот-вот попадет вместе с конем в какую-нибудь яму. Но скоро стало опять мелко, конь приободрился, почуяв приближавшийся берег, щелкая иногда подковой по камням на дне, и Бобек уже с удовольствием слушала, наклонясь с седла, как под ногами у коня чмокает и щелкает.

Еще не успело окончательно развиднеться, как конь заметно начал уставать, и Бобек все время оглядывала степь. Но нигде, ни в одном конце степи не было и намека на погоню.

Ночные облака разошлись, и небо нарождалось чистым. Взошло солнце. Нежно-зеленые ковыль и полынь покрывали степь, и пахло горько и мокро. Роса сильно блестела, и за конем оставался отчетливый след. С самой зари не переставая пели жаворонки. Они выпархивали из-под самых копыт, трезвоня, заливаясь, взмывали вверх и повисали, трепеща крыльями. Бобек забыла обо всем, глядела, слушала звон. Небо над ее головой не двигалось, и жаворонок висел на одном месте. Бобек вдруг очнулась, ей показалось, что и она остановилась, не едет, она ударила ногами коня и закричала:

— Шу! Шуу, конек мой!

Она доскакала до Бел-Арана, впереди открылось широкое сверкающее море. Она увидела землянку на круче, чаек над берегом и засмеялась. Спускаясь с Бел-Арана в долину, она еще раз оглянулась и увидела, как вдалеке столбом поднимается пыль от скачущих коней.

— Шуу! Шуу! Милый, родной! Еще немного! Совсем уже рядом...

Бобек поминала всех подряд— бога, дух дедов и прадедов, своих родителей, оставшихся дома. Конь ее спотыкался, припадал все ча-

ще, пена комками летела у него с морды и с боков. Споткнувшись уже вблизи аула, он не мог больше встать, Бобек соскочила и, размахивая платком, крича что было мочи, побежала к аулу. А погоня потоком скатывалась уже с Бел-Арана. Скачущие джигиты увидели Бобек, увидели бегущих ей навстречу рыбаков и гаркнули свой боевой клич.

— Райжан!.. Спаси!— кричала обеспамятевшая Бобек.

Рыбаки окружили ее, бежали со всех сторон, кто с колом, кто с дубинкой. Быстро собрались человек пятьдесят, зашумели, потом смолкли, напряженно глядя на приближающуюся погоню. Джигиты мчались во весь дух, но, не доезжая шагов десяти, начали осаживать. Кален, раздвинув рыбаков, вышел вперед, небрежно помахивая длинной железной пешней. Джигиты сразу стали остывать. Один Ожирай, вспотевший от ярости, двинулся ему навстречу. Под Ожираем был белоногий конь Оспана. Правый рукав Ожирай засучил по локоть, взял с седла тяжелое дубовое копье. Левой тянул за повод, сдерживал коня. Пригнувшись, он все ближе подвигался к Калену. Но тут Мунке вдруг опомнился и закричал:

— Джигиты, джигиты! Братья! Что вы делаете? Опомнитесь!

Джигиты будто взорвались, заорали, разевая рты, потрясая дубинками:

— Дайте нашу жесир, и мы уедем!

— Верните жесир!

— Жесир, жесир!..

— Если она ваша жесир,— натужившись, закричал Мунке,— то она мне свояченица! Она сестра моей жены!..

— Джигиты, чего вы его слушаете, топчи их!— заорал бородатый верзила и вздернул коня на дыбы.

Джигиты завертелись, охаживая коней плетками, закричали вразнобой, рыбаки уже разделились, чтоб сподручней было драться, но тут вдруг вырвалась исступленная Бобек.

— Не дам, не дам!..— хрипло закричала она.— Рыбаки, не надо, не лейте кровь!.. Я пойду к ним, пойду... У вас дети, рыбаки-и!..

Рай догнал ее, схватил, зажал рот, потащил назад.

— Бей собак! Топчи!— взвизгнул Ожирай и кинулся на Рая.

Сразу все заволокло пылью, заржали кони, брызгая пеной, потом все смолкло, только слышны были сухой треск дубин, надсадное дыхание, храп коней, топот копыт, глухие удары. Многие уже были вышиблены из седел, многие рыбаки сбиты в пыль. Бородатый наседал на Калена, старался достать дубиной. Кален увертывался, потом выбил у бородатого дубину, ударил пешней, но неловко, до головы не достал, попал по плечу. Бородатый повалился на бок, запутался в стременах, захрипел.

Ожирай, как выбрал Рая, так и пробивался к нему сквозь пыль, но его били справа и слева, и он отвлекался. Один раз он уж было настиг его, замахнулся копьем, но тут из пыли выскочил какой-то рыбак с колом, ударил Ожирая, промахнулся, зацепил по ноге. Ожи-

рай бросил поводья, схватил копье обеими руками, всадил в рыбака. Конь поскакал, рыбак волочился на копье, мотая головой и руками, Ожирая чуть не выдернуло из седла, он бросил копье, и опять сквозь пыль мелькнули отбивающийся от всадников Рай и рядом с ним Бобек. Ожирай завизжал, пробился сквозь толпу, хлеща своих и чужих, настиг Рая, ударил доиром по голове, и Рай упал. Ожирай схватил Бобек за волосы, гикнул, поскакал, увидел мельком, как наперерез ему бежит Кален с пешней, на ходу подтянул Бобек, бросил поперек седла. «Эй, эй! За мной!»— звал он своих. Джигиты повернули взмыленных коней, завопили от радости и с топотом понеслись за ним.

Кален побежал было за джигитами, но в пыли ничего уже не видел, остановился, задыхаясь от ярости, что он не верхом, воткнул пешню в землю и заматерился. Через минуту, пошатываясь, размазывая по лицу кровь, подбежал Рай, остановился, ухватился за Калена, шумно дыша, глядел на далеких уже всадников. Джигиты поднимались на Бел-Аран.

— Кален-ага, ай!— крикнул Рай и заплакал.— Будь проклята наша жизнь!..

XII

Судр Ахмет подъезжал к дому, где два месяца назад оставил жену и детей. Конь у него выглядел исправно. И сам он был умыт, свеж, все на нем было чистое, даже воротник рубашки был свежий. Сзади к седлу были привязаны два узла. Дом свой увидел он издалека и начал в нетерпении покрикивать, зовя жену и детей. Судр Ахмет торопился, но конь шел плохо — обленился на зеленых просторах джайляу, возле многолюдных белых юрт.

«Гм!..— думал Судр Ахмет и сладко прижмуривался.— Баба!.. Это хорошо, что у меня баба... Всегда кто-то дома шебуршится... Гм... Джигит ездит по своим важным делам, а дома... Гм! Да!..»

И он покрикивал еще издали:

— Ау, жена! Дети!

Но кругом было тихо, заросшая камышом безмолвная стоянка пугала коня, он вздрагивал и настораживал уши. Судр Ахмету тоже стало страшно. «Как же так?— растерялся он.— Что ж это нет ни души вокруг?» Он подъехал к камышовой изгороди и приподнялся на стременах. Вытянув шею, он завопил со страхом:

— Ау, жена!

И из безмолвного дома с черными провалами пустых окон и двери тотчас глухо и коротко отозвалось: «У-у!.. А-а!..»

Судр Ахмет в ужасе раскрыл рот. Он всегда боялся пустующих зимовок и кладбищ в безлюдных степях. И вот теперь его дом глядел на него пустыми глазницами окон. Судр Ахмет почувствовал, что кто-то следит за ним из темноты дома...

Конь всхрапнул, Судр Ахмет взвизгнул, ударил коня, чуть не вылетел из седла и поскакал. Мороз продирал его по спине, торба,

висевшая у седла, где-то выпала, но он ничего уже не помнил и не знал, сколько он скакал и куда.

От непривычной бешеной скачки гнедой его скоро выдохся и стал останавливаться. Тогда Судр Ахмет немного оправился, с испугом поглядел назад и кругом, но никого не увидел. Зимовье его давно скрылось из глаз, и Судр Ахмет остановил коня! «Ойбай! Куда же это меня занесло?»— подумал он. Сдвинув войлочную шляпу на затылок, он вытер холодный пот, потом подоткнул под колени полы чапана, половчее устроился в седле и опять огляделся.

На востоке сквозь знойное марево бесконечной полосой тянулось море. Как всегда, при тихой безветренной погоде море серебрилось под солнцем. А впереди, на расстоянии овечьего перегона, виднелись дымки рыбачьего аула. Сердце Судр Ахмета сразу успокоилось. «Е, вон куда я заехал! Знал, куда ехать, вот сейчас рыбки попробую!»— подумал он весело, потом вспомнил недавний свой страх и захихикал.

По узкой козьей тропинке Судр Ахмет медленно спустился в низину. Степи будто и не бывало — вдоль дремотного тенистого склона Талдыбеке густо рос ивняк. По дну оврага, в тальнике, звенели и бормотали чистые пресноводные ключи. Вся балка заросла буйной зеленью. Особенно густо и сочно стояла трава вокруг родников. Полынь, осока и трутняк достигали колен всадника. Воздух в балке был прохладен и густ. «Богатейшее место эта Талдыбеке!»— думал Судр Ахмет, крутя головой и дыша свежей горечью полыни. Конь прихватывал на ходу траву и все норовил остановиться. Судр Ахмет понукал его, но не сердился.

В рыбачий аул Судр Ахмет въехал шагом, отпустив поводья. Он зорко поглядывал по сторонам, и на сердце у него становилось все веселее. Он видел котлы, вынесенные на двор, и думал, что это хорошо, котлы сейчас проветриваются, а потом в них будет что-нибудь вариться — мясо или рыба... Он видел на протянутых веревках вялившуюся, блестевшую рыбу, и во рту у него набиралась сладкая слюна.

Въезжая в аул, Судр Ахмет все раздумывал, к кому бы заехать насчет рыбки, как вдруг у самой дороги увидел единственную в ауле юрту, и сердце его екнуло. Сначала он увидел юрту, но тотчас заметил и верблюжонка возле юрты, и тут же все понял. «О верблюдица, скотище родное!..— останавливая коня, подумал он.— Разрешилась, значит, почтенная!»

Возле дома возились в пыли ребятишки — мальчик и девочка,— Судр Ахмет поглядел и на них, сморщился, глаза его защипало, хотел позвать их и не мог, застрял в горле комок, в носу стало мокро, и, свесившись с коня, он только высморкался.

Скоро сидел уже Судр Ахмет в своей юрте на самом почетном месте, дети елозили у него по коленям, он их щекотал и весело поглядывал на жену.

— Так, та-ак... Переехала, значит. Это ты хорошо придумала..

— Да уж не знаю,— хорошо ли, плохо ли, а только переехала.

— А я что говорю? Правильно сделала. Ведь я, Бибижамал, ведь я-то знал все заранее, когда уезжал... Уезжал, а сам сразу и подумал: обязательно к рыбакам переедет! А теперь вот и верблюдица разрешилась... Гм!..

— Слава богу, дожили! И ребятки рыбой отъелись.

— Во-во! А что, моя баба — хуже других, что ли! Или она прокаженная? Не знает она своей выгоды? Хи-хи!.. Ау, жена! Ты только с домашним хозяйством управляйся, а со всем остальным я сам управлюсь. Вот увидишь, жена, ты еще у меня разбогатеешь! Почтенный муж твой — большой человек! Скоро у меня будет... Где же это у меня пестрый курджун, а?— спохватился вдруг Судр Ахмет, пошаривая руками возле себя и оглядываясь.

Курджуном оказались два небольших узелка, приторoченных к седлу. В одном узелке был порядочный синебокий чайник. В другом — фунта два чаю и немного дешевых конфет. Чайник, чай и конфеты прислал в подарок старший брат Ахмета, Нагмет из Челкара.

Сын Нагмета с детства рос в городе, выучился кое-как по-русски и устроился потом в судебной канцелярии. Должность исполнял он самую маленькую, но земляки считали его настоящим Судьей. Раньше Судр Ахмет все как-то забывал, что у него есть брат Нагмет. Но как только племянник стал *Судьей,* Судр Ахмет зачастил в город.

Останавливаясь у брата, он приказывал снохе стелить себе самую чистую кошму, тут же забирался на нее и, надувая щеки, восседал на самом почетном месте. На Нагмета поглядывал он с ревностью. Он видел, с каким почтением относятся все к отцу Судьи, и сердился. «Ау, как же так?— думал он.— Как это получается? Нагмет сын Маралбая, и я сын Маралбая. А он вон как важничает? А я не от Маралбая родился? Теперь вот его зовут Отцом Судьи! Как же так? Почему же меня не зовут Дядей Судьи? Что, мне самому себя называть так, а?»

Если в доме оказывались незнакомые, Судр Ахмет становился как хозяин — во все вмешивался, надоедал всем своими распоряжениями. Племянника он звал ласкательно: «Кабенжан», хихикал, похлопывал его по плечу... Племянник дядю терпеть не мог, но сдерживался. Однажды только крепко обидел он дядю. Был полон дом посторонних, а он возьми да и скажи:

— Так как, дядя... Значит, говоришь, на берегу оставил дом? Теперь, значит, можно тебя звать Ахмет-рыбак?— и, не удержавшись, расхохотался, подлый! И гостям стало весело, чтоб их всех разорвало! Крепко обиделся тогда Судр Ахмет.

Вот если бы он тогда вскочил да крикнул бы: «Ноги, мол, моей больше у вас не будет!»— да и пошел бы прямо по дастархану к двери и ушел бы, а потом брат Нагмет и *Судья* бежали бы за его конем и молили бы простить их — ух, вот было бы здорово!

Предупредительный племянник скоро смягчил сердце обидчивого дяди, подарив ему рубаху и штаны, а жене его — платок и платье из дешевого ситчика! Дядя немного отошел, но обиды не забыл. Он ходил по городу, и, если кто-нибудь смеялся, ему казалось, смеются над ним. Он ехал домой, и будто углем на нем написано было: «Ахмет-рыбак». Конь его попукивал на ходу, а ему слышалось: «Ахмет-рыбак!» Трясогузка долго летела за ним, садилась иногда впереди на дороге, дергала хвостиком, попискивала: «Ахмет-рыбак»...

Только Танирберген, храни его господь, хорошо поговорил с ним, как с баем поговорил! Узнав, что Судр Ахмет едет к морю, он завел речь об Акбале и всем святым клялся, что подарит Ахмету лучшего коня, если дело будет сделано.

Теперь он радовался, что сидит с женой и детьми в своей юрте. И серая верблюдица благополучно опросталась, и вообще все было хорошо. Несколько раз, не удержавшись, выходил он к верблюжонку и, радостно приговаривая: «Ух ты!»— щипал его за мягкий плюшевый нос.

Раздав городские гостинцы, покричав, пощелкав языком, он сел пить чай. Откусывая, сося мягкие липкие конфеты, он пил чашку за чашкой крепкий чай, потел, утирался, говорил и нюхал, чем пахнет со двора. А со двора пахло хорошо. На дворе варилась в котле рыба.

— Жена, а жена!— время от времени спрашивал он.— Котел не пора снимать? Копченая рыба ой как быстро варится, а?

Он сажал себе на колени совсем черных от солнца, пропахших рыбой ребятишек и хихикал, глядя, как из котла во дворе идет вкусный пар.

— Ну как, хороший у вас отец, а? Хороший, хороший у вас отец, конфет вам из города привез, да?

Потом вспомнил Акбалу и сделал озабоченное лицо.

— Ау, жена! Отнеси бедняжке щепотку чаю и пару конфет! Скажи, Ахмет помнит о ней. Совсем сирота, бедняжка...

Потом долго, жадно ел рыбу, чуть не подавился сперва, а наевшись, вдруг подумал: «Ау! Совсем дурак этот Судья, мой племянник! Ахмет-рыбак, хи-хи... А вот возьму и останусь я рыбаком. Тут хорошо. Рыбка всегда будет, а?»

Он прилег, и глаза его тотчас стали слипаться.

— Ау, жена!..— сонно бормотал он, поглаживая живот.— Вон остальные аулы — чего они едят? Бедные, богатые... Я тебя спрашиваю, жена, чего они едят? Молоко едят... И все. Насчет крупы и не думай. Н-да... Век не увидишь. Ах ты, моя Бибижамал!.. А у нас — море... Прямо как с неба все валится. Готовая пища! Ложись на спину, открой рот — только успевай глотать! Н-да.. Глотать! Лишь бы жевать не ленился, вот как... А тут — Судья, хи-хи!..— закончил он загадочно и игриво похлопал жену.

После обеда зашли рыбаки. Ахмет проснулся, вспомнил про

свою новость и стал важным. Поздоровались, помолчали, Ахмет хотел сперва поговорить о том о сем, но не удержался и сразу брякнул:

— Слыхали? Царь, говорят, решил брать казахов в солдаты?

— Не может быть!— усомнился Мунке.

Тогда Судр Ахмет распалился.

— Как не может!— закричал он.— Вон, гляди, это что? Уши? Так вот, собственными ушами слышал я! В городе все известно. И племянник у меня — Судья! Он и волостного Кудайменде вызвал в город...

Рыбаки встревожились, замолчали и скоро ушли. Оставшись один, Судр Ахмет почесался, позевал и опять лег. «Напугал я их,— думал он о рыбаках.— И еще не так напугаю! Они меня еще узнают!»

Потом пришла Акбала, покачивая на руках ребенка. Она похудела, глаза стали еще больше на бледном лице. Но одеваться она стала опять хорошо. На ней было белое батистовое платье, поверх него еще безрукавка из синего плюша, и волосы были заплетены в две косы и распущены на концах, как в девичестве. Судр Ахмет сел и с удовольствием поглядел на нее.

Историю с Еламаном он знал. Знал он также, что никаких вестей от Еламана из Сибири не было. И он тут же заговорил о Еламане, глядя вверх и покачиваясь:

— Ау, Еламан! Хоть и был он простой рыбак, бедный человек, непочтенный, как другие почтенные люди, зато среди этих голодранцев-рыбаков был самый лучший!

Лицо Акбалы пошло красными пятнами, и она опустила глаза.

— И вот теперь он в воду канул! Да простит аллах его, беднягу! Любил я его... Часто упоминаю его в своих молитвах.

Судр Ахмет пустил слезу, потом утерся и сделал знак жене, чтобы та вышла. Оставшись вдвоем с Акбалой, он подсел к ней поближе. Подозрительно оглядев все углы, он наклонился к уху Акбалы и зашептал:

— Душа моя, кто умер, тот не вернется... А живые должны жить. Слушай меня, дорогая...— тут Судр Ахмет запнулся.— Устраивай свою судьбу, пока не поздно. Пока стан твой гибок...— Судр Ахмет игриво похлопал Акбалу по спине.— Хи-хи... Пока, говорю, стан гибок и щечки свежие, и все такое... гм!.. ищи себе мужа! Только не из этих, поняла?— Судр Ахмет кивнул на рыбачий аул.— Ау! Акбала милая... Это, как его... Есть один человек, н-да.. Тебе предложения никто не делал, а? Не таись! Если есть в целом свете человек с доброй душой, так это, Акбалажан, я, твой друг!

Красивый подбородок Акбалы давно дрожал, дыхание прерывалось, она то краснела, то бледнела и не смела поднять глаз.

— Так вот, я и говорю... Н-да, этот, как его... Танирберген тебе предложения не делал?

Акбала медленно подняла длинные черные ресницы и глазами,

полными слез, прямо взглянула на Судр Ахмета. И чем больше она смотрела на него, тем больше пугалась.

Во всем облике его не было ни одной правильной черты, весь он был несоразмерен. Везде, во всех чертах его лица или чего-нибудь недоставало, или что-то было лишнее. Бритая до синевы голова его была заострена кверху и походила на воробьиное яйцо. Огромные, прозрачные, как рыбий пузырь, уши оттопыривались. И еще странность была в этих ушах — они двигались! Они настораживались на звук, даже слегка поворачивались в ту сторону, откуда был звук, или обвисали, совсем как у зверя.

— Не таись от меня, Акбалажан, на всем свете я единственный почтенный друг твой!— нажимал между тем Судр Ахмет.

Акбала опять опустила глаза и молчала. Судр Ахмет еще теснней приник к ней и задышал в ухо:

— Доверься... Ну, ну, скажи!

— «Доверься, доверься»!..— сердито сказала вдруг Акбала.— А его куда деть?— кивнула она на сопевшего у груди ребенка.

— Гм!.. Н-да...— Судр Ахмет задумался.

Он зажмурил глаза и забрал в кулак свою бороденку. Долго он думал, прикидывая так и сяк. Конь, обещанный Танирбергеном, который уже чуть не у юрты топтался, теперь стал уходить. Судр Ахмет кряхтел, потел, жалел коня и думал... Наконец он раскрыл глаза, хихикнул и даже в ладоши хлопнул.

— А что!— победоносно сказал он, и ему показалось, что конь опять переступает, всхрапывает возле юрты.— А что! Нашел! Этого малыша... А как его зовут?

— Ашим.

— Ашим? Хорошее имя. Прекрасное имя! Совсем еще малюсенький... Сколько уже малютке?

— Шесть месяцев.

— Шесть месяцев? О, да он совсем взрослый! Совсем крепкий!.. Ах ты, недоносок мой! Дай-ка пощекочу тебя.. Тю-тю-тю!.. Ки-ко-ко!.. А вообще-то медленно человек растет. Шесть месяцев уже, а вид у него... Да и годовалый тоже так себе, ни то ни се... Вот гусята, только вылупились, а уж туда же... в воду! Хи-хи! Или возьми собаку. Шесть месяцев ему, так он — у! Мышей сам себе ловит...

Судр Ахмет долго хихикал, вытирал глаза, мысли его бродили где-то по кругам, пока снова не наткнулись на коня.

— Ну так вот, слушай, чего я придумал... Отвези-ка ты сосунка к своим родителям. Что ему делать, Суйеу-ага-то? С внуком станет играть, кормить его станет — вот ему и дело, а?

— Если они узнают, что я хочу замуж...

Судр Ахмет даже руками на нее замахал.

— Что ты! Ты не вздумай говорить об этом! А так это... М-м... Скажи, теперь, мол, понянчите вы его, а я измучилась. Даже скажи, готовить себе не успеваю — одна ведь! Неужели откажутся?

Акбала посидела немного, думая о чем-то, потом встала и пошла

к двери. Один раз она оглянулась, хотела что-то сказать, но не сказала, покраснела и ушла.

Оставшись один, Судр Ахмет долго вспоминал лицо Акбалы, когда та уходила, какое оно было — холодное или взволнованное. Подумав, он решил, что все-таки взволнованное, засмеялся, хлопнул себя по ляжкам и сказал радостно:

— Аа! Уа, Ахмет, конь теперь твой!

XIII

— Ойбай! Ойбай... А да будьте вы прокляты! До седьмого колена... Я уж и что ел не помню, ой! У-у-у!..

Судр Ахмет бегал по темной юрте, не находя себе места. Комары звенели вокруг него яростно и беспощадно. Судр Ахмет отмахивался, жалобно вскрикивал, шлепал себя по шее, по ушам, но комаров становилось еще больше, и Судр Ахмет изнемогал.

Наконец он не выдержал, выскочил во двор, развел дымокур, мелькая в темноте белой рубахой, отбежал в угол, крикнул что есть силы: «Уа!», разбежался и нырнул в едкий дым.

— Ага!— сладострастно завопил он.— А ну-ка налетай теперь! Не можете? То-то!

Но он и сам в дыму стал как комар — едкий дым лез в глаза, в нос, он чихал, кашлял, потом ошалело выскочил из дыма и кинулся в юрту. Увидев жену, спавшую как ни в чем не бывало с открытым лицом, он остолбенел. «Уж не сдохла ли эта собака?»— подумал он и приложил ухо к ее груди.— Жива! Ба! Да она в самом деле жива! Я себе места не найду, а она дрыхнет, невоспитанная!»

Такого Судр Ахмет уже не мог стерпеть и сердито пнул жену в бок.

— Ау, жена!— закричал он.— Ай да баба! Ай, двужильная баба!

— Что?— невнятно спросонок отозвалась жена.

— Я вот тебе покажу, что! Вставай, разбирай дом! Кочуем отсюда! Будь они все прокляты до седьмого колена!

— О господи, погоди хоть до рассвета! Все неймется тебе...

— Что-о? Почтенный твой муж тебе надоел? На рассвете хочешь бездыханный труп мой увидеть?

— Ах, мой дорогой, где это ты видел умерших от комаров?

— Помилуй аллах! И-и, безбожница... Ах ты тварь, а?! Не видела, так увидишь! Эти твари живьем меня сожрут! Сожрут, говорю тебе, ничтожной!

Судр Ахмет торопливо лег, закутал голову чапаном, полежал, шумно дыша, потом сел и захныкал:

— Ау, жена... Эти комары, будь они прокляты, как войско тысячное... Вон они как пищат! Сам маленький, а как пырнет тебя, будто копьем... Клянусь аллахом! Во! Во! Ай-яй!..

Только под утро с моря потянул свежий ветерок и стал отгонять комаров. Судр Ахмет тогда разделся, долго, с ожесточением чесался, кряхтел, потом блаженно закрыл глаза и заснул. Храпел он чуть не до обеда и проснулся, когда рыбаки уж возвращались с улова. Везде по дворам, возле очагов, белели платки женщин. Судр Ахмет поглядел к себе во двор и увидел, что Бибижамал чистит на доске большого желтобрюхого сазана. Судр Ахмет как был — в подштанниках, в нижней рубахе, босой, с непокрытой головой — подошел к жене и стал умильно глядеть, как жена вспарывает брюхо сазану и как оттуда лезет нежно-розовый жир.

— Ну, ну! Баба! Ах ты, баба! У-у!— ласково сказал он и потрепал жену по спине. Потом позевал, поглядел по сторонам и пошел одеваться. Одевшись, он опять позевал, сильно поскреб голову и стал думать, чем бы заняться. Ничего не придумав, он вышел, посщурился на солнце и, спотыкаясь, заплетаясь на ходу, вяло побрел к Мунке.

Дом Мунке был полон. Сидели там Кален, Рай, Дос... Голова у Рая была завязана белым ситцевым платком. Сквозь платок проступала кровь. Рай угрюмо сидел, молчал и ни на кого не смотрел.

Судр Ахмет еще в Челкаре слышал о драке в рыбачьем ауле. С наслаждением слушал он тогда, какой смелый Ожирай, как он убил одного рыбака, проткнув его копьем, как сбил с ног Рая, взвалил на коня девушку и ускакал.

Он поглядел на мрачного Рая и чуть не захихикал. У него даже язык зачесался — так захотелось ему сказать что-нибудь о джигите, потерявшем свою девушку. Он бы и сказал, да посмотрел на Калена и схватился за бороду. «Апыр-ай!— подумал он, заводя глаза.— Возьмет и убьет! Это прямо нечистый дух!»

Судр Ахмет огляделся и заметил Акбалу. Акбала осунулась, под глазами у нее легли тени, и Судр Ахмет сразу понял, что она не спала ночь после вчерашнего разговора. «Э! Раз баба засомневалась, так уж бес ее попутает!»— решил Судр Ахмет и опять чуть не захихикал. Он уже чувствовал под собой обещанного Танирбергеном коня. Он скакал на нем по степи, и ветер бил ему в лицо.

Разговор зашел об ауле Кудайменде, и Судр Ахмет вдруг понял, что безмерно любил Кудайменде, и Танирбергена, и всю их родню, и весь аул, и небо над их головой. Язык его снова зачесался, в горле пискнуло, и Судр Ахмет не вытерпел:

— Ау, что там говорить — вода счастье! Где вода, там и жизнь! Вон склоны Акмарка какие зеленые в этом году, а? Я говорю, аул волостного Кудайменде весной пшеницы посеял... Как попало посеял этот почтенный аул мешков пять или шесть, а теперь что? А? Стена? Клянусь аллахом — стена!— так густо выросла...

Жены Мунке и Судр Ахмета были родственницами. Родство, правда, было дальнее, но оно связывало Мунке. Он не любил Судр Ахмета, но должен был его терпеть.

— Ладно, ладно,— кисло сказал он.— А как, в самом деле, дела у Каратаза? Что-то плохая молва о нем идет...

— Что, что?— закричал Судр Ахмет.— Кудайменде сейчас луну на небе может достать! Семь дедов не видали такого богатства! Кудайменде и Танирберген — о, это великие люди! Скоту их нет числа. Когда их бараны пасутся в степи — травы не видно. Ягнята у них — как телки! Клянусь аллахом, как телки! Как пройдет мимо, покачиваясь, еле волоча курдюк,— аж слюнки по бороде потекут!

И Судр Ахмет, прижмурившись, покосился на Акбалу. Она вся пылала, ей было стыдно и тревожно. Она не могла больше быть на людях и тихонько вышла. Судр Ахмет зажмурился и опять поскакал на байском скакуне, он уж и бока его чувствовал своими ногами. Поскакав немножко на коне Танирбергена, Судр Ахмет стал думать о своем коне. «Избавиться бы мне только от своей клячи! Это же одно мученье. Все кишки отобьет ее собачья рысь!»

— Ну ладно,— сказал опять Мунке и сморщился, будто хватил кислого.— Каратаз тобой может быть доволен. А ты расскажи-ка лучше нам о новостях. Ты не соврал, что царь решил брать на фронт казахов?

— Что ты сказал?— завопил Судр Ахмет.— Да ты сопли Каратаза не стоишь!

Сердито фыркая, дрожа от ярости, Судр Ахмет выбрался из землянки и в тот же день поставил свою юрточку рядом с домом Акбалы. И ни к кому больше не ходил, кроме как к Акбале. А ходил он к ней так часто, что и тропинку протоптал.

За все это время он палец о палец не ударил. Стреноженный конь его уже больше недели гулял на воле. Несколько раз Судр Ахмет с уздечкой выходил было на поиски, но всякий раз ему что-нибудь мешало, и он возвращался.

Вчера наконец он твердо решил идти искать коня. Но вовремя вспомнил, что у единственной его верблюдицы нет мурундука. Жена принесла ему как-то небольшой красный тузген и попросила: «Отец Аккозы, сделай из него мурундук для верблюдицы!» И вот Судр Ахмет вспомнил о мурундуке и, пока не выскочило из головы, сказал себе: «Ладно, Судр Ахмет, продли, аллах, мои дни! Ладно, конь не уйдет, а теперь я займусь мурундуком!»

Строгая тузген, он порезал себе палец и, пока жена прилаживала к ране горелую кошму, перевернул весь дом. Потом у него зачесалась голова. Он решил побрить голову и пошел к Мунке. Мунке был в море: переставлял там сети. Судр Ахмет поскучал немного, опять вспомнил о коне, засунул уздечку за пояс и отправился на поиски.

За аулом он увидел свою верблюдицу. Вид ее был жалок, живот впал, ноздри загноились. Пофыркивая, она понуро мотала головой. Поглядев на верблюдицу, Судр Ахмет рассердился и пошел домой. «У, нечестивая!»— думал он о жене.

Вот если завтра единственного коня разорвет волк или украдет

вор, кто будет виноват? Проклятый мурундук будет виноват! А если дальше покопаться, то кто велел сделать этот проклятый мурундук? Жена велела, будь она проклята! Черт ее догадал найти тузген и принести домой! Вот кто истинный виновник — баба!

— Был бы я один...— бормотал дорогой Судр Ахмет,— давно бы уж нашел коня! А все эта баба проклятая, вечные у нее дела... То одно ей делаешь, то другое... Теперь вот мурундук, чтоб ему...

Судр Ахмет так расстроился, что уж не мог идти шагом, побежал. Прибежав рысцой в юрту, он повозился там, потом выскочил как ошпаренный и помчался к Акбале.

— Акбала! Оа, Акбала! Дома ли ты?— вопил он еще издалека и с разбегу нырнул к ней в землянку.— Душа моя!— закричал он с порога.— Акбалажан! Зайди к нам вечером, когда жена вернется с дровами!

— Что такое? Что случилось?

— Ай, случилось, Акбалажан, уж что случилось! Чайник, понимаешь, разбил... Ай, какой чайник! Синебокий! Красавец чайник, я его еще из города привез... Подарок моего почтенного брата, Отца Судьи — Нагмета!

— Ну а жена-то...

— Ойбай-ау! Кто же виноват! Баба моя виновата, она, подлая, виновата, никто больше! Мурундук ей этот загорелся... Тузген ее проклятые глаза увидели, с того и началось, и теперь вот любимый чайник мой... Побью я ее, клянусь аллахом! Зайди, душа моя, чтобы я ее не побил!

Судр Ахмет пошумел еще и ушел, а Акбала вздохнула и стала думать о другом. Она совсем извелась за последние дни. По совету Судр Ахмета она отвезла ребенка к родителям. Малыш не принимал кобыльего молока, его рвало. Она быстро вернулась в рыбачий аул, но крик ребенка до сих пор стоял у нее в ушах. Она просыпалось ночью и по привычке шарила возле себя, но пуста была ее постель.

Один раз к ее землянке подошли козлята Каракатын. Они хотели пить и кричали. Акбала дала им воды. Она еще ставила им миску с холодной водой, а они поддавали ее под локти мягкими горячими шишечками на лбу и чуть не выбили миску. Они сразу сунули мордочки в миску, зачмокали, затрясли хвостиками от наслаждения, а Акбала вдруг заплакала и кинулась к себе в темную землянку.

Тогда она возненавидела вдруг и Судр Ахмета, и Тапирбергена, и весь мир, и себя, и все ей стало не нужно — и замужество и богатство... Вспомнился ей тогда Еламан, вспомнила она, как он радовался, когда узнал, что у них будет ребенок, как счастливо и испуганно смотрел на нее, как стал беречь ее, не позволял ничего делать. В свирепые холода целыми днями пропадал он на море. Рыбаки с ног валились от усталости, а он, будто юноша к невесте, ве-

село, быстро шел домой, и не была в тягость ему его ноша. Он бросал мешок с рыбой у порога, снимал верхнюю одежду и сразу брался за домашние дела. Все у него получалось сразу, все выходило хорошо, и приятно было в такие минуты смотреть на него.

И вот этого веселого, доброго, сильного человека угнали в Сибирь, и он так и не увидел своего сына. А теперь Судр Ахмет уж и похоронил его, набожно закрыв глазки, сложив руки, читал каждый раз после обеда молитву за упокой его души. И ее он заставлял молиться за грешную душу.

— Душа моя, дух усопшего ждет от живых молитвы... Молись же!— говорил он пронзительным фальшивым голосом.

Так, в горе и растерянности, сидела Акбала до самого вечера. А вечером опять ввалился Судр Ахмет и с порога жалобно заныл:

— Ау, Акбалажан! Акбала, ау! Чего ж ты не пришла, душа моя! Я весь изождался, все на дверь поглядывал... Ну, думаю, сейчас придет! Сдерживался изо всех сил! А потом все-таки подрался с нечестивой бабой...

— Сильно бил?

— У! Колотил, как... Головешка так и треснула! Ты же все-таки не пришла разнимать? Вот теперь ревет там... Пойди успокой ее, а я у тебя побуду.

Акбала неохотно поднялась и вышла. Но не успела она пройти и пяти шагов, как Судр Ахмет нагнал ее, схватил за рукав и потащил в землянку.

— Ну, Акбалажан...— зашептал он, подозрительно оглядываясь и двигая прозрачными своими ушами.— Соберись, приберись, словом, будь готова... Сегодня под утро приедет. Будь готова, поняла?

Акбала побелела и бессильно опустилась на пол. Она так и не могла решить, беда это или безнадежно потерянное счастье посетит ее в эту ночь. Судр Ахмет хихикнул и вышел. Конь Танирбергена опять фыркал под ним и просил повода.

На другой день с утра зашумел рыбачий аул. Танирберген со своими джигитами под утро тайком увез Акбалу. Удивленные наглостью богатого мурзы, рыбаки шумели все сильней. Один Кален молчал. Он знал, что Танирберген по ночам приезжает к Акбале. Несколько дней подкарауливал он мурзу. Когда в ауле все ложились спать, Кален тихо выходил в степь ложился в траву и издали следил за домом Акбалы. Так он следил одну ночь, другую... Танирберген не появлялся. Прошла неделя, и Кален усомнился. Он знал, что жены рыбаков недолюбливают Акбалу, и решил тогда, что все это сплетни. Обессилевший от бессонных ночей, Кален наконец успокоенный крепко уснул в прошлую ночь. И как раз в эту ночь приехал с джигитами Танирберген и увез Акбалу.

Калеи понимал, что убежать помог ей кто-то из своих. Он молчал поэтому и внимательно вглядывался в лица всех рыбаков, по-

том думал про себя: «Не он!», отворачивался и всматривался в другого.

Рыбаки шумели, кричали наперебой, между рыбаками толкался и Судр Ахмет. Он был напуган, бледен, и Кален стал следить за ним. Когда кто-то крикнул, что надо идти всем аулом отбивать Акбалу, Судр Ахмет вдруг встрепенулся, побагровел, протиснулся в середину и завопил:

— Эй, Мунке! Эй, эй, милый мой, да ты что, спятил? Что вы все сделаете Кудайменде? На небе бог, а на земле — Кудайменде! Вот что! Что вы ему сделаете?

— Уж не знаю, как с Каратазом, а с тобой я сейчас кое-что сделаю!— прорычал вдруг над ухом Судр Ахмета страшный голос.

Ахмет завизжал, громадная рука схватила его за шиворот, оторвала от земли, как беркут зайца, и Судр Ахмет понял, что ему пришел конец.

— Пусть почернеет мое имя...— хрипел Кален и нес Ахмета к морю.— Я тебя утоплю!

— Ойбай, ойбай!.. Убивают! Голубка моя, Бибижамал... Г... где ты?

Рыбаки испуганно замолчали, Бибижамал заплакала, прижимая к себе детей, а громадный Кален широким шагом удалялся от них, и в руке у него трепыхался и визжал Судр Ахмет. И тут с Судр Ахметом со страха случился грех. Кален все еще тащил его, потом потянул носом раз, потянул другой...

— Тьфу, шакал вонючий!— буркнул он, отвернулся и швырнул Судр Ахмета подальше. Судр Ахмет сильно ударился о песок, закатил глаза и потерял сознание. Немного погодя он пришел в себя и мутно поглядел вверх, откуда на него лилась почему-то холодная вода, и увидел Бибижамал. Зажимая нос, Бибижамал поливала его водой из ведерка, чтобы очнулся.

— Ах ты, проклятая баба!— быстро сказал Судр Ахмет и сел.— Уйди от меня, тварь подлая!

XIV

Однажды под вечер Кален подъехал к дому старика Суйеу. Он знал, что старика нет дома. Да и трудно сейчас было застать когонибудь в аулах. Казахи, встревоженные мобилизацией, мотались по степи, собирая и разнося слухи.

Привязывая коня к юрте, Кален оглядел аул, раскинувшийся на широком джайляу, на чистом воздухе, вдали от прибрежных комаров и слепней. С выгона возвращался тучный скот, женщины и дети привязывали козлят и ягнят, бегали за верблюжатами и телятами. Растапливались очаги, и первые дымки поднимались уже в чистое вечереющее небо.

Кален вошел в юрту. Старуха Суйеу была одна, Кален поздоровался с ней и осмотрелся. Над деревянной кроватью у правой стен-

ки на кереге висел большой мерлушковый тумак. Кален опять осмотрел юрту и забеспокоился.

— Шеше, где же ребенок?

— Жив, жив мальчишка. Вон висит в дедовском тумаке[1].

Лицо Калена подобрело.

— Ты редко бываешь у нас.,. Садись, будь гостем.

— Спасибо, спешу. Дайте мне чашку кумыса — и поеду.

Кален хмуро выпил кумыс, вытер усы и рассказал, что прошлой ночью Акбала убежала к Танирбергену. Потом встал, снял с кереге тумак. В пропитанном потом старом тумаке лежал красный вспотевший ребенок. Сердце у Калена сжалось, в глазах защипало. «Ах ты, несчастный птенчик!»— подумал он. Ему стало душно, он начал расстегивать ворот рубашки, потом не вытерпел, дернул, пуговица отлетела. Кален опять посмотрел в тумак, прислушался к дыханию ребенка, осторожно поцеловал его в лобик и вместе с тумаком положил на кровать. Забыв попрощаться со старухой, крупно шагая, он вышел из юрты, зачем-то вытер сухие глаза и сел на коня. Старуха даже не встала проводить его, так и сидела, беспомощно опустив руки с прялкой на колени.

Несколько дней старуха держалась, ничего не говорила старику. После того как сослали Еламана, Суйеу очень привязался к дочери. Он гордился, что дочь его хранит очаг Еламана, растит его сына. «Сыновьями я не горжусь... Вот дочь у меня!»— всюду хвалился старик.

Самолюбивый, вспыльчивый, он враждовал с богатыми баями, не мог терпеть их и не упускал случая, чтобы схватиться с ними. Но самым большим врагом его был Кудайменде с братьями. И если он узнает, что любимая дочь его пошла второй женой за брата самого большого врага — кто знает, что с ним будет! И старуха молчала.

Однажды они сидели одни в юрте. На улице стояла жара. Козлята и ягнята, спасаясь от жары, прибежали с легким топотом в тень, лезли друг под друга, терлись боками о стенку юрты. Полог юрты был раскрыт, горячий сухой ветер обдавал жаром лицо, шумел иногда в щелях кереге.

Суйеу, вытянувшись столбом, сидел в глубине юрты. На нем были бязевые белые штаны, бязевая белая рубаха, вообще весь он был острый, худой, белый. Попеременно поднося к ноздрям оттопыренный большой палец, он с остервенением нюхал горький насыбай, морщился, собираясь чихнуть, и вытирал рукавом выступавшие слезы.

Старуха уже собралась все ему выложить, но опять заробела. Проницательный Суйеу сразу заметил, что старуха его хочет что-то сказать и боится. Несколько раз он пронзительно взглядывал на

---

[1] В казахских аулах есть древний обычай: десять месяцев выдерживать недоношенного ребенка в тумаке старого человека.

нее, фыркал и отводил глаз. Наконец старуха совсем изнемогла, помолилась в душе и брякнула:

— Слышал новость? Дочь твоя вышла второй женой за Танирбергена.

Суйеу даже не моргнул, не взглянул на нее, не удивился, не переспросил Сидел и нюхал табак. Тогда старуха разозлилась.

— Вот она, твоя драгоценная, ненаглядная...— сварливо сказала она и замолчала, ожидая, что будет.

— Молчи, молчи!— быстро скрипуче отозвался Суйеу.— Что это значит — моя? Что, что, сам я ее выбирал? Ее мне бог дал! Молчи!

Старуха быстро вышла на улицу, прогнала подальше бодающихся возле юрты соседских ягнят и козлят и вернулась в дом. Незаметно покосилась на старика. Он сидел по-прежнему прямой как палка. Но глаза у него горели, хрящеватый высокий тонкий нос его стал восковым. ноздри впали Он так побелел лицом, что стал похож на покойника. Старуха испуганно опустилась на баранью шкуру возле очага. Старик Суйеу вдруг повернулся, внимательно поглядел на жену, зафыркал.

— Что это?— заскрипел он.— Что это еще такое, а? Что мне, потвоему, делать, если она даже года не утерпела?

Кровяные глаза его стали вылезать, кадык на худой шее дергался, пальцы бегали по рубашке, будто ему было душно.

— Что это такое, а? Нет, что она мне говорит? А ты разве видала, чтоб за гулящей сучкой не бегали кобели? К чему это ты мне говоришь? А? Что это? Дожив до возраста пророка, я с палкой должен бегать за кобелями? А? Отгонять их от своей гулящей сучки? Эй, эй, хрычовка, что это за издевательство? А? А?

Старик Суйеу вскочил. Кровавоглазый, с козлиной бородкой, с белыми ресницами, он схватил плеть и привычно накрутил на руку волосы старухи. Старуха не удивилась и не вырывалась, только закрыла лицо рукой. Суйеу с остервенением пошел гулять по ней плеткой.

— Ау, хватит тебе!— тихо просила старуха.

Бивал он ее и раньше, но больше для порядку. Стегнет раза два и отпустит. Но теперь он все больше входил в азарт, прыгал вокруг старухи так и сяк и все норовил побольней. Тогда старуха вдруг рассердилась, вскочила, повалила старика, вырвала у него плетку и выкинула на улицу.

— Хватит, я сказала!— крикнула она.— Много силы накопил, ступай поучи свою бесстыдницу!..

Как ни защищалась старуха, на лице у нее быстро вспухали рубцы от плетки. Увидев рубцы, старик Суйеу отвернулся. Не сказав ни слова, он отошел, лег, накрылся верблюжьим чекпеном, отвернулся к стене и — как умер — не шевельнулся больше.

XV

Кален не задерживался на джайляу. Проезжая аулы, он видел одних только женщин и детей. Все мужчины многочисленных родов прибрежья Торжимбай, Быламык, Андагул-Бадык сели на коней. Все джигиты этого края собирались в Акчике, в ауле Ожар-Оспана. Собираясь, они несмело, но уже покрикивали, что не станут служить белому царю.

«Дурачки!— с грустью думал Кален.— Нашли себе вожака — Оспана. Пожалеют потом, да поздно будет...» Ехал он на худой кляче Судр Ахмета, и, сколько бы ни укорачивал стремена, длинным ногам его все равно было неловко. И от этой неловкости и от непривычного вида взбудораженных аулов было у Калена нехорошо на душе. Он все гнал коня, стремясь попасть к рыбакам до сумерек. Он в мыло загнал коня, но, пока добрался до Бел-Арана, сумерки уже наступили. И все-таки зорким глазом он издали, с перевала увидел море и рассыпавшиеся скособоченные землянки поселка на берегу. И еще он увидел, что в поселке суета, из землянки в землянку переходят рыбаки, останавливаются кучками на улице...

«Что это у нас? Или уж и сюда дошел слух о царском указе?»— подумал Кален и еще больше заторопился. Почуяв аул, конь через силу пошел галопом.

Калена заметили издали, сразу узнали его огромную фигуру, и сразу ему навстречу кинулся Рай. Он встретил Калена далеко за аулом и, задыхаясь от быстрого бега, привалился к шее коня. Сначала он только дышал и слезы стояли у него в глазах, когда, закинув лицо, смотрел он на Калена. Потом засмеялся и сказал:

— Еламан-ага...

— Еламан...

Рай кивнул, не в силах говорить. Кален почувствовал, как радостно заныло, задрожало у него сердце.

— Что, вести о нем?— хрипло спросил он, нагибаясь с седла и вглядываясь в лицо Рая.

— Сам... сам вернулся!

— А ну отойди!— весело крикнул Кален и сильно погнал коня в поселок. Он въехал в толпу, раздал ее, потом соскочил с коня.— Ну, рыбаки, с радостью!— все еще хрипло сказал он.

— Аминь! Тебя также! Войди в дом! Эй, джигиты, пропустите!

Но тут же кто-то крикнул:

— Пусть даст чего-нибудь за встречу!

— Э, Кален-ага — за встречу! А то не покажем!

Оживленный народ обступил Калена. Даже самые робкие, которые обычно побаивались Калена, сейчас теребили его, дергали за полы, за рукава.

Кален был не по времени тепло одет в шубу, в высокие отделанные кошмой сапоги и был поэтому еще более могуч в теле. На голову был он выше всех — его дергали, кто-то даже пробовал повис-

нуть на нем, но он стоял неподвижно, только головой вертел во все стороны и радовался.

— Эй, джигиты!— закричал он.— Что возьмете? Был бы конь — отдал бы коня. Чапан был бы дорогой, снял бы тут же. А у меня ничего нет!

— Песню спой!— крикнул один, и тут же по всей толпе пошло:

— Песню! Кален-ага, песню!

Кален любил петь и пел хорошо. Он откашлялся, расставил ноги и вытянул шею. Все сразу замолкли, и Кален, прижмурясь, запел высоким и мощным горловым голосом песню Сары Батакова.

Бьет по земле копытами Тарлан,
Он просит корм, ища губами руку.
О мой скакун, ты мне судьбою дан,
Спина твоя, как тетива у лука...

Он пел, играя голосом, захватывая все шире, и сам, как конь, потопывал ногами, поводил шеей, и запахло степью, ее полынным духом, повеяло на рыбаков солончаковым ветром, и в этом раздолье играл самый прекрасный на свете конь, любимый конь Батакова Сары!

Давно уже никто не слышал тут такого пения, и все стояли потупясь, и каждый вспоминал свое — кто что: кто детство, кто степь, кто коней, их запах, глухой гром их копыт...

Рай, забывшись, тискал руку какого-то джигита. Глаза у него были широко раскрыты и блестели, в горле что-то двигалось, будто пел он вместе с Каленом.

Когда Кален оборвал, Рай опомнился, выпустил руку джигита и, смущенно посмеиваясь, сказал:

— Ах, поет! Как поет, а? Был бы я девушкой, без ума остался бы от Кален-ага!

А Кален уже двинулся, расталкивая всех, к землянке. В землянке тоже слушали его песню, и никто не шелохнулся, и теперь все повернулись к двери, ждали. Пробившись в дом, разглядев Еламана, Кален, переступая через лежащих, кинулся к нему и не дал подняться, не дал слова сказать, сгреб, навалился медведем и замолчал, только плечи подрагивали.

— Как рад!— сказали старики и стали вытирать глаза.

Потом Кален отпустил Еламана, усадил его на самое почетное место между собой и Мунке, мельком, незаметно оглядел его и стал печален.

На Еламане была рубаха из грубого холста, на ногах тупоносые грубые ботинки. Он похудел, оброс, был бледен. Кален сделал усилие над собой и улыбнулся.

— Тут кое-кто уж за упокой твоей душеньки молился,— весело сказал он.— А ты не с того ли света нагрянул?

— Да и тюрьма не лучше,— вяло улыбнулся в ответ Еламан.

— Н-да... Я как подумаю — у человека-то жилы, выходит, покрепче собачьих. Ко всему привыкает.

Старики со старухами завздыхали, зашевелились.

— Тебя что, выпустили?— спросил Кален.

Еламан опять невесело усмехнулся.

— Да нет, убежал.

— Ну да, я так и думал... А где ты сидел?

— После Челкара погнали в Жаманкала.

— Жаманкала! Ну! Ну!.. Еламанжан-ау, это же городок, откуда мы пшеницу покупаем!— сказал Судр Ахмет.

Дом давно уж был битком набит. Каждый раз, когда кто-нибудь еще протискивался, всем казалось, что дверь наконец сорвется, и все невольно прислушивались к скрипу. Воздух в низкой землянке был тяжелый. Острый запах рыбы и задубевшей от пота одежды рыбаков бил в нос. Старики несколько раз просили стоявших у дверей выйти, но те молчали, а снаружи так же молча напирали, старались протиснуться внутрь.

Почти никто из стоявших у дверей не был знаком Еламану. Он слышал уже, что в прошлую зиму из-за джута многие степняки лишились последнего скота. И он догадался, что эти молчаливые, оборванные люди, жавшиеся у двери, народ все новый, пришлый из степи.

И он вспомнил тогда об одиноком доме в ложбине, при дороге, где он ночевал с Раем в ту жестокую зиму, когда их в кандалах везли в город. Вспомнил он черную властную старуху и девушку и как девушка выбежала на мороз и сунула ему горячую лепешку за пазуху. Он часто потом по пересыльным тюрьмам вспоминал эту лепешку. И сейчас у него горячо стало на сердце, будто лепешка лежала еще за пазухой. «Где они теперь? — думал он.— Пощадила ли их зима?»

— Чай! Самовар несут! Расступись!— закричали снаружи. Все задвигались, громко заговорили, предвкушая чаепитие, потому что какой же разговор без чая!

А Еламан вдруг подумал о жене. Он до сих пор не спросил о ней, ждал, когда сами скажут или вдруг она прибежит. Но Акбала не прибегала, рыбаки помалкивали, и Еламан уже понял, что дело плохо. «Ну что ж,— пробовал успокоиться,— стало трудно жить одной, к отцу перебралась...» Он исподлобья поглядывал на рыбаков и опять опускал глаза. «Да нет,— твердо и грустно подумал он,— была бы у отца, сразу бы сказали. А то помалкивают!»

Даже Кален, не робевший ни перед кем, сейчас отвернулся и сердито посапывал.

— Ну как там аулы джайляу?— спросил Мунке у Калена, незаметно наблюдая за Еламаном.

— Плохи у них дела,— сердито буркнул Кален, тоже косясь на Еламана.— В редком доме благополучно, если не считать байского...

— Дырявую юрту бог бережет,— обрадовался Дос.— Наш аул пока далек от беды!

— Э, Дос! Когда у целого народа трещит, какой прок от твоего благополучия! Обрадовался! Как рыба, ушедшая от крючка...

Дос был крут, силен, но тугодум и не нашелся что сказать, только нахмурился. Мунке знал, что Кален с Досом недолюбливают друг друга. Испугавшись ссоры, он встрепенулся, поглядел на Еламана и вдруг, решившись, заговорил:

— Дорогой мой Еламан! Еламанжан ты мой!— начал он, собственноручно наливая и протягивая ему пиалу.

Еламан протянул было руку за пиалой и увидел, что рука его дрожит. «Уроню!— подумал он.— Надо обеими!» Он принял пиалу обеими руками. Он понял, что услышит сейчас от Мунке именно то, чего он так боялся. Он весь напрягся, потому что ему не хотелось показывать перед рыбаками свой стыд и свою боль.

Услышав Мунке, все замолчали, тихо стало в доме, слышно было, как дышат рыбаки. Да самовар, занесенный с улицы, все кипел и тонко посвистывал.

— Когда тебя забрали,— снова начал Мунке,— позади у тебя был дом. Когда... когда джигит, истомившись по родному очагу, возвращается назад, о дарига-ай...— внезапно задохнулся он, опустил голову на руки.

Судр Ахмет хотел было незаметно уйти, когда заговорил Мунке. Но в затылок ему жарко дышали люди, и уйти было нельзя. Он вертелся, порывался говорить сам и обрадовался, когда Мунке запнулся.

— Э, Мунке!— быстро и как бы небрежно сказал он.— Чего ты тянешь! Чего ты мямлишь, будто тебя за глотку душат! Баба — потеря небольшая. Да чего там, прямо сказать, самая ядреная баба у нас как скотина...

Еламан пошевелился, Судр Ахмет встревоженно взглянул на него, но тут же отвел глаза.

— Ойбай-ау! Правильно же говорили старики — баба самый проклятый враг человека! А? Когда она не изменяла мужчине! А? Еламанжан, плюнь, и твоя Акбала такая же! Как только тебя забрали...

Кален тяжело смотрел на Судр Ахмета. Странно, но он хотел, чтобы именно Судр Ахмет рассказал обо всем. Судр Ахмет трусливо покосился на Калена, осекся было, но тут чутьем каким-то все понял и приободрился.

— Да что там говорить! Шлялся тут Танирберген, снюхалась она с ним и удрала, сучка!

Пиала в руках Еламана хрустнула, горячий чай пролился на ноги, но он ничего не почувствовал.

— Э, Еламан,— Судр Ахмет поглядел на осколки пиалы в руках Еламана,— брось! Я тебе найду такую бабу! Еще лучше этой шлюхи...

— Ну хватит! Пошел вон!— негромко сказал Кален. Лицо его почернело от стыда и ярости. Судр Ахмет послушно стал протискиваться сквозь плотное кольцо рыбаков. Он боялся оглянуться, но все оглядывался и еще больше пугался — такое черное лицо было у рябого Калена.

Как раз в эту минуту, взбудоражив всех собак аула, кто-то бешеным наметом подскакал к землянке, чуть не задавив выбравшегося на улицу Судр Ахмета.

— Эй, ты! Ослеп! Чего людей давишь?— крикнул Судр Ахмет, увернувшись из-под коня.

— Где мужчины аула?— сипло спросил приезжий, удерживая разгоряченного коня.

— А я что, баба, по-твоему?

— Где рыбаки, спрашиваю?

— А чего тебе рыбаки? Я за всех рыбаков!

— Молчи, сука! Где рыбаки?

— Сам ты сука! Ты... ты чернобородая сука с дурацкой сумкой на боку!— Судр Ахмет совсем задохнулся от злости.— Я тут от злости готов разорваться, горю весь до черного ногтя, а эта чернобородая... Ойбай, убил! Спаси-и-ите!..

Рыбаки в доме испуганно переглянулись. Чернобородого с сумкой из кошмы на боку хорошо знали люди волости Кабырги. Приезд этого человека всегда бывал не к добру.

На вопль Судр Ахмета первым выскочил Рай, бывший ближе всех к двери. Судр Ахмет, закрывая голову и крича что есть силы, валялся в пыли, а чернобородый на всхрапывающем, пляшущем коне старался еще раз достать его камчой. Рай бросился к нему и перехватил руку с камчой.

— Аксакал, нельзя так!

— Пусти руку!

— Не бей его, он слабый!

— Я тебе дам — слабый!— закричал вдруг снизу Судр Ахмет.

Чернобородый пригляделся к Раю.

— Тебя Раем зовут?— спросил он, забыв уже про Судр Ахмета и успокаиваясь.

— Раем...

Чернобородый усмехнулся:

— Так вот ты попал в список на службу белому царю. Понял? Давай готовься. Кроме тебя, пойдут еще шесть человек.

Выскочившие на улицу рыбаки побледнели. И ни у кого язык не повернулся спросить об остальных шести джигитах. Каждый боялся услышать свое имя.

Гонец волостного, все еще усмехаясь, назвал шесть остальных. Чтобы не забыли, он повторил имена дважды. Потом, приказав готовиться в путь, круто повернул коня и наметом поскакал в ту сторону, откуда примчался минуту назад.

Проводив хмурым взглядом гонца, рыбаки вернулись в землянку и молча расселись.

— Н-да... Была у нас радость и ту отравил, собака!— сказал Мунке.

— А, да он-то что! Волостной его науськивает, вот он и цапает за полу...

— Ну с нас и этого довольно. Вон всколыхнул в один миг, дьявол, тихий аул — и пропал!

Какой-то старик сидел возле двери, качался-качался и вдруг завопил:

— Детки мои, и что теперь с вами бу-удет?

Кален не любил воплей, но теперь он молчал и слушал старика. Старик вопил, вопил, потом вытер слезы и подполз к Еламану.

— Дорогой ты мой! Главой ты был в нашем ауле. Сынков наших, как...— старик опять всхлипнул,— как ягнят связанных... Что делать, что делать?

Еламан молчал отвернувшись. Под боком у него дышал, всхлипывая, старик, молчали и другие, ждали слова. Что он мог сказать? По пути домой долгую дорогу прошел он и везде видел возмущенный народ. Многие наотрез отказывались служить царю и вооружались. Решительней всех были настроены казахи из Челкара, Иргиза, Тугая...

— Эй, сынок! Что ж ты молчишь?— опять всхлипнул старик.

«Нашел у кого просить совета!»— горько усмехнулся про себя Еламан и повел отяжелевшими глазами по людям.

— Разве я знаю больше вас? Одно я знаю: указ царя касается не только казахов, а вообще всех инородцев. И все недовольны...

— Будешь тут доволен!

Кален вдруг откашлялся и подался вперед.

— Э-э, Еламан!— гулко сказал он.— Вооружиться бы нам! Чем наших джигитов отрывать от жен и детей, подрались бы вволю! Хоть бы одного Кудайменде, собаку, придушили!

Рыбаки зашевелились, оживились, заговорили об оружии, где взять, куда прежде всего скакать...

— Тихо!— громко сказал Кален.— Еламан, ты давно дома не был, теперь у нас много перемен. Вот я был в аулах на джайляу. Только кликни — все соберутся!

— Ах, Кален! Ах, рыбаки!— горько сказал Еламан.— Может, оно и так, да только все мы пешие... А пеший что сделаешь?

И все замолчали, засопели сердито, все вдруг опомнились — верно, не было у них в ауле коня, если не считать несуразной гнедухи Судр Ахмета. Немного, вяло поговорив о постороннем, все скоро стали расходиться. В землянке остались только Еламан и Кален. Они молчали и думали каждый о своем.

XVI

Все рыбаки аула по очереди стали приглашать Рая в гости. Они знали его с детства, и им тяжела была мысль о разлуке. Близкие женге так жалели его, что у них слезы стояли на глазах, когда они говорили с ним. Рай отшучивался: «А это здорово, когда берут в солдаты! Весь аул ухаживает. Ей-богу, как невеста на выданье!»

Сегодня Рая позвал в гости Мунке. Придя к Мунке, Рай посмотрел на Ализу, вспомнил любимую свою Бобек, погрустнел, опустил плечи. Он взял домбру и молча стал бренчать на одной струне печальную мелодию. Ализа возилась по хозяйству, входила и выходила, а струна все вновь и вновь выбивала песню, которую любила петь Бобек: «О мой зрачок, когда тебя я вспоминаю...» Мунке тоже пригорюнился, подперся кулаком, моргал. Рай стискивал зубы, смотрел в угол, нарочно делал равнодушное лицо, чтобы не заплакать.

Принесли еду, Рай неохотно положил домбру, вяло посмотрел на дастархан и вздохнул.

— Э-э, Мунке-ага! Скажи мне, есть ли на свете счастливые люди? Есть ли люди, не испытавшие горя?

Есть никому не хотелось, каждый думал о своем, и через некоторое время Мунке взглянул на Ализу, показал, глазами, чтобы убрала еду.

Шумно вошел Кален, увидев Рая, обрадовался.

— Милый, побудь сегодня вечером у нас,— попросил он.

Кален еще вчера хотел пригласить Рая в гости, да ничего дома не нашлось для угощения. Жена и сегодня с утра беспокоилась об угощении, но Кален беззаботно сказал:

— А! Да много ли надо? Попалась, наверно, рыба — и ладно.

— На море надейся...

— Э, жена, не горюй раньше времени! Ну, нечем будет угостить, спою ему песенки Сары,— весело сказал Кален и пошел на море. Жене он ничего не сказал, но сам-то знал, что рыба будет, потому что вчера поставил сети на запретном месте.

Последнее время рыбаки боялись ставить сети в запретных местах, в богатых рыбой камышовых заливах. Кален терпел, терпел, потом начал ворчать:

— Ау, рыбаки! Ведь не татарином вырыто наше море? Море-то общее... Почему ж тогда Темирке забрал себе все рыбные места? А мы что, ослы, что ли? Да и осел брыкается, когда его без конца долбят по загривку...

Рыбаки слушали охотно, поддакивали, но сетей в камышовых заводях все-таки не ставили, боялись. И вот вчера Кален плюнул с досады на всех, поехал и поставил свою сеть в самом лучшем месте.

Когда Кален вышел на берег, в глаза ему бросилось множество черных рыбацких лодок, там и сям маячивших среди необозримого

пространства воды. Ветра не было, небо голубело, рыбаки работали, сгибались и разгибались, каждый в своей лодке, и множество хищных чаек кружило над ними, высматривая рыбу.

С удовольствием поглядев на море и рыбаков, Кален столкнул в воду свою лодку, сел, взялся за весла и неторопливо стал грести вдоль берега. Он заворачивал уже в камышовую заводь, где у него стояла сеть, как вдруг издали до него донеслось:

— Кале-ен! Смотри, Ива-а-ан!..

Черная плоскодонка Калена беззвучно пересекла заводь и мягко ткнулась носом в жидкий островок, поросший камышом. Кален аккуратно сложил весла, перегнулся через борт, пошарил в воде, нашел конец сети. Он только взялся за веревку — сразу почувствовал, что рыбы много. Подвигаясь вдоль сети, он выпутывал, вынимал желтобрюхих сазанов, черноглазок и белоглазок. Зной пек ему голову, вода была теплая, рыба блестела, лениво трепыхалась и скоро засыпала на дне лодки. Работая, Кален мельком оглянулся: Иван на белой легкой лодке шибко выгребал к нему. «Дурак! Чего ему надо?» — раздраженно подумал Кален и опять взялся за сеть.

После зимней своей беды Иван надолго исчез. Несколько месяцев он где-то бродяжил, вернулся худой, рваный и злой. Пришлось поступить ему к Темирке, и начал он следить за рыбаками, ловить их, отбирать сети. С казахами он больше не заигрывал, был груб, криклив и нечестен. Особенно не любил он рыбаков с кручи и если отбирал у них сети, то не возвращал уже совсем. Наглел он с каждым днем, подъезжая к рыбакам, заглядывая в лодки. Если улов у кого-нибудь был хорош, Иван забирал рыбу, хоть рыбу ловили и не в запретном месте.

И вот теперь Иван полным ходом мчался на Калена. Легкая белая лодка, режа острым килем воду, пуская пенные усы на обе стороны, стремительно поравнялась с черной плоскодонкой Калена. Иван бросил весла, вскочил и на ходу перехватил сеть Калена.

— Эй, тамыр... Не трожь! — негромко попросил Кален.

Иван вытянулся, подцепил веревку, которую держал Кален, стал накручивать себе на руку. Потом что есть силы рванул на себя. Кален даже не пошевелился, только лодка его качнулась, жесткая веревка содрала кожу на руке Ивана. Кален, скосившись по-волчьи на ободранную до крови руку Ивана, усмехнулся.

— Сказано тебе, тамыр, не тронь, — опять повторил он.

Иван размотал, бросил веревку, быстро нагнулся, нашарил на дне лодки двустволку, щелкнул курками. Кален вскочил, вырвал двустволку, перегнулся, схватил Ивана за пиджак, поволок к себе в лодку, потом поднял и понес к носу. Иван взбрыкнул было, потом испугался, попросил мирно:

— Эй, батыр, хватит тебе. Брось шутить!

Лодка колыхнулась под ними. Кален перешагнул через одну банку, через другую, бросил Ивана подальше, на трясинный остро-

вок, и стал привязывать его лодку к своей. Все время он молчал, и это было страшнее всего. Рыбаки побросали свои сети и издали следили за происходящим. Кален взялся за весла и неторопливо стал отплывать.

Иван так испугался, что и кричать сперва не мог. На маленьком вонючем островке посреди заводи удержаться было невозможно. Ивана засасывало, но он еще не верил, что это конец. Кругом лопались пузыри, будто каша варилась. Он попытался лечь на грудь, но вода сразу дошла ему до горла. Тогда он схватился за жидкий камыш и завопил:

— Помоги-и-те!..

Несколько рыбаков недалеко от него бросили свои сети, начали яростно грести к нему. Но Кален заорал на все море:

— Стой! Стой! Это место.— запрет!

Он знал, спасут Ивана, ему на свете не жить, загонят в Сибирь. Добравшись до берега, Кален, прихватив двустволку, быстро пошел домой.

— Ну вот, так я и знала, что ж мне теперь делать с гостем?— сказала Жамал, увидав Калена без рыбы.

— Ладно, ладно! Не до гостей! Сбегай-ка позови быстро Еламана и Мунке!

— Что случилось?

— Иди, иди скорей!

Зная уже, что случилась какая-то беда, Жамал побежала. Немного погодя пришли Еламан и Мунке.

— Проходите скорей!— распоряжался взволнованный Кален.— Садись ближе, Еламан! Худо, рыбаки, худо... Знаете, как говорят: «Дело сделано, теперь пусть мне поможет аллах!»— так вот, я тоже наделал дел...

Кален коротко рассказал о случившемся.

— Ой, Каленжан, что ж теперь будет!— закручинился Мунке.

Еламан знал, что Кален терпеть не может стонов и причитаний. Жалеть теперь не приходилось, надо было о деле говорить.

— Тебе бы скрыться куда-нибудь, пока не уляжется все,— сказал он.

Стали думать, куда бы спрятаться. Перебрали множество мест. Еламан все чаще поглядывал на дверь.

— Ладно,— сказал он.— Дня на два скройся пока в камышах, а там придумаем, как дальше быть...

Рыбаки все-таки спасли Ивана, и едва Кален успел засесть в камышах, как в аул на круче прибежал Иван со своими людьми. Ввалившись в дом Калена, они сперва все перевернули там, побывали во дворе и у соседей, потом сошлись вместе, запаленно дыша. Жена Калена сидела на кошме и злобно глядела на них.

— Где он может быть?— размышлял Иван.

Потом подошел к Жамал, пнул ее сапогом.

— Эй ты, где муж?

— Убери ноги, собака! Я Калена жена, а не твоя потаскуха!

— Но-но! Поговори мне! Скажешь, где твой мужик?

— А он со мной в таких делах не советуется.

— Ах ты сука!..

— Дурак мордастый!

Иван схватил Жамал за волосы, намотал на руки. Жамал закричала, за домом послышались торопливые шаги, дверь с треском откинулась.

— Отойди от бабы!

Не выпуская волос Жамал, Иван слегка повернулся, поглядел на Еламана.

— Я преступника ищу, а ты, сволочь, чего лезешь?

— Иди, ищи, а бабу и детей не тронь!

— Все равно найду гада!

— Поглядим...

Иван вдруг усмехнулся, выпустил Жамал и, пристально глядя на Еламана, сказал с растяжечкой:

— У вас поговорка есть... У мышки норки нет, а она кошку кличет.

— Ну и что?

— А то, что ты б лучше о себе подумал. Я-то тебя вспомнил, тюрьмы тебе многовато дали — сбежал, значит?

— Это ты верно... Только пока я здесь, ты в этот аул не суйся, плохо будет.

— Ничего, у власти курук длинный.

— Поглядим. А пока у меня курук подлиннее, понял?

В сенях и на дворе уже топтались рыбаки, громко спрашивали друг у друга, что тут делается. И Иван решил уходить. Выйдя на улицу, он опять задумался. В этом ауле не было ни коня, ни подводы, и Кален далеко уйти не мог. Подумав, Иван приказал двоим оставаться в ауле.

— Далеко он не мог уйти, где-то прячется.

— Может, в камышах отсиживается? — предположил кто-то.

— Во-во! Вы получше следите, главное — его дом из виду не упускайте! — распорядился напоследок Иван и пошел с остальными к промыслу.

XVII

Заметив, что в доме собираются стелить постель, Еламан замолчал и вышел на улицу. Со свету он ничего сначала не различал в темноте и неуверенно остановился у двери. Рыбацкий аул спал. Ни одного огонька не было в черной ночи. Целый день Еламан просидел в душной низкой землянке, и теперь тело у него ломило.

Луны не было видно. Еще раньше, днем, ветер сильно гнал серые тучи, вот-вот должен был пойти дождь, но так и не пошел. К ночи ветер утих, но тучи остались. Плотно, мертво обложили они все небо, ни одной звезды не мерцало нигде. И моря тоже не было

видно, оно только чувствовалось в темноте — оттуда терпко, солоновато дышало.

Еламан не мог различить даже Бел-Аран. Но потом ему показалось, что он смутно видит во мраке грузные очертания спящих гор. Он долго жил здесь и знал каждый куст и каждый увал. И теперь он как бы видел все это, хотя на самом деле ничего не видел.

Вон Бел-Аран мысами упирается в море, а вон там вьется овраг Талдыбеке, а немного поближе — балка Кендырлисай. И Ак-баур был виден Еламану. И рыбацкий аул, хоть за бугром, был виден ему, и все эти тесно прилепившиеся друг к другу землянки на круче, и третью землянку, если считать с востока, он видел...

Он живо вспомнил единственное полуслепое окошко, затянутое бараньей брюшиной, прямо в потолке. И как в бураны зимой заваливало крышу вместе с окошком, и тогда Еламан обманывался — на улице давно был день, в землянке еще ночь, и он не вылезал из-под одеяла. Когда же он понимал, почему в землянке тьма,— а понимал он это потому, что ему уже не хотелось спать,— он бодро вскакивал, топал по холодному полу, шутил, разговаривал с женой.

— Смотри-ка, как эта слепая старуха подвела нас,— посмеиваясь, говорил он про окно.

И дверь своей землянки Еламан в шутку прозвал «плаксой». Потому что эта низенькая дверца, через которую можно было пройти, только согнувшись в три погибели, так жалобно скрипела и пищала каждый раз, что казалось, вот-вот развалится. И длинная печка, разделявшая комнату надвое, и эта дверь-плакса, и слепое окошко-старуха были ему тогда милы, потому что все это сделано его руками.

Даже сейчас, когда он вспоминал о своем родном очаге, глаза его расширялись, а на душе становилось горячо. И он усиленно начинал перебирать скупое свое счастье тех дней.

Вот он женился, и ему открылся другой мир. Он стал улыбчив и загадочен — постоянная радость, ровная и спокойная, не покидала его ни на минуту. Дни тяжелой работы в море, на ветру и в воде, выматывали рыбаков. В сумерках по льду брели к аулу согбенные фигурки — каждая к своей землянке. А Еламан шел быстро, весело, и мешок с рыбой за спиной не был ему в тягость. Прыжками взбирался он по крутизне. И каждый вечер горел, как юноша, спешил увидеть молодую жену.

Он радовался, что, женившись, возродил угасавший было дедовский очаг и что жил теперь, как и все, со своей семьей. Он так радовался, что не замечал в жене никаких недостатков...

«Нет, замечал!»— тотчас подумал Еламан, уличая себя во лжи. Многое он замечал, но винил каждый раз себя. Что теперь говорить, замечал не только он — замечали другие! Однажды, незадолго до того, как унесло их на льдине в открытое море, Дос отозвал его в сторонку и сказал:

— Слушай, парень, дело, конечно, твое... Да не ты один на свете

с бабой живешь. Ты прямо на руках ее носишь, нет? Так, гляди, на шею сядет. Знаешь, в старину говорили: «Ребенка с колыбели воспитывай, а бабу — с первого дня!» Запомни...

Так Еламан шел и шел, понурясь, думал и думал... За аулом всегда густо росла трава. Буйное разнотравье перемежалось солончаками. Густая терпкая полынь и красная изень не вяли до самой глубокой осени, пока не возвращались с джайляу богатые скотом многолюдные аулы Кудайменде.

Еламан шел по колено в разнотравье, и трава была так густа, что в ней вязли ноги. Чем дальше он уходил от аула, тем сильнее был горький запах полыни, настоянный на ночных росах. Тихонько бредя, останавливаясь, жадно нюхая, Еламан словно пьянел. Изредка он нагибался, срывал пучок травы, мял в ладонях и приникал лицом к пахучим стеблям. Почему-то у него появилось такое ощущение, будто он впервые был в этой пахучей ночной степи. Будто он никогда раньше не видел ее и не ощущал ее запахов, будто не снилась она ему в тюремные ночи.

Один раз из-под куста с громким шорохом выпорхнула какая-то птица, и Еламан вздрогнул. Улыбнувшись, он пошел дальше и тут же вспомнил, как когда-то пас по ночам коней. Тогда он часто задремывал прямо на коне, и конь мерно переступал, мял траву. И когда вспархивали из-под коня ночевавшие в степи птицы, Еламан вздрагивал, и у него мигом проходил сон.

Семь лет пас он табун Кудайменде. А что было ему за это? Удар плеткой по лицу... Бог ты мой, неужели не уготована ему в этой жизни лучшая доля? Семь лет! А теперь вот семерых джигитов берут на войну. И один из них — его единственный брат! И с самого детства пареньку не доставалось ничего, кроме бедности и обид.

Еламан горько хмыкнул. О какой доле можно теперь мечтать? Баям и этой доли кажется много. Перед тем как их унесло на льдине, у Еламана была хоть крыша над головой. А что еще? Была любимая, богом данная жена. Был свой очаг. Была рыба каждый день — сазаны, усачи, иногда осетр... И должен был скоро родиться ребенок. Их стало бы трое. И еще у него была работа — каждый день, на солнце ли, на морозе, но была, и это, пожалуй, было самое великое в его жизни — его работа. А теперь дома у него нет, нет жены, нет и работы. И он совсем один. Беглец и бродяга.

Он повернул назад и, встряхивая головой, чтобы не думать, поднимал глаза, чтобы на чем-нибудь остановить взгляд и отвлечься, но кругом была тишина и тьма. Кругом стояла глухая ночь, а по ночам всегда думается. Тихо вошел он в крепко уснувший аул. И тут же услыхал из крайней землянки плач, как по покойнику: «Что ждет теперь твоих несчастных сирот? Что с ними станет без тебя?» Еламан было приостановился, но тут же ускорил шаг. Он не мог слышать этого вопля жены, собиравшей мужа на войну.

Постель ему постелили на улице, и он сразу же лег. Он знал, что скоро рассвет, что скоро утро, закрыл глаза, стараясь заснуть,

но сон не шел к нему. Ему казалось, что и сейчас еще слышен вопль, горестный вопль жены по мужу. И он мысленно представил себе все степи и все аулы, и как в каждом ауле сейчас плачут женщины и дети, которые не понимают, зачем идет где-то война, проливается кровь, и почему воюет русский царь, и зачем нужно, чтобы и казахи воевали.

Когда он еще подходил к постели, ему казалось, что он заснет сразу, только голову на подушку положит. Он ворочался так и сяк, но спать не мог. Наконец он лег на живот, подмяв подушку под грудь, и сразу почувствовал что-то твердое под правым боком. Он сразу вспомнил, что это, засунул руку туда и нащупал серьги...

Бежав из тюрьмы, он стал бродягой, что-то звериное появилось в нем. Боясь попасть на глаза кому-нибудь, он шел по ночам, по-волчьи пробираясь самыми безлюдными местами. Он обтрепался и отощал. Когда он однажды на рассвете подошел к Челкару и, как чайки, перед ним запестрело множество белых домишек, он решил войти хоть ненадолго в город, потому что он не мог быть больше один, без людей.

Но потом он вспомнил, что до его аула, до жены и ребенка всего три дня конного пути, жаркое нетерпение овладело им. И хоть он шел всю ночь и устал, он решил идти дальше. Далеко обогнул он город и ходко зашагал по безлюдной стороне озера. Подойдя к устью маленькой речонки, впадающей в озеро и высыхающей в жаркое лето, он услыхал впереди и внизу голоса. Еламан сразу остановился, напряженно посмотрел вперед — над кромкой оврага двигались три головы. По привычке он тут же пригнулся и свернул в сторону, чтобы обойти людей. Но те заметили и окликнули его:

— Эй, путник, подойди-ка!

Еламан медленно, осторожно подошел, заглянул в овраг и сразу догадался: степные казахи — сборщики шкур и шерсти ехали в город на базар. Длинный рыдван, тяжело груженный тюками, завяз в грязи и завалился набок. Двое казахов, одетые под татарских купцов, кричали и матерились. Третий был возчик.

— У, шакал, ты бы так да эдак! — орали сборщики.

Потом замолчали, стали просить Еламана помочь. Еламан молчал, глядя на рыдван и думая, как бы его ловчее вытащить. Но те поняли его по-своему.

— Ты же казах, дорогой...— просили они.— Мы тебе цену овцы заплатим! Помоги, а?

Запряженные парой кони обезумели от побоев и только дрожали. Еламан с детства любил всякую скотину, и ему стало больно. Оттолкнув сборщиков и возчика, он начал снимать с рыдвана тюки и выносить их на берег. Легкий рыдван кони чуть не рысью вынесли наверх. Все так же молча Еламан снова погрузил тюки и крепко перевязал их веревками.

— Ай, силач! — восхищался возчик и цокал в изумлении языком.

Зато сборщики опять разозлились.

— У, хиляк!— закричали они.— Бесчестный шакал! Сам не мог сообразить?

— Давай платите!— хмуро сказал Еламан.

— Поехали!— крикнули сборщики возчику, повернулись и зашагали в город, как бы сразу потеряв всякий интерес к страннику. Еламан догнал и схватил одного сборщика за ворот.

— Плати!

Посиневший сборщик заплатил, Еламан выпустил его и остался один на дороге. Некоторое время он пересчитывал деньги, поглядывая вслед рыдвану. Потом, подумав, тоже пошел в город к утреннему базару — он решил приодеться.

Шум, гомон базара оглушили его, в тюрьме он отвык от этого, да и раньше не часто ездил в город. Он ходил по лавкам и все не знал, что бы из одежи ему купить. Вот тогда-то в одной из лавок он и увидел эти серьги. Серьги были дешевые, позолоченные, но Еламан не знал этого, сразу стал думать о жене. Она любила наряжаться, и он, стоя в лавке, вообразил себе, как она обрадуется. А торговец раскидывал перед ним серьги, подсовывал то одну, то другую пару и упрашивал:

— Ой, какие серьги! Купи, джигит, невеста тебя зацелует за них!

Еламан боялся, что у него не хватит денег, не решался он и спросить о цене, а торговец все играл серьгами и ворковал о будущих поцелуях невесты.

Так Еламан и купил эти серьги, и сразу ушел из города, и дорогой несколько раз вынимал их и разглядывал, какие они красивые, с тонкими золотыми нитями, и думал, какие румяные щеки станут у Акбалы, и как она будет рада, и как будет целовать его...

От этих мыслей Еламану стало так горячо и больно, что он несколько раз ткнул в подушку кулаком, потом вжался в нее лицом и лежал не шевелясь.

Начало светать, рыбаки один за другим выходили из землянок. Поняв, что теперь ему уже не уснуть, встал и Еламан. Выйдя на обрыв возле землянок, он вытащил из-за пазухи серьги и незаметно кинул вниз. Посмотрев на море, он уже отвернулся и хотел уйти от обрыва, но не удержался и заглянул вниз, куда бросил серьги. Он сразу увидел их, они блестели и были далеко видны. Тогда он спустился с обрыва, подошел к серьгам и серьезно, старательно втоптал их каблуком в песок.

XVIII

С некоторых пор жизнь Судр Ахмета пошла наперекосяк. Обещанного коня Танирберген ему не дал. Потом от ядовитых трав сдохла единственная кормилица — дойная верблюдица. А несколько дней спустя пропал и гнедой конь. Судр Ахмет собрался было искать его, взял, как всегда, уздечку, но едва вышел из аула — наступил на какую-то колючку и еле добрался до дому.

Потеряв всякую надежду на мужа, Бибижамал сама пошла искать гнедуху, нашла и привела ее домой. Судр Ахмету вовсе стало нечего делать. Целыми днями он слонялся по дому, выходил, опять входил и все думал, чем бы заняться. Наконец он придумал, повеселел, сел на коня и тонко крикнул: «И-и, алла, пошли мне доброго пути!»

Гордость распирала его, когда садился он на коня. Ни у кого в ауле не было коней, а у него был! Как гусак, вытягивал из ситцевой рубахи он свою тощую шею и высокомерно обозревал аул. Ему хотелось, чтобы все видели его, как он поедет. Но никого не было кругом, и Судр Ахмет рассердился. Настроение у него испортилось, и начали одолевать сомнения. Не отъехав от дому и на расстояние ягнячьего перехода, он остановил коня. «Не забыл ли я что-нибудь?— подумал он.— Апыр-ай, наверняка что-нибудь забыл!» Судр Ахмет был суеверен, и мысль о том, что он что-то забыл, так напугала его, что он хотел тут же ехать домой. «Ай, не будет мне удачи!»— горестно повторял он и дергал свою бородку. Но потом вдруг беспричинно решил: «Э, будь что будет!»— и ударил пятками коня.

Конь Судр Ахмета, длинный и коротконогий, затрухал своей собачьей рысью, и Судр Ахмету стало казаться, что мозги в голове у него болтаются, и все печенки в животе болтаются, и кости в руках и ногах тоже болтаются. Он перевел коня на шаг. Знойное июльское солнце, стоявшее прямо над головой, пекло невыносимо, и он сразу вспотел. Он злился на Бибижамал и на весь аул за то, что выехал так поздно, и время от времени думал: «Ай, не будет мне удачи!»

Он доехал наконец до пестро-бурых песков за зимовьем Кудайменде и остановился возле огромной старой джиды. Не слезая с коня, он сперва наелся сочных ее ягод. Потом подумал о детях, нарвал ягод и завернул в платок. Некоторое время он соображал, чем бы еще развлечься, но развлечься было уже решительно нечем, и тогда он вздохнул, слез с коня, посидел в тени, за стволом джиды, повздыхал опять, думая о несправедливости рока, и начал наконец рубить джиду.

Три дня рубил он джиду и только на четвертый еле свалил ее. Привязав джиду к коню, он потащил ее в аул. Ему казалось, что он переворотил всю степь. Подъезжая к аулу, он кликал что есть силы жену:

— Бибижамал! Ау, жена!..— колотил свою гнедуху.

Мунке, чинивший в это время сети у себя дома, поднял голову и прислушался. «Пойти поглядеть!— подумал он.— Чего это выдумал еще Судырак?» И, закончив починку, он отправился к свояку.

Судр Ахмет, сняв рубашку, засучив пестрые подштанники, кряхтя и ухая, вовсю рубил свою джиду — только щепки летели.

— Бог в помощь...

— Аминь!

— А крепко, я гляжу, ты за дело взялся...

— Еще как!

— А чего это ты, Аха, делаешь?

— Ай, да все баба эта проклятая. Если уж она прицепится... ойбай-ау, Мункежан-ау, как комар пищит вокруг уха. Потом... ну и что делать? Решил, черт с ней, пускай будет по-бабьему... Теперь вот делаю ступу.

— О! Ты разве и по дереву мастер?

— Е, еще какой! Это я от скромности всегда молчал, а так... Ого-го!

Судр Ахмет смахнул пальцем каплю с носа и продолжал врубаться в джиду. Он хекал при каждом взмахе, как мясник на базаре. Мунке с удовольствием глядел, как Судр Ахмет изо всех сил машет телом, и думал: «Ай, молодец! Видать всерьез за дело взялся!» Он еще раз поглядел и вдруг заметил, что Судр Ахмет уж больно глубоко рубит. Но Судр Ахмет ничего не замечал, он вспотел, раскраснелся, теслом махал все быстрей и лупил больше почему-то все по одному боку.

— Этот Танирберген собакой оказался,— непонятно, с передышками выкрикивал он.— Как только добился своего, ко мне сразу спиной обернулся... С тех пор... ау, Мункежан-ау, я себе места не нахожу!.. Вот погляди, погляди вот сюда, видишь?— Он показал себе на живот.— Видишь живот? Так вот, будто у меня там колючка застряла!..

Мунке ничего не понял.

— Погоди-ка, постой,— сказал он, стараясь остановить размахавшегося Судр Ахмета.

— Не постою! Ау, зачем это я должен стоять?— Судр Ахмет еще сильнее замахал, щепки летели во все стороны.— Я все могу вынести, но я гордый человек, почтенный человек. Я мог бы, конечно, стиснуть зубы...

— Да погоди ты! Совсем глубоко врубился..

— Что? Что это ты тут говоришь, а? Кто мастер — ты или я, а?— яростно завопил Судр Ахмет.

Мунке махнул рукой и пошел домой. «Вот мастер по дереву нашелся!»— весело думал он.

Оставшись один, Судр Ахмет поглядел на свою работу и понял, что дерево испорчено. Ахмет плюнул, бросил работу и забегал по комнате, думая, что бы такое разбить или сломать. Но тут пришла одна старуха. Она была из бедного аула, весь скот которого погиб при прошлогоднем джуте. Единственный сын ее замерз зимой, разыскивая в буран свой скот. Невестка бросила старую свекровь и уехала к родителям. С тех пор старуха чуть не каждый день приходила в этот аул и жаловалась на свою судьбу. Начала она свой заученный разговор и теперь:

— Правильно говорят, что у сироты — раненая душа. Каждое слово невестки стрелой вонзается в мою душу.

Раньше Судр Ахмет охотно ввязался бы в разговор, но теперь он молча бегал вокруг изуродованной джиды.

— Вот погляди, платье рваное, еле держится на мне...

— А!

— Если б был у меня родной сын и сноха бы жила при мне, разве я ходила бы так?

— М-м-м...

— На старости лет увидала нищету и унижения...

— Э-э...

— А какая я была, когда старик мой был жив! Пятиаршинный белый как снег жаулык возвышался на мне. Когда я восседала на белой верблюдице, никакая баба не могла сравниться со мной!

— А!

— Да-а... Старик мой рано умер. Да у хороших людей и век короток. Чего он только не переделал, бедный, за свою короткую жизнь. Разве только сам себя после смерти не зарыл.

— Чек! Чек, эй!— завопил вдруг Судр Ахмет и выскочил из дому прогонять двух козлят Каракатын, которые с грохотом катали пустое ведро. Прогнав их палкой далеко от дома, он спрятался и сидел в засаде до тех пор, пока старуха не ушла.

Не меньше старухи раздражала его джида — будь она проклята!— которая таяла прямо на глазах. А тут, как назло, и жены не было дома, не на ком было сорвать зло. «Никогда не кончается работа у этой проклятой бабы! Приспичило ей вдруг в такое благодатное время сено косить... Ойбай-ау, ведь конь — это тебе не какой-нибудь там мелкий скот! Ведь он копытами себя зимой прокормит! Неужели и этого не знает окаянная баба, а?!»

Слух, что Судр Ахмет корпит над джидой, мигом облетел прибрежный аул. На другой день в свободное время рыбаки собрались в доме у Судр Ахмета. Пришел и Еламан.

Судр Ахмет принял гостей хмуро. Неловко ему было, что все глядят, как он топчется вокруг своей джиды. Он вдруг вспомнил вчерашнюю старуху и начал ругаться:

— Вот черт ее принес! Притащилась, хрычовка! Говорит: «Когда старик мой был жив и я, величаво надев пятиаршинный жаулык, садилась на белую верблюдицу, разве могла какая-нибудь баба сравниться со мной!» Ой, проклятая баба! Ой, окаянная хрычовка!

— Вот досада, а? Небось увлекся разговором и оступился как-нибудь?

— А то как же? Оступишься! Все эта старая холера! А тут еще и тесло это — как бритва, так и врезается. Случайно отвлекся, замахнулся сильно, вот и...

— Ну а теперь что, не выйдет ступы?

— Гм... Нет, не выйдет. Ну ничего, как-нибудь в другой раз... Обязательно вырублю ступу моей Бибижамал.

— А теперь что из нее сделаешь?

— Гм... Что сделаю? Гм... Седло себе сделаю, вот что! А то мое старое когда-нибудь сломает спину коня-бедняжки...

Давясь от смеха, рыбаки вышли на улицу. Вышел и Еламан. Со вчерашнего дня он все думал о Калене, ему было невесело, и он пожалел, что пошел к Судр Ахмету. Домой не тянуло, хотелось пройти вдоль берега. Спускаясь по крутому обрыву к морю, он встретил Мунке.

— Еламан, дорогой,— быстро заговорил Мунке.— Дела плохи. Иван вроде бы спятил, как зимой, когда у него рыба пропала. Прибрежный камыш поджечь собирается...

— Кто сказал?

— Сам видел...

— Может, просто пугает?

Мунке обернулся, показал рукой.

— Гляди, вон видишь народ? Это люди Ивана. Бочку мазута прикатили, разлили в камышах, хотели уже поджигать, да тут я подвернулся... Еле уговорил Ивана. Неужели, говорю, весь камыш спалишь из-за одного человека? Куда, говорю, Кален денется — найдется. А ведь камыши, говорю, пастбище всех здешних аулов. Зимой скот в камышах укрывается. Камыш сгорит — жизни тебе не станет от казахов, говорю! Еле удержал собаку! А все боюсь!.. Кто его знает, что он еще придумает?

Еламан понял, что дело действительно плохо... Если Калена поймают — пощады не будет. А Кален знать ни о чем не знает, лежит себе в камышах, на друзей надеется. Что ж теперь делать? Что предпринять?

Мунке тоже напряженно думал. Ветер заметно покрепчал, камыш клонился, шелестел, море бугрилось и темнело. Подернутые синевой скалы на противоположном берегу залива Тущы-Бас сумрачно посерели, закрывались мглой, как бы удалялись.

— А что, если в сумерках отправить его на другой берег?— вдруг сказал Еламан.

— А, черт ее... Иван и тут нас опередил!

— Как так?

— Его джигиты забрали все шесты и весла со всех лодок на берегу.

— А! Ну, это не беда. Два весла-то мы сделаем.

— Из чего? В ауле щепки не найдешь.

— Для весел найдется!

— Где?

Еламан улыбнулся. Простившись с Мунке, он пошел опять к Судр Ахмету.

Судр Ахмет между тем решительно взялся за дело. Худо-бедно, а седло у него будет! Но тут зашел Еламан и быстро схватил его за локоть.

— Ахажан, подожди-ка!

Судр Ахмет изумленно уставился на Еламана.

— Ахажан, уступи мне эту джиду, а?

Судр Ахмет давно уже догадался, что джида не принесет ему счастья. Если бы Еламан попросил джиду небрежно, между делом, он тут же с удовольствием отдал бы ее. Но Еламан пришел быстро, просил взволнованно, и Судр Ахмет задумался. «Постой! Постой! Может, я недооценил ее?»

Он ревниво потянул джиду к себе. Потом для пущей уверенности крепко, как на коня, уселся на нее.

— А зачем она тебе?— спросил он.

— Нужно.

— А откуда ты взял, что мне не нужно?

— О боже милостивый!— вмешалась Бибижамал.— Да отдай человеку, коли просит! Чего торговаться-то?

— Эй, эй, жена! Заткнись там! У тебя пока не спрашивают. Ну все-таки... чего ты из нее будешь делать?

— Да весла сделаю...

— Ты же не рыбачишь, зачем тебе весла?

— Завтра хотел в море выйти.

— А! Значит, все-таки решил порыбачить! Это хорошо. Гм... Но ведь джида мне самому нужна!

— Я не так просто прошу, я бы заплатил...

Судр Ахмет живо вскочил. Натужившись, он было поднял джиду, потом удивился, зачем он это делает, и бросил. Он засуетился, и впал в отчаяние.

— Ойбай-ау, что ж ты сразу не сказал? Да разве мне жалко тебе? Да пусть она собаке достанется, если мне жалко...

Еламан облегченно вздохнул, взялся было за джиду, но Судр Ахмет вдруг хлопнул себя по ляжкам и завопил:

— Нет, нет! Весла я тебе сам сделаю!

Еламан даже крякнул с досады. Он был уверен, что Судр Ахмет все испортит, стал уговаривать, упрашивать, но Судр Ахмет только распалялся:

— Нет! Кто мастер! Я мастер! Вот поглядишь...

С жаром накинулся он на джиду и ловко расколол бревно на две половины. Половинки были плоские, ровные, весла сделать из них было легко. Еламан немного успокоился.

— Аха, я сейчас пойду, зайду попозже, ладно?

— Иди, иди, прогуляйся! Бог даст, пока ты гуляешь, и весла будут!

Еламан нашел Мунке, рассказал о веслах, велел разыскать Калена и сказать, что в сумерках переправит его на другой берег. Распорядившись, он вернулся к Судр Ахмету и с ужасом видел, что джида под руками Ахмета приняла совершенно непонятный вид. Судр Ахмет сопел и все норовил стать между джидой и Еламаном.

— Что это с ней сделалось?— спросил Еламан.

Судр Ахмет пнул джиду ногой.

— Срубил я ее, проклятую, в песках возле зимовья Кудаймен-

де. Он же сам собака бездушная, откуда из его джиды может быть толк...

Еламан подавленно молчал, Судр Ахмет засуетился, обрадовался чему-то.

— Не выйдут теперь весла! Плевать на них! Ау, Еламанжан, я ведь лучше всего по сапожному делу кумекаю. Так и быть, сделаю колодки. Вот увидишь, за лето сошью себе вот такие сапоги...

— Сам ты сапог!— сказал Еламан и ушел.

«Поверил этому балаболке!— корил он себя.— Понадеялся... Ба! Да кто же это!»— навстречу ему шел Кален. Ружье он держал в руках, мерлушковую шапку снял от жары, тоже нес в руках.

Кален видел стерегущих его джигитов, но вышел средь бела дня из камышей и спокойно шел к аулу. Еламан поспешил ему навстречу, но еще раньше с Каленом столкнулся бледный Мунке.

— А я тебя искал,— быстро сказал он.— Зачем ты вылез?

— А сколько мне прятаться?— буркнул Кален.— Да и от комаров покоя не стало...

— Что он тут говорит? Да в уме ли ты?

— Не бойся, аксакал. Если уж смерть взялась за меня, так везде найдет, хоть в постели прячься.

Еламан с Мунке переглянулись.

— Эй, жена!— крикнул рябой в сторону своего дома.— Ставь чай! Пока мой Азреил придет за моей душой, напьюсь я чаю. А потом поглядим.

Быстро собрались рыбаки. С молодыми джигитами прибежал Рай.

— Кален-ага, мы тебя отобьем!

— Но-но! Только не мешайтесь! Я заварил кашу, мне и расхлебывать.

— Да что ты один сделаешь? Как хочешь, а джигитов надо собрать,— решил Еламан.

— Сказал, не мешайтесь!— буркнул Кален.— У меня вот тут десять патронов. Пока я к ним в руки попаду — десяти Иванам головы снесу!

Джигиты Ивана почему-то не осмеливались входить в аул, маячили в отдалении, следили за Каленом — наверно, ружья боялись. Когда Кален с рыбаками зашел в дом, люди Ивана собрались кучкой, посовещались, и один из них быстро побежал к промыслу.

Как раз в это время по аулу шибко проскакал чернобородый гонец Кудайменде с сумкой на боку и осадил коня возле дома Калена. Кудайменде последние дни был сильно озабочен — никак не мог набрать нужное число джигитов по волости Кабырга для отправки на фронт. И все последние дни по аулам скакал волостной гонец, выкликал все новые имена и кричал, чтоб срочно готовились в путь. Кудайменде думал, думал, потом уменьшил на пять лет возраст Калена и включил его в список.

Гонца Кален слушал молча, посапывая, глядел в угол.

— Собирайся живо!— закончил гонец.

Кален рассмеялся.

— А я готов!— сказал он и проворно выскочил из дому. Побежал к коню гонца, отвязал, вскочил верхом.

— Эй, эй, парень! Не шути! Слазь с коня!— закричал выскочивший за Каленом гонец.

Кален было поехал, потом остановился, оборотился к гонцу.

— Передай привет волостному!— крикнул он.— Скажи: честный труд не по мне, мол. На роду, видать, не написано! А о коне пусть забудет. Ворованный конь вору и на пользу!..

Опять повернулся, ударил коня ногами и помчался в сторону Бел-Арана.

XIX

Со смертью последнего ребенка дом Мунке покинула радость. В пустой землянке, все больше напоминающей колокол с вырванным языком, в разных углах теперь торчали только двое — муж и жена. Особенно трудно было Ализе, когда Мунке уходил в море. Целыми днями просиживала она одна, обняв колени, наедине с горькими своими думами.

Последнее время Ализа упорно молчала, не глядела на Мунке, напряженно думала о чем-то и однажды после ужина вдруг сказала:

— Эй, Мунке! Уже немало лет я с тобой живу и бесплодной не была. Только вот божья кара... А ведь была же я матерью десяти детей! Какие детки были!— Горло Ализы перехватило, она помолчала, передохнула.— Вышла я за тебя когда-то как женге. Как была женге, так теперь и останусь... Теперь я сама тебя женю.

Мунке даже испугался, ошалело посмотрел на Ализу:

— Чего это ты еще мелешь?

— Э, родной мой, не спорь. Теперь в этом доме никто не может со мной спорить! Раз я задумала, значит, женю. Хоть и скверная, языкастая баба эта Каракатын, да давняя наша соседка. Все у нас общее, даже посуда... Дочь ее, Балкумис, на моих глазах выросла. Женю тебя на ней, буду ей матерью, тебе — женге. До последнего дня своего буду любить вас, нянчить детей ваших, потому что не осталось у меня уже другой радости...

Куда девалась прежняя Ализа, покорная мужу? Теперь она была как строгая мать, как хозяйка дома. Мунке только удивлялся, раскрывал рот, крутил головой и не мог понять, как это он упустил жену из рук! Мунке видел, что невозможно отговорить ее. Он убеждал ее, что не время сейчас думать о женитьбе, когда беда обрушилась на народ, но Ализа слушать его не желала. Вскоре она сделала так, как решила: женила Мунке на дочери Каракатын, и два дома совсем стали как один. Дос и Мунке еще больше подружились, вместе ловили рыбу. Каракатын обрадовалась новому зятю, не выходила из дома Мунке, учила дочь хозяйству, учила ухажи-

вать за мужем, за гостями. Дочь ревела, а Каракатын приговаривала:

— Дура ты, дура! Погляди на меня, как я рада, что пристроила тебя! Мужик и в шестьдесят лет молод! Вот увидишь, Мунке еще не одну бабу состарит...

— Да ну тебя! Людей стыдно...

— Что такое ты говоришь, дура! Стыдно! А что зазорного в том, что ты стала бабой, надела белый жаулык? Что б ты делала, если бы осталась старой девой на шее отца? Брось, не говори! Хоть ты и ушла теперь из нашего дома, все равно ты у меня под крылышком. Пока я жива, пусть тебя кто-нибудь обидит. Ты у меня счастливая. Рядом с тобой — почтенная мать. А Ализа плохому не научит.

Но мир в доме продолжался недолго. Ализа очень любила и уважала Аккемпир. Теперь же вдобавок она ей и свахой приходилась, и, когда Мунке удавалось поймать хорошего осетра, Аккемпир охотно приходила, но сидела смирно, боялась, как бы Балкумис не рассердилась, не обидела бы Ализу. Каракатын входила, выходила, стучала, гремела, злилась — не могла перебороть себя.

— Эти две хрычовки нашли, значит, друг друга!— говорила она потом дочери.— Чего их там может соединить? Только и делают, наверно, что хают меня. Ты эту Ализу берегись, она тебе еще покажет. Ты тут стараешься, чтобы зацвел такир высохший. А вот увидишь, хрычовка эта завтра вырвет у тебя ребенка, себе возьмет. Потом твой же ребенок будет тебе чужой! Не отдавай ребенка, пусть вся власть в доме будет у тебя!

Балкумис менялась быстро, да и нетрудно ей было, вся в мать пошла. Плоское, как совок, лицо ее стало темным и постоянно сердитым, всем она была недовольна. Ализа не обращала на нее внимания, хлопотала по хозяйству, неслышно суетилась. Мунке молчал и удивлялся, бросал в раздражении сети, которые чинил, выходил из дому, бродил по аулу, тоскливо думал, что миру в его доме теперь не бывать и что как похожа Балкумис на свою мать Каракатын...

Плохо было с сетями у Мунке и Доса, несколько дней чинили, сшивали старые. Потом прилаживали грузила и поплавки и только сегодня после обеда пошли к морю. Оба были босиком, привыкли, шли прямо по острым камешкам, колючкам, не спеша разговаривали.

— На море вроде бы течение...— неодобрительно сказал Мунке.— Вишь, как расшумелось, дьявол!

— Да... если течение, дела у нас с тобой никуда.

— Как течение, так и рыбы нету. Рыба, она покой любит.

— Это верно.

— Да и сети порвет, если буря. Водорослями забьет.

У самого моря росла густая сочная осока. Из-за осоки выглядывала белая лодка. На носу лодки сидела ворона. Ветер ерошил ей перья, она чем-то, видно, была недовольна, резко, сипло каркала. Мунке рассмеялся.

— Пай, пай, глянь, как разошлась, черная холера!

Рыбаки подходили, ворона злобно косилась на них, не хотелось ей подниматься. Когда уж совсем близко подошли, ворона недовольно поднялась, растрепанно полетела в сторону. Мунке и Дос остановились возле лодки. Море раскачивалось, с шипением лезло на берег.

Мунке нахмурился.

— Быть буре... Видишь, как раскачивает?

— Значит, не судьба нам сегодня половить. Пошли, что ли, к заливу, покосим?

— Ладно. Тогда ты коси с лодки у устья Кандыузек, а я скошу ближнюю прибрежную осоку.

— Так там Судр Ахмет собирался косить. Вчера еще себе на руки поплевывал.

— Э-э, брось его! Ничего он не делал. Ни один покос не обошел, с каждого скосил по охапке, напакостил только.

— Сам виноват!— сердито буркнул Дос. Иногда в нем заговаривала скаредность...— Нечего его было подпускать к покосам...

Мунке пошел за косой. Подходя к дому, он услыхал, как крикливо бранится Балкумис. Звенела посуда, с грохотом падала крышка котла. Мунке нерешительно потоптался возле двери. Больше всего он удивился, что Ализа не подает голоса. «Или ее дома нет?»— думал он. Но в эту минуту вышла из землянки Ализа. Хмуро покосилась на Мунке, взяла какой-то мешок и прошла мимо.

— Ализа!— тихо окликнул Мунке.— Ализа! Чего это она там?

— Ладно, ладно... Ничего не случилось.

Мунке повздыхал, пожалел Ализу, взял косу и чувяки и, не заходя домой, пошел на покос.

Рыба в этом году ловилась плохо, и Мунке с Досом нанялись косить курак богатому аулу. Аул обещал дать потом по овце на косаря. Судр Ахмет сильно просился косить, и Мунке взял его третьим, хоть Дос и ругался. Толку от Судр Ахмета, конечно, не было никакого. Каждый раз он начинал косить торопливо, горячо, но скоро уставал и садился отдыхать. Да и косил он не подряд, а где погуще. Покосит, полюбуется скошенной охапкой, похихикает, потом идет к Мунке.

— Что, косишь? Коси, коси!

— Э, а ты что делаешь?

— Да вот спину надо распрямить, поясница заныла...

— Все спину распрямляешь. Когда же управишься?

— Брось, не говори! Если уж я возьмусь, так овечку всегда себе заработаю! Чего я буду из кожи лезть? Думаешь, мурза выберет

мне овцу с курдюком побольше? Знаю я его, знаю, как он коней мне дарит!

Мунке любил работать и работал хорошо. Сегодня скосил он большой участок зеленой осоки. Только перед уходом передохнул немного, скосил для козлят Каракатын две вязанки курака и с заходом солнца пришел домой. На другой день снова непогодило, и Дос с Мунке опять косили. Потом собрали скошенный курак на мелком месте и разложили для просушки. В этот день Мунке сильно устал, еле плелся домой, когда навстречу ему попался веселый Судр Ахмет.

— Вот черт!— беззаботно начал Ахмет— Я и сегодня плохо косил.

— Как же косить, раз охоты нету. Ты как коза: чуть солнце пригреет, домой бежишь, в холодок.

— А как мне не бежать? Вон дома детки сидят, рты разинули. Все на меня смотрят... Я, правда, и поставил сети, чтоб им коекакую воблушку наловить.

— Как же! Ты наловишь. С тебя что косец, что рыбак...

— Ау, Мунке, ау... Мункежан, ау, чего ты от меня хочешь? Если ты такой умный, скажи вон богу на небе... Скажи владыке земли и неба, всех нас создавшему всемогущему богу скажи! Ау, скажи! Чтоб в сети Ахмета рыба попала! Что это еще за издевательство? Если мне рыба не попадает, что мне, в воду нырять, да?

— Зачем нырять? Отойди подальше в море, сети как следует поставь, сама попадется.

— Да подавись ты этой рыбой! И чего ты пристал? Я не только рыбу на дне моря, а даже... ойбай-ау, вот с этой, с этой...— Судр Ахмет яростно топнул по земле.— Ойбай-ау, я и с этой проклятой земли не могу взять своей же доли. Что ты мне тут говоришь — на дне, в черной пучине... этого твоего моря, этого врага безмолвного, людоеда... Что ты мне говоришь, ловить какую-то дурацкую рыбу, скачущую врассыпную. А? Что это еще такое? Ойбай... Ойбай!

Судр Ахмет вдруг закричал, сел на землю и начал колотить себя по голове. Мунке только таращился, изумлялся и не знал, как ему быть.

XX

Целых три дня царила суматоха в ауле рыбаков. Чем ближе день отправки джигитов на фронт, тем громче плакали женщины и дети, тем тревожнее становилось в ауле. К обеду над Бел-Араном поднялось вдруг облако пыли. Рыбаки стали выскакивать из землянок.

— Уа, что это за пыль?

— Кто знает...

— Что-то на войско похоже!

— Как будто спешно идет...

— А ведь Кудайменде из города войско вызвал!

— Оно и есть!

В ауле перепугались, забегали. Матери закричали, стали звать детей. Девушки, молодые женщины прятались. Рыбаки все-таки остались на улице, потели от страха. Облако пыли все приближалось, надвигалось на аул. Вот оно спустилось с Бел-Арана, и среди его беловатой мглы рыбаки начали уже угадывать морды и спины коней. На всем скаку в аул ворвался огромный всадник и заорал:

— Эге-ге! Здорово, рыбаки!

— Апыр-ай, да это Кален!

— Он, он! Точно он!

Старики закрутили головами, затрясли бородами, зажмурились.

— Ай, бесстрашный сокол!

— Ойбай-ау! Целый табун коней пригнал!

— Кормилец ты наш, опора наша...

Дос робко стоял позади, только рот раскрывал. Его нашла Каракатын, горячо зашептала ему на ухо, Дос только моргал.

— Да ты что это, окаменел, что ли?— завопила Каракатын, дергая и пихая мужа.— Без своей доли останешься, иди скорей!

Дос неуверенно подошел. к табуну. В отборный табун верховых коней, который бай держал отдельно, затесалась случайно приземистая саврасая кобылка. Брюхо у нее было вислое, как у жеребой, ляжки толстые, мясистые, широкий круп лоснился. Дос как глянул на нее, так уж больше ни на что и не смотрел, только облизывался. «Зарезать бы к зиме, пай-пай, скотище, весь дом утопал бы в жиру!»— взволнованно думал он. Незаметно для себя он все ближе подвигался к ней.

Кален погнал табун к морю, слез с гнедого, бросил повод подскочившему рыбаку.

— Джигиты!— закричал он.— Это табун Кудайменде! Расплачиваться никому не придется! Берите каждый по коню!

Дос все смотрел на саврасую, глотал слюну. Не расслышав Калена, он переспорил:

— Что он говорит? Он пригнал их для езды, что ли?

— Ее-е, а ты думал, на убой? Пошли скорей, выберем коней получше...

Дос не двинулся с места. Рядом с ним остались еще несколько человек. Стояли, поеживались — робели. А в ауле опять поднялась пыль, рыбаки сгоняли коней в гурты, заарканивали. Еламан выбрал себе поджарого буланого конька, накинул петлю и тут же взнуздал его. Еламан оживился, разгорячился, глаза его блестели лихорадочно.

— Эй, джигиты!— закричал он.— Раньше мы были злые, но пешие... Теперь у каждого будет конь...

— Какой толк в конях, когда оружия нет?— хмуро крикнул кто-то в ответ.

Еламан по голосу узнал Доса, смутился на минуту, но тут же справился, опять заблестел отчаянными глазами:

— Дос-ага, были бы кони — оружие будет!..

Ему не дали договорить.

— Управимся с волостным!

— Веди!

— Веди нас!

Еламан подошел к Калену, стал тихо совещаться. Кален кивал головой, клал огромную свою руку на плечо Еламану. Кален опять повернулся к рыбакам.

— Расходитесь! Быстро! Готовьтесь в поход!

Выждав время, Дос подошел сзади к Калену, дернул за рукав. Кален обернулся:

— Ну?

— А Кудайменде после не спросит с нас за этот скот?— Кален опять повернулся к рыбакам.

— Спросит, спросит! На том свете! Ну на этом — навряд ли. А, Еламан?

— Чего ты боишься?— горько спросил Еламан.— Кто у нас не проливал пот и кровь ради его табунов? Так хоть на этот раз рассчитаться с собакой!

Досу стало обидно. Проворно джигиты разобрали всех коней. Досу осталась заезженная кляча, на которой всю зиму пастухи из аула бая пасли овец. Дос хотел ее поймать, но она поворачивалась задом, прижимала уши, брыкалась.

Еламан посмеивался, наблюдая за Досом, когда к нему подошел Мунке.

— Раньше совсем другой народ был,— сказал быстро Мунке.— Каждый о себе думал. Каждому только бы свою шкуру спасти. А теперь вот ты взвалил на себя такую ношу... На кого надеешься?

— На людей, Мунке-ага!

— А кто мы такие, какая в нас опора?

Еламан молчал.

— Ну ладно... Если народ не разбредется — это сила, конечно! А все-таки скажи, что ты думаешь делать?

Еламан задумчиво осмотрелся. «Что думаю делать!.. Что дальше думаю делать?..»— повторил он про себя. Что-то ветер крепчает, что ли? Со вчерашнего дня дует с моря, и море нехорошее, темное. Но он так долго был отлучен от моря, что ему даже сильный ветер был приятен. Так что же он будет делать? Как быть дальше?

На широкой равнине за аулом молодые джигиты, оседлав коней, уже налетали друг на друга, как в бою, размахивали соилами. Им теперь весело, о чем им думать? Как быть дальше — об этом никто не думал... Наверно, все надеются на него, а он на кого? На какое чудо ему надеяться?

Аулы бурлили, и волостной вызвал из уезда солдат. Солдаты с винтовками и пушками вышли из Челкара и сейчас где-то в пути. Идти против волостного — значит идти против царя. Выходит, с ка-

кой-то сотней безоружных джигитов он собирается подняться на царя?

— Ты только молчи, Мунке,— тихо сказал Еламан.— Дела неважные...

Он опять подумал, как бы побыл глубоко в себе.

— Может, будет у нас неудача, все может статься, Мунке-ага! Но даже если меня снова в кандалы, я не переменюсь, вот увидишь... Теперь мне другой дороги нет!

— Н-да... Теперь-то уж не повернешь назад.

— Ну, чему быть, того не миновать! К вечеру тронемся. Поднимем все аулы на джайляу.

— Да, Еламанжан, хотел тебе сказать... Ты бы заехал по дороге к Суйеу. Сына бы поглядел. Да и старик тебя любит, ждет. Из-за тебя и дочь свою проклял, видеть не хочет.

Сердце у Еламана уже запеклось, стерпел, ничего не сказал о жене, стал глядеть на ревущее под обрывом море. Потом оглянулся, посмотрел на равнину за аулом. Ошалевшие от радости джигиты все еще налетали друг на друга, с треском бились соилами. Эх, джигиты! С соилами — против винтовок и пушек...

Не глядя друг на друга, Еламан и Мунке пошли к аулу. В ауле был большой шум. Перед домом Доса собралась толпа, все кричали, махали руками. Но пронзительней всех кричала Каракатын.

— Вот черт! Опять что-то натворила эта баба!— сказал Еламан, невольно прибавляя шагу.

Оказалось, Каракатын пырнула ножом жирную савраску. Хозяин саврасой в это время спокойно сидел дома, пил чай. Услыхав предсмертное ржание кобылки, он выскочил на улицу:

— Что ж ты наделала, окаянная баба! Я же теперь без коня остался!

— Ой, да будь ты проклят! Мало, что ли, у Кудайменде коней? Всем хватит! Что мне, не попробовать кусочка мяса от целого табуна коней?— вопила Каракатын.

Джигит, оставшийся без коня, взялся было возить Каракатын, но, увидев Еламана, бросил, подбежал:

— Что теперь делать, Ел-ага?

— Черт ее знает, что за баба! Ну ничего, найдем еще коня. А мясо разделите...

— Что-о? Чего тут делить-то?— закричала Каракатын.— И кобылка-то тощая, мне самой мало!

XXI

— Ну, Мунке-ага, выступаем...

— Счастливого вам пути! Да озарит ваш путь благословение бога!

— Аминь!— провел ладонями по лицу Еламан.

Готовые к походу, приодевшиеся джигиты сели на коней. Прила-

дили поперек соилы и дубинки. Джигит, оставшийся без коня, сел позади товарища и вместе со всеми отправился в великий поход повстанцев.

XXII

В одиночестве сидел Еламан на холме. Около трехсот его джигитов недавно спешились у подножия холма. Вечерело, и все сразу принялись разводить костры, готовить еду. Ломали хворост, вздували огонь, развязывали дорожные мешки. Еламан походил, походил между людьми, потом накинул на плечи верблюжий чекпен и поднялся на вершину холма.

Закат гас, наступала темнота. Ветер утих, облака к ночи сбились, обложили небо, но грозы вроде бы нельзя было ждать. Ночь приходила теплая, душная, пищали комары, по восточному горизонту перекатывались зарницы. Еламан поглядывал на небо, на облака, но чувствовал ночь как-то отдаленно, отдельно от себя.

Снизу доносились оживленные голоса. В одном месте собрались молодые джигиты, балагурили, шутили. В другом — пели. Некоторые джигиты, потеряв в темноте товарищей, ходили, окликали их. Один особенно был настойчив, бродил между костров, кричал:

— Ербоз... Ербоз! А Ербоз? Эй, джигиты, случаем, в ваши глаза не попадался Ербоз?

— В глаза? Иди загляни в мои глаза, может, найдешь...

Загоготали. Еламан тоже улыбнулся. «Ербоз?.. Разве у меня есть такой джигит? Или по пути присоединился? Эх, как они все-таки беспечны!»

Люди скоро перестали бродить, собрались возле костров. Костры то слабели, то опять разгорались — подбрасывали хворост. Свет выхватывал из темноты сумрачные фигуры, и Еламан, напрягаясь, различал, узнавал некоторых. Вон сидит черный рябой Кален, рассказывает что-то, все смеются, будто и не будет завтрашнего дня. Вон кто-то подъехал...

Еламан стал вглядываться. Отряд конников приближался медленным ровным шагом, потом остановился у костров. Всадники не смешались сразу с остальными, разговаривали, не слезая с коней, и Еламан понял, что прибыли они издалека. Среди говора он уловил слово «Улы-Кум». «А! Значит, они с Улы-Кума, из рода Тлеу-Кабак!» — подумал Еламан и удивился, как быстро и далеко разнеслась весть об их походе.

Первые дни прошли благополучно для повстанцев. Узнав, что карательный отряд из уезда застрял где-то на полдороге, они не особенно торопились, решив усилить, укрепить отряд, прежде чем дойдут до аула волостного. Они нарочно шли медленно, с остановками, по многочисленным бедным аулам. За два дня похода к ним примкнуло около двухсот человек. Посоветовавшись с Каленом, Еламан разделил людей на сотни. Во главе каждой сотни поставил джигита поопытней. Но оружия было мало. Кроме дубинок и доиров, у неко-

торых джигитов, примкнувших к ним по пути, были фитильные ружья, копья и секиры.

Вчера навстречу Еламану вышел какой-то старик кузнец и преподнес выкованную саблю.

— Ненавистью каленная. Не только Каратаза — черный камень ею рассечешь!

Все эти дни Еламан не думал о себе, мучился неизвестностью. Чем кончится дело, начавшееся не по его воле, не по его желанию? Издалека, от векового произвола, от вековых гонений шли к нему казахи, искали у него защиты. А что он мог? Он знал одно: раз собрался такой отряд повстанцев, боя не миновать. Подняв дубинки, помчатся они с криком навстречу смерти, навстречу винтовкам, солдатам и пушкам. Бой... Кровь!..

Вся ночь вокруг Еламана вдруг налилась кровью, вся темная степь из конца в конец набрякла кровью, лоб Еламана покрылся холодным потом, голова закружилась. «Перегрелся на солнце?»— подумал он, хватаясь за голову, или глаза устали оттого, что так долго смотрел он на багровые огни костров у подножия холма?

Скоро отлегло, и Еламан перевел дух. Потом сзади зафыркали кони, и, громко разговаривая, из темноты выскочило несколько всадников.

— Эй, откуда вы?— окликнул их Еламан.

— Из аула Суйеу.

Еламан вспомнил о сыне, удивился, что последние дни не думал о нем.

— Сарбазы Еламана здесь?

— Так вы из аула Суйеу?

— Да, из аула Суйеу.

— Суйеу дома?

— В ауле.

— Далеко до аула?

— Да нет, близко. Сарбазы Еламана...

— Вон они! Спускайтесь, устраивайтесь...

Конные поехали вниз. А Еламан, подумав еще, решил, что или он отсечет голову волостному, или волостной — ему. И захотелось ему перед боем хоть раз подержать в руках сына, поглядеть, какой он.

Еламан пошел вниз, отыскал Калена, поговорил с ним и ночью, тайно, взяв с собой Рая, отправился в путь.

XXIII

В волости было много возмущенных аулов, никто не хотел идти в царскую армию. Но недовольство в аулах не шло дальше разговоров и криков. Рыбаки же начали с того, что угнали косяк коней аула волостного. Пока баи собирались послать погоню за косяком, рыбаки уже организовали отряд и двинулись в поход. И Танирберген сразу понял, что самый опасный враг — рыбаки.

Слава в степи растет быстро. Еламан едва выступил, а уж все аулы на джайляу пришли в волнение. Танирберген не верил даже своим аулам. Кто поручится, что они не перекинутся на сторону Еламана, как только он покажется здесь? И разве станет робеть тот, кто поднял руку на русского бая? А тут еще к прежней его ненависти прибавилась ненависть за Акбалу!

Посоветовавшись с волостным, он навстречу солдатам, застрявшим где-то в Улы-Куме, послал нарочного. Когда они прибудут? И успеют ли дойти? Не придет ли Еламан раньше? Народ глядит недобро, надеяться ни на кого нельзя. Восстание может охватить всю степь, перекинуться в Иргиз, в Тургай...

Танирбергена злило, что волостной отсиживался, мер никаких не принимал. Обычно мурза в дела не вмешивался, держался в стороне, посмеивался. Но на этот раз он встревожился и решительно взялся за дело. Не зная сна, не слезая с коня ни днем ни ночью, скакал он по аулам, одних уговаривал лаской, других пугал и за два дня собрал около сотни джигитов. На третий день к обеду, загнав коня, он прискакал к брату-волостному. Молодой мурза почернел от загара, похудел, оброс и пропылился. В глазах — веселое бешенство.

— Ну, чего понаделал?— спросил Кудайменде.

Танирбергену хотелось говорить с братом наедине. Малый, по обыкновению дожидавшийся приказаний, мешал.

— Напои коня! Пошел!

Малый послушно вышел. На улице давно уже посвистывал приаральский вихрь, трепал тундуки сомлевшего от зноя аула, взвивал пыльные смерчи. Выходя, малый широко распахнул дверь, ветер с пылью ворвался в юрту, маленькая девочка на коленях у Кудайменде заревела.

— Эй, кто тут есть... Уберите ее!— крикнул Кудайменде.

Вошла Акбала. Она сразу увидела мужа, но, соблюдая приличие, чуть склонила красивое тело, поздоровалась с волостным, подошла к девочке.

— Что, милая? Песочек в глазки тебе попал?

— Папа-а-ал...

— А ты не плачь, не плачь, хорошие девочки не плачут...

Акбала вытерла глаза девочке чистым платком, погладила ее, подняла, прижала к себе и, ласково уговаривая, вышла, красиво покачиваясь на ходу. Мурза, сразу забыв обо всем, жадно поглядел ей вслед. Потом удивился. Акбала всегда была холодна, равнодушна к детям, ни разу она не приласкала никого — и вдруг такая перемена! «Соскучилась по своему, наверное!»— подумал Танирберген и опустил глаза.

Кудайменде, нетерпеливо морщась, следил за братом. «Вот пес! Обабился совсем!»— подумал он и опять спросил:

— Ну, чего натворил?

— А ведь ребенок Еламана сейчас у Суйеу?— спросил вдруг Танирберген.

— Ну, у Суйеу, а что?
— Аул старика Суйеу у него на пути?
— Выходит, на пути. Ну и что?
— Немного в стороне?
— Верно, в стороне...
— Хоп! Значит, волк попадет в капкан!
— Пай-пай! Когда кончатся твои загадки?

Танирберген встал:

— Болыс-ага, никаких загадок, все ясно. Он же не видел сына с самого рождения! Не может быть, чтобы он не заехал к старику Суйеу. А мы пошлем заранее своих людей в аул, понял? И Еламан наш!

— Апыр-ай, а? Ведь это дело! А кого пошлешь?

Но Танирбергена не занимало, кого послать. Его занимало, как поедет Еламан к старику — один или с людьми. Подумав, он решил, что не с руки ехать Еламану в аул всем отрядом, поедет один.

Мурза вызвал Абейсына. Абейсын теперь шел в гору. Не только других, но и самого мурзу он теперь то слушался, то, ссылаясь на какие-нибудь причины, увиливал от поручения. И Танирберген стал реже обращаться к нему. Но для этого дела Абейсын подходил больше всех. Под видом сборщика шерсти и шкурок он мог свободно разъезжать по любым аулам.

Согласился Абейсын неохотно, только потому, что брат жены попал в список мобилизованных.

— Ладно, мурза, сделаю. Но и ты мою просьбу не забудь...
— Хорошо! Вычеркнем. Пусть это будет нашим уговором.

Абейсын взял с собой еще двух здоровых парней. Абейсын сел на коня, парни взгромоздились на верблюдов, груженных тюками с чаем, сахаром, урюком и изюмом, и небольшой караван спешно отправился в аул старика Суйеу. У всех троих между тюками спрятаны были ружья.

Приехав в аул, Абейсын приступил к своему обычному занятию. Обменивая чай и сахар на шкуры и шерсть, он не спускал глаз с дома Суйеу. Вечером, когда все разошлись, Абейсын улегся в юрте, в которой остановился, и попросил поднять снизу кошму. Так было удобней наблюдать за домом старика, чем без конца выходить.

Ночью, когда уже все спали, два всадника бесшумно подъехали к юрте Суйеу. Спешились, привязали коней, огляделись и один за другим вошли в юрту. Абейсын растолкал своих джигитов.

— Тихо! Приготовьтесь!..

Джигиты, схватив ружья, молча вскочили. «Будет сопротивляться — стреляйте!»— таков был приказ Танирбергена.

Поздоровавшись, Еламан выслал Рая на улицу. В темноте закряхтели, зашевелились, потом зажгли огонь. Старик, увидев Еламана, быстро заморгал белыми ресницами.

— А! Приехал, значит?

— Господи!— вскрикнула старуха.— Кто это, Еламан, что ли? Светик ты мой!

Старуха прослезилась и тут же начала стелить постель в глубине комнаты. Старик Суйеу опять поглядел на Еламана, быстро отвел глаза.

— Жив-здоров?

— Слава аллаху.

Старик зафыркал.

— Е! Слышали, слышали... То рыбаком был, сети тянул, теперь, говорят, целое войско ведешь. Гм... Слышали.

— Не от хорошей жизни, отец...

— Гм... да! Да благословит вас бог!

Еламан беспокойно глядел по углам. Суйеу помалкивал. Старуха не выдержала.

— Сынок-то твой... все побаливает.

— Где он?

— Вон, на полу лежит...

Еламан вскочил, подошел к постельке.

— Только глазки закрыл, заснул,— сказала горестно старуха.— Не разбуди гляди!

Еламан крепился, чувствовал, смотрит ему в спину старик. Наклонившись над сыном, он увидал, что тот не спит, просто уморила его болезнь. Маленькая грудь сына быстро поднималась и опускалась, красные ножки подрагивали. Еламан, как только узнал все об Акбале, ни разу не вспоминал ее, теперь он подумал о ней с ненавистью. Он осторожно взял горячее тельце на руки. Сын открыл темные глазки и закрыл, засучил ножками. Он был как птенец — жаркий, с колотящимся сердечком, с открытым ротиком.

— Жеребеночек...— нежно сказал Еламан, и в носу у него защипало.

Думая, что руки его грубы и что сыну, может быть, больно, он растопырил пальцы, держал сына на ладонях. Тошно ему стало оттого, что ничем он не мог ему помочь, не мог хоть часть его мук взять себе.

За дверью в это время завозились, вскрикнули, мягко ударили кого-то, кошма хлопнула, в юрту вскочил Абейсын с двумя джигитами. Старуха кинулась, сильно толкнув Еламана, схватила ребенка, прижала к себе.

— Руки!— закричал Абейсын.— Руки вяжите!

Навалился на Еламана, пыхтел, джигиты, путаясь, мешая друг другу, накидывали на руки Еламана веревку. Еламан опомнился, рванулся, содрал веревку, схватил Абейсына за горло.

— Ойбай, убивают!..

Джигит, сделав зверское лицо, изловчился, ударил Еламана по

голове прикладом. Падая, Еламан все-таки успел сделать шага два к двери, ухватился за косяк.

— Вяжите!— хрипел Абейсын.

Старик Суйеу вдруг прытко вскочил, подбежал к Еламану, раскинул руки.

— В моем доме!..— визгливо закричал он.— Уа, мерзавцы! Не отдам сына!

Джигиты возились с Еламаном, сопели. Абейсын вобрал голову в плечи, ударил старика в грудь, перешагнул через него.

— Скорей!— торопил он.

Еламана с заломленными назад руками поволокли вон.

XXIV

На другой день ребенок стал задыхаться, посинел. Старуха поглядела и прикрыла ему лицо. Суйеу хотя и видел все, но не подошел к внуку, сидел, отвернувшись, в своей обычной упрямой позе.

— Ау, чего сидишь, изверг? Помолись за его душеньку!

— Помолиться?!

— Ты же мусульманин...

— Ну так что? У матери его души нет, откуда у него будет?

— Астафыралла! На невинное дитя...

— Цыц! Цыц!— Старик Суйеу замахал рукавами белой рубахи, вскочил, вышел на улицу. Поискал седло, нашел его возле юрты, на солнцепеке, взвалил на плечи, торопливо засеменил к коню. О, как люто ненавидел он свою дочь. Имени ее слышать не хотел! Как только узнал, что дочь ушла к мурзе, старик в гневе сказал: «Гнилое яйцо. Еще в чреве матери проклятая. Шлюха!» Отныне дочь для него не существовала.

Старик не знал, куда ехать. Но все-таки заседлал коня, взобрался, пустился вскачь и, только проскочив два-три перевала, успокоился немного. Старик редко ездил по гостям. Но в этот раз он два дня бесцельно переезжал из аула в аул. Всегда молчаливый, теперь он вовсе замкнулся, ни на кого не глядел, ничто его не привлекало. Во всех домах, куда он заезжал, его угощали, но он почти не ел и не пил. Вот так, разъезжая на своем, как всегда, неухоженном и тощем коне по аулам, на второй день к обеду остановился он в доме Ожар-Оспана. Оспан только что вернулся из Челкара. После драки с рыбаками из-за Бобек, когда люди из рода Торжимбай убили одного рыбака, в аул Оспана пришла беда. Чуть не всех его людей таскали в город на допрос, сам Оспан около месяца просидел в тюрьме. Дело складывалось не в его пользу, замять убийство не удавалось. Тогда пошли в ход большие взятки начальству, и Оспана с горем пополам освободили. Вернулся домой он похудевший и грязный, но бодрый и по-прежнему задиристый. Оказавшись среди родичей и в той привычной среде, где заискивают перед ним, Оспан сразу забыл тюрьму, все невзгоды и начал без удержу хвастаться.

— Свет наш, Оспан, ты и перед оязом[1] был?— тянули на разговор его старики.

— Начихал на ояза!— распалялся Оспан, приподнимаясь и подкладывая под себя еще одну подушку.— Он, как и я, от бабы родился. Бог ты мой, думаю, чего мне бояться? Ничуть не дрогнул! Закрыл глаза и смело бросился навстречу гневу ояза, мать его!

— Ну и молодец! Ай-яй-яй!..

— А дальше что?

— А что дальше? Если ояз как лев, то я что, щенок, что ли? У него гнев, а у меня пуще гнев. Прямо кипел во мне гнев и дерзость всех моих дедов, прадедов! Или, думаю, ты мне голову снесешь, или я тебе!..

— Пах-пах!..

Старик Суйеу слушал, слушал и, сердито хмыкнув, встал, не дожидаясь чая, вышел. Уже на улице вспомнил он, что забыл в юрте камчу, но не вернулся, махнул рукой. Увидал смуглую молодую женщину, раздувавшую самовар возле двери, остановился, поморгал белыми ресницами, подошел. Женщина застыдилась, растерялась, опустила глаза, неслышно поздоровалась.

— Э!— скрипуче протянул старик и пофыркал.— И на тебя, значит, петлю накинули? И на Рая тоже. Длинный, значит, у них курук! Длинный!

Женщина только голову наклонила, потом шмыгнула носом, вытерла глаза. Старик помычал и пошел прочь.

Он переночевал где-то еще одну ночь и поворотил домой. За аулом на высоком черном холме виднелось кладбище. Суйеу подъехал к кладбищу, спешился, ведя коня под уздцы, обошел все могилы. Свежей, маленькой могилы не было.

— Дай бог! Дай бог!— пробормотал старик и вдруг заплакал радостно и беспомощно. Сухие коленки его тряслись. Собираясь сесть на коня, долго ловил он стремя ногой. Потом крепко вытер слезы и против обыкновения скоком пустил коня к аулу.

— Шшш!.. С ума спятил, что ли? Только что заснул!— зашептала старуха, помогая Суйеу спешиться.

Старик ничего не сказал, вошел в юрту, даже не поглядел в сторону детской постели, сел нарочно спиной к внуку и первым делом начал поочередно подносить к ноздрям зеленокудрый насыбай на темном большом пальце, крепко нюхал. Кровяные глаза его слезились, лицо подергивалось. Старуха понимающе покосилась на своенравного старика, усмехнулась, взяла черный закопченный чайник и вышла. Старик прытко вскочил, подошел к внуку, откинул одеяльце. Внук был еще слаб, сильно потел, личико у него было бледное, на висках бились голубые жилки, но дышал он теперь ровно, посапывал, спал спокойно...

Суйеу поморщился, заморгал.

---

[1] Уездный (*искаженное*).

— Ах ты, щенок! Недоносок! Ишь ты, как живуч! А? Слава богу, слава богу! У, щенок!

Когда старуха вернулась, Суйеу, прямой как кол, сидел на прежнем месте и свирепо нюхал табак.

XXV

Юрта волостного была полна народу. Кудайменде сидел на почетном месте. По обе стороны от него, справа и слева, расселись старейшины, аксакалы окрестных аулов. Были тут и Танирберген с плосконосым писарем. Танирберген пронзительно взглянул на Абейсына. Но Абейсын насупился, стал важный, гордый, не торопясь сел с мурзой.

— Ну?— спросил мурза.

— Взяли.

— Где он?

— На улице.

— Не убежит?

На толстом лице Абейсына появилось подобие улыбки.

— Приволочь его сюда?— спросил он только.

Танирберген кивнул. Но едва Абейсын встал и направился к выходу, мурзе стало неловко, он понял свою оплошность. Он не сразу сообразил, что враг в отчаянии может пойти на любую дерзость, не пощадит ни себя, ни его. Абейсын, сапнув носом, вышел. Все замолчали, глядели с нестерпимым любопытством на войлочный полог юрты. За дверью завозились, полог откинулся, джигиты Абейсына втолкнули Еламана. Танирберген сидел боком, вполоборота к двери. К Еламану он не повернулся, повел только глазом. Со скрученными назад руками Еламан стоял, покачивался. Голова у него была разбита, лицо бурое от запекшейся крови. Поглядели молча. Аксакалы таращились. Танирберген хмыкнул.

— Убрать!

Джигиты взяли Еламана под локти, поворотили, стали толкать коленками к двери. У двери Еламан уперся, изо всех сил вывернул шею, стараясь взглянуть на Танирбергена.

— Эй, лиса!— закричал он.— На этот раз не жалей, сука, прикончи!.. А то гляди попадешься мне...

Ему не дали договорить, выбили в дверь.

— Попомни, лиса, шкуру с живого спущу!..— кричал Еламан уже на улице.

Аксакалы напугались до смерти, смотреть друг на друга боялись. Молодой мурза выпрямился, похолодел лицом, потвердел глазами.

— Гостям, может быть, пить хочется. Принесите кумыс!— громко сказал он. Молодой джигит у дверей вскочил.— Эй, парень! Где бабы этого дома? Найди их, пусть разливают кумыс!— крикнул Танирберген уже вдогонку.

Байбише ушла в другой аул. Акбала жила в отдельной юрте.

Когда мальчик-подросток прибежал за ней, Акбала, приоткрыв рот, стояла посередине юрты, с испугом глядела на мальчишку.

— Мурза зовет!

Акбала будто не слыхала. Перед этим она сидела на маленьком коврике перед высокой никелированной кроватью, вышивала. Услышав на улице крик Еламана, она вскочила, бросилась к двери, но тут же остановилась около адал-бакана. Она поняла, кому Еламан кричал: «Лиса!», ухватилась за адал-бакан и прижала руку к сердцу.

Мальчишка с удивлением глядел на Акбалу. Подумав, что она не расслышала, он крикнул:

— Мурза зовет!

Акбала глубоко, с перерывами вздохнула, опустила глаза и вышла на улицу. Переступив порог юрты волостного, она быстро оглянулась. Еламана не было. Смутившись, она замешкалась у порога, потом, пригасив глаза, покорно и учтиво прошла по юрте, уселась на краю дастархана, расстеленного перед гостями. Больше глаз она не подняла.

Танирберген незаметно раза два пытливо поглядел на жену, нахмурился. Кудайменде вдруг откашлялся:

— Спасибо Абейсыну. Джигитом оказался. Теперь надо этого Еламана скорее убрать!

Танирберген даже крякнул с досады, поморщился и опять поглядел на Акбалу. «Вот дурак-то!»— подумал он о брате.

Гости наконец напились кумысу, и мурза отпустил жену. Разговор не клеился, аксакалы помалкивали. Кудайменде сердито сопел. Давно он уже был мрачен. Аулы не давали джигитов на фронт. Знатные баи тоже не давали своих сыновей, виляли, тянули. Неожиданно приумножилась дальняя родня, всякие там свояки и сваты, породнившиеся еще с его дедами и прадедами. «Все богатство возьми, только единственного сына оставь!»— просили, путались под ногами. Никак не мог Кудайменде набрать нужное число людей в волости, и начальник уезда висел над душой, и теперь вот приехал еще этот плосконосый коротыш. Тут и без него тошно, а он уж два дня душу выматывает...

— Болыс-ага, Еламана надо немедленно отправить в город!— сказал коротышка.

Кудайменде нахмурился. Он хотел включить Еламана в список и отправить в солдаты. Помедлив немного, он исподлобья взглянул на брата. Танирберген тотчас сказал:

— Его надо включить в список.

— Этого нельзя делать. Преступника нужно только в Сибирь...

— Э, милый, оставь свою Сибирь. Из этой Сибири возвращаются так же скоро, как побитая жена от родителей к мужу.

Два аксакала, сидевших рядом, толкнули друг друга, захохотали.

Танирберген приободрился:

— Сибирь близко. Из Сибири он опять вернется. Пусть лучше он попадет на фронт, а там поглядим...

— А если завтра об этом узнает уездный начальник, что мы ему скажем? Это не по закону!

— Да брось, откуда русскому знать наши дела?

Коротышка писарь засмеялся, спорить больше не стал, подмял под себя еще подушку и растянулся в глубине юрты, рядом с волостным. Мурза понял, что будет так, как он сказал, улыбнулся, погладил блестящие черные усы. В юрте будто светлей стало, начали переговариваться, перебрасываться шутками. Но Танирберген вдруг сказал:

— Ладно, займемся делами. Аул в опасности. По-моему, болыс-ага, тебе надо вооружить своих джигитов и первому ударить по этой сволочи. Чтоб опомниться не успели.

Кудайменде потер лицо, быстро встал и во главе гостей вышел на улицу.

XXVI

Из-за рыжего увала робко забрезжила заря, и земля отчетливо, резко выступила из предутреннего дремотного сумрака, когда на спину выгоревшего холма, где вчера остановился на ночлег отряд Еламана, галопом взлетел всадник. Соскочив с запаленного коня, озираясь, он громко стал звать Калена.

Кален всю ночь ждал Еламана и, не дождавшись, забылся под утро в коротком сне. Топот коня тотчас разбудил его. «Кого это принесло?»— с тревогой думал он, на ходу надевая чапан.

— Кто такой? Чего орешь?

— Суйеке послал...

— Ну? Говори скорей!

— Еламана схватили!

— Что-о?

— Джигиты Танирбергена схватили, увезли...

«Не может быть!»— думал Кален, холодея, и тут же понял, что это правда.

— Эй, джигиты!— закричал он.— Вставайте все! По ко-о-оням!..

По холму будто ветер пролетел — один за другим вскакивали, протирая глаза, джигиты. Спали они чутко, намотавши поводья на руку. Уже через минуту все они были в седлах. Оглядев их, Кален ударил пятками своего гнедого. Сильный конь сразу же вырвался вперед и пошел все шибче, шибче своей размашистой рысью.

По утренней прохладе отряд успел проскакать немалый путь, но знойное июльское солнце скоро стало печь невыносимо, и кони, до отвалу наевшиеся за ночь сочной полыни, начали выбиваться из сил.

До аула волостного было еще далеко, и Кален начал подумывать, что пора бы дать коням передышку. Но в полдень отряду встретилось перепуганное кочевье из нескольких аулов. Тяжело нагруженные верблюды еле передвигали ноги. За кочевьем, поднимая над степью ленивую пыль, двигались сплошной черной массой табуны и отары.

Увидев скакавших навстречу вооруженных людей, женщины и дети в кочевье переполошились, подняли разноголосый крик и вой. Кален невольно натянул повод и поднял руку, делая знак скакавшим за ним джигитам остановиться. А навстречу им уже неслись человек шестьдесят верховых во главе с долговязым черным джигитом. Прокричав что-то успокаивающее своему кочевью, долговязый стремительно подскакал к Калену.

— Кален-ага, ассалаумалейкум!

«Где же это я с ним встречался?»— подумал Кален. У него была цепкая память на лица, и ему теперь казалось странным, что он никак не мог вспомнить этого долговязого. А тот смотрел приветливо, с почтением, и Калену стало совсем неловко. Он нахмурился и отвел взгляд.

Долговязый оказался словоохотлив и тут же рассказал Калену со всеми подробностями, как три аула расположились по соседству ранней весной на джайляу, недалеко отсюда. Жили они мирно, ни о чем плохом не думая, как вдруг указ белого царя переполошил их. После долгих споров и криков аксакалы трех аулов твердо сошлись на одном: не отдавать молодых джигитов в русскую армию. А сегодня спозаранку до них дошел ужасный слух — будто в аул волостного прибыл из уезда карательный отряд. И вот, поспешно снявшись с насиженного места, они теперь уходят подальше в степи...

— Счастливого пути!— сказал не то шутя, не то всерьез Кален.

Долговязый отъехал к своим джигитам. После недолгого разговора молодые джигиты решили примкнуть к отряду Калена.

— Отныне,— сказали они,— мы готовы разделить все невзгоды с вами вместе.

Кален обрадовался, увидев решимость вооруженных дубинками молодых джигитов. По совету Калена кочевье отправилось к прибрежью.

Отряд быстро двинулся дальше. Было душно, палило солнце, клубилась пыль, ела глаза, забивалась в ноздри. Лошади беспрестанно фыркали, встряхивали головами. Отряд шел ровной рысью, сухая полынь хрустела, трещала под копытами.

— Колодец далеко?— спросил Кален.

— Теперь уж нет...— сказал долговязый.

— Ведь около аула волостного есть овраг?

— Есть, есть, Кален-ага.

Кален молчал. Долговязый испытующе поглядел сбоку, поерзал в седле и, помедлив, сказал:

— Почему спросили, Кален-ага?

— Да так.

— Кален-ага, в твоих руках поводья наших коней и нашей жизни... За тобой мы пойдем хоть куда! Только если бы ты нам объяснил все. Предки недаром говорили, что шуба, скроенная...

— Какая шуба?

— Да нет, не шуба... А я хотел сказать... Помните, говорят: «Шуба, скроенная сообща, куцей не будет».

Кален засмеялся и зажал шенкеля, переводя гнедого на широкую рысь. Кони дышали все надсадней, но Кален остановил отряд, только достигнув места недавней стоянки снявшихся трех мятежных аулов — тут был колодец. Решив переждать здесь жару, чтобы тронуться дальше по вечерней прохладе, Кален послал разведчика к аулу волостного.

Возле байского аула была небольшая котловинка, наполнявшаяся весною талой водой. До самой середины лета ходили сюда на водопой табуны рода Абралы.

Вернувшись, разведчик рассказал, что русские солдаты разбили палатки на западном, прохладном берегу заросшего осокой пруда. Солдат было не очень много, человек сто, но зато у всех винтовки и, кроме того, на бугре видны две пушки...

Джигиты приуныли, и каждый вдруг захотел остаться наедине со своими невеселыми думами. Одни, спасаясь от солнца, попрятали головы в тени чахлых кустов. Другие, не выпуская повода, жались к потным бокам коней. И тут впервые в душу Калена закралось сомнение. Раньше он рисковал только своей головой, а теперь под его началом оказались сотни людей....

Он вдруг разозлился на свою слабость, и изрытое оспой лицо его почернело от досады. С нетерпением принялся он ждать вечера. Как только кровавое солнце скрылось за горизонтом, джигиты сели на коней. Все молчали, никому не хотелось разговаривать. В вечерней прохладе отдохнувшие кони бежали споро, и через короткое время отряд добрался до глубокого оврага возле аула волостного.

Джигиты спешились, подтянули подпруги. Кален подозвал к себе тех, у кого были шомпольные ружья, и приказал заряжать ружья, держаться все время возле него. Теперь отряд ехал оврагом. В густой траве несмолкаемо нежно трещали кузнечики, впереди в ауле лениво лаяли собаки. Крупную скотину, видно, еще не пасли в овраге — задохнуться можно было от запахов сочного разнотравья. Пробиваясь сквозь буйные заросли, всадники будто плыли во тьме по невидимым волнам, и от движения коней колыхался крепкий настой полыни. Конь Калена наезжал иногда на какой-нибудь куст, и тогда упругие ветки шелестели и окропляли росой голенища черных сапог, глубоко, до самого подъема засунутых в стремена.

При выезде из оврага Кален натянул повод и подождал, пока подъедут отставшие. Поднявшись из оврага к аулу, опять остановились. По старой воровской привычке Кален припал к гриве коня и стал зорко всматриваться в темноту. Совсем близко впереди чернели своими круглыми боками юрты. Возле каждой из них, в жер-ошаке — специально вырытых ямах для установки котлов — мерцали огоньки. В самой ближней юрте кошма была приподнята, и через оголенные решетки слабо светил желтый язычок лампы. Кален с неудовольствием отметил, что в ауле никто еще не ложился спать.

А тут еще, зачуяв их, дружно забрехали собаки, и Кален явственно услышал перекликающиеся голоса.

— Уай, смотрите, табун идет к аулу!

— С чего бы это? С водопоя еще днем ушли на выпас!

— О господи, пыль-то поднимут!

— Гоните их прочь!

— Да-да, подальше от аула!

Несколько человек побежали от аула к отряду. Осмелевшие собаки тотчас обогнали их и, захлебываясь лаем, помчались впереди. Кален резко выпрямился в седле, закричал: «Вперед, джигиты!»— и пустил коня вскачь. С криками: «Аруах, аруах! Бей! Бей!»— джигиты рвались за ним. Оглушительный топот обрушился на вечерний аул. Не встречая сопротивления, джигиты неслись мимо юрт, колотя на ходу по кошмам, по оставам, проламывая деревянныеууки.

Кален круто осадил коня у самой богатой юрты, спрыгнул с седла, копьем откинул войлочный полог. Джигиты с ружьями вместе с ним ворвались в юрту.

— Бросай оружие!— гаркнул Кален.

Четверо солдат оторопело переводили взгляд с ружей на великана с маленькими змеиными глазками на черном лице. Они стояли, прижимаясь спинами к тюкам, сложенным у стены. Сообразив, что стрелять они побоятся, Кален шагнул к солдатам и вырвал у них винтовки. За стенами юрты по-прежнему топотали кони, что-то трещало, ломалось и раздавались воинственные крики: «Аруах, аруах!»

Оглядевшись, Кален увидел у противоположной стены кучку насмерть перепуганных аксакалов и среди них Алдабергена-софы. Кален подскочил к нему:

— Где Еламан?

— Кален, родной... Хоть перед богом мы...

— Еламан где, спрашиваю? Ну!

— Аллах свидетель... Не знаю...

Кален схватил его за густую сивую бороду.

— Говори!

— Айналайн... Аллахом клянусь! Да постигнет меня божья кара!

— Зарежу, старая собака!

— Ойбай! Днем видел... Кален, родимый! У-увезли его.

— Куда?

— Не знаю... Пощади, не губи!

— Так... А мурза где?

— У себя.

— Где это у себя?

— За оврагом его юрта...

— Так. А волостной?

— Тоже там...

Не выпуская бороды Алдабергена, Кален изо всех сил ткнул кулаком ему в лицо, отшвырнул обмякшее тело и выскочил из юрты. Вскочив на коня, он тут же услышал стрельбу от пруда, где распо-

ложились солдаты. Начали, как сурки, посвистывать пули, послышалась русская речь, потом стрельба на время смолкла, раздался характерный глухой гул, и привычным слухом степняка Кален мгновенно определил — не меньше сотни всадников скакали от пруда к аулу.

— Назад, назад!— заорал Кален, поворачивая коня.

— Назад, эй, назад!— прокричали джигиты Калена в разных концах аула, повторяя приказ своего вожака.

Солдаты, стреляя наугад, пустились было вдогонку, но скоро отстали. Почувствовав, что отряд ушел от погони, Кален перевел своего коня на крупную рысь и облегченно вздохнул. Однако он был недоволен результатом набега. Мрачно ехал он, думая об участи Еламана, и даже удивился, когда конь его замедлил шаг у колодца, где отряд отдыхал днем. Короткая летняя ночь была на исходе. Возбужденные джигиты поили коней. Опьяненные своей храбростью, они говорили, говорили, перебивали друг друга, хохотали...

А Кален хмурился. Что толку в этом набеге, думал он, главного не достигли: Еламана не выручили. Наступили на хвост змее, взбесили ее. Что будет, и чем теперь все кончится? От русских добра ждать нечего. Мы не покорились белому царю, значит, теперь мы их враги.

Кален стоял, припав головой к гриве коня. Потом вздохнул и огляделся: джигиты его все еще обсуждали ночной набег.

— Ну и дали мы им жару, Кален-ага, а!

— Как вихрь налетели! И опомниться не успели...

— А как пугали: «Русские, русские...» А они, оказывается, не страшнее наших аульских забияк. Как псы разбежались.

— Небось больше не сунутся... мать их!

Кален ухмыльнулся и, ведя коня в поводу, стал переходить от одной группы джигитов к другой. Прислушиваясь к хвастливым разговорам, он продолжал озабоченно думать: будет погоня или нет? Что ждет впереди этих джигитов? Каким боком повернется к ним судьба? На душе было смутно, тревожно. Конечно, они ночью неожиданно обрушились на врага, застали его врасплох. Но что ждет их завтра, при свете дня, когда джигиты сойдутся лицом к лицу с солдатами, обвешанными оружием с головы до ног? Как быть? Разве полезешь с дубинками на пушку?

Ему не привыкать было к опасностям. Одиноко рыскал он по ночам, любил свое ремесло, любил волнение крови и верил в свою удачливость. Он думал, что когда придет час расплаты, то все равно — бросят ли его на дно безымянного оврага, опустят ли в землю рядом с могилами его предков или окажется его буйная голова в тороках удачливого врага. Угонял ли он лошадей, ловил ли рыбу, дрался или мирился,— всегда он был один и не был ни за кого в ответе.

А теперь! Сколько народу идет за ним, и все как на подбор юнцы, неопытные джигиты! Каждый из них чей-то будущий кормилец, чья-то надежда и опора...

Уже совсем стало светло, когда раздался молодой тревожный голос:

— Эй, эй, глядите! Пыль! Пыль!

— Погоня, джигиты!

— По ко-оня-я-ям!— закричал Кален.— За мно-о-о-ой!..

...Преследуемый по пятам карательным отрядом, будто затравленный зверь, метался Кален со своими пятьюстами джигитами по выжженной степи. За эти дни им ни разу не удалось расседлать и попасти коней и отдохнуть, расстегнув пояса. Стремясь уйти от погони, измученные джигиты днем и ночью гнали лошадей — то рысью, то трусцой. Но все было тщетно: погоня не отставала.

А ведь было время, когда конокрад Кален легко сбивал с толку самых опытных и неотвязчивых преследователей! И теперь, рассудив, что от погони легко ему не оторваться, он опять обратился к своему излюбленному, испытанному приему, не раз выручавшему его в минуту опасности: повел своих джигитов, почти не оставляя за собой следов, по каменистым, звенящим под копытами коней взгорьям и увалам.

Но и это не помогло! Тогда Кален решил искать спасение в горах. Он вошел в царство камня, в безмолвие воровских гор, неприступно застывших со дня сотворения,— и пропал в таинственных теснинах и ущельях. Горы дали ему только два дня передышки, потом его настигли и там.

Оставалась последняя надежда: уйти в глубь Улы-Кума — Великих Песков — и скрыться там среди сыпучих барханов. Но преследователи и тут не отстали. Во всех попутных аулах солдаты насильно меняли своих заморенных коней на свежих и, наскоро подкрепившись, продолжали преследование.

Кален зверел, черствел сердцем. Порою его охватывало отчаяние. И он начинал думать о том, что джигит дважды не умирает, что нужно наконец дать бой русским! Но здравый смысл немедля убивал его решимость. С дубинами против винтовок не пойдешь, только напрасно погубишь людей. Несколько шомпольных ружей да три-четыре винтовки, захваченных в байском ауле, не шли в счет.

Джигиты молчали, и Кален все больше мрачнел. Он не знал, о чем думали люди, столько дней молчаливо следовавшие за ним. Ни один из джигитов не роптал, не отчаивался вслух. Лица неопытных, не закаленных в походах пастухов и рыбаков почернели за время скитаний, стали суровы и непроницаемы. И Кален мучительно думал: «Почему молчат эти дьяволы? Языки у них поотсыхали, что ли?» Можно еще понять молчание человека, еле держащегося в седле, занятого одной мыслью — не свалиться бы! Но джигиты Калена молчали и во время остановок!

Загнанные кони стоят возле своих хозяев, низко опустив головы и тяжело водя потными боками. Караульные черными точками застыли на ближайших холмах. Тихо, душно, далеко на горизонте зыбится мираж... Кален растягивается во весь свой огромный рост,

хороня голову в тени чахлого кустика, и хмуро глядит на своих джигитов. Джигиты молча расседлывают коней, бросают мокрые потники на кусты и, сорвав по пучку травы, сосредоточенно и долго стирают соляной налет на спинах и боках коней. Потом достают из курджунов сухой, твердый курт, уперев взгляд в землю, долго и мрачно ворочают его во рту. Почему они молчат? Или они недовольны тем, что вот уже который день приходится им спасаться бегством, вместо того чтобы принять бой? Но если так, то неужели среди них, отважных рыбаков и степняков, не найдется настоящего мужчины, который бы высказал ему все, что они думают?

Калену вдруг захотелось, как в старые добрые времена, запеть во всю глотку дерзкую и гордую песню Сары Батакова, да спеть ее так, чтобы до печенок пронять своих джигитов. Рябое лицо Калена дрогнуло от мгновенной улыбки, в глубоко запрятанных глазах загорелся было озорной огонек, но тут же погас. Опять сдвинулись его мохнатые брови, и жесткие складки легли на лицо.

Так он и задремал, опустив голову на рукоять камчи. Давно он не спал вволю, а обходился короткой птичьей дремотой, как придется и где придется. Но даже такой короткий и неловкий сон приносил ему облегчение и новые силы. Видно, и впрямь, как собака, семижилен человек! В старину говорили: пролежав три дня в могиле, человек и к тяжести земли привыкнет...

Очнувшись, Кален принялся растирать занывший от рукоятки камчи висок. Глядя на него, начали подниматься и джигиты. А с одного из холмов птицей летел уже караульный: приближалась погоня. Ни на кого не глядя, Кален велел оседлать коней. Вот и этот привал оказался недолгим, но кони и люди все-таки успели отдохнуть и с места взяли бодрой рысью, стремясь, пока есть силы, уйти подальше.

Скоро безлунная ночь укрыла черным покрывалом всю степь. Кален надеялся, что преследователи отстанут, но ошибся: видно, русские успели сменить лошадей. Только в полночь погоня прекратилась, должно быть, солдаты не держались уже в седлах.

Но и джигиты Калена не могли больше уходить, кони их шатались от усталости. Надо было что-то предпринимать. Всю ночь не смыкал глаз Кален, потом решился и перед рассветом разбудил сорок самых смелых своих джигитов. Молча сели они на коней. Всходила луна. Держась по-волчьи сумрачных оврагов, цепочкой, след в след, подкатились они к ночлегу русских. Оглушив дремавших часовых, они потихоньку угнали всех лошадей, оставленных в ночном.

Оставшись в безводной степи без коней, обессиленные солдаты лишь на третий день еле добрались до Ак-Чили. А тем временем Кален, сделав большой крюк, совершил набег на аул волостного и угнал много коней и верблюдов. От табунщиков, примкнувших к ним, повстанцы узнали, что молодой мурза собирается напасть на рыбачий аул и захватить в заложники жену и сына Калена, Мунке

и Доса. Кален знал, что Танирберген жесток и тверд в своих решениях. И, испугавшись не на шутку, он поспешил к рыбакам, поднял на ноги весь аул, посадил на верблюдов женщин, детей и стариков и под покровом ночи увел всех в степь. Он уже решил, что задерживаться в этих краях больше нельзя. Не обращая внимания на хныканье детей и на жалобы стариков, он быстро вел свой отряд на кочевье, стараясь держаться поближе к многочисленным аулам родов Тлеу-Кабак, Торт-Кара и Тама, летовавших на богатых травостоем просторах между Улы-Кумом и Киши-Кумом.

Страх между тем охватил всю степь. Не желая идти на службу к белому царю, степняки целыми аулами снимались с насиженных мест и бестолково кочевали из края в край. Многие джигиты примыкали к Калену, и повстанцев скоро стало уже более тысячи. Род Тлеу-Кабак всегда славился своим бесстрашием. Джигиты этого рода ежегодно ездили за зерном в Каракалпакию и каждый раз на базарах Конрата и Шимбая приобретали оружие. И теперь в отряде становилось все больше винтовок и шашек.

Слухи о солдатах, о том, что они жестоко расправляются с непокорными аулами, сеяли панику, ползли по степи. Кален понимал, что прежняя безмятежная жизнь кончилась. Всюду, куда бросала их судьба, кочевали напуганные аулы, куда-то уходили. Казалось, вся степь, еще недавно сонная, безразличная ко всему, вдруг взбаламутилась, пришла в движение. Кален не знал, что делать. Принять бой или продолжать уходить? До каких пор детям и женщинам мучиться на горбах верблюдов? В каком краю удастся найти им желанный приют и покой?

Медленно тянется неуклюжее кочевье... Погромыхивают, позванивают казаны, ведра, чайники, треноги, наспех привязанные к вьюкам. Маленькие дети, словно птенцы, тянут тощие свои шейки из походных люлек, хнычут, просят то поесть, то попить.

Судр Ахмет и Мунке едут в стороне. Под Судр Ахметом строптивая кобыла-трехлетка. Забывая ее горячий норов, он время от времени принимается нахлестывать кобылку, и каждый раз едва не вылетает из седла. Мунке едет на равнодушном вислобрюхом мерине. Глаза Мунке прикрыты: то ли он дремлет, то ли больно ему глядеть в степь, залитую слепящим солнцем... Повод то и дело вываливается у него из рук. Всегда голодный мерин, радуясь свободе, на ходу хватает траву. Очнувшись, Мунке ловит поводья и некоторое время хмуро глядит прямо перед собой.

А Судр Ахмету весело! Любит он кочевья, шум, дорогу... Всю дорогу он хихикает и оживленно вертит головой. Если кто-нибудь оказывается рядом, он нетерпеливо тычет его камчой в бок и кивком головы показывает на Мунке:

— Нет, ты только глянь! Ну не чучело, а?

— Оставь, дорогой, какой вид может быть у беженца?

— Оу, ты глянь, глянь! Какой он беженец! Не беженец он, а божье наказанье. Презренная порода! Напрасно, ай, напрасно Ка-

ленжан водится с этим беспорточным рыбаком... Нашел себе вояку! На коне сидит, как дремлющая у очага длиннополая баба, тьфу!

Иногда к кочевью подъезжает Кален. Тогда Мунке стряхивает дрему, приставляет ладонь ко лбу и, щурясь от солнца, смотрит вокруг.

— Апыр-ай, до чего ж бесконечна эта степь! От самого прибрежья все едем, а конца-края не видать. Далеко ли еще нам?

— А ты думаешь, я знаю?

— Да, мы как перекати-поле. Спроси его, куда оно несется — разве ответит?..

— Устал ты?

— Я-то что! Я как старая рваная шкура в собачьей пасти... А вот детей да баб не напрасно сорвал ты с места?

— А про Танирбергена забыл?

— И то верно! Казах казаху не верит. Жестокие наступают времена!— вздыхает Мунке.

Кони идут шагом. Упираясь камчой в бок, Кален мрачно супится. Думал ли он когда-нибудь, что придется ему стать во главе народа? С тех пор как сел он на коня, ему ведомо было лишь одно ремесло. Непроглядной ночью, бывало, подкрадывался он с подветренной стороны к табуну, подальше ушедшему от спящего аула. Кони паслись, как всегда, пофыркивая от удовольствия в ночной прохладе. Вытягиваясь по-кошачьи вдоль шеи своего коня, Кален долго всматривался в ночную темень. А потом под носом дремавшего в седле табунщика тихо угонял косяк. Погони он не боялся. Если табунщиков было двое или трое, Кален останавливался и грозно заносил над головой доир, который обычно безобидно выглядывал еле высунувшимся кончиком из-под длинного рукава серого чекменя. Он спокойно ждал скачущего вдогонку храбреца, уверенный, что одним коротким ударом выбьет его из седла. Если же погоня была большая, Кален бешено, с гиканьем гнал косяк впереди себя. Войдя в азарт, преследователи растягивались, настигая Калена поодиночке. А Калену как раз этого и надо было: каждого всадника, догонявшего его, встречал резкий, как выстрел, удар толстого доира. Скоро Кален стал настолько искушен в разбойничьих повадках, что отбиваться от погони было для него одним удовольствием.

Кален с тоской покосился на кочевье. Тяжело навьюченные верблюды враскачку шли между заросшими бурьяном рыжими кочками, а впереди опять видны были сыпучие барханы. Верблюды все тяжелее переставляли ноги. Бабы, обвязав жаулыком лица по самые глаза, понуро молчали. Одна Каракатын далеко впереди кричала на кого-то раздраженно. Мунке хмыкнул:

— Гм... Вот теща у меня, а!

Оглянувшись и увидев Калена, Каракатын круто повернула назад. Кален тотчас заметил, что жирная саврасая кобылка под ней сильно припадала на переднюю ногу.

— Что это с бедной животиной?

— Видно, черной ведьме свежатинки захотелось.

— Ты о чем?

— Да я просто так...

— Ты глянь, совсем обезножела кобылка. Да и прошлый раз, помнится, у этой же Каракатын вдруг охромела лошадь, пришлось зарезать. Странно...

— Нужно ее на тощую клячу посадить, чтоб только кожа да кости были. А то под этой бабой ни одна жирная кобылка не уцелеет.

Мунке старался спрятать смешок, заметив подъезжавшую Каракатын. Длинное, до пят, платье ее было заправлено в шаровары. Обычно растрепанные, выбивающиеся из-под жаулыка волосы ее были теперь собраны на затылке в узел. Сухая, поджарая, она быстро привыкла к верховой езде и ловко сидела в седле. Еще издали, подозрительно оглядев Мунке, она хамски вклинилась своей хромой кобылой между конями мужчин.

— Хоть и отдала я тебе свою единственную дочь, ты небось доброго слова обо мне не сказал, по роже твоей вижу!

— Ойбай, теща милая ты моя, я ведь только и делаю, что хвалю тебя!

— Знаю, как ты хвалишь... Заткнулся бы! Эй, батыр!— обратилась она к Калену.— Видишь, народ как измучен? Пора бы и о стоянке подумать...

— Скоро колодцы будут.

— «Колодцы, колодцы»! Одной водой сыт не будешь.

— Будет всем и похлебка.

— Эх, батыр! Деверек ты мой! Не зря говорят: батыр — как младенец. У меня в пути брюхо к ребрам прилипает. Должна я свежего мясца хоть попробовать, а? Бог милостив, врага пока не видать, а если вот он сейчас выскочит? Да твои голодные джигиты разбегутся, как последние бабы!

Мунке, пряча усмешку, искоса посмотрел на жирную кобылку под Каракатын.

— Ну чего шумишь? Глянь, сколько под тобой мяса!

— Молчи, растяпа! А я, дура, еще ему дочь отдала...

В голове кочевья вдруг поднялся шум. Колотя ногами лошадей и верблюдов, что-то радостно крича друг другу, люди кинулись вперед. Переглянувшись, Кален и Мунке пустились вдогонку. Кочевье спускалось в широкую низину. На большой, истоптанной копытами равнине уже видны были четыре колодца, выложенные кривыми сучьями. Их обступили густо, руки нетерпеливо тянулись к бадьям. Пили жадно, помногу, не отрываясь. Иные норовили ополоснуть лицо и руки. Другие, напившись, выливали остаток воды себе на голову.

Кален облизнул сухие, потрескавшиеся губы. На зубах скрипел песок. С трудом отведя взгляд от воды, он сильно дернул гнедого, тянувшегося к колодцу. Все вокруг было вытоптано до пыли многочисленным скотом богатого аула, с самой весны летовавшего в этом

краю. Скот теперь пасти было негде. Но зато здесь была вода, и Кален решил дать передышку людям, коням и скотине.

Проснулся он рано. Безветренная заря занималась по-летнему кротко, ласково. Несмотря на то, что вчера легли еще до сумерек, на рассвете никто не проснулся, все спали крепким сном. Везде как попало валялись тюки. Стоя дремали нерасседланные кони. В зыбких голубоватых сумерках развьюченные верблюды казались неестественно огромными.

Услышав приглушенный разговор, Кален поднял голову и насторожился. Недалеко от него в тесном кругу сидели с десяток стариков, среди которых Кален узнал Мунке, Доса и Судр Ахмета. Судр Ахмет был явно чем-то взбудоражен и обрадован. Он вдруг сорвал с головы войлочную шляпу и азартно ударил ею по песку.

— Да, да!— крикнул он тонко.— Мы, почтенные старцы шести родов, поднимем его на белой кошме... и тогда...

— Да уймись ты! Хватит!

— А вот и не уймусь! Кто ты такой?

— Тише!

— Не злите меня! А то я...

— Да успокойся ты! Тихо! Вон и Кален проснулся...

Отряхивая полы чапанов, старики чинно поднялись и двинулись к Калену. Кален тоже встал. Он глаз не мог оторвать от белого как снег аргамака, которого крепко держали под уздцы два джигита. Аргамак был горячих теке-жаумитских кровей, жидкая грива его на тонкой длинной шее трепетала при малейшем движении. Конь храпел, выгибая шею дугой, косил огненным глазом. Не удержавшись, Кален быстро подошел к аргамаку, восхищенно погладил тугую атласную шерсть, похлопал по крутому крупу.

— Хорош конь! Чей же такой?— спросил он у подошедшего Мунке.

— Нравится, а?

— И не спрашивай! Так чей же?

— Твой.

— То есть как — мой?

— Кален, дорогой!— торжественно начал старый рыбак.— Благодарный твой народ, который ты возглавил в трудный час... После долгих раздумий мы пришли к решению...

Старейшины разных родов одобрительно кивали белыми бородами. Кален нахмурился и тяжело посмотрел на Мунке. Тот смешался и отвел глаза. Он сразу забыл все торжественные слова, которые собирался сказать, начал бормотать что-то виноватым голосом и наконец совсем умолк. Тут из круга нетерпеливо выскочил Судр Ахмет и звонко завопил:

— Уа, Каленжан!

Его стали дергать сзади за халат, но Судр Ахмета было уже не удержать.

— Когда заклятый враг схватил нас за глотку и... и пробил час испытания, ты, Каленжан, бросил клич и поднял свой славный народ. Все мы собрались под твоим знаменем. Теперь народ твой проспался, продрал глаза, вспомнил древний обычай предков и решил тебя, храбрый наш Каленжан, подобно незабвенному Аблаю, поднять на белой кошме и порво... и провозгласить ханом! Ты теперь будешь первым ханом из черной кости! Кален-хан! Хан Кален! Господи, дожил... дожил я наконец до счастливого дня!

Судр Ахмет растрогался, слезы потекли у него по щекам, в носу стало мокро, и он, отвернувшись, громко высморкался. Калену стало весело. «Что это они — серьезно или нет?» Он строго посмотрел на Мунке. Пряча глаза, тот боком отошел к старикам и растерянно развел руками. Аксакалы, потупив глаза, молчали: не будет им удачи. Все пошло прахом. А как хорошо было задумано. Влиятельные аксакалы шести родов вчера подыскали белого аргамака. Нашли и серебряную сбрую. И сегодня поднялись чуть свет, почистили одежду и с особым тщанием, не жалея воды, совершили обряд омовения. В пути, во время тяжелых переходов положенную по шариату пятикратную молитву читали они кое-как, на ходу, наспех. Зато сегодня, уже не торопясь, отдали должное аллаху — утренний намаз прошел благоговейно. Как истые мусульмане, надолго замирали они в поклонах и обращали потом просветленные лица в сторону священной Мекки. Долго потом еще покоилось на лицах белобородых старцев умиротворенно-благостное выражение, тщательно готовились они к разговору с Каленом. И вот великое событие, освященное предутренней молитвой, вдруг осквернили богопротивные уста этого нечестивца. Судр Ахмет, чувствуя на себе гневные взгляды, старался ни на кого не смотреть.

— Уа, Каленжан! Хан, говорят, обладает умом сорока человек. В этом краю нет никого умнее и храбрее тебя! Не спорь со мной, я знаю, что говорю!

— Замолчишь ты или нет?— Длиннобородый, в белой чалме старик гневно поднял посох и вышел вперед.— Кален, дорогой! Народ решил избрать тебя своим ханом.

— Да что вы, почтенные! Какой из меня хан? Я ведь конокрад. Боюсь, не выйдет из меня хана, хоть искупай меня в молоке белой кобылицы...

— Астафыралла! Не гневи бога!

— Да какая вам разница — хан Кален или просто Кален? Вы одно знайте, дойдет до дела — честно поведу своих джигитов в бой! А за коня спасибо! Давайте соберем людей, вознесем молитву всевышнему...

Один из дозорных, нахлестывая коня, мчался во весь опор к Калену. Услыхав торопливый топот, старики побледнели и со страхом

повернулись к всаднику. Прискакав, тот с ходу скатился с седла и завопил:

— Солдаты!!!

— Много?

— Прямо ужас! Еще пушка у них!

— Далеко?

— К пескам подходят...

Кален повернулся к старику в белой чалме, молитвенно сложил ладони.

— Ну, ата, благослови нас!

Проснувшись от топота и крика дозорного, подбегали со всех сторон джигиты, опускались на колени за спиной своего вожака и тоже молитвенно складывали руки. На востоке, из-за большого бархана, снопом рассыпая первые лучи, медленно поднималось солнце.

Приняв благословение старика, джигиты торопливо бросились к коням. Вскочив на белого аргамака, Кален приказал кочевью как можно быстрей уходить в глубь песков Улы-Кума, а джигитов разделил на две группы. Одну из них он поручил долговязому черному джигиту, другую возглавил сам. Было условлено, что отряд долговязого спешно отправится в сторону приближающегося войска и затаится за барханами. Когда Кален со своими джигитами встретит солдат и ввяжется в бой, долговязый выскочит из засады и ударит врагу в спину.

По широкому следу кочевья солдаты вошли в пески и почти достигли колодцев, когда джигиты Калена с грозным криком понеслись им навстречу. В ту же самую минуту, как и было условлено, долговязый подал знак своим. Его джигиты, мешая друг другу, толкаясь, горяча коней, выскочили из-за бархана. Вырвавшись из теснины на простор, они только было разогнали коней, как вдруг впереди раздался оглушительный грохот. Дрогнула земля, шарахнулись кони...

И хоть пушка ударила всего два раза и оба раза, как потом выяснилось, била она по джигитам Калена, но этот грохот в пустыне в ясный солнечный день был так ужасен, что у долговязого, только что яростно скакавшего впереди тысячи джигитов, едва не выпала из руки шашка. Как подстреленный, припал он к гриве коня, повернул назад, а следом за ним в отчаянной панике кинулись врассыпную и остальные...

— Апыр-ай, а ведь недаром сказано: в какой клубок ни сбей пыль — камнем она не станет. Сколько нас было вчера! Казалось, любого врага разобьем. А прыти на одну драку не хватило. Даже овца и та, когда ее режут, ножками дрыгает,— сказал Кален, покосившись на подавленно молчавшего всю дорогу Мунке. Гнев и досада, накопившиеся в душе, сегодня вдруг вылились в этих горьких словах.

Сивый мерин Мунке шел шагом, пощипывая по обыкновению

травку на ходу. Опущенная на грудь голова Мунке покачивалась в такт ходу. Смысл горьких слов Калена не сразу дошел до старого рыбака. После некоторого молчания он встрепенулся и слегка кивнул головой.

— Ты прав, ты прав... Клубок пыли камнем не станет...

Через минуту к нему вернулось прежнее безразличие. Кален еще раз искоса взглянул на старика. Он не узнавал его. На море, в рыбачьем ауле кормилец и труженик Мунке был деятелен, опытен и смел. Будто пророк, на несколько дней вперед безошибочно предугадывал он любые намерения своего старого приятеля Арала, то день и ночь ревущего под землянками, то нежно плещущего по белому песку. Свежий человек, глядя с берега на беснующиеся волны, бывало, испытывал ужас, а Мунке только усмехался в усы. Долгие годы жизни бок о бок сроднили море и рыбака, и Мунке все чаще и чаще находил в Арале черты живого человеческого характера. Испытал он и его бессмысленную жестокость, и необузданную силу. Но знал также и его доброту, нежность и щедрость. Раскинувшись под благодатными лучами солнца, нежится, бывает, море в безветренной тишине, и напоминает тогда оно добродушного, с открытым сердцем человека. Иногда волны ворчливо обрушиваются на берег, но нет в них ни гнева, ни злобы. Так любвеобильная мать поругивает своих детей, стараясь за напускной строгостью скрыть свою нежность, готовая тут же обласкать их. Все знал старый рыбак о море, и не было в ауле человека трудолюбивее, деятельнее его.

И вот Мунке теперь сдал. С тех пор как спрятал он свою лодку в камышах и со словами: «Ия, аллах, поддержи нас!»— оседлал сивую вислобрюхую клячу, он сам вдруг стал похож на лодку без руля, без весел и плыл, плыл по течению в этом великом людском потоке.

— Может, пора по домам?— неуверенно предложил Мунке после долгого молчания.

Кален в гневе ударил каблуками коня и рысью стал нагонять ушедшее вперед кочевье. Разбрелись, разбежались кто куда джигиты, старики и женщины сорока родов, ненадолго собравшиеся вместе, и осталось при Калене семей сорок из рыбачьего аула. С ними он метался между глухих барханов Улы-Кума и Киши-Кума. Не давая остыть верблюдам, беглецы почти все время проводили в пути. Все исхудали, обросли, почернели. При Калене никто не осмеливался открыто выражать свое недовольство, но за его спиной роптали, проклиная судьбу, связавшую их с этим конокрадом. У женщин и детей потрескались губы, ввалились глаза, покрылись коростой руки и ноги. Постоянный страх не давал людям спать. От малейшего шороха беглецы вскакивали среди ночи или под утро, в пору самого сладкого сна бросались к лошадям и верблюдам. Замученные походной жизнью, то и дело принимались плакать дети.

— Уйми его!

— Заткни ему рот!

— Забей ему хайло песком!— раздраженно кричали со всех сторон взрослые.

Один Кален держался невозмутимо. Следом за ним ехало около сорока самых надежных джигитов прибрежья. Стоило кочевью встревожиться отчего-то, как Кален с джигитами галопом пускался туда, откуда мнилась опасность. Он знал, что если его настигнет враг, то эта горстка отчаянных джигитов будет защищать детей и женщин до своей смерти.

Однажды он расположил кочевье далеко в песках, среди недоступных барханов, а сам с Мунке, Досом и десятью джигитами отправился в аул, раскинувшийся неподалеку. Аул принадлежал богатому роду Торт-Кара. Бурные события, всколыхнувшие степь, его не коснулись. Жену Калена связывали с этим аулом дальние родственные отношения, и, вспомнив об этом, Кален решил разжиться едой для изголодавшегося своего кочевья. Боясь отказа, Кален взял с собой двенадцатилетнего сына. Когда мальчик впервые навещает родственников матери, ему преподносят щедрые подарки — так велит обычай. При виде жиена, приехавшего с поклоном, наверняка раскошелится самый последний скупердяй.

В большой аул на равнине они приехали к вечеру. Мунке, Дос и Кален с сыном направились к белой юрте, стоявшей на отшибе. Остальные джигиты, разделившись по трое-четверо, тоже разъехались по юртам.

Хозяин юрты, где остановились Кален и его спутники, оказался умным, влиятельным в роду Торт-Кара человеком. После короткого разговора он сразу понял, зачем пожаловали уважаемые гости, принял их со всем возможным радушием, а потом, когда гостям постлали постель, вышел, подозвал джигита, услуживавшего гостям, и велел ему собрать почтенных мужчин со всего аула. После недолгого совета решено было дать гостям косяк лошадей и отару овец.

Кален был тронут. Столь неожиданная щедрость незнакомых людей в тяжкий для него час обрадовала его, и впервые за долгое время лицо его подобрело.

В темной юрте, среди храпевших хозяев и гостей лежал Кален с открытыми глазами. Кони за юртой беспокойно перебирали ногами. Видно, остыли, отдышались и теперь просились на выпас, в ночную прохладу. Под одним чапаном с Каленом спал его сынишка, прижался к горячему боку отца и сладко, безмятежно посапывал...

Утром прискакал караульный, которого вчера с вечера выставили на пригорок за аулом. Кален, Мунке, Дос вскочили, схватили оружие и бросились вон из юрты. За аулом нарастал топот, сухо хлопали выстрелы, кони на привязи храпели, взвивались на дыбы, а стригунок, на котором приехал сын Калена, оборвал чембур и куда-то ускакал.

— Скачите к кладбищу! Спасайтесь! Меня не ждите!— кричал Кален, лихорадочно размышляя, как быть с сыном. Джигиты галопом поскакали к кладбищу за аулом. Один Мунке беспокойно кру-

жился на месте, поджидая Калена. Кален наконец вскочил в седло, белый аргамак рванул и понес, и Кален едва успел подхватить подбежавшего сына, поднял его и посадил сзади.

Тягуче звенели над головой пули. Кален инстинктивно припал к гриве, оглянулся. Солдат на игреневом коне яростно настигал его. Игреневый конь легко перескочил через жер-ошак перед белой юртой. Верблюжата и телята, привязанные к аркану, испуганно шарахнулись, едва не сорвавшись с привязи. Солдат на полном скаку вдруг бросил повод, вскинул короткую кавалерийскую винтовку... Одна пуля обожгла ухо Калену, другая — попала в коня Мунке, надсадно скакавшего впереди на расстоянии двух-трех бросков. Вислобрюхий мерин споткнулся, захрипел и ударил оземь, подняв клубы пыли. Мунке перелетел через его голову и скрылся в пыли. Кален стрелял назад, пока не свалил настигавшего их солдата, потом огляделся и увидел ошалело выскочившего из пыли старого рыбака. Протянув руку, Мунке побежал за джигитом, проскакавшим мимо, но тот не остановился.

Боль и ярость охватили Калена. Он выругался. Бешеный взгляд его выхватил узкую песчаную полоску, стремительно приближавшуюся с правой руки. Обернувшись, он схватил уцепившегося за пояс сына, оторвал его от крупа и, не взглянув даже в вытаращенные от ужаса детские глаза, швырнул его на песок. Потом высвободил из стремени левую ногу, нагнулся и подхватил стоявшего в растерянности Мунке.

Усталое кочевье к вечеру остановилось в низине. Развьючили верблюдов. Взмыленных лошадей расседлывать не стали, связав узлом чембуры, поставили за большим барханом. Повесив оружие на седельные луки, джигиты взялись за лопаты — начали рыть колодец. Скинув рубахи, закатав штаны выше колен, джигиты по двое спускались в яму и копали без передышки. Скоро их уже не стало видно, только влажная супесь вылетала на отвал да слышалось из ямы надсадное дыхание.

Старики толпились у колодца. Немой, тревожный вопрос застыл на их лицах: «Будет вода или нет?» Глаза у всех провалились. Вчерашняя стычка возле аула рода Торт-Кара их совсем подкосила. Три джигита были вчера убиты, один тяжело ранен... И сын Калена остался у врага. Прискакав на кладбище, джигиты залегли между могил и начали отстреливаться. Потеряв несколько солдат, каратели поскакали в аул за подмогой. Кален подобрал убитых и кружным путем ушел в пески, туда, где накануне оставил кочевье. Не мешкая, он поднял всех на ноги, и почти сутки без передышки кочевье уходило все дальше и дальше. Они бы шли и еще, нигде не останавливаясь, но жажда доконала и лошадей, и людей, и пришлось остановиться здесь, среди барханов. В низине густо рос зеленый кияк — верная примета того, что тут неглубоко вода.

Старики вытягивали шеи, нетерпеливо заглядывая в черную яму колодца.

— Эй, как там? Вода не показалась?

— Нет еще... Но влаги прибавилось.

— Устали?

— Сил нет...

— Тогда вылезайте! Эй, чей теперь черед? Живо!

К колодцу подошел Кален, ведя коня в поводу. Белый аргамак всхрапнул, потянулся к влажному песку. Старики обступили Калена.

— Дорогой, все устали... Сколько же можно с детишками да бабами мотаться по степи?

— Да, нужно смириться.

— Поклонимся урусам, может, и помилуют...

— Правильно! Иначе все мы тут загнемся!

Один Мунке молчал. Кален повернулся к нему.

— А ты что думаешь?

— Э, что я могу думать? Велика степь казахов, только как начнут тебя ловить урусы, норки не найдешь, где спрятаться.

— Так-то оно так...

— Сам знаешь, сказано: где глубоко — там и утонешь.

— Так...— Кален помолчал.— Ну что ж... Только разве мы собирались разбить их? Ведь когда к горлу приставят нож, даже и овца ножками дергает! Так и мне казалось... Ну да ладно! Только за бабой моей...— Кален запнулся и помрачнел.

Жена его, узнав, что единственный их сын попал в руки русских, упала на шею лежавшего рядом верблюда и долго не приходила в себя. Ехала она потом как в бреду, и всю дорогу женщины поддерживали ее с обеих сторон.

Кален с трудом сглотнул комок, стоявший в горле, почувствовал песок на зубах, сморщился:

— Ну прощайте! Бабу мою приглядите!

Он медленно сел на аргамака, тронул было его каблуками, но Мунке ухватился за повод:

— Что это ты задумал? Куда собрался?

— Как был я одинок, так и сдохну одиноким волком...

— Тогда хоть скажи...

Но Кален вырвал у Мунке повод и пустил коня наметом. Пронизанные багрянцем заходящего солнца, будто подпаленные снизу, пламенели на западе редкие облака. Одинокий всадник, будто заблудившийся в степи пыльный смерч, быстро скакал в сторону облаков. «Эх, как бы не погиб он сгоряча!»— горько подумал Мунке. Потом медленно обвел взглядом молча стоявших вокруг людей и, решив, что теперь, видно, придется взвалить ношу на свои плечи, решительно кивнул двум джигитам:

— Теперь вы спускайтесь в колодец!

XXVII

Степь высохла, и трава поредела. Давно уже стояли ясные знойные дни, ветра не было, и солнце каждый день висело над головой. Джайляу будто вымерли, только по пыльным склонам холмов торчали побуревшие бугры юрт, будто могильные надгробья. На расстоянии двух голосов от бедного аула, в низине Акмарки серебрились белые аулы. В стороне от других стояли три ослепительно белые юрты с закрытыми тундуками и спущенными войлочными пологами. На улице не было ни души. Только большой черный пес с белыми отметинами на лбу, возле глаз, лежал в тени крайней юрты. Пес жарко дышал, носил боками, длинно высунул красный язык, капал слюной. Он обегал весь аул в поисках тени и теперь измученно растянулся на теплой пыли, прижавшись к юрте.

Время от времени появлялись оводы. Черный пес раскрывал глаза, чутко навострял уши, и на морде у него появлялось такое выражение, будто он говорил: «Ай, да отстань ты наконец, холера черная, дай покою!» Овод долго жужжал над ним, потом пропадал. Пес некоторое время недоумевал, куда делся овод, потом успокаивался, вываливал язык и громко хакал. Но вдруг яростно вскакивал, тыкал себя мордой в мягкий пах, щелкал зубами и долго потом разочарованно глядел вслед улетающему оводу. Вздыхал, несколько раз поворачивался вокруг себя, чтобы поудобнее лечь. Но едва ложился, как начинало у него покалывать, свербить там и сям, он наугад зарывался носом в мягкую шерсть, ловил блох. Ища тени, прибегали глупые ягнята, топотали, пес косился на них налитыми кровью глазами, грозно рычал, пугал — вставать ему было лень.

Над юртой пронесся горячий вихрь. Забрав в себя всю пыль с рыжего холма за юртой, напылив в ауле, вихрь помчался дальше в низину. Оттуда он долго не мог выбраться, крутился там, вздымался маленькими смерчами, потом все-таки набрался сил и переметнулся на меловой холм. У подножия холма было три колодца, за ними солончаковая проплешина с мягкой пылью и жидкими рядами камыша. Едва домчавшись до солончака, вихрь из серого сразу стал белым, взлетел на верхушку белого холма, остановился там и стал расти, будто хотел оглянуться и решить, куда ему теперь броситься. Пес следил за ним одним глазом и вдруг вскочил. Вихрь помчался опять к белым юртам, в ауле закричали женщины:

— Да будь он проклят! Опять вихрь! Крепче завяжи тундучную веревку!..

Вихрь пролетел, и над аулом установилась обычная ленивая тишина. Только несколько скотниц ходили по улице, что-то вытряхивали, выбивали и собирали. Из юрты лениво вышел Алдаберген-софы, в руке он держал бухарский медный чайник. На массивную тушу его накинут был мягкий чапан. Полы просторного чапана доходили софы до самых пят, и от этого казалось, что он не идет, а плывет. Ал-

даберген отошел на расстояние в полкрика и, повернувшись спиной к аулу, грузно присел.

В это время из ложбины выскочил всадник. Несмотря на жару, скакал он быстро и держал прямо к крайней большой белой юрте, где жил волостной Кудайменде. Сначала Алдаберген удивился быстрой езде путника, но, когда разглядел его длинные ноги, колени которых доходили чуть не до ушей коня, зажмурился и замолился. Он не успел еще ничего сделать, но тут у него и охота пропала, вскочил, стал торопливо завязывать шнурок штанов. «Вот, дьявол, апыр-ай! Выходит, он жив! А болтали: подох он и сына взяли. До чего зловеща езда его! А Кудайменде лежит себе спокойно...»

Кален осадил у крайней юрты. Одет он был по-зимнему, в овечью шубу, на голове — мерлушковый тумак. Быстро соскочил с коня, накинул повод на косяк двери.

— Кто это? Узнай-ка!— послышался из юрты голос Кудайменде.

Кален, пригнувшись, шагнул в юрту, остановился на секунду со света, зажмурился, потом открыл глаза. Перед ним стояла удивленная байбише. Кален слегка толкнул ее плечом, байбише упала. Кудайменде лежал на никелированной кровати в глубине юрты, положив на спинку толстые волосатые ноги. Кален кинулся на него. Кудайменде даже крикнуть не успел, Кален схватил его за горло, сквозь жир ощутил хрящи гортани, сжал, чувствуя, как под пальцами мягко трещит. Кудайменде скинул ноги со спинки, завозился, глаза выкатились, изо рта пошла кровавая пена. Байбише завизжала, завыла.

Кален поглядел — Кудайменде обмяк, глаза остановились, начали стекленеть. Тогда Кален вытер запачканные кровью руки о его рубашку, перешагнул через кричавшую байбише, вышел.

— Эй, Кален! Свет мой, скажи, зачем приехал? – спросил Алдаберген, чувствуя дрожь в коленях.

— Расчет произвожу, аксакал,— усмехнулся Кален.

У Алдабергена и язык отнялся. Кален ударил белого аргамака, с давнишней воровской сноровкой вскочил на ходу верхом. Отъехав от аула, Кален остановился, чтобы оглядеться.

На сто верст вокруг не было такого коня, который мог бы догнать белого аргамака. Да и вдвоем-втроем за ним побоятся пуститься в погоню. Пока они соберут людей, он будет далеко. Не обращая внимания на шум и плач, доносившийся из аула, Кален пригнулся и крупно поскакал дальше.

Это был сильный конь, неутомимый в долгих дорогах. Скачи на нем хоть с утра до вечера, он все так же силен и свеж. За Каленом гонялись много раз, он знал толк в погонях. Он всегда берег силу коня и лишь в момент опасности пускал его наметом.

XXVIII

Богатый аул широко раскинулся по лугу. В самой большой из всех белых юрт — в восьмистворчатой юрте Танирбергена собрался народ. Все хотели повидаться с высоким гостем, приехавшим из уезда. Многие боялись входить, стояли снаружи, поглядывали в щели.

Гость, бывший писарь Кудайменде, по прозвищу Коротышка, разговаривал только с Танирбергеном, расспрашивал о новостях в ауле. Танирберген был спокоен, как всегда, невозмутим, он шел в гору — восставших рыбаков разбили, кого надо взяли. Еламана, Рая услали в солдаты, а сына Калена отправили в уезд под вооруженным конвоем. Это было сделано тайком, под покровом ночи. И никто, кроме самого мурзы, об этом не знал. По аулам пополз слух, будто в последнем бою на земле рода Торт-Кара погиб и сам Кален. Мурза не знал, насколько достоверны эти слухи. Но если даже не околел разбойник, то черта с два улизнет от кары урусов, преследующих его по пятам. Предусмотрительный мурза на всякий случай посадил по аулам верных своих людей. Из-за смуты черни богатый аул дольше обычного ныне засиделся в урочище Ак-Чули. До пыли все выпасы потравил скот. И только вчера по воле молодого мурзы часть большого аула перекочевала на новую летовку.

Встретил гостя Танирберген с почетом. Коротышка пополнел еще, весь заплыл жиром, носил теперь очки. Возлежал он на самом почетном месте, на пестром хивинском одеяле, облокотясь на пуховую подушку. Говорил важно, похрипывал, вспоминал вдруг о Жасанжане, все учившемся в Оренбурге.

— Странный он какой-то. Не понимает, что сейчас мир раскололся надвое. Буржуазия...— Коротышка запнулся, подумал, что никто тут не поймет этого слова.— Он хочет выбрать себе местечко посередине, между богатыми и бедными. Нет, мой почтенный, не выйдет. Не будет этого, говорю я...

Кошма снизу юрты была приподнята, тундук открыт, двустворчатая дверь широко распахнута. В юрту потягивало свежим запахом молодой травки, которую скот еще не успел притоптать. Вошла Акбала, принаряженная. На голове ловко сидел белый жаулык, белое платье до полу, синяя плюшевая безрукавка в талию. Подошла учтиво, развернула перед гостем шелковую, с кистями скатерть. Потом села чуть ниже Танирбергена, стала взбалтывать хмельной кумыс в чаше. Коротышка оживился, хрипеть бросил. О молодой токал[1], на которой недавно женился Танирберген, он слышал. Но никак не думал, что она так хороша. Приподнявшись, приоткрыл толстый рот, стал глядеть на бледное, печальное лицо Акбалы. Танирберген поморщился, прикусил ус.

— Бери кумыс!— подвинул он чашку своему гостю.

Дела у Коротышки были срочные. В волостях Кабырга и Орда-

---

[1] Младшая жена.

конган сборы с населения шли туго, и он с двумя солдатами отправился по аулам. Но, приехав в аул Танирбергена, он застрял, забыл на время про дела, выжидал, когда Алдабергена не будет дома. И вот сегодня все пошло хорошо, вечером должен он был встретиться в овраге с белощекой токал софы.

Уже вечерело, когда Коротышка вышел будто бы прогуляться и забрался в овраг. Сидел он там долго и начал беспокоиться. Выглядывая из-за молодого тала в овраге, он нетерпеливо глядел в сторону аула, когда совсем рядом раздался шорох. Коротышка напугался и живо присел. В кустах шелестело. Очки у Коротышки со страху запотели. Кусты, куда он глядел, затряслись, раздвинулись, и младшая токал софы Алдабергена, слегка конфузясь, подошла к Коротышке. Сердце у него гулко заколотилось, голос сразу пропал. Молодая токал тоже как будто робела, закрывала лицо шелковой шалью, отворачивалась. «Ай, белая, ай, полненькая!»— подумал Коротышка и запустил руку, хотел грудь пощупать. Токал захихикала. Коротышка засопел, задышал, схватил ее, но она вывернулась, осмелела.

— Мурза джигит...— она ожгла его взглядом из-под шали.— Смотри, мой старик ревнив...

— Э, да черт его!.. Говорят, чего ревнуешь — собаке рыжей достанется.

Токал засмеялась еще смелей, открыла лицо. Руки у джигита вспотели, по животу холод пошел. Боже, до чего ж бела, сатана!

— Мурза джигит, чего молчишь? А то я пойду — скучно!

Коротышка испугался.

— Что ты, что ты!..— забормотал он.— Зачем же, давай посидим, гм... Полежим, а?

Он повалил ее, она все хихикала, отталкивала его, но слабо, как вдруг оба услыхали конский храп. Конный, воровски кравшийся по оврагу, показался им сперва софы Алдабергеном. Токал юркнула за куст. Коротышка, приподнявшись, поправил очки, посмотрел на всадника и тут же упал, побелел и пополз к дрожащей под кустом токал. В беспамятстве он пытался подлезть под нее и только приговаривал:

— Пропал... пропал... Совсем пропал...

— Кто это? Мой старик?— еле слышно шепнула токал.

— Кой черт старик! Кален!..

— Кален?

— Он, пес! Уши коня прямо коленями достает! Теперь... Что делать? Пропал!..

Коротышку начало колотить, язык не ворочался.

— Он меня убьет... Ку... куда спрятаться?

Токал захихикала, приподняла подол платья.

— Лезь туда, откуда на свет появился! Хи-хи-хи...

— Молчи! Дура!

Кален проехал еще немного, слез с коня, подтянул подбрюшник.

Поглядел внимательно на байский аул, опять сел верхом. Пробравшись еще по оврагу, он вдруг выскочил наверх и кинулся к большой белой юрте. Его увидела байбише Кудайменде, взвизгнула, ворвалась в юрту, стала прятаться за тюки. Танирберген посмотрел в щель и изменился в лице.

— Берегись! Кален!

Два солдата, сопровождавшие Коротышку, схватили винтовки. Танирберген сразу опомнился, успокоился.

— Не стрелять!— тихо сказал он.— Схватим живьем!

Кален осадил коня у самой юрты, быстро соскочил, взял повод левой рукой, правой поудобнее перехватил толстый доир, не выпуская повода, шагнул в юрту. Солдаты стояли по обе стороны двери, враз крикнули:

— Руки вверх!

Кален не обратил на них внимания.

— Держите его!— закричал Танирберген.

— Стой! Я сам к тебе пришел. Освободи жену и сына!..

— Вяжите!— закричал опять Танирберген.

— Вот, значит, как, мурза?— с дикой веселостью сказал вдруг Кален и поглядел на солдат. Сразу увидел — оба здоровы, неповоротливы. Покорно вздохнул:— Ну что ж, вяжите...

Один солдат поставил винтовку к стене, взялся за веревку, Танирберген дал. Кален пригнулся, схватился за ствол винтовки второго солдата, вырвал. Первый солдат бросил веревку, повернулся за винтовкой. Кален ударил его прикладом сзади по затылку. Танирберген бросился на пол, мигом забрался под кровать. Кален не видел, куда он спрятался, растерялся, в это время несколько человек, сорвав дверь, с кольями ворвались в юрту.

— Держите его!— опять закричал Танирберген из-под кровати.

Кален вдруг как-то поскучнел, ссутулился, сопротивляться не стал. Ударил винтовкой о колено, сломал приклад в шейке, потом, натужась, согнул ствол, бросил. На него накинулись, стали бить, свалили, заломили назад руки, потащили на улицу. Бабы, увидев кровь, озверели, завизжали.

Но тут подоспел Коротышка, расталкивая народ, подошел к Калену, пнул ногой. Кален покосился на него снизу заплывшим глазом.

— Прекратить!— тонко закричал вдруг Коротышка...— Человек этот принадлежит власти! Мы его будем судить!

Люди неохотно отходили, ворчали. Калена подтащили к стенке юрты. Солдаты стояли над ним, глядели с ненавистью. Тот, кого он ударил, держался за голову, постанывал. Кален как сломал винтовку, так не сказал больше ни слова, Лежал, ждал, пока во рту наберется побольше солоноватой крови, потом сплевывал. Целую лужу наплевал, терся щекой о траву и думал тоскливо: «Сшибли, гады! Всех сшибают, кто против них. Ну, ничего, погодите! Раньше смерти я не умру. Эх, сшибли меня, плохо, плохо!..»

КНИГА ВТОРАЯ

МЫТАРСТВА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Опять подошла, приступила поздняя осень. Опять по всей беспредельной степи из конца в конец гулял, посвистывал морозный ветер, свивал песок, трепал кустарник.

Маленкое, куцее кочевье еле дотащилось к вечеру до впадины Куль-Коры.

— Аул! Вон аул!— закричали те, кто сидел на верблюдице.

Два казаха и две молодые женщины, понуро шагавшие впереди, остановились, подняли головы и стали разматывать завязанные рты.

— Может, зимовье заброшенное?

— Нет, аул, аул! Вон скот вокруг пасется!— наперебой кричали с верблюдицы.

— А! Ну слава аллаху! Значит, верно шли. Не заблудились.

— А здесь и Абейсына зимовье? Небось богато живет?

— Ого! Скупщик ведь! Вся шерсть через него на базар идет... Глянь, глянь, Калау, пастбище-то какое, а? Полынь-то какая! А верблюжья колючка, а типчак, а? Эх, благодать для верблюдов!

— Н-да... И в котле небось не пусто. Как думаешь, накормит он нас?

— Ладно, ладно! Чего заранее-то сомневаться?

— А! Ну и хрен с ним, накормит, и ладно.

Поднимая белую пыль, оживившееся кочевье быстро стало спускаться по рыхлому меловому склону. Возбужденно оглядываясь, Тулеу заговорил с братом о здешних пастбищах, о травах и покосах, и на сердце у него становилось все горячей.

За ними еле поспевали жены Тулеу. Они поглядывали снизу на своих ребятишек. Ребята качались в люльках по бокам верблюдицы, хныкали, просили есть и терли глаза.

— Потерпите,— наперебой уговаривали их матери.— Вон, вон уж и дом виден. Это дом самого Абейсын-аги! Сейчас приедем. А ну тихо, говорят вам! Вот приедем, войдем в дом... А потом — ой, что и говорить, печь растопят, жарко всем станет, поставят перед вами горячий котел. И будем мы друг друга уговаривать: «Бери, ешь! Нет, ты ешь!»

Около аула встретился им пастух. Они спросили зимовье Абейсына. Пастух показал на большой дом, огороженный высоким камышовым дувалом. Ребятишки, толкаясь, высовывались из люлек, нюхали издали кислый запах кизяка, перемешанный с дымком.

Перед самым домом все вдруг заробели, даже во двор не вошли. Послали сказать о своем приезде, а сами остались на улице; вытянув шеи, жадно заглядывали через дувал в окно. Огня в доме еще не было, и в большое окно передней комнаты они видели, как в печке жарко тлеют угли. Когда из дому вышел приземистый человек, они даже переглянулись — так непохож он был на прежнего Абейсына.

Став сборщиком, он постоянно бывал в городе, подружился с татарскими купцами, перенял от них все манеры, стал носить черную плюшевую тюбетейку, черный заморский бешмет, стал опрятен и благочестив.

Вглядевшись в подошедшего Тулеу, он сложил руки на животе, зашевелил пухлыми пальцами:

— Ну?

— Приехали, Абейсын-ага.

— Как это?

— Нас постиг джут, мы обнищали.

— Да-а-а... Цена батыру — одна пуля, цена баю — один джут. Ну и что?

— И вот едем... Приехали.

— Куда?

— К вам, Абейсын-ага.

— А кто ты такой? Что-то я тебя не помню.

— Вы меня знаете, Абейсын-ага. Я Тулеу.

— Тулеу?

— Ну да, Тулеу. Вспомнили?

— Нет, не знаю такого.

— Как же?.. Прошлой зимой с братом Кудайменде — помните, он тогда с учебы возвращался?— вы у нас ночевали. Помните? И потом, когда в город ездили, тоже у нас останавливались. Одинокий такой был дом в ложбине...

— Ложбина?

— Ну да! Одинокий дом в ложбине. Тулеу...

— Нет, не помню.

— Как же так? Ага-еке-ау...

— А, брось! Деловой человек где не ночует, с какой бабой не переспит! Удержишь ли всех в голове?

Абейсын зевнул и отвернулся. Тулеу поглядел на крутой затылок сборщика, на багровую шею, распиравшую воротник бешмета, на круглую, как бы ватную спину — и сразу вспотел.

«Ойпырмай!»— с ужасом подумал он, переминаясь и таращась по сторонам. В степи вечерело. Холодное солнце на глазах проваливалось за увалы. Тулеу вдруг зазнобило, он передернул плечами, представил себе детей, жен, престарелую мать, ожидавших его за дувалом, и кинулся за уходившим уже Абейсыном, схватил его за рукав.

— Ага-еке-ау, смилуйтесь! Я ведь с детьми! На ночь куда же мне теперь?

— Нечего было детей плодить.

— Как же так? Мы ведь мусульмане...

— Отстань! Какой я тебе мусульманин?

— Астафыралла! Сколько раз вы у нас ночевали... Ну хоть за плату пустите!

Абейсын приостановился. Долго разглядывал носки своих сафьяновых сапог, думал. Потом без интереса спросил:

— А что у тебя есть для продажи?

— Верблюдица-трехлетка...

— Трехлетка? Гм... А еще?

— Верблюжонок. Двухгодовалый. Еще ноздри не пробивали.

— Ноздри... Гм! Ну что ж, посмотрим.

— Да что смотреть? Скот никуда не денется. Сначала бы детей устроить в тепле, и мать у меня заболела...

Крупную закутанную старуху, копной сидевшую на верблюдице, Абейсын узнал сразу. И сразу вспомнил ночь, мороз, одинокий дом в ложбине и как он останавливался там с Жасанжаном, вспомнил Еламана и Рая в кандалах, и сердце его на секунду заныло при мысли о времени, которое прошло.

И старуха его узнала, нахмурилась, потом сдержала себя, поздоровалась. Абейсын промолчал. Не взглянул он и на женщин, только сплюнул длинно и сразу занялся верблюдами. На трехлетку он рукой махнул.

— Дерьмо. Хуже моих годовалых сосунков.

— Ага-еке-ау...

— Да брось ты свое ага-мага!

Потоптался возле двугорбого верблюжонка. Пощупал грудь, запустил толстые пальцы в шерсть, подергал, потом приподнял хвост.

— И этот не лучше. На базаре на такого никто и не глянет. Узкогрудый, вислогорбый... Пройдет немного, все бока сотрет. Даром отдашь — не возьму.

— Да как же так? Ага-еке... Он же чистейшей породы! Чистокровный! Мы же с вами мусульмане!

— А, да пошел ты со своим мусульманством! У торговли своя вера. Гм!.. А верблюдицу не продашь?

Верблюдица, на которой сидела старуха с детьми, была хороша: рыжая, пышношерстая и голенастая. Абейсын, как ни старался, не выдержал все-таки, сморщился от удовольствия.

— Таких тоже не очень-то покупают,— заторопился он,— но все-таки, а?

Старуха рассердилась, прищурилась надменно.

— Сынок!— позвала она, и Тулеу понял, что не ночевать им у Абейсына.— Сынок! Поехали в другой аул. А то этот скупщик меня сейчас торговать начнет.

— Хо-хо-хо!— залился Абейсын.— Шерсти на тебе мало, шерсти мало... Придачу дадут — не возьму! Хо-хо!..

Тулеу крякнул, потоптался, огорченно высморкался и послушно повел верблюдицу вдоль дувала. Ребятишки заревели.

— А ну тихо!— закричала старуха.— Выброшу сейчас всех! Скулят, как щенки, душу выматывают! Не дала бы пожрать, если б что было?

— Дети ведь, апа...— сказала снизу Айганша.

— Что?— Старуха грозно колыхнулась, долго разглядывала сверху понуро шагавшую Айганшу.— У тебя спрашивают?

Айганша смиренно промолчала.

— Ну и помалкивай.

Айганша поморгала, поглядела на ребятишек.

— Рассказать вам сказку? Сказка впереди, а вот она, присказка. С торчащими ушами, с красными ногами, с длинной гривой, с длинным хвостом...

Она понимала, как маялась на верблюдице старая больная мать. Видела она беспомощность и досаду старшего брата, жалела голодных, замерзших ребят и страшилась темной мрачной степи. Все теснее обступали их мохнатые песчаные бугры, все сильней петляла тропинка между кустами прибрежного тузгена и джингила. Ноги вязли в холодном сыпучем песке.

Скоро начался камыш. Редкий, сухой, он шуршал и посвистывал под ветром, и при взгляде на него казалось, что во всей земле уж не осталось больше жизни. Небо впереди было мрачно, и за однообразно вздрагивающим, наклоняющимся камышом, за холмами с курящимися мелким песком вершинами отдаленно ухало, и чувствовалось, как вздрагивает под ногами земля.

Свесив голову, впереди печально и неуверенно шагал Тулеу. Айганша то и дело прикрывала лицо локтем от ветра. Сидевшие на верблюдице зябко ежились, кутались во всякую рвань, все норовили повернуться к ветру спиной.

Солнце зашло, и на всю степь пали тени. Навстречу путникам время от времени проносились по мертвой земле перекати-поле. Гулкий ритмичный грохот впереди все приближался, и уж в перерывах между ударами слышно стало злобное шипение. Степняки никак не могли понять, что это море, пока вдруг им не открылось необозримое темное пространство волн с траурно белеющими вершинами, пока вдруг не увидали они однообразно-грозную картину теснящейся и грохочущей у берега воды.

Кочевники испуганно остановились и долго дышали острыми запахами соли, свежести и водорослей.

— О всемогущий владыка!..— запричитала старуха.— Какие испытания ты нам уготовил?

Она помолчала, со страхом оглядывая море, потом напустилась на сына:

— Покоя нам не давал, все рвался к морю! Вот оно, гляди теперь... Вот эта, что ли, твоя счастливая страна? Будь она проклята!

Никто ей не ответил, все молчали. Замолчала надолго и старуха.

Подумала о своих болезнях, вспомнила покинутый дом, долгую дорогу по холодной степи, унижение перед наглым сборщиком, горячую печь в его доме и не утерпела:

— Просторна наша земля, а души людей закаменели!

Айганша сразу поняла, кого имеет в виду мать, вытерла глаза и через силу улыбнулась.

— Ну, апа! Не горюй! Мы же больше ни к кому не просились...

И Тулеу стало страшно. Но назад пути уже не было. И с печалью и страхом в душе он все-таки повел свою семью дальше, по берегу ревущего загадочного моря.

II

Как ни хитер был Абейсын, а все-таки вышла у него промашка. И вот как было дело.

На другой день с утра Абейсын разъезжал по соседним аулам и собирал шкуры забитого к зиме скота. Настроение у него было прекрасное. Любил он приехать в аул, любил разогнать брехавших собак, полюбоваться на жилье в степи, пусть даже и бедное, но пахнущее дымом, кизяком, молоком. Любил мять шкуры, разворачивать их на земле, торговаться, узнавать новости, взваливать шкуры на верблюдов и погружаться потом по дороге к следующему аулу в свои торговые расчеты.

Так он провел все время до обеда, а вернувшись домой, застал у себя гонца Танирбергена.

— Тебя мурза зовет!— тут же передал гонец.

Абейсын ухмыльнулся, отвел взгляд от гонца и не торопясь пошел сказать, чтобы подавали обед. Вернувшись, он сел, сложил на животе руки, завертел пальцами. Эту привычку перенял он у Темирке.

— Эй, сборщик? Оглох? Мурза велел, чтобы тут же ехал!

— Заткнись! У меня свои дела.

— Успеют твои дела. Мурза ждет!

— Поезжай...

Изумленный гонец ускакал, а Абейсын принялся за обед. Ехать к мурзе ему было не ко времени, но делать было нечего, мурза не Тулеу, и шутки с ним плохи. Тепло одевшись, Абейсын тронулся в путь. В степи морозило, как и вчера, посвистывал ветер, но Абейсыну было жарко от мяса в животе и от шубы и хотелось распахнуться. Но он не распахнулся, а надвинул поглубже на лоб лисий тумак и пустил коня рысью против ветра. Взобравшись по крутому склону Куль-Коры в сторону Бел-Арана, он выехал на широкую караванную дорогу. Жаркие бока коня сквозь сапоги согревали ему ноги, дорога была ровна и просторна, и он не беспокоился больше о пути, знал, что дорога эта идет через Ак-баур, через аул мурзы. Он отпустил поводья и задумался.

Только что вернулся он из Челкара, останавливался по дороге

у мурзы — передал выручку за проданных на базаре коней. И теперь стал размышлять, по какому же делу вызывает его мурза.

«Что-то учуяла лиса!— думал он, покачиваясь в седле.— Но что? Где я маху дал?» Он закрывал глаза, и тогда лицо его оплывало, и казалось, что он спит. Но он даже не дремал, а думал по-прежнему о скоте, о ценах на базаре, о своих сделках и чаще всего — о мурзе.

На полпути к Ак-бауру он стал волноваться от предстоящей встречи с мурзой, встряхнулся и решительно тронул тяжелым каблуком саврасого. Конь заторопился и поскакал шибко. Солнце уже садилось, когда Абейсын, разгоняя собак, въехал в богатый аул мурзы.

В ауле было многолюдно. Заболев чахоткой, недавно вернулся из города Жасанжан, и теперь в ауле покоя не было от гостей. Перед домом Танирбергена стояли на привязи оседланные кони, тускло посверкивали отделанными серебром сбруями.

Абейсын знал, что мурза только ночует у молодой жены, а гостей принимает всегда в большом доме байбише. Привязав коня, он еще раз оглядел аул и, округлив спину, пошел в дом байбише.

Аксакалы и карасакалы, тучно темневшие в глубине комнаты, не сразу узнали Абейсына, кое-кто даже и ладонь ко лбу приставил, будто на солнце глядел. А узнавши, зашевелились, приятно загудели — вежливо и с достоинством, хоть каждый и старался гудеть погромче.

— О, Абейсын!..

— Проходи, проходи сюда!

— Вот здесь присядь!

— Все ли благополучно?

— Как жена, дети твои, дорогой Абейсынжан, как скот — живы, здоровы ли?

Абейсын незаметно повел глазом — мурзы в доме не было. Приосанился, здороваться стал сдержанно, по-городскому — за руку, на вопросы отвечал кратко, неясно. Заметив, как жирно лоснятся у всех усы и бороды, понял, что бесбармак уже съеден, и вздохнул с сожалением.

— А что, дорогой, говорят, ты опять в городе побывал?

— Да, аксакал.

— На базаре был? Как в этом году скот?

— Дешев... Скот теперь уж не товар.

— Апыр-ай, а?!

— К добру или к худу все это?

За дверью послышались быстрые шаги, и все сразу примолкли. Вошел Танирберген. Абейсын проворно встал, протянул обе руки, но мурза, не взглянув на него, прошел в угол, сел на ковер и опустил ресницы. Усы его вздрагивали от ярости.

Гости переглянулись, вытаращились на Абейсына, потом завозились, стали браться за плети и тумаки.

— Ну, Таниржан, мы тронулись...

Танирберген напряженно кивнул.

— Поверь, всем нам дорог Жасанжан!

— Скажи ему, пусть ко мне приедет...

— Да! Пусть поездит по аулам, порассеется.

Танирберген не поднял глаз, только усами шевельнул. Гости засопели, завздыхали, разом поднялись и, толкаясь у двери, пошли вон. Танирберген еще некоторое время помолчал, слушая, как гости переговариваются на улице, как отвязывают коней, прощаются под заливистый брех собак, потом повернулся к грустному Абейсыну:

— Пригрелся под крылышком, холуйская рожа, в доверие влез... И хоть знал я всегда, что ты вор, собака, да думал, что хоть меня кусать не будешь!

Абейсына вдруг рассмешило негодование мурзы, широкие ноздри его вздрогнули, глазки совсем скрылись, он хмыкнул, хоть смеяться ему не следовало бы. Танирберген взорвался:

— Астафыралла, и с таким человеком я имел дело? Где же у тебя совесть, а?

Абейсын даже глазки расширил от изумления, уставился на мурзу. «Какая совесть? О чем он говорит?»— подумал он.

Возвращаясь домой с базара, ехал он всегда тихо, бросив поводья, загнув рукава, считал на пальцах, так было нагляднее — сначала шли расходы по сбору шкурок и шерсти в аулах, потом доходы. Вся его нынешняя жизнь укладывалась в два слова: «выгадал» и «прогадал». Это было так просто, так удобно... Да и вся жизнь так: выгадал — будешь спать в тепле и есть сытно, будешь любить красивых молодых жен, а возле дома будет сопеть многочисленный твой скот; прогадал — и не согреешься в пустом холодном доме, не поешь сладко, укрыться нечем будет. «Вот дурак!»— мельком подумал он о мурзе, все продолжавшем кричать что-то о чести и совести, и стал думать с досадой про себя, что не смог давеча сплавить коней мурзы куда-нибудь за Актюбинск, к джагалбайлинцам или, на худой конец, к торговцам из Иргиза и Тургая.

— Да, сглупил я...— пробормотал он, глядя себе под ноги, и даже головой горестно покачал.

— Не сглупил, а обманул, собака, меня!

Почти никогда Танирберген не бранился, да и нужды ему не было, всегда все делалось по его, стоило ему только глазом повести. Но сейчас он уже не мог удержаться и, сам себя распаляя, все кричал о коварстве, неблагодарности, подлости. Он оскорблял Абейсына самыми страшными для казаха словами. Абейсын сидел и наливался кровью. Но думал он не о себе, за собой вины он не знал, кроме той, что распустился последнее время, потерял осторожность, не сделал все шито-крыто, как следовало бы,— думал он о мурзе. Ему даже душно стало от ненависти, столько вдруг припомнил он всяких делишек мурзы за последние годы.

Он вспомнил, как в прошлом году сколотил небольшой отряд из

надежных джигитов, и ночью, тайком отправились они к туркменам. Удача сопутствовала им, вернулись они с целым косяком отборных туркменских рысаков. Но, помня приказ мурзы, они не сразу пригнали косяк в аул, а, заметая следы, сделали большой крюк по земле воинственных родов Адай и Табын. Роды эти всегда враждовали с туркменами, и кони их были всегда оседланы и готовы в любой час к бою и погоне. К своему аулу подъехали они еще днем, но и тут терпение не покинуло их, они остались ждать в степи ночи. А ночью известить мурзу о том, что косяк благополучно прибыл, поехал один Абейсын. Он сильно устал тогда, давно не ел и, сообщив мурзе радостную весть, осторожно намекнул об отдыхе. Но об отдыхе мурза и слушать не хотел, даже потника под седлом не дал переменить, послал назад, к косяку. В ту же ночь весь косяк теке-жаумидских рысаков исчез в ущельях Воровской горы, смешавшись с другими ворованными конями мурзы. И ни один человек в ауле ничего не узнал! Абейсын умел держать язык за зубами.

Это только один случай. А сколько было других? Какие погони, какие скачки по ночам, какой риск все эти годы! И разве они имели тогда какую-нибудь долю в ворованном, и награждал ли мурза Абейсына, когда тот был просто сводником, просто вышибалой и вором? Так чего теперь говорить о совести?

Абейсын молчал, посапывал, глядел себе под ноги, а видел степь, ночь, слышал топот и хрип чужих коней.

— Чего сопишь, скотина?

— А?

— А! А! Пасть на мой скот разинул?!

Абейсын сделал тупое лицо, стал глядеть мимо мурзы.

— Верни скот, а то плохо будет, ты меня знаешь!

— Хорошо, мурза,— вдруг мирно согласился Абейсын.— Деньгами возьмешь или скот вернуть?

Сборщик отвалился, задрал чапан, с трудом вытянул из кармана толстый засаленный бумажник. Шепча про себя, расправляя каждую бумажку на коленях, отсчитал пачку денег и протянул Танирбергену. Танирберген даже слегка опешил в первую минуту, не знал, брать или нет.

Абейсын положил деньги на ковер. Некоторое время он еще глядел на них, очень уж жалко было отдавать.

— В аулах любой скот ничего не стоит, мурза. Я плачу вам по хорошей базарной цене...

— Пошел вон, скотина!

— Хорошо, мурза. Только в следующий раз придется посылать на базар другого.— Сборщик вновь с любовью и жалостью поглядел на деньги и вышел из дома.

III

Давно уже остуженный осенний воздух звенел. По ночам сильно мигали звезды. Степь высохла, закоченела, туманов по утрам не было, и солнце поднималось холодное, желтое, но чистое.

Казалось, чистая сухая и морозная осень будет держаться долго — до декабря, а потом незаметно ляжет зима. Но пришел день, и тяжелые тучи обложили небо. Потом посыпал снег. Снег был редкий, пушистая пороша покрыла землю. Увидев зимнюю печальную белую степь, беззаботные с начала года шаруа испугались. Поспешно стали они думать, что надо бы утеплить дома и овчарни, что не худо бы запасти дров на зиму... Но не успели они как следует взяться за дело, как все переменилось: ночью задул теплый сырой ветер, потом пошел дождь, и утром черная влажная степь уже исходила паром. Бедные шаруа, для которых вся жизнь была в их скудном скоте, схватились за голову. И не стало разговоров, кроме как о скоте, о том, что после дождя наверняка грянет мороз, застынет земля, пойдет гололедица, овцы и козы будут резать копыта, потом начнутся выкидыши... Собирались вместе, глядели на грязную степь, чесались, кряхтели и цокали языками в предчувствии беды.

Но погода внезапно опять переменилась, и бедняги шаруа только головами крутили и говорили: «Ай-яй-яй!»

После дождей дня два-три подряд было необыкновенно ясно, тепло. Размокшая до грязи земля опять ожила, взбухла, по-весеннему курилась туманами. Опять налилась, започковалась полынь, на пригорках изумрудно зазеленела нежная травка.

А на рассвете однажды все кончилось. Пришел черный буран. Ветер был так силен, что взрыхлил землю под полынью, вырвал, выставил напоказ грубо обнаженные раскоряченные корни.

И день прошел и другой — ветер не переставал. Скоро он высосал, выжал весь сок земли. И убитая рыжая степь гулко затвердела, как сухая доска. Крупный скот — верблюды, коровы, кони — искал затишья по оврагам и лощинам, овцы и козы зябли, сбивались плотно, не хотели выходить из овчарни, лезли друг под друга. Люди сидели по домам — выбегут за нуждой, поглядят со страхом в степь, взмахнут рукавами под ветром — и назад, домой, как суслик в нору.

Семья Тулеу поселилась в ауле рыбаков на круче. Падал первый снег, когда они начали с помощью рыбаков строить себе землянку. Тулеу и Калау, раздраженно посапывая, поминутно сморкаясь и дуя себе на озябшие руки, долго завешивали дверь алашой. В это время Кенжекей и Балжан уже месили глину, таскали кирпичи, вмазывали в печь котел. Айганша, тоненько вскрикивая и смеясь от радости, путалась между своими женге. Руки ее давно были в глине, глиной было запачкано и лицо, но она радовалась, что работает, что помогает своим и что скоро у них будет новый дом. Среди хмурых, съежившихся от холода людей она одна сверкала

черными глазами и птицей порхала из дома на улицу. Хоть с ней и не особенно считались в семье, она бойко покрикивала то на одну, то на другую женге, не давая им присесть, и целый день, не умолкая, звенел ее нежный голосок.

Старуха, улыбаясь, во все глаза глядела на дочку. Поглядывала она иногда и на сыновей, хмурилась и думала, что вот не дал почему-то бог огонька ее сыновьям.

— Сварите обед, а то дети голодные,— велела старуха невесткам, когда печь была готова и котел вмазан.

— А топить-то чем?— спросил Тулеу.

— Вот времена-то!— рассердилась старуха.— Жена на мужа смотрит, а муж — в землю? Возьми вон тяпку да жен своих прихвати. Молоко не успеет свариться — вьюк дров привезешь.

— Ну да! Холодина такая, не согреешься...

— Поработаешь — жарко станет!

Тулеу, ворча на своих жен, надел тулуп, подпоясался. Потом стал ходить по землянке, искал что-то. На мать он не смотрел. Старуха нахохлилась возле холодной печки, по пояс укуталась одеялом.

«И в кого он только пошел?— сердито думала она про Тулеу.— Отец его, покойный уж, на что богат был, скота одного сколько было, а до самой смерти рук не покладал, веселый был, живой человек... Да и я без дела не сидела. Теперь вот старость, недуги одолевают, о господи! Болезнь замучила — в правом боку будто нож засел. Шевельнешься, кашлянешь — так и кажется, что дух вон. И так уж терпела, чтобы детей не пугать, да бог знает, надолго ли хватит сил терпеть?»

— Айганша, милая, устала небось, передохни малость,— слабея от нежности, попросила старуха.

— Нет, апа, что ты!

— Простудишься, смотри! Накинь хоть что-нибудь.

— Да что ты, апа! Ничего со мной не будет.

— Эй, негодница! Вернись, тебе говорят!..

Айганша не послушалась. Схватив ведро с мусором, покраснев от натуги, она выскочила на улицу. Тогда старуха беспомощно поглядела на Калау. Приладив кое-как дверь, тот уж завалился на тюки в углу и голову шубой завернул.

— Эй, Калау, чего лег? Вставай, вон девчонке подсоби!

Калау только заворочался под шубой, заерзал, устраиваясь поудобнее.

— Калау! Кому говорят! Вставай сейчас же!

— К чер... на... прок... чер...— невнятно пробурчал Калау из-под шубы, и замолчал, и уж больше не шелохнулся, застыл, как камень.

На улице залаяла собака, потом заревела верблюдица. Хрипло кашлял и матерился Тулеу, всем родственникам доставалось до седьмого колена. Старуха беспокойно заерзала и покраснела даже. Ей неприятно было, что рыбаки могут услышать.

Вошли Балжан и Кенжекей. Каждая сгибалась под огромной охапкой полыни. После недавних дождливых теплых дней полынь по-весеннему ожила и выбросила почки. Как только внесли полынь — в доме сразу запахло крепким настоем дикой, горькой степной травы.

Кенжекей разожгла огонь. Полынь хорошо взялась, из-под котла с веселым треском посыпались искры.

Вокруг очага расстелили подушки, все кряхтели, тянули руки к огню. Скоро отогрелись. Носы у всех стали мокрые, глаза заблестели, лица разрумянились.

Проснулся Калау, выпростал голову из-под шубы, потянул носом горьковатый полынный дух, откашлялся.

— Как там — ужин готов?

Айганша не выдержала, фыркнула:

— Скорей накормите бедняжку! Устал от работы, заморился совсем!..

— А ты молчи! А то вот патлы-то выдеру!— пробурчал Калау, Он хотел еще что-то сказать, но осекся, прислушался кто-то подходил к землянке.

Вошли два рыбака. Сиплыми, простуженными голосами прохрипели они: «Добрый вечер!»— и бросили на кучу полыни у очага рыбу. Огонь нежно заиграл на золотистых брюшках и боках сазанов. Дети Тулеу, никогда не видевшие рыбы, испуганно вытаращили глаза, толкали друг друга и прижимались к матерям.

Мунке и Дос опустились на корточки возле очага. Иней на бровях и ресницах у них сразу растаял, заблестел бисером. Раздеваться рыбаки не стали — стеснялись, не знали, о чем говорить с приезжими. Посидев, помолчав немного, они поздравили приезжих с новым жильем, пожелали счастья на новом месте, попрощались и ушли.

Кенжекей и Балжан тут же взялись потрошить рыбу. Дети от любопытства места себе не находили, лезли под руки, мешали. Тулеу и Калау как завороженные следили за каждым движением женщин. В предвкушении сладкого, сытного ужина братья развеселились.

— Апыр-ай, а? Море-то, оказывается, задарма кормит!

— Не говори, брат! Тут не надо в земле рыться, как дехкане, тащи пузатых сазанов из моря, как овец из овчарни. А? И нет тебе никаких забот!

— Ты глянь только, глянь, Тулеу-ага! Ты гляди, какая икрищато! Как все равно каша в масле. Ойбай, а этот белый пузырь — что?

— Сынки! А сынки!— подала вдруг голос старуха.

Калау и Тулеу вздрогнули, нахмурились и засопели. «Сейчас пошлет куда-нибудь!»— подумал каждый из них, втягивая голову в плечи.

— Ну вот... Вот на новом месте начинаете вы новую жизнь,—

заговорила ровно старуха.— Настало время... Надо бы заколоть верблюжонка. Праздник так праздник.

Калау и Тулеу быстро переглянулись и, как ни старались скрыть радость, заулыбались и совсем оживились. Тулеу вскочил, подтянул штаны и начал искать длинный нож. Калау тоже вскочил, бурно засопел и стал потирать руки.

Женщины скоро нашли аркан, загремели лоханкой, ведрами. Сшибаясь в дверях, все бросились на улицу — одни резать верблюжонка, другие помогать и держать, а третьи просто поглядеть. Старуха осталась одна.

По привычке она стала молиться, серьезно, сосредоточенно, как всегда в трудный момент жизни, прося всевышнего не оставить ее детей своей милостью. Но молитва не шла ей на ум. Она чутко прислушивалась к звукам, доносящимся с улицы. Вот закричал, а потом захрипел верблюжонок. Зарычали собаки. Привычно стали браниться жены Тулеу. Потом все стихло.

Прошло еще немного времени, дверь распахнулась, и Калау и Тулеу, кряхтя и сопя, втащили в дом теплую дымящуюся розовую тушу.

Тут же нарезали и положили мяса в котел, подбросили в огонь полыни, утерли пот со лба.

— Погодите, сейчас закипит...— просили мужчин женщины.

Но Калау и Тулеу ждать не могли и принялись из печени, сердца и легких жарить куардак. В землянке остро, резко запахло кровью и жареным и вареным мясом.

Все суетились, доставали что-то, двигались вокруг очага, отбрасывая по сторонам большие тени, никто не слушал другого, все говорили разом. И никто уж не слышал и не думал о том, что на дворе завывает ветер, и грохочет море, и пробирает до костей мороз. Все будто опьянели, забыли и то, как ехали долго по черной холодной степи, и то, как не пустил их в свой дом Абейсын,— у всех было на уме мясо.

А наевшись до отвала, все вдруг подобрели, все стали упрашивать друг друга: «Ну, еще кусочек! Вот этот возьми, гляди, какой нежный, душистый!»

Потом заснули, сыто храпели и проснулись на другой день поздно. Даже не проснулись, а просто очнулись немного. Мясо еще тяжело лежало у каждого в животе, навевало сон, и никому не хотелось вставать, все зевали и дремали.

— Надо посолить мясо впрок,— наконец сообразил Тулеу и толкнул старшую жену ногой:— Вставай!

— Чего там солить...— отозвалась старуха.

— Как же не солить, аже?

— А так... На оставшееся мясо пригласи соседей.

— Что? Соседей приглашать? А под такую их мать!

— Дурак! Надо уважать людей. Не пренебрегай, сказано, благочестием честных...

— На черта нам их благочестие!— живо отозвался и Калау. Мысль о том, что кого-то нужно угощать, сразу ввергла его в тоску.

— Правильно!— подхватил Тулеу.— Пускай они себе живут со своими благословениями и благочестиями, а нам и завтра жрать надо!

— Господи, ну в кого же это такие дураки у меня уродились!— чуть не заплакала старуха.— Вон соседи рыбы вам принесли! Ну насколько хватит вам верблюжонка? А с людьми будете век жить.

Калау пробормотал что-то, вроде бы ругнулся, насупился, Тулеу зло начал покрикивать на своих жен, на детей, все зашевелились, зазевались, забормотали, ребятишки захныкали...

Старуха промолчала. Давно уже поняла она, что бесполезны перебранки с людьми, у которых одна мысль на уме — как бы пожрать послаще да поспать подольше.

А казалось бы, чего проще понять, что тут вот, на круче, все рыбаки, и нет у них ни скота, ни имущества. Живут они мирно, дружно, единой семьей. Так ли уж много ума нужно, чтобы сообразить, что отныне и твоя судьба соединена с ними — беда, посетившая их, и тебя не обойдет,— что отныне рыбаки самые близкие тебе люди на этой вот огромной неласковой земле. Вчера помогли они построить землянку, сегодня поделились с тобой уловом... Угостил от души — друга приобрел, говорили в старину. И теперь вот подошел случай пригласить рыбаков, угостить их, уважить, поговорить, сойтись поближе. Ах да что понимают эти дураки?

И старуха решила действовать сама. Невестки помогли ей поставить на очаг два котла с мясом и пошли звать гостей. Когда невестки вернулись, старуха велела им развязать тюки и достать старые вещи, оставшиеся от былых времен их могучего рода. Старуха не выдержала, сама принялась вытаскивать поношенные чапаны и шубы с облезлым мехом. А когда невестки, чихая от нафталина, застелили весь пол вытертыми персидскими коврами и старыми кошмами с расшитыми узорами — бедная землянка вдруг преобразилась... Старуха верила и не верила своим глазам. Сколько раз Тулеу пытался продать эти старые вещи, когда семья голодала. И сколько раз старуха вставала поперек воли старшего сына и не позволяла ничего продавать. Она не могла расстаться со старыми вещами — памятью, отголоском прошлых времен. Вещи для нее были как бы немыми свидетелями былого счастья. Целый рой воспоминаний связан был с каждой вещью. Эти потертые ковры будто удерживали еще запах всех избранных, которые когда-то возлежали на них.

В их прежней снежно-белой юрте на самом видном месте красовались эти ковры. По ним ступали с нежностью и почтением. На них сидели и лежали самые богатые баи, бии и батыры. А когда из самой Жармолы, оглушая степь серебряным звоном, приехал к ним однажды сам ояз, он восседал вон на том ковре. О времена! И все это прошло, как сон. Ничего не осталось, только память вспыхнет

и осветит иногда весь мир былыми красками. Начнешь рассказывать — никто не верит. Даже дети родные не верят!

Старуха долго перебирала, рассматривала каждую старую одежду. Долгие годы пролежало все это в тюках, совсем забылось, даже как бы ушло совсем из жизни, и теперь старухе казалось, что она встретилась со своей юностью после долгой разлуки.

Старые пальцы бережно ощупывали мех и материю. Вот тут разошелся шов. А тут вылез мех. Здесь вылинял цвет. Старое, мятое тряпье будто морщинистое старческое лицо.

С улицы послышались голоса, говор и шаги приближавшихся людей, и старуха мигом уселась на свое место. Рыбаки будто в свой дом входили — шумной гурьбой вваливались в землянку и тут же умолкали. Мунке и Дос, ввалившиеся первыми, смущенно заморгали, будто ослепленные сильным светом, и опустили глаза на свои сапоги. За ними сбились остальные, вытягивая шеи, толкались.

— Эй, скидай сапоги!— послышался шепот.

Старуха гордо выпрямилась. В былые времена бедняки вот так же, оробев, толпились у порога, боясь пройти в глубь юрты, так же опускали глаза и говорили шепотом, и немногие тогда удостаивались ее внимания!

— Что же вы замешкались, дорогие гости? Проходите, милости просим!— нараспев сказала старуха.

Рыбаки дружно закряхтели, принялись стаскивать сапоги. Потом вслед за Мунке и Досом все прошли на передние места. Усевшись, они некоторое время молчали, оглядывались, и боялись шевельнуться — как бы чего не запачкать. Но потом освоились постепенно, заерзали, устраиваясь поудобней, незаметно для старухи стали гладить и щупать нежный ворс ковров задубевшими от весел и мороза руками.

Опустив глаза, будто бы ничего не замечая, старуха все видела — и как осторожно ерзали рыбаки, и как щупали пушистость ковров — и уже со сладкой мукой предстоящего торжества ждала, торопила неуклюжих гостей, чуть ли не молилась, чтобы рыбаки поскорее освоились, пришли в себя и начали бы расспрашивать ее о роде-племени, об отце и матери, о предках... Должны, должны они заговорить об этом!

И в ожидании расспросов поспешно стала перебирать в памяти, вспоминать, сколько отар овец и косяков лошадей было у них когда-то. Она вспомнила, что муж ее семь лет правил волостью, и ни одна свадьба, ни помолвка, ни той не проходили без его ведома. То далекое время опять как бы пришло, заглянуло на миг в эту землянку, и на сердце у старухи стало горячо. Чередой прошли в ее памяти калымы, бесчисленные пиры и поминки. Все вспомнив, все пересчитав, перебрав в памяти все свое былое богатство, она с нетерпением стала ждать, когда рыбаки заговорят и начнут ее расспрашивать.

Но рыбаки все еще стеснялись и помалкивали. Дос, вообще не склонный к разговорам, понуро опустил голову, потупил глаза и толь-

ко вздыхал. Исподлобья он взглядывал иногда в сторону казанов. Женщины уже сняли первую пену с сорпы, и Дос жадно дышал запахом пахучей молодой верблюжатины и глотал слюну. Кадык его ходуном ходил.

А Мунке завел какой-то посторонний, ненужный (как казалось старухе) разговор. Сначала поинтересовался, издалека ли они приехали, трудно ли было в пути, спросил, понравилось ли им новое место, а потом пустился в длинные рассуждения о жизни у моря, о рыбе, о питьевой воде, о топливе, о кормах... Он говорил, говорил, стараясь приободрить новых соседей, а старуха уж погасла, понурилась, слушала его вполуха, отвечала вежливо, но нехотя, едва шевеля губами, а сама еще ждала, все надеялась, что Мунке вдруг спросит ее о прошлой жизни. Но, видно, ее прошлое не интересовало старого рыбака. А молодежь не вмешивалась в разговор и, как всегда, учтиво помалкивала перед старшими.

Наконец мясо поспело, все охотно, жадно принялись за еду, и опять никто ни о чем не спрашивал, даже Мунке замолчал.

После угощения, оживившись, все начали поглядывать на певцов. Смуглый бойкий джигит взял домбру, спел традиционную благодарность хозяевам и передал домбру соседу. Тот, наверное, играть не умел, вспыхнул от смущения и перекинул домбру дальше. Переходя из рук в руки, домбра обошла всех рыбаков, но все только багровели, гулко откашливались — никто почему-то не осмелился петь после смуглого бойкого джигита.

Старуха краем глаза заметила, как Айганша, весело улыбаясь, блестя зубами, подталкивает, щиплет стыдливых, робких до слез девушек рыбачьего аула, сидевших отдельной пугливой кучкой среди джигитов. Потом она стала горячо шептать что-то на ухо то одной, то другой. Девушки заливались румянцем и согласно кивали. Тогда Айганша подняла свое красивое лицо и затянула высоким чистым голосом нежную, полную очарования и таинственности песню о красавице с бровями как тонкий серп месяца, с ресницами из чистого золота и с красными как кровь губами...

Старуха изумленно встрепенулась: она впервые услышала, как поет Айганша. Рыбаки даже рты пооткрывали, но через минуту дружно подхватили песню своими хриплыми, простуженными голосами. «Где же ты теперь, моя любимая, моя красавица с тонким, стройным станом, будто деревце на холме?»

Когда кончилась песня, вскочил бойкий смуглый джигит:

— Эх, до чего жестоки эти девушки! Так изводить добрых джигитов!— И, закатив глаза, изобразил на лице отчаяние.

Все захохотали немудреной шутке, захлопали себя по коленям. Девушки смутились, покраснели, стыдливо опустили головы. Только женщины, стоявшие у порога, прислонившись к холодному косяку, не расслышали, что сказал бойкий джигит, не поняли, почему все рыбаки захохотали, и печально переглянулись.

Песня была о короткой девичьей поре, и женщинам взгрустну-

лось. Вспомнили они и свое девичество, родные края, родной дом, родителей. С болью и завистью поглядывали они на юных девушек, даже на самую некрасивую, одетую хуже всех в ауле,— какие они счастливые, любовь их впереди!

Кенжекей даже побледнела. Крепко прижав к груди маленькую сонную дочурку, она опустила мокрые ресницы. А Балжан стала вдруг грустной и нежной — куда подевались ее обычные холодность и насмешливость...

Рыбаки отсмеялись и тоже задумались, и хорошо было им сидеть сытым, в тепле и думать о счастливых днях, которые у каждого из них случались когда-то, что бы там ни было. Вдруг все вздрогнули разом и обернулись в угол, откуда раздался храп. Привалившись спиной к стене, Калау давно уже дремал. Потом заснул в тишине окончательно, челюсть его отвисла, и он захрапел. Он сам вздрогнул от могучего храпа, клюнул головой, проснулся, разлепил веки и повел узенькими глазками по вытянувшимся от изумления лицам рыбаков. Рыбаки опомнились и опять засмеялись, но уже не так громко. Усмехнулся и Калау. Старуха не знала, куда деваться от стыда за сына. Но она тут же забыла о нем — другие чувства захватили ее.

Думала она о дочери, весь вечер следила за ней, будто впервые увидала. Она уже поняла, что веселая, живая Айганша (больше всех из детей похожая на отца) давно уж очаровала всех девушек рыбачьего аула. Но больше всего старуху поразило, что дочь ее так хорошо поет, ничуть не стесняясь народа.

Старуха была изумлена. Недаром ведь говорят, что растет дочь дома, а живет — на воле. Да, девичья душа — потемки. Сама была когда-то девушкой. Какая мать знает все мысли дочери?

Впервые старуха услышала сегодня, как поют хором. В ее краю не было такого обычая. Сколько бы народу ни собралось на пир, на поминки или на рождение ребенка, пели всегда в одиночку, редко когда вдвоем или втроем. А эти рыбаки пели все сразу, и хорошо пели. И что еще было замечательно, пели они песни самого Батакова Сары. Песни Сары старуха любила и никогда не могла сдержать слез.

Пришлось ей повидать когда-то и возлюбленную Сары — девушку Косан. Старуха была тогда вовсе не старухой, а юной девушкой. И была еще на дворе ранняя весна.

Что и говорить, весна для казаха — самая лучшая, самая желанная пора. Всю долгую зиму прозябают шаруа в своих редко разбросанных по степи, где-нибудь в лощинах, в оврагах, сиротливых мазанках и ждут не дождутся весны. Зато когда потеплеет, когда едва-едва выглянет из-под снега бурая влажная земля, что тогда начинает твориться по аулам! Как поспешно собирают люди все свои пожитки, навьючивая верблюдов, и отправляются кочевать на нетронутые джайляу.

Джигиты седлают лучших коней, сбиваются в группы по пять —

десять всадников и коршунами кружат возле аулов, где есть хоть одна молодая красивая девушка. В темные настоянные весенней истомой ночи на джайляу, бывало, не одну жену зазевавшегося простака подкараулят ловкие джигиты.

А утром как ни в чем не бывало сверкают джигиты серебряными сбруями возле девушек, едущих во главе кочевья. И хочется им крикнуть что-нибудь девушкам, что-нибудь нежное, призывное... Да где там! Слова нельзя сказать. Вокруг полно стерегущих материнских глаз. Только самый жаркий, самый красивый джигит может как-нибудь незаметно, одним быстрым взглядом бросить искру невысказанных своих чувств в сердце девушки.

Ах, как далеко теперь эти времена! Сколько лет прошло со дня встречи с девушкой Косан? Сколько появилось морщин, сколько поседело волос на голове...

Ранней-ранней весной видела она девушку Косан. На северных сторонах балок еще белел снег. Но земля была уж тепла и исходила легчайшими туманами, и дрожал воздух, если поглядеть вдаль. Большое кочевье с бесчисленными стадами медленно, неуклюже передвигалось по джайляу, с трудом преодолевая лощины и балки. Тяжело навьюченные верблюды вязли в весенней грязи. Вот тогда-то у Торангул-сая... или нет, кажется, у Тобылги-сая встретились они с кочевьем другого богатого аула. Собаки, задрав хвосты и встопорщив шерсть на загривках, зарычали друг на друга. Мужчины обоих аулов обменялись приветствиями и, громко разговаривая, звеня стременами, поехали вместе. Джигиты, еще раньше далеко уехавшие вперед, повернули назад, к кочевьям, стали гарцевать вокруг приглянувшихся девушек, стали клянчить кольцо-подарок. Потом, гикнув, ударили коней и понеслись галопом в степь, норовя вырвать, отобрать кольцо у счастливца — таков был обычай. В одно мгновение исчезли они за холмами. Далеко вперед уехали и мужчины и старики со старейшинами. По следам их коней шло объединенное кочевье.

Мужчины все ехали и ехали рысью, говорили о своих делах, грелись на солнышке, пока наконец не опомнились. Тогда они остановились у конца Тобылги-сая и стали дожидаться своих кочевий. Так два аула и расположились рядом. В ту же ночь начался окот мелкого скота, и аулы были вынуждены надолго остаться возле Таволжьего оврага. Дойный скот еще не выгоняли на выпасы, и он густо темнел возле аулов.

Степь пробуждалась медленно. Разморенная весенним солнцем, она дремала, дышала паром. Возле аулов, в глубине заросшего таволгой оврага, куда не попадало солнце, светлел слежавшийся желтоватый снег, как оброненная память о суровом госте, совсем недавно буйствовавшем по степи.

Земля была еще бурой, травка пробивалась робко, только южный, солнечный склон Тобылги-сая изумрудно зеленел сплошным плюшем. Густые заросли ковыля, полыни, типчака наливались со-

ком, раскрывали почки, а между прошлогодними зарослями уже тянулась к солнцу молодая поросль. Опять благословенная весна вернулась, ничем ее теперь не остановить, пройдет неделя-другая, и этот Таволжий овраг задохнется от буйной молодой силы пробуждающейся земли. Зима, морозы, пурга остались позади. Что и говорить, радуются люди весне! И всех тянет на улицу, на легкий хмельной воздух.

Шестистворчатая белая юрта с открытым тундуком богато убрана. В юрте тепло, много света и воздуха, запах весеннего приволья будоражит сердце. Хочется кого-то любить, хочется ехать куда-то, где ты никогда еще не был. Днем и ночью чувствуешь себя бодро, и дышится легко. Позади остались морозы, впереди будет духота и пыль, а теперь счастливое время.

В первые же дни оба аула по обычаю начали ходить в гости друг к другу. Весело трещали костерки возле юрт, палились, а потом варились барашки, кумыс радовал душу. Особенно веселилась молодежь. Как только нависала над аулами ночь, джигиты и девушки высыпали на улицу, собирались в открытом поле за аулами и почти до утра кричали и смеялись, играли то в белбеусок, то в соседушки, то в ханское кочевье, то в бабки, и всю ночь горели в степи костры.

А то собирались у качелей. На качели вставали парами и, до головокружения, до тошноты качаясь вверх и вниз, во весь голос пели юноши и девушки песни. Что и говорить, веселая, счастливая была пора!

И вот в те дни у всех на устах было одно имя — имя девушки Косан. Джигиты увивались возле нее, устраивали для нее скачки, наигрывали на домбрах, ревновали ее друг к другу. Но холодна и неприступна была высокая белолицая красавица с надменными бровями. Ни одного джигита не подпустила к себе. А потому не подпустила, что возлюбленный ее, знаменитый певец и бунтарь Сары, вторично попал в том году в Жармолинскую тюрьму.

Однажды ночью на качелях какая-то молодая пара неосторожно запела песню Сары. Все сразу притихли, ждали, что будет. Следующей должна была петь Косан. Но она не шелохнулась. Залитая лунным светом и оттого еще более бледная, стояла она, прислонившись к столбу качелей, и была печальна и неутешна. В ту ночь молодежь рано разошлась по домам: никому уж не хотелось ни петь, ни играть, ни веселиться. А утром аул девушки Косан переехал на новое место...

Эх, жизнь, жизнь невозвратная! Все прошло и кануло в вечность. Придут иные времена, другие люди станут любить и встречать свои весны. Другие станут качаться на качелях под луной, Другие будут ломать бровь и блестеть белыми зубами в песне ли, в смехе ли...

Старуха тяжело вздохнула. Ей стало грустно, тяжело. Крупное ее тело как-то съежилось, поникло. Масло в лампе кончалось.

Мунке и Дос поднялись, наклонились к ней, что-то сказали. Она не поняла. Она только заметила, как Мунке и Дос, пожав руки Тулеу и Калау, стали пробираться к выходу.

Ей стало все безразлично. Она не слышала уже ни песен, ни разговоров вокруг. Иногда превозмогая себя, она старалась слушать, но давно прошедшее, раз ворвавшись в землянку, не хотело уходить. Стареет тело, стареет даже душа. Но, видно, пока не закроются глаза у человека, не стареет и не исчезает проклятая память. Как самый едкий, неутолимый враг, точит она человека изо дня в день, пока не одолеет, не сломит его окончательно. Старуха устала. Хотелось ей поскорее лечь, заснуть, забыться, но молодежь и не думала уходить. Больше всех ликовала Айганша. Смуглое лицо ее порозовело. Даже в сумраке землянки было видно, как блестят ее глаза, и она пела одну песню за другой.

«О, если бы дал бог ей счастья!»— думала старуха, покачиваясь и, как птица в сумерках, заводя глаза.

IV

На другой день старуха слегла. Сначала она думала, что переможется, но болезнь с каждым днем одолевала ее. И она стала думать, что ей на этот раз уже не поправиться, не подняться, и, хрипло, отрывисто дыша, не смыкала глаз по ночам: вспоминала родные края, молодость, детство, вспоминала покойного мужа, прощалась с родными и близкими, оставшимися где-то далеко.

Дряблые ее щеки запали, глаза провалились. Никого она не хотела видеть. Все в доме раздражало ее. Все ленились вставать по утрам, все ненавидели друг друга. Хоть околевай, никому до тебя нет дела!

После гостей она попросила прибрать в землянке, убрать ковры и кошму, связать тюки, но никто ее не послушал. Всюду как попало валялись заплеванные, засморканные, грязные ковры, и палас, и кошма...

Так прошло три дня. И на четвертый, потягиваясь и позевывая, так же поздно поднялись опухшие от сна и безделья ее сыновья. Их вид совсем взбесил старуху. Дома жрать нечего, голодные дети пугливо поглядывают на матерей, а этим свиньям хоть бы что! От злости в груди старухи клокотало, она задыхалась и не знала, на ком бы сорвать зло.

Тулеу нехотя поплелся на улицу, через минуту, зябко вздрагивая, ввалился назад и уже в землянке принялся завязывать шнурки штанов.

— Ну и дует! Бррр! Хорошо, что жилье у нас есть! Хху! Хху! А то сидеть бы в такую бурю — ай-яй-яй — и по бокам себя хлопать, руки потирать, дышать на них: хху!

Мать его лежала подле печи. Щеки ее совсем отвисли, и вид был нездоровый. Покосилась на сына, ядовито хмыкнула.

— Веселая жизнь у бедняка: сидит — слава богу, стоит — тоже слава богу...

— Аже-ай, все пилишь меня,— поморщился Тулеу.— Надоело. И что вы все пристали ко мне? Чего теперь кручиниться о былом? Лучше уж сидеть спокойно и быть довольной тем...— Тулеу запнулся.

— Ну чем? Чем? Чего это он мелет? Какое там былое? Не о вчерашнем ли дне приходится мне горевать?

— Да горюй не горюй, а того дня уж нет...

Старуха взглянула на сына и сердито запахнулась одеялом. Потом отвернулась в угол — видеть своих не могла! Некоторое время все сидели молча, за стеной свистел ветер, слушать его было холодно, тоскливо. Помолчав, старуха шевельнула лицом и шеей, как бы что-то глотая, и заговорила опять:

— Я свое прожила. Прожила! И разве обо мне речь? Я-то повидала и радости и горя — сыта по горло. И какого уж блаженства мне ждать в оставшемся вершке жизни? Мне теперь о том свете надо думать. Как бы я теперь ни жила, а жизни мне теперь отпущено столько, сколько старой овце... Так зачем же мне во весь мой куцый вершок жизни браниться с вами? И о чем? О скоте! Сиди себе... Разве скот мне нужен? А тепло в доме и полный котел — разве мне это нужно? Скот тебе нужен. И твоим... вон тем детишкам он нужен!

Тулеу молчал. Обе его жены сидели в разных углах, слушали, что говорит старуха. И детям было не до игры, и они испуганно слушали старуху и вой ветра снаружи. В неустроенной еще, голой землянке было неуютно, мрачно. Ребятишки озябли, жались к своим матерям.

Старуха опять отвернулась. Невмоготу было ей глядеть на своих внуков — так были те оборваны, замызганы и худы. Была бы одна — поплакала бы... Всю жизнь с неизменным упорством хваталась она за ускользавшее счастье, боролась с судьбой и словом и делом. А и много ли счастья ей было нужно?

Нужно было, чтобы семья жила дружно, чтобы скот был упитан, чтобы был хороший дом... Много это или мало? И думала ли она когда-то, что познает под конец жизни нищету, грязь и лень?

И теперь грешные, страшные мысли все шли и шли ей на ум. Она думала, что лучше было бы ей прожить жизнь одинокой, без дома и без детей. И тогда никого бы не было на этом свете: ни Тулеу, ни его детей, и жены его были бы женами других людей, неизвестных ей, и не было бы во все времена во всей земле этого мира, который сейчас был вокруг нее.

Оставшись после смерти мужа с тремя детьми, она испытала всю горечь вдовьей жизни. С таким упорством старалась она сохранять свой скот, и как долго ей удавалось это, удавалось поддерживать в доме свет, тепло и сытость! Но, теряя с годами силы, она те-

ряла и достаток. Особенно тяжек для нее стал прошлогодний джут: за одну зиму лишились они всего скота.

Что может быть хуже бедной, голодной семьи, которая и раньше-то держалась одними усилиями матери? Все поползло, поехало вкривь и вкось, как старый чапан, все стали раздражительны, все ожесточились. Лень, безделье овладели всеми. Никто ничего не хотел делать, никуда не хотел идти, потому что из дому ушел единственный смысл их жизни, ушел достаток, а вместе с достатком как бы ушла и сама жизнь.

Старуха все еще не сдавалась. По-прежнему покрикивала на сыновей, подбадривала их, хотела, чтобы они что-то делали. Но с тех пор как покинули они насиженные дедовские места, она сникла, и беда шла за бедой.

Ах, нельзя было оставлять отчий край! В той земле прошла жизнь всех их бесчисленных родов, там были похоронены отец и мать, там один за другим раздавался первый крик всех ее детей, там знали они и труд, и счастье, и любовь. У старухи все тело было как сплошная рана, будто собаки рвали ее — так больно ей было, когда они уходили, оставляя за спиной пустой голый дом, столько лет дававший им приют, дом, в котором впервые увидели свет чуть не все, кто теперь сидел в холодной землянке на берегу моря.

Без цели приехали они сюда, и без цели стал жить здесь ее старший сын Тулеу. Все он принимался за какие-то ненужные, бесплодные дела — то чинил сапоги, то выстругивал мурундуки, будто кошары его полны были верблюдов...

Он и сейчас молчал, посапывал, вырезал ремни из сыромятины.

А младший ее сын Калау, завернувшись с головой в шубу, храпел в глубине комнаты. Просыпался обычно он к вечеру, когда пора было ужинать. Во время еды был он неряшлив, прожорлив и ненасытен. Сегодня Калау всхрапывал сильнее и проснулся позже обычного. Видно, спал неловко: глаза опухли, на набрякшем лице краснели рубцы от смятой подушки. Продрав глаза, он приподнялся и сразу поглядел на котел, под которым не трещал огонь и давно остыла зола.

— В этом доме с голоду околеешь,— отхаркиваясь, пробурчал он.

Шеи у Калау не было. Казалось, что головку его, без ушей и без носа, просто пришлепнули к плечам. Спина у него была толстая, круглая, сутулая. И весь он был круглый, обрубленный, как пень — круглые ноги, круглые пальцы, уши, нос... Насупив брови, стал он оглядывать землянку, стал морщиться, стал заранее злиться — так ненавидел он теперешнюю свою жизнь и всех, кто был в землянке.

Вдруг он вздрогнул, замер — заметил, как младшая женге, отозвав своего сынишку, сунула ему потихоньку лепешку. «У, мать ее! Эти паскуды только о своих щенках заботятся, а другие хоть с голоду околевай!»— думал он, следя за лепешкой.

Увидала лепешку и маленькая дочь Кенжекей.

— Апа, хлеб...— захныкала она.

— Хорошая моя, иди поиграй...

— Хлеба... Дай хлеба...

— Зрачок ты мой! Всю душу ты мне стравила... Разве бедная твоя мать пожалела бы, если б был хлеб?

— Апа, хлеба,— все хныкала девочка,— хлеба дай...

Кенжекей не вытерпела, взглянула исподлобья на Балжан.

— Эй, отломи кусочек ребенку! Жалко тебе?

Балжан только и ждала этого — растянула губы в злой усмешке, облизнулась.

— А-а, хлеба захотела?

— У, змея! Не для себя же я прошу! Неужто жалко отломить ребенку?

Балжан только глазами сверкнула, промолчала. Потом потянулась сладко, выгибая грудь, погладила себя по бедрам, поглядела на Кенжекей и усмехнулась, будто из ружья ударила.

Калау не вытерпел, вскочил, кинулся на мальчишку с лепешкой. Мальчишка завизжал. Балжан побледнела, бросилась к Калау.

— Отойди, гад! Со мной шутки плохи!

Калау понял, что лепешки ему не видать. И стыдно стало, что на мальчишку бросился.

— Хо-хо!— будто бы небрежно хохотнул он и на правах деверя начал лапать Балжан, щипать ее.— Поди-ка сюда, побалуемся, а?

Балжан, сделав каменное лицо, отвернулась, только ноздрями дрогнула. Калау недобро оскалился, поиграл скулами, потом подсел к Балжан, ухмыляясь, стал толкать ее плечом. Балжан сидела как бесчувственная, будто никого не было возле нее. По-прежнему улыбаясь, Калау что есть силы ущипнул ее за ляжку, думал, не вытерпит, вскрикнет. Балжан бровью не повела, только на короткий миг сжались у нее губы.

Калау видел, что все в доме исподволь наблюдают за ним. У него начали наливаться кровью уши. Часто задышав, он вытащил узкий острый ножик, стал поигрывать им. Балжан поглядела на ножик, равнодушно отвела взгляд. Стиснув зубы, Калау ткнул ножиком в руку Балжан повыше локтя. По рукаву ситцевого платья стало расползаться пятно крови. Калау, подавшись вперед, заглянул в лицо женге. Та все молчала, только начала дрожать, кусать губы.

— Тьфу, с-сука! У нее, безбожной, видать, и души нет!

Отдуваясь, будто в гору бежал, Калау поднялся, отошел в свой угол.

За стеной послышались легкие, быстрые шаги. Одуревшие от безделья, все в землянке зашевелились, вытянули шеи, уставились на дверь. Вошла Айганша. Она как будто принесла с собой ветер, как будто вся пропиталась им,— красная ее шаль соскользнула на плечи, густые волосы растрепались, брови и ресницы стали светлыми от песка и соли, смуглые щеки горели. Вошла она, сверкая бе-

лыми зубами, сияя улыбкой, и все будто очнулись, будто проснулись на минуту. Детишки сразу подняли разноголосый крик:

— Рыба! Айганша-апа рыбу принесла!

Старуха встрепенулась. Увидев в руках дочери с десяток чехоней, она насторожилась, посуровела: не выклянчила ли у кого-нибудь из соседей?

— Что за рыба? Где ты вообще пропадаешь?

Не отвечая, Айганша бросила кукан на камыш возле двери.

— Эй, бабы! Хотите похлебки? Потрошите скорей!— весело крикнула она.

Кенжекей и Балжан проворно встали. Айганша отряхнула с лица песок, протерла глаза, поправила волосы. Потаенно улыбаясь, она искоса поглядывала на хмурую мать, а сама подходила к маленькому племяннику. Подошла, присела перед ним на корточки.

— У! Грязный нос какой... Ой-ой-ой, гляди-ка! Из ущелья два коня выскочили, лови гляди!

Мальчик скорей шмыгнул носом.

— Эй, девка! Ты скажешь, где была?— повысила голос старуха, рассердясь на непочтение.

— А ты ругаться будешь?— лукаво спросила Айганша.

— Натворила небось что-нибудь?

— Ну! Ничего я не натворила, только не сердись...

— Ладно, ладно. Рассказывай давай.

— А хорошо все-таки у моря! Весело здесь...

Подобревшее было, размягченное лицо старухи сразу закаменело, брови опять сошлись, она отвернулась. Айганша. смеясь, подбежала к матери, повернула ладонями ее лицо к себе.

— Ну не сердись, аже! Сама подумай, жили мы в лощине, одни, кругом безлюдье, а здесь...

— Хватит! Отойди!— не сдавалась старуха.

— А здесь как город. Сознайся! Ну же! Кругом полно соседей. Здесь аул, там аул, а там промысел... Везде люди!

Тулеу обрадовался.

— Вот-вот! И я это говорю... Растолкуй ты матери, а то она нас и слушать не хочет. Эй, бабы, скорей там с рыбой!

Айганша стала тормошить мать, гладить ее по голове.

— Не хмурься же! Ведь ты все понимаешь, правда? Апа все понимает! Ведь так, апа? Конечно, тут веселей.

Старуха немного оттаяла, чуть улыбнулась.

— Какая негодница, а? Не лезь-ка ко мне, отстань. Нравится, нравится... Ну нравится, так и живите — нашли свой обетованный край. А сейчас-то где была?

— Да я вот шла мимо промысла, зашла посмотреть. Гляжу, там женщины рыбу потрошат...

— Ну-ну?

— Да нет, это я так говорю... Хотя, между прочим, за работу там рыбы дают.

— Знаю. Слышала.

— Ну я и пошла к одному русскому. Сказала ему, что тоже хочу работать...

— Пошла прочь!— закричала старуха и оттолкнула Айганшу.

— Апа, ты же обещала...— Айганша еще улыбалась, но уже обиженно, робко.

Не слушая ее, кряхтя и задыхаясь, старуха поднялась, волоча одеяло, подошла к снохам, вырвала у них уже вспоротую рыбу, пошла на улицу и бросила ее там собакам. Вернулась она страшная, взлохмаченная ветром, уставилась на Айганшу.

— У, бесстыжая! Честь девушки марать... Не позволю, пока жива! Чтобы это было в последний раз — наниматься к русским!

Никто не сказал ни слова, старуху боялись. Было слышно, как на дворе рычали собаки, рвали рыбу. Айганша была любимицей в доме, ей многое прощалось. Но теперь и она не проронила ни слова, сникла, крепко прижала к себе голодного племянника и, еле сдерживая слезы обиды и стыда, опустилась на холодный пол мрачного дома.

Немного погодя стал ворчать что-то себе под нос Калау. Тулеу помрачнел, глотал слюну, думал, чего бы такого съесть. Ребятишки хотели реветь, но боялись плакать громко, захныкали потихоньку. Потом опять всеми овладела скука, стали понемногу зевать, и уже, как полчаса назад, все ненавидели друг друга.

Но в это время за стенкой опять послышались шаги — ровные, тяжелые, будто шел крепко задумавшийся человек. Открылась дверь, и вошел Мунке. Он принес большую копченую рыбу, как раз на котел для семьи. С тех пор как семья Тулеу приехала к морю, Мунке часто ее навещал. Постепенно он привык к новым соседям, и ему тяжело было видеть их неустроенность и бедность. Ни разу он не пришел с пустыми руками, всегда что-нибудь приносил.

— А! Мунке-ага! Проходи, дорогой, проходи, садись,— почтительно пригласил его Тулеу.

— Спасибо, я ненадолго. Дел много...

— Ах, милый! Какие там, к чертям, дела?

Старуха покосилась на сына, ядовито хмыкнула. Тулеу даже передернулся, покраснел, но смолчал. Мунке сделал вид, что ничего не заметил.

— Ох-хо-хо...— вздохнул он.— Трудно жить большой семьей. Ты не стесняйся, попроси, если что, я тебе рыбой могу пособить.

— Спасибо, Мунке-ага. Вся надежда на аллаха, а потом на тебя.

— Да что там! Не у всех богатство через край бьет. Жизнь наша — море. Земля плодородит от людских рук. А море ведь дар божий... Надо делиться тем, что есть.

— Верно! Когда-нибудь и мы... Пусть аллах отблагодарит тебя! А ты что тут расселась? А ну давай ставь котел скорее!

Кенжекей быстро разожгла огонь. Кривые сучья вспыхнули ра-

зом; звонко, весело затрещали, полетели искры. В землянке скоро потеплело, стало уютней. Мрак по углам стал рассеиваться. Кроме старухи, все подсели к огню. Ребятишки усиленно шмыгали носом. Калау жадно, зверовато глядел на запотевающий на огне котел. Рыба лежала возле костра, нагревалась от жара, по боку ее выступал жир. Стоило кому-нибудь взяться за нее или посмотреть на нее — Калау сразу настораживался, напрягался, даже в лице менялся.

Когда котел зашумел, рыбу взяли — взяли осторожно, нежно,— опустили в горячую воду, она стала там медленно переворачиваться, пускать сок. А когда в котле забулькало, лишился терпения и Тулеу. Запах варившейся рыбы опьянил его, он прямо-таки не находил себе места, поеживаясь, глотал слюни.

— Дрова клади! Побольше подкладывай!— не давал он покоя Кенжекей.

Мунке, наблюдая за хозяином дома, досадливо морщился.

— А ты, любезный, как же думаешь дальше жить?— спросил наконец он.

— А я еще не думал об этом, Мунке-ага!— быстро ответил Тулеу. Легко так ответил, бездумно — нюхал, как пахнет рыбой.

— Вот тебе на! Кому же заботиться об этих малышах, как не тебе!

— Вот-вот!— проскрипела старуха.— Скажи-ка ему, дорогой Мунке, скажи!

— Да помолчи ты, апа!— взмолился Тулеу.— Все пилит, пилит меня,— пожаловался он Мунке,— покоя нет совсем...

Старуха поджала губы и отвернулась. Тулеу нетерпеливо переводил взгляд с котла на Кенжекей.

— Может, пора? А то разварится?— надоедал он Кенжекей, не замечая, не желая видеть насмешливого взгляда старого рыбака.

— Да постой ты!— остановил его опять Мунке.— Рыба в котле никуда не денется. Ты вот скажи лучше, как жизнь строить думаешь. Хочешь не хочешь, а семью кормить надо.

— А я откуда знаю... На молоке продержимся как-нибудь...

— Вот это сказал! Ты, дорогой, пойми: в этих местах верблюд тебя не прокормит.

— А?— не понял Тулеу, потому что думал о котле, и сделал усилие, чтобы вспомнить, что сказал Мунке. Потом понял.— Это почему же не прокормит?

— А потому, что на верблюжьем молоке долго не протянешь. Жить у моря и рыбы не видать? Ты не верблюда дои, ты дои море! Будешь море доить, такой крепкий джигит, как ты, любую семью прокормит.

И Мунке, довольный, что так ловко сказал о море, которое можно доить, весело засмеялся. Улыбнулся было и Тулеу, но тут же и поник. На ум ему пришла холодная вода, волны, утлые лодки, тяжелый труд рыбаков.

— Эй, Тулеу, чего ты ходишь, будто щука на крючке?— продолжал развеселившийся Мунке.— Послушай меня, ты мужик разумный, иди в рыбаки!

Тулеу, не отвечая, упрямо нагнул голову, стал смотреть себе под ноги.

— Ты слушайся, дурак!— опять не вытерпела старуха.— Мунке правильно говорит. За такой совет не жалко и верблюдицу отдать.

— Брось...— вяло отмахнулся Тулеу.— Как это я рыбу ловить буду?

— Э, да рыбаки хуже тебя, что ли?

— Да я не говорю ничего Только я ведь никогда не занимался таким делом...

Тут рассердился Мунке:

— Хватит глупости врать! Кто из нас родился рыбаком? Было бы желание, научиться всему можно.

У Мунке как-то пропало настроение, он поднялся, подошел к молчаливо сидевшей возле печки грустной Айганше и нежно погладил ее по голове.

— Кроме этой вот дочки, от вас всех, видать, проку мало!— сердито сказал он и, нагнувшись, вышел из дому — в сердцах и не попрощался.

V

Люди, недавно приехавшие из степей к морю, к соленой прибрежной воде привыкали медленно. Питьевую воду они возили обычно из Ак-баура. Ак-баур был далеко от берега.

— Эй! Ты сегодня поедешь за водой?

— Очень мне нужно...

— Да ты что, обалдела? В доме и глотка воды нет!

— Раз нет, ты и поезжай.

— Я в прошлый раз ездила.

— И сегодня поедешь. Ничего с тобой не станет,— ухмыльнулась Балжан.

Она сидела, развалясь, рядом с Тулеу. По лицу ее бродила наглая усмешка.

Кенжекей опешила. Кровь ударила ей в голову. Кенжекей яростно поглядела на Балжан. Та сидела как ни в чем не бывало, ласкалась к мужу, будто никого, кроме них, в доме не было. Господи, с каким наслаждением бросилась бы сейчас Кенжекей на эту молодую, полнотелую, заласканную соперницу, как бы она расцарапала ей всю морду, выдрала бы все волосы! Да где там броситься, выругать как следует и то нельзя. И от ярости, от бессилия Кенжекей заплакала, заплакала едко, злобно...

— Ну? Чего сидишь? Или не слыхала, что сказали?— начиная свирепеть, крикнул Тулеу.

— Что мне, каждый день ездить, да?

— И каждый день поедешь! А ну живо!

Кенжекей дернула плечами, упрямо отвернулась. Тогда Тулеу, отпихнув Балжан, вскочил, схватил Кенжекей за ворот и, душа ее, поволок к двери. Маленькая дочь Кенжекей испугалась до смерти, завизжала, уцепилась за материнский подол, поволоклась за ней, стуча ножками и закатываясь. Тулеу остановился, дал ей пинка, опять потащил Кенжекей, пиная на ходу коленом, дотащил до двери и изо всех сил бросил за порог.

— Убью, стерва, убирайся!

Взобравшись на верблюдицу, Кенжекей погнала ее в степь. В сердцах она колотила ее по чему попало, задыхалась от слез, от жгучей обиды.

День был хмурый. Вчерашняя черная буря улеглась, стихла, но еще присутствовала во всем, как будто остановилась на минуту и обернулась, чтобы посмотреть, что удалось ей сделать на земле. Все вокруг насупилось, небо плотно обложили тучи. Холодно кружился снег. Земля была темна. Корявые кадыкастые корни бурой полыни оголились.

Грузно потрухивающая верблюдица поминутно спотыкалась о корни и кочки, напряженно дергалась. «Да что это с ней?»— раздраженно думала Кенжекей и тут же вспомнила дочурку, которая осталась дома.— И Айганши моей нет дома. А эти собаки разве пожалеют, приласкают ребенка?»

Подъехав к колодцу, она отпустила верблюдицу и начала набирать воду. Она торопилась, но верблюдица нетерпеливо и упрямо вытягивала шею к ведру, мешала ей, облизывалась, показывая, что хочет пить. Кенжекей несколько раз отмахивалась от нее, потом рассердилась и ударила пустым ведром ее по морде. Пугливое животное мгновенно вскочило, Кенжекей резко дернула за поводок — буйду.

— У, подлая! Чок! Чок!

Верблюдица заревела. В ее реве была такая боль и тоска, что у Кенжекей сердце зашлось. Она впервые слыхала, как ревет ее верблюдица. Она вдруг близко, во всех подробностях рассмотрела морду верблюдицы, увидела слезы в ее глазах, увидела зачервивевшие ноздри, и ей стало жарко от стыда. Торопливо бросилась она с ведром к колодцу и стала поить ее. Верблюдица жадно окунула морду в воду, но часто отрывалась и отфыркивалась — холодная вода жгла ей ноздри, и было видно, как ей больно.

И Кенжекей подумала, что обе они несчастливые в жизни. С тех пор как перебрались они к морю, все тяготы большой семьи легли на них обеих. На верблюдицу жалко было смотреть, такая она была изнуренная, забитая. Оба горба уныло повисли, шерсть под мышками слиплась от пота, мокрые полосы его спускались на впалое брюхо, подгрудок облысел. Недавно Тулеу безобразно обкорнал пышную шерсть на ее шее, чтобы сделать себе на зиму теплые подкладки под портянки...

Напившись, обессиленная верблюдица положила шею на землю

и закрыла глаза. Кенжекей все не двигалась. Только сейчас заметила она, до чего довели ее любимицу. Долго и печально глядела она на нее и вдруг стала думать, что не стоит, пожалуй, осуждать ни мужа, ни соперницу Балжан, что нет смысла на них обижаться. Ведь все равно, виноват ты или нет, сильный всегда издевается над слабым. И не нужно быть строптивой. Сколько вон претерпела рыжая верблюдица из-за своей строптивости! Сколько раз хлестали ее чем попало Тулеу и Калау! Однажды чуть не проломили голову, а глаз один и до сих пор стянут веком — повредили. Кенжекей смотреть было невмоготу, как били ее верблюдицу, ее приданое, а молчала, отворачивалась, кусала губы. Обида давно уж закаменела в ее душе, давно глубоко где-то в груди лежал и тяжелел камень.

А ведь и хороша же была когда-то верблюдица! Высокой, статной, своенравной она была. Нежная светло-желтая шерсть ее мягко, волнисто золотилась под ветром. Кенжекей как сейчас помнит: появился верблюжонок на свет зимою. Какая радость была тогда в доме! Каждый день начинался со счастья: родился верблюжонок! Кенжекей прямо с ума сошла, готова была жить возле него постоянно. Целыми днями она вертелась около маленького тонконогого рыжего верблюжонка, глядела ему в чистые большие смолисто-черные глаза. То и дело ей казалось, что верблюжонок вот-вот упадет, не удержится на тонких, слабых ножках.

Точно так же думала и верблюдица. Она ко всем его ревновала, совсем озверела, стала лютой, дикой и никого к себе не подпускала, кроме скотницы, доившей ее. Стоило кому-нибудь подойти к ней и верблюжонку, начинала она скрежетать зубами, свирепо плеваться, и глаза у нее наливались кровью, горели, как у волка.

Телилась она тяжело. А потом, ослабевшая, дрожащая, тихо, страстно постанывая, она лизала, обнюхивала верблюжонка, еще мокрого, дымящегося и скользкого.

Кенжекей плакала, целовала мать и отца и упросила все-таки: взяли верблюжонка в дом. И тогда настало для Кенжекей самое счастливое время. Она засыпала и просыпалась с мыслью о верблюжонке. Она ухаживала за ним, чистила, меняла подстилку и кормила из рук. Она тоненько смеялась и вскрикивала, как от щекотки, когда он тыкался мягким плюшевым носом ей в ладони. Когда Кенжекей отгоняла его, замахивалась, он сердито вытягивал шейку и брызгал на нее теплыми слюнями.

В доме все видели любовь Кенжекей к верблюжонку, тоже полюбили его особенной любовью и ухаживали за ним, как за священным животным. Других верблюжат рано отлучали от матерей, а рыжий любимец уже годовалым все еще сосал мать. Ноздри ему пробили поздно. На нем не ездили. Верблюжонок вырос и превратился в красивую, статную пышношерстную верблюдицу.

Выросла и Кенжекей и стала девушкой на выданье. Когда ее засватали, рыжую верблюдицу пригнали из степи, покрыли наряд-

ным ковром. Голову ей украсили перьями филина, нагрузили приданым девушки, а невесту посадили в калауш между горбами.

Одичавшая гордая верблюдица всю дорогу вздрагивала, пугливо озиралась по сторонам. Кенжекей подумала, что это плохая примета, стала предчувствовать какую-то беду, хотела пересесть на коня. Саврасый иноходец (тоже ее приданое) шел рядом в поводу.

Но сказать о своем страхе было некому. Сватов она стеснялась, а к мужу обратиться не посмела. Из-под свадебного покрывала она несколько раз взглядывала на свою женге, моля бога, чтобы и та взглянула на нее и поняла, как ей страшно, но та, окруженная девушками, что-то весело им говорила, хохотала и не смотрела на Кенжекей.

«Неужели, еще не проводив, она уж забыла меня?»— горько думала Кенжекей. Еще не расставшись со своей родней, она уже чувствовала одиночество. Коротка, ах, как коротка девичья пора! Еще не успев стать женой, Кенжекей уже знала, что навсегда, на всю жизнь, до смерти расстается с веселой жизнью любимой дочери в родительском доме, что впереди у нее совсем другая, горькая жизнь. Родители провожали ее недалеко, за аул, а там передали повод рыжей верблюдицы коренастому мрачному джигиту. И Кенжекей, украдкой глотая слезы, поняла, что отныне ее судьба в его руках. Одно было неведомо: какова же будет эта судьба? Ей даже и думать об этом было страшно. С ужасом глядела она, как молча принял повод верблюдицы из рук родителей черный кряжистый джигит, ее муж.

Она тогда еще робко отмахивалась от мрачных предчувствий, утешала сама себя — ведь, расставаясь с родителями, ехала она к новой родне. Ей хотелось быть в пути рядом с мужем, ехать вместе, говорить с ним. Но он был угрюм и молчалив, будто ее навязали ему силой. Он был совсем чужой, как любой проезжий, встреченный в степи и тут же навсегда исчезнувший из глаз. Целых два дня понуро вел он верблюдицу, глядя себе под ноги, и за два дня не вымолвил ни слова!

Она разглядывала сверху его. Ей нравилась его крепкая, литая фигура, его сильная шея. Ей хотелось любоваться им, радоваться, что он достался именно ей. Но, увидев его руку, покрытую у запястья черной густой шерстью и крепко стиснувшую плеть, Кенжекей похолодела. От его крутого затылка веяло холодной тупой силой, и она тогда же решила, что жить ей с ним будет нелегко.

Мерно покачиваясь на верблюдице, разглядывая своего мужа, она несколько раз возвращалась мыслью к первой ночи с ним. Три дня длился той. Только на четвертый день, уже за полночь, разъехались гости. Усталая Кенжекей с ног валилась, даже раздеться как следует не смогла, еле добрела до постели. В голове у нее билась какая-то жилка, стоял звон, и круги шли перед глазами. Никто к ней сначала не входил, и она стала уже засыпать, когда пришла

ее женге. Прижавшись к Кенжекей, щекоча ее, она зашептала ей на ухо.

— Ну, еркем, милая моя, такова воля божья... Готовься! Женщины ведут его сюда...

В шепоте ее слышались зависть и похотливость. Кенжекей не успела ничего ей сказать. Женге быстро вскочила, взяла светильник и вышла. За юртой послышались многочисленные шаги, шепот, смех. Потом все смолкло, и минуту ничего не слыхать было. Но вот кто-то грузно зашагал к юрте. Под ногами его сухо потрескивала трава. Скрипнула дверь. Тяжелое дыхание раздалось в темноте юрты. Осторожно переступая, он в темноте ощупью искал ее постель. Кенжекей свернулась в клубок, напряглась и прижалась к стенке юрты, обеими руками зажимая одеялом рот. Потом она затаила дыхание и начала дрожать. Тяжело дыша, он нащупал наконец постель, стал раздеваться, скрипя сапогами, шурша одеждой. Не издав ни звука, он кинулся в глубь постели, к стенке, туда, где — он знал — притаилась она, и подмял ее под себя, больно выкручивая руки, расталкивая коленями ее ноги...

На другой день она ходила, опустив глаза, а в его сторону и вовсе не могла смотреть. Она знала, что произошло что-то серьезное, глубоко важное в ее жизни, но чувствовала только стыд и тупую боль внутри себя.

А потом они ехали по степи день и два, и он молчал. . Свадебное кочевье поднималось к Ханским хребтам. За хребтами открылись им зеленые луга. Небольшое озеро слюдянисто сверкало, млело под солнцем. Здесь на не вытоптанном скотом, свежем и чистом травянистом поле недавно расположился аул. В ауле уже давно и с нетерпением ждали невесту. Как только показалось в виду аула свадебное кочевье, из всех юрт высыпали люди. Девушки и молодые женщины в ярких одеждах, в саукеле и чолпах шли веселой разноцветной толпой. Опираясь на клюки, тащились за ними старики и старухи. Впереди всех, подняв гвалт на всю округу, мчались голоногие ребятишки. Увидев яркую шумную толпу, верблюдица нервно прижала уши, начала шумно сопеть, раздувая ноздри. Норовя вырваться, она, задрав голову, заходила вокруг всадника, который вел ее в поводу.

Кенжекей окружили старухи, начали бросать ей шашу: баурсаки, конфеты и курт. Верблюдица шарахнулась, вырвала повод и помчалась в степь. Кенжекей вцепилась в тюки, зажмурилась и начала молиться аллаху. На секунду открыв глаза, она увидела, как все мешается и кружится — белые юрты, нарядная толпа, скот на выпасах... Падая с верблюдицы, Кенжекей успела подумать, что вот и смерть и конец, и больше уже ничего не помнила.

— И надо мне было тогда разбиться!— вслух сказала она и грустно оглядела степь.

Но она не разбилась. Разбилась свадьба. Разбилась жизнь. Уже потом она узнала, что случилось с верблюдицей. Обезумевшая, та

металась, прыгала из стороны в сторону, брыкалась, раскидывая по всей степи девичье приданое. За ней погнались конные джигиты, еле поймали, стали нещадно избивать соилами, потом кое-как связали и пригнали домой. Тулеу ругался, хотел тут же ее прирезать, но не позволила мать. Так рыжая верблюдица первый раз была наказана за свою строптивость. Ну а она, Кенжекей, в чем же виновата, за что карает ее судьба?

— Ничего плохого я ему не сделала!— прерывистым от слез голосом сказала Кенжекей, сидя на корточках возле верблюдицы и ковыряя палочкой землю.

Она вытерла слезы, вздохнула, огляделась и увидела, что со стороны богатого аула к колодцу подходит хорошо одетая женщина. Все на ней было чисто и богато, все сидело ловко, но лицо ее было бледно и печально. Поставив ведра у колодца, она чуть слышно поздоровалась. Кенжекей поразили ее необыкновенная красота и учтивость.

— Здравствуй, здравствуй!— быстро сказала в ответ Кенжекей и жадно оглядела красавицу.— Прости, милая, что-то я тебя не могу вспомнить...

— Я вон из того аула за холмом...

— А! Говорят, что там аул бая Танирбергена?

— Да, я оттуда.

Незнакомка тяжело вздохнула и опустилась на корточки. Кенжекей торопливо перебралась к ней, присела рядом.

— Как же зовут тебя, милая?

— Акбала.

— Акбала?— удивившись, переспросила Кенжекей.

Акбала покраснела. Опустив глаза, она принялась теребить головку полыни, мотающейся рядом под ветром.

— А мы тоже тут живем,— сказала Кенжекей, и ей вдруг захотелось рассказать все про свою жизнь.— В этом году переехали сюда, к морю. Думаем, может быть, тут получше будет.

Акбала еще издали догадалась, что женщина с верблюдицей из рыбачьего аула. Кровь бросилась ей в голову, сердце заболело, забилось, и она ног под собой не чуяла, подходя к колодцу. Будто вчера только рассталась она с Еламаном и тепленьким беспомощным Ашимом, так ясно вдруг оба они ей представились и так вдруг до боли захотелось ей узнать что-нибудь о них. Она обрадовалась, руки у нее задрожали, когда женщина с верблюдицей первая заговорила с ней.

«Бедный ребенок слезами небось исходит!»— думала между тем Кенжекей. Но, подсев к Акбале, заговорив, тут же забыла она и о дочери, и о муже, и упрямая верблюдица осталась сама по себе...

— Свекровь у меня строгая... Да уж, грешить не стану, хороша! Справедливая старуха!— Кенжекей показалось, что и Акбала несчастна, и тут же подумалось, как славно они сейчас поговорят.—

Ах, милая! Свекровь у меня прямо необыкновенная. Куда нам до нее! Она не какая-нибудь там длиннополая баба! В свое время пожила. После смерти мужа целым аулом правила. Лучше любого мужика.

— Хорошая, значит, у тебя защита,— сказала Акбала, думая о другом.

— Какой там! Она теперь при смерти лежит. В том-то все и несчастье. Бедная моя головушка!

Рыжая верблюдица между тем давно уж подобрала всю полынь вокруг себя. Вставать ей не хотелось, и она некоторое время грызла и лизала, вытягивая шею, уже обкусанные былья. Потом неохотно, грузно поднялась, качаясь из стороны в сторону, повела влажным глазом на два белых жаулыка, наклонившихся друг к другу возле колодца, и, волоча поводок, тихонько пошла.

Увлеченная разговором, Кенжекей ничего не замечала. Она говорила, жаловалась, раскачивалась, схватившись за виски, поднимала и опускала глаза, и душа ее горячела и становилась мягкой, будто засохшая раньше шкура, сбрызнутая теплой водой.

— Есть и золовка у меня, Айганша! И-и, не говори! Такая разумница, такая работница! Девушка уж на выданье, будь она благословенна — аллаху надо за нее молиться день и ночь. Нашелся бы ей только хороший муж, с любым хозяйством играючи управится. Как вот только судьба у нее сложится? Какому джигиту попадет бедняжка?

— Да-да! Это верно, женская доля — мужская воля...

— Не говори, милая, так она и есть! Под крылышком отца с матерью какая девушка не счастлива, не красива?

— Все верно. А замуж вышла, ищи счастье красной девицы в пасти красного пса.

— Как подснежник весной, коротка жизнь девичья. Потом затопчут, заездят! А еще говорят: «В девушках все хороши, откуда только такие плохие бабы берутся?» У, шакалы, у, звери, лютые!— закричала вдруг Кенжекей и чуть не зарыдала.— А ведь и я была когда-то любимицей в семье. А что теперь осталось? Что осталось?..

Акбала ничего не говорила. Нагнув голову, чтобы скрыть слезы, смотрела она в землю, покусывала красивые свои губы, бровь ломала да былинку теребила...

— А черт с ними!— грубо и горько сказала Кенжекей.— Я уж свое прожила, хоть так, хоть этак, а вот что будет с Айганшой? У меня сердце изболелось за нее — вдруг возьмет ее кобель какой-нибудь, как меня... Только о ее счастье теперь и молюсь.

А Акбала все думала о своем сыне. За делами в ауле она как-то забывала о нем, и это забвение приходило к ней, как награда за что-то, хоть и не за что было быть награде. В редкие минуты только, когда была она одна в юрте или в степи или слушала, как вот теперь, про чужое горе, ей хотелось вдруг, чтобы с ней был ее сын, чтобы она могла играть с ним, прижимать его к себе, кормить его,

слушать его дыхание... Но уж давно не знала она, где он, что с ним, и жив ли он вообще. Не слыхала ничего о нем и Кенжекей, и Акбала совсем согнулась, сгорбилась так, что похожа стала сзади на старуху.

А Кенжекей вспомнила теперь о своем муже — что он больше любит младшую жену,— и опять все закипело у нее в груди, опять кулаки сжались сами собой.

— Что мне делать? Что мне делать? Что может несчастная баба? Злиться? А что толку? Правильно ведь говорят: «Баба разозлится — котел вскипятит». Когда разбушуемся — бьем посуду. Пинаем собаку, смирно лежащую около двери. Когда доим верблюдицу, больно дергаем за соски... А-а-а, боже мой!..

Обернувшись, Кенжекей увидела, как, волоча поводок, ее верблюдица уходит все дальше и дальше.

— О несчастная моя головушка! О разнесчастная доля моя!

Вскочив, она даже не попрощалась с Акбалой. Путаясь в подоле длинного платья, она помчалась по степи за уходившей верблюдицей.

На ходу хватая траву, рыжая верблюдица подавалась в сторону Бел-Арана. Оглянувшись, увидала она бегущую с развевающимся подолом свою хозяйку и сперва прибавила шагу, а потом перешла на легкий раскачивающийся бег. На верблюдице была бочка, полная воды, и тяжелый бурдюк с другой стороны — для равновесия. Теперь бурдюк, гулко колотясь по боку, стал перетягивать бочку. Кенжекей протягивала руки и ласково звала, задыхаясь от бега:

— Милая! Милая!..— И тут же вполголоса:— У, чтоб тебя разорвало, проклятая!

Верблюдица немного приостановилась, послушала хозяйку, потом повернулась головой к ветру и опять побежала к Бел-Арану. Сторона возле Бел-Арана была совершенно безлюдна. Там обитали воры и рыскали волки. В этот голодный год волки каждый день резали скотину во всех окрестных аулах.

Вспомнив о ворах и волках, Кенжекей совсем перепугалась и побежала, не отставая от верблюдицы. Пот заливал ей глаза, ноги уже одеревенели, волочились, она задыхалась, но все бежала.

Перевалив Бел-Аран, меж безлюдных холмов по такой же безлюдной равнине все дальше и дальше потрухивала верблюдица.

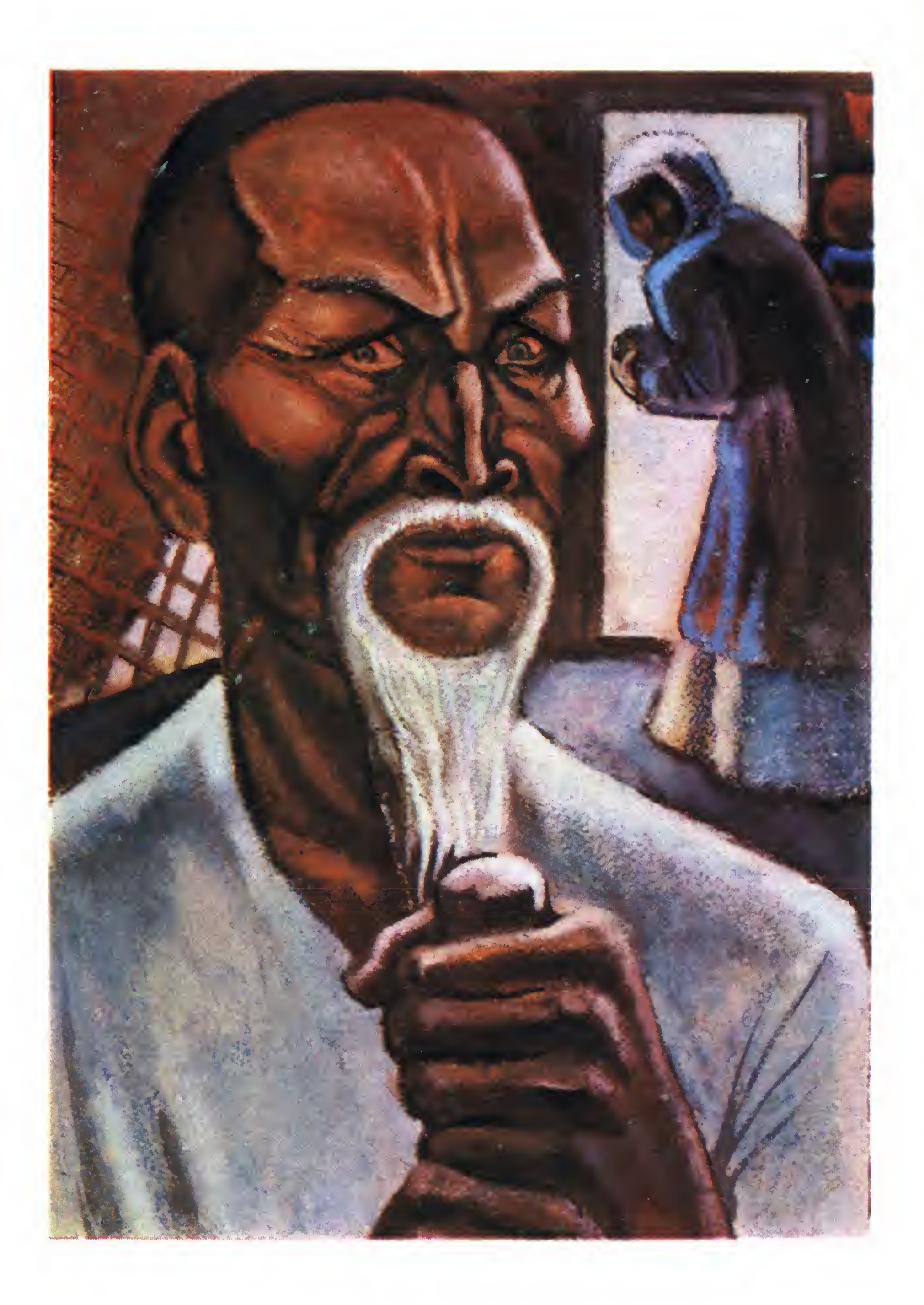
— Чтобы ты подохла, рыжая!— кричала теперь что есть силы Кенжекей, падая и опять поднимаясь.— Чтоб ты взбесилась, проклятая!

Скоро голос ее сорвался, в горле совсем пересохло. Бурдюк на верблюдице наконец перетянул бочку. Ноша глухо брякнулась о землю. Испуганная верблюдица засопела и понеслась, высоко вскидывая ноги. Выбившись из сил, задыхаясь, плача, Кенжекей упала и больше не поднимала головы.









VI

Когда был жив брат-волостной, Танирбергену привольно, хорошо было за его спиной. Молодой мурза вперед не лез и не вмешивался открыто в бесконечные тяжбы родов. В глазах многолюдного приморья он всегда выказывал себя только с лучшей стороны, а когда хотел свести с кем-нибудь счеты, действовал через брата-волостного, и поэтому в аулах никогда не знали, что замышляет Танирберген и причастен ли он к тому или другому делу.

Все дела свои он задумывал обычно втайне, советовался только с двумя-тремя доверенными джигитами, а перед тем, как привести в исполнение какое-нибудь очень уж паскудное дельце, он как под воду уходил, ничем о себе не напоминал, даже на людях не показывался.

Зато, когда дело было позади, он объявлялся в неизменном своем блеске, на лучшем коне, с быстрой гончей, щегольски одетый. Ездил он тогда по аулам, кланялся первым даже самым бедным голодранцам, со всеми милостиво говорил, и казалось тогда, что он как раз и есть единственный безгрешный, ничем не запятнавший себя человек в этом мире произвола и греха. Он как бы ничего не знал о страданиях, о кровавых схватках, об угнанных ночью табунах коней, об украденных девушках, о грязных сделках — он был безобиден и простодушен и каждому нежно улыбался в свои холеные черные усы. И человек, ничего не знавший о нем, не знавший о воровском топоте ночных джигитов возле его юрты, невольно думал: «Апыр-ай! До чего этот красавец мурза ангельски безгрешен!»

Мурза не любил открытых ссор, обид, резкости — всего, с чем связана власть. Но после смерти брата-волостного пришлось ему эту открытую власть брать в свои руки, и он сразу оставил свое прежнее притворное благодушие.

Но он никогда не забывал главной ошибки брата. Тот был вахлак и глуп при этом. Тот уповал на власть, на грубую силу, не знал уступок и потерял многих надежных и нужных людей. Он сам оголил себя, и это его погубило. Крепко запомнив роковую ошибку брата, Танирберген теперь неустанно собирал вокруг себя преданных людей.

А среди его откровенных врагов самым неуемным и опасным был старик Суйеу. Склони он на свою сторону уважаемого, высокочтимого у себя в аулах старика — узда еще одного бедного, но многочисленного рода оказалась бы в его руках.

Примирения со стариком Суйеу жаждала и Акбала. Чем дольше жила она в ауле мурзы, тем тоскливее становилось ей, тем все чаще шепталась она с мужем по ночам.

— О, я счастливая!— жарко шептала она.— Счастливая, добилась тебя, люблю тебя, я с тобой! На все пошла — преступила обычай предков, без благословения отца и матери... Но послушай! Пусть это будет единственная, самая большая моя просьба к тебе,

на этом свете ничего больше не хочу... Пригласи стариков, окажи им честь!

Танирберген вызвал к себе одного человека, ловкого, острого на язык — дальнего своего родственника. Родственник слушал почтительно и внимательно. А выслушав, быстро сказал:

— Мурза, доверься мне. Старик Суйеу упрям, но если язык, способный расплавить камень, не сможет уломать вредного старикашку,— отрежь его!

Танирберген поморщился. Он не любил хвастливых заверений и обещаний, он любил дело.

— Ладно, счастливого пути!— сказал он холодно.

«Ну теперь пусть радуется Акбала!»— подумал он, оставшись один. Ему стало легко, жизнь, показалось ему, налаживалась. Сколько трудных и хитрых дел провернул он за свою жизнь, но никогда еще не был доволен собой так, как сейчас. Он радовался: какое дело сделано! Какой поворот судьбы решен!

Он терпеливо ждал Акбалу, ушедшую за водой, когда к нему в дом шумно, резко вошел софы Алдаберген. С ним вместе поспешно вошла и байбише Танирбергена. А за ними еще целая толпа людей стала втягиваться в дом.

Сначала Танирберген не обратил на них внимания. Привычка брата софы водить по домам за собой ораву людей была ему хорошо знакома. Но он вздрогнул, побледнел и сузил глаза, когда увидел среди этих людей своего родственника, десять минут назад отправленного им с поручением к старику Суйеу.

Старый софы сел и в упор поглядел на мурзу.

— Никто не стоит на твоем пути, никто тебе не перечит, а? Молодыми и старыми понукаешь! Да что это такое, а? Как жеребец в косяке выкауриваешься, будто мы все кобылы!

Танирберген едва заметно улыбнулся этому сравнению, но тут же вздернул голову и отвернулся.

— Эй, эй, мальчишка!— заревел старый софы и прицелился в брата посохом.— Уа, поверни ко мне лицо! Смотри мне в глаза! Если над единокровным родством смеешься, не смей смеяться над седой бородой! Я зна-аю, это она, сатана, тебя научила, на ней ты женат, на дочке врага нашего!

Танирберген не шевелился, ни на кого не взглянул, еще красивей стал. Он ненавидел сейчас и софы, и всех его нукеров и только об одном думал — как бы сдержаться, не закричать. А софы казалось, что брата стыд жжет, что он чувствует свою вину и потому молчит.

— Ты что теперь, с ума спятил, что ли?— нажимал он.— Хочешь этого босяка пригласить в свой аул, а? Потому что с дочерью его спишь? Если ты нас уважаешь, не зови старого хрыча! Он твой и наш враг. А с врагом родства не ищут. Такова воля всех этих людей и твоей байбише, которую, между прочим, ты взял девушкой.

Алдаберген вдруг ядовито прищурился. О! Он больно задел брата, он понял это и испытал минутную отраду. Танирберген нахму-

рился, дернул бровью. Смуглая байбише не спускала глаз с мужа. Увидев, как дрогнуло его лицо, она почувствовала, что и у нее внутри что-то оборвалось.

Танирберген повернулся к своему косоглазому гонцу, как всегда сидевшему у двери.

— Поезжай к Суйеу! Не сумел я миром сосватать его дочь. Пусть простит меня. Пусть простит и дочь, пусть приедет к ней. Низким поклоном встретим его. С почетом, с почестями проводим. Передай мои слова Суйеу и сопровождай его, когда он поедет сюда.

— Слушаю, мурза. Точно донесу ваши слова,— почтительно сказал косоглазый и, захватив камчу и тумак, вышел из дому.

В доме стало тихо, только нукеры посапывали. Все боялись шевельнуться. В эту минуту, оставив коромысло на улице, с двумя ведрами воды вошла Акбала. Все повернулись к ней, стали ее разглядывать, будто видели впервые. Акбала смутилась, быстро огляделась, перехватила ненавидящий взгляд байбише, увидала в глубине юрты возвышавшегося, как пень, сивобородого массивного Алдабергена и, чуть согнув правое колено, учтиво поклонилась. Алдаберген закрыл лицо руками и закричал:

— У, шлюха! Убирайся с глаз моих! Сгинь! Сгинь!

Поглядев на Алдабергена, и байбише вдруг схватилась за волосы.

— Ойбай, ойбай! Эта токал... эта нищенка треклятая со света хочет меня сжить!..— завопила она, подхватилась и выбежала на улицу.

Акбала остолбенела. Ничего не понимая, полуоткрыв рот, переводила она глаза с одного на другого. Танирберген тоже растерялся. Он мог своею властью призвать к повиновению любого человека в роду. Но против своей байбише, которая с воплями бегала вокруг дома, он бессилен.

Софы Алдаберген поднялся. За ним с шумом вскочили нукеры.

— Ты добился своего!— софы потряс посохом.— Ради молодой потаскухи ты предал нас всех. Но раз уж на то пошло, я тебе отплачу... Я тебе... Пока я жив, этот белобрысый старикашка не ступит на мою землю. Через мой труп войдет он в этот аул!

В сопровождении нукеров софы с шумом пошел вон. Тяжело вздохнув, Танирберген поднялся, подошел к плачущей Акбале, постоял, глядя на нее сверху вниз. Потом сказал:

— Ну-ну, хватит, утри слезы. Лучше позаботься, чтобы завтра получше встретить твоих стариков.

— Встретить? Они приедут?— быстро спросила Акбала, подняв мокрое от слез лицо.

— Да-да, приедут, готовься,— рассеянно сказал Танирберген, думая уже о другом:— Эй, кто там! Седлайте мне коня!

VII

Крепко натягивая поводья, Танирберген на белом аргамаке рысью ехал впереди своих джигитов.

Танирберген любил своего теке-жаумита, и было за что любить. Все в нем было необычно — тонкая, змеиная шея, маленькая головка и мощный, круто возвышающийся, широкий круп, лоснившийся короткой шерстью, похожий на опрокинутый котел. И редкий цвет был у этого аргамака — белее снега!— и редкая, размашистая, горделивая иноходь, как ни у какого другого коня! Ехать на нем было наслаждение. Казалось, плывешь в лодке по спокойной воде.

Но сейчас Танирбергену не до коня было. Едва выехав из аула, он принялся охаживать аргамака камчой. Долго они мчались по степи, пока Танирберген не увидел, что все джигиты его отстали. Тогда он начал сдерживать жеребца.

Жеребец всхрапывал. Глаза его налились кровью, он дергал головой, просил повода и шел таким широким шагом, что догнавшие мурзу джигиты трусили по бокам рысью.

Танирберген как выехал из аула, так уж и не смотрел по сторонам. С перекошенным от ярости лицом он уперся глазами в навостренные уши коня и только усы покусывал. Горькие мысли разъедали ему сердце. Только что разыгравшаяся сцена угнетающе подействовала на него. На душе было муторно от выходки старого софы и байбише.

Все чаще теперь вспоминал он покойного Кудайменде, и вспоминал с нежностью. Как часто бывал недоволен он братом-волостным — тот и глуповат был и нерешителен. Но никогда он не вмешивал в свои семейные дела посторонних людей, никогда не кричал попусту на весь свет, любил все обговорить наедине. И еще золотая черта была у волостного: в трудных случаях он всегда и всецело доверялся Танирбергену, знал, что мурза плохого не посоветует.

Как же глуп по сравнению с покойным волостным старый софы! Со смертью Кудайменде его точно подменили. Считая Танирбергена мальчишкой, не зная того, что все умное в волости: всякие ловкие дела, выгодные сделки, влияние их рода — исходило от Танирбергена, старый софы теперь, забыв посты и молитвы, старался прибрать аул к своим рукам и открыто натравливал на мурзу свою многочисленную родню.

«Ах, старый, старый дурак! Что же он будет делать, став во главе рода?»— думал про софы Танирберген и только головой покачивал. Все это время он остро чувствовал свое одиночество. Единственная давняя надежда, младший брат Жасанжан — теперь загадка...

Приезд его в аул чуть не всю степь лишил покоя. Многочисленные баи под разными предлогами наводняли аул. Расчет их был известен. Не век же, думали они, Жасанжан будет болеть. Попра-

вится когда-нибудь, получит в уезде хорошую должность, дружба с ним тогда очень пригодится.

Танирберген холодно усмехнулся. Бог ты мой, до чего измельчал народ! И главное — кто? Самые важные, самые почитаемые, лучший цвет степей! И какая ничтожность во всех их замыслах! Не говоря уж о других, даже Рамберды, эта старая лиса, чье коварство бездонно, и тот, в сущности, не мыслит дальше своего скотника.

Ах красавец мурза, ах ты умник! Что там о других говорить, сам-то, милый мой, что ты сделал? В чем ты ушел от них и о чем же высоком твои мысли?

Танирберген даже в седле заерзал. С тоской он огляделся вокруг, долго смотрел по сторонам, в бурую степь, покрытую полынью и перистым ковылем. Потом уселся поудобней, покрепче в седле и опять уставился на уши аргамака. Странно — уши коня то как бы удалялись, теряли резкость, маячили где-то вдалеке, будто в дымке пространства, то приближались. Но все равно, смотреть лучше всего было на них.

Да-да! Ну-ка ответь, что же сделал ты! Ну хорошо, занялся хозяйством, поймал на воровстве Абейсына, сполна получил стоимость своего скота, но и поссорился с Абейсыном. А ссориться с ним не нужно было. А теперь вот едешь к рыбакам, чтобы потребовать назад табун коней, который в прошлом году угнал Кален. Едешь-то ты едешь, а вот получишь ли назад коней или хоть деньги? Неизвестно...

Вот, значит, как. Вот, значит, и все, на что ты способен! Или гордишься еще тем, что барымтой, набегами, тяжбами все увеличиваешь свой скот? В чем же, собственно, твое преимущество перед братом-волостным или перед софы, перед остальными баями. Нет, и ты бредешь в потемках по все той же проторенной дедовской дорожке. А время бежит, бежит, бежит... «Если время твое обернулось лисой и уходит — стань гончей и излови лису!» — говорят. Ты же и об этом не подумал...

От тяжелых дум сгорбился Танирберген на коне, руки его тяжело и бессильно лежали на луке зеленого, шагреневой кожи седла. Никогда он не был так недоволен собой, как сейчас. Ему вдруг захотелось вернуться домой, выслать всех, лечь и побыть одному.

После прошлогодней вспышки черни, этого рыбацкого отребья, степь, казалось, снова приобрела свое извечное сонное спокойствие. Опять, как и всегда, бродили по степи верблюжьи караваны, паслись овцы, то там, то здесь вырастали недолгие аулы, чтобы потом сняться, исчезнуть и вырасти в другом месте, опять рыбаки тянули свои невода́, опять гнали коней и овец на базар, толковали о чае и сахаре, о ситце и соли, о шкурах и шерсти, опять по вечерам пахла степь горькой полынью и жирным пьянящим кумысом... Все было прежнее, стародавнее, но разве не чувствовал он, как и в степи и за степью, в огромном мире все бурлило перед новым яростным шквалом? Чувствовал! Нет, никогда уже не вернуться прежнему покою.

Не говоря уже о больших городах, даже в маленьком Челкаре ощущал он при каждом наезде некий вещий знак нового, беспощадного времени. Разве не похолодел он однажды, как от смертного часа, увидев на улице толпы бастовавших железнодорожных рабочих. Темирке, который в его глазах всегда был хозяином всего, что на земле,— Темирке дрожал, закрывая ставнями окна и двери своего магазина под зеленой крышей. Он так напугался, что не мог ходить — бегал, не находя себе места в многочисленных комнатах своего дома. Даже после того как рабочие разошлись. Темирке все не мог опомниться, все бормотал, заводя глаза: «Ох и страшные времена настали! Разве они пощадят, эти головорезы, безбожники!»

Если в городах все бурлит, то разве спокойно в своих же аулах? Заморенные джутом бедняки бросают степь, все идут и идут к рыбакам на круче, все чаще попирают извечные обычаи отцов. Что же теперь делать, что нужно, чтобы предотвратить угрозу еще одного бунта голодранцев?

Конь фыркнул и остановился. Танирберген опомнился, стал оглядываться. Сопровождавшие его джигиты, не осмеливаясь перебить мысли мурзы, толпились на почтительном расстоянии. Боже, что за местность, где он?

Да нет, он не сбился, вон Бел-Аран, длинным занавесом растянувшийся по левой стороне степи, узнал он и высокий холм, у подножия которого остановился его аргамак. А холм был памятный — как раз за холмом и раскинулся рыбачий аул..

Танирберген глянул кругом зорче, внимательней. Да, это то место. Под этим холмом и на этом месте остановились они тогда под покровом ночи, воровски подкрадывались они сюда, чтобы встретить здесь и умчать в бешеной скачке Акбалу. Чтобы кони не ржали, им замотали морды халатами. Отсюда он отправил посланного к Акбале, и здесь они ждали в нетерпении, прикинув к гривам коней, настороженно, чутко взглядываясь в темень. Когда впереди что-то мелькнуло, что-то выделилось на холме, на грани земли и неба, Танирберген не выдержал, ударил пятками вот этого самого аргамака и единым духом вынесся наверх холма. Бесчувственная летела тогда навстречу ему Акбала, и подбежав, повисла на шее коня... Испуганную, задыхающуюся, подхватил тогда ее Танирберген за тонкую талию и уже на ходу кинул поперек седла! Да, если подумать теперь, те ночные минуты были самыми сладкими в его жизни.

Взволнованный воспоминаниями, нежностью к Акбале, радостный оттого, что не послушался никого и послал за стариком Суйеу, Танирберген привстал на стременах, слегка махнул камчой и вылетел на вершину холма.

После вчерашней черной бури ветер улегся, небывалое спокойствие снизошло на мир. Небо было безоблачно. Один белый клочок только лежал вдали, за той чертой, где синий горизонт моря сливался с синим сводом неба, и казалось, что это далекая нерастаявшая

льдинка плывет по морю. Море было спокойно, как жирный навар в котле, и солнце медленно плавилось в нем.

С вершины холма видны были бесчисленные рыбачьи землянки под самым обрывом черной скалы, упиравшейся в море. В прошлом году, когда во время охоты Танирбергена потянуло вдруг к Акбале и он остановился у Еламана, аул рыбаков был гораздо меньше. Теперь он очень разросся, вытянулся по берегу, и Танирберген сначала удивился, а потом нахмурился — ему это не понравилось. Трудно сладить с таким большим аулом, а сладить нужно! Танирберген даже хмыкнул, вспомнив, что и в этот раз едет он к рыбакам взыскивать с них за угнанный косяк коней.

Спустившись с холма и въехав в аул, Танирберген со всей своей свитой повернул к землянке Доса. Увидав, какие гости спешиваются перед землянкой, Каракатын остолбенела. Вместо того чтобы приветствовать гостей, Каракатын первая ворвалась в землянку, заметалась там, лихорадочно соображая, куда бы спрятать шкуру сивой кобылы, расстеленную перед очагом, ничего не сообразила, не успела и шлепнулась на нее, прикрывая ее подолом платья.

Но было уже поздно.

— Ага-а!— завопил низенький коренастый джигит, сопровождавший Танирбергена, подскочил к Каракатын и пнул ее ногой.— У-у, чтоб тебя разорвало! Что это ты подолом своим прикрыть хочешь, а? Это же шкура саврасого коня нашего мурзы! А?

Аккемпир тихонько выскочила на улицу и там только перевела дух. Каракатын за словом в карман никогда не лезла, но теперь только жалко скорчилась и рта не могла раскрыть. Дос точно наперед знал, что шкура эта когда-нибудь их подведет, не раз говорил, чтоб ее убрали с глаз долой, но бабу свою переупрямить не смог. «Безмозглая тварь!— думал он.— Выдала теперь вот нас с головой!»

Несколько рыбаков во главе с Мунке вошли в доме и молча остановились у порога. Напуганный Дос не обратил на них внимания.

— Как же теперь?— бормотал он и чувствовал, как на лбу крупными каплями выступает пот.— Что и говорить... Не знали мы, наша вина, конечно...

— Не знал, говоришь?— наседал плотный джигит.— Не-ет, приятель, ты знал! Это ты мстил нашему мурзе. Ты зло ему хотел сделать! Значит, ты нашему мурзе враг?

— Моя вина... Виноват, что ж...— покорно соглашался Дос и утирался рукавом.— Мурза, дорогой, казни, как хочешь, вот я весь перед тобой...

Танирберген помалкивал. Он только глянул пристально на своего джигита, и тот понял, что нужно еще поприжать.

— Ай, как попался!— продолжал он, не слушая Доса.— Вот попался-то! Теперь не уйдешь, паразит, теперь тебе конец!

— Ну, виноват же... Что хочешь делай...— Дос так напугался, что на него жалко было смотреть.

— Это ты брось! Брось! Мы знаем, что нам делать, затем и приехали. Не в одном саврасом дело. Мы взыщем с вас за весь табун, угнанный Каленом!— кричал джигит.— Где наши кони? Что молчишь! Говори, сука!

Дос шмыгнул носом раз, шмыгнул другой. «Заревет еще, дурак, скотина!»— подумал Танирберген и сделал знак, что хочет говорить. Джигит послушно отошел.

— Ну ладно, ладно...— мягко сказал Танирберген.— Человеку свойственно ошибаться. Не только Дос, многие тогда пошли за Каленом и Еламаном... Немало дураков тогда расшумелось... И разве я одного саврасого потерял? Много моих коней сгинуло под седлами врагов. Но скот мой от этого не уменьшился. То, что посылает нам аллах, не дано уничтожить человеку. Ничего...— Тут Танирберген улыбнулся, как бы приглашая всех посмеяться вместе с ним шутке.— Ничего, если мои ага и женге по ошибке закололи моего саврасого. Это не столько со зла, сколько от голода.

По мере того как мурза говорил, мир, который только что так безжалостно сузил перед Досом джигит, теперь раздвигался. Каракатын слушала, слушала и заплакала от радости. Дос, минуту назад готовый сквозь землю провалиться, приходил понемногу в себя.

А Танирберген поглядывал теперь на рыбаков, столпившихся у порога.

— Не скрою, братья, горько мне было, когда вы напали на мой табун. И я знаю,— тут он возвысил голос,— если бы победа досталась вам, мне бы несдобровать. Не так ли? Но я...—Танирберген остановился и обвел всех быстрым, зорким взглядом, даже успел подумать: «Правильно ли?» — Но я, рассудив, что это был невольный, необдуманный шаг с вашей стороны, прощаю вас, братья!

Дос, забыв о своем возрасте, вскочил и, жарко пожимая руку Танирбергена, закричал со слезами в голосе:

— Спасибо, родной! Я не из слабых. Силой меня не возьмешь. А ты меня свалил, добрым словом свалил! Твоя взяла...

— Э-э, Дос!— с невеселой усмешкой сказал Мунке.— Что это ты так расчувствовался? Коня тебе простили? Уа, но они всегда несли несчастье нашим сынам и братьям — и вот теперь сидят у тебя на почетном месте... Э-э, Дос, Дос!

Выслушав Мунке, рыбаки и джигиты мурзы разом повернулись к Танирбергену, и каждый предвкушал его ответ. Но Танирберген промолчал, будто ничего не было сказано. Дос растерялся, не зная, чью сторону взять. Тут взвилась Каракатын.

— Ой, пентюх, растяпа!— закричала она.— Из-за тебя, дурака непутевого, издеваются над нами все кому не лень. Да разве терпел бы кто другой, чтобы этот Мунке несчастный помыкал бы им, как хотел, и оскорблял бы божьего гостя в собственном доме! Ойбай-ау, да что там о других говорить — ведь в твой дом, в который ни один добрый человек ногой не ступит, пришел сам мурза, склонив свою светлую голову! От чистого сердца вину твою... такую тяжкую

вину простил! Неужто ты не понимаешь ничего, собака ты бестолковая?

Дос посапывал и мрачнел. Каракатын, окончательно распалясь, подскочила к нему, топнула ногой, схватила его за шиворот, начала поднимать.

— Да что у тебя, чести-гордости нет? Да выгони ты из дома этого старого хрыча бесплодного!

Дос набычился и сделал два шага к Мунке. Каракатын подпихивала его в спину. Джигиты посмеивались, даже рыбаки улыбались, глядя, как натравливает Каракатын Доса на Мунке. Один Танирберген был серьезен, ждал, чем все кончится. Мунке даже побледнел: не только от друзей — от врагов никогда не слышал он подобного оскорбления. У него колючая волна прошла по груди и глаза защипало от унижения. Но он и не взглянул на чертову бабу — что с нее взять?— во все глаза глядел он на Доса: как тот не остановит эту полоумную ведьму?

— Эй, Дос, уйми ты ее!— попросил он.— Или взаправду гонишь меня?

У Доса вдруг покраснели белки глаз.

— Вон из дому!— заорал он и сжал кулаки.— Пошел к черту, учить меня будешь!

Мунке сразу сгорбился и повернулся уходить.

— О бог ты мой, я-то думал, ты джигит, а цена тебе, оказывается, всего одна кобыла!— горько сказал он и вышел. За ним молча поднялись и рыбаки.

VIII

Танирберген был удручен, выходя от Доса. Сослав Еламана и Калена, он все-таки не обезглавил аул — теперь поперек его пути вставал Мунке. Была, значит, какая-то сила в этом беспорточном старике.

Танирберген покосился на Доса. Тот отвел глаза. Танирберген стал думать о нем. Немногословный, замкнутый. И упрямства хватает. И немалым весом, должно быть, пользуется среди рыбаков.

Танирберген уже садился на коня, когда заметил вдруг идущую мимо девушку. Красота ее поразила его. Быстро оглядев ее, он тотчас заметил, как плохо она одета. «О создатель, такой прекрасный цветок распустился в навозе!»— подумал он и наклонился к Досу, державшему коня за повод.

— Дос-ага, что это за красавица?

— Сестренка одного здешнего. Он из новеньких. Тулеу звать.

— Тулеу, говоришь?

— Ага, Тулеу. В этом году приехал.

Танирберген, пригнувшись, слушая Доса, жадно следил за девушкой. Глаза его уже хищно заблестели. «А хороша, черт!»— восхищенно думал он, чувствуя внезапное сердцебиение и удивляясь

самому себе, что так вспыхнул Но вслух сказал протяжно ничего не значащее:

— Та-ак... Тулеу, говоришь...

Дос не знал, нужно ли говорить что-нибудь, еще, но начал на всякий случай хвалить девушку.

— Прекрасная девушка!— гордо сказал он, будто она была его дочь.— Другие в ее возрасте огонь не разожгут в очаге, а она на промысле работает, весь дом кормит!

— Плохо, значит, живут?

— Куда там, к черту, хуже! Полон дом мужиков, да все, псы, ленивые. Ни одного не потянешь на работу. Взрослые, малые — все у девчонки на шее. Хороша, одним словом, девка!

— Қак ее зовут?

— Айганша.

— О! Айганша!— сказал Танирберген и кашлянул, а сам уже думал, что это хорошо, если живут бедно, а братья ленивые.

Айганша бежала с работы, была легка, возбуждена, с румянцем на смуглых щеках. Платок ее сбился на плечи, волосы распушились. Увидав незнакомых джигитов, она пошла тише. Гости уже сидели в седлах, но почему-то замешкались, не трогались. Поравнявшись со всадниками, Айганша только покосилась на них, только блеснул на секунду ее черный глаз.

Черноусый красивый джигит, уронивший повод и застывший на коне, будто отделился от остальных — только его она и заметила.

Танирберген хотел поздороваться, но Айганша уже опустила голову и опять побежала.

Танирберген растерянно мигал, щипал усы, напряженно глядел, как все дальше убегает Айганша и как длинные — по пояс — косы тяжело качаются у нее по спине. Удивляясь своему смущению, покашливая, он медленно тронул коня. С Досом он забыл проститься.

Подходя к двери своего дома, Айганша услыхала, как заливается, сипло и монотонно плачет ребенок. «Неужели Қенжекей еще не вернулась?»— подумала она с испугом.

Всю прошлую ночь Айганша убаюкивала ребенка пропавшей Қенжекей. Утром она ушла на работу, ребенок весь день ревел, изошелся в крике, посинел. На него никто не обращал внимания.

Больная старуха целый день пролежала, отвернувшись к стене, не желая никого видеть из своих. Два брата — Тулеу и Қалау — сидели по углам или вяло выходили на двор помочиться да поглядеть, какая погода и не едет ли кто-нибудь мимо их дома по своим делам.

А Балжан как ни в чем не бывало занималась со своими детьми в своем углу.

— Почему бросили ребенка? Почему никто не покормил его?— закричала Айганша. Братья промолчали, будто и не слышали ничего. Айганша от злости чуть не заревела.— Почему не ищете его мать? Где Қенжекей?

Тулеу и Калау промолчали и на этот раз. Они были как серые надгробные камни.

— У, проклятые! Не дом, а могила... Могила!— Айганша всхлипнула, закрыла лицо и вышла на улицу. Но и после ее ухода никто не шевельнулся в доме. Только старуха, опираясь дрожащими руками, слегка приподнялась и взглянула с ненавистью на сыновей.

— Могла ли я знать, когда молила бога, чтоб дал мне сыновей... Могла ли знать, что будут у меня такие сыновья? На несчастье бедной девочки родились вы, проклятые!

Старуха со стоном легла и прикусила пепельные губы. На нее никто не взглянул, и никто не видел, как редко и тихо дышала она и как катились у нее по измученному лицу слезы.

Кенжекей объявилась после обеда. Была она замызгана, растрепана и темна лицом. Тулеу покосился на нее, потом отвалился, выпрастывая прижатую под задом камчу, и поднялся.

Кенжекей сбросила со спины бурдюк с водой и кинулась к ребенку, который теперь только сипел.

— Бедненький мой!.. Крошка ты моя! Ненаглядный ты мой!— зажмурилась и зарыдала она, беря ребенка на руки.

— Где верблюд?

Кенжекей только шевелила губами, шаря под рубахой. Наконец вытащила грудь и дала ребенку.

— Бедненький...— приговаривала она.— Сиротиночка ты моя... Еле жив, ягненочек...

— Верблюд где?

— О господи! Совсем мокрый, замаранный... Что же вы смотрели?

— Эй, где верблюд, спрашиваю?

— А чтоб он подох, твой верблюд! Чтоб на куски его разорвало! Чтоб холера на него напала! Чтоб его вместе с вами черти взяли!

— Ах, сучка!..— и заплясала, засвистела жгучая камча: по спине, по лопаткам, по голове, да вот так, да этак, вдоль и поперек, да пониже, да вот тут, сбоку, половчее, слева, справа!

IX

Танирберген не любил откладывать дела в долгий ящик. Так и в этот раз, еще не выезжая из аула, он тщательно и подробно наказал джигитам, что и как нужно подготовить к приезду родни. И как ни бесилась байбише, как ни старалась она помешать приготовлениям, ее никто не слушал, а слушали все Акбалу.

Акбала развязала огромные тюки, постлала в глубине комнаты дорогие ковры, на которые никто еще не ложился. Перебрала и переставила по-своему все домашнее убранство и отдельно отложила подарки для родителей: отделанный плюшем тулуп, бобровые шубы и дорогие чапаны.

Но гонец, посланный за стариком Суйеу, почему-то опаздывал.

И Танирбергена слишком далеко унесла какая-то забота — уже два дня как он не возвращался. Нет-нет да и задумывалась среди хлопот Акбала о том, как едет он по степи, как холодок щекочет ему ноздри и оседает влажно на усах, как широка степь и как деловито, быстро едет он по ней.

По слухам, после посещения аула рыбаков на круче поехал он на промысел, но там не задержался долго. Немного поговорив с Темирке, специально зачем-то приехавшим к морю, он уже к вечеру сел на коня и поехал к правителю волости Орда-Конган. Обо всем этом доносили в аул приезжающие пастухи, сам же мурза о себе знать не давал. Но вот, отрядив одного из сопровождавших его джигитов, мурза передал через него Акбале: «Не сегодня-завтра вернусь. Гости должны вот-вот прибыть, будьте все готовы».

Теперь Акбала окончательно поверила, что родители ее приедут непременно. Раньше среди беготни и забот ее нет-нет да и одолевали сомнения, приедут ли старики. Но Танирбергену она верила и теперь знала, что старики приедут непременно.

В ауле поднялась суматоха. В юрту Танирбергена набилась целая толпа. Стараясь услужить Акбале, эта крикливая орава разошлась вовсю и сама, уже больше Акбалы, верила, что гости почти за порогом. Начались расчеты и подсчеты, все вопили, кричали, загибали пальцы, и по всему выходило, что гости уже приближаются к аулу. Тут же на ближайший бугор был посажен человек, чтоб заранее оповестить аул о приближающемся караване. Стоило показаться кому-нибудь на горизонте, как дети, поднимая страшный визг и гвалт, неслись к Акбале, требуя суюнши.

Акбала еще медлила с приготовлениями к пиру, но ждать больше никто уже не хотел. В своем усердии, в старании услужить Акбале все так разошлись, что остановить их было невозможно. Каждый распоряжался как умел и как хотел — кто побежал звать на пир близких аулу людей, кто таскал посуду, кто готовил самовары и чашки для чая. Бараны были отобраны, пригнаны и привязаны возле дома. Ножи были наточены, котлы вычищены. Все в ауле выносилось, выколачивалось, расстилалось, и было похоже будто аул собирался выдавать или встречать невесту.

Акбале не давали уже ничего делать и чуть не на руках носили. Все сношки, невестки, золовки — словом, все женге, которые увивались раньше вокруг байбише, теперь бросились на Акбалу, как мухи на мед.

— Ай-яй-яй! До чего красива наша молодая сноха! Ну и ну! Где только были наши глаза? Не иначе завязаны были наши глаза!— решила вдруг одна женге и чуть не прослезилась от умиления.

— Э! Глядите на нее! Да ты вообще раньше замечала ли чего-нибудь?— тут же осадили ее остальные.— Видала ли ты когда вообще кого-нибудь, кроме своей байбише?

— Эта проклятая байбише на головах наших ходила!

— Забыла, как ты обижала нашу красавицу?

— Ты, баба, лучше мой язык не чеши, не растравливай меня!
— Уа! Байбише ведь соперница молодой красавицы снохи, а?
— Да, да, да...
— А ты, обижая нашу сноху, разве не обижала нас?
— Апыр-ай, а? Исчезла бы ты, мерзавка, с наших глаз!
— Убирайся!
— Сгинь!
— Прочь отсюда!

В доме поднялся такой крик, что у Акбалы уши заложило. Она было попробовала заступиться, да где там! Все бабы дружно обрушились на свою женге и, всячески понося, выгнали ее. Они были горды — выгнать ненавистную бабу казалось им не проще, чем прогнать врага. Они перебивали друг друга, тараторили, в воздухе мешались обрывки слов, глаза у всех победно блестели. Но тут одна заметила, что Акбала побледнела и пригорюнилась. Тогда она ткнула пальцем в бок свою соседку, та тут же ткнула кого-то еще, и пошли тычки под бока кругами, как волны. Все теперь смотрели на грустную Акбалу, все разом, поджимая губы и щипая себя за щеки, с немым укором взглянули друг на друга. Добро бы раскричались, разругались они в другое время, но сейчас!

Сейчас, когда едут такие гости, ах, какие гости! Сейчас малейшая тень обиды на лице Акбалы показалась им непростительной. И тогда все они, шурша и свистя платьями, вскочили и, будто большие яркие говорливые птицы, слетевшие к единственному зерну, гурьбой, теснясь, щебеча, волнуясь, окружили Акбалу и присели возле.

— Какая ты счастливая!
— Да, да!
— Есть ли еще на свете родители, которых так встречают!
— А это все благодаря мужу!
— Так он тебя любит — ииииии-их!
— Да что там! И говорить нечего, ради тебя наш мурза на все готов!

До сих пор Акбале стыдно и горько было, что не могла она пригласить родителей. Теперь же в ожидании их она сидела как на иголках, давно уже вся истомилась, извелась и не знала, горевать ей или радоваться.

А женге все шелестели, шумели, и звук их голосов напоминал Акбале шум волны по камешкам в тихую погоду.

— Почему они задерживаются?
— Неизвестно почему...
— Все может быть...
— Бедные твои родители истомились...
— Немного осталось ждать!
— Вот-вот должны прибыть.
— Вот-вот, говоришь?
— Да это разве задержка? Вот, говорят, в старину...
— Да, в старину...

— Молодухи годами ждали...

— Годами!

— Не так-то просто приехать к замужней дочери своей. Ты же видела, как суетится бедная мать, готовя приданое: одно недоделано-делано... другое не готово-ово...

Эти разговоры, уговоры, этот плеск и раскачивание, эти близкие, смутные, тонкие и грубые голоса все успокаивали, убаюкивали Акбалу, и она уже согласно кивала, и опять улыбалась, и румянец выступил на щеках, и глаза заблестели, она скоро развеселилась, разговорилась, вплела свой голос во многие голоса, как ленту в косу, и вдруг запнулась и опять помрачнела.

Вспомнила она непреклонный, крутой нрав своего отца, вспомнила его белые ресницы, красные глаза, его похмыкивание, его ядовитость, и снова страх вошел ей в душу. «О боже, помоги, не оставь меня! Боюсь... Страшно что-то!»

Все было в доме шу-шу-шу-быр-шу-быр-шу-быр и вдруг оборвалось, кончилось, затаилось — все слушали. Слышен стал топот по холодной земле. Акбала поспешно вскочила, выбежала на улицу, за ней понеслось вдогонку из дома:

— Приехал кто-то...

— Они, наверное...

Мимо дома, глухо топоча, посапывая, равнодушно прошли коровы. Акбала вернулась. «Нет, не приедут!» — будто кто-то твердо произнес над ее головой. Она села. Стала бледнеть. Женге глядели на нее во все глаза. Потом все разом вздрогнули и обернулись: с шумом вошла соперница Акбалы — байбише.

— Ау! — сказала она жирным голосом.— Ау, где же сваты? Где сваты? Которых мы встречаем, а? Всем аулом, а?

И тут же все женге стали отодвигаться от Акбалы. Будто они просто так зашли, будто они даже не заходили, а это так — один дух, видимость, что они здесь.

Не зря же пришла эта байбише, не выходившая из дому вот уже несколько дней, пока весь аул готовился к встрече. Нет, неспроста она пришла, неспроста пришла...

— Что это ты такая кислая,— поддела байбише и победоносно оглянулась.— Что-то непохоже, чтоб ты радовалась родителям, а?

Акбала молчала. Потом попыталась улыбнуться, лицо ее некрасиво растянулось и стало жалким.

— Э, да ты свихнулась, что ли? Глядите, глядите, что это с ней! Муж-то твой где?

— Что? А я... Кто?

— Муж, говорю, муж!

— Не знаю...

— Что-о? Да ведь младшая жена создана из печени мужа, а? Ха-ха... Слышишь! Кто же тогда все его секреты знает, как не ты? Говорил он тебе что-нибудь?

— Ничего не говорил... Да куда ж ему деваться — приедет. Вот-вот должен быть...

— Гм!.. Еще бы! Земля под ним не треснет, так приедет. Ясно! А вот старики твои... вредные твои, проклятые старики не приедут! — вдруг завопила байбише и даже ногами затопала. — Не приедут! Ноги их здесь не будет!

Перед Акбалой все поплыло. Поплыл дом, новые ковры сами собой стали сворачиваться, стали удаляться куда-то все женге, и лица у них были враждебны, и будто холод снаружи вошел в дом и сжал ей сердце.

— А ну прекратить!.. — уже визжала байбише. — Вон отсюда все! Прекратить! Поганка! Никого не будет! Все пошли к дьяволу!

И пошла байбише пинать ногами всякие вещи, пошла таскать женге, выталкивать их на улицу.

— Я вам покажу! — вопила она, вертясь и прыгая по дому, потом выскочила за порог, разогнала толпу, собравшуюся вокруг дома, отвязала и пинками разогнала баранов.

Шум и крик был такой, что казалось, над аулом пронесся смерч. Управившись со всеми на улице, байбише опять заглянула в дом. Она вся тряслась и сжимала кулаки.

— Поняла? — что есть силы крикнула она. — Хватит с тебя! Поиздевалась надо мной! Это тебе не твой вонючий рыбачий аул, чтобы тебе по головам нашим ходить! У, тварь! — крикнула она напоследок и ушла.

Акбала осталась одна в разгромленной комнате и только часто дышала черным приоткрытым ртом и старалась унять дрожь. Потом услыхала снаружи рев толпы, совсем помертвела и выбежала на порог посмотреть, что делается.

Большая ревущая толпа собралась перед домом Алдабергена. Люди подпрыгивали, махали руками, что-то там кипело, переливалось халатами и тумаками, и среди этого кипения Акбала вдруг различила косоглазого гонца, три дня назад посланного к старику Суйеу. Кровь засохла у него на щеках, а голова была замотана платком.

— Красноглазая стерва! — ревел старый софы. — Белобрысый старикашка над кем издевается? Над кем куражится, а?

Акбала еле вернулась в дом. Ноги у нее подгибались. До постели она не дошла и повисла, схватившись за адал-бакан. Голова у нее кружилась. «Что-то теперь будет?» — шептала она.

Послышался новый, еще более сильный шум, и какая-то бабенка все-таки осмелилась, потихоньку пробралась к дому Акбалы, сунула голову в дверь и тихо позвала:

— Эй! Эй, Акбала! Встань! Мурза прибыл...

Акбала встрепенулась, вытерла глаза и только теперь заметила, что солнце уже заходило. Гасло небо, гасли обескровленные окна, обращенные к закату, и просторная комната затягивалась мглой.

— О боже! — вздохнула Акбала. — За что караешь?

— Что ж поделаешь,— тут же привычной скороговоркой отозвалась пробравшаяся в дом бабенка,— что ж поделаешь, терпи!..

— Все терпеть?

— Терпи, терпи...

Акбала прерывисто вздохнула. Заметив в отворенную дверь, как с улицы идет к дому муж, она, унимая слабость в ногах, поднялась, оправила платье, пригладила волосы и, опустив ресницы, пошла навстречу мужу.

X

Поздним утром, надвинув на брови соболью шапку, накинув шубу, Жасанжан вышел на улицу. По своему обыкновению он хотел было подышать свежим воздухом, размяться, подняться на песчаный холм, буреющий под синим небом невдалеке от дома. Но его сразу прохватило холодным ветром, и, зябко поеживаясь, он поскорее завернул в затишье на солнечной стороне дома.

Танирберген шел куда-то по своим делам, заметил Жасанжана и свернул к нему. Некоторое время они постояли молча, поглядывая на расстилавшуюся вокруг степь. Потом Танирберген поинтересовался:

— Ну как, дорогой, самочувствие сегодня? Хорошо ли спал?

— Хорошо, ага.

Хоть и были они родными братьями, но ничем не походили друг на друга. Жасанжан был долговяз, худ и последнее время равнодушен ко всему, кроме своей болезни. Танирберген — крепок, быстр, решителен, всегда бодр, всегда энергичен, и зубы у него были как сахар, а усы блестели, как смазанные маслом.

— Хорошо, значит? Ну, бог даст, плохо не будет. Родной край — как родник здоровья. Вот увидишь, пройдет месяц, другой — и поправишься.

На бледном лице больного мелькнула усмешка. Он отвернулся. Танирберген искоса быстро взглянул на него, хотел что-то сказать, но промолчал, будто ничего не заметил. Он прислушивался к глухому, отдаленному расстоянием стону моря. Потом снова повернулся к брату.

— Чуешь? Что-то наше море сегодня больно грозное. Слышишь, как ревет?

— Н-да... А похолодало!

— Что ж, самое время...

— Верно. Всему свое время. И холоду и старости. И смерти...

Танирберген опять покосился на брата. Лицо у Жасанжана было бледное, пушок на щеках стоял дыбом, по шее — гусиная кожа, кончик носа покраснел. Танирберген сморщился, отвел глаза.

— Ты чай пил уже?

— Нет... Не хочется что-то. Не тянет к еде. Тошнит как-то.

— Да брось ты! Пойдем ко мне, позавтракаем.

Братья медленно вышли на ветер.

— Как в ауле с топливом?— спросил Жасанжан.

— Что? С каким топливом?

— Да вчера вот байбише софы-ага весь день бранилась. У меня даже в голове застучало... Кизяк они со скотницей делили.

— А-а... Ах, милый, зачем тебе в эти дела встревать?

— Холод такой стоит... Хоть бы в тепле посидеть несчастным женщинам,— вяло говорил Жасанжан, шагая рядом с братом и поглядывая на него.

Танирберген промолчал. Лицо его стало равнодушным. Он думал сейчас о чае.

— Чай приготовь!— хмуро сказал он вышедшей навстречу им Акбале. Последнее время он говорил с ней редко, неохотно и грубо.

Акбала заметно отяжелела. Перед молодым деверем она конфузилась и все старалась прикрыть, спрятать округлившийся уже живот. Белое с желтыми пятнами лицо ее было печально. Глаза, как всегда, затаенно опущены.

Она быстро расстелила перед мужчинами дастархан, приготовила чай и передала байбише. Байбише стала разливать.

Танирберген понимал, что Акбала не виновата в случившемся. Разве она не права была, что хотела погасить вражду между отцом своим и аулом мурзы? Разве не искренна она была?

Танирберген жалел ее. Иногда вечерами, когда в доме стелили постели, его мучительно тянуло к ней. Он чувствовал — стоит чуть-чуть поддаться соблазну, и все пропало: исчезнет мигом его наигранная суровость, он станет опять нежен, влюблен, начнутся жаркие объятия... Ну а дальше — пропала вся воля мужчины!

Поэтому он ожесточал себя против Акбалы, смотрел на нее хмуро, вспоминал, что она предпочла ему сначала Еламана (хоть это была неправда), вспоминал, сколько неприятностей он из-за нее вынес... Любовь, нежность, злоба и равнодушие мешались в нем, и он часто хандрил последнее время.

Ну а сейчас, неторопливо, с наслаждением хлебая чай, чувствуя, как хорошо, горячо становится в животе и в душе, он подождал, пока выйдет Акбала, проводил ее взглядом и, тут же забыв, весело повернулся к брату.

— Вот ты заступник бедняков. Я уж не говорю, что нас только двое — софы не в счет,— но тебя все тянет к беднякам... Ладно! А как ты смотришь, скажем, если поженить тебя на бедной девушке?

Плохо зная своего брата, Жасанжан принял его слова за шутку.

— Ах, дорогой,— улыбнулся он.— Для женитьбы нужна решительность. А я как... Ну как, знаешь, бывают собаки — зверя чуют, а выходить навстречу боятся. Сидят по конурам и брешут. В смысле женщин я, наверное, врожденный трус и неудачник.

«Хитер брат!»— подумал про себя Танирберген и протянул чашку байбише. Подождав, пока та нальет и подаст ему чай, Танирберген с удовольствием отпил большой глоток и продолжил:

— Вон в том ауле рыбаков на круче есть Лейли. Только вот Меджнуна у нее нет. Как ты на это смотришь?

— Что это ты снова затеял, ага?— подозрительно спросил Жасанжан.

— Ту-у, милый! Жениться, детей растить — это разве затея, а не божье веление? Как ни выкручивайся, а и тебя рано или поздно обуздают...

— Хватит об этом!— вдруг резко и грубо оборвал его Жасанжан.— К черту! Не хочу об этом говорить!

Танирберген рассердился и стал надменен. Он подумал некоторое время, потом все-таки решил поговорить с братом наедине и повернулся к байбише:

— Убери дастархан. И сама выйди!

Байбише подобрала губы и прищурилась. Последнее время она совсем распустилась, ничего не делала по дому, сидела только с мужем, слушала разговоры да разливала чай.

— Эй, там!— крикнула она Акбале на кухню.— Оглохла, что ли? Убери самовар!

Акбала послушно вошла и взяла самовар.

— Только грубость от тебя и слышишь!— тихо упрекнула она байбише.

— Что?— закричала байбише, наливаясь кровью.— Дура! Чтоб твое пузо разорвало! Что ты рыпаешься, ничтожная? Даже родители на тебя плевали, дрянь ты бездомная! Смотри, на цыпочках у меня ходить будешь! Как собаку буду колотить чем попало!

Покраснев до слез, Акбала безропотно ушла с самоваром. Жасанжан разъярился и хлопнул себя по коленям.

— Да что ж это такое! Что за безобразие в доме!— закричал он и закашлялся.— Как не стыдно? Ты, ага, хоть и необразован, но ведь часто бываешь в городе, общаешься с образованными людьми, бываешь у них в домах... Как же можно допускать такую брань в доме? Такие дикие выходки? Это ужасно!— И дальше по-русски:— Вот плоды нашей степной дикости, вот настоящий феодал, жестокий и неумный!

Лицо его пошло пятнами, он закашлялся пуще прежнего, вскочил и стал, покачиваясь, промокая лоб большим белым платком, ходить взад-вперед по просторной комнате.

— Эй, брат, раз уж решил ругать меня, так хоть ругай понятней!— усмехнулся бледный Танирберген.— Я думаю, и в нашем языке найдутся подходящие слова, чтобы оскорбить человека, старшего по возрасту.

— А, к черту!— тонко закричал Жасанжан.—«Старшего, старшего»! Надоели вы мне все! При чем тут старший? Свинство — оно у всех одинаково, старший, младший...

Трясущимися руками Жасанжан залез в рукава шубы, запахнулся, нахлобучил шапку и ушел.

Выйдя на улицу, он огляделся. Все так же сияло солнце, бурела кругом степь. Природа была прекрасна, спокойна и величава. В маленьких душных домах шипели маленькие страсти, почиталось старшинство, царствовали лень, попреки, хитрость, торгашество, а здесь, под небом, все было на месте, все жило своей высшей жизнью, недоступной маленьким людям. Скакали по степям разные зверьки, парили в небе коршуны, плавала в море рыба...

Немного остыв от таких мыслей, Жасанжан решил рассеяться. Он сел на коня, взял гончих и отправился на охоту. Сначала он вытаптывал по барханам зайцев. Потом немного поскакал по буграм, надеясь выследить лисицу. Собаки носились впереди и по сторонам. Но зверя не попадалось, и Жасанжан потерял скоро страсть к охоте. Весь день он ездил по степи, иногда останавливался, задумывался, потом опять трогался — безразлично куда. К вечеру он поднялся на Бел-Аран. Никогда не представлял он себе хребет таким высоким. Теперь он поразился: казалось, человек, оторвавшись от земли, как в сказке, достигал сразу страшной высоты. Горизонт разбежался и отодвинулся. Безбрежная степь как бы растянулась. Внимательно переводит человек взгляд с предмета на предмет (а их так мало в степи!), с кустика на кустик, с редкого камня на камень... Но нигде не заметно жизни, ничто не движется во всем мире, хоть и знаешь, что жизнь и движение есть. Только они скрыты от тебя. Не грусти от печали степи, не верь ее безмолвию — она зорко смотрит за тобой и видит малейшее твое движение, и ей вовсе не безразлично твое присутствие!

Жасанжану не хотелось еще возвращаться в аул, и он тронул своего белого аргамака вниз по козьей тропинке. По крутым склонам он стал спускаться к берегу моря.

Перед ледоставом море всегда замолкает, и тишина эта бывает тягостна. Вода в море сгущается, тяжелеет, волны бывают невысоки и широки, на берег набегают лениво, грузно-шелково. Вдоль берегов море уже застыло белыми заберегами, и возле льда вода совсем клейка и холодна до дрожи — даже на взгляд.

Жасанжан понуро ехал шагом между песчаными буграми. Одни бугры были высоки, другие — низки. Но на всех макушках бурел и краснел джингил. Красноногий джингил не рос внизу. Как мохнатая шапка, он плотно сбивался вверху. Песок, свитый ветром в длинные волнистые ряды, был похож на рябь. Кругом было неуютно, пустынно.

— Уай, кто такой?— раздался за спиной Жасанжана приветливый голос.

Жасанжан, натянув поводья, оглянулся. Со стороны моря догонял его старый рыбак. Жасанжан проворно слез с коня и почтительно поздоровался с рыбаком за руку.

— Мунке, что ли?— неуверенно спросил Жасанжан, вглядываясь в рыбака.

Мунке рад был, что Жасанжан не забыл его, ну а сам-то он его

отлично помнил. Много раз он с удовольствием вспоминал, как Жасанжан заступился за Калена.

— Милый мой! Раз уж ты случайно подъехал к нашему аулу, так пойдем, погостишь у нас.

Жасанжан, подумав, кивнул головой. Он никогда не бывал в рыбачьем ауле, и ему интересно было посмотреть.

Подъехав к аулу, Жасанжан увидел, что круча, как норками сусликов, была источена множеством входов в землянки. Жасанжан оторопел, ему стало не по себе. «Но это же норки!— подумал он с испугом.— Человеческие норки!»

Когда он, пригнувшись, влезал в землянку Мунке, ему опять показалось, что он не в дом входит, не в человеческое жилище, а, как зверь, лезет в нору, и у него заныли ляжки от страха. В землянке он не мог ни выпрямиться, ни растянуться и сел, согнувшись, неловко поджав под себя ноги.

Помолчав, повздыхав, Мунке высморкался и начал беседу:

— Сын мой, недобрая молва идет о войне. Это правда?

— Правда, аксакал.

— Апыр-ай, а? Мы ведь темный народ... И считаем, что нет на земле человека сильней, чем царь. Говорят же: на небе бог, а на земле царь. Что же случилось?

— Как тебе сказать, Мунке... Видно, царь все же не бог. Словом, русские отступают на всех фронтах.

— А как же наши джигиты? Если так, мы их скоро увидим?

— Кто знает... Война может затянуться. Россия оказалась слабее, чем все думали.

Мунке безмерно удивился, закрутил головой.

— Э!— И откашлялся.— А-а, вон оно, значит, что... Вон как! Да, такова наша жизнь. Значит, и на сильного находится управа, а?

Мунке все продолжал изумляться, а Жасанжан, посидев еще немного, попрощался и вылез на свет божий. В задумчивости он сел верхом и поехал домой.

Раньше он думал, что большая жизнь, которая шла в громадной империи, интересна только жителям городов, образованным, правителям уездов и волостей, баям и мурзам. А рыбаки, думал он, скотоводы, пастухи ничего не знают о той жизни и знать не хотят. Ему казалось, что их интересуют только погода на море, рыба, их жены и дети...

Но вот, оказывается, и в рыбачьем ауле узнали о неудачах на фронте, о поражении царской армии. И, видно, ждут перемен...

Подъезжая к аулу и уезжая из него, Жасанжан никого не заметил. Зато его заметили, разглядели и обсудили многие. И каждый по-своему объяснял грустный вид молодого джигита.

Мунке, например, подумал, что юному мурзе не по душе пришлось в бедном его доме.

Судр Ахмет рассуждал: «Как же гостю не хмуриться, коли он не наелся жирного сазана или осетра, коли не набил он брюхо до отвала?»

Каракатын же по-своему объясняла грусть джигита. Она даже не дождалась мужа, который скоро должен был прийти с моря, и скорей побежала по домам.

— Что вы слышали? Ах, вы это слышали! Тогда слушайте! Сюда же приезжал юный мурза из этого богатого аула. Вот нам все говорят: рыбачий аул, рыбачий аул... Но, слава богу, мы тоже не последние. И нам, видать, суждено родниться с первыми джигитами байского аула. В тот раз Танирберген взял нашу Акбалу себе в токал... Теперь вот ученый мурза! Вот увидишь, этот джигит хочет взять себе нашу Луну. Да, да, нашу Айганшу!

— Откуда это ты узнала?

— Ой, ойбай-ау! Разве есть что-нибудь на свете, чего бы я не узнала? Вот как посмотрела ему в лицо, так тут же все и поняла. Он же девушку приезжал повидать, весь аул глазами обшарил. А потом вот не увидел, и во-он... вон, видите, сразу обмяк, головушку повесил. Ой, да что там говорить! Смотрела я, смотрела со стороны на мурзу, и такое злорадство меня взяло, прямо не утерпела, так вот прямо за ляжку себя и ущипнула!

Потом Каракатын еще больше расширила свое повествование:

— Что я буду скрывать? Мы ведь теперь самые близкие люди с Танирбергеном. Когда я с мужем была у него в ауле, он так прямо мне и сказал: «Буду сватать Айганшу брату!» А потом отвел меня в сторону и шепчет: «Будь сватьей!» Ей-богу, так и сказал. Я сразу поняла, что ученый джигит недаром приезжал. Но я женщина гордая, почему, думаю, не у меня остановился, а у какого-то паршивого Мунке? Почему? Тогда я сразу побежала к нашей Айганше и говорю: «Смотри, говорю, несчастная, не выходи из дома, говорю, приехал, говорю, джигит, чтобы поглазеть на тебя, говорю, красавец джигит из богатого аула, говорю, но ты ведь у нас не какая-нибудь такая-сякая, сиди тут и не рыпайся, а то допрыгаешься!»— говорю. Кому же, как не мне, беспокоиться о чести девушки, разве у нас в ауле хоть кто-нибудь подумает о чести девушки? О чести нашей красавицы?

И, страшно довольная собой, Каракатын с жаром стискивала руку своей собеседницы.

XI

Мунке и Тулеу возвращались с моря. Оба сильно устали. Шли они рядом, дружно хрупая по льду, застывшему каких-нибудь два-три дня назад. Тулеу раза два попытался было разговориться, но старый рыбак отмалчивался.

Мунке томился и был постоянно мрачен. Ему и без того тяжела была разлука с Еламаном, Каленом и Раем, а тут еще Танирбергену удалось натравить на него Доса.

И вот теперь он шел и с сожалением думал о Досе. «Ну какой дурень!— думал Мунке.— С Каракатын что взять? Глупая, вздорная баба. Но ты-то, ты!»

Как долго делили они вместе радость и беду! Радостей было мало, бед много, но сердечная дружба помогала жить и грела не хуже доброго очага. И все забыть из-за глупой размолвки, из-за того, что Доса простил мурза?

Мунке ни с кем не делился, никому не изливал свое сердце, и ему было еще тяжелее от молчания. Долгое время он ходил на море один. Один уходил в утренние сумерки, один возвращался вечером. Но в зимнюю пору ловить рыбу одному стало тяжело, и он взял себе в напарники Тулеу. Толку от него было мало, но хоть словом перекинуться иногда на морозе...

— Если останется рыба, отдай соседям,— сказал Мунке на прощание и, сильно ссутулившись, побрел к себе.

Кенжекей первая заметила Тулеу. Первая она и вскочила и кинулась было к порогу, но остановилась. Теперь она уже не осмеливалась встречать Тулеу, принимать у него рыбу, помогать ему раздеться. Поэтому она тихо отошла и даже отвернулась, уступая место Балжан.

А Балжан не торопилась. Лениво поднявшись, она потянулась, зевнула, повиливая бедрами, подошла к мужу. Стягивая с Тулеу мокрую одежду, она сказала горловым звуком, нараспев:

— Ой, рубашка совсем грязная, сними, я постираю.— И по голосу ее, по тому, как она говорила это, чувствовалось, что она любима, что она главная в доме, что их только двое на свете — она и муж,— а остальных будто нет.

Кенжекей была грязна и растрепана. Теперь она больше не следила за собой, знала, что напрасно ей прихорашиваться, все равно не поможет. Тулеу ее и раньше недолюбливал, а после пропажи рыжей верблюдицы и вовсе терпеть не мог, почти и не глядел на нее никогда. Даже дети Кенжекей притихли. Они быстро поняли, что мать их отвержена и беззащитна, и сами стали в родном доме как чужие.

С каждым днем Кенжекей становилось все труднее. И если днем она еще как-то отвлекалась, ходила туда-сюда, что-то делала, ухаживала за ребятишками, то ночью, в одинокой постели, она беззвучно задыхалась и плакала от бессильного гнева и ревности. Крепко прижав к себе ребенка, она думала и думала о своей обольстительной сопернице, чутко ловила малейший звук из другого угла, где лежали Тулеу и Балжан.

Прошлой ночью она задремала уже, как вдруг ее разбудил шорох: кто-то тихо нашаривал ее постель. Потом провел горячей рукой сначала по голове Кенжекей, потом по телу... Кенжекей вся напряглась, привстала, сердце ее застучало, во рту сразу пересохло, и задрожали руки. Быстро отодвинув от себя ребенка, она нашарила

во тьме сильную горячую руку, жадно вдохнула запах мужского пота, шепнула:

— Господи! Ты?

— Тссс... Я!

Он присел к ней на постель, наклонился. Прерывистое дыхание его вдруг показалось ей странным. Незнакомо, грубо свистя носом, он полез под одеяло, двинулся, прижал ее к стене, быстро навалился, стал шарить рукой. И Кенжекей, так долго и безнадежно ждавшая этой минуты, ничего уже не понимая, не сознавая обмана, а чувствуя только головокружение и обжигающее счастье, уже отдаваясь, уже закидывая на шею ему руки, шепнула радостно:

— Пришел, милый?

— Пришел, пришел, женеше...

Кенжекей кошкой изогнулась, вырвалась, отпрянула в угол.

— Калау!— тихо вскрикнула она.— Не смей!

Но Калау больше ничего не понимал. Сопя, путаясь в одеяле, он опять поймал ее в темноте, стал выкручивать руки. Кенжекей опять вырвалась и, как последнюю свою защиту, схватила ребенка. Калау стал вырывать у нее ребенка. Тогда она, забыв про стыд, закричала:

— О господи, какой срам! Уйди сейчас же!

Калау одной рукой зажал ей рот, другой схватил за грудь, повалил. Кенжекей подогнула ноги и что есть силы ударила Калау в живот. Калау свалился с постели.

— У, бесстыжая тварь!..— шипела Кенжекей.— Уйди! Провались, свинья!

Выругавшись, Калау тихо отошел, улегся. В комнате было тихо. Тулеу, лежавший с молодой женой, молчал.

И Кенжекей зарыдала. Хныкал рядом разбуженный возней на постели ребенок. Но Кенжекей не утешала его, давясь, кусая подушку, она плакала о своей доле. Этой ночью она поняла, что жизнь ее отныне пропала, загублена навсегда. Больше всего потрясло ее, что Тулеу не шевельнулся, не подал голоса, не защитил ее честь.

На другой вечер рядом с Кенжекей легла Айганша. В доме они держались вместе, и Калау ничего не мог поделать с Айганшой. Тогда он придумал новую забаву. Развалившись в глубине комнаты, он долго плевал в противоположную стену, стараясь достать повыше. Потом скосил глаз и позвал старшего сына Кенжекей:

— Утеш, поди сюда!

Восьмилетний рыжий мальчишка хорошо знал тяжелую руку дяди и сразу насторожился. Он стал переступать с ноги на ногу и заранее шмыгать носом. Калау приподнялся, перевалился на колени, сполз с постели, дотянулся до Утеша и рванул его к себе.

— Стой рядом!— приказал он и опять повалился на постель. Он знал, что Утеш послушен и будет стоять.

Некоторое время Калау лежал, глядя в потолок и собирая во рту слюни. Потом плюнул на стену и попал очень высоко.

— Видал?— спросил он и задумался.

Поковыряв в носу, он поглядел на Утеша. Тот стоял потупившись и редко моргал.

— Скажи,— начал Калау,— правда, мы с тобой от одной матери?

Утеш молчал.

— Ну!

— Правда...— прошептал Утеш.

Калау загоготал и задрал ноги. Он болтал ногами и шлепал себя по ягодицам. Утеш опять шмыгнул. По щеке у него поползла слеза.

— Не плачь!— грозно крикнул Калау.

Утеш вытер слезы.

— Смейся!— приказал Калау.

Утеш робко поглядел на дядю и опять потупился.

— Кому говорю? Смейся!

Утеш улыбнулся. Лицо его исказилось при этом, а мокрые глаза совсем закрылись.

— Го-го-го!— заржал Калау, испытывая удовольствие оттого, что имеет власть над мальчишкой. Потом опять сделал грозное лицо.— Ты от кого родился?— спросил он так, будто видел Утеша впервые.— Скажи-ка! Ну?

Бабушка любила Утеша и звала его «мой меньшой». Его рано отняли от груди матери, и вырос он возле грозной бабушки. Но он знал, конечно, кто его мать, любил ее без памяти, но никогда не смел подойти к ней и сказать, как он ее любит. Он рос, будто немой, молчаливый, робкий, и ему всегда тяжело было, что он не вдвоем с матерью живет, а всегда кругом люди, и ему стыдно при них приласкаться к ней.

— Ну? Так кто твоя мать?

Утеш покосился на Кенжекей и вздохнул.

— У, хитрюга! Ишь молчит! Это он только так говорит, будто бабушкин сын...

Губы Утеша давно дрожали от сдерживаемых слез. Он пробормотал что-то и нагнул голову.

— Что?— грозно переспросил Калау.— Ты родился вон от той грязной бабы!— показал он на Кенжекей.

Утеш больше не мог терпеть и громко заревел.

— Га-га-га!..— заржал Калау.— Не нравится тебе эта стерва? Так... Ну вот что: если ты действительно сын бабушки, на вот, возьми кочергу...

Калау потянулся за кочергой, достал, опять лег и сунул кочергу Утешу.

— На вот, возьми, держи крепче. Вот. А теперь ударь кочергой эту чертову бабу. Только смотри не жалей, бей что есть силы. Понял?

Утеш крепко вцепился в кочергу, сунутую дядей, и побледнел. Ему хотелось убежать в степь, но он боялся пошевелиться.

— Эй, гаденыш! Мать, что ли, жалеешь?— спросил Калау и грозно нахмурился.— Бей ее, паскуду.

Утеш задрожал. На секунду он осмелился поднять глаза на дядю

и увидел, как тот, не мигая, смотрит на него. Утеш зажмурился, поднял кочергу и, спотыкаясь, подбежал к матери. Потом он, как затравленный зверек, оглянулся на дядю, посмотрел на мать.

— Бей, собака! Бей, щенок!

Утеш опять зажмурился, замахнулся кочергой и ударил мать по руке. Кенжекей слабо вскрикнула, вскочила, увидела перед собой несчастную, жалкую фигурку сына — и опомнилась.

— Ой!.. Утешжан, родненький...— тихо и жалостливо сказала она.— Господи! Совсем дитя ты еще... Жалко мне тебя, бедного!

На глазах у мальчика выступили слезы. Он ничего не видел, дрожал и боялся шелохнуться, чтобы слезы не побежали по щекам. Ему было стыдно и страшно, будто он оказался голый перед народом.

Калау опять повалился навзничь, опять захохотал и задрал ноги. Тулеу, до сих пор молчавший, вдруг побледнел и тяжело поднялся. Подойдя к Калау, он поймал его ногу, рванул к себе.

— Встань, собака!— рявкнул он, багровея.

Калау на мгновение смолк, взглянул на Тулеу, уперся руками, высвободил ногу и залился пуще прежнего.

Тулеу сильно пнул его под зад.

— Вон отсюда!

Калау поднялся. Но теперь он уже не смеялся. Оскалившись, он засопел и напрягся.

— Пошел вон!— опять крикнул Тулеу и схватил брата за ворот. Калау вывернулся, ударил Тулеу под ложечку. Тулеу упал, больно ударившись спиной о стену. Ошеломленно взглянув снизу на брата, он поразился: тот стоял, вобрав голову в плечи, без шеи, без ушей, решительный и яростный. Тулеу был силен, гораздо сильнее Калау, и то, что он упал, а брат стоял над ним, уродливый и злобный, привело его в такую ярость, что он чуть не заплакал. Скрипнув зубами, он вскочил и опять кинулся на Калау. Он ударил его раз и другой, но плохо попал, как он понял в ту же секунду. Он разошелся, руки, кулаки его уже горели, и он хотел одного только: бить и бить,— как вдруг перехватил взгляд матери. У старухи два дня уже как отнялся язык, и она глядела на всех. Она ничего не говорила, только глядела, но, когда кто-нибудь ловил ее взгляд, ему становилось как-то неловко, стыдно, и каждый начинал думать про себя, какой он плохой и что нужно стараться быть лучше.

Перехватив ее взгляд, Тулеу остановился и вытер дрожавшей рукой лоб.

— Ну погоди...— хрипло выдохнул он.— В этом доме теперь только одному из нас жить... Погоди! Посмотрим, кто кого!..

В детстве Калау лягнул жеребенок, сломав верхнюю челюсть с правой стороны. И с детства обезображенное шрамом лицо Калау все косило на одну сторону. Теперь от злобы лицо его вовсе съехало набок.

— Ладно... Посмотрим еще кто кого!— ответил он с ненавистью и выматерился.

Тулеу подошел к матери. Старуха больше не смотрела на него, а смотрела вверх, на низкий черный потолок. Глаза ее тускнели, гасли, будто угли в костре, подернутые золой. Она едва заметно покачала головой. Тулеу виновато моргнул. Он знал, что мать осуждает их. И еще он знал, что его она осуждает больше всех — как старшего.

Пришла Айганша. Едва переступив порог, она со страхом посмотрела в угол, где лежала мать. Потом на цыпочках быстро подошла к ней, присела у изголовья и взяла леденеющие руки матери. Она держала эти старые, со вздувшимися суставами и жилами руки и смотрела на мать.

Старуха тяжело повернулась, притянула к себе руки Айганши и стала целовать. Айганше стало страшно. Она беспомощно оглянулась, но никто не смотрел ни на нее, ни на мать. Все хмуро отвернулись.

— Апа! Апа-жан!..— всхлипнула Айганша.

Старуха прикрыла глаза и молчала. Дышала она тяжело. Вдруг голова ее покатилась с подушки. Пальцы стали разжиматься. Испуская дух, крупное тело старухи под одеялом напряглось, задрожало, вытянулось. Она стала поднимать колени, потом резко дернула ногами, будто собираясь вскочить и бежать куда-то, выпрямилась и застыла. Рот у нее приоткрылся.

Айганша припала к ней, чувствуя лицом последнее ее уходящее тепло, и закричала. Тотчас в разных углах заголосили Кенжекей и Балжан. Потом заревели дети...

Открылась дверь, и мальчишка лет восьми, с торбой на шее, заглянул в комнату, увидал вытянувшуюся старуху, услыхал разноголосый вой, побледнел, расширил глаза и тут же исчез, притворив за собой дверь.

Судр Ахмет, притаившийся за дровами, удивился, что сын его вернулся слишком скоро. Он поднялся и, заплетаясь, поспешил навстречу сыну.

— Что такое? Почему так скоро? Прогнали?

— Плачут...

— Кто?

— Все... Все плачут.

Судр Ахмет, хорьком застыв на месте, сдвинув шапку, стал слушать. Потом подкрался поближе к дому, приник к дверям и опять стал вслушиваться в жуткий вой, слабо доносившийся изнутри. Наконец он догадался:

— А-а! У них старуха болела. Преставилась, значит... Царство ей небесное... Н-да... Ну пошли! Пошли скорей! Зайдем вон туда, в аул Алибия.

— А собаки там не укусят?

— Не укусят! А потом — чего ты, щенок, боишься, когда я рядом?

— А если не подадут милостыню?

— Подадут, подадут! В другое время и не подадут, а теперь пост. Во время поста всегда подадут, понял?

Перед самой зимой единственного коня Судр Ахмета разорвали волки. С рыбаками Судр Ахмет не ладил, с Мунке поругался, от Каракатын ему ничего не перепадало, и все чаще домочадцы Судр Ахмета укладывались спать голодными.

Но начался пост, и Судр Ахмет воспрянул духом. Он выучил старшего сына петь жарамазан, надел ему на шею оставшуюся от коня торбу и послал его по домам ближайших аулов. И началась для Судр Ахмета жизнь, полная очарования и интереса. Целыми днями он гадал, сколько и чего подадут, по сто раз выскакивал за порог поглядеть, не идет ли сын. А вечерами, когда темнело, Судр Ахмет и сам отправлялся в поход вместе с сыном, чтобы уберечь того от злых собак.

Отгоняя собак, размахивая полами чекменя, шипя и повизгивая, он подвигался к дому и подталкивал сына.

— Иди, иди... Не робей! Петь жарамазан — святое дело. Вон видишь, погляди на небо, видишь? Сам аллах благословляет тебя! Ойбай-ау, какой мусульманин не обрадуется жарамазану?!

Сын его потуплялся и молчал. Он давно заметил, что людям не нравится, когда поют жарамазан. После изнурительного поста они сидят за ужином, облизывают пальцы, и знать ничего не хотят, и не любят, когда чужие смотрят им в рот.

— Ой, отец, никто не радуется... Как только запою, так сразу кто-нибудь уши заткнет и кричит: «Ну вот, опять завыл щенок, аж уши вянут! Бросьте ему в торбу горсть черного проса и гоните скорей!»

— Что, что? Так и говорят?

— Так и говорят.

— Ишь ты... Гм! Ну и пусть говорят, а ты не слушай этих... этих безбожных кафыров! Гм!.. Ты знай пой свой жарамазан, бери все, что подадут, и шагай себе дальше, а?

— Да как-то... стыдно как-то...

— Что значит «стыдно»? Что этот чертенок тут мелет? Ишь стыдливый какой! Что тебе терять-то? Не девушка же ты! Иди, иди, нечего тут... Начало-то не забыл? Вот гляди, как надо: ра-аз в двенадцать месяцев пришел жарамаза-ан... Понял?

И бредет мальчишка в чужой дом, неохотно и робко входит, останавливается у двери, краснеет и опускает глаза. Потом дрожаще и уныло начинает тянуть жарамазан. А снаружи, притаившись за дровами, поджидает сына Судр Ахмет. Окончив пение, мальчик некоторое время ждет, переминаясь с ноги на ногу, подадут ли. Иногда ему ничего не подают. Иногда какая-нибудь невестка, сжалившись над худобой мальчика, бросит ему в торбу немного проса. Иной раз дадут конратской кукурузы или кусок застывшей баранины. И бывает, возвращаются отец с сыном домой веселые, с полной торбой. Бывает даже, что и в торбу все не вмещается, и Судр Ахмет кладет тогда остальное в полы чекменя. Ему тяжело, неудобно, ноги

у него заплетаются, но бежит он прытко и еще с улицы начинает кричать жене:

— Уа, жена! Где ты? Скорей! Шевелись там, готовь посуду! Ты погляди, чего я несу!

И Бибижамал, радуясь, что сегодня у Судр Ахмета удача, начинает суетиться, с плеском льет в котел воду, разжигает огонь. В доме становится светло и тепло, огонь пляшет, сучья и поленья трещат, стреляют искрами.

В такие редкие счастливые дни Судр Ахмет растягивается возле огня, ерзает от удовольствия и, не выдержав, начинает покрикивать, оглаживая бородку:

— Не горюй, жена! Хо-хо! Бог даст, за время уразы я себе на всю зиму харчей накоплю! Ты только приготовься, ты знай... Ты вот что: ты заранее залатай все мешки, я тебе говорю, вот увидишь, глазом не успеешь моргнуть, как они все набиты будут. Под самую завязку, я тебе говорю!

XII

Давно убрали дастархан после утреннего чая. Уж близок был обед. На дворе стоял такой мороз, что скрипело и визжало, когда кто-нибудь проходил близко. Но солнце уже поднялось высоко, весело заглядывало в окно к Суйеу, и вся комната старика наполнена была блеском.

Хороша степь солнечным морозным утром. Далеко кругом все блестит и сияет, все пустынно, все живое попряталось от мороза, одни только заячьи следы, лисьи цепочки и волчий скок пересекают ослепительное пространство. Хорошо выйти в такое утро из дому и почувствовать, как крепко схватит тебя мороз за щеки.

Но старик Суйеу, никуда не выходит. С самого рассвета, после чая, он все сидит, уставившись в одну точку. Сегодня глаза его особенно красны, ярость и гнев душат его.

Старуха, управившись со скотом, принялась было за обед, но маленький Ашим, обложенный подушками, чтобы не упал, увидев бабушку, сморщился и захныкал.

Старик Суйеу моргнул белыми ресницами и насупился еще больше.

— У, крикун! Ишь как пищит... Так тебе в темя и сверлит, так и долбит. Песком бы заткнуть рот его!

Не только к чужим, но и к своим детям был Суйеу строг. Не любил, когда дети плакали, не любил, когда играли, ни разу за всю жизнь не приласкал никого, не посадил на колено, не покачал. И только младшую свою Акбалу, было время, любил без памяти. И то играл с ней, забавлялся ею, когда никто не видел.

За внука всегда заступалась старуха.

— Ну пусть поплачет,— говорила она.— Слава богу, есть кому его утешить. Какой ребенок не плачет?..

На этот раз старуха промолчала. Сильно была обижена она на

своего старика. С тех пор как старик избил до крови камчой гонца Танирбергена, приехавшего к ним с приглашением, старуха озлобилась и замолчала. Заодно попало тогда и старухе, но не за себя обижена была, не о себе плакала потихоньку последнее время. Чуяла она своим материнским сердцем, что не простит Танирберген поносительства, что отзовется стариковская камча на Акбале.

Последние дни и соседи перестали к ним ходить. А те, которые и заходили ненароком, тут же старались убраться подобру-поздорову: всех пугал свирепый вид старика. Старуха гостей не удерживала, даже радовалась втайне — очень уж поприжала жизнь, не до угощений было.

В последнее время спасу никакого не было от налогов. Поголовье скота, и без того небольшое, прямо-таки таяло на глазах изумленных шаруа. Только рассчитаются с одним налогом, вздохнут немного, как, глядишь, опять скачут по аулам волостные и старшины с новым приказом из уезда. Стоит только шаруа увидеть вдалеке скачущего всадника, как волосы у них встают дыбом от недоброго предчувствия: «Ойбай! Опять несет их нечистая сила!»

Налогов стало столько, что народ начал их путать. Но потом в аулах приловчились и к этому. По признакам, по характеру многочисленных сборов народ окрестил их по-своему. В этом году зимой особенно тяжелым оказался налог под названием «белая овца». С каждого дома собирали по десять — пятнадцать овец. Гнать их в город через всю степь по лютому морозу было нельзя. Тогда овец резали, снимали шкуры, замораживали, и белые, заиндевелые туши наваливали в сани, воз за возом везли в город.

Как-то к обеду в дом старика Суйеу ввалился с мороза Абейсын. Попив утренний чай, прочитав утренний намаз, старик Суйеу сидел по своему обыкновению один в глубине комнаты.

— Аксакал, с каждого дома собираем еще по две овцы...— сказал Абейсын и засопел, глядя в угол. Старика он побаивался, и смотреть на него не было ему никакой охоты.

— Что? Что там еще?

— Сбор «белая овца».

— Разве не покончили с «белой овцой»?

— Теперь дополнительно собираем...

— Э! Вон оно что... Дополнительно обдираем, говоришь?— Старик вдруг закричал, напруживая шею:—Бери, бери! Мало тебе «белой овцы», забери и черную! Все сразу забери! Подавись! Лопни, собака! Подлая твоя рожа!

Старик так разволновался, что и кричать уже не мог, только бурно дышал. Весь день потом мерцал он яростными глазами из своего угла, весь день нюхал табак и шептал что-то. Гнев душил его и на другой день. С утра его худое белое лицо подергивалось больше обычного. Старуха возилась по хозяйству, входила и выходила, молча прибирала в доме. Она собиралась вынести золу, как вдруг старик знаком остановил ее. Не глядя на старуху, он сказал:

— Отправляйся сейчас к снохе... Год прошел. Узнай, что у нее на уме. Выведай там...

Сноха, о которой заговорил Суйеу, была женой Итжемеса, погибшего в прошлом году на льдине. Итжемес был единственным в роду. И Суйеу хотелось, чтобы молодая вдова его вышла замуж за кого-нибудь из близких по роду.

Старухе не хотелось идти к снохе, еще не снявшей траурный жаулык. Но и старику перечить не приходилось. Повздыхавши, доделав кое-какие дела по дому, старуха взяла Ашима и отправилась к снохе.

— Да-а... Так-то вот, милая моя. Печальна что-то стала наша жизнь. Старик-то мой все сердится... Прислал меня узнать, как дальше жить думаешь,— говорила старуха и грустно кивала снохе.

Молодая женщина держала на коленях Ашима. Сначала она густо покраснела, потом у нее задрожали губы, и она заплакала.

— Я догадывалась...— всхлипывая, говорила она.— Да что я могу сказать? Ах, свекровка, милая... Ведь не принесла мне счастья брачная постель! Шесть месяцев прожила с мужем, да вот... так и осталась бесплодной. Был бы у меня вот такой малыш...— она прижала и поцеловала Ашима.— Разве думала бы я о замужестве! Прожила бы, сохраняя очаг и память своего мужа... Был бы у меня сыночек!

Старуха терпела, терпела и не выдержала, заплакала тоже. С тех пор как Акбала ушла в чужой аул, с тех пор как стали доходить до матери плохие вести о жизни дочери, всякое чужое горе ранило ее и любая молодая женщина напоминала ей Акбалу.

Она плакала, сморкалась, вытирала глаза, а сама между тем думала об извечной женской доле, о долготерпении женщины, о покорности ее, о верности и нежности. Вот и теперь в который раз уж кольнула ее преданность женщины памяти даже такого невзрачного бедняги, как Итжемес. «Да,— думала она.— Да! Как все-таки тяжело переживаем мы утрату возлюбленного. И как легко забывают обо всем мужчины... Даже от живой жены всякий ничтожный мужичишка кобелем бегает за бабами, оскорбляя честь самой чудесной женщины. А, не дай бог, умрет жена — постель еще не успеет остыть, а они уже подыскивают себе другую, подлецы!»

Вдоволь наплакавшись, уставшие женщины молча принялись за мясо. И чай пили молча, растроганно поглядывая друг на друга. Уже в сумерках старуха взяла Ашима, собираясь уходить. Молодая женщина опустила глаза, стала теребить край дастархана.

— Раз вы пришли поговорить со мной...— Она запнулась, потом собралась с силами.— Я не хочу таить от вас ничего...

Старуха удивленно посмотрела на нее.

— Я... Подумываю я об одном вашем родственнике... Только не свободен он. У него жена и дети.

Старуха нахмурилась. Тотчас вспомнила она свою Акбалу, вышедшую второй женой.

— Ай, родимая моя, все это по молодости говоришь!— неодобрительно сказала она.— Зачем же обрекать себя, губить свою жизнь? Две бабы при одном мужике — как две собаки, лакающие из одной лоханки. Разве не грызут они друг друга по сорок раз на день? Детей у тебя нет, одна живешь, свободна, чего тебе еще надо? И тебе найдется такой же одинокий человек. Свет не клином сошелся на нашем ауле. О себе подумай, а я тебе счастья желаю!

И старуха ушла.

Дома старик Суйеу сидел в темноте по-прежнему один. Старуха зажгла светильник, занялась Ашимом. Суйеу смотрел на нее, на ее тень и не шевелился. Он молчал, но старуха знала, как страстно ждет он новостей.

— Ну вот и узнала все...— сказала она, не глядя на Суйеу.

— Узнала? Что узнала?

— Ни к кому из нашего аула у нее душа не лежит, вот что!

Суйеу злобно фыркнул.

—«Не лежит»...— забормотал он.— Хе-хе... «Не лежит»! Это мы еще посмотрим, лежит или не лежит...

Старуха знала — вся судьба, вся жизнь молодой вдовы была в руках ее старика, и неизвестно, что придет ему в голову. Она подождала, не скажет ли он чего-нибудь еще. Но Суйеу замолчал, нюхал табак и время от времени ядовито фыркал. Тогда старуха рассердилась. Она вот уж несколько дней знала и таила от старика, что у Акбалы родился сын. Знала она также, что Суйеу страдает, день и ночь думает о дочери, и все старалась оттянуть эту новость. Но теперь мстительность вдруг овладела ею, она нехорошо засмеялась, отошла на всякий случай подальше и сказала ядовито:

— Суюнши, дорогой мой... Дочь твоя сына родила!

Суйеу, не моргая, уставился на нее.

— Ну что ты на меня вылупился?— крикнула старуха.— Твоей дочке родить — раз плюнуть! Не веришь, иди у соседей спроси! А внука твоего знаешь как звать? Кудайберген, вот как! Что?

— А?— Суйеу медленно отвел взгляд от старухи.— Что тут говорит эта хрычовка?

Некоторое время он сидел молча, упершись взглядом в стену. Потом лицо старика задергалось, пальцы зашевелились.

— Кудайбергеном, значит, назвали? А? Этот щенок у них Кудайберген! Отец — Танирберген! А... а те вон, другие все... Алдаберген... Жасанжанберген... Кудайменде...— Он рванул ворот, стал задыхаться.— Эй! Эй, что это! А? Что это значит? Значит, детей рода Абралы дает бог? Всевышний... Аллах... Создатель? А кто же нам дал наших детей, а? А? Кто, я тебя спрашиваю!

Старуха вышла. Она знала — теперь старик снова умолкнет на несколько дней, опять будет задыхаться от бессильного гнева.

Едва вышла старуха, Суйеу суетливо вскочил и быстро подошел к Ашиму. Прислушался. Убедившись по скрипу снега, что старуха пошла в кошару, нагнулся к ребенку. Ашим, боявшийся бороды и

красных глаз деда, заплакал. Не обращая внимания на рев, старик взял внука, крепко прижал к груди. Все, что сдерживал он, что копил в ежедневном молчании — боль, обида, бессилие, вдруг разом прорвалось в нем, и старик затрясся.

— Несчастное дитя... Сиротинушка ты моя...— бормотал он, смаргивая слезы и жадно вдыхая сонный, беспомощный запах ребенка.

На другой день приехал старик Есбол. В этом краю был он самый старший, самый почтенный старец и редкий гость. Поэтому Суйеу с подчеркнутым вниманием вышел к нему навстречу, на мороз. Он обнял дорогого гостя прямо на улице, и лицо его впервые за много дней смягчилось. Введя Есбола в дом, помогая ему раздеться, усаживая его на самом почетном месте, Суйеу даже заморгал, даже в носу у него защипало — так обрадовался.

— Старуха!— весело крикнул он.— Разжигай огонь, ставь котел!

— Дорогой Суйеу, зачем беспокоиться? Когда постареешь, как я, так внимание хозяина дороже тебе, чем его котел... Доволен я, доволен.

— Ну удовольствием сыт не будешь... Пошевеливайся там, старая!

— Да не нужно ничего, к чему это беспокойство?..

— Нет, Есбол-ага, а тут уж я тебя не послушаю. Уж своим-то казаном я распоряжаюсь...

— Ой, да разве тебя переспоришь...— сдался Есбол и не удержался — захихикал старчески, вытирая слезящиеся глазки. Приличия были соблюдены.

Щедрый по натуре Суйеу тут же распорядился зарезать овцу и половину опустить в котел. Старуха побежала в кошару, Суйеу заерзал от удовольствия. Огонь в очаге пылал, в котле начинала кружиться вода, и весело стало в доме.

— Все ли благополучно в ауле, Ес-ага?— весело спросил Суйеу и придвинулся поближе к гостю.

— Слава аллаху...

— Никогда зимой вы не ездили никуда. Что это за дело подняло вас из дому?

— Верно, верно, дорогой. Твоя правда. Последние годы я и к соседям не хожу. Э, да что там говорить! Старый дуб покидает жизнь: обломались ветки, опали листья. Сил нет, глаза не видят... Болезнь теперь моя постоянная гостья.

— Э-э... Да и я теперь, как дряхлый верблюд, лежащий на золе. Ох-хо-хо! Немочи, немочи...

— Ну ты-то еще крепок, не то что я. Ты ведь молодой еще, совсем джигит...— Есбол залился дребезжащим смешком.— Да-а, на аргамака верхом, камчу в руки, хе-хе.

Потом старики замолчали. Каждый думал о своем, глядя на огонь. Скоро поспел чай, старики принялись хлебать, отдуваться.

Несколько раз Есбол украдкой взглядывал на Суйеу, прикидывая про себя, какое у того настроение.

Приехал он по важному делу. Отчаявшаяся Акбала послала к старцу Есболу своего человека с просьбой повлиять на отца... Во-первых, Есбол был родной дядя Еламана, а Еламана Суйеу любил. Потом, Есбол был самым почтенным старцем в степи, единственным человеком, с мнением которого Суйеу считался. Вот за него-то Акбала и ухватилась, как за последнюю свою надежду. Отказать ей старец Есбол не мог и вот теперь приехал к Суйеу...

Заметив, что Суйеу весел, Есбол подумал: «Дай-то бог! Кажется, попал я в хорошую минуту, и мне повезет!»

Попили чаю, отвалились, утерли лица рукавом. Старуха убрала дастархан и вышла. Оставшись наедине с Суйеу, Есбол повел свою речь издалека. Сказал, что роды распадаются в последнее время, что настали худые времена, что даже кровная родня ссорится между собой. Потом как бы невзначай упомянул имя Акбалы, покосился на Суйеу. Услышав имя дочери, Суйеу побледнел и заморгал.

— Не упоминай ее имя в этом доме!— сказал он.— Слышать о ней не хочу!

— А, дорогой, да ты сперва выслушай...

— Не буду! Молчи о ней!

— Брось, Суйеу... Ты не прав. Ради дочери мог бы съездить и к врагу, раз приглашают.

Суйеу злобно нахмурился. Ничего не слушая больше, он холодно отвернулся. Потом подумал и отодвинулся совсем от Есбола. Есбол сидел, опустив плечи, и качал головой.

— Эх, Суйеу, Суйеу... Хоть и постарел ты, а жесток по-прежнему. Н-да... Человек изнашивается, а собачьему характеру его износу не бывает. Вредный ты старикашка, дорогой мой Суйеу. И знал же я тебя, да вот Акбалу жалко очень, не выдержал, притащился больной... В такую даль! А? Ну ладно, что делать, что делать... Молчу.

Масло в светильнике кончалось. Пламя вздрагивало, тускнело, умирало. Только возле светильника был круг зыбкого неровного света, а по углам собрались тени. В доме стало сумрачно. Снег сухой крупкой сек в единственное окошко за спиной гостя. Было слышно, как во дворе посвистывает, шарит по стенам и по крыше ветер. И в доме от этого казалось еще тише.

Суйеу наложил на большой палец терпкого бурого насыбая и, поднося палец попеременно к ноздрям, стал остервенело нюхать. Потом чихнул несколько раз, мокрые глаза его еще больше покраснели.

Старуха подала дымящееся мясо. Есть мясо принялись молча. К разговору об Акбале больше не возвращались. Старуху тяготило молчание, и она кашлянула.

— Что слышно о твоих племянниках?— спросила она.

— Слава аллаху, письма пока приходят...

— Правда ли, что они в Турции?

— В Турции, в Турции...

— Храни их господь! Знаешь, не оставляй надежды в том, кто жив, говорят. Еще вернутся в один прекрасный день, вот увидишь.

— Да-а... Пока живы, надежды нельзя терять. Хоть сорок лет воюй, а погибает всегда тот, кому судьба. От судьбы, как говорится, не уйдешь...

— Ничего, слава богу, есть хоть кому у него за сыном приглядеть. Не знаю, хорошо ли, а мы его тут растим, лелеем...

Заговорив о племянниках, Есбол расчувствовался. Но когда старуха напомнила ему о сыне Еламана, старик не удержался, всхлипнул.

Суйеу неодобрительно поглядел на старуху.

— Иди, иди! Хватит трепаться!— грубо сказал он.— Лучше сорпу принеси.

Старуха торопливо подала сорпу в чашках. После этого прекратились и слезы и разговоры. В комнате опять повисла тишина.

Наевшись, Есбол, хоть и было поздно, собрался домой. Уже одевшись и выходя, он остановился и повернулся к Суйеу.

— Ты знаешь,— сказал он,— что у Танирбергена кончилось терпение? Он готов взорваться.

— Пусть! Пусть!— визгливо ответил Суйеу.— Пускай лопнет, вдрызг разорвется!

— Он прогонит Акбалу...

Суйеу ничего не сказал, повернулся и пошел в угол, на свое место. Сев, он фыркнул и стал смотреть в стену.

Есбол покачал головой и нагнулся выходить «Что за человек!— горестно размышлял он.— У этого дьявола, видать, и души совсем нет!»

XIII

— Мурза, подъезжаем! Вон уж наш Ак-баур завиднелся!

Пара саврасых, запряженная в легкие сани, тут же завела уши назад, любопытствуя, чему это так обрадовался возница. Саврасые были сильные кони, и в дальнюю зимнюю дорогу Танирберген выезжал только на них. Широкая дорога между прибрежьем и городом Челкар, по которой всю зиму тащились вереницы караванов, была теперь занесена бесконечными февральскими метелями. По мере того как, миновав Аяк-Кум, путники подъезжали к прибрежью, дорога становилась все тяжелей. Кони то и дело теряли путь и по брюхо утопали в сугробах. Трехдневный путь утомил и путников и коней.

Далеко впереди послышался собачий лай. Аулом еще и не пахло, но лай собак чуть внятно звенел в вечерней тьме, и кони встрепенулись, поставили уши торчком и понеслись. Широкие крупы их, высеребренные инеем, дымились.

Косоглазый гонец, сидя высоко на козлах, с восхищением вглядывался в острые, как листья камыша, уши саврасых, переводил глаз на подрагивающие, взметывающиеся гривы, на курчавые, кру-

тые крупы и думал про себя: «Ну и кони! Ну и умницы! Лучше человека чуют родной аул! Ишь как помчались, голубчики!»

Сильные кони все скорей работали ногами, храпели, мотали мордами, выдувая на стороны облака пара. Полозья поскрипывали, попискивали, под копытами вжикало, а кони летели... Теперь им надо только взобраться, выскочить вон на тот холм впереди, а за ним уж и рукой подать до аула.

Бабы-служанки, весь день ходившие за скотом, теперь небось освободились, сидят все дома и уж хлопочут, наверное, возле печек, разжигают огонь, ставят котлы. И косоглазый с наслаждением думал, как по приезде загонит он саврасых в сарай, укроет их теплыми попонами, кинет им сенца. А потом и он свободен. Потом... Э, да что там говорить! И косоглазый джигит совсем развеселился, представив себе, как будет он блаженствовать в теплом доме, рядом с мурзой, и с наслаждением дышать запахом булькающего в котле мяса, забыв о муках трехдневной дороги.

Ему стало так хорошо, что захотелось петь. Он и запел бы, да неловко ему было перед угрюмыми спутниками. Особенно смущал его Танирберген.

Всегда сдержанный, холодный со всеми — с посторонними, с женами, со своими джигитами, кучерами и слугами,— в дороге мурза обычно оттаивал, становился весел и добр. В пути забывал он обо всех своих делах, смеялся и дурачился, как мальчишка.

Но на этот раз косоглазому казалось иногда, что везет он мертвые тела. Спутники молчали от самого города. За весь день даже не кашлянул никто! Кучер повернулся назад поглядеть, не выронил ли он их невзначай. Нет, вон они, сидят в какой-то хмурой дреме. Только пар выбивается из-за воротников волчьих тулупов.

Иногда полозья легких саней цеплялись за кочки, за жесткие кустики под снегом. Сани тогда подскакивали, седоки, закутанные в тулупы, толкались плечами, соединялись на миг и опять отваливались каждый в свой угол. Даже на радостный возглас кучера об Ак-бауре они не отозвались, будто и не к себе домой подъезжали они после долгих трех дней пути. Будто не было им никакого дела до того, что ждет их теплый дом и душистое, жирное, горячее мясо.

И уж совсем неживым казался Абейсын, этот сборщик. Брови его были насуплены, толстое лицо бесстрастно бледнело над воротником. «Черти бы тебя задрали!— смачно ругнулся косоглазый джигит про себя.— Ишь отожрался как, харю на мороз выставил. Поглядел бы я на тебя, если бы ты тут вот посидел, на козлах, на ветру!»

Кони споро неслись по глубокому с льдистой коркой снегу, наметенному на дороге. Сани шуршали и шипели.

— Ойпырмай, а зима в этом году лютая!— громко сказал косоглазый, поворачиваясь и поглядывая на мурзу.

Танирберген и на этот раз промолчал. Кучер давно уже понял, что у мурзы тяжело на душе. «Или опять не поладили?»— с любо-

пытством думал он. Еще ведь недавно они видеть друг друга не могли. А потом снова сдружились. Помирил их сбор «белой овцы». Они опять вместе делали свои дела и, как прежде, были довольны друг другом.

«Да-а, видно, что-то неладное случилось...»— заключил косоглазый. И стал думать, что беда случилась как раз перед выездом из города, потому что по дороге в город и в самом городе мурза был весел необыкновенно.

А случилось вот что. Мурза, занятый своими делами, дольше обычного задержался в городе. Поэтому в день отъезда встал он спозаранку, велел кучеру укладываться, а сам радостно стал одеваться. Он накинул уже шубу, когда в комнату быстро вошел Темирке. Бледный, осунувшийся, он споткнулся на гладком полу, еле удержался и с отчаяньем поглядел на Танирбергена.

— Что будет, что будет!— простонал он, хватаясь за голову и валясь в кресло.

— Что случилось?— встревожился мурза.

— Ужас! Ужас! Царя свергли с престола! Ты знаешь? Нет?

Татарин сорвал тюбетейку и бросил на пол.

— Все кончено, все рухнуло... И-и-и, алла! Ужасно... Ужасно...

— Что ты говоришь!!!— прошептал Танирберген.— Царя... Уж не сон ли это?

Танирберген побледнел и вытаращился. Потом стал тереть лоб.

— Какой там сон! О господи! Сейчас, брат, дурное видишь только наяву. И-и-и, не говори, не говори!— махал руками татарин, будто окончательно разочаровался в этом лживом мире.

Потом он забормотал что-то вовсе непонятное, поднял тюбетейку, но надеть забыл и попрощаться тоже забыл, торопливо ушел. Танирберген только теперь перевел дух. Шуба соскользнула с плеч. Косоглазый вошел и сказал, что все готово и Абейсын ждет на улице.

Ничего не соображая, Танирберген вышел на мороз и сел в сани. Только за городом он очнулся, хотел поворотить назад, чтобы узнать подробности, но раздумал. Ему было страшно. У него появилось такое ощущение, будто он втайне от всех принял яд и ни одна душа не знает этого, а знает и страдает один он. Потому он и молчал всю дорогу, боясь заговорить, боясь хоть словом обмолвиться о страшном событии.

Разные мысли посещали его дорогой. То он думал о будущей власти, о том, что это будет за власть — новый ли царь или что-то другое. Думал он еще, коснется ли вся эта история власти на местах и какой теперь настанет образ правления у них в уезде и в волости. И удержится ли порядок в стране или по примеру столицы с властью начнут расправляться всюду. И как это отразится на его хозяйстве. А подумав о хозяйстве, он почувствовал вдруг дыхание зимы, вспомнил, что во всех аулах, которые они проезжали по пути, падал скот.

Подъезжая к дому, он обратил внимание на то, что возле аула что-то не видно скота, снег не истоптан. «Наверное, в кошары загнали,— с тревогой подумал он.— Вероятно, тоже не без падежа». И порадовался опять, уже в который раз, что его аул накосил в этом году много сена.

Устав от молчания, он уже возле самого дома повернулся к Абейсыну.

— Да-а, к весне-то трудновато стало, а?

— Э, мурза, и не говори!

— Что дальше-то будет? Нынче, наверное, крепко погорим?

— Погорели уж...— буркнул Абейсын.

«О чем это он?»— подозрительно пригляделся к Абейсыну мурза.

А Абейсын вздохнул, выпустив облако пара, и пробормотал:

— Как не погореть, коль царь слетел!

Танирберген ворохнулся в санях и широко раскрыл глаза. Его удивило не то, что Абейсын тоже знает об этом,— удивил его тон. Абейсын, как всегда, был безучастен и сонлив. Пораженный Танирберген поспешно отвел глаза, стал глядеть в степь. «Наверное, и он от Темирке узнал. Вот хамло! Ну и хамло: молчал всю дорогу, бесчувственная скотина!»— подумал Танирберген, позабыв, что и он молчал тоже.

Въехали в аул они уже в глубоких сумерках. Услыхав храп лошадей, скрип полозьев, навстречу им клубками выкатились сразу охрипшие от ярости собаки, но, узнав своих, стали визжать от радости, норовя впрыгнуть в сани.

Косоглазый не стал спрашивать мурзу, где останавливаться. Давно уж он заметил равнодушие мурзы к Акбале. Побитый стариком Суйеу, он не мог теперь сдержать торжествующей улыбки, думая об унижении молодой токал. И сейчас он, чмокая и покрикивая на коней, вызывающе проехал мимо дома Акбалы и лихо подкатил прямо к дверям байбише.

— Байбише!— гаркнул он во всю глотку, так, чтобы слышала Акбала.— Суюнши, байбише! Мурза приехал!

Танирберген покривился. Выпрастывая ногу из саней, он даже не посмотрел на байбише, которая, ликуя, уже плыла навстречу мужу.

— Стели постель,— холодно распорядился он.— Со мной приехал человек.

— Этот, что ли?— байбише во все глаза глядела на выбиравшегося из шубы Абейсына.— А! Бог ты мой, так сказал, что у меня ноги подкосились! Я уж думала, что это из города какой-нибудь важный человек. А это всего-навсего Абейсын, хи-хи...

Абейсын пропустил мимо ушей игривую шутку байбише и молча, посапывая пошел в дом. Не успел он раздеться и сесть на почетное место, как в дом стали собираться люди со всего аула. Веселые оттого, что сейчас услышат все городские новости, люди входили в дом довольно бойко, со смехом и шутками. Но перед мурзой их

охватывала привычная робость, и они нерешительно топтались возле двери. Мурзу они вообще не решались расспрашивать о новостях и принялись поэтому за Абейсына.

— Абейсын, дорогой, будь добр, расскажи, какие новости в городе.

— Никаких.

— А какие цены на базаре?

— А зачем тебе это знать, аксакал?

— Как там царь-то?

— Царь здравствует. Просил, чтоб я передал привет и поклон всем, кто им интересуется.

Все рассмеялись. Но Абейсын был по-прежнему серьезен. Опустив тяжелые веки, он лениво снимал льдинки с редкой бороды.

— Дорогой Абейсын, война-то как там? О мире ничего не слышно?

— Нет.

— Апыр-ай, да будет ли ей конец когда-нибудь?

— А тебе что? Кафыров жалеешь?

— Э! Какие там кафыры! Нам-то легко ли? Джигитов наших всех забрали. Сборам, налогам конца-краю нет! Скот весь поотбирали... Э-э... Хлеба и вовсе не видим, а? Кафыры? А все из-за войны...

— Это ты русским пожалуйся...

Все заговорили сразу, загудели вполголоса, а Абейсын принялся рассматривать убранство богатого дома мурзы и сравнивать со своим домом. Дом мурзы походил на базар, где весь товар разложен и расстелен так, чтобы заманить покупателя. «Хвастун!— решил Абейсын.— За душой ничего нет, ничего не припрятано, все на виду».

Осторожно, чтобы никто не заметил, Абейсын провел ладонью по нежному ворсу огненно-красного персидского ковра. Ворс был нежен и упруг, как девичье тело. За последнее время в домах Танирбергена и Абейсына появилось много редких вещей из города, не виданных до войны. И на этот раз они много привезли. Но если Танирберген все свои покупки тотчас расстилал и выставлял, то Абейсын был скрытен и почти все припрятывал. Он не любил, чтобы кто-то считал его богатство. Что и как покупал Абейсын, что он привозил домой в тюках, Танирберген никогда не знал.

Видя, что мурза сидит грустный, байбише решила выпроводить соседей.

— Ну, гости дорогие, посидели, пора и честь знать!— бесцеремонно сказала она.

Люди поспешно и смущенно стали выходить, а когда вышел последний, байбише повернулась к мужу.

— Мурза, брат твой прикован к постели,— сказала она притворно грустным голосом.— Зашел бы ты к нему...

Танирберген как будто не слышал ее. Он лег и отвернулся к

стене. Глаза его угрюмо мерцали. На младшего брата он был сильно сердит. Вообще последнее время у него как-то все разладилось. Старик Суйеу его оскорбил, избил камчой его гонца, с братом софы Алдабергеном он поругался, байбише свою не уважал и не любил, к Акбале стал холоден, Абейсын в сторону смотрит, того и гляди предаст... Все как-то не задавалось ему, и жить стало неинтересно. В ауле не стало прежней крепости и послушания...

Да что там, аул! Царя теперь нет, все рушится, устоявшаяся жизнь на грани больших перемен, а что сулит будущее, одному аллаху известно.

Хуже всего, что в своем доме было неладно. Перед отъездом в город мурза, чтобы сохранить очаг покойного брата-волостного, взял себе в жены его вдову. Просто вековой обычай. Но как кричал тогда Жасанжан! Как смел он ему говорить: «Позор! (Так кричать на мурзу!) В то время как в степи джут, в то время как по всем аулам бог знает что творится, казахские баи думают о своих гаремах! Это непорядочно, недальновидно...» И так далее в таком же роде — много наговорил тогда Жасанжан, а люди слушали развесив уши. Не мог выбрать время, дурак!

Танирберген тогда промолчал по своему обыкновению, но рассердился на брата ужасно и решил его проучить. Он хотел подумать обо всем этом на досуге, по дороге домой, но не успел: весть о свержении царя выбила на время все мысли у него из головы. И только теперь, когда байбише напомнила ему о брате, он вдруг решил: «Пеняй на себя, дурак! Чем Айганшу за тебя выдавать, я ее лучше сам возьму!» А решив так, успокоился и даже повеселел.

Танирберген не имел обыкновения советоваться с кем-нибудь о своих делах. Наметив себе цель, он, как путник на крепком коне, рано или поздно достигал ее. Решив удалить от себя Акбалу, он больше не ходил к ней. Ребенок ее болел, был чуть не при смерти, он не навестил и ребенка. Отчаявшаяся, измученная Акбала как-то послала к мужу одного джигита. Тот долго мялся и наконец выдавил:

— Акбала невинна перед тобой, мурза... Почему ты так жесток к ней?

Танирберген рассердился:

— Она еще смеет винить меня! Я из-за нее пошел против всего аула! Унижался, приглашая ее отца, этого сумасшедшего старикашку... Дура она! Раз уж отец на нее рукой махнул, чего же она от других хочет?

С тех пор Акбала уж и из дому не выходила. Сидя одна в своем темном холодном доме, баюкая больного ребенка, она все чаще вспоминала своего первенца Ашима. Она рано отняла его от груди и подбросила родителям. Сирота при живой матери, думала она, как это ужасно! И не слезы ли невинного младенца должна теперь искупать она своим горем?

Когда заболел ее сын, Акбала чуть с ума не сошла от страха. Если ей не удастся сохранить его, богатый аул ни дня не станет ее держать — это она хорошо понимала. Она теперь что есть силы цеплялась за свою последнюю надежду, ни на шаг не отходила от ребенка, сидела возле него день и ночь. Она поила его водой, без конца совала ему грудь. Ребенок не сосал, головка у него не держалась, валилась на сторону, как у мертвой птички. Акбала всем своим существом чувствовала, как страдает этот крохотный, еле шевелящийся комочек. Глядя на него, прислушиваясь к его дыханию, к его слабому плачу, она и сама принималась плакать, и в груди у нее болело и горело, будто боль сына переходила к ней.

Как-то после обеда зашел Танирберген. Акбала мельком глянула на него и поразилась — так он был красив и так блестели его глаза. Заиндевевшие на морозе усы и брови его оттаяли в тепле и тоже блестели. Он не спросил о ребенке и не прошел дальше порога, так и стоял, настороженно поглядывая в сторону люльки. Акбала молчала. Она не смотрела больше на мурзу, а копошилась в люльке — перекладывала и меняла пеленки.

Уйти молчком Танирберген почему-то не решился. Помолчав некоторое время, он хмуро спросил:

— Ну, как твой малыш?

— Не со святым я его нагуляла! Почему это мой? Он и твой... Спасибо, что зашел поинтересовался!

— Эге! Вон как заговорила!

— А как? Как мне говорить с отцом, который забыл, что он отец? «Как твой малы-ыш?»! — передразнила она.— Мой малыш! Болеет мой малыш, мучается мой малыш — вот как!

— Так... валяй дальше.

— Быть таким жестоким к своему сыну... О господи!

— Так-так... Дальше?

— Что — дальше? Чего ты пришел? Что ты стоишь как придурок?— бешенство охватило Акбалу. Черные глаза ее налились слезами. Она вскинула голову и яростно уставилась на мурзу.

Танирберген оторопел. Ему показалось на миг, что нет в мире женщины красивей Акбалы. Он почувствовал вдруг, что любовь к ней еще бродит в нем и что сердце его бьется, как раньше, что ему не хочется ссоры, что он счастлив был, когда любил ее и она его любила.

Горечь и нежность шевельнулись в его сердце, он каким-то тайным уголком души, глубоко запрятанным и будто пеплом присыпанным, понял, что никогда, никогда уж ему не испытать такого счастья с любимой, какое было у него с Акбалой. И опять встала в памяти у него ночь, и он верхом на коне, и дыхание верных джигитов во тьме, и то белое, будто светящееся, развевающееся, что было Акбалой и что неслось к нему через ночную степь из рыбацкого аула...

Он хотел уйти, чтобы подумать обо всем наедине с самим собой и, может быть, передумать все и опять вернуться к своей прекрасной

токал, но Акбала все смотрела на него полными слез, яростными глазами, все задыхалась, и он не ушел.

— Кто я в этом доме?— уже не помня себя, выкрикивала Акбала.— Я жена тебе, богом данная? Скажи-ка! Ну? Я мать твоего сына, вот этого, вот он, видишь? Мать я ему? Или я потаскуха на караванной дороге?

И Танирберген опять стал невозмутим. Презрительная усмешка заиграла у него под усами.

Акбала опомнилась. Она поняла, что все ее слова, ее слезы, ее несчастный, больной ребенок ничуть не тронули сердца мужа.

— Так-так...— опять сказал Танирберген и кашлянул, чтобы укрепить голос.— Что же дальше?

Акбала крепко вытерла слезы и вздохнула. Все в ней погасло, похолодело. От недавнего бешенства не осталось и следа. Она вся как-то вдруг увяла, устала, все ей сделалось безразлично. Опять подняла она глаза на Танирбергена, но глядела теперь на него с гадливостью и презрением.

— Дальше?— холодно переспросила она.— А вот что дальше... Если я тебе не нужна больше, то разреши мне уйти из этого аула!

— О милейшая, пожалуйста! На все четыре стороны.

Акбала потупилась. Ноздри ее дрогнули, красные пятна пошли по скулам. Танирберген еще поглядел на нее внимательно, усмехнулся и вышел.

После этого он больше не приходил к ней, целыми днями пропадал у своей байбише, а к Акбале все чаще посылал грубых джигитов. Джигиты говорили с ней развязно, гоготали, спрашивали, когда же выздоровеет ее чертов щенок и когда она уберется из аула.

Акбала джигитам не отвечала ничего, отворачивалась и закусывала губу. Она знала, что теперь уж ничто не поможет, ни слезы и никакие ее слова, и ей оставалось одно — терпеть и крепиться до последней минуты.

А последняя минута, она знала, была не за горами. С того времени как вышел от нее Танирберген, ей перестали носить еду. Но есть она не хотела, только жажда ее мучила, все время пересыхало горло, и она беспрестанно пила, облизывала сухие губы.

Вечером у ребенка опять появился жар, и Акбала долго не спала. Бесшумно ходила по комнате, поправляла лампу, чтобы не нагорала, чтобы было светло, прикладывала ко лбу сына холодные тряпочки. Только к утру она задремала, навалившись головой на край люльки. Проснулась она, как ей показалось, через минуту от ужаса, что кто-то отнимает у нее ребенка. Протерла глаза, тупо оглядела огромную пустую комнату. Голова у нее болела, она стала морщиться и тереть виски. Зыбкий свет висячей лампы еле преодолевал мрак.

Когда однажды утром за ребенком пришли от байбише бабы, Акбала встретила их спокойно, даже как бы равнодушно.

— Да, да...— говорила она и потирала лоб.— Да... Сейчас. Вот только покормлю еще раз...

— Да ладно... Мы его сами покормим...

— Сами? Ах да... сами, конечно. Сами покормите... Только очень прошу, кобыльего молока ему не давайте. У Ашимжана моего, у первого, от кобыльего молока всегда животик болел.

Она замолчала, задумалась, будто забыла про все. Бабы томились, переступали с ноги на ногу. Им было тяжело.

— Мы за ребенком, Акбала...— напомнили они.

— А? Да, да... за ребенком. Я знаю. Сейчас... Еще немножко подождите... Вот дам еще грудь... напоследок.

Бабы переглядывались, шмыгали носами. Они не узнавали Акбалу. Гордая, спокойная, она переменилась так, что не узнать было. После любого слова, обращенного к ней, она вздрагивала и покорно соглашалась: «Да, да... Сейчас...» Она бродила по комнате, задумывалась, останавливалась, потом опять бродила, собирала всякие пеленки, распашонки. Все собрав, она вдруг успокоилась, села рядом с люлькой, стала расправлять и аккуратно складывать белье. Потом опять заволновалась, вскочила, стала оглядываться. Когда ребенку исполнилось сорок дней, она сшила ему рубашечку ит-койлек — из сорока разноцветных лоскутков. Так полагалось по обычаю. Теперь она вспомнила о рубашечке и начала торопливо искать ее. Она разворошила все белье, перевернула все тюки, но никак не могла найти ее.

— Что это ты ищешь, милая?— горестно спрашивали бабы.

— Да вот ит-койлек никак не найду. Сама шила...

— Найдем, найдем, не беспокойся! Давай скорей ребенка, а то байбише сейчас прибежит...

Акбала побледнела. Сначала она хотела уйти, не попрощавшись с сыном, не поглядев на него напоследок. Так, ей думалось, будет лучше. Но ребенок вдруг проснулся, захныкал, зашевелил пальчиками, искал грудь. И Акбала не выдержала, кинулась к люльке, затряслась, стала расстегивать платье, чтобы покормить. Бабы отвернулись, плакали потихоньку, прикрывая рты концами жаулыков. Кто-то увидел в окно байбише.

— Успокойся, милая...— стали просить бабы.— Вытри слезы скорей! Байбише идет!

Акбала в последний раз поцеловала сына.

— Приглядывайте тут за ним...

— Бедная мать! Бедная, бедная... Не убивайся так. За ребенком присмотрим. Ты о себе подумай, как ты-то теперь будешь?..

Победно вошла байбише. На ней пламенем горело новое красное атласное платье.

— Забрала свои манатки?— весело спросила она, потом хихикнула и жалостливо сказала:— Вряд ли тебя ждет теплая постель, а?

Акбала, не взглянув на нее, пошла к двери. Байбише жалко ста-

ло, что Акбала уходит молча, ей хотелось поругаться всласть напоследок. Высунув вслед Акбале язык, байбише крикнула:

— Пропади пропадом, брошенка! Потаскуха!

Ребенок тоненько заскулил, захныкал. Байбише нагнулась над ним, сильно ущипнула.

— У, щенок дохлый!

Ребенок закричал, зашелся в плаче. Акбала обернулась, захрипела, кинулась назад, схватила сына.

— Эй! Вы только гляньте на эту сучку, а?— растерялась байбише.

Оторопев, она некоторое время моргала, не зная, что делать. Потом опомнилась, ударила Акбалу в грудь.

— Отдай ребенка, сука!— завизжала она.— Глаза выцарапаю!

— Не отдам!

— Отдай по-хорошему!

— Не смей сына трогать!

— Сына захотела? Эй, бабы, чего рты разинули? Берите у нее щенка!

— Не подходите! Убью!

Акбала хрипела, жаулык слетел у нее с головы, черные волосы рассыпались по спине, глаза выпучились, лицо исказилось, стало уродливо и хищно. Бабы стали хватать ее, но она пинала их ногами, кусала, царапалась свободной рукой.

— Мой сын...— хрипела она.— Не отдам...

Байбише завыла, побежала на улицу и тут же вернулась с двумя мордастыми джигитами.

— Ага, су-ука!— мстительно засмеялась байбише, увидав, как испугалась Акбала.— Взять у нее щенка!

— Не отдам ре...

Джигиты зажали ей рот. Один держал ее, другой заворачивал за спину руку. Байбише подскочила, вырвала кричавшего ребенка, передала бабам.

— Зве-е-ери... О-о-о-о...

Заламывая, выкручивая руки, джигиты потащили Акбалу к двери, вытолкнули на улицу. Потом повели аулом. Акбала стихла, шла быстро, и было похоже, что не джигиты ее, а она их тащила в степь. Выведя ее из аула, джигиты напоследок дали ей пинка.

— Скатертью дорога! Гуляй теперь по свету... Хо-хо-хо!

Акбала даже не посмотрела на них. Она поднялась, отряхнула снег и пошла по дороге в степь. Все ей было ненавистно, весь мир она прокляла и забыла, один только плач ребенка еще жил в ней.

День был мрачен. Редкими хлопьями падал снег. К вечеру наверняка начнется метель. Куда пойти, у кого просить приюта, Акбала не знала. Она уже далеко отошла от аула, когда ее догнал какой-то мальчишка на верблюде.

— Женеше, я подвезу вас...

Акбала поняла, что мальчишка послан мурзой. Мальчишка все

догонял ее, упрашивал сесть на верблюда. Акбала его не замечала. Мальчишка отстал, потом опять, в последний уже раз, догнал Акбалу и бросил на дорогу перед ней небольшой баул.

— Твои вещи, женеше...

Акбала даже не посмотрела на баул — стала вдруг похожа на отца своего Суйеу: дикое упрямство вспыхнуло в ней и жгло ей грудь. Теперь ничто не могло ее остановить. Примчись следом мурза с джигитами, умоляй он ее вернуться, целуй он подол ее платья — она не поворотит назад! Безразличная к любым невзгодам, готовая к любой беде, она все брела и брела в неизвестность по глухой, пустынной, покрытой глубоким снегом степи.

Весть о свержении царя быстро облетела казахскую степь. В самые глухие, отдаленные аулы, куда зимой почти никто не добирался, ни пеший, ни конный, дошла эта весть. Каждый день приносил новые слухи. Слухи мчались по бескрайней степи, как волны по морю или как перекати-поле, сталкивались, соединялись, распухали — правдоподобные и невероятные,— захлестывали аулы, и долго теплились по ночам огоньки в домах, и сидели у очагов соседи, помешивали угли, присаживались в волнении на корточки и говорили, говорили... Все с тревогой ждали, что принесет завтрашний день. Все с особенной чуткостью следили за степью и никому не давали ни проехать, ни пройти мимо, выскакивали из домов, махали руками, зазывали к себе, чтобы еще и еще упиться новостями.

Уже знали, что власть перешла в руки Временного правительства. Знали, что в стране неспокойно, поговаривали о каком-то двоевластии, судили и рядили, что бы это могло значить и как это может быть, две власти в народе, и какую из них слушать, а какую нет. Потом стали говорить, что джигиты, угнанные царем в Турцию, возвращаются по домам. И опять заскакали по степи, от соседа к соседу, от рода к роду всадники на черных, белых и гнедых конях, опять не хуже метели взвихрились самые противоположные слухи и радостные надежды.

Однажды к вечеру приехали из города караванщики Танирбергена. За ними бежали, перекликались взволнованные люди, собаки брехали и выли. Караванщикам не дали даже раздеться, окружили со всех сторон, набились в дом, прижали в угол — и сразу:

— Какие новости в городе?

— Какое это такое Временное правительство?

— Есть в этом правительстве царь? Или кто еще?

— Стойте! Что слышно про наших джигитов?

— Да-да! Верно ли, что возвращаются по аулам?

— Есть, есть такой слух.

— Э-э, вот радость...

И все повалили по домам, громко гомоня в темноте, и уж кое-где вспыхивали обрывки песен, и смех рассыпался по зимней степи.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Еламан поднял воротник грязной шинели. Ветер хлестал его по лицу, забирался за шиворот, но Еламан не отворачивался — повиснув на поручнях громыхающего замусоренного вагона, он все высовывался с площадки, все вглядывался вперед. Вон проплыло вдали кладбище, потом какой-то сарай, еще сарай, потом приземистый склад, впереди запестрели домишки станции Улпан. Сердце Еламана колотилось — от Улпана до Челкара было рукой подать!

На станции Улпан поезд не должен был останавливаться, и Еламан радовался: мимо, мимо, скорей домой! Но, подойдя к станции, поезд вдруг начал тормозить, заскрипели, завизжали колодки внизу, состав задергался, загрохотал, залязгал и остановился. Еламан спрыгнул на грязный перрон. От вагонов пахло пылью, уборной и раскаленными буксами. Когда поезд тронется дальше, никто не знал. Пока Еламан топтался возле своего вагона, мимо станции, не задерживаясь, с грохотом и ветром простучали два поезда на Челкар. Еламан сразу озяб и затосковал.

Часа через два его заметил казах-обходчик и повел к себе домой. Еламан так замерз, что никак не мог согреться. Только похлебав горячего, он вздохнул, почувствовал тепло во всем теле и расстегнулся. Ему захотелось спать. Обходчик что-то говорил, расспрашивал про Россию, но Еламан уже не мог совладать со сном и уронил голову на стол. Тогда обходчик разбудил его и отвел на постель.

Проснулся Еламан только на другой день к обеду.

— Пойдем, сейчас посажу тебя на поезд,— сказал обходчик.

Вышли, пошли к станции. Поезда еще не было, и Еламан не захотел ждать.

— Пойду!— сказал он.— Спасибо.

— Что ты!— удивился обходчик.— Поезда подожди. Гляди, какая дорога, вон как ее развезло — не дойдешь...

Еламан попрощался с обходчиком. Он выспался, наелся, силы в нем играли, и ему хотелось идти.

Еламан шел и усмехался, вспоминая обходчика, как тот ему говорил о тяжелой дороге. Такие ли дороги он видел! А теперь только распахнуть шинель пошире, шапку на затылок — и пошел!

Снега в степи было еще много. Но вершины холмов уже вытаяли, и оттуда тянуло весенним степным духом. Дорога раскисла, голова кружилась от тепла, от желания побежать или запеть. Кругом

до самого горизонта не было ни души. Только далеко впереди виднелся аккуратный беленький домишко следующего разъезда.

Хорошо думается в дороге. Горькие и сладкие воспоминания теснят грудь. В пути ничего не отвлекает. Мерный шаг, отдающийся во всем теле, весенний прыскающий из-под ноги снег на дороге, который нужно разглядывать, ветер, приносящий запахи родины, которую так давно не видел, и простор в душе, заполняющийся воспоминаниями...

И Еламан вспоминал, перебирал в памяти то хорошее, то плохое, то улыбался, то хмурился и стискивал зубы. Но хорошего было мало, и улыбка редко трогала лицо Еламана. Грустное было возвращение — не было с ним веселого Рая, единственного близкого человека на всей земле. Никогда теперь не засмеется Рай, никогда не блеснут радостью его глаза. Погнали их на фронт вместе, а возвращался Еламан один. Рай остался коченеть в чужой, турецкой земле, как будто и не жил никогда на свете. Без него будут расцветать степь и хорошеть девушки, без него будут скакать по степи всадники и слагать новые песни. И только покуда жив Еламан, Рай будет изредка появляться в его памяти, будет глядеть издалека, светиться нежной своей улыбкой...

Еламан шел по степи, а видел горы, снег, мороз. Всю зиму русскую армию преследовали снежные завалы. Но завалы расчищали каждый раз, вспыхивала перестрелка, звонко бахали в горах орудия, армия продвигалась еще за один перевал.

Пройдя с боями, с большими потерями триста километров, русские захватили крепость Арзрум, заняли город Сарыкамыс и порт Трапезунд, после чего командование стало усиленно готовить Мосульскую операцию.

Еламан шел домой, а мыслями был все далеко, в горах. В свисте, в сумраке горной метели мелькали выбеленные снегом солдатские шинели, черные жала штыков, оранжевые вспышки и глухие хлопки выстрелов. Как тесно потом, после боя, по всему ущелью грудились снежные бугорки, из которых то торчали сапоги с синевато блестевшими, стертыми подковками, то папахи, то высовывалась вверх скрюченная желтая рука...

Бог ты мой, как много народу погибало каждый день! Бывало, долго болеет, пока не умрет какой-нибудь старик,— разве не оплакивал его весь аул? Разве не носили женщины траур по нему целый год? А там, на фронте, на глазах ежедневно тысячами падали в снег и умирали люди. Живые, спотыкаясь о закостеневшие трупы, проваливаясь в сугробах, тащились все дальше и дальше.

Чем глубже забирались русские в горы, тем непостояннее была связь с тылом. Обозы не успевали за армией. В армии кончались боеприпасы, не стало продовольствия. Солдаты начали голодать. Рабочие батальоны — тысячи казахов, узбеков, киргизов — на лютом морозе, голодные, полуголые, вслед за армией, тоже оборванной и голодной, прокладывали в горах железную дорогу. Строительных

материалов не хватало, не было рельсов. Целый месяц в начале зимы стояла работа: ждали, когда снимут и привезут из далекой России рельсы Вологдо-Архангельской железной дороги.

Ослабевшие от голода, обмороженные, худые, люди умирали быстро, падали в снег и уж не поднимались. Страшно было смотреть и на живых. Рай еле двигался и все плакал последние дни. «Какой холодный ветер!—говорил он.— Выдувает из глаз слезы». Еламан отдал ему всю свою теплую одежду, но Рай все равно не мог уже согреться. С поднятым воротником, в надвинутой на уши шапке, с лопатой под мышкой, он все норовил стать спиной к ветру. Еламан работал, а сам глаз с него не спускал, боялся, что Рай упадет и заснет. А когда человек падает и засыпает, его уж не разбудить, это Еламан знал.

Однажды вечером среди казахов пошел слух, что к ним на помощь пришлют большой конный отряд. На другой день к обеду в облаках пара показался отряд. Казахи, укладывавшие в это время шпалы, разогнулись, стали глядеть на всадников. Солдаты, которых сняли с теплого места, были злы. Один особенно бросился всем в глаза. Долговязый, конопатый, он сразу спешился, отошел от своих, поглядел на работу, на казахов и заматерился. Проходя мимо Рая, он вдруг встопорщил усы, крикнул:

— У, морда, мать твою...— и ударил Рая в ухо.

Рай покачнулся, схватился за голову. Еламан, бросив лопату, подскочил к солдату и рванул его за шиворот. Солдат крутнулся, вырвался.

— Ах т-ты! Ребята!

Кое-кто из солдат успел уже спешиться. К конопатому сразу подошли четверо, заухмылялись. Еламан покосился на казахов, казахи моргали, отворачивались.

— Ты, гад, кого хватаешь?— хрипло сказал конопатый и ударил Еламана в глаз.

Еламан мотнул головой, зубы его стукнули, а конопатый, тяжело задышав, ударил его второй, потом третий раз... Еламан зажмурился и, вытянув руки, кинулся на конопатого. Товарищи конопатого заржали от удовольствия. Но Еламану удалось-таки добраться до конопатого, он схватил его за горло, рухнул на него всей тяжестью, повалил и стал душить, рыча и сплевывая кровь. Тогда вступили в дело друзья конопатого. Они ухали, подскакивали, били Еламана в голову, в бока, и он, все еще сжимая крепкую шею конопатого, почувствовал вдруг, что сейчас его забьют до смерти.

Спас Еламана приземистый, непомерной ширины в плечах солдат. Он долго и с интересом смотрел на драку, потом нахмурился, подбежал.

— А ну прекратить!— крикнул он, хватая то одного, то другого за хлястики шинелей.

— А пошел ты...— выдохнул один, азартно работая сапогами.

Тогда приземистый стал половчее, выбрал момент, ударил одно-

го, тот покатился, ударил другого, и тот покатился. Посбивав всех, он помог Еламану подняться, похлопал по плечу.

— Держись за воздух!— пошутил он.— Стой крепче!

Еламан, вытирая кровь, во все глаза глядел на своего спасителя. Тот был коренаст, могуч, нос крючком, маленькие серые глазки глубоко посажены, руки в густой рыжеватой шерсти.

— Ну вытирай сопли, земляк...— весело сказал солдат и подмигнул. Еламан высморкался.

— Как ты сказал?— переспросил он.— Земляк?

— Ты же казах?

— Казах...

— Ну и я оттуда.

— Откуда оттуда?

— Из Челкара. Мои и сейчас живут там. Мюльгаузен моя фамилия.

Еламан даже рот раскрыл, услышав про город Челкар. Все еще улыбаясь, Мюльгаузен зачерпнул снегу, приложил к распухшему носу Еламана.

— Придерживай,— сказал он.— Сильный ты парень. А только, земляк, неловкий ты, драться не умеешь.

— Верно...

— О боксе слыхал когда?

— Какой такой бокс?

— О! Это вещь! Здесь нам, по всему видать, долго придется побыть. В свободное время покажу тебе несколько приемов. В такое время уметь драться никогда не помешает. Ну да ладно, там видно будет... А пока будь здоров, вон наш командир.

— Где?

— Вон впереди. На вороном коне. Штабс-капитан Рошаль.

— За то, что за меня заступился...— начал было Еламан и запнулся, подыскивая слова.

Мюльгаузен, угадав, что Еламан не знает, как сказать по-русски: «Не попадет ли тебе?»— быстро ответил:

— Может и влететь. Посмотрим. Ты гляди только берегись конопатого, понял?

Мюльгаузен опять улыбнулся, подмигнул и пошел к своим.

— Какой человек!— все повторял потом Еламан и радовался как ребенок, что познакомился с человеком, который так силен, дружелюбен и у которого такое красивое трудное имя: Мюль-га-узен.

После свержения царя русская армия, покидая турецкую территорию, поспешила в порт Трапезунд. Забытый начальством рабочий батальон, в котором служил Еламан, несколько раз сбиваясь с дороги, тоже добрался наконец до Трапезунда. Еламану только один раз довелось встретить Мюльгаузена: того с товарищами уже сажали на пароход, чтобы отправить на родину. На прощание Мюльгаузен сказал:

— Приезжай ко мне в Челкар. Найду тебе работу в депо. Пролетариат теперь главная сила, понял? В стране революция! Приезжай, будем вместе.

И вот теперь Еламан шел в Челкар. Он еще не решил, останется ли в Челкаре. Работа в депо была непонятна для него, даже страх шевелился у него в душе, когда он думал об этом. И потом, еще манила его родина, привычная жизнь, привычная работа, рыбачий аул на круче...

Наконец он в родном краю! С утра сегодня идет он по родной земле. Сколько теперь до Челкара? Ну, десять — пятнадцать верст, вон на горизонте буреет бугор, снег на вершине его сошел; стоит только дойти до него, подняться, а там уж, наверное, и домики вдали запестреют. Прежде, бывало, в далекие времена из-за холмов маняще торчала длинная башня красной кирпичной водокачки, и силы у утомленного путника сразу прибывали.

В старину, когда Еламан был еще мальчишкой, все аулы, расположенные на берегу моря, как только сходил снег, первыми начинали откочевку на джайляу. В иные годы аулы огромного шумного рода Абралы проезжали мимо Челкара, добрались в поисках пастбищ до самого Иргиза и до диких урочищ рек Жем и Оил.

Все-таки вольное было житье, когда служил он. Во время кочевки, бывало, расставлял богатый аул свои юрты недалеко от станции Улпан и задерживался на неделю-другую. А иногда жили тут до самого лета, пока не отцветали тюльпаны.

С тех пор много лет прошло, и во многих краях побывал Еламан, немало мест повидал, но окрестности Улпана так и остались в памяти, как самое дорогое. Ранней весной по обе стороны от железной дороги буйно выметывались красные и желтые тюльпаны вперемешку с терпкой молодой полынью. Ничем не сдерживаемый ветер собирал с огромных пространств все запахи весны и нес их над степью, веселя сердца коней, верблюдов и людей.

Однажды вечером Еламан погнал свой табун через железную дорогу в сторону озерной долины, богатой разнотравьем. Неожиданно ему встретился старик Суйеу. Старик и тогда уже хорошо относился к Еламану и тогда не называл его по имени, а с добродушной насмешкой звал его табунщиком.

— А! Табунщик! — сказал он, приостановившись, и фыркнул, с удовольствием разглядывая Еламана.— Коней пасешь, значит? Что ж, и то дело, паси, паси!..

И поехал дальше. Отъехав шагов на двадцать, старик обернулся и крикнул:

— До нашего аула не так уж далеко! При случае заезжай! Заезжай!

У Еламана тогда дух перехватило. Он покраснел, приподнялся на стременах, опять сел и почувствовал, как испарина выступает у него на лбу. Сердце у него застучало, и слабые жаркие волны по-

шли по всему телу. Долго он смотрел вслед старику Суйеу, пока тот не скрылся за холмом.

Табунщики всю зиму любовно ухаживают за конем, на котором пасут табун летом. Конь Еламана блестел, лоснился короткой гладкой шерстью. Ему надоело стоять. Он переступал, приседал, фыркал и мотал головой, прося повод. Еламан восхищенно посмотрел на острые, чуткие уши, на длинную упругую шею своего скакуна, вдруг ударил его пятками, пустил поводья и сорвался с места вскачь. Он скакал долго, но табуна все не было видно. И он подумал тогда, что кони его, нигде не задерживаясь, поспешили на привычное пастбище.

Небо было чисто. День клонился к вечеру. Жаворонки, успевшие уже обзавестись гнездами где-то в молодой траве, освободившиеся от немудреных обязанностей своей маленькой жизни, беззаботно и без умолку трезвонили в вышине.

Стояла ранняя весна, и в долинах, по оврагам, по ложбинам издали сверкала талая вода, не ушедшая еще в землю. Выросла уже молодая трава, но земля еще не просохла, еще дышала весенней влажной прохладой. Не слышно сухого цокота копыт, как летом, и не клубится пыль за конем. Беззвучно ступая по жирной сочной земле, точно босой мальчишка, пофыркивая и свежо дыша, прижав уши, вытянув по-лебединому шею, мчался конь в весеннюю синеву.

Скоро Еламан догнал свой табун. Табун был уже возле железной дороги. Замученные за зиму, только весной отпущенные на выпас кони далеко рассыпались по степи, но середина табуна шла плотным косяком, ни на вершок не отставая от черногривого серого жеребца. Кони шли вдоль железной дороги, по морю тюльпанов. Тюльпанов было так много, что Еламану на миг показалось: «Пожар!» Так, бывало, в степи в знойные дни неожиданно вспыхивал, загорался поверху ковыль, и кони, застигнутые пожаром в степи, хрипло крича от ужаса и боли, вихрем мчались по щиколотки в огне. Да! Так ярко цвели, горели тогда тюльпаны, что показались ему огнем...

Теперь, много лет спустя, одиноко шагая вдоль насыпи, Еламан опять вспомнил про весенние тюльпаны. Но теперь он сравнил бы их с кровью. Кровь, текущая по земле! Сколько людей положило свои головы в одной только турецкой земле — будто тюльпаны, растоптанные копытами коней. А сколько смертей было по всей земле — и тут, в родных краях, и где-то на западе, в какой-то Галиции, и на русских равнинах...

Впереди вдруг пронзительно и долго загудел паровоз. Еламан очнулся, увидел, что он подошел уже к самому разъезду, маленький беленький домик которого видел он еще издалека. Поезд, видно давно стоявший на разъезде, с лязгом и скрежетом тронулся и медленно стал набирать ход.

Еламан что есть силы побежал вслед за поездом, догнал его и успел вскочить в последний вагон.

II

Приехав в Челкар, Еламан сразу пошел в депо. Огромное, будто невиданный караван-сарай, депо было набито паровозами. Одни паровозы, давно потухшие, остывшие, с покрытыми ржавчиной колесами, стояли, приткнувшись друг к другу, в тупиках. Другие пыхтели, гудели и шипели паром, продували цилиндры, разноголосо свистели. Люди в депо, в дыму и пару, в первое мгновение показались Еламану карликами. И все они были черны, с ног до головы в мазуте и копоти, сверкали только белки глаз и зубы.

Еламан как вошел, так и остановился, раскрыв рот. Он беспомощно озирался вокруг, не зная, у кого спросить про Мюльгаузена.

Вынырнули из дыма и прошли мимо него двое рабочих. Один был плотный, сильный, со вспухшей от напряжения шеей. Другой — высокий, пожилой и в очках. Они несли тяжелый железный вал, ухватившись за оба его конца. Ноги у них дрожали, и Еламану показалось, что вот-вот они упадут и вал поломает тогда им все кости.

Еламан осторожно пошел вперед, вглядываясь во всех встречных. Он надеялся узнать Мюльгаузена. Но вспотевшие, измазанные люди были для него все на одно лицо, и он понял, что Мюльгаузена ему не узнать. Но он все-таки не решался о нем спросить и, спотыкаясь о рельсы, о какие-то железки, потихоньку брел дальше.

Он проходил мимо горячего, сипящего, источающего жар паровоза и опасливо косился на лоснящиеся поршни и сыплющиеся откуда-то из середины искры, как вдруг паровоз взревел. Еламан вздрогнул, уронил свой мешок и зажмурился. Он чуть не оглох с непривычки.

— Что, деревня, испугался?— насмешливо прогудел кто-то сверху, выглядывая из окна паровоза, и тут же заорал:— Еламан! Дружище!

Еламан моргнуть не успел, как Мюльгаузен спрыгнул на землю, обнял его и стал хлопать по плечам.

— Мюльгаузен!— тоже заорал Еламан и чуть не заплакал от радости.

— Ну ладно, ладно,— небрежно сказал Мюльгаузен.— Нежности потом. Эй, Яша!— крикнул Мюльгаузен машинисту, приставив огромную ладонь ко рту. Из окошка выглянула веселая чумазая рожа.— Яша! Давай укатывай свою тележку!

Яша скрылся, паровоз зашипел, стальной блестящий локоть его плавно пошел вперед, колеса дрогнули, покатились, и черная громада уплыла даже как бы неслышно.

«Видать, большой начальник он здесь!»— с почтением подумал Еламан о Мюльгаузене. Он хотел было спросить, кем тот работает, но в это время кто-то пробежал мимо, крича: «Митинг, братцы!» «Митинг! Митинг!»— стало раздаваться там и тут, заревели паровозные гудки, в депо сразу бросили работу, стали собираться кучками,

перекрикивали друг друга, человеческие голоса звонко, многократно отдавались от стен и перекрытий. Подбегали все новые рабочие, топоча сапогами, вытирая на ходу руки паклей, вплетая свои голоса в голоса прибежавших раньше. Еламан ничего не понимал.

— Что такое? А? Что случилось?— беспомощно спрашивал он у Мюльгаузена. Мюльгаузен не слушал его. Потом цепко схватил Еламана за рукав и быстро повел за собой. Еламан еле поспевал за Мюльгаузеном, спотыкался о рельсы, оглядывался: все рабочие шагали в ту же сторону, что и они с Мюльгаузеном, и Еламан понял, что так надо. Спрашивать о чем-нибудь у Мюльгаузена он уже не осмеливался.

Быстро пришли они к большому белому дому, пристроенному к депо и порядочно уже закопченному. Внутри было уже полным-полно народу. Над головами сизыми слоями плавал махорочный дым. Еламан закашлялся с непривычки. Мюльгаузен все не отпускал его, сам лез, проталкивался в толпу и Еламана за собой тянул.

Наконец Мюльгаузен остановился и насмешливо огляделся. В дальнем конце помещения возвышался над толпой какой-то человек и что-то выкрикивал, размахивая руками. Еламан стал было слушать, но ничего не понял. Рабочие вокруг тоже плохо слушали оратора, покуривали, переговаривались, сплевывали на пол, затаптывали цигарки, поглядывали на Мюльгаузена, улыбались.

— Митингуем, значит?— громко вдруг сказал Мюльгаузен, попрежнему насмешливо улыбаясь.

— Во-во, митинг...

— Митингуем, товарищ Мюльгаузен!

— Чего не поговорить?

— Поговорить можно...

Мюльгаузен вдруг перестал улыбаться, нахмурился.

— Говорильня!— громко и раздраженно сказал он и повел взглядом по лицам, обернувшимся к нему.— Никак не наговоримся! Не митинг теперь, а оружие нужно, оружие!

— А вот торопливость не нужна,— сказал кто-то сзади.— Всему свое время.

Мюльгаузен, а за ним и Еламан обернулись. Еламан его тотчас узнал. Это был тот самый высокий рабочий в очках, который тащил давеча с напарником железную ось. Еламан его хорошо запомнил, наверно, потому, что никогда не видал до сих пор рабочего в очках.

Мюльгаузен промолчал, только кривая усмешка снова всползла на его лицо. Так же целеустремленно и напористо, как минуту назад ввинчивался в толпу, он вдруг стал пробираться к выходу. «Не наговорились!»— бормотал он и тащил за собой Еламана.

На улице Мюльгаузен остановился отдышаться и, будто впервые увидев, быстро пробежал глазами по грязной измызганной шинели Еламана, по небольшому дорожному мешку, нелепо торчавшему на спине, по его бледному, обросшему, исхудалому лицу. Потом улыб-

нулся. Но странная была у него улыбка: губы раздвинулись, показались крепкие зубы, а глаза смотрели холодно.

— Хорош!— сказал он.

— Что, плохо выгляжу, да?

— А, чего там... И я такой же был, когда с фронта вернулся. Сестренка целый день вшей била в рубахе, да так и не добила, в печке рубаху сожгла.

Еламан засмеялся. Он был счастлив, что нашел друга и что ему не надо теперь идти в аул. И гордость его распирала при мысли, что друг его чуть ли не главный человек в депо и все его слушаются. Он вздохнул несколько раз полной грудью, наивно веря, что все трудное осталось позади и что теперь пойдет новая жизнь.

— У тебя родные-знакомые есть в городе?— спросил Мюльгаузен.

— Никого нет.

— Гм... Тогда остановишься у меня. Пошли.

Они зашагали в город. Еламан опять закручинился, даже голову повесил. Никогда не жил он в русской семье, и теперь ему стало как-то стыдно, боязно, нехорошо. Он хотел было отказаться, да куда пойти?

— В аул вернешься или решил здесь остаться?— спрашивал между тем Мюльгаузен.

— Еще не знаю, дорогой. А ты как думаешь?

— Вот чудак! Тебе самому видней...

«Вот чудак»,— повторил про себя Еламан и нахмурился. Он не понял этого слова, ему показалось, что это какое-то ругательство, и он вдруг засомневался в своем друге.

— Ну а если останусь, работа найдется?

— Должна найтись.

— А какая работа?

— Вот чудак!— Мюльгаузен опять улыбнулся одними губами и повел в сторону Еламана холодным взглядом.— А что, может, уездным начальником тебя поставить?

— Это мне ни к чему,— серьезно ответил Еламан.— Была бы работа по силам.

— Ну тогда будь спокоен. Завтра же устрою тебя в депо.

Дом Мюльгаузена оказался в центре городка. Перед окном рос кряжистый, как хозяин, карагач. Небольшие ворота, когда-то покрашенные синей краской, теперь выцвели, поблекли, покосились и громко скрипели, когда их открывали.

— А вот и наш дом,— сказал Мюльгаузен, вводя Еламана сначала во двор, а потом в прихожую.

Еламан смущенно молчал. Мюльгаузен показал ему свою комнату, потом раскрыл дверь в смежную комнатенку и сказал бодро:

— Ну вот, тут и поживешь пока... Ничего?

Еламан переступил с ноги на ногу и опять ничего не сказал. Смущение и робость еще не оставили его.

— Вот так и живу,— продолжал Мюльгаузен, как бы впервые вместе с Еламаном оглядывая свой дом.— Сам построил, как раз перед тем как меня в солдаты забрали.

— А семья большая?— спросил Еламан.

— Да нет, сестренка, мать... А вот, кстати, и она...

Еламан посмотрел на высокую старуху, бесшумно вышедшую из гостиной. Он хотел было поздороваться, но худая, вся в черном старуха, не взглянув на Еламана, нахмурившись, уставилась на сына.

— Помнишь, я тебе говорил как-то...— заторопился Мюльгаузен.— Мой фронтовой товарищ. Еламан. Пускай пока поживет у нас...

Только теперь старуха повернулась к Еламану. Холодными, как и у сына, глазами она некоторое время разглядывала казаха в грязной шинели. Потом повернулась и вышла, не проронив ни слова.

— Ффу!— Мюльгаузен смущенно усмехнулся и передохнул.— Вот это и есть моя мамаша, видал?

Еламан вошел в отведенную ему комнатушку. Мешок свой он запихал в угол, с глаз подальше. Потом снял грязную свою шинель и, не зная, куда бы ее пристроить, долго держал в руках. На душе его было как-то смутно после встречи со старухой. И он впервые подумал, правильно ли он поступил, что согласился жить в доме Мюльгаузена.

III

Мюльгаузен слово свое сдержал, устроил Еламана на работу в депо.

— Будешь подручным у старика Ознобина,— предупредил он.— Железо тягать, подносить, словом, делать, что скажут...

Ознобин был тот самый старик в очках, которого он видел сначала в депо, а потом на митинге.

Было Ознобину лет под шестьдесят. Два сына его погибли на германском фронте. Третий, младший, вернулся домой без руки и работал теперь в этом же городе, в вагоноремонтном цехе.

Сначала Ознобин Еламану не понравился. Он стоял у ворот депо и протирал тряпочкой очки, когда мастер привел к нему Еламана. Надев очки, Ознобин с усмешкой оглядел казаха.

— Здравствуйте,— сказал Еламан, краснея.— Вот... буду у вас подручным.

— Ясно. А где твой верблюд? Почему верблюдов не пасешь?

— Пас раньше, теперь...

— Ясно. Теперь, значит, сдал верблюдов аллаху, а сам пришел работать в депо? Ну раз так, давай-ка возьмись вон за тот конец этой балки...

Ознобин шел впереди, Еламан за ним. Ознобин не оглядывался и не видел, как Еламан весь налился кровью под тяжестью, как у него подгибались ноги, сутулились и дрожали плечи. Еламан же не спускал глаз с Ознобина, рассматривал его выпиравшие под тяжелой ношей худые лопатки, тонкую напряженную шею, сухой затылок

с жилистой ямочкой посередине и тогда же в первый раз подумал о старике с почтением: «Апыр-ай, как ему, наверно, трудно, а? Ведь он старик!»

Уже к обеду Еламан весь был мокрый от пота. Но сколько бы он ни взглядывал на Ознобина, тот был по-прежнему легок и ловок в движениях, и ни малейшей усталости не было заметно на его лице. «Видно, фронт здорово пообглодал меня»,— уныло думал Еламан.

Но прошло недели две, и Еламан втянулся в работу. Он полюбил старика Ознобина и старался все сделать побыстрее, приносил и уносил один самые тяжелые детали, пока Ознобин не сказал ему однажды:

— А ты бы, малый, поберег себя.

— Я и так берегу,— весело отозвался Еламан.

Ознобин рассмеялся.

— Вот у меня есть один приятель казах. В город приезжает — всегда у меня останавливается. Бедный казах. Всего скотины у него одна-единственная верблюдица. Он ее и доит, он на ней и ездит. Он на ней и дрова возит и сено, а зимой еще и в обозе опять же на ней... И до того дело доходит, что он весной ее за уши поднимает, а сама она, понимаешь, уж не может подняться. Гляди, парень, теперь ведь весна, как бы и тебя за уши не пришлось поднимать...

Еламан перестал улыбаться, помрачнел. Вспомнил он рабочий батальон, вспомнил, как на лютом морозе голодные, оборванные казахи и киргизы тянули железную дорогу в город Сарыкамыс и десятками мерли на чужой земле.

Ознобин из-за очков внимательно посмотрел на Еламана, хотел еще что-то добавить, но промолчал. А вечером, после работы, вдруг пригласил Еламана к себе. По дороге домой они зашли в вагоно-ремонтный цех, и старик Ознобин познакомил Еламана со своим одноруким сыном. Дома возле колодца во дворе, поливая друг другу, они хорошо помылись и пошли ужинать.

К ужину собралась вся многочисленная семья Ознобиных. За столом сидели молча, истово хлебали похлебку. Еламану очень понравилось, что семья была дружной, он вспомнил перебранки казахских жен, и ему опять взгрустнулось.

Ознобин не отпустил своего гостя и после ужина. Старику вдруг захотелось поговорить, он повеселел, забыл про усталость, даже глубокие невеселые морщины на его лбу разгладились.

До глубокой ночи засиделся Еламан у Ознобина. За один вечер он столько узнал, что вся прежняя жизнь стала казаться ему потемками, в которых он бродил ощупью.

Он узнал, что город раскололся как бы надвое. Если рабочие из депо в большинстве своем были под влиянием Мюльгаузена, то в городе люди как-то тяготели к Селиванову. Селиванова, студента Казанского университета, на последнем курсе обвинили в политической неблагонадежности и сослали сюда, в Челкар. В Челкаре он довольно скоро организовал вокруг себя городскую молодежь. Он

стал собирать книги, покупал, выпрашивал где только мог, и скоро все стены небольшой комнаты в доме сапожника на окраине городка, где он жил, были заставлены книгами. Молодежь довольно быстро приохотилась к чтению, с утра до вечера у Селиванова толпился народ, и дом сапожника в городе прозвали «библиотекой».

Потом молодежь начала разучивать и ставить спектакли, на спектакли стали приходить рабочие, и селивановская «библиотека» превратилась в клуб, без которого челкарцы уже не представляли существования городка. Все новости приходили в город через Селиванова. Самые свежие номера газет, которые только можно было достать в этом глухом краю, были у Селиванова. Самые интересные и подробные письма из далекой России получал Селиванов.

От Селиванова челкарцы знали, что война еще не кончилась, что Временное правительство собирается продолжать войну до победного конца, что солдаты, изнуренные четырехлетней войной, бегут с фронта, что во всех своих неудачах Временное правительство обвиняет большевиков и повсеместно арестовывает их, что рабочие отряды и полки, сочувствующие большевикам, разоружены и расформированы, что Ленин снова ушел в подполье...

— Положение сейчас тяжелое. Временное правительство ни к черту не годится — власть должны взять большевики. И мы ее возьмем, дай срок!— сказал под конец Ознобин и устало откашлялся.

В доме уже все давно уснули. Старые часы на стене заскрипели, засипели, щелкнув, выскочила из окошечка кукушка, грустно прокуковала двенадцать раз и скрылась.

— О!— удивленно сказал Ознобин и поднялся, потирая поясницу.

— Да-да... Уже поздно,— смутился Еламан.— Пора домой.

— А далеко живешь?

— Да нет, близко. У Мюльгаузена.

Ознобин поморщился и как-то поскучнел лицом, будто пожалел, что так много наговорил сегодня Еламану. Он и руки даже Еламану не подал на прощание, пробурчал что-то себе под нос и отвернулся.

IV

Как ни устал Еламан, а спать ему, несмотря на глубокую ночь, не хотелось. Бодро, весело было у него на душе, хоть и шел он глухим, уснувшим городом, и не было кругом ни огонька, и не на чем было остановиться глазу.

Без конца перебирал он в памяти все подробности вечера в доме Ознобина, все его слова о революции, о Селиванове, о необходимости сплочения среди рабочих.

С удивлением думал он теперь о Мюльгаузене, что тот вовсе не единственный и не всесильный человек, как ему казалось раньше. Оказывается, есть и другие люди в городе, которых уважают не меньше, чем Мюльгаузена. Как это говорил о нем Ознобин? «Горя-

чий парень. Не понимает, что революция — это трудная работа. Дать ему волю, он готов захватить оружейный склад и совершить революцию за один день»,— вот как сказал Ознобин.

Наслушавшись всяких хороших слов о Селиванове, Еламан теперь вспоминал, где и как видел он его раньше. Видел он его не один раз, но издали, и стал теперь представлять себе продолговатое открытое лицо, нежную улыбку, его даже как бы девичье обаяние. Вспомнил, как однажды встретился с ним возле магазина Темирке, как Селиванов вдруг окликнул его, подошел, улыбаясь, и крепко пожал ему руку.

— А я тебя знаю,— краснея, как девушка, сказал тогда Селиванов.— Мне Маша о тебе говорила. (Маша была сестрой Мюльгаузена.) И Ознобин о тебе рассказывал...

Пожал Еламану руку и пошел дальше, только и всего. Но теперь Еламан думал о том, какой все-таки хороший, открытый человек этот Селиванов и что надо будет и ему как-нибудь собраться в селивановскую «библиотеку», послушать разговоры, поглядеть на молодежь.

Так в приятных размышлениях и дошел Еламан до своего дома. Лампу он не стал зажигать, на цыпочках стал пробираться в свою комнату. У Мюльгаузена дверь была приоткрыта, и в могильной темноте ярко тлел огонек папиросы. Еламан удивился, что Мюльгаузен не спит, и совсем затаил дыхание, чтобы не шуметь. Но Мюльгаузен все-таки услышал его и позвал своим низким глухим басом:

— Зайди-ка ко мне!

Еламан, однако, в комнату не решился зайти, прислонился в дверях к притолоке.

— Ну, как тебя Ознобин принимал?— спросил Мюльгаузен после некоторого молчания.

Еламан понял, что Мюльгаузен как-то узнал, что он был у Ознобиных, и не спал, дожидался его возвращения.

— Хорошо принимали,— неуверенно сказал Еламан.

Мюльгаузен опять помолчал, попыхивая папироской. Ясно было, что он хочет спросить о чем-то, но о чем, Еламан не догадывался. Наконец Мюльгаузен кашлянул и спросил:

— О чем же вы говорили?

— Да просто так... О том о сем...— Еламану почему-то не хотелось передавать разговор с Ознобиным Мюльгаузену.

Мюльгаузен, скрипнув кроватью, резко сел.

— У тебя что, секреты уже завелись?

— Какие там секреты...— мягко отозвался Еламан и улыбнулся примирительно, забыв, что улыбки его в темноте не видно.— Просто поздно уже рассказывать, спать надо.

— Ладно,— буркнул злобно Мюльгаузен.— Иди спи!

И повалился на кровать, и опять пружины под ним скрипнули и загудели.

Еламан тихо вошел к себе, тихо разделся и лег. Он думал о том,

что обидел друга, что очень неловко все получилось. Потом другие мысли пришли к нему, он вспомнил, что Мюльгаузен не впервые спрашивает, не говорил ли что-нибудь важное Ознобин. «Или он нарочно поставил меня в подручные к Ознобину, чтобы я ему все докладывал?— подумал вдруг Еламан, и сердце у него застучало от обиды.— Да нет, он не такой, не может быть!»

Страшась и радуясь неизвестному будущему, Еламан долго лежал в ту ночь с открытыми глазами. Собаки, встревоженные чем-то, побрехали по городу и смолкли. Поздняя луна оранжево взошла над крышами, пригасив своим светом голубые звезды.

А Еламан все не спал.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Наевшись и отогревшись у мурзы после возвращения из Челкара, Абейсын потихоньку уехал домой. Узнав об этом, Танирберген побледнел, но никак не выразил своего гнева. Однако зло затаил. Потом до него дошел слух, что Абейсын с богатым обозом собирается в город. Взяв с собою косоглазого, Танирберген поспешно отправился к Абейсыну.

Путники всю дорогу ехали рысью и перед заходом солнца добрались до аулов, расположившихся в низине Куль-Куры. Заслышав стук подков на укатанной снежной дороге и всхрап лошадей, затявкали и забрехали хрипло со всех сторон собаки. Косоглазый, приглядевшись к одному из аулов, вдруг забеспокоился и догнал Танирбергена.

— Мурза! Может, свернем? А то вон та крайняя зимовка этого самого... красноглазого сатаны...

В самом деле, впереди за белым снежным бугром уже виднелось зимовье старика Суйеу. Танирберген было замешкался, но объезжать зимовье было уже поздно. Принахмурившись, приняв невозмутимый, гордый вид, Танирберген решительно направил своего аргамака прямо к зимовью Суйеу. Так он и проехал, не повернув головы, мимо зимовья Суйеу, хрустя по укатанному, пожелтевшему от верблюжьего и конского навоза снегу.

Абейсын оказался дома. Большой его двор был забит санями. На широких, крепких санях, ловко перехваченные веревками, возвышались тюки шерсти и шкур. Другие сани доверху нагружены были мороженой рыбой. В каждые сани запряжено было по породистому нару. Все было готово к долгому пути, когда неожиданно нагрянул Танирберген.

Абейсын заметил его в окно. «Ах, лиса! Учуял!»— подумал он и, быстро поднявшись, вышел навстречу.

Танирберген, царапнув взглядом по лицу Абейсына, холодно поздоровался. Абейсын старательно отводил глаза от хмурого лица мурзы.

— Скот забиваем на зиму,— томясь, сообщил он.— Видно, сердце друга издалека чует — в самый раз приехал. Проходи, мурза, в дом, гостем будешь...

— Ночевать буду. Прикажи постель постелить.

Не успел гость порог переступить, как молодая жена Абейсына

уже и самовар поставила, и мясо в котел опустила. Бегая по хозяйству, она исподтишка взглядывала на мурзу, и глаза ее горячо вспыхивали. Танирберген знал женщин, на них у него был верный нюх. И он, взглянув раз и другой на молодую хозяйку, подобрался, стал покусывать ус, и уже совершенно иные мысли полезли ему в голову. Абейсын сделал вид, что ничего не заметил, однако спросил небрежно:

— Говорят, будто ты свою токал выгнал?

— Да, бабы не ладили между собой.

— Гм... Это ты хорошо сделал. Прекрасно отомстил красноглазому старикашке...

Танирберген промолчал. На эту тему он не хотел распространяться. Абейсын моргнул, выдавил усмешку на непроницаемом своем лице.

— Теперь как же? Собираешься обновить постель?

Танирберген засмеялся — он любил такие разговоры.

— Э, барекельде! Твои слова ласкают мой слух. Может, у тебя и девушка есть на примете?

— Ну на девушек-то у тебя самого глаз как алмаз!

— Что и говорить... Но и твоему выбору я доверяю. Гм...— весело сказал мурза, маслянистыми глазами следя за молодой женой Абейсына.

Сообразив, что мурза подбирается к нему самому, Абейсын забеспокоился, залебезил, стал усиленно потчевать гостя.

— Попробуй вот этого... И вот этого отведай...— приговаривал он, придвигая мурзе кушанья.

Танирберген ел, пил, Абейсын настороженно следил за его взглядом, нервничал. Заметив, что гость наелся, он тут же спросил:

— А как насчет кумыса?

Гость и ответить не успел, а Абейсын уже кричал:

— Жена! Подай кумыс мурзе!

Танирберген подозрительно покосился на Абейсына. «Чего это он залебезил?»— подумал он. Удивляясь внезапной услужливости сборщика, мурза стал думать, говорить с ним сейчас об обозах или отложить на другой раз. Еще его мучил вопрос, поедет ли Абейсын с обозом и оставит ли его на ночь со своей молодой женой. От этих мыслей у мурзы дух занимался и сердце стучало. Кумыс пить он не стал, хлебнул только из расписной чашки и тотчас возвратил хозяину.

— Что так мало выпил? Или не нравится?

— Спасибо! Напился, наелся...— сказал Танирберген и прикрыл глаза. «Если отправит обоз и останется, тогда поговорим о деле,— думал он.— А если уедет, черт с ним!» Ноздри его подрагивали.

Абейсын, исподлобья взглянув на гостя, молча принял из его рук чашку. Рядом возилась служанка, но Абейсын чашку ей не дал, сам тяжело поднялся, понес на кухню. На кухне он вдруг яростно придрался к жене, обматерил ее и с шумом поволок какой-то тюк

во двор. Еще из прихожей он крикнул, позвал кого-то и было слышно, как, скрипя по снегу, к нему подбежали несколько человек.

— Все готово?

— Готово, хозяин.

— Давно ждем!

— Замерзли уже.

— Тогда надо отправляться!

В прихожей поднялась возня. Тяжелые тюки выволакивали на улицу, тащили к саням. Немного погодя Абейсын опять вошел в комнату, но уже в шубе, подпоясанный, с тумаком в руке, готовый в дорогу.

— Ну, мурза, отдыхай на здоровье,— сказал он не своим голосом.— А я с обозом в город...

Танирберген даже не повернулся к хозяину, боялся выдать себя, только рукой меланхолично махнул — поезжай, мол. Абейсын вышел.

Раздались во дворе крики, захрипели верблюды, заскрипели полозья саней — обоз тронулся. Подождав, пока затихнут последние отдаленные звуки обоза, и увидев, что начали стелить постель, Танирберген пошел во двор. Полная луна стояла высоко. Вся снежная степь, казалось, купалась в молоке. Сани, тюки, верблюды, еще минуту назад загромождавшие двор, исчезли, будто испуганные бесплотные духи. Белый аргамак, привязанный в углу опустевшего двора, увидев хозяина, вытянул шею, застучал копытами, заржал — будто и он, подобно обозу, хотел исчезнуть, раствориться в лунной струящейся белизне.

II

На другой день Танирберген сел на коня спозаранку. Ехать берегом в обход залива Тущы-Бас было слишком далеко, и мурза направил коня прямо по льду, с которого сильный ветер накануне смел весь снег. Белый аргамак мурзы был хорошо подкован, быстро, будто парусная лодка, подвигался по гладкому льду.

Сначала перед мурзой был один только гладкий лед, уходящий вдаль и сливающийся с белизной горизонта. Потом далеко впереди зачернели точки. Догадавшись, что это рыбаки из аула на круче, Танирберген направил коня к ним. Сначала он удивился, что рыбаки забрели так далеко в море. Но потом вспомнил, что с прошлого года Темирке объявил самые богатые рыбой старицы и заливы запретной зоной и выгнал рыбаков в открытое море.

Подъехав к рыбакам, Танирберген разглядел среди них Доса и направился прямо к нему. Он знал, что после ссоры с Мунке Дос живет бирюком и ловит один, что дружат с ним всего несколько человек вроде Судр Ахмета, Тулеу, Калау, остальных по-прежнему возглавляет Мунке.

Дос вскинул на мурзу глаза и тотчас потупился.

— Доброго пути,— холодно поздоровался он.

— Аминь. За сыбагой приехал,— улыбнулся мурза, показывая белые крепкие зубы, и спешился.

Дос не понимал шуток. Подумав, что мурза насмехается над его плохим уловом, Дос пинком подбросил к ногам Танирбергена несколько рыбешек.

— Бери! Все твои...

— Н-да... Неважный улов, а? Куда же рыба подевалась?

— А, шрагм-ай! Чего тут спрашивать? Всю рыбу утроба ненасытная пожирает!

— Что ты говоришь!— посмеивался Танирберген.— Что это еще за утроба?

— Не знаешь, да? Темирке, вот кто! Этот татарин даже божье море на замок закрыл. Совсем решил нас доконать!— Дос даже плюнул с досады.— Домой придешь, жена, дети голодные, с потрохами готовы тебя сожрать!

— Ну-ну-ну... Так ли уж Темирке виноват?

— А кто же еще? Видишь, где ловим? Выгнал нас в открытое море — лучше не придумать.

— Ой, не знаю!— Танирберген с сомнением покрутил головой.— Так уж и обвинять Темирке во всех грехах...

— А кого же еще?

Танирберген рассеянно огляделся и вдруг кивнул на одного из рыбаков, просматривавшего сеть невдалеке от них.

— Кто это такой?

Дос покосился, потом отвернулся.

— Да этот придурок...

— Мунке, что ли?

— Он самый.

— Как его дела?

— А-а!— Дос злобно высморкался, утер нос рукавом.— Чего мне его дела? Ты лучше скажи про мои дела — имеет этот татарин право на море или нет? Или я ничего не понимаю?

— Эх, бедный Дос... Ты и в самом деле мало чего понимаешь. Ведь если Темирке на кого и взъелся, так только на Мунке. Понял? Ты ведь тут ни при чем, ведь ты отмежевался от Мунке, помнишь?

— Ну?

— Предположим, я уговорю Темирке. Что ты тогда будешь делать?

— А что делать?

— Ах да и непонятливый же ты! Смотри вон, как все слушаются Мунке. Он как... как жеребец в табуне, понял? Главный, понял? Так вот, если я тебе помогу — кто за тобой пойдет?

Дос все не понимал, куда гнет Танирберген. Напряженно подумав, он наконец схватил мысль мурзы.

— Если Темирке даст ловить у берега, завтра же все рыбаки будут со мной...

— Да? Так-так...— Танирберген вдруг как бы охладел к этому делу, даже зевнул и стал рассеянно осматриваться.

— Конечно... Мурза, я хотел... Я говорю, если мне будет разрешение, то есть нам...— тупо пояснил свою мысль Дос.

— Ну да, ну да...— по-прежнему рассеянно отозвался Танирберген.— Я же сказал, с завтрашнего дня отбери джигитов, кого сам захочешь, и ставьте сети где угодно.

— А... а Курнос Иван?— все еще не понимал Дос.

Танирберген вытащил из внутреннего кармана узкую бумажку и молча протянул ее Досу. Это было разрешение на ловлю в запретных местах. Дос повертел бумажку так и сяк.

— Чего это?— спросил он.

— Разрешение. Не понимаешь? Иван поймет, когда покажешь. Не потеряй,— усмехнулся Танирберген.

Разрешение это взял он у Темирке. Сначала Темирке и слушать ничего не хотел. «Йок-йок,— упрямился он.— Этого не будет. Эти места дороже золота!» Танирберген только усмехнулся в усы. «Да ты сам подумай!— терпеливо убеждал он Темирке.— Ты думаешь, я хочу, чтобы рыбаки твое богатство развеяли? Ты забыл, в какие времена мы живем. Когда-нибудь тебе понадобится защита. Помани немного этих дураков, дай им пожить получше — ты их по рукам и ногам свяжешь! Ты думаешь, они не станут стеречь твое богатство, будто псы на привязи?» И Темирке, поразмыслив, сдался.

Дос живо спрятал бумажку в карман. Танирберген, попрощавшись, вскочил в седло и поехал к промыслу. Он знал, что Акбалу (после того, как он ее выгнал) приютили ненадолго на промысле. Но вскоре вместе с попутными подводчиками она уехала в Челкар. Танирберген за все эти дни ни разу не вспомнил про Акбалу. Казалось, он совсем забыл, что была у него когда-то жена по имени Акбала и что он ее любил. Он и сам удивился теперь, что мог так беззаботно разъезжать по аулам, хлопоча о скоте, о рыбе, о прибылях и тому подобном. Теперь ему вдруг представилась его жестокость по отношению к ней, и в душе его шевельнулось раскаянье. Но он тут же заставил себя не думать больше о бывшей жене — и в самом деле бросил думать.

Народу возле промысла было много. Только что вернулись подводчики, отвозившие в город мороженую рыбу. Все верблюды и все сани принадлежали Танирбергену. Добрая половина подводчиков также были его джигиты. Увидев мурзу, подводчики почтительно загудели — стали здороваться,— и лица у них сделались, будто они солнце увидали. Поздоровавшись, перекинувшись кое с кем короткими фразами, Танирберген отозвал в сторону старшего подводчика, стал расспрашивать о делах.

— Как обоз?

— Пока все хорошо, мурза. Верблюды в теле.

— А сани?

— И сани хороши. Крепкие еще сани.

— Груз для обоза на промысле есть?

— Есть-то есть... да, мурза, хотелось бы денька два пообогреться, с женами побыть, с детишками, бельишко постирать...

— Ну-ну! Бельишки-детишки... Пока сани крепкие и верблюды не выдохлись, раза два еще съездите. Потом отдохнете.

Уверенный, что возражений не будет, Танирберген кивнул, отвернулся и пошел прочь. Но старший подводчик догнал его.

— Мурза...

— Отстань! Я все сказал.

— Да нет, я не об этом...

— Что еще такое?

— Мурза...— Подводчик оглянулся.— Еламан в Челкаре.

Танирберген будто споткнулся. Прикрыв на мгновение глаза, он перевел дух, совладал с собой, потом обернулся и уже спокойно взглянул в лицо подводчику. Тот почтительно застыл, тянулся изо всех сил.

— Кто тебе сказал?

— Сам видел. Даже говорил с ним. Рай умер. Погиб в Турции.

Танирберген тотчас понял: правда! Все вылетело у него из головы, даже Айганша, из-за которой он, в сущности, и завернул на промысел и которую так и не увидел еще. И обед, который ждал его у Ивана Курносого, стал ему не нужен, хоть он и был голоден.

Быстро пошел он к своему коню, сел верхом и, не взглянув даже на промысел, быстро поехал домой. Ему надо было побыть одному. Ему нужна была дорога, одиночество, мерный бег коня, чтобы хорошенько подумать и решить, как быть дальше.

Что станет со всеми баями, если к ожесточенным войной людям явится этот смутьян? Кто поручится, что рыбачий аул, да и вообще все бедняки волости Кабырги не пойдут за ним, не поднимутся снова, как в шестнадцатом году? И к чему это все приведет, если среди богатых родов нет единства: в одну сторону тянет Ожар-Оспан, в другую — Рамберды?

Приехав домой, Танирберген тотчас отправил гонцов в разные аулы и уже на другой день собрал у себя всех аткаминеров этого края. Оповещенные начали прибывать к обеду. Приехали самые знатные баи — Мынбай, Жузбай, Жилкибай и дородный рыжий Рамберды. Услужливые джигиты, не дожидаясь, пока соберутся все приглашенные, начали резать баранов и ставить котлы. Огромные, начищенные до солнечного блеска, шумящие и клокочущие самовары, каждый в облаке пара, один за другим отправлялись в большой гостиный дом.

Целый день и целый вечер гости ели и пили. Отвалились от еды уже за полночь, подмяли под себя подушки, растянулись на коврах. Глаза у всех слипались, но надо было поговорить. Заговорили. Речь, как всегда, пошла сперва о конях. Припомнив, перебрав всех известных быстрых коней, добрались наконец и до белого аргамака Танирбергена.

— А в байге он когда-нибудь участвовал?— спросил кто-то.

— Вроде нет...

— Зря! Ведь этот аргамак, как птица!

— Чего там говорить... Он ведь той же породы, что и конь Кёр-Оглы: погонишься на нем — догонишь, удираешь на нем — не догнать.

— Апыр-ай, а? Да пусть весь мир треснет и перевернется, а надо, надо мне подружиться с каким-нибудь туркменом, чтоб заиметь такого тулпара, как аргамак мурзы!

Так воскликнул простодушный, глуповатый Жилкибай и даже по ляжкам себя ударил. Рамберды, сидевший рядом с ним, тут же уткнулся в подушку, давясь от смеха. Отсмеявшись, он поднял покрасневшее лицо, незаметно отер слезы. Потом, улучив момент, притянул за рукав Мынбая и замурлыкал ему на ухо, чтобы никто не слышал:

— Ойбай, до чего же он глуп! Он и в самом деле верит, что мурза заимел скакуна через дружбу с туркменами? Ойбай, ойбай...— махнул он рукой и поспешно отвернулся к стене, чтобы посмеяться как следует.

Начали стелить постели, и гости повалили на улицу. Рамберды опять взял за рукав Мынбая, отвел в сторону.

— Ну? Что ты обо всем этом думаешь? Интересно, зачем вызвал всех нас мурза?

— Кто знает, кто знает... Что-то задумал, конечно.

— Н-да... Хитер! Что хитер, то хитер — тут уж ничего не скажешь. Видал, какое угощение нам поставил? Неспроста это. Нет, неспроста!

— Поглядим, дорогой, послушаем. Ведь и скворца манят в силки кормежкой.

— Поглядеть-то поглядим, конечно, а вот что разбогател он теперь — это да! Силе-он!

— Еще бы! С одной стороны торговля, с другой... как бы тебе сказать... Гм! Кха!..

— Ха-хе-хе... Заимствует, да?

— Кха! Хорошо, скажем так... Скажем, с другой стороны — заимствует, а?

— У туркмен?

— И у туркмен...

— Ай-яй-яй... А ведь говорили же деды: «Воровство добром не кончается!» Вот увидишь, добром это не кончится...

— Золотые твои слова. Все зачтется, а хуже всего, что мы же и в ответе будем. Он своих джигитов посылает к туркменам, а те — не приведи аллах!— когда-нибудь и наши табуны угонят.

— Все может быть. С нашим мурзой не соскучишься...

Их позвали: в гостиной были уже постелены постели. Объевшиеся баи как вошли, так сразу и повалились, захрапели и сытно спали до позднего утра следующего дня.

На другой день опять было обильное угощение и крепкий чай из шумящих самоваров, а потом Танирберген начал свою пространную, заранее придуманную речь.

Он говорил, что теперь настала необходимость забыть все давние споры и обиды. Что сидящим здесь почтенным баям пора наконец объединиться, чтобы действовать сообща и дружно. Он призвал их к тесному единению, чтобы они смогли противостоять надвигающейся черной буре.

Слушали его внимательно, а когда он приостановился, чтобы перевести дух и увидеть впечатление от его слов, аксакалы и старейшины родов согласно закивали. Им понравилась мысль о том, что нужно жить дружно. Это значит, что можно без конца ездить друг к другу в гости и обильно угощаться. И потом еще понравилось им слово «противостоять». Хорошее слово. Всегда нужно противостоять!

Даже Рамберды не возражал (чего втайне боялся Танирберген), даже Рамберды покрутил головой и промычал нечто утвердительное. Танирберген зорко поглядел на него. Мычания Рамберды было в данном случае мало для Танирбергена. Ему нужен был недвусмысленный ответ.

— Так что же, баи и аксакалы, поклянемся в этом?— спросил Танирберген, по-прежнему глядя на Рамберды.

Рамберды заерзал, подождал — может, мурза переведет взгляд на кого-нибудь еще?— потом неохотно пробурчал:

— Что ж, пусть будет по-твоему... Только, мурза, ты не забыл, как в старину бывало? Как это говорили наши деды?.. «Клятва не крепка, если чаша не полна», а? Так, что ли?..

Пробурчав все это, явно намекнув на что-то, что должен был понять мурза, Рамберды завалился за спину Жилкибая. Аксакалы шумно засопели, утопили глаза в щелках, стали покряхтывать, переглядываться. Танирберген хорошо понял Рамберды: аксакалы, старейшины ждали подарков. Богатых подарков ждали. Тогда они будут вместе. Вместе противостоять. А без подарков — какое противостояние?

Но Танирберген еще не все сказал. Самое важное он оставил напоследок. И, помолчав и грустно усмехнувшись, он опять заговорил, слабо надеясь, что слова его достигнут ушей сидящих перед ним.

Он говорил, что русские солдаты, изнуренные долгой войной, бегут с фронта. Что казахи, угнанные в шестнадцатом году на тыловые работы, тоже возвращаются, и возвращаются иными, нежели ушли. Что все города в России голодают, что надвигается время разрухи. Что русские рабочие и крестьяне недовольны Временным правительством и повсюду бунтуют.

Какие времена настанут, если завтра вдруг свергнут Временное правительство? И кто поручится, что жизнь в степях не перевернет-

ся и что земля не подернется ужасом и не обагрится кровью баев и биев?

— Ойпырмай-ай! Таниржан-ай! Что это ты нагнал на нас страху?

— Ойбай, ойбай!.. Совсем тесно стало в мире — небо с ладонь, земля с пятачок!

— Что же делать? Что делать? Куда ни подайся, значит, всюду для тебя коркутова могила вырыта?

— Как же теперь быть?

Танирберген поднял руки, призывая к спокойствию, и опять заговорил.

— В смутное время нам остается одно,— сказал он,— объединяться. Сейчас не заблудится только тот, кто умеет предвидеть. Во главе всех нас должен стать человек образованный. Образованным многое открыто.

— Э-э! А где взять такого?

— Найдем! Вон в страну Арка пришли новые люди, истинные сыны народа. И в Иргизе и в Тургае найдется немало таких джигитов. Вы, может быть, не знаете, но уже образована партия, выходит газета. Все алашцы собираются и организуются под белым знаменем хана Аблая. Сыны всех трех жузов теперь составляют одно целое! Вот почему, аксакалы, я собрал всех вас, вот почему говорю я вам все это...

— Апыр-ай, а!..

— Вот это новость!

— Даст бог, все это к лучшему...

— Ай-яй-яй!.. Ну а еще какие мысли у тебя, Танирберген, дорогой? Продолжай!

— Да-да, продолжай!

— Слушаем тебя.

Все оживились, стали подталкивать друг друга локтями, стали улыбаться, стали поглаживать бородки, откашливаться. Видя оживление и радость гостей, заулыбался и Танирберген.

— Все эти мудрые джигиты из Арки пока в стороне от нас. Мы с ними никак не связаны...

— Да-да, это так, ты прав.

— Белый царь, наша защита, свергнут. Временное правительство, судя по всему, вот-вот падет. Где же теперь искать нам твердую власть, которая сохранила бы наши законы? Я думаю, нам остается одно: возвысить свой голос, чтобы его услышали, и примкнуть к славным сынам Арки. Они, может быть, ничего о нас и не знают... Так вот, я думаю, надо бы нам послать к ним верных людей и пригласить их сюда. Как вы на это посмотрите?

Танирберген откашлялся, вытер лицо шелковым платком, погладил усы и стал ждать, что скажут баи. А баи молчали. Баи опустили глаза и посапывали, усиленно размышляя. Им всем вдруг предста-

вилось, как в их аулы приедут образованные гости, и какие подарки им нужно будет делать, и как щедро кормить их придется...

— Ай, не знаю, что из этого получится,— вдруг засомневался Мынбай.— Образованному человеку, говорят, угодить не так-то просто...

И все разом согласно кивнули, потому что все разом подумали о том, как трудно угодить образованному джигиту, каких денег это будет стоить и сколько скота.

После этого шевельнулся Жилкибай и тоже сказал:

— Если пригласить их, то, конечно, главная тяжесть ляжет на нас. Расходы, надо полагать, будут громадные...

Сказав о расходах, Жилкибай победоносно огляделся, и все дружно закивали под его взглядом, удрученные громадностью расходов. Никому не хотелось расходов!

Покивав и повздыхав, все стали глядеть на Рамберды, ожидая, что он скажет. Бледный Танирберген угрюмо молчал. Он теперь даже и не интересовался, что там скажет Рамберды. Если уж самые сговорчивые воспротивились его предложению, то от Рамберды нечего было и ждать. Кого-кого, а Рамберды он знал.

— Охо-хо...— вздохнул Рамберды и ухмыльнулся в рыжие реденькие усы.— Зачем нам искать каких-то образованных на стороне? Если уж дело за этим стало, так образованный джигит и в этом доме найдется!

Рамберды намекал на Жасанжана, и все это поняли. Помолчав немного, гости заговорили о постороннем, но разговор как-то не клеился. Подождав, не выставит ли Танирберген еще угощение, и ничего не дождавшись, гости начали разъезжаться. Разъезжались холодно, молча, без обычных благодарений и приглашений к себе. Танирберген, в свою очередь, провожал гостей без особого усердия. Нехорошо думал о своих гостях Танирберген.

Вот каковы они, думал со злобой он, кто еще вчера был опорой белого царя на земле казахов! Никто из них не поднимется выше маленьких аульных дрязг. Не то что дела делать — поговорить ни с кем нельзя, никто ничего не понимает...

Потом Танирберген подумал о братьях. Братья? В них тоже толку мало. Старшему, Алдабергену, только бы сытно поесть. А младший? Жасанжан? Его он не понимал. Хоть и выросли они под одним тундуком, но разные были у них дороги. Иной раз он и посочувствует Танирбергену, посмотрит нежно и совет хороший даст. Но это редко. Гораздо чаще младший брат упрекает его в жадности, жестокости и бог еще знает в чем. Или это мнительность, капризы, раздражительность больного человека? Или это от бесхарактерности?

Гостей давно уж и след простыл, и запах их выветрили бабы из гостиного дома, а Танирберген все ходил по морозу одинокий и злой, будто загнанный зверь.

III

Белому царю Темирке простить не мог. Только-только завладел он наконец промыслом, о котором так мечтал, только было развернул свою торговлю, только начал богатеть по-настоящему, как вдруг гром среди ясного неба: царь слетел! Ну что это за царь был такой?

Жизнь Темирке с тех пор стала несносной. А тут, как на грех, вернулся с турецкого фронта Мюльгаузен, и в тихом прежде городке совсем не стало покоя. Листовки, призывающие чернь к оружию, упорно белели на многих домах городка. Возмутительные бумажки стали появляться и на его магазине. Темирке приходилось вставать раньше всех, еще затемно, и внимательно осматривать ворота и стены магазина. Заметив белеющее в темноте пятно листовки, Темирке начинал ругаться, плеваться, соскребать эту пакость.

Единственным утешением было то, что торговля шла пока неплохо. Мороженая рыба, которую всю зиму без передышки возили подводчики, была в городе нарасхват. Считая по вечерам прибыль, Темирке думал иногда, что, может быть, худые времена и пройдут, а промысел останется и море останется.

Вот и сегодня довольно поздно, когда Темирке лег уже спать, пришел с моря обоз, груженный рыбой. Чуткий Темирке быстро встал, оделся и вышел во двор. Старик сторож открыл ворота, и в просторный двор, медленно раскачиваясь, один за другим уже входили верблюды.

— И-и, уж эти мне казахи! Никогда ничего вовремя не делают! Почему так поздно?

— Да, понимаешь, пока постирались, помылись...— загудели, оправдываясь, обозники.

— Пока вы там мылись, стирались, этот Абейсын опередил меня. Завалил весь город рыбой. «Мылись, стирались»...

Обозники помалкивали. Подождав, пока купец отведет душу, они принялись за работу. Звонко скрипя по снегу, они принялись таскать и вываливать рыбу в гулкий угол большого сарая. В ночной морозной тишине слышно было только тяжелое дыхание людей и хруст тяжелых сапог. Освобожденные от тюков верблюды высокомерно принялись за жвачку.

Следя за тем, как караванщики выгружают рыбу, Темирке порядочно озяб и хотел было уже идти домой, сказав напоследок казахам, чтобы шли ночевать в гостиную, как вдруг заметил среди караванщиков молодую женщину, пригляделся, узнал — и даже растерялся от неожиданности.

«Вот это да! Интересно, зачем она пожаловала?»— жадно подумал он, и даже во рту у него пересохло от предвкушения удачи. Готовясь к свадьбе или к проводам невесты, богатый аул посылал обычно кого-нибудь из женщин с обозом в город, чтобы закупить побольше самых дорогих товаров. «А вдруг она у кого-нибудь еще

накупит всего?— с испугом подумал Темирке.— Ишь, даже не подходит ко мне!»

Решив не выпускать из рук такую дорогую гостью, Темирке, подобрав полы чекменя, засеменил к ней.

— А! А! Кого мне господь бог послал! Ай, байбише, жива-здорова ли?— Прекрасно знал он, что Акбала всего лишь токал, вторая жена мурзы, но ради пущего почтения решил называть ее «байбише».— Дурные времена настали, байбише, тревожные времена! И-и, алла, народ пошел испорченный... Где твой фаэтон? Нельзя его на улице оставлять. Нельзя!

Темирке пошел было за ворота. Акбала еле удержала его.

— Я... я с караванщиками приехала,— через силу пробормотала она.

— А! А! Ну ничего, ничего... Конечно, не то теперь время, чтобы в фаэтонах разъезжать, и то правда,— как бы одобряя ее, заторопился купец, но про себя между тем подумал: «Собаки эти казахи, даже добром своим не умеют пользоваться. Справедливо сказано — богатство их лежит втуне, как дохлый скот!»

Темирке знал, что караванщики не будут долго задерживаться в городе — переночуют и поедут домой. Решив, что, накупив подарков, уедет с ними и Акбала, Темирке впервые нарушил твердо заведенный порядок, не стал отправлять караванщиков в гостиную, построенную для них отдельно, а вместе с Акбалой пригласил всех к себе.

Удивленные необычной благосклонностью хозяина, караванщики гурьбой ввалились в купеческий дом. Прямо с улицы, не снимая толстой одежды, прошли они в глубину комнаты, и только там, стоя на пушистых коврах, начали стаскивать с себя заскорузлые, провонявшие рыбой шубы. Будто боясь, что у дверей кто-нибудь украдет их тяжелые, отделанные кошмой сапоги, они с грохотом швырнули их к стенке позади себя.

Жена Темирке как ошпаренная выскочила в сени.

— И алла! Неужели эти казахи и у себя дома прямо на постели снимают сапоги?

Темирке в ужасе замахал руками, зажмурился.

— Не говори, не говори! Когда этим безбожникам стукнет тридцать, сапогам их — непременно шестьдесят!..[1]

Перед гостями расстелили дастархан. Темирке суетился, потирал руки, покрикивал на жену:

— Скоро там чай? Дорогая гостья замерзла с дороги! Как там у вас дела, дорогая байбише, как самочувствие мурзы?

Караванщики переглядывались, Акбала потуплялась, щипала бахрому своей шали. Наконец подали чай, и Темирке принялся сам

[1] У казахов принято сажать гостей на почетное место по возрасту. Так как караванщики на тор — самое почетное место в доме казаха — швырнули свои сапоги, Темирке намекает на то, что сапоги почтеннее их самих.

услуживать Акбале, подвигал к ней еду, подавал чай, приговаривая каждый раз:

— Ешь, байбише... Пей, байбише...

От усердия хозяина Акбале было не по себе. Но она так замерзла дорогой, что и в теплой комнате никак не могла унять дрожь.

— Байбише бывала раньше в нашем городе?

— Нет...

— Нет? Ну ничего... Ничего, дорогая байбише. Бог даст, может, летом как-нибудь приедешь. Летом по улицам деревья зазеленеют... Озеро под городом поблескивает... Хотя — хе-хе-хе!— жителя моря разве удивишь нашим озером?

Темирке сладко щурил глазки на молодую токал мурзы, и его взгляд вдруг напомнил ей мышиные глазки Судр Ахмета. Акбалу передернуло. Она опустила глаза и покраснела. От длинных ресниц ее легли на щеки тени, и нельзя было угадать, что она думает. Темирке, довольный застенчивостью молодой токал, не отходил от нее, потирал руки, хихикал, втягивая морщинистую шею в плечи.

— За заваркой следи!— крикнул он жене.— Погуще, покрепче наливай дорогой байбише!

Целый день коченея от мороза, думала Акбала о жарко натопленном доме, о горячем чае. А теперь голова шла у нее кругом и ничего не хотелось — только лечь, укрыться с головой и побыть наедине со своими думами.

— Возвращаться-то завтра думаете?— спрашивал между тем Темирке у караванщиков.

— Завтра, бай, завтра. Днем тронемся.

— Это хорошо. Ну а Акбала? Акбалажан... наша байбише?..

— Я... Мне спешить некуда, я...

— Ну да! Ну да! Не торопись... Умно поступаешь, приглядись, присмотрись. Да вот я сам помогу тебе покупки сделать... Ай, байбише, чай-то у тебя стынет, пей, пожалуйста! Такой прекрасный душистый чай!..

Темирке укоризненно зацокал языком. Акбала нехотя стала прихлебывать чай. Чай и верно был душист, но она не ощущала вкуса.

— Тебе повезло, байбише,— нажимал между тем Темирке.— Недавно я как раз в Оренбурге был, отменного товару привез, будет тебе из чего выбирать.

— Вы... вы, наверное, не знаете еще, бай... Я...

Караванщики встревоженно переглянулись, зашевелились, загудели на разные голоса:

— Пей, пей, Акбалажан! Согревайся чайком...

— Ты лучше ешь, дорогая. Вот жент, возьми-ка, попробуй!

— Да-да, отличный, надо сказать, жент, спасибо хозяину. Бери, не стесняйся!

Акбала отрицательно потрясла головой.

— Вы, Темирке, еще не знаете...— задыхаясь, выговорила она.— Я ведь сюда как перекати-поле, гонимое ветром...

— О господи, чего это ты так сразу?..— толкнув Акбалу, тихо прогудел старший караванщик.— Завтра-то тоже ведь день будет. Отдохни, согрейся, поночуй в тепле, успеешь еще рассказать-то...

— А и верно!— громко воскликнул другой караванщик, поворачиваясь к Темирке.— Верно: человек в пути будто перекати-поле. А уж зимой, в стужу, и не приведи бог быть в дороге! Вся иззябла наша Акбалажан, чуть живая, бедняжка, добралась...

— Да-да!— обрадовались, загудели караванщики.— Что там говорить, в такой мороз и джигит околеет...

— Лютует нынче зима, лютует!

— Еле-еле дотащились...

— Хе-хе-хе, мороз, мороз...— весело согласился Темирке и даже руки потер, будто озяб.— Ну а как дела у дорогого нашего мурзы?

Старший караванщик опять вмешался.

— Что там о мурзе говорить!— гордо сказал он и даже рукой махнул.— Ему-то зима не страшна. Сена заготовлено вдоволь, скот в тепле. Живи не тужи!

— О барекельде! Слава аллаху!

— Слава, слава! Сам создатель благоволит к нашему мурзе. Гм... Кха! А как, бай, нынче рыба на базаре?

— И-и, алла!..— Купец сморщился, будто хватил кислого.— Лучше не спрашивай. Этот разбойник Абейсын и тут мне дорогу перебежал. Хорошо, когда за полцены хоть продам вашу рыбу...

— Апыр-ай, а? Вот дьявол! Всегда нас опережает. Везде, собака, поспеет...

— Так вам и надо! Пока вы там моетесь, стираетесь... И-и, алла! Он еще себя покажет. Он вам всем нос утрет, вот посмотрите. Недаром ведь говорят: кто много спит — все проспит, кто рано встал — табун угнал. Верно сказано. Ай, как верно сказано!

Караванщики промолчали, принялись за чай. Пили, не стеснялись, только отдувались да пот со лбов утирали. Темирке с ненавистью посмотрел на их обветренные, грубые, непроницаемые лица и подумал: «Э! Совсем дикари! Разве их словом проймешь? Это же верблюды какие-то, толстокожие верблюды!»

— Да! А как там наш дорогой Алдаберген-софы?— вспомнил он.

— Здоров, чего ему...

— Он, наверно, уразу держит? Непременно блюдет пост... Да-да! Ой, святой, святой он человек! Крепко аллаха чтит... У меня, кстати, кое-что и для софы есть. Бухарский шелковый чапан, коврики молитвенные...

— Да, бай, чуть не забыл!— перебил Темирке старший караванщик.— Мурза вам салем передает. Салем вот какой... К лету хочет он дом построить под железной крышей на своем зимовье. «Передайте, говорит, Темке, пусть, говорит, заготовит, закупит лес, кирпич и все, что надо. Пусть, говорит, хороших мастеров подыщет. Денег, говорит, не пожалею. Не обижу, говорит, Темке, так, говорит, и скажите».

— А? Хорош джигит!— восхитился Темирке.— Верно, верно, денег он не жалеет. Такого щедрого джигита я еще не видал, аллах свидетель! Истинный мурза! Как-то раз задержался в городе. Потом зашел перед отъездом ко мне и... И-и-и, алла!— Темирке закатил глаза.— Достает вдруг во-от такую громадную пачку денег, бросает небрежно на прилавок. Даже не считал! «Выбери, говорит, для моей жены самое лучшее шелковое платье». А для мурзы мне разве жалко? Ничего не жалко! Достал я из-под прилавка красное атласное платье, переливается, сверкает, пламенем горит! И-и, алла! Вот была редкая вещь!

Акбала мигом вспомнила красное дорогое платье байбише, и даже теперь от лютой бабьей зависти кровь кинулась ей в голову и бурно заходила грудь под синим камзолом.

Поглядев искоса на Акбалу, заметив, что она то бледнеет, то краснеет, Темирке испугался. «Не захворала бы бабенка,— подумал он.— Хлопот потом не оберешься!»

— Застыла, бедняжка, застыла...— ласково забормотал купец, потом вскочил, пошел в другую комнату, вынес лисью шубу и стал заботливо укутывать Акбалу.— Совсем озябла, ой-ей-ей, как озябла, бедная! Укройся потеплей, полежи. Сейчас вот спать будем ложиться. Выспишься, все как рукой снимет. А я завтра подберу все, что нужно. Я-то знаю, что нужно для дома мурзы... Мурза любит хорошие, дорогие вещи...

— Не надо, бай, не беспокойся,— вдруг громко сказала Акбала и повела плечами, освобождаясь от шубы. Лицо ее горело.— Я больше не жена мурзы. Он меня прогнал...

И заплакала.

Темирке поперхнулся, вытаращился. Караванщики, беспечно было развалившиеся вокруг дастархана, сами не заметили, как торопливо подобрали ноги. «Ах ты! Ну и подвела!— разом подумали они.— Не могла подождать...»

Темирке не знал, что и подумать. В растерянности покосился он на жену, разливавшую чай, и не удержался, пожалел чаю.

— Что ты все льешь как из ведра?— сердито пробормотал он.— Казаха из самовара не напоишь, ему колодец подавай... Хватит им тут бока пролеживать, пусть допивают в гостиной.

— А у нас еще мясо есть,— сказал старший караванщик.— Из аула прихватили...

— Иди в гостиную, там и вари!

Делать было нечего, караванщики поднялись, натянули свои сапоги, надели шубы и вместе с Акбалой пошли вон.

Гостиная была им хорошо знакома: большая пустая комната, в которой нещадно дуло из окон и дверей. Печка дымила и горела плохо. Раздеваться после теплого дома никто не стал, закутались в шубы и молча улеглись. На другой день поднялись рано. Купили, кто сколько мог, сахару, чаю, ситцу женам на платья, попрощались с Акбалой и отправились в аул.

IV

У Темирке в гостиной Акбала прожила ровно неделю. Жена Темирке ни днем ни ночью покою мужу не давала — ревновала. Думал, думал Темирке, как бы избавиться ему от Акбалы, даже голова побаливать стала. Наконец придумал.

На восьмой день Темирке пришел в гостиную вдвоем с долговязым невзрачным парнем, с ног до головы обсыпанным мукой. Парень работал в магазине Темирке.

Перед их приходом Акбала сидела грустная, сжавшись в комок от холода, и вспоминала караванщиков. Она воображала, как они вернулись домой и каждый очутился в кругу жен и детей. Воображала она, как трещат в домах печки, как дым голубой струйкой поднимается из труб кверху, и так ей хотелось своего гнезда, чтобы был простой муж, чтобы дети радовали сердце своими голосами...

Увидев Темирке, Акбала робко встала. От любезности Темирке давно уж и следа не осталось. Едва переступив порог, он спросил в упор:

— Тебе муж нужен?

Акбала вспыхнула.

— И-и, бедняжка, чего там краснеть! Это девушке можно краснеть, а такой тертой бабе, как ты... И ты, Ануар, не смущайся, тоже небось не мальчик!— повернулся Темирке к стоявшему за ним парню.

Взяв Ануара за руку, Темирке подтащил его к Акбале. Акбала закрыла глаза. Она вся дрожала. Холодные пальцы, тоже дрожавшие, робко коснулись ее руки. Акбала гадливо съежилась и отдернула руку.

Темирке как ни в чем не бывало начал знакомить их. Он даже руки потирал, так был рад, что придумал такой выход.

— Вот этого джигита зовут Ануар. Ануар. В таком маленьком городке, как наш, лучшего мужа тебе не найти. Не косороться, кому ты нужна, брошенная?

Темирке удовлетворенно крякнул и, оставив их вдвоем (мол, решайте остальное сами), вышел из комнаты.

Оставшись наедине с Ануаром, Акбала быстро его оглядела и опять отвернулась. Рыжий, весь в муке, Ануар покашливал в кулак, смущенно переминался с ноги на ногу. Возраст его нельзя было определить — ни бороды, ни усов. Подбородок его был в пуху, редком, как у скопца. И вообще был Ануар как-то жалок, пришиблен, смотрел преданно, по-собачьи. И, представив себе, как низко она пала, как тяжко ей теперь будет жить после того, как пожила она в байском доме, Акбала заплакала.

Как чутко ни прислушивался Темирке за дверью, он не мог уловить в гостиной ни движения, ни разговора. Не вытерпев, он распахнул дверь и опять вошел в комнату. Быстро поглядел сперва на Ак-

балу, потом на Ануара и ничего не понял. Оба стояли на том же месте и в тех же позах...

Сообразив, что от Ануара ждать особенно нечего, хоть оставь его на всю ночь с молодой бабой, Темирке решил действовать. Он вдруг широко заулыбался, будто оказался свидетелем счастливейшей минуты в жизни Акбалы и Ануара.

— О барекельде, барекельде!— с чувством воскликнул он.— Вот хорошо, ай как хорошо! Молодые люди быстро находят общий язык... Я рад, и-и, аллах, так я рад! Ну, Ануар... Веди теперь молодую свою жену домой! Хе-хе... Домой, домой...

Маслено улыбаясь, Темирке соединил руки Акбалы и Ануара, потом обнял их и стал подталкивать к двери, приговаривая:

— Веди, веди, Ануар, поздравляю!..

— Я не мужа, а угол ищу!— закричала вдруг Акбала, вырываясь.— Господи, за что мне такое несчастье, господи!

— Домой, домой...— приговаривал Темирке, а сам все толкал к выходу.— Вот и хорошо, вот и поладили, я знал!.. О, Ануар — это муж!

И хихикал при мысли, какая тишина теперь настанет, какой покой в доме без этой смазливой бабенки.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Подводчики и случайные путники из приморья, приезжая в город, обязательно встречались с Еламаном. Днем они находили его на работе, вечером — дома и каждый раз вдоволь наговаривались с ним, не замечая хмурых взглядов старухи хозяйки. По бесцеремонной аульной привычке вваливались в дом они в сапогах и в шубах, и старуха за это их терпеть не могла.

От них узнавал Еламан все степные новости.

Старая бабушка его умерла. От Калена, сосланного в Сибирь, не было вестей. В рыбацком ауле не осталось и следа от прежней славной дружной жизни. Между Досом и Мунке разгорелась непримиримая вражда...

Нет, не тянуло Еламана домой! Тревожил его только один дед Есбол. Все чаще хотелось ему повидать старика, пока тот жив, поговорить с ним, поглядеть на него, чтобы уж наглядеться навсегда. Но поздней весной, когда стало совсем тепло, дед Есбол неожиданно приехал сам.

Старость совсем согнула его, и глаза помутились и уж совсем почти ничего не видели. Узнав Еламана по голосу, он жадно схватил его за руки и по-старчески беззвучно заплакал. Заплакал и Еламан. Кое-как уняв слезы, старик долго еще не мог успокоиться и потихоньку всхлипывал.

Думая, что дорога сильно утомила старика, Еламан предложил ему вздремнуть, но дед Есбол и слышать не хотел об отдыхе. Держа Еламана за руку, близко заглядывая ему в глаза, он стал просить, чтобы тот рассказал ему о смерти Рая.

— Только, родной, все расскажи. Ничего не скрывай.

Еламан засомневался, как поведать эту горькую историю слабому старику, измученному дорогой? Да и самому будет тяжело, а все равно не возвратишь ту проклятую зиму и не вернешь Рая... Старик понял его.

— Все, все говори!— строго сказал он.— Что проку от жалости человеческой? Пусть бог нас пожалеет...— и, насупившись, сердито отвернулся.

«Да,— подумал Еламан,— да, нужно вспоминать, нужно говорить о прошлом, потому что пока живы мы, живо и наше прошлое». И он начал вспоминать и рассказывать старику обо всем, что было с ним и Раем.

Он вспомнил, как Рай слабел с каждым днем и даже у костра не мог согреться, потому что не чувствовал уже тепла. Казалось, замерзла у него даже душа. Еламан стал спать с Раем под одним одеялом, но Раю все равно было холодно. И не в день смерти, а гораздо раньше, за неделю, Еламан понял, что Рай умрет, и не мог ему в лицо смотреть — страшно было.

Рай упал под вечер. Еламан подбежал к нему, перевернул, и посадил, и стал очищать его лицо от снега, потому что лицо Рая так похолодело от слабости, что снег уже не таял на нем. Еламан поднял его и понес в барак. Он и сам ослабел за последние дни, но Рая ему нести было легко — так тот исхудал. Положив Рая на свои нары, Еламан собрал все тряпки, какие у них были, укрыл Рая и сам лег рядом. Они и раньше спали вместе, и Рай всю ночь ворочался и дрожал. А теперь Рай как лег, так и не шевельнулся больше. Еламан некоторое время прислушивался к его дыханию, а потом заснул.

Проснулся он, как ему показалось, через минуту,— навалив все тряпье на Рая, он озяб во сне, и ему показалось спросонок, что тело его окаменело. Он хотел перевернуть Рая к себе и согреться возле него, чтобы потом греть друг друга всю ночь, и, еще не расставшись со снами, стал пробираться под одеяло и одежки, которыми он укрыл Рая, как вдруг будто кто иглу всадил ему в сердце — он мгновенно пришел в себя и оцепенел: Рай был жесток на ощупь и холоден. Под одеялом и одежками совсем не осталось тепла.

Еламан свалился с нар, не понимая спросонок, где дверь и где окна, стал шарить вокруг себя, наткнулся на тела спящих товарищей, стал толкать их и трясти в надежде добудиться, но люди только стонали во сне, переворачивались на другой бок.

Тогда Еламан с ужасом, взвалив на плечо тело Рая, ощупью побрел к выходу из барака. Когда он вышел, ему показалось сперва, что на улице ничуть не холоднее, чем в бараке. Темнота была хоть глаз выколи. Сухой порошей остро секло лицо. Дул постоянный холодный ветер с гор.

— Стой!.. Стой, кто идет?— раздался простуженный окрик часового.

У Еламана была одна только мысль — унести тело Рая подальше от барака. И еще у него был ужас оттого, что его брат, которого он любил больше всего на свете, который до сегодняшней ночи ходил, страдал, говорил с ним, с которым они когда-то вместе ловили рыбу и вместе жили, преодолевая самые страшные несчастья,— брат его теперь мороженой колодой давит на его плечо.

— Стой! Стрелять буду!— закричал часовой и заматерился, туго двигая затвором на морозе.

Еламан увидал, как подбегает к нему, выставив вперед штык, часовой, и остановился.

— Чего тащишь, сволочь, стой!— запыхавшись, крикнул часовой и вдруг сам остановился.— Чего ж молчишь-то, придурок?— глухо и виновато сказал он, закидывая за спину винтовку.— Куда понес?

— Хоронить...

— Нешто так хоронят? У, нехристь... Ну иди, иди... Чего стал? Приятель, что ли?

— Брат...

— А! Ну иди, кому говорят? Шляетесь, сволочи, тут... А то разве так бы хоронить? Небось зароешь, как собаку... Хоронить! Рази так хоронят! Ступай, кому сказано!

Часовой отвернулся, медленно побрел на свой прежний пост, вздыхая и жалея азиатов и матерясь на войну, чтоб ее так и сяк, а Еламан поднялся на ближний холм за бараками и стал рыть могилу. Раскопал снег, добрался до земли, а земля была как камень, и Еламан испугался, что не успеет до рассвета вырыть. Он долбил и долбил землю саперной лопатой, торопился, раскровенил пальцы, и, когда над горами сперва позеленело, а потом заалело, Еламан оглядел с мрачным вниманием яму, и ему показалось, что хорошо, что могила будет как раз впору. Он сел на край ямы и начал выбирать руками со дна мерзлые комочки, чтобы Раю ловчее было лежать.

— ...о-о-он, стро-ойся!— донеслось до него снизу, от бараков. Еламан оглянулся: возле бараков, как вши, суетились, ползали серые фигурки. Слабый звук простуженных голосов, звон лопат и котелков доносился оттуда.

Еламан поднял, уложил в могилу тело Рая, вынул свой грязный платок, прикрыл ему лицо и, стараясь не глядеть на то, что делает, принялся торопливо заваливать могилу мерзлой землей пополам со снегом.

Спустившись, Еламан остановился, обернулся и долго смотрел на холм и на еле заметный грязноватый бугорок наверху. Потом, не обращая внимания на крик командира отделения, еще издали торопившего его, тяжело подошел к солдатам и встал в конце строя.

Сильно ожесточился тогда Еламан. Много раз обмороженное, темное лицо его совсем почернело. Всегда немногословный, после смерти брата он и вовсе замолчал, целый день не замечал ничего, будто одна только цель осталась ему в жизни — утром, до работы, и вечером приходить на могилу Рая.

С беспокойством следил он, как снег все больше и больше заваливает могилу. И однажды не выдержал, пришел и крепко врыл на могиле шест с полумесяцем на конце.

После низвержения царя рабочий батальон стали партиями отправлять на родину. Дождался своей очереди и Еламан. Кругом все пели, кричали что-то радостное, покидая осточертевший барак, а Еламан шел и все оглядывался на холм. Когда дорога поворачивала и Еламан последний раз оглянулся, шест с полумесяцем показался ему вдруг рукой брата, вытянутой из-под снега. Еламан всхлипнул, покачнулся, вырвался было из строя, но вовремя удержал его казалинский джигит...

Старик Есбол, низко свесив сивую голову в черной тюбетейке, долго молчал — ждал, не скажет ли еще чего Еламан. Потом вдруг

быстро зажмурился и громко, по-старчески зарыдал, отвернувшись к стене.

— Рай мой, птенчик мой...— выговаривал он судорожно и еще сильнее плакал.

Некоторое время они посидели еще. Говорить никому не хотелось. Потом, не раздеваясь, молча легли рядом на постель. Но сон не шел к ним, а все крутила перед глазами поземка в горах и торчал из-под снега шест с полумесяцем.

Поднявшись рано утром, Еламан пошел на работу. Лицо его опухло, глаза покраснели. Весь день ни с кем он не говорил и даже глаза отводил, чтобы с ним не заговорил кто. А вечером, вернувшись домой и поужинав, Еламан снова подсел к старику, стал расспрашивать об ауле.

Есбол оживился, начал рассказывать о новостях и вдруг вспомнил давнюю свою подругу — бабушку Еламана и Рая. Она умерла, но до последнего вздоха все вспоминала внуков. «Если ягнята мои вернутся, не оставляйте их»,— снова и снова повторяла она собравшимся у ее постели.

— После того как вас забрали, она совсем сдала. Спать почти не спала, все о вас горевала. Вот, значит... Днем и ночью точила ее одна дума — о вас...

Старик опять заплакал. Он стал уже совсем плох. Во рту не было ни одного зуба. Жалко было смотреть, как он долго жевал голыми деснами, валял во рту даже самую мягкую пищу. Глядя на него, казалось, что он без посторонней помощи и шагу не сделает. Хоть по возрасту был он почти ровней отцу Еламана, но так одряхлел за последнее время, что у Еламана сердце щемило и хотелось, как ребенка, погладить деда по голове.

После работы Еламан ни на минуту не расставался с дедом, говорил с ним и слушал, как говорит дед. Когда старик задремывал, свесив голову на грудь, Еламан порой чувствовал себя мальчишкой. У него даже руки чесались — так хотелось ему иногда обнять деда, погладить его и чтобы тот тоже приласкал Еламана. Он даже пугался таких приступов нежности, отворачивался и улыбался сам себе. А потом раскаивался в том, что сдержал себя, укорял себя за сухость. «Нет, все-таки черствый я человек!— думал он.— Нет у меня настоящего тепла к людям!»

Он вспомнил вдруг Акбалу, и сердце его забилось. Тут же явилась перед ним и маленькая землянка на круче, третья с края аула. И тусклое подслеповатое окошко на потолке припомнилось, и длинная печка, разделявшая комнату надвое, и дверь-плакса...

Даже во время работы, когда он таскал старику Ознобину детали паровозов, воспоминания не давали ему покоя, и он как бы заново переживал недолгую радостную пору жизни с Акбалой, живо представлял супружескую постель, алашу, расстеленную у двери, запечину, где на циновках стояла посуда. «Наверное, и для Акбалы не хватило у меня тепла...»— думал Еламан.

Вернувшись с работы, Еламан по обыкновению снял замасленную спецовку, повесил ее в сенцах, умылся во дворе и прошел в комнату. Старик Есбол сотворял вечернюю молитву — намаз. Стоя у порога, Еламан пристально посмотрел на покрытую черной такиёй маленькую головку старика, на его тонкую морщинистую шею, на глубокую ямочку в сухом затылке и снова подумал, как мало внимания уделяет он этому самому родному теперь человеку. С утра до вечера он на работе, а старик, ни слова не понимающий по-русски, целыми днями остается один. «Гм... Надо бы денька два дома побыть со стариком»,— подумал Еламан и пошел к Мюльгаузену.

Мюльгаузен в последнее время ложился поздно, вставал рано, похудел, осунулся и был постоянно мрачен. Увидев Еламана, он отвернулся и, посапывая, продолжал одеваться.

— Петька...— робко окликнул его Еламан.

— Ну?

— Да, вот видишь...

— Ничего не вижу. Ну?

Мюльгаузен давно уже решительно отошел от Ознобина и Селиванова и собрал небольшую группу единомышленников среди рабочих. Он и с Еламаном теперь почти не разговаривал, после работы сразу исчезал, а домой возвращался далеко за полночь, а иногда и к утру. Еламан знал, что Мюльгаузен старается раздобыть оружие и поднять восстание в городе.

— Черт побери...— бормотал Мюльгаузен, по-прежнему не обращая на Еламана внимания.— Никогда ничего не найдешь на месте... Маша! Маша-а!

Прибежала сестра. Она была в переднике, с запачканными мукой руками, раскраснелась и часто дышала — месила тесто на кухне.

— Что? Ты звал меня?

— Где расческа?

Маша огляделась, что-то припоминая, потом поправила волосы и смущенно взглянула на Еламана.

— Ну? Где расческа, спрашиваю?

— Сейчас поищу...

Еламану как-то расхотелось говорить с Мюльгаузеном, и он повернулся. Увидев, что Еламан уходит, Мюльгаузен поморщился и буркнул вслед:

— Подожди, что там у тебя?

— Да, так, дело одно...

— Что за дело?

— Старик вот приехал... Так я бы хотел денька два с ним побыть.

— Подходящая причина.

— Я от работы не отлыниваю.

— Что-то у тебя слишком много родных. Маша! Ужин скоро?

— Сейчас.

— Давай скорей — времени нет ждать!

«Зря я у него спрашивал... Да и вообще лучше жить нам врозь. Вот дед уедет, надо будет другую квартиру подыскивать»,— подумал Еламан и пошел к себе.

II

— Так-так... Ну а Мунке как? Жив, здоров?

— Э, сынок, ходит себе по земле, что ему делается?

— Я слышал, у него опять ребенок родился?

— Правда, правда... Есть теперь у него крикун.

— Ну а как они с Досом? Все еще косятся?

— Какой там косятся! Целый аул раскололся! Друг против друга прямо на дыбы встают. А все Танирберген... Ух и лиса! Он же их расколол, а теперь натравливает. Мунке и Дос видеть теперь не могут друг друга!

Услышав имя Танирбергена, Еламан уже не расспрашивал больше и насупился. Он знал всю меру своей ненависти и не хотел растравлять себя. Старик Есбол некоторое время дремал, потом вдруг очнулся и поднял глаза.

— Подвинься-ка поближе, сынок...

Еламан подсел ближе и уставился на старика. Он сразу понял, что дед Есбол собрался сказать что-то важное.

— Говорят, глаз отца на сына зорок.— Есбол любил начинать издалека.— Помнится мне, в детстве ты был чутким мальчонкой. Глядел я на тебя, и сердце радовалось, думал: вот вырастет, с добрым сердцем человек будет. Ты ведь много лет пас коней Кудайменде. Небось повадки коней знаешь?

Еламан только моргал, напряженно угадывая, куда клонит старик Есбол.

— Знаешь, бывает саурик-айгыр, жеребец-безумец. Ему и в бескрайней степи тесно. И вот, не давая покоя ни себе, ни другим, гонит и гонит он без цели по всей степи свой маленький косяк. Но есть и другие жеребцы. Бывает благородный длинногривый жеребец — кутпан-айгыр. Он умен, спокоен и зорко охраняет свой косяк. Вот я и думал, что ты будешь добр и бережлив к своему очагу, мудрым в гневе и незлопамятным человеком. Ну а теперь, послужив в солдатах, не растерял ли ты на чужбине этот божий дар? Не ушла ли от тебя мудрость и доброта? А?

Есбол вдруг хихикнул, высоко вздернул голову и посмотрел на Еламана маленькими слезящимися глазами.

Еламан ничего не понимал, но чувствовал какой-то укор, какую-то тихую печаль, исходящую от старика, и оробел. Дед Есбол быстро оборвал смех и принял опять задумчивый вид.

— Где теперь Акбала, ты знаешь?— громко и резко спросил он.

Еламан вспыхнул, пальцы у него задрожали. Лицо его, на котором до сих пор держалось лишь почтение к старцу, исказилось.

— К чему это? Зачем она мне?— пробормотал он, потупясь.

Есбол досадливо вздохнул.

— Вот-вот, ты как раз этот жеребец-безумец. Теперь самое время, чтобы свести с ней счеты...— недовольно пробурчал он и нахмурился.— Может, конечно, вы и отошли друг от друга, охладели, но разве она не единственная дочь почтенного Суйеу? Разве не из-за любви к тебе Суйеу отвернулся от любимой дочери? А знаешь ты, что значит ребенок для родителей? Не только по живым, но и по умершим давно детям у бедных родителей от боли и тоски душа чернеет! Каким бы суровым ни был Суйеу, разве легко ему было дочь проклясть? Подумай!

Еламан молчал. «К чему это он все мне говорит?»— угрюмо подумал он.

— Она же мать твоего ребенка,— пустил дед Есбол в ход главный свой козырь.

— «Мать, мать»!— взорвался вдруг Еламан.— Какая она мать, если шестимесячного ребенка...

— Брось! Знаешь, как ей сейчас трудно? Знаешь? Ничего ты не знаешь! И Суйеу вот тоже никак не простит ее. Этот дьявол не то, что мы... Если он обидится, до самой смерти помнить будет. Неужто тебе уподобляться ему?

Старик Есбол махнул рукой и отвернулся. Еламан сидел насупившись. Немного погодя Есбол пытливо поглядел на него, хотел еще что-то сказать, но раздумал, решил, что и без того наговорил достаточно.

После этого разговора старик погостил у Еламана еще неделю. Узнав как-то от Еламана о приезде в город подводчиков, старик вдруг собрался в дорогу.

Перед отъездом, привязав у ворот оседланную верблюдицу, дед Есбол вдруг спросил (все понимал старик!):

— Сынок, ты в письмах писал нам, что есть у тебя какой-то друг, а? Гм...

Еламан сконфуженно кашлянул.

— Вы еще друзья?

— Гм...

Старик задумчиво кивнул стриженой головой в черной плюшевой тюбетейке:

— В старину покойный мой отец говаривал: «Коня цени по стати, человека — по нутру». А нутро человека трудно разглядеть. Н-да... А еще трудней выбрать друга по внешности. Это все равно что сесть на необъезженного коня и всю дорогу потом бояться, что сбросит...

Старик Есбол невесело усмехнулся. Вообразил, наверное, всадника на необъезженном коне.

— По желанию друга не выберешь. Настоящая дружба сама приходит. И только к равным приходит. А где водится такая дружба? Я вот ни с кем не дружил. Не потому, что...— Старик запнулся, помолчал.— Не потому, что ровни себе не нашел — нет! Вся беда

тут в том что и среди друзей не всегда есть равенство. И среди друзей почти всегда один выше, другой ниже. А кто ниже, всегда как-то зависим. Один решает, другой соглашается. Вот что трудно!

Еламан по привычке не торопился с ответом, думал. Почти со всем, что сказал дед, был он согласен. Не согласен он был только с последними его словами насчет равенства в дружбе. Было в этих словах для Еламана что-то смутное, что-то саднящее. Мигом вспомнил он начало своей дружбы с Петром Мюльгаузеном. Разве это была расчетливая дружба? Нет, это была дружба двух людей разной веры и языка, людей, которые в трудное время внутренне потянулись друг к другу.

Но возражать деду Еламану не хотелось, и он промолчал, вздохнул только. Старик Есбол и тут понял Еламана.

— Ладно, сынок,— легко заговорил он, будто отбрасывая все сомнения,— другом он может быть или не быть, но что ты товарища нашел — это хорошо. Джигит на чужбине славен товарищами.

— Это верно,— согласился Еламан.

Старик Есбол опять помолчал, голова его склонилась, казалось, он задремал на минуту.

— Та-ак, значит...— после некоторого раздумья заговорил он снова.— Значит, здесь ты устроился на работу, и товарищи у тебя все русские. Я не знаю этого народа. Только давно уже в память мою запали слова одного мудрого человека. «Ремеслу учись у русских!»— любил он говорить. Хоть ты и молод, но уже увидел долины и холмы жизни. Чего только не изведал ты за свою жизнь!— горестно покачал головой старик.— Сейчас ты встал на новый путь, для нас незнакомый. Что ж, такова судьба. Не думай, что это хуже, чем по морю сети тянуть. Испокон веков впереди тот, кто больше знает. Да благословит тебя судьба!

Старик Есбол растроганно высморкался и посмотрел на свою верблюдицу. Ему пора было уже ехать, и мыслями он сразу перенесся домой, в степь.

— Ну, прощай!— заторопился он. Потом пристально оглядел Еламана, его одежду и обувь и добавил:— Думая о нас, не связывай себя, не уподобляйся птице, попавшей в силки. Мы пока, слава аллаху, живем неплохо. О нас не заботься. Есть у нас и скот кое-какой и всякая одежа тоже есть. Думай больше о себе — тебе жить.

Так закончил старик Есбол, кротко и просто освобождая Еламана от всяких обязательств.

III

После отъезда деда Есбола Еламан, как никогда, почувствовал свое одиночество и крепко загрустил. Из дома никуда он не выходил и ни с кем не встречался. После работы сразу шел домой.

А дома тоже не с кем было поговорить. Маша по вечерам уходила гулять с Селивановым. Мюльгаузен дома почти не бывал. А мать

Мюльгаузена терпеть не могла Еламана, и он старался не попадаться ей на глаза.

Ни разу Еламан не видел, чтобы эта костлявая, всегда хмурая старуха была приветлива даже со своими детьми. Зеленоватые глаза ее никогда не мигали, бескровное лицо всегда оставалось безжизненным, и от всего ее облика веяло стужей.

Разглядывая старуху исподтишка, Еламан часто думал, что была ведь и она молодой, кто-то любил ее, кому-то рожала она детей... Он силился представить ее юной — и не мог.

После отъезда деда Еламан несколько раз принимался искать новую квартиру, но ему не везло — ничего не находил. А жить в доме Мюльгаузена становилось ему все тяжелей. В последнее время Еламан вообще стал что-то уставать. Он шел с работы, мечтая о покое и отдыхе. Но на пороге дома всегда попадалась ему злобная старуха, и настроение у Еламана портилось. Хорошо, если заставал он иногда Машу. Он любил посидеть подле нее. Нравились ему ее девичий румянец, ее взгляд, будто из загадочной дымки, ее тихий грудной голос.

Но приходил с работы Мюльгаузен, хлопала дверь, гнулись половицы под его солдатскими сапогами, и раздавался зычный голос:

— Маша? Ты где? Ужин готов? Живо!

И Еламан тотчас уходил в свою комнату. Он и на работе старался не встречаться с Мюльгаузеном.

Наконец после долгого молчания они однажды разговорились. Будто впервые увидев, Мюльгаузен любовно оглядывал крепкую фигуру Еламана. В Турции Еламан был так худ и страшен, что не понять было, как он вообще может что-то делать. С первой же встречи пришелся Мюльгаузену по душе этот казах. «Под влияние Ознобина попал, дурак,— думал он.— Но еще не поздно. Все можно поправить. Завтра у нас первый сбор боевой дружины, такие сильные ребята нам пригодятся».

— Слушай, что-то тебя не видно стало, браток, а?— дружески заговорил Мюльгаузен.

Еламан только усмехнулся. «При чем тут я?— хотелось ему сказать.— Я что трава под ветром: куда подует, туда и клонюсь». Но он плохо говорил по-русски, не все слова знал и стеснялся произносить длинные фразы.

— Ну как работа? Доволен?— опять спросил Мюльгаузен.

— Что ж работа? Не выбирать же, как невесту.

— Чудак! Ерунду говоришь. Я к тому спросил, что, если хочешь, с завтрашнего дня можешь работать со мной. Договорились?

— Спасибо... Только не знаю как... Я своей работой доволен...

— Вон оно что! С Ознобиным, значит, жалко расставаться? Ну что ж, дело твое... Дело твое! Только не нравятся мне ни твой Ознобин, ни Селиванов!

— Знаю...

— А знаешь — нужно со мной идти! Теперь некогда митинговать.

Сейчас, когда везде готовяться к восстанию, трепаться некогда. Сейчас нужно оружие в руки рабочим дать!

— Мне кажется, и они не против оружия...

— Кажется! Кажется, да не высовывается. Плохо ты их знаешь... Они парламентарии, понял? Ждут, видишь ли, решающих схваток революции. А революция не беременная баба, чтобы каких-то схваток дожидаться.

Налившись кровью, Мюльгаузен грузно поднялся на ноги. Скрипя половицами, дошел до двери низенькой комнаты, вернулся назад, сел.

Еламан смотрел в пол. Душой он был с Ознобиным и Селивановым, но спорить с Мюльгаузеном не мог — тот привык ораторствовать на митингах, а что ему мог возразить Еламан? Помолчав, Мюльгаузен опустил ему на плечо чугунную руку.

— Говорят, ты другую квартиру ищешь?

Еламан покраснел.

— Подыскиваю.

— А здесь тебе тесно стало?

Еламан кашлянул и отвел глаза. Мюльгаузен некоторое время в упор смотрел на него, потом поднялся.

— Не дури, места у нас всегда хватит,— сказал он напоследок и вышел из комнаты.

Спать было еще рано, и Еламан пошел побродить по городу. Сначала он хотел пройти мимо магазина Темирке в надежде встретить кого-нибудь из земляков, но потом раздумал. Кто-то ему говорил, что у татарина вот уж несколько дней гостит Танирберген.

Воздух медленно остывал, и приятно было просто идти, сворачивая из улицы в улицу. А когда совсем стемнело, и в фиолетовом небе засияла луна, Еламан пошел к небольшому озеру, которое сверкало, как серебряный полтинник, на окраине города. Он долго ходил и сидел на берегу озера, любуясь безветренной ночью только что наступившего лета. Он сам не знал, отчего, но сегодня у него было грустно на душе. Будущее его было темно.

Устав от одиночества, он пошел домой. Город уже спал. Улицы были темны, в старых покосившихся домишках не видно было ни огонька. В темноте дома казались еще более приземистыми, и вид у них был сонный, будто они и в самом деле спали в тишине.

Этот район Еламан знал хорошо. Недавно в поисках квартиры он обошел чуть не все эти улочки. В какие только двери он не стучался, каких людей не навидался! Но теперь, шагая по безлюдным тихим улицам, он не мог узнать места, не мог отличить друг от друга все эти дома. Все они казались одинаковыми.

Но Еламан знал, что в каждом доме свое. В одном доме появился на свет ребенок, в другом — кто знает!— может быть, оборвалась чья-то жизнь. И сидит где-нибудь в темной комнате на ковре старый мулла, держит на коленях раскрытый коран и шепчет подремывая: «Голова человека — мяч в руках аллаха». Мяч аллаха...

Еламан невесело хмыкнул. Каждый день, возвращаясь с работы, он видел, как на улице босоногие ребятишки шумно гоняли мяч. И вот, значит, так же, как дети, забавляется аллах? Только пинает он попеременно не мяч, а человечьи головы? Еламан даже шаг замедлил. Темная улица вмиг заполнилась мячами, но на мячах явственно проступали вытаращенные глаза, носы, рты, разверстые в крике,— головы! Головы скакали, катились, взлетали, шмякались на крыши — вон голова Еламана, вон голова Акбалы...

Еламан зажмурился, потер глаза. Потом пошел быстрее, думая об Акбале. «Какая она теперь? Изменилась ли?» Акбала была самая тяжкая боль его жизни, и эту боль разбередил дед перед отъездом — зачем? Что было нужно старому Есболу? Или он пытался своим слабым дыханием растопить лед, который крепко уже сковал сердце Еламана? Еламан схватился за эту мысль, стал повторять: «Лед души. Лед сердца. Постой! А кто в этом виноват?»

Разве виновата в этом несчастная женщина? Разве виноват в чем-нибудь заблудившийся путник, бродящий во тьме? И разве человеческие головы не есть в самом деле мячики аллаха, разве не подыгрывают аллаху разные Танирбергены, забавляясь и пиная их как вздумается?

Еламан от напряжения даже дух затаил — вспоминал все слова, сказанные старым Есболом. Тогда-то он мимо ушей пропустил эти слова. Более того — разозлился, потому что думал тогда только о честности. А теперь он понял, что старик имел в виду человечность. Человечность, честность... Разве это не родственные движения души?

Проблуждав в задумчивости довольно долгое время, Еламан пришел наконец домой. Едва открыл он дверь, как услыхал привычный всепотрясающий храп — Мюльгаузен спал. Этот храп был могуч и разнообразен, Еламан даже просыпался иногда среди ночи и долго потом не мог заснуть.

Тихо прошел он в свою комнатенку и, не зажигая лампы, присел к окну. Спать ему не хотелось. Он стал глядеть на залитый луной двор и думать о человечности. Думал он, почему это люди так жестоки друг к другу. Чуть обидятся — мигом забывают все хорошее, начинают враждовать, а от вражды идет все зло.

Вот об этом-то и говорил намеками дед, привязав перед отъездом верблюдицу у ворот. Да, не взвесил, оказывается, Еламан на весах рассудка полную ошибок жизнь несчастной женщины. Пока не станешь выше слепой ревности, не бывать и справедливости.

«Ну давай, давай взглянем на все со стороны спокойно, давай разберемся! Ведь все беды, все бесчисленные унижения и падения связаны с одним только человеком — с Танирбергеном. Это он ястребом кружил над лучшими джигитами аула, он через Кудайменде настраивал против рыбаков купца Федорова, он загнал Калена в Сибирь, это он упек в армию меня и Рая! И он разбил всю жизнь бедной женщины, смущал ее в замужестве, выкрал ее, когда я был в тюрьме, и, позабавившись ею, пока не наскучила, со своей обыч-

ной холодной жестокостью выгнал из дому, и она ушла, растворилась, уехала с попутным обозом в зимнюю стужу и будто в воду канула».

Еламан устал. Чувствуя слабость и головную боль от мыслей, он лег спать. И уже ни о чем больше не думал, а только спрашивал отдаленно у кого-то: «Какая она сейчас? Изменилась? Или нет?» И не получал ответа.

IV

Весенним вечером, как всегда, растекался по городу рев гудка. «Ну заревела верблюдица к подою!» — пошутил про себя Еламан. Слободские рабочие собрались кучками и, оживленно разговаривая, потянулись к выходу из депо. Трое молодых рабочих приостановились было, куда-то позвали Еламана, но он не расслышал, махнул им рукой. Он поджидал Мюльгаузена и следил за ним издали. А Мюльгаузен то ли не замечал Еламана, то ли притворялся — в его сторону не смотрел. Весь день он работал сегодня под паровозом, лежа на спине на шпалах, засыпанных шлаком, залитых мазутом. После гудка он с трудом вылез из-под паровоза, весь в мазуте, блестя маленькими глазками, и, насупив брови, стал переодеваться.

Еламан вспомнил, как много сделал для него Мюльгаузен. Это он спас его однажды от верной смерти в турецкой земле. Он потом пригласил его в Челкар и устроил на работу. Он позвал его к себе жить. Однажды (это еще в первое время, когда Еламан особенно тосковал по Раю, подошел к нему сзади Мюльгаузен. Хлопнув его по плечу, спросил, грубовато усмехаясь:

— Ну, едрена мать, как дела?

Еламан не обернулся. Удивленный Мюльгаузен заглянул через плечо в лицо Еламану. Увидев на щеке Еламана прозрачную слезу, Мюльгаузен изменился в лице.

— Кто тебя тронул? — хрипло спросил он. — Ну? Скажи, кто? Я ему...

Еще любил Еламан смотреть, как Мюльгаузен работает. Все у него получалось ловко, легко, самая тяжелая, надсадная работа казалась пустяковой игрой в его руках.

Подождав, пока Мюльгаузен переоденется, Еламан подошел к нему.

— Пойдем вместе, а?

— Иди, иди — чего я тебе?

— А ты... Ты не домой разве?

Мюльгаузен не отозвался. Еламан видел, что тот не в духе почему-то, но воспоминания о Турции и о первых днях в Челкаре умилили его, и он вдруг, улыбнувшись смущенно, потянулся было обнять его. Мюльгаузен поморщился:

— Отстань ты от человека!

Еламан как-то сразу весь потух, сгорбился и молча побрел к вы-

ходу. Видно, прав был дед Есбол: равного друга трудно найти. А дружба неравных людей все равно что плохая нога хромого: чем короче нога, тем сильнее человек хромает.

И по дороге домой Еламан твердо решил, не откладывая больше, перейти на другую квартиру.

А решив так, Еламан облегченно вздохнул, повеселел и поднял глаза. Навстречу ему шла женщина. Он еще не разглядел ее толком, но ноги его вдруг ослабли почему-то, а сердце заболело и застучало. Он глянул пристальнее и стал задыхаться, будто долго бежал перед этим,— навстречу ему шла Акбала.

Она его сначала не заметила, проходя мимо, рассеянно подняла печальные глаза и даже отшатнулась, мгновенно изменясь в лице. Потом вспыхнула, как юная девушка при виде возлюбленного, тут же отвела взгляд и пошла дальше.

«Боже, боже! Как она изменилась!— лихорадочно соображал Еламан, сжимая в кулак дрожащие пальцы.— Плюшевая безрукавка истерлась, платье поношено...»

Щемящая жалость, и любовь, и нежность пронзили его. Он глядел ей вслед — она все уходила, уходила своей напряженной походкой, и он вдруг почувствовал все ее смятение, всю нерешительность...

— Акбала!— хрипло позвал он.— Акбала-ай!..

Акбала уходила. Оробев, не зная, что сделать, что крикнуть, Еламан столбом стоял на улице, приоткрыв беспомощно рот. «Неужто не обернется? Неужто в самом деле не захочет даже поговорить?» И он понял уже, что не обернется она, затоптанная ее гордость не позволит обернуться. И еще он понял, что по-прежнему любит ее и жалеет.

А Акбала, ожесточаясь, как будто бросая кому-то вызов: «Я все та же Акбала!»— уходила. Дыхание ее прерывалось, точеный нос заострился, черные глаза на белом лице блестели. Такое выражение глаз бывает только у раненого зверя, судорожно бьющего ногами, будто бы бегущего в последний свой миг по земле.

«Ничего! Ничего между нами не может быть! Все кончено!» Раза два ей казалось, что она упадет, и она начинала шептать, прося у кого-то сил. Как строго (так ей показалось), как пренебрежительно глядел на нее Еламан!

Она опомниться не успела, как дошла до дома, хозяин которого приютил ее в Челкаре. Два малыша выбежали ей навстречу, но, испугавшись ее вида, отошли в сторону. Только самый маленький, несмышленыш, как всегда, радостно крича: «Апа, апа!»— подбежал и вцепился в подол.

Акбала машинально подняла ребенка, вошла в дом и застыла посреди комнаты. Она так ослабела, что даже до кровати не могла дойти, и опустилась на пол.

— Сам виноват!..— шептала она, вытирая мокрые глаза.— Во всем только сам виноват! И в моем несчастье, и в несчастье ребенка нашего...

И она уже с бешенством, со злорадством припоминала все несчастья, во всем виня Еламана.

— Сколько умоляла: «Не выходи на лед!» Не послушал. А ведь знал, что будет буря. Знал, знал! А все-таки вышел на лед. Говорил, что любит. Нет! Не только не любил, но и не уважал. Если бы любил — слушал бы меня, слушал бы!.. А ты на своем настоял? Настоял? Так вот тебе, вот тебе! Гляди теперь! Вышел тогда на лед? Бая русского убил? А если бы ты любил меня... если б ты о нашем ребенке подумал, стал бы ты русского бая убивать? Нет, ни о ком ты не думал! Ты виноват... Ты... Во всем! Один ты!..

Испуганные ребятишки сбились в углу, молчали, глядели во все глаза на Акбалу, слушали ее шепот, ее заклинания, видели, как она раскачивается и хватается за голову,— и ничего не понимали. Младший хотел было заплакать и даже скривился, но старшие погрозили ему, и он не решился заплакать. Акбала ничего не видела и не слышала.

Пришел Ануар. Он так тихо притворил за собой дверь, что Акбала и его не услышала. Некоторое время он смотрел на сгорбленную ее спину, на опущенную голову, потом кашлянул и спросил нерешительно:

— Ты... чего так сидишь?

Акбала промолчала. Потом встала и зажгла лампу. Выкручивая фитиль, чтобы поярче горело, она оглядела себя и поразилась, что не замечала раньше нестираного своего платья из белого батиста. «Как я опустилась!— со стыдом подумала она.— До чего дожила! Свою одежду не могла простирнуть!» Теперь она поняла (так ей показалось), почему Еламан пожалел ее глазами, вместо того чтобы презрительно отвернуться от неверной жены, причинившей ему столько зла. «Нет, нет, я правильно сделала, что не подошла к нему!»— думала она.

Немного придя в себя, Акбала занялась ужином. Она быстро ходила по комнате, искала то кастрюлю, то какие-то припасы, и как тень ходил за ней Ануар. Она останавливалась — потупив глаза, останавливался за ее спиной и он.

Сначала Акбала не обращала на него внимания, но потом странное поведение Ануара стало ее раздражать.

— Чего тебе?— резко вдруг спросила она, повернувшись к нему.

— Так... Просто так...

— Свихнулся ты, что ли?

— Акбала... Прости!..

— За что?

— Да вот... Сама знаешь, захворал я... Из-за меня все вы нужду терпите.

— А-а! Да ведь со всяким может случиться.

— Нет, я просто... Я к тому говорю, что... Теперь уж я здоров. Завтра вот выйду на работу.

— Смотри! Не рано ли?

— Нет, нет... Я здоров! Совсем здоров! Я вот что хотел сказать, не о том вовсе... Ты прости, я путаюсь...

Ануар запнулся. Он переминался, глядел в угол, открывал и закрывал рот. Акбала решила помочь ему:

— Ну-ну... О чем ты хочешь сказать?

— Я хотел сказать... Ты только не сердись!

— Да нет же!

— Нет, ты не сердись... Я не знаю...

— О боже! Да говори ты!

— Акбала... Вот я тебя прошу: будь матерью... вот этим детям, а? Я хотел сказать... Так сказать, две половинки — одно целое.

Акбала опустила глаза. Она думала, что нужно немедленно уходить из этого дома, иначе рыжий возьмет ее измором.

— Зачем я тебе?— возразила она.— Ты еще молод, найдешь себе хорошую жену. А я вон даже с первым мужем не ужилась... Спасибо тебе, Ануар, теперь я уйду.

— Нет... Что ты, что ты! Куда ты пойдешь?

Но Акбала уже не слушала его. Быстро собрав всю свою одежду в узелок, она обернулась к детям, молча сбившимся возле очага.

— Ну, милые мои, будьте здоровы!..

Она подошла к ним, присела, чтобы поцеловать их, и вдруг замерла — на глазах у детей блестели слезинки. Мигом вспомнила она своего ребенка, оставшегося в ауле, и заплакала. Крепившиеся из последних сил детишки тоже заревели, прильнули к Акбале.

— Апа... апа, не уходи...

— Не уйду, глупые,— шептала обессиленная Акбала.— Куда же я от вас уйду?..

V

Удрученный, хмурый Ануар вернулся с работы рано. Идя домой, он не чувствовал духоты, не замечал, как все струится в воздухе и пахнет накаленным кирпичом.

Не успел он пройти мимо магазина Темирке, как навстречу ему из-за угла колесом выкатился круглый толстяк. «Ну вот, еще одну беду бог послал!— с досадой подумал Ануар.— Сейчас начнет долг выколачивать...»

Толстяк был известный татарский купец, один из крупнейших после Темирке, закупавший рыбу в Казалинске и Камбаше и вагонами отправлявший ее в Оренбург.

— Э! Э!— еще издали, будто увидел лучшего друга, закричал купец.— Ануар-афенде, жив, здоров ли?

— Слава аллаху, бай...— смущенно ответил Ануар.

— А? Ну-ну... Фффу! Вот жара! Когда же, любезный, думаешь должок вернуть?

Ануар, как оседланный конь, тяжело переступил с ноги на ногу. Хотел было что-нибудь соврать, да язык не повернулся. Купец оглядел Ануара, похмыкал неодобрительно, велел, чтобы завтра же были деньги, и покатил дальше.

Придя домой, Ануар тяжело сел и потупился. Дети радостно кинулись к нему, стали шарить по карманам и за пазухой, искать гостинца. На лбу у Ануара выступил пот. «Что теперь делать?— в тупом отчаянии думал он.— Господи, да где же справедливость! Детишки ведь меня живьем съедят! Как же можно было меня выгонять с работы?»

Акбала удивилась, что Ануар так скоро вернулся с работы, но спрашивать ни о чем не стала, хоть и чувствовала сердцем что-то недоброе.

День прошел вяло, в молчании и безделье, и спать легли рано, едва зашло солнце, даже лампу не зажигали. Утром первые проснулись дети, захныкали от голода. Акбала лежала некоторое время, закрыв глаза, слушая плач детей, потом подняла голову. Ануар лежал возле стенки, и видно было, что не спал, а уж время было вставать, идти на работу. Акбала похолодела.

— Ануар!— громко позвала она. Ресницы Ануара дрогнули.— Почему не встаешь?

— Ну встану...— сипло пробормотал он и покашлял.— Встану... А потом что? Чего вставать-то?

— Как чего? На работу идти...

— Кха!.. Какая работа?

— Тебя прогнали?

— Нет...

— Так ты работаешь или нет?

— Нет... Пока я болел, на мое место другого взяли...

— Так... Как же теперь дети?

— Откуда мне знать?

Акбала молча оделась и вышла из дому. Пойти ей было некуда — она отправилась на базар. На базаре было шумно, жарко, множество крикливых голосов сливалось в один высокий вопль, торговцы сходились, расходились, разворачивали, мяли материи, колупали подметки сапог, ели в тени лавок вареную баранину (у Акбалы рот наполнялся слюной и голова кружилась), хрипло ревели верблюды, пахло то сушеным урюком, то рыбой, то несвежим мясом...

— Кому, кому холодной воды?— верещали мальчишки.

— А вот свежий хлеб! Свежий хлеб!

— Кому рыбы?

Сперва Акбала думала занять немного денег у кого-нибудь из знакомых, но потом оробела, устала от криков, суеты, жары и пыли и побрела домой.

Дома было еще немного муки, к вечеру Акбала замесила пресное тесто, все съели по лепешке и поскорее легли, чтобы забыть во сне обо всем плохом и чтобы не так хотелось есть.

VI

Еще восток не начал светлеть, еще тьма разлита была по городу, когда Акбала проснулась от торопливого стука в дверь. Она вскочила в испуге, прислушалась, и сердце у нее вдруг зашлось: опять кто-то забарабанил в дверь.

В комнате было темно, как в могиле, единственное окно плотно занавешивали на ночь. Сначала Акбала ничего не могла сообразить, шарила вокруг себя, потом вспомнила, что за детьми у стенки спит Ануар.

— Ануар!— тихо позвала она. Потом погромче:— Эй, Ануар!

— А? Что?.. Чего тебе?

— Вставай! Кто-то в дверь стучится...

— Кто?

— Не знаю...

— Эй, кто там?..— слабым от страха голосом крикнул Ануар.

— Откройте!— приглушенно попросил кто-то за дверью.

Акбала уже зажигала лампу. Ануар, торопливо натянув штаны, пошел открывать. У двери он остановился и беспомощно оглянулся на Акбалу, как бы умоляя: «Может быть, все-таки не открывать?» Акбала торопливо подошла к нему и уставилась на дверь. Лампа дрожала в ее руке, свет колебался.

— Кто там?— заикаясь, спросил Ануар.

— Ради бога откройте!

— Все-таки он мусульманин...— пробормотал Ануар, возясь с запором. Чуть приоткрыв дверь, он тут же отскочил, едва не сбил с ног Акбалу.— Ойбай, пропали...— заскулил он.— Бандит!

В дверь, пригнувшись, быстро протиснулся высокий человек с винтовкой в руке, тут же запер дверь на запор, шикнул на Ануара:

— Ради аллаха молчи! Погаси свет.

Акбала послушно прикрутила фитиль, и в доме опять стало черно.

Человек затаил дыхание, прислушиваясь. На улице, довольно далеко от дома, послышались голоса. Через минуту несколько человек грузно пробежали мимо дома. Шаги бегущих смолкли невдалеке, и непонятно было, остановились бегущие или просто их не стало слышно.

VII

Едва только ночной гость, нагнувшись, вошел в дом, как Акбала сразу узнала Еламана. И он ее мгновенно узнал, но не до нее ему было в эту минуту. Весь он был поглощен одним — пробегут солдаты мимо или остановятся, а если остановятся и станут ломиться в дом, то стрелять или нет?

На улице давно не слышно было ни звука, но в доме никто не шевельнулся. Лампу не зажигали; казалось, все предпочитали темноту. Оцепенев, стояли Еламан и Акбала. Неслышно переминался с

ноги на ногу озябший и ничего не понимавший Ануар. Акбала даже боялась дышать — так тихо было в доме. Раз ей показалось даже, что это все сон...

Опомнившись, она молча принялась стелить постель. Мужчинам она постелила вместе, а сама легла с детьми. Еламан, не раздеваясь, молча лег с краю и положил рядом винтовку дулом к двери. На улице снова раздались шаги и русские голоса:

— Тут он где-то...

— А ты заметил, где он свернул?

— ...в бога мать, тут дворами уйдешь...

Еламан сел, нащупал винтовку, винтовка ходуном ходила в руках. Страх холодным комком сидел у него под сердцем. «Как могли они догадаться, что мы...— лихорадочно соображал он.— Что с Мюльгаузеном? Успели ли остальные бежать? Меня ли ищут?»

А ведь так хорошо все получалось сначала! Город спал глубоким сном. Они вышли к железной дороге. Кругом стояла такая мертвая тишина, что Еламан вздрогнул, когда со стороны станции раздался паровозный гудок. Он было пригнулся, но Мюльгаузен все так же ровно шагал впереди, смутно маяча своей кряжистой фигурой, и Еламан успокоился.

Миновав железную дорогу, они шли уже недолго. Осторожно пробираясь вдоль домов и дувалов, они подошли к длинному каменному пакгаузу и залегли. Над широкими дверьми пакгауза висел керосиновый фонарь, бросая вокруг зыбкий свет. «Где же часовой?»— подумал Еламан. Потом заметил черную тень, медленно, будто в раздумье, приближавшуюся от угла здания к свету фонаря.

— Что будем делать?— шепнул Еламан, ближе всех лежавший к Мюльгаузену.

Мюльгаузен шепотом выругался и полез за финкой. Приподнявшись, он оглядел своих, все эти бледные пятна лиц, едва освещенные далеким фонарем, погрозил им кулаком, чтобы лежали молча, и осторожно пополз к часовому. Через минуту его уж не различить было.

Часовой остановился под фонарем, прижал локтем приклад винтовки и полез за кисетом и бумагой. Он уже склеивал папироску, когда сзади на него бросился Мюльгаузен.

Вскочив, Мюльгаузен споткнулся обо что-то: в тишине громко брякнул металлом о металл; часовой бросил папиросу, схватился за винтовку, заорал:

— Стой! Кто... —И потом.— А-а-а-а-а!..— Это когда Мюльгаузен сбил его с ног и пырял финкой, все не попадая в сердце.

Через секунду крик оборвался, Мюльгаузен выпрямился, махнул своим рукой и подошел к дверям, разглядывая замок.

Кто-то метнул камнем в фонарь — свет погас.

— Быстрее!— задыхаясь от злости и стыда, что не сумел бесшумно снять часового, крикнул Мюльгаузен.— Быстрей, вашу мать! Где ломик?

Сразу человека два-три запыхтели над замком, звякали ломиком, с треском выворачивали скобы. Потом со скрипом растворили тяжелые створки дверей, вбежали в прохладную темноту склада, стали чиркать спичками, светить. Ящики с винтовками и патронами оказались в самой глубине. Их быстро выносили наружу. Те, кто остался у дверей, подхватывали ящики и исчезали в темноте, только слышно было удаляющееся надсадное дыхание. Настала очередь Еламана, он расставил ноги, сгорбился, готовясь принять на плечи очередной ящик, и тут фиолетово полыхнуло невдалеке, ударил выстрел, щепки веером брызнули от двери.

— Бросайте все!— крикнул в темноту склада Мюльгаузен.— Бежим! Скорей!

Из темноты уже кричали: «Стой! Стой!» Началась неровная беспорядочная стрельба, пули смертно посвистывали, Еламан кинулся во тьму вслед за Мюльгаузеном, споткнулся о тело солдата, упал, вскочил, побежал, потом вернулся, вытащил из-под солдата винтовку, отстегнул подсумок с патронами и опять побежал. За ними гнались, стреляли наугад, Еламан тоже выстрелил два раза, потом сообразил, что лучше не отстреливаться, бежать в темноту. Мюльгаузена он потерял, прибежал на какую-то улицу, перевел дух, соображая, куда теперь деваться. Потом услышал вдалеке голоса преследователей. Голоса матерились, перекликались, приближались... И он решил стучать в первую попавшуюся дверь.

И вот что получилось! Вот куда он попал! Лежит теперь во тьме рядом с Акбалой и ее новым мужем, и никто не спит, кроме детей, и все думают — как же быть дальше?

Скоро начало светать. Из-под полы черного чапана, которым было завешено окно, стал просачиваться розовый свет — значит, небо заалело.

Ануар приподнялся, повел глазами по комнате, покашлял, потянулся и встал. Акбала из-под ресниц следила за ним. Ей показалось, что Ануар как будто разучился ходить. Он по-журавлиному переставлял длинные тощие ноги, будто не по земле шагал, а по топкому болоту.

Потолкавшись по комнате, Ануар вдруг вышел из дому. Еламан неприязненно посмотрел ему вслед. Акбала перехватила его взгляд и покраснела. Ей захотелось сказать, что живет она в доме Ануара только ради крова, ради пристанища.

Едва Ануар вышел, она сразу почувствовала близость Еламана. Почувствовала запах мужчины, его крепкое большое тело, запах его одежды, от которой прежде несло рыбой и здоровым, соленым потом, а теперь пахло металлом и мазутом. Она вдруг поняла, что осталась наедине с первым мужем, с первым мужчиной, которого она узнала и который узнал ее, и сердце у нее забилось как у юной девушки.

Она напряглась и замерла.

Не шевелился и Еламан. Изредка он взглядывал в сторону Акбалы и тотчас отводил глаза. Между ними, безмятежно посапывая, спали крепким сном малыши. За детьми в полумраке комнаты круглилось теплое тело молодой женщины. Еламан заметил, как под одеялом вздымалась и опадала грудь Акбалы, кровь ударила ему в голову. «Что делать? Как поступить?»— мучительно думал он, не в силах уже лежать молча рядом с самой дорогой на свете женщиной.

И Акбале тоже стало совсем невмоготу. Она поднялась и, понурившись, пошла к двери. Еламан быстро сел.

— Акбала!..— хрипло сказал он.

Акбала остановилась. Дрожь охватила ее, будто сладкий яд мгновенно прошел по жилам. Но опять, как и давеча на улице, она сдержалась, не обернулась; как побитая, вышла на улицу, прислонилась к двери снаружи и, ничего не видя, уставилась прямо перед собой.

VIII

А Еламан, едва остался один, вспомнил вдруг ночь, вспомнил, что надо идти на работу (но как идти?), что нужно спрятать винтовку и что, может быть, в доме Мюльгаузена уже был обыск, Петра схватили и теперь ищут по всему городу Еламана,— и уже не мог больше лежать, торопливо вскочил, торопливо и осторожно позвал несколько раз:

— Акбала! Акбала!

Акбала вошла, вопросительно посмотрела на Еламана.

— Слушай... Вот, нужно где-то спрятать, дай что-нибудь завернуть... Спрячешь где-нибудь во дворе...

Акбала подала ему какие-то тряпки, Еламан завернул винтовку и подсумок с обоймами.

— На!— тихо сказал он.— Только смотри, чтобы не увидел кто...

Принимая винтовку, Акбала чуть не выронила ее, так показалась она ей тяжела. Минут через пять она вернулась, молча кивнула. Еламан, нервно топтавшийся по комнате, шагнул ей навстречу.

— Спасибо, Акбала!

Акбала беззащитно подняла руку, как бы возражая. Еламан сразу вспомнил этот ее давний жест и, потрясенный, глядя на печальную молодую женщину, подумал: «Бог ты мой, она все та же Акбала. Точь-в-точь как прежде!»

Ему уже не думалось о ней как о женщине — ему просто хотелось сесть с ней рядом, обнять ее, погоревать вместе, что жизнь их пошла врозь, что так много у обоих было горя и обид, что очаг их разрушен и что прошлого не вернешь...

Ребятишки проснулись, зашевелились, удивленно разглядывая чужого человека. Акбала вздохнула и стала готовить чай. Достав немного муки, она замесила пресное тесто на лепешки, потом растопила печь. Запах свежих лепешек наполнил комнату. Боясь лишить-

ся своей доли, ребятишки быстро вскочили, но чужой человек пугал их, и они не смели ничего просить.

Еламан взял было лепешку, потом посмотрел на детей.

— Пусть дети поедят...— пробормотал он и отдал лепешку назад.

Ребятишки несмело подошли к Акбале. Акбала дала им лепешек, но смотрела при этом холодно, и дети не смели есть, растерянно переводя глаза с Акбалы на чужого человека.

— Идите, милые... Идите, поиграйте!— Акбала выпроводила детей и вернулась в комнату. Усевшись на край одеяла, на котором сидел Еламан, она из-под длинных ресниц долго смотрела на него. На бледном ее лице появилась и тут же исчезла виноватая улыбка.

— Видишь, как живу?— потупясь, спросила она.

Еламан молча кивнул.

— Что делать... Судьба мне, наверное, такая. Как сбилась с пути, так...

— Воля всевышнего...— перебил ее Еламан.— К чему вспоминать о прошлом?..

— Нет, нет!— живо возразила Акбала.— Чего там говорить... Во всем я виновата. Не дождалась тебя. Разрушила твой очаг. Бросила ребенка грудного... Бог ты мой! Второй женой вышла — и за кого? За твоего кровного врага... Боже, как я могла?

Закрыв лицо руками, жалко согнувшись, Акбала заплакала в голос, плечи ее затряслись. Еламан молчал, мрачно глядел в сторону. Наплакавшись, Акбала вытерла слезы. Когда она опять заговорила, голос ее звучал ровно:

— Вот видишь... Даже принять тебя нечем, ничего нет в доме. Такова уж городская жизнь — скота на привязи нет. Все мы на шее одного человека, а он...

Акбала не договорила и неуверенно посмотрела на Еламана. А Еламан вспоминал в эту минуту старика Есбола, погибшего Рая, Танирбергена, Мунке и Доса, рыбаков, с кем вместе он работал, Кудайменде и Калена, вспоминал робкую свою радость после женитьбы на Акбале — все это было так недавно, два-три года прошло, и в то же время так давно, будто целую жизнь прожил он с тех пор.

Чувствуя, что молчание слишком уж затянулось, Еламан кашлянул и спросил:

— А где он... этот рыжий, работает?

— Нигде. Без работы теперь.

— А что, не может найти?

— Не знаю. Ищет, наверно...

Еламан хотел поговорить о Танирбергене, у него даже на душе саднило при мысли о мурзе, но, поразмыслив, решил имя мурзы не упоминать. И Акбала поняла это и с благодарностью перевела дух.

Женский глаз куда зорче мужского! Акбала давно уж заметила, что у нынешнего Еламана ничего не осталось от прежнего джигита-

рыбака. Русская одежда шла ему больше, чем казахская. Черные усы его теперь росли густо. Крупный с горбинкой нос и большой сильный рот, седые виски, холодные темные глаза, густые хмурые брови, обтянутые сухой кожей скулы, резкая морщина на лбу — перед ней сидел другой человек.

И горько, по бабьи пожалела Акбала свои прошлые годы, пожалела, что дымом развеялось ее счастье, что не полюбила она в свое время Еламана...

Говорить им больше вроде было не о чем. Хмуро попрощавшись, Еламан вышел на улицу и пошел, не оглядываясь на дом, где провел ночь и где осталась Акбала. «Да, разошлись наши дорожки!» — твердо думал он, но в душе все кололо что-то, неудовлетворенность какая-то, тоска.

Возле магазина Темирке он вдруг столкнулся с Ануаром. Оглядел его, спросил:

— Ну? Нашел работу?

— Нет.

— А в депо стал бы работать?

— Ах, дорогой, какой может быть разговор! Выбирать, что ли? Хоть бы как-нибудь подрабатывать, хотя бы немного...

— Ну пойдем, может, и повезет — устроишься.

Не доходя до депо, Еламан остановился и долго внимательно глядел, не маячат ли на подъездных путях солдаты.

— Что такое? Кого ты ищешь?— не мог понять Ануар.

— Ладно, ничего... Все в порядке, пойдем,— сказал Еламан, и они пошли в депо.

Как и всегда, шипели паровозы; в разных углах депо раздавались удары по металлу, грубые и нежные; но сразу видно было — что-то произошло. Незаметно было обычной суеты, не бегали, не перекликались, не орали, надсаживаясь, друг на друга машинисты. Рабочие собирались небольшими группами, нервно покуривали, оглядывались.

На Еламана, едва он вошел, начали оборачиваться. Ему подмигивали, помахивали руками. Некоторые подходили торопливо, жали руку, хлопали по плечу, приговаривали, понизив голос:

— Цел? Молодец!

— Где пропадал?

— Здорово, дорогой!

— Чего пришел-то?

Еламан ничего не понимал, только краснел и беспомощно глядел по сторонам — искал Мюльгаузена. Он скоро его увидел, окруженного рабочими. Мюльгаузен стоял спиной к Еламану и коротко рубил воздух правой рукой: что-то говорил. Слушали его напряженно. Еламан заторопился к Мюльгаузену. Ануар еле поспевал за ним.

— Петька!— позвал Еламан и тронул Мюльгаузена за плечо.

Тот резко обернулся, взглянул на Еламана, глаза его радостно сощурились, но тут же похолодели.

— Где всю ночь шлялся?— Он схватил Еламана за грудь, пригянул к себе, подержал, потом резко оттолкнул.— Дисциплины не знаешь? А? Поди вон к тому верстаку, подожди, понял?— И отвернулся, будто забыл про Еламана.

Еламан растерянно отошел, понуро, не глядя по сторонам, пошел к верстаку и стал ждать.

— Что такое, а?— допытывался Ануар.

— Что-то случилось. Не знаю...— неохотно отвечал Еламан, разглядывая свои сапоги. Ему было стыдно перед Ануаром, что он привел его сюда, пообещал работу.

Минут через пять подошел Мюльгаузен.

— Иди за мной,— тихо сказал он и, не оборачиваясь, пошел к выходу.

Вышли, огляделись.

— Слушай...— начал было Мюльгаузен и остановился, разглядывая Ануара.— А это кто такой?

— Это? Это Ануар...— забормотал Еламан.— Я вот у него ночь пережидал... Думал вот его...

— Ладно!— оборвал Мюльгаузен.— Слушай! Наши дела плохие... Только не болтать! Понял?— Он опять строго поглядел на Ануара.

— Да я никому...— начал было Ануар.

— Ладно. Не гуди. Теперь слушай, друг Еламан. Вот какое дело. Ночью Королева, что с нами был, схватили. Где-то они его словили, сволочи! Ознобин нами недоволен. Неизвестно, как там Королев — скажет что им или нет. Бить его будут — это уж точно. Может, выдержит. Мужик он сильный. Но нам надо скрываться, понял? Теперь так. Теперь я перехожу на явочную квартиру. На работу никто из наших больше не придет. Королев пока молчит. Молчит! А то бы давно в депо солдаты были...

Мюльгаузен говорил торопливо и все оглядывался. Потом вдруг спохватился:

— Пойдем-ка подальше, где-нибудь местечко найдем укромное, договоримся окончательно.

Долго плутали по запасным путям, нашли наконец старый пустой пакгауз с дырявой крышей и сорванными дверьми. Вошли внутрь. Сквозь выбитые небольшие окошки наверху видно было горячее бледно-голубое небо. В пакгаузе пахло запустением, мусором. Было прохладно. Все казалось таким мирным — окраина городка, редко когда прогудит паровоз возле депо или на станции, еще реже раздастся низкий гул: какой-то машинист продувает котел... Но Еламана знобило от мысли, что опасность близка, что в любую минуту могут появиться солдаты, оцепить железнодорожный узел.

— Так вот,— уже поспокойнее, закурив и попыхивая дымком, продолжал Мюльгаузен.— Тебе тоже надо, браток, смываться. Мы сегодня на рассвете подумали, прикинули и решили: не иначе как надо тебе подаваться в свой аул. До аула твоего далеко?

— Если пешком, дней десять...
— А верхом?
— За три дня можно доехать.
— Так... Это мы предусмотрели.— Мюльгаузен полез в карман, вытащил тощую пачку денег.— Вот, бери. Это тебе на лошадь. Сам на базар не ходи, пусть он пойдет, купит коня. А ты пережди день у него дома, а ночью трогайся. Понял? Такой приказ партии. Побудешь пока в ауле, с рыбаками поговоришь. Поагитируешь их как надо, понял? Когда у нас дойдет до восстания, до революции, мы тебя известим. Все! Значит, так: иди сейчас вот к нему, сиди у него до ночи. Сможем прийти — проводим. Нет — поедешь сам. Будь здоров!

Мюльгаузен встал, крепо пожал Еламану руку, кивнул Ануару. Потом осторожно выглянул из пакгауза.

— Вроде никого,— сказал он.— Ну, всего. Где ты живешь-то?— спросил он у Ануара. Адрес выслушал молча, прикрыв глаза. Кивнул несколько раз головой.— Хорошо. Вещички твои Маша принесет к вечеру... Так, гляди, не попадись. Если все хорошо будет, окно не завешивайте, пусть свет горит, запомнишь?

И пошел, не оглядываясь, сутуля широкие плечи. А Еламан с Ануаром, выждав минуту, пошли в другую сторону.

IX

В степь Еламан выехал глухой ночью. Как всегда бывает, первое время он вспоминал о Челкаре, о своей работе в депо, о Мюльгаузене, Markdown Ознобине и Селиванове. Он чувствовал, что жизнь его теперь пойдет иначе, что на мир будет он смотреть другими глазами. Время, когда он, бросив коней Кудайменде, стал рыбаком, казалось ему таким далеким, будто тридцать лет прошло с тех пор.

И он уже перебирал в памяти всех своих сородичей, друзей и врагов, воображал рыбачий аул... В первую ночь проехал он великие барханы Улы-Кума в самом их узком месте. Потом повернул и поехал напрямик к Карале-Копу. Взошло солнце, стало припекать. Еламан решил, что конь после ночного перехода не выдержит дневной жары, и расположился на дневку в тени, недалеко от колодца с холодной солоноватой водой. Целый день Еламан дремал и просыпался, испуганно оглядывая степь: в дреме ему казалось, что его догоняют солдаты.

Вечером он опять собрался в дорогу. До утра он намеревался добраться до горы Боташ. Раньше возле Боташа обитало множество аулов, а Еламану уж надоела безлюдная степь, и он хотел поскорее добраться до жилья. Луна высоко и серебристо сияла в вечереющем небе, потом небо померкло, а луна покраснела, опустилась, распухла, будто приблизилась, а Еламан все ехал. Конь его, второпях купленный на базаре Ануаром, шел плохо, был тощ и заморен.

Потом небо обложили тучи. Стало безветренно и душно. Пищали, вились над головой комары. С непривычки долгий путь изнурил Еламана, и он еле держался в седле. Не вытерпев, он задремал, склоняясь головой чуть не до луки седла. Неизвестно, сколько времени ехал он, когда конь вдруг остановился и жадно всхрапнул. Проснувшись, Еламан поправил съехавшую винтовку и всмотрелся в темноту. «Что, это? Овраг?— с беспокойством подумал он.— Тут не должно быть оврага... Или... Может, это Таволжий овраг?»

Поначалу ему показалось, что степь безмолвна, но потом он услыхал из черноты оврага слабый мерный стрекот кузнечиков, невдалеке несколько раз крикнул филин. Филин ухал и стонал с такой тоской, что казалось на земле наступила вечная ночь и никогда уж во весь век не встанет солнце.

«Прячется, наверное, где-нибудь в брошенном зимовье или на могиле»,— подумал Еламан, слезая с коня. Соскочив на землю, он еле устоял на ногах. Передохнув немного и размявшись, Еламан снял седло и стреножил коня. Конь сразу поскакал к оврагу, начал жадно пастись, и Еламан решил, что по оврагу растет мортук. Он знал, как трудно бывает сладить с конем, когда дорвется тот до мортука.

И еще уловил Еламан запах, который всегда трогал его сердце и вызывал слезы на глазах,— терпкий запах свежей полыни, не увядшей еще, хоть давно уже нещадно палило солнце, напоенной чистой водой родника, бегущего по дну оврага.

— Эх, степь родная... Милая ты моя, жгучая полынь!— пробормотал Еламан, валясь в прохладную высокую траву.

Он заснул скоро и проснулся на другой день поздним утром. Сытый, отдохнувший за ночь конь радостно заржал, увидев поднимающегося из травы Еламана.

Переехав через овраг, Еламан остановил коня и оглянулся. Ему жалко было уезжать. Впереди лежала выгоревшая буро-рыжая степь с трепетавшими в струящемся мареве хищными кобчиками. А овраг был сочно-зелен, душист и прохладен. Красноногая стройная таволга розовой лентой тянулась вдоль родника. В густых зеленых зарослях разнотравья она ярко пламенела на солнце, будто красный шелковый поясок, соскользнувший с девичьего стана.

Поглядев на овраг, он хотел было ехать дальше, но вспомнил о ночных воплях филина, повернулся в седле и увидел за оврагом одиноко дремавшую каменную могилу. Это была могила Абралы — отца Танирбергена. Значит, и правда это был Таволжий овраг? Сколько раз овраг этот служил осенним пастбищем богачу Кудайменде! Сколько раз останавливался он тут по пути с джайляу, когда гнал свои бесчисленные стада вдоль Улы-Кума после шестимесячного выпаса на пространных землях племени Тлеу-Кабак! И до самой зимы потом прочно обосновывался здесь большой аул, пас мелкий скот и молодняк в затишье оврага, и не страшны были ему осенние ветры и морозы.

Бывал здесь и Еламан в те годы, когда пас коней Кудайменде. И тогда зеленел тут овраг в бурой степи и торчала одинокая могила Абралы. Край родной!

Родные места, где уже столько веков плодились, росли, трудились и умирали его деды и прадеды. Это все правда, правда! Но зачем все они тут жили и что нажили? Разве похожа эта степь на цветущий край? Разве нашел себе приют в степи этот народ? Сколько поколений бесплодно провело жизнь в этой великой степи, ничего не сделав для себя и ничего не оставив за собой! Какой толк был в жизни всех его предков — бедной, неуютной жизни, проведенной на горбах верблюдов и на конях? Да и подумал ли кто-нибудь хоть раз о смысле жизни всего народа? Было ли что-нибудь у них, кроме распрей, взаимной барымты из-за пастбищ и умыкания девушек?

Дремлет равнодушная рыжая степь, ничего не говорит она одинокому всаднику. А заставить бы ее заговорить! Бог ты мой, есть ли в этих краях хоть пядь земли, не окропленная женскими слезами и кровью джигитов?

Еламан тяжело вздохнул и принялся подгонять заморенного коня. Безлюдная, выгоревшая степь была безбрежной. За перевалом — перевал, за холмом — холм, как волны в море, манили, увлекали путника вперед и вперед. Все казалось, что с очередного холма откроется что-то взору — аул ли, строение ли, дерево ли возле родника... Но каждый раз взору открывалось пустынное пространство выгоревшей земли. Бесконечная протяженность, будто долгая, неизлечимая болезнь навевала уныние. Ни единого озерка, ни реки — только степной белый ковыль, мятлик и серая полынь беспомощно припали к земле.

Сколько уж ехал Еламан, а не встретил еще ни одного аула. Земля от жары высохла, как доска, колодцы пересохли.

Шаруа не могли, как в хорошие дождливые годы, держаться вместе, большими аулами — мотались по степи в одиночку в поисках не пересохших еще родников.

Еламан с тоской оглядывал голую пыльную степь и думал, что край его несчастен и неизвестно, что ждет его в будущем. И что он, так же, как и его край, мало видел счастья на свете, что и он подобен чахлой травинке, пустившей корни в этой пустыне, что и он борется за какое-то свое ничтожное существование.

Вот на этой земле в бабьих муках родила его мать. И как он тосковал по этой бесплодной, но родной земле в Турции! Он грустил по ней, как по лику матери, и не жил, а прозябал, подавленный тоской о родине.

Вечно несчастный край! В извечной возне со скотом народ этого края сам превратился в покорный скот. Как горько видеть, что рассыпался по степи, разбрелся народ, измельчал, выродился и стал подобен птичьему помету.

К обеду пекло уже невыносимо. Погоняя коня ногами и камчой, Еламан переваливал один за другим песчаные барханы, бугрившиеся, будто волны в море. Плавали, дрожали кругом миражи. Пыль высоко поднималась за конем и не оседала.

Когда солнце стало сваливаться к закату и замученный конь, хрипя, поднялся на очередной, выжженный до красноты холм, Еламан увидел внизу заброшенное зимнее стойбище. Еламан поглядел на дом внимательно, и сердце его забилось от печали. Он сразу узнал место и всё вспомнил. В этом доме ночевал он в ту страшную зиму, когда после убийства Федорова его с Раем везли в Челкар.

Этот одинокий дом в ложбине... Видно, давно в нем никто не обитает. Крыша содрана, обнажена, будто ребра. Мрачно зияют окна и дверь.

Вспомнил Еламан суровую старуху, которая велела зарезать для них барана. Вспомнил и девушку, и ее горячую лепешку у себя за пазухой. Так и жила та далекая девушка в его душе нежным духом, словно сострадание ласточки, которая, по преданию, носит в клюве воду людям, попавшим в ад.

Еламан спустился вниз, подъехал к стойбищу, слез с коня, выбрал тайное место и спрятал винтовку и подсумок с патронами. Отъехав шагов двести, он остановился и оглянулся на дом. Где, подумал он, обитатели этого дома? Живы ли? А если живы — где теперь влачат свою покорную жизнь?

В тоске двинулся он дальше и опять ехал по пустой степи и никого и ничего не встречалось ему уже больше.

X

Давно уже не было единства среди рыбаков на круче, давно они разделились на два аула — аул Мунке и аул Доса. В ауле Доса больше было людей пришлых, перекочевавших в прошлую зиму при джуте к морю.

Совсем мало рыбаков осталось возле Мунке, большинство ушло с семьями к Досу. Да и как было не уйти? Дос и Тулеу разбогатели, каждый день квасили молоко — Танирберген подарил им верблюдов и кобыл. Завелись коровы и верблюды и у других семей. Самые бедные и те завели себе по козе, и если уже не пили молока вдоволь, то хоть забеливали чай молоком.

Одна беда была в большом ауле Доса: надо было гонять скот на выгон за Бел-Араном, по очереди выделяя по человеку из каждой семьи. И каждое утро перед выгоном скота стояла над аулом Доса сплошная ругань. Чаще всего шумели и ругались Судр Ахмет и Каракатын. До смерти не хотелось им каждый раз плестись в знойный день за скотом.

И сегодня Судр Ахмет решил не ходить на выгон и послал пасти скот свою жену. А когда солнце припекло, он окончательно убедился, что поступил правильно. В полдень, в самый зной, он с наслаж-

дением лежал в прохладной землянке и с гордостью думая о том, какой он предусмотрительный и мудрый.

В это время в аул въехал верхом джигит Танирбергена, ведя в поводу другого коня. У землянки Судр Ахмета он спешился и нырнул в дверь. Через минуту Судр Ахмет, спотыкаясь, выбежал на улицу. Поднимая босыми ногами горячую пыль, он торопливо подошел к крупному вороному коню. Джигит Танирбергена шел следом, говорил что-то, но Судр Ахмет не слушал. Забыв обо всем, он ходил вокруг коня.

— Э! Говори, говори, рассказывай...— бормотал он как бы без памяти.— Я слушаю...

А сам уже разглядывал зубы коня. «Э, черт! Старый уже...— разочарованно понял он, но тут же и ободрился.— А что мне? Деньги платить, что ли? Э! Э! На коне куда лучше, чем пешим. Да! Можно на нем по аулам разъезжать? Можно. Ты думаешь, станет кто-нибудь разевать ему рот и в зубы глядеть? Все посмотрят на его вид и залюбуются: пай-пай, что за конь! А потом... А что, и очень даже может быть, шутка ли?.. А потом этого коня назовут Вороным Ахмета! Пай, пай, как прекрасно звучит: Вороной Ахмета! Так что ж... и да будет благословен этот дар!»

И, схватив ладонь джигита, Судр Ахмет с чувством ударил по рукам:

— Мое слово — закон! Передай мурзе привет. Аллах свидетель, все сделаю, все будет в порядке.

— От слов своих потом не откажешься?

— Ау! Ау! Ведь Аха попусту не говорит, а раз сказал — считай, сделано!

Джигит ускакал. Судр Ахмет сразу размяк от жары, но домой идти не мог, все ходил вокруг коня, цокал языком и крутил головой. Подошел Дос с тремя рыбаками, улыбнулся.

— Ну, Аха, с конем тебя!

— Ай спасибо!

— Н-да... Благодаря нашему мурзе путь твой теперь длинный: под тобой конь!

— Что и говорить! Ойбай-ау, ведь мурза прямо засыпал всех нас добром, а? Разве что не воскресил усопших родителей наших.

Судр Ахмет с чувством высморкался и вытер глазки.

— Да, да...— подхватил Дос и переглянулся с рыбаками.— Надо бы, Аха, теперь отметить радость, а? Ну и конь! Не конь — аргамак! Я бы на твоем месте пир закатил, а?

Насколько Судр Ахмет любил ходить по гостям, настолько же не любил принимать у себя. Мгновенно поняв, куда клонит Дос, он закатил глаза и заторопился:

— Что и говорить... Что и говорить, истинный наш благодетель дорогой мурза. То, чего нас господь лишил... ау, Дос, ведь мы получаем от Танирбергена, а? Даже вон этого негодного Қалау в люди выводит. Если уж он пригревает обездоленных, если человека де-

лает из негодного. Ну скажи, скажи ты, разве можно не отдать душу за нашего Таниржана?! А?

В это время в доме Тулеу послышался яростный женский крик. Рыбаки переглянулись.

— Уж не драка ли?

— Что там еще?

— Да что там может быть... Бабы Тулеу опять не поладили. У них что ни день, то бой.

А вышло вот что. Кенжекей готовила обед. Балжан плела волосяную веревку, ребята сперва играли, потом заспорили, кому из них ближе Айганша и кому она принесет рыбы, когда придет с работы.

— Айганша моя тетя!— крикнул сын Балжан.— Она мне во-от такую рыбу принесет!

— Нет, моя!— крикнул в ответ Утеш и вдруг вспомнил, как его дразнили в семье, что он не от матери родился, а от бабушки.— Моя! Мы с Айганшой от бабушки родились, вот!

И он обрадовался, как петушок.

— Какая еще там бабушка?— подала вдруг голос Балжан.— Ты вон от той полоумной Кенжекей родился и сам дурак!

— Ага, ага!— заверещал сынишка Балжан.— Что? Ты от дуры Кенжекей родился!— Он подскочил к Утешу и высунул язык.— Ты дурак, от дуры Кенжекей... Ой!.. Ма-ааа, он дерется...

— Что? И впрямь ударил!— ворохнулась Балжан и побелела.— Это твоя бешеная собака!..— крикнула она Кенжекей.— Что молчишь, стерва? Видишь, он моего бьет?

Утеш перепугался, спрятался за мать. Кенжекей пожалела его и вступилась:

— Не мели вздор! Когда это он его бил? Он совсем ребенок...

— Какой он ребенок! Это семиглавая змея!

— Сама ты змея! Зачем ребенка обижаешь?

— Ах, бедняжка, ах, несчастная!..— ядовито усмехнулась Балжан, продолжая яростно вить веревку.

— Сама ты несчастная! Чтоб... чтоб беда тебя никогда не покинула!

— Ты перестанешь, сука?

Кенжекей спустила на пол двухлетнюю дочь, встала.

— Сама сука, шлюха, стерва!

Ребятишки от страха забились в угол.

— Не перестанешь, гадина?— Балжан даже оскалилась.

— Не перестану!

Тогда Балжан подскочила к Кенжекей, накинула на шею ей волосяную веревку, ловко затянула петлю и, накинув конец веревки на плечо, поволокла Кенжекей на улицу. Кенжекей повалилась, пытаясь ослабить петлю.

— Спассси-и-и...— засипела она, наливаясь кровью.

Балжан, как здоровая кобылица, выволокла цеплявшуюся за что

попало Кенжекей на улицу и потащила вокруг дома. Круглое лицо Кенжекей распухло, рубаха разорвалась, на плечах выступили крупные капли пота. Потом на губах у нее выступила пена, руки, которыми она сперва цеплялась за кочки, обмякли, и Кенжекей потеряла сознание.

Видя, что мать его умирает, Утеш вдруг опомнился и побежал по аулу. Еще издали заметил он рыбаков, стоявших вокруг вороного коня, и бросился к ним.

— Убивает!.. Уби-ила!..— вопил.— Дяденьки...

— Кто?

— Кого убили?

— Дяденьки-и-и, идите скорей... Маму убили, там, там!

Дос с товарищами побежали к дому Тулеу. При виде безжизненно волочившейся по земле Кенжекей Дос побледнел...

— Убила... Отпусти!— издали еще закричал он.

Балжан только шагу прибавила. Дос, подоспев, ударил ногой Балжан, отшвырнул ее, трясущимися руками стал распутывать веревку. Кенжекей не приходила в себя, глаза ее закатились, и было жутко видеть белки между ресницами. Кожа на шее ее была содрана.

Мигом сбежались бабы, и первой, как всегда, прибежала Каракатын. Бросив наконец коня, подбежал и Судр Амет.

— Что? Что такое?— жадно спрашивал он.— Человек убит? Субханалла...

Ему удалось протиснуться вперед и с удовольствием наглядеться.

— Ну... Ну вот, увидите!— сразу же закричал он.— Увидите, младшая баба Тулеу запросто любого убьет! Ау, ойбай-ау, ведь ее прадеды все были убийцы, кровь человеческую пили, сам же я это видел!

— А что? И она небось пьет! Глянь на нее, как озверела!

— У, чертовка, все под замком держит! Ни разу не снимала черного замка со своего зеленого сундука.

— Ау, ау!— опять завопил Судр Ахмет.— Чего это ты тут о зеленом сундуке говоришь? Эта стерва и свое нутро под черным замком держит! А, да будь оно все проклято!— с искренним отчаянием запричитал он.— Пусть земля сгорит, уж коли брать, так уж надо брать ясную, звонкую, как домбра, бабу... Вот что я говорю!

Старуха соседка, приподняв Кенжекей голову, отпаивала ее водой.

— Несчастная... Разнесчастная дочь моя!— причитала она.

XI

Семья Тулеу вставала на ноги. Началось все с того, что Калау в один прекрасный день стал нукером Танирбергена. Чем он прельстил мурзу, было доподлинно неизвестно, но зато скоро всем стало ясно, что Танирберген Калау весьма отличает.

Целую весну тащил Калау в дом брата то мясо, крупу или сасахар, то одежду, то убранство. Больше всего любил он ездить с мурзой в город и ни разу не приезжал домой с пустыми руками. Самое маленькое — приволокет полный курджун, набитый сахаром и чаем.

Сперва все удивлялись, откуда у этого придурка такие заработки, но потом поняли, что дело нечисто. Такой поганец, лодырь, а всю семью одел, обул, крупу, которой и вкус-то все давно забыли, домой тащит мешками, всякие там платки и платья, и Тулеу теперь щеголяет в вельветовом костюме!

Но из последней своей поездки в город Калау никому ничего не привез, а обрадовал одну Айганшу. Привез ей шелковое платье, зеленые сафьяновые кебисы и плюшевый камзол. Весь наряд был такой красивый и дорогой, что ни одна девушка во всем приморье никогда, наверное, такого и в глаза не видала.

Со дня, с того самого зимнего дня, когда семья Тулеу поселилась у моря, весь дом лег на плечи Айганши. Женге ее постоянно ссорились, старуха-мать болела и потом умерла, братья ленились, бездельничали, Айганша одна работала на промысле, кормила, стирала и обшивала всех подряд. Скоро она совсем перестала думать о себе, одевалась кое-как и даже забывала, что она девушка.

Давно уже не билось так ее сердце, давно она так не радовалась. Всегда скромная, незаметная — нарядившись, она вдруг похорошела несказанно, засмеялась и не могла на месте усидеть.

— Женге! Женге, идет мне?— спрашивала она и поворачивалась на каблуках.

— Ой, как идет! Носи на славу. Будто для тебя шили.

— Тогда я в аул Мунке пойду...

— Как хочешь, родная. Только гляди, чтобы брат не увидел. Не любит он, что ты в тот аул ходишь.

Айганша нахмурилась. Самое большое и постоянное горе ее было то, что братья враждуют с Мунке. Она вышла тихо и шла к аулу Мунке медленно, вспоминая прошлые времена, зиму и весну, когда все рыбаки жили еще одним аулом, когда Мунке больше всех помогал им. Сколько переносил он им рыбы, сколько раз делился даже самым малым своим уловом, а когда умерла старая мать, то и могилу ей вырыл тоже он.

Несмотря на неудовольствие братьев, Айганша продолжала ходить к Мунке и Ализе, каждый раз принося им то чаю, то сахару. И Ализе всегда казалось, что воскресла ее старшая дочь.

— Спасибо, милая!— растроганно прижимала она к себе Айганшу.— Пошлет бог и тебе счастья.

Но на этот раз Ализа, осмотрев наряд Айганши, вдруг нахмурилась и отвернулась.

— Откуда это у тебя?— со страхом пробормотала она.

— А что, разве не идет?— упавшим голосом спросила Айганша.

— Идет-то идет... Только где это ты взяла?

— Брат подарил.

— Қакой? Қалау, что ли?

— Қалау. А что?

— Ничего. Носи на здоровье...— буркнула уже совсем сердито Ализа.

— Да что это вы? Завидуете, что ли? В первый раз надела... в жизни...— Айганша вдруг скривилась горько, заплакала и выбежала из дома Мунке. Ализа выскочила за ней на порог и тоже заплакала.

— Айганша! Айганша! Вернись, милая, не сердись!— кричала она вслед Айганше, но та, не слушая, быстрым шагом шла к себе домой.

Ей показалось вдруг неприличным быть такой нарядной среди этих бедных людей. В самом деле, думалось ей, с какой стати ходить ей в таком наряде? И ради кого? Қакого суженого может прельстить ее глупый наряд?

Она совсем расстроилась, свернула было на зады, чтобы пробраться домой незаметно, как вдруг, будто давно поджидала ее, откуда-то вывернулась ей навстречу Қаракатын.

— Бой-бой, что я вижу, какой наряд!— запела она и руки раскинула, не давая Айганше пройти.— Такой наряд и во сне не приснится, аллах свидетель! Небось каждая одежда доброго коня стоит. Ой, девка, всю жизнь буду помнить — подари завтра на прощание мне этот плюшевый камзол, а?

— Қакое прощание?

— Ха-ха!.. Бог ты мой, какое же прощание бывает у невесты?

— Что ты мелешь?

— Не хитри, девка. Я-то знаю, насквозь тебя вижу! Қаждый твой шаг у меня на ладони. Все следы твои вижу...

— Да что такое, господи? Что ты видишь?

Қаракатын недоверчиво поглядела на нее, потом засмеялась.

— Ах, девка! Ну и хитра же ты! Мурза тебя сватает, тебя и одевает! Неправда, скажешь?

— Қакой... какой мурза? Это подарок... это брат из города...

— Хе-хе-хе... Брат! Твоего брата самого продать — он одного камзола не стоит. Откуда у него такие деньги? Хе-хе... «Брат»! Это он, наш красавец мурза, все вам дает. Из-за тебя он и брата при себе держит. А теперь вот видишь, тебя, глупую, замуж берет.

Айганша, не дослушав, побежала домой. «Так вот оно что! Так вот оно что!»— стучало у нее в голове, а позор ее дорогой одежды, в которую она глупо нарядилась, жег ее тело.

Тулеу, осмотрев сети, вернулся и теперь лежал в глубине комнаты. С испугом он взглянул на сестру, когда та вихрем ворвалась в дом.

— Айганшажан, что случилось?— ворохнулся он.

Вскочила и Кенжекей, сидевшая возле двери, со страхом уставилась на бледную, с малиновыми пятнами на скулах золовку.

— Что с тобой, зрачок мой?

— О женеше-ай...

Айганша упала на грудь Кенжекей. Будто ребенок, уткнулась она лицом в плечо женге и затряслась от рыданий. Потом подняла голову, нахмурилась, даже сморщилась и стала снимать одежду. Сняла камзол, стянула через голову платье, скинула кебис, сложила в кучу посреди комнаты и повернулась к брату.

— Все это...— она кивнула на одежду,— снеси назад своему хозяину.

— Это же твое! Какой хозяин?

— Нет, это Танирбергена! И чтоб ни одной нитки не осталось, понял?

Тулеу у Танирбергена не служил. И не он выпрашивал у мурзы подарки для сестры. Но породниться с мурзой — это была такая неслыханная удача, что при одной мысли о свадебном тое у Тулеу дух спирало.

Дней пять назад в аул к рыбакам приехал Танирберген. Сразу по приезде он вызвал к себе Тулеу, был ласков с ним, говорил о добыче, о здоровье Айганши, а потом улыбнулся, положил ему руку по-родственному на плечо и сказал тихо:

— Ах, дорогой... К осени бросай рыбачить, зачем гнуть спину на работе? Есть у меня крепкие верблюды. Зимой будешь служить у меня старшим возчиком — озолочу. Понял, о чем речь?

И вот теперь все сладкие мечты Тулеу пошли прахом.

— Видел, видел я, как ты к Мунке шла...— злобно прошипел Тулеу.— Видно, там тебе наговорили! Ну ничего! Этот Мунке еще потрет на кулак слезы, он еще меня узнает!

XII

Мунке начал уставать что-то... Кроме старости и нужды, пришла к нему еще горшая беда: он оставался один. Уходили от него люди, сманивал их Танирберген разными подачками и посулами, просторно и пусто становилось в ауле Мунке, и как много землянок зияло уже черными провалами окон и дверей...

Темирке позволял теперь аулу Доса ловить в заводях. Мунке со своими людьми ловил в открытом море, а в открытом море мало рыбы. Но не уловы волновали Мунке. Старый рыбак уверен был, что и он, и его люди всегда будут с рыбой, если Арал не уйдет от берегов.

Мунке удручало другое. Острую, бессильную печаль испытывал он всякий раз, когда видел, как очередная семья снимается с привычного места, бросает землянку и соседей, с кем делила горе и радость, и уходит в аул Доса. Совсем немного людей осталось с Мунке, и это его угнетало. И, хотя оставшиеся молчали и работали еще дружней, Мунке знал, как неспокойно у каждого в доме, особенно когда нет улова, не горит огонь в очаге и пустуют котлы. Тогда оставшимся особенно хорошо виден аул Доса. А там, будто нарочно,

в изобилии сушится рыба, прямо на улице, на самых видных местах, полными бечевками.

— Пай-пай! Прямо в жиру утопает аул Доса! А мы тут горе мыкаем. Будто вы пупами срослись с этим Мунке! От Мунке теперь толку мало, надо к Досу переходить...

Так жужжали по ночам жены в уши своих вздыхающих мужей, и многие джигиты заколебались. Только за последние дни три семьи молча перебрались к Досу. Вчера в аул Доса переехало еще четыре дома.

Тяжело было Мунке. Он даже стонал потихоньку, видя, как пустеют землянки недавно столь дружного аула. Люди бежали к Танирбергену, как куры на рассыпанное зерно. И Мунке уже не верил оставшимся, ни с кем не разговаривал и никого не замечал, будто жил совсем один в своем ауле. «Все равно и они уйдут!»— думал он и вспоминал прежние дни, когда куда как меньше было рыбаков на круче и когда жили в ауле Кален, Еламан, Рай... и Дос!

Единственно, кому еще верил старый рыбак, был Рза, сын верблюжатника Жалмурата. Рзе было уже восемнадцать лет, и он считал себя старым рыбаком, потому что вскоре же после смерти отца по совету матери перебрался в аул к рыбакам.

Он был порывист, горяч и решителен в своих поступках. Ранняя самостоятельность, постоянные лишения закалили его. На работе он был неутомим, больше всего любил ходить в море со старым Мунке и все старался делать сам, жалея старика. Мунке даже несколько раз посмеивался печально:

— Что-то я, парень, будто дохлый конь, уж ничего и делать не могу? Пусти-ка, дай, дай я!..

Рза уступал неохотно.

Сегодня, как обычно, они вышли в море вместе. Дул сильный ветер. Борясь с волной, они долго осматривали сети. Под конец оба совсем выдохлись, еле выгребли к берегу, упираясь дрожащими ногами, вытаскивали лодки подальше на песок. Мунке поглядел на рыбаков из-под руки.

— Интересно, те поймали что-нибудь? Поди-ка узнай!

Рза побежал и скоро вернулся. Туда бежал, а назад брел шагом, и Мунке понял, что сегодня у всех неудача.

— Ничего не поймали,— сказал Рза уныло.

— Гм... Ночью буря была, сети-то у них хоть целы?

— У некоторых унесло.

— Так я и знал! После бури всегда кто-нибудь недосчитается сетей, вот беда! Ай, беда...

— У нас небось не унесло.

— У нас! Ты, парень, не умничай. «У нас»! И у меня уносило... А ты вот что лучше... С сегодняшней рыбы вряд ли мы разбогатеем. Давай отбери мне и себе на ужин, а остальную отдай. Раздели там как-нибудь, а?

— Ладно,— легко согласился Рза.— Эй! Эй!— закричал он в сторону рыбаков и замахал руками, призывая к себе.

Мунке пошел домой. Поднявшись на кручу, он сразу увидел группу джигитов. Крупной рысью те ехали по дороге вдоль берега. Одеты все были прекрасно, все чему-то смеялись, не обращая внимания на рыбаков внизу. Передним ехал Танирберген. Мунке остановился и долго провожал джигитов взглядом. Направлялись они к белому дому промысла.

«Что-то давно уж кружится над рыбачьим аулом наш мурза,— подумал Мунке.— На днях вот крутились тут десять джигитов, потом пропали. Будто бы на сенокос подались... Ай, не знаю! Поедет тебе Калау на сенокос! Куда сгинули? Не иначе как к туркменам за табуном поехали».

Невеселым вернулся домой Мунке. Нехорошо было у него и дома — вечные ссоры, перебранка... Но сегодня было тихо, и у Мунке немного отлегло от сердца. Балкумис была в хорошем настроении. К приходу мужа она подмела в доме, сварила рыбу, приготовила чай. Ализа счастливо улыбалась.

Сели ужинать. Мунке молчал и упорно раздумывал над тем, куда делись десять джигитов во главе с Калау. Прямо не выходили из головы у него эти джигиты, и он представлял себе ночной топот и храп угоняемых туркменских коней, погоню, вражду, месть...

После ужина он начал было обуваться, хотел пойти к Айганше, выведать, не знает ли та, где ее брат. Но потом раздумал, разделся и лег спать.

Он лежал, глядя на едва светлевшее во тьме окошко, слушал дыхание спящих и печально думал о том, что все вокруг будто сговорились, чтобы жить не так, как нужно. Что самое главное в жизни — спокойный труд, море, погода, движение рыбы, отары овец, табуны коней в степи, рождения и смерти. Но все сместилось в последнее время, люди почти не работают, забыли дружбу и обычаи родов, воруют, убивают, враждуют.

Вдруг он вспомнил, что мимо ушей Балкумис не проскользнет ни один самый тайный слух во всем приморье и что верней будет спросить про джигитов Калау у нее.

— Балкумис...— тихо позвал он.

— А?.. Чего ты?

— Что это к нам мурза повадился?

— Тьфу, будь ты проклят! Из-за чего разбудил! Значит, надо, раз повадился. Дело у него есть...

— Какое дело?

— Ты что, ослеп?! Или твои глаза, кроме вонючей рыбы, ничего не видят?

Мунке испугался, что сейчас поднимется крик, и промолчал.

— Гм... Так, так. Ну а теперь на кого он...

— А, да с тобой говорить — полжизни убавится!— рассердилась Балкумис, заворочалась и стянула с Мунке одеяло.

Мунке молчал. «Вот пень!— злобно подумала Балкумис.— Ни о чем, кроме рыбы, не думает. Придет — спать завалится, встанет — на море уйдет... Ничтожный человек!» Но и просветить мужа очень уж хотелось, и Балкумис не выдержала.

— Эй, морской владыка Сулеймен, не дрыхнешь еще?— спросила она.

— Нет...

— И на том спасибо. Так ты, значит, совсем из ума выжил? Сколько, по-твоему, у нас тут девушек, на которых бы мурза позарился? Ну, скажи-ка!

— Не считал,— буркнул Мунке.

— Не считал! Еще бы тебе считать! Ты только рыбу свою поганую и считаешь... Тут и считать нечего: одна всего-навсего и есть у нас красавица — Айганша.

— А, брось ты! Не пачкай имя девушки. Единственная дочь...

— У, дурак старый,—«не пачкай»! Что я, ее сажей мажу, что ли? «Единственная»... Что ж, что единственная, не хочется ей, что ли?

— Поганый у тебя язык!

— Сам ты поганый! Среди ночи разбудил, а теперь лается! Знаем мы таких единственных... Оглянуться не успеешь, как она и потеряла свое единственное.

— Тьфу, чертовка!— ругнулся Мунке и натянул на голову одеяло.

Побранившись немного, Балкумис опять заснула, а Мунке не спал, думал над словами жены. А слова ее были похожи на правду.

Все лето косили джигиты Танирбергена и Алдабергена сено на берегу. Скосив весь курак, они принялись за степную траву, перебравшись за черный бугор, за кладбище. Переехал туда со своими домашними и Алдаберген. Танирберген же остался на побережье. Поставив белый шатер на берегу моря, он пировал и веселился вместе со своими нукерами, резал овцу за овцой, устраивал скачки.

Потом потянулись к мурзе из города большие караваны, везли кирпич, лес, стекло и железо. Городские мастера спешно начали строить дом с высокой крышей и деревянным полом, как в городе. Танирберген торопил рабочих, рыбаки удивлялись: зачем ему понадобился новый дом?

И тут Мунке вспомнил рассказ Ализы, как пришла к ним Айганша, нарядная и счастливая... Значит, Айганша должна заменить Акбалу и дом строится для новой жены?

Совсем замучившись от мыслей, старый рыбак заснул под утро. Он спал жадно, но скоро проснулся, вскинулся, прислушался и выскочил на улицу. Проснулись и Ализа и Балкумис и тоже выбежали вслед за Мунке.

Багрово-пепельная луна, распухшая и тусклая, заходила. И ночь, лишенная даже слабого лунного света, заметно наливалась мраком. В ауле Мунке было тихо. Крик доносился из аула Доса. Иногда чей-

то звенящий вопль слышался особенно отчетливо, а потом мешался со многими другими голосами. Жалоба, боль, безмерная печаль звучали в многоголосом крике.

Немало изведала на своем веку Ализа, и чутка она была к человеческому горю. Уловив в сплошном гуле звериный вопль молодой женщины, Ализа задрожавшей рукой ухватилась за Мунке.

— Это неспроста... О-о-о!..— тихо застонала она.— Пришло несчастье...

— Иди в дом. Прошу тебя!— пробормотал Мунке, не зная, что делать, и вдруг встрепенулся.— Кто это? Балкумис, что ли? Эй, постой, вернись!

Простоволосая, босая, заткнув подол длинного платья в штаны, смутно мелькая во тьме ногами, Балкумис бежала во весь дух в сторону взбудораженного аула.

Протирая глаза, один за другим вылезали из землянок проснувшиеся рыбаки.

— Что за крик? Что там произошло?

— Да и я, брат, думаю, что бы это могло быть...

— Не помер ли кто? Чуешь, как вопят?..

Ализа тряслась от страха и горя. Мунке стал ласково подталкивать ее к землянке.

— Эй, эй...— говорил он.— Хватит тебе, иди домой...

— Ойпырмай, всю душу пронзил этот крик...— слабо отвечала Ализа.

Понемногу рассветало. Занималась бледная заря. Из степи веяло теплом, от моря тянуло солоноватым бодрящим холодком. Аул Доса все еще гудел, правда, потише. В утреннем неверном свете уже можно было заметить там конных джигитов, они съезжались, разъезжались, уезжали куда-то и снова появлялись. Никто почему-то не спешивался.

Возле коней мелькали тонкие женские фигуры. Мунке напрягал старые свои глаза, и ему казалось, что женщины воздевают руки к небу, будто моля о пощаде. Похоже было на ночь после битвы, после набега, и старому Мунке уже мерещилось бряцание оружия, запах крови и конского пота, и опять на память пришли таинственно исчезнувшие джигиты во главе с Калау, туркмены...

— Не видал я еще бабы, которая плачем воскресила бы умершего джигита. Иди скажи там, хватит им выть...— сказал Танирберген косоглазому своему гонцу. Тот отвел единственный глаз свой в сторону и молча вышел.

Танирберген бесился. Он терпеть не мог воплей, слез, пересудов, слухов. Он любил, чтобы все было тайно и тихо. На этот раз тихо не получилось, и в ярости шагал мурза по дому, представляя, как завтра же все аулы только и будут говорить о его неудаче.

Пришли вызванные им ранее Дос и Тулеу. Мурза, посмотрев на

них, приостановился было, но потом не вытерпел, снова заходил из угла в угол.

— Каждой семье, у которой погиб кормилец, завтра же выдам по коню и корове!— громко сказал мурза.

Подождал, что скажут Дос и Тулеу. Рыбаки молчали и не поднимали опущенных глаз.

— Все долги погибших беру на себя!— уже закричал Танирберген и притопнул.— Чего стоите, как базарные тюки? Немедленно успокоить аул!

Тулеу и Дос переглянулись незаметно, нахмурились. Потом вздохнули тяжко, сказали:

— Попробуем...

И вышли.

Оставшись один, Танирберген сел и понурил голову. Постепенно ярость его сосредоточилась на тесте из рода Тлеу-Кабак, который стоял в урочище Аяк-Кум. Тестя своего он всегда терпеть не мог, а сына его так и вообще в грош не ставил. И надо же было ему связаться с ними в таком тонком и опасном деле!

Табун одного богача из воинственного туркменского рода Теке-Жаумит давно не давал мурзе покоя. Но, зная о связях этого богача со свирепым ханом Жонеутом, Танирберген не решался напасть на табун в одиночку. В таком деле нужна была чья-то помощь.

И вот, послав косоглазого гонца к тестю в Аяк-Кум, он обо всем договорился. К туркменам отправился крепкий отряд отборных джигитов двух родов.

От Танирбергена в набег отправились десять джигитов во главе с Калау. Выехали они ночью, и мурза сам провожал их в степь. Перед расставанием он отозвал в сторону Калау и крепко наказал ему быть осторожным.

— В случае чего — уходите! Путайте следы... За это ты головой отвечаешь! Мне покой моих аулов и жизнь джигитов дороже любых коней, понял?

Калау сказал, что понял. Всадники растворились во тьме, и Танирберген вернулся домой веселый, с хорошими надеждами.

Случилось так, что туркмены быстро обнаружили воровство, вскочили на быстрых своих коней и пустились в погоню. Заметив погоню и памятуя наказ мурзы, Калау велел своим бросить косяк и уходить. Джигиты Танирбергена послушно пригнулись к гривам коней и поскакали.

Но джигиты рода Тлеу-Кабак, видя, что туркмен не так много, гикнули, пропустили вперед табун и повернули навстречу преследователям. Кроме того, никак не могли они бросить великолепных туркменских рысаков. Жадность все и погубила.

Увидев, что казахи вступили в бой с погоней, остановились, а потом и повернули назад джигиты Танирбергена. Мурза потом расспрашивал своих и узнал все подробности схватки.

А схватка была жестокой! Раненые были с той и другой стороны.

Один из джигитов мурзы был убит, двое ранены. К вечеру казахи ушли от погони. Да и туркмены не решились преследовать их на чужой земле. Потом казахи разделились, и каждый отряд поехал к своим аулам. С джигитами мурзы ехал молоденький туркмен. За ним долго гонялся в схватке Калау, наконец сшиб его конем и накинул аркан на шею. Туркмена связали по рукам и ногам и бросили поперек седла. На ночлег джигиты мурзы остановились в безводной и безлюдной степи. Пленный туркмен умолял не убивать его.

К утру умер от ран еще один казах. Его, как и первого, положили на седло, крепко привязали, чтобы не сползал.

Раненый громко стонал, просил пить. Надо было торопиться. Еще не рассвело как следует, а казахи уже готовы были в путь.

Все поехали, а Калау остался возле пленного. Пленный, связанный, лежал на земле лицом вверх. Конь Калау тянулся вслед уехавшим, тихонько ржал. Калау сдерживал его и с какой-то угрюмой веселостью рассматривал туркмена. Пленный все понял и стал теперь умолять убить его. Но Калау, будто потеряв всякий интерес к нему, вдруг тронул коня и поскакал вслед за своими джигитами.

— Убей, прокляты-ы-ый, убе-е-ей!..— неслось ему вдогонку.

У Танирбергена волосы дыбом встали, когда он узнал об этом. Не туркмена ему стало жалко, нет, он сразу подумал, что будет, когда турмены найдут иссохший труп связанного пленника в безводной степи.

Танирберген немедленно вызвал Калау к себе. Калау явился бесшумно. Он уже знал, чем вызван гнев мурзы, и приготовился к худшему.

Но мурза, внимательно поглядев на Калау, на его тупое, жестокое лицо, вдруг переменил решение. Он подумал, что этого убийцу лучше от себя не отпускать.

— Зачем звал, мурза?— хрипло спросил Калау, не выдержав молчания.

— Дурак!— сказал Танирберген.— Ты понимаешь, что наделал? Иди домой. Но помни!— закричал он ему вдогонку.— Помни! Долг за тобой! Будешь еще отвечать за что-нибудь, ответишь и за это!

Снова оставшись один, мурза, никогда до этого не молившийся, вдруг набожно и жалко сказал, подняв глаза:

— Помоги, аллах! Не допусти разорения от туркмен!..

XIII

Уже солнце стояло высоко, когда Балкумис пришла от отца. Мунке едва глянул на нее, как увидел: чернее тучи пришла жена. Так оно и было. Балкумис сперва пнула ногой собаку, лежавшую у двери. Потом, ругаясь так, как мужчины редко ругались, начала швырять посуду. «Сейчас мой черед...»— едва успел подумать Мунке.

— Ну, что посиживаешь, морской царь Сулеймен?— тут же и накинулась на него Балкумис.

Мунке даже удовольствие испытал от такой своей проницательности. Мгновенно он представил себе, о чем говорилось в доме тестя. «Бедная ты моя, горемычная!— небось причитала Каракатын.— Ты и замужем счастья не видишь, ни одного нового платья не надела... Так и погубишь ты свою молодость, работая на этих старых хрычей!»

Каракатын давно уже подумывала развести свою дочь со старым рыбаком и выдать ее за молодого. И джигит подходящий был уже на примете, да несчастье пришло — привезли джигита ночью поперек седла, и лежал он теперь дома без памяти, и неизвестно было, выживет или нет.

— Сколько уж маюсь я в этом доме!— кричала Балкумис.— Еще ни одного платья не обновила...

Мунке невесело усмехнулся: как в воду глядел, воображая слова Каракатын!

— Чего улыбаешься, дурак старый?

— Скорблю я, а не улыбаюсь...

— Семью не можешь обуть-одеть, черт, а туда же — скорблю!

— Валяй, валяй...

— У, постылый, да тебя словами разве проймешь? Я же как рабыня живу тут — в дом вхожу с дровами, из дому выхожу с золой. Как нищая!

Балкумис вдруг подскочила к Ализе и выхватила у нее плачущего ребенка.

— Да ты ведьма, что ли? Как ребенок у тебя, так ревет не переставая!

— Ах, дорогая, не ставлю же я ему на пятки пиявок! Лелею, как могу...

— Уж ты полелеешь, своих всех в могилу свела и моего хочешь?

— Ты заткнешься или нет?— рассердился Мунке.

— А ты чего орешь? Ишь разорался... А вот и не заткнусь! Что ты мне сделаешь?

Побурев лицом, Мунке повел взглядом по комнате, будто искал что-нибудь потяжелее. Сколько раз Ализа примиряла Мунке и Балкумис, брала вину на себя, оберегая покой очага, сколько раз унижалась перед сварливой токал. Но теперь ей вдруг стало все равно. «Да хоть вы горло друг другу перегрызите!»— вяло подумала она, поднялась, нашла большой полосатый мешок и побрела в степь. Она все дальше уходила от дома, а визгливый крик Балкумис слышался ей, пока не перевалила она ближайший холм.

Каждый раз, когда ей бывало очень уж плохо, Ализа уходила в степь. Люди постоянно обижают, мучают друг друга. А земля — нет. Земля, как мать, всегда добра, спокойна и одинаково ровна к любому человеку. И только в степи Ализа отдыхала, отходила сердцем.

Далеко за аулом она будто встречала своих добрых старых знакомых. Вон Кендырли-сай, подальше — Талдыбеке, а еще дальше

пестреет Ак-баур. И над всеми холмами и пригорками могучим черным заслоном тянется древний Бел-Аран.

Ализе всегда казалось, что Бел-Аран обладает таинственной заступнической силой, всемогущим аруахом, и всегда приходит на помощь страждущим. Даже имя его она произносила не как все, а с набожной любовью и трепетом: «Старец Бел-Аран».

Что там ни говори, а нигде не чувствуешь себя так вольно и свободно, как в степи. Дома, хочешь не хочешь, приноравливаешься к настроению других. Дома не дай бог что-нибудь не так сказать, не так ступить...

Зато в степи, на просторе Ализе всегда было хорошо и покойно. Всегда молчаливая, незаметная дома, она преображалась и становилась разговорчивой наедине с собой. Она разговаривала и с Бел-Араном, и с морем, и с птицами, и ей казалось, что те ей отвечают человеческим языком.

Но сегодня и степь ее не успокоила. Не замечала она ни раскаленного солнца в зените, ни душного зноя, ни горячего песка, обжигающего ей голые ступни. До самого вечера бродила она, изредка нагибаясь за кизяком, по унылой рыжей степи, и плакала, и жаловалась на свою судьбу.

К вечеру она устала и голос у нее охрип. И хоть мешок ее давно был полон кизяка, домой она не пошла, а поплелась к черному кладбищу за аулом на бугре. А доплетясь, поднявшись с трудом на холм, остановилась возле десяти могилок, скучившихся несколько поодаль от кладбища.

— О верблюжата мои!

Ализа бросила мешок и опустилась на колени. Помолившись, она стала убирать могилы, относя подальше перекати-поле и мусор, согнанные ветром.

Каждый раз, навещая могилы детей, она приносила с собой хлеб, баурсаки, вяленую рыбу и оставляла все это на высоком могильном камне, на котором были высечены имена ее детей. И пусть эта пища доставалась потом пролетной птице или рыскавшему зверю, мать радовалась, что ублажила души покойных. На этот раз она пришла с пустыми руками...

— Бедные мои! Ждете небось гостинцев?— виновато, робко спросила мать.

Если для других эти десять могилок казались лишь десятью холмиками, то для нее один холмик был Адил, другой — Жаниль, третий — Лагиль. Целый аул! Ее скорбный аул. Священная для матери обитель и горькое утешение от обид.

Иногда ей казалось, будто все дети живы — она не хотела представлять их мертвыми. Их лица, поступки и привычки — все стояло перед ее глазами. Она помнила, когда зачала каждого из них, помнила, к какой еде ее тогда особенно тянуло, кого она родила трудно, а кого легко...

Когда настало время рожать первого сына, она мучилась три дня,

три ночи. Не выдержав муки, она прибегла к древнему способу: накинула на урлюк уздечку, оставшуюся еще от дедов, и, повиснув на ней, завопила, обращаясь к старцу Бел-Арану.

После родов не было у нее молока, ребенок чах, а они с Мунке совсем извелись. Но им повезло: за вяленную летом рыбу они выменяли вскоре козу и козьим молоком кормили своего первенца.

Он умер у них четырех лет. До чего сладок был его язык! Как неправильно и нежно произносил он самые простые слова! А всевозможные проказы и тонкие голоса и теплое, как у птенцов, дыхание ее других детей — разве оно так и развеялось по миру и пропало навсегда, будто их никогда и не было на свете? Или отзвук их тихой, нежной жизни где-то бродит, смешиваясь с жизнью других детей и навещая иногда старую Ализу?

— О жеребеночки мои...— плакала Ализа.

Потом она ложилась на теплую землю и просила детей взять ее к себе.

Долго лежала она и теперь, совсем забывшись, пока вечерние тени косо не побежали по степи, пока не потемнело все кругом так, что темное тело Ализы стало казаться одиннадцатой могилой рядом с десятью. Тогда она встала, взвалила мешок с кизяком на спину и пошла домой. Ей стало легко. И Ализа почувствовала себя отчужденной — далекой от всей мирской суеты. Она теперь понимала, что нет ничего постоянного в мире. Если сегодня судьба улыбается тебе, завтра она повернется спиной. И богатство и счастье — все мимолетно.

Дома давно уже поджидала ее разъяренная Балкумис, готовая к ссоре и крику. Она и встретила ее криком, но Ализа будто не слышала и не замечала ее. А вечером к аулу Мунке подъехал Еламан.

Первой Еламана заметила и узнала Ализа, кинулась к нему и повисла на нем. Мунке стоял молча и не отнимал Ализу у Еламана, давая ей выплакаться.

Быстро собрались рыбаки. В землянке Мунке стало тесно, и тогда всем постелили на дворе. В вечереющем небе замерцали первые звезды, ярко вспыхнули костры под котлами, и зашумели самовары. Все, кто пришел, расселись вокруг Еламана и приготовились спрашивать и слушать.

— Ну, Еламан, дорогой, как доехал?

— Хорошо доехал.

— Как жизнь, здоровье?

— Спасибо, неплохо.

— Кто бы мог подумать, что ты приедешь!— радовался Мунке.— Только я стал собираться к тебе повидаться, а ты вот он — сам нагрянул!

Еламан вздохнул, говорить о себе ему не хотелось. Мунке сидел рядом, во все глаза разглядывал Еламана. Еламан сильно изменился, черты лица его обозначились резче, прежние мелкие морщинки

возле глаз углубились, волосы на висках взялись сединой. Ничем не походил он теперь на прежнего джигита-рыбака.

Раньше он то и дело улыбался, весь светился изнутри доброй силой. Теперь же, если и улыбнется невзначай, все казалось, что он сдерживается, стискивает зубы.

Никто в этот вечер не шел домой. Далеко за полночь, до поры самого предутреннего сна, рыбаки все теснее придвигались к Еламану, расспрашивали о местах, где он побывал.

Еламан разговорился, но в то же время и о себе думал. Вот он вернулся в родные края, встретился со своими. И уже не так страшно было ему жить. Чувствуя искреннее расположение рыбаков, стародавних друзей, он мало-помалу отвлекался от тех тяжелых мыслей, что терзали его по дороге. Очутившись среди сильных, обожженных солнцем и стужей людей, с которыми столько времени он бок о бок промышлял рыбу, Еламан понял никчемность своих горьких, опустошающих душу дум. Теперь он опять был как конь в родном косяке. И все кругом было ему мило — запах моря и рыбы, вид землянок, и неба, и чернеющего вдали Бел-Арана.

Он рассказывал о Турции, о Рае, и было ему хорошо от жадности, с которой его слушали. Но чего-то все-таки ему не хватало. И начинал он тогда беспокойно озираться, вглядываться в темноту, будто ожидая, что вот подойдет к огню Кален, или Дос, или бабушка...

Ему стало снова грустно. И он продолжал рассказывать о Турции, о горах и морозах, о гибели тысяч джигитов. Старики и старухи давно сморкались и вытирали глаза, и Еламан махнул рукой, бросил Турцию и принялся рассказывать о городе, о переменах, которые произошли в столице России, о революции, о Керенском и большевиках, о восстании, которое готовится в Челкаре.

Слушали его жадно, качали головами, удивлялись, хлопали себя по ляжкам, но какой-то старик все бродил мыслями по Турции, все не хотел отстать от этой земли обетованной, и едва Еламан замолчал, чтобы дух перевести, старик тут же спросил:

— А в Стамбуле ты был?

Встрепенулись другие старики, почитавшие дух ислама, дружно закивали, поглаживая бороды:

— Э, верно, верно, расскажи нам, дорогой, еще о храброй обетованной земле Ер-Турик!

— Да, да, Стамбул — это ведь священное место... Там водрузил пророк свое голубое знамя!

Еламан сразу замолчал и поник головой. Что он мог рассказать им? Много аулов и городов перевидал он в Турции, а обетованной земли не увидел. Как всюду, видел он одних изнуренных тяжелым трудом крестьян. Бедные дома, бедные кофейни, крохотные наделы земли... Говорить ли об этом?

Рыбаки все равно не поверили бы ему. С самого детства привыкли они слышать об этой стране совсем другое: обетованная земля храбрых турок, колыбель праведной веры, страна, где развевается

голубое знамя пророка, священный город Стамбул, райская обитель, которую смертный может увидеть разве лишь на том свете, в садах Махфуза. Невообразимое богатство и счастье, райские девы, возвышенная и жгучая любовь — все это может быть только на славной земле турецкого владычества.

На самом деле ничего этого не было. На самом деле все это оказалось мечтой измученного жаждой человека, принимающего далекое марево за озеро чистой воды. Все благоденствие и счастье, которых не было у казахов, всегда отодвигалось за горы Капские. Извечная надежда целого народа, передаваемая из поколения в поколение, добрая сказка, заученная с детства...

Только теперь понимал Еламан, что все это лишь жалкое утешение, беспочвенные россказни, пустой слух, усердно распространяемые бродячими старцами-певцами, сказителями с домброй и подогреваемые хадис-аятами всевозможных мулл, ходжи и ишанов.

XIV

В эту ночь рыбаки разошлись поздно — уж начал светлеть восток, горизонт проступил отчетливо, и потянул с моря свежий ветерок.

Пока у Мунке стелили постель, Еламан пошел за аул. Давно не ступал он по берегу моря! А море открылось ему сразу, едва приблизился он к обрыву. Оно было спокойно, ни одна волна не морщила его, ни одна лодка еще не чернела вдали, и только у берега было заметно, как море дышало.

Но Еламан только мельком взглянул на море. Он думал о другом. Он давно уже прослышал о расколе среди рыбаков, но не догадывался, что вражда зашла так далеко. До аула Доса было рукой подать, и там конечно же скоро узнали о его приезде. И все же ни один человек не пришел сюда из аула Доса. Другие, может быть, и забыли давно Еламана, но Дос! Старый товарищ, друг в беде и в радости, с кем когда-то делили они последнюю рыбу, последнюю лепешку!

Он вдруг почувствовал все свое избитое в пути тело и повернул к дому.

— Народ-то у вас поубавился, я гляжу?— сказал он дожидавшемуся его Мунке.

— Да, поредели мы...

— Не понимаю Доса...

— Эх, дорогой, ты обо всех по себе судишь... Доса ждал, да? Не придет он. Сейчас для него Танирберген и ангел-хранитель и бог! Он и с нами-то разговаривает... хе-хе... лишь опираясь спиной на Танирбергена.

Еламан помрачнел. Мунке искоса поглядел на него и вдруг смутился.

— Ну ладно, ладно,— встрепенулся он.— Чего меня слушать-то, старого? Меня, горемыку, где ни тронь, везде болит. Давай-ка спать.

И Мунке, не раздеваясь (скоро было вставать), улегся возле своего гостя.

Как ни поздно легли рыбаки, а вставать надо было, и они поднялись, едва только заблестело над степью солнце. Недолго спал и Еламан. За чаем он услышал неожиданную весть: совсем недавно умерла мать Доса, старуха Аккемпир.

— Вот оно что!— воскликнул он и подумал, что по старому казахскому обычаю члены семьи, которая носит траур, не идут к человеку, приехавшему издалека, а ждут, чтобы тот сам пришел.

— Вот оно что!— повторил Еламан и решил, что, наверное, поэтому и не пришел Дос вчера.

А решив так, заторопился, собираясь к Досу. Вместе с ним решили идти трое стариков из аула Мунке. У них была слабая надежда, что, может быть, приезд Еламана поможет примирению двух аулов.

Надеясь на свой скот, рыбаки из аула Доса как-то охладели к морю — выезжали за рыбой поздно и неохотно. Хоть солнце поднялось уж высоко, рыбаки только приступили к завтраку. Некоторые возвращались с выгона. Еламан заметил молодую понурую женщину в траурном черном платке и проводил ее взглядом. Мунке уже рассказал ему о схватке с туркменами, Еламан теперь опять вспомнил о ней и встревожился. «Вот еще беда,— подумал он.— Туркмены нам этого так не оставят».

Старики по дороге говорили без умолку:

— Дос-ага такой богатый теперь! Если захочет, овцу заколет запросто.

— А другие как?— спрашивал Еламан.— У других есть скот?

— Э! В этом ауле редко кто без скота. Прямо утопают в блаженстве!

— Вот как... Значит, нашелся благодетель.

— Одному аллаху ведомо. Оно сказать, и мурза не в проигрыше...

— Как так?

— А вот как: тут все только молоком пользуются. Скотина-то не ихняя. Скотина по-прежнему мурзы. Понял? Как падет какая скотина, так хозяин платит мурзе стоимость.

— То есть как?

— Э, шрагм-ай! Танирберген найдет как. Вон недавно за сдохшую скотину один рыбак ему две недели сено косил.

— Интересно... Выходит, никакой разницы: выгнать скот с молодняком на пастбище или по скотине раздать беднякам — молоко, мол, пейте, но за каждую голову отвечаете, так? Вот так доброта, ничего не скажешь!

— Правильно, дорогой, ты сразу все понял. Ведь мурза этим скотом по рукам и ногам связал бедняков вроде Доса и Тулеу!

— Постойте! Тулеу? Вы сказали — Тулеу?

— Тулеу. А что?

— Апыр-ай, а? Что-то знакомое имя...

— Нет, ты не знаешь его. Он пришлый. Зимой из степи откуда-то приехал, а скоро и в доверие к Танирбергену вошел.

Еламан был озадачен. Все, что он услышал, было ново и необычно. Ни один бай в этих краях не прибегал прежде к такой хитрости. Явная уловка, силки, куда попадают ротозеи. Но, с другой стороны, эта уловка о многом говорит. По всему видно: начался закат байской власти. Раньше было достаточно окрика — и все были покорны. Теперь в ход пошли подачки. Еламан даже забыл, зачем и к Досу пришел.

Между тем Дос встретил его холодно. Протянутую руку пожал неохотно, в ответ на приветствие еле шевельнул губами. Глядя на мужа, и Каракатын не сдвинулась с места. В доме в беспорядке валялись подушки, одеяла, и гости, не зная, куда сесть, растерянно топтались у двери.

— Постели одеяла!— наконец буркнул Дос.

Каракатын медленно поднялась, начала сбивать к стенке ногами разбросанную постель. Гости, теснясь друг к другу, кое-как уселись на прибранное место. Один из стариков начал читать Коран. Еламан растерялся. После молитвы он никак не мог заговорить. Потом пересилил себя.

— Дос-ага, тяжелое горе упало на твои плечи,— неуклюже забормотал он, желая выражаться возвышенно.— Не только тебе, всем нам матерью была покойница. Но что сделаешь против воли аллаха? Пусть земля ей будет пухом!

Дос пожевал губами. Непонятно было, доволен он словами Еламана или нет. Помолчав, Еламан опять заговорил. Рассказал коротко о себе, спросил кое о чем у Доса. Уронив голову, тот упорно отмалчивался. И Еламан понял, что разговора у них не получится. Только теперь он окончательно убедился, как справедлив был старый Мунке, осуждая Доса.

По старому обычаю после молитвы близкие родственники усопшего начинают готовить поминальную еду. Старики глядели на Каракатын и думали о барашке в котле. Ничуть не смущаясь, Каракатын вдруг накинулась на мужа:

— Эй, ты что тут голову повесил, а? Шея голову не держит, что ли? Ведь не сегодня же умерла у тебя мать. Или забыл, что Танирберген остановился в доме Тулеу и тебя ждет?

— Подождет...

— Эй, что он тут бормочет, что он тут мямлит? Кто ты такой, чтобы мурза тебя ждал?

— А ну, баба, заткнись там! Хватит! Поставь людям чай.

— Ты в уме или нет? А что подашь к чаю?

— Молчи! Ставь чай!

— «Ставь чай»! Еще им чего! Не поставлю!

Еламан повернулся к старикам и повел глазами на дверь. Старики давно уж сидели как на угольях. Заметив знак Еламана, они то-

роплиDо поднялись. Вскочила и Каракатын. Опередив гостей, она преградила у двери путь Еламану.

— Э, дорогой мой, куда это ты заторопился?— ехидно улыбаясь, спросила она.— Чего испугался? Не успел прийти, как уже убегаешь, а?

Сдерживая себя, чтобы не схватить ее за глотку, Еламан холодно посмотрел на ухмыляющееся черное лицо Каракатын.

— Как же так?— наседала Каракатын.— Ничего не рассказал, не поговорил, а? Но до нас, бедных, тоже доходят слухи. Вроде там у тебя в городе много интересного? Говорят, будто вы с Акбалой снова прижились...

Еламан не дослушал, схватил ее за плечи, повернул к себе спиной, подтолкнул коленом в сторону и вышел.

— Что делает, кобель проклятый, а?— закричала сзади Каракатын.

Еламан шел по аулу с раздувавшимися ноздрями. Злоба душила его. Вспомнилась Аккемпир — всеми уважаемая, почтенная мать Доса. «При жизни ее не почитала, поганка, после смерти не бережет ее память!»

Долго потом Еламан нигде не показывался. Когда Мунке уходил в море, он брал домбру, тренькал, наигрывал что-нибудь грустное, тихое. Подсаживалась к нему Ализа, вспоминала разные разности. Вспоминала она и Бобек... Бобек была несчастлива. Ожирай бил ее — никак не мог простить ей былого чувства к Раю. Один раз, повалив ее, он сильно ударил ее в живот. Бобек потеряла сознание, а потом родился мертвый мальчик. С тех пор Бобек болеет падучей болезнью.

Ализа помолчала, потом тяжело вздохнула.

— В прошлую зиму она гостила у нас. Почти целый месяц жила. Все плакала, вспоминала Рая. Да... К Раю она с детства всей душой тянулась.

Внимательно разглядывая лицо уже одряхлевшей Ализы, Еламан все еще находил еле заметные черты красоты, красоту Бобек. Совершенно седые, но все еще вьющиеся на висках волосы и маленький прямой нос — очень похожа была Бобек на Ализу.

На другой день Мунке опять ушел в море. К обеду ушла к родителям и Балкумис, взяв с собою ребенка. Мунке все еще не возвращался с улова, в доме наступила тишина. Еламан сидел на пороге, смотрел в море, прищурясь, перебирал струны домбры, и печальная песенка негромко журчала у землянки. Оставив дела по хозяйству, Ализа подсела к Еламану. Еламан повернулся спиной к морю и прислонил домбру к стенке.

— Ты про меня все знаешь,— просто сказала Ализа.— Сколько было детей у меня, а вот осталась, как пень, одна... Иссушили они мою грудь и обрадовали подземное царство. Сорвал господь с груди моей цветы. Что мне было делать тогда, скажи!

Еламан молчал грустно.

— Старик мой несчастный всю жизнь мыкается в море... Не желала я ему своей доли, хотела, чтобы хоть у него дети были. Вот и женила его на молодухе этой...

Ализа подождала, что скажет Еламан. А Еламан терпеть не мог как сварливую Каракатын, так и ее дочь. Но что он мог сказать?

— Правильно сделали,— тихо обронил он.

— Ах, родимый, откуда же правильно?— горячо возразила Ализа.— Выхода тогда у нас не было. Просто хотелось мне быть чистой перед богом. Да, видно, совсем тогда из ума выжила. Не на ту напала. Желая Мунке добра, беду ввела в дом, вот что! Где уж там быть толку, когда мира в семье нет?

Еламан, покраснев, ковырял пальцем землю. Он и не то бы еще сказал о Балкумис, но вежливость и положение гостя не позволяли ему ничего говорить.

Ализа опять заговорила:

— Сам знаешь, родимый, как бы я жила теперь, будь мои дети живы. Дочерей бы замуж повыдавала,— мечтательно произнесла она — Принимала бы родню... Да вот господь не захотел ни одного мне оставить. Какие детки были! Не то что земле — людям отдавать ревновала!

Еламан вспомнил о своем ребенке, о своем сыне, и глаза у него защипало.

— Разве я плохая была бы свекровь?— гордо продолжала Ализа, смахивая слезы.— Посмотри на Мунке. Совсем состарился, согнулся. Ты думаешь, что ему все равно и он ко всему привык? О! Вот и Дос от него отвернулся, видишь, что вытворяет? Продался Танирбергену, отгородился от своего друга. Думаешь, это Мунке не тяжело? Больно, очень больно это ему.

Ализа вздохнула, вспомнила о хозяйстве и ушла. А Еламан продолжал сидеть. Два дня он что-то усиленно обдумывал, а на третий отправился в аул старика Суйеу.

Обедневший за последние годы аул Суйеу еле выдержал зиму. Бесконечные поборы и налоги еще до зимы сильно пощипали стадо Суйеу. Пришла весна, и, как всегда, богатые аулы загодя откочевали на джайляу, а аул Суйеу остался на зимовке. И только когда наступило жаркое лето и от комаров и слепней житья не стало, аул переменил место. Но он недалеко ушел и раскинул свои дырявые побуревшие юрты на широкой равнине за Аранды-Кыром.

Вот в этот аул совсем перед сном и приехал Еламан. Старик Суйеу виду не показал, но обрадовался страшно. Старуха же, разом все вспомнив — и Акбалу, и восстание казахов перед мобилизацией, и ночной арест у них в доме Еламана,— заплакала, засуетилась...

И ягненка зарезали, и чай поставили, и все было честь честью, но едва заметная натянутость не проходила. Все как будто ждали чего-то главного, а оно не приходило: имя Акбалы не называлось

вслух. Говорили о том, о сем, как всегда бывает после долгой разлуки, но Еламан чувствовал, как старики думают о ней. Да и он сам думал. Скоро ему стало тягостно, и хоть он понимал, как неловко будет сразу уехать, но больше одной ночи выдержать не мог.

На другой день после чая Еламан, помявшись, пробормотал:

— Отец, думаю сегодня отъехать...

— Зачем так скоро?

— Дела есть...

— А! А! Ну, коль дела... Отъезжай! Отъезжай!

Но Еламан еще не сделал главного дела, из-за которого приехал. Он хотел забрать ребенка и не знал, с какой стороны за это взяться. Старик Суйеу тут же почувствовал что-то и, сердито хлопнув ресницами, уставился на зятя. Будто козел на гончую, он смотрел пронзительно и дерзко.

— Ну говори! Что там еще у тебя?

— Если вы не против, я хотел бы сына...

— А!.. Значит, за сыном приехал? Добро! Бери! Забирай!

— Спасибо.

После этого Суйеу ни разу не взглянул на Еламана. Не посмотрел он и на внука, которого собирали в дорогу,— сидел, отвернувшись в угол.

Старуха не выдержала и заплакала на прощание. И впервые не выдержала, заговорила о дочери:

— Живая память моей единственной...

— Цыц!.. Цыц, проклятая!..— гневно крикнул на нее Суйеу.

Забрав сына, Еламан уехал. Все время подгоняя коня, он еще в сумерках добрался до рыбачьего аула.

В ауле сразу стало шумно. Один за другим приходили рыбаки, поздравляя Еламана с радостью. Мунке и Ализа совсем повеселели, будто опять у Еламана была жена и был очаг.

— Вот снова сколачиваешь семью,— посмеивались они.— Вчера был один, а теперь уж вас двое.

— Теперь жениться надо!— подхватывали рыбаки.

Но веселье прошло, а жизнь катилась своим чередом. Еламан нянчил сына, и на душе у него становилось невесело. Ашим связал его по рукам и ногам, тогда как он хотел рыбачить с Мунке. Привыкший к молоку Ашим здесь ничего не ел и таял прямо на глазах. Игривые молодухи не давали Еламану шагу ступить. «О деверек наш, тебе и жениться не надо,— пели они.— Ты сам не хуже любой бабы. Тебе теперь только жаулык на голову надеть...»

А ребенок все худел. «Вот еще беда! Как бы не угробить сына!»— беспокойно думал Еламан.

XV

Как-то вечером к Мунке пришла Айганша. Она была прямо с промысла, домой не заходила, и от нее сильно пахло рыбой. Вошла она свободно, шумно, но, увидев незнакомого джигита, смешалась.

Она уже слышала, что у Мунке гость, ее разбирало любопытство, наконец она не выдержала и зашла, будто по делу. Она сразу догадалась, что этот мужчина с ребенком на руках и есть гость. Он сидел и баюкал сына, как мать. Даже песенку напевал мягким старушечьим голосом:

Где же мой сыночек?
Ушел к девицам в гости...
Красно яблоко на ветке,
Красны девушки в постели...

Услыхав, что кто-то пришел, Еламан оборвал песню и обернулся. И тут Айганша узнала его. «Он!.. Точно он!»— радостно подумала она и сделала движение кинуться к нему, но, заметив, что он не узнал ее, покраснела и потупилась.

— Извини, сестренка...— тоже смутился Еламан.— Что-то я тебя не знаю.

— Я сестра Тулеу...

— Тулеу?

— Не вспомните?

— Апыр-ау... Тулеу, говоришь?

— Ну вспомните же!

— А!.. Одинокий дом в ложбине? Ты мне лепешку дала?

— Да-да, одинокий дом. Вы еще заночевали у нас. Тогда еще матушка жива была...

— Ах ты, милая моя! Ягненочек!— Еламан быстро привстал и поцеловал Айганшу.— Померла твоя мать?

Айганша кивнула.

— Когда?

— Этой зимой.

— Эх жалко! Ай-яй-яй, вот горе-то, знаешь, все хорошие люди помирают, а плохие живут.— Еламан быстро оглядел Айганшу, задержался взглядом на ее пропахшей рыбой одежде.— Как же ты живешь, милая?

— Как живу?.. Живу...

Пришла Ализа. Разговор оборвался.

Мунке вернулся с моря поздно, мокрый до нитки. Круглое обожженное лицо его распухло, глаза воспалились, потускнели. Как побитый, кряхтя и постанывая, ввалился он в землянку. Айганше показалось, что он вот-вот упадет. Она вскочила в испуге. Мунке повернулся к ней, пригляделся.

— А-а, это ты, Айганша? Здравствуй, зрачок мой.

Еламан никогда не видел старого товарища таким уставшим. Вернее, таким печальным. Он тут же догадался, что сегодня у рыбаков опять неудача. Когда лов удачен, рыбак приходит домой усталый, но бодрый.

После ужина рыбаки по привычке один за другим стали собираться у Мунке. Завтра на рассвете им опять надо было выходить в

море, но они сидели долго, до глубокой ночи. Им хотелось поговорить о своей жизни и хоть что-нибудь придумать на будущее.

Еламан лучше других понимал, как плохо рыбакам, и первый начал разговор.

— И ветер этот проклятый, как назло, не перестает!— с досадой сказал он.

— И не говори!— тут же подхватил сосед.— Гребешь, гребешь — прямо руки отваливаются...

— Это что — руки. У меня вот сегодня весло сломалось, еле к берегу подошел. Думал, унесет в море...

— Апыр-ай, а?

— Теперь вот вдобавок и весла нет...

— Ну не горюй! Судр Ахмет тебе тут же весло сделает.

— Хо-хо... Он тебе сделает, как — помнишь?— Еламану сделал...

Рыбаки засмеялись. Улыбнулся и Еламан, но потом опять помрачнел. Он знал, что ближе к осени на море пойдут постоянные штормы. И рыба начнет уходить в тихие, богатые кормом места — в камышовые заливы. А в открытом море останется только крупная красная рыба. Но для крупной рыбы нужны специальные крючки, а где их взять?

Попив чаю и обильно вспотев, Мунке наконец пришел в себя. Посмотрев на Айганшу, он подумал, что уже поздно.

— Иди домой, милая,— сказал он.— Братья небось беспокоятся.

Айганша не шелохнулась. Ей было хорошо сидеть в этой землянке, пропахшей рыбой, и слушать, как беседуют рыбаки. Зрачки ее отяжелели и медленно двигались под длинными ресницами.

В землянке ненадолго стихло. Чадила коптилка. С улицы сквозь свист ветра доносился монотонный гул моря. Невесело было рыбакам при мысли, что завтра опять надо на целый день уходить из дому. Ребенок Еламана скоро уснул на коленях отца.

Молодой Рза несколько раз хотел вмешаться в разговор, но стеснялся Еламана. Наконец он не выдержал и спросил громко:

— Ел-ага, сами видите, как мы живем! Танирберген нас окончательно уморит. Так что же нам теперь — как овца дрожит под ножом, так и нам? Или что-то надо делать?

Еламан покашлял, огляделся исподлобья. Глаза у рыбаков заблестели, каждый, наверное, про себя искал выхода, но все ждали, что скажет Еламан.

— Джигиты!— Еламан старался быть рассудительным.— Только ли мурзу обвинять нам во всех неудачах? Может быть, мы плохо ловим? Если за рыбой не гнаться, как за диким зверем в степи, много ли поймаешь?

— А то мы не гонимся! Так гонимся, вот-вот ноги протянем.

— Это верно. Я знаю...— уныло согласился Еламан.

— А раз знаешь, чего нас судить? Рыбы нет, в этом все дело!

— Верно, верно. Даже к сетям не подходит.

— Или ушла куда-нибудь вся рыба?

Еламан усмехнулся и переглянулся с Мунке.

— Рыба-то не ушла, вот Мунке-ага знает... Дело в том, что как у скота, так и у рыбы есть свои любимые пастбища. Вот в чем дело, дорогие мои джигиты-рыбаки!

Мунке мелко закивал и обрадовался: наконец-то разговор зашел о главном!

— Это ты хорошо сказал,— важно подтвердил он.— О пастбищах. Это как раз и есть вся причина. Да пастбища-то все у мурзы! Помните, как в тот год Темирке точно так же выгнал нас в открытое море? Тогда еще Кален говорил: «Это море не татарин выкопал, его бог создал, и принадлежит оно всем!» А ведь это было при царе! Сейчас царя нет, говорят, революция... Говорят, все для трудящегося народа, а? Что-то не видно, чтобы мурза наш трудился, а? Однако и сушей и морем владел мурза, так и владеет. Что же мы, так и будем молчать?

Молодежь зашумела. Больше всех обрадовался Рза. Он всегда любил Мунке, но глухую досаду к нему часто испытывал. Уж больно тих, осторожен был старик.

— А что?— Рза даже вскочил.— До каких пор нам прятаться в кусты?

— Верно! Эх, друзья, и зажили бы мы, если бы начали ставить сети в заливе Кандыузек!

— Э, у тебя губа не дура... Гляди только, как бы в капкан не попасть. Забыли небось про Ивана Курносого?

И опять все примолкли и засморкались в смущении. Нарушать запрет было опасно.

Еламан вздохнул, прикрыл полой бешмета спавшего на коленях у него сына, потом выпрямился.

— У страха глаза велики...— сказал он, и старики тотчас согласно закивали.— Но мурза ведь и в самом деле силен.

Старики опять закивали.

— Знаем, Ел-ага!

— Тогда смотрите не жалейте, если дело у нас не выйдет. Если потом искать виноватого, то лучше с мурзой и Темирке не связываться. Я так думаю, а там смотрите.

— Понимаем, Ел-ага.

— Чего там! Нам-то терять нечего...

— Ты только постой за нас!

— Хорошо, идите все по домам. Завтра будем ставить сети в заливе Кандыузек.

Рыбаки стали расходиться. Рза нарочно вышел первым, стал в темноте ждать Айганшу.

— Давай провожу...— несмело предложил он, когда Айганша вышла.

Айганша ничего ему не ответила, только нагнула голову и заспешила. До дому она шла быстро, тихо открыла дверь. Все в доме дав-

но легли. Айганша не стала зажигать лампу. Осторожно ступая в темной комнате, вслушиваясь в оглушительный храп Калау, она тихо добралась до своей постели рядом с постелью Кенжекей. Улеглась она, не раздеваясь, только по привычке натянула платье на колени.

Тулеу поднял голову с постели младшей жены.

— Где это ты шлялась, а?

Айганша молчала. После истории с нарядом Тулеу побаивался Айганшу. Поэтому он не стал больше ничего спрашивать, ругнулся только себе под нос и уснул, вторя храпу Калау.

Айганша ворочалась, закрывала глаза, представляла бесконечное количество рыбин, которые она засолила за день (это всегда навевало на нее крепкий сон), но заснуть не могла. Перед глазами ее все стояла землянка Мунке, блестящие глаза рыбаков, решившихся потягаться с Танирбергеном. Но больше всего думала она о Еламане. Чего только не случается в жизни! И как она сразу узнала его! Она вспомнила, как еще тогда, когда везли его в Челкар, поразил он ее воображение. Кого, кроме своих братьев да матери, видала она в те годы? Случайные заезжие вроде Абейсына да подводчики в промерзлой одежде — вот все, кого она знала. В самом деле, дикой, пугливой девчонке, росшей в безбрежной унылой степи, Еламан мог показаться человеком особенным. Закованный в кандалы, поднявший руку на грозного русского бая, он показался ей человеком из неведомого, таинственного мира, героем.

Она часто вспоминала его с тех пор. И в мечтах ее бедный рыбак становился сказочным богатырем. Ни разу не думала она о его внешности — красив ли он, молод ли? — и сейчас она не знала, изменился ли он с тех пор. Она только лежала, широко раскрыв глаза, в темной комнате, в которой наперебой храпели ее братья, и силилась вообразить те края, куда судьба загоняла его, и те мытарства, которые он перенес. Но воображение бедной девушки, выросшей в степи, было бессильно и неопределенно, и ей чудились неясные, но страшные картины: то черные, как могила, темницы, то неприступная крепость Торгаут за девятью стенами, то громоздящиеся до неба горы Капские.

И он прошел через все преграды и темницы, измученный, добрался наконец до родной земли, до своих рыбаков, до маленького сына. «Как смела жена его не дождаться?» — с гневом и презрением думала она под утро, уже засыпая.

XVI

Утром рыбаки спускали лодки на воду молча: все думали о предстоящем нарушении запрета. Еламан и Мунке вышли в море последними, в одной лодке. Вчерашний шторм к утру улегся, и душа отдыхала от тишины. Но море еще не успокоилось — волны еще беспорядочно возникали тут и там, и даже начавшийся слабый предрассветный ветер из степей не мог успокоить его.

Еламан радовался: опять, как когда-то, выходил он в море, слышал плеск воды под бортами лодки, привычным глазом искал чаек — рыбаки ехали проверять сети, и чайки должны были прилететь. Но чаек почему-то не было, и это поражало Еламана. Потом он понял, в чем дело. Все чайки собрались над заливом Кандыузек. Они там падали и взмывали, и лучи поднимающегося солнца серебрили исподнизу их крылья.

Рза из соседней лодки махнул рукой, потом крикнул:

— Видали, где рыба? Во-он чайки-то где!..

Еламан сочувственно кивнул ему.

— Ничего не скажешь...— бормотал Мунке, налегая на весла.— Кандыузек — место благодатное, рыбаки Доса прямо объелись рыбой...

— Да и сегодня у них в сетях небось не жидко. Видал, как все чайки туда собрались?— сказал Еламан. Помолчав немного, он удивился:— Что-то там людей не видно. Не вышел никто в море, что ли?

— Да у них каждый день так,— сказал пренебрежительно Мунке.— Со скотом управиться надо, вот они и возятся, как многодетная баба с детьми. Коль брюхо полно, так и спешить некуда. А у тех, кто недавно приехал из степей, так и вовсе душа к морю не лежит.

Споро, привычно работая, они вытащили все сети, расставленные в открытом море. К обеду снова поднялся ветер, опять потемнело море, и лодки начало валять с боку на бок.

— Вот это ветерок!— покрикивал Еламан, гребя что есть силы.— Измотать-то он нас измотает!

— Только бы шторма не было,— отзывался Мунке.— Не приведи бог!

Перед тем как отправиться в Кандыузек, рыбаки высадились на берег, разобрали и осмотрели сети. Где было порвано, тут же на берегу стали зашивать. Кое-кто отправился домой перекусить. Ветер между тем опять перестал, и наступила такая тишина, что не шелестел даже прибрежный камыш. Только на горизонте висели темные вечерние тучи, сливаясь там с черной пучиной. Поспорив немного, Еламан и Мунке решили, что ночь будет тихой, а завтра днем поднимется шторм.

Когда солнце стало садиться за далекие степные холмы, рыбаки опять спихнули лодки и минут через двадцать были уже в заливе Кандыузек. Так же молча и сноровисто они выкинули сети поблизости от сетей Доса.

Возбужденный Рза вдруг быстро подгреб к Еламану:

— Ел-ага, а ведь нам никто и не помешал...

— Не радуйся особенно. Вон, гляди, по берегу Иван Курносый ходит.

— Где? Вон тот, что ли?

— Он самый.

— Вот злодей! Выследил все-таки...

— Ладно... Где там выследил — мы же в открытую сети ставим.

К ним постепенно подплывали остальные рыбаки. Все с опаской и любопытством смотрели на берег. Одинокий пеший с ружьем за плечами ходил по берегу.

— Может, охотится?— предположил кто-то.

— Какой там зверь! За нами следит...

Еламан решил поговорить с Иваном и стал выгребать к берегу. Борт о борт шли с ним и остальные рыбаки. Иван, дождавшись, когда рыбаки приблизятся, обернулся к камышам и замахал рукой. Тотчас из камышей вышли несколько человек.

Еламан поглядел на своих рыбаков. Рыбаки как бы между прочим клали поудобнее багры и весла. Лодки в тишине подходили к берегу. Грести уже перестали, лодки двигались по инерции.

— Только не скандалить!— предупредил своих Еламан.

Он первым спрыгнул на берег. Сейчас же с плеском выпрыгнули в воду и стали выбираться на берег остальные рыбаки. Иван Курносый, поглядев на своих людей, неторопливо подошел к Еламану.

— Здорово, приятель!— насмешливо сказал он и прищурился.— Давно не видались...

— Давненько...

— Почему нарушаешь закон?

— Какой закон?

— Залив Кандыузек — место запретное. Это владение Темирке. Или ты забыл, а?

— Твой Темирке еще не вылупился, когда Мунке уже рыбачил в этом море. Теперь мы будем брать рыбу здесь. Или вашему промыслу не все равно, от кого принимать рыбу? От нас или от Доса?

— Значит, не все равно.

— Ну что ж,— Еламан мельком посмотрел на своих рыбаков и усмехнулся.— Что ж, не будете принимать, сами будем есть...

— Ты у меня так поешь, каторжник...— забормотал Иван.— Ты у меня поешь, что кровь с зубов пойдет!

Говоря так, он быстро оглядел рыбаков Мунке, соображая что-то, и решил наконец, что с рыбаками Мунке сейчас связываться не стоит (слишком их много), а надо доложить обо всем Танирбергену. Остановившись на этой мысли, он не стал больше грозить, повернулся и быстро пошел в сторону промысла. Люди его переглянулись и пошли за ним. Рыбаки остались на берегу.

XVII

Дела Танирбергена на прибрежье подходили к концу. Джигиты его за лето скосили достаточно сена. Но ему все было мало, и он, пообещав каждому по овце, нанял еще рыбаков Доса косить зеленый курак. Рабочие, приехавшие из Челкара, достраивали ему многооконный дом у зимовья в Ак-бауре. Дом был на городской лад, с голубой железной крышей.

Чуть ли не каждый день ездил Танирберген к своему дому, смот-

рел, как подвигается работа, и радовался, воображая, как он въедет в свой богатый дом с новой женой.

Выдать свою сестру замуж за Танирбергена для Тулеу было самым важным делом. Он уже получил свою овцу за курак, все звал мурзу в гости. Танирберген выбрал время наконец и прислал сказать, что приедет. Тулеу тотчас зарезал овцу и просил мурзу приехать поближе к вечеру, когда Айганша после работы приходит домой.

Но он не мог дождаться мурзы и пошел ему навстречу. Встретил он его за аулом. Они остановились, поговорили о делах, потом мурза тихонько тронул коня к дому Тулеу. Ехал он шагом, чтобы Тулеу не отстал. Танирберген был один, без своих нукеров. Сегодня ему никто не был нужен. Сегодня он хотел говорить с Айганшой.

Возле своего дома Тулеу забежал вперед и, пока мурза спешивался и привязывал коня, распахнул дверь и закричал:

— Эй, эй, бабы! Принимайте высокого гостя!..

Айганши дома не было. Обеспокоенный Тулеу, усадив гостя на самые мягкие подушки, вызвал Кенжекей за дверь.

— Где Айганша?

— Еще с работы не приходила...

— Болтай у меня еще! С работы все давно ушли.

— Может, рыбы много? Когда много рыбы, их иногда задерживают допоздна...

— Ай, сатана, ты тут мне не крути! Эта девка, видно, опять у Мунке сидит. Беги за ней, веди сейчас же домой, поняла?

Вернувшись в дом, Тулеу робко покосился на гостя. Танирберген оглаживал усы, оглядывался и делал вид, что ничего не случилось.

Тулеу бегал по дому, сам готовил угощение гостю и никак не мог придумать, что бы такое соврать мурзе.

— Бедная, никак не может забыть своей матери,— забормотал он наконец.— Ради ласки Ализы...

Он не договорил и прислушался. С улицы ясно был слышен шорох, будто кто-то подходил на цыпочках к дому. Тулеу подождал, но никто не вошел. «А, черт, сатана!— подумал он о Кенжекей.— Не может быстро сбегать...»

Дверь осторожно отворилась и прикрылась. Пришла Кенжекей. Она запыхалась и смотрела на Тулеу тревожно.

— Где она?— шепотом спросил Тулеу.

Кенжекей не успела ответить, как дверь опять отворилась и в дом, поеживаясь, вошла Каракатын. Облизнувшись, она с преувеличенной учтивостью и смирением поздоровалась с Танирбергеном. Потом взглянула на Тулеу. Во всей фигуре ее, в лице, в губах и в глазах было такое злорадство, что Тулеу мигом сообразил: дело плохо.

— Э... уж не потерял ли ты чего ненароком?— смиренно спросила Каракатын.

— Пошла отсюда!— прошипел Тулеу и показал кулак.— Катись отсюда!..

— Ах, дорогой, я к тебе по-соседски... Хотела горем своим поделиться...

— Вон отсюда, сатана!..

— Представляешь? Я чуть не лопнула от горя, когда увидела, как твоя сестрица... эта бесстыжая девка, обнимается с джигитом...

— Что-о? Что она тут мелет?

— Ойбай-ау! Бывало, в сорок глаз глядят за девкой — и то не углядят. А вы ее совсем распустили.

Взбешенный Тулеу перестал стесняться мурзы.

— А какое твое собачье дело до моей сестры?— заорал он.— Ты что сюда лезешь?

— Дело... Какое дело?— несколько растерялась Каракатын, но тут же ободрилась.— Э, дорогой, теперь уж не у меня, а у тебя будет дело...

— Что еще за дело?— не понял Тулеу.

— А вот увидишь...

— Говори, ну!..

— И скажу! Побоюсь, что ли?

— Тьфу, чертовка! Говори!— заревел Тулеу.

— Я вот тоже вырастила девушку. Моя дочь была такая невинная, что...

— Го-го-го!..— заржал вдруг Тулеу.— Твоя дочь... Сковорода немытая — вот кто твоя дочь! Нашла, с кем сравнить... Го-го-го...

— Сам ты сковорода, дурак паршивый! Моя дочь честная замуж вышла. А ваша девка...

— Заткнись, зараза!

— А вашу девку вы проморгали! Бабы твои только и знают, что обжираться. Вон, гляди, ряшки жиром заплыли, сидят — зады отращивают, а сестрица твоя — хвост дудой и ушла с беглецом этим, с каторжником...

— Что ты сказала, балда?

— Сам ты балда! Посмешище! Пес ленивый! Что и было стоящего у тебя в доме, так Айганша. И ту под носом у вас всех увел Еламан!

Тулеу вдруг побежал к печке, схватил кочергу. Жилы на висках у него вздулись. Калау, будто дремавший до сих пор в углу, пошарил возле стенки, нашел здоровую плеть и вскочил. Пинком растворив дверь, Тулеу выскочил на улицу. Мрачный Калау развинченной походкой вышел следом.

— Тулеу, постой!— закричал кто-то со стороны.

Братья остановились, оглянулись. К их дому подходила спешно кучка людей во главе с Иваном Курносым и Досом.

— Обожди, Тулеу, дело!

— Отстань!

— Да постойте вы!..

Братья, не оборачиваясь больше, зашагали к аулу Мунке.

— Назад!— раздался голос Танирбергена.

Братья остановились. Швырнув кочергу в пыль, Тулеу повернул к дому. Разочарованно вздохнув, поплелся назад Калау. Через минуту все сидели перед Танирбергеном.

— Мурза, аул Мунке поднимает скандал,— докладывал Иван Курносый.— На глазах у всех поставили свои сети в заливе Кандыузек. Попробуйте, мол, прогоните, а?

Иван даже засопел от обиды.

Бледный Танирберген глазом не моргнул. Не до рыбаков ему было теперь. Он опомниться не мог от поступка Айганши. Крепко потерев лоб, он наконец сообразил, о чем говорит ему Иван, и повернулся к Досу.

— Что скажешь?— тихо спросил он.

Дос сперва смотрел в землю. Потом выпрямился, но глаза все равно прятал.

— Где Еламан, там всегда заварушка...— буркнул он.

— Тогда решай,— сказал Танирберген и погладил усы, пряча злую усмешку.— Море твое, и рыба твоя...

— Решать нечего. Отобрать сети, и все.

Танирберген помолчал, изучающе осматривая всех.

— Дос-ага прав,— сказал он.— Раз они решили вас грабить, вы не давайтесь! Соберите побольше народу. Пощады Мунке не давать!

Дос и Иван Курносый встали.

— Так мы пойдем...— коротко сказал Дос.

Танирберген кивнул. Потом поглядел пристально на Тулеу и Калау.

— Когда дойдет до дела,— внятно сказал он,— можете показать свою силу, любезные братцы.

Встал, потянулся и, будто совсем забыл про Айганшу, вышел. Через минуту братья услыхали стук копыт.

XVIII

Рыбаки Мунке встали рано. Никто не ждал распоряжений. Каждый молча занимал место в своей лодке. Все было как всегда, как каждое утро — стучали весла, скрипел песок под лодками, всплескивала вода. Только багров на этот раз взяли побольше да не слыхать было обычных шуток и смеха.

Утренний ветерок занимался вроде бы ровный. Но пугливый шелест и тревожная дрожь курака не сулили хорошего. Мунке с Еламаном переглянулись.

— Ну, джигиты, поспешим,— поторопил рыбаков Еламан.— Ветер поднимается...

Рыбаки, как и вчера, тотчас уселись в лодки по двое и стали выгребать к заливу Кандыузек. Еламан все поглядывал на берег. На берегу не видать было ни души. Тихо было и на промысле, не мель-

кали там платки баб, не слышалось голосов. И в море было пустынно. Кроме них, никто в море не вышел.

Еламан не знал, к добру это или к худу. Он томился, но, чтобы не напугать Мунке, нарочно заговорил о ветре:

— Ветерок-то опять крепчает...

— Ничего!— бодро отозвался Мунке.— Сети наши ведь в заливе, за камышом. Там тихо будет.

— Так-то оно так, да как бы нас еще до залива не прихватило — намучаемся.

Мунке не ответил. Некоторое время он осматривал берег и море, потом вдруг сказал:

— Что-то, кроме нас, никто не вышел в море,— и даже грести перестал, задержав весло в воздухе.

— Я давно уже заметил...— отозвался Еламан.

— Непонятно что-то.

— Черт побери! Если бы узнать... Не может быть, чтобы те ничего не предпринимали.

— Может, тебя боятся?

— Меня-то? Вряд ли...

До Кандыузека рыбаки дошли скоро. Мунке был прав: в заливе было тихо, волна с моря сюда не доходила, возле трясин и камышей стыли отраженные в воде утренние облака.

Едва подойдя, рыбаки начали выбирать сети. Сети колыхались и трепетали от биения обильной рыбы. Желтобрюхие сазаны и серебристые чебаки, белоглазки и черноглазки сверкали, как серебряные монеты на камзолах девушек.

— Ух, барекельде!— восхитился Еламан, вспомнив свою рыбацкую молодость. Рыба хлестала по воде, розовые в утреннем свете брызги высоко взлетали над лодками. Еламан, мокрый с ног до головы, швырял рыбу на дно лодки и смеялся. Давно не испытывал он такой радости.— Мунке, помогай!— покрикивал он.— Вот это рыбка!

Возбужденно кричали и на других лодках — куда ни глянь, всюду видны были сгибающиеся и разгибающиеся спины, слышался глухой стук рыбы о дно лодок.

И никто не заметил сначала, как из-за камышей разом показалось десятка два лодок Доса. Впереди всех на узкой белой лодке спешил Иван Курносый. Тихо и азартно покрикивая на гребцов, он стоял на носу с двустволкой в руках.

Неизвестно, кто первый заметил их, но рыбаки разом бросили работу и повернулись к Еламану.

— Весла, багры готовьте!— крикнул Еламан, нашаривая в ногах скользкий от рыбы багор. Положив багор поперек лодки, Еламан внимательно сосчитал рыбаков Доса. Тех было раз в пять больше, чем джигитов Мунке. У троих, кроме Ивана, были ружья.

— Апыр-ай! Они пойдут на все!— пробормотал Мунке.

— Ах дурак я, дурак!— ответил ему Еламан, с поздним сожалением вспоминая о спрятанной на заброшенном зимовье винтовке.

Иван Курносый издали начал целиться в Еламана.

«Постреляют нас!»— бессильно подумал Еламан и крикнул своим рыбакам:

— Ладно, джигиты, бросайте багры!

Рыбаки Мунке один за другим со стуком стали бросать багры в лодки. Джигиты Доса, разделившись надвое, стали заплывать с обеих сторон. Подплыв, Тулеу размахнулся веслом, хотел ударить Еламана, целил в голову. Еламан увернулся, весло гулко ударилось о борт, сломалось. Тулеу, задыхаясь, схватил соил. Еламан успел перехватить конец соила, вырвал, забросил далеко в воду.

— У, гад! Силу показывает!— заорал Тулеу.— Дайте ружье!

— Тихо, тихо!— Иван Курносый вклинился между лодками Еламана и Тулеу, положил ружье на колени, направил стволы на Еламана.— Пикнешь — пристрелю, как собаку, понял?— И тут же своим:— Приступайте!

Джигиты Доса с наслаждением принялись забирать рыбу, весла, багры и сети. За полосой камыша и болот гудело море, в заливе Кандыузек было тихо, только люди ругались и громко сопели.

Дос с ненавистью глядел на бывшего своего друга Мунке.

— Вот кого бы я утопил!— говорил он яростно.— Мало утопить этого старого черта!

— Топи, топи!— так же злобно отвечал ему Еламан.— Топи! Всех не утопишь!

— А ты, сволочь, не рыпайся особо! Объявился тут, зараза! Гляди, другой раз попадешься — живым не уйдешь!

— Ладно! Больше не встретимся. А встретимся — разойдемся по-другому!

— Поглядим...

Рыбаки Доса между тем начали уже перебрасывать рыбу в свои лодки.

Как ни крепился Еламан, но, когда увидел, как у рыбаков Мунке забирают сети, не выдержал.

— Что ж ты делаешь, Иван?— ужаснулся он.— Ведь царские времена прошли, а?

— Хо-хо! Теперь у нас времена Танирбергена!

— Значит, никогда не будет нам свободы?

— Смотри-ка ты! Свободы захотел? Твоя свобода — на каторге, сволочь! А эти,— повел он глазом по рыбакам Мунке,— эти завтра от голода выть начнут. А когда совсем уже загибаться будут, вот тогда и поговорим, кто тут главный: ты или наш мурза! Понятно?

XIX

Уже три дня в ауле Мунке никто не выходил в море. И уже три дня ни в одном доме не разводили огня под котлами. Кое-кто начинал уже поругивать Еламана.

— Черти его сюда принесли! Посадил всех на воду... Лучше бы он и не появлялся.

Но сильнее, чем голод, угнетало безделье. Раньше рыбаки все-таки выходили в море, возились с сетями. Раньше хоть надежда светила каждому: вдруг попадет хорошая рыба? Теперь никто не выходил из дому, и ругань в семьях стояла по любому поводу.

Еламан думал, думал и ничего не придумал, кроме как пойти поговорить с Танирбергеном.

Танирберген принял Еламана ласково. Он отдыхал в полуденный зной в своем прохладном шатре. Когда пришел Еламан, мурза поднялся с преувеличенной любезностью:

— Проходите, дорогой Еламан, проходите, садитесь...

— Я ненадолго...— хмуро буркнул Еламан.

— Почему! Будьте гостем. Эй, кто там!

В шатер поспешно вошли два дюжих джигита во главе с косоглазым гонцом и стали у двери. Танирберген улыбнулся и начал расспрашивать гостя о здоровье. Насчет здоровья Еламан ничего не сказал, а сразу повел речь о рыбе. Красивое лицо мурзы поскучнело.

— Да-да... понимаю...— приговаривал он, слушая Еламана и глядя в сторону, а потом сказал:— Море не мое. Хозяин на промыслах Темирке. Если хотите поговорить о рыбе, поезжайте к нему в Челкар.

У Еламана от гнева запылали уши.

— Так-так... Я понял тебя!— грубо сказал он и в упор поглядел на мурзу.— Тебе интересно стравливать наши аулы. Чтобы мы, как собаки, перегрызлись.

— Понимай, как хочешь,— надменно ответил мурза.

— Вот как, значит?

— Да, вот так...

Еламан не стал больше разговаривать, поднялся и ушел. Нукеры мурзы не тронули его, молча посторонились, когда он выходил. По дороге домой Еламан вспомнил опять о винтовке и опять пожалел, что не привез ее в аул.

К вечеру Мунке и Еламан придумали наконец себе занятие и пошли в овраг Талдыбеке резать ивовые прутья. Нарезав по охапке прутьев, они принялись плести морды. На другой день к ним присоединились другие рыбаки. Сначала никто ни о чем не думал — просто рады были, что нашлось занятие. И, только заготовив уже десятка полтора морд, спохватились, что их надо ставить только в тихих озерах и заливах. В открытом море в морду не зайдет ни одна рыба. Тогда все бросили работу и снова разошлись по домам.

— Ну как там у вас дела?— спросила Ализа, увидев возвращающихся домой Мунке и Еламана.

Мунке махнул рукой и отвернулся. Еламан молча прошел в дом, посадил сына на колени, взял домбру. Невеселая мелодия тихо задрожала в темной землянке. Мунке и Ализа слушали пригорюнившись. Еламан играл долго, пока не пришла Балкумис из аула Доса. На плоском сухом, как у матери, лице ее держалась злоба. Она принялась ходить из дома на улицу и назад, хлопала дверью и бурчала, ни на кого не глядя:

— Черт принес этого бродягу, каторжника! Подыхай тут с голоду из-за него!

Споткнулась мелодия, звякнув струнами, Еламан отложил домбру, поднялся и вышел на улицу. Солнце садилось. Он посмотрел на трубы землянок. Было время ужинать, но ни из одной трубы не тянулся дым. При виде женщин и детей Еламан опускал глаза. «Как же быть?— думал он.— Что делать? Бороться с Танирбергеном? Но как?» И он опять вспомнил о спрятанной винтовке и опять пожалел, что не привез ее с собой. Мысли его прервал нежный голос девушки. «Кто это? А! Это Айганша... А я совсем забыл о ней!»— мелькнуло у него, и он заторопился в дом.

Айганша принесла в рогоже рыбу, выписанную в долг, и незаметно положила возле двери. Погладив по головке Ашима, она как-то растерялась, будто не знала, сесть ей или уйти.

— По делу пришла, дочка, или в гости?— окликнул ее ласково Мунке.

— Нет... Просто так,— сказала еле слышно Айганша и покраснела, потом повернулась и выбежала из дому.

Опять сильно хлопнула дверь, вошла Балкумис, неся оставленную Айганшой рыбу.

— Милостыню уже подают... И то слава богу!

— Что?— не понял Мунке.

— «Что, что»! Милостыня, говорю, вот что!

— Кто это принес?

— Да девка эта, кто же еще!

— Алда айналайын-ай! Истинно ласточка, которая носит грешникам воду в ад!— умилилась Ализа.

— Алда-балда! Дура! На что ты ей? Если бы не джигит холостой в доме, только бы ты ее и видела!

Еламан взял сына на руки и опять вышел на улицу. На душе у него было так плохо — хоть в степь уйти!

Ализа проводила Еламана взглядом и укоризненно посмотрела на Балкумис.

— Постыдилась бы хоть гостя,— упрекнула она ее.

— Э! Вот еще, буду я стыдиться!— заорала Балкумис.— Пускай я буду самая бесстыжая в ауле!

— А ну хватит!— сказал Мунке.

— Зато вы оба хороши!— не слушая его, кричала Балкумис.— Вот вы и стыдитесь!

— Перестань...

— Сам заткнись, старый дурак!

Мунке переменился в лице. Схватив тяжелый рыбацкий сапог, он кинулся к Балкумис.

— Убью, с-сука!— прохрипел он.

— Убил один...— все еще дерзко огрызнулась Балкумис и не договорила: страшный удар сбил ее с ног. Ализа повисла на плечах Мунке, он отшвырнул ее в угол и принялся бить Балкумис пинками.— Ойбай, убивают!— заголосила в ужасе Балкумис.

Мунке схватил ее за волосы и поволок за дверь. Вытащив ее на улицу, он бросил ее на землю и опять стал бить ногами — в кровь, в смерть!— почти теряя сознание от ненависти.

Обессилев, покачиваясь, вошел он в дом, молча опустился на корточки и закрыл лицо руками.

— Ализа-ау!— позвал он, задыхаясь.— Разве я живу сейчас? Я же конченый человек! Да чем эта тварь передо мной так выставляется? Ребенком попрекает? Не нужен мне ребенок! Пусть забирает! Вон Есболу уже за семьдесят перевалило, и детей никогда не было. Живет же! Мне теперь не ребенок, мне покой нужен. Объясни ты этой двуногой зверюге! Втолкуй ей! Не хочет жить с нами, пусть убирается к чертям...

У Ализы прыгали губы. «Во всем я виновата! Я, я свела его с этой тварью, я!»— безмолвно убивалась она.

XX

Как описать и с чем сравнить первое чувство юной девушки? Есть ли во всей нашей жизни время прекраснее времени первой любви?

Бабы, у которых оставались дома грудные дети, еле досидели до конца рабочего дня на промысле. Чуть не бегом пустились они по домам, едва вышло время, и большой амбар, несколько минут назад наполненный звуками сырого шлепанья, льющейся воды, стука ножей по дереву, вдруг опустел и гулко затих.

Одна Айганша не торопилась домой. Охладев к братьям, она перестала любить и дом свой.

Старик сторож, громко стучавший в тишине амбара сапогами, прибирая брошенную бабами рыбу, уже начинал подозрительно посматривать на Айганшу. Кончившие работу обычно подходили к нему, и он их обыскивал, чтобы не уносили домой рыбу с промысла. Помедлив, подошла к нему и Айганша.

— Давай ищи!— сказала она хмуро.

— Ладно, проваливай!— буркнул сторож, отводя глаза. Айганша ему нравилась, и он иногда отпускал ее, не обыскав.

Едва выйдя за ворота, Айганша столкнулась с Кенжекей.

— Чего тебе?— недовольно спросила Айганша.

— Тулеу послал, велел тебя домой привести. Вот и ждала тебя... Моей воли тут нету.

— Значит, следите за мной? Охраняете, значит, да?

— Ой, милая, не трави ты мне душу! Мне что братья твои скажут, то я и делаю...

Айганша злобно рассмеялась и, не сказав больше ни слова, пошла прочь. Она шла и удивлялась самой себе, откуда в ней вдруг такая ненависть и к братьям, и к Кенжекей.

Решив помыться после работы, она повернула к отмели, сверкавшей под солнцем. Забредя в воду, она подобрала спереди подол, зажала его в коленках, нагнулась и хотела уже зачерпнуть воды, как вдруг увидела свое отражение — и застыла. Долго рассматривала она себя в воде. Потом стала приглаживать вьющиеся на висках волосы. Ей стало хорошо и страшно от мысли, что она красива. Раньше она как-то не думала о своей красоте, а сейчас ей стало вдруг горько, что Еламан приехал только теперь, а не год назад — так много времени пропало впустую.

Умыв лицо, смочив и еще раз пригладив волосы, она вышла на берег и опять злобно и молча прошла мимо поджидавшей ее Кенжекей.

Ветер стих. И море, раскинувшееся до горизонта, тоже утихло, еле заметно поднимаясь и опадая. Есть какая-то необыкновенная прелесть в этих дивных багряных вечерах ранней осени. Подует, прибежит из неведомой дали легкий теплый ветерок, и задрожат, перешептываясь, верхушки чуткого курака. Нальется вечерней молочной синевой море. Последний свет солнца косо, ровно и румяно заливает степь. И в такие минуты Айганша тихо приподнимает и опускает ресницы, чувствуя, как весь мир вмещается в ее сердце, и хочется ей бесконечно брести краем воды.

С каждой минутой убывал свет, и длиннее становились тени в степи. Над морем, низко, едва не касаясь воды, тянулись черные издали стайки уток. Айганша оглянулась и радостно поразилась: опять она стояла среди камышей, на том же самом месте, где давеча встретились и так долго стояли они с Еламаном. Она ждала тогда, что он опять, как и в первый раз, будет рассказывать ей свою жизнь, но он молчал. Он был грустен, а она вся измучилась, не решаясь спросить, почему он такой печальный. Она боялась сделать ему больно. Много загадочного было для нее в этом крупном, крепко сложенном джигите, у которого так рано засеребрились виски.

Сдержанность ли была в его молчании? Или он не хотел огорчать ее своими невеселыми рассказами? Неужели он берег ее девичье сердце?

Она вообразила вдруг его усталое, замкнутое лицо и пожалела его так, что даже в груди у нее защемило. Оглядевшись, она опять увидела Кенжекей. Та стояла поодаль и терпеливо ждала. Заметив,

что Айганша смотрит на нее, Кенжекей подошла и проговорила ласково:

— Милая, пойдем домой!— Она смутно уже о чем-то догадывалась, и сердце у нее болело за девушку.

— Женге...— прошептала Айганша.

— Что, родная?

— Женге... Скажи, ты по любви вышла за моего ага?

Кенжекей похолодела. Она знала о подозрениях Тулеу и Калау, но не особенно им верила. Ей казалось, что Еламан, немолодой, начавший уже седеть человек, годится скорее в отцы Айганше, чем в мужья. А теперь это оказывалось правдой! Ошеломленная Кенжекей молча опустилась на корточки.

Айганша поняла, что проговорилась, покраснела, вдруг тоже присела и обняла Кенжекей.

— Ай, милая!— глухо сказала Кенжекей.— Моя жизнь на твоих глазах идет. Любила, нет ли — теперь мне прошлое кажется сном. Это весною земля расцветает, в тюльпаны одевается, а осенью, когда дождь и снег, какая краса у земли? Разве теперь не веет от меня осенней стужей? Что обо мне говорить! Будь ты счастлива!

— Милая моя женеше...— прошептала Айганша и нежно поцеловала Кенжекей в щеку.

Солнце уже зашло. Из-за далекого восточного горизонта надвигался мрак. Лишь самые верхние облачка были еще розовато освещены. В сумерках далеко разносился стеклянный плач одинокой чайки. Звала ли она своего супруга? Плакала ли над разоренным гнездом?

Айганша еще раз погладила Кенжекей, встала.

— Женеше, ты иди домой,— краснея, сказала она.— А я пойду к Мунке, к... в общем, в тот аул...

— Зрачок ты мой, что же будет, если брат узнает?

— Пусть узнает!— уже сухо, враждебно отозвалась Айганша и, не оглядываясь, пошла в сторону аула Мунке. Через минуту она пропала в сумеречной степи, среди зарослей камыша и курака...

XXI

— Они вчера, говорят, опять встречались, а? Да это еще что! Главное, не он к ней, а девка сама к нему прибежала! Бесстыдница, совсем очумела, а? Вот новость!

Так говорила по аулу Каракатын. Дошли ее слова и до Тулеу. Тулеу рассвирепел, поднял в доме шум и гром, загнал обеих своих жен в разные углы, хотел подождать, когда придет с работы Айганша, чтобы самому все у нее выпытать, но не дождался, выскочил на улицу и пошел к Мунке.

— А ну выйдем!— не здороваясь, запаленно крикнул он с порога.

— Что случилось, дорогой?— вежливо спросил Мунке, выйдя с Тулеу на улицу.

Тулеу водил языком по губам, подыскивая подходящие слова. Добродушие старого рыбака несколько утихомирило его, но он пришел ругаться. Он нагнулся, сорвал пучок травы, помял, подергал его, потом бросил в сердцах под ноги.

— Как перекати-поле, гонимое ветром,— начал он, заведя глаза,— да... как перекати-поле, оставив исконные земли, переехал я к вам. Да! Судьба не баловала нас... И сестренка моя — наша гордость. Я уж знаю, за кого ее выдать. А ты скажи своему... своему Еламану, чтобы он ее с пути не сбивал, понял?

— Ах, дорогой! Да, может, это сплетни...

— Ничего не сплетни!

— Ты что, своими глазами видел?

— Я не видел — другие видели.

— Кто же видел?

— А тебе-то что, аксакал? Лучше скажи своему кобелю: пусть не пялится на мою сестру, а то...

— А что?

— А то я ему охоту отобью. Я этого жеребца мигом оскоплю!

— Хорошо, я ему передам... Да ты и сам мог бы ему это сказать, а? Право!

— Нет, ты скажи!

Тулеу посопел, отвернулся и пошел, не попрощавшись. Поразмыслив, Мунке решил поговорить с Еламаном и медленно направился к дому Рзы.

Сегодня в ауле Мунке был редкий гость — Култума. Отморозив ногу на льдине, он оставил море и уехал куда-то далеко, к родным. С тех пор о нем не было ни слуху ни духу, и вот сегодня он вдруг приехал в гости к рыбакам. Рыбаки решили собраться в доме у Рзы, пошел туда и Еламан.

Когда вошел Мунке, его никто не заметил. Все глядели на Еламана и бойко подхватывали: «Э, пяле!» А Еламана было не узнать. Будто старый жырау, приосанившись, сидел он на высокой подушке, ни на кого не глядя, высоко вскинув голову, и пел озорную песню, подыгрывая себе на белой домбре:

Мигом вскочил я на Айрык-хребет,
Звонкого голоса моего уж нет.
Девушки не видевший, несчастный, целый год,
Я пленился бабой, собиравшей кизяк...

— Уа-ай-де!— восхищались рыбаки.

— Бедняга, значит, совсем пропадает.

— Это он сам сочинил, что ли?

— Да ну, это же песня Сары Батака. Он ее сочинил, когда ехал домой из тюрьмы Жармола.

— Э, вон оно что! Ну, Еламан-то, может, и песню Сары поет, а сам про себя думает: не мешало бы и мне бабенку, а?

Мунке, дождавшись, пока поутихнут рыбаки, негромко позвал:

— Еламан, родной, выйди-ка на минутку...

Еламан передал домбру Култуме, быстро поднялся и вышел вслед за Мунке. Далеко не пошли, присели на корточки в тени за домом. Мунке дословно передал весь разговор с Тулеу и выжидательно посмотрел на Еламана.

Еламан поразился откровенности Тулеу.

— Тулеу разъярился, как верблюд,— добавил Мунке.— Будь осторожен, ради бога!

— Что мне Тулеу!— после недолгого молчания сказал Еламан и выплюнул изжеванную травинку.— Меня другое мучает... Что думает девушка — это для меня поглавнее.

— Ну а если она не против?

— Тогда не отступлю.

— Убежишь с ней?

— Зачем? Приведу ее в свой дом, будет мне женой.

— Ай, смотри, дорогой! Кто тебе позволит? У нее два брата. Да что братья! Я вон слыхал, о ней Танирберген серьезно подумывает. Выследят, схватят — опять тюрьма?

— Ничего, я тоже не один.

— На кого же надеешься?

— А ты?

— Ой, милый ты мой! Где же у меня силы?.. Да и народ у нас теперь не тот, как когда-то. Где взять хотя бы того же Калена? А я теперь как старая птица карабай...

— Ну, ну... Выше голову, старина!

— Как тут голову поднимешь, когда на плечи сели?

— Вот что... Давно хотел тебе сказать: у меня ведь винтовка есть. Из города прихватил.

— Винтовка? Где?

— Припрятал. День езды отсюда. Боялся в аул везти. Боялся кровь пролить. А те не боятся, понимаешь? Ну раз они не боятся, то и мы...

Мунке посмотрел на Еламана и даже испугался. У того было такое же выражение, как в тот зимний день, когда убил он Тентек-Шодыра.

— Что ты задумал, дорогой?— со страхом спросил Мунке.

— Все старое, Мунке-ага... Опять бой. Пора опять собирать джигитов. Как в шестнадцатом году, помнишь? Эх, нам бы оружия раздобыть. Ну ничего, раздобудем!

— Не знаю, не знаю...— опасливо забормотал Мунке.— Может, ты и прав. Ох, великие перемены настают!

Не заходя домой, Еламан пошел на промысел. Он хотел вызвать Айганшу и поговорить с ней, прежде чем отправиться в путь за винтовкой.

Возле промысла его настиг вдруг истошный крик. Еламан испуганно обернулся. К промыслу скакал на неоседланном коне Судр Ахмет. Шляпа из кошмы съехала ему на глаза. Полы серого выцветшего чекменя распустились. «А говорили, что он поехал в Челкар,— растерянно подумал Еламан.— Или уже вернулся? Чего это он так вопит?»

Судр Ахмет, нещадно колотя ногами своего коня, пронесся мимо него.

— Аттан! Аттан!— вопил он.— Враг идет! Вра-а-аг!

У Еламана захолонуло сердце. Он остановился в нерешительности, раздумывая, идти на промысел или нет, потом повернулся и быстро пошел назад, в аул.

В ауле все рыбаки собрались на улице. Еламан еще издали увидел, как все возбуждены, как размахивают руками.

— А, Ел-ага!— встретили его.— Слыхал? На аулы Улы-Кум враг напал...

— Что за враг?

— Туркмены. Все из-за проклятого Танирбергена.

— Мстят за наш набег.

— За смерть...

— Говорят, поклялись отомстить казахам.

— Жестоки, как звери!

— Брехня, может быть?— усомнился кто-то.— Судр Ахмету верить...

Но Еламан сразу поверил слуху. После набега джигитов Танирбергена на косяки богатого хана Жонеута из воинственного рода Теке-Жаумит от туркмен можно было ждать чего угодно.

— Если это правда,— громко сказал он,— значит, ждать пощады от них нечего. А это похоже на правду. Надо сходить к Танирбергену и Досу. Сейчас не время думать о наших распрях, иначе нас разобьют поодиночке.

— Ничего не выйдет,— возразил кто-то.— Мурза, кажется, уводит своих джигитов...

— Вот оно что...— злобно сказал Еламан.— Уводит, говоришь? Напакостил, а теперь бежать? Это у нас всегда так — как только враг близко, мы все разбегаемся, спасая шкуры...

Еламан подумал некоторое время, потом махнул рукой.

— Ну ладно! Что поделаешь? Кто удирает, туда ему и дорога. Давайте, джигиты, не будем мешкать. Все-таки вы пойдите к Досу! Рыбакам-то куда же удирать? Я сейчас еду за винтовкой. Скажите Досу, у кого есть ружья, пусть зарядят побольше патронов. Жив буду — завтра вернусь.

Оседлав своего коня, он, не теряя времени, отправился в путь. Выезжая, он заметил суматоху и в ауле Доса. Жестокость хана Жонеута была хорошо известна казахам. У подводчиков, побывав-

ших в Конрате и Шимбае, волосы вставали дыбом при одном только имени хана.

Еламан торопился. Он боялся, что туркмены могут нагрянуть на приморье раньше, чем он вернется и соберет вокруг себя самых крепких и самых смелых рыбаков. «Беда какая!— думал он.— Вечные наши раздоры, как червь, подтачивают народ. Неужели так и проживем весь век в ненависти друг к другу?»

После обеда солнце жгло немилосердно. Конь Еламана от безделья нагулял уже жирок. Хоть и жалко было гнать сытого коня по жаре, но времени терять было нельзя, и Еламан от самого аула пустил коня в намет. Когда он перевалил Бел-Аран и спустился в серую холмистую степь, далеко впереди заклубились облака пыли.

Неужели враг? Неужели добрались уже сюда? Еламан похолодел и остановил коня, не зная, что делать. Из облаков пыли выскочили кони. За топотом копыт и ржанием, сливавшимися в сплошной гул, еле слышны были тонкие вопли табунщиков. Белоногие, одномастносерые кони целыми косяками, оглушая топотом тихую степь, неслись в сторону Бел-Арана. За табунами коней торопливо шло кочевье. На верблюдах, навьюченных скарбом, болтались, гремели медные чайники, тазы и ведра, привязанные, приторочённые кое-как. У женщин и детей от жажды потрескались губы и потемнели лица. Волосы, брови, ресницы посерели от пыли.

Еламан с трудом остановил нескольких всадников.

— Что с вами?

— От туркмен бежим.

— Много их?

— Сами не видели. Они напали на соседний аул...

— А вы куда подаетесь?

— Не знаем. Пока в приморье к рыбакам.

— Тогда гоните дальше, на Бел-Аран. На Бел-Аран подниметесь, увидите внизу рыбачий аул. Там и собирайтесь. У кого есть оружие, держитесь возле рыбака по имени Мунке и ждите меня.

— А ты-то, дорогой, кто сам будешь?

— Не медлите!— крикнул Еламан, отъезжая.

Нагнувшись, он погонял и погонял коня, потому что конь все норовил перейти с галопа на рысь. Часа через три конь окончательно выдохся. Мокрые от пота бока его блестели на солнце, голова моталась у самой земли.

Еламан галопом спускался по склону большого бурого холма, когда конь вдруг попал ногой в сурчиную нору. Раздался хруст, хриплое короткое ржание, конь грузно рухнул, Еламан вылетел из седла и перевернулся раза три, обдирая себе лицо и руки. Вскочив, он поглядел на коня. Конь лежал на боку. Из ноздрей его струилась кровь. Еламан подошел, хромая, пощупал ногу коня, потом потянул за повод. Конь попытался встать, застонал и опять повалился...

XXII

У Танирбергена сердце оторвалось, когда он узнал о набеге туркмен на аулы племени Тлеу-Кабак. Богатый аул его тестя был расположен в урочище Улы-Кум. «Неужто и до него добрались?» — с тревогой думал он. Но к тревоге его примешивалась и тайная радость. Он надеялся, что туркмены, разграбив богатый аул тестя, в глубь джайляу не пойдут, а повернут назад — добычи у них будет вдоволь.

Но, может быть, им вовсе не нужен первый попавшийся аул? Может, они, минуя все другие аулы, идут сюда, имея в виду только аул мурзы?

И Танирберген тут же отправил гонца на двух конях в свой аул в Акмаре. «Пусть как можно скорее снимаются и перекочевывают поближе к Челкару. Я потом догоню их»,— наказал он.

Уезжать с приморья надо было как можно скорее. Однако, опасаясь, что днем его легко могут заметить и догнать враги, он волей-неволей вынужден был дожидаться вечера, чтобы уйти незаметно. Время от времени он взбирался на высокий холм за промыслом и осматривал окрестности.

К вечеру к приморью собралось много аулов. Верблюды взмокли от усталости, и шерсть их, слипшаяся от пота и пыли, торчала во все стороны. Бесчисленные табуны коней, фыркая, вздымая облака пыли, надвигались с запада. Танирберген сразу узнал белоногих одномастных серых коней — это были табуны его тестя из Аяк-Кума. Он быстро вскочил в седло и выехал навстречу. Тесть обнял Танирбергена, расплакался. Мурза недовольно поморщился.

— Располагайтесь...— равнодушно сказал он.— Потом увидимся. Мне тут надо в одно место съездить...

Сын тестя, Али, не спускал глаз с Танирбергена.

— Эй, зятек!— враждебно сказал он.— Мы жили мирно. Это ты навлек на нас беду. Ты посылал своих джигитов к туркменам. А теперь, мне сдается, хочешь бежать?

Танирберген холодно усмехнулся.

— Кто тебе сказал?

— Ты остаешься с нами? Хорошо. Тогда почему не поговорить по-человечески с отцом?

— Оставь, дорогой. Не тебе меня учить почитанию старших. Ты лучше ступай к своему кочевью. Женщины и дети ваши, как видно, умирают от жажды. Пресная вода у нас есть только в Акбауре, возле нашего зимовья. Так вот, собери-ка ты все ваши бурдюки и отправь людей за водой, пока здесь расставят юрты. А мы...— тут Танирберген повернулся к тестю.

— Да-да, дорогой мой...— подобострастно подхватил тесть.

— Мы тут подумаем, как лучше приготовиться. Соберем джигитов.

Байского сынка Танирберген после этого и замечать не стал.

Превратив молодого Али в мальчишку на побегушках, послав его за водой, он словно забыл о нем, неторопливо направляясь с тестем к прибывшему кочевью.

— Ловок!— криво усмехнулся оскорбленный Али и поехал выполнять поручение.

На следующий день Танирберген проснулся еще до зари. Тотчас начал он собирать отряд из джигитов рода Тлеу-Кабак и из рыбаков Доса. Молодого горячего народа было достаточно, и Танирберген приободрился. На пригорках и вершинах Бел-Арана, Каратюбе, Акша-кудыка были выставлены дозорные. Остальные, вооружившись немногими ружьями и соилами, весь день не сходили с коней.

По совету Танирбергена девушки и молодые женщины натерли грязью лица, оделись в рвань и старье. Была у Танирбергена красивая свояченица, которую осенью, после кочевки на зимовье, готовились выдать замуж. Теперь ее было не узнать. Ее нарядили скотницей, дали в руки ей ведро, измазали и держали возле котлов. Избалованная девушка хихикала от смущения и не знала, что делать.

Весь день люди собирались кучками, возбужденно кричали или шептались, перебегали из юрты в юрту, разнося самые невероятные слухи. Никто ничего не знал, но все чувствовали: что-то произойдет,— и страх смешивался с любопытством.

Девичье приданое и дорогие вещи байского дома поспешно завертывали в кошмы, и тюки прятали в камышах. Перегоняли с места на место коней и верблюдов, бродили по камышам с детьми в поисках самого укромного, тайного места.

И так в страхе жил аул два дня. Но не было никаких определенных известий о хане Жонеуте, и на третий день страх в приморье сменился обычной беспечностью. Вдобавок еще людей и скот совсем замучили комары и слепни. Скот, привыкший к степному приволью, стал худеть. Видеть, как скот его тает на глазах, было для тестя Танирбергена горше всяких мук. Тесть хотел обратно на джайляу.

На четвертый день, едва взошло солнце, в аул прискакали дозорные и сообщили радостную весть. От проходившего мимо кочевья они узнали, что хан Жонеут, ограбив три аула, повернул назад и ушел к себе.

Выслушав это известие, тесть Танирбергена радостно хлопнул себя по ляжкам и велел выносить из камышей тюки и грузить на верблюдов. Танирберген, осторожный, как всегда, пробовал уговорить тестя подождать еще дня два, по-прежнему выставив дозоры, но тот и слушать ничего не хотел.

И вот, когда все джигиты спешились, когда согнаны были в кучу и грудились верблюды, когда половина народу побежала в камыши выгонять в степь табуны коней, за ближними холмами поднялось сначала облачко пыли, потом на вершинах показались маленькие фигурки всадников, покатились вниз, и через минуту до

слуха остолбеневших казахов донесся глухой дробный топот и тончайший яростный визг, от которого у всех кровь застыла в жилах.

Казахи не успели даже добежать и вскочить на коней — туркмены неслись уже аулом, и тонкие лезвия шашек тускло сверкали над их мохнатыми папахами.

Женщины и дети первыми подняли крик и плач, потом испуганно заревела скотина. Чуть не весь аул, побросав вещи, вместе со скотом ринулся в камыши. Нескольким джигитам, успевшим вскочить на коней, удалось загнать табуны в густые камышовые заросли у самого устья залива Кандыузек.

Камыши колебались, комары и слепни тучами поднялись над людьми и скотом. Блеяли овцы, ревели верблюды, лаяли ошалевшие собаки, матери кричали, звали потерявшихся в толчее детей.

В это время загорелся камыш. Басмачи побоялись лезть в густой и высокий камыш и подожгли его с наветренной стороны. Высохший, звеневший от жары камыш вспыхнул как порох. Огонь мгновенно набрал силу и загудел. Черные облака дыма толчками изрыгались вверх. Эти черные и бурые клубы в разных местах прорезывали бледно-рыжие на солнце языки пламени. Пожар, гудя, взвихривая воздух, шел к середине зарослей.

— Ойбай, погибли!

— Пожар!

— Бежи-и-им, пожа-а-ар!

— Ко мне, ко мне...

Никто не знал, куда бежать от огня. Танирберген прыгнул на коня, мгновенно огляделся и начал пробиваться сквозь камыш. Никто его не сопровождал. В суматохе он растерял всех своих нукеров.

Почуяв запах дыма, коровы задрали хвосты и бросились напролом, почему-то навстречу огню. Завлекая в середину жеребят и стригунков, кони с громом помчались в другую сторону. Окриков людей они уже не слушались. Вырвавшись из камышей, кони, храпя и тесня друг друга, вздымая фонтаны брызг, бросились в Кандыузек.

Оба берега устья Кандыузека были обрывисты, не то что коню — человеку трудно было выбраться. Танирберген, вслед за табуном выскочив на берег, увидел уже плывущих коней, и душа у него затосковала.

— Эх, бедные, погибли, погибли все...

Кони плыли к противоположному берегу тесно, быстро, всхрапывая и дуя из ноздрей на воду. Доплыв до берега и не сумев выйти, они скоро повернули назад. Первыми начали тонуть старые кони и жеребые кобылы. Дольше всех держались на воде жеребята. Но и они один за другим со странными короткими криками, не похожими даже на ржание, скрывались под водой...

Танирберген всегда был сдержан в чувствах. Даже при смерти близких глаза его оставались сухи. Но тут у него мураши пошли

по спине, он бессильно заплакал, не стыдясь, что кто-нибудь увидит его, и торопливо поехал прочь.

Минут через десять он уже и сам не знал, где пожар и где туркмены. Дым гнало над камышами, конь фыркал и кашлял, у Танирбергена слезились глаза. Острые, как лезвия, стебли камыша резали ему руки и лицо, до крови секли морду и шею коня. Скоро аргамак уже начал вздрагивать и поджиматься при каждом шаге.

Судя по всему, Танирберген далеко уже ушел от огня и врагов. Но сколько бы он ни удалялся, в ушах его все стояли крики, сиплый брех собак и предсмертное ржание тонущих лошадей. И вдруг на минуту ему почудилось, что это кричат не казахи и не скотина ревет, а в плаче и в мольбе о смерти исходит в глухой степи связанный по рукам и ногам юноша-туркмен, оставленный Калау...

Беспрестанно колотя своего аргамака каблуками, Танирберген все дальше уходил в камыши.

А пожар между тем все расширялся, и все безумней бросался во все стороны скот. Коровы как кинулись сначала в сторону огня, так и ломились сквозь камыш, пока не уперлись в сплошную стену дыма и пламени. Они остановились было, но задние напирали на передних, и вся масса, сшибаясь рогами, мыча и хрипя, бросилась в огонь. С опаленными боками и хвостами коровы вырывались из огня, рассыпались и бегали, спотыкаясь по степи. Басмачи весело стреляли по ним.

Вслед за скотом из огня и дыма начали показываться опаленные, ничего не соображавшие казахи — женщины, дети в первую очередь,— на многих горела одежда. Все они оказывались перед туркменами, свирепо ухмылявшимися из-под своих бараньих шапок. Держа казахов под прицелом, туркмены начали всех сгонять в одно место.

Почти весь мелкий скот погиб в огне. Несколько табунов коней утонуло в Кандыузеке. Оставшихся коней и верблюдов туркмены собирали в гурты, гнали за аул, подальше от шума и дыма, чтобы успокоились.

Среди конных туркмен толпились пешие казахи. Тут были Али и Калау, Тулеу и Дос... Судр Ахмета тоже выгнали из камышей, и он норовил забраться поглубже в толпу.

Через полчаса туркмены пригнали из аула Мунке кучку рыбаков. Те, решив, что скота у них нет и прятаться поэтому незачем, спокойно сидели по домам, когда в аул ворвались туркмены. Рыбаков выволокли на улицу и погнали к камышам. Они держались довольно спокойно, одежда их была в порядке. Мунке, Рза и Култума шли рядом.

Почти сейчас же несколько верховых подогнали толпу женщин с промысла. Рза еще издали узнал Айганшу. Она в суматохе потеряла платок и шла простоволосая. Она была в белом с красными цветочками ситцевом платье.

Но не один Рза заметил Айганшу. Увидел ее и уже не отрывал от нее взгляда горбоносый туркмен, отлично одетый, на высоком белом аргамаке. Судя по всему, это был курбаши. Подскакав и остановившись возле Айганши, он наклонился с седла, стал что-то говорить ей. Айганша отвернулась.

— О боже, какой срам терпим!— пробормотал Рза и зажмурился.

Увидев в толпе Рзу, подскочил к нему на костылях Култума.

— Куда нас поведут, как думаешь?— спросил он.

— Кто его знает...

— А не рас... ра... расстреляют нас, а?

— Все может быть...

Култума чуть не упал. Нога его стала подвертываться, костыли выскальзывали из-под мышек. Рза подхватил его под локоть. Туркмены почему-то заторопились, начали подгонять женщин плетьми. Рза увидел обеих жен Тулеу. Маленькая дочь Кенжекей не поспевала за ними, мать взяла ее на руки. Айганша, смешавшись с толпой, побежала было, потом остановилась, отыскала и взяла под руку шедшую позади Ализу. Ализа держала в подоле ребенка Мунке и, задыхаясь, еле ступала непослушными ногами.

Пыль поднималась к солнцу, кругом виднелись свирепые лица под мохнатыми шапками, дым клочьями нагоняло сзади, из камышей, и только теперь поняли казахи, в какую беду попали и что как бы ни повернулось, а прежней жизни уже не вернуть.

— Горе нам, горе!— мотал головой Рза.

XXIII

Белоногих серых коней бая Тлеу-Кабак туркмены погнали косяками за Бел-Аран. Туда же погнали они и верблюдов. Чтобы справиться со скотом, туркмены отобрали из трех аулов десяток самых крепких джигитов. Еще несколько человек они выбрали, чтобы грузить на верблюдов награбленные вещи. Согнав отобранных казахов в кучу, они быстро погнали их к Бел-Арану. Женщин, кинувшихся за мужьями, басмачи сшибали с ног конями, стегали плетьми. В пыли слышны были их резкие гортанные голоса:

— Назад! Назад!

Култума, стоявший рядом с Мунке, вдруг вскрикнул:

— Считать начали!

Мунке поглядел налево и увидел, что всех оставшихся мужчин туркмены как-то незаметно выстроили в один ряд и теперь начали считать. Каждого десятого по счету они вытаскивали из строя.

Али стоял рядом с Тулеу. Несмотря на жару, его знобило, и он накинул на плечи светлый чекмень без пояса, с вышитыми полами. Он чувствовал, как постукивают у него зубы, стыдился, но ничего не мог поделать. Смертная истома подкашивала ему ноги: он мог

быть десятым! Но, когда смерть прошла мимо и десятым стал его сосед справа — Тулеу,— Али успокоился.

Тулеу будто лишился ума. Став десятым, он попятился. На него бросились два туркмена, он побежал, легко волоча их. Его мигом догнал конный басмач и, оскалив белые зубы, несколько раз огрел камчой. Крупное, широкое в кости тело Тулеу сразу съежилось, голова втянулась в плечи , и он совсем уже бессмысленно побежал, спотыкаясь, куда ему показали.

Туркменам стало весело, они захохотали. Только курбаши не улыбнулся. Загорелое, жесткое, как ремень, лицо его с крупным хрящеватым носом было неподвижно, черные, близко посаженные глаза лениво передвигались, пристально останавливаясь на каждом казахском джигите. Когда он увидел, с какой покорностью затрусил под камчой этот кряжистый детина, он мигом вспомнил слова офицера-англичанина из Хивы. Обучая басмачей обращению с оружием, офицер любил повторять: «Лучшее оружие — жестокость. Чернь больше всего уважает силу. Превыше всего боль и смерть! Расстреливать каждого десятого — будь то казахи, русские, каракалпаки или узбеки. Запуганный народ покорнее скота!»

Курбаши даже кивнул, будто англичанин только сейчас произнес эти слова. На высоком длинном аргамаке, красиво подбоченившись, с плетью в руке, курбаши разглядывал напуганных до смерти казахов, и ему было приятно, что их жизнь и смерть в его власти. Иногда мельком он взглядывал на Мунке и на топтавшегося возле Мунке Култуму. Мунке упорно смотрел себе под ноги.

— Подходят, подходят... Что делать?— зашептал Култума, приваливаясь боком к Мунке.

Туркмены медленно приближались, и Култума совсем ошалел. Подпрыгивая на костыле, он вставал то справа, то слева от Мунке. Огромный жилистый туркмен, облизывая пересохшие губы, косясь по сторонам воспаленными глазами, медленно считал казахов, поочередно тыкая камчой им в грудь. До Мунке оставалось человека три. В этот момент оторопелый Култума последний раз переменил место и встал справа от Мунке. Жилистый черный туркмен заметил движение, приостановился, уставился горящими глазами на Култуму — тот чуть сознание не потерял. Туркмен продолжал счет, дошел до Мунке, ткнул того в грудь сильнее, чем других, так что Мунке даже покачнулся, и крикнул:

— Девять!

Култума взвизгнул. Два туркмена тут же набросились на него, заломили руки, поволокли. Костыль упал, Култума попробовал прыгать на одной ноге, потом обвис на руках у туркмен и закричал навзрыд:

— Родненькие... родненькие... спасите!!

А туркмены уже волокли следующего десятого, потом еще и еще... Курбаши подъехал к конвою, что-то сказал, что-то до смерти краткое. Конвой сразу окружил выведенных. Кони приплясывали,

норовили встать на дыбки, винтовки у конвойных вычерчивали круги. В толпе оставшихся закричали от ужаса.

— Ойпырмай!..

— Что делается!

— Злодеи...

— Неужто убьют?

Култума, не в силах глядеть в лица туркмен, сел и закрыл лицо руками. Тулеу сгорбился, вобрал голову в плечи. Какого-то казаха из рода Тлеу-Кабак стало рвать.

Курбаши поднял руку с плетью, конвойные вскинули винтовки. Казахи смотрели на руку курбаши, ждали: опустит или нет? Опустил. Залпа почему-то не получилось, выстрелы с неровными промежутками сухо и слабо разорвали воздух. Тулеу выпучил глаза и закинул голову вверх. Он еще не мог понять, куда ему попало, чувствовал только, что попало, какой-то тупой удар отозвался во всем теле. Он был, казалось, удивлен, что можно так просто убить такого человека, как он. Ему вдруг захотелось объяснить — не туркменам, а кому-то, кто бы мог понять его,— что он еще молод, что хочет жить, что его нельзя убивать. Но он и понимал одновременно, что больше не увидит, никогда не увидит вот это яркое солнце и светлое небо над собой, которых он при жизни так и не оценил, не увидит знакомую, как лицо матери, землю.

Жилистый черный туркмен, который давеча считал казахов, выругался и выстрелил еще раз. Тулеу схватился обеими руками за грудь и сел. Не зная, убил он его или нет, туркмен поспешил выстрелить еще раз, и третья пуля попала Тулеу в голову. Тулеу лег навзничь и заскреб скрюченными пальцами землю возле себя.

Или солнце сорвалось с неба? Еще только сейчас блиставший перед его глазами мир в один миг рухнул. И синее море, безбрежно растянувшееся перед ним, и Бел-Аран, и жилистый черный туркмен, стрелявший в него,— все провалилось в багровую тьму.

Култума умер от первой же пули. Руки, которыми он прикрывал голову перед смертью, дернулись вниз, сильно провели по лицу, будто он умывался, совершая намаз, и он кротко, беспомощно повалился на бок.

Одного джигита из рода Тлеу-Кабак пуля только зацепила. Джигит вдруг повернулся и побежал. Курбаши ударил коня каблуками. Казах, слыша за собой легкий смертный топот, чувствуя, что ему не уйти, затравленно обернулся. Курбаши на ходу медленно вытаскивал шашку. Привычно поклонясь в ту сторону, с которой он должен был рубить, поднял тяжелую шашку. Казаха он не видел, а видел только загорелую до черноты шею, ворот белой рубахи — и ударил с потягом по этой шее, проскакал несколько по инерции, потом осадил коня и обернулся: укороченное тело в измазанной кровью рубахе лежало ничком, а голова валялась поодаль. Туркмены вдали смеялись.

С остальными одиннадцатью джигитами было уже покончено.

Все лежали в тех разнообразных позах, которые придает человеку только смерть.

Женщины кричали страшно. То одна, то другая вырывалась из толпы и бежала к убитым. Туркмены плетьми заворачивали их назад.

— Несчастный мой ага!— хрипло кричала Айганша.— Роди-имый!

Потом оттолкнула кого-то и побежала к Тулеу. Наперерез ей тотчас кинулся басмач, но курбаши вдруг резко крикнул, наливаясь темной кровью, и басмач пропустил Айганшу к убитым. Будто споткнувшись, упала Айганша на тело брата.

— Родной мой!.. Ага-еке!..

Туркмены сбили наконец мужчин и женщин в плотные колонны и погнали в степь. Голова колонны давно тронулась, а Мунке, который оказался последним, еще топтался на месте. Вперед, туда, где в пыли, нахлестывая кого попало, носились туркмены, он не смотрел, а смотрел во все глаза на убивавшуюся Айганшу.

Смотрел на нее и курбаши. Он остался один и ждал. Заметив, что все пришло в движение, он нетерпеливо тронулся к Айганше.

— Эй! Эй!— позвал он ее.— Хватит! Иди ко мне!

Айганша вскочила, закусила губу, выхватила из-за пазухи короткий нож (такими ножами на промысле потрошили рыбу) и показала его курбаши.

— Не подходи, проклятый!— крикнула она.

Курбаши усмехнулся, толкнул каблуками аргамака, вытянулся, ударил камчой по руке Айганши. Айганша вскрикнула, уронила нож и присела, закрыв лицо руками.

Мунке, который сделал уже несколько шагов вслед за всеми, но еще оглядывался, вдруг резко повернулся и побежал к курбаши. Курбаши его не видел. Осадив аргамака, он, по-кошачьи свесившись с седла, доставал с земли нож. Мунке он увидел слишком поздно, но успел выпрямиться. Мунке схватил курбаши сзади за шею, сдавил горло, стащил с коня, потом оглянулся. От колонны к нему скакали трое туркмен.

— Держи коня!— приказал Мунке.

Айганша схватила повод. Мунке бросил курбаши, схватил винтовку, вскочил на аргамака. Потом вскинул Айганшу на седло, повернул коня и во весь опор пустил его в сторону Бел-Арана. Туркмены завизжали исступленно, начали лупить плетками своих коней. Высокий буланый аргамак жилистого туркмена, застрелившего Тулеу, вырвался вперед на полет пули. Проскакав немного самым быстрым аллюром, он понял, что ему не догнать белого аргамака курбаши. Тогда он сорвал с плеча винтовку, прицелился на скаку, выстрелил раз-другой.

Белый аргамак скакал, вытянув шею, как лебедь на лету. Мунке несколько раз оглянулся. Туркмен на буланом коне почему-то отстал. Вперед вырвались теперь двое других, без конца постреливали

вдогонку. И вдруг белый аргамак осел на ходу, споткнулся, рухнул, подняв облако пыли. Мунке сильно ударился о землю, но тут же вскочил. Оглядевшись, побежал, прихрамывая, к отлетевшей винтовке, потом присел на одно колено, прицелился и ударил по ближнему туркмену. Шашка, уже поднятая туркменом, отлетела прочь, всадник начал сползать с коня, уже безжизненно мотаясь на скаку.

На второго туркмена Мунке истратил три патрона. Но тут подоспел наконец черный туркмен на буланом своем аргамаке. Видел он, как два его товарища один за другим были выбиты из седла, но не отступил. Черное от загара лицо его было свирепо, и даже издали видно было, как сверкали в бешеном оскале его белые зубы. На всем скаку поднял он винтовку и выстрелил.

Одновременно с сильным ударом в грудь Мунке увидел оранжевый пучок пламени, родившийся из крохотной черной точки направленного на него ствола. Мунке раньше на целую секунду поймал врага на мушку и раньше туркмена спустил курок. Но в стволе уже не было патрона, в последний раз передернул он затвор вхолостую...

Мунке умер сразу, даже зажмуриться не успел, так и упал с открытыми глазами. Айганша бросилась бежать, но, догнав ее, гибко нагнувшись с коня, будто тушку ягненка при козлодрании, бросил туркмен легкую девушку к себе на седло.

XXIV

Зная, что никакой погони за ними не будет, туркмены чувствовали себя привольно. Не торопясь, гнали они перед собой награбленный скот; со стороны могло показаться, будто мирное кочевье кочует на новое джайляу.

В обратный путь туркмены решили идти самыми безлюдными местами. Пройдя по широкой равнине Куланды, они только возле Каска-жола спустились к морю и вступили в дикий край. Глух был этот край, лежавший западнее Аральского моря,— до самой Каракалпакии тянулись крутые розоватые обрывы и синие цепи скал. В этих местах не было колодцев. Только много повидавшие караванщики да воры знали, где в скалах, подступающих к самому морю, текли ледяные горные родники.

Туркмены, оказалось, тоже знали все тайные места, где можно было сварить баранину, вскипятить чай и напоить скот. Первые дни туркмены шли ходко, не жалея навьюченных животных. Днем укладывали верблюдов, дремали, выставив часовых, варили еду, пили чай. Трогались в сумерках и шли всю ночь, по прохладе до рассвета.

Дойдя до Устюрта, туркмены посовещались и решили, что спешить больше не стоит и можно теперь двигаться днем, подкармливая скот на нетронутых пастбищах.

Гнали скот и возились с грузом казахские джигиты. Туркмены же, как отъехали от Бел-Арана и остыли от убийств и грабежа, на-

чали ухаживать за красивыми женщинами и девушками. По походному обычаю туркмен-воин не должен насильно овладевать женщиной. Пленница сама должна выбрать себе воина, чтобы спать с ним.

Женщины не глядели на туркмен. Прикрыв головы чапанами, они монотонно выли на конях, оплакивая смерть близких и свое пленение. Только Балжан ехала, не закрыв лица, одна она не раскачивалась в тоске, а зорко разглядывала туркмен, выбирая себе мужчину. И когда туркмены сказали ей, чтобы выбирала, она сразу показала на жилистого черного убийцу ее мужа.

— Вон тот, на буланом аргамаке.

Теперь курбаши у туркмен был этот жилистый. Звали его Атанияз. Узнав о выборе Балжан, Атанияз самодовольно улыбнулся. Но сейчас ему было не до Балжан. Он уговаривал Айганшу.

Айганша молчала, упрямо отворачивалась. Однажды, подъехав к ней вплотную, стремя в стремя, он схватил за повод ее коня. Он решил, что ее пугает его свирепый вид, и хотел показать, что и он может быть веселым. Насильно повернув Айганшу к себе, он вдруг осклабился, ослепив ее белизной своих частых зубов. Зубы его синевато блестели, но потное темное лицо по-прежнему сохраняло звероватость и холод.

— Соглашайся, а то силой заставлю!— сказал он и, оставив ее, проехал вперед.

Свояченица Танирбергена ехала несколько позади Айганши и слышала, что сказал ей Атанияз. Подогнав своего гнедого рысака к коню Айганши, она улыбнулась.

— Чего упрямишься, подружка?— беззаботно сказала она.— Соглашайся! Ведь другого выхода нет...

— Сама-то, видать, уж согласилась!

— Так богу угодно,—опустила ресницы свояченица.— Ведь предлагают: «Сама выбирай!» Я и выбрала вон того молодого...

— Поздравляю. На свадьбу пригласи...

— Ну и дура! Сама не выберешь, потом будешь валяться с кем попало.

И в тот же вечер на стоянке красавица из рода Тлеу-Кабак легла со своим туркменом.

Айганша не ела уже два дня. Сегодня ей уже и воды не давали. Она заболела от жажды — потрескались губы, болела спина, мучительно было сидеть на неоседланном коне.

К вечеру добрались до Каска-жола и Кара-тамака. После почти непрерывного трехдневного пути туркмены решили задержаться здесь. Нарубили, надрали кустарника и боялыша, разожгли костер. Женщины стали готовить ужин, туркмены оживленно беседовали возле костров. Только Атанияз хмурился и молчал. Он хотел Айганшу и ничего не мог с собой поделать. Прошлую ночь он проспал с Балжан — она ему не понравилась. В ней было слишком много жиру и не было гибкости. Атанияз любил, когда женщина вилась

змеей в его объятиях. Он разглядывал тонкую фигурку Айганши, и желание лишало его рассудка.

Он боялся, что Айганша убежит, и велел туркменам лечь вокруг костра, возле которого она сидела. Айганша легла на голую землю, положив под голову ладони. Она знала, что сегодня решительная ночь. Завтра туркмены вступят в землю Каракалпакии, а оттуда слишком далеко до дома, оттуда не убежишь.

Айганша как легла, так и не шелохнулась. Единственная ее надежда была, что туркмены заснут. Но ее самое скоро стал одолевать сон. Она кусала руки, чтобы не заснуть. Туркмены тоже старались не спать. Но долгий дневной переход сморил их, и они засыпали один за другим. Незадолго до рассвета захрапел и Атанияз. Огонь в костре потух. В охладевшей золе сиротливо дымилась последняя головня. Продрогшие туркмены жались во сне друг к другу. Между ними легко можно было пройти. Айганша подняла голову и внимательно осмотрела спящих, выбирая себе проход между ними. Она боялась споткнуться о кого-нибудь, потом она встала и на цыпочках вышла из кольца спящих. Сердце ее так колотилось, что она обеими руками зажала грудь и так постояла некоторое время. Потом тихо пошла дальше, во тьму. Оглянуться у нее уже не было сил.

Поздняя ночь была могильно темна. Звезды — редки. Отойдя от бивака, Айганша побежала. Хотя не было еще ни единого признака степного рассвета, Айганша, держась за сердце, птицей неслась по темной степи и думала только об одном: как бы подальше убежать до того, как рассветет.

Вдруг занялась заря, все прозрачнее становился мрак и все меньше звезд на небе, и робко зажелтел восток. «Проснулись или нет?— думала Айганша.— Ой, наверно, проснулись!» И она вообразила, как страшный черный Атанияз поднял на ноги своих разбойников и пустился в погоню за ней.

Больше бежать у нее не было сил, и она решила где-нибудь спрятаться. Свернув с дороги, она побежала по каменистому плато. Впереди были синие в утренних сумерках скалы, обрывавшиеся в море. Она бежала к скалам и думала, что, если ее найдут, она лучше бросится со скалы в море, но не дастся им в руки.

XXV

Гибельный налет туркмен потряс аул рыбаков на круче. Обезумевший от ужаса народ в первый день и не думал о похоронах расстрелянных. Только на другое утро Дос и Али, собрав оставшихся мужчин, похоронили убитых на черном бугре за аулом. Ни один из похоронных обрядов, совершаемых в мирное время, не был соблюден. Будто в походе, трупы едва присыпали землей.

Когда рыбаки к полудню вернулись в аул, из камышей выехал Танирберген. Услыхав скорбный вой, он в аул заезжать не стал,

объехал его стороной и направился в сторону джайляу. Но его заметили, и наперерез ему, крича издали и махая руками, чтобы обратить на себя внимание, побежал бай рода Тлеу-Қабак.

— Танирберген!.. Зрачок мой!..

Мурза остановился. Одежда его была изорвана в клочья. Лицо и руки, изрезанные камышом, покрылись струпьями. Морда и шея коня тоже были в болячках. Он ждал тестя нетерпеливо, не слезая с коня.

Следом за отцом побежал Али. Бурно дыша, они подбежали к мурзе. Тесть ухватился за руку мурзы, припал к шее коня и заплакал. Мурза смотрел в степь, как плененный беркут.

Тесть задрал мокрое от слез пухлое круглое лицо.

— Таниржан-ай, что мне теперь делать? Сколько лет наживал я скот свой... С чем я теперь остался?

— Что поделаешь?— равнодушно ответил мурза.— Мужайся, отец. Против божьей воли мы все бессильны.

— Да пропади эта божья воля!.. Ойбай-ау, я же голым остался, как такыр...

— Не кощунствуй, отец,— поморщился Танирберген.— Ты молись и благодари бога, что жив остался. Была бы голова цела, с голоду не пропадешь. Вон аул рыбаков живет же, перебивается рыбой...

Али молча стоял за спиной отца.

— Эй, отец!— ломающимся голосом вдруг крикнул он.— Не унижайся перед ним! Море нас прокормит... Пойдем! Пойдем!

Взяв отца под руку, он повел его в аул. Танирберген ударил коня пятками и поехал. На душе у него было скверно, но он скоро успокоился. «Все хорошо!»— думал он, радуясь, что так легко отделался от тестя, что его скот не пострадал, что его аул, наверное, откочевал уже к Челкару и все живы-здоровы, а главное, что он сам остался жив.

XXVI

После обеда в аул, где никто ничего не делал, а все только стонали и выли на разные голоса, притащился какой-то человек. Сначала его никто не узнал. Он был почти без памяти, волочил за собой винтовку, протягивал руку, будто никого не видел, и хрипел:

— Воды... Воды...

— Кто это?

— Кто такой?

— Что ему надо?

— Ой, братья! Это случаем не Ел-ага?

— Что?

— Он, он!

— Апыр-ай, а?

— Откуда он взялся?

Мигом собрался народ. Принесли ведро воды. Еламан ухватился за ведро, бросив винтовку, сел на землю и начал со стоном пить. Напившись, Еламан вытаращился на окружавших его рыбаков.

— Успел?

Все замолчали, отвели глаза. Еламан поднялся и подобрал винтовку.

— Что? Туркмены... были? Говорите!

— Что теперь говорить?

— О боже... Говорите!

— Четырнадцать человек расстреляли... Мунке убили...

— Джигитов увели с собой...

— Молодых женщин и девушек угнали...

— Айганша?..— закричал Еламан.

Никто ему не ответил. Еламан побледнел, опять сел, закрыл лицо руками, принялся раскачиваться. Потом отнял руки от лица.

— Много их было?

— Не так много. Но у всех винтовки...

— Давно ушли?

— День назад.

— А! Вот как...

Еламан задумался.

— Они угнали много скота,— сказал подошедший Али.— Далеко, наверное, не ушли...

И Али с надеждой поглядел на Еламана и на других рыбаков. Еламан поднял на Али взгляд, стал рассеянно припоминать, кто же это такой, потом решил, что это какой-то пришлый джигит, и отвернулся. Снова поднявшись, он закинул винтовку за спину, потер лицо и сказал устало:

— Джигиты! Рыбаки! А ведь надо освобождать наших...

Рыбаки загудели. Потом, как обычно, стали кричать, споря друг с другом. Кричали, что нет оружия, что нет коней, что самых крепких джигитов угнали. Другие кричали, что есть винтовка у Еламана, что одна его винтовка стоит десяти, что есть еще несколько ружей, а патроны снаряжены, что кони, наверное, остались еще в камышах, что туркмены не всех угнали.

Целый день потом бродили рыбаки по камышам, ловили отбившихся от табунов коней, приводили в аул и стреноживали. Пришел к Еламану Дос, принес ружье Ивана Курносого, помирился, сказал:

— Забудем, дорогой, нашу ссору. Есть дела поважнее.

Еламан кивнул, спросил, у кого еще есть ружье (вспомнил, как отбирали сети у рыбаков аула Мунке). Дос сказал, что ружья есть — три или четыре.

Вечером оседлали коней. Те, кому не хватило седел, взобрались на неоседланных, неловко было, но терпели.

— Все готовы?— звучно спросил Еламан и вдруг посмотрел на Доса, вспомнил, как возглавил отряд рыбаков в дни восстания.

— Готовы, Ел-ага!

— Ну, в путь! С богом!

Не было уже Мунке, и никто не подошел благословить джигитов. Еламан чуть не заплакал, вспомнив о Мунке,— столько было с ним связано. Никого не оставалось уже из старых друзей, всех разнесла, развеяла судьба. Вот разве только Дос... Старый товарищ, брат, с кем делили, бывало, последнюю рыбешку,— но кто знает, не повернет ли он завтра в сторону?

Рыбаки поскакали в погоню. Они неслись весь вечер и всю ночь с небольшими передышками, чтобы дать отдохнуть коням. На другой день, еще до обеда, возле Каска-жола и Кара-тамака они увидели следы ночной стоянки туркмен.

После обеда они остановились, чтобы переждать самые жаркие часы, дать отдых коням и самим напиться чаю. Как только жара немного спала, они снова пустились в путь. Незадолго до захода солнца они увидели сначала пыль, а потом множество всадников и скота — будто влеклось по степи большое кочевье богатого рода.

Рыбаки пустили коней во весь опор, и каждый молил бога, чтобы туркмены не заметили их раньше времени. Они почти догнали их и не удержались — закричали и засвистели, потрясая соилами и ружьями, хоть и было это преждевременно.

Не впервые бывали туркмены в таких переделках. Курбаши повелительно закричал, и сразу полтора десятка туркмен, полукольцом окружив сзади неторопливо рысивший скот, свистом, воплями и выстрелами погнали табуны коней и верблюдов вперед. Через минуту степь огласилась мощным топотом и заволоклась пылью.

А курбаши с остальными туркменами, бросив женщин и не обращая больше внимания на казахских табунщиков, повернул навстречу Еламану. Рыбаки скакали кучно. Туркмены рассыпались и еще издали начали стрелять. Стреляли они плохо, на ходу, не целясь, но несколько рыбаков слетело с коней. Чуть ли не первым выстрелом Еламану пробило плечо.

Еламан испугался, что упадет на полном скаку, и начал сдерживать коня. Бахнули несколько раз и рыбаки из охотничьих ружей. Али нетерпеливо поглядывал на Еламана, ждал, когда же тот пустит в ход свою винтовку. А Еламан не стрелял, сидел в седле криво, голова его, повязанная белым платком, моталась, и конь замедлял бег. Тогда Али поскакал к Еламану, поравнялся с ним, подхватил винтовку и стал искать глазами черного жилистого туркмена. Его он запомнил еще в ауле.

Отстрелявшись, туркмены повернули назад. Али узнал черного туркмена по его аргамаку, погнался за ним, да где было догнать! Он начал стрелять по нему навскидку, почти не целясь,— и не попадал. Он чуть не плакал, когда четвертым выстрелом наконец сбил черного туркмена. Тогда Али завизжал от радости. Рыбаки засвистели. Двое туркмен, скакавших позади своего курбаши, сблизились, один подхватил тело, бессильно свесившееся набок, другой

схватил за повод аргамака. Рыбаки стреляли им вслед. Туркмены уходили, а рыбаки на своих заморенных конях не могли их догнать. Тогда они остановились один за другим и повернули назад, к тому месту, где, окруженный джигитами, лежал Еламан.

— Кошму! Кошму!— кричали со всех сторон.— Запалите огонь!

Наломали сухой полыни, зажгли костер, нашли кусок кошмы и, опалив в огне угол, приложили потом горячую к ране Еламана. От боли Еламан пришел в себя.

— Большие потери у нас?

— Один погиб... С тобой трое ранены.

— У туркмен?

— Курбаши, не знаю, ранен ли, убит ли — туркмены увезли.

— Кто его сшиб?

— Али... Молодой мурза из рода Тлеу-Кабак.

— Молодец, Али. Людей, скот отбили?

— Скот ушел. Людей освободили, Ел-ага.

— Всех?

— Еще не знаем...

В это время подъехал Рза, спешился и заплакал, обнимая Еламана. Потом принялся обнимать всех подряд.

— О родные мои, бог дал опять свидеться...

— А где остальные?— нетерпеливо спросил Еламан.

— Во-он едут...

— Айганша?

— Не знаю, Ел-ага, Айганша убежала в прошлую ночь...

— А!..

Еламан сел, отдышался. Голова кружилась, подташнивало, но ничего, сидеть было можно.

— Посадите меня в седло,— попросил он.— Платок у меня снимите, сделайте перевязь руку положить.

«Ничего, теперь вечер, голову не напечет»,— думал он, когда снимали с головы у него платок и делали петлю.

— Джигиты! Рассыпьтесь по степи, покричите, может, отзовется...— попросил он и медленно поехал. Каждый шаг коня больно отдавался у него в голове. Еламан закрыл глаза, свесил голову, будто задремал.

Около ста джигитов прочесывали тихую глухую степь, забирались в скалы, заглядывали во все балки и кричали до хрипоты.

— Может быть, она уже до аула добежала?— предположил Али.

Еламан, подумав, согласился и стал торопить коня. Боль понемногу отпускала, и к утру он мог уже скакать. Только рука онемела.

Добрались до аула на другой день к вечеру. Первым вопросом было:

— Айганша вернулась?

— Нет...

«Жива ли?»— с испугом и болью подумал Еламан и позвал к себе Рзу. Часа через два, поев, напившись чаю, десяток джигитов во

главе с Рзой ускакали в степь. Они искали Айганшу три дня, въезжали на холмы, пристально оглядывали степь, расспрашивали о ней у редких одиноких всадников, попадавшихся иногда им навстречу, и вернулись домой ни с чем.

Еламан все эти дни отлеживался в землянке, почти не спал по ночам и ни с кем не говорил. Думал он об Айганше. Одинокая в степи, без воды, без пищи, без коня, она, может быть, уж умерла? И Акбалу он вспоминал. Думал о брате, похороненном на чужбине. Вспоминал смерть отца. Думал о Танирбергене и Калене, о Кудайменде и софы — брате его, о русском купце Федорове, о Мунке и Досе... Все эти люди, живя в одной степи, ступая по одной тропе, в сущности, всю свою жизнь дрались, творили насилие, враждовали и убивали.

Что же за жизнь это у казахского народа? В чем ее тайный смысл?

На другой день аул справлял седмицу, поминки по погибшим. После обеда большая толпа во главе со старейшинами трех аулов потянулась к могилам. Пошел на кладбище и Еламан. Долго читали коран, потом стали расходиться. Убитые горем люди брели, поддерживая друг друга и плача навзрыд. На черном бугре остались Еламан и Рза. Еламан так и не поднялся после молитвы.

— Вам помочь, Ел-ага? — спросил Рза.

— Нет... Ты отойди немного к аулу, подожди меня. Я подумаю.

Рза тихо отошел и присел в отдалении, с тревогой глядя на Еламана. Плечи у Еламана опустились, голова склонилась. Он был похож на беркута, ослабевшего в полете и присевшего отдохнуть на вершину скалы.

Провожая глазами людей, спускавшихся с бугра после поминальной молитвы, Еламан глубоко и печально задумался. Думал он о своем роде, о роде Танирбергена, о роде Тлеу-Кабак — о богачах, хвастливых баях и мурзах. Каждый из них в своем племени могуч и всесилен перед слабым. А в трудный час, когда нужно объединиться против общего врага, почему-то все беспомощны. Если бы объединились по-настоящему мужчины хотя бы вот этих трех аулов, что могла бы им сделать небольшая горстка туркмен?

Когда все прогнило от бесчисленных раздоров, распрей и дрязг, какая-то случайная горстка врага одолевает тебя, топчет и поганит твою честь.

Но, может быть, это общая судьба всех казахов? Перед судьбой ведь все бессильны. А бессилие — та же покорность.

Да, но почему казахи вообще так покорны? Можно терпеть голод, нищету, но разве можно терпеть рабство? Беспечность — не она ли вечный бич казахов? Были ли сыны, которые ради чести народа бросали клич в трудный час, клич, объединяющий народ?

Не раз выспрашивал он стариков, которые были свидетелями прошлого. Но сколько бы они ни прожили, никакого урока из своей жизни они не вынесли. Не зная ничего хорошего, дельного ни в

своей, ни в прошлой жизни их отцов, дедов, прадедов, они начинали восхвалять какую-то седую старину, древних хвастливых батыров, знакомых им по песням, сказочно богатых баев, лукавых, красноречивых биев. А молодым, спрашивающим у них совета, предсказывали безрадостную участь.

И иной раз казалось, что все эти мудрые старцы охотнее оглядывались назад, чем заботились о будущем. Тоскуя по безвозвратной старине, они, блаженно закрыв глаза, указывали в туманную даль за морями, за горами Кап, где якобы процветает великая страна, в которой все: счастье, богатство, сладкая любовь и райские девы.

Нет, он не жалел, что побывал в Турции. Собственными глазами увидел он оплот Востока, райскую страну за Капскими горами, взлелеянную в мечтах старцев. Уж хоть в этих мечтах он не пойдет за старцами!

Ни одним делом предков своих он не был доволен. Немногочисленный народ захватил огромные земли, но что он выгадал? Широки были земли, но широки ли были думы и дела народа? Тяжбы, споры о земле за многие века подточили силы, породили междоусобицу — и теперь презирают и угнетают этот народ все, кому не лень.

Еламан огляделся в тоске. В глаза ему бросились десять старых могилок чуть в стороне от кладбища и рядом — одиннадцатая свежая могила. Сколько горя изведал этот старый рыбак, прозванный когда-то в детстве Мунке — именем подвижного черного окуня! Теперь и он пришел к своим детям. Как говорится, обрел вечный покой... Это ли утешение?

Еламан встал, размял ноги и медленно, опираясь на палку, пошел вниз, к аулу. Рза тоже поднялся и ждал его.

— Апыр-ай, горе за горем все хлестче, и горевать-то стало невмоготу,— заговорил Еламан, подойдя.— Мунке теперь нет. Теперь опорой аула придется быть тебе. Скажи, о чем ты думаешь?

— Я хотел бы с вами посоветоваться.

— Вот я и говорю тебе: мертвых не воскресишь. А живой должен жить.

— Не убивайтесь... Она жива, наверно!

— Не допускайте, чтобы голодали женщины и дети. Беритесь за дело дружно.— Еламан, казалось, не слышал Рзу.— Али, кажется, умный джигит,— помолчав, добавил он.— Если нет в нем байской спеси, ты его поучи управляться с лодкой и сетями. Держитесь друг друга.

— Хорошо, Ел-ага. Только вы так говорите, будто прощаетесь... Вы уйдете из аула?

Еламан промолчал. Он думал в это время о Челкаре. Жизнь русских казалась ему единственно правильной жизнью. Он еще не успел познать все помыслы этого большого народа. Одно только он успел твердо узнать, в одно твердо поверить: у великого народа — великая мечта. Он ощущал какую-то грозную силу и неулег-

шийся гнев этого народа. Революция совершилась, но, видно, не до конца... Так волнуется грозно, но беспорядочно море перед тем, как быть настоящей буре.

И пока он шел к аулу и советовал Рзе, как жить дальше, в нем самом зрела и все сильнее укреплялась мысль вернуться в Челкар. Что бы там ни было, он решил повернуть к новой жизни. Он понял, что без революции его народ не может жить дальше. А революции нужно учиться у русских.

Через два дня, отвезя сына своего Ашима к старику Суйеу, вернувшись и попрощавшись с рыбаками, он поехал в Челкар.

Осенний уже ветер к вечеру резко похолодал. Воздух сгустился, будто море, когда в нем появляются первые льдины. По небу неслись разорванные тучи. Ветер мял и скручивал их.

Вот и прошел еще год, и опять подступает осень. И как тучи в небе, постоянно изменяясь, побиваемые ветром, мчались все в одну сторону, так и душа Еламана мытарствовала, ища верный путь.

КНИГА ТРЕТЬЯ

КРУШЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Заходи! Кто там?— крикнул Мюльгаузен, заслышав стук прикладов и грубый топот сапог в сенях.

Мюльгаузен в нетерпении вышел из-за стола, но там, за дверью, не спешили. Перед тем как войти, задержались у слегка приоткрытой двери, сморкаясь и глухо переговариваясь. Кто-то старательно откашлялся, прочищая простуженное горло, будто собирался петь. Кто-то поспешно докуривал самокрутку, а потом сплевывал и гасил, тщательно растирая каблуком окурок по грязному полу. Наконец человек шесть командиров в разномастной одежде ввалились в комнату.

«Вояки!»— подумал Мюльгаузен, разглядывая их. В комнате было пусто, голо — несколько грубых скамеек и стол. Мюльгаузен ходил перед столом, пока остальные рассаживались, и под сапогами его потрескивали рассохшиеся половицы.

— Все собрались?— громко спросил он, останавливаясь.— Готовьте людей, выступаем.

— Куда?

— В долину Жем.

— От... продотряда известия?— спросил Ознобин. Голос его вдруг сел, и он закашлялся.

— Помощи просят.

— Там же тихо было. Опять Дутов?

— Ну, готовьте бойцов. Только быстро!

Командиры торопливо поднялись, вывалились гурьбой, затопали в сенях и по крыльцу. Остался один Ознобин. Он сидел понурясь, крепко сжимая узловатыми пальцами свою старую замасленную кепку, с которой не расставался ни зимой, ни летом, и терпеливо ждал, когда наконец Мюльгаузен заговорит с ним. Длинный, он совсем согнулся и сидел неподвижно, словно вечерняя тень.

— Ну, что скажешь?— спросил Мюльгаузен, разглядывая его. — Как у них там дела?

— А я откуда знаю? Небось несладко...

— Патронов у них мало... Ты с дивизией не связывался?

— А?

— С дивизией, говорю...

Мюльгаузен только гмыкнул. Переспросить Ознобин не решился.

Он не любил, когда у Мюльгаузена становилось кислое лицо, говорить с ним в такие минуты было тяжело.

— Свяжись с дивизией,— все-таки выговорил он.— Они ближе к долине Жем, чем мы, скорее подойдут на помощь.

— Гм... Еще чего скажешь?

— Там ведь у нас есть еще продовольственные отряды. Вот бы их объединить! Пока Дутов с ними возился бы, мы бы и подоспели...

Мюльгаузен сел за стол, нахмурился. Взял какую-то бумагу, начал читать, потом бросил, усмехнулся.

— Я гляжу, на кой нам комиссар со стороны? У нас свой есть.

— Тут не до шуток...

— А я не шучу.

Ознобин поднялся и, напяливая на ходу кепку, вышел. Голову держал он понурив, руки поматывались, будто пришитые. «Вот старый хрен!»— подумал Мюльгаузен.

Не успели затихнуть шаги Ознобина, как хлопнула дверь и в комнату торопливо вошла телеграфистка. Мюльгаузен поднял на нее настороженные глаза.

— К нам комиссар выехал!

Она протянула ему телеграфную ленту, но Мюльгаузен не взял ее, холодно рассматривая возбужденную девушку: «Дура! Чему радуется? Нам бы боеприпасов побольше, а не комиссара...» Телеграфистка положила телеграмму на стол, растерянно поглядела на Мюльгаузена и ушла.

Оставшись один, Мюльгаузен откинулся на стуле, покосился на ленту издали. «Приедет хам какой-нибудь в кожаной тужурке!»— подумал он. Поднялся, обошел стол, на ходу захватил, смял в кулаке ленту. Опять начали скрипеть половицы под тяжелыми шагами.

Ему почудилось было, что кто-то поднимается на крыльцо. Он круто остановился. Короткая, с бычьим загривком шея его не поворачивалась, и, остановившись, он по-волчьи, всем телом поворотился к двери. Но никто не вошел. Мюльгаузен подошел к окну и оперся о подоконник.

Старый карагач, зимой и летом возвышавшийся над домом, теперь изгибался под ветром, шелестели засохшие листья, скрипели и гудели ветви. Со станции донесло гудок паровоза.

Мюльгаузен закурил, жадно затянулся. То ли звуки, шорохи с улицы, то ли табачный дым так подействовали на него, но он успокоился и решил доложить о неприятных известиях командиру дивизии. Он потянулся было к телефону, но раздумал. Прежний командир дивизии погиб в бою под Эмбой, а с новым Мюльгаузен не ладил. Они еще не видались друг с другом, но уже одна фамилия нового командира приводила Мюльгаузена в ярость. Хан-Дауров! Надо же — Хан-Дауров!

Телефонные разговоры с Хан-Дауровым только злили Мюльгаузена. Он не выносил рокочущего в трубке командирского баса,

раскатистого, как рык медведя в берлоге, с кавказским акцентом, и даже трубку отстранял от уха.

Видит бог, это он нарочно посылает к нему комиссара, чтобы связать его по рукам и ногам. Ну что ж, пускай приезжает! Пускай попробует связать! Гм... Хан-Дауров! Бывший царский офицер. Теперь лижет задницу красным. И ведь новый человек, ни черта не знает, не разбирается в здешней обстановке. У населения нет хлеба, у рабочих отрядов — патронов! Вот о чем надо заботиться. Нет, он посылает ему комиссара!

После того как атаман Дутов захватил Оренбург, положение рабочих отрядов стало критическим. Связь с Москвой была прервана. Доставка боеприпасов, оружия и продовольствия прекратилась. Дней пять назад кое-как сколотили рабочий отряд во главе с одноруким сыном Ознобина и отправили в долину реки Жем выбивать хлеб. Завтра или послезавтра отряд должен был вернуться с хлебом. И вдруг страшная весть — появились передовые сотни атамана Дутова! Ах, сволочи, ведь разобьют отряд!

Мюльгаузен все же позвонил в штаб дивизии. Он начал было рассказывать об отчаянном положении продотряда, как начальник штаба перебил его и сообщил новость почище: узнав о подходящих частях Дутова, казаки подняли мятеж в Акбулаке и Мартуке.

— Грузи бойцов в эшелон и с ходу подавляй мятеж!— приказал начальник штаба.

Мюльгаузен побежал на станцию. Все это лето стояла жара. Но со вчерашнего дня погода испортилась, с севера задул пронзительный ветер. Туго охватывая тело, он проникал в рукава, за пазуху. Глаза Мюльгаузена сразу начали слезиться. Он пошел боком, загораживаясь рукавом. Стоило чуть повернуться, как песок начинал сечь лицо.

Ветер вылизал землю, отшлифовал ее, словно доску. Сапоги по земле стучали, как по камню. Мела песчаная поземка.

Мюльгаузен сплевывал скрипящий на зубах песок и думал, что в такое время опасен любой мятеж, даже самый малый, что злоба вспыхивает как порох, тронутый огнем.

Подходя к станции, Мюльгаузен увидел знакомую суматоху перед отправкой. Слышались торопливые обрывки команд, крики, звон котелков и фляг. Бойцы тащили подсумки с патронами, бегом катили пулеметы, карабкались в вагоны. На двух платформах в конце эшелона громоздились два орудия. Они смутно темнели и издали были похожи на залегших в золе верблюдов.

Мюльгаузен пошел вдоль вагонов. Плоская коробка маузера его, болтаясь на длинных ремнях, хлопала по ляжке. Круглая шапка с красным бантом была сдвинута набекрень. Любуясь сам собой, он все поглядывал на часы, подзывал к себе то одного, то другого, торопил, покрикивал густым, севшим на ветру голосом.

Но когда суета у эшелона прекратилась и Мюльгаузен собирал-

ся уже подать команду к отправлению, его внезапно позвали к телефону. На проводе был Хан-Дауров.

— Мы бросаем на подавление мятежа Ташкентский отряд...— рокотал в трубке кавказский бас.

— Но мы уже погрузились...

— Ничего, разгрузишься! Отряд держи под ружьем, понял? У кавалерии Дутова ноги длинные, сегодня здесь, завтра у вас. А мы, дорогой, вовсе не намерены сдавать еще и ваш город.

— Ну а может быть, что он сюда и не сунется?

— Все может быть, дорогой.

— Так что нам у моря погоды ждать?

— Зачем так говоришь, зачем погоды? Нездоровые настроения у тебя, дорогой! Не погоды ждать, а заниматься боевой и политической подготовкой в отряде. Кстати, почему молчишь о комиссаре? Комиссар прибыл?

— Нет еще...

— Как нет? Алло! Алло! Давно должен быть. Разыщи его, звони на все станции, головой отвечаешь, понял? Ал-ло... Алло!..— надрывался на другом конце провода Хан-Дауров.

Мюльгаузен швырнул на рычаг трубку и вышел на улицу. Постоял, сплевывая и матерясь про себя, потом закурил, сунул руки в карманы и пошел в штаб отряда. Сжатые кулаки его были круглы и тяжелы, как булыжники. Скорым шагом он уже подходил к двухэтажному дому, где расположился штаб отряда, когда какой-то верховой поравнялся с ним. Мюльгаузен покосился на шубу и тумак всадника и отвернулся, решив, что это один из назойливых аульных казахов, ищущих, чем бы поживиться возле отряда. Всадник в шубе не отставал, ехал рядом, наконец сказал:

— Салаумалейкум, Петька!

Мюльгаузен удивленно взглянул на казаха. Тот был страшно худ. Бледное лицо его густо заросло щетиной. Видно было, что долгие дни не слезал он с коня и теперь еле держался в седле. Конь под ним отворачивался от ветра, грива и хвост его сухо шелестели. Всадник при каждом движении коня цеплялся за холку.

«Больной, что ли?»— подумал Мюльгаузен.

— А-а... Здорово! Ко мне?

— К тебе, к тебе...

— Чего ты у меня забыл?

— В отряд к тебе хочу вступить.

— Верблюдов, что ли, пасти?— Мюльгаузен засмеялся и пошел дальше.— Верблюдов у меня нет.

Еламан тронул коня следом. По затвердевшей земле громко застучали копыта. Обогнав Мюльгаузена, Еламан хотел спешиться, охнул, побледнел и повалился бы навзничь, если бы не поддержал его Мюльгаузен. Одной рукой придерживая Еламана, Мюльгаузен другой распахнул ему шубу. У левого плеча ситцевая грязная рубаха запеклась от крови.

— Что такое? Ну?

— Да так...

— Ранен, что ли?

Еламан вытер рукавом холодную испарину на лбу. Разлепил запекшиеся губы, хотел что-то сказать, но Мюльгаузен не стал слушать.

— Ступай в лазарет, ступай, после поговорим! — И пошел в штаб.

II

Еламану все это время было тяжело. В прошлом году, уезжая из разграбленного рыбачьего аула в Челкар, он все думал о Мюльгаузене. Вообще-то Мюльгаузен немало добра сделал для него. Можно сказать, открыл ему глаза, за руку привел в большой мир. И все же, чем чаще думал Еламан о нем здесь, вдали от родных мест, тем больше убеждался, что между ними, как между равными, не было дружбы, согласия, теплого человеческого взаимопонимания. Мюльгаузен властен и крутонрав, больше всего он любит себя и совсем не считается ни с кем. Даже с друзьями он бывает груб и резок. При нем легко потерять достоинство, а это унижало Еламана. Но повернуть коня обратно, вернуться в аул рыбаков, где он распрощался со всеми, он тоже не мог.

В глухой, безлюдной степи Еламан оказался как бы на перепутье. И тут ему встретились караванщики. С наступлением осенних холодов аулы перекочевали на зимовье. Впереди были тяжелые месяцы зимы. И вот самые храбрые джигиты из нескольких аулов, собравшись вместе, отправились с обозом в далекий путь — в Кунград и Чимбай за хлебом. Еламан еще думал и надеялся в глубине души, что может найти Айганшу. Ведь она убежала от басмачей Жонеут-хана почти на границе с Каракалпакией. Может, набредет на ее след... Он пристал к караванщикам да так и промаялся почти год на чужбине.

Несколько месяцев он проработал в Кунграте. Потом в поисках постоянной работы побывал в Хиве, в Ходжейли и в Ургенче. Но ни в одном из городов знаменитого Пятиградья он так и не прижился. И он к этому времени уже устал. Не нашел и Айганшу. Потерял всякую надежду найти ее и казался себе одиноким и несчастным. Весной примкнул было он к воинственному племени казахов — адайцам. Но и у адайцев не мог найти занятия по душе. Жить же без дела было невмоготу. Из аула в аул перебирался одинокий всадник, пока по дороге в Челкар не наткнулся вдруг на воров. Он стал уходить, отстреливаясь. За ним гнались, стреляли вдогонку и ранили в плечо. Еламан решил уже, что все пропало, но от смерти спас его легконогий темно-рыжий жеребец с белой звездочкой на лбу.

Да, помучился он за этот скитальческий год! Но что было, то прошло. Теперь он был рад, что опять очутился в Челкаре, что те-

перь он будет при деле, среди знакомых людей, с которыми когда-то пришлось ему жить и работать бок о бок.

Перебирая прошлое, Еламан забрел на какую-то кривую улочку и теперь не узнавал места. Он подосадовал на себя, что не расспросил, где лазарет. Небо плотно обложило тучами, и неизвестно было, сколько теперь времени и когда наступит вечер. Но потом Еламан увидел на западе, где тучи были почти черны, закровеневшую нижнюю кромку облаков — значит, скоро станет совсем темно.

Еламан испугался, что в темноте совсем заблудится, и прибавил шагу. На коне, хоть и болела рана и слабость кружила голову, было все-таки покойно в тумаке и шубе, но теперь, ведя коня в поводу, он почувствовал, что совсем взмок и выбился из сил. Тогда он снял тяжелый поярковый тумак и с удовольствием ощутил, как на ветру остывает потная голова.

Невдалеке от железной дороги стояли низкие каменные бараки. Еламан почему-то решил, что лазарет обязательно должен находиться в каком-нибудь из больших бараков, и побрел вдоль их унылой линии, не обращая внимания на другие дома. Но вдруг знакомый и неприятный степняку тошнотворный запах остановил его. Он поморщился и оглянулся. Прямо перед ним белел небольшой дом. Таких небольших и, как правило, заброшенных домов, называемых лазаретами, немало повидал он в свое время на турецкой земле. В них вповалку на матрацах или просто на полу сотнями валялись раненые и больные. Обросшие, грязные, изможденные люди. У одних были забинтованы головы, у других руки или ноги. Стоны, крики, вонь и запах лекарств стояли тогда в лазаретах. «Не проваляться бы мне здесь долго»,— со страхом подумал Еламан и сразу озяб. После стычки с ворами на большой караванной дороге, чтобы остановить кровь, Еламан приложил к ране лоскут подпаленной кошмы. Теперь рана воспалилась, болела, и от нее шел гнилой запах.

Молоденькие сестры, увидев рану, сморщились и начали ругать и жалеть Еламана. Быстро промыв рану, наложили какую-то бурую мазь, крепко забинтовали плечо и, к великой радости Еламана, отпустили его восвояси, сказав, чтобы пришел на перевязку дня через два. Из лазарета Еламан вышел повеселевшим.

Сумерки сошли на город. Ветер заметно потеплел, но дул все еще сильно. Тополя перед лазаретом раскачивались, посвистывая верхушками. Еламан не прикрыл за собой ворота, и пока он не свернул за угол, они все скрипели и хлопали вслед ему, то открываясь, то закрываясь.

Еламану стало совсем хорошо на душе. Он быстро шел в надвигающейся темноте и улыбался себе, будто удачливый джигит, возвращающийся со свидания. Главное, что он приехал все-таки в Челкар и нашел рабочий отряд! А какие сомнения его до этого терзали! Сколько бессонных ночей он провел! В прошлом году, после набега басмачей, ему жить не хотелось. Весь мир ему казался чер-

ным. Теперь-то он посмеивался даже над своим тогдашним отчаянием.

Интересно все-таки создан человек. Так скрутит иногда тебя тоска, что душа корчится, как опаленная шкура. И тогда раздольный, огромный мир съеживается так, что кажется, весь уместится на ладони. Черная судьба схватит тебя, сожмет обручем и душит... Не вытерпишь — и конец, задушит, сломает.

Это теперь он приободрился и повеселел, и какое-то неясное, но хорошее будущее проглянуло перед ним, как клочок синего неба в тучах. А ведь было время, его судьба чуть не сломала. Особенно в ту скитальческую пору, когда он голову не знал, куда приклонить, а в груди было все выжжено и мертво. Не чувствовал он тогда тепла и сладости жизни, не замечал солнца и луны над головой, свет которых испокон веку приносит радость всему живущему на земле.

Потом, когда на душе у него немного полегчало, когда начало оттаивать заледеневшее сердце, он вдруг как бы очнулся и — о господи!— увидел такой же, как и в дни его детства, огромный светлый мир. Все так же всходила луна над степью, все так же горело солнце. И все было как прежде. Был кто-то счастлив и богат. И была у богатого на пастбищах тьма-тьмущая скотины, над головой — крыша, в постели — горячая баба. И был кто-то несчастлив и обездолен судьбой. И у такого обездоленного единственной надеждой и опорой в жизни были собственная силушка да натруженные руки. И жил он себе, довольствуясь долей, отпущенной ему скрягой судьбой, такой скудной и ничтожной, будто горсть проса, брошенная курам.

Да, все живое на земле, будь то человек, или птица перелетная, или зверь, рыскающий по степи, все неустанно хлопочут, все бьются ради жизни, ради потомства, ради будущих поколений. И потому, пока ты жив, нечего робеть и забиваться трусливо в угол.

«А! Вот и пришел»,— удивился Еламан, останавливаясь перед казармой, в которой располагался отряд. Он спросил какого-то бойца о Мюльгаузене. Того не было. Еламан растерялся: он никого не знал здесь, не знал, у кого просить постель.

Бойцы поужинали, и теперь кто пришивал пуговицу к шинели, кто прилаживал заплатку к прожженным махоркой или у костра штанам, кто просто разговаривал, а кто и пел... В просторной, как конюшня, казарме тускло мерцала лампа. В дальнем углу шестеро бойцов, усевшись в круг, жадно накуривались на ночь, передавая после затяжки друг другу большую козью ножку, и огонек самокрутки ярко рдел в темноте.

Еламан, как всякий степняк, был непривередлив. Расстелив под собой одну полу большой шубы, он, не раздеваясь, лег.

Только теперь он почувствовал, как измотался за день и как охватывает тело сладкая предсонная истома. Сон борол его, а на заросшем, осунувшемся лице все еще бродила та нежная слабая улыбка, которой он улыбался, идя в темноте из лазарета.

«Интересно, здесь ли еще Акбала?— думал он.— Живет ли она

у рыжего в доме или ушла? Или совсем уехала? Ну ладно, завтра узнаю... А теперь спать...» Так он и уснул, пригревшись, улыбаясь от хороших мыслей.

Проснулся он еще в темноте и сразу почувствовал, что не выспался, не отдохнул по-настоящему. Тело, побитое долгой верховой ездой, болело, кости ныли. Мало-помалу бойцы начали подниматься. Встал и Еламан. Кто-то уже входил с улицы, крепко стуча сапогами. Еламан стоял в проходе, поглядывая то на свою шубу, то на входивших с улицы бойцов. У дверей догорала в мутном стекле лампа. Большие тени метались, шевелились по стенам.

Еламан поднял с полу шубу и тумак, положил на нары. Оглушенный сном, он никак не мог взять в толк, что нужно делать, но когда все повалили на улицу, в одной рубахе вышел и он следом за другими. Во дворе он протолкался под струю ледяной воды и умылся. Потом вернулся в казарму, надел шубу, нахлобучил на голову тумак и опять вышел во двор. Бойцы во дворе уже строились. Еламан растерялся и не знал сперва, куда приткнуться в своей длиннополой шубе. Потом вспомнил, что в строю становятся по росту, поискал глазами в шеренге высокого, как и он, бойца и поторопился стать рядом. Пока он никак не мог приноровиться к обстановке. Ему и думать-то о чем-нибудь было некогда. Он только удивлялся, чувствуя себя лодкой, плывущей по течению. Его будто бросило в стрежень реки, и несло, и крутило, не давая дотянуться до берега. Куда его вынесет, он теперь уж и не знал. Пока разберешься в этой заварухе, пока поймешь, что к чему, глядишь, и вынесет тебя на какой-нибудь и в страшном сне не снившийся берег.

— Сми-р-р-рнааа!— раздался командирский окрик и тут же изумленно-насмешливое:— Эт-того еще не хватало!

Еламан внутренне съежился, быстро взглянул на надвинувшегося Мюльгаузена и отвел глаза.

— Как же пускаете его в строй в таком виде? А ну-ка марш из строя!

Еламан, понурясь, чувствуя на себе взгляды всех бойцов, отошел в сторону. Мюльгаузен не торопясь обошел строй, потом скомандовал «вольно!» и подозвал к себе командиров отделений.

Со вчерашнего дня у него не выходило из головы, что от продотряда, посланного в долину Жем, по-прежнему нет известий. Если рассудить здраво, вряд ли удастся продотряду уйти от атамана Дутова. Если и была надежда, то только на однорукого сына Ознобина. Опытный солдат, прошедший германский фронт, он один мог что-нибудь придумать, как-нибудь выкрутиться.

Вчерашний приказ держать отряд в городе бесил Мюльгаузена. В бешенство приводил его и новый комиссар, застрявший черт знает где. Его ждали еще вчера к вечеру, как вдруг пришла телеграмма, что комиссар, выехав из Актюбинска, в дороге заболел и его сняли с поезда где-то возле Эмбы. Все складывалось плохо.

Ознобин предложил было послать к комиссару делегата, но Мюльгаузен только поморщился, буркнув: «А! Небось не помрет!» Все были поражены, но настаивать никто не посмел. Ознобин понуро опустил голову и нахмурился. Он лучше всех понимал состояние командира отряда, понимал, что для того был нож острый делиться с кем-то властью. Мюльгаузен вообще не любил комиссаров. Этих людей, вдохновленных партийной идеей, в последнее время стали уважать не только свои, но и враги. Мюльгаузен же был твердо убежден, что комиссар — это путы на ногах командира. И даже их одежда — кожанка, хромовые сапоги — и неизменная опрятность и подтянутость бесили его.

Так и стояли командиры, а перед ними молча прохаживался хмурый Мюльгаузен, когда прибежала испуганная телеграфистка. В лице ее не было ни кровинки, она кусала губы, стараясь не разрыдаться. Встревоженные командиры окружили ее. Мюльгаузен быстро выхватил телеграфную ленту у нее из рук.

— Ну вот, докомиссарились! Эх!..

Ознобин побледнел и двинулся к Мюльгаузену. Ноги его ослабли, и он споткнулся. Он протянул было руку к телеграмме, но Мюльгаузен, сжав зубы, быстро разорвал ленту, и ветер тут же унес клочки. Ознобин с тоской глядел на командира и молчал...

III

К полудню Еламан совсем замотался. Утром, похарчившись вместе с бойцами из общего котла, он пошел в баню. После бани пошел искать цирюльню. Побрившись, он заторопился на вещевой склад за город. В глухом, без окон, складе он долго рылся в темноте в куче старой, пахнущей одежды, выбирая себе шинель по росту.

После тяжелой казахской шубы в шинели он почувствовал себя сразу удивительно легко и бодро. Одно только было нехорошо — шинель оказалась узковатой в плечах. Выйдя из склада, он расправил грудь и тут же с огорчением убедился, что шинель тесна ему. Рукава были коротки, далеко торчали кисти рук. И запах был от нее чужой, нехороший.

Еламан шел по безлюдной, не по-летнему холодной улице и на ходу, нагибаясь и оглядывая, все щупал свою обнову. Все-таки досадно было: торопясь избавиться от тяжелой шубы и тумака, он в темноте склада так и не разглядел толком шинель, а в ней, может, до смерти ходить. Мало того что была она узка и коротка, видно было, что побывала она до него не на одном плече. Рукава вытерлись, грудь и спина стократно пропитались потом, грязный ворот лоснился, будто затертый потник, и холодил шею.

Еламан расстроился и, чтобы отвлечься, стал вспоминать рыбачий аул. Вот уже целый год, как не имел он оттуда известий. Как там живет-поживает старый тамыр Дос? Ладит ли со Рзой? И жива ли бедная Ализа?

Перебирая в памяти всех оставленных близких, думая об их житье-бытье, воображая родной аул на берегу моря, на круче, Еламан нет-нет да поглядывал на шинель, ощупывал, мял ее там и сям. Только теперь заметил он дырку на боку, в которую свободно проходил палец. То ли у костра прожгло, то ли пробило пулей... «Уж не с убитого ли сняли?» — со страхом подумал Еламан и сразу забыл о родном ауле. Сколько людей до него носило эту шинель? И где теперь все эти люди, живы ли? Или давно уже, отведав сполна и радостей и горестей, отпущенных им на этом свете судьбой, лежат теперь где-нибудь в разных концах необъятной степи в наспех, по пояс вырытых могилах, и уж холмики над могилами давно осели или развеяны ветром?

Не одно сердце билось под этой шинелью, не одно тепло она сохраняла и, видно, не одна жизнь оборвалась под ней, пока не нашла она тебя. Попробуй-ка теперь расстанься с ней! Поди узнай, сколько вершков тебе осталось до последнего твоего, рокового шага, за которым навсегда оборвутся твои следы. Живи, надейся и жди, пока не порвется тонкая нить твоей жизни.

Но так уж создан человек, что, даже дойдя до конечного своего рубежа, даже коснувшись носком сапога смертной межи, за которой пропадут все его следы на земле, он по-прежнему беспечно и слепо стремится дальше, будто и не начинал еще жить, будто ждет его жизнь, бесконечная и радостная...

Переполненный невеселыми мыслями, шел Еламан по улице мимо неказистых домишек, чуть не наполовину ушедших в землю. Редкие прохожие оглядывали его внимательно, быть может, стараясь угадать в нем знакомого, но он смотрел в землю и никого не замечал. Он стал думать о Рае, которому не суждено было даже лечь в родную землю, а не то что пожить на ней всласть. Потом бледными тенями прошли перед ним скорбные лица Култумы, Мунке, Тулеу... Кто погиб в туретчине, кто замерз на льду в море, кого свалила басмаческая пуля — мало ли их было!

Господи, до чего же ненасытна земля! С тех пор как создан мир, земля одинаково равнодушно поглощала и младенцев, не успевших еще осмыслить жизнь, и стариков, не брезгуя, принимала в свои холодные объятья. Тьму веков земля все прибирает в свою утробу вечно грызущихся, дерущихся, бьющихся людишек, весь их безумный род, неспособный без ненависти и убийства прожить свой мгновенный, куцый срок. И хоть бы что ей! Сколько ни подавай, все мало — и не вздыбится, не закровенеет, не исторгнет назад ни одной души.

Одному аллаху ведомо, сколько еще прольется крови, пока люди не выкинут на свалку оружие, пока последний солдат не бросит с плеч последнюю серую шинель.

Еламан считал, что ему повезло, что он двужильный. В самом деле, сколько раз смерть стояла у него за плечом и холодом дышала в затылок, но каждый раз обходилось, каждый раз он срывался,

как рыба с крючка. А в будущем кто знает? Будь хоть каким живучим, хоть каким двужильным, но пока на тебе эта серая шинель, придет когда-нибудь конец и твоему везению. В чьей-то обойме наверняка и на тебя заготовлен патрон.

Он опять внимательно рассмотрел дырку в боку, сплюнул и отвел глаза. И тоскливо ему стало, как в дырявой юрте, где во все щели свищет холодный ветер.

Еще утром у него была одна мысль: приодеться, помыться в бане, побриться и пойти искать Акбалу. Но теперь ему вдруг стало все равно, и он уже никуда не хотел идти. «Неужели люди рождаются только для насилия и убийства?— думал он, исподлобья поглядывая на увешанных оружием встречных.— Ведь у каждого где-то пухнут детишки с голоду, есть мать или жена, их кормить надо, а не наливать глаза кровью. И у всех одна дорога: или сам убьет, или самого убьют. И вот он тоже надел шинель, взял в руки оружие, пошел воевать. Почему?..»

Очнулся Еламан только возле казармы. Мысли, терзавшие его душу, погасли, но не ушли совсем. Он их спрятал до поры до времени, как мелкий воришка прячет украденное где-нибудь под тюком, под старой одеждой.

Сделав холодно-непроницаемое лицо, Еламан вошел в казарму, огляделся. Ни Ознобина, ни Мюльгаузена не было. Бойцы сидели или лежали. Не было обычного оживления, никто не бегал, не кричал, не хохотал, будто в доме, где лежит покойник. Не решаясь пройти на свое место, Еламан остановился у порога. Растерянно переводил он взгляд с одного на другого, стараясь поймать в ответ добрый взгляд, чтобы заговорить, но никто на него не смотрел. Он подошел было к одному пожилому бойцу, лицо которого показалось ему добрым, но тот хмуро отвернулся.

Потоптавшись и вздохнув несколько раз, ничего не понимая, Еламан опять вышел на улицу. Долго разглядывал он полу шинели, черную от сажи, наклонился, поднял кусок глины и стал затирать пятно. Что же случилось в его отсутствие? Строя разные догадки, он побрел по улице. Остановился, прищурился на небо поверх плоских крыш, по которому плыли легкие белесые тучки. Потом с внезапным подозрением подумал: «А может, я им противен, раз они от меня отворачиваются?»

На улице было уныло и пусто. Вольно гулял ветер, гоня мелкую, как пудра, желтую пыль. Ветер лез под шинель, холодил лицо. Еламан поежился и поднял воротник. «Где же Мюльгаузен?— размышлял он.— И почему весь отряд в казарме, почему не идем в поход?»

Он хотел было вернуться, как вдруг на той стороне улицы заметил молодую белолицую казашку. В первое мгновенье ему показалось, что это Акбала. Внешность, осанка, горделивая походка, одежда были те же, что и у Акбалы. И даже две длинные косы за спиной подрагивали так же, как у Акбалы. Но это была не Акбала...

Долго смотрел Еламан вслед случайно прошедшей мимо женщине, странно похожей на далекую теперь уже, прежнюю Акбалу. Потом пришел в себя и улыбнулся. Ему опять непременно захотелось увидеть Акбалу. Он опустил воротник и быстро пошел навстречу ветру, и лицо его загорелось, как бывало, когда целыми днями пропадал он в зимнем море, не чувствуя мороза.

После целого года отсутствия он не узнавал города, блуждал по глухим его улицам и часто не знал даже, куда зашел. Но теперь, будто путеводная звезда вела его, он безошибочно попал в ту часть города, где жили казахи. Улицы пошли кривые, узкие, мазанки были небеленые, приземистые, похожие друг на друга. Нигде не было ни деревца, ни кустика.

Еламан шел, оглядывал домишки, пока вдруг не остановился перед изъеденным ветрами и солнцем, размытым дождями старым глиняным дувалом. За дувалом виднелся такой же старый, обшарпанный дом. Горячая волна обожгла Еламану грудь. Об этом доме думал он беспрестанно, скитаясь вдали от родных мест.

Он даже не удивился, что так легко нашел этот дом,— непонятное, безошибочное чутье привело его сюда. С горящими глазами он быстро подошел к двери, толкнул, забыл нагнуться и ударился головой о притолоку. Не чувствуя ушиба, зацепив какое-то ведро у порога, он вошел в комнату.

В комнате до этого играли, а теперь вскочили испуганно трое мальчишек, одинаково рыжих и растрепанных.

— А где... где хозяева?— сипло спросил Еламан, насильно улыбаясь.

— Отец ушел. Он работает.

— А еще... Еще у вас есть кто-нибудь?

— Апа[1], что ли?

— Апа? А... кто же у вас апа?

— Акбала.

— А-а... Значит, Акбала вам апа?

— Она у нас ай-ай-апа[2].

— Вот как? Так и зовете ее?

— Так и зовем. И он, и вон тот, и я — все мы зовем ее ай-ай-апа.

— Ну хорошо. А она где?

— Она ищет работу.

Все ребятишки были нескладные и тощие, такие же, как их отец. Еламан потрепал их по головам, грустно и ласково улыбнулся и вышел вон. На этот раз он не забыл нагнуться в дверях и только во дворе уже выпрямился, поднял голову и посмотрел на небо в пестрых облаках. Потом вышел на улицу, не удержался и оглянулся на облупленный домишко. Все трое рыжих мальчишек сгрудились у

---

[1] Мать, старшая сестра.

[2] Красивая апа.

окна, прижавшись носами к потрескавшемуся стеклу, и провожали его взглядами. Когда Еламан оглянулся, они разом заулыбались глазенками. И Еламан опять грустно и ласково улыбнулся им в ответ.

Все эти годы Еламан удивлялся самому себе. Давно уже дороги их с Акбалой разошлись, а он все не оставлял ее в покое, будто и без него мало ей было в жизни горя. Все у него было с этой женщиной, жил он с ней вместе и врозь, любил ее, и ненавидел, и жалел, и все чаще ему думалось, что такова уж у него судьба. Крепко, мучительно вошла она в его жизнь и не отступала. Целый год не был он в Челкаре, мыкался по чужим краям, а если вспомнить, дня, пожалуй, не проходило без мыслей о ней. И чем чаще он думал о ней, тем сильнее болело сердце, до того, что иногда хотелось вырвать его, как вырывают больной зуб. Много в жизни каждого мужчины бывает женщин, но все они скоро забываются, а вот полюбить, видно, все-таки суждено один раз, одна только женщина входит в твою жизнь навсегда.

Еламан прошел мимо дневального, стоявшего у ворот. Еще не войдя в казарму, он услышал голос Мюльгаузена, сердитый его бас. «Уж не меня ли ругает?»— подумал Еламан и, робко войдя в казарму, остановился за спиной бойцов.

— Один он виноват!— кричал Мюльгаузен, расхаживая в кругу бойцов.— Все из-за него! Связать нас по рукам и ногам... Какого черта нам здесь торчать!

— А чего о нем слышно-то?

— Когда грозился приехать-то?

— Ну погоди! Я ему, собаке, покажу хром! Я хром-то с него сдеру...

— Это он о ком?— тихо спросил Еламан, наклонившись к стоявшему рядом бойцу.

— О комиссаре.

— Как? Комиссар?

— Да, да, комиссар...

— Ага...— Еламан закивал, хоть и не понял ничего.

— А когда их привезут?— подал голос совсем еще молоденький боец.

— Сегодня. К вечеру,— глухо отозвался Мюльгаузен.

— Неужто так никто и не уцелел?

Мюльгаузен промолчал. Минуту назад яростный, тугой, как сжатый кулак, он вдруг расслабился, жалко сгорбился и молча, осторожно протискавшись между бойцами, пошел к двери. В казарме повисла гнетущая тишина. Никто не смотрел в глаза друг другу.

Еламан, ничего не поняв, потолкался немного еще среди бойцов, потом пошел к своей постели. Лег, подмял поудобней жесткую комковатую подушку и прикрыл глаза. Поблескивая сквозь ресницы зрачками, он стал глядеть в потолок и думать об Акбале. Сейчас она, наверное, уже пришла домой. Чего ему было не подождать ее?

Интересно, что ей сказали малыши о нем? Приходил какой-то высокий дядя, искал ее? Раздумывая об Акбале, Еламан и не заметил, как смежились его веки. Рука его соскользнула со спинки топчана и повисла...

Вечером отряд, построившись, пошел на станцию. Там уже собрался чуть не весь город. Стояли молча, с томительным ожиданием посматривая на запад. Скоро вдалеке показался лоснящийся бойкий паровозик с единственной красной теплушкой. Жарко дыша паром, шипя, остановился он на станции. Народ на перроне зашевелился. Вытянув шею, Еламан с тревогой, напряженно глядел на паровоз.

Из кабины машиниста стал спускаться по металлической лесенке мрачный человек. Подкованные сапоги его громко стучали в тишине. Ни на кого не глядя, он подошел к вагону. Толпа всколыхнулась, подалась поближе и опять замерла. Со скрипом откатилась дверь, а за дверью, уложенные в ряд, видны были изуродованные, окровавленные трупы. Над толпой раздался вой сначала одной женщины, потом другой, третьей... Мужчины отворачивались, моргали, закрывали лица. В глаза Еламану бросилась дико кричащая молодая женщина. Ее держали под руки, она рвалась к вагону, но тут же обвисала на руках.

Еламану было знакомо ее лицо, но он никак не мог припомнить, кто это. Около нее оказался почему-то Ознобин. Со вчерашнего дня он неузнаваемо изменился, щеки провалились, редкие волосы были встрепаны, тощая шея напряжена и несчастна. Он стал было говорить что-то бившейся женщине, но не договорил, всхлипнул и стал пробираться к вагону. Он протискивался, как слепой, на ощупь, глаза его закатывались вверх. Ему говорили что-то со всех сторон, но он не слушал, отмахивался.

Расталкивая людей, Еламан стал пробиваться к Ознобину и догнал его возле самого вагона. Он подхватил старика под руку, но тот не заметил, не повернул даже головы. Ознобина, когда он карабкался в вагон, поддержало еще несколько рук. Среди окровавленных тел Еламан узнал однорукого сына Ознобина. У старика сразу запотели стекла очков. Он медленно опустился на колени возле сына, стал разглядывать его, потом дрожащей рукой осторожно погладил того по волосам, по лбу, по щекам.

— Андрю... Андрю... шенька...— услышал Еламан задыхающийся голос старика.

Тела убитых стали выносить из вагона. На перроне убивались матери, бросаясь к сыновьям, голосили жены, ревели на разные голоса ребятишки. Еламану стало так страшно и одиноко, что захотелось плакать, как в детстве. Много смертей повидал он на своем веку и только бледнел, только вздрагивали ноздри, тяжелей и сумрачней становился его взгляд. А сейчас он так ослабел, что слезы подступили к горлу, и он уже не мог видеть ничего вокруг, будто и он вместе со всеми потерял самого близкого человека.

Несколько человек, мешая друг другу, подняли сына Ознобина, стали выносить.

— Лицо, лицо-то... Хоть бы лицо прикрыли, господи!— раздались голоса.

Еламан быстро снял с себя шинель, и, спрыгнув на перрон, прикрыл изрубленное шашками тело младшего Ознобина.

IV

Еламан дважды ходил в Совдеп, но оба раза Селиванова на месте не оказывалось. Каждый раз, не отрывая глаз от бумаг, секретарша отвечала:

— Товарищ Селиванов ушел в депо на митинг...

Еламан, подумав, пошел в депо. На улице вокруг депо не было ни души. Зато внутри громадное здание было переполнено народом. От самых ворот, широко распахнутых, плотно стояли рабочие в черной замасленной одежде. В глубине, затянутой сероватым дымком, тускло темнел потухший паровоз. Оттуда же доносился звонкий, бойкий голос, складно лилась непрерывная речь. Еламан, выставив здоровое плечо, стал протискиваться на голос сквозь толпу. На него недовольно оглядывались, тихо поругивали. Еламан только виновато улыбнулся в ответ. Наконец он уперся в спину рослого детины. С трудом подавшись в сторону, Еламан увидел оратора, который так быстро и звонко говорил. В глубине на наспех сколоченной трибуне держал речь Селиванов. Еламан давно его не видел и теперь удивился, что тот ничуть не изменился за это время. Он жестикулировал, взмахивал плавно рукой, и каждый раз, когда он поднимал, потрясая, руку вверх, из-под рукава выскальзывало тонкое, как у подростка, запястье. Селиванов старался казаться старше, принуждал себя говорить баском, но голос его не слушался и звенел совсем по-юношески.

Еламан уже неплохо понимал разговорную русскую речь, но когда говорили о вещах сложных или отвлеченных, тем более быстро и долго, он терялся в обилии слов. И теперь он даже щурился от напряжения, стараясь понять, о чем идет речь. Он начал слушать Селиванова с середины и поэтому скорее догадывался, чем понимал, что тот говорил о богатых и бедных, которые, будто огонь с водой, схлестнулись в классовой битве, о непримиримой вражде их, о предстоящих кровопролитных боях. Говорил о безвестных и беззаветных бойцах, которые еще в давние годы сложили свои головы за свободу и справедливость на земле.

Еламан видел, как у многих хмурились лица и гневно раскрывались глаза. Его самого бросало то в жар, то в холод, и он вспоминал вчерашний вечер и окровавленные, изрубленные тела рабочих бойцов.

После митинга, забыв, что пришел к Селиванову, Еламан один отправился к себе. Он шел серым вечером такой же понурый, как

и десятки других людей, расходившихся с митинга. В голове у него возникали никогда не тревожившие его раньше мысли. И это было для него так неожиданно и ново, что он останавливался несколько раз в изумлении, потом качал головой, усмехался и шел дальше.

Он думал, что вот испокон веков населяли землю разные народы и что народы эти были в чем-то схожи, а он раньше не думал об этом. Народы эти не общаются друг с другом и не знают ничего друг о друге, но ведь живут они под одним небом, и потому в жизни их должно быть много общего, общих радостей и печалей. А между тем, что знали, например, о русских его отцы и деды? Всегда говорили одно и то же, что русские — кафыры, иноверцы. Недоверие и даже ненависть были у казахов к русским. Но понимали ли они душу этого народа, знали ли его тревоги и беды? А вот, оказывается, и у русских были свои бедняки и свои баи, и у русских были свои батыры, как Жанходжа-батыр или Срым-батыр, которые в час великих испытаний бросали гордый клич и звали свой народ на борьбу. А сколько, оказывается, было у русских храбрых бунтарей, всю жизнь свою проведших в неволе, в кандалах, как Сары, сын Батака. Нет, видно, народы познают друг друга и объединяются в борьбе, только на пути к свободе.

Вчера на похоронах двадцати восьми зарубленных плакали все — русские и казахи. Не плакал только один человек — старик Ознобин. К нему подходили, стараясь утешить, но старик только сердито отворачивался. Он крепился — кто знает, не плакал ли он перед этим всю ночь? Но теперь глаза его были сухи. Только стекла очков время от времени запотевали. Не отрываясь, смотрел он на сына. Но когда гроб закрыли крышкой и стали опускать в могилу, старик дрогнул и отвел глаза. Посыпалась земля, комки глухо забарабанили по крышкам гробов. Ознобин смотрел в могилу, смотрел на собравшихся людей и ничего не видел. Еламан поразился тогда и не знал, что думать. Какую силу надо носить в себе, чтобы не зарыдать в страшный час вечной разлуки!

Пустынную улицу насквозь продувал ветер. Мело и мело пыльную поземку. Гнулись, кланялись, шурша листьями, большие тополя. Еламан поднял воротник шинели и с досадой подумал, что еще лето, а ветер лютый, осенний. Одно было утешение: под ветер легко было идти, успевай только переставлять ноги.

Он взглянул вперед и увидел худого усталого человека. Широкое, бывшее когда-то коричневым пальто свисало мешком с его плеч. Шея прохожего была обмотана грубым полосатым шарфом, пальто, по-видимому, было без пуговиц, так как полы все время расходились и он их запахивал. Еламан внимательно оглядел путника сзади и решил, что тот совсем недавно с каторги. Когда он убил Федорова и его заковали в кандалы и увезли в Орск, ему много попадалось таких — худых, измученных, кое-как одетых. Он было догнал прохожего, но замедлил шаг и опять приотстал на корпус

коня, чтобы получше разглядеть того сзади. Теперь он заметил большие уши, тонкую шею и ямку на затылке.

Не решаясь обогнать прохожего, Еламан шел позади.

«Как все-таки нелегко поддается человек неотвратимому,— думал он.— Да что там человек! Любое живое существо, даже былинка какая-нибудь, еле пробившаяся на белый свет, не хочет расставаться с жизнью. И осень пройдет, вот-вот грянет зима, а на обочине большой дороги еще струится под ветром запыленная, чахлая травка. По ней ходили и ездили люди, топтал ее скот, ее терзали, давили колесами, а она все не сдавалась, все тянулась к солнцу, пока не срывала ее чья-то рука или не заваливал снег.

Так и этот человек в арестантском своем пальто... Ох и крепко же, наверно, помяла, пообкатала его жизнь, а он все кособочился, все жил на этом свете, все радовался солнышку. Видно, у него тут дом, родные»,— решил про себя Еламан.

Тот обернулся, увидел Еламана и остановился. Остановился и Еламан. Прохожий быстро оглядел смуглого казаха в военной шинели и спросил:

— По-русски понимаешь?

— Немного...

— Не знаешь, где тут рабочий отряд?

— Пойдем!— сказал Еламан.

Он сначала удивился, что этому больному, слабому человеку нужен военный отряд, но потом решил, что у того в отряде есть какой-нибудь знакомый или родственник. Шагая рядом с прохожим, Еламан все время чувствовал на себе его пристальный взгляд. Он даже подтянулся и поправил ремень.

— Ты кто по национальности? Киргиз?

— Казах.

— Ты из отряда? В отряде еще казахи есть?

— Нет.

— Так... Ну давай знакомиться: Петр Дьяков. А тебя как?

— Еламан.

— Ну вот, теперь в этом городе у меня и знакомый есть,— улыбнулся Дьяков.

— Ты здесь никого не знаешь?

— Да вот, кроме тебя, выходит, никого.

— Вон как!

— А что?

— Так... Во-он штаб, видишь дом?— Еламан показал на небольшое двухэтажное здание.

— Ну пока, еще встретимся,— сказал Дьяков и пошел к штабу.

У дверей Мюльгаузена толпились увешанные оружием бойцы. Вид Дьякова был так нелеп в этой военной прокуренной комнате, что все сразу замолчали и уставились на него, будто верблюда увидели. Дьяков привык уже к таким взглядам и сам старался ни на кого не глядеть. Он по привычке поддернул плечами сползаю-

щее пальто и запахнул полы. Шаркающими шагами подошел к двери и взялся было за ручку.

— А ну-ка погоди!— сказал рослый боец с винтовкой.

— Мне сюда надо...

— Да нет, папаша... Тебе, верно, в Совдеп надо, а тут командир отряда.

— Мюльгаузен?

— Он самый.

— Мне как раз нужен товарищ Мульгаузен.

— А-а... Ну тогда жди. Видал, к нему сколько народу?

Дьяков переступил с ноги на ногу, оглядываясь. Народу было действительно много. В комнате было душно, плавал слоями махорочный дым, крепко пахло сапогами. Дьякову стало нехорошо, он нахмурился и вынул свой мандат.

— Я же тебе, папаша, сказал, обожди!— ухмыляясь, боец отвел руку Дьякова.— У нас тут все с мандатами.

— А вы все-таки прочтите! — жестко сказал Дьяков, и синие мешки у него под глазами задрожали.

По-прежнему ухмыляясь, боец взял мандат. Но тут ухмылку его как ветром сдуло. Он быстро отступил от двери и вытянулся, одергивая гимнастерку.

— Проходите, товарищ...— покраснев, бормотнул он и распахнул дверь.

Прежде чем войти, Дьяков стянул с головы старую свою кепку, и все увидели не тронутый загаром, болезненно-бледный шишковатый лоб с залысинами. Оглянувшись еще раз на бойцов, он вошел и закрыл за собой дверь. Едва дверь закрылась, часовой плюхнулся на стул и схватился за голову.

— Ну, братцы, пропал я!

К Мюльгаузену Дьяков вошел со смутной тревогой на душе. Он недоволен был, что снял кепку, входя, будто перед учителем, но и надевать теперь в кабинете было неудобно. Стесняло его и то, что одет он был как-то уж очень не по-военному.

Мюльгаузен сидел, уткнувшись в бумаги. Не поднимая глаз, он мельком взглянул на ноги вошедшего. Сапоги были совершенно разбитые.

— Ну? Чего вам?— строго спросил он, отрываясь от бумаг.

— Да вот, направили меня в ваш отряд.

— Хан-Дауров?— протянул Мюльгаузен насмешливо.

Мюльгаузен нахмурился, взгляд его потяжелел. Он даже прищурился от напряжения, и Дьяков под его взглядом переступил с ноги на ногу. Оглянувшись, он заметил поблизости стул и вдруг сел, положив кепку на колени. Он сидел боком к Мюльгаузену, но чувствовал, как тот грубо и презрительно осматривает его, и в смущении стал теребить кепку.

— Ну слушаю...

— Понимаете, я в дороге заболел...

— Что?
— Заболел, говорю, по дороге к вам.
— А-а...
— А больница, знаете, известное дело, попади им только в руки... Еле удрал.
— Кто удрал?
— Я о себе говорю, что из больницы...
— Не понимаю. Вы кто такой?

Дьяков привстал и положил перед командиром свой мандат. Мюльгаузен медленно прочел мандат, отодвинул в сторону, вытащил кисет и начал крутить папироску. Руки его вздрагивали, табак рассыпался. И спички почему-то ломались, никак он не мог прикурить. Дьяков незаметно наблюдал, как командир закуривает. Он чувствовал, что тот злится, даже уши покраснели. Наконец какая-то спичка зажглась, и Мюльгаузен медленно раскурил самокрутку, глубоко затянулся и выпустил из носа две струи дыма. Дьяков поморщился, глядя на дым, и слабо обмахнулся кепкой.

— А город ваш довольно большой, оказывается. Правду сказать, я не ожидал, что...— начал было Дьяков оживленно, но запнулся.

Мюльгаузен молчал, попыхивая дымом. На Дьякова напал вдруг кашель. Шея и лицо его побагровели, на висках вздулись крупные вены, высокий белый лоб мгновенно покрылся испариной.

— Извините... Астма проклятая...

Мюльгаузен и на этот раз промолчал.

— Я видел, у вас большое депо... Сколько рабочих?

— Н-да...— неопределенно протянул Мюльгаузен и стал смотреть в окно. Лицо его стало таким рассеянным, что казалось, он совсем забыл про Дьякова.

— Меня зовут Петр Яковлевич. А вас, товарищ Мюльгаузен?

Мюльгаузен поднялся из-за стола, заложил руки за спину.

— Не могли с музыкой встретить. Извини.
— С музыкой?..
— Почему так долго ждать себя заставил?— загремел вдруг Мюльгаузен.
— Ждать?.. А зачем меня было ждать?
— Приказано было ждать тебя! Сколько людей напрасно потеряли! Эх ты, ко-мис-сар!

Дьяков рукавом отер пот со лба. Опять на него напал кашель, вся кровь кинулась в лицо. Он согнулся, зажмурился задыхаясь. «Вот собака! Всегда вот так, в самый неподходящий момент вдруг накатит. Что говорит этот Мюльгаузен? Каких людей потеряли? Почему из-за меня? Да он еще и уходит?!» «Подождите!»— хотел сказать Дьяков, но Мюльгаузен только хлопнул дверью.

Оставшись один в кабинете, Дьяков стал махать кепкой, разгоняя махорочный дым. Губы его пересохли, в горле першило. Он

огляделся, ища воду, а сам все думал о непонятной грубости командира. Поглядывая на дверь, он ждал, что тот вернется и недоразумение разъяснится. Ему пришли в голову слова Хан-Даурова о чрезмерном властолюбии Мюльгаузена, о его грубости. «Боже тебя упаси оказаться под его влиянием!»— наставлял его на прощание Хан-Дауров. «Но ведь он не классовый враг, а товарищ по оружию, революционер,— думал Дьяков,— не может быть, чтобы мы с ним не сработались, в конце концов. Не беда, если он крут и властолюбив — тряпка командир еще хуже...»

Всю свою жизнь Дьяков терпел унижения и относился к ним стоически. Круглый сирота, он натерпелся всякого от тетки с дядей. Потом совсем мальчишкой поступил на фабрику «Скороход». Через год за участие в рабочем кружке был арестован и сослан в Сибирь. Десять лет проработал он на шахте, пока не удалось бежать. Но недолго ему пришлось пожить на воле: опять схватили и опять ссылка, на этот раз в Среднюю Азию. Только после революции вышел он на волю окончательно. И все эти годы никто — будь то фабрикант, мастер, полицейский, начальник тюрьмы или конвойный,— никто не видел в нем человека. Наоборот, все будто соревновались в грубости, в жестокости. Это были враги...

«Куда он делся?»— думал Дьяков, выглядывая в переднюю. Но в передней никого, кроме часового, не было, и вообще весь дом опустел, ни в одной комнате не слышно было голосов. За окном свистел ветер. Часто и монотонно тикали на стене ходики. В городе собирались сумерки. Они проникали и в здание штаба, скапливаясь по углам комнат. В два окна, обращенных на запад, было видно, как догорал закат. Дьяков понял, что Мюльгаузен больше не придет. Когда совсем стемнело, он спустился вниз, поговорил с часовым, стоявшим на крыльце, но в своем пальто долго не устоял на ветру, вернулся в штаб. Часовой разговаривал с ним вытянувшись, на вопросы отвечал: «Так что, товарищ комиссар...» «Комиссар!»— думал Дьяков, посмеиваясь над своим нелепым положением. Да, вот он и комиссар. Прошу любить и жаловать. Комиссар рабочего отряда. И с его изможденного лица не сходила легкая улыбка. Сон одолевал его, тело набрякло, хотелось лечь, укрыться с головой, согреться как следует. Он присел к столу, облокотился, навалился грудью на столешницу, уткнув лицо в ладони. Жилки на висках набухли, бились под ладонями. В передней громко тикали ходики.

Дьяков поднялся, осторожно ступая, стал ходить взад-вперед по темной комнате, покашливал. Все сильнее хотелось ему прилечь где-нибудь. Он много хорошего слышал о славной Туркестанской армии. Но первые его личные впечатления были малоутешительны. Хан-Дауров командир новый, только что принял дивизию. Это был высокий плечистый человек с крупным носом. Тщедушный, болезненный Дьяков всегда с восхищением и тайной завистью относился к физически здоровым людям. Хан-Даурову Дьяков тоже, видно, по-

нравился — он долго и откровенно разговаривал с ним. Со слов Хан-Даурова Дьяков узнал, что до образования Туркестанской армии на обширной территории вокруг Актюбинска существовало несколько десятков мелких разрозненных отрядов. Как и Челкарский рабочий отряд, все они формально подчинялись высшему командованию, но действовали часто совершенно самостоятельно, почти всегда стихийно и несогласованно. Чтобы исправить положение и ввести среди бойцов дисциплину, их стали объединять в полки и дивизии. Так и родилась Туркестанская армия. Вооруженные отряды железнодорожников Челкара, Казалинска, Джусалы, Ак-Мечети[1] и Ташкента теперь подчинялись штабу Туркестанской армии. «А вот Мюльгаузен бунтует, не хочет подчиняться»,— сказал тогда Хан-Дауров.

К рассвету Дьяков так устал, что уронил голову на стол и провалился в забытье. Спал он крепко и проснулся часа через два. За окном было уже светло. В комнате было неуютно, тихо... Только ходики в передней неутомимо отмеривали время.

Дьяков потер лицо, встал, прошелся, разминаясь. Руки затекли, голова болела, тело ныло, как побитое. Со вчерашнего дня он ничего не ел. Но есть все равно не хотелось, во рту было сухо и горько, мучила жажда. Он поискал, но так и не нашел воды. Потом вспомнил, что во дворе видел колодец, и спустился вниз, чтобы умыться и напиться. Пальто он оставил в штабе и на дворе сразу же продрог. Вчерашние тучи ушли, небо нежно голубело, но было по-утреннему холодно. Поскрипывая сапогами, кто-то вошел в ворота. Было еще не совсем светло, и Дьяков сначала не узнал его, но потом тот резко и громко заговорил с сопровождавшими его двумя командирами, и по голосу Дьяков сразу узнал Мюльгаузена. Он хотел было поздороваться, но раздумал, боясь, что Мюльгаузен не ответит.

Студеная вода была неприятна Дьякову. И еще не проходило сомнение, не напрасно ли он согласился стать комиссаром в отряде Мюльгаузена. Умывшись и напившись, он пошел в штаб, чувствуя, как дрожит всем телом. В передней он столкнулся с коренастым толстяком, который отрекомендовался старшиной.

— Ну вот, на ловца и зверь бежит,— улыбнулся Дьяков.— Вы мне как раз и нужны.

— Извиняюсь, товарищ комиссар, отдельной комнаты у нас пока нету,— сказал старшина.— Может, поживете временно с одним младшим командиром?

— Неважно...

— Вы и не харчились, верно, еще? Пойдемте со мной, вас накормят...

— Это потом... Сейчас мне...— Дьяков не закончил. Мучительный кашель овладел им, кровь бросилась в лицо.

---

[1] Ныне Кзыл-Орда.

Старшина удивленно посмотрел на него, подождал.

— Как хотите,— сказал он.

* * *

На другой день, выбрав свободное время, Еламан опять пошел в Совдеп. Перед крыльцом большого дома с красным флагом над синей крышей толпился народ. Среди городских Еламан заметил два тумака, возвышавшихся над кепками и фуражками. С непосредственностью степняков казахи подвели коней к крыльцу, привязали их за перильца и пошли прямо к начальству. Их не пустили, они начали кричать и махать широкими рукавами.

Оказалось, двое казахов пригнали из волости Кабырга на базар скотину. Но какие-то документы были у них не в порядке, и теперь они изнывали от отчаяния, не зная, как быть. Базарные власти всегда находили повод придраться к неграмотным аульным казахам. Вот уж несколько дней им не разрешали продавать скот. Увидев Еламана, они еще издали завопили:

— Ойбай, родной!— бросились к нему, путаясь ногами в широких длинных чапанах.— Нет ли у тебя среди начальства тамыров? Выручай, дорогой!

Еламан поклялся, что не только среди начальства, но и в городе целом нет у него тамыров, приятелей. Но казахи и слушать ничего не хотели. Вцепившись в Еламана с двух сторон, они только твердили:

— Выручай, дорогой, выручай! Ты ведь, говорят, с самим Слейбановым знаком?

— Знаком не знаком, а немного знаю.

— Вот и хватит! Нам ведь много не надо. Нам бы только свое дело провернуть. А так на кой он нам? Мы ведь к нему не свататься приехали...

— Ну ладно, поговорю с ним о вас.

— Ай, спасибо, дорогой! Да благословит тебя создатель!

— Да пошлет он тебе здоровье и долголетие!

— Апыр-ай, как хорошо, что мы тебя встретили. Верно говорят: да будет у тебя приятель и в стране иноверцев!

Селиванов проводил совещание с руководителями городских учреждений. За широкой черной, обитой дерматином дверью слышен был высокий юношеский голос, который так звенел вчера на митинге в депо.

Еламан забеспокоился, что придется долго ждать, но совещание неожиданно кончилось. За дверью разом заговорили, задвигали стульями. Не успел Еламан как следует одернуть на себе шинель, как дверь распахнулась и все повалили вон. Селиванов выходил последним.

— Ба, кого я вижу!

Селиванов, улыбаясь и протягивая руки, пошел к Еламану. Еламан так обрадовался, что Селиванов его узнал, бросился навстречу

и крепко обнял его. Так, улыбаясь, похлопывая друг друга по плечам, они и вошли в просторный кабинет со многими окнами. Переступив порог, Еламан удивленно остановился: он еще не видел такой обстановки. В глубине громадного кабинета стоял массивный полированный стол, покрытый сверху красным сукном. Вдоль стен выстроились новые блестящие стулья. На столе сверкал телефон.

— Значит, и ты в нашем отряде?— радостно сказал Селиванов, одобрительно поглядывая на военную шинель джигита.

Еламан неожиданно для себя захохотал.

— Я гляжу, ты самым главным начальником в городе стал? Вот здорово!

— Погоди, брат, на это место в будущем еще ты сядешь! Ну как дела, с чем пожаловал?

— Я к тебе...— начал было говорить о своем Еламан, но Селиванов перебил его:

— Слушай, я тебя, кажется, вчера где-то видел..

— Ну ты и говорил вчера!

— Я после митинга хотел с тобой повидаться, просил тебя найти, да ты ушел уже.

Еламан в это время думал о другом. Раза два он хотел заговорить о своем деле, но чувствовал, что Селиванов теперь занят собой, и молчал. Селиванов хмурился и порывисто шагал по просторному кабинету на своих длинных ногах, потом резко остановился возле Еламана, опустил на плечо ему руку. Еламан решил, что тот хочет что-то сказать ему, выжидательно заглянул Селиванову в лицо. Но Селиванов на Еламана не глядел, а глядел куда-то вдаль, откидывая свободной рукой волосы со лба, запуская в гущу волос свои тонкие бледные пальцы. Сжав волосы на затылке в ладони, он долго стоял молча, прикрыв глаза. Молчал и Еламан.

— Сколько людей погибло!— сказал наконец Селиванов.— Сколько жертв! Но что поделаешь? Война... Война, братец ты мой!

— Война...— поддакнул Еламан.

— Что? Ах да... война! А где, кстати, Мюльгаузен?

— В городе.

— А где именно?

— Может, на станции.

— Да, да, я не подумал...

Селиванов крепко взял Еламана под руку, будто боясь, что тот уйдет, и вышел с ним в приемную.

— Мюльгаузен сейчас скорее всего на станции,— сказал он секретарше.— Позвоните туда или пошлите кого-нибудь — пусть немедленно зайдет ко мне.

— Хорошо, сейчас...

— Только... Ну, вы его знаете, пригласите там как-нибудь повежливей, не задевая самолюбия...

— Понимаю.

— Трудный он у нас человек... Ну,— повернулся Селиванов к Еламану,— говори, по какому делу пожаловал?

— Да уж не знаю... Есть у меня одна...

— А-а?

— Говорю: одна знакомая...

— Ах да, да. Ну?

— Она живет плохо. Если можно, надо бы...

— Помочь нужно?

— Да нет, ей бы работу подыскать какую-нибудь...

Пронзительно зазвонил телефон.

— Извини,— сказал Селиванов и взял трубку.

Недовольно поговорив с кем-то, Селиванов раздраженно бросил трубку. Лицо его сразу осунулось, видно стало, что он устал.

— Ты откуда родом?— неожиданно спросил Селиванов.

— Из Аральска.

— Так... Значит, с твоими земляками история вышла. Понимаешь, пригнали лошадей на базар, а документы не в порядке. Не все лошади записаны в документах.

— В ауле какие документы?

— Не знаю, не знаю... А если лошади ворованные?

— Нет, нет! Свои кони.

— А ты откуда знаешь?

— Я с ними говорил у крыльца. Им соседи дали по коню, чтобы они продали. Материя, чай, сахар с базара всем нужны...

— Не знаю, не знаю...

— Я правду говорю! Не всему же аулу на базар ехать — у нас всегда так, кто едет на базар, тому и поручают продавать... Прикажи, чтобы им вернули лошадей.

— Не могу, дорогой.

— Ты же начальник.

— В том-то и дело, что я прикажу, а Мюльгаузен не согласится. Ты же его знаешь!

— А при чем тут Мюльгаузен?

— Как при чем? Отряду нужны кони, а покупать денег нет.

— Значит, насильно отнимаете?

— У бедноты мы ничего не берем насильно. Конфискуем только у богатых.

— Ну а теперь как получается?

— Это лошади неоформленные, значит, незаконные, понимаешь?

В кабинет бочком протиснулся какой-то работник Совдепа с папкой. Селиванов взглянул на него и сразу похолодел лицом. Робко подошел к нему служащий и, почтительно оглядев громадный стол, протянул папку. Селиванов, не читая бумаг, стал одну за другой небрежно и размашисто подписывать, а подписав, нетерпеливо указал служащему на дверь.

Еламан во все глаза глядел на Селиванова и вдруг увидел, что начальнически каменное выражение, с которым Селиванов подпи-

сывал бумаги и глядел на служащего, заменяется дружелюбной улыбкой. Он понял, что Селиванов вспомнил о нем и сейчас обернется к нему прежний, молодой, внимательный... И не успел Селиванов повернуться к Еламану, как тот отвел глаза и стал смотреть на дверь, которую тихо прикрывал за собой робкий служащий. Ему не хотелось теперь встретиться взглядом с Селивановым. Господи, как можно ошибиться! Человек, который сидел сейчас за огромным своим столом в огромном кабинете, так был непохож на вчерашнего юношу, который своей горячей речью в депо властно возбуждал мысли и чувства многолюдной толпы. Юноша, который бросал вчера людям высокие слова правды, казалось, мог делать с этими людьми все, что хотел, мог звать их в бой, на смерть — и они пошли бы! А сегодняшний Селиванов был то холоден и надменен, словно бай, то простодушен и весел, будто свой брат-табунщик, сегодня он владел своими чувствами так же легко и ловко, как мальчишка объезженным стригунком.

И Еламан презирал его теперь. Он понял, что будь этот Селиванов хоть сто раз председателем Совдепа, но без Мюльгаузена он ничего не сделает... А пойти и просить о чем-то Мюльгаузена Еламану не хотелось. И он сразу забыл, зачем пришел сюда, думал о своих бедных земляках, у которых отобрали лошадей, и на душе у него стало так тоскливо. Несчастные люди! Всю жизнь свою, с детства до старости, в зной и в стужу, пасут, выхаживают они свой скот и никакой радости не видят за свой труд. Испокон веков казахский скот становился добычей чужих. Каждый, кому не лень, мог увести у казаха хоть целый табун. И вот наступили перемены, настала вроде бы желанная пора справедливости на земле, но, видно, бывают народы, обделенные судьбой.

Еламан встал, собираясь уходить, но Селиванов остановил его:

— Куда ты? Ты же говорил, у тебя дело ко мне...

— Верно, было...— неохотно сказал Еламан.

— Ну так говори. Я слушаю.

— Устрой ее на работу...

— Ах да, да,— сказал Селиванов и вдруг вспомнил о чем-то, стал перебирать, складывать и раскладывать всякие бумажки на столе. Длинные прямые волосы его сползали на лоб, и он все встряхивал головой, отбрасывая их назад.

Еламан с тоской и недоверием смотрел на него.

Покончив с бумагами, Селиванов снял с вешалки шинель и фуражку. Громко зазвонил телефон на столе, но Селиванов только досадливо поморщился, взял приунывшего, переминающегося у дверей Еламана под руку и вышел вместе с ним на улицу. Шагая против ветра рядом с Еламаном, он застегивал на все пуговицы и крючки новую свою шинель.

— Мы хотим кочевников перевести на оседлую жизнь, приобщить их к городской культуре. Поэтому твой приход как нельзя более важен и своевремен. Мы должны уже сейчас привлечь местное

население к постоянной работе. И в первую очередь женщин-казашек. Понимаешь? Это наш первоочередной долг!

— Раз так, тогда эту женщину...

— Приведи ее ко мне. Я буду в столовой железнодорожников, там вы меня найдете.

Еламан быстро шел к дому Акбалы и улыбался. Смуглое лицо его горело на ветру, большие глаза радостно блестели. Мигом дошел он до маленького домика, с треском распахнул еле державшуюся, скрипучую и такую знакомую дверь и вошел в комнату. Рыжие детишки испуганно замерли. Акбала сидела у окошка, в которое заглядывало солнце, и сосредоточенно штопала свое старое девичье платье. Подняв глаза на ворвавшегося Еламана, она испугалась, воткнула иголку в платье и быстро встала. Она не успела ни о чем спросить, как Еламан схватил ее за руку и потащил на улицу.

— Здравствуй... милая!..— бормотал он.

— Что такое? Что случилось?— слабо сопротивлялась Акбала. Ей было неловко перед прохожими, но Еламан не выпускал ее руки.

— Понимаешь... нашел тебе работу! Ты же искала работу, я знаю... Теперь ни от кого зависеть не будешь! Может, сначала и трудно будет... Но ты потерпи.

На красивом лице Акбалы вспыхнула и тут же погасла слабая грустная улыбка. «А то я не терпела!— казалось, говорила эта ее улыбка.— И теперь опять терпеть!»

— Ничего, привыкнешь, все будет хорошо!— продолжал Еламан.

Акбала опять улыбнулась.

— Привыкну... А куда ты меня тащишь?

— К начальнику. Давай быстрее, он нас ждет.

Хоть и торопилась Акбала, она еле поспевала за рослым, крупно шагавшим Еламаном. Она все отставала, но это для нее было даже хорошо, потому что так ей можно было откровенно разглядывать его. Она видела его поседевшие виски и морщинки возле глаз, которые стали еще заметней, чем в прошлом году. Скулы его обтянулись, лицо посерело, печальная тень неотвратимо приближающейся старости лежала на нем. Бабья жалость подкатила вдруг к сердцу Акбалы. Такой слабости за собой она давно уж не замечала. В последнее время Акбала все чаще открывала в себе черты отцовского характера. Если однажды она ожесточилась, то уж никакое горе не могло ее сломить, все у нее в груди черствело, застывало камнем. И уж не оглядывалась она назад, на дорогу пройденной жизни, и не вспоминала прошлого, а прощалась со всем, что было, хорошим или плохим, навсегда. Прощалась, как прощаются навеки с близким, но умершим человеком.

— Ну вот и пришли...— сказал Еламан.

Акбала взглянула туда, куда глядел Еламан, но в это время

мимо проезжала колымага-арба, запряженная верблюдом, и Акбала сначала никого не увидела. А когда арба проехала, громко скрипя, она сразу заметила высокого молодого русского. Он стоял у входа в железнодорожную столовую и разговаривал с рыжей женщиной в белом халате. Разговаривая, он нетерпеливо посматривал по сторонам и, увидев Еламана, явно обрадовался. А когда разглядел Акбалу, и вовсе повеселел.

— Ого!— сказал он, жадно, даже до неприличия, разглядывая Акбалу.— Я гляжу, губа у тебя не дура! Ну познакомь...

Еламан промолчал, стиснув зубы. Селиванов удивленно посмотрел на Еламана, увидел его потемневшее лицо, захохотал и шагнул к стоявшей за спиной Еламана Акбале.

— Зачем тебе? Не трожь!— хмуро буркнул Еламан, и Селиванов остановился.

Оглядев еще раз Акбалу, он вернулся к женщине в халате и стал ей что-то торопливо говорить, указывая глазами на Акбалу. Женщина вытерла красные руки о полы халата, добродушно улыбнулась и подошла к Акбале. Акбала посмотрела на Еламана.

— Подай ей руку!— по-казахски сказал он.

Степняки не подавали руки при знакомстве, и Акбала в смущении опустила глаза. Несмело подав женщине руку, она тут же отдернула ее и покраснела.

— Скажи свое имя,— подсказал Еламан.

— Акбала.

— Как? Акбала? А меня можешь звать тетя Марфа...

Акбала все не поднимала глаз.

— Я тут готовлю, варю еду. А ты мне будешь помогать. Будешь носить воду, колоть дрова, мыть посуду... Согласна?

Акбала молчала, будто в рот воды набрала. Подумав, она покорно пошла к дровяному сараю и подняла валявшийся среди поленьев топор.

V

Дьяков ехал в последнем вагоне. В этом вагоне расположился взвод Ознобина. Бойцы, казалось, не замечали присутствия в их вагоне комиссара. Многие вообще не знали его в лицо, да и внешне он ничем не выделялся, одет был как все. Когда он, в старой шинели, в поношенной шапке, догнал в Челкаре тихо тронувшийся от платформы эшелон и уже на ходу прыгнул в последний вагон, никто не обратил на него внимания.

Такое незаметное положение в отряде вполне устраивало сейчас Дьякова. Перед раскрытой дверью сидело несколько бойцов. Дьяков подошел и встал за их спинами. Поезд шел не останавливаясь, промелькнуло уже немало разъездов, промчалась мимо и станция Улпан. Внизу без умолку стучали колеса, телеграфные столбы вдоль дороги, мелькая, бежали назад. А за столбами простиралась

бескрайняя голая степь, не за что было глазу зацепиться. Травы здесь давно засохли. Печально клонили головы поблекшие ковыль и типчак. Редко, если не считать разъездов и полустанков, можно было увидеть в степи признаки жизни. Иногда только где-то у самого горизонта журавлиной цепочкой тянулось кочевье. Однажды увидели одинокую юрту в степи. Из нее струился жидкий бесцветный дымок. Невдалеке от юрты паслась покрытая попоной верблюдица с верблюжонком. Выведенная из оцепенения шумом поезда, верблюдица лениво повернула шею, посмотрела на поезд, но не шелохнулась, одиноко возвышаясь над степью.

— Вот у кого жизнь!— громко крикнул сидевший с краю пожилой боец.— Ни забот, ни горюшка...

Бойцы опять примолкли, покуривая, созерцая струившуюся пустынную степь, потом вдруг оживились.

— Эй, гляньте!

— Кто такие — наши, нет?

— Какие наши, белые!

Десятка полтора казаков возникли на вершине рыжего холма и поскакали вдоль железной дороги. Держались они в отдалении, пулей было их не достать, но бойцы, устав от безделья, схватили винтовки и начали стрелять на авось, вдруг достанет. Казаки, горяча коней, некоторое время скакали вровень с эшелоном, потом отстали, затерялись вдали. Бойцы, изматерив казаков, опять расселись по своим местам.

— Разведка была!

— Похоже на то...

— Знать бы, где их основная сила!

— Черт их знает! А близко где-то, это уж точно...

— Исподтишка хотят вдарить...

— А ты, товарищ комиссар, свою штуку спрячь!

Дьяков только теперь заметил тяжелый наган в своей руке. Вспомнив, что в азарте он тоже схватился за наган, но так ни разу и не выстрелил, Дьяков покраснел и поспешно сунул наган в кобуру. «Смотри-ка, а меня здесь знают, оказывается!»— подумал он, и ему стало стыдно, что он вел себя не как комиссар, а как мальчишка. Но он тут же утешился, решив, что невоенному человеку это простительно, зато за несколько дней ему удалось неплохо познакомиться с местной обстановкой.

Когда он ехал в отряд, он никак не думал, что его назначение так важно. Ему представлялось, что отряд Мюльгаузена просто охраняет жизнь населения маленького сонного городка от возможных нападений белоказаков. Но не прошло и двух дней, как он резко переменил мнение. Теперь он знал, что Челкар, затерявшийся в степи, имеет огромное значение для всей Туркестанской армии. Этот городок, стоявший на железной дороге, контролировал движение эшелонов на Оренбург, Самару и Москву, а в другую сторону —

на Аральск, Ак-Мечеть, Аулиэ-Ата[1] и Ташкент. Небольшая на первый взгляд железнодорожная станция была на самом деле звеном, связывающим Центральную Россию и Среднюю Азию. Кроме того, в Челкаре находились вагоноремонтный цех и большое депо по ремонту паровозов. Половину населения города составляли рабочие. Поэтому чрезвычайно важно было, чтобы Челкар не захватила конница атамана Дутова.

Казаков Дутова Дьякову в деле видеть еще не приходилось. Понаслышке он знал, что казаки своими действиями напоминают древних монголов — так же быстры, внезапны и свирепы. И кони у них были отборные, и оружие самое лучшее. Так же, как монголы, казаки предпочитали кружить, таиться, выжидать, чтобы ударить потом внезапно в самое слабое место. Ни разу казаки не приняли открытого большого боя Врываясь в городок или на станцию, они грабили и жгли все, что только можно было, и через короткое время исчезали бесследно, чтобы ворваться потом в какой-нибудь мирный аул и перевернуть его вверх дном.

Туркестанская армия была хоть и многочисленна, но разбросана по необозримой территории. Части ее действовали разрозненно, разведка была организована плохо, и почти невозможно поэтому было уследить за стремительной конницей Дутова.

Именно в это время и были созданы подвижные рабочие отряды, среди которых самым боевым и сплоченным был отряд железнодорожников Челкара.

Дьяков сразу понял, что военное дело Мюльгаузен знал хорошо. В отряде была железная дисциплина. За все эти дни Дьяков ни разу не видел, чтобы отряд бездельничал. Едва позавтракав, бойцы четким строем выходили из казармы и шли за город. Целый день до сумерек Мюльгаузен учил бойцов стрелять и рубить шашкой.

Отряд из тысячи человек был распределен по двум эшелонам. Платформы с орудиями были защищены тюками с хлопком. С первых же дней образования отряд Мюльгаузена то и дело вступал в бои на всем пространстве между Эмбой, Аральском и Челкаром. Едва узнав, что какую-то станцию захватил враг, Мюльгаузен тут же грузил свой отряд в эшелоны и отбивал станцию.

Сейчас отряд спешил в Соль-Илецк.

В то время как с востока к Соль-Илецку приближался Челкарский отряд, с северо-запада так же быстро подходили оренбуржцы. Челкарский отряд остановился на разъезде. Поезд затормозил так резко, что вагоны загрохотали и залязгали буферами. Мюльгаузен спрыгнул на землю и побежал было к паровозу, но встретил по дороге железнодорожника.

— Что случилось?— крикнул он.— Почему стоим?

— Путь повредили.

— Где?

---

[1] Ныне Джамбул.

— Версты две впереди...

— Ремонтируют?

— Давно...

— Ну и как? Скоро наладят?

Железнодорожник пожал плечами и стал махать кому-то, а потом побежал вперед. Сквозь шипение и чуханье паровоза из-за Соль-Илецка доносилась стрельба, потом в разрозненную яростную винтовочную пальбу вклинился монотонный звук пулемета.

— Ах черт!— в бессильной ярости выругался Мюльгаузен.

Рядом с челкарским эшелоном стоял еще один военный состав. Мюльгаузен решил, что это отряд из Ташкента. Судя по тому, как мирно и редко попыхивал у них паровоз, они тут стояли уже давно.

Командира Ташкентского отряда Жасанжана Мюльгаузен не любил. Тот был мурзой, байским отпрыском, недавно перешедшим на сторону красных. Одежда Жасанжана и весь его вид интеллигентного, выросшего в достатке казаха, его породистость вызывали у Мюльгаузена отвращение. От одной мысли, что нужно бы все-таки пойти к Жасанжану посоветоваться, Мюльгаузена передергивало. Вспомнив заодно и о Хан-Даурове, он подумал со злобой: «Ничего себе подобрались дружки: один бывший офицер, другой — байский выкормыш!»

В это время к Мюльгаузену подошел Дьяков с командирами.

— Что собираетесь делать?— спросил Дьяков.

Мюльгаузен нахмурился. Скользнув взглядом мимо Дьякова, будто того здесь не было, он повернул властное свое лицо к командирам.

— Выгружать людей, снимать орудия! Начнем атаку на город!

— А ты погоди, дорогой!— пророкотал кто-то за его спиной.

Голос был с явным кавказским акцентом, низкий и раскатистый. Мюльгаузен потемнел лицом и медленно обернулся на голос. Перед ним стоял гигант раза в полтора выше и крупней его, и Мюльгаузену пришлось поднять голову, чтобы взглянуть тому в лицо. Человек, стоявший перед ним, сложен был богатырски. Его широкие мохнатые, как лапы тарантула, брови вразлет кое-кому вполне сошли бы за усы. Глаза у него были огромные, синие и круглые, как у филина. Под кожей большого лица туго перекатывались желваки.

— Ты Мюльгаузен?— прорычал он.— Здравствуй, дорогой!

— Ну? А ты кто такой?

Великан вдруг потерял все свое благодушие.

— Что, не узнаешь?— вкрадчиво спросил он и опустил свою тяжелую руку на плечо Мюльгаузена. Пальцы его так сжались, что Мюльгаузену показалось, вот сейчас хрустнет плечевой сустав.

— Пусти!— крикнул он, дергаясь и болезненно морщась.

Дьяков шагнул к Мюльгаузену, шепнул ему на ухо. Смутившись, Мюльгаузен надвинул круглую шапку на лоб и болезненно усмехнулся.

— Ну? Узнал?

— Узнал...

— Так... Это хорошо, что узнал. А теперь слушай, что я тебе прикажу. Белоказаки уже позади нас.

— Как? Мы ехали — все спокойно было...

— То было, а теперь по телеграфу сообщили, что совершили налет на станцию Григорьевка и повредили дорогу. Так что давай со своими бойцами жми туда.

— А здесь что же будет?

— Я думаю, мы тут справимся.

Мюльгаузен неохотно повернулся и пошел к своему эшелону. Хан-Дауров исподлобья глядел ему вслед, на его мощный загривок, на плотную, почти квадратную фигуру. Потом перевел свои круглые глазищи на Дьякова.

— Ну как устроился?

— Спасибо, неплохо.

— А с ним как? Ладите?

— По-моему...— начал было Дьяков, но Хан-Дауров перебил:

— Ладно, можешь не объяснять. И так все ясно.

Сначала Дьяков не придал особого значения словам комдива. Но потом, когда поезд мчался уже назад, стоя у распахнутой двери и глядя на выжженную бурую степь, он стал раздумывать над последними словами Хан-Даурова. Он совсем не хотел жаловаться комдиву на Мюльгаузена и теперь чувствовал себя неловко, боясь, что тот совсем не так его понял.

Казаки, как оказалось, совершенно разгромили станцию Григорьевку, разграбили и подожгли дома всех, кто хоть мало-мальски сочувствовал красным. Жилья лишилось много семей.

Оставив здесь небольшую часть отряда, Мюльгаузен поехал дальше. Однако буквально через десяток километров поезд остановился: впереди были выворочены рельсы и шпалы. Выгрузившись из вагонов, бойцы взялись за ломы и лопаты. Но они не проработали и часа, как у горизонта заклубилась пыль и в степи показались казаки. С длинными тонкими пиками они маячили некоторое время в отдалении, потом пропали. Все понимали, что это разведка и что скоро не миновать боя, поэтому спешили изо всех сил и не расставались с оружием. Орудия на платформах были развернуты в сторону ускакавших казаков.

Еламан таскал шпалы. Вместе со всеми он без конца поглядывал в ту сторону, где скрылись казаки, но вдруг забыл про них. Взваливая на плечо шпалу, он неожиданно вспомнил про Акбалу, и на обветренном, осунувшемся его лице появилось мягкое, нежное выражение. «Она теперь работает в столовой, сыта и детей кормит — хорошо!»— думал он. Боясь за нее, он все ходил к ней, как только выдавался у него в Челкаре свободный час. Как давным-давно, в рыбачьем ауле, он любил помогать ей. Он носил ей воду или колол дрова. Однажды ему попались особенно крепкие, корявые березовые чурбаки. Как ни старался Еламан, топор отскакивал

от чурбаков, как от железа. Разозлившись, он широко размахнулся, ударил что есть силы и чуть не вскрикнул от пронзительной боли в плече. Выронив топор, он схватился за раненое плечо и присел. Подбежала встревоженная Акбала. Еламан, пересиливая себя, потянулся было опять за топором, но Акбала решительно отпихнула топор ногой.

— Не надо. Хватит с тебя!— тихо попросила она.

— А что же мне тогда делать?— смущенно пробормотал Еламан.

— Ничего. Просто... побудь рядом со мной...

Как счастлив был он в тот день! Акбала помалкивала, но от вспыхнувшего волнения, от нежного и робкого чувства, нахлынувшего вдруг на нее, бледные щеки ее то и дело покрывались румянцем. Она опускала глаза, стараясь не показать своего волнения, но не могла удержаться, быстро взглядывала на Еламана, и глаза ее при этом странно вспыхивали.

Тот яркий огонь, вспыхивавший в ее больших глазах, как бы загорелся теперь у него в груди, так что по всему телу его прошла волной истома. Господи, подумал он, ну почему этой доброты, этого теплого взаимного сочувствия и молчаливого согласия не было у них тогда, в рыбачьем ауле? Разве он не таким же был и тогда? Разве он хоть немного изменился? Почему же только холодность была между ними?

«А таким ли был я раньше?— вдруг подумал Еламан и даже остановился, забыв про шпалу на плече.— Таким ли я был?.. Да нет, конечно, я тогда моложе был, лучше, добрее, и седины не было в волосах, и морщин тоже...» Еламан печально усмехнулся. Лучше ли, хуже ли, но если бы тогда Акбала относилась к нему, как сейчас, все было бы иначе, и не знать бы им всех тех невзгод, которые выпали на их долю.

Но эти досадные мысли стали одолевать Еламана только сейчас, в степи, а в тот солнечный день, возле столовой, у поленницы, он видел только самую любимую на свете женщину, только руки ее, глаза, лицо... Он видел, что она рада и волнуется от мысли, что он с ней. Как никогда, стали они близки в тот день. Что будет дальше, ни он, ни она не думали. Сколько ни размышлял о ней Еламан, как ни заглядывал в будущее, но как сложится их жизнь, предугадать не мог. Он одно лишь знал, что за свою недолгую жизнь на земле человек, кроме мук и несчастий, должен же испытать и радость. Хоть немного радости должен же испытать человек? И что может быть дороже одной-единственной, на всю жизнь любимой женщины, которая одна только может согреть твою душу, стать твоим утешением в этом неуютном мире, под этим равнодушным небом? Вот ради этого чувства, ради этой женщины готов ты идти хоть на край света, готов снова и снова пойти на любые муки. Но как же зато, господи, любя ее больше жизни, хочется порой задушить ее собственными руками! Отчего это? Почему это так? Разве можно

любить и ненавидеть сразу? Разве совместимы любовь и презрение?

— Белые!

— Где?

— Во-он показались, во весь опор идут...

— Бросай лопаты...

— К бо-о-ою!..

Еламан, будто обжегшись, бросил шпалу, побежал, на бегу стаскивая винтовку, и залег с другой стороны насыпи. Вытер пот со лба и поглядел вперед. По ровной широкой степи лавиной катились казаки. В пыли, летящей из-под копыт, тонкими жалами взблескивали обнаженные шашки. С бешеной быстротой приближались они к железной дороге и вдруг пропали в глубокой балке. Впечатление было такое, будто земля разверзлась под ними и поглотила их. В один миг исчезли кони, и люди, и блеск шашек, и топот затих — только пыль еще висела в воздухе.

Еламан положил перед собой гранату, улегся половчее, раза два вскинул винтовку, проверяя, удобно ли будет стрелять.

— Орудия к бо-ою! Подпустить поближе и бе-еглым!..— донесся сзади голос Мюльгаузена.

Казаки наконец вынырнули из балки. Еламан опять приложился и увидел, как пляшет мушка. Сердце колотилось. Чтобы успокоиться, он нашарил, не глядя, чуть качавшийся под слабым ветерком пучок полыни, сорвал его. Казаки накатывались стремительно, уже хорошо можно было разглядеть всадников. Не отрывая взгляда от них, Еламан жадно нюхал полынь — это его успокаивало.

— Ого-онь!— раздалась команда по цепи, и тут же рваный залп звонко отдался в степи.

Еламан бросил полынь и стал ловить на мушку казака на темно-рыжем коне. Бородатый казак кричал и махал шашкой. Еламан выстрелил, казак вздрогнул и выронил шашку. Конь, не чувствуя больше повода, понес в сторону, встал на дыбки, и казак вывалился из седла.

Застрочили пулеметы на флангах, раз за разом стали бить орудия...

Через несколько минут всадники маячили уже на черном перевале, а потом и совсем пропали.

— Ну, ребята, молодцы!— сипло, негромко выговорил кто-то, но Еламан не узнал голоса.

В смертном напряжении боя он даже не заметил тех, кто лежал и стрелял с ним рядом. Теперь он огляделся и увидел Ознобина. После смерти сына Ознобин сразу состарился. Волосы его, выглядывающие из-под низко надвинутой засаленной кепки, стали совсем белые. Он и раньше был немногословен, а теперь и вовсе замолчал. Да с ним старались и не заговаривать...

Обычно нескладный, длинный, сейчас он был как-то весь подобран, пружинисто напряжен, и даже очки, державшиеся всегда на

кончике носа, теперь сидели плотно, и взгляд его был остер. «Ну, бог свидетель, этот, наверное, не одного казака снял!» — подумал Еламан.

Дьяков, пройдя вдоль цепи, лег рядом с Еламаном. Он был возбужден, и на болезненном, усталом лице его играл румянец.

— Ну как жизнь? — весело спросил он, дружески толкая Еламана в бок.

— Живем пока... — улыбнулся и Еламан.

— Славно поработали! Как думаешь, еще полезут?

— Не знаю.

— А по-моему, нет. Уж очень сильно им наклали.

Еламан с любопытством глядел на взволнованно дышавшего, веселого комиссара. Он еще в Турции заметил, что в бою, как ни странно, больше всех выделяются обычно тихие, незаметные люди. Казалось бы, что с него возьмешь — мухи не обидит, — а в тяжелую минуту самый стойкий и смелый человек!

— Денек-то какой! — расслабленно сказал вдруг Дьяков и восхищенно огляделся, будто впервые увидев степь и солнце.

И в самом деле нежился, плавился в лучах солнца один из последних дней лета. Ветер совсем улегся, по голубому небу тихо плыли редкие белесые облака. И хотя над насыпью еще стоял кислый запах пороха, степь после боя казалась еще шире, а тишина особенно мирной. Невдалеке под густым курчавым кустом полыни робко зазвенел кузнечик. И сразу целая стайка откликнулась на железнодорожном полотне. Из норок стали выглядывать суслики.

Дьяков широко открытыми глазами смотрел на оживавшую степь. Это необъятное голубое небо, бесконечно простиравшееся пространство глухой, нетронутой степи, ясный день, обласканный благодатным теплом летнего солнца, — все это был дивный мир, которого Дьяков не видел, может быть, во всю свою жизнь.

Детство и молодость в Петербурге почти не остались у него в памяти. Чуть не вся сознательная жизнь его прошла в Сибири, в темных, как могила, шахтах. А штреки там были низкие, ходить надо было согнувшись в три погибели. Под ногами хлюпала вода, шуршала мокрая мелкая порода. Под неимоверной тяжестью трещали и прогибались стойки. Иногда они с грохотом рушились, и тогда людей заваливало землей и углем. В кромешной тьме слышались глухие крики и стоны. Как призраки копошились оставшиеся в живых, освещенные тусклыми фонариками...

— Орудия к бо-ою! — закричал Мюльгаузен.

С маузером, низко надвинув на лоб круглую шапку, Мюльгаузен бежал к правому флангу. Опять вдали поднялось облако пыли, но на этот раз казаки докатились только до балки и были отогнаны орудийным огнем.

VI

Из этого похода Дьяков вернулся бодрым и деятельным. Впервые в жизни принял он участие в бою. Раньше он опасался, что в бою может сплоховать и станет потом посмешищем для бойцов. Сначала ему было страшно, он мыкался среди бойцов, не зная, за что взяться, как унять противную дрожь. Но когда началась перестрелка, он вдруг почувствовал себя свободно и уверенно.

Что там ни говори, а первое испытание боем выдержал он хорошо. Да и в степи, на вольном воздухе, побывал впервые и все еще чувствовал горьковатый аромат полыни. Какие там травы, какой животворный запах они источают! И день выдался прекрасный, не жаркий, не холодный, а тихий и солнечный, какие бывают лишь на стыке лета и осени, когда вся природа погружается в дремотную истому. Последнее время Дьякова мучила астма, и больших усилий ему стоило скрывать ее, а после похода он совсем забыл про болезнь, чувствуя необычную легкость и бодрость во всем теле.

После похода Дьяков не сидел без дела. В свободную между военными учениями минуту он приходил то в один, то в другой взвод и рассказывал бойцам о внешнем и внутреннем положении страны.

Но Мюльгаузен по-прежнему не обращал на него внимания. Чувствуя неприязнь к себе Мюльгаузена, Дьяков и сам избегал его. Только однажды после похода они встретились и поговорили с глазу на глаз. Узнав о жалобах бойцов на усталость, Дьяков пошел к командиру. Мюльгаузен встретил его хмуро.

— Бойцы устали,— сказал Дьяков.— Надо бы им дать отдых. Кроме того, давно уже не было банного дня. Я считаю, что бойцам нужен отдых...

Мюльгаузен молчал. В кабинете повисла тишина. Раньше, когда вдруг становилось тихо, из приемной доносился стук ходиков. Но недавно ходики сломались, и от этого молчание Мюльгаузена было еще тягостнее.

А Мюльгаузен слушал тяжелое, прерывистое дыхание комиссара, будто тот только что поднялся на высокую гору, и думал с неприязнью: «Что это у него? Никак чахотка одолела?» Подумав о чахотке, он решил, что такого комиссара еще можно терпеть. Хуже было бы, если б приехал какой-нибудь задорный хам да начал бы власть делить. А этот как старик. Дать ему местечко потеплее, постель помягче — и никаких хлопот. Надо сказать, пока не забыл, чтобы позаботились о комиссаре. А то еще помрет, другого пришлют похлестче.

А решив так, он тут же согласился весело:

— Это ты хорошо придумал. В самом деле, надо дать отдых бойцам. Объяви там в отряде...

Дьяков после этого короткого разговора стал слабо надеяться на сближение с командиром. Но в их отношениях ничего не изменилось. Дьяков отлично понимал, что бойцы отряда видели в нем

не комиссара, а слабого, больного человека и относились поэтому к нему снисходительно. За полмесяца, которые он провел в отряде, никто не пришел к нему за советом, никто не поделился своими думами. Все дела отряда, большие и малые, решал по-прежнему Мюльгаузен. Как-то уж так получилось с первого дня, что комиссар оказался не у дела, сам по себе, будто неродной ребенок в большой семье. Одно только его утешало, что к нему все попривыкли: пришел, ушел — никому не было до него дела. Никто перед ним не робел и не стеснялся его. Больше того, обращались с ним попросту, как с обыкновенным бойцом: один пригласит на свои харчи, другой подвинется, освобождая место... Всем он был просто товарищ по оружию.

Тем не менее за эти дни Дьяков успел кое в чем разобраться. Он понял, например, что отношения между Совдепом и отрядом натянутые. Мюльгаузен, зная Селиванова, в грош его не ставил. Это было бы еще полбеды, но Мюльгаузен и к народу относился пренебрежительно. По глубокому его убеждению народ был сам по себе, а вооруженный отряд сам по себе. Для Мюльгаузена важно было только то, что происходило в его отряде, а на каких-то казахов он и внимания не обращал.

А Дьяков очень скоро узнал, что казахский народ, такой мирный и робкий с первого взгляда, свято хранит память о своих богатырях — батырах. Что только из одного этого края вышли такие знаменитые батыры, как Котибар, Арыстан и Есет. Что, например, прадед Еламана в седьмом поколении Тойгожа тоже был батыром. И когда в одном из многочисленных боев ногу его пронзила стрела и нога стала гнить, он призвал аульного костоправа и велел отнять себе ногу. С тех пор его звали Хромым Волком...

Люди этого края только сравнительно недавно взяли в руки курук и бадью и пошли за скотом, а в старые времена джигиты проводили жизнь в походах, охраняя родную землю от бесчисленных набегов врага. А разве теперь в них угас дух предков, разве мало нашлось бы среди них мужественных героев? Взять хотя бы Еламана — на такого человека можно положиться во всем.

Дьякову несколько дней не давала покоя мысль привлечь на борьбу с белыми беднейшие слои казахов. Решив, что этот вопрос нужно хорошенько обсудить, он пошел к Мюльгаузену. Тот выслушал его, как всегда, молча и хмуро. Потом недобро усмехнулся.

— Еще что скажешь?— процедил он.

— Нет, уж позволь мне у тебя спросить! Что ты скажешь?

— Значит, ни слова по-русски не знающим казахам...

— Научатся.

— Нет, не научатся! Я их знаю, дикие они, дикие и есть! Ни хрена не кумекают... Да что я с ними, как с глухонемыми, в бою объясняться буду?!

— Ничего, как-нибудь поймем друг друга.

— Брось, не глупи! Пока они язык выучат...

— Выучат. Да и нам не мешало бы наконец заговорить по-казахски.

— На кой это мне сдалось? И не подумаю! А пока они по-русски заговорят, война кончится.

— После войны жизнь не кончится.

Мюльгаузен побагровел от злости.

— «Народ... народ»...— пробурчал он.— Заладил!

— Как бы ты ни рассуждал, а власть держится только народом.

Мюльгаузен встал, прошелся по комнате, закурил и остановился, засунув руки в карманы. Потом с интересом посмотрел на комиссара.

— Как хочешь, но без поддержки казахов нам не прожить,— снова убежденно повторил Дьяков.

— Ты ведь комиссар,— ядовито ответил Мюльгаузен,— вот и осуществляй эту поддержку.

— Тогда я прикажу Еламану ехать в аулы. Пусть соберет отряд из своих земляков.

— Пусть катится, не держу.

Дьяков ушел. Мюльгаузен долго еще стоял посреди комнаты. Потом громко чертыхнулся. Он намерен был совсем не допускать комиссара к делам отряда. И теперь удивлялся себе, что не смог переспорить Дьякова и вроде бы пошел у того на поводу. Одно его утешало: он все-таки был уверен, что из затеи комиссара ничего не выйдет. «Этот казах еще и не вернется. Его от ихнего бесбармака за уши не оттянешь!— думал он о Еламане.— Вот тогда я с этим комиссаром чахоточным поговорю!»

VII

Сегодня Акбала пришла домой позднее обычного. Мужик, который возил воду для столовой, запил и приехал только к концу дня. Пришлось Акбале одной перетаскать сотню ведер воды. Вообще работа изматывала ее: ломило в плечах, ныла поясница, ноги к концу дня становились как ватные. Даже небольшое ведерко, в котором она носила домой суп или кашу, было ей порой в тягость.

Еле дойдя до дому, она опустилась у порога, вглядываясь в темную пустую улицу. Оттого что поблизости было озеро, ночи в этой части города стояли прохладные. Таская воду, Акбала замочила подол, и теперь платье прилипало к ногам и неприятно холодило.

Что ни говори, а работа была тяжелая. Непривычная к труду, Акбала всего боялась. Трудно ей было еще и потому, что она была одна казашка среди русских женщин. Но верно говорят: глаза боятся, а руки делают. Еще хорошо, что попала она под начало к доброй тетке Марфе. Акбала стеснялась произносить вслух ее трудное имя, а про себя звала ее Сары-апа — Рыжая тетя. Хорошей женщиной была эта Сары-апа, значит, сжалился над Акбалой создатель... А что было бы, попадись она к злой, крикливой бабе? Конечно, ни-

чего не поделать — терпела бы. Но ей повезло, Сары-апа полюбила ее как родную. Узнав, что у Акбалы дома есть маленькие дети, она каждый раз наливала Акбале в ведерко супу или накладывала каши, а если видела, что Акбала устала таскать воду или колоть дрова, она посылала на помощь кого-нибудь из судомоек или сама помогала.

О Еламане и говорить было нечего. Когда он бывал в городе и выдавался у него свободный час, он шел к столовой, но к Акбале подходил не сразу. Несколько раз она замечала, как он, будто мальчишка, смотрел на нее из-за угла какого-нибудь дома или из-за дерева. Из засады он выходил, когда видел, что Акбала устала. Он молча брал у нее топор, быстро и ловко раскалывал все чурбаки и уходил, не вытерев даже пота со лба.

Вчера на станцию вернулся военный эшелон, бойцов сразу повели обедать, Сары-апа с остальными женщинами с ног сбилась, бегая от плиты к раздаточной. Акбала скоро совсем выдохлась, таская на кухню воду двумя ведрами. Вот тут подошел Еламан, и Акбала сразу вздохнула облегченно и стала поправлять выбившиеся из-под жаулыка волосы.

Покусывая кончик ситцевого платка, она отдыхала и разглядывала Еламана, споро ходившего перед ней взад-вперед с ведрами. Еламан хмурился и не поднимал глаз. Странно, что такой сильный и немолодой мужчина мог так смущаться, краснеть и мучиться, когда глядела на него Акбала.

Нежная улыбка проступала постепенно на ее лице. Уже волнуясь, она думала, что до конца работы осталось немного и, может быть, он пойдет ее провожать. Может быть, он поведет ее к озеру и там они лягут... Как хочет, что бы он с ней ни делал теперь, куда бы ее ни повел, она пойдет с ним. Она бы все забыла, только бы ей быть с ним всегда вместе. Она бы даже не спросила его, что он хочет делать и как жить, с закрытыми глазами, очертя голову она пошла бы за ним хоть на край света. От этих мыслей ей стало страшно и сладко. С надеждой и нетерпением смотрела она на Еламана и все ждала, что он скажет: «Ну, пошли!»

Перетаскав всю воду, Еламан вздохнул и, отводя глаза, буркнул:

— Ну я пошел!

— Что ж, иди, спасибо...— бессильно ответила она.

Еламан помедлил немного, потом повернулся и ушел.

— Твой ухажер, да?— спросила Сары-апа, глядя ему вслед.

Акбала отвернулась.

Сегодня она весь день думала, и многое ей стало ясно. Она поняла, что Еламан по-прежнему любит ее, но простить не может.
И как бы ни тянулись они теперь друг к другу, видно, не суждено им больше жить под одной крышей. Как ни сильна была их любовь, но память о прошлом сильнее любви. Это Акбала поняла твердо. Она знала, что от нее ничего уже не зависит. И от этой мысли она внутренне потухла и замкнулась. Еламана она не смела винить —

он-то ни в чем перед ней не виноват! Но и страдать понапрасну она больше не хотела и твердо решила, что в следующий раз, когда он придет, она ему скажет: «Уходи!»

— Ах, да пропади оно все пропадом!— горько прошептала она, нашарила в темноте ведерко с супом и поднялась. В прошлую ночь она почти не спала. И сегодня ей захотелось, ни о чем не думая, сразу же завалиться спать.

В комнате слабо мерцала подслеповатая плошка. И при этом свете, сбившись в кучу, робко ждали ее рыжие детишки Ануара. Они были одни. Каждый вечер, прихватив с собой старое ружье, Ануар уходил на работу. Работал он ночным сторожем.

Увидев Акбалу, детишки радостно вскочили и с криком «Ай-ай-апа пришла!» бросились к ней.

— Чай пить хочешь? Вода давно кипит...

— Нет, милые, не буду.

— Тогда спать хочешь? Постельку тебе постелить?

— Не надо. Ничего мне не надо...

— Ай-ай-апа... Ты устала сильно, да?

Акбала поставила ведерко с супом на горячую плиту. Слезы выступили у нее на глазах. Отвернувшись, чтобы скрыть лицо, она стала гладить детей.

Лукавить Акбала не умела и к детям была довольно равнодушна. А когда у нее становилось тоскливо на душе, она часто срывала свое зло на них — больше не на ком было срывать. Зато как радовались, как ликовали бедняжки, если суровая ай-ай-апа невзначай приласкает их! Как увивались они вокруг нее, как старались прикоснуться к ней, потереться о ее руки...

— Ну давайте, ребятки, вымойте руки и рожицы. Тащите свои миски. Сейчас налью я вам вкусного супу...— устало сказала им Акбала.

VIII

Уже неделю гостила Бобек в ауле рыбаков на круче. Невелико было расстояние между ее аулом и аулом рыбаков, а после замужества редко ей удавалось вырваться из дому. Но, узнав о болезни старшей своей сестры Ализы, она не могла не приехать. Не став дожидаться мужа, загулявшего где-то в аулах, она оседлала верблюда и, прихватив грудного ребенка, отправилась в путь.

После гибели Мунке осталась одна Ализа. Храня память и очаг мужа, жила она в старой землянке. Болезнь совсем одолела Ализу. После паралича у нее не действовали рука и нога, и ей трудно было передвигаться даже в доме. Лишь с приездом Бобек она немного оживилась. Бобек выстирала белье, выбила и прожарила на солнце постель, и Ализа посвежела лицом, стала поправляться на глазах.

Но однажды ночью нагрянул к ним старший деверь Бобек. Грубый, необузданный нравом, он отхлестал камчой собак, опрокинул

ведра и тазы и ввалился в маленькую темную землянку. Женщины уже проснулись, но он заорал, будто в степи:

— Дом это или могила? Есть тут кто живой?

Бобек вздрагивающей рукой зажгла светильник, взяла на руки заплакавшего ребенка, стала баюкать.

— Давай собирайся, живо!— орал деверь.

Бобек порывисто вскочила.

— Каин-ага, в этом доме живет больная женщина, хранит очаг, а вы без спросу ворвались в дом да еще кричите!— твердо выговорила она и прижала к себе ребенка.

— Эй! Так-растак могилу твоего деда... Чего эта сучка мелет?— закричал деверь, оглядываясь. Не то что мокрохвостые бабенки, длиннополые низкие твари,— самые отчаянные джигиты не смели ему перечить. Бывало, глаз не смеют поднять! А тут шлюха какая-то пасть свою дерет!— А ну давай выходи, живо! Я тебя проучу! Я еще мужа твоего заставлю, чтобы он тебя погонял вокруг аула, как собаку!

— Больную сестру без присмотра я не оставлю!— решительно сказала Бобек и уселась на постель.

— Ах так?

— Так!

— Ну, собака!— побагровел бородач.— Так-растак могилу твоего деда... Сейчас я тебе покажу!

Подскочив к ней, он поймал ее косу, намотал на руку и, резко поддернув, поднял ее с постели.

— Побойся бога!..— завопила что есть сил Ализа и, кое-как дотащившись из своего угла, вцепилась бородачу в полу.

Тот пнул ее ногой, занес над Бобек камчу, но тут же оторопело оглянулся: в дом ввалились разбуженные рыбаки Али и Рза, сбили бородача с ног, потом, заломив ему руки за спину, молча выволокли из землянки. На улице они сильно ударили его по разу, раскровенили рот и, по-прежнему не говоря ни слова, взвалили его на коня. Коня вывели в степь, и только тогда Рза сказал:

— Мотай отсюда, пока жив!

— У, так-растак могилу вашего деда... Погодите, суки,— погрозил бородач и саданул каблуками коня.

Остаток ночи Ализа не спала. Бобек то кормила грудью ребенка, то укачивала его и тоже молчала. И на другой день они не заговаривали о ночном происшествии, только утром Ализа заикнулась было, что лучше все-таки сестре вернуться домой. Но Бобек сделала вид, что не слышит.

В первые годы, оказавшись среди грубых и жестоких людей чуждого ей рода, Бобек чуть было не зачахла. Сколько унижений она вынесла! Но теперь какая-то новая сила появилась в ней, и на смуглом ее лице стояло прежнее выражение упрямства и озорства. Ализа знала буйный и наглый нрав мужа Бобек и думала, что дорого той придется заплатить за вчерашнюю дерзость. Не сегодня-завтра

нагрянет он сюда со своими джигитами, и тогда добра не жди!» «Ой, несчастная ты моя сестренка!— с жалостью думала Ализа.— Плохо же тебе живется, а что еще будет впереди? Не раз еще тебе придется умереть и воскреснуть!»

В нехороших предчувствиях провела она две ночи и два дня и на третью ночь, измученная, задремала уже на рассвете, как вдруг проснулась от дружного лая собак, потревоженных неурочным путником. Вскинувшись, она тут же подумала об Ожирае и похолодела. Взглянув на Бобек, увидела, что та тоже вскочила и натягивала на голову платок. Красивое лицо ее побледнело и заострилось. Ребенок захныкал спросонья. Бобек сунула его Ализе и, не надевая даже своего черного плюшевого камзола, на неверных ногах вышла из землянки.

Какой-то военный спешивался у входа. Бобек сразу оставили силы. «Боже милосердный...— лихорадочно узнавала она,— это... это ведь брат Райжана!»— и, обессиленная, прислонилась к косяку. Военный, вынимая ногу из стремени, оглянулся через плечо. Увидев застывшую у входа маленькую фигурку, он изменился в лице. Бросив повод, он кинулся к ней.

— Бобек... родненькая!..

Бобек счастливо заплакала и прижалась к его груди. Гладя ее по волосам, Еламан вспомнил Рая, расчувствовался, и широкая его грудь стала вздрагивать. Слезы навернулись ему на глаза, и опять померещилась каменистая турецкая земля, зима, холодный ветер по ущельям и как движутся маленькие серые фигурки среди гор, как падает кто-нибудь и его волокут потом к яме и наскоро забрасывают камнями...

— Милая моя Бобек... Печаль моя!— шептал Еламан сухими губами. Других слов он и не искал. Печаль и горе, казалось бы давно похороненные, забытые, вдруг оказались живы и опять больно давили сердце.

Рыбачий аул просыпался. Каракатын, будто чувствуя, что в ауле новость, выскочила во двор. Даже рев проснувшегося внука не удержал ее. Волосы ее были всклокочены, длинный подол платья волочился по земле и путался в ногах. Жаулык, соскользнувший на затылок, она торопливо поправляла на ходу.

— Ойбай, ойбай! Ну что тут скажешь?!— сразу же ахнула она, будто увидела нечто ужасное.— Что же это такое?! Ойбай!— уже завопила она.

От ее пронзительного голоса на другом конце аула проснулся Судр Ахмет. Он сразу же вскочил с постели и в одном исподнем побежал к двери. Словно хорек из норки, он высунул голову наружу и стал с наслаждением слушать голос Каракатын. Он даже заулыбался, знал, что неспроста завопила на весь аул эта шалавая баба. Не выдержав, он выскочил на улицу и сначала увидел Каракатын. И еще увидел военного, остановившегося как раз возле землянок Мунке и Али. Вглядевшись, он узнал в военном Еламана, а в жен-

щине, повисшей у него на шее, Бобек. Тогда он не удержался и начал плеваться.

— Тьфа... тьфа! Опять вместе эти безбожники!

И растерялся, не соображая, нужно ли в этом случае что-нибудь делать и куда-нибудь бежать.

Между землянок то тут, то там показывались рыбаки. Они пошли уже было к морю, но, узнав Еламана, остановившегося у них в ауле, повернули назад.

Весть о приезде Еламана мгновенно облетела весь аул. Даже ребятишки побежали к землянке Мунке. Али и Рза улыбались как именинники. Каракатын даже ухо высвободила из-под кимешека. Маленькие глазки ее прямо-таки сверлили Еламана и Бобек. Она то и дело щипала за ляжку какую-то пожилую бабу и бормотала:

— Ойбай, ойбай... Где появится эта шлюха, там жди беды. Вот увидишь, опять драка будет! Всех нас перебьют, ей-богу!

— Тихо ты! А то услышат...

— Пускай слышат!

— Да тихо ты, стыдно...

— Какой стыд, когда смертоубийство начнется? Небось знаешь, как за ней деверь приезжал, а она его прогнала.

— Ай, не может того быть! Как может такая маленькая верзилу мужика прогнать?

— А ты что, дура, что ли? Ты разве не знаешь, что она колдунья? Как и Акбала, мужиков заговаривает. Она вон уж и Али околдовала.

— Ну и язык у тебя...

— Вот дура! Ойбай, ойбай, ты что меня злишь, а? Ведь эту шлюху во всей округе знают. Из-за нее два аула насмерть бились, как кобели из-за сучки. Так было бы за что? Будто у других баб такого добра нет!

— Да ну тебя!

— А ты не нукай! Известно, мужики как дураки. Как увидят смазливую бабенку, так и распустят слюни. Так и кидаются, как стервятник на падаль. А что в этой красоте — не пойму!

— Да замолчишь ты? Срам-то какой...

— Истинно говоришь, срам! Ой, какой срам!

Али чуть не силком притащил Еламана в свой дом. За Еламаном толпой повалили рыбаки. В доме сразу стало тесно, пришлось расстелить кошму во дворе. В этом краю, у прибрежья, было еще тепло и травы стояли высокие, обильные. И хоть мошкары уже не было, но в землянках и в затишье, где пригревало солнце, как в летнее время, роились, жужжали мухи.

Рыбаки первым делом принялись расспрашивать, что дорого и что дешево сейчас на базаре, да какие цены на скотину, хоть у многих не только скотины — козленка паршивого не было. Поговорив о базаре, перекинулись на другое. Когда новая власть наведет

порядок? Когда доберутся до баев? И если уж смогли свалить самого белого царя, то почему не найдут управы на баев?

О многом хотелось узнать рыбакам, вопросы так и сыпались на Еламана. Но сильней всех кричал Судр Ахмет. Голос его был столь пронзителен, что сидевшие рядом зажимали уши. Но Судырак не обращал ни на кого внимания. Вдруг он поперхнулся и заерзал на своем месте. Вытянув тощую шею, он стал следить за булькающим казаном. Не отрываясь, глядел он, как Али разделывает большого жирного осетра и бросает куски в казан. А возле казана хлопотали уже чуть не все бабы аула. Казан вмазан был в печку недалеко от землянки, и пахло оттуда сладко и дразняще. Каракатын, не смущаясь, засучила рукава, устроилась рядом с казаном, даже оперлась локтем о печку и ловко орудовала половником — то снимала пену, то пробовала на вкус сорпу, хорошо ли посолена. На взгляд Судр Ахмета, пробовала сорпу она слишком часто. Потом он заметил, как она загребла в ложку плавающей лапши, зыркнула глазом по сторонам — и шлеп!— отправила себе в пасть!

— Ах!— так и вскинулся следивший за ней Судырак.— Эта поганая баба, как ворона, все склюет, пока варится!

Рыбаки расхохотались, хмыкнул невольно и Еламан. Знакомая ему жизнь! Земляки его оставались все такими же — те же нравы, те же замашки. Но как бы ни была мелочна и бессмысленна их жизнь, а земля, к которой прирос сердцем, где пустил корни, всегда будет тебе дорога. Вдали от родных мест Еламан скучал не только по уважаемым землякам, но даже по бестолковому Судр Ахмету. Едва выпадала свободная минута, он начинал предаваться воспоминаниям о маленьких землянках, густо поналепленных на круче, о скудной жизни рыбаков, об их босоногих, чумазых ребятишках, о море, о степи... Все дела, удачи и неудачи земляков, даже их ссоры и сплетни были бесконечно дороги ему.

До самого вечера, пока молодая жена Али не постелила ему во дворе постель, радостная улыбка не сходила с лица Еламана. Даже когда земляки жаловались на что-нибудь или возмущались несправедливостью, он слушал, кивал головой, но не переставал улыбаться. Раза два только он поднимал голову и пристально вглядывался в даль, стараясь среди множества землянок увидеть ту, где он когда-то жил с Акбалой. И еще нет-нет да и подумывал: «В какой же землянке жила Айганша с Тулеу?» Только в эти минуты лицо его становилось грустным и сосредоточенным. Но он тут же отвлекался и смеялся вместе со всеми какой-нибудь незатейливой шутке.

Осетра ждали долго. Но и после того, как с ним расправились, долго еще не расходились рыбаки, до глубокой ночи раздавались по всему аулу их крепкие голоса.

В течение всего вечера Еламан часто поглядывал на Кенжекей. Чем-то была она непохожа на женщин этого аула и держалась в стороне — была бледна, подавлена и не лезла к казану. И одета она была беднее всех. Еламану вдруг захотелось подсесть к ней,

поговорить, расспросить о житье-бытье. Он знал, что живет она одна с тремя малышами, что после гибели Тулеу устроилась работать на промысел, разделывала рыбу. Сколько оскорблений и побоев вынесла она за свою жизнь, сколько раз мерзла и голодала, но так много доброго сохранила в себе эта тихая, робкая женщина. О чем-то оживленно судачили бабы возле казана, а ей не было дела до их сплетен. Тихо сидела она в стороне, прижав к себе маленькую дочурку, задумчиво глядела перед собой... «Каково ей теперь одной?»— грустно думал Еламан.

На другой день по просьбе Еламана Рза и Али собрали всех рыбаков аула. На бугре за аулом собралось более двухсот человек. Еламан встал, оглядел собравшихся и откашлялся. Дос, Калау и еще человек десять сидели отдельно. Дос хмурился. Встретил он Еламана угрюмо, молча кивнул в ответ на приветствие и прошел мимо.

Еламан начал говорить. Он говорил о том, что мир теперь раскололся надвое — на красных и белых. Красные за бедняков, белые за баев. Они схлестнулись, как огонь с водой, и теперь бедным казахам надо решить, на чью сторону стать. Красные обращаются к бедноте за помощью. Нужно создать красный вооруженный отряд из казахских джигитов. Вот с этим поручением он и приехал сюда.

Рыбаки молчали. Все вдруг уставились глазами в землю.

— Насильно идти в отряд вас не заставляют...— сказал Еламан.

Среди рыбаков прокатился шорох, все подняли головы.

— Ну тогда слава богу!— весело крикнул один из рыбаков, сидевших с Досом.

— Это же война между русскими? Так вот пускай они и воюют, а нам зачем мешаться в ихние дела?— поддержал его сосед.

Коренастый, плотно сбитый джигит вдруг вскочил.

— Какие русские?— завопил он.— Война идет между баями и бедняками, Ел-ага ведь объяснил...

— Ну и воюй, если охота!— крикнули ему из группы Доса.

— И буду воевать!

— Катись! Никто тебя за подол не держит!

Рыбаки рассмеялись. Коренастый джигит рассердился. Твердым шагом он решительно выступил вперед и крикнул:

— Ел-ага, я вступаю в отряд!

— Спасибо, дорогой!

— Ел-ага,— живо воскликнул Али,— не беспокойся, запишутся в отряд многие! Но ведь в ауле у нас ни одной лошаденки не найдешь! Тут все пешие...

— Лошадей я найду!

— Тогда другой разговор!

Рыбаки облегченно зашумели. Дос, увидев, что настроение рыбаков переменилось, встал и молча пошел со своими джигитами в аул. Еламан даже не взглянул на него, он в это время отправлял Рзу к Танирбергену с приказом выделить для отряда хороших коней.

Рза ушел, а Еламан вдруг усомнился: «А если не даст? Что мне тогда делать?»

Вместе со стариками он пришел в дом Мунке, чтобы помянуть его. Среди гостей был и Судр Ахмет. Ализы не оказалось дома. Гости, потоптавшись, уселись на почетное место. Бобек засуетилась. Догадавшись, что она хочет приготовить чай, Судр Ахмет вдруг важно сказал:

— Не беспокойся, Бобекжан. Наш Ел-ага спешит, понимаешь. Он у нас, оказывается, по срочным делам балшайбеков. Вот когда вернется, тогда и чаю попьем, а теперь дай нам хлеба... Не смущайся, лишь бы соблюсти обычай!

Бобек расстелила перед гостями дастархан, тонкими ломтиками порезала лепешку. К еде почему-то никого не тянуло. Сидели, вяло пощипывали лепешку, жевали, чтобы только соблюсти обычай. Судр Ахмету вообще не сиделось в доме, где не варилось в котле мясо. Едва Бобек собрала дастархан, как он вскочил, взмахнув полами чапана.

— Ну пошли! Пошли!

Старики вышли, а Еламан остался, чтобы повидать Ализу. Вскоре после ухода гостей пришла и она. Молодая соседка поддерживала ее под руку. Ализа взглянула на Еламана, поздоровалась и опустилась недалеко от двери, возле холодного казана. Вид у нее был подавленный. Из-под кимешека торчали седые космы. Еламан грустно помолчал, потом стал спрашивать про жизнь, про здоровье.

— Э, родной, какое у меня может быть здоровье... У тебя-то как дела?

— Слава богу, ничего.

— Говорят, все воюешь?

— Приходится...

— Ну что ж... Огонь, бывает, и камыш щадит. Без божьей воли и смерть не придет. Надолго к нам?

— Дней на десять...

— Ах, родимый, где б ты ни жил, дай тебе бог здоровья,— тихо сказала Ализа и вдруг остро взглянула на Еламана.— Говорят, ты у Акбалы бываешь? Верно?

Еламан покраснел.

— Это хорошо, что ты добрый. Она просто заблудилась, а так разве плохая она?

Пообещав еще зайти, Еламан попрощался. Бобек подметала двор. Проходя мимо, Еламан пристально посмотрел на нее. Волосы у нее вились, как и в девичестве, упруго выбивались из-под белого шелкового платка. По-прежнему была она красива, только печаль лежала на ее лице. Бобек, будто чувствуя, что́ думает о ней Еламан, так и не подняла головы.

IX

Рза вернулся скоро. Танирберген, как рассказал Рза, выслушал приказ Еламана молча, ни слова не сказал и тут же вызвал слугу. Тот быстро пригнал добрый косяк лошадей и тоже молча передал Рзе.

— Так ничего и не сказал?

— Рта не раскрыл!

На худом лице Еламана мелькнула злая усмешка. Отвернулась нынче удача от мурзы, растерял он всю свою власть и силу, но держится еще с прежней надменностью, собачий сын!

Быстро подошел Судр Ахмет. Еламан сначала не обратил на него внимания, но тот стал дергать его за рукав.

— Чего тебе?

— Отойдем, дорогой... Дело есть!

«Вечно у него какие-то тайны!»— с досадой думал Еламан, шагая за ним и поглядывая в другую сторону. Перед домом Али остановились два всадника. Кони их были загнаны в мыло. Туда уже со всех сторон валил народ. «Что за люди?»— думал Еламан, то и дело оглядываясь на всадников.

Судр Ахмет сначала жался, напускал таинственность, потом сделал горестное лицо, шмыгнул мокрым носом и пустил слезу. На дрожащем подбородке его торчали редкие щетинки.

— Все мы недолгие гости в этом бренном мире,— начал он.— Никому не дано жить вечно...

Еламан хорошо знал Судырака — тому ничего не стоило рассмеяться после самых печальных слов. Но то, что он спотыкался на каждом слоге и завел речь издалека, Еламана насторожило.

— Крепись, Еламанжан... Мужайся, дорогой! Дедушка твой Есбол приказал долго жить... Помер, значит. Хо-роший был человек покойник! Царство ему небесное.

Еламан тут же собрался, сел на коня, позвал с собой Али и Рзу. Судр Ахмета никто не звал, однако он скорей всех оседлал своего несуразного вороного и выехал в степь первым. Всю дорогу молчали. Крепко натянув поводья, всадники ехали крупной рысью, но только к вечеру добрались до горестного аула.

Ночью Еламан ничего толком не разглядел. Утром же, проснувшись пораньше, вышел во двор и поразился: народу понаехало видимо-невидимо. Он догадался, что все аулы в округе были извещены о смерти старика Есбола.

Каждый шаруа в заботах о скоте с наступлением осени перебирается поближе к зимовью, подыскивает себе местечко потеплее, побезветреннее, и тогда в каждом овраге, в каждой лощине найдешь по юрте. Осенью и зимой шаруа встречались друг с другом только по какому-нибудь особому случаю — на поминках, на проводах девушки или на свадьбах.

Помянуть Есбола-карию собрались люди чуть не со всех аулов

двух волостей. Хотя далеко еще было до зимней стужи и буранов, но приехавшие издалека одеты были по-зимнему. Шубы, неуклюжие тулупы и треухи наполняли аул. В ауле было оживленно: джигиты резали мычащую и блеющую скотину, взад-вперед сновали бабы, чистили кишки, мыли мясо...

На устройство похорон было выделено пятнадцать человек ближайших родичей Есбола. Они назывались асабой. Асаба обязаны были со всеми почестями встретить собравшийся из сорока родов народ, позаботиться о том, чтобы все были устроены, накормлены и напоены, и чтобы кони их были сыты, и чтобы всегда была наготове теплая вода в куманах для омовения старикам. Всех надо было ублажить, всем угодить, чтобы люди потом разъехались без обид и неудовольствий.

К обеду поспело мясо. Гости, толпившиеся на улице, полезли торопливо в юрты. Самые сильные джигиты стали таскать мясо на огромных деревянных подносах. По рядам гостей поплыли плоские круглые чаши-табаки с душистым, исходившим паром мясом.

Время выноса тела близилось, и в ауле становилось все шумней и оживленней. Асаба то и дело собирались на бугорке за аулом и обсуждали все мелочи похоронного обряда.

Поминальный обряд — один из самых хлопотных и сложных. Много нужно скотины, много всяких продуктов, чтобы хоть понемногу досталось всем собравшимся. А у Есбола скота было мало. Да и всего прочего, можно сказать, не было. Не успел он накопить ничего за свою долгую жизнь. Но человек он был почтенный и любимый народом. Поэтому, как ни жались ближние и дальние родичи, а решено было помянуть и похоронить карию на общий счет со всеми почестями.

Аксакал асабы, старшина поминальной церемонии, старик Суйеу был многолетним приятелем Есбола и, кроме того, сватом. Суйеу был скуп на слова и не вмешивался в разговоры о разных мелочах, о разделе имущества и скота. Когда асаба собирались за аулом, чтобы все обсудить, он приходил и садился, подвернув под себя полы длинного чапана, как всегда, прямой и суровый. Вокруг него шумели, спорили, а он, ни на кого не глядя, смотрел поверх голов куда-то вдаль. Когда, по обычаю, все начали обнимать Еламана и оплакивать его горе, Суйеу и тут крепился. Умел суровый старик скрывать равно как радость, так и горе. Ничто не дрогнуло в его лице, когда он впервые встретился с Еламаном у тела Есбола.

— А!.. И ты приехал? Приехал все-таки! А-а... Что ж... Верно сказано: в лохмотьях — надейся, в саване — отрекайся,— только и сказал старик, пожимая руку Еламану и вглядываясь в него.— А сынка твоего мы растим. На тебя похож... Такой же семижильный!— Суйеу насмешливо улыбнулся было, но тут же опять построжел, не сказав больше ни слова.

После старика Суйеу самым уважаемым и почтенным человеком был Алибий. Он не был родней покойному, но с рыбаками породнил-

ся давно и жил с ними душа в душу. Добрый по натуре, он никому не причинял зла и всегда был мягок, рассудителен и справедлив. Хорошо зная старинные предания и обычаи предков, он чаще помалкивал, поглаживая густую черную бороду. А если заговаривал, то слово его было всегда умно и к месту сказано.

Человек пятнадцать окружили Суйеу и Алибия и обсуждали, кому из мулл читать коран. Еще не было ничего решено, когда к аксакалам присоединились Судр Ахмет и брат его Нагмет.

После того как сына Нагмета прогнали из судебной канцелярии, Нагмет вернулся в аул и жил у родственников. Он не сидел без дела, а ходил и ездил по многочисленной своей родне, пил, ел у них и выклянчивал старую одежду.

Аксакалы заговорили как раз о скудном имуществе покойного. Послушав минуту, Нагмет понял, что тут ему не поживиться, и расстроился. Но потом лицо его разгладилось, и он зашептал что-то на ухо сидевшему рядом Судр Ахмету. Судр Ахмет хихикнул и заерзал от удовольствия. Нагмет щипнул его за ляжку, как бы говоря: «Ты пока помалкивай!»— и влез в разговор.

— Одна из лучших одежек покойного агажана полагается мне!— крикнул он.

Рядом с Еламаном сидели Али и Рза. Когда старики, пораженные, замолчали, Али не удержался.

— У, харя!— насмешливо сказал он.— Всю жизнь клянчишь, обдираешь всех, а нутро свое поганое не насытишь...

— Эй! Эй, братья единокровные...— начал было Нагмет.

— Молчи! Живых тебе, собаке, мало — теперь на покойнике нажиться хочешь, а?

Но там, где дело касалось какой-нибудь выгоды, Нагмета, как и его брата Судр Ахмета, ни уговорить, ни остановить было невозможно. После слов Али он затрясся и вскочил. Войдя в круг чинно рассевшихся членов асабы, он сорвал с головы шапку и шмякнул ею оземь. Слепой глаз его совсем зажмурился, зато здоровый округлился и налился кровью.

— Это я? Ойбай-ау... Это я, несчастный, позарился на тряпье такого... такого почтенного человека и моего незабвенного родича, а?!— Он вытянул черную морщинистую шею и задохнулся. Жилы на шее его вздулись. Поворачиваясь, он яростно сверлил всех своим единственным глазом. Все хмуро молчали, смотрели в сторону. Нагмет вдруг заплакал, прыгнул к Суйеу и плюхнулся перед ним на колени.— Ойбай-ау, на что мне добро покойника? Я ведь о чем пекусь? О святости древних обычаев!— кричал, распаляясь, Нагмет и размазывал слезы по лицу.

Красные глаза Суйеу округлились, яростно заморгал он белыми ресницами.

— Тайт!.. Цыц!— замахал он на Нагмета полой чапана.— Ишь как заговорил, безбожник! Тебе ли о святости дедовских обычаев заботиться? А? А?

Нагмет моргнул и перевел свой глаз на Алибия.

— Ка... ка-кой был... мой Есбол-ага!— зарыдал он.— Я черного ногтя... черного ногтя на его ноге не стою! И вот погас мой светоч, рухнула опора... Лежит мой ага в правом углу... Горем убит мой народ, и вот в такой горестный час эти вот меня оскорбили, унизили... Господи, опозорен я! Горе мне, горе! Ойбай, ойбай...

Нагмет несколько раз ударил себя по голове, подполз к Алибию и упал перед ним ничком, растянувшись длинным своим худым телом. Алибий даже вытаращился и тут же вспомнил, как однажды эти братья чуть не затеяли скандал в соседнем ауле.

Разъезжая по гостям, братья как-то невзначай попали на похороны одного почтенного аксакала. Аул был подавлен горем, и на братьев никто не обратил внимания. Братья очень обиделись.

С плачем и воплями вынесли покойника. И тут сыновья покойного обратились к народу:

— Эй, люди добрые! Кому при жизни остался должен наш отец? Говорите не таясь, чтобы он не унес с собой этот грех...

Вот тут-то Нагмет и вышел вперед.

— За покойным у меня числится должок!— закричал он.— Когда мой сынок Кабежан был судьей, ваш отец приезжал к нему, а обратно уехал на моем коне!

Родичи даже плакать перестали. Сыновья покойного были удручены. Нужно было вернуть долг, ублажить и проводить с почетом того, кому при жизни был должен усопший. Никто не осмелился предать земле тело человека, не очищенного от земных долгов.

— Верните долг вашего отца!— еще пронзительней закричал Нагмет.

И тут Судр Ахмет рассердился: он еще громче Нагмета закричал:

— Довольно тебе, оставь! Когда у тебя гостит дорогой гость, разве не положено ему дарить коня и чапан? Плюнь на своего коня! Считай, что ты подарил его почтенному покойнику!

Алибий испугался, что братья и теперь поднимут скандал при выносе тела. Все еще надеясь образумить Нагмета, он сказал:

— Есбола любил и уважал народ. Мы хотим с честью отправить его в последний путь. Как же не стыдно тебе поднимать шум в такой час? Образумься!

— А почему это я должен образумиться? И не подумаю! Во все горло вопить буду! В пух и прах все разнесу! И золу в очаге раскидаю...

Судр Ахмет между тем все свирепел, пока не выдержал и не вбежал тоже на своих заплетающихся ногах в круг аксакалов.

— Ау!.. Ау!.. Что это вы все обрушились на бедного Нагмета? Это над кем же вы издеваетесь, а? Над кем, я вас спрашиваю? Да мы вонзимся колючкой в ваши вонючие пятки! Мы черный нож, вспарывающий ваши животы! Вот!

На бугре вдруг поднялся крик.

— Тихо, братья, тихо!— закричал Алибий, воздевая руки.

А когда все замолчали, Алибий презрительно сказал сидевшему рядом джигиту:

— Ладно. Включи этого слепого кобеля в долю тех, кто обмывает тело...

Судр Ахмет обрадовался было и засиял, но тут же понял, что если брат и вошел в долю, то ему самому от этого не легче. Лицо его сразу помрачнело, и он, спотыкаясь, заковылял к Алибию.

— Ау! Ау, Алибий... Как же это получается? Нагмет сын Маралбая, а я что, из-под земли, что ли, вылупился? А? Разве я не заслуживаю какой-нибудь одежки моего незабвенного ага? Тогда я пуще прежнего берег бы память дорогого покойника!

— У, в грехах погрязшие безбожники, твари алчные!— застонал Алибий и закрыл лицо руками.— Боже, избавь нас от скверны этой... Ладно, суньте и этому проныре что-нибудь...

— Алеке! А ему-то с какой стати?

— Знаю, что не положено... Все равно занесем его в число тех, кто будет рыть могилу.

— Правильно!— обрадовался Судр Ахмет.— Найдешь ли еще такого человека, кто так рыл бы могилы, как я? Кому же еще рыть могилу Есбола-ага?

Али был джигит горячий. Крепко стискивая восьмигранную, из сыромятной кожи камчу, он прошептал:

— Э, какая досада, а? Жалко, что мы на похоронах, а то отодрал бы я их... До крови!

После скандала, устроенного братьями, старики долго не могли прийти в себя. Всем стало стыдно, и все сидели молча, понуро, не глядя друг на друга. Алибий вопросительно посмотрел на Суйеу. Тот сидел гневный, и на лице его застыло выражение отвращения. Алибий понял, что Суйеу теперь не скоро отойдет. Выпрямившись, Алибий оглядел толпу.

— Есбол был старик одинокий. Не было у него ни детей, ни благодетелей, не знал он в жизни ни уюта, ни приюта. Несколько голов скота составляло его состояние и пропитание. А теперь, когда старик покинул юдоль печали и отправился в лучший мир, мы, его сородичи, вдруг с алчностью позарились на его состояние. К лицу ли это нам? Делает ли это нам честь? Разве мы не асаба? Мы должны с почестями предать тело земле. Давайте же, братья, не возьмем ни мотка ниток! Пусть имущество покойного поделят между собой беднейшие наши родичи Агыс и Когыс. Кое-что достанется старикам, обмывшим тело. Да еще муллам, читавшим коран. Да еще кетменщикам, которые будут рыть могилу. Согласны ли вы со мной?

— Правильно! Верно!

— Все рассудил по чести!

— Да будет так!

Старики Суйеу и Алибий поднялись и отряхнули полы чапанов. Встали за ними и все остальные. Али и Рза собрали могильщиков и отправились к кладбищу рядом с аулом. Грунт на кладбище был каменистый, твердый. Самый крепкий джигит, не выкопав и четверти аршина, выбивался из сил. Как ни размахивались, как сильно ни били кетменем, кетмень отскакивал, высекая искры.

Могила была вырыта уже по пояс, когда на кладбище приволокся скучавший Судр Ахмет. Посмотрев некоторое время на работу кетменщиков, он вдруг распалился, спрыгнул в могилу и отнял у кого-то кетмень.

— Уходите все!— закричал он.— Разве в такой день можно силу жалеть, ойбай? Вот как надо копать!

Он размахивал кетменем, хекал, прыгал, ухал, но кетмень его только лязгал о каменистый песчаник, не вонзаясь даже на палец. Через пять минут Судр Ахмет уже надсадно дышал и страстно ждал, что кто-нибудь попросится ему на смену. Но сменить его не спешили, и тогда Судр Ахмет решил устроить передышку.

— Ну и тяжел же этот проклятый кетмень,— отдуваясь, бормотал он.— Откуда его только выкопали? Свинец ему, что ли, в ручку залили?..

Собравшихся давно уже разбирал смех, но у могилы даже улыбаться нельзя было, и все крепились из последних сил. Кто-то не вытерпел все-таки и посочувствовал Судр Ахмету:

— Да, с тупым кетменем, как с глупой бабой, одна морока. Только силу напрасно теряешь...

От этих слов Судр Ахмет взыграл духом. Вскинув голову, как петух, он оглядел всех снизу.

— Э, братья! Была бы сейчас городская остроголовая мотыга... О!

Не успел Судр Ахмет упомянуть о мотыге, как кто-то из джигитов кинулся в сторону и вернулся с новой мотыгой. Судр Ахмет взял мотыгу, не скрывая восхищения, оглядел ее, поплевал на ладони и широко размахнулся. После двадцати взмахов он весь взмок и начал раздеваться. Сначала из ямы полетел заскорузлый чапан, за ним вылетела наружу и рубаха. Голый, худоребрый, он похож на освежеванного хорька. Соленый пот заливал ему глаза, лицо побагровело от усилий... А придурки эти обступили могилу и подзадоривали и подбадривали, мерзавцы, после каждого его взмаха!

— Эх, ррраз!

— Ай, молодец!

— Да, уж если работать, то только как наш Судырак!

— Ох и веселится же душа покойника, глядя на честные труды нашего Ахмета-ага...

— Где уж нам с Аха тягаться!

«Ах, псы безродные! Чем зубы скалить да глотку драть, подсобили бы старому человеку! У, да разве у них есть совесть? У этих, прости меня боже, голозадых наглецов? Разве уважают эти низко-

родные собаки достопочтенных людей? Нет! Они самого бога не почитают, вот что!»

Судр Ахмет так обиделся и устал, что, бросив мотыгу, опустился на колени и с остервенением принялся скрести пальцами дно могилы.

— Придумали тоже кетмень, мотыгу...— крикнул он осипшим голосом.— Что сравнить вот с этими трудовыми руками?..

Не вытерпев, Али спрыгнул в яму, высадил оттуда Судр Ахмета и взялся за кетмень.

X

Многолюдная толпа после похорон Есбола стала разъезжаться. Во все стороны потянулись пестрые кочевья — мужчины и женщины, старики и молодежь — на верблюдах и лошадях. Родичи просили Еламана остаться на седмицу Есбола, но больше одного дня задерживаться он не мог. Перед отъездом пошел еще раз на могилу почитать молитвы из Корана. Черная гончая, любимица Есбола, сопровождала его. Она смотрела на Еламана с такой печалью, что казалось, все понимала.

На могиле, молитвенно сложив протянутые руки, сидели на коленях старики. Собака стала беспокойно бегать вокруг них и скулить. Она оплакивала своего хозяина, зарытого под этим холмом, и просила у людей помощи. Еламан, поглядывал на собаку, то и дело сбивался со слов поминальной молитвы. Собака была, наверное, голодна, потому что бока ее провалились. Она все нюхала свежую землю, взглядывала то на одного, то на другого из людей, глаза ее были переполнены тоской.

— Апыр-ай, до чего же жалобно смотрит!— пробормотал Али.— Сколько людей было на похоронах, а, пожалуй, никто так не убивался, как эта тварь...

Некоторые чувствительные джигиты стали вытирать глаза. Еламан, закончив молитву, поднялся. Отряхивая с колен пыль, встали и остальные. Гончая перестала нюхать землю и села. Глядя вслед уходившим людям, она вдруг тоскливо завыла.

У Еламана испортилось настроение. Вместо умиротворения он почувствовал вдруг злость против всех и против себя. Жесток или добр, искренен или фальшив человек по своей натуре? Или в его душе уживается то и другое, и он только внешне добр, а внутри у него зло? Может, как раз в этом и заключается причина неисчислимого зла, занявшего все четыре стороны света? А эти бесконечные войны, вражда, недовольство, насилие, унижение бесправного — может быть, все это в натуре человека? Или он ничего не понимает, или все это, как язва, заложено в первоначальном естестве человека, которое рано или поздно берет верх везде и всегда? А как будет в будущем? Сумеет ли человек преодолеть и победить свое нутро?

Он не перестал об этом размышлять и тогда, когда вернулся в дом Есбола. Он даже есть не стал. Снова прочли молитву из Корана, и каждый счел нужным сказать несколько благочестивых слов. «И это тоже ложь! Так, для вида говорят»,— подумал Еламан. Прежде чем уехать, он хотел поговорить о предстоящих поминках, но раздумал. Мертвому не нужны все эти обычаи и условности. Можно провести пышные похороны, потом богатую седмицу, сорочину, годовщину. Но все это нужно не Есболу, а живым, как предлог, чтобы вкусно и сытно поесть. Дед Есбол скончался. Старуха его умерла еще в прошлом году. Совсем опустел этот дом, осиротел, живой души в нем не осталось. Скоро уедут и эти люди, забьют окна и двери. И может быть, только одинокая черная гончая будет прибегать к порогу дома, поскулит, обнюхает рассохшуюся лоханку и убежит опять в степь...

Выходя со двора, Еламан обернулся и последний раз посмотрел на дом деда Есбола. Весь дом состоял из одной-единственной комнаты с окном на юг. Но зато какой это был большой дом! Пока была жива старуха, это был самый хлебосольный, самый гостеприимный дом в округе.

Все, кто был в комнате, повалили во двор провожать Еламана. Он грустно и ласково простился со всеми и со своими джигитами отправился в путь.

С установлением в крае Советской власти волостных стали выбирать из бедняков. Здешним волостным был энергичный молодой джигит. Приехав в аул, расположенный на полуострове, Еламан первым долгом зашел к волостному. Еще накануне он послал к волостному Али с просьбой помочь создать отряд из беднейших казахов.

Волостной круто взялся за дело, послал во все аулы нарочных, приказав тех, кто не захочет вступить в отряд, доставлять силком. Так что к приезду Еламана джигитов в волостном ауле собралось множество.

Еламан вместе с Али поехал тут же по аулам, собирал народ и говорил то же самое, что говорил в ауле рыбаков. Он терпеливо и правдиво объяснял положение, особенно подчеркивал, что насильно забирать в отряд никого не будут, и, каждый раз дав джигитам день на обдумывание, уезжал дальше.

Когда он вернулся из этой поездки, в ауле волостного стало тесно от понаехавших со всех концов конных и пеших. Собрались самые молодые и горячие джигиты. Еще вчера тихие, забитые, пастухи и табунщики, от зари до зари изнывающие в сонной безлюдной степи, тупо тащившиеся вслед за чужим скотом с бичом или куруком в руках, теперь, собравшись вместе, были необычайно оживлены и шумны. Еламан обрадовался, увидев вокруг столько молодых, задорных лиц. Ставя коня под навес, он услыхал, как волостной громко ругал кого-то.

Еще раз весело оглядевшись, Еламан вошел в волисполком. Бе-

лая шестистворчатая юрта, стоявшая в центре аула, была битком набита людьми. Почти всех собравшихся Еламан не видел ни разу в жизни. Но, едва взглянув на их дырявую одежду, обветренные, загорелые лица, потрескавшиеся губы, он догадался, что это все табунщики, верблюжатники, чабаны байских аулов.

— А где табунщики Ожар-Оспана? Почему их здесь нет?— грозно вопрошал волостной.

— Не прибыли...

— Гонец у них был?

— Был...

— И что же?

— Джигиты не виноваты. Их не пускает Ожар-Оспан...

— Ах вон оно что!— Волостной потемнел. Маленькие его глазки загорелись недобро. Он быстро отыскал взглядом джигита с винтовкой и шашкой и кивнул ему.— Давай садись на коня. Вместе с табунщиками пригони сюда и самого Ожар-Оспана. Я с ним поговорю!

Еламан с любопытством поглядывал на волостного. Да, настали новые времена! Вчерашний батрак показывает свой норов. И ума ему не занимать, и стоит на правильной линии. С богачами он будет говорить жестоко. Ну что ж, видно, не растопился еще лед в душе, намерзший за долгие годы. А то и чувство мести в нем заговорило... Все может быть. Пока в аулах еще сидят баи и по-прежнему унижают и распоряжаются судьбой бедных, совсем не плохо, если кто-нибудь хоть изредка будет хватать их за глотку.

XI

Из аула волостного Еламан выехал спозаранок. Темно-рыжий конь его со звездочкой на лбу, хорошо отдохнувший в Челкаре, теперь подобрал брюхо, и Еламан знал, что доедет до аула рыбаков еще до захода солнца. В людях Еламан ошибался часто, но лошадей понимал с первого взгляда.

В жилах темно-рыжего текла горячая кровь. Как бы ни натягивал всадник ременный повод, под навостренными ушами темно-рыжего скоро проступала легкая испарина, и тогда удержать его было почти невозможно. Он грыз удила, раздирал в кровь губы, вытягивал шею, прося поводьев, и, распаляясь все больше, всю дорогу неутомимо скакал, даже на подъемах не переходя на шаг. И уже к предвечерней молитве Еламан домчался к заросшему серой полынью увалу за Бел-Араном. Отсюда до рыбачьего аула простиралось с левой стороны синее море. С моря дул легкий, бодрящий ветерок, обвевая всадника и коня.

В ауле Еламан хотел остановиться у Али. Но, не доезжая до землянки Али, он вдруг повернул к дому Доса. Он решил внезапно — и обрадовался этой мысли — помириться с Досом. Правда, последнее время очень уж Дос задирал голову. Ну что ж, а ты скло-

нись! Тебя не убудет... Поклонись, сделай первым шаг к примирению.

— Подъехал кто-то...— сказала Қаракатын, уловив цокот конских копыт.

Дос сидел у потухшего очага, подоткнув под себя край алаши, и не спеша растирал насыбай — жевательный табак. Он и бровью не повел, услышав, как кто-то подъезжает к его дому. Зато Қаракатын мигом бросила все свои дела и кинулась за порог. Она тотчас разглядела путника, привязывавшего коня к коновязи перед их землянкой. «Господи, да это же Еламан! Батюшки мои, на кого это он похож? Весь в военном, и как это я раньше не заметила? Тьфу, тьфу, срам глядеть! Не мужик, а холощеный верблюд в бескормицу — худой, одни руки да ноги». Қаракатын вдруг прыснула и зажала ладошкой рот. Отвернувшись, она ущипнула себя от удивления за дубленую щеку.

— Эй, пошевелись, Еламан приехал!— крикнула она, вернувшись в землянку.

Дос продолжал растирать насыбай. В неубранном доме черт мог ногу сломать. Қаракатын совалась из угла в угол, ища в свалке подстилку для гостя. С языка ее срывались уже привычные проклятья.

Гость вошел, поздоровался. Қаракатын с облегчением подумала, что теперь все равно уже поздно прибирать в доме, плюнула и выдавила на лице подобие улыбки. Ответив на приветствие гостя, она принялась отпихивать ногами разбросанный всюду хлам подальше к стенкам. Ей все-таки было стыдно за кавардак в доме, а тут еще этот невежа развел вонь на весь дом своим насыбаем и даже — гляди-ка!— не шелохнется! Ой ты, гниль паскудная! Тварь беспомощная!

— Проходи, деверек...— сладко сказала она.

— Спасибо, женеше.

— То, бывало, ты к нам и на порог не ступал, дорогой деверек, а теперь, спасибо тебе, сам пришел, никто тебя не притащил. Так проходи, милости просим, проходи!

— Эй, кончай говорить, чай поставь!— буркнул Дос.

— Вот он какой, ваш ага...— усмехнулась Қаракатын.

— Эй, балаболка...

— Вон видишь, как меня стращает?

Дос из-под опухших век недобро поглядел на свою бабу. Қаракатын показала ему язык и, схватив большой черный чайник, расплескивая воду, выбежала вон. Оставшись с гостем наедине, Дос продолжал молчать. Горький крепкий насыбай давно уже щекотал ему ноздри, он то и дело разевал рот и глубоко вздыхал, готовясь чихнуть, но чох все не выходил. Неприветливость хозяина обескуражила Еламана, и он тоскливо водил глазами, не зная, как приступить к разговору. Оглядевшись, он достал сзади подушку, подмял ее под бок и растянулся у стенки. Чай скоро поспел, но и за

чаем разговор не клеился. «Зря я сюда приехал!» — уже с досадой думал Еламан. Но после чая Дос несколько оживился.

— Сынишку-то видел? Как он, бедняжка?

Каракатын, взявшая было чайник, чтобы выплеснуть во дворе остатки чая, услышав вопрос мужа, застыла у порога.

— Иди, иди! Знай свое дело.

Но Каракатын вернулась и уселась бок о бок с мужем.

— Что-то слабый он,— ответил Еламан.

— Недоносок ведь. Потому и слабый,— заметил Дос.

— Какой там недоносок...— не удержалась Каракатын.

Дос свирепо покосился на жену, но та сделала вид, что ничего не замечает.

— Кто же станет ухаживать за чужим ребенком?— заторопилась она.— Да видит бог, эта хрычовка Суйеу кормит его одним шалапом!

— Хватит, кому сказано?

— Тебе самому хватит горло драть!

— Эй, баба! Жить тебе надоело?

— Ба! Ба! Еще угрожает! Ой, дурак старый...

Но, заметив, куда потянулась рука мужа, Каракатын прикусила язык. Дос положил рядом с собой увесистый деревянный пест, которым недавно толок насыбай. Коротконогое тело Каракатын съежилось под грязным платьем. Она теперь все время одним глазом поглядывала на пест. А разговор Доса с гостем становился между тем все оживленней.

— Теперь тебе, парень, надо жениться, понял?— убеждал Дос.

— Да я и сам об этом подумываю.

— А ты не думай. Женись — и все!

Каракатын незаметно накрыла пест подолом платья. И, улучив момент, ловко сунула его под печку.

— Брось ты все эти свои сомнения... Женись! Верно говорят, что без баб жизни нет...— бубнил Дос.

— Справедливо говоришь. Только, Дос-ага, я ведь женился раз — сам знаешь, что из этого вышло.

— А ты не бери смазливую бабенку. Вот мой совет.

— Да уж какая достанется...

— Достанется, не достанется. Что за разговор? И в этом ауле есть для тебя подходящая баба.

— Не знаю, не знаю...

— «Не знаю»! А старшую жену Тулеу ты знаешь? Вот и бери ее.

— Вот так сказанул, разрази меня господь!..— Как ни крепилась Каракатын, но тут смолчать она уже не могла.— Растяпа ты!

— А что такое?

— Так ведь у ней одно звание только, что баба, а так — на кой она мужику?

— Чего она мелет, эта шлюха?

— Сам ты шлюха! А ты, деверек, не слушай его! На кой тебе занюханная эта баба? Хоть бы одна была... А то с целым аулом ребят!

— Да ты, курва.... Замолчишь ты или нет?

Каракатын вдруг взорвалась и в ярости принялась колотить по земле черной от сажи кочергой.

— Чего это ты мне пасть затыкаешь? Слова не дашь сказать, а? «Перестань»! А вот не перестану! Ты что думаешь, и другие такие же остолопы, как ты? Да за такого джигита, как наш деверек, любая девка с радостью пойдет, только мигни! А ты ему какую-то вдоль и поперек изъезженную клячу суешь!

Дос потянулся к только что придвинутому к себе деревянному песту. Каракатын следила за каждым движением мужа. Вот он застыл в изумлении, принялся шарить вокруг себя... Ну и остолоп! И на черном, как бы сажей вымазанном, лице Каракатын заиграла злорадная ухмылка. Дур-рак! Пес паршивый!

Дос начал искать глазами бесследно исчезнувший пест. Быть свидетелем домашней ссоры Еламану не хотелось. Он накинул на плечи шинель и вышел из дому. Солнце давно зашло, по небу плыли редкие тучки, на востоке кое-где мерцали уже звезды. Легкий ветерок с моря улегся, и стало тепло. Тонко пищали комары. Темно-рыжий, привязанный у дома, узнал хозяина, зафыркал.

Еламан снял с коня седло. Конь остыл уже, но под чепраком было еще влажно, мокрые курчавые бока были горячи. Еламан по привычке погладил нежную шею коня, почесал ему горло, потом запустил пальцы в гриву. Грива была хоть и не густа, но упруга и распирала ладонь. Еламан помял холку и подумал: «Справный конь, в самом теле!»

Он отвел коня за аул, где густо рос ковыль, и стреножил его. На обратном пути он вдруг вспомнил Мунке и завернул на погост. Постояв у могилы, Еламан опустился на колени и прочел молитву из Корана. Могила была голая — ни изгороди вокруг, ни камня-стояка. Под бугром земли старый рыбак покоился в окружении своих детишек...

Еламан тяжело поднялся и отряхнул с колен пыль. Море потемнело, но чайки еще не спали — со стороны промысла доносился их голодный пронзительный крик. Видно, к промыслу только что подошли с хорошим уловом рыбаки, ставившие свои сети далеко в море. Еламан знал, что в дни, когда рыбаки уходят в море надолго, женщины с промысла возвращаются домой поздно. Значит, и Кенжекей еще на работе... С тех пор как погиб ее Тулеу, ей, говорят, совсем прохода не стало от Калау. День и ночь приставал он к ней, чтобы она вышла за него замуж или стала жить с ним просто так. Может быть, потому, что она была любимой женге Айганши, Еламан всегда думал о ней хорошо. А теперь он еще и жалел ее — одна с тремя детьми! Совет Доса жениться на ней запал ему в душу. В самом деле, на красивой он уже обжегся, хватит с него. Теперь

ему другая женщина нужна, чтобы растила его сынишку, чтобы и в его доме теплился очаг.

С такими мыслями Еламан пришел в аул. Во многих домах сейчас сидели за ужином, из землянок доносились усталые голоса рыбаков. Проходя мимо самой большой землянки, Еламан замедлил шаг и прислушался к трепетавшему на печальных струнах домбры знакомому кюю. Домбра звенела из землянки Али. Весь день он сегодня рыбачил, а теперь, в вечерних сумерках, склонился над джидовой домброй и самозабвенно хлестал по ее струнам.

На другой день Еламан поднялся рано. Прежде всего он вышел за аул и посмотрел на своего коня. Конь пасся на том же месте. Он хорошо отдохнул и, зарывшись мордой в густой росистый ковыль, громко хрумкал и пофыркивал от удовольствия.

Поднялся ветер. Успокоившееся ночью море теперь почернело и вспенилось волнами. «Будет шторм»— решил Еламан, оглядев горизонт. Когда он встал с постели, Каракатын еще спала, но теперь слышно было, и она поднялась — из землянки доносились грохот, лязг посуды и пронзительная бабья ругань. Нехотя, будто его толкали в спину, шел Еламан к землянке Доса и, не отрываясь, смотрел на море, над которым кричали чайки, а вдалеке на волнах уже скакали темными точками рыбачьи лодки.

В рано просыпающемся рыбачьем ауле все еще было шумно. Женщины, так и не управившись с домашними делами, спешили на промысел. Зорко оглядываясь, Еламан вдруг увидел Кенжекей. Она прощалась с детьми, которых оставляла одних на целый день. Самый маленький капризничал, ревел. Кенжекей шептала что-то ему на ухо, успокаивала, потом поправила соскользнувший жаулык и поспешила вслед за женщинами, которые ушли уже далеко.

— Еламанжан, вот ты где! А у меня к тебе дело...— Судр Ахмет дернул его за рукав и захихикал.

Хоть Еламан не любил старикашку и не доверял ему, он все же послушно пошел за ним в сторону от дома и так же послушно присел рядом, когда тот повалился на травку. Судр Ахмет откашлялся и поерзал, будто ему вдруг стало жестко на мягкой траве. Вокруг них густо росли серая полынь, лисохвост, дикий клевер, но Судр Ахмет потянулся к росшему поодаль красноногому изеню и отщипнул стебелек.

— Еламанжан, я решил с тобой с глазу на глаз поговорить. Ой, по какому важному делу! Ау! Мудрый бий Жетес из рода Жакаим, говорят, изрек однажды...

Еламан встревожился — черт его знает, что за новости опять у этого прохвоста? Что случилось? Ему почему-то сразу пришел на ум слабый его сынишка в доме старика Суйеу.

А Судр Ахмет, как петух, собиравшийся закукарекать, вдруг запнулся, будто подавился. Еламан похолодел. «В самом деле что-то случилось!»— решил он и со страхом поглядел на Судр Ахмета, зажавшего в кулак жиденькую бородку. Чем дольше и таинствен-

нее молчал Судр Ахмет, тем все более не по себе становилось Еламану. Он не выдержал и дернул Судр Ахмета за полу.

— Ну? Что случилось? Говори скорей!

Блуждающий взгляд Судр Ахмета упал на большого рыжего муравья, тащившего травинку. Судр Ахмет встрепенулся и начал подхлестывать муравья стебельком изеня.

— Хоть ты и скрывал от меня, от своего лучшего друга, а я все узнал!— заговорил наконец Судр Ахмет.— Все узнал! На Кенжекей задумал жениться! Слухом земля полнится... Н-да... От меня ничего не скроешь.

Еламан не знал, рассердиться ему или рассмеяться.

— Ау! Ау, милок мой! Я уж давно знаю, что ты на Кенжекей нацелился. Ой, давно! Ты, Еламанжан... Еламанжанау, наверно, еще и не думал ни о чем, а я уже во-он когда сердцем своим чувствовал, что так оно и будет.

— Не выдумывай, Аха...

— А что? Обзавестись бабой — божья воля. Э, да что там... Я тебя давно расхваливал Кенжекей!— И, тут же поверив в собственную выдумку, Судр Ахмет, будто паралитик, на заду стал придвигаться к Еламану.

Еламан плюнул и встал. Следом вскочил и Судр Ахмет. Догнав Еламана, он семенил за ним то справа, то слева, а то даже забегал вперед.

— Я прямо сам удивляюсь, почему я тебя так люблю? Как начну говорить о тебе, прямо память теряю. Слова так и скачут из моих медовых уст! Да я тебе и сейчас скажу — ты парень не промах! Ох и расхваливал же я тебя перед молодухой этой, ну так расписывал, что прямо — ау! Как павлина. Бедняжка теперь... что? Влюбилась теперь в тебя, в постели так и вертится!

Еламан остановился как вкопанный, бешено взглянул на оторопевшего Судырака, повернулся и, не оглядываясь, спустился по крутому яру. С треском ломались под его солдатскими сапогами густо росшие вдоль прибрежья солончаковые кустарники. Господи, да что же это такое! Царя свергли, Временное правительство пало, нет такого уголка на земле, где народ не дрался бы с оружием в руках. А у его земляков одно и то же. Так же дремлет степь, те же сонные аулы, и люди в них прозябают по-прежнему, и никакого дела ни до чего им нет. Или они, как утки-поганки, которые прячутся в камышах, когда на море обрушивается черная буря — карадаул? Крупных, сильных птиц хлещет буря и калечит град в открытом море, а поганки в это время спокойно ждут в камышах тихой погоды...

Еламан встряхнул головой, глянул — перед ним был промысел. В огромном, как сарай, лабазе, одинаково прохладном и темном зимой и летом, белели платки и жаулыки русских и казашек. Слышались влажное шлепанье и шуршанье, скрип соли под ногами, журчанье воды — женщины разделывали рыбу. При виде мужчины

все они замолчали и стали разглядывать его. Кенжекей, каким-то чутьем догадавшись, что Еламан пришел к ней, вытерла о фартук мокрые, скользкие руки и медленно поднялась с места.

Вся кровь вдруг бросилась Еламану в лицо, и он нахмурился. «Вот черт! Краснею по каждому поводу!»— досадливо подумал он.

— Ты ко мне?— робко спросила Кенжекей.

— К тебе...

— Давай выйдем.

XII

Еламан сидел дома один и ждал жену, ушедшую в гости с маленьким Ашимом за спиной, с прялкой-юлой и мотком шерсти в кармане. Прошло уже несколько дней, как он был женат и жил с Кенжекей под одной крышей. Сначала он не хотел жить с новой женой в той землянке, куда он когда-то ввел Акбалу. Но после настойчивой мольбы Кенжекей он дня два занимался ремонтом заброшенной землянки, прежде чем перебраться в нее. Он старался не оставить ни одного следа, который мог бы напомнить ему о прошлой жизни. Он заменил раму и навесил новую дверь. Развалил старую печь, разделявшую дом на две половины, и выкинул все кирпичи. Потом обмазал белой глиной и выбелил стены.

Ему помогали чуть не все рыбаки аула. Особенно довольны были старики — им было приятно думать, что жизнь в потухшем было очаге Еламана снова затеплилась. Когда землянка обновилась, к Еламану приехали гости из трех аулов и после обеда торжественно ввели Еламана и Кенжекей в новый дом.

Калау не отдал Кенжекей постели и вообще ничего не отдал. Днем, пока в землянке было полно гостей, молодым было не до того, но вечером, когда гости разошлись, оставив их наедине, они увидели вдруг, что дом их пуст. Не на чем было положить даже детей. Еламан смущенно поглядывал на растерявшуюся Кенжекей и не знал, что делать. Но тут за дверью послышались веселые голоса, и в землянку гурьбой ввалились джигиты из рода Тлеу-Кабак во главе с Али. Они принесли с собой алаши и текеметы и с шутками начали стелить их на пол и развешивать по стенам. Унылый до этого дом мгновенно ожил и стал уютным.

После ухода гостей в доме повисла неловкая тишина. Трое малышей Тулеу забились в угол. Старший, рыжеватый мальчишка с рябинками по лицу, смотрел на Еламана с явной враждой. Он видел, что этот большой дядька стесняется его, по дому ходит неуверенно, отводит взгляд. Мальчишке было это приятно, и он нарочно хмурился. Но он растерялся и расстроился всерьез, когда увидел, что мать постелила себе с дядькой постель отдельно. К его ужасу дядька при горящем еще светильнике, белея нижней рубахой и подштанниками, полез в постель к матери.

Не легче было и Кенжекей в первую ночь. Когда нужно было

стелить детям, с которыми она раньше спала вместе, она не знала, куда деваться от стыда. Накрывая детей одеялом, она старалась не глядеть на старшего сына. На мужа, раздевавшегося возле супружеской постели, она и вовсе не смотрела. Погасив стоявший у порога подслеповатый светильник, она вышла во двор и долго не возвращалась.

Еламан тоже мучился и лежал в темной комнате с открытыми глазами. Женившись сгоряча, он теперь тревожно думал, что дети от трех матерей, наверное, не будут ладить. И трое старших будут обижать младшего его Ашима. Особенно опасался он рыжего мальчишки. Он даже поднял голову и посмотрел в тот угол, где под одним одеялом лежали дети. Ни один из малышей не шелохнулся с того момента, когда уложила их мать, но Еламан уверен был, что рыжий мальчишка с кошачьими глазами не спал, а затаил дух и слушал. Видно, и Кенжекей знала, что мальчишка не спит, и потому не решалась войти в дом.

Раздумывая о своей теперешней судьбе, Еламан вспомнил строчку из песни какого-то старого акына: «Дело сделал, будь что будет, пусть аллах благословит!» Он несколько раз, усмехаясь, повторил про себя эти слова и сам не заметил, как вдруг одолел его сон.

Проснулся он перед рассветом. Лишь под утро взошедшая луна лила тусклый свет в единственное окошко под потолком, и окошко будто купалось в молоке. От лунного света в землянке стояли сумерки, и видны были смутные очертания предметов. У двери вверх голенищами торчали солдатские сапоги. В конце постели, в ногах, темнел, взгромоздившись на саманную кладку, большой ушастый казан. Малыши спали сладким здоровым сном, разметавшись под одеялом. Даже рыжий мальчишка давно спал, высунув из-под одеяла голенастые ноги, и перхал во сне, как молодой барашек.

Едва открыв глаза, Еламан пошарил рядом с собой — Кенжекей не было. «Неужели так и не ложилась?» — подумал он. Но смятая подушка источала волнующий запах только что вставшей молодой женщины. Куда же она делась в такую рань? Еламан прислушался к шорохам за дверью. Снаружи доносились привычные звуки рано проснувшегося рыбачьего аула — сипло ругались спросонок бабы, гремели посудой, что-то кричали друг другу рыбаки...

Кенжекей пришла, когда уже проснулись дети. Она вскипятила на улице чай. Закопченный чайник в ее руках дышал паром.

— А ну, малыши, вставайте! А то мне скоро на работу.

Но, говоря это, она весело смотрела на Еламана. Он тут же понял, что, говоря с детьми, она обращается и к нему, и быстро оделся.

— Малыши готовы! — улыбаясь, сказал он. — Есть ли какая работенка малышам?

Скоро Еламан убедился, что Кенжекей относится ко всем детям одинаково. Добрая по природе, она даже больше возилась с сыниш-

кой соперницы, потому что тот был сирота, а в маленьком Ашиме она и вовсе души не чаяла. «Хорошо. Главное, чтобы детишкам было хорошо. Все остальное... Ну раз уж детям хорошо... Да что там говорить! Так ладно все получилось. Правильно сделал, что женился!» — засыпая, думал каждый вечер Еламан. Джигитов своих он распустил по домам, чтобы они простились и приготовились к предстоящей разлуке с семьями.

Днем Кенжекей работала. Уходила она спозаранку и возвращалась поздно. Пока ее не было, Еламан убирал в доме, вытряхивал половики и постели, готовил обед и ужин, топил печку. За несколько дней рядом с землянкой выросла целая гора топки. Все дети были чисты и в крепкой одежке. «Нет, правильно я все-таки сделал, что женился. Главное, чтобы детям было хорошо!» — как молитву благодарения повторял про себя Еламан.

Уж так принято было в этих краях, что народ к молодоженам валил со всех сторон. В рыбачьем же ауле Еламана особенно уважали, так что от гостей отбоя не было. Но чаще других Еламана проведывал Судр Ахмет. Чуть не каждое утро, едва продрав глаза, не одевшись как следует, он, хихикая, приходил к Еламану. И еще не переступив порога дома, начинал возносить до небес и самый дом, и обитателей его, и даже собаку, валяющуюся во дворе. Он болтал с пятого на десятое, перескакивая с одной новости на другую, то хмурился, то смеялся, и привычная аульная жизнь, аульные новости постепенно захватывали Еламана. Стоило Судр Ахмету где-то задержаться, как Еламан начинал уже скучать без него.

Вчера утром, когда Кенжекей ушла на работу, Еламан долго ждал Судр Ахмета и не вытерпел, вышел из землянки поглядеть и тотчас увидел Судырака верхом на его длинном, несуразном вороном. Громко, чтобы слышал весь аул, прощался Судр Ахмет с женой и детьми, не скупясь перед дальней дорогой на распоряжения по хозяйству. Заметив стоявшего у своей землянки Еламана, Судр Ахмет наскоро простился со своими, ударил пятками вороного и, горделиво восседая в седле, подъехал к нему.

— Ты что, никак в дорогу собрался, Аха?

— Еще как собрался! Не время, понимаешь, сейчас вылеживаться...

— Ну раз так, счастливого пути! А далеко ли?

— Аминь! Да будет так, как ты сказал, Еламанжан. А далеко? Сам знаешь, баба да детишки — сплошные убытки для мужика. Прямо беда! Вот когда нагрянут холода и голопузые детишки, как птенцы в гнезде, начнут разевать рты, ой, Еламанжан-ау, почтенный мужчина, кормилец-поилец, готов сквозь землю провалиться. Не-ет, хочешь жрать зимой, позаботься об этом еще с осени. Вот и отправляюсь я в путь, раздобыть бабе да детям пропитание...

Глядя вслед удалявшемуся на своем вороном озабоченному Судр Ахмету с разными мешками и узелками, привязанными к седлу, Еламан невольно улыбнулся. «Ну что тут скажешь,— думал он,—

у этого бедняги всегда благие намерения. Одно плохо — не тем концом они оборачиваются».

На другой день в условленный срок из многих окрестных аулов начали съезжаться джигиты по пять, по десять человек сразу. Еламан распределял их по домам знакомых рыбаков.

А сегодня после работы Кенжекей отправилась в гости к соседке. Уже вечерело, а Кенжекей все не было. Малыши играли на улице, и рыжий мальчишка, как всегда, командовал несмышлеными братишками.

Сидя в одиночестве, Еламан вдруг посмотрел на супружескую постель и улыбнулся, вспомнив, как уснул на ней один в первую ночь женитьбы. Кенжекей так и не осмелилась лечь с ним, когда старший ее сын еще не спал. Нет, женщины все-таки стыдливее мужчин!

Вспомнил Еламан и ту далекую уже ночь, когда Акбала в этом же углу стелила их первую брачную постель. А вспомнив, он даже руку к груди приложил, чтобы унять сердцебиение. Оставшись наедине с юной красавицей, Еламан боялся взглянуть на нее хоть краем глаза, но замечал каждое ее движение. На вдвое сложенной кошме Акбала постелила сначала толстое корпе. Потом принялась за изголовье — под большую пуховую подушку положила старую одежду Еламана. Из тюка, торчмя стоявшего возле стенки, она вытащила красное сатиновое одеяло и, все так же неслышно двигаясь, расстелила его в ногах постели. Еламану казалось, что он упадет, если пошевелится. Во рту у него было сухо. Если бы Акбала спросила его тогда о чем-нибудь, он не смог бы ответить.

По-прежнему не глядя на мужа, Акбала накинула на голову чапан и, мягко ступая сафьяновыми сапожками, вышла из землянки. Она не возвращалась целую вечность, и Еламану стало не по себе. Он подошел к двери, но выйти не посмел, а только думал с мольбой: «Господи, куда она делась, почему ее все нет?»

Услышав шорох за дверью, он отскочил. Дверь, на которую он глядел со страхом и радостью, отворилась, и вошла Акбала. Она побледнела, тонкий носик ее заострился, весь вид ее выражал покорность судьбе. Волоча по полу подол свисавшего с плеч чапана, она добрела до постели и сбросила его. Потом, отвернувшись, стала медленно стягивать с себя одну за другой все одежки. Раздевшись, она дунула на светильник и легла, оставив Еламану место у стенки...

— Ай, Акбала-ай!— застонал Еламан, и дом теперешний показался ему сразу пустым и убогим.

— А вот и мы! Задержались, да?

У порога стояла Кенжекей и спускала со спины сонного Ашима.

— Соседка не пускала... Чаем нас угощала, а потом Ашимжан уснул.

— Что ж, хорошо погостили, значит.

— Чай приготовить?

— Не надо.
— Что это ты кислый?
— Так...

И Кенжекей ни о чем больше не спросила мужа. Она только удивилась, что он отводил глаза и смущался.

Посидев немного, поглядев, как хозяйничает Кенжекей, Еламан вышел вон. Он никогда не думал, что Акбала будет так мучить его. Он и раньше понимал, что ничуть не охладел к той, с кем так не задалась его жизнь. Но он никогда не предполагал, что его бывшая жена, как змея, навечно свила гнездо в его сердце. Змею можно раскромсать на сорок частей, и все равно куски ее будут шевелиться. Точно так же и в его груди шевелилось и болело какое-то, как ему казалось, пестро-полосатое существо.

«Нет, надо все забыть»,— думал Еламан. Если он намерен создать новую семью, он должен забыть прошлое. Но забыть ему было не дано. Что-нибудь совсем даже незначительное вдруг выводило его из себя, и опять все начиналось сначала, и решительно все на его родине — небо, земля, море, каждая тропинка — неотвязчиво напоминало ему Акбалу. Даже когда он стоял перед своей землянкой и смотрел на горбящийся вдали Бел-Аран, перед его взглядом вдруг возникла далекая теперь Акбала.

Жить в своем доме стало для него мукой. Он думал, что убрать, выкинуть все, что могло напомнить Акбалу, не оставив ни единого ее следа, значит, найти успокоение. Но неслышная ее тень преследовала его неотступно. Вот тут была их постель! Вон там стояла печка, разделявшая комнату пополам. Вместо теперешней новой двери была другая — выцветшая под солнцем и дождями, старая, рассохшаяся. Она громко скрипела каждый раз, когда кто-нибудь входил или выходил, и они с Акбалой прозвали свою дверь «плаксой». И впервые в жизни вошла Акбала в дом через ту дверь! Как радовались, как шумели и пели рыбаки, собравшиеся взглянуть на невесту Еламана. А радовались они потому, что невеста Еламана была красива. Ни на кого не глядя, вошла она в ту низенькую дверь, и Еламан даже испугался, что невеста его ударится головой о косяк. Скрип этой двери сопровождал потом всю их недолгую совместную жизнь. Часто скрип этот раздражал Еламана, и он думал тогда: «Ну погоди, я тебя, плаксу, мигом вышвырну — пусть только потеплеет!» А теперь он вспоминал о той двери с умилением.

«Что было, то прошло, надо все забыть»,— говорил себе Еламан. Но легко сказать — забыть! В глубине души он знал, что ничего не забудет. Мало того, еще полбеды было бы, если бы он вспоминал о ней наедине, но она приходила к нему теперь уже и тогда, когда он говорил с новой женой и детьми, и тогда даже, когда он лежал ночью рядом с Кенжекей. И у него было такое чувство, будто он с грязными ногами забрался в чистую постель.

Сначала Кенжекей тревожили подавленность и отрешенность му-

жа, и она вдруг спрашивала его, не заболел ли он. Потом она стала думать, что он потому так печален, что женился на ней, что она ему плохая жена. «Может быть, я что-нибудь не так делаю? Делаю то, что он не любит?»— размышляла она. Но потом притерпелась, привыкла и перестала замечать вечно сдвинутые брови Еламана.

XIII

В Челкар Еламан с сотней джигитов, собранных по всем аулам прибрежья, вернулся только через месяц. Под каждым джигитом был хороший конь. За то время, пока они были вместе, джигиты успели узнать друг друга и подружиться — приятельские разговоры, шутки и смех не смолкали в отряде. Но, въехав в город, джигиты оробели и замолчали.

Когда они подъезжали к магазину Темирке с ярко-зеленой крышей, наперерез им протопал вооруженный отряд человек в двести. Отряд спешил к железнодорожной станции. Бойцы шли так быстро, что сбивались с ноги и не держали строя. «Так это же Мюльгаузен!»— узнал вдруг Еламан знакомую плотную фигуру. Мюльгаузен то и дело оборачивался к отряду и покрикивал:

— Быстрее! Быстрее!..

Еламан со своими джигитами остановился возле штаба и только вошел во двор, как навстречу ему, надевая на ходу шинель, сбежал с крыльца Дьяков:

— Еламан! Дружище! Ну как дела? Как съездил?

— Задержался вот...

— Ничего! Главное, с чем приехал?

— Около сотни...

— Ну молодец! Спасибо! А у нас, брат, такая запарка идет... Слыхал, может, что чехи выкинули?

— Кто? Чехи?.. Не понимаю...

— Так ты еще ничего не знаешь? Ну ладно, потом расскажу.

— Товарищ комиссар...

— Потом, потом поговорим, сейчас не могу...— И Дьяков, застегивая на ходу шинель, побежал к воротам.

Долго стоял Еламан, пытаясь сообразить, что значили слова комиссара. Что это еще за чехи? И что они выкинули?

Джигиты терпеливо ждали за воротами. До сумерек оставалось не так далеко, а надо было напоить и накормить коней и разместить усталых всадников. Еламан пошел в штаб. Едва поднялся он на второй этаж, как ему встретился писарь. Еламан обрадовался, увидев знакомого, и приступил к нему с расспросами. Поминутно оглядываясь почему-то, писарь, как умел, стал объяснять ситуацию.

Оказалось, что чехословацкий корпус, следовавший по Сибирской железной дороге во Владивосток, чтобы оттуда перебраться на родину, поднял по пути мятеж. Чехи один за другим захватывали сибирские города, повсюду свергая Советскую власть. Для ре-

волюции возникла новая опасность — самый большой фронт открылся в Сибири.

Туркестанская армия была реорганизована. Пополнившиеся рабочие отряды были превращены в регулярные воинские части — полки и батальоны. Отряд челкарских железнодорожников преобразовали в Коммунистический полк. Мюльгаузен стал командиром спешно созданного нового отряда — более двухсот человек. Отряд этот только что ушел на станцию, чтобы выехать на фронт. Он также узнал, что Дьяков проводит там митинг перед отправкой бойцов на фронт.

Еламан вскочил на коня и поскакал на станцию. Но он опоздал. Поезд с добровольцами уже ушел, а Дьяков с Селивановым отправились в депо. Привязав коня к тополю возле станции, Еламан поспешил в депо, на ходу поглядывая в сторону столовой. Но Акбалы не было видно, вместо нее возле кухни хлопотала дородная женщина — издали было не узнать, кто это. «Наверно, Сары-апа?»— подумал Еламан.

По всеобщей мобилизации в армию ушли почти все рабочие. Теперь в депо работали женщины и подростки. Окружив Дьякова и Селиванова, женщины-солдатки кричали, что больше так жить не могут. Зима была на носу, вот-вот начнутся морозы, а топлива нет, продовольствия нет, на работе выматываются с утра до вечера, а дома некому смотреть за малыми детьми...

Селиванов вскочил на какой-то ящик, резко откинул назад свои длинные волосы, и глаза его восторженно заблестели, как у мальчика, приготовившегося продекламировать свой первый стишок.

— Дорогие женщины! Республика в опасности! Трудности, которые мы все переживаем, во время революции неизбежны... Без жертв революции не бывает. Надо нам всем быть стойкими и терпеливыми...

По своему обыкновению он начал взмахивать рукой, и из рукава поминутно выглядывало тонкое запястье. Дьяков незаметно толкнул Селиванова и тихонько попросил:

— Зачем ты об этом? Не надо.

— Да, но надо же им объяснить...

— Они не меньше вашего все понимают.

— Но, Петр Яковлевич... А вы что предлагаете?

— Наша задача сейчас оказать женщинам хоть какую-то помощь. Хотя бы топливо...

— Где мы его возьмем?

С тех пор как белоказаки взорвали шахту Берчогур, в городе не стало угля. Незначительные запасы угля, поставив охрану, взяли под свой контроль военные. Уголь отпускался только для паровозов и в котельную депо. Дьяков прекрасно знал об этом, но все-таки вполголоса предложил поделиться углем с женщинами-работницами. Селиванов нахмурился. Наступила неловкая пауза. Дьяков заметил вдруг в толпе Еламана и протолкался к нему.

— Ко мне?

— Я насчет джигитов...

Дьяков начеркал что-то на клочке бумаги. Еламан не умел читать, но ему не понравилось, что Дьяков так небрежно накорябал что-то, да и слов на бумажке было подозрительно мало. Решив, что к нему и к его джигитам плохо относятся, он обиделся на комиссара и нехотя взял бумажку.

После напряженного раздумья Дьяков все-таки решил на свою ответственность выдать женщинам уголь. Как ни драгоценно было топливо в эти дни, одна женщина неожиданно отказалась от угля. На удивленный взгляд Дьякова она поторопилась ответить, что ее семья уже несколько лет дружит с одним казахом из ближнего аула. После гибели ее мужа на войне казах каждую зиму стал возить ей дрова. Женщина даже похвалилась, что саксаул и тузген прекрасно горят.

«Интересно! Может, в этом и есть выход из положения?— подумал тут же Дьяков, вспомнив, что не раз видел на улицах казахов с верблюдами, груженными топливом.— Да, да... Обязательно нужно поговорить с Еламаном. Пошлем в окрестные аулы людей... Надо обеспечить дровами хотя бы те семьи, в которых есть дети и больные, а также семьи бойцов. А что, взаимопомощь должна сближать русских и казахов!»

Дьяков с трудом досидел до конца собрания. Он бы и ушел, но видел, как измучены женщины в замасленных телогрейках. И теперь они радовались, что хоть могут рассказать о своих бедах и встретить в ответ сочувствующий взгляд, услышать слова утешения и надежды.

«Хоть бы не упасть!»— испуганно подумал Дьяков, выходя на воздух и незаметно для других держась за локоть Селиванова.

Было уже поздно, темнота давно окутала город. Реденькие, жидкие тучи к ночи сбились в плотные облака, заволокли все небо, и ни единой звезды не мерцало над головой.

— Ты на меня не обиделся?— отдышавшись, спросил Дьяков.

— За что?

— Сам знаешь... Не послушал тебя, дал работницам угля.

— Да нет, знаете. Вот с Мюльгаузеном у нас бывали схватки так схватки!

— Да, этот рубит сплеча. Может, это и хорошо... Но я не умею так, как он, все боюсь обидеть кого-нибудь напрасно. И потому, кажется, становлюсь каким-то мнительным. Однако будь здоров... Пошел в полк.

— Нет, я вас не отпущу. Знаете, зайдемте-ка ко мне!

— Ты что, серьезно приглашаешь?

— Конечно! Чаем вас напою, поесть что-нибудь найдется...

— Ну раз так, тогда пошли!— обрадовался Дьяков.

Сон, наваливавшийся уже на него, вдруг прошел. Дьяков взял Селиванова под руку.

— А я, брат, откровенно признаться, целую вечность в гостях не был. Больше десяти лет. Э, да что там! Я ведь, можно сказать, и не знал никогда, что такое домашний уют!

Дьяков улыбнулся в темноте, и голос его дрогнул от радости. А Селиванов смутился и начал припоминать, что было из съестного у него дома, чем бы угостить Дьякова. Было, правда, немного муки. Стряпней дома он не занимался, вот и осталась мука с давних пор. Еще где-то в кулечке была соль... Кажется, есть еще половина селедки. Гм!..

В нетопленой, промозглой комнате было могильно темно. Шаря перед собой руками, Селиванов вошел первым. Ища спички, он зацепил ногой ведро, отпрянул назад и налетел на скамейку. Дьяков весело захохотал.

— Ну и ну! Вот это называется пригласил в гости!

Рассмеялся и Селиванов. Как слепой, он стал двигаться по комнате мелкими шагами, боясь свалить еще что-нибудь. Нашарив наконец спички, он зажег лампу.

Дьяков огляделся и присел на скамейку.

— Вы, Петр Яковлевич, особенно не рассаживайтесь. В этом доме, знаете ли, нужно сначала руками пошевелить, а потом уже...

— Догадываюсь!— засмеялся Дьяков.

— Так вот, вы затопите печку, а я займусь уборкой.

Посмеиваясь, подшучивая друг над другом, они убрали комнату, затопили печку и вскипятили чай. Закусив кое-как и напившись горячего чая, Дьяков почувствовал, как опять у него отяжелели веки. Ничего ему не хотелось, только бы уснуть, хоть и за столом... Вспомнился вдруг Еламан со своими джигитами — устроились ли как должно? Он не заметил, как придвинул стул и сел рядом Селиванов. Не почувствовал он и долгого сожалеющего взгляда хозяина. Худое тело его согнулось на стуле. Он сидел забывшись, склонив голову на грудь, хоть краем сознания и знал, что пора ему возвращаться в полк.

— Петр Яковлевич, ложитесь-ка в постель,— тронул его за плечо Селиванов.

— Нет, нет...— встрепенулся Дьяков.— Спасибо. Сейчас пойду.

— Поздно уже, куда вам идти?

— Ничего...— прикрывая ладонью рот, Дьяков длинно зевнул и встряхнул отяжелевшей головой. В глаза ему будто песок попал, свет лампы слепил, и Дьяков прикрылся рукой.

— Петр Яковлевич...

— Да?

— Наверное, досталось вам в жизни, а?

— Гм... Нет ли у тебя курить?

— Вам же нельзя?

— Хотя да... конечно. Который час?

— Начало второго.
— Пойду.
— Проводить вас?
— Что ты, что ты... Зачем?— Дьяков отвернулся и опять зевнул. Потом пошарил воспаленными глазами по комнате.— А где моя...
— Шинель?
— Куда я ее сунул?
— Да вот у меня в руках, одевайтесь.
Дьяков надел шинель, затянул ремень, поправил тяжелую кобуру. Вспомнив вопрос Селиванова, досталось ли ему в жизни, он вдруг усмехнулся и сказал нараспев:
— Знаешь, «...ему судьба готовила век краткий, имя славное, чахотку и Сибирь...». Вот так-то, брат. Ну пока!
И, крепко пожав теплую, мягкую руку Селиванова, Дьяков вышел в ночную тьму.

XIV

Созвав командиров рот и батальонов, Дьяков приказал готовить бойцов к походу. Командиры молча переглянулись. Никто не спросил, куда они отправляются. С фронта шли одни тревожные известия, и все понимали, что положение ухудшается с каждым днем.

После упразднения Директории верховным правителем был назначен адмирал Колчак. Пользуясь поддержкой союзников, Колчак установил свою власть по всей Сибири и на Дальнем Востоке. Но если бы один Колчак! В этот тяжелейший для Советской власти час оживились повсюду самые разнообразные атаманы и байские националисты.

Сегодня утром Коммунистический полк получил секретную депешу из штаба Туркестанской армии о том, что кулаки закупили все зерно в долине Жем (более двух миллионов пудов!) и обрекли тем самым местное население и армию на голод. Если у кулаков срочно не отобрать зерно, народ и Туркестанская армия окажутся в безвыходном положении.

Дьякову было ясно, что кулаки скупили хлеб не по собственной инициативе, а по приказу атамана Дутова. После свержения царя и Временного правительства в смутное время нашлось немало желающих примерить на себя шапку Мономаха. Кто только не надеялся на слепую удачу, не мечтал стать за какую-нибудь ночь Юлием Цезарем! Редко в ком не сидит честолюбец. Наверное, даже ювелир, ковавший в свое время царскую корону, тайком примерял ее на себя.

Дьякову казалось, что свергнутый трон похож был на тонущий корабль. И как на тонущем корабле, забегали и заметались люди, цепляясь за уходящую из-под ног жизнь. Когда грянул час возмездия, вчерашние вершители судеб, благородные господа, генералы

без армий, офицеры без солдат, покатились, бросая все на свете, на юг, на запад и на восток — в Оренбург. Былое могущество, былая власть развеялись как дым. И люди, еще вчера столь влиятельные и властные, что могли покровительствовать десяткам таких атаманов, как Дутов, сегодня сами искали спасения под полами его широкого казачьего чапана.

Дутов был теперь в силе, судьба вознесла его высоко. Офицеры составляли костяк его войска, юнкера и кадеты были ему опорой. Основной же силой его были казаки Оренбурга, Уральска, Троицка. Многие казачьи полки после свержения царя сошлись к Оренбургу.

В этих краях казаки основались еще в 1755 году. Со времен генерал-губернатора Неплюева с помощью копья и шашки казачьи части покоряли местные кочевые народы. И полтора столетия грозные шашки их сверкали над головами рабочих Оренбурга, Уральска, Орска. Верой и правдой служили они царю, и не было случая, чтобы не кинулись они как цепные псы на непокорных.

Среди всевозможных генералов, таких, например, как Корнилов или Деникин, и каких-нибудь заурядных командиров дивизий Дутов был, несомненно, самым жестоким и осторожным. По сравнению с теми, кто выступал с надеждой восстановить монархию, а то и самому возглавить Россию, оренбургский атаман имел одно явное преимущество — он никогда не замахивался так широко и не корчил из себя всероссийского заступника и благодетеля. Он не именовал себя ни верховным правителем, ни премьер-министром, не называл подвластную ему территорию ни кумучем, ни республикой. Конечно, скромен он был не потому, что был лишен тщеславия или привык довольствоваться малым, а, скорее потому, что хорошо усвоил правило — по одежке протягивать ножки.

Он никогда не ввязывался в решительный бой, а действовал всегда наскоком — убивал, грабил, поджигал и тут же уводил свои отряды. Теперь он придумал еще лишить целый край хлеба и уговорил кулаков скупить весь урожай.

Едва получив депешу, Коммунистический полк спешно отправился в долину реки Жем. Прибыв на место, Дьяков разделил полк на несколько мелких отрядов и разослал их по всей округе. Беднейшее население активно поддерживало красные отряды, указывая укромные места, где был запрятан хлеб.

Уже через два дня в штаб Туркестанской армии было отправлено под усиленной охраной десять вагонов зерна. Слух о решительных действиях Коммунистического полка быстро дошел до казаков, и Дутов тотчас бросил большие силы к Жему. Узнав об этом, Дьяков решил все-таки доложить обстановку в штаб дивизии и просить помощи. Хан-Дауров обещал прислать на помощь отряд Жасанжана. С Жасанжаном Дьяков познакомиться еще не успел, но он вспомнил, как ненавидел его Мюльгаузен, называя не иначе как волчьим отродьем. «Ладно, приедет, познакомлюсь»,— решил Дьяков.

Он хотел поспать хотя бы до прибытия Ташкентского отряда. И поднялся было на ступеньку вагона, в котором располагался штаб полка, но почувствовал вдруг такую слабость, что едва удержался за поручень. Приступы такой слабости бывали с ним в Сибири, когда он не мог добраться иной раз до барака и вынужден был присаживаться на полдороге. Голова его так кружилась, что он думал с напряжением об одном только — как бы не упасть. На лбу у него выступил холодный пот. Но через минуту он овладел собой, сильно потер лицо, вздохнул несколько раз и вошел в вагон.

Поздно вечером вернулись разведчики и доложили, что у белых кругом скоплены большие силы. Кроме того, в аулах неспокойно — кулаки, у которых отобрали хлеб, видимо, тоже готовятся к выступлению. После короткого совещания в штабе решено было сосредоточить полк возле железной дороги.

Прибыл наконец отряд Жасанжана, но остановился на отшибе, словно не желая смешиваться с Коммунистическим полком. Дьяков тут же отправился знакомиться с Жасанжаном.

Дьяков знал, что Жасанжан, самый младший представитель байской семьи, получил русское образование, что старший брат его был волостным и в шестнадцатом году убит повстанцами. Другой его брат, молодой мурза, был самым богатым и влиятельным в большом роду. Года два назад Жасанжан поссорился с братом и окончательно порвал с ним. По рассказам Еламана, Жасанжан сочувствовал беднякам еще с ученических лет...

Жасанжан распорядился подать чай.

— Я слышал, в вашем полку есть казахи?— тонко улыбаясь, поинтересовался он.

— Да, отдельная рота.

— Командир ее — мой земляк. Мы с ним из одного аула.

— Да, да, он рассказывал.

— А рассказывал он вам, как служил у нас табунщиком?

— Нет, об этом он не говорил.

Жасанжан недоверчиво взглянул на Дьякова. Бледное лицо его вспыхнуло на минуту ярким румянцем и опять побледнело. Казалось, он заволновался, встал из-за стола, прошелся по вагону. Дьякову сразу бросилась в глаза какая-то особенность в Жасанжане, его непохожесть на других казахов. На юношески тонкой, невысокой его фигуре щегольски сидел военный френч. Большие черные глаза, спокойно и пытливо смотревшие на собеседника, тонкий красивый нос на худощавом длинном лице, красивое золотое кольцо на безымянном пальце — весь вид светлокожего джигита-красавца выдавал в нем отпрыска породистой степной аристократии. Кроме того, Дьяков поразился его безупречному русскому языку.

— Вам, естественно, неведома жизнь казахского аула. А вот мне всегда приходится краснеть перед представителями цивилизованного мира...— сказал Жасанжан.

Дьяков не знал, что и думать. «Такой молодой, нервный, впечатлительный. Это, наверное, последствия долгой изнурительной болезни. С легкими что-нибудь»,— решил наконец Дьяков. Он заговорил было о деле, предложил объединиться и действовать сообща, но Жасанжан отвечал уклончиво. Дьяков продолжал настаивать, доказывая необходимость совместных действий, но Жасанжан на все предложения отвечал неопределенно: «Посмотрим».

Расстался с ним Дьяков холодно. Жасанжан оставил в нем двойственное впечатление, и опять вспомнился ему Мюльгаузен с его ненавистью ко всему офицерскому и байскому. Одно только было утешением, что количество красных бойцов удвоилось. Вместе ли с Коммунистическим полком, отдельно ли, но Ташкентский отряд вступит в бой.

Давно стемнело. Уставшие бойцы спали с оружием в руках. Дьяков удвоил охрану.

Кроме часовых, никого возле вагонов не было. Жители затерявшегося в степи разъезда, поужинав еще засветло, притихли, притаились в ненадежных своих жилищах. Вагоны в темноте напоминали больших зверей. Как ни вглядывался Дьяков в ночную мглу, но эшелона с Ташкентским отрядом, остановившегося в отдалении, так и не мог различить. Он опять стал думать о Жасанжане и снова подивился про себя нервозности и впечатлительности молодого командира. Он даже пожалел его, хоть и не мог бы сказать, чем вызвана эта жалость. Поразил его и Еламан, который при встрече с Жасанжаном стал вдруг замкнут и сдержан, тогда как за глаза очень тепло отзывался о молодом джигите. Всего несколько сухих слов сказали они друг другу, словно не о чем было и поговорить землякам при встрече. Отчего бы это? Да, тонкая это вещь — человеческие отношения.

Дьяков порадовался, что ему удалось хорошо поспать. Зорко всматриваясь в темноту, он продолжал свой обход. Молодец всетаки Мюльгаузен, дисциплину в полку создать успел хорошую. Отряды знали свое место в эшелоне и располагались каждый по своим вагонам. Все давно спали, из каждого вагона доносился храп. Только в головном вагоне длинного состава слышались голоса тихо разговаривающих бойцов. Дьяков остановился, заглянул внутрь, ничего не увидел. Но по голосам он сразу догадался, что здесь казахи.

— Почему не спите?

— А-а, комиссар! Лезь к нам.

Казахи не курили, и потому Дьяков последнее время чаще всего ночевал у них. Джигиты подвинулись, и он, ощупью пробравшись между ними, сел возле Еламана.

— Что слышно о белых?— спросил Еламан.

— Подтягиваются. Но мы удвоили охрану. Так что джигиты твои пусть пока спят. А нам с тобой все равно не спать.

Дьяков помолчал, потом спросил:

— Послушай, Еламан... А кто эта молодая такая, красивая женщина у нас в железнодорожной столовой?

— А что?— подозрительно отозвался Еламан.

— Да ничего, так просто...

— Бывшая моя жена.

Дьякову стало неловко, а Еламан вдруг оживился и шевельнулся, поворачиваясь к Дьякову.

— Был у меня земляк один такой... Судр Ахмет его звали. Пропал, бедняга, никаких следов.

— То есть как пропал, где?

— А он по аулам любил шляться. Еще при мне отправился искать себе пропитание на зиму. Оседлал своего коня и подался к Челкару. На пятый день, говорят, конь его вернулся в аул под седлом, и узда на нем, и даже полосатый курджун к седлу приторочен!

— Ну это бывает. Просто, наверное, конь ушел.

— Нет, в живых его больше нет. Говорят, всем аулом искали, всю дорогу до Челкара проехали, все овраги и ложбины обшарили — не нашли! Надо же, какая судьба! Даже нормальной смертью не помер...

— Ну, брат, смерть, она и есть смерть. Нормальной смерти нет, как бы ни помирать, все равно плохо.

В вагоне было черно, людей не было видно, только храп доносился из углов. А в степи, должно быть, поднялся ветер. Дьяков настороженно прислушивался ко всем звукам снаружи. Как-то стало неспокойно на душе, он шевельнулся и тихо встал в темноте, чтобы опять пройтись вдоль эшелона, но Еламан вдруг взял его руку:

— Куда вы?

Дьяков почувствовал, как горит ладонь Еламана, и тут же вспомнил, что со вчерашнего дня был он как-то особенно хмур. Примерившись в темноте, он пощупал лоб Еламана.

— Ты что, захворал?

— Да что-то... все тело ломает. Простудился, что ли...

— Ты весь горячий, у тебя жар!

— Ничего, потерплю.

— А ты лежи. Ты поспи лучше, потеплее укройся и поспи.

Осторожно ступая между спящими бойцами, Дьяков выбрался из вагона. Поднял воротник шинели, поежился. Дул, посвистывал холодный ветер из степи. Внимательно оглядевшись и прислушавшись, Дьяков не увидел и не услышал ни одной живой души. Он пошел вдоль состава. Никто ему не встречался, даже часовых не было видно. «Что это значит?»— встревожился Дьяков и прибавил шагу. Он весь похолодел. Разбудил одного бойца и тут же послал его к Жасанжану, боец быстро вернулся и доложил, что Ташкентского отряда нет на месте, их состав куда-то исчез.

Дьяков поднял всех командиров и для выяснения обстановки послал по нескольким направлениям разведку, еще раз приказал

усилить охрану и быть готовыми к любым неожиданностям. Он еще отдавал последние распоряжения, как вдруг невдалеке ударили выстрелы.

— Кто стрелял? Может, разведчики?— раздались встревоженные голоса.

Началась ночная суматоха, все зашевелились, побежали в разные концы состава. Со всех сторон послышались окрики и приказы, защелкали винтовочные затворы, громко топотали кованые сапоги. Паровоз впереди, мирно сопевший до сих пор, вдруг ожил, жарко задышал горячим паром. Из темноты вынырнул боец.

— Где комиссар?— крикнул он, запыхавшись.— Белые! Скорей!

Он не договорил и упал. Дьяков кинулся к нему, зачем-то приподнял голову. Пальцы его коснулись теплого и липкого. Дьяков полез убитому за пазуху, чтобы взять документы, но и там было липко и горячо, и Дьяков выдернул и стал вытирать о шинель руку.

Опустив на землю тело бойца, стал оглядываться, думая, кого бы подозвать и что делать, как бы распорядиться получше. Услышав, что несколько человек бежит по насыпи в его сторону, он вгляделся в темноту. Он понимал, зачем люди спешат к нему,— им нужна была команда, приказ. И все тот же вопрос бился в нем: что делать? Что делать? Он вспомнил Сибирь. Позднее его туда же был выслан Фрунзе. Вскоре Фрунзе создал из политических ссыльных кружок, в котором изучали военное искусство. Ссыльные между собой называли этот кружок «подпольной военной академией Фрунзе».

Подбежало четверо. Среди них Дьяков сразу выделил Ознобина.

— Комиссар, что будем делать?

— А вы что предлагаете?

— Нужно уходить. У них перевес в силе!

— Да,— согласился комиссар.— Будем уходить.

Тотчас кто-то из четверых побежал к паровозу. Остальные вскочили на подножки вагонов. Эшелон медленно, с натугой тронулся. И в ту же минуту со всех сторон залаяли винтовки, пули с треском отдирали щепу от вагонов. С багровыми вспышками рвались гранаты. За последними вагонами скакали казаки, из вагонов отстреливались.

Поезд набирал скорость. Но еще долго по обе стороны железнодорожного полотна мчались за составом казаки, крича и беспорядочно стреляя вдогонку из винтовок.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Уже светало, когда проснулся Танирберген. Богато убранная просторная комната была еще погружена в бледные, зыбкие сумерки утра, но уже смутно проступали очертания одежд на адалбакане и орнаментальные узоры на кошмах и паласах, расстеленных от самых дверей до красного угла. В правом углу до самого потолка были уложены ковры и атласные одеяла, а рядом на полу лежало синелукое седло, отделанное серебром. Танирберген вяло повел глазами по привычному убранству комнаты и только при виде седла подумал: «А ведь целый век не сидел на коне!» — и удивился, как мог он всю зиму проваляться дома.

Никогда еще не изнуряли его так бесконечные горькие мысли. С тех пор как прошлой осенью в прибрежные аулы приехал Еламан собирать джигитов для Красной Армии, мурза лишился покоя. Господи, как досадовал он потом на себя, что с такой не присущей ему покорностью отдал то, что захотел взять у него вчерашний его табунщик! Тот самый табунщик, который, бывало, зимой и летом пас байских коней и не смел даже требовать плату! А теперь, живя рядом, в рыбачьем ауле, не сам даже, а через гонца требует дать коней новобранцам! Правда, сегодня они еще просят, чтобы ты дал сам, как бы по своей воле, а завтра уже без спросу ворвутся в твои кошары и угонят столько скота, сколько им захочется. И что ты им сделаешь? Какому бию, какому правителю пожалуешься?

Вскоре после отъезда Еламана, не вытерпев, Танирберген отправился в Челкар, чтобы разузнать последние новости. Раньше перед ним широко распахивались двери богатых домов, будь то дом судьи или дом уездного начальника. Теперь же ни в один из этих домов он не посмел зайти. В просторных комнатах знакомых ему домов сидели теперь враждебные, чуждые ему люди в кожанках, увешанные оружием. Заехал он было к Темирке, чтобы хоть у него что-то разузнать и отвести душу, но у татарского купца от тревог запали щеки, а маленькие глазенки совсем спрятались, как мыши в норку. Едва увидев Танирбергена, Темирке сразу сморщился, будто хватил кислого, и, не давая мурзе рта раскрыть, замахал руками, заскулил:

— И-и-и, алла... Не спрашивай, ни о чем не спрашивай. Дурные настали времена, ой дурные, дурные! Последние дни доживаем...

Подавленным вернулся тогда в аул молодой мурза. С тех пор

его и охватило уныние. Все ему стало безразлично и никого не хотелось видеть. Когда к нему заглядывал кто-нибудь из близких, он и тогда сидел, опустив глаза, поеживаясь, будто прохватывало его холодным ветром. А обычных многочисленных гостей, как всегда осаждавших байский аул, он совсем не принимал. Двери его дома открывались только для редких, особенно почетных гостей. Всех остальных он отправлял к брату — софы, а сам коротал дни с байбише. Холеное лицо его было по-прежнему непроницаемо, но тревога в душе усиливалась, как неизлечимая болезнь.

Вспомнив всю эту зиму, проведенную у очага рядом с бабами и детьми, вспомнив все сильнее одолевавшую его мелочность и раздражительность, Танирберген вздохнул и заворочался на постели.

— Мурза, ты не спишь?— шепнула байбише.

Танирберген промолчал. Смуглая его байбише полежала еще, потом протянула руку и стала гладить ему плечо.

— Ну-ка повернись...— опять шепнула она и часто задышала.

Танирберген почувствовал нетерпеливую дрожь горячей руки, поморщился и высвободился резким движением. «Вот ненасытная... Вечно ей мало!»— с отвращением подумал он.

Байбише обиженно замерла. Осторожно скрипнула дверь, вошла служанка, на цыпочках подошла к кровати и взяла стоявшие у изголовья сапоги мурзы. Протерев и почистив их в прихожей, она поставила сапоги на прежнее место и, отступая задом, так же тихо вышла.

Танирберген хмыкнул, повернулся было лицом к очагу, но увидел лежавшую рядом обиженную байбише, отпихнул со злостью стеганое шелковое одеяло и встал. Потянувшись, он выглянул в окно. Солнце еще не взошло, и небо в тучах, пасмурное. Мурза натянул до блеска начищенные сапоги, накинул на плечи чапан и вышел. После теплой постели ему стало зябко от утренней свежести, и он запахнул чапан. Скотина байского аула тянулась на пастбище. В некоторых домах еще не проснулись, окна были задернуты занавесками. Во дворе было безлюдно, только служанки носили в дом дрова и воду, выносили золу и хлопотали по хозяйству. «Неужели весь народ с ума свихнулся?— подумал мурза.— Ну хорошо, допустим, все добьются свободы и равенства. Холуи станут ханами, а бабы их ханшами... Интересно, кто тогда будет топить печь, выносить золу, чистить сапоги, пасти скотину? Я, что ли? Или моя байбише?» Мурза опять злобно хмыкнул, в глазах его загорелась ярость. Презрительно огляделся он вокруг.

Аул его расположился на холме с тихой, подветренной стороны богатых разнотравьем барханов Ак-баура. Перед самым аулом возвышался бурый увал. Поднимавшееся из-за горизонта солнце прежде всего осветило вершину увала, подернутого первой весенней травкой. На северном склоне увала еще белел снег.

Скотина вся ушла на выпас, а в ауле снова воцарилась тишина. Мурза прошел мимо нового дома, построенного его братом, софы,

для своей молодой токал. Дверь была закрыта, окна занавешены. Громадные пестрые псы-аламойнаки лежали у двери. Они провожали мурзу кровавыми, лютыми глазами, но не зарычали. Рыжая верблюдица утробно постанывала в углу просторного хлева, тоскуя по своему верблюжонку. Неокрепшего верблюжонка только днем оставляли с матерью, а на ночь верблюжатник брал его к себе в дом.

Танирберген взошел на увал, освещенный солнцем, и увидел, как с другой стороны к увалу подъезжали два всадника. В ауле никого не ждали. «Кто бы это мог быть?» — подумал мурза, разглядывая верховых, в такую рань пустившихся в путь. «О бог ты мой!» — чуть не сказал он вслух от досады, узнав писаря покойного его брата, волостного, по прозвищу Коротышка. Коротышка глядел, глядел и тоже узнал мурзу. Он тут же спешился, отряхнул и подтянул штаны. Соскочил с коня и его товарищ. Ведя коней в поводу, они начали пешком подниматься по склону увала. Подчеркнутая учтивость джигитов пришлась мурзе по нраву, и он встретил путников благосклонно. А те, перебивая друг друга, уже здоровались хором и протягивали к мурзе руки.

— Счастливый ли был путь, джигиты?

— Аминь, Танир-ага! По важному делу едем. Всю ночь с коней не слезали.

— Какое же такое у вас важное дело, если не секрет? Добрые ли новости?

— Добрые, Танир-ага, добрые. Бог смилостивился. Наступил и наш день.

— Гм... Наступил?

— Наступил, Танир-ага, наступил!

— Вот это новость! А я уж, признаться, думал, что наш день совсем закатился...

— Бог с тобой, Танир-ага. Радуйся — в Актюбинск вступила белая армия!

— Это какие же такие белые? Не атаман ли Дутов? Так ведь он как трусливый пес, лающий из-за угла.. Он как вступил, так и выступит...

— Нет, нет! Это совсем другое, это армия самого адмирала Колчака. Ужас, сколько их. Теперь вся Сибирь в их руках. Теперь вот они Уральские горы перешли и прут дальше. Бог даст, этим летом еще захватят Москву и очистят Россию.

Коротышка тоже захлебывался от удовольствия, а Танирберген уже посматривал на него с неодобрением. О Колчаке он был давно наслышан. Разные прохожие и проезжие рассказывали о непобедимости Колчака. Но так как об этом долдонили все кому не лень, а красные все еще удерживали Туркестанский фронт, мурза уже не придавал слухам никакого значения. Слухи эти, на его взгляд, перематывались из аула в аул, как многоаршинные портянки.

— Ты что, с чужих слов говоришь или сам видел?— строго спросил мурза, холодно уставившись на Коротышку.

Густомясое лицо Коротышки побагровело.

— Правду говорю, Танир-ага! Собственными глазами видел я вступившие в Актюбинск белые войска. Почтенные люди того края большими дарами встречают войско. А во главе войска генерал Чернов!

— Что ты говоришь!

— Это еще что. Говорят, белый царь жив.

— Это я тоже слышал.

— Когда Колчак захватил Екатеринбург, он, говорят, собственноручно освободил царя.

— Вот это радость! Мед тебе в уста!

— Потом еще, Танир-ага...

— Довольно, довольно, об остальном потом расскажешь. А сначала дай хоть эту весть переварить,— рассмеялся Танирберген, сразу оживился, подобрел и пригласил добрых вестников в дом.

Мигом зарезали ярку. Гости едва успели помыть руки и расположиться на мягких коврах, как шустрые бабы, все понимавшие с одного взгляда, уже заварили чай. За чаем Танирберген молчал, и лицо его приняло прежнее грустно-задумчивое выражение. Зато он собственноручно подносил гостям пиалы с терпким чаем.

— Пейте, дорогие гости, пейте.

Когда после чая убрали дастархан, мурза повернулся к Коротышке. Тот развалился было на подушке, но, заметив, что мурза хочет говорить, сразу же сел.

— Ты говорил, большими дарами встречают освободителей?— как о чем-то малозначащем, спросил Танирберген.

— О! О да! Большими дарами.

— Кто именно встречает?

— Самые знатные и почтенные люди из Жема, Яика, Иргиза и Тургая. Они все собрались теперь в Актюбинск, чтобы приветствовать освободителей, вступивших на казахскую землю.

— Как же они приветствуют? Только на словах или чем-нибудь посущественней?

— Помогают кто чем может.

— А именно?

— Ну, такие, как вы, Танир-ага, косяками пригоняют лошадей. А татарские и русские купцы деньгами пособляют...

— Э, наконец-то за ум взялись,— усмехнулся Танирберген и опять задумался.

Подали мясо, и все в молчании занялись едой. Потом уставшим с дороги гостям постелили постель...

...На другой день, проснувшись, Танирберген отправил нарочного в ближайшие аулы за родственниками и близкими. Едва съехались родственники, как мурза, никому ничего не объясняя, приказал складывать юрты, чтобы кочевать на джайляу. День хмурился, по

небу шли кудлатые тучи, но байский аул тут же собрался и тронулся длинным кочевьем в путь. Танирберген вызвал к себе двух надежных джигитов и в строгой тайне, так, что не узнала ни одна живая душа, отправил их в Актюбинск. Он дал им крепких, откормленных за зиму коней. Для смены джигиты взяли еще по коню. Незаметно проводив их поздним вечером, мурза напоследок сказал:

— Коней не жалейте. Для загнанных коней у вас есть смена. Сдается мне, что этот Коротышка заливает. А вы разузнайте, что в его словах правда, что вранье.

Коротышка об этом ничего не знал. Беспечно разгуливал он по аулам на летовке. Хотя, рассказывая мурзе новости, он ни словом не обмолвился о главной цели своего приезда в эти края, однако мурзе скоро обо всем донесли.

Собрав в одном из аулов богатых баев, Коротышка рассказал им не только о том, что армия генерала Чернова вступила на казахскую землю, но говорил еще, что настало время и пробил час для всех истинных мусульман подняться на борьбу с иноверцами и что для борьбы с советской властью партия Алаш-орда спешно объединяет славных джигитов. Войско Алаша, говорил он, единокровные братья-мусульмане, собравшись под зеленым знаменем пророка, объявляет презренным иноверцам священную войну — газават, чтобы отомстить за растоптанную землю, за поруганную веру и униженную честь. Для этого нужны храбрые джигиты, кони, оружие, одежда и деньги.

Всевозможные баи, бии и аткаминеры, которые вечно грызлись между собой, на этот раз сочувственно внимали словам Коротышки и были, как никогда, единодушны. Они с готовностью жертвовали ему не только отары овец, но и косяки лошадей, стада крупного скота. Немало было собрано и денег.

Узнав об этом, Танирберген только усмехнулся в усы. Ему ясно стало, что далеко не все пожертвования попадут Алаш-орде, многое осядет в карманах Коротышки.

Нарочные, посланные в Актюбинск, вернулись недели через две. Танирберген принял их и говорил с ними наедине. Слух о том, что войска Колчака захватили Актюбинск, оказался ложным. Но зато большая армия под командованием генерала Чернова, захватив Орск, действительно двинулась на казахские степи.

В тот же день к вечеру приехал к Танирбергену и Коротышка. Мурза встретил его холодно, и ужин в честь гостя прошел натянуто. На другой день мурза встал раньше обычного, плотно позавтракал и вышел из юрты. Вызвал к себе слугу-джигита. Тот поскакал в степь и час спустя пригнал сотню отборных коней. Согнав коней в косяк за аулом, он остался сторожить их. Родичам своим мурза говорить ничего не стал. Только байбише предупредил, что вернется не раньше чем через месяц, и в сопровождении десятка джигитов на белом аргамаке в дорогом, отделанном серебром седле выехал из аула. Даже свита мурзы не знала, куда он едет.

Перед отъездом отозвал в сторону Коротышку, и между ними произошел следующий разговор.

— Я еду в Актюбинск,— сказал мурза.

— Счастливого пути, Танир-ага.

— Поеду посмотрю. Если Колчак действительно начнет занимать наши земли, я лично готов пожертвовать ему весь скот до последней овцы.

— О Танир-ага! Черт побери, если бы все сыны казахского народа, как вы..

— Э, оставь! Скажи-ка лучше, что ты-то собираешься делать?

Коротышка вдруг запнулся, замигал. Потом забормотал о разъяснительной работе среди джигитов, которую он намерен проводить. Встретив пристальный, недоверчивый взгляд мурзы, Коротышка густо покраснел. Не зная, куда девать глаза, он нервно переминался с ноги на ногу, потом вдруг ухмыльнулся и перевел разговор на другое:

— Мурза, слышали вы о Жасанжане?

Танирберген нахмурился. Он ни с кем не говорил о брате, но поступок Жасанжана постоянно тревожил его.

— Жасанжан-то наш тухлым яйцом оказался,— огорченно, с трудом скрывая злорадство, сказал Коротышка.— Подумать только, на сторону красных переметнулся!

«Э, дорогой, где бы ни был, лишь бы жив-здоров остался»,— подумал в ответ Танирберген и, не желая поддерживать разговор об этом, промолчал.

Он знал, что Жасанжан ни с того ни с сего пошел служить к красным и что вскоре был назначен командиром Ташкентского железнодорожного отряда. Ему было неизвестно и непонятно, почему брат стал на этот путь. Просто, думал он, и это одна из неожиданностей теперешнего загадочного времени.

После недолгой паузы Танирберген предложил:

— Ты ведь по-русски знаешь. Сопровождал бы нас.

Коротышка опять замялся, опустил глаза.

— Конечно. С вами ехать — это счастье. Я бы с радостью... Да только давно не был в родных краях, соскучился, как говорится...

— А? Ну что ж, утешься. Утешь душу,— непонятно заключил Танирберген и, ударив коня, поскакал вдогонку за джигитами.

II

Чуток сон матери, но ни с чем не сравнить чуткость спящей молодки, в объятиях которой отдыхает утомленный любовник. Подумав, что близка уже весенняя заря, Коротышка осторожно потянул к себе руку, на которой спала разомлевшая белотелая токал Алдабергена-софы, но та мгновенно проснулась. Тело ее было нежно и податливо со сна. Выгибаясь и потягиваясь, она зевнула сладко, прикрыв ладошкой рот, и, охмелевшая от бабьего счастья, чувствуя

одну только весеннюю истому, разбросала руки и ноги, нежась на пышной, горячей постели.

В юрте было еще совсем темно, и тундук опущен, и дверь закрыта. Покряхтывая и сопя, Коротышка нащупал босыми ногами пол и осторожно спустился с высокой постели. Токал, чуть приоткрыв сонные глаза, поглядела на него и улыбнулась.

— Уходишь?

— Угу.

— Чего так рано?

— Светает!

— Иди ко мне. Ну иди же!..

Коротышка тут же повернулся и, зажмурившись, стал искать губами ее губы. Нежные полные руки обвили его шею. Косы ее расплелись после любовных утех. Он зарылся в ее пышные волосы лицом, с наслаждением вдыхая возбуждающий, столь приятный мужчине особенный запах постели и разгоряченного женского тела. Голова его закружилась от любовного хмеля, но он опять вспомнил о близости утра и с усилием высвободился из ее объятий.

В темноте не разобрать было, где дверь, и он пошел к ней ощупью вдоль стенки. Чуть приоткрыв дверь, высунулся и воровски оглянулся. В предутренней степи стояла тишина. Убедившись, что поблизости нет ни души, он на цыпочках завернул за юрту. Из ближайшей юрты доносился могучий храп, и Коротышка улыбнулся и успокоился. Сердце его перестало колотиться, но, выходя из аула, он ступал все так же неслышно.

Нигде не слышно было ни шороха, ни звука. Все живое объято было предрассветным сном. Небо, наливаясь светом, поднималось и раздвигалось. На западе мерцали еще последние звезды.

Коротышка поднялся на холм, обернулся и оглядел с высоты байский аул, раскинувшийся у подножия холма на широкой равнине. Лежавшие там и сям, круто возвышавшиеся боками коровы лениво пережевывали свою жвачку. Крепкий чистый запах разнотравья щекотал ноздри. Но среди всех запахов не было приятней запаха полыни, и Коротышка даже зажмурился, дыша всей грудью.

Вот и последние звезды погасли, небо еще больше посветлело, и можно уже было видеть далеко. И, будто дождавшись чего-то, ему одному ведомого, из-за тростникового оврага застрекотал кузнечик. Он долго трюкал и скрипел в одиночестве, и его никто не перебивал. Но как только умолкла его простая трескучая песенка, совсем рядом под белым чием отозвался ему другой кузнечик, затем еще и еще. И так они, проснувшись первыми, перекликаясь с утра пораньше, славили свою немудреную жизнь.

Коротышка распахнул чапан на груди, подставил ее под первое свежее дуновение утра и улыбнулся, чувствуя, как опустошенное его тело наливается бодростью. Потом он и совсем снял чапан и ничком повалился на прохладную молодую травку. «Э! А куда спешить,

а?— подумал он.— Задержусь-ка я тут еще на ночку, а? Эх!» И от этой мысли ему стало весело.

Человек иногда сам стремится в пропасть. Уедь он сегодня в аулы, и все было бы хорошо, как говорится, и волки были бы сыты, и овцы целы. Но, распаляемый воспоминаниями о ночных усладах, Коротышка не в силах был теперь уехать. Решив, что гостивший где-то софы сегодня не вернется, он захотел продлить свое счастье еще на одну ночь.

А сплетня в аулах быстра и пронырлива, как голодная бродячая собака. Сплетня похожа сначала на уголек, невзначай оброненный бабой, с утра прибежавшей к соседнему очагу. Потом уголек этот подхватят бабы на поскотине или у колодца и, дуя на него, начнут перекидывать друг другу. Потом кто-нибудь поедет к родне и начнет оставлять угольки во всех попутных аулах. Слабо тлеющую сначала сплетню усердно раздувают уже по всем аулам, пока не превратится она в пожар, пока не опалится в этом пожаре тот, о ком гуляет по степи сплетня.

Слух о тайной связи Коротышки с белоликой токал давно уже жужжал и гудел по всем окрестным аулам. О них в округе знали все — от глубокого старца до сопливого малыша. О том, что об их любви известно всем окрест, не знали только Коротышка и токал. Их тайна давно уже стала похожа на воровство слепца. И чем тщательней скрывали они от посторонних свою связь, тем заметней она становилась.

Одни сочувствовали белоликой токал и одобряли ее:

— Чего осуждать бабенку, отданную за дряхлого старика? Да какой в нем прок, в ее муже-то? Пока молода да красива, только и пожить! Небось если гость, ночуя, в шутку лапает ее под одеялом, и то, бедняжка, уже расцветет вся!

Другие ругали старого софы и злорадствовали:

— Так ему и надо, старому кобелю! Она ему в дочери годится, а он ее под себя подпихивает, греется ее молодой-то кровушкой!

Третьи в хвост и в гриву честили Коротышку:

— Да что у нас девок нет, что ли? О несчастный! Мотался, мотался по белу свету и, на тебе, спутался с мокрохвостой шлюхой, а?

— И в самом деле! Уж чего-чего, а девок в том ауле как рыбы в море, бери — не хочу. Их и так при кочевке целыми кучками на стоянках теряют.

— Э, да что там говорить, человек, как свинья, сам в грязь лезет, никто его не пхает. И чего это его на чужую бабу потянуло?

— Да говорят же, кому-нибудь и объедки — лакомство. Мужик всегда как кобель голодный. А то чего бы ему лезть на бабу, измызганную вонючим стариком?

Вот так и гудела сплетня по аулам.

Разговоры эти давно уже дошли до ушей старого софы. Он знал, что в аулах все кому не лень трепали имя его младшей жены, но до поры до времени молчал. Только сегодня софы наконец решился

и, плотно наевшись мяса в соседнем ауле, вместо того чтобы лечь отдыхать, оседлал коня на ночь глядя. Почти все спали уже, когда он подъехал к своему аулу. Он спешился, стреножил коня и оставил его в овраге, богатом кормами, а сам пешком добрался до дому и улегся в постель. Токал свою он ни на минуту не выпускал из юрты, а когда лег, уложил ее рядом с собой к стенке.

— Пикнешь — убью!— пообещал он.

Едва дождавшись ночи, Коротышка отправился в знакомый путь. Аульные собаки успели к нему привыкнуть. Огромные, как телята, псы вышли было из-за угла, но, узнав его, как бы подумали: «А, это опять ты!»— и дружелюбно помотали хвостами. Подкравшись к юрте софы, Коротышка огляделся по сторонам. Вокруг не было ни души. Вышла из-за туч на минуту луна, и Коротышка, как бы приглашая ее в сообщницы своему счастью, весело подмигнул ей и, улыбаясь, тихо открыл дверь. Тундук был опущен, в юрте стоял густой мрак, и, чтобы освоиться с темнотой, Коротышка постоял немного.

— Где ты, пташка моя?— шепотом позвал он.

Старый софы мигом зажал рот своей токал.

— Молчишь! Ну молчи, молчи... Сейчас ты у меня запоешь,— нежно ворковал Коротышка, потихоньку двигаясь в правый угол, где за занавеской стояла высокая кровать. Дрожа от нетерпения, чувствуя, как колотится сердце и холодные волны ходят по животу и ногам, он крался к горячей постели, вытянув вперед руки. Он уже взялся одной рукой за занавеску, откинул ее и вдруг почувствовал, что его крепко держат за руку. В ужасе рванулся назад, но руку его так сжали, что он тонко крикнул:

— Ой!

— Эй, баба, зажги свет!— раздался в темноте хриплый голос.

Старый софы теперь нарочно не торопился. Медленно слез он с кровати, притянул Коротышку к себе и ухватил за ворот. Молодая токал затихла в ужасе, затаилась, прижалась к стенке. Свободной рукой софы нашарил на подушке ее волосы и рывком, будто баранью тушку, сдернул ее на пол.

— Кому говорят, зажги свет!

Зажегся в темноте неверный, робкий огонек лампы. Не выпуская Коротышку, не говоря ему ни слова, даже не глядя на него, софы двигался по юрте, волоча за собой непрошеного гостя, как опытный, равнодушный мясник овцу. Он подошел к двери и поплотнее прикрыл ее. Потом скинул с кровати две большие пуховые подушки и поудобнее уселся на них. И наконец, дернув к себе, шмякнул Коротышку оземь. Тот поворочался, пригибаемый к земле тяжелой рукой, и сел рядом с большим черным чайником, наполовину зарытым в горячую золу очага. Говорить он не смел и только похрипывал, мысленно прощаясь с белым светом. А софы, казалось, даже не злился совсем, лицо его было спокойно. Но когда он взглянул в упор в лицо Коротышке, сивая щетина его встопорщилась.

— Что, поганец, попался? Вышибить твою подлую душонку, а?

Софы перебрал пальцами и еще крепче стиснул ворот рубахи Коротышки. Тот задохнулся, захрипел. Набрякшее, как коровье вымя, лицо его налилось кровью, очки врезались в пухлые подглазья. Софы с омерзением разглядывал его. Будто только теперь вспомнив, что именно этот человек опоганил его супружеское ложе, он вдруг затрясся от ярости.

— У, нечестивец! Ростом два вершка, а похотлив, как черный кобель! У!

— А-аксакал... не... не оск-орбляй-те... не за-де-вайте честь...

— Хо-хо! А я вот задену! Что сделаешь?

— Ж... жаловаться буду...

Тучный старик с широким обрюзгшим лицом, заросшим густой сивой щетиной, потемнел вдруг от злобы. Задохнувшись, он бурно задышал, и на лице его выступил жирный пот. Усевшись, он поудобнее пригнул Коротышку к земле и не спеша начал бить его по затылку и в зубы... Токал оцепенела. В черных, больших от страха глазах ее дрожали слезы. До крови закусив губу, бледнея до синевы, она прижималась к косяку двери. Алдаберген шумно дышал, потом перевел дыхание, приподнял и оглядел Коротышку, будто думая: «Куда бы ему еще садануть?» Он увидел вдруг стекла очков, тускло поблескивавшие при свете лампы, и даже простонал:

— У-у, стервец!.

Злоба именно к этим очкам захлестнула его, он размахнулся и что есть силы ударил по ним. Осколки стекол врезались в пухлую мякоть вокруг глаз Коротышки, и кровь залила ему все лицо. Отбив и поранив руку, софы, все еще не отпуская Коротышку, начал пинать его ногами. Окончательно обессилев, он поволок к двери полумертвого Коротышку и бросил его сторожевым псам.

Отдохнув немного, Алдаберген-софы всласть отодрал камчой свою белую токал, погонял ее по аулу и прогнал в Киши-Кум к родственникам.

III

Танирберген ехал спешно, нигде не останавливаясь. Сопровождавшие его джигиты помалкивали, хорошо зная нрав мурзы. Ехали ровной крупной рысью, гнали впереди косяк лошадей.

С двумя джигитами мурза далеко уехал вперед. Табунщики с косяком то догоняли их, то отставали и ехали тогда по следу, отчетливо видневшемуся на вязком, по-весеннему влажном еще песке.

На второй день к вечеру они подъезжали к Челкару. Поднимаясь на редкие в ровной бескрайней степи хребты холмов, они видели каждый раз, как далеко впереди перемигивались огни города. Табунщики радовались, думая, как остановятся на ночлег в городе, как напьются чаю и отдохнут после утомительной дороги. Но Танирберген, не заезжая в Челкар, направился по степной караванной дороге в Актюбинск.

У мурзы была давняя привычка ехать по ночам, а днем отдыхать. Теперь он опять решил воспользоваться ночной прохладой и проехать большую часть дороги. Коней гнали тесной кучей, не распуская их по сторонам, и крупы их смутно темнели в безлунную ночь, как спины сомов, выплывших на мель. Кони пофыркивали, глухо топотали их копыта на степной дороге. Челкар, по-прежнему приветливо мигавший огнями, остался далеко позади. Джигиты молчали. На руках их висели, волочась по пыли, куруки. Всех сморил сладкий предутренний сон. Склонившись от усталости к холкам лошадей, разжав шенкеля, джигиты безвольно мотались в седлах из стороны в сторону. Поэтому никто из них не заметил, как все произошло...

Кони, которые всю ночь шли неторопливой ровной рысью, вдруг остановились. Джигиты подняли уроненные на грудь головы и увидели на дороге черные силуэты вооруженных всадников. Никто не успел опомниться, как их уже разоружили и взяли под уздцы их коней.

Сначала Танирберген подумал, что их остановили разбойники и что их захваченный косяк погонят сейчас в степь, подальше от большой дороги. Но молчаливые всадники, разоружившие их, окружив полукольцом косяк и джигитов, повернули не в сторону, а назад, в город, и мурза понял, что это не воры.

Не доезжая до города, косяк оставили на противоположном берегу озера Челкар, а пленников погнали в город. Рассвет еще только наступал, было сумеречно, и город не проснулся. Танирберген раза два покосился на сопровождавших его всадников и больше уже не глядел на них. Всадники обильно были увешаны оружием, но одеты бедно, по-городскому. Большинство из них были русские, а из казахов Танирберген никого не узнал.

Теперь его интересовал только один человек, ехавший впереди. «Кто это может быть? Что-то знакомое...»— ломал он голову всю дорогу. На темно-рыжем коне тот далеко оторвался от отряда и ни разу не оглянулся. Одет он был в красноармейский шлем и шинель, которая ему явно была мала. Сильная широкая рука, в которой он держал камчу, вылезла из рукава. Мурза, понимающий толк в одежде, тут же решил, что шинель у таинственного всадника с чужого плеча. «Но кто же он такой?— мучительно старался угадать мурза.— Неужели... Нет, не может быть!»

При въезде в город мурза был все так же молчалив и сдержан и не оглядывался по сторонам, но примечал все знакомые ему улицы и дома. Всадник на темно-рыжем коне, нигде не останавливаясь, никуда не сворачивая, прежней рысью проехал мимо магазина Темирке с зеленой крышей и вдруг остановился возле широких ворот двухэтажного дома, где помещался штаб Челкарского отряда. И сразу же Танирберген уверился в своих подозрениях. До этого мурза еще мог надеяться, что, узнав о его имени, о его влиянии в крае, его тут же отпустят. Теперь эта надежда разом погасла, и он не то

что просить, объясняться, смотреть не хотел больше на Еламана и тотчас принял свой холодный, неприступный вид.

— Запереть их!— распорядился Еламан, мельком оглядев мурзу и джигитов, и, придерживая бьющую по ногам шашку, пошел в штаб.

У входа встретился ему Дьяков.

— Ну как?— спросил он.

— Доставили.

— Отлично... Надеюсь, вас никто не видел?

— Город весь спит...

— Что ж, заходи, поговорим.

Они вошли в кабинет командира полка. В комнате было все так же, как и при Мюльгаузене. Старые, расшатанные стулья, неуклюжий стол у стены... Еламан сел боком к Дьякову и облокотился на край стола. Он был не в духе и ни разу не взглянул на комиссара, хотя тот поглядывал на него с интересом.

— Ну как, с мурзой, надеюсь, поговорил?— поинтересовался комиссар после некоторого молчания.

— Нет.

— Напрасно...

— Мы с ним давно уже все обговорили.

— И то правда. Что же теперь нам с ними делать?

— Не знаю. Ваше дело.

— Вот как? Ну раз наше дело, тогда у меня есть одно соображение...

Еламану не по вкусу был этот разговор, и он безучастно глядел в окно. За окном тяжело и в то же время едва заметно покачивался под утренним ветерком огромный тополь, густо покрытый листвой. Шелест листьев был слышен в комнате.

— Войска Колчака захватили казахскую землю. Большая сила! Против нас действует Южная армия с аэропланами и броневиками. Командующий у них генерал Чернов. Один из лучших генералов Колчака, понимаешь?

Еламан отвлекся от своих мыслей и стал внимателен.

— Это тебе не атаман Дутов,— продолжал комиссар.— Теперь война пойдет настоящая. Предстоят кровопролитные сражения, понимаешь?

— А я-то при чем?

— Ты? А вот тебя-то я и хочу отправить к генералу.

Еламан опешил и уставился на комиссара, ожидая, что тот сейчас рассмеется.

— Серьезно,— сказал Дьяков, заметив и поняв взгляд Еламана.— Ты переоденешься в одежду этого твоего мурзы, возьмешь с собой самых верных казахов и поедешь к белым. Постарайся разузнать численность и вооружение армии, только осторожно, понимаешь?

Еламан наконец понял, поднялся и вышел. К вечеру они собра-

лись в путь. Еламан оседлал своего темно-рыжего коня синелуким седлом Танирбергена. Об их поездке никто в полку, кроме Дьякова, не знал. Еламан уже вышел во двор и только было схватился за холку коня, как часовой крикнул от ворот, что его спрашивает какая-то женщина. Нога Еламана, уже напряженная, засунутая в стремя, вдруг вздрогнула и ослабла. «Она!— мелькнуло у него.— Кому же еще? Она, конечно!» Кроме Акбалы, знакомых женщин в городе у него не было. Кроме того, он ждал ее каждый день, надеясь почему-то, что она придет.

Послав джигитов вперед, к косяку, и сказав, что сейчас догонит их, ведя коня в поводу, подошел к поджидавшей его у ворот Акбале. При зыбком свете фонаря Акбала казалась бледной и подавленной.

После женитьбы на Кенжекей Еламан к Акбале не ходил. Встречи на улице были редки и сухи. Оба они чувствовали, как все холоднее становятся их отношения.

— Здравствуй, Акбала...

Акбала перевела дух, справилась с волнением и сообщила, что отец ее, старик Суйеу, сильно болен и что она сегодня же ночью едет с караванщиками в аул.

— Давно заболел?

— Не знаю.

— А чем болен?

— Не знаю. Лежит...

Еламан чувствовал, что нужно что-то сказать, но слова не шли на ум, и он только растерянно переминался с ноги на ногу. Акбала вдруг рассердилась, быстро попрощалась и, высоко неся свою гордую голову, ушла в темень ночной улицы. Слезы обиды дрожали у нее на ресницах.

Караванщики собрались на окраине города. Акбала села на своего верблюда. Под ней было вчетверо сложенное толстое одеяло, и ей было удобно. «О господи, дай мне счастливый путь!»— прошептала Акбала. Безмолвный караван не спеша тронулся в путь. Верблюды, привязанные друг к другу длинными поводками, шли по дороге журавлиной цепочкой.

Еще до полуночи караван пересек Улы-Кум по узкому перешейку. Навьюченные верблюды, глубоко увязая в сыпучем песке, постанывали и шли тяжело. Акбала томилась, и ей хотелось, чтобы караван шел быстрее. Она все думала о больном отце, и от опасения, что она не застанет его живым, ей становилось зябко и тоскливо.

Наконец они перевалили казавшиеся бесконечными пески, и опять началась ровная, покрытая полынью и колючками степь. Караван вел худой караван-баши — чернолицый мужчина на холощеном одногорбом верблюде с белой мордой. Едва, преодолев барханы, караван выбрался на твердую ровную дорогу, караван-баши погнал своего верблюда быстрее. «Вот так быстро, так хорошо...»— думала Акбала, покачиваясь на своем верблюде, и тревога ее рас-

сеивалась — она начинала думать, что застанет отца в живых. Потом вспомнился ей Еламан. «Зачем, зачем я пошла к нему?— подумала она и гневно хмыкнула, как ее отец.— У него теперь свой дом, своя семья». Опять ресницы ее стали мокрыми, она поморгала, разозлилась, и лицо ее стало жестким и упрямым.

Она оглянулась вокруг. Тишина дремала в безлюдной степи. Бодрый ветерок, всегда оживающий во второй половине ночи, теперь вдруг повеял свежестью, так что Акбала поежилась и накинула на плечи чапан. Полная луна щедро заливала светом степь. Все вокруг было как в молоке. Там и сям по степи разбросаны были одинокие кусты. Иногда они будто сбивались в кучу и тогда в зыбком лунном свете далеко темнели в ровной светлой степи, и казалось, что это стадо из какого-нибудь ближайшего аула мирно пасется в ночной прохладе.

Караван-баши на беломордом верблюде ходко вел караван. Он бодро смотрел вперед и думал о чем-то. Остальных одолел предутренний сон. Только один караванщик не выдержал ночного безмолвия и запел. Он внезапно затянул любимую песню Акбалы «Каргаш»: «О мой зрачок!..» В безлюдной ночной степи голос его был так неожидан, что задремавшие караванщики, вздрогнув, подняли головы, а простодушные верблюды пугливо покосились по сторонам.

Начало песни сильный молодой голос взял резко и стремительно, будто понеслась вдруг, сорвавшись с места в галоп, резвая лошадь, но потом круто осадил и перешел на томительный, тягучий напев, полный таинственности и очарования, будто не чужую песню пел, а свое сердце решил открыть молодой певец уставшим в пути караванщикам. Давным-давно, еще в девичестве, качаясь на качелях за аулом, Акбала любила петь эту песню не громко, а как бы отдаленно, тягучим горловым голосом:

О мой Каргаш, когда тебя я вспоминаю,
Душой я рвусь к тебе, вся изнывая...

В эти слова она тогда вкладывала всю душу, замирая, отдавая весь жар влюбленного сердца одному-единственному человеку. И все ее подружки знали, кому предназначались эти слова, и Акбала тоже знала, что они догадываются. Сладко и тревожно становилось ей. Да ни от кого тогда она и не скрывала, ни от бога, ни от людей, что тоскует ее душа по молодому красавцу мурзе из байского аула. Тосковала, тосковала, а чем кончилась вся ее любовь?

Акбала только вздохнула.

А молодой караванщик пел теперь песни Мухита и Сары Батакова. После грустного напева предыдущей песни он вдруг взял высоко и зычно и заиграл сильным голосом, будто пел не только для себя и для друзей-караванщиков, но и для высокого ночного неба, для звезд, и так же, как начал, внезапно оборвал на высокой ноте.

Снова замерла лунная ночь, опять равномерно шел караван, и темные фигуры караванщиков однообразно, ритмично раскачива-

лись взад-вперед, взад-вперед... Предутренний ветерок усилился, Акбала повернулась к нему спиной, плотнее закуталась в чапан и даже подосадовала на певца, что он так скоро перестал петь.

А молодой караванщик, подумав, затянул новую песню, которая называлась «Алима». Это была песня-плач, песня-прощание юной девушки, отданной жестоким отцом за сорок голов скота старику в далекую чужую сторону, куда ни на лошади не доскачешь, ни на верблюде не доедешь...

И с первым же звуком песни плач и стон неведомой девушки остро полоснули Акбалу по сердцу. И у нее была тяжелая судьба, как у Алимы, о которой повествовал караванщик, и ее юное сердце было также отравлено горем. Только коснись израненной девичьей души, и закричит душа от боли.

Сколько раз уже слышала Акбала эту песню, и каждый раз мысленно подпевала ей, будто плач о горемычной девичьей судьбе исходил из ее собственного сердца. «Была когда-то гордой, своенравной Алимой...»— выговаривал караванщик слова песни. Ах, как бы отвечала ему Акбала, такая единственная, такая короткая жизнь, а вся по швам пошла, по клочкам расползлась словно шкурка, разодранная собакой. А какая, как подумаешь, девушка не была в свое время гордой и своенравной?

К утру караван остановился у оврага, заросшего тростником. Караванщики быстро развьючили верблюдов, расстелили на зеленой травке вдоль оврага свои чапаны и завалились спать. Они едва приладились поудобней, едва смежили глаза, как тут же дружно захрапели. Одна Акбала не спала.

Отец ее за всю жизнь ни разу не болел. По рассказам караванщиков, болезнь скрутила его в один день. Он лег, и не смог больше встать, и тосковал все сильней. Тогда он сказал старухе, чтобы та известила обо всем дочь и наказала ей побыстрей приехать. И теперь Акбале думалось, что конец в самом деле близок, если отец, запретивший даже имя ее произносить в своем доме, вдруг сменил свой гнев на милость и призвал ее.

За все время работы в столовой она скопила немного денег. Да и русские женщины, узнав о ее горе, собрали ей кое-что на дорогу, и теперь она везла родителям гостинцы: чай, сахар, рубаху, платье... Всю жизнь бедствовал ее отец, да и теперь, при новой власти, как рассказывали ей аульчане, не нажил богатства.

Акбале хотелось ехать, и она скоро разбудила караванщиков. Те не хотели вставать, мычали, отмахивались, но Акбала приготовила чай и уговаривала караванщиков таким ласковым голосом, что они, зевая и потягиваясь, поднялись наконец. Верблюды успели немного отдохнуть, и, пока не начало припекать солнце, караванщики по утренней прохладе снова бодро пустились в путь.

Лишь на третий день утомительной дороги караван добрался к обеду до северного склона Жаман-Боташа, где когда-то выдавали замуж бедную Бобек и где располагался теперь аул Суйеу. Немно-

гочисленные овцы бедного аула рассыпались по склону холма и пощипывали молодую редкую травку.

Акбала пошла к пастушонку, торчавшему возле отары, расспросить об отце. Отец был еще жив и в памяти, узнавал всех, кто приезжал его проведать, и Акбала немного успокоилась. Зато новое чувство появилось у нее — ее охватила привычная робость перед отцом. Когда она вошла в юрту, старик Суйеу полулежал на высоких подушках и тяжело дышал. Он был бледен, крупный нос его заострился, под одеялом слабо поднималась и опускалась высохшая грудь.

Со дня болезни грозного хозяина дома никто поблизости не осмеливался говорить громко, и все входили и выходили на цыпочках. Услышав шум возле юрты, голоса и шорох женского платья, старик сразу догадался, что приехала та, которую с такой тоской и нетерпением ждал он дни и ночи, его кровинка, его дочь. Когда Акбала вошла вместе с соседями в юрту и робко взглянула на него, он хотел приподняться, но боль в груди не давала ему шевельнуться. Разозлившись на свою немощь, он, как бывало, захлопал сердито белыми ресницами, и в глазах его блеснул прежний дерзкий огонек.

А у Акбалы вдруг пропала вся робость, от которой горели щеки. Она увидела угасающего отца. Вглядываясь в потускневшие уже в ее памяти родные черты, увидев опять эти белые ресницы, красные глаза, бледное, изможденное лицо, тонкий заострившийся нос, она почувствовала вдруг такую жалость к отцу и к себе и такую слабость, что не смогла сдержаться и заплакала.

Наконец пересилив себя и вытерев слезы, она тихо опустилась у его изголовья. Оба молчали. Соседи, вошедшие в юрту вместе с Акбалой, не осмелились пройти дальше и столпились у двери. И молодые женщины, которые со времени замужества не видали еще своих родителей, и пожилые жалостливые бабы, глядя на отца и дочь, тихо плакали и терли концами жаулыков глаза.

Старик Суйеу пожал горячей рукой безжизненную руку дочери и силился что-то сказать, чтобы успокоить дочь, но слезы душили и его, и он, задыхаясь, отвернулся вдруг к стенке. Не отпуская руки дочери, он ласково гладил ее ладонь, дрожащими пальцами ощупывал ее мозоли, и сердце его разрывалось от жалости. «Родненькая!— думал он, хмурясь и морщась, чтобы не заплакать.— Родная ты моя... Как же тебе, видно, досталось!»

— Ступай... К матери теперь... ступай,— слабым голосом выговорил он и выпустил руку дочери.

По желанию старика к нему теперь допускались только самые уважаемые, издалека приехавшие люди, а те, что были из ближних аулов, узнавали о его здоровье от домашних. После приезда Акбалы старику стало легче, но дня через два он опять затосковал. Когда Акбала была возле него, он смотрел на нее, как бы силясь запомнить ее навсегда. Когда она выходила, он отворачивался лицом к стене. Как ни мучительна была его боль, он не стонал. Домашние,

время от времени заглядывавшие в приоткрытую дверь и чутко прислушивавшиеся, думали, что больной успокоился и заснул. Одна Акбала знала, как тяжело сейчас ее отцу. Каждый раз, когда она на цыпочках входила в юрту, она слышала, как скрипел зубами отвернувшийся к стенке отец, и скрип этот, тихий, но постоянный, больно отдавался во всем ее существе. «Господи, поддержи его, не оставляй его!»— жарко молилась она.

Но на следующий день старику опять стало легче. Всю ночь просидела Акбала у постели отца. Когда же взошло солнце и в юрте стало светло, Акбала, как девочка, свернулась калачиком у отцовского изголовья и заснула. Проснулась она оттого, что услышала в юрте громкий говор, и сразу взглянула на отца. Отец сидел, прислонившись спиной к подушкам. Краем одеяла он укрыл ее.

— Ну вот... теперь я готов предстать перед аллахом...— с облегчением говорил Суйеу, но тут же, спохватившись, словно окаменел, принимая всегдашний свой суровый вид.

За все эти дни Акбала впервые увидела столь знакомое ей непреклонное выражение лица и обрадовалась. «Слава богу, может, теперь пойдет на поправку...»— с надеждой думала она.

IV

На четвертый день Еламан с джигитами добрался до Актюбинска. Город белые еще не захватили, но по всему чувствовалось, что красные, державшие оборону, вот-вот отойдут. Слухи о приближении большой, прекрасно вооруженной белой армии наводили на всех страх. Еламан скоро понял, что нет серьезных сил противостоять противнику. Не имея даже представления о численности и мощи Южной армии, красные отряды уже боялись ее. Значение разведки, в которую его послал Дьяков, Еламан впервые оценил по-настоящему.

Уже возле Актюбинска Еламану то и дело попадались отдельные части белых, и он старался запомнить все, что видел. Между тем богато одетых казахов с большим косяком коней все чаще останавливали и недоверчиво допрашивали, пока Еламан не обратился к одному офицеру и не попросил проводить его с джигитами и дарами в ставку командующего. Офицер взялся их сопровождать, и далее они ехали беспрепятственно.

То, что они увидели на первых порах в расположении белой армии, была еще не сама армия, а только передовые ее отряды. Чем более углублялись они в расположение белых, тем явственнее ощущали, что основные силы еще впереди.

Всюду, от горизонта до горизонта, по дороге тянулись войска. Шла поротно и побатальонно пыльная пехота, со скрипом влачились тяжело груженные арбы, сплошным потоком тянулись кавалерийские части. Часто мимо вихрем проносились пулеметные тачанки, шли караваны навьюченных верблюдов. Между батареями

гаубиц и пушек, сотрясая землю, катились батареи английских шестидюймовых орудий. И все эти несметные войска двигались к Актюбинску, и казалось, конца не будет этому потоку.

Еламан ехал хмурый. Он теперь понимал, что нынешнее лето будет для красных бойцов кровопролитным. Сопровождавшие его джигиты молчали и смотрели кругом во все глаза.

Возбужденный Али, покосившись на ехавшего рядом белого офицера, подъехал к Еламану стремя в стремя.

— Ойпырмай! Что делается, Ел-ага!

Еламан чуть не выругался и кинул быстрый взгляд на офицера. Ему нравился Али, и он, проклиная в душе его юношескую неосмотрительность, тем не менее сделал дружелюбное лицо. Слегка поворотив к Али голову, улыбаясь, он еле слышно сказал:

— Али, не забывай, кто мы сейчас, понял? И предупреди джигитов. Они должны даже между собой называть меня мурзой.

Али потупился и залился краской. Еламан тут же постарался прогнать его смущение и засмеялся.

— Н-да... хоть я и влез в шкуру нашего Танирбергена, однако что-то не пристает ко мне его звание, а?

Штаб Южной армии расположен был в селе давно осевших здесь русских переселенцев. Табун коней, пригнанный Еламаном, тут же приняли, а самого Еламана с его джигитами отвели в дом зажиточного крестьянина. Казахи привязали возле дома коней, стряхнули с себя пыль и только начали умываться студеной водой из колодца, как к ним пришел молодой офицер с толмачом-татарином.

— Салаумалейкум, братья,— поздоровался толмач и приложил руку к сердцу.

А молодому офицеру было весело. Еще издали увидев казахов в плюшевых бешметах, в красных кушаках и в круглых выдровых шапочках, давясь от смеха, он стал показывать на них пальцем и что-то говорить толмачу. Подойдя, офицер с усилием подавил в себе смех и, решив про Еламана, что это и есть тот бай, который пригнал табун лошадей командующему, подал ему руку. Не замечая протянутой руки, Еламан взял у Али полотенце, которое тот почтительно держал, утерся и, протянув в пространство полотенце, которое тотчас опять подхватил Али, небрежно пожал все еще протянутую руку офицера.

— Здравствуй,— небрежно и сухо сказал он.

— О!— только и ответил офицер.

Еламан отвел глаза от офицера, вспомнил повадки мурзы, и лицо его приняло непроницаемо-холодное выражение. Под изумленным взглядом офицера Али накинул на плечи Еламана поверх заграничного бешмета черный плюшевый чапан. «Эти собаки,— думал между тем Еламан,— даже оказывая нам почести, не скрывают своего презрения. Даже последняя их собака считает себя выше нас и кичится своим превосходством. Скоты!» И, повернувшись к офицеру, спросил:

— Лошадей приняли?

— Да, завтра получите акт о приемке...

— Не надо. Где генерал? Когда нас примет?

— Командующий болен, у него грипп,— офицер не удержался от новой улыбки.— Вы знаете, что такое грипп?

— А завтра?

— Завтра, может быть. Но сегодня он просит извинить.

Еламан кивнул и отвернулся. Толмач, подумав, что мурза не поверил, решил вмешаться.

— Верно, верно,— добавил он уже от себя.— Как приехал из Омска, так все поправиться не может.

Едва офицер с толмачом убрались, как Али расхохотался.

— Прищемили им хвост, а? Ай, мурза, молодец! Так им и надо! А что, в самом деле, за верблюдов, что ли, эти собаки нас принимают?

Но Еламан думал о другом. Несметное войско, попиравшее казахскую степь, угнетало его. Тяжело ступая, он вошел в дом. Беленькая красивая молодуха, позвякивая тарелками, накрывала на стол. Она выходила на кухню, опять входила, и Еламан видел, как при ходьбе подрагивают распирающие ярко-красную кофту ее высокие ядреные груди. Заметив взгляд, который украдкой бросил на нее Еламан, она, в свою очередь, уставилась на него большими синими глазами. Еламан смутился так, что не знал, куда деваться. Перед женщинами его всегда охватывала робость, а теперь он совсем залился краской и не смел поднять глаз. Молодуху развеселил этот крупный красивый казах, по-мальчишески оробевший перед ней, и некоторое время она стояла перед ним, игриво усмехаясь, а потом повернулась и, нарочно виляя бедрами, ушла опять на кухню. «У этих не то что у наших казашек,— подумал Еламан, отдуваясь.— Я ей чуть не в отцы гожусь, а она рада стараться, выперла на меня свои гляделки!»

Он вспомнил двух женщин, которых успел узнать за свою жизнь, Акбалу и Кенжекей. Вспомнились ему и первые дни супружеской жизни с ними. И та и другая, постелив постель и накинув чапан, выходили из землянки и долго, чуть не за полночь, сидели за домом, не решаясь идти назад. Да и потом обе все равно были по-девичьи стеснительны...

На другой день Еламан поднялся с восходом солнца, вышел во двор, умылся и долго с удовольствием смотрел, как выгоняют скотину в степь. Не успели джигиты позавтракать, как пришел вчерашний офицер и передал, что их ждет командующий. Еламан, по мусульманскому обычаю, провел после еды ладонями по лицу и вышел вместе с джигитами.

Генерал Чернов поджидал их возле большого белого дома, где остановился штаб. Еламан не сразу узнал командующего среди толпы офицеров. На турецком фронте ему приходилось видеть генералов. Все они были упитанны, как степные дрофы, в орденах, с

аксельбантами и золотыми погонами. Чернов был худ, даже поджар и очень просто одет. Старый, выцветший на солнце китель висел на нем мешком. На лице его была усталость, как у человека, которому надоела жизнь. И Еламану сразу вспомнились вчерашние слова толмача: с самого Омска поправиться не может.

Одно только в генерале пришлось по душе Еламану — командующий казался спокойным, сдержанным человеком. Он не уставился с нескрываемым любопытством или с усмешкой, как другие, на степных, диких казахов в ярких одеждах, а мельком взглянул на них спокойно и доброжелательно. Подав Еламану руку, он повернулся к почтительно стоявшему рядом толмачу и сказал:

— Я видел коней, подаренных нам мурзой. Все кони как на подбор, хорошие, откормленные кони. От имени правительства Колчака благодарю его.

Толмач заговорил было по-казахски, но Еламан оборвал его:

— Не надо. Все понял.

— А-а...— удивился командующий.— Вы говорите по-русски, мурза?

— Часто бываю в городе. Вожу знакомство с русскими купцами.

— Вот как. Хорошо. Ваш аул...— генерал запнулся.— Ваш аул где-нибудь поблизости?

— Нет. Я живу отсюда далеко. На берегу Аральского моря.

— Вот как? В таком случае ваш подарок вдвойне дорог. Сколько же дней вы были в пути?

Еламан заранее перебирал все возможные вопросы, которые могут задать, и приготовил ответы. Пять дней находился в дороге, отвечал он. Генерал Чернов кивнул и только теперь повернулся к красавцу коню — подарку Еламана. Двое джигитов, Али и Рза, с обеих сторон держали белого аргамака под уздцы. Конь дико грыз удила и шумно раздувал широкие тонкие ноздри. Длинная сухая шея его была выгнута лукой. Вдоль мощного твердого загривка росла редкая, жидкая грива.

Еламан заметил, как в глазах генерала блеснул огонек. Не слушая предупреждений офицеров, он подошел к белому аргамаку.

— Осторожней, господин командующий!— не удержался и крикнул кто-то.

Чернов с удовольствием пощупал гриву аргамака, потом провел ладонью по короткой отласной шерсти. По телу жеребца прокатилась дрожь, он всхрапнул и заплясал, заходя к генералу боком. Гладкая тугая шерсть аргамака серебрилась под утренним солнцем, поблескивали выложенные серебром седло и уздечка. Генерал не мог отвести глаз от красавца коня. Таких коней видел он в Петербурге у самых богатых гвардейских офицеров и только издали любовался ими. Самому ему никогда не приходилось иметь таких чистокровных, царственно гордых коней.

Генерал Чернов был тронут подарком и от души еще раз пожал Еламану руку.

— Спасибо, мурза.

Потом пригласил его на обед в чистую просторную горницу, окна которой выходили в большой сад, и долго беседовал с ним наедине.

В начале неторопливой, осторожной беседы генерал как бы между прочим завел речь о Приаралье и спросил, чем там занимаются и ловят ли рыбу.

— Основное занятие скотоводство. Но есть и рыбные промыслы.

— А ловят ли у вас красную рыбу?

— Э, да еще какую!

Чернов помолчал, задумчиво помешивая ложечкой чай. Из окна на него ярко светило солнце, ему становилось жарко, и он раза два вытер повлажневший лоб платком. Еламан по привычке быстро принялся за еду, но тут же опомнился и есть стал не спеша, сдержанно, как и подобало настоящему мурзе.

— Ну а что ваши казахи думают о красных?— спросил генерал.

Этого вопроса Еламан не ожидал. А генерал, до этого державшийся рассеянно-доброжелательно, вдруг остро и холодно взглянул Еламану в глаза. Еламан смутился и, чтобы не выдать себя, напряженно усмехнулся.

— Чему вы улыбаетесь?— так же твердо и холодно спросил Чернов.

— Просто так,— сказал Еламан простодушно.— Я знал, что вы об этом спросите.

— А! Вот как... Тогда можете не отвечать.

— Почему?

— В заранее подготовленном ответе правды мало.

— Это верно,— согласился Еламан.

— Э-э... Скажите, в таком случае, много ли у вас образованных людей?

— Все-таки, господин... господин генерал, я хочу ответить...

— А! Как угодно.

— Казахи теперь, как и русские, надвое разделились.

— Беднота, разумеется, поддерживает красных?

— Да.

— Выходит... Ну да, конечно, выходит, что большинство казахов на стороне красных?

— Верно.

— Гм... Так. Теперь, мурза, ответьте мне на такой вопрос: что же в красных привлекает ваш народ?

Еламан, чтобы освободиться от внутреннего напряжения, начал было прихлебывать чай, но тотчас поставил пиалу на стол. Сколько дней в дороге обдумывал он предполагаемый разговор, но такой вопрос ему и в голову не приходил. Немного подумав, Еламан сказал:

— Обещание свободы.

Чернов встал, закурил и прошелся по горнице.

— Ваш народ так же, как и наш, обманут. Народ не знает, что

там, где нет истинной свободы, больше всего и громче всего о ней кричат.

— Красные...— начал Еламан и запнулся. Он медленно подбирал слова, стараясь и в то же время затрудняясь хорошо и ясно выразиться.— По-моему, красные нашли подход к бедным людям.

Походив по горнице, Чернов остановился и серьезно посмотрел на Еламана.

— Значит, говорите вы, казахи любят свободу?

— Да,— подтвердил опять Еламан и тут же заметил, как доброжелательность ушла из глаз генерала и лицо его подернулось холодком. «Ах, не то сказал, не так с ним говорить надо!»— спохватился Еламан, чувствуя, как генеральский холодок продрал и его морозом. И заторопился поправить дело:— В Коране сказано: «Дары господа принадлежат всем, но люди их несправедливо распределяют».

— Гм...— Чернов кашлянул.— Хорошие слова.

— Раз говорится в Коране, темный народ считает это истиной, провозглашенной устами самого аллаха. Поэтому, когда в брюхе человека бурчит от голода, он в первую очередь обвинит... нас с вами,— Еламан хотел сказать «вас»,— что мы отобрали у него кусок хлеба.

Чернов, как бы наскучив разговором, повернулся к окну. Лицо его болезненно посерело. В окно, залитое ярким утренним солнцем, было видно небо над садом. В небе застыли редкие перистые облака. Было безветренно, знойно, и солнце сквозь стекла слепило глаза. Чернов вздохнул, задернул занавеску и стал думать о своем госте.

Этот черноусый рослый мурза начинал нравиться ему своим достоинством и манерой держаться. Вот уже много дней как многочисленная Южная армия углублялась в казахские степи. Чернов впервые вступал в незнакомый, таинственный, как ему казалось, и от этого еще более интересный мир. Еще совсем недавно он, как и многие его товарищи, считал, что край этот населяют дикие, невежественные народы. Что знал он о них раньше? Разве то только, что в степях этих обитают некие кочевые племена, уцелевшие после разгрома Ермаком владычества хана Кучума. Правда, совсем недавно, в эмиграции в Харбине, старый друг его генерал Рошаль дал ему как-то почитать сочинения некоего Чокана Валиханова. Начав читать просто от эмигрантской тоски, Чернов увлекся. Потомок грозного Чингисхана, блестящий офицер русской армии, интеллигент, ученый, ставший в двадцать три года членом Российского императорского географического общества, Валиханов был гордостью своего народа, и память о нем до сих пор бережно хранилась в сердцах людей. Кто бы мог подумать, что среди каких-то казахов появится такая светлая голова!

Пока Чернов угасал и тосковал в Харбине, Колчак образовал свое правительство, и, узнав об этом, Чернов немедленно выехал в Омск. В Омске он познакомился с несколькими казахами-национа-

листами. Образованные, они внешне мало отличались от своих соплеменников, но, как правило, обладали изысканными, утонченными манерами, граничащими с надменностью, свойственными лишь самым богатым европейским аристократам.

Но с тех пор как Чернов вступил со своей армией в казахские степи, ему пришлось познакомиться совсем с другими баями. Теряя всякое достоинство, они обычно угодничали, сгибаясь в три погибели перед любым, даже самым маленьким офицером. И только этот мурза держался с подчеркнутым достоинством, и на это приятно было смотреть. Чернову особенно понравился взгляд мурзы, ровный и спокойный. Большие глаза его смотрели на собеседника прямо и открыто.

Чернов, конечно, не имел оснований не верить мурзе, мало того, он хотел верить. Но в душу его нет-нет да и закрадывались сомнения. В записках европейских путешественников-миссионеров ему приходилось читать об азиатском коварстве. И вот если исходить именно из азиатского коварства, то особенно подозрительным казался приезд сюда этого во всех смыслах приятного мурзы из такой дали, от самого Аральского моря. Только ли любовь к белым, и любовь ли вообще, толкнула его на этот столь изнурительный путь? В такое трудное время, когда от тебя отворачиваются соотечественники, возможно ли найти надежного, верного друга среди инородцев, укрощаемых огнем и мечом сначала Ермаком, а потом многими и многими русскими отрядами? Может ли такое быть? Если мурза искренен — а Чернов хотел в это верить,— то дружба казаха надежнее, чем кого-либо другого. И коль скоро ему понадобится верная рука в этой степи, то уж лучше заручиться дружбой этого мурзы.

Генерал Чернов давно уже думал о том, как нелегко угодить представителям великих держав. С ними и враждовать опасно, и дружить непросто. Чуть не угодил им, и начинаются попреки, обиды, угрозы и так далее, вплоть до совершенного равнодушия. Совсем иное дело, как думал Чернов, простодушные казахские баи — дружба их бескорыстна, а главное, необременительна. Достаточно быть с ними любезным при встрече.

Мягко ступая, Чернов все ходил по горнице, при поворотах каждый раз оглядывая незаметно Еламана. В ближайшие дни должны были прибыть военные советники союзных держав. Пожалуй, не помешает, подумал Чернов, показать им этого казахского бая. «Что ж, пусть убедятся, что в борьбе с большевиками мы вовсе не одиноки, что нас поддерживают народы далеких степей. Да и стоит показать им этого мурзу, уж он в грязь лицом не ударит. Нет, не ударит!»— заключил про себя генерал и обратился к Еламану:

— Мурза...

Но тут раздались молодые проворные шаги, дверь отворилась, и в горницу вошел давешний смешливый офицер.

— Ваше превосходительство, на улице собрались киргизы, просили доложить...

— Какие еще киргизы?

— Да богачи из какого-то Уила. Пятьсот баранов с собой пригнали. Говорят, в дар армии Колчака. Вы их примете?

— Нет. Передайте от меня благодарность и отправьте с богом.

— Слушаюсь, ваше превосходительство.

Повернувшись к Еламану, генерал Чернов сначала пристально посмотрел ему в лицо, на котором вдруг почему-то промелькнула улыбка, и опять вспомнил первый вопрос.

— Так вы говорите, что народ ваш больше всего любит скотоводство?

— Нет.

— А что же, в таком случае?

— Равенство.

Чернов хмыкнул. Что творится с народом! И голод могут терпеть, и холод выносить, а вот равенство и свободу подавай каждому. Даже этим степнякам вдруг понадобилось равенство. Что творится, бог ты мой!..

V

Генерал Чернов приехал в Омск ранней весной. Тяжелый, сплошной сибирский наст, всю зиму крепко прикрывавший промерзшую землю, распарывался теперь, будто взрываемый изнутри. Ноздрел и оседал снег, глазурью блестевший только на северных склонах сопок. Зато на солнечных сторонах оврагов и пригорков вдоль насыпи дымились уже бурые проплешины. В оврагах и низинах под наметанным на зиму снегом бурлили ручьи.

От самого Харбина Чернов так и не поспал как следует. Он опомниться не мог от радости, что кончилась наконец его эмигрантская тоска и что после двухлетних мытарств на чужбине бог привел снова свидеться с родиной. Опять он встретится со всеми теми, с кем разлучил его вихрь времени, снова обнимет испытанных боевых друзей, с которыми пережито столько боев на всевозможных фронтах, и, что бы ни случилось отныне, они вместе будут биться до последней капли крови, до последнего вздоха за правду и за святую Русь.

Предстоящая радость лишала его сна. А когда поезд стал подходить к русской границе, он места себе не находил. Измученный, он заснул вдруг, как засыпает внезапно ребенок, а проснувшись, увидел, что за запотевшим окном занялась уже заря. Чернов жадно прильнул к окну и ничего не увидел из-за тумана. Солнца не было видно, время нельзя было определить, и от этого, от неразличимости всего окружающего казалось, что небо хмуро, покрыто тучами и все леса на бегущих сопках наполнены мглой. Только часа через полтора, когда солнце стояло уже довольно высоко, туман

разошелся, открылось небо, и стало веселее. Но и теперь еще в распадках и оврагах, в тайге и в сквозных перелесках, мимо которых мчался поезд, держался молочно-белый туман.

Чернов не отрываясь смотрел в окно. От его дыхания стекло потело, и он, словно мальчик, тут же протирал его ладошкой и опять глядел. Земля, казалось, навсегда погребенная под снегом, теперь оттаивала, курилась, бесстыдно обнажалась и набухала.

«Вот и земля как человек!— думалось Чернову.— Словно добрая здоровая баба, когда ей захочется рожать. Как бы ни сдерживала она себя, как бы долго ни дремала, наступает минута, когда все расцветает, наливается соками и наряжается. Нет, никогда не стареет земля, а возрождается, обновляется каждый год, и так из века в век, и каждый раз по веснам становится молодой и нарядной, как невеста. А ты...» И Чернов оглядел унылое, неуютное купе. Его попутчик, ехавший с ним вместе из Харбина, спал, отвернувшись к стенке. Из соседнего купе доносился чей-то равномерный беспечный храп. Внизу, под вагоном, бешено перестукивали колеса. Поезд мчался на запад.

Почувствовав озноб, генерал накинул на плечи шинель. Поезд между тем стал замедлять ход и остановился на какой-то убогой станции, затерявшейся в глуши необъятных лесов.

«Слава богу! Вот и дожил до того дня, когда снова ступаю на русскую землю!»— думал Чернов, выходя и спускаясь по вагонным ступенькам. Едва спрыгнул он на землю, как сердце его сладко заныло. На воздухе было свежо и резко пахло весной. Чернов повернулся лицом к ветру и стал жадно дышать, до ломоты в груди.

После двух дней шума и стука колес его поразила великая тишина, застоявшаяся над маленькой станцией. Чернов оглянулся, потом посмотрел себе под ноги. Сердце его опять дрогнуло, и ему захотелось вдруг опуститься на колени, пощупать все эти камешки, разгрести их, набрать в ладони этой сырой земли. Он медленно наклонился — что-то непривычно слабым стало его тело,— но тут же отдернул руку и выпрямился. Он заметил, что с вагонной площадки за ним насмешливо наблюдал пожилой проводник. Чернов смутился, легонько запел себе под нос марш Преображенского полка и пошел прочь. Камешек, который он только что хотел поднять с земли, весело прыгал впереди, подгоняемый носками его сапог.

Возле поезда не было ни души. В пяти-шести домишках станции все еще спали. Окна и двери были заперты, и сами домишки тоже, казалось, спали. И только в одном сарае, ближе всех стоявшем к железной дороге, беспокойно мычала корова. Чернов любил скотину — до революции у него было имение в Калужской губернии. И теперь он сразу догадался, что это мычит недоеная первотелка. У первотелок небольшое вымя, а молока много, и, если их не подоить вовремя, они мычат и ревут на всю округу.

Поезд стоял на станции долго — брали воду. Генерал, по-преж-

нему напевая себе под нос, прохаживался вдоль вагонов. Он старательно обходил весенние лужи, но все-таки иногда попадал в воду, и сапоги его промокли, но холода он не ощущал. Сарай, из которого слышался рев коровы, густо был обсажен смородиной и вишней. Ветви кустов и деревья казались темными и тяжелыми от сырости. Когда Чернов вышел из вагона, смородина и вишни были облеплены оживленно чирикающими воробьями, потом их что-то спугнуло, и воробьи, как всегда державшиеся дружной стайкой, разом вспорхнули. Со вздрогнувших веток посыпались холодные крупные капли. Крыши вагонов, отсыревшие от росы, тоже были мокры, и с них капало, и далеко и звонко было слышно, как капли тукали о землю. «Все так же, как там, в Маньчжурии!— с внезапной тоской подумал генерал.— То же небо, та же земля, та же капель... И в Маньчжурии сейчас весна, и так же чирикают оживленные воробьи, и оседает по полям снег, и так же темнеют по сторонам мокрые от тумана леса. И та же унылая жизнь!»

Паровоз впереди сипло рявкнул, и поезд сразу тронулся.

— Эй, эй! Отстанете!— крикнул проводник.

Вагоны уже плыли мимо, и Чернову пришлось догнать рысцой свой вагон. Он старался не глядеть на проводника, который стоял на подножке и не думал протянуть ему руку. Чернов знал, что теперь на его родине генералы не в почете. «Но неужели,— с досадой думал он,— не осталось людей, которые уважали хотя бы седую голову?»

— А вы ничего, бодрый,— то ли одобрительно, то ли насмешливо сказал проводник, когда Чернов, запыхавшись, поднялся наконец на площадку.

Чернов, не отвечая и не взглянув на проводника, прошел к себе. В купе все на том же боку лежал и все так же спал его попутчик. Грузное, дородное тело его в такт движению подрагивало на полке, и он сладко посапывал во сне, наполняя купе запахом спящего человека. «Счастливая душа!»— подумал Чернов.

Хотя генерал Чернов приехал издалека, с чужбины, однако осведомлен о здешних делах был хорошо. Он знал, что кратковременное весеннее наступление Колчака начинало выдыхаться. Знал он также, что красным удалось разбить колчаковские войска под Бугульмой, что разбитые войска отступают и красные преследуют их по пятам. Все это он знал, но не удивлялся, потому что знал также, что война состоит не из одних побед, но и из поражений. Удивляло генерала другое: с тех пор как приехал он в Омск, дня не проходило, чтобы все газеты, выходившие в городе, не расхваливали на все лады непобедимую армию адмирала. И в верховной ставке только и разговору было, что о победах и о скором падении большевистского режима.

Генерал Чернов недоумевал. Он не знал, чему верить — слухам

с фронтов, известиям о поражениях или разговорам в ставке и газетам. Чернов был боевым генералом и много испытал на своем веку. Он участвовал в двух войнах — русско-японской и русско-германской. Он считал своим долгом быть на передовых позициях и потому не любил штабных офицеров и не верил им. Штабисты, по его убеждению, способны были на самые фантастические выдумки, чтобы только представить начальству положение дел в самом прекрасном свете.

Через несколько дней по приезде встревоженный Чернов поехал на прием к Колчаку.

— А, генерал! Добро пожаловать. Рад познакомиться с вами!— крепко пожимая руку, усадил его Колчак в кресло.— Ну рассказывайте. Как доехали?

— Да что говорить. По нынешним временам, доехал — и слава богу!

— Да, да... Вы правы, времена крутые.

— Не знаю, как кто, а мы ко всему притерпелись,— сказал Чернов, под «мы» подразумевая харбинцев, и вдруг усмехнулся.

Колчак слыл человеком от природы простодушным. Однако раньше, когда он был командующим Черноморским флотом, эта черта характера не казалась недостатком ни другим, ни тем более ему самому. В любом обществе держал он себя непринужденно. Но, оказавшись по воле судьбы, правителем России, он заметно переменился. Теперь говорить, отвечать на вопросы других, шутить или смеяться шутке ему приходилось осторожно — нельзя было забывать о своем сане. Невозможность быть самим собой его часто тяготила. Вот и теперь, на мгновение забывшись, он подхватил было усмешку генерала и засмеялся сам, но тут же спохватился.

— Ничего, терпеть, я полагаю, осталось недолго. Вот подавим бунтовщиков и наведем в России порядок. Простите,— Колчак тяжело повернулся, протянул руку к затрещавшему телефону.

Чернов с удовольствием отметил про себя, что Колчак оживлен и бодр. Он не увидел в его лице ни тени тех тревог и сомнений, которые неотступно мучили его самого. Но, быть может, этот бодрый тон выдерживал он специально для генерала, приехавшего из Харбина? Нет, вот и по телефону адмирал разговаривал уверенно и даже как бы радостно.

— О будущем не беспокойтесь, хлеба достанет всем. Имейте в виду, что нынешний урожай всего Поволжья наш! Вот только как там нынче с дождями?..

«Я мнителен, наверное, и дела наши не так уж плохи. Что ж, дай бог, дай бог»,— с надеждой думал генерал Чернов. Дурное настроение его стало рассеиваться, и, заметно приободрившись и оживившись, он с интересом, даже с любовью стал рассматривать адмирала. Теперь он досадовал на себя, что отбился от своих и так долго находился не у дел. Его охватило вдруг страстное желание быть полезным всем начинаниям верховного правителя и весь оста-

ток жизни посвятить великому делу освобождения родины. И ему захотелось сказать адмиралу, что с этой минуты он верный исполнитель его воли.

Но, как назло, в кабинет вошел адъютант, и не успела закрыться за ним дверь, как вошел еще один адъютант, и оба с большими красивыми папками вытянулись перед Колчаком, преданно глядя ему в глаза и ожидая разрешения говорить. Оба адъютанта были стройны, выхолены и одеты с иголочки. Серебряные шпоры их позванивали при малейшем движении. В лучах солнца, косо падавших в большое окно, ярко поблескивали их аксельбанты и начищенные пуговицы.

Генерал Чернов насупился. Адъютанты, не желая замечать его хмурого вида, дополняя друг друга, стали читать из своих папок верховному правителю. И чем больше и скорее читали они, тем очевиднее становились успехи и победы на всех фронтах, тем явственнее видны были те меры, которые были уже приняты или еще принимались для решительного удара, для окончательной победы над врагами России в наиближайшее время.

Генерал Чернов слушал их доклад, видел, что в то время, как докладывал один, другой поправлял аксельбанты и незаметно одергивал мундир, стараясь выглядеть еще элегантнее и ухоженнее, и, наоборот, когда умолкал первый докладывающий и начинал докладывать другой, то прихорашиванием занимался первый. Слушая и глядя на них, он видел, что для них важнее собственные персоны, чем действительное положение на фронтах, и начал краснеть от гнева и думать: «Все эти штафирки — мразь!»

Выговорив все, что у них заготовлено было и что должно было успокоить и обрадовать верховного правителя, адъютанты, по-прежнему не взглянув на генерала Чернова, вышли.

— Ну вот видите, генерал, дела наши, слава богу, идут хорошо. Очень вовремя, очень кстати приехали, генерал,— бодро сказал Колчак.

Генерал поерзал, не зная, как возразить. Кожаное кресло нервно заскрипело под ним.

— Простите, ваше высокопревосходительство, я далеко не так уверен в этом, как... ваши адъютанты,— он хотел сказать: «Как вы»,— но сдержался.

— Вот как? Не верите...— Колчак принужденно засмеялся.— Как я посмотрю, генерал, вы большой скептик?

Чернов начал было говорить о причинах своих сомнений, но Колчак не дал ему закончить:

— Чепуха! Простите... Вы только что приехали из Харбина, а я каждый день вижу людей, прибывших с фронта. У меня самые свежие вести, и я не имею оснований не верить им.

Колчак резко поднялся, показывая этим, что разговор ему неприятен и что он не намерен слушать мнения непосвященных людей и тем более унылых скептиков, во всем видящих одно плохое и не

знающих того, что знает он. Обиженно выпятив подбородок, он зашагал по широкому, просторному кабинету, одну стену которого целиком занимала картина Российской империи.

Генерал Чернов сидел, тяжело утопая телом в мягком кресле. «Скептик!»— с горечью повторил он про себя. После позорной русско-японской войны, когда он стал осторожен в оценках так называемых славных побед русского оружия, ему часто приходилось слышать подобные упреки в свой адрес. Сначала, помнится, его как-то задевало это, потому что он считал себя настоящим русским патриотом, но потом он привык. Мало того, со временем ему стало казаться, что сомнение, трезвость и осторожность в оценке своих сил — прирожденное свойство его характера, и упреки в скептицизме он стал пропускать мимо ушей.

Не обиделся Чернов и теперь. Усмехаясь про себя, он смотрел, как перед ним расхаживали длинные, плохо гнущиеся в коленях адмиральские ноги в черных шевровых сапогах. «... А ноги-то у него журавлиные!— удивился он.— Плохо таким ногам на палубах кораблей». Молчание адмирала все же угнетало его, и он не поднимал низко опущенной головы, пока Колчак наконец не сел.

Раньше Чернов много слышал о Колчаке, но встретился с ним впервые. До революции служили они по разным ведомствам. А после свержения царя жизнь для Чернова, казалось, лишилась всякого смысла. Остаток жизни он решил провести в забвении, подальше от дел, от сослуживцев, подальше от всего этого чудовищного развала и уехал за границу. Он так не хотел ни о чем слышать, не хотел знать ни прошлого, ни настоящего, что уехал сначала в Японию. Но в Японии он не выдержал долго, затосковал и скоро переселился в Харбин, чтобы быть хоть немного ближе к своей несчастной родине.

Колчак в это время тоже был в Харбине. Убедившись, что монархия не восстанавливается, не видя смысла в продолжении войны с Германией, адмирал покинул Черноморский флот.

Но и в Харбине Чернов не встретился с Колчаком — у них были разные дороги, и во встрече не было необходимости. Наконец судьба свела их в Омске, и после полуторачасовой беседы с верховным правителем Чернов сдержанно простился с ним и хмуро вышел.

Верховная ставка кишела народом. Переваливаясь и сопя, ходили из кабинета в кабинет тучные интенданты, пробегали по коридорам молодые, ловкие офицеры. Совсем еще зеленый прапорщик с военной картой в руках, взбегая через две ступеньки вверх по лестнице, налетел на спускавшегося вниз Чернова. Ни чин генерала, ни возраст человека, с которым он столкнулся, не смутили прапорщика. Не извинившись, недовольно чертыхнувшись себе под нос, он стремительно помчался дальше по своим важным делам.

Чернов почувствовал, как его охватывает тупое безразличие ко всему, что происходило вокруг. Вспомнился ему внезапно старый друг, генерал Рошаль, так же, как и он, приехавший недавно из

Харбина. Рошаль тоже не был склонен трубить в фанфары по поводу каждой сомнительной победы, и его тоже, как и Чернова, обвиняли в скептицизме, в неверии в здоровые силы. Но в отличие от Чернова Рошаль не был одинок — вместе с ним жил сын, хороший образованный офицер...

На улице было ветрено. Чернов поплотнее закутался в шинель. Снег таял. Особенно быстро он растаял на главных улицах, по которым без конца в строю и просто группами ходили солдаты, ездили всадники и заляпанные глиной извозчики. Местами даже в центре города была непролазная грязь. Хоть весна взялась дружная и теплая, но сегодня дул пронизывающий северный ветер, проникал под шинель, и Чернов, поеживаясь, поднял воротник.

Он ехал в мягко пружинящем на рессорах фаэтоне и вздрагивал каждый раз и брезгливо морщился, когда на него брызгало грязной талой водой из-под копыт лошади. Он оглядывал улицы, по которым проезжал, и видел все военных, военных в английских шинелях, среди которых даже странными казались обыкновенные прохожие.

Город был грязен. Убогие, облезшие дома темнели своими потными окнами. Уныло торчали вдоль улиц взбитые снегами и ливнями тополя с раскоряченными, будто клешни рака, голыми ветками. И почему-то ни из одной трубы не шел дым.

Чернов сдвинул брови и прикрыл глаза, чтобы не видеть все это убожество. Он весь сжался и даже по-детски втянул в плечи свою сухую длинную шею. Он думал то об этом грязном городе, превращенном в столицу, с его бедными обывателями, с войсками, наполнявшими его, то мысли его опять возвращались к верховной ставке. И тогда перед ним начинали мелькать сипящие, отдувающиеся, сытые интенданты, молодые наглые офицеры, просторные коридоры, светлые кабинеты, мягкие кресла, Колчак, вышагивающий по-журавлиному... Адмирал! Верховный правитель!

Но не только в этот день не мог Чернов составить себе определенного мнения о Колчаке — это было бы самонадеянно,— не мог он составить его и потом. Адмирал, несмотря на то, что прошел суровую военную муштру, возглавлял экспедиции, корабли, флот, казался человеком исключительно простодушным. Даже в его плотном черном адмиральском мундире с тяжелыми золотыми погонами отсутствовала ожидаемая величественность. Чернову казалось иногда, что вчерашнему адмиралу, не знавшему другой жизни, кроме жизни на море, среди моряков, управлять сегодня самой большой, нелепой и самой противоречивой на свете страной, казалось, и в самом деле было не по силам. Как будто забравшись сначала на головокружительную высоту, он не знал теперь, как оттуда спуститься, растерянно оглядывался кругом и с тайной надеждой смотрел на каждого нового человека, как бы моля его о помощи.

Но, несмотря на свое кажущееся простодушие, доходившее до рассеянности и потворства подчиненным, человеком Колчак был

крайне вспыльчивым и невоздержанным в гневе. Часто он был мелочно суетлив и нетерпелив и лишался всякого покоя, пока не осуществлял задуманного. И неожиданно странная манера была у него выслушивать собеседника. Серые блестящие глаза его прищуривались, по тонким губам бродила неопределенная усмешка, и собеседник его начинал невольно путаться в мыслях, подозревая: «А не смеется ли он над тем, что я говорю?»

Впрочем, между Черновым и Колчаком скоро установились добрые отношения. Чернов сначала был назначен главным интендантом верховной ставки, но уже через две недели Колчак сделал его заместителем военного министра. Несмотря на свои немалые уже годы, Чернов взялся за дело с юношеским пылом. Прежде всего он объездил все войска, чтобы собственными глазами убедиться в положении на фронте. Он скоро понял, что после разгрома под Бугульмой армии Колчака грозил полный развал. Дела с каждым днем шли все хуже: в войсках не было подъема, закрепиться нигде не удавалось, солдаты не хотели воевать, а красные все усиливали наступление. В армии процветало воровство — воровали все, кто только мог и умел, даже скудный солдатский паек, пока доходил до ротного кашевара, уменьшался наполовину. Армия поражена была еще и другой бедой. Многие офицеры, не желая расставаться с семьями, возили их с собой. Богатые трофеи, захваченные во время наступления, заполонили все обозы. Особенно много было вещей у высшего офицерского состава — каждого из них сопровождал целый обоз награбленного добра. Для истощенной, изнуренной боями и отступлением армии обозы эти обернулись теперь настоящим бедствием. Особенно тяжелы были переправы через реки. У мостов скапливались войска, а офицеры в первую очередь старались переправить свои семьи и свои обозы. И если в это время к переправе подходили части красных и начинали обстрел, среди отступавших творился сущий ад. Солдаты бросали оружие и кидались вплавь, чтобы только не попасть в руки красных. Войска переправлялись в конце концов и уходили, но на мостах оставались брошенные орудия, тачанки с пулеметами, пароконные фуры со снарядами...

Вернувшись в Омск, Чернов подобно доложил обо всем Колчаку. Колчак фыркал своим большим носом, свирепел и наконец раскричался:

— Да их всех... Всех этих... расстрелять мало!

Чернов усмехнулся про себя и, переждав адмиральские раскаты, заметил, что если расстреливать всех виновных, то армия останется без руководства.

— Да, да... Я погорячился, генерал, вы правы. Но что, что же делать?

— Нужно запретить семейные обозы.

— Прекрасно! Вот и запретите.

— Для этого нужен ваш приказ.

— Ну хорошо, составьте приказ, я подпишу. Да, я подпишу!

Приказ, подписанный Колчаком, Чернов распорядился доставить в армии аэропланом. Но уже на третий день утром Колчак вызвал Чернова к себе.

— Послушайте, генерал,— хмурясь заранее оттого, что предстоял неприятный разговор, начал Колчак.— Оказывается, в армиях не так уж много этих семейных обозов, как вы изволили мне докладывать.

— Но, ваше высокопревосходительство, инспектируя войска, я все это видел сам.

— Да, да. Но вот мне доносят штабы армий... И наконец, трогать семьи и личные обозы отдельных военачальников,— Колчак нажал на слово «отдельных»,— я считаю нецелесообразным. Пойдут обиды, знаете ли...

— Я вас понимаю, но...

— Нет, генерал, вы меня поймите. Вот мне жалуются на вас...

— Возможно,— уныло согласился Чернов.

— Да, да. Вы, оказывается, объехавши все войска, доброго слова никому не сказали. Да-с!

Чернову вдруг захотелось курить, он похлопал по карманам и поморщился — забыл папиросы в шинели. Колчак замолчал и вопросительно смотрел на Чернова, ожидая его оправданий. Чернов не поднимал на адмирала глаз.

— Я на вас тоже в обиде, генерал,— добавил совсем по-детски Колчак и посопел, пофыркал носом.

— Понимаю,— Чернов насупился.— У вас папиросы есть?

— Пожалуйста.

Чернов закурил и заметил, как от гнева, который он сдерживал и не мог выразить, дрожит его рука.

— Благодарю. Ваше высокопревосходительство, позвольте обратиться с просьбой.

— Да. Слушаю вас...— Колчак жалел уже, что говорил резко.

— Хочу просить вас об отправке меня в действующую армию.

— Ну, ну, голубчик,— смущенно забасил адмирал.— Вы мои слова не принимайте к сердцу.

— Нет, ваше высокопревосходительство, уж позвольте настаивать на моей просьбе.

Колчак распорядился принести чаю. За чаем он заговорил о постороннем, но Чернов хмурился, отмалчивался, всем своим видом как бы говоря, что он ждет решения. Поняв, что отговорить генерала не удастся, Колчак назначил его командующим Южной армией.

С тех пор прошел месяц. Чернову одно теперь было важно, что он сам себе хозяин, что и Колчак и ставка остались далеко. Но дела в армии были плачевны. Отделенная от Омска огромным расстоянием, армия с каждым днем все хуже и хуже обеспечивалась продовольствием. Из-за непрерывных боев все острее чувствовалась нехватка боеприпасов, которые доставлялись с перебоями. Все это

удручало Чернова, он слал в Омск донесение за донесением, в ответ получал одни обещания и обрадовался поэтому, когда его вдруг вызвал к себе Колчак.

Он приехал в Омск днем, а вечером началось заседание совета министров. На заседании присутствовали командующие всеми тремя армиями. Уставший с дороги генерал Чернов то и дело задремывал. Заседание окончилось далеко за полночь. Разминая затекшие ноги, Чернов вышел на улицу и в первую минуту ничего не мог разглядеть со света. Но мало-помалу глаза его привыкли к сумеречному свету уличных фонарей, и он стал смотреть, как министры рассаживались по машинам, ждавшим их у подъезда. Поглядев, как разъезжаются автомобили, генерал Чернов пошел пешком. Приземистые дома грязного города давно спали. Ставни были плотно закрыты. До рассвета было недалеко. После духоты зала заседаний предутренний холодок был приятен. На улицах не было ни души, лишь изредка попадались конные патрули. Но ни один из них не остановил Чернова и не обратил на него внимания. Подремывая в седле, патрульные медленно проезжали навстречу, всем своим видом как бы говоря: «Ты меня не беспокой, ты мне не нужен». Только копыта коней звонко цокали по булыжной мостовой.

«Никому ни до чего нет дела!»— невесело думал Чернов, снова и снова вспоминая заседание совета министров и всех присутствовавших на нем сытых, заплывших жиром, озабоченных только собственным благополучием людей. Что бы они ни говорили и как бы ни несогласен был с ними Чернов, он решил молчать, потому что главным полагал только состояние армии и за этим приехал, об этом хотел говорить с Колчаком. Он один сидел понурый и равнодушный и часто задремывал, и тогда седая голова его с поредевшими на макушке волосами опускалась на грудь. «Хоть бы скорее все кончилось»,— с тайной тоской думал он.

В конце совещания стали обсуждать вопрос о приезде в Омск послов союзнических стран. Уже несколько дней по городу из дома в дом бродили слухи о визите иностранных послов. Все придавали огромное значение этому визиту и ждали перемен. Встречаясь на улице, знакомые вместо обычного приветствия радостно спрашивали: «Вы слышали? О послах?»

Но когда об этом заговорил на заседании Колчак, члены правительства замолчали, не зная, какое значение следует придать этому событию. Чернов очнулся, поднял отяжелевшие веки и вдруг увидел, как сосед его, министр торговли, будто от удара, втянул плешивую голову в плечи, заскрипел креслом, набрался духу и вскочил.

— Господа...— громко и радостно вскрикнул он.— Господа, это великолепно!— И тут же посмотрел на Колчака, как бы спрашивая, хорошо ли то, что он крикнул.

Министр этот вообще был угодлив. Стоило нахмуриться Колчаку, хмурился и трепетал министр. Колчак улыбался — министр хо-

хотал и светился радостью, будто был в эту минуту самым счастливым на свете человеком.

«О господи! Да это старая жирная болонка на задних лапках»,— поморщился Чернов. И что сделалось с Колчаком? Как он может держать при себе подобные ничтожества? Неужели для того только, чтобы самому ярче выделяться среди этих ничтожных людишек? Или он держит его из-за красавицы жены?

Чернов не выдержал и громко крякнул, заворочавшись в своем кресле, и тотчас поймал на себе несколько осуждающих взглядов. Но ему теперь было не до того, кто как на него смотрит. Он поглощен был горестными мыслями. Этих приезжающих послов нужно было бы ждать совсем с иными целями. Облеченные чрезвычайными полномочиями своих правительств, увидев действительное положение дел, послы могли бы оказать настоящую помощь.

И не лучше ли было бы на этом заседании говорить о трудностях, испытываемых армией и населением? Население голодает, армия измучена и деморализована. Мужиков держат в покорности лишь с помощью оружия. Леса переполнены бандами, которых красные называют партизанами. Сверху донизу все поражено воровством, подкупами и прямым мародерством. Ораторы, члены всяких партий, мутят население, натравливают людей друг на друга. Почему обо всем этом не заботится Колчак? Или по примеру всех диктаторов, за короткое время поднявшихся на головокружительную высоту, он не замечает копошащихся у его ног маленьких людей?

Но раз уж едут такие редкие гости — чрезвычайные послы Англии, Японии, Франции, Америки,— если удача сама идет в руки, неужели не использовать момент, и не поговорить с посланниками о своем тяжком положении, и не потребовать у них помощи?

Да нет, куда там, государственные мужи затеяли оживленный разговор о том, как встретить высоких гостей и какие именно почести им воздавать. Пустились вдруг в воспоминания о торжествах и приемах при покойном государе в честь того или иного наследного принца. Потом принялись перебирать подходящие дома, где бы можно хорошо поместить гостей, и занимались этим долго, потому что найти хороший дом, не говоря уже о роскошном, в этом захолустном грязном сибирском городе было нелегким делом. Наконец, перебрав много домов, остановились на нескольких самых приличных и стали думать, где взять ковры, вазы и мебель, чтобы обставить квартиры. Потом начали сравнивать самые богатые дома Омска, долженствующие стать резиденциями послов, с великолепием императорских апартаментов в Зимнем дворце, и в Царском селе, и в Красном, и в Петергофе. Потом заговорили о предстоящих парадах и обедах, и каждый старался вставить свое слово, каждый вдруг оказался знатоком и гурманом, каждый, едва выслушав другого, торопился поделиться своими соображениями. Лысины блесте-

ли под люстрами, шеи наливались кровью, гул голосов стал громким до непристойности.

С заседания совета министров генерал Чернов ушел подавленный. Ни сам Колчак, ни его министры, ни содержание их речей не удовлетворили его. Он не увидел озабоченности, деловитости, ума, а увидел карьеризм, глупость и равнодушие и возненавидел их, и единственное, что не позволило ему тотчас оставить армию, это честь и долг, как он их понимал.

Пока Чернов был в Омске, Колчак поставил перед Южной армией новые стратегические задачи, приказав круто изменить направление наступления. По приказу Колчака армия генерала Чернова должна была теперь как можно дальше углубиться в необъятные казахские степи. Но чтобы продолжать свое продвижение в степях, Южной армии предстояло захватить город Орск, этот своеобразный степной форпост.

До этого Южная армия продвигалась вперед довольно легко. Однако под Орском белые натолкнулись вдруг на бешеное сопротивление. Красные, хорошо укрепившие город, встретили части Южной армии гибельным огнем. Сколько раз ни бросались в атаку на Орск все новые и новые части, огонь красных не только не слабел, а как бы даже усиливался...

Генерал Чернов в ярости отправился назад в ставку. Он ехал, страдая от бездарности приказа, бросившего его армию в безводные степи, и думал, что единственный человек, который должен понять его и помочь ему, был давнишний друг, вместе с ним приехавший из Харбина, генерал Рошаль. Рошаль, как и Чернов, был одним из немногих генералов, которые после неудачного весеннего наступления настойчиво советовали решительно изменить военную тактику. Рошаль много раз говорил, что оставлять Южную армию отрезанной от остальных войск гибельно, что сейчас против красных следует выступать единым фронтом, что единственная разумная тактика в сплочении всех сил. Его не слушали, его голос был гласом вопиющего в пустыне. Мало того, самые бездарные офицеры, окопавшиеся в ставке и имеющие о войне отдаленное представление, поднимали его на смех, как и Чернова, называя скептиком и старым брюзгой.

Когда генерал Чернов открыл дверь кабинета Рошаля, старый друг его тяжело ходил из угла в угол. Увидев Чернова, Рошаль побагровел.

— Вы знаете, надеюсь, новое распоряжение относительно вашей армии?— спросил он, тяжело подвигаясь навстречу входившему Чернову.

— Знаю. Я как раз и прибыл сюда, чтобы...

— А я знал, знал, что произойдет какая-нибудь гнусность.

— Да, но какая причина была, чтобы толкнуть мою армию на это безумство? Кому это пришло в голову?

— Господи, вы еще спрашиваете кому!

— Колчаку?

— Конечно! Ведь все главные приказы исходят от него.

— Не понимаю. Колчак военный человек. Он же должен понимать, что отрывать в такой момент целую армию от основных сил — значит обрекать себя на неминуемую гибель!

— Я думаю, что Колчак понимает все это не хуже нас с вами. Дело тут совсем в другом.

— В чем же? Ничего не понимаю,— Чернов беспомощно посмотрел на Рошаля.— Разве у нас сейчас не одна цель? Мы должны остановить красных и сами перейти в контрнаступление. Если мы не захватим Самару и Саратов и нынче же не соединимся с Деникиным, все наши надежды пойдут прахом!

— Н-да-с... Надежды у вас большие...

— Нет, но вы-то какого мнения?

— А! Разве от вас или от меня что-нибудь зависит?

— Что же делать в таком случае? Соглашаться с любой глупостью?

— А что мы еще можем? Вот мы с вами твердим, что необходимо все силы собрать в кулак. А нам в ответ именем Колчака приказывают продвигаться по Оренбургской железной дороге и через Ташкент, Бухару, Хиву добираться до Каспия. А приказы нужно выполнять.

— Да что нам делать в каспийских степях, когда опасность грозит непосредственно Омску?

— А вот об этом следует спросить Нокса.

— Выходит, это план не Колчака, а...

— Разумеется, не Колчака. У Колчака и над Колчаком есть Нокс.

Чернов изумленно посмотрел на усталое обрюзгшее лицо старого друга и машинально опустился в кресло. Так он долго сидел, потирая свой большой, изрезанный резкими складками лоб.

— Боже мой, боже мой! Но что же будет с нами? Ведь мы все погибнем в пустыне среди туземцев!

— Зато наши доморощенные наполеоны выполнят свое предназначение.

— Но неужели никто не хочет войти в наше положение?

— А! Нет горше глупости, аки глупость. Особенно глупость самонадеянная. Вместо того чтобы защищать уже завоеванное, нам, видите ли, нужно восстановить Российскую империю в ее прежних границах. Нам для этого нужна вся Средняя Азия, ни на аршин не меньше. Мания величия! Иллюзия великой державы!

— Что же делать, что делать, Николай Андреевич?

— Гм... Что делать!— Рошаль сердито покашлял.— Поезжайте назад, к своей армии.

— Вы правы, правы. Надо ехать. Только, Николай Андреевич...

— Да ничего я не могу, голубчик, поймите! Что от меня зависит? Не только власть, но и судьбы наши в руках этих... этих... — Он так и не нашел подходящего выражения.

— Хорошо. Но давайте сходим к адмиралу. Вдвоем нам, может быть, удастся его уговорить.

— Что толку? Заранее вам говорю, адмирал нас не поймет.

— Но почему же? Ему ведь скоро понадобятся войска для защиты Омска. Не так ли?

— Так-то оно так. Да вы поймите, голубчик, что... А, будь по-вашему, пойдемте поговорим. Сами убедитесь, что все напрасно.

Они пошли к Колчаку и, конечно, не застали его. Все эти дни адмирал с утра до вечера сопровождал союзных послов и в ставку возвращался уже поздней ночью. Генералы протомились в ставке весь день, проголодались и поехали наконец в небольшое кафе возле театра. Как ни хотели они поесть и отдохнуть, сидеть долго в кафе они не могли и скоро вышли.

После захода солнца не только грязные и темные окраинные улицы, но и главная улица Омска, Любинский проспект, становилась совершенно безлюдной. На высоких столбах вдоль проспекта редко мерцали тусклые фонари. Изредка встречались конные патрули, охранявшие покой города.

Чернов и Рошаль, думая каждый о своем, молча ехали по тихой ночной улице. Возле столба с фонарем генерал Чернов покосился на своего друга и увидел, как тот стар. Тяжелый двойной подбородок его, примявший воротник кителя, вместе с жирными плечами, вместе со всем грузным телом старого генерала мягко подрагивал от тряски фаэтона.

— Когда едете к армии?— спросил внезапно Рошаль, будто сам не знал этого.

— Завтра. Крайний срок послезавтра.

— Мой Евгений к вам просится. Я отговаривал,— Рошаль сморщился,— да все напрасно. Еду — и баста!

— Ваш сын мне всегда нравился, вы знаете.

— Не знаю, суждено ли нам встретиться,— глуховатым голосом произнес Рошаль и посопел.— Бог знает! Так пусть это будет моей последней просьбой: посмотрите за Евгением. Кроме него, у меня никого нет.

Чернов молча потискал колено старого друга и отвернулся моргая.

У подъезда дворца бывшего омского генерал-губернатора, где теперь располагалась ставка Колчака, навстречу им попалась Каргинская — известная певица и омская красавица. О связи ее с адмиралом знали все в городе, и те, кто не мог попасть по своим делам непосредственно к Колчаку, старались заслужить расположение Каргинской.

Как всегда обворожительная, поравнявшись с генералами, она

кокетливо повела в их сторону глазами, кивнула и, сияя белизной плеч, пошла к дожидавшемуся ее автомобилю. Рошаль догадался, что Колчак сейчас у себя. Оглянувшись на Каргинскую, он усмехнулся и тихо спросил у Чернова:

— Видели?

— Хороша!

— Вторая фигура в омском правительстве после Нокса вот эта дама.

— Что ж... Вполне возможно.

— Таков уж удел всех русских правителей: мужчины восседают на троне, а женщины управляют государством.

Едва генералы вошли в приемную Колчака, как из-за стола выскочил и вытянулся перед ними дежурный офицер.

— Адмирал у себя?

— Так точно. Но... придется подождать-с.

— Что такое? Занят?

— Совещается с Бобкиным.

Чернов крякнул, взглянул на высокую, неприступную теперь для них дверь и опустился на свободный стул. «Что ж, нужно ждать, что поделаешь»,— подумал он, чувствуя досаду против людей, уединившихся за этой плотно закрытой дверью. Но как бы он ни изнывал в ожидании, за дверью, по-видимому, никуда не торопились. Прошло уже около часа. Рошаль, опустив седую голову на грудь, давно задремал. Чернов, докурив третью папиросу, встал и, прохаживаясь перед дверью, стал вспоминать все слухи и разговоры о Бобкине. А разговоров было много. Одни говорили, что дед его был ссыльный поляк по фамилии Бонишевский. Бобкиным, по всей вероятности, стал уже отец нынешнего Вобкина. Кем был и что делал этот Бобкин до революции, никто не знал. Но когда Колчак стал главой омского правительства, на тусклом сибирском небосклоне взошла и засияла звезда этого, по-видимому, малограмотного, грубого, но предприимчивого человека. И хоть официальная должность Бобкина, ведавшего хозяйственными делами омского правительства, была более чем скромна, однако власть его была велика.

Несмотря на грубость и ограниченность, этот Бобкин наделен был незаурядным практическим умом и тонким нюхом, безошибочно угадывавшим жизненные перемены. Тогда как другие, растерявшись после свержения государя, или оплакивали погибшую монархию, или надеялись на какие-то социальные перемены, на какую-то демократическую республику, Бобкин сумел быстро, без громких фраз стать самым необходимым для Колчака человеком. Чернов знал все это, знал роль Бобкина, но никак не думал, что тот стал столь могущественным, что в его присутствии не принимают даже генералов, членов ставки.

— О боже мой!— вздохнул Чернов.— Что происходит в мире!

Как раз в эту минуту тихо растворилась высокая дверь. Бобкин вразвалочку подошел к Чернову:

— Э-э... как здоровьице, генерал, а?

— Благодарю вас.

— На вчерашнем банкете, чай, не были, а? Что-то я вас не приметил.

Рошаль нетерпеливо подвинулся к двери и кивнул Чернову:

— Проходите, пожалуйста.

Дежурный, казалось, дремавший до сих пор, вдруг опередил генералов:

— Одну секунду. Сейчас доложу.

Генералы невольно опять задержались у дверей. Бобкина, должно быть, рассмешила генеральская вежливость.

— Да идите, идите, чего там,— ухмыльнулся он.— Кроме самого, никого там нет, ступайте,— и пошел к выходу тяжелой, важной походкой, переваливаясь на своих коротковатых кривых ногах.

Колчак смутно темнел в глубине большого кабинета, только золотые адмиральские погоны его невесело светились на черном мундире. Уронив руки на колени, он устало смотрел на входивших генералов. «Ну что ж, слушаю вас, такова моя обязанность»,— как бы говорил весь его утомленный вид.

— Господин адмирал, вы, надеюсь, осведомлены о положении моей армии, — начал Чернов, чувствуя, как обида за армию и за то, что его заставили так долго ждать, переполняет его.

— Разумеется.

— Если план наступления не будет пересмотрен и моя армия не будет оттянута к Омску...

— Нет, нет, мне уже докладывали. Стратегические задачи диктуют нам как раз обратное, генерал.

— Но наше положение с каждым днем ухудшается, мы оторваны... Господин адмирал, если судьба вверила нам будущность России...

— Об этом не может быть и речи! Кроме того, я дал слово союзникам...

Чернов угрюмо наклонил голову, Рошаль покашливал, глядя в сторону.

— Вы, генерал, должны думать о том, как лучше выполнить план, разработанный генеральным штабом. Есть у вас просьбы?

— Если я буду выполнять план, моя армия с каждым днем все больше станет отрываться от тыла. Я уже не говорю о связи, которая, возможно, совсем будет прервана...

— Ах, боже мой, вы по-прежнему заражены скептицизмом! Как можно воевать с такими настроениями? На войне, знаете ли, не без трудностей, но нужно же верить в конечную победу. Так какие же просьбы?

— Нам уже не хватает оружия и боеприпасов. С продовольствием из рук вон плохо. Но бог с ним, с продовольствием, на этот раз я должен привезти хоть боеприпасов вдоволь.

— Хорошо, хорошо, будут вам боеприпасы, я прикажу.

— Боюсь, ваше высокопревосходительство, откладывать с доставкой оружия больше нельзя ни на день.

— Хорошо, я же сказал! Отправляйтесь к армии, следом за вами завтра же выйдет обоз со всем необходимым. Союзники, слава богу, нас пока не обижают...

Вспомнив о союзниках, Колчак почувствовал внезапно, как он устал. Все последние дни с утра до вечера проводил он с послами союзных держав, возил их на инспекционные смотры, присутствовал на бесконечных обедах, говорил бодрые речи... Теперь он вдруг сразу опустил плечи, прикрыл глаза и начал рассеянно барабанить пальцами по столу. Потом выпрямился и нахмурился.

— Кстати, генерал, я давно собирался вам сказать... Я недоволен вами. Да-с! Вы равнодушно относитесь к героизму вверенных вам войск. И в штабе у вас сидят одни бездельники. До сих пор я не видал ни одного списка, ни одного наградного списка отличившихся в боях солдат и офицеров.

— Виноват, ваше высокопревосходительство, до сих пор я озабочен был другим. Наградные списки будут вам тотчас доставлены.

— Нехорошо. Отличившихся необходимо отмечать.

Дверь отворилась, и в кабинет адмирала вошли заместитель военного министра и полковник Федоров, временно исполняющий обязанности дежурного генерала ставки. При виде Федорова Колчак сразу забыл обо всем и начал багроветь от гнева.

— Какой приказ был подписан мною о подполковнике Борисове? Я спрашиваю!

Несколько дней назад к Федорову поступил подписанный Колчаком приказ о присвоении мужу Каргинской Борисову звания полковника. Зная, что никаких заслуг перед русской армией у Борисова нет, кроме той, что он является мужем красивой женщины, Федоров рассудил за благо положить приказ в долгий ящик.

Вчера на банкете в честь союзных послов, целуя руку у Каргинской, Колчак увидел ее мужа, почтительно стоявшего позади.

— Что такое?— удивился адмирал.— А я надеялся сегодня увидеть вас полковником.

— Ах, адмирал,— улыбаясь, но со злыми нотками в голосе сказала Каргинская.— Николай не виноват, что вы не исполняете обещаний.

— Но здесь недоразумение, уверяю вас! Я распорядился...

— Значит, есть люди, не считающиеся с вашими распоряжениями.

— Гм... Вот как?

— Николай, как его... ну, этого противного человека?

— Федоров, ваше высокопревосходительство,— с тайным удовольствием, но в то же время как бы обиженно проговорил Борисов.

— Да, да, Федоров, противный,— вспомнила и Каргинская в то время, как Колчак, опять целуя и пожимая ей руку, бормотал, что все будет сделано.

— Так какой приказ вы получили о Борисове?— кричал теперь весь красный Колчак.

Побледнев, Федоров начал было говорить, что Борисов не заслуживает повышения в чине, но адмирал не дослушал его и ударил кулаком по столу.

— Молчать! Кто верховный правитель, вы или я? А?

Федоров молчал. Молчание его, казалось, еще больше взорвало адмирала. Вскочив, трясущейся большой рукой Колчак стал с треском рвать погоны на Федорове.

— Разжаловать...— задыхаясь, вскрикивал он.— На передовые позиции... В Азию! Обнаглел! Вы!— закричал он уже заместителю военного министра.— Вы мне отвечаете... Чтобы духу его не было в Омске! На фронт!

Чернову неприятна была эта сцена, но в то же время он и злорадствовал в душе. Он считал, что во всех неудачах на фронте виноваты такие вот штабные шаркуны. Это они, думал старый генерал, подсовывают Колчаку заведомо ложные сведения, им ничего не стоит положить под сукно тревожное донесение, просьбу о присылке вооружения. И не только Федорова, а всех этих изолгавшихся, пригревшихся на своих спокойных местах гнать надо на фронт! «Здесь легко оперировать приказами,— думал Чернов.— Легко кричать: Победа! Победа! А вот пусть-ка добудет эту самую победу! Да-с! Пусть добудет кровью!»

Федоров с посеревшим лицом, сутуля ободранные свои плечи, вышел, беззвучно прикрыв за собой дверь...

На другой день генерал Чернов отправился к своей армии. Из Омска выехал он поездом и, проведя день и ночь в дороге, на рассвете прибыл в Курган. Там его ожидала оставленная автомашина. Отдохнув с дороги и плотно пообедав на станции, Чернов поехал дальше уже на автомобиле. Его сопровождала небольшая свита, среди которой был и молодой ротмистр Рошаль.

Вспоминая прощание с генералом Рошалем, Чернов думал, что, даже когда сын его жил с ним, старый генерал был невесел. Теперь же, когда сын уехал далеко, у бедного отца, должно быть, кошки скребут на душе. Прощался старик Рошаль с сыном так, будто никогда уже больше не суждено было им встретиться.

Они ехали не останавливаясь, но вперед продвигались медленно. Дорога была отвратительная, автомобиль прыгал, трясся и скрипел и из-за ухабов никак не мог набрать хорошей скорости. Кроме того, чем ближе они подъезжали к передовым позициям, тем чаще дорога оказывалась запруженной обозами с ранеными и отступающими частями. Среди бесконечной вереницы бредущих навстречу солдат то и дело попадались обозы, груженные какими-то вещами, полевые кухни... Кроме генерала Чернова, никто не ехал на запад, весь этот поток людей стремился на восток. Никому не было дела

до будущего России, никто, казалось, не думал о своем гражданском долге. Что же происходило на земле?

Низко надвинув фуражку, Чернов из-под козырька пристально вглядывался во встречных. А навстречу брели уже беженцы — семьи офицеров, крестьян. Почти все они шли пешком, гнали голодную скотину. Не лучше было и тем, кто сидел на грязных подводах; подпрыгивая на кочках, тоскливо съежившись, безучастно поглядывали кругом измученные женщины и дети.

Чернов знал, конечно, что две другие армии Колчака отступают, но никак не предполагал, что дело обстоит так худо. По всему было видно, что у отступающих войск не было уже сил противостоять преследовавшим их красным и что теперь они вряд ли остановятся до самого Омска. Чернов опять подумал о союзных послах, что недаром, видно, так спешно покинули они сибирскую столицу. Неужели они первые почувствовали, что карта Колчака бита? Но такова уж природа людей, редко кто, еще вчера пресмыкавшийся перед тобой, не отвернется от тебя в трудный час. Видно, закатилась звезда Колчака и прошло его время...

Раны Чернова, полученные им на двух войнах, давно уже не напоминавшие о себе, начали вдруг ныть. И еще отвратительней сделались ему весь этот безумный мир и суетная жизнь, которой он жил все эти годы. Один вопрос бился в нем неотступно: зачем? Зачем?

Государя нет более, весь привычный уклад жизни разрушен, как будто разворочено теплое, уютное гнездо. Дни Колчака — последней его надежды — сочтены. Жена и дочь остались в Петрограде, давно уже не было от них никаких вестей, и неизвестно было, живы ли они. И Чернов даже порадовался слабо, что уехал из Омска. «Хорошо сделал, умно поступил! Все-таки поближе к армии, к солдатам. А там... ни черта не знают и не умеют. Хорошо, хорошо, лучше подальше от них»,— облегченно думал генерал, и ему хотелось перекреститься — дальше что бог пошлет!

На третий день утомительной езды они круто свернули на юг и начали углубляться в бесконечные степи. Чернову казалось уже, что он проехал полсвета, пока добрался до своей армии.

Захватив через два дня Орск, Южная армия стала занимать казахские земли. Чем дальше и шире захватывали они эти печальные бескрайние степи, тем слабее и случайнее становилось сопротивление красных. Чернов не сомневался больше, что не сегодня-завтра его армия возьмет Актюбинск. Офицеры его штаба опять повеселели и все чаще стали поговаривать о скором захвате всей Средней Азии. Один Чернов помалкивал. Со дня приезда из Омска его не покидало мрачное расположение духа. В свите его поговаривали, что у командующего после простуды разболелись раны...

VI

Под Актюбинском вопреки предположениям белого командования красные оказали вдруг яростное сопротивление. Особенно хорошо дрались рабочие отряды. И только когда многочисленные белые полки стали окружать город, красные вынуждены были отступить. Передовые части Южной армии вошли в Актюбинск.

Молодой горячий адъютант, тот самый, что смеялся над Еламаном, примчался прямо с поля боя и осадил взмыленного коня перед генералом Черновым.

— Город взят, господин командующий! — радостно выпалил он.

Генерал приложил руку с камчой к козырьку фуражки.

— Поздравляю, голубчик! Благодарю за службу!

— Рад стараться, ваше превосходительство!

— Потери большие?

— Не думаю. Хотя точных сведений нет.

— Хорошо. Пленных много?

— Пленные есть. Я не успел справиться, господин командующий.

— Видели вы ротмистра Рошаля?

— Так точно! Все время был в первых рядах!

— Разыщите его и пришлите ко мне.

— Слушаюсь.

Молодой адъютант круто повернул коня и помчался назад, к городу. Генерал, не глядя на толпившуюся за ним и радостно переговаривающуюся свиту, слегка тронул белого своего аргамака шпорами. Аргамак, нервно поплясав, выправился и пошел таким крупным шагом, что свита, чтобы не отстать, вынуждена была перейти на легкую рысь. Среди свиты командующего находился и Еламан. Рза и Али, не отпуская его ни на шаг, ехали с ним рядом, стремя в стремя. Ссылаясь на заброшенные дела и семьи — свою и своих джигитов,— Еламан уже раза два принимался отпрашиваться домой, но генерал удерживал его. Сначала он хотел показать Еламана иностранным военным специалистам, инспектирующим армию Колчака. Но специалисты все не ехали, а дня два назад дошел слух, что они вообще не приедут.

Еламан вел себя сдержанно, будто его ничто не касалось, однако ухо держал востро. Всю дорогу он старался быть в свите генерала и внимательно слушал все разговоры и толки, которыми обменивались офицеры. Однако, кроме того, что из Омска в Южную армию выслан большой обоз с оружием и боеприпасами, он ничего не узнал. Пребывание Еламана в штабе Южной армии явно затягивалось, и Еламан думал, что Дьяков, должно быть, места себе не находит. «Как только вступят в Актюбинск, отпрошусь и уеду. Обязательно»,— твердо решил Еламан.

Впереди на дороге заклубилась пыль, и скоро стало ясно, что навстречу штабу кто-то скачет во весь опор. Молодой Рошаль на своей куцехвостой гнедой кобылке остановился прямо перед белым

аргамаком Чернова. Правая рука у Рошаля висела на перевязи, сквозь марлевую повязку просачивалась кровь.

— Прошу прощения, господин командующий.

Чернов, насупясь, молча послал своего аргамака вперед. Некоторое время он ехал, глядя прямо перед собой, потом слегка повернулся к следовавшему за ним с виноватым видом Рошалю и строго сказал:

— Ты же знаешь, что я отвечаю за тебя перед отцом. Лихим рубакой захотелось прослыть, геройствуешь? Рана серьезная?

— Чепуха. Кость цела.

— Потери у нас большие?

— Порядочные. Крепко дрались большевички.

— Пленных много?

— Да нет,— как-то неохотно протянул Рошаль.

Чернов кивнул и дал коню шенкеля. Рошаль, поспевая за ним, оглядывался.

— Кто это, Борис Викторович?— спросил он, заметив Еламана.

— Где? А-а... Наш союзник.

— Говорили, к вам приехал хан какой-то, это он?

— Что ж, чтобы польстить самим себе, можно его и так называть,— чуть улыбнулся Чернов.

Горечь, скрывавшуюся за этой улыбкой, Рошаль не уловил. С любопытством разглядывал он степного азиата, уверенно державшегося среди офицеров. Разглядывал и поражался: так вот какие ханы! Во всяком случае, наряжен этот азиат был по- хански, и фигура была у него хороша, и рост и усы прекрасны. Казалось, он ни на кого не смотрел и не замечал ничего вокруг, занятый своими думами, но что-то в его лице было настороженное, и взгляд был остр и зорок. «Вот оно, азиатское коварство!»— с удовольствием решил про себя Рошаль.

— Мурза!— позвал Чернов, оглядываясь на Еламана.

Еламан, слегка тронув повод, догнал, поравнялся с генералом.

— Познакомьтесь, мурза. Ротмистр Рошаль. Сын моего старинного друга.

Еламан как бы впервые внимательно взглянул на молодого офицера и тут же отвел глаза. На самом деле разглядел он его давно. Приложив руку с камчой к груди, он склонил голову в высокой шапке из выдры.

— Очень рад,— сказал Рошаль, козыряя.

— Друг моего друга — мой друг,— ответил Еламан.

Рошаль усмехнулся, подумав: «Уже и друг!»— но что сказать в ответ, не нашелся и смущенно покашлял.

Еламан был памятлив на лица. Глядя на молодого офицера, он вспомнил турецкий фронт, лютые морозы, покрытые снегом горы кругом и рабочий батальон, в котором люди мерли от болезней и голода. Казахи, узбеки, киргизы, надрываясь, под яростным обстрелом спешно восстанавливали взорванную турками при отступлении

железную дорогу. Подвоза продовольствия не было, тиф косил людей, и работа по восстановлению дороги почти не двигалась. Тогда-то на помощь рабочему батальону и прибыл эскадрон Рошаля. Братишка Рай, едва выжив после тифа, еле держался на ногах, а конопатый рыжий солдат, озлобленный тем, что их пригнали помогать каким-то инородцам, вдруг ни с того ни с сего ударил его...

И вот командиром того конного эскадрона был ротмистр, который ехал теперь рядом и который был тогда совсем юным офицером. Да, да, это он! И не постарел с тех пор, и в чине не повысился. Еламану вспомнился даже конь, который был тогда под ним, вороной, со звездочкой на лбу. Только ротмистр, уж конечно, не помнит Еламана, да и навряд ли вспомнит, если ему даже рассказать о том случае.

А тяжкое было время. До того тяжкое, что, глядя на смерть товарищей, каждый думал и о своей скорой смерти, и никто не надеялся выбраться оттуда. И то ли оттого, что этот молодой красивый офицер был живым свидетелем того времени, то ли оттого, что воспоминания о незабвенном Райжане, как всегда, перевернули всю душу, только Еламана потянуло к Рошалю и захотелось узнать его поближе.

— Кровоточит еще рана, а?— участливо спросил он.

— Да, вот въедем в город, перевяжу еще раз.

— А по-нашему, лучше всего паленой кошмой прижечь.

— Кошмой?

— Ну да. Быстро заживает.

— Вот как? Гм...— Рошаль засмеялся.— Нет уж, в городе найду фельдшера, попрошу сменить повязку.

— Как хотите.— Еламан помолчал.— А генерал, видать, любит вас?

— Они с моим отцом давнишние друзья.

— А где ваш отец?

— В Омске. Простите, я не знаю вашего имени.

— Танирберген,— после мгновенной паузы сказал Еламан.

— Как? Как вы сказали?

— Танирберген.

— Тяни... бр... бр... Нет, не выговорю!— отчаянно сказал Рошаль и захохотал.

— Для русских трудное имя.

Так они ехали бок о бок долго. Генерал Чернов изредка оглядывался, посматривал на них. Рошаль еще не остыл после недавнего боя, был возбужден и весел. Мурза сдержанно улыбался и казался благодушным; заметно было, что Рошаль ему нравился.

— Скажите,— приставал к Еламану Рошаль,— у киргизских ханов гаремы есть? Вы понимаете, о чем я спрашиваю?

— Понимаю. Только мы говорим: харамхана.

— И сколько жен можно иметь хану?

— А сколько он может...

— Черт возьми, интересно! И почему я не хан киргизов!

Рошаль вообразил себя в гареме и захохотал так, что почувствовал боль в руке. Еламану все больше нравился молодой ротмистр, лицо его смягчилось. Глядя на хохочущего Рошаля, он и сам начал улыбаться.

— Тан... Нет, Тя-нибр... Простите, мурза, скажите еще раз ваше имя.

Еламан не обиделся и решил рассказать Рошалю известный анекдот, надеясь, что тот его не знает.

— В детстве вместе со мною,— начал он, усмехаясь,— учился один мальчик. Первая арабская буква «алиф»[1] похожа на единицу. Вот мулла черкнул разок по бумаге и сказал: «Смотрите, буква «алиф» точь-в-точь как палка. Понимаете, палка!» Целый год учился этот мальчик, а все не мог запомнить букву. «Что это за буква?»— спрашивает мулла. Тот все думает-думает и говорит: «Палка!» Через год мулла снова спрашивает: «Что за буква?» Тот думает-думает, в затылке чешет и опять говорит: «Палка!» Рассердился мулла. «Вот дурак!— говорит.— Заладил: палка, палка... На тебе палку!» И — хлоп!— его камчой по башке. Тогда тот сразу...

Смеясь и морщась от боли, Рошаль поддерживал снизу больную руку. Насмеявшись, он сел на коня и посмотрел на Еламана, как бы оценивая серьезность его истории.

— Однако я вовсе не хочу, чтобы меня, как вашего дурачка, лупили по голове. Итак, что же? Хотите, я буду называть вас ханом? А интересно, ваши предки тоже ханами были?

— Да,— важно сказал Еламан, посмеиваясь в душе и над собой, и над ротмистром.— И отец, и отец моего отца — все были ханами. И я хан!— добавил он гордо.

— Господа! Господа! Въезжаем в город! Торжественный момент, господа!— раздались в это время оживленные голоса в группе офицеров.— Жаль, что нет музыки.

— Нет, музыка что! Сейчас бы шампанского, господа, а?!

Еламан огляделся, и улыбка мигом сбежала с его лица. Город, казалось, задыхался после боя, объятый дымом и пылью. Всюду валялись убитые. На окраинном склоне горели дома, и зловещий черный дым клубами плыл над павшим городом...

VII

По приезде из Омска ротмистр Рошаль сразу был назначен адъютантом командующего армией. После городской жизни, после утомительных кутежей и похмелья, из которых состояла эта жизнь, он так обрадовался перемене, что первые дни почти не слезал с коня. Быстрее всех доставлял он приказы командующего в дивизии и пол-

[1] В арабском алфавите буква «а».

ки. И тут же сломя голову мчался назад, спеша доставить командующему очередное донесение.

Но так пришедшаяся по душе новая должность скоро ему надоела. Он стал проситься на передовую, но Чернов и слушать его не хотел. Видя его непреклонность, Рошаль решил подождать более удобного случая. На людях он бодрился, казался веселым, легким человеком. Наедине с собой он мрачнел, отчаяние и скука охватывали его. В такие минуты чаще всего думал он о матери и отце. Мать его осталась одна в Петрограде, среди чужих, злобных людей. Правда, сначала она была не одна, с ней жила и его молодая жена. Теперь мать одинока... Впрочем, сейчас все одиноки — и отец, и он сам, и генерал Чернов. И Колчак одинок! Только тупые болваны не могут этого понять, а умные давно махнули на все рукой. Когда в такое время хочешь жить безмятежно, спокойно, прежде всего нужно махнуть на все рукой и выдумать себе счастье. Как это... у этой декадентши Гиппиус? «О, как мне хочется того, чего не бывает, никогда не бывает...» Сволочь! А ты живи и верь в то, чего не бывает, никогда не бывает, утешай себя несбыточным.

Его утешением в Омске было пьянство. Он пил часто и помногу. Ночевать чаще всего ездил к девкам, приезжал домой под утро. Однажды друзья привезли его домой за полночь. Держась за стенку, он прошел в столовую и тут увидел отца. В ночном халате тот спал в большом, с широкими подлокотниками кресле. Грузное тело его бессильно обмякло, седая голова упала на грудь. Как ни пьян был молодой Рошаль, ему стало стыдно.

Закусив губу, на цыпочках, помогая себе расставленными руками, как канатоходец в цирке, прокрался он мимо отца к себе в комнату. В комнате у себя он чуть не упал и схватился за шкаф. Сделав грозное лицо, он приложил палец к губам и сам себе предостерегающе зашипел:

— Тсс!

Повалившись на кровать, он бросил фуражку на пол, стащил сапоги. Начал было расстегивать китель, но тут же провалился в черноту.

Проснувшись на другой день, он долго прислушивался. Отца не было дома. Опять они не повидались и не поговорили. «К черту! Брошу пить, к черту!» — страдая с похмелья и мучась от стыда, в который уже раз решил он. Но тут в кабинете отца зазвонил телефон. Ротмистр с трудом поднялся и, держась за голову, побрел в кабинет. Приглашали на торжественный ужин в честь союзных послов.

К ужину Рошаль несколько запоздал, все были уже в сборе. Раскланиваясь на ходу то с одним, то с другим, он стал искать женщину, с которой последнее время была у него связь. Едва он нашел ее, и приложился к ручке, и выслушал какие-то упреки, как в зал вошла Каргинская с мужем, подполковником. Где бы ни появлялась эта актриса, все разговоры тут же прекращались и все — откровенно

или исподтишка — начинали следить за нею, любовались ею, так была она хороша. Оглядевшись, Каргинская нашла глазами Рошаля и его белокурую даму и тут же направилась к ним. Подойдя и длинно поглядев на ротмистра, она повернулась к его спутнице и восхищенно прищурилась, любуясь ее длинным бальным платьем, ожерельем и серьгами.

Каргинская не завидовала ни одной женщине, так как была убеждена, что красивее ее в Омске никого нет. Мало того, она любила общество красивых женщин, потому что, по восточной поговорке, чем больше на небе ярких звезд, тем светлее становится луна. Зная силу своей красоты, она не особенно увлекалась нарядами, зато старалась как можно больше оголить свое тело. Всем своим видом она как будто говорила мужчине: «Смотри, смотри, какие у меня плечи, какая грудь и все остальное, что, к сожалению, скрыто! Любуйся мною! Не желаешь меня? А теперь посмотри на свою жену!» И чем больше сходила по ней с ума городская молодежь, тем сильнее ненавидели ее женщины.

Спутница Рошаля ненавидела ее так, что каждый раз терялась в ее присутствии и не могла поднять глаз. Она и теперь то бледнела, то заливалась краской. Насладившись уничижением соперницы, Каргинская вдруг протянула томно:

— Дорогая, ты нынче очаровательна.

С непорочной девичьей стыдливостью опуская в смущении глаза, пошла та к столу, сопровождаемая мужем и Рошалем. Гости — дамы, офицеры, послы, министры, генералы,— умеренно гремя стульями, занимали места за длинным столом.

Каргинская села в верхнем конце стола, заняла возле себя место для Рошаля и позвала его взглядом. Но Рошаль только поклонился издали и сел рядом со своей дамой. Последнее время он избегал открытых встреч с актрисой, предпочитая им тайные свидания.

Дама Рошаля видела, как Каргинская приглашала ротмистра сесть рядом и как тот отказался. Она даже похорошела от торжества, обнаженная ее грудь матово белела в свете люстр, и весь вечер она уже ни на кого не смотрела, кроме как на Рошаля. Раздраженный, мрачный муж ее несколько раз шептал ей на ухо, что нужно соблюдать хоть какие-то приличия. Она его не слушала. Повернувшись к Рошалю, она смотрела на него загадочно и порочно из-под ленивых ресниц, и взгляд этот бесил Рошаля и выводил его из равновесия, потому что напоминал ему взгляд его жены. Именно так смотрела его жена на всех мужчин последнее время.

Юную девушку с густыми черными волосами, худощавую и слегка похожую на цыганку, ставшую потом его женой, он любил давно, еще зеленым юнцом. И чем дальше, тем любовь его была мучительней, потому что он никак не мог набраться смелости объясниться. Но однажды девушка сама пришла к нему, притихшая, дрожащая. Закусив губу, глядя в сторону, она вдруг вынула из кармана и

протянула ему надушенное письмо и, будто ужаснувшись своему поступку, убежала. «Я не могу жить без вас!»— было сказано в том письме.

Они поженились. Она была угловатой, непосредственной, как ребенок. И любила она неумело, порывисто и экспансивно. Эта смуглая нескладная девочка-жена провожала его на фронт. Она сунула ему в карман письмо и трагически шепнула: «Прочтешь, когда отойдет поезд!» Он потом долго хранил голубоватый листок, на котором кровью было нацарапано: «До гроба твоя!»

А вернувшись через два года с турецкого фронта, он не узнал своей жены. Что-то новое, незнакомое Рошалю появилось в ее взгляде. Ресницы ее, как и у его дамы, стали ленивы, грудь и плечи округлились, налились тяжестью, а глаза стали порочны. Они уже не смотрели открыто и доверчиво, как раньше, они зазывали, обещая любовное исступление... И Рошаль тотчас почувствовал стыд, неловкость и натянутость по отношению к женщине, которую он вспоминал по десять раз на дню все эти два года и которая обещала быть до гроба его. Уже в Сибири до него глухо дошла весть о том, будто бы она уехала с кем-то в Париж. «И черт с ней!»— решил Рошаль и с тех пор презирал женщин.

Рошаль пил рюмку за рюмкой и скоро привычно опьянел, а опьянев, стал с ненавистью следить за всем, что делалось за столом. А за столом произносились тост за тостом. Но хоть выпито было уже немало, гости что-то не становились оживленнее, посматривали на Колчака, на послов, будто ожидая чего-то важного. Колчак, чувствуя сковывавший всех холодок, повернулся к американскому послу и стал рассказывать тому что-то смешное. Но, не добравшись еще до соли своего рассказа, он, как это часто бывает с простодушными людьми, начал смеяться первый, и американский посол в недоумении только поднимал брови и холодно улыбался.

Почти всех послов Рошаль успел узнать раньше, когда был во Владивостоке в составе военной делегации. О послах говорили разное. Французский посол, например, был пылок и любил громко изъясняться в любви к своим старинным союзникам. Английский посол хорошо говорил по-русски. Свое знание русского языка он выдавал за признак особенной своей близости и любви к русскому народу. Он прекрасно знал также весь Восток и особенно почему-то Восточную Сибирь. Японский посол вечно что-то утаивал и недоговаривал. Узкие полуприкрытые глаза его за толстыми стеклами очков никогда не смотрели прямо на собеседника. И никогда не бывал он взволнован, патетичен или гневен, а всегда улыбался вежливой постоянной улыбкой, показывая из-под короткой верхней губы два больших желтоватых зуба, тогда как мысли его были припрятаны так глубоко, что, казалось, их никогда не узнать. Он предпочитал расспрашивать, а не отвечать на вопросы, требовать, а не давать обещания.

И теперь за столом пьяный Рошаль особенно отчетливо видел плохо скрытое высокомерие в каждом из них. Они сидели, одетые в безукоризненные смокинги, под которыми было у них надето чистое шелковое белье, они пили русскую водку и ели русскую икру, притворяясь друзьями, а на самом деле презирая всех русских и вообще всю эту чудовищную, на их взгляд, страну. Теперешняя Россия была для них большим издыхающим зверем, который чем скорее издохнет, тем лучше, и которого нужно потом поделить между собой. Рошаль глядел на них, стекленея глазами от ненависти, и видел в них хищников, собравшихся к еще живой, еще слабо ворочающейся, но обреченной добыче. Да, вот они — настоящие хозяева сегодняшнего мира, эти хищники!

Рошаль не замечал уже, что его дама давно скучала, и сидел злобный, бледный. Зато ее состояние заметил подполковник Федоров. Он встал со своего места, подошел к ним сзади и, не обращая внимания на мужа, шепнул ей на ушко:

— Обрати внимание, если бы не погоны, то наш ротмистр очень смахивал бы на Христа с картины Иванова... Ха-ха-ха!..

Подполковник Федоров давно волочился за ней и не упускал случая уязвить в ее глазах Рошаля. Рошаль, белый, бешено повернулся к Федорову.

— Все смеешься?

— А почему бы и нет? Не на поминках ведь сидим.

— А для таких, как ты, и поминки по России — веселая пирушка!

— Скот-тина!— отчетливо сказал Федоров и усмехнулся опять.— Ты пьян.

— Я пьян, а тебе весело? Весело, когда Россию продают, сволочь?

Багровое от водки лицо Федорова сразу стало серым.

— Вста-ать, мерзавец!— прошипел он.— Идите за мной!

Ротмистр Рошаль, не сказав ни слова, поднялся и пошел за Федоровым. Поколебавшись секунду, за ними бросилась дама Рошаля, догнала и стала между ними.

— Господа, опомнитесь!— взволнованно заговорила она.— Позор! Ради бога, прошу вас, умоляю, опомнитесь...

— Щенок! Мальчишка!— не унимался Федоров.— Я его проучу! Я покажу ему...

— Ах, боже мой, настоящий мужчина должен быть снисходителен... Умоляю вас, вернемтесь в зал.

Рошаль торопливо закуривал дрожащими руками, огонек спички прыгал.

— Ни в какой зал!..— хрипел Федоров.— К... матери! Пусть сейчас же попросит прощенья!

— Я думаю, здесь не место для скандалов,— с усилием выговорил Рошаль.— Завтра я к вашим услугам в любой час. Да, да, в любой час. Слышите?

— Быть посему,— буркнул Федоров и, холодно кивнув белокурой даме, ушел.

Она схватила Рошаля за руку.

— Господи, что вы придумали! Стреляться, боже мой! Зачем?— возбужденно говорила она, страстно прижимаясь к нему.

— Ничего страшного, уверяю вас, да он и струсит,— успокаивал ее бледный Рошаль.

— Ах, я боюсь, боюсь... Я полна нехороших предчувствий.

— А я боюсь только мужей красивых женщин,— улыбнулся Рошаль, бросил папироску и, взяв даму под руку, повел ее в зал, где в это время начались танцы.

VIII

Подождав, пока генерал Чернов устроится со своим штабом в захваченном Актюбинске, Еламан пошел к нему. Он с достоинством опустился в кресло, на которое указал ему генерал, и опять повторил свою просьбу:

— Я уже долго нахожусь в отъезде и убедился в силе вашего оружия. Дома меня ждут семья и хозяйство. Вот и сено пора косить. С вашего разрешения, я хотел бы вернуться в аул.

Генерал Чернов, выслушав его, подумал и согласно кивнул. На прощанье он от имени Колчака наградил Еламана медалью. Потом, желая показать мурзе свое уважение, попросил Рошаля сопровождать мурзу и его джигитов до ближайшего городка.

Они уже довольно далеко отъехали от Актюбинска, когда в голову Еламана закралась коварная мысль: а не захватить ли этого беспечного офицера в плен? Схватить и связать его было очень просто — Рошаль был один и ничего не подозревал. Ехал он стремя в стремя с Еламаном и изредка усмехался ни с того ни с сего. Еламан искоса посматривал на него и удивлялся про себя, очень уж злая усмешка появлялась у офицера. Должно быть, Рошаль почувствовал Еламанов взгляд, потому что он вдруг резко повернулся к нему и сказал:

— Есть, мурза, у меня один приятель,— и опять усмехнулся.— По фамилии Федоров...

Еламан вздрогнул и почувствовал, как жаркая волна прошла у него по телу. Сдержавшись, он улыбнулся и пошутил:

— А что, не похож ли он на моего приятеля, который принимал букву «алиф» за палку?

Но Рошаль теперь не расположен был шутить. Злая усмешка его прошла, и лицо приняло враждебное выражение.

— Нет-с, он не из таких, мурза. Он на меня с вами не похож. Судьба его точно нарочно создала для нашего времени. Таким и нужно теперь быть — грубым, жестоким...

— Офицер, да?

— Да, офицер. Не знаю, понятно вам или нет, но у нас есть такое слово — рубака. Так вот он жестокий рубака.

— Э, такое слово и у казахов есть. Только у нас таких называют... Как сказать? Э-э... Кто вместе с волосами голову снимает, да?

— Да, да, у вас, пожалуй, определение лучше. Так вот, мой приятель как раз из таких.

— Дети часто идут по стопам отцов. У вашего приятеля отец тоже, наверное, был рубака?

— Да нет, кажется. Я слышал, что отец его был купцом где-то здесь, в ваших степях. Рассказывали еще, будто его киргизы убили.

— А-а... Обидел, наверно, крепко. Мы, степняки, народ смирный. Просто так руку на русского бая не поднимешь.

Рошаль придержал разошедшегося было крупной рысью коня. Он не смотрел больше на Еламана, а с задумчивым лицом следил за полевой трясогузкой, чуть не от самого Актюбинска перелетавшей перед ним на расстоянии брошенной палки.

— Ну и что же ваш приятель?— помолчав, решился спросить Еламан.— Воюет? В Южной армии, наверно?

— Нет, он жил в Омске, а сейчас едет к нам.

— Воевать захотелось?

— Не знаю. Знаю только, что он ведет обоз из Омска.

— Э, хоть и рубака, а больше, видать, хозяйством занимается?

— Да нет, он строевой офицер, всю войну на передовых. И везет он не простой обоз, а с оружием.

— Слава аллаху! И много оружия?

— На здешних большевиков хватит. А ведь мы с вами, мурза, наверное, скоро встретимся.

— Как так?

— Да ведь мы скоро будем в Аральске.

— Очень хорошо! А когда?

— В ближайшие две недели.

— Очень приятно. Приедете ко мне, дорогим гостем будете.

— Танир-бр...— начал было Рошаль и улыбнулся.— Мурза, посмотрите-ка на эту маленькую птичку,— он стеком показал на бегущую впереди по дороге трясогузку.

— А, это очень хорошая птичка. Ее тянет к людям. Особенно она любит одиноких путников. Всегда летит впереди.

— Об этом как раз я и хотел сказать. Вы, должно быть, не знаете, что в морях водится особенная рыба-лоцман. Особенность ее заключается в том, что она всегда плывет впереди акулы. Так вот, эта птичка напомнила мне рыб-лоцманов.

— Да. Много интересного на свете,— задумчиво отозвался Еламан.

— Это вы о птичке?

— Да нет, о рыбке этой,— сказал Еламан, вспомнив Аральское море и как он там рыбачил.

Рошаль вдруг повеселел и припустил коня. Еламан весело пу-

стился следом, а за ним по узкой дороге журавлиной цепочкой растянулись джигиты. Рошаль как вырвался вперед, так и мчался крупной рысью, пока впереди не запестрели домишки небольшого городка. Скоро они уже въезжали в маленький пыльный городишко, затерявшийся в степи. Из-под козырька низко надвинутой фуражки Рошаль зорко поглядывал по сторонам, выбирая дом, где бы можно было остановиться. Он знал, что красных поблизости нет. По его сведениям, городок этот занимал какой-то отряд алашордынцев.

Остановившись у большого дома на главной улице, Рошаль сердечно простился с Еламаном и его джигитами и спешился. Заведя коня во двор, он быстро познакомился с двумя молоденькими прапорщиками, стоявшими постоем в этом доме, почистился, умылся холодной водой и спросил, где тут можно пообедать. Прапорщики обрадовались и потащили его в узбекскую харчевню. Хозяин узбек, отбившись как-то от торгового каравана, осел в этом городишке, открыл чайхану и скоро разбогател.

В харчевне с низким потолком было сизо от чада. Мясо было постное, но зато с такими острыми приправами, что в носу щипало. В углу за столиком, уставленным пустыми бутылками, шумели двое русских. По виду они были не то мелкими купцами, не то приказчиками. Сидели они тут давно, пили много и теперь, уронив головы каждый на грудь своей девицы, выводили со слезой:

О-о-о-оч-чи черны-ы-ы-я...

— А здесь довольно весело,— громко сказал Рошаль, и прапорщики тотчас дружно засмеялись, предвкушая свое собственное веселье.

Оглядевшись, офицеры заняли свободный стол недалеко от пьяных приказчиков. С липкого стола с жужжаньем поднялись крупные синие мухи. Услышав свежие голоса, пьяные умолкли и приподнялись, тупо оглядываясь. Им было смертельно скучно, и при виде офицеров они преувеличенно обрадовались:

— А-а, господа офицеры!..

— До-обро пожж-жаловать... Выпьем!

— Не х... хххорошо! Давай к нам, по... пожалуйте! А?

Молоденький прапорщик вдруг залился краской и встал. Рошаль едва успел схватить его за локоть.

— Сидите, ради бога.

— Ненавижу! Пьяные скоты!

— Да бросьте... Охота вам связываться. Смотрите, смотрите, что это?!— И Рошаль вдруг с веселым испугом уставился на дверь.

Прапорщики разом обернулись.

В дверь, сутулясь, входил какой-то верзила. Он был так велик и страшен, что в харчевне на минуту наступила тишина, даже жевать перестали. Лицо его, черное, изрытое оспой, заросло редкой жесткой щетиной. Одет он был странно, казалось, все ему было мало, вся одежда его была будто с чужого плеча. Рукава грязной хол-

щовой рубахи задрались до локтей, грубые штаны едва доходили ему до бугристых икр, а бедра при каждом шаге перекатывались и подрагивали мощными мышцами, как ляжки у верблюда. «Черт побери! Да это прямо гладиатор какой-то!» — восхищенно думал Рошаль, озирая громадную фигуру.

Хозяин харчевни, проворный толстенький узбек, встревожился не на шутку. На сальном лице его появился ужас, будто у мирного дехканина, когда в сад к нему заберется верблюд. Рябой повел глазами по дымной харчевне, увидел любопытные лица, повернутые к нему, увидел офицеров, но не смутился. Несколько пригнувшись, чтобы не задеть потолок головой, он, как у себя дома, отодвигая на ходу ногами стулья, мешавшие ему, прошел в угол, где стоял небольшой столик, сел и тут же поманил к себе пальцем старика подавальщика. Его вольность и смелость понравились хозяину харчевни. Одет посетитель был как нищий, а вел себя как богатый. Нет, не может быть, чтобы у него не было денег.

Старик подавальщик, подойдя к столику, забормотал было, что деньги надо платить вперед, но рябой недобро блеснул на него своими змеиными глазками, и подавальщик осекся.

— Гостю не веришь, а?

— Разные бывают гости. Деньги вперед плати.

— Еще жрать не дал, а уж деньги просит, а? Вот они, деньги! — И рябой хлопнул себя по карману.

У чайханщика глаза полезли на лоб. «У, нечестивец! — со страхом подумал он.— Не иначе, купчишку какого-нибудь ограбил!» Подозвав подавальщика, он зашептал ему:

— Помалкивай, во имя аллаха! Не перечь ему, подавай все, что он попросит...

Выдавив на лице улыбку, он мелкими шажками подошел к рябому.

— Здравствуйте, почтеннейший.

— Ну здравствуй.

— Я владелец этой чайханы.

— А-а. Ты что, тоже деньги мои проверять пришел?

— Нет-нет. Что вы! Зачем?

— Тогда говори, чего надо.

— Вы ведь мусульманин?

— Еще какой!

— Казах, наверное?

— Еще какой! Ну и что?

— А как имя ваше, почтеннейший?

— Это еще тебе зачем? — глянул из-под насупленных бровей на него рябой.

Чайханщик струсил.

— Да нет, я просто так... Можете не говорить.

Черным рябым был Кален. Неделю тому назад он бежал из тюрьмы, днем отсыпался, по ночам шел безлюдной степью и так

изголодался, что, пренебрегая осторожностью, решил зайти в город и наесться. Он похолодел при виде вооруженных солдат на улицах и хотел было уже уходить из города, но запах пищи из харчевни свел его с ума, он забыл про все, и ни солдаты, ни офицеры, которые оказались почему-то в этой грязной комнате, не волновали его больше. Не тревожило его и то, что в кармане не было ни гроша.

«Давай, давай, тащи еще. А потом жрите меня с потрохами!» — думал он, уплетая все, что приносил ему подавальщик. В это время пьяные приказчики, которые давеча приставали к офицерам, поднялись и, обняв своих девиц, пошли к выходу. Заметив, с какой быстротой опустошаются тарелки Калена, один из приказчиков пришел в восторг.

— А? — сказал он и остановился, покачиваясь. — Нет, ты глянь, чего он делает, а?

Его приятель захохотал.

— Эй, гляди, лопнешь!

Кален жевал, не поднимая глаз от тарелки и ничего не слыша. Первый приказчик подошел к Калену и хлопнул его по плечу.

— Эй, тамыр, хватит, говорю! Лопнешь!

Кален даже глаз на него не поднял. Уже наевшись, он взялся за последний, самый большой кусок мяса. Мясо было жестким, жилистым. Кален неторопливо, с хрустом жевал неподатливый кусок и думал о том, как теперь расплачиваться с хозяином.

— Вася! Едрит твою мать, глянь, у него во рту целых полбарана?

Девицы уже тянули его за рукав, и Вася сзади бубнил, уговаривал бросить все к черту и идти домой, но он не слушал. Хохоча во все горло, он только приговаривал:

— Ведь подохнет, ей-богу! — И вдруг взял Калена за горло. — Не дам глотать! — с пьяной решительностью сказал он.

Кален поднял наконец на него подобревшие от сытости глаза и, решив, что русский просто шутит спьяну, хотел проглотить разжеванный кусок, но кусок не глотался. Это Калену уже не понравилось, маленькие, хищно прижатые его уши вспыхнули, и он просипел сквозь стиснутое горло и рот, полный мяса:

— Э, тамыг, пегестань...

Пьяный уже на ногах стоять не мог от смеха и левой рукой обнял Калена за плечи, привалился к нему, а правой еще сильнее стиснул глотку. Забыв об офицерах, которые все-таки беспокоили его своим присутствием, Кален слегка толкнул пьяного в грудь, тот оторвался от него, сделал несколько шагов назад и рухнул навзничь, ударившись об стул. От удара он протрезвел, вскочил, на помощь ему кинулся приятель, и они успели раза два съездить Калена по скулам, пока тот вставал. Встав во весь свой рост, Кален вытянул руки и схватил обоих пьяных за шиворот. Девицы завизжали. Кален слегка развел руки, будто котят, ударил пьяных головами друг о друга и выпустил. Пьяные рухнули к его ногам. Как ни в чем не

бывало Кален опять уселся за стол и принялся жевать недоеденное мясо.

Старик подавальщик не смел теперь и близко подойти к страшному посетителю и держался поближе к столу офицеров. Заметив испуг подавальщика, Кален усмехнулся и решил, что теперь вряд ли тот станет спрашивать с него деньги. Но тут в харчевню вошли два казаха с винтовками и в военной форме. Заметив нового человека и следы драки, казахи подошли к нему.

— А ну встать!

— А зачем?

— Проверять будем. Документ есть?

— Какой у казаха дакмент, дорогой? Вот с русских требуй бумажки...— он кивнул на побитых приказчиков.

— Последний раз спрашиваю: документ есть?!— побагровев, крикнул рыжий казах.

Кален пальцем поманил его к себе. Тот подошел, наклонился.

— Вот он, мой дакмент!— сказал Кален и показал ему громадный, с толстым грязным ногтем кукиш.

Рыжий налился кровью, отскочил и щелкнул затвором.

— Встать!— заорал он и прицелился в широкую волосатую грудь Калена.

Кален презрительно прищурился.

— Э, дорогой, не трясись, а то трясучка с тобой приключится. Да будь ты хоть Азреилом, пришедшим по мою душу, покуда я не нажрусь, и с места не двинусь, понял!?

— Стрелять буду!

— Ну и стреляй, дурак!

Багрового от ярости казаха колотила дрожь, винтовка в его руках ходила ходуном. Он не знал, что делать, когда к ним подошел недовольный Рошаль.

— Что такое? Кто вы такие?

— Мы из отряда Алаш-орды...

— Прекрасно. А я адъютант командующего Чернова. Слыхали о таком? Так вот, я знаю этого человека, не трогайте его. Ступайте!

Дружинники Алаш-орды смущенно переглянулись и, не смея возражать, ушли. Рошаль подозвал старика подавальщика и заплатил за обед Калена. Кален удивился: с какой стати этот русский офицер так расщедрился? Сердце его сильно забилось в предчувствии беды. Он нахмурился, подумал и доел, что еще оставалось на тарелках. Потом прочел благодарственную молитву и провел ладонями по лицу. Тяжело поднявшись, он подошел к столу офицеров.

— Ну теперь я нажрался,— грубо сказал он.— Арестовывайте...— И медленно пошел к выходу.

Но он совсем не был похож на человека, приготовившегося к аресту. Наоборот, всем своим видом он скорее походил на избалованного вниманием гостя, который после сытного угощения говорит хозяину: «А ну, где это мне на этот раз постелили постель?»

Рошаль засмеялся и крикнул вслед:

— Счастливого пути, тамыр! Каюсь, неравнодушен я к сильным людям,— добавил он, обращаясь к прапорщикам.

Кален с недоумением оглянулся и поморгал. «Ну и ну! Странный какой-то русский мне попался!»— подумал он и вышел из харчевни.

IX

Когда шашка со свистом полоснула его по лицу, Еламану показалось, что у него лопнула голова. Он еще чувствовал, как, поматываясь в такт скоку, сползает с коня. Потом он вдруг потерял сознание, но тут же очнулся от удара о землю. Не открывая глаз, он с тоской и ужасом ждал, что вот сейчас офицер подъедет и добьет его. Но кругом было тихо — значит, враг ускакал. Тогда Еламан стал думать, что офицер оказался ловчее и опытнее его. Еще бог смилостивился, и шашка полоснула только по лицу...

Он зажал рану ладонью, ощутил горячую липкость крови и застонал. Белоногий конь его вернулся, стоял рядом, пофыркивая, бил копытом. Еламан опять прислушался. Нет, офицера не было слышно. «Но где же джигиты, найдут ли?— подумал он.— Или я так далеко ускакал, что теперь сдохну в степи? Нет, коня должны увидеть...» Он успел о многом передумать, когда на всем скаку возле него остановилось несколько всадников. Человека четыре проворно скатились с коней и подбежали к ворочавшемуся в пыли Еламану.

— Жив?

— Голову, голову погляди. Цела?

— Кровища-то хлещет...

— Паленой кошмой надо прижечь.

— Эй, эй, давайте кошму, живо!

— У кого есть кошма?

— От потника отрежьте.

Тревожные, торопящие друг друга голоса, русская, казахская речь — все перемешалось. Вокруг забегали, засуетились, кто-то приподнял Еламану голову, кто-то поднес ко рту ему солдатскую фляжку с водой. Потом в нос ему ударил запах паленой кошмы. К ране, которая и без того нестерпимо горела, будто раскаленную железку прижали. Чтобы не закричать, Еламан что есть силы стиснул зубы и все-таки не вытерпел, замычал.

— Руки, руки держите!— закричал кто-то.

Кровь все не останавливалась, и рану снова и снова начинали прижигать кошмой. Пока над ним возились и жгли его, Еламан в кровь искусал себе губы.

Потом его перенесли на арбу. Щелкнул кнут, и немазаная арба, скрипя и ноя колесами, медленно тронулась с места. Еламан, все чувствуя, но ничего не видя, лежал навзничь. Он открыл было слипшиеся от крови и пота ресницы, но тут же снова зажмурился. Ему показалось, что небо объято было жарким пламенем. Сухие губы

его потрескались, хотелось пить, жар разливался по телу. Лицо горело. И Еламан вспомнил, что лицо его вот так же горело давным-давно, когда он ловил зимой рыбу...

С утра до вечера в зимнюю стужу пропадали рыбаки в море, и к концу дня у них начинали нестерпимо гореть обмороженные щеки. Как трудно было тогда добираться до дому! Обжигающий ветер дул прямо в лицо, и приходилось идти боком или загораживать лицо рукавицей, так было хоть немного легче.

Едва ввалившись в землянку, Еламан торопливо стягивал с себя задубеневшую одежду, накидывал на плечи сухую шубу и садился к огню, разведенному к его приходу молодой женой. Огонь разгорался все сильнее и жарче, а Еламан все никак не мог согреться, и ему казалось, что холод засел у него где-то в самой душе. Голову ломило, а обмороженные щеки жгло, будто посыпали солью свежую рану. «Да что ты прямо в огонь лезешь? Сгоришь, отодвинься»,— недовольно говорила, бывало, Акбала. А он поворачивал багровое от мороза лицо к жене и улыбался: «Да я и в самом деле прямо собой готов покрыть огонь!» Акбалу передергивало, и она хмурилась. Ее коробило от дурацкого, как ей казалось, выражения: покрыть собой. Казалось, эти простодушные слова совсем замораживали и без того холодную ее душу. Даже вечером, лежа в постели с мужем, она не оттаивала — замыкалась, отворачивалась к стенке и недовольно молчала...

Уже перед заходом солнца обоз проезжал мимо большого аула, раскинувшегося на широкой равнине. В ауле не было видно ни души — напуганные жители попрятались по юртам,— даже собаки не лаяли. Али, всю дорогу страдавший от мучений Еламана, ускакал куда-то и скоро вернулся с двумя большими охапками сена. После того как в арбу навалили сена, Еламану стало покойно, и он уснул.

Спал он недолго, но, когда проснулся, было уже совсем темно. Огромное безоблачное небо над ним переливалось мириадами звезд. Где-то далеко, на самом краю земли, сначала будто загорелся пожар, а потом показалась багровая макушка луны. Проснувшись, Еламан никак не мог сообразить, в какую сторону они едут, где восток и где запад. Заходит ли эта луна, обессиленная, прожившая свой дневной срок? Или она только восходит и робко смотрит на этот хмурый, жестокий мир?

Длинный обоз черным арканом извивался по дороге, и не было видно ни головы его, ни хвоста. В тихой туманной степи таинственно и слабо разносились пофыркивание лошадей и однообразный печальный скрип колес.

Рана болела, казалось, еще сильней. «Наверно, все-таки кость задел»,— грустно подумал Еламан и со стоном вздохнул. Впереди кто-то негромко запел, Еламан стал слушать, надеясь отвлечься от боли, но тот, видно, запел для себя, убаюкивая самого себя или, наоборот, борясь с дремотой. Негромкий напев становился все тише, будто певец удалялся, а потом и вовсе оборвался.

Опять тишина захватила ночную степь. Все так же глухо постукивали копыта лошадей, все так же монотонно поскрипывали колеса, верблюды то близко, то далеко постанывали и хоркали... Вслушиваясь в эти однообразные звуки, глядя на звезды в высоком небе, Еламан перебирал в памяти события последних недель.

Двенадцать дней провел Еламан возле генерала Чернова, и этот спокойный, сдержанный и грустный человек пришелся ему по душе. На прощание генерал от имени Колчака вручил Еламану медаль и поблагодарил за дружбу. Когда генерал крепко пожимал ему руку на прощание, Еламану стало даже неловко и не терпелось поскорее уехать.

Простившись, Еламан облегченно вздохнул и пустил коня крупной рысью. Задумавшись, он ехал все время на выстрел впереди своих джигитов. Не давая передышки ни себе, ни лошадям, они только однажды остановились в каком-то ауле, чтобы напиться. На другой день к вечеру они были уже в Челкаре.

Долго сидел Еламан с Дьяковым, рассказывая обо всем, что успел увидеть и услышать во время своего пребывания в Южной армии. Заканчивая свой рассказ, он сообщил, что на помощь армии Чернова из Омска идет обоз с оружием. Тут же решено было попытаться захватить этот обоз.

После суточного отдыха Еламан в сопровождении сотни джигитов опять отправился в путь. Оглушая сонную степь топотом копыт, отряд доскакал до пикета между Челкаром и Иргизом. Узнав, что в этих местах обоз белых не проходил, Еламан послал четырех джигитов во главе с Али в разведку, а сам с отрядом остановился на привал. Отдохнув, уже вечером отряд отправился дальше по пути уехавших вперед разведчиков. На другой день уже за полдень разведчики вернулись и рассказали, что обоз в уездном городке не останавливался, а свернул по безлюдной степной дороге прямо на Эмбу.

Еламан с отрядом помчался наперерез обозу. Доскакав до глухой дороги, Еламан разделил отряд на две группы. Одна группа, во главе с Али, затаилась в глубоком овраге за караванной дорогой, по которой должен был пройти обоз. Со своей группой Еламан укрылся по эту сторону дороги за невысоким бурым холмом.

Джигиты спешились и, терпеливо дожидаясь, стояли и сидели, намотав на руки уздечки. Скоро на горизонте показалась пыль. Джигиты, еще раз подтянув подпруги, уселись на коней и пригнулись. Длинный, на добрую версту растянувшийся обоз медленно приближался к засаде. Раскачивались тяжело нагруженные верблюды, поскрипывали арбы, запряженные мелкими лошадьми. Довольно многочисленная охрана, заморенная жарой и усталостью, казалась беспечной: кто, болтая ногами, сидел рядом с возницей, засунув подальше винтовку, кто, растянувшись во весь рост и прикрыв лицо фуражкой, спал...

Несколько всадников, уронив головы на грудь, ехали по обочине дороги, распустив поводья, и кони их на ходу срывали мягкие макушки полыни.

Когда середина обоза поравнялась с засадой, Еламан махнул камчой и рванулся вперед на своем белоногом коне. Не успел его отряд выскочить на дорогу, как с другой стороны, из оврага, с гиканьем и визгом вынеслись отчаянные джигиты Али. Обозная охрана растерялась. Одни вообще не успели достать винтовки, другие, хоть и успели схватить оружие, не знали что делать,— стрелять, бежать или сдаваться. Джигиты мгновенно смяли их.

И только одинокий всадник, в котором Еламан сразу угадал сына Тентек-Шодыра, понял, что сопротивляться бессмысленно, помчался на своем вороном коне в степь. Давно собираясь свести с ним счеты, Еламан обрадовался и пустился за Федоровым вдогонку. Под Еламаном был на этот раз прославленный скаковой конь. На первый взгляд, конь этот был нехорош: вислое, как у жеребой кобылы, брюхо, короткий, небольшого росточку и с такой укороченной хребтиной, что почти вся спина его покрывалась седлом. Зато в груди он был широк необычайно, и стоило только гикнуть да покрепче зажать шенкеля, как конь превращался в птицу.

Еламан был уверен, что догонит Федорова. К тому же тот не успел уйти далеко, и Еламан скакал вплотную за ним, чуть сбоку. Он сжался в комок, приник к гриве коня и уже держал поперек седла обнаженную шашку. Федоров то и дело нахлестывал своего вороного, но оторваться от Еламана ему не удавалось. Падучей звездой летел он по степи впереди Еламана и все оглядывался назад. Еламан же чувствовал, что великолепный конек его мчится во весь мах, и не трогал его камчой.

Он уже почти догнал Федорова и думал, с какой стороны ловчее ему будет рубить, когда Федоров вдруг круто осадил своего вороного и повернул навстречу. Еламан никак не ожидал этого и растерялся. Он увидел прямо перед собой яростно оскаленные зубы и занесенную синеватую шашку, и сердце его дрогнуло. И хоть он тоже давно обнажил шашку, но привстать на стременах, размахнуться и отклониться для удара уже не успел, а успел только приподнять свою шашку, чтобы защититься от удара Федорова. Почти столкнувшись, кони их вздыбились и пронзительно заржали. Шашка Федорова со звоном рубанула по клинку Еламана так, что даже в плече у него отдало и рука заныла, и кони, выкатив налитые кровью глаза, тотчас разнесли их.

Стало сразу безветренно и душно, будто степь давно готовилась к этой минуте, и солнце вдруг склонилось к западу и скрылось за серой тучей, и весь мир, казалось, погрузился в сумерки.

Еламан, злясь на себя за свою неловкость, успел раньше Федорова повернуть своего конька, но и Федоров уже разворачивал своего вороного, и теперь оба знали, что на этот раз решится все, что на этот раз промашка будет означать смерть.

«Ох сильна же рука у этого сукиного сына!»— с невольным восхищением думал теперь Еламан лежа на арбе и глядя в небо. На исходе ночи обоз остановился, и усталые джигиты немного вздремнули. Но как только показалось солнце, они опять тронулись в путь, желая во что бы то ни стало еще сегодня добраться до города.

Еламан все так же лежал навзничь на арбе, но чувствовал себя сегодня немного легче. Солнце из-за горизонта вставало большое и алое. Небо казалось бездонным. Таким высоким и чистым небо бывало когда-то после долгих обложных дождей. И нельзя было тогда понять, что синее, небо или море. И все сверкало вокруг, даже глазам было больно. Правя туда, где накануне расставил сети, Еламан, бывало, сильно и равномерно греб. Он не торопился в такие погожие утра, любовался гладким, без единой морщинки морем и наслаждался тишиной. Только уключины равномерно поскрипывали, и он думал лениво: «Надо бы эти чертовы уключины смазать»,— а сам все глаз не мог оторвать от голубизны неба и моря. Где-то за камышами кричали прожорливые чайки, видно, дрались из-за добычи...

И теперь тоже, как в давние времена, больно было глазам от бездонной синевы неба. Еламан все щурится, все прикрывает глаза ресницами... Ему кажется, что не только небо, но и воздух вокруг словно подсинен, и выгоревшая степь будто поголубела.

Маленький серый жаворонок, вместе с солнцем взметнувшийся ввысь, едва различимой точкой трепещет в лазурном безбрежье. Заливаясь бесконечной трелью, он с вышины вдруг камнем падает вниз и опять трепещет крылышками над самой арбой Еламана. Еламан не шевелится, боясь спугнуть жаворонка, но тот ничуть не боится сонного царства степи, редких обозов или всадников, и Еламану хорошо видны его маленький клюв, дрожащий язычок, черные, как две бусинки, глаза и в упоении трепещущее горлышко.

И вспоминается ему далекое, почти нереальное детство, когда он, круглый сирота, пас овец и козлят байского аула. С ранней весны до поздней осени ходил он тогда босиком. Ноги его были в цыпках. И, бывало, заноза вонзалась ему в ногу, и он долго и старательно вытаскивал ее. Один раз нога от занозы начала нарывать, распухла, и он несколько дней провалялся на старой кошме, и никто больше, никакой мальчишка в байском ауле, даже самый бедный, не хотел пасти ягнят. А нога так сильно болела, что он просыпался среди ночи от боли, плакал и звал: «Мама!..»

— Ну как вы себя чувствуете, Ел-ага?— спросил подъехавший Али. Глаза Еламана были полны слез, и он смутился. «Стареть, что ли, начал?— подумал он, вытирая глаза ладонью.— Чувствительным каким-то становлюсь...»

— Нет ли воды? Во рту сухо,— попросил он.

— Сейчас раздобуду,— бодро ответил Али и поскакал в голову обоза.

Вечером, в сумерках, они добрались до Челкара, и Еламана сразу же повезли в лазарет. Лицевая кость оказалась нетронутой, врач промыл рану, смазал ее мазью и наложил повязку. На другой день Еламан проснулся поздно — солнце стояло уже высоко. У изголовья его койки сидел какой-то верзила. Заметив, что Еламан открыл глаза, верзила встал во весь свой громадный рост и, не дав Еламану даже повернуть головы, полез обниматься. Еламан молча прижался лицом к груди великана. Прерывисто вздохнув, он тихо сказал:

— Значит, жив, Кален-ага?

— Жив... Жив!

— Вот как судьба нас свела.

— Э, дорогой, человек ведь, как собака, семижильный, я давно говорю. Видно, не суждено мне было подохнуть, и вот я опять здесь. А про тебя, парень, я все знаю. Желаю тебе счастья с новой женой.

— Спасибо, Кален-ага.

— А ты опять с русскими? Ну да ведь ты всегда на шаг ближе нас стоял к русским. Так, значит, по их дорожке и идешь? Ну что ж, дай-то бог.

— Да ведь время такое, сейчас русские топчут дорогу. Не хочется, понимаешь, плестись по обочине.

— Узнаю умную голову. А как, кстати, голова-то? Рана серьезная?

Еламан видел, как тревожится Кален, улыбнулся и о самом опасном случае в своей жизни решил рассказать шутя, как о пустяке.

— Ну это тебе повезло,— выслушав, серьезно сказал Кален.

— Еще как повезло! Чуть подальше хватило бы его руки, и быть твоему названому брату на том свете!

— Все мы из костей и мяса. Кто же устоит перед стальной шашкой?— задумчиво, как бы с благодарностью милостивой судьбе сказал Кален и вдруг весело взглянул на Еламана.— Ну после того как полоснул он тебя по роже, ты небось деру дал, а? Небось небо с овчинку показалось?

Еламан покраснел сначала, но потом улыбнулся.

— А ты думал! Это ведь тебе не кто-нибудь, а сын Тентек-Шодыра. Ох и сильна рука у этого пса рыжего!

— Ах, вон оно что!— вовсе развеселился Кален.— Выходит, если не совсем, то хоть наполовину он с тобой расквитался за отца, а?

А Еламан вдруг с болью заметил, как бледен и как осунулся Кален. Неужели ему и теперь снова заниматься конокрадством? А если не конокрадство, то что же будет делать такой сильный и решительный человек? Куда ему приложить свои силы?

Еламан осторожно заговорил с Каленом о будущем, о работе, но Кален не склонен был поддерживать этот разговор.

— Зачем мне работа?— только махнул он рукой.

— Как это зачем? Разве мыслимо жить без работы?

— Стар я стал, отработался.

— Вот те раз! Не дай бог, жена твоя услышит. Да как ты можешь думать о старости?

Кален угрюмо уставился в пол, вздохнул несколько раз и покачал головой.

— Эх, Еламан, дорогой, как бы ты ни бежал от старости, а как перевалит тебе за пятьдесят, так сразу почувствуешь. И где заноза вошла в детстве, и где асыком ударили, и где девка ущипнула в юности — все у тебя начинает ныть. И никуда ты от этого не денешься...

X

Дьяков прискакал в штаб дивизии и понял, что опоздал — совещание уже началось. Более того, он заранее знал, что опоздает, но раньше поспеть никак не мог. Бойцы его уже много дней жаловались на повара, и Дьяков решил проверить сегодня полковую кухню. С продовольствием, правда, было плохо — давно уже никто не видал ни мяса, ни молока, ни картошки. Но и повар оказался плох, не мог ничего приготовить как следует. Дьяков решил срочно искать нового повара, а пока в помощь старому приставил двух бойцов.

Дьяков знал, что Хан-Дауров был строг и не любил, когда опаздывали. Спешившись, он кое-как привязал коня к коновязи и, даже не отряхнувшись как следует от пыли, вбежал в штаб. Вызванные командиры полков и батальонов все были в сборе, и совещание давно началось. Когда вошел Дьяков, Хан-Дауров оборвал свою речь и стал разглядывать опоздавшего своими большими круглыми, как у филина, глазами. Извинившись и не проходя вперед, Дьяков притулился у самых дверей. Сняв фуражку и вытерев лоб, он немного отдышался и, оглядевшись, теперь только заметил, что сел рядом с Жасанжаном, которого не выносил.

Надменный и вспыльчивый по природе, Жасанжан на совещаниях становился степенным и рассудительным. Сейчас он был особенно, как бы подчеркнуто спокоен. Среди просто, даже бедно одетых командиров этот молодой смуглый джигит выделялся своим щегольским видом. Какой-то степной аристократизм проглядывал в нем. Он ни на кого не смотрел и только время от времени приглаживал ладонью свои пышные волосы. На Дьякова, притулившегося рядом, он не взглянул. «Ишь, байское отродье!»— с неприязнью подумал Дьяков. Он не мог простить этому холеному джигиту измены в долине Жем и с каждым днем верил ему все меньше и меньше. Уйдя в эшелоне со своим отрядом, Жасанжан сорвал всю операцию,— объединись в ту ночь оба отряда, белые были бы разгромлены. Доложив потом командиру дивизии о преступном, возмутительном поступке Жасанжана, Дьяков настаивал на строгом наказании его. Неизвестно, как узнал Жасанжан о разговоре Дьякова с комдивом, но с тех пор он откровенно возненавидел комиссара.

Как-то вдвоем они возвращались из штаба дивизии. Промолчав всю дорогу, перед расставанием Жасанжан спросил с явной издевкой: «Э, а правда, что ты десять лет проторчал в Сибири, а?» Дьяков молчал, хоть его и взбесила злорадная усмешка на бледном высокомерном лице джигита. Не дождавшись ответа, Жасанжан процедил: «Десять лет просидел, а ума, видать, не прибавил!» — и, пришпорив коня, галопом помчался прочь.

Теперь при виде Жасанжана Дьяков не мог удержать гримасу озлобления. Все в этом кичливом барчуке раздражало его: и стройная фигура, и подчеркнутый шик, с каким носил он военную форму. И чем больше злился Дьяков, тем небрежнее разваливался Жасанжан, тем чаще, действуя Дьякову на нервы, поскрипывал спинкой стула и тем дальше вытягивал свои стройные ноги в легких хромовых сапогах. «Ух ты, байский щенок!» — опять со злобой подумал Дьяков. В нем все так кипело, что он не мог сосредоточиться и даже плохо понимал, о чем говорит Хан-Дауров.

А Хан-Дауров говорил о том, что на сторону красных прошлой ночью перешло несколько солдат из Пластунского полка. Солдаты сообщили, что в боях под Кандагачем и Эмбой белые понесли большие потери, но что они спешно пополняют свои поредевшие полки новыми силами и по-прежнему готовятся к большому наступлению. Так, вот, говорил Хан-Дауров, если хотя бы в ближайшие два-три дня белые не перейдут в решительное наступление, нам нужно всемерно использовать эту передышку и всячески укрепить свои оборонительные линии.

Но едва Хан-Дауров заговорил о том, что нужно сделать для укрепления, как невдалеке загремели артиллерийские разрывы и все присутствовавшие на совещании вскочили.

— Товарищи! Все немедленно в свои части! — закричал Хан-Дауров.

Командиры бросились к выходу. Пока Дьяков добежал до своего коня у коновязи, невдалеке разорвалось несколько снарядов. Кони плясали и испуганно всхрапывали. Вскочив на белоногого Еламанова коня, Дьяков пустил его галопом и стал сквозь выдуваемые ветром слезы вглядываться вперед. Бойцов своего полка он не видел. Не видел он также и бойцов соседнего полка справа. Зато с левого фланга беспорядочно откатывался по открытой степи полк Жасанжана. Дьяков несколько раз оглянулся. Жасанжан только теперь отъезжал от штаба и не скакал, как все командиры, а ехал неторопливой рысью. Дьяков выругался: «Волчий выкормыш!»

Стрельба разгорелась уже вовсю. Пулеметы били без передышки, все чаще разрывались снаряды. Дьяков огрел коня камчой. Он несся по высохшему дну озера, которое только в снежные годы заполнялось водой. Выскочив на зеленый бугорок невдалеке от передовых позиций, Дьяков сразу же увидел своих бойцов. Он увидел еще, что полк Жасанжана, откатившись, оголил его левый фланг и что его бойцы, боясь окружения, тоже начали отступать. Дьяков

осадил коня, спрыгнул и, доставая наган, побежал навстречу своим бойцам.

— Стой! Стой!— надрываясь, закричал он, но его никто не слушал.

Бойцы бежали так быстро и густо, что чуть не затоптали комиссара. Пот заливал ему глаза, он на минуту почувствовал такое бессилие перед паникой, охватившей людей, что растерялся, не зная, что ему еще можно предпринять. Внезапно он увидел бежавшего без оглядки громадного бойца.

— Стой!— тонким, срывающимся голосом завопил Дьяков и обеими руками вцепился в его винтовку.

Верзила остановился на секунду, изумился и тут же выпустил винтовку.

— Вперед, товарищи!— закричал Дьяков, поднял винтовку над головой и побежал вперед. Он бежал и боялся оглянуться, ему казалось, что он бежит один, что никто не последовал за ним.

Между тем несколько человек уже остановились. Дьяков все-таки оглянулся, увидел остановившихся в нерешительности своих бойцов и понял, что судьба боя решается в эти мгновенья. Он понял, что сейчас нужно еще раз, еще раз... И тут он почувствовал с обидой и болью, как знакомая тяжесть стиснула ему грудь, как кровь кинулась в голову.

— Впере-е-од!— Ему показалось, что он кричит громко, тогда как едва слышный сип вырывался у него из горла. Кровь молотком колотила ему в голову, все жилы напряглись. «Только бы не упасть!»— пронизала и ожгла мысль, но в эту секунду его догнал огромный боец, у которого он так легко отнял винтовку, и подхватил комиссара под мышки.

Мимо них пробежал Еламан, и Дьяков увидел его решительное лицо, оскаленные зубы и жало штыка, выставленное вперед. Мимо комиссара бежало все больше бойцов, волна за волной, все в яростном исступлении боя, в предвкушении победы. «Ах, дорогие вы мои!.. Молодцы!»— растроганно думал Дьяков и, хоть силы покидали его, все старался вырваться у поддерживающего его верзилы.

Он все-таки вырвался и успел еще пробежать несколько шагов. Совсем рядом разорвался снаряд, и взрывная волна свалила комиссара.

Очнулся Дьяков скоро. Вокруг него, как в тумане, беззвучно мелькали какие-то тени. Ему показалось, что он лежит в степи, что еще подбирают раненых и уносят их на носилках. Удушье навалилось на него, и он опять потерял сознание. Когда память снова вернулась к нему, перед глазами его все так же плыла серая мгла. В ушах гудели колокола. Откуда-то издалека доносились взрывы и вздрагивала земля, и тогда все вокруг — палатка над ним, топчан, на котором он лежал, и он сам,— все это вздрагивало и качалось.

Временами ему казалось, что переворачивается земля, и он слабыми руками инстинктивно хватался за топчан. Или ему чудилось,

что серая мгла наполняет смрадную темень шахты. Поскрипывают, прогибаются слабые подпорки под неимоверной тяжестью земли, и где-то грохочут обвалы, а он застрял и задыхается в черном углу шахты. Крупный пот выступил у него на лбу, он стал метаться, порываясь уйти к свету, и опять потерял сознание...

Во время короткого затишья в лазарет пришел Еламан. Винтовку он оставил у двери, а сам, перебегая глазами по лицам, осторожно ступая между ранеными, лежавшими на полу, пробрался к Дьякову и наклонился над ним. Комиссар по-прежнему был без памяти. Губы его потрескались от сухости, ноздри запали. Еламан хотел дать ему напиться, но воды в бачке не было. Пуста была и его фляга.

И в беспамятстве комиссар мучился. Провалившиеся закрытые глаза окружены были тенями, высокий белый лоб, не загоревший под кепкой, то и дело покрывался крупным холодным потом. Подсев к нему, Еламан вытирал время от времени у него пот и удивлялся мужеству этого слабого человека. Много повидал Еламан на своем веку, но охваченных ужасом, бегущих в панике бойцов видел тогда впервые. «Апыр-ай! А?»— удивлялся он и думал, что бегущие бойцы похожи были на косяк коней, преследуемый волками. И тотчас ему пришел на ум давний случай, который произошел с ним, когда он ходил в табунщиках у Кудайменде.

Дело было зимою. Весь день Еламан и молодой подпасок маялись в седлах, промерзли, проголодались и к вечеру так заиндевели, что Еламан не вытерпел и послал подпаска загодя сварить ужин. Перед заходом солнца поднялся ветер. Лошади, тоже заиндевевшие, но сытые, горячие от обильного корма, даже не шелохнулись. В низине сильно обмелевшего за лето озера оставалась буйная трава. А степь густо забелил снег, прикрыв пастбища,— во все стороны простиралась белая земля, безжизненная и ровная, как доска. Ветер усилился, и по снегу потянуло поземкой. Саврасый конь Еламана все лето не знал седла. Прекрасно выгулявшись, он был полон сил и, казалось, так и дышал жаром, но и ему ветер не нравился, и он все норовил прижаться к табуну с подветренной стороны.

Еламан взял в руку курук, вытянулся на стременах и внимательно оглядел табун в озерной низине. Кони были еще спокойны, пробивали копытами снежный наст и, пофыркивая от удовольствия, щипали траву. Только мерины несколько разбрелись по краям, зато в середине табун сбился в плотный круг, обступив кольцом стригунков и трехлеток.

Начинающийся буран раньше всех почуяли старые кобылицы и матерые жеребцы. Да и было им отчего встревожиться: только что выбитые из-под снега травы — изень и полынь — тут же заметало поземкой. Колкий снег хлестал лошадей по мордам, снежная крупа забивалась в глаза и ноздри, и старые кобылы и жеребцы в тревоге

начали поднимать головы, застывая в недоумении с пучками травы в зубах и настороженно прядая ушами.

Еламан сильно натянул повод саврасого и издал тот особенный пронзительный крик табунщика, от которого дрожь прокатывается по спинам коней. Табун вздрогнул и перестал кормиться. Не понимая, в какую сторону бежать, кони сбились в плотную кучу, оттирая друг друга круглыми сытыми боками. Побыв некоторое время в нерешительности, табун вдруг помчался галопом, топоча копытами, за чубарым жеребцом, подавшимся в сторону аула.

И когда свет совсем померк и ночь опустилась на степь, далеко впереди Еламану почудились черные тени волков, стремительно подвигавшиеся наперерез табуну. Чубарый, скакавший впереди, вдруг испуганно заржал и на ходу поднялся на дыбы, одновременно оседая на задние ноги и разворачиваясь. Точно так же, как и чубарый, остановился и весь табун, будто оказавшись перед бездной. Чубарый еще раз хрипло заржал, и весь табун одной живой массой, мгновенно развернувшись, в неописуемом страхе понесся назад в степь.

Еламан что есть силы вытянул саврасого камчой. Зычно крикнув, он поскакал что есть мочи, норовя обогнать табун и зайти к нему спереди. Обычно одного такого крика было достаточно, чтобы кони вздрогнули и послушно остановились. Чубарый жеребец останавливался первым и, задрав свою гордую голову, оглядывался на Еламана, как бы спрашивая, чего тот хочет. Но на этот раз самые свирепые крики Еламана не помогали — табун вышел из повиновения. Отталкивая и сшибая молодых, с только что закурчавившейся шерстью жеребят и стригунков, мчались в дымную от пурги ночь обезумевшие кони, оглашая степь глухим топотом копыт. Ничего не видели и не чуяли теперь лошади, кроме мелькавших неотступно с боков черных теней. И как только стремительные тени эти начинали мелькать впереди, табун опрометью шарахался в другую сторону. Тысячи копыт дробили твердый снежный наст. В темноте крупы коней сливались, и временами казалось, что это несется неукротимый горный поток. Иногда Еламану чудилось, что, сотрясая землю, впереди движутся огромные черные валуны. Видение это было столь явственным, что Еламан начинал уже верить ему и убеждался в своей ошибке только тогда, когда настигал какую-нибудь лошадь и видел перед собой упругий конский круп.

Еламан знал, что впереди степь обрывается в море высоким крутым обрывом. И он ужаснулся, представив себе, как весь его табун, лошадь за лошадью, срывается и с предсмертным криком падает с кручи. Он закричал и уже не умолкал больше, нещадно избивая саврасого, чтобы обогнать и отвести в сторону мчавшийся к погибели табун. Он так и не мог вспомнить потом, как удалось ему повернуть обезумевших лошадей. Еле добравшись до своей юртенки, он свалился у входа и не мог подняться. Напуганный подпасок еле втащил его тогда в юрту...

И вот теперь, глядя на обеспамятевшего своего комиссара, Еламан удивлялся, как мог этот тщедушный человек остановить охваченных паникой бойцов. «Апыр-ай, а? Ну надо же, а?»— твердил про себя Еламан и только головой покачивал.

Пришел измученный, сбившийся с ног врач и увидел Еламана.

— Кто такой, что надо?— скороговоркой недовольно спросил он.

— Я?

— Ну ты, ты... Не я же!

— Я из Коммунистического полка.

— Ну слушаю. В чем дело?

— Скажите, как он?

— А ты сам не видишь как?

— У него рот обметало. Ему бы попить надо.

— Сестра!— раздраженно крикнул врач. Прибежала молоденькая испуганная сестра.— Я разве не предупреждал, чтобы к раненым не пускали посторонних?

Еламан встал, пробрался к выходу, взял свою винтовку и вышел. После укола Дьяков пришел в себя. Первое, что он почувствовал, была необычайная легкость в груди. Он открыл глаза и оглядел палатку. Сквозь прорехи старой, выгоревшей на солнце палатки голубело безоблачное, чистое небо. Дьяков переводил взгляд с предмета на предмет и всякий раз думал: «Что это? И где я?»

Негромкий голос рядом с ним попросил пить. Голос был такой тонкий и слабый, что казалось, проснулся и зовет свою мать ребенок. Дьяков покосился направо. Рядом с ним, на расстоянии протянутой руки, весь в кровавых бинтах, лежал навзничь громадного роста боец. «Кто это? Что-то знакомое...»— морщась, подумал Дьяков и вдруг сразу все вспомнил. Это был тот самый верзила, у которого он вырвал винтовку. Конечно, он! И тоже ранен, и сильно, наверное. И перед Дьяковым мгновенно прошли все события сегодняшнего дня: повар на кухне, совещание в штабе, наступление белых, паническое бегство бойцов... Бежали так, будто на них горела одежда. Представлять это снова было страшно. Дьяков замигал и стал смотреть в прореху палатки на чистое небо, стараясь думать о другом.

Еще в сибирской ссылке он понял, что ему недолго осталось жить на земле, и в душе своей давно уже готов был к смерти. Теперь же он думал о том, что даже и этот короткий срок не суждено, видно, ему прожить без болезней. В иные ночи, объятый глубоким сном, он вдруг чувствовал такое удушье и такую смертную тоску, что просыпался в холодном поту. Не только в бою, как сегодня, а просто в постели, во сне, на рассвете, в тишине, он мог уже умереть много раз. Прикладывая слабую, узкую, как у ребенка, ладонь к виску, он ощущал гудение и пульсирование, и ему казалось, что жизнь его теплится еще только в этих набухших венах. Подолгу лежал он как бы на самой меже жизни и смерти, открыв рот и еле ворочая похолодевшим, чужим каким-то языком. Ему хотелось

крикнуть, позвать кого-нибудь на помощь, но напрасны были его усилия, голос пропадал, и он вяло думал, что до утра ему не дожить.

Нет, смерти он давно не боялся и совсем не о себе думал сегодня, когда бежал с винтовкой. Страшился он другого — ему казалось, что ни один человек не побежит за ним, что бойцы его, бросая оружие, будут все так же что есть силы бежать назад и тогда — полный разгром, уничтожение... «А все-таки повернули! Все-таки бой идет!»— с наслаждением думал теперь Дьяков.

У входа в палатку остановились арбы с новыми ранеными. Послышались крики и стоны. Санитары с носилками засновали взад-вперед. Хлопотливо забегали, мелькая белыми халатами, немногочисленные сестры. Прислушавшись к далеким и близким звукам, Дьяков понял, что бой разгорается. Он знал, что у красных нет свежих сил для наступления, значит, наступают белые... Раненые все прибывали и прибывали... Много было среди них бойцов Коммунистического полка, изредка попадались и джигиты из отряда Еламана. «Как стоят, как стоят!..»— взволнованно думал Дьяков.

XI

Два дня было тихо. На третий день на рассвете белые опять пошли в атаку. По приказу Хан-Даурова вымотанные красные полки начали отступление. Почувствовав себя лучше, Дьяков поторопился вернуться в свой полк. Стоя возле железной дороги, он смотрел на бойцов своего полка и горько думал, как мало их осталось. Да и среди оставшихся чуть не у каждого белела перевязанная голова или рука.

В полку было три орудия. Два из них были разбиты в бою под Кандагачем и Эмбой, а в последнем бою снарядом разворотило колесо и у третьего орудия.

Медленно тянулась по степи отступавшая дивизия Хан-Даурова. Белые сначала обстреливали ее, пытаясь завязать новый бой, но потом отстали. Иногда только в ровной степи в знойном мареве поднимались то там, то здесь облака пыли, медленно катились в сторону красных, и в этой пыли возникали вдруг небольшие группы всадников — передовые дозоры белых. Не приближаясь и не удаляясь, следовали они некоторое время за отступавшими красными частями, пока наконец какой-нибудь конный эскадрон не отгонял их.

Еламан с тревогой поглядывал на выжженную степь и хмурился. Он ехал шагом на белоногом своем коне впереди джигитов и размышлял о том, какой тяжкий нынче год выпадает для скотоводов. Он осунулся и почернел с тех пор, как вернулся из штаба генерала Чернова и был ранен. И джигиты его были измотаны, опалены зноем, грязны и худы. И многих из тех, кто вместе с Коммунистическим полком участвовал в боях, уже не было. От усталости джигиты еле

сидели в седлах, прикрыв глаза от солнца и покачиваясь из стороны в сторону. Все лето небо не знало туч и теперь было белесоватого цвета, будто выгорело. Нещадный зной, с утра до вечера дышавший огнем, выжег дотла всю землю. И земля покрылась тончайшей, как пудра, пылью.

Лошади и люди сходили с ума от жажды. Во всем полку не сыскать было ни капли воды. Дьяков знал, что воды теперь не будет до самого Челкара, и, посоветовавшись с Хан-Дауровым, решил не делать привалов, хоть сердце его и ныло, когда он смотрел на измученных бойцов. Уже после полудня завиднелся на горизонте Челкар. Бойцы повеселели и ускорили шаг, но как они ни торопились, а до города, казалось, было все так же далеко. Он по-прежнему смутно мерцал на горизонте, и по-прежнему как несбыточная надежда манила бойцов длинная водокачка.

Дьяков понимал, что защитить Челкар дивизия не сможет. Основные силы красных сосредоточивались под Аральском. Дивизия же Хан-Даурова была обескровлена и почти лишена боеприпасов. В помощь отряда Жасанжана Дьяков не верил, помня о предательстве в долине Жем. Одно только было утешением — третий полк почти не пострадал в боях. В этом полку целы были все орудия, хоть снарядов и у них не хватало. В отрядах же, созданных из железнодорожников Актюбинска, Эмбы и Журуна, с патронами было совсем плохо. Чтобы сохранить хоть относительную боеспособность своей дивизии, Хан-Дауров выставлял эти отряды в качестве заслонов на пути белых. Отряды железнодорожников дрались отчаянно, но потери несли огромные.

Хан-Дауров рассчитывал задержать белых под Челкаром хотя бы дня на два, на три, и Дьяков понимал, что на большее сил не хватит. Важно было другое — дать белым решительный бой под Аральском. Как раз туда командование Туркестанского фронта собирало все свои более или менее свежие части. Пока Дьяков лежал в лазарете, за одну только ночь погрузили и отправили эшелонами на Аральск рабочие отряды из Казалинска и Жосалы, с которыми еще три дня назад Коммунистический полк сражался бок о бок. Теперь, следовательно, надеяться можно было только на себя, помощи ждать не приходилось.

Чтобы бойцы скорее отдохнули, Дьяков отправил Еламана с его джигитами в город, наказав до прихода полка позаботиться об обеде и питьевой воде. Еламан со своими джигитами ускакал, остальные, не соблюдая строя, продолжали брести по выжженной, унылой степи. Говорить никому не хотелось, и все молчали. Слышен был только мягкий топот копыт по дороге. В раскаленном воздухе клубилась удушливая пыль.

Хоть и медленно, но город все приближался, и вот уже отчетливо стали видны многочисленные крыши мазанок на окраине. Чтобы не волновать жителей, Дьяков решил раненых в город не ввозить и распорядился разместить лазарет возле озера, в тени небольшого

лесочка. Пока размещали лазарет, почти все бойцы успели умыться и напиться в озере и в город уже вошли построившись, бодрым и четким шагом. Навстречу выехал Еламан и доложил, что в городе порядок: население спокойно, продукты раздобыли и обед, должно быть, готов. Он поехал впереди и скоро привел полк к большому каменному дому возле железнодорожной станции. Во дворе был колодец, и на разложенном огне булькали и исходили паром большие казаны. Гремя котелками и флягами, бойцы оживленной толпой окружили колодец и казаны.

Напившись и наевшись, бойцы стали было располагаться на отдых, но Дьяков, хмурясь, построил полк и повел его опять за город, к озеру. Он не думал, что белые сегодня же подойдут к городу, но знал, что без хороших окопов и траншей им не выстоять против белых и часу. Чтобы не дать противнику ни капли воды, Дьяков решил соорудить окопы перед озером. Единственно, чего он опасался, это того, что белые могут быстро обойти их с флангов. Боялся этого и Хан-Дауров. Посовещавшись, они решили сосредоточить все оставшиеся орудия на правом, самом уязвимом фланге.

Всю ночь провел Дьяков среди бойцов, усердно рывших окопы. Он тоже взялся было за лопату, но, заметив неодобрение бойцов, бросил ее. Уже к утру Коммунистический полк, работавший на западной стороне Челкарского озера, зарылся в окопы. Бойцы уснули мгновенно прямо в окопах. Вместе с ними забылся в коротком сне и Дьяков. Проснулся он на рассвете и почувствовал себя легко. Наскоро искупавшись в холодной озерной воде, он совсем приободрился. Давно уже не испытывал он такого деятельного и бодрого состояния души и тела. Оглядев глубокие окопы и траншеи, вырытые вдоль озера за одну ночь, он лишний раз порадовался, что не стал откладывать эту работу на утро и не пожалел бойцов. Зато теперь можно со спокойной совестью ждать подхода белых.

Мурлыкая себе под нос какую-то давно забытую и только теперь пришедшую на ум песенку, Дьяков побрился, потом почистил свою пропыленную одежду и привел себя в порядок. Бойцы, привыкшие к коротким снам между боями, тоже начали подниматься. Заметив на себе их взгляды, Дьяков тут же оборвал свое мурлыканье и согнал с лица улыбку. «Что это на меня вдруг напало? Не вижу никаких причин для веселья»,— хмурясь, подумал он, но сладить со своей радостью не мог. Настроение у него было как у парня, побывавшего в жарких девичьих объятиях. Дьяков хмыкнул и улыбнулся. Он прожил уже полжизни, а такого ощущения не испытал, хоть это игривое сравнение любили повторять казахские джигиты из сотни Еламана. Он живо представил себе счастливого молодца-джигита, проведшего блаженную ночь в жарких объятиях девушки. Какое, должно быть, легкое, чудесное счастье! Конечно, далеко не всем оно дается. Но зато уж тот, кто испытал это блаженство, не забудет его, наверное, до последнего вздоха. А когда наступит роковой час, то, уходя из этого дурацкого мира, человек изо всех сво-

их скудных радостей прежде всего вспомнит именно эти счастливые минуты. Должно быть, так? Кто знает...

Подозвав Еламана, Дьяков прошелся с ним в сторону степи.

— Ну как, не тянет тебя в аул?— спросил Дьяков и улыбнулся. Еламан не понял, зачем спросил его об этом комиссар, и промолчал.— До Аральска нам помощи ждать неоткуда, и здесь мы не задержимся,— уже другим тоном сказал Дьяков.— Здесь нас разобьют.

— Ты это серьезно?

— Никуда не денешься, мало у нас тут сил... Тем более,— Дьяков повысил голос и остановился,— тем более нам нужно думать о будущем. Сегодняшним днем мир не кончается. Кроме Чернова, есть еще атаман Дутов, и нам нельзя об этом забывать. Нам нужна своя конница, не эскадрон, а полк, дивизия, понимаешь?

— Так мне в аулах набирать людей?

— Не людей, а коней. Это, собственно, мысль Хан-Даурова, мы с ним говорили.

— Сколько нужно?

— Сколько сумеешь. Чем больше, тем лучше.

— Ладно.

— Тогда поезжай. Тебе надо уехать отсюда до боя. Хочешь, возьми с собой кого-нибудь.

— Не надо. Здесь люди нужнее.

— И то правда, сейчас вам дорог каждый человек.

— Ну... тогда я прямо поеду?

— Поезжай. Только вместо себя...

— Али останется.

— А-а. Хорошо. Мне этот парень нравится. Ну счастливо!

Позавтракав вместе со своими джигитами, Еламан сказал Али, что едет срочно в аул и оставляет его вместо себя. Наказав джигитам слушаться Али, как пророка, Еламан пошел к своему коню, стреноженному в камышах на берегу озера.

Дьяков в это время вернулся к окопам и смотрел в бинокль на горизонт. Кто-то подошел к нему сзади и положил руку на плечо.

— Ну как дела?

— Здравия желаю, товарищ комдив!— невесело сказал Дьяков и оторвался от бинокля.

— Бойцы отдохнули, поели?

— Понемножку и того и другого...

— Разведку не высылал?

— Какая разведка? Во-он пыль на горизонте...

— Это он, конечно. Так, так. Значит, готовы встретить гостя?

Дьяков промолчал, а Хан-Дауров своими круглыми выпученными глазами быстро оглядел окопы и траншеи. «Ишь ты, сукин сын!— с удовольствием подумал он.— Уж не военным ли искусством занимался он десять лет в Сибири?»

— А почему расположился спиной к озеру?— спросил он строго.

— Да так вроде лучше. Хоть воды у нас будет вдоволь.

— А если отступать?

Дьяков улыбнулся невесело.

— Все как будто учел, а вот об отступлении позабыл.

— Может, наступать собрался?

— Эх, Иван Артемьевич, чего об этом заранее думать, об отступлении. Дело известное, если уж нужно дать деру, любой в игольное ушко пролезет...

Хан-Дауров расхохотался, усмехнулся и Дьяков, а сам все не отрывал взгляда от клубящейся на горизонте пыли. А может быть, это стадо гонят на водопой? Нет, это не стадо. Вокруг Челкара не видно было ни одного аула. А ведь давно замечено: если приближается бой, казахские аулы мигом собирают юрты и исчезают.

Хан-Дауров вдруг насупился, взял у Дьякова бинокль и приник к нему Он смотрел долго, поворачиваясь в разные стороны, наконец оторвался от бинокля и взглянул на Дьякова. Глаза его потемнели, брови сошлись к переносице.

— Ну вот и пожаловали...

— Эх, черт возьми, было бы патронов и снарядов побольше...

— Было бы! Было бы, другой разговор был бы. Вот так. Впрочем, теперь это не твоя забота. Собирайся — и в дорогу!

— То есть как? В какую дорогу?

— Велено тебе срочно ехать в штаб Туркестанского фронта. На, читай телеграмму.

— Гм...— Дьяков пробежал глазами текст.— Тут не говорится зачем. Не знаете?

— Откуда мне знать?

— Когда же выезжать?

— Сейчас же, пока не начался бой.

— А полк?

— Я сам буду здесь. Ну прощай, всего доброго!

Дьяков пристально вгляделся в Хан-Даурова. Крупное подвижное лицо его было теперь сурово, почти мрачно. Отчаянной храбрости человек, он во время боев был неразлучен с бойцами. За это бойцы любили его и верили ему безгранично.

«Интересно, зачем я им понадобился?»— уже шагая в город, раздумывал Дьяков.

XII

Добровольческий полк соль-илецких казаков первым подошел к Челкару. Обычно этот полк находился впереди основных частей, высылал разведку, завязывал мелкие стычки, но в крупные бои не ввязывался. Но на этот раз люди и кони были так измучены жаждой, а переливающееся в мареве Челкарское озеро было так близко, что полк сразу вступил в бой. Казаки несколько раз атаковали позиции красных, надеясь нащупать в обороне уязвимое место и

прорваться к озеру, но красные оказали столь яростное сопротивление, что Соль-илецкий полк скоро выдохся, отступил и занял позиции на холме за Черным Перевалом. Чем ниже опускалось солнце, тем на этом широком холме, занявшем пространство чуть не в полгоризонта, становилось многолюднее. Из глубины степей, из-за перевала, поднимая тучи пыли чуть не до неба, нескончаемым потоком текла и текла белая армия.

Невыносимая дневная жара спала, но облегчение не приходило — наступила безветренная, душная южная ночь. Бойцы, разгоряченные боем, задыхались, и все — и мокрые от пота гимнастерки, и оружие — было им в тягость. Хан-Дауров обходил цепи Коммунистического полка. Он знал, что белые сейчас изнемогают от жажды, а там, где они теперь расположились, не было ни капли воды. И поэтому, рассуждал комдив, находясь в непосредственной близости от Челкарского озера, белые вряд ли станут дожидаться следующего дня, а все силы свои бросят в бой еще ночью.

Но, по-видимому, у генерала Чернова было свое на уме. Ночь, к удивлению бойцов, прошла спокойно. Только под утро на передовых пикетах началась беспорядочная стрельба. Пикетчикам показалось почему-то, что подходят белые, и, не видя ничего в темноте, они принялись бестолково палить в ту сторону, откуда почудилась им опасность.

Город в эту ночь тоже не спал. Дневной бой с казаками и предутренняя перестрелка напугали жителей. Все сидели по домам, стараясь держаться подальше от окон. Пожалуй, одного только человека ночная перестрелка застала на улице. Танирберген приехал в город вчера к обеду. Он не хотел вспоминать свое унизительное состояние, когда томился в плену у красных. Слава аллаху, продержав месяц, отпустили домой. Живя в своем ауле, в степной глуши, он из множества противоречивых слухов чутьем своим выбирал самые верные и знал поэтому, что война не минует его мест. Утвердившись в этой мысли, он срочно перебросил свой аул на новую стоянку в Карала-Коп, а сам, на этот раз без провожатых, спешно выехал в город.

Ему не хотелось останавливаться в домах своих богатых приятелей Темирке и Абейсына. С некоторых пор он чувствовал к ним странную неприязнь. Остановился он у небогатого казаха, рабочего скотобойни, живущего на окраине города. Отец этого казаха работал когда-то табунщиком в ауле Танирбергена, но однажды рассорился с байским аулом, взял жену и детей и подался в город. Сын непокорного табунщика тем не менее мурзу уважал и каждый раз при встрече в городе выражал готовность услужить ему.

Когда мурза остановился возле его невзрачного домишки и спешился, у бедняги от неожиданности едва не отнялись ноги. Танирберген не любил суетливых и слишком услужливых людей. «Э, оставь!»— хотелось ему сказать, но, понимая, что счастливый хлопотун уймется не скоро, мурза решил: «Ладно, пусть тешится...»

Важный, полный достоинства, стоял он посреди дома. Дорогой серый чапан его был расстегнут, руки с камчой он заложил за спину. Непривычно, скучно и неуютно показалось ему в этом бедном доме. «Напрасно все-таки я тут остановился»,— подумал было он, но тут же и оживился — в комнату вошла молодая хозяйка. Смущаясь перед мужем, ухаживая за высоким гостем, она ходила по дому робко и стыдливо. Пронзительные блестящие глаза красавца мурзы волновали ее. Белое смазливое личико ее то и дело вспыхивало. «Э, черт возьми! Везет же таким недотепам на баб!»— подумал Танирберген, с трудом отводя от хозяйки глаза. И он тут же решил, что нужно будет как-нибудь отправить этого услужливого джигита по делам куда-нибудь подальше. И от этой мысли он повеселел и приободрился.

Немало новостей узнал мурза за чаем. Узнал он, что красные бегут под натиском белых, что белые взяли уже Актюбинск, станции Кандагач, Эмбу, Журун и не сегодня-завтра возьмут Челкар. Узнал, что дивизия Хан-Даурова уже в Челкаре, но, по слухам, долго тут не задержится, что сегодня утром на станцию прибыл отряд железнодорожников...

Еще при въезде в город мурза заметил, что все приезжие стремятся убраться отсюда подобру-поздорову, а местные жители попрятались по домам, как суслики. Мурза и сам был бы не прочь оказаться теперь как можно дальше от Челкара, но у него здесь было важное дело — он хотел повидаться с братом Жасанжаном.

Решив отдохнуть после чаю и позабавиться немного с молодой хозяйкой, Танирберген отправил хозяина на станцию условиться с Жасанжаном о часе встречи. А поздно вечером, когда город отходил уже ко сну, мурза вышел из дома, накинув на плечи чапан, и отправился на станцию.

Жасанжан был один в вагоне и ждал брата. Он расхаживал по вагону и поглядывал на часы. Увидев мурзу, Жасанжан остановился и жадно вгляделся в его лицо.

— Все ли благополучно в ауле?— тревожно спросил он.

Танирберген молча обнял младшего брата. Ему сразу понравилась военная форма Жасанжана. Черные мягкие сапоги, серебряные шпоры, дорогая шапка — все это очень шло молодому холеному джигиту.

— Все ли живы-здоровы?— опять спросил Жасанжан.

— Слава аллаху!

— Ужасно рад, что ты меня нашел. Какими судьбами?

— Да просто захотел с тобой повидаться.

— С красным командиром? Ну конечно, ругать меня будешь?

— Ну что ты, дорогой? С чего ты взял?

— Как с чего! Кого бранит казахский бай? Свою жену, своих слуг, а потом младшего брата. Не так ли?

Танирберген хмыкнул и посмеялся немного. Тотчас пришли ему на ум аульные собаки, по сорок раз грызущиеся каждый божий

день. Так вот и мы, подумалось ему, в разлуке скучаем, мечтаем о встрече, а встретившись, начинаем тут же, как псы с одного двора, цапать друг друга. Танирбергену внезапно стало грустно. Усмешка его перешла в печальную улыбку.

— Я знаю, я для вас протухшее яйцо!— почему-то распаляясь, заговорил Жасанжан.— Да, да, тухлое яйцо, которое выбрасывают.

— Да ты сядь, пожалуйста, мне с тобой поговорить надо.

— Ну ругай, брани как хочешь. Хочешь, прибей, я и не пикну. Я ведь твой младший брат. Только сначала выслушай. Ведь мою душу собаки терзают, веришь ли?

— Ну что ты, родной мой. И потом, что это ты на меня наскакиваешь? Я ведь тебе пока еще слова не сказал.

— Наперед знаю, что ты скажешь. У вас одна песня: все вы хороши, один я урод.

— Да уймись ты, говорят тебе!

— Никогда вы меня не понимали...

— А вот это ты напрасно. Все мы каждый божий день благодарим создателя за то, что у нас есть такой брат. Ты молод, но образован и умен, не нам, степнякам, чета. А главное, давно уже предугадал будущее. Понимаешь?

— Да где там предугадал...

— Нет, нет!— оживился Танирберген.— Ты один из нас сумел вовремя стать на верную дорогу. Впредь ее и держись. Я специально хотел тебе это сказать, понимаешь?

— Ах, устал я. И терпенье мое иссякло. Как подумаешь обо всех нас...

— А ты о нас не думай, зачем это тебе? Сейчас ты должен думать только о себе.

— Вот как?

— Именно! От нас сейчас счастье отвернулось. Ныне божьи избранники — голодранцы. А значит, и будущее за ними. Перейдя заранее на их сторону, ты очень умно поступил.

— Ты шутишь?

— Какие шутки, милый мой?

— Да ты пойми, что нужно жить по вере, тогда душа будет спокойна.

— Что же в том, что ты им служишь без веры. В том большого греха нет. Коран этого не осуждает. Сам пророк учил: «Сильным прислуживай».

Жасанжан нервно рассмеялся. Матово-смуглое лицо его пошло красными пятнами.

— Когда нам нужно оправдать свои неблаговидные дела, у нас, видите ли, под рукой всегда аллах и коран. Ну и народ!

Он вскочил и, отпихнув ногой стул, стал бегать по вагону, бренча шпорами.

— Да, да, да! Именно наше обывательское самодовольство угробило нас. Там, где нужно было бы объединиться и уничтожить этих

мерзавцев, мы разбежались по кустам, заботясь только о своем собственном ничтожестве. Нам лишь бы скотины побольше да бабу послаще. А там пусть все хоть огнем горит. Ну и народ! Ну и народ!

Танирберген помрачнел. Куда он гнет, этот мальчишка? Создавать свое войско, бороться с красными? Дурак!

— Глупый ты мальчишка! Если не о нас, то хоть о себе подумай. Подумай, чем могут кончиться все эти затеи?

— А мне все равно. К черту!

— Н-да... Раньше, помнится, ты был не таким. Не такие говорил ты речи. Помнишь, еще когда мы были в силе, когда от благоденствия жаворонки откладывали яйца на спинах овец, ты утверждал, что будущее будет принадлежать беднякам. Мне еще тогда казалось, что накликаешь ты беду на наши счастливые головы. И хоть кричал я на тебя, но в душе-то что у меня было? Что я мог? Беспомощность...

— Вот эта беспомощность и доконала нас.

— А ты тогда казался провидцем, ишаном. Зато теперь ты похож на безумного мальчишку на пожаре, лезущего в огонь.

— Легко говорить. Действовать надо. Хватит с нас святых и провидцев. Святым легко — брякнул свою глупость и пошел спать. Сейчас один солдат стоит дороже тысячи святых болтунов.

— Так, значит, у тебя есть еще надежда?

— Без надежды и дня не прожить.

— Да, но ты-то сам пока служишь кафырам?

— Что делать хлеборобу, когда на его посевы обрушивается саранча?

— Ну?

— Истреблять эту саранчу. Истреблять!

Жасанжан вдруг зашелся в кашле, и лицо его приняло такой беспомощный, детский вид, что Танирберген поспешно отвернулся. «Несчастный!»— подумал он про себя, и такая жалость к младшему брату поднялась в нем, что он вдруг увидел его маленьким и ему захотелось приласкать его, рассказать ему на ночь добрую сказку, как, бывало, в детстве в сумеречный час, баюкая внуков, делали это добрые бабушки.

Отдышавшись, Жасанжан виновато поглядел на Танирбергена и мягко улыбнулся.

— Прости,— сказал он негромко и загрустил.— Верно, надо бы истреблять эту саранчу, да совсем плохие времена настали. Чернь с каждым днем набирает силу. Ты прав, в прежние годы я жалел чернь, думая, что ей довольно будет свободы. Как бы не так! Она ненасытна, жадна и жестока. Это она убила нашего брата, волостного. А теперь уже губит всех подряд. Сегодня наших соседей, а завтра подойдет и твой черед. Заберут весь твой скот, одежду с тебя сдерут, юрту твою опрокинут. Какой смысл будет тогда во всей твоей жизни? Так не лучше ли, пока в моих руках есть сила, пока

есть у меня преданные люди, не лучше ли схватиться с этими мерзавцами не на жизнь, а на смерть?!

— А по-моему, наоборот, служить этим мерзавцам верой и правдой. Этим ты спасешь не только себя, но и всех нас. Впрочем, поступай как знаешь.

Танирберген нахмурился, встал и вышел из вагона, не сказав на прощанье ни слова. Жасанжан выскочил за ним и, видя, что брат уходит и не оборачивается, хотел крикнуть ему, позвать, чтобы еще раз обнять его, но только растерянно улыбнулся задрожавшими губами.

Танирберген быстро шел по ночному городу. Маленькие приземистые домишки с наглухо закрытыми ставнями мрачно темнели по обе стороны улицы. Нигде не было ни души. «Несчастный мальчишка!»— думал мурза, с жалостью вспоминая брата.

Он так глубоко задумался о будущем, что не заметил, как пришел к дому, в котором остановился. В этот самый час началась беспорядочная стрельба за озером. Заскулила во дворе собака, всхрапнул и беспокойно переступил ногами конь Танирбергена. Мурза стоял, подняв голову к небу, прислушивался к выстрелам и думал с печалью о брате. Он вдруг увидел, как ослепительно вспыхнула и, оставив мгновенный фосфорический след, сорвалась в черную пучину маленькая звездочка. «Чья была эта звезда?»— сам себя спросил мурза и подумал, что в этот миг, может быть, погасла еще одна дорогая для него жизнь на земле.

XIII

На следующий день белые ворвались в город. До полудня за озером шел ожесточенный бой, то и дело переходивший в рукопашную, но кавалерия атамана Дутова, прорвав левый фланг, занимала уже городские окраины. Из-за опасности окружения долее медлить стало невозможно, и красные, отстреливаясь, начали поспешно отступать.

Намеревавшийся еще раз повидаться с Жасанжаном перед отъездом, Танирберген невольно задержался в городе. Хоть бой возле озера загремел с самого утра, никто из горожан не думал, что красные так скоро отдадут узловую станцию с вагонным цехом и паровозным депо. Танирберген решил, что теперь самым разумным будет пожить несколько дней в городе, чтобы доподлинно узнать, много ли войск у белых. То, что он увидел, поразило и воодушевило его.

Следом за казаками Дутова в город стали входить пропыленные колонны пехоты, огромные обозы, легкие и тяжелые орудия... Стреляя моторами, лязгая гусеницами, по улицам ползли невиданные в этих краях темно-зеленые чудовища — броневики. Глинобитные домишки Челкара сотрясались. Напуганные обыватели запирали окна и двери. Танирбергену было одновременно радостно и жутко. В первый же день казаки свели у него коня со двора, но мурза не

стал расстраиваться. Потеря коня в такой день показалась ему неважной.

На другой день Танирберген узнал, что командующий белой армией собирает у себя именитых баев из окрестных аулов, волостных правителей и богатых купцов. Осторожный мурза решил притвориться больным и на собрание не пошел.

Всю вторую половину дня к большому дому, где расположился генерал Чернов, съезжались со всех близлежащих аулов самые влиятельные люди. Уже вечерело, когда генерал вышел во двор. Ему вынесли легкий столик и кресло. Собравшиеся с пронзительным любопытством смотрели на Чернова. В задних рядах оживленно перешептывались. Попросив чаю и помешивая серебряной ложечкой в стакане, Чернов усталым взглядом обвел богатых казахов.

Среди кучки черносюртучников, державшихся обособленно, притаился и Темирке в неизменной своей плюшевой тюбетейке. Он нутром чуял, что не для приятной беседы собрал их русский генерал. Видит аллах, придется им раскошелиться! А когда, как ему показалось, генеральский взгляд задержался на нем, Темирке стало совсем не по себе. «И-и, алла, видно, кто-то уже успел ему шепнуть о моем богатстве!»— подумал он, заводя глаза.

Командующий был немногословен и говорил тихо, но слабый голос его был слышен всем: армия нуждается во многом, нужны свежие лошади, продовольствие, фураж...

Несмотря на жару, Темирке сразу пробрал озноб, и он, поеживаясь, забормотал:

— Видали? Нет, вы только послушайте, тут собственное брюхо не знаешь, чем набить, а этот хочет, чтобы мы такую ораву кормили! Э-э, нет, нет. Не знаю, как другие, а я совсем не богат.

Как всегда, собравшиеся смущенно заерзали, незаметно поглядывая друг на друга и на генерала. После затянувшегося молчания два-тра голоса высказались в том смысле, что куда же деваться, надо помочь, хоть и худо в этом году со скотиной, но чем можно, отчего не помочь.

Адъютант, все это время терпеливо стоявший за спиной генерала, шагнул вперед и, почтительно наклонившись, сказал что-то на ухо командующему. Чернов кивнул и опять внимательно оглядел собравшихся.

— Судя по всему, дорога на Аральск будет нелегкой,— строго сказал он и кашлянул.— Впереди простираются безлюдные пустыни. Нам нужен до Аральска надежный проводник.

Опять все попрятали глаза и призадумались. Зато Темирке вдруг встрепенулся и поднял голову. Глаза его заблестели, лицо приняло угодливое выражение. Соседи покосились на него испуганно, а генерал, наткнувшись на него взглядом, прищурился.

— Вот вы, в тюбетейке... Вы хотите сказать что-то?

— Есть у нас такой человек,— быстро отвечал Темирке.

— Очень хорошо. Кто он такой?

Темирке смутился и вдруг толкнул ногой сидевшего рядом Абейсына.

— Вот он тоже знает его.

— Ничего я не знаю,— испуганно сказал Абейсын.

— Как так не знаешь? Вы же земляки, из одного аула!

— Ай, отстань, ради бога, сказал, ничего не знаю.

Темирке растерянно воззрился на соседа, на его будто ледяное застывшее лицо, на его мясистые губы, на тяжелые бесстрастные веки.

Абейсын сидел не шелохнувшись, будто он не только мурзу, но и самого Темирке не знал. Темирке совсем упал духом.

— И-и, алла,— застонал он.— Вот всегда так. Один я не умею держать язык за зубами. Не умею... Не умею, горе мне! Я ведь думал, что тут все знают почтенного мурзу... Танирбергена.

— Как вы сказали?— живо переспросил генерал.

— Танирберген, я сказал, его звать.

Переглянувшись с адъютантом, Чернов нахмурился.

— А кто он такой, ваш Танир?..

— И-и, алла! Нет надежней человека, ваше благородие. Бай, мурза.

— Он не с Аральского побережья родом?

— Да, да, да, оттуда, оттуда. Он самый. Выходит, вы его знаете?

— А где же он? Почему его нет среди вас?

— Он тут, в городе.

— Вот как?

— Наверное, не известили его, ваше благородие,— торопился Темирке.— Знал бы, первый был бы здесь. Прекрасный человек! Джигит!

Генерал Чернов живо повернулся к адъютанту и тихо проговорил:

— Узнайте у этого лопоухого, где остановился мурза.

— Слушаюсь,— отчеканил адъютант.

XIV

В прошлом году вскоре после женитьбы Еламана на Кенжекей приехал к ним старый Суйеу. Он пригнал брюхатую одногорбую верблюдицу. «Малышей у тебя теперь целый аул,— рассуждал он.— Верблюдица весной верблюжонка принесет, и молоко будет. Вот и радость детишкам».

Настоял-таки тогда на своем старик, а теперь все лето молока детям было вдоволь. Только в рыбачьем ауле не было скотины, и удержать ее одну возле дома было невозможно. В поисках табуна и хорошего корма одинокая верблюдица уходила все дальше. Ее манило на привычные пастбища, где в это время было вдоволь и воды и травы. Измученная Кенжекей пробовала спутывать ей перед-

ние ноги. Но, прыгая, как конь, верблюдица все равно уходила на джайляу.

Сегодня Кенжекей нашла ее далеко, за Бел-Араном. Пока она ее искала, в горле у нее пересохло, мучила жажда, а песок нестерпимо жег ноги. Солнце, как назло, застряло в зените и нещадно палило. Кенжекей все оборачивалась, все поглядывала на небо. Небольшая серая туча давно уже поднялась откуда-то сзади, из-за горизонта, и становилась все шире и шире. Тень от тучи незаметно скользила по земле, переплывала с холма на холм и настигала Кенжекей с верблюдицей. Кенжекей повеселела, с облегчением ощутив слабое прохладное дуновение. А солнце по-прежнему опаляло выцветшее от зноя небо. Но тут из тучи посыпался вдруг мелкий светлый дождик. И сразу же будто всей грудью вздохнула серая обессилевшая степь, и пыль покрылась темными оспинками от дробовых капель. Зной сразу свалился, и уже не так жгло ноги, и дышать стало легче.

Вспомнив детей, оставленных дома, Кенжекей забеспокоилась. Она надеялась вернуться скоро и не предупредила соседей. Она особенно побаивалась за старшего сына Утеша. Сердце ее ныло, когда она думала о нем. Вместо того чтобы быть опорой матери, этот сорванец с каждым днем все больше отбивался от рук. Стоило матери отвернуться на минуту, как младшие ребятишки поднимали страшный крик — Утеш уже успел их обидеть. Особенно доставалось от него маленькому сыну угнанной басмачами Балжан.

— Ай, Утешжан-ай, ну зачем ты его обижаешь?

— Да-а... Нужен он мне! Плакса!

— Ты-ы-ы... оби-и-идел... Мои асыки...

— Сейчас же отдай ему асыки! Слышишь?

Утеш независимо держал руки за спиной и злобно сопел. Потом размахнулся и швырнул горсть асыков к двери. Сын Балжан, потрясенный несправедливостью, заревел еще пуще:

— Моя кра-а-асная бита-а-а!..

— У бесстыдник! Отдай! — опять крикнула Кенжекей.

Утеш засопел еще сильнее. Круглые кошачьи глазки его с откровенной ненавистью уставились на мать и братишку. С битой он решил не расставаться. Тихая, добрая от природы Кенжекей никогда не била своих детей, тем более Утеша. Он с пеленок рос и воспитывался у бабушки, будто ее самый последний сын, и Кенжекей привыкла относиться к нему с почтением, как к младшему деверю. Но тут терпение ее лопнуло, и она стукнула Утеша, который в эту минуту удивительно был похож на своего отца Тулеу.

— Отдай! Сейчас же отдай!

Утеш не заплакал. Глаза на его побледневшем лице горели. С диким выражением, свойственным всем мужчинам этого рода, поглядел он на мать и медленно достал откуда-то из штанов выкрашенную хной биту.

— Ты пасынков любишь больше, чем родных детей!— с яростью выговорил он.

— Замолчи! Он твой единокровный братишка!

— Сказанула тоже! Забыла, как его мать, вражина, тебя за волосы вокруг юрты...

Кенжекей даже затряслась.

— Вон! Вон отсюда, стервец!

Утеш и не подумал уйти. Кенжекей уже готова была выцарапать его наглые гляделки. Подскочив к нему, она завопила:

— Убирайся, скотина!

И, уже вытолкав его в шею, долго еще не могла успокоиться и бурно дышала. Сдерживая гневные слезы, она думала: какой паршивец! Весь этот дьявол пошел в Тулеу. Чем старше становится, тем заметнее в нем мелкая зависть и ослиное упрямство, свойственное отцу. Уже сейчас с ним не сладишь, а что потом? О, не дай, не дай бог, чтобы он с братишками своими жил потом так же, как Калау с Тулеу, которые грызлись с утра до вечера, ссорились по сорок раз на день и поганили родной очаг. Вот подрастет еще, начнет и перед Еламаном выламываться, что же тогда? Конец ее с Еламаном желанной жизни? «О господи, что мне с ним делать? Как его исправить? Вот горе-то на мою голову!»— убивалась она наедине с собой.

Подошла к ней четырехлетняя дочурка приласкаться. Нежная была дочка, самая меньшая, и, слава богу, здоровая, крепкая, ручки и ножки полненькие, как колотушки, и росла без хворостей и печали. А вот Ашимжан почему-то хиленький. Он, правда, не болел с тех пор, как Кенжекей взяла его к себе, и говорить стал хорошо, но был худенький, никак не поправлялся. А на отца похож просто поразительно. Такие же большие глаза, нос с горбинкой, и такая же ямочка на подбородке — весь в Еламана.

Еламан последнее время по своим нескончаемым военным делам пропадал надолго, и сердце Кенжекей сохло от тоски по нему. Бывало, оставив работу, она подолгу вглядывалась в лицо Ашимжана, угадывая в нем любимые черты мужа. И вдруг спохватывалась, что смотрит слишком пристально, жадно, и пугалась не на шутку, что сглазит мальчика. А как порой тянуло ее к нему, как хотелось обнять, прижать к тоскующему своему сердцу этого тихого, сосредоточенно игравшего мальчика! Но она стеснялась остальных детей. Стоило ей приласкать его чуть нежнее, чем своих, как Утеш уже зло и ревниво смотрел на нее.

От Еламана давно не было вестей. Рыбаки, побывавшие в Челкаре, Еламана там не видели, и в сердце Кенжекей закралась тревога. Где он мог быть? Потом до нее дошел слух, что к больному отцу на побывку приехала из Челкара Акбала. Сначала она не придала этому никакого значения, но узнавшая о приезде Акбалы Каракатын в тот же день примчалась к Кенжекей.

— Эй, молодуха! Слышала?— закричала она еще с порога.

Кенжекей со страху лишилась голоса. Она подумала прежде всего, что что-то плохое случилось с Еламаном.

— Что такое?— еле выговорила она.

— А то, что эта сучка к родителям приперлась!— выпалила радостно Каракатын.

— Кто?

— Да Акбала, господи ты боже мой, кто же еще? А приехала она неспроста, клянусь аллахом!

— Отец у нее плох, я слышала.

— Ха! И ты поверила? Да этого старикашку никакая хворь не возьмет! У этой стервы другое на уме. Она к Еламану подкатывается, вот что! А ты просто дура. Думаешь, все такие, как ты? А вот Акбала между тем...

— О господи, молчите, прошу вас!

— Как это — молчите?

— Зачем так чернить людей?

— Ойбай-ай!.. Вот дуреха! Или ты забыла, как еще недавно тебя Тулеу за волосы...

— Перестаньте! Уйдите из моего дома!

— Ой, несчастная! Я-то уйду, а вот как уведут у тебя, дуры набитой, муженька из-под носа, вот тогда я погляжу, как ты завоешь, уж тогда я полюбуюсь! Дура! Бестолочь!

Каракатын как ошпаренная выскочила из землянки. Она не унималась и на улице, бранилась на весь аул.

Кенжекей сидела бледная. Вот шалава, где пройдет, непременно напаскудит! Чистого, невинного и того будто сажей измажет. «Конечно, из смертных кто безгрешен? Но если есть среди них хоть один честный, то это он...»

Вечером по обыкновению она прилегла рядом с детьми на краешек постели. Долго не могла уснуть. Она старалась отогнать все сомнения и подозрения, но смутная тревога не отпускала ее.

Впервые она увидела Акбалу в тот год, когда Тулеу, оставив родные места, с семьей переехал к прибрежью. Встретились они у колодца. Кенжекей сердцем почувствовала, что возлюбленная мурзы не совсем счастлива, что-то, видно, ее угнетает, мучает, на лице ее застыла неизбывная печаль. Как бы ни чернила ее злая людская молва, она, должно быть, не из тех, кто не дорожит своей честью. Да что ее судить! Просто ей не повезло в жизни. Еще румянец не угас на лице, а она уже успела поскитаться на чужбине, хлебнуть горя, чужой порог переступить дважды и потерять сына...

Кенжекей вздохнула, посмотрела на детей. Один заговорил во сне, но потом затих. «Утешжан, наверное,— подумала Кенжекей.— Один он всегда спит тревожно». Она удивлялась, что не испытывала ни малейшей неприязни к Акбале. Наоборот, она всем сердцем сочувствовала этой женщине с нескладной, неудавшейся судьбой. И к маленькому Ашиму она этой ночью почувствовала прилив особой нежности и жалости.

Наутро Кенжекей поднялась спозаранок. Поручив детей соседке, она отправилась с Ашимом в аул старика Суйеу. Верблюдица шла неохотно, оглядывалась назад, ревела, тоскуя по оставшемуся в ауле верблюжонку. После обеда они достигли окраины большого аула. Вокруг не было ни живой души. Кенжекей подъехала. Верблюдица лениво опустилась на колени. В это время из юрты вышла молодая женщина, открыла тундук. Когда она повернулась, Кенжекей узнала ее. Побрякивая связкой сушеной рыбы, широко и простодушно улыбаясь, направилась она к красивой белоликой женщине.

— Это твоя Акбала-апа. Иди, беги, айналайын,— сказала она, слегка подталкивая мальчонку, семенившего рядом.

Акбала вздрогнула.

— Здравствуй, дорогая...

Акбала только теперь узнала женщину и пыталась ответить на ее приветствие, но не могла, еще больше побледнела.

— Ну как, узнала?— показала Кенжекей глазами на мальчика.

Акбала кивнула. Тонкие ноздри ее вздрагивали.

— Ну иди! Подойди к ней. Она твоя апа.

Мальчик сопел, упирался, сильнее прижимаясь к Кенжекей.

— Глупыш ты. Ничего не понимаешь,— уговаривала его Кенжекей.

Акбала не отрываясь смотрела с грустью на смуглого худенького мальчонку. Ашим никогда еще не видел, чтобы чужие тети с такой тоской и болью и со странным блеском в глазах смотрели на него. Он еще больше смутился и спрятал лицо в подол Кенжекей. Акбала усмехнулась, погладила сына по голове и, ни слова не сказав, повернулась и вошла в юрту.

В этот день ужинали рано. Утомленный дорогой мальчик уснул прямо за дастарханом. Для гостьи и сына Акбала постелила вместе, но Кенжекей, укладываясь спать, перенесла сонного мальчика на постель матери. Акбала сделала вид, что ничего не заметила. Она поставила у изголовья отца на ночь чашку с кумысом, наполнила его роговую шакшу[1] натертым нюхательным табаком. Потом, убавляя фитиль лампы-мигалки, мельком покосилась на спящего сына. Он тихо посапывал, положив головку на ладонь. И во сне лицо его было кротким и робким. Акбала прилегла рядом, прижала к груди щуплое тельце сына, жадно вдохнула запах прокаленного солнцем чубчика. Мальчик, не просыпаясь, пошарил по ее груди, доверчиво приник к ней носом, да так и пролежал до утра.

Летнее солнце взошло над рыжим холмом за аулом. И в юрту с закрытым тундуком проник бледный, сумрачный свет. Кенжекей пошевельнулась. Акбала знала, что в ауле рыбаков просыпаются рано, что гостья, несмотря на усталость, поднимется в привычное

[1] Табакерка.

время, и осторожно встала с постели. Выйдя из юрты, она хотела поставить чай, но вслед за ней вышла Кенжекей и сразу принялась помогать ей.

— Спала как убитая. Ашимжан тоже не может проснуться. Дай разожгу огонь...

«Ну зачем же? Я сама справлюсь»,— хотела было сказать Акбала, но боялась обидеть гостью.

Акбала была тронута добротой Кенжекей, и обеих женщин сначала как-то потянуло друг к другу. Но в то же время какая-то едва уловимая враждебность сковывала обеих. Акбала по своему обыкновению скоро стала замкнутой, гордой и души своей перед Кенжекей так и не открыла, хоть Кенжекей приехала к ней с самой искренней бабьей жалостью. Почувствовав холодность, Кенжекей тоже замкнулась и заспешила домой. Сославшись на домашние дела, оставив Ашима у Акбалы, она уже на другой день уехала назад. О Еламане не было сказано ни слова. Молчание Акбалы было Кенжекей понятно, на ее месте она бы тоже молчала. Но ее неприятно поразило, что и родители Акбалы не вспоминали о Еламане, будто его и на свете никогда не было.

Акбала проводила ее за аул. Верблюдица пошла крупной рысью, спешила к верблюжонку. Глядя вслед Кенжекей, Акбала злилась, ругала себя за черствость. «Несправедлива я к ней,— думала она,— такая добрая, сердечная. Красотой не блещет, но приятная: смугла, туготела. И в Еламане, наверное, души не чает. Небось ухаживает, ласкает. А что мужчинам еще надо?..» Акбала усмехнулась.

Вспомнила она, как мать гордилась, хвалилась перед бабами ее красотой. И до смешного боялась, что дочь может располнеть. Чтобы сохранить стройность и легкость ее фигуры, она до самого замужества мучила дочь, прибегая к одному старинному способу кочевников: на ночь под одеялом-подстилкой подкладывала жесткий, из конского волоса аркан. И Акбала ворочалась всю ночь: сквозь подстилку волосяной аркан иглами покалывал нежное девичье тело. Жестким был старинный метод, но верным...

«Да-а,— думала Акбала,— как славят красоту и ум женщины! Но красота с годами увядает, ум иной раз надоедает. И видно, все же не это самое главное, важное в женщине. Совсем на другом держится супружеское согласие. И бог знает, в чем оно выражается, это другое...»

В следующую ночь, прижимая к себе маленького Ашима, она вдруг вспомнила Еламана. Сон как рукой сняло. В сумрачной юрте немигающими глазами уставилась она в одну точку.

За год до женитьбы зачастил вдруг в их аул Еламан. Э, сколько воды утекло с тех пор! Табунщиком он был тогда. Неуклюжий, в толстой зимней одежде, с задубелым от стужи и ветра лицом появлялся он у них на зимовье и всем своим видом раздражал ее. Помнится, приехал как-то в сумерках. Акбала стелила дастархан перед отцом и видела, как табунщик поставил коня в затишье возле скот-

ного двора и пошел в их дом. Стоял крепкий мороз, и было слышно, как под его ногами скрипел снежный наст. Акбала вся похолодела, швырнула дастархан и собралась было к соседям, но отец вернул ее.

Еламан был застенчив. Все знали, что он приезжает ради Акбалы, но он не осмеливался поднять глаза на разливающую чай Акбалу и все краснел, терял дар речи, мучительно молчал. Отец сердито хлопал белыми ресницами, строго взглядывал на дочь. Но в такие минуты Акбала ничуть не робела перед грозным отцом. Ею овладевало дикое упрямство, желание поступить назло, наперекор, на лице застывала холодная усмешка. Она злорадствовала, чувствуя свое превосходство над этим мямлей, бубнившим что-то под нос. И пока табунщик гостил у них, пил чай и ел мясо, она не оказывала ему ни малейшего внимания. От гордости ли, от легкомыслия ли — кто знает? И не граничит ли излишняя гордость с жестокостью?..

Акбала вздохнула, посмотрела на сына. Ашим мирно, ровно посапывал. За эти дни он привык к ней. Видно, что-то чувствовал нутром. Ведь и Акбала с первого взгляда безошибочно узнала сына. Должно быть, чует, ой как чует материнское сердце родное дитя! В одно мгновение почувствовала она всем своим существом, что этот большеглазый, худенький, смуглый мальчишка, послушно семенивший рядом с малознакомой женщиной,— ее первенец, родная кровинка, ее сиротинушка. Уже потом, когда улеглось волнение, оставшись с ним наедине, каждый раз внимательно рассматривая сына с ног до головы, она с удивлением находила в нем поразительно много схожего с отцом. Те же большие глаза, раздвоенный подбородок, крупный с горбинкой нос... И характером так же тих и замкнут. Еще трехмесячным, бывало, когда его долго не кормили грудью, он не капризничал, не плакал. И не просыпался, пока не подходила мать и не вынимала его из люльки. И теперь он ничуть не изменился. Мальчишки в его возрасте с утра до вечера бегают как угорелые. А он, приехав, и сверстников себе не искал, и одиночества вроде не чувствовал. Целый день сидит сам по себе, глянет иногда исподлобья своими не по годам глубокими глазами и опять сам с собой играет. «Видно, точь-в-точь таким же в детстве был и его отец»,— думала, глядя на сына, Акбала.

* * *

Слухи и сплетни, подогреваемые неукротимой Каракатын, не утихли и после того, как Кенжекей вернулась домой. По слухам этим выходило, что Акбала и Еламан помирились и решили снова жить вместе. Как ни крепилась, как ни уговаривала себя Кенжекей — мало ли что болтают бабы по всем углам, ну их всех!— на сердце у нее было все-таки тяжело. И только после того, как она совсем замкнулась и перестала слушать кого бы то ни было, будто все эти толки ее не касались, бабьи пересуды погасли сами собой.

А тут пришла еще и весть от Еламана. Со случайным путником он прислал немного чаю и сахару и передавал привет. И хоть путник

этот насчет скорого приезда Еламана ничего не говорил, но в душе Кенжекей тотчас ярко разгорелась подогреваемая бабьей тоской надежда, что муж ее вот-вот должен приехать. Едва услышав возле дома чьи-нибудь шаги или конский топот, Кенжекей вся вспыхивала, чутко прислушивалась, и сердце у нее начинало биться радостно и трепетно, как у девушки, поджидающей жениха.

Днем она пропадала на работе. Вечером же, придя домой, готовила детям ужин, потом, накормив их, укладывала пораньше спать, а сама по давнишней привычке доставала из сундука — кебеже — ворох нежной шерсти молодой верблюдицы, усаживалась у ног спящих вповалку детишек и начинала неторопливо перебирать и теребить шерсть. Кенжекей сильно изменилась с тех пор, как вышла замуж. Она и сама это замечала и, думая об этом, застенчиво и радостно улыбалась. Теперь не было для нее дороже человека, чем Еламан. Когда он бывал дома, она заботилась о нем больше, чем о детях. Ему она готова была отдать все, что только было в их бедном доме. Теперь она горела одним желанием — своими руками связать ему легкий чапан — и выпрашивала у всех знакомых из разных аулов хотя бы по клочку шерсти.

Ей поразительно было, что она всем сердцем и так неожиданно привязалась к Еламану, будто впервые полюбившая девушка. После Тулеу она так зачерствела душой и так остыла ко всему мужскому племени, что даже радовалась порой: слава богу, небездетна, помаюсь, конечно, но проживу и без мужика! Она долго не решалась выходить за Еламана замуж. Она хорошо помнила, что к этому джигиту была когда-то неравнодушна Айганша. Не будет ли Еламан жалеть потом, что женился на многодетной женщине? Но в то же время, рассуждала она, женщина слаба и, как бы ее ни били, как бы над ней ни измывались, без мужчины, кормильца, ей не прожить. Немало побоев перенесла она от Тулеу, что ж, как-нибудь выдюжит и кулаки Еламана... Пусть даже будет он ее желторотым детишкам и не родной отец, а все же какой-никакой кормилец и заступник. Может быть, под мужским крылом этого человека ее птенцов и удастся вывести в люди?

Вот так рассудив, она и вышла замуж. В то время все мужчины были для Кенжекей на одно лицо, все они, как ей казалось, были выше ее, все они были отмечены аллахом и поставлены над женщиной. Со смирением думала она, что Еламан и умом, и лицом не чета ей. И если уж его все уважали в округе, тем более сам бог велел ему верховодить в доме. С первого же дня их совместной жизни она стала покорна и безгласна, старалась держаться как можно незаметней и во всем угодить мужу. Но уничижение ее как раз и не понравилось Еламану. Уже на другой день после свадьбы он, улыбаясь, вдруг сказал ей: «Слушай, Кенжекей, сядь-ка со мной рядом. Нам с тобой нужно поговорить».

Господи, сколько лет прожила она с покойным Тулеу, а он не звал ее иначе как: «Эй ты, баба!» И лишь изредка, когда бывал

чем-нибудь особенно доволен, скажет помягче: «Наша баба!» И вот, когда новый ее муж так ласково и просто назвал ее по имени, данному ей родителями при рождении, у нее от неожиданности чуть сердце не разорвалось. С этого дня Кенжекей жила как во сне.

Когда Еламану изредка удавалось приезжать домой, он сразу же, не обращая внимания на ропот Кенжекей, с головой уходил в домашнюю работу. А как ловко все у него получалось, с каким наслаждением он работал! «Мне только платка на голове не хватает. А то я поспорил бы с любой бабой!» — весело говорил он про себя. И до самого отъезда все так же весело хлопотал, запасал впрок дрова, носил в дом воду. Даже за детьми следил он и ухаживал наравне с Кенжекей. Да разве это главное? Всеми почитаемый мужчина, он недостойную и низкородную жену свою как дома, так и на людях ставил высоко, перевел ее, как говорится, с порога на тор — на почетное место! Кенжекей было так хорошо, что она сначала никак не могла привыкнуть к своему новому положению и часто думала: «О господи, уж не сон ли все это?» И хоть она сознавала, что все это не сон, но изведавшее много горя сердце ее нет-нет да и сжималось в предчувствии беды. Ей казалось, что такое счастье даром человеку не дается, что за него надо будет потом платить, и платить жестоко. И от таких мыслей мигом исчезала вся ее радость, только что буйно цветшая в груди, и недолгое счастье ее опять казалось ей сном.

Глухая тоска охватывала ее, и среди всех женщин, так же, как и она, разделывавших рыбу, она становилась одинока, далеко-далеко уходила в своих думах, и нож едва не выпадал из ее рук. Ей и домой не хотелось идти после работы. Одна-одинешенька понуро плелась она позади оживленной толпы баб, спешащих домой. «Надо мне было все-таки жить одной», — грустно думала она и вдруг издали замечала Еламана. Тот хлопотал, по своему обыкновению, возле дома и грел чай к возвращению жены. Кенжекей краснела, ей делалось стыдно перед соседями, потому что, казалось ей, она недостойна была такой заботы. И вдруг крепкое смуглое лицо ее вспыхивало радостно. Она уже смеялась и молилась от всей души: «О создатель, пошли ему многих лет жизни!» И все сомнения, изнурявшие ее целый день, развеивались как дым.

Шло время, и Кенжекей стала привыкать к заботам и вниманию мужа. Постепенно она избавлялась и от унизительной мысли, что она хуже других. Ей стало казаться, что она если уж и не лучше, то, во всяком случае, не хуже многих. Позабывались прежние бесчисленные унижения, и редко теперь вспоминала она свою молодость, прошедшую в горьких слезах. После смерти свекрови соперница ее Балжан измывалась над ней как только хотела. И рано в Кенжекей погасло пламя юности, рано охладела она к жизни. Молодая бесправная женщина похожа на заброшенный, засохший молодой тополек. И вот на увядшую было молодую жизнь хлынул вдруг

с неба благодатный дождь. Господи милосердый, какое неизведанное счастье!

То ли всевышний, то ли сами люди виноваты, но бывают женщины, которым не удается молодость. А когда им уже где-то между тридцатью и сорока, когда им, уже зрелым, особенно нужна мужская ласка, не дай бог, чтобы тогда в их сердце заронилась невзначай искра любви. Такие женщины становятся похожи на умирающего с голоду, дорвавшегося наконец до еды, так ненасытны и жадны делаются они. Поздно вспыхнувшая любовь умирает только вместе с ними, вместе с их холодным телом ложится в могилу. Такие женщины, и состарившись, сохраняют былую яркость губ и жар тела самой счастливой поры своей жизни. Эхе-хеу, что тут скажешь?!

Так, погруженная в свои думы, опершись подбородком о колено, долго сидела Кенжекей все в одной и той же позе. Клок шерсти, который она начала теребить, давно уж выпал из ее рук. Глаза ее ничего вокруг не видели и улыбались. Нежностью, счастьем и покоем дышало лицо. И много времени спустя, когда она уже спала, нежная улыбка все не сходила с ее круглого крепкого лица.

На другой день она проснулась позже обычного. Торопясь на работу, наскоро готовила она завтрак детишкам, как вдруг приехал Еламан. У Кенжекей все выпало из рук, и опрометью, не помня себя, кинулась она к нему и не добежала, остановилась — взгляд ее упал на большой косой рубец на щеке Еламана.

Еламан жадно перецеловал всех детей, а самую маленькую взял на руки.

— О, как ты выросла!— счастливо выговаривал он.— Ну как вы тут живете?

Кенжекей все не могла опомниться, не могла оторвать глаз от еще не зажившего как следует красного рубца во всю щеку.

— А где же Ашимжан?— спросил Еламан.

— У дедушки...

— Ну как же вы тут без меня? Не голодали?

— О отец Ашимжана...— дрогнувшим голосом сказала Кенжекей, по обычаю не называя мужа по имени.— О отец...— и не могла больше ничего выговорить.

Еламан только теперь заметил ужас на лице жены.

— Ну что ты, что ты!— улыбнулся он, обнимая Кенжекей.— Это все было, все прошло...

«Да, да, это прошло, это не страшно. Слава создателю, он жив, жив!» И, чувствуя, что не выдержит, заревет в голос, если только скажет хоть слово, Кенжекей молчала, уткнувшись лицом Еламану в плечо.

— Ну а как завтрак? Чай готов?— спросил, улыбаясь, Еламан.

— О, сейчас, сейчас...

— Кенжеш!..

Руки Кенжекей вдруг бессильно повисли, а лицо вспыхнуло. Так ласково называли ее только родители, да и то давным-давно, когда

была она еще девочкой с тонкими косичками. Кенжекей вопросительно взглянула на мужа.

— Кенжеш!— повторил Еламан и вроде бы смутился.— О чем это я хотел?.. А да, слушай, Аха так и не нашелся?

— Нет. Пропал бедняга, и концы в воду...

— Эх, несчастный!— пожалел Судр Ахмета Еламан.

Весть о приезде Еламана быстро облетела рыбачий аул. Первыми прибежали соседки. Потом один за другим потянулись рыбаки. Последним пришел Дос. Еламан встал, с подчеркнутым радушием встретил гостя и усадил его рядом с собой на почетное место. С помощью соседок Кенжекей быстро приготовила чай и расстелила перед мужем чистый дастархан. Щедро насыпала она целую горку румяных баурсаков и положила перед каждым гостем по кусочку сахару. Потом подсела к дастархану и стала разливать чай.

— Э, любезный Еламан, ты ведь не то что мы, ты человек бывалый...— начал кто-то из старших.— Рассказывай, что слышал, что видел. Когда этой войне проклятой конец будет?

— В этом году должно все решиться. Так говорят знающие люди.

— Вон как! Апыр-ай, это приятная новость.

— Доброе слово — половина удачи.

— Но был слух, что белые Челкар взяли.

— Верно. Они теперь идут к Аральску.

— Апыр-ай! И много их?

— Да порядочно...

После чая, наслушавшись разных городских новостей, гости стали расходиться. За дастарханом Дос все время молчал, но, выйдя из дома, захотел поговорить с Еламаном наедине и отвел его в сторону. Еламан повернул к кладбищу за аулом. У могил Мунке и Ализы, покоившихся вместе с их десятью детьми, он начал читать молитву. Он искренне верил, что молитва близких и друзей непременно доходит до духа усопшего, и каждый раз, приезжая домой, читал что-нибудь из корана на могиле старого рыбака. Он молился, и слезы текли у него по лицу. Закончив молитву, он провел было ладонями по щекам, почувствовал свои слезы и закрыл руками лицо.

Дос раза два смущенно покосился на Еламана. Ему хотелось утешить Еламана, но, как всегда, когда нужно было сказать другу какие-то ласковые слова, у него будто язык отнимался и он от досады на себя только хмурился. Еламан наконец вздохнул и тяжело поднялся. Дос так и не заговорил, помалкивал и Еламан, так молча они и разошлись. Стреножив за аулом коня, Еламан побродил в одиночку по берегу и уже после обеда, успокоившийся, возвращался домой, как ему снова повстречался Дос.

— Ты ведь неспроста приехал? Я вижу,— заговорил наконец Дос.— Зачем же?

Хоть соседям Еламан и словом не обмолвился о цели своего приезда, от Доса он не хотел ничего скрывать. И он рассказал, что

белые сейчас сильны как никогда, что от самого Актюбинска они без передышки гонят красных, но что превосходство их временное. Сейчас обе стороны — и белые, и красные — заняты приготовлениями к главному сражению под Аральском. Белые ждут помощи от богачей, баев вроде Танирбергена. А красные шлют по аулам бедных казахских джигитов, чтобы собирать коней и продовольствие.

— Ну а я,— закончил Еламан,— приехал сюда за табунами Танирбергена. Этот проныра наперед знает, откуда ветер подует. Он теперь свои табуны так запрятал, ни одна душа не знает.

— Н-да... Вот лиса! Узнать бы, лучше добра не найдешь.

— Ну за этим дело не станет! Даже если его кони превратятся в лисиц и попрячутся по норам, рука Калена их и там достанет.

— Ты сказал Калена?!

— О-о, Дос-ага, я и забыл суюнши у тебя попросить. Ведь Кален-то удрал из Сибири!

— Что ты говоришь! Вот молодец-то, а? Батыр!

— Еще бы! Ведь мы семижильные, мы и в воде не тонем, и в огне не горим. Нас на край света загоняют, а мы снова тут как тут! Понял?— И Еламан захохотал, хлопнув Доса по плечу.

Дерзкий, уверенный смех Еламана не понравился суеверному Досу.

Еламан бросил недоуздок на седло, лежавшее у порога, взял на руки маленькую падчерицу, игравшую во дворе, и пошел в дом. После ухода гостей Кенжекей успела выбить половики, подстилки, и в землянке было прибрано и чисто. Дети тоже одеты были во все чистое. Сама Кенжекей нарядилась в белое ситцевое платье, много лет пролежавшее на дне сундука, и в уже потертый плюшевый камзол. Лицо ее то и дело вспыхивало от радостного волнения, вся она так и светилась. Оживленно хлопотала она возле казана, в котором на медленном огне варилась свежая рыба, выписанная ей сегодня в счет будущей получки.

— А ну давай помогу,— весело сказал Еламан.

Но Кенжекей на этот раз оказалась неумолима.

— Еще в день приезда будешь работать! Как бы не так! Иди отдыхай или с детьми поиграй...

Взяв за руки, она потащила его к детям. Еламан, улыбаясь, покорно пошел за ней, потом вдруг вырвал руки, обнял ее и поцеловал. Крепкие щеки Кенжекей стыдливо зарделись. Она ловко вывернулась из объятий Еламана и, поправляя жаулык на голове, сказала смущенно:

— Что это с тобой случилось? Перед детьми-то стыдно...

До самого ужина провозился Еламан с детьми. Двух младших он посадил себе на спину и без конца возил их на четвереньках из угла в угол. Или ложился ничком и, двигая шеей, ревел и сипел, подражая капризному верблюду. Еламан видел, как оттаивают и

радуются дети, и, глядя на них, сам всей душой предавался веселью и так увлекся, что стал похож на большого ребенка.

Кенжекей, бросив свои дела, с умилением смотрела на мужа. Что бы он ни делал, все вызывало в ней радость. Все выходило у него будто по ее желанию. Стоило ему немного побыть дома, как сразу преображался и наполнялся радостью их убогий очаг. Особенно счастливы становились ее не избалованные вниманием полусироты. Даже Утеш — уж на что бука! — и тот забывался, веселел и незаметно для себя втягивался в игру, придуманную отчимом.

Ужин был давно готов, а Кенжекей, не желая прерывать игру, улыбаясь, молча сидела возле горячего казана. Она только благодарила всевышнего за то, что тот связал ее судьбу с этим скромным, как ребенок, красивым мужчиной, и шептала про себя: «Ия, аллах, не лишай меня этой радости!»

— Эй, самый большой ребенок,— решилась наконец сказать Кенжекей.— Ужин готов!

Поужинав, Еламан вышел. Кенжекей уложила детей сегодня раньше обычного. Потом приготовила постель и для себя с Еламаном, но ложиться одна не стала. Будто юная девушка, поджидающая своего возлюбленного, сидела она у изножья, полураздетая, и зябко поеживалась в ожидании сладостного мига супружеских объятий. Еламан долго с кем-то разговаривал возле дома. До слуха ее доносились голоса, но в слова она не вслушивалась. Довольно долго прождав мужа, она наконец вздохнула и принялась чинить одну из старых его рубашек. Но работа у нее не ладилась — то рвались нитки, то она колола себе пальцы иглой... Столь долгое отсутствие Еламана стало уже удивлять и обижать ее, и, выронив иголку с ниткой, она пригорюнилась.

Взгляд ее вдруг упал на свое неприкрытое тело. Подол платья задрался у ней нечаянно выше колен, и полные, круглые, тугие, не тронутые солнцем ноги поражали при свете рядом стоявшей лампы чистой, гладкой, как атлас, белизной кожи. Кенжекей всегда считала себя самой обыкновенной бабой, одной из многих дурнушек в белом жаулыке, даже хуже других, и вот только сейчас как будто впервые увидала свое красивое, молодое, крепкое тело. Она обрадовалась и смутилась одновременно и, прыснув, как девочка, юркнула под одеяло у изножья постели. Она не успела отсмеяться, как услышала шаги подходившего Еламана и проворно вскочила. Чувствуя одно только колотящееся сердце, она схватилась за грудь, и вдруг ей вспомнились слова Каракатын о Еламане и Акбале. Когда вошел Еламан, она была бледна и не глядела на него.

— Что такое, Кенжекей?— удивился Еламан.— Уж не обидел ли тебя кто-нибудь?

Она покусала губы, не зная, что сказать.

— Кто теперь меня может обидеть?

Но он видел, что она мучается, и ждал.

— Ты только не ругайся, но, знаешь, мне все кажется, что я не-

достойна... недостойна такого счастья. И еще кажется, что все это ненадолго...

— Ах, милая! И все?

— Да. И еще...

— Ну-ну?

Кенжекей совсем смутилась и повернулась боком к Еламану. Она то скатывала, то снова расправляла край алаши под собой и, заметив это, окончательно потерялась.

— Вот болтают тут...— сказала она дрогнувшим голосом и осеклась.

Еламан подсел к ней и погладил ее плечо.

— Ну?

— Люди говорят... ты опять с Акбалой... встречаешься. Если это так... конечно, чем она хуже других длиннополых баб? Даже лучше! Только вот не повезло ей... Ну что ж, на худой конец, буду одной из твоих жен. Лишь бы детишки подросли, окрепли бы под твоим крылом, лишь бы сиротства не знали! А я буду счастлива даже только видеть тебя...

Еламан не знал, что и говорить. В горле у него пересохло, и он несколько раз сглатывал слюну. Когда он услышал имя Акбалы, обветренное лицо его вспыхнуло.

— Кенжекей, милая...— забормотал он.— Бог свидетель...

— Не божись, не надо. Я тебе и так поверю.

— Спасибо. Ну вот и все... А люди чего не наговорят? Рты им всем не позатыкаешь.

На глаза Кенжекей навернулись слезы. Ей стало стыдно этих слез, и она потупилась.

— И что это сегодня со мной творится?

Никогда прежде не нравилась она ему так, как в этот вечер. Он и раньше знал ее кроткий, тихий нрав и нежную, добрую душу. Но никогда не думал, что она еще и умна, и рассудительна. Ему вдруг захотелось снять с нее платье и расцеловать ее гладенькое, с каждым днем полнеющее тело, но он сдержался. Он всегда был сдержан и суров по отношению к себе. И почти никогда не был доволен своими необдуманными, порывистыми поступками. Он и радость переживал по-своему. У других радость так радость, другие ликуют и чувствуют такую легкость, словно у них крылья вдруг выросли и они вот-вот птицей поднимутся в небо. Он же уставал от радости, будто нес на себе тяжелое бремя. Зато каждую свою радость он долго потом чувствовал, переживал заново, не расставался с нею, когда, казалось бы, давно уж пора было ее и позабыть. Да, долго всем своим существом осязал он пронесшуюся радость, как чувствуешь во рту приятный привкус отведанной сладости.

— Кенжекей,— сказал Еламан,— а что, если завтра мы проведаем старика Суйеу?

— Поедем, милый.

— А как с детьми?

— Соседи присмотрят.

— Ну тогда давай спать.

Кенжекей молча кивнула головой...

Наутро поднялись они рано, еще в сумерках, и быстро собрались в дорогу. Кенжекей оседлала верблюдицу, а Еламан поехал впереди на своем белоногом коне. Ходкой рысью по утренней прохладе они успели проехать большую часть пути и уже после обеда добрались до аула Суйеу, расположившегося на открытом верховье за Жаман-Боташем.

Акбала после того, как отец пошел на поправку, уехала в город. Узнав, что в юрте много гостей, Кенжекей, соблюдая приличия, осталась на улице с женщинами, а Еламан, привязав коня под навесом, пошел в юрту.

С тех пор как старику полегчало, юрта его не пустовала. Просторная, не заставленная никаким житейским скарбом, серая юрта и сегодня была полным-полна гостей.

— Ассалаумалейкум!

— Алейкумассалаум!

— Э, кто такой?

— А-а! Да это же наш Еламан!

— Он, он! Ну как, дорогой, жив-здоров?

— Слава аллаху.

— Да будет благословен твой путь!

— Аминь. Приехал проведать Суйеке...

— Э, очень кстати. Хорошо, что не забываешь стариков.

— А Суйеке теперь неплох, неплох... Благодарение аллаху, ему гораздо лучше. Ну а ты сам? Из прибрежного аула едешь?

— Оттуда.

— Один?

— Нет. С товарищем,— вдруг брякнул Еламан и покраснел.

Старик Суйеу в разговор не вмешивался. Он сидел на постели в правом углу просторной юрты в белой рубахе и белых исподних штанах, как всегда, прямой словно кол. Услышав про товарища, он резко повернулся к Еламану.

— Товарищ?— переспросил он. Колючие его глазки блестели из-под белых ресниц.

Еламан только теперь понял, какую глупость он сморозил, покраснел еще больше, но упрямо подтвердил:

— Товарищ.

— Э, что за товарищ такой?

— Жена.

Суйеу отвернулся от Еламана. Вытянув тощую, сухую шею, торчащую из ворота рубахи, он долго смотрел поверх гостей куда-то в открытую дверь и вдруг громко хмыкнул и повернулся к сидевшему рядом, клевавшему носом дряхлому старику.

— Он говорит «товарищ», а?— И Суйеу опять едко хмыкнул.— Нет, ты слышал, а? Может, ты свою курносую старуху тоже това-

рищем называешь, а? Товарищ. То-варищ! Ха! Ты слышал, а? Может, отныне нам всех своих старух товарищами звать, а? А?!

Пылающими от гнева глазами старик поочередно оглядел всех, обходя взглядом Еламана. В юрте стало тихо, все потупились. А Суйеу все не мог успокоиться, все ядовито похмыкивал.

Вбежал Ашим. Не понимая, почему старшие молчат, мальчик испуганно поглядел на гостей и робко подошел к отцу. Еламан, обрадовавшись появлению сына, тотчас посадил его на колени и, с облегчением нарушая затянувшуюся тишину, громко сказал:

— Ох, какой большой ты стал, сынок! Скоро уже и учиться пойдешь.

Белые ресницы старика дрогнули, он вскинул голову и полоснул взглядом Еламана. В юрте все затаили дыхание, но старик молчал. Не отрывая немигающего жестокого взгляда от Еламана, он насыпал на большой палец щепотку жгучего насыбая, поднес его к большому хрящеватому носу и звучно втянул в ноздри. По-прежнему не отрывая от Еламана красных, заслезившихся от крепкого табака глаз, глядя на него уже с откровенной ненавистью, он яростно и громко, чтобы было слышно всем в юрте, хмыкнул.

— Ну! Ну отдал ты его в школу! Ну стал твой сын русским! Ну отрастил на аршин себе волосы! Ну русские брючишки напялил! Тебе-то от этого какая польза? Что он, тебе святости прибавит? А? Что это? А?

Его старчески сухое, морщинистое лицо исказилось и передернулось от гнева.

Смущенные гости стали молча расходиться. Еламан спустил сынишку с колен. И он не усидел в большой, затихшей юрте и вышел вслед за гостями. Белоногий конь его пофыркивал, переступал ногами, просился в табун, и Еламан повел его за аул на выпас.

Оставшись один, старик Суйеу сидел по-прежнему неподвижно и прямо как кол. Про насыбай, насыпанный на большой палец, он забыл. Непонятный ему самому гнев обуял его и не отпускал, и время от времени он все похмыкивал. Его старуха, до сих пор молча крутившая прялку-юлу, покосилась на него.

— Эх ты бедняга!— заворчала она.— Уже и возраст пророка переступил, а со своим собачьим норовом так и не сладил.

Старик сидел, будто немой, не обращая, по-видимому, никакого внимания на слова старухи.

— Ну чего ты на Еламана накинулся?— продолжала старуха.— Чем он перед тобой провинился? Постыдился бы людей...

— Да нет, ты слышала? Учиться скоро станет, говорит!..

— И пусть учится. Время такое...

— Сиди! Помалкивай. Язык у тебя что помело.

— Я-то знаю, что у тебя на душе.

— Что ж ты, дура, о моей душе знаешь?

— Насквозь тебя вижу. И вовсе не разговор о мальчишке тебя взбесил, а другое.

— Что?! Что она мелет, шлюха старая!

— Чего уж тут на людей кидаться, раз их жизнь не пошла на лад?

— Болтай, дура! Ляпает что попало! У, зараза! Вон! Пшла отсюда!

— Ну ладно, ладно... Молчу. Только не ерепенься. Разве ты признавал когда свою вину?— вздохнула старуха и вышла, прихватив свою прялку.

Старик Суйеу швырнул ей вслед щепотку насыбая. Кожа на лице его задергалась, и он отвернулся к стенке. Чувствуя, однако, что в ауле нехорошо и все ходят на цыпочках, он к вечеру унял свой гнев. Лицо его смягчилось и подобрело, и он стал ласков с домочадцами и гостями. Как ни отказывался Еламан, он приказал-таки зарезать ягненка — нынешний приплод от немногих овец оскудевшего хозяйства. Над очагом завел свою вечную песенку булькающий казан. За вечер несколько раз готовили свежий чай и в юрте стало необычно оживленно и уютно.

На другой день старик был со всеми еще ласковее и приветливей. После утреннего чая Еламан собрался в обратный путь.

— Ну, отец, будьте здоровы. Всего вам доброго, до следующей встречи...

— Э, дорогой, доживу ли я еще до встречи с тобой? Увидимся ли еще? Воля аллаха... Подойди-ка поближе, сынок...

Какая-то особенная нежность к Еламану охватила вдруг старика. Долго и молча держал он в сухих своих ладонях руку опустившегося перед ним Еламана и чувствовал, как слабость подходит к сердцу. Но он взял себя в руки и принял свой обычный суровый вид. Сухими губами он молча дотронулся до лба Еламана и тут же оттолкнул его от себя. На короткий миг Еламан почувствовал горячее дыхание старика, смешанное с острым запахом насыбая.

Еламан не знал, что говорить. Ему хотелось ободрить больного старика, поддержать его, сказать ему, например: «Не унывайте, отец, еще поправитесь, еще поживете, бог даст...» Но он не мог так сказать, потому что видел, что старику недолго уже осталось жить. Кого-нибудь другого можно было обмануть утешением, кого-нибудь, но не этого белобрысого, красноглазого, своенравного старика. Тот терпеть не мог неискренности. Он и Еламана полюбил давным-давно именно за честность, за правду...

И Еламан промолчал.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Белые упорно продвигались по железной дороге. После сдачи Челкара красные нигде не могли уже задержаться. Дивизия Хан-Даурова, единственное крупное соединение, оставленное на заслон, была сильно потрепана в бесчисленных летних боях и стычках. Мелкие рабочие отряды, приданные ей в помощь, заметно поредели и были почти беспомощны из-за нехватки боеприпасов. Патроны раздавали лишь накануне боя поштучно, чуть ли не под расписку. И хоть красные отходили медленно, все время нападая на противника, было ясно, что уже недалек тот день, когда белые выйдут к Аральску.

В Аральске в это время шли лихорадочные приготовления. Со всех сторон спешно стягивались свежие силы. Один за другим в Аральск прибывали многочисленные вооруженные отряды, сформированные из железнодорожных рабочих Казалинска, Жосалы и Ак-Мечети. Подоспели также части Туркестанской армии и сразу заняли и стали укреплять передовые позиции. Между тем, неуклонно продвигаясь к Аральску, белые заняли станцию Саксаульская. Теперь им до Аральска было уже рукой подать и не было больше такого места, где не то что закрепиться, но хотя бы задержать их можно было. К городу начали стекаться скрипучие обозы с ранеными, больными и беженцами, и никто больше не спрашивал себя, дойдут ли белые до Аральска, а каждый думал только об одном — когда?

В эти критические дни на помощь красным прибыло из Ташкента еще несколько отрядов. Первым прибыл отряд мадьяр из пятисот человек во главе с Колузаевым. Не успел отряд выгрузиться и занять позиции, как к станции подошел новый состав с туркменами, более тысячи сабель. Все туркмены были смуглы, поджары, в высоких бараньих папахах. Длинные кривые сабли путались у них в ногах. Худые длинноногие кони их дико храпели и взвизгивали, когда по гулким мосткам их выводили из вагонов.

За несколько дней до решительных событий в Аральск приехал Дьяков. Штаб Туркестанского фронта назначил его чрезвычайным комиссаром и прислал сюда с особым мандатом. Вместе с Дьяковым прибыли девятнадцать кронштадтских матросов. Не медля ни часу, они начали собирать все сколько-нибудь исправные пароходы, чтобы организовать из них Аральскую военную флотилию. На палубах двух самых больших пароходов «Хан Хивинский» и «Туркестанец»,

на которых аральские купцы Марков, Мокеев и Елисеев в былые дни вели торговлю с Каракалпакией, было установлено по два орудия и по нескольку станковых пулеметов.

Но, как всегда, там, где собиралось большое количество людей, тотчас возникла и новая, едва ли не самая важная проблема — продовольствие. С продовольствием было плохо на всем Туркестанском фронте. Когда в Аральске стало совсем тяжело, Дьяков понял, что есть один только выход — обратиться за помощью к местному населению. Обращение было написано, казахские джигиты поскакали во все концы, и вот из разных аулов, ближних и дальних, потянулись к городу караваны верблюдов, нагруженные мясом, хлебом, рыбой и питьевой водой. Весьма своевременной оказалась также и помощь бедняков-скотоводов Приаралья во главе с Тулегеном, сыном Медетбая, и Жагалом, сыном Таушана. Они день и ночь рыли вокруг города окопы.

Как раз в это время в сопровождении вооруженных джигитов и появился Кален. Кони под ними были взмылены, они скакали день и ночь. Оказывается, в Воровском ущелье Танирберген держал подальше от чужих глаз табун из пятисот отборных лошадей. Этот табун выследил, захватил и пригнал в город Кален со своими джигитами.

— Где этот ваш хворый комиссар?— гаркнул он.

— Комиссар занят. Зачем он тебе?

— Вот этих лошадок хочу ему подарить!

Постепенно Аральск укрепился. Перед глубоким, чуть не в человеческий рост рвом на западной окраине города, откуда ждали врага, были натянуты проволочные заграждения и сооружен вал из тюков с хлопком. Новобранцам, только что мобилизованным в Красную Армию, не давали покоя: их выводили за город и гоняли с утра до вечера, обучая стрельбе и правилам штыкового боя. Почти неотлучно находился среди них и Дьяков.

Однажды в полдень прискакало четверо верховых разведчиков. После захвата белыми станции Саксаульской разведчики по нескольку раз на день выезжали в степь в дозор. Еще издали, едва разглядев их лица, Дьяков понял, что разведчики вернулись с недоброй вестью. Придерживая рукой кобуру, оттягивавшую широкий командирский ремень и колотившую по бедру, он быстро пошел навстречу всадникам.

— Товарищ комиссар! Подходят...

— Где видели? Далеко?

— Нет, за этим... за шестьдесят восьмым разъездом. Много их, товарищ комиссар!

Отправив разведчиков в штаб, Дьяков быстро пошел к окопам. Сдвинув брови, он машинально поправлял фуражку и размышлял, остановятся ли белые у города на день-другой, чтобы подготовиться к бою, или прямо с ходу бросятся на штурм укреплений. Как бы там ни было, лучше быть готовыми к немедленному бою.

Дьяков запыхался, пока дошел до окопа. Спустившись в окоп, он присел на корточки, прислонившись спиной к стенке. Зажав ладонью рот, побагровев, он мучительно закашлялся. Услышав шаги за спиной, Дьяков кое-как унял кашель, обернулся и увидел стройного джигита с черными, будто углем нарисованными усиками.

— А, это ты?..

Али улыбнулся.

— А Еламан не вернулся?

— Нет.

— Вестей от него не было?

— Нет.

— Ну а как твои джигиты, настроение как?

— Нешауа...— подумав, невнятно выговорил Али.

— Никто никуда не отлучался?

Али не понял.

— Враг близко. Готовь своих джигитов к бою,— сказал Дьяков и устало пошел по окопу вперед.

Он не успел дойти до отряда мадьяр, занимавшего позицию рядом с Коммунистическим полком, как кто-то испуганно крикнул:

— Глядите! Идут!

Будто электрический ток прошел по окопам. Выскочив на бруствер, бойцы стали глядеть вдаль, и будто дробящееся эхо посыпалось со всех сторон:

— Гляньте, гляньте... Пылища-то! Аж до неба!

— Идут!

— Да где? Не видно.

— Хоть покажи откуда.

— Да вон, гляди, видишь серую тучу?

Дьяков сразу ослабел и остановился. Потом кинулся на бруствер грудью и почувствовал, как часто застучало у него сердце. Упершись локтями, он поднес к глазам бинокль и ничего не увидел. Он не сразу догадался, что недостаточно высоко вскинул бинокль. Как он ни моргал и ни щурился от напряжения, он ничего не видел, кроме пыльных склонов ближайшего серого холма и редких чахлых кустарников. Чертыхнувшись, он поднял бинокль выше и увидел наконец одинокий домик 68-го разъезда. Возле домика не было ни души, и он казался от этого таинственным и грозным. Зато далеко за разъездом по всему горизонту клубилась, медленными тучами восходя в высоту, серая пыль...

II

— Господа, господа! Смотрите, Аральское море!

— Наконец-то, слава богу!

— Никогда не думал, что оно такое синее...

— Говорят, одно из самых прозрачных морей в мире.

— Да, после Эгейского.

— Вот как?

— А правда, господин подполковник, что ваш отец первым открыл здесь рыбные промыслы?

Сделав вид, что не слышал вопроса, подполковник Федоров только плотнее сжал свой маленький рот. К нему то и дело подъезжали и неторопливо останавливались рядом офицеры, а он, не обращая ни на кого внимания, жадно смотрел в бинокль на море. Синяя стена моря, вспучившаяся у самого горизонта, блестела и переливалась под солнцем, как рыбная чешуя, и, приближенная сильным биноклем, стояла, казалось, перед самой мордой коня. В море там и сям чернели рыбачьи лодки. На выжженном берегу белели мазанки Аральска, темнели его кривые улочки и торчали мачты стоявших в порту пароходов. «Где же их укрепления?» — размышлял Федоров, разглядывая в бинокль пригороды Аральска. Но конь под ним вдруг натянул поводья, тронул нетерпеливо с места, и город в бинокле исчез, будто переводная картинка, стертая рукой.

Вздохнув, Федоров повернулся к толмачу.

— Спроси-ка у мурзы, — кивнул он небрежно назад, туда, где сидел на коне понурый Танирберген. — Спроси, откуда местное население берет пресную воду.

То, что подполковник обратился не к нему лично, а к переводчику, обидело Танирбергена. Кроме того, должно быть, из-за неприязни к Темирке мурза не переваривал и татарина-толмача и уже при одном взгляде на него начинал злиться. Толмач повторил вопрос Федорова по-казахски:

— Господин подполковник спрашивает, в каких местах расположены здесь колодцы.

— Ну, об этом нужно спрашивать у местных. А мне откуда знать? — резко, глядя в пространство, сказал Танирберген.

— Но вы ведь проводник...

— О здешних колодцах ничего не знаю.

— Ай, нехорошо, мурза, — толмач поцокал укоризненно. — Надо отвечать, когда спрашивает господин офицер.

— Я уже ответил.

Толмач перевел разговор Федорову. «Трещотка! Бренчит, как караванный колокольчик!» — думал мурза, вслушиваясь в русскую речь толмача и морщась.

Полк Федорова первым достиг 68-го разъезда под Аральском. Пропыленные до исподнего, обожженные зноем, с потрескавшимися губами солдаты, едва подъехав, сваливались с коней и бросались к небольшому белому дому, к его тени. Отталкивая друг друга, жались к стене. Те, кто не успел захватить место возле дома, растянулись в тени немногих пыльных карагачей и обессиленно матерились на тех, кто подъезжал позже и теснил их.

Подполковник Федоров не слезал с коня и, окруженный офицерами, терпеливо поджидал прибывающие одна за другой части. Приказом по армии он был назначен исполняющим обязанности

квартирмейстера и теперь должен был встречать и размещать полки.

Скоро показалась кавалерия атамана Дутова. Впереди рысил Троицкий полк. Немного поотстав, чтобы не глотать пыль,— казачий полк Соль-Илецка. Почти одновременно с ними пришел конный отряд уральских казаков. Одна за другой, заштриховывая горизонт поднятыми пиками, прибывали и остальные свирепые казачьи части и сразу начали заполнять всю широкую равнину перед маленьким разъездом.

— Куда они прутся?— возмутился Федоров.— Ведь их место не там!

Ротмистр Рошаль усмехнулся.

— А им плевать на диспозицию штаба.

Федорова постоянно возмущало самоуправство оренбургского атамана, но он знал, что с этим ничего не поделаешь. Даже генералу Чернову не всегда подчинялся своенравный атаман и держался, как говорится, на длинном аркане и в широких путах.

Вслед за казаками атамана из-за пелены пыли показывались и приближались к разъезду все новые и новые части. После конницы на разъезд начала прибывать пропыленная пехота. Тяжело катились длинноствольные орудия, появились медлительные караваны верблюдов, груженные продовольствием. Вскоре весь разъезд утонул в облаках пыли. В воздухе стоял гул от множества голосов, топота сапог и конских копыт.

Два дня еще без устали скрипели обозы с боеприпасами, стекались к разъезду все новые и новые воинские части, и все эти дни Федоров почти не слезал с коня, то и дело посылая навстречу новым полкам офицеров, которые и размещали полки на заранее отведенных для них местах. Офицеры уезжали, приезжали, докладывали:

— Прибыл корпус Каппеля. Где прикажете его разместить?

— Прибыл карательный полк полковника Могилева.

— Прибыл Первый туркестанский полк...

Возле разъезда стало так тесно, что пришлось несколько полков, прибывших последними, отсылать назад, за рыжий бугор. Чтобы скрыть до начала наступления артиллерию и отряд броневиков, их тоже разместили за перевалом.

Федоров ничего не знал о количестве бойцов и о вооружении красных. Одно он знал твердо — голыми руками противника не взять и бой, по всей вероятности, будет кровопролитным. Тем не менее он ничуть не сомневался в том, что красным не устоять против сокрушительного удара армии генерала Чернова. Единственное, что его тревожило, была вода. На 68-м разъезде нашелся всего-навсего один колодец, вода в котором оказалась солоноватой. По приказу Федорова колодец закрыли на замок и поставили возле него вооруженную охрану. Федоров мучительно раздумывал, где бы достать такое количество воды, чтобы выйти из положения, когда

ему доложили, что командующий созывает совещание. Он уже поехал в штаб, когда его догнал еще один офицер.

— Прибыл саперный полк...

— Ротмистр Рошаль!— окликнул Федоров.

— Слушаюсь!

— Покажите им, где разместиться.

Рошаль, как всегда, был бодр и готов ехать куда угодно и выполнять какие угодно распоряжения. Не успел офицер саперного полка поравняться с ним, как Рошаль уже поскакал. Когда Федоров, тяжело вздохнув, опять тронул своего коня, молодые офицеры скакали во весь дух по пыльной, выгоревшей аральской степи, в которой за все лето не выпало ни капли дождя.

Федоров медленно ехал по широкому бурому перевалу, где справа и слева, всюду, куда ни погляди, лежали, сидели, стояли и спали солдаты. Обычно белое веснушчатое лицо Федорова теперь сильно загорело, рыжая окладистая борода и усы, которые он решительно отпустил после Омска, выгорели и отливали светлой медью. Глаза его опухли и покраснели от бессонницы. Изнывая от немилосердно палящего солнца, как бы сгибаясь перед его яростной силой, он то и дело опускал голову и прикрывал глаза. «Скорее бы уже началось»,— думал он с тоской. А то армия, томящаяся без воды под знойным небом, начала уже обессилевать. Из-под козырька низко надвинутой фуражки он иногда зорко поглядывал по сторонам и видел, как измучены солдаты, как они изнурены и до черноты обожжены солнцем. В поисках тени они облепили все повозки и пушки и лежали пластом, даже головы не поднимая, когда он проезжал мимо. Где уж им вскакивать и приветствовать подполковника! И как-то поведут они себя в бою? А ведь столь многое зависит от их настроения, от их воинского духа.

Когда он вошел в просторную палатку командующего, командиры полков и дивизий были все уже в сборе. Федоров присел на свободную скамеечку возле самого входа.

Перед началом совещания адъютант командующего поставил перед каждым из собравшихся по кружке воды. Изнемогшие от жажды офицеры выпили ее одним залпом. Только Федоров не дотронулся до кружки. Облизав пересохшие губы, сделав судорожное движение горлом, чтобы проглотить слюну, он кашлянул и негромко, но так, что услышали все, сказал:

— Господин командующий! Солдаты и кони от жажды находятся на краю гибели. Есть ли надежда, что мы выйдем из этого положения?

Генерал Чернов, последний раз затянувшись, сморщился и бросил окурок, предварительно поискав взглядом пепельницу, себе под ноги. Потом наступил на все еще тлевший окурок, вдавил его каблуком в мягкий песок и поднялся. Он понимал, что не только Федорова, но и всех собравшихся больше всего волнует сейчас вода.

— Господа, вы упустили из виду одно важное обстоятельство.

Предстоящее сражение — не просто один из многих боев. Именно здесь решится наша с вами судьба.

— Мы это понимаем, господин командующий.

— Нет, мне кажется, это понимают далеко не все. Мы стоим здесь уже третий день. Однако никакими сведениями о противнике штаб не располагает.

Офицеры молчали, глядя на отодвинутые пустые кружки.

— Я полагаю, да это и очевидно, что противник сосредоточил в Аральске свои главные силы. Кроме артиллерии, возможно, есть у них и броневики. Или танки. Но об этом мы можем только гадать. Перед тем как начать наступление, мы должны заполучить более или менее точные сведения о количестве бойцов и вооружении большевиков. Не так ли, Александр Ильич?— словно ища поддержки, повернулся генерал Чернов к атаману Дутову.

Дутов сидел, как всегда, рядом с командующим. Плотный, широкий в плечах, он за все время совещания не шевельнулся, не переменил позы. Слегка откинувшись назад, вытянув ноги с большими тугими икрами, он был неприступно холоден и высокомерен. Даже после обращения к нему командующего он только слегка кивнул своей бритой головой и не сказал ни слова.

— Всем подразделениям необходимо сегодня же выслать разведку,— продолжал Чернов.— И вы тоже потрудитесь, подполковник,— добавил он отдельно Федорову.

— Слушаюсь, господин командующий.

— И вообще усильте наблюдение за укреплениями большевиков. Особенное внимание нужно обращать на части, вновь прибывающие на передний край.

Офицеры шумно встали. Когда они уже выходили, Чернов задержал их.

— Хочу обрадовать вас, господа, вода будет. Завтра к обеду сюда доставят двадцать цистерн с водой. Хватит и людям, и лошадям.— Найдя взглядом подполковника Федорова, Чернов сказал напоследок:— На вашу разведку, подполковник, я возлагаю особые надежды. С богом!

Вернувшись в свой полк, Федоров тут же послал за ротмистром Рошалем. Когда Рошаль явился, Федоров, не предлагая ему сесть, отрывисто приказал:

— Подберите лучших пластунов. Ночью отправитесь в разведку. Нужен «язык». Во что бы то ни стало, понимаете?

Вид молодого Рошаля каждый раз причинял Федорову страдание. Он забыть не мог свою стычку с ним в Омске. Опасаясь, что взгляд его выдаст затаившуюся ненависть, он внутренне напрягался и отводил глаза, разговаривая с ним. Рошаль отвечал ему тем же.

— Вы, ротмистр, головой отвечаете мне за «языка»! Ступайте.

— Слушаюсь!— сказал Рошаль, не поднимая глаз, молча повернулся и вышел из палатки.

III

По мере того как силы белой армии сосредоточивались на 68-м разъезде, население Аральска и его окрестностей всполошилось. В маленьком, тихом до сих пор городке стало вдруг многолюдно и тревожно. По узким кривым улочкам сновали озабоченные военные, увешанные самым разнообразным оружием. Тяжелые повозки, арбы, груженные боеприпасами и водой, целыми днями тянулись на западную окраину города, туда же со станции направлялись пулеметные тачанки.

Особенно тревожно в эти дни было в единственном в Аральске двухэтажном зеленом доме купца Маркова. Пешие и верховые толпились возле этого дома с утра до вечера. Загорелые озабоченные командиры скакали со всех сторон к дому на своих потных, разгоряченных конях, спешивались и торопливо исчезали за тяжелой дверью, в то время как другие так же торопливо выбегали оттуда, на ходу поправляя оружие, вскакивали на своих лошадей и уезжали к западной окраине или на станцию.

Вот сюда, к этому каменному дому, и подъехал еще до сумерек необычный верховой. В дикую, иссушающую жару он был один в толстом тумаке и в тяжелой овчинной шубе. Как и все, он тоже торопливо спешился и пошел было к штабу, но его перехватил часовой:

— Стой!

Странный путник, не оглядываясь, продолжал пробираться через группу военных, скопившуюся у крыльца. Часовой кинулся за ним и схватил его за ворот.

— Стой, говорят тебе! Куда прешь?

Путник возбужденно и хмуро глянул из-под пояркового тумака на часового.

— Пусти, тамыр. У меня важное дело в штабе,— сказал он по-русски.

Часовой почувствовал, что казах в овчинной шубе не совсем простой посетитель, но уступать не собирался:

— Ты кто такой? Документы есть?

Казах несколько растерялся — документов у него не было. Рассудив, что часовой без документов его ни за что не пропустит, он начал вглядываться в лица беспрестанно входивших и выходивших людей в надежде встретить среди них знакомого. На крыльцо, громко разговаривая, вышла из штаба группа командиров, из которых путник не узнал никого, и тут же понял, что все это командиры вновь прибывших частей. Среди командиров один особенно выделялся своей поджаростью, смуглотой и высоким мохнатым купреем. По дороге в штаб путник видел джигитов-туркмен, разъезжающих по Аральску на своих худых конях, и решил, что этот черный туркмен в мохнатой шапке и есть командир Туркменского кавалерийского полка. Путник не знал теперь, как ему быть и как

пробиться в штаб, когда увидел вдруг стремительно выходившего из штаба следом за командирами Дьякова. Дьяков еще издали узнал казаха в шубе, окликнул его: «Еламан!»— и быстро сбежал по ступенькам.

Еламан теперь бесцеремонно оттолкнул надоевшего ему часового и кинулся навстречу комиссару. Крепко пожав Еламану руку, Дьяков чуть отступил назад, оглядел его с ног до головы, рассмеялся и отошел с ним в сторону.

— Ну, я вижу, все благополучно.

— Несколько раз задерживали.

— И что же?

— Да спрашивали, кто да откуда...

— А ты что?

— А я что? У меня разговор один: аул, говорю, мой кочует в песках Киши-Кума. А вся родня жены живет в стороне станции Саксаульской. И вот, говорю, верблюд, которого я у них взял, говорю, все время уходит на то пастбище. И теперь опять удрал. Прямо, говорю, замучил, проклятый! Вот снова, говорю, отправился на поиски, ищу его опять, говорю...

— Гм... Ловко. Ну и тебе, конечно, верили?

— Как сказать... Обыскивали меня, ощупывали, ничего не находили и отпускали.

Комиссар улыбнулся мельком, потом посерьезнел.

— Обо всем, что узнал, расскажешь в штабе. А мне пока скажи: много их?

— Ой, много, апыр-ай! Как травы в степи.

— Н-да... Плохо дело, плохо, плохо... Ну ладно, ступай в штаб, а мне тут надо по одному делу. Рад, что ты вернулся. Сегодня отдыхай, а завтра увидимся в окопах.

Худое, прокаленное солнцем лицо Еламана потемнело еще больше. Ему так обидно стало вдруг, что Дьяков, по заданию которого он столько дней, рискуя жизнью, мотался по степи, не хочет его слушать, а отсылает в штаб к незнакомым людям. У него даже руки опустились, и шуба показалась страшно тяжелой. Конь его в это время, позванивая уздечкой, раздувал ноздри, фыркал и жадно тянулся к ведрам с водой в руках проходивших мимо женщин.

— Коня-то напои,— посоветовал напоследок Дьяков.

— Хорошо,— покорно ответил Еламан.

— Кстати, как у них с водой, не знаешь?

— Совсем без воды сидят...

— О! Это хорошо!

— Ну, вода-то у них будет. Не знаю, сегодня или завтра...

— Что ты говоришь?— Дьяков нахмурился и взял Еламана за рукав.— Откуда? Это важно.

— Им привезут в этих... в таких вагонах круглых. В таких бокастых, как стельная верблюдица...

— В цистернах?

— Да, да, этих самых...
— Откуда это тебе известно?
— А я прошлую ночь ночевал на станции Шики-Су у одного казаха знакомого. Там вот и наливали в эти самые...
— Ах вон оно что. Так, так, так. И много цистерн?
— Много. Целый поезд.
— А точнее не знаешь?
— Точно?
— Да, сколько всего цистерн, не считал?
— Всего... всего... Аллах один знает сколько!
Спокойный до этого комиссар вдруг нахмурился и пошел назад к штабу — новость была слишком важной. Еламан, ведя коня в поводу, пошел за ним.
— Из Иргиза выехали триста алашордынцев,— торопился он выложить свои новости.— Они едут к Аральску, хотят примкнуть к генералу Чернову. А потом, как слышно, хотят перейти в Афганистан или в Иран. К истинным мусульманам...
Но Дьяков, казалось, не слушал его. Еще не дойдя до штаба, он подозвал какого-то бойца.
— Беги в порт. Мигом! Разыщи там командира «Туркестанца», скажи, пусть немедленно явится ко мне, я буду в штабе.
Боец побежал. Дьяков опять повернулся к Еламану, растерянно стоявшему рядом, и, морща лоб, думая о чем-то, некоторое время смотрел на Еламана, не видя его. Потом спросил:
— Может ли пароход подойти заливом поближе к шестьдесят восьмому разъезду?
Еламан сразу все понял и широко улыбнулся. Залив Сары-Чиганак подходил почти вплотную к расположению белой армии. Между заливом и 68-м разъездом лежал бурый увал. Очень удобно стрелять из орудий с парохода.
— А залив не мелкий?— допытывался Дьяков.
— Мелкий. Только для этого «Туркестанца» как раз будет...
В это время какой-то верзила подъехал к ним сзади. Ни Дьяков, ни Еламан не обратили сначала на него никакого внимания. Некоторое время верзила, улыбаясь, смотрел на разговаривающих, потом, немного подавшись с седла вперед, положил руку на плечо Еламана. Еламан обернулся и увидел смеющегося Калена.
— Кален-ага!
Кален быстро спешился и сгреб Еламана в объятия.
— Ты подожди меня, погляди за конем, мне в штаб надо,— торопливо сказал Еламан, глядя, как Дьяков поднимается на крыльцо.— Я скоро...
Ждать Калену, однако, пришлось долго. Солнце давно село, и сумерки пали на землю, и в окнах штаба загорелись огни, когда Еламан наконец вышел. Ведя коней под уздцы, Еламан и Кален пошли к маленькому дому, заметенному понизу песком, и уселись рядом, прислонившись спинами к нагретой за день стене.

— А я, брат, не усидел дома. Пригнал твоему русскому тамыру пятьсот лошадок. Каково? А что мне, скажешь, косяки Танирбергена жалеть, что ли? Такое-то воровство мне и за грех не зачтется,— сказал Кален и беззаботно засмеялся.

— А ты знаешь, что мурза здесь?

— Где? В городе, что ли?

— Нет, там, с белыми.

— А-а! Я об этом слышал. Ну ничего, если он всегда лисой был, то я теперь как гончая. Ну а где же келин?

— Со мной.

— Где с тобой? В городе живет?

— Ага.

— Э, дорогой, чего ж мы тогда тут торчим, а? Надо мне хоть чаю напиться из рук келин.

Оба сразу встали, отряхивая полы, взвалились в седла и тихо поехали по улочкам засыпающего города. Еламан снимал комнату на окраине городка в доме русского — рабочего порта. Пока друзья привязывали коней, пока умывались и усаживались на расстеленных в глубине комнаты подстилках, расторопная Кенжекей успела вскипятить чай.

Оглядывая комнату, Кален увидел маленькую черную домбру, прислоненную к стенке. Домбра была искусно вырублена из джиды и хорошо настроена чьей-то опытной рукой. Кален сразу развеселился, потянувшись, взял домбру, начал с наслаждением хлестать по струнам и вдруг вытаращил глаза от изумления, увидев висевшую на стене белую войлочную шляпу. Положив домбру на колени, он широко улыбнулся.

— Келин!— повернулся он к разливавшей чай Кенжекей.— А ведь это шляпа Судр Ахмета, а?

— Угадал, Кален-ага. Жена его, бедняжка, как узнала, что мы переезжаем сюда, зашла к нам и подарила шляпу покойного. Он, говорит, при жизни вас больше всех уважал, так вот, говорит, пускай останется на память у вас одна его вещичка...

— Какой черт покойник! Живой он.

— Э, дорогой, люди чего не наговорят.

— Да нет, келин, живой он, я тебе говорю. Мне один верный человек говорил, что видел его собственными глазами. Аллаха звал в свидетели, что правда. Будто живет он в каком-то городке в стороне Сарыарки и женился на глухонемой старухе, на ее верблюдицу дойную с верблюжонком позарился, понимаешь? Старуха, дескать, пасет овечек и коз тамошних жителей, а Судырак на базаре торгует верблюжьим молоком. Говорит, только на ухо туговат стал. Так к нему все соседский мальчишка ходил, молоко покупал у него по два теньге за кружку. Вот, значит, мальчишка заходит и здоровается громко: «Салаумалейкум, ата!» Судырак же вдруг, как козел, увидевший собаку, подпрыгнул и вопит: «Молоко, говоришь? Отны-

не кружка стоит три теньге! Хочешь, бери, не хочешь, мотай отсюда, проваливай!»

— Да что вы, Кален-ага-ай!— не выдержала и рассмеялась Кенжекей.

— Серьезно тебе говорю. Истинная, говорят, правда.

— О господи! И охота же и после смерти беднягу на смех поднимать...

Кален запыхтел от удовольствия, встрепенулся, будто вдохновенный певец — жырау, скомкал в азарте, сунул себе под бок большую подушку, хлебнул чаю и крякнул. Еламан, не дотрагиваясь до пиалы с чаем, опустил голову и рассеянно улыбался. На осунувшееся лицо его тенью легло мягкое сожаление о чем-то дорогом и невозвратном. Ему приятно было, что Кенжекей пожалела Судр Ахмета. Конечно, паскудный был старикашка, что там ни говори, не то что в аулах — в собственном доме никому от него житья не было. И все-таки в былые времена весело становилось там, где появлялся Судр Ахмет, весело и оживленно, как в доме охотника, поймавшего живого, шустрого лисенка.

Совсем недавно Судр Ахмет вдруг приснился Еламану. Под видом простоватого казаха, потерявшего своего верблюда, ездил Еламан в тылу белых, обедая в одном ауле, в другом останавливаясь на ночевку. Так добрался он в конце концов и до станции Шиик-Су. Он проехал бы дальше, но заметил неожиданно на станции белых солдат, а возле водокачки целый состав круглых пузатых вагонов, один из которых солдаты как раз наполняли водой. Вот тут-то чуть не подвела его неосмотрительность аульного казаха: забыв об осторожности, он придержал коня и стал глазеть на занятия солдат. А когда опомнился, было уже поздно — солдаты заметили его любопытство и насторожились. Пришлось ему притворяться, что он специально приехал в гости к какому-то своему дальнему родственнику, чтобы заночевать у него.

Постелили Еламану на улице. Комары появились еще до захода солнца, а ночью их уже и терпеть нельзя стало. Еламан не находил себе места, ворочался с боку на бок, вскакивал, отмахивался от комаров, ходил по двору, подолгу прислушиваясь и вглядываясь в сторону станции, где солдаты всю ночь наполняли цистерны водой. Тревожился он и за своего коня, которого стреножил за юртой, и нет-нет да и прислушивался к позвякиванию железных пут. Сон сморил его перед рассветом, и вот тут-то и увидел он Судр Ахмета.

...Ему снилось, что верблюдица, подаренная ему стариком Суйеу, осталась будто бы порожней. Чтобы детишки не сидели целый год без молока, Еламан договорился с одним казахом из дальнего аула обменяться верблюдицами. Обмен состоялся, обе стороны, чрезвычайно довольные, ударили по рукам, когда нежданно-негаданно нагрянул на их головы Судр Ахмет.

Под ним был вороной конь. Белая войлочная шляпа, та самая, которая висела сейчас у Еламана на стене, была задорно сдвинута

на затылок. Был он, как всегда, напыщен, важен и сидел на коне с таким видом, будто собирался нагнать страху на всех баб и ребятишек аула. Поглядывая вокруг своими мышиными глазками, он раздумывал, у кого бы лучше остановиться. Внезапно он встрепенулся и приподнялся на стременах — э, э, вот она, удача! Вон возле юрты стоит на привязи черная верблюдица, а рядом у коновязи конь. Из тундука валит дым. А зачем валить дыму, если в казане пусто, а? Судр Ахмет оживился, подался вперед, принюхался и, сразу повеселев, ударил пятками своего вороного. Судр Ахмет был мудр, ой как мудр, и, конечно, не поехал сразу к юрте, занявшей его воображение, а остановил на окраине аула какую-то бабу, собиравшую кизяк, и узнал от нее все аульные новости. Оказалось, что Еламан обменял свою порожнюю верблюдицу на стельную, отдав в придачу еще и телку и овцу. Привязав вороного, Судр Ахмет деловито направился к верблюдице. Сначала он с наслаждением ощупал ее набухшее, все в белых пупырышках вымя. Потом посмотрел ей в зубы, принял глубокомысленную позу, зажал в кулак жидкую свою бороденку и, соглашаясь с какой-то своей мыслью, несколько раз кивнул головой. «Н-да... Добрая скотинка, ничего не скажешь. Если ее не сглазят, целый аул может прокормить. Да что там аул, два аула! Ну и везет же этому чертову Еламану, а? Голопузые его ребятишки скоро в молоке купаться будут!» И он сразу же приуныл, запечалился, вспомнив вдруг своих вечно голодных детишек. Он так спешил было поскорее попасть в юрту, откуда доносился сладкий сытный запах, а тут вдруг споткнулся даже, будто стреноженный конь. С лаем выскочила ему навстречу собака, и он в сердцах огрел ее камчой. Его теперь уже все бесило — и удача Еламана, и эта добрая верблюдица, и эта чертова собака. С искаженным от гнева лицом, будто собираясь смести все, что попадется ему на пути, он пошел в дом.

Еламан при виде его вскочил, приветливо протянул ему руки, но Судр Ахмет отмахнулся. Гости, собравшиеся в доме, живо потеснились, освобождая ему место в нижней части дастархана, но Судр Ахмет только сердито посопел и, оставляя пыльные следы, прямо в сапогах прошел по всем подстилкам и подушкам и сел на самом почетном месте. И, еще не переведя дух, сразу обрушился на Еламана: «У, недостойный своих дедов! Срамник! Не быть... не быть тебе никогда человеком, хоть кол на голове теши. Я ли не учил тебя? Ой-бай-ау, неужто ты, олух, не понимаешь, что твоя черная верблюдица — бесценная память твоего отца? Что она кормилица и опора твоего шанрака? Да ты... ты не скотину, а счастье свое променял, а? Ойбай, ойбай-ай!..» — завопил вдруг Судр Ахмет и заколотил себя по голове.

Нагнав на всех страху, он снова принялся за Еламана.

«Ау, ау, пес паршивый, ты ведь не себя, а меня, благодетеля своего, перед всеми сородичами позоришь! Да неужто не понял ты, собака, до сих пор, что черная верблюдица — священная скотина это-

го аула? Особая животина! Ведь если, не приведи господь, она бы подохла, кто бы хотел погрызть ее кости? Я бы хотел погрызть! А? Ведь она у нас у всех самое драгоценное, что только было в этом поганом ауле! Что же это, а? Или ты в нашем роду человека благородного не нашел, что сплавляешь ее черт знает кому и куда? Скажи мне, ну, скажи, по какому такому праву ты над нами издеваешься, а? А?..»— распалялся Судр Ахмет, подняв невообразимый крик в уютном, наполненном до этого мирной беседой доме.

Еламана душил смех, но он знал, как обидчив Судр Ахмет, и рта не смел раскрыть, только усиленно потирал лоб. Кто-то из приезжих заикнулся было, что и их верблюдица тоже достойная скотинка — и пышношерстная, и стельная, и вот-вот опростается, уж и вымя набухло, и соски набрякли, и пупырышки белые появились... Судр Ахмет и не дослушал. «Нет,— закричал он,— человека, который всю жизнь с малых лет имел дело со скотиной, который мозоли себе набил на скотине, не обманешь, не проведешь! Что-что, а скотину, выросшую на твоих глазах, можно узнать и полюбить, как собственного ребенка. А твою паршивую, больную, старую, дурацкую, хваленую верблюдицу, которую ты сбагрил этому дураку, я — будь спокоен!— разглядел как следует. И еще неизвестно, когда она опростается. Она и не опростается никогда, и вымя ее совсем не набухало, и никакие это не белые пупырышки, а самые обыкновенные болячки от грязи и пота, которые бывают летом в паху любой скотины».

И пошел, и пошел Судр Ахмет поминать всю скотину и всех родственников этого аула до седьмого колена... Не только человек — сам всевышний не смог бы его теперь остановить. Мало того, что никто в доме слова не мог вымолвить, никто не знал, что и возражать расходившемуся гостю, и всем начинало уже казаться, что верблюдица их и в самом деле никакая не стельная. «Собираешь, собираешь,— убивался Судр Ахмет,— всю жизнь скот по крупиночке, по щепотке, а этот недоумок расшвыривает его горстями. Ойбай, ойбай-ау, ну как тут промолчать!»

Всем в доме стало страшно неловко. Даже Еламан, знавший Судр Ахмета как облупленного, только глазами хлопал. Сделав грустное лицо, он повернулся к растерявшимся гостям, с которыми так удачно было сторговался, и смущенно сказал: «Уважаемый в нашем роду человек! Можно сказать, мой старший брат. Я вот без его совета затеял дело, и, сами видите, неладно получилось. Уж не обессудьте».

Приунывшие гости вышли на улицу, посоветовались за домом и решили вернуть взятую в придачу ярку. Овцу, доставшуюся ему теперь как бы даром, Еламан распорядился зарезать, а мясо спустить в котел. Гостей он уговорил остаться, пригласил еще соседей и знакомых, и в доме стало совсем хорошо. Судр Ахмет повеселел, то и дело поглядывал через открытый полог на улицу, туда, где булькало и пенилось в котле над очагом, и все принюхивался сво-

ким плоским носом, жадно втягивая в себя запах нежной баранины. В душе его пела веселая струна, все земные заботы вылетели из головы. Ничего важнее кипящего в котле мясного навара не было теперь для него на свете. В битком набитом людьми доме он громче всех хихикал и громче всех говорил. С гостями, с которыми он только что переругался, как с кровными врагами, стал он теперь дьявольски учтив, ни с того ни с сего затеял вдруг игривый разговор о сватовстве, о будущем родстве, о том, как — пах, пах, пах!— породнятся их аулы, как начнут гостить друг у друга, как станут ездить друг к другу в гости на лучших рысаках. Дойдя до рысаков и иноходцев, он уже за дастарханом, когда принесли на подносах исходившее горячим паром мясо, стал называть одного из гостей сватом....

Еламан, уставший уже сдерживать смех, едва уехали гости, бросился ничком на кошму и принялся так хохотать, что проснулся. Оторвавшись от подушки, он протер заспанные глаза и огляделся. Конь, стреноженный с вечера, пасся невдалеке возле пестрого теленка на приколе. Хозяин дома уже выгнал скотину на выпас и возвращался назад, ведя в поводу ревущего, скучающего по матери сосунка-верблюжонка. Солнце поднялось уже довольно высоко. А Еламан, вспоминая сон, долго сидел в тот раз на постели, покачивал головой и усмехался.

— Эх, а и забавный же человек был покойник, не в обиду ему будь сказано!— сказал Еламан, чувствуя, как какая-то умиленная жалость овладевает им.

Кален поглядел на него сбоку раз и другой, подумал и отозвался:

— Что ж, человек он смертный, как и все. Должно быть, и впрямь помер. А все кажется, что где-то он мотается по аулам и скоро вернется. Прямо к сердцу его прижать хочется.

Выпрямив и помяв затекшие ноги, он поднялся. Когда они вышли из дома, на улице уже темнело. С моря дул сильный ветер, во дворе взвихривались маленькие смерчи. Улицы были безлюдны. Город безмолвствовал. Две страшные силы, сойдясь лицом к лицу, затаились в напряженном ожидании, и в безмолвии наступающей ночи отчетливо, как некий щемящий звук, присутствовали страх и подозрительность.

Когда город совершенно затих, погрузившись в тревожный, чуткий сон, Еламан, оставив Калена дома, пошел на окраину, к своему отряду. Едва найдя своих в темноте, он узнал, что Дьяков уже побывал у них и предупредил, чтобы выставили усиленное охранение. Еламан решил остаться в окопах. Джигиты его, вот уже несколько дней подряд жарившиеся под палящим солнцем, пользовались последними часами затишья и дремали, кто сидя, кто навалившись грудью на бруствер. Еламан осторожно прошелся по траншее, стараясь не нарушать короткий, чуткий сон джигитов. Он был уверен, что если не на рассвете, то к вечеру белые наверняка пойдут в на-

ступление, завяжется невиданный в этих степях бой, и как знать, кому суждено тогда уцелеть и кому лечь костьми на этой земле. Думать об этом было так горько, что Еламан поскорей отогнал невеселые мысли, как отгоняют от себя назойливую мошкару.

Обойдя траншею, он остановился, присел на корточки возле какого-то джигита и тут же задремал, но скоро проснулся, будто его толкнул кто-то. Вокруг стояла напряженная тишина. Темнота была хоть глаз выколи, и только вдоль мрачно черневших окопов там и сям робко мерцали огоньки солдатских самокруток.

Ничего нельзя было разглядеть во тьме, но, поборов сон, Еламан все всматривался в ту сторону, где, сосредоточив огромные силы, грозно безмолвствовал враг. Он не заметил, как уронил голову на бруствер и поплыл в сон. И опять сон, как показалось ему, длился одно мгновение. Вскинулся он от беспорядочной пальбы. Ничего не соображая спросонок, он схватился за револьвер. Но в расположении его отряда было тихо, стрельба раздавалась на правом фланге. Проснувшиеся джигиты все были на ногах. В темноте хищно клацали затворы.

— Что случилось? Что такое, а?

— Не знаю.

— Наступают, что ли?

— А где командир?

Поблизости гулко забил пулемет и тут же умолк. Постепенно утихла и винтовочная стрельба, над окопами опять воцарилась тишина. Но теперь никому больше не хотелось спать, черная ночь казалась бойцам еще более тревожной и опасной. И хотя никто еще не знал, кому придется пасть первой жертвой предстоящего боя, но все вдруг явственно почувствовали пронесшееся мимо них и пока еще никого не коснувшееся дыхание смерти.

IV

Ротмистру Рошалю повезло — он привел «языка». Он стоял в окружении радостно возбужденных солдат и тяжело дышал, все еще не в силах прийти в себя. Пот обильно тек у него из-под фуражки, и он то и дело снимал фуражку и утирался рукавом. У него спрашивали о чем-то, но он, не отвечая, рылся в карманах, доставая папиросы. Достал, спросил огня, прикурил дрожащей рукой и затянулся, вглядываясь в пленного, который стоял рядом. За короткое мгновение, пока светила спичка, Рошаль успел заметить длинные висячие усы, унылый длинный нос и невнятный блеск очков в проволочной оправе. Его поразил равнодушный вид пленного. Тому как будто хотелось спать, будто тот недоволен был бесцеремонно прерванным своим сном и тем, что попал вдруг в толпу оживленных солдат, которые не дают ему ни лечь, ни прислониться к чему-нибудь поудобнее. Рошаля особенно поразило, что в лице пленного не увидел он ни тени страха.

Распорядившись доставить пленного к подполковнику Федорову, Рошаль пошел к своему коню, стреноженному и пущенному на выпас еще перед разведкой. Гнедой, почуяв хозяина, негромко радостно заржал. Рошаль по привычке потрепал гнедого по шее и провел ладонью по спине. Конь чутко вздрогнул, Рошаль тотчас вспомнил про ссадину на спине гнедого и решил завтра же с утра показать его полковому ветеринару.

Идти никуда ему не хотелось, и, постелив шинель, Рошаль улегся навзничь рядом с конем и стал смотреть на усеянное звездами аспидно-черное небо. Глаза у него саднило, будто песок под веками был насыпан, хотелось спать. Он закрыл глаза, но тут же опять широко раскрывал их, вспоминая ночную свою разведку. Нет, не думал он, когда начинали стрелять, что удастся ему уйти живым. Но, видно, не кончился еще отпущенный ему судьбой вершок жизни. Как бы там ни было, а ни одна пуля не достала его. Под огнем волокли они пленного, и ничего, а солдата, которого он послал вперед предупредить свои дозоры, настигла пуля. Ну не чудо ли? Рошалю стало вдруг радостно и захотелось курить, но лень было шевелиться.

Перебирая в памяти события сегодняшней ночи, он снова подумал о пленном. Допрашивать его было некогда, удалось только дорогой бегло посмотреть документы, найденные при нем. 1860 года рождения, коммунист, командир роты Коммунистического полка... Рабочий Челкарского депо. Фамилия... как его, черт? Сквозняк? Нет... Озноб... А-а, Ознобин, вот как. Рошаль несколько раз повторил про себя эту ничего не значившую для него фамилию, закрыл глаза, перевернулся, завертываясь в шинель, и уснул. А проснувшись утром, опять вспомнил все подробности минувшей ночи и опять поразился, что остался жив. Увидев, что хозяин проснулся и сел, гнедой, напоминая о себе, тихонько заржал. «Пить хочет,— подумал Рошаль.— Надо бы напоить коня и самому умыться». У колодца толпились озлобленные солдаты. Ошалевший часовой сипло матерился и совал во все стороны штыком, никого не подпуская к колодцу. Рошаль поглядел на него и молча пошел прочь.

Ему опять вспомнился пленный, и он направился в штаб полка. Едва подошел он к большой палатке с приподнятым пологом, как услышал свист рассекаемого воздуха и шлепающие удары. Сердце его сжалось, он подошел ближе и, не решаясь войти, остановился.

— Заговоришь, сволочь? Будешь говорить?

И опять упругие, тугие звуки — жжик, жжик!— и шлепающие, как по тесту, удары. Рошаль сразу узнал голос подполковника Федорова, поразился сиплости, бессилию и отчаянию, которые слышны были в этом голосе, и мельком позлорадствовал: нашелся крепкий орешек и для этого палача!

— Говори, говори... Мать твою!..

Сморщившись, Рошаль вошел в палатку. Стол и стулья были убраны к стенкам, а посередине палатки на земляном полу ничком

лежал пленный. Руки и ноги его были крепко привязаны к четырем кольям. Кроме кальсон, забрызганных кровью, вся одежда была с него сорвана, лицо было разбито, очков не было. Два солдата с шомполами стояли по обе стороны. Потный, бледный Федоров бил пленного сапогом по ребрам. Увидев Рошаля, Федоров нахмурился, отвернулся, достал платок и стал вытирать лоб. Замешкавшиеся на минуту солдаты поглядели на Федорова, как бы спрашивая: «Что делать дальше?»

— Продолжать!— хрипло сказал Федоров.

Усталые солдаты опять начали, приседая, взмахивать по очереди руками, опять раздалось тугое жжик, жжик!.. На худой спине мгновенно вспухали лиловые рубцы, выступала кровь, лопалась кожа. Ознобин молчал. Лицо его почернело и исказилось, дышал он редко и прерывисто. Жарко покрасневший Рошаль искоса взглянул на Федорова. Тонкие губы того были плотно сжаты, ноздри дрожали, лицо посерело и лоснилось. Весь дрожа, он только приговаривал:

— Бей его, бей, еще... Я ему покажу!..

При каждом ударе распластанное на земле тело дергалось, а пальцы зарывались в землю. Большими пальцами ног Ознобин уже вырыл ямки.

— Пре-кра-тить!— вдруг визгливо закричал Рошаль.

Солдаты остановились, запыхавшись, и опять повернулись к Федорову, как бы спрашивая: «Перестать или добивать?»

— Бей его, бей сволочь!— не обращая внимания на Рошаля, хрипел Федоров.

Ознобин наконец вскрикнул и застонал. Растянутое тело его, как в агонии, зашлось крупной дрожью. Мученический пот залил ему глаза.

Дико вскрикнув, Рошаль оттолкнул солдат, выстрелил несколько раз Ознобину меж лопаток и отшвырнул револьвер. Федоров успел заметить, как ротмистр расстегивал кобуру, и мгновенно решил, что удерживать его не нужно, что вся вина за смерть пленного будет на Рошале. И только когда все было кончено, не поднимая на Рошаля глаз, он кивнул солдатам и рявкнул:

— Арестовать! Погоны долой!

Бросив шомпола, солдаты кинулись к Рошалю, сняли с него шашку и портупею, сорвали погоны и, проведя по уже жаркой степи, заперли его в маленькой комнатушке единственного дома на 68-м разъезде. А Федоров облегченно отправился к командующему доложить о случившемся.

Час проходил за часом. Рошаль отказывался от еды, выпил только кружку воды и не отвечал ни на какие вопросы. С приятелями, зашедшими проведать его, он не стал разговаривать. Лежал на голом полу, отвернувшись к стене. В комнате было душно и пусто. На полу давно остыл котелок с супом, принесенный часовым. Единственным предметом в комнатушке были старые пыльные ходики на

стене. Когда его привели и заперли здесь, ходики стояли. Он подтянул гирьку, качнул маятник, и с тех пор они без умолку тикали. Прислушиваясь к скрипучему, неотчетливому тиканью пыльных ходиков, Рошаль вспоминал, как медленно отсчитывали время большие стенные часы в гостиной за день до отъезда его в Южную армию, когда происходил у него решительный разговор с отцом.

После состоявшегося накануне банкета в честь союзных послов Рошаль проснулся, как всегда, от головной боли. Отец, по давнишней привычке встававший рано, уже покашливал у себя в кабинете. Надо было наконец поговорить, не откладывая, именно сегодня. Он вскочил, оделся и пошел к отцу.

Старый генерал был давно сердит на него и, будто не замечая присутствия сына, рассеянно искал что-то на своем большом столе.

— Доброе утро, папа,— начал Рошаль.— Очень хорошо, что ты еще не ушел. Дело в том, что я уезжаю...

Отец, продолжал искать что-то, только кашлянул. Помолчав, подождав ответа, сын опять сказал, уже тверже:

— Папа, я завтра уезжаю в армию генерала Чернова.

— Вот как?— Старик усмехнулся.— Это новость.

— Я говорю совершенно серьезно. С Черновым я уже договорился.

Легкая усмешка на лице старого генерала исчезла.

— Вот как?— уже строже повторил он.— Тогда присядь и послушай меня...

— Да все уж решено.

— Ну что ж, тогда с богом!

Ротмистр Рошаль смутился и неохотно сел в кресло, на которое показал глазами отец. Старый генерал искоса поглядел на сына, который, не желая слушать никаких доводов, заранее принял упрямый, отчужденный вид.

— Чернов — хороший генерал. Ты знаешь, мы с ним давнишние приятели. Но ты, наверное, не знаешь, как обстоят дела в его армии.

— Тем более в трудную минуту...

— Нет, милый мой, дела обстоят гораздо хуже, чем ты думаешь. Армия его у черта на куличках, мы теперь не в силах больше доставлять ему самое необходимое — боеприпасы и продовольствие.

— Знаю.

— А завтра будет еще хуже. Здесь у нас со дня на день может наступить такое время, когда каждый будет думать только о своем собственном спасении. Чернов со всей своей армией может застрять в пустыне. В пустыне же его ждет неминуемая гибель. Ты это понимаешь?

— Понимаю.

— Ничего ты не понимаешь!— Генерал поднялся и заходил из угла в угол. Надо припугнуть мальчика, думал он, а то он что-то









совсем отбился от рук.— Все это несерьезно! И потом, о чем ты вообще думаешь? Где пропадаешь, кто твои друзья?

— Ах, папа, ничего я не знаю.

— Что?

— Я потому и решил уехать, что теперешней своей жизнью сыт уже по горло.

— Вот оно, ваше поколение. Все на одну колодку. Не успели родиться, уже состарились. Идти в армию только потому, что надоела здешняя беспутная жизнь!

Молодой Рошаль хмуро молчал. То, что сын вопреки его ожиданиям не спорил, не оправдывался, а молчал, потупив голову, пугало генерала. Чувствуя, что сын куда-то ускользает от него, что он не может его убедить, генерал остановился посреди кабинета.

— Какая блажь пришла тебе в голову!— сказал он с угрюмой тоской, решаясь на крайнее средство.— Все попойки, кутежи... А того не знаешь, что мы сейчас чуть не каждого второго приговариваем к смертной казни. К чему такие строгости, как ты думаешь?

Было видно, что того, что он говорил, говорить нельзя было, и генерал хмурился. Набив трубку и примяв большим пальцем табак, он продолжал с усилием:

— Так вот, у приговоренных к смертной казни нет выбора. Или немедленная смерть, или идти в самое пекло, чтобы кровью своей заслужить помилование. И вот все приговоренные тотчас обращаются к Колчаку с просьбой отправить их на фронт. И мы отправляем.

— Это ужасно!

— Что же ты хочешь, война! Но не в этом дело, а я к тому это говорю, что всех этих смертников мы отправляем в армию Чернова. Надеюсь, теперь ты понимаешь, насколько плохи там дела?

Молодой Рошаль с удивлением посмотрел на отца. Удивительно! Его отец, этот милый, добрый, будто вовсе даже не военный старик, вместе с другими такими же стариками распоряжается жизнью и смертью людей. А генерал между тем снова принялся расхаживать по кабинету, с удовольствием ощущая под ногами мягкий ворс ковра. «Ты вынудил меня сказать тебе неприятные вещи, но теперь ты видишь, как глупо ехать на верную смерть!»— говорило его лицо.

Молодой Рошаль вздохнул и поднялся.

— Завтра еду,— упрямо сказал он.

Генерал пожал плечами и обернулся. Потом подошел к сыну, взял за подбородок и повернул лицом к себе:

— Что случилось? Зачем ты упрямишься?

— Не сердись, папа...

— «Не сердись»! Или ты забыл, что у нас с матерью ты единственный сын?

— Как можно, папочка!

— Не вижу в этом причины для иронии. Негодный мальчишка!

— Папа, пусти, больно...

— Ладно, бог с тобой, поезжай куда хочешь. Видно, на тебе род Рошалей и кончится...

— Ах, папа, если уж род Романовых прекратился, то чего уж говорить о роде Рошалей?

Генерал опустился в кресло, закрыл глаза и обхватил ладонями горячий лоб. Молодой Рошаль тронул отца за плечо.

— За меня не беспокойся, папа, я буду осторожен. Не знаю, будет ли от меня там польза. Но я одно знаю, что сидеть в Омске и волочиться за юбками сейчас преступно. Россию мы должны спасти во что бы то ни стало. Ты же лучше других понимаешь, что если падет последняя наша надежда — я говорю о Колчаке,— то не только наш род, но и вообще ни один дворянский род не уцелеет. Все полетит к чертям, эти пролетарии все уничтожат.

В кабинете было тихо, генерал не отвечал и не шевелился. Только большие настенные часы мерно, без устали шли. В этом раздираемом братоубийственной войной мире одно только время никому не было подвластно. Вспомнив, что давно пора уже в ставку, генерал по-стариковски тяжело поднялся и, избегая глядеть на сына, который ждал от отца каких-то, может быть, бодрых слов, вышел, плотно притворив за собой дверь.

Долго еще морщился и осуждал себя молодой Рошаль, вспоминая свою жизнь в Омске. Как он там жил? С утра до ночи попойки, увиливание от службы, бессмысленное, постыдное времяпрепровождение. Похмелье, головная боль по утрам... Мучительно страдая, он клялся каждый раз: «Все! Баста. Нужно приниматься за дело!» Зарекаясь пить, он всякий раз чувствовал облегчение, веря, что именно с этого дня начнет новую жизнь. Уверив себя в необходимости «чистой перемены», он поднимался, заваривал и долго потом пил крепкий кофе. Мысли прояснялись, но тонкое худощавое лицо его оставалось опухшим, а под глазами серели мешки. В такие минуты он не любил бриться, не любил зеркала. С отвращением разглядывал он свое отражение, и, как живой укор, вспоминался ему отец. Однажды он обратил внимание на старый отцовский китель, висевший на спинке кресла. Китель показался ему неряшливым. А ведь отец, давно уже обходясь без денщика, каждое утро, перед тем как отправиться в ставку, тщательно чистил одежду, до блеска натирал суконкой пуговицы. И вот старость одолела...

С тех пор как ушел из верховной ставки Чернов, отношения с Колчаком у старого Рошаля окончательно испортились. Это прекрасно видели штабисты, паркетные шаркуны, и третировали отца. Настоящих друзей у него и прежде было немного, а в последнее время он и вовсе стал одинок. Не с кем на старости лет поговорить по душам, и нет никого, кому бы можно было довериться. Единственный сын и тот не в отца пошел — лежит вот в душной запыленной комнатушке.

В трезвые одинокие часы молодой Рошаль всегда очень остро, болезненно сочувствовал одиночеству отца. Вот и теперь даже ды-

хание у него стеснило от всех горьких мыслей — и об отце, и о родине, и о своей неудавшейся жизни. Запертая дверь и часовой за дверью приводили его в отчаяние.

На следующий день к обеду, постукивая колесами на стыках и отпыхиваясь паром, прибыл на станцию какой-то поезд и остановился напротив домика. Тут же к поезду бросились со всех сторон солдаты. Послышался плеск воды, по всему разъезду поднялся невообразимый гвалт: ругались и кричали солдаты, гремели ведра и котелки, нетерпеливо ржали кони. Не открывая глаз, Рошаль догадался, что на разъезд прибыли обещанные цистерны с питьевой водой. Он облизал потрескавшиеся губы и с надеждой подумал, что его товарищи, может быть, вспомнят и напоят и его коня.

Но не успел он так подумать, как где-то совсем рядом раскатисто грянул гром. Это было так неожиданно, что Рошаль вздрогнул и невольно вскочил. Тотчас зарокотало снова и над маленьким станционным домом с воем пронеслись снаряды и начали гулко рваться в самой гуще собравшейся на разъезде толпы. Домик дрогнул, будто на него налег кто-то снаружи, оконные стекла разбились вдребезги, и штукатурка посыпалась с потолка. Снаряды стали рваться чаще. Солдат, собравшихся возле состава, будто ветром сдуло. Бросая баки, ведра, котелки, они побежали в степь, подальше от разъезда. Из пробитых цистерн хлестала вода, и вдоль всего состава мгновенно образовались непролазные лужи.

Через десять минут все было кончено, и армия опять осталась без воды. Генерал Чернов, рассчитывавший напоить людей и лошадей, чтобы после однодневного отдыха бросить их в наступление, теперь растерялся. Впервые за всю кампанию его охватила нерешительность и он не знал, что предпринять. Вот в этот тяжкий час и прилетел с далеких берегов Каспия один из самых влиятельных военачальников английской экспедиционной армии в Средней Азии генерал Нокс.

И оттого, что прилетел он перед самым боем и как бы брал на себя часть ответственности, приезду его генерал Чернов очень обрадовался. Поздоровавшись с Черновым, крепко пожав ему руку и козырнув остальным офицерам, Нокс тут же попросил его отпустить офицеров. А оставшись с генералом наедине, немедля приступил к делу, ради которого сюда прилетел.

Судьба Южной армии, говорил он, решается здесь, под Аральском. И если удастся в предстоящем бою разбить красных, сопротивление их в Средней Азии будет сломлено навсегда. Тогда до самого Красноводска Южная армия не испытает никаких трудностей, а там ее встретят английские войска, встретят с победой!

Чернов, внимательно выслушав представителя союзных войск, поколебавшись, задал ему один вопрос: что должен делать он в том случае, если не удастся прорвать оборону красных? Англичанин, прищурившись, оглядел русского генерала, потом нахмурился и

терпеливо повторил: красных нужно во чтобы то ни стало разбить под Аральском.

Южная армия хорошо подготовлена к наступлению, сказал Чернов, но если все же случится невозможное и у них просто не хватит сил разгромить красных, что их всех ждет? Англичанин достал сигару, раскурил ее и будто потерял всякий интерес к русскому генералу.

— Что ж,— сказал он, выпуская дым и глядя в степь,— если случится такое несчастье, если Южная армия не сможет прорвать оборону красных, тогда ничего не поделаешь, придется уходить по западному побережью Аральского моря в Каракалпакию. Тамошние места, правда, безлюдны и безводны, там Южную армию ожидают, вероятно, огромные трудности... Но русский командующий будет помнить, конечно, что союзники останутся верны своему долгу. На границе казахской и каракалпакской земель есть коса Улы-Кум, богатая пресной водой. У русского командующего, разумеется, будет время изучить на карте те места. Так вот, из городов Кунград, Чимбай, Ургенч, Учсай навстречу Южной армии выйдут отряды атамана Фелишева и офицеров Сафара, Серова и Елисеева. А аральские купцы Марков, Мокеев, Кисин и другие обеспечат армию всем необходимым. Более того, содействие Южной армии обещали хивинский хан и эмир бухарский.

Англичанин остановился, подождал, не спросит ли еще о чем-нибудь русский генерал, и продолжал уже другим тоном:

— Колчак, к сожалению, не оправдал наших надежд. Это конченая фигура. Союзники пришли к выводу, что дальнейшее снабжение его продовольствием и боеприпасами бесполезно. Сейчас весь свободный мир с надеждой взирает на барона Врангеля. И потом на вас, сэр.

Чтобы скрыть охватившее его вдруг волнение, генерал Чернов торопливо закурил и закашлялся. Вот, значит, как, думал он, дни Колчака сочтены. Кончилось его время. Теперь все от него побегут, как от зачумленного. А ведь какие почести воздавали, какие надежды на него возлагали! Но ставка на него оказалась бита, и вот он уже не нужен. Свободный мир теперь с надеждой взирает на Врангеля? А завтра? И где гарантия, что и его, генерала Чернова, после какой-нибудь неудачи не забудут тотчас, не сместят? Чернов, затягиваясь, исподлобья посмотрел на англичанина и поспешно отвел глаза. Длинное бескровное лицо, под светлыми короткими ресницами холодные глаза. На безымянном пальце поблескивает плоское золотое кольцо...

Немного на отлете держа сигару, англичанин, в свою очередь, тяжело посмотрел на русского генерала.

— Вы со своей армией присоединяетесь к Врангелю,— сказал он, как о деле давно решенном.

Генерал Чернов не возражал, так как понимал, что в данной

ситуации ему ничего не остается, кроме как принимать к сведению наставления генерала Нокса.

— В Красноводске вашу армию погрузят на пароходы. Когда вас перебросят на противоположный берег Каспийского моря, добраться до Крыма вам не составит трудов. Вы поведете свою армию по местам, где недовольство советской властью особенно сильно.

— Что это за места?— спросил Чернов.

Генерал Нокс помолчал.

— Вы, конечно, устали, генерал. Кроме того, в силу своей оторванности вы настроены пессимистичней, чем хотелось бы... Я вас понимаю. К счастью, такие места есть. Население Северного Кавказа, Кубани и Дона активно вооружается.

— Очень хорошо,— отозвался Чернов.— Я вас слушаю.

— Ваша армия по численности почти равна армии Врангеля. Оружия и продовольствия у Врангеля более чем достаточно. У него есть броневики и аэропланы. И если ваша армия соединится с армией Врангеля, наши силы для наступления на Москву удвоятся. Поэтому мы крайне заинтересованы в том, чтобы вы соединились с Врангелем как можно скорее. Прошу особенно учесть это обстоятельство. Затем позвольте проститься. Желаю успеха в предстоящем сражении, генерал! Слишком многое зависит от того, выиграете вы его или проиграете. С нами бог!

К своему удивлению, генерал Чернов обрадовался быстрому отъезду англичанина. Как ни сдерживался он, но наставительный тон Нокса приводил его в бешенство.

Едва улетел англичанин, Чернов с офицерами поехал на передовые позиции. В его свите находился и Танирберген, взятый в качестве проводника еще в Челкаре. Такой многочисленной армии Танирберген еще в жизни не видел и не мог даже представить себе, чтобы так много людей могло собраться в одном месте. О войске, под копытами которого гудит земля, Танирберген знал только из легенд. Захлебываясь, распевали, бывало, старые сказители — жырау у него в юрте о том, как в час, когда на казахскую землю вторгались полчища иноверцев, древние батыры собирали под зеленым знаменем пророка Мухаммеда всех правоверных и несметным войском шли на праведный бой, спасая честь ислама. Горлодеров жырау Танирберген не любил и не верил их хвастливым сказаниям. Все это брехня, думал он про себя, и когда доверчивые слушатели обливались слезами, молодой мурза только холодно улыбался. Всю ночь напролет пел, бывало, старый жырау свою нескончаемую киссу[1], а утром, когда охрипший певец, придя в окончательный экстаз, нахлестывал сухую деревяшку-домбру, мурза, не слушая больше, бесцеремонно вставал и шел спать.

Теперь зато он был подавлен. Под Аральском он надеялся освободиться от унизительной для него обязанности проводника, но на-

[1] Сказание, эпическая поэма, часто религиозного содержания.

дежде его не суждено было сбыться. Просьба его об освобождени пришлась генералу Чернову не по душе. «Потерпите еще, мурза,- холодно сказал генерал.— Поговорим об этом после сражения».

По дороге из Челкара Танирберген оказался очевидцем многих стычек и боев. И хоть людей было потеряно немало, стычки эти больше напоминали ему конную игру «аударыспак», когда разгоряченные джигиты вышибают друг друга из седел. Теперь же, глядя на огромные армии, сходившиеся лоб в лоб, мурза рассудил, что сражение предстоит невиданное и неслыханное. От недоброго предчувствия ему было не по себе. Генерал Чернов готовился к этому сражению с самого выступления из Челкара. Свои лучшие полки он приберегал для боя под Аральском. Даже скупые для этого интенданты теперь вдруг расщедрились и стали вдоволь выдавать солдатские харчи.

Похудевшие солдаты загорели под знойным солнцем до черноты. Кони, измученные жаждой, отощали, запали боками, и было удивительно, как они еще не падают под своими всадниками. Одни верблюды, на которых везли и везли боеприпасы и продовольствие, равнодушно опускались на горячую рыжую пыль и, казалось, не испытывали ничего, кроме удовольствия. Заметив большую группу офицеров, красные открыли по ней редкий артиллерийский огонь. От первых же разрывов кони шарахнулись и заржали, дрожа и приседая. Изо всех сил удерживая коня, Танирберген с испугом оглядывался на офицеров. Но офицеры, казалось, не проявляли никакого беспокойства, а генерал Чернов, не давая испуганно храпевшему под ним аргамаку повода, направлял его все ближе и ближе к укреплениям красных.

После того как его армия осталась без воды, генерал изменил свой первоначальный план и решил начать сражение завтра же. Штаб одобрил его намерение, и ввиду предстоящего боя он отправился еще раз осмотреть позиции. Потом он намерен был проведать сидящего под стражей сына своего старого друга и от него самого узнать обо всем случившемся. Федорову он не особенно верил, и надо было сразу распорядиться освободить Рошаля, а теперь момент упущен и дело это принимает неприятный оборот...

Генерал Чернов, задумавшись, подъехал совсем близко к расположению противника. Снаряды стали рваться ближе, космы пыли несло на всадников, и адъютанты уже начали нервно оглядываться. Один генерал Чернов оставался невозмутимым. Туго натянув повод белого аргамака, он с вышины бурого холма долго разглядывал расположение противника. И только когда снаряды стали ложиться слишком уж близко справа и слева, он тронул коня и поехал назад. По дороге он опять вспомнил о ротмистре Рошале и оглянулся, ища взглядом подполковника Федорова.

— Господин Федоров!

Федоров тотчас подъехал ближе.

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Где ротмистр Рошаль?

— Под стражей, господин генерал,— ответил тотчас Федоров и удивленно взглянул на Чернова.

— Все там же?

— Так точно, на разъезде.

— Гм... хорошо,— сказал генерал и прибавил рыси.

Мундир его, который он не снимал все лето, выцвел и побледнел на спине от соли. Моложавое лицо генерала осунулось и потемнело. Аргамак его был замучен и все косил воспаленными глазами на валявшиеся там и сям порожние бочки и ведра.

Было безветренно, душно, не шевелилась ни одна травинка. Все кругом дрожало в знойном мареве. Из-под надвинутого на лоб козырька фуражки Чернов посматривал по сторонам и с болью видел, как изнурены и подавлены солдаты. «Нет, довольно, больше ждать нельзя,— думал он.— Завтра же начнем!»

У разъезда он кивнул Федорову, и они спешились.

— Вот здесь,— предупредительно сказал Федоров, открывая перед командующим дверь.

В маленькой комнатушке, где находился арестованный Рошаль, было грязно и душно. Рошаль лежал на полу и, хоть тотчас узнал командующего, поднялся не сразу. Глаза его опухли, лицо было измято и обросло щетиной.

Чернов бегло взглянул на него и понял, что напрасно сюда пришел, что говорить сейчас ни о чем не нужно. Нахмурившись от жалости, он круто повернулся и вышел. Федоров замешкался и догнал командующего уже довольно далеко от разъезда.

— Как прикажете с ним поступить, ваше превосходительство?— осторожно осведомился он.

— А вы что предлагаете, подполковник?

— Я уважаю ротмистра, но, согласитесь, проступок тяжелый. В то время, когда мы совершенно лишены каких-либо сведений о противнике...

— Да, да...— рассеянно отозвался Чернов.— Я понимаю. Итак, ваше мнение?

— Я думаю, нужно примерно наказать.

— А? Да, да... Наказать.

— Мое мнение: разжаловать и завтра пустить в дело в первых рядах. Пусть кровью добывает себе погоны!

Генерал Чернов всем телом повернулся к Федорову. Он и раньше знал, что Федоров бывает жесток, но никогда не осуждал его за это. Войны без жестокости не бывает. Но теперь он даже оторопел несколько от того, с какой холодностью вынес Федоров этот жестокий, едва ли не смертный приговор. «Что ж, так тому и быть,— устало решил он.— У меня язык бы не повернулся, но раз они между собой все решили, так тому и быть!» Отвернувшись от Федорова, ни слова не сказав, он хлестнул своего аргамака и поехал один.

V

— Ел-ага...

— Ел-ага, где вы?!

Еламан собирался завтракать, и его сразу встревожило, что джигиты, забыв свою обычную учтивость, закричали истошными голосами. Чувствуя, что тот час, которого они все так давно ждали, наконец пробил, Еламан нашел еще в себе силы проглотить несколько ложек и только после этого встал, одернул гимнастерку и пошел к бойцам.

Все возбужденно глядели в одну точку на горизонте. Поглядел туда и Еламан. На широкий бурый увал перед 68-м разъездом черной лавиной поднимался неприятель. Поднявшись на хребет, всадники придерживали коней, сбиваясь плотной стеной. Подождав, пока подошли тянувшиеся бесконечной лентой новые и новые эскадроны, белые выждали какую-то одну им известную минуту и вдруг с диким ревом покатились вниз с холма. Только что безмятежно дремавшая утренняя степь внятно задрожала от далекого топота копыт. Пыль, поднявшаяся на буром увале, заволокла все небо. Сквозь пыль тускло сверкали шашки, чернели над головами всадников пики. Гул от конских копыт все усиливался, широкая лавина кавалерии, будто селевой поток, текла уже по равнине.

Еламан взялся за винтовку, потом повернулся, оглядывая своих джигитов. По привычке он хотел крикнуть, чтобы все приготовились, но тут же убедился, что в командах нет нужды — все давно лежали на бруствере, и только затворы щелкали, да иногда слышались торопливые голоса:

— Где патроны? Давай сюда патроны!

— Пулемет проверили?

— Эй, приятель, дай-ка сюда пару гранат!..

Еламан повернулся к пулеметному расчету, вспомнив, что пулеметчик у них совсем мальчишка. Но пулемет был давно заправлен лентой, и тупое рыльце его тускло лоснилось на солнце, а пулеметчик лежал, удобно раскинув ноги и вцепившись в рукоятки. Еламан опять стал глядеть вперед. Теперь можно было уже различить каждую лошадь и каждого всадника в отдельности. Человек десять вырвались вперед, и их догнали поодиночке самые азартные рубаки. Еламан вспомнил про гранаты и выложил их на бруствере. Ему вдруг стало холодно, и руки задрожали. Ему сделалось нехорошо, и он, как всегда перед боем, начал злиться на себя. Чтобы забыть свой страх, он стал с ненавистью смотреть на всадников, которые, обогнав всех, скакали впереди. Среди них выделялся мчавшийся особняком человек на гнедом коне. Солдат — не солдат, офицер — не офицер, он летел распояской, с расстегнутым воротом гимнастерки, без погон и без фуражки. Лицо его заросло густой щетиной, он не кричал что есть силы, как остальные, не крутил, будто камчой, шашкой над головой, не разъярял понапрасну ни себя, ни коня.

И Еламан тут же решил, что это самый опытный наездник и боец, побывавший на своем веку в десятках подобных переделок, и что именно его первого и нужно брать на мушку.

Ударила красная артиллерия, и бойцы перевели дух. То там, то здесь белых вышибало из седел. Справа и слева от Еламана то дальше, то ближе захлопали винтовки, потом в дело вступили пулеметы, но Еламану показалось, что всадники, которые скакали прямо на его сотню, еще далеко, и он закричал, напрягаясь:

— Не стреля-ать! Подпустить бли-иже!

Но джигиты и без его окрика не стреляли, и даже мальчишка-пулеметчик лежал, казалось, все в той же удобной позе, будто не впервые ему было отбивать такие атаки. «Ай, джигит! Молодец!»— подумал о нем Еламан и тут же стал подводить мушку под всадника на гнедом коне. Гнедой, плотно прижав уши, распластываясь, птицей несся по ровной выгоревшей степи. Время от времени он помахивал куцым хвостом и далеко и легко выкидывал ноги. Еламан уже хорошо видел широко раздутые ноздри, видел небритое лицо над шеей коня, облепившую тело гимнастерку... Поймав момент, он выстрелил, но всадник на гнедом коне только припал к гриве, отыскал глазами Еламана и, приближаясь с ужасающей быстротой, уже медленно заносил над головой шашку. «Что это? Промазал!»— похолодел Еламан и с тошнотворным страхом понял, что слишком близко подпустил врага. Он выстрелил еще раз навскидку — опять мимо и тут же пригнулся, к земле, беспомощно защищаясь рукой. Он уже ничего не мог сделать и только, зажмурившись, видел, как рубит его по шее шашка и откатывается в сторону голова.

Гулко забил пулемет, звонко зачастили винтовки, но Еламан в эти последние свои, как ему казалось, секунды ничего не видел и не слышал. Не видел он, как врага его в распоясанной гимнастерке обогнал какой-то казак и, перелетая через окоп, свесившись с седла, рубанул мальчишку-пулеметчика. Не видел он, как бежал по окопу и стрелял комиссар, как он выстрелил и во всадника на гнедом коне, как тот сразу, будто сломавшись, обмяк и, уже вываливаясь из седла, пытался в последнем бессознательном усилии вцепиться в гриву своего коня. И конь его, сразу почувствовав ослабевший повод, видя под собою зияющий окоп, поджал передние ноги, вытянул шею и зайцем скакнул через Еламана.

Робко воздев глаза, Еламан увидел над своей головой взмокшее брюхо гнедого, промелькнувшие копыта, услышал, как что-то грузное ударилось о дно окопа, покосился в ту сторону. Неловко свернувшись, подобрав под себя правую руку, уже мертвый, лежал тот всадник, который только что дико скакал по степи и который хотел его зарубить. Только взглянул Еламан и тут же отвернулся и не узнал в убитом враге ротмистра Рошаля, с которым он так дружески беседовал под Актюбинском.

А Дьяков, пробегая мимо, кричал что есть силы:

— Гранаты! Грана-аты!..

Еламан вспомнил про свои гранаты, увидел кучку всадников, внезапно услышал грохот боя, крики и сам закричал что-то злобное, выпрямляясь над окопом, одну за другой швыряя гранаты далеко вперед. Взрывов он не услышал, увидел только, как впереди взметнулась пыль, мелькнуло два раза в этой пыли пламя и начали вздымать на дыбы и опрокидываться кони.

— Так их, так! Молодцы!— хрипел Дьяков, не слыша своего голоса.

Потом подскочил к замолкшему пулемету, отвалил тело зарубленного пулеметчика и взялся за рукоятки.

— Вот так, вот так!— приговаривал Дьяков, сотрясаемый крупной мерной дрожью пулемета.

Несмотря на потери, белые все подкатывались волна за волной, хлеща коней и размахивая шашками. Будто пшеница на жаровне, трещали винтовки вдоль окопов, беспрерывно били пулеметы в нескольких местах, рвались гранаты, разбрасывая по сторонам осколки и пыль. Вновь и вновь кидалась конница на окопы, но попытки прорваться за оборонительную линию красных не удавались. Оставшиеся в живых поспешно поворачивали коней и сначала поодиночке, а затем и всей массой пустились назад.

Дьяков только теперь оторвался от пулемета и оглядел свои окопы. В окопах стонали и кричали раненые. Появились санитары с носилками. Густой клубящийся дым на месте недавнего боя, медленно рассеиваясь, стал уволакиваться в низину.

Солнце между тем поднялось уже высоко, наступал новый душный день, и нечем стало дышать. Задыхаясь, вытирая рукавом обильный пот, Дьяков дрожащими руками торопливо расстегнул ворот рубахи. Увидев подходящего Еламана, он устало улыбнулся.

— Ну как, брат? Кажется, живы остались?— с удовольствием выговорил он.

Еламан только кивнул в ответ. После боя загорелое лицо его осунулось и стало жестким.

— В атаку, теперь в атаку!— торопливо сказал Дьяков и поднялся.

— В атаку?— еще не опомнившись, удивленно переспросил Еламан.

— Да, приказ командующего!

Еламан быстро собрал своих джигитов. Кони их находились недалеко позади, в лощине. Там царила такая тишина, что непохоже было, будто несколько минут назад гремел над окопами бой. Толстобрюхий Еламанов вороной, позванивая удилами, мирно пощипывал полынь и мотал от удовольствия головой. Еламан первым вскочил в седло. После своего любимца, темно-рыжего со звездочкой на лбу, убитого в недавнем бою, он никак не мог привыкнуть к этому вороному. Чувствуя, что сытый вороной все норовит остановиться, Еламан разозлился и в сердцах огрел его камчой. Вороной екнул селе-

зенкой и уронил несколько кругляков. Поднимаясь по склону на противоположный берег лощины, Еламан оглянулся и увидел, что джигиты догоняют его. Вдалеке виден был Кустанайский кавалерийский полк. Полк надвигался на него в клубах пыли плотными рядами, и Еламан понял, что его джигитам предстоит идти в атаку вместе с Кустанайским полком. Колотя ногами храпящего своего брюхастого коня, он крупной рысью выскочил на бугор. Как раз в это время прискакал адъютант из штаба с приказом временно остановиться. Остановились и кустанайцы. Джигиты Еламана спешились и стали терпеливо ждать под солнцем. Только после обеда адъютант привез новый приказ и все сели на коней.

Собрав свежие силы, белые между тем опять пошли в наступление. Кустанайский полк бросился в бой. Впереди скакали джигиты Еламана. Отряд, возглавляемый Али, на своих лихих конях сразу же вырвался далеко вперед. От пыли, поднятой отрядом Али, Еламан не мог продохнуть. Его вислобрюхий вороной сначала всегда отставал. Зная эту его повадку, Еламан на первых порах скакал, бывало, где-нибудь сбоку. Но сегодня сгоряча он вдруг позабыл об этом и очутился в самой гуще всадников, так что никуда не мог свернуть. Кони еще не разошлись, не распластались в бешеном намете, скакали все кучно, ухо в ухо, касаясь друг друга боками.

Гнедой, очутившийся как раз перед мордой вороного, швырял в него копытами землю, будто горстями. Пыль, песок, комки высохшего за лето дерна секли лицо Еламана и вытянутую морду вороного. Наглотавшись пыли, забив ноздри, вороной начал уже задыхаться и тяжело водить боками. «Эх, сейчас бы мне темно-рыжего!» — думал Еламан, время от времени подаваясь вперед, вытягивая свободную руку и протирая ладонью глаза вороного. Несколько раз, стремясь отвернуть от гнедого, Еламан подавал то направо, то налево. Но, будто угадывая его мысли, гнедой, как назло, поворачивал каждый раз в ту же сторону, что и он. Скакал гнедой легко, топоча копытами, выбрасывая ноги, протяжно фыркая и время от времени резво взмахивая куцым хвостом. А вороной между тем выбивался из сил, и пот никак не прошибал его. Уши и морда его давно посерели от пыли, он надсадно екал, водил боками, будто не скакал, а тянул воз с тяжелой поклажей. Еламан чувствовал, как вороной роняет на ходу кругляки. «Обжирается, волчья сыть! Распустил брюхо, как баба на сносях!» — злился Еламан, охаживая вороного камчой.

Приподнимаясь на стременах, Еламан несколько раз принимался смотреть вперед, стараясь увидеть белых. Последний раз он видел, как они спускались по склону серого холма. Внезапно в разрывах пыльной завесы он увидел их совсем близко, так что можно было различить, если сосредоточиться, лица, погоны и масть коней, и Еламан тут же наметил себе одного всадника и старался уже не спускать с него глаз.

Белые неслись лавиной, вертя обнаженными шашками, воя во

всю глотку, и казалось, ничто не может их остановить. Но лавина их, такая грозная сначала, замедлила вдруг свое течение, поредела, разбилась на отдельные кучки и стала поворачивать назад. Через минуту белые скакали уже вверх по склону серого холма, а те, что замешкались и не сразу повернули, теперь отчаянно нахлестывали своих коней и в ужасе озирались назад.

Еламан и не заметил, как начал расходиться его вороной. Обходя одного джигита за другим, он скоро вырвался вперед и первым вынесся на вершину холма. Не задержавшись ни на мгновение, не подождав своих, Еламан пустился вниз по склону, стараясь догнать всадника, которого он еще раньше выделил среди остальных. На секунду отведя глаза от намеченной цели, он быстро взглянул на своего вороного. Теперь вороной взмок от обильного пота, шея его была сильно вытянута, густая грива развевалась под ветром. «Ай, скотище любимое!»— подумал счастливый Еламан, забыв уже, как проклинал коня минуту назад.

Подняв глаза, он увидел, что настигает своего врага на черногривом соловом коне. Вороной начал заходить с правой стороны, откуда неудобно было рубить, и Еламан разозлился на себя, что не вовремя это заметил. Резко дернув повод, он повернул коня и стал обходить солового уже с левой стороны. Тыльной стороной руки, давно уже сжимавшей шашку, он вытер заливавший глаза пот и, напрягшись, подался вперед. Всадник, которого он догнал, оглянулся, и на мгновение взгляды их встретились. Глаза солдата были полны такого ужаса, что Еламан с отвращением отвел от него взгляд, будто ощущая уже запах трупа. В нем как-то погасла вдруг вся ярость, но, с недоумением глядя на скорчившееся в седле неживое тело, он все-таки взмахнул шашкой. Почувствовав за спиной взмах и свист шашки, солдат вдруг сам вывалился из седла и несколько раз, переворачиваясь, ударился о землю, поднимая пыль. Досадуя на свой промах, Еламан, стиснув зубы, выпрямился в седле, ища взглядом, кого бы еще догнать и уже рубануть как следует, но в это время услышал далеко позади себя крики: «Стой! Стой!! Назад! Наза-ад!» Оглянувшись, Еламан только теперь увидел, что, разгорячившись, прискакал чуть не к самому 68-му разъезду. Тогда Еламан, а за ним и его джигиты круто осадили коней и поскакали назад.

VI

Когда еще одна атака белых была отбита, Дьякова вдруг потянуло курить. Остатками воды из солдатской фляги он выполоскал рот, потом немного попил. Вода была такая теплая и так нехорошо пахла, что его чуть не стошнило. Он закашлялся, сразу ослабел и, чтобы не ложиться, прислонился к стене окопа. Солнце клонилось к западу, но дневной удушливый зной не проходил. Время от времени, обдавая жаром, как из печки, налетал раскаленный ветер. По краям окопа, где буграми лежала желтая глина, взвихривались

песчинки. Дым над полем боя рассеялся, пыль осела, и теперь то тут, то там темнели трупы.

Во время боя у Дьякова заложило уши, теперь слух медленно возвращался к нему, и он услышал далекое разноголосое ржание и стоны раненых в окопах. Скрипя колесами, стали подъезжать арбы, вдоль окопов и по степи бегали санитары с носилками...

Блаженная оглушительная тишина восстанавливалась там, где недавно кипел бой. Под редкой серой полынью вдоль окопа беззаботно сипели кузнечики. Потрепетав в вышине, опустился и сел между трупами жаворонок. Казалось, что и жаворонок отдыхает после боя, радуется, что и он уцелел, и восторженно делится своей радостью с огромным миром.

Дьяков растроганно улыбнулся. Когда же, подумал он, человечество поумнеет? Неужели никогда оно не будет наслаждаться вот этой благодатной тишиной, от которой так покойно и светло на душе? После каждого боя кажется, что больше уже никогда не возьмешь в руки оружие. Каждый раз думается, что именно этот бой и есть тот последний и решительный бой, о котором мы так самозабвенно поем. Вот и завтрашний бой, неужели он не станет самым решительным и последним на казахской земле? Сегодня атаки уже не будет, а вот завтра... Выстоим ли?

— Иду-ут!.. Опять идут!— разнеслось над окопами.

Сначала Дьяков подумал, что ему померещилось. Торопливо он приник к биноклю. За рыжим перевалом слышался незнакомый гул и клубилась пыль. Потом на вершине холма одна за другой стали показываться зеленоватые туши. На этот раз в атаку первыми пошли броневики, а за ними с развевающимися знаменами пехота.

— Броневики!

— Гранаты!! Где гранаты?!

— Эй, гранат давайте-е...

— Броневики идут, гранаты-ы...

Измученным бойцам предстоял еще один бой сегодня.

VII

Дьяков проснулся еще до зари. От постоянного недосыпания у него по утрам страшно болела голова. Посидев немного, крепко стиснув ладонями виски, Дьяков похлопал себя по шее и по темени и встал. Он знал, что головная боль скоро пройдет. Каждый день он просыпался больной и разбитый, но потом втягивался в дела, и головная боль проходила.

Дьяков долго зевал, прикрывая ладонью рот, оглядываясь и соображая, что сегодня нужно сделать в первую очередь. Кроме нескольких солдат, там и сям шевелившихся в окопе, все тяжело спали в этот ранний час. Дьяков прошелся по траншее, остановился возле Еламана, который дремал, уронив голову на грудь, устроившись возле пулеметного расчета. Вздохнув, Дьяков стал смотреть в сторо-

ну белых. Предутренние сумерки были в той стороне густы, и тишина, которая ничем пока не нарушалась над 68-м разъездом, казалась особенно грозной. Дьяков понимал, что командование белой армии взбешено вчерашними неудачами и что сегодня может все случиться. Обреченным людям почти невозможно противостоять. Не оставляя никаких резервов, белые могут сегодня обрушиться на Аральск всеми силами, и сегодняшний бой будет не чета вчерашнему...

Медленно занималась летняя заря. Ветра не было, и весь этот необъятный мир с постепенно светлевшим и раздвигавшимся горизонтом был так свеж и чист, что вдвойне ужасно было воображать смерть, которая наступит для сотен людей не когда-нибудь, а сегодня. Неутомимые степные жаворонки завели спозаранок свои серебристые песни.

Один за другим начали просыпаться бойцы, и было слышно в утренней тишине, как они звали и переговаривались по окопам. Сзади заскрипели арбы, и в окопы начали носить гранаты и ящики с патронами.

Солнце едва показалось над степью и залило все румяным светом, когда из окопов кто-то крикнул не своим голосом:

— Опять иду-ут!

Как и вчера, за рыжим перевалом снова поднялась пыль. Все в Дьякове заныло и задрожало, и, смущаясь, он посмотрел вокруг себя. Торопливо клацали затворы. Многие бойцы с серьезными бледными лицами выкладывали перед собой на бруствер окопа гранаты. Длинный черный казах, сосед Али, наточив громадный нож о камень, сунул его за пояс.

Вскинув бинокль, Дьяков долго всматривался и приближавшуюся, мерно колыхавшуюся пехоту, потом задумался и неожиданно для всех крикнул:

— Не стрелять! Передать по цепи — не стрелять!

Поглядев опять в бинокль, он еще больше оживился и отправил бойца назад к батареям с тем же приказом — не стрелять. Белые приближались густыми цепями. В пыли щетинились и тускло поблескивали в неярком утреннем свете стальные штыки. Полковое знамя в руках знаменосца не развевалось, а тяжело висело вдоль древка.

Впереди цепей, прихрамывая, шел командир полка с обнаженной шашкой. Это был рослый худой офицер, и в бинокль хорошо были видны его рыжие усы. Как бы опасаясь, что идущие за ним отстанут, он поминутно оглядывался назад. Не убыстряя и не замедляя шага, цепи спустились к подножию рыжего перевала. Еще раз обернувшись к цепям, командир полка что-то крикнул и, подняв шашку, еще заметнее припадая на левую ногу, побежал вперед.

— Товарищ комиссар, куда же еще ждать? Близко! В самый раз вдарить! — жарко забормотал кто-то рядом.

Дьяков только повел плечом, не отрываясь от бинокля. Он еще

издали узнал, что в атаку на них идет Пластунский полк. А если верить пленным, в этом полку несколько раз вспыхивало недовольство. Солдаты полка давно уже ненавидели казаков атамана Дутова, с которыми у них по всякому поводу вспыхивали драки. Настоящее брожение в полку началось после Орска. Солдаты были недовольны тем, что их завели в чужие земли класть головы за казачьи интересы. Воинской дисциплине они подчинялись с трудом и воевать не хотели.

— Товарищ комиссар, когда же огонь-то открывать? Совсем подошли!..

Дьяков ничего не слышал. В голове его шумело пуще прежнего, уши заложило, на висках вздулись вены, все его слабое тело билось и трепетало от принятого решения. Неужели он обманулся и станет виновником гибели сотен своих бойцов? Неужели этот поток человеческих тел, наполненный ненавистью, через минуту сомнет оборону красных? Он видел острые жала штыков, хмурые лица солдат. Топот тысячи солдатских сапог сотрясал землю. Но Дьяков видел также растерянное, осунувшееся лицо командира полка...

Дрожащей рукой смахнув со лба крупные капли пота, Дьяков неожиданно для всех выскочил из окопа, замахал над головой руками и закричал что есть силы:

— Солдаты!.. Братья!.. Остановитесь...

Обессилев, задохнувшись от крика, он еще судорожно набирал воздух в легкие, а цепи Пластунского полка уже дрогнули. Что-то неуловимое пробежало по лицам солдат. Взмахивая шашкой, отчаянно закричал командир полка, прицелился в Дьякова какой-то офицер и тут же упал от выстрела, раздавшегося сзади. Солдаты замедлили шаг и начали останавливаться, беря винтовки под мышки и опуская вниз штыки. И тогда Дьяков, сотрясаемый восторгом победы, крикнул уже звонко, радостно:

— Солдаты! Переходите на сторону революционного народа-а!.. Ура!

— Ур-ра-а-а!..— прокатился громовой крик по окопам красных бойцов и по цепям Пластунского полка.

VIII

Приказав в этот день начать наступление на рассвете, генерал Чернов выехал на передовые позиции спозаранок — хотел сам наблюдать за боем. Сопровождала его большая свита, все чувствовали, что сегодня должна решиться судьба всего их наступления, и все хотели присутствовать при этом. В числе свиты находился и Танирберген.

На вершине черного холма командующий остановил коня. Адъютант подал ему бинокль. Как раз в это время первым начавший наступление Пластунский полк, преодолев рыжий перевал, быстро приближался к укреплениям красных. Красные молчали,

хотя им давно пора было открыть огонь. Самое невероятное было в том, что и артиллерия красных не открывала огня.

— Что за черт, почему...— начал было Чернов и вдруг осекся и побледнел. Ему показалось, что запотели линзы бинокля или... Он торопливо протер бинокль, опять посмотрел и выругался сквозь зубы: возле окопов красных все смешалось, полковое знамя исчезло — Пластунский полк братался с большевиками!

На холме воцарилась гробовая тишина. Никто не решался проронить ни слова, все будто оцепенели в двух шагах позади командующего. К вершине холма, на котором остановился штаб, во весь опор скакал какой-то офицер.

— Пластунский полк перешел к красным, ваше превосходительство!— задыхаясь, доложил офицер.

Генерал Чернов мрачно кивнул. Некоторое время он ни на кого не смотрел, потом подозвал к себе начальника штаба и приказал ему начинать наступление снова. Выслушав командующего, начальник штаба молча повернул коня и только было поднял плетку, как генерал окликнул его. Начальник штаба, сдерживая коня, опять подъехал вплотную к Чернову. Некоторое время оба молчали, потом генерал буркнул:

— О том, что полк изменил правому делу... Словом, чем меньше будут знать об этом, тем лучше.

Начальник штаба хмуро кивнул и в сопровождении двух офицеров поскакал к дивизиям.

«Нет, это я, один я виноват!»— сокрушенно думал генерал Чернов. Ведь он знал о неблагонадежности солдат Пластунского полка. Когда накануне наступления он в числе других объезжал и этот полк, его поразил хмурый вид солдат. На приветствие они ответили вяло, вразнобой. Медленно проезжая вдоль фронта, он пытливо всматривался в лица солдат. Солдаты старательно отводили взгляды. От этих холодных, откровенно враждебных лиц ему стало не по себе. «Стоит ли посылать их на прорыв?»— мрачно думал он, уже отъезжая и почти не слушая сбивчивый рапорт командира полка. И вот все-таки послал...

В последнее время он все явственнее ощущал свою старость. Раньше он хорошо знал своих солдат и чувствовал малейшую перемену в их настроении. Раньше он почти не совершал ошибок, потому что был решителен и тверд. И вот с некоторых пор он стал ошибаться на каждом шагу. И чем больше ошибался, тем становился неувереннее. Одним из серьезнейших его промахов, едва не стоивших Южной армии всей летней кампании, был весенний приказ за № 249. Во время весенних полевых работ он отпустил по домам всех казаков старше сорока лет. После этого приказа и вспыхнула вражда между пехотой и казачьими кавалерийскими частями. «Да, да... Стар становлюсь!»— грустно подумал Чернов, опять поднимая к глазам бинокль.

Между тем два новых полка уже спускались с перевала, затоп-

ляя равнину перед окопами красных. Они еще далеко не дошли до окопов, когда красные батареи открыли огонь.

Бледный Танирберген напряженно оглядывался вокруг. От взрывов снарядов то спереди, то сзади поднимались клубы черного дыма, перемешанные с землей, и Танирберген с испугом решил, что сегодня они все подвергаются гораздо большему риску, чем вчера. Конь под Танирбергеном принимался плясать после каждого взрыва. Мурза чувствовал, как страх обдает его будто ледяной водой, и ему становилось не по себе. Единственно, на что он употреблял сейчас все свои силы, это чтобы хоть внешне казаться спокойным. Чтобы хоть немного побороть свой страх!

Сдерживая коня, вглядываясь в ту сторону, куда в бинокль смотрел генерал Чернов, он видел то же, что видели все офицеры на холме, но ничего не понимал. Глядя на крошечные издали фигурки солдат, бежавших в пыли в сторону красных окопов, он вспомнил, как проспавший зарю ленивый пастух торопливо гнал, бывало, на выпас покорно потрюхивавших овец.

Дым и пыль от взрывов то накрывали серые фигурки солдат, и тогда Танирбергену казалось, что они все полегли, как ложится камыш под острым серпом, то поле боя вдруг открывалось. И хоть каждый раз все больше неподвижных тел темнело на равнине, оставшиеся в живых бежали вперед.

Мурза со страхом посматривал на генерала, не отрывавшегося от бинокля. Бледное, усталое от бессонницы лицо Чернова было тем не менее спокойно, и Танирберген тоже на время успокаивался.

Наступающие достигли наконец окопов красных, и началась рукопашная схватка. До холма донеслось отдаленное нестройное «ура». Артиллерия прекратила обстрел, пыль и дым немного развеялись, и стало видно, как навстречу солдатам бросаются из окопов красные бойцы. Поблескивали на солнце штыки, видно было, как бойцы и солдаты замахиваются друг на друга, бьют, колют, падают, и хоть до холма, где стоял штаб, не доносилось ни звука, всем казалось, что им слышатся надсадное дыхание, хруст пропарываемых тел и предсмертные стоны.

Танирберген понял вдруг, что в сегодняшнем бою решается не только судьба белой армии, но и его судьба, судьба всей его будущей жизни. «Победят или отступят? Победят или отступят?» — лихорадочно думал он, и ему хотелось слезть с коня и стать на колени. «О аллах! О аллах,— говорил он про себя, но не шли на ум никакие молитвы.— Ай, отвернулась от нас удача! Не победим гяуров, не победим!» — горько решил вдруг Танирберген и с тоской оглянулся на офицеров. Все они были бледны, а всегда спокойный генерал Чернов хмурился и кусал губы.

— Прорвались! — радостно крикнул вдруг кто-то из офицеров.

Чернов моргнул и потер лоб, потом сильно прижал к глазам бинокль. Странное что-то творилось с ним сегодня! Он видел, конечно, что его полки добежали и начали с боем занимать окопы, но кар-

тина боя ничего не говорила ему и он не знал, не мог уловить, как раньше, по многочисленным незаметным деталям боя, на чью сторону клонится победа. Поэтому радостный возглас «Прорвались!» так взволновал и обрадовал его, что глаза его налились слезой и линзы бинокля запотели. «Да что это со мной сегодня, бог ты мой!— смущенно думал он, незаметно вытирая платком глаза. Опять припав через минуту к биноклю, он увидел, что бой идет по-прежнему в окопах и красные не отступают. Тогда он распорядился послать из резерва свежие силы Каппелевского корпуса. Каппелевцы бегом начали спускаться с перевала.

Но и красные ввели в бой рабочие отряды из Казалинска, Жусалы и Ак-Мечети. Аральские железнодорожники, не успев снять своих замасленных курток, едва добежав до окопов, тут же бросились на офицеров Каппеля. Наступил момент, когда решался исход боя. Это хорошо понимали и белые, и красные.

Генерал Чернов повернулся к атаману Дутову.

— Не пора ли пустить ваши части, Александр Ильич?

После приезда английского генерала атаман Дутов был постоянно мрачен. Независимо от исхода сражения он решил увести свои части из армии Чернова. Он намеревался уйти сначала в Семиреченские края, а оттуда, снабдившись продовольствием, податься в Урумчи. Отступление вместе с армией Чернова в сторону Каспийского моря его не устраивало. Он знал, что, как только русские войска соединятся с частями английского экспедиционного корпуса, вольница его кончится и он потеряет все свое значение. А решив уйти, он уже потерял всякий интерес к исходу кампании, стал замкнут и высокомерен. Но то, что даже в такую критическую минуту генерал Чернов был по своему обыкновению вежлив и предупредителен и вместо того, чтобы приказать, как бы советовался с ним, польстило самолюбию атамана.

Повернув властное свое лицо к адъютанту, Дутов сказал только:

— Передай, чтоб начинали.

Адъютант поскакал. Не прошло и пяти минут, как из-за ближайшего холма с гиком вылетел казачий полк. Казаки атамана Дутова были сильны своей неожиданностью и стремительностью. Не было у них ни артиллерии, ни громоздкого обоза. Все это считалось лишней обузой. Они вступали в бой только тогда, когда исход был уже предрешен. Заходя с тыла, налетая, подобно смерчу, они рубили и топтали все живое на своем пути.

Поднимая за собой длинный хвост пыли, они и теперь помчались не прямо на окопы, а наискосок по равнине, норовя обойти дерущихся и ударить сзади. И генерал Чернов, и атаман Дутов знали, что теперь с минуты на минуту должен произойти окончательный перелом, и ждали его с нетерпением.

Неожиданно наперерез казакам запылила конница красных. Генерал Чернов встревоженно взглянул на Дутова.

— Это еще что такое?

— А это, ваше превосходительство, я бы хотел у ваших разведчиков узнать. Черт его знает, что это еще на нашу голову! Дикари какие-то...

— Может быть, монголы?

— У монголов лошадки маленькие, чуть побольше осла...

— А что у них на головах?

— А черт их знает, прости господи.

Пораженные, оба стали напряженно следить за странными всадниками в полосатых чапанах и высоких бараньих шапках. Генерал с атаманом были кадровыми военными, с боями прошли многие сотни верст, но такую конницу видели впервые. Аргамаки с шеями тонкими и длинными, как у гусей, рвались вперед, просили повода, но их придерживали, и они не распластывались в намете, а шли каким-то неуклюжим волчьим скоком...

Зато Танирберген сразу узнал в них лихих туркмен. Он запомнил их еще с тех пор, когда басмачи хана Жонеута совершили набег на прибрежные казахские аулы. В седлах туркмены сидели, казалось, неловко, неуверенно, и кони их будто не слушались, заносили то влево, то вправо, но Танирберген знал, что эта кажущаяся неуверенность обернется потом атакой, неукротимой в своей дикой ярости. «О аллах!»— испуганно подумал он и опять решил, что все пропало.

Сблизившись с казаками на расстоянии выстрела, только что неловко сидевшие в седлах поджарые смуглые джигиты мигом преобразились и припали к гривам коней. Кони их, будто чувствуя состояние всадников, плотно прижали уши, вытянули длинные шеи, будто гуси в полете, и раздули тонкие ноздри. Таких отчаянных всадников генерал Чернов никогда не видел и то и дело встревоженно поглядывал на Дутова. Тень тревоги легла на самоуверенное лицо атамана. Казаки и туркмены стремительно приближались друг к другу. Сердце атамана дрогнуло. Он уже не обращал внимания на рукопашную в окопах, привстав на стременах, он видел теперь только своих казаков.

Казачьи пики, тонкие издали, как иглы, выставлены были теперь меж конских ушей, и сначала все произошло именно так, как и предполагал атаман Дутов. Длинные пики сразу же вышибли из седел первые ряды туркмен. Атаман ждал, что туркмены повернут вспять и рассыплются по степи, преследуемые казаками. Но случилось неожиданное — злобно скалившиеся загорелые джигиты вновь и вновь кидались на казаков. Отбивая казачьи пики, ловко увертываясь, они размахивали кривыми саблями, отчаянно визжали и наконец вклинились в плотные ряды казаков, навязав им ближний бой. Остального уже толком не видел никто. Все перемешалось, завертелось, началась повальная рубка, и только кони, потерявшие ездоков, одичало выскакивали иногда из этой дьявольской круговерти.

Всего десять минут назад генерал Чернов уже не сомневался, что победа им обеспечена. Как только его солдаты ворвались в око-

пы красных, он решил, что оборона противника сломлена и что теперь нужно, как бывало, бросить в бой еще одну часть, еще две части, и силы врага растают, как тает льдина в половодье.

Но того, что происходило на его глазах, генерал Чернов не понимал. Что случилось? Как объяснить, что хотя наступление и развивается как должно, враг не бежит? Разве его солдаты и на этот раз не старались из последних сил, чтобы выбить противника с занимаемых позиций? Разве они не так же яростны, не так же настойчивы, как и прежде? Разве они жалеют себя?

Или это роковое невезение? Чем же тогда объяснить все происходящее? Когда от тебя отворачивается судьба, что бы ты ни делал, все получается не так. Если бы не это необъяснимое, фатальное невезение, они должны были бы давно разбить красных. А получается все наоборот: к красным приходят все новые и новые отряды и отрядики из тыла и бросаются отбивать окопы. И знаменитые казаки атамана Дутова уже не могут сладить с какими-то степными дикарями...

— Что же делать, ваше превосходительство?— негромко спросил у него начальник штаба.

Генерал Чернов не ответил. Как и все его офицеры, молча толпившиеся на холме, он не знал, что делать.

Решив во что бы то ни стало захватить Аральск, генерал Чернов бросил в бой все имевшиеся под его рукой силы. Раньше он всегда был осторожен и любил обходиться малыми силами — пополнения ждать было неоткуда. Но теперь он был раздражен. Им овладел безрассудный азарт неудачливого игрока, ему не терпелось решить наконец исход сражения — выиграть или проиграть. Третий день его войска атаковали позиции противника, и, кроме потерь, эти атаки ничего ему не принесли. Теперь его покинуло обычное хладнокровие, охватила ярость, и он в отчаянии бросал в бой часть за частью.

Красные стояли насмерть, и генерал Чернов все больше мрачнел. Он уже не думал о том, что еще можно сделать, потому что все возможное было сделано. Не только ему, но и остальным офицерам было ясно, что сражение проиграно и никакие меры уже ничего не спасут.

Прожив столько лет на свете, думал ли он, что на закате жизни, несмотря на весь свой военный опыт, на надежды, взлелеянные в душе, несмотря, наконец, на кадровую, обученную армию, он так бесславно проиграет свое, может быть, последнее сражение? И, главное, кому? Каким-то рабочим отрядам, каким-то дикарям!

Один и тот же вопрос точил ему душу: что стало с отечеством, что стало с его сыновьями? Еще вчера Россия была могучей державой. Каким же образом выпустили из виду всех этих темных людей, эту ленивую скотину, не желающую работать, а желающую все

разрушать? Теперь эта темная сила, как джинн, выпущенный из бутылки, все погубила — нет страны, нет государства, а есть сброд, сволочь. И завтра эта бесчисленная голь возьмет власть в свои руки, начнет править Россией! До чего же они доведут страну? Несчастная Россия, какое будущее ждет тебя, что станет с тобой через двадцать — тридцать лет? Не один, так другой из этих негодяев, дорвавшись до власти, не успокоится до тех пор, пока не растреплет и не погубит тебя, как злой ребенок, отрывающий кукле руки и ноги и выкалывающий ей глаза.

Кому дано заглянуть в будущее? Но и сейчас ясно: от нашего уклада жизни камня на камне не останется. Не затем они затеяли свою революцию, чтобы беречь то, что им досталось от прошлого.

— Ваше превосходительство!

Чернов вздрогнул. Рядом с ним успокаивал взмокшую лошадь какой-то офицер. Генерал, ничего не видя, продолжал смотреть на развороченное поле боя.

— ...подбили два наших броневика.

«Да, да, все гибнет! — продолжал думать Чернов. — Но почему же этот мир, такой естественный, такой привычный, вдруг начал разваливаться на глазах? Или мы недостаточно любили свою страну? Ничего подобного!»

Чернов вспомнил, как он обрадовался, получив приглашение Колчака. За один день собрался домой! А в поезде он до самой границы не смыкал глаз, и сердце его радостно билось под перестук колес, отсчитывающих версты. А как он в первые дни по приезде в Омск упивался звуками дивной русской речи. Вся его усталая душа млела от счастья, будто слышал он самую любимую песню, так он измучился, изболелся сердцем за два года, проведенные вдали от отечества.

В любые времена ради процветания отчизны никто не щадил ни таланта, ни усердия, ни самой жизни. Сколько за всю русскую историю случалось лихих годин! Разве не такие же солдаты кровью своей добывали победу? Где же теперь храбрецы, что с ними стало?

— Ваше превосходительство... наши войска отступают...

Генерал Чернов равнодушно взглянул на бледного адъютанта, что-то еще говорившего ему. Он уже час назад понял, что его последнее сражение проиграно. Не говоря ни слова притихшей свите, генерал повернул своего аргамака и тем же следом, по которому поднялся на холм на рассвете, поехал назад.

— Смотри, бегут!

— Отступают! Ура-а!..

Радостный гомон поднялся над окопами. Измученные трехдневными боями бойцы обнимались, кидали вверх шапки, стреляли, не целясь, вдогонку отходившим солдатам.

В передние окопы пришел откуда-то Дьяков. Долго следил он

в бинокль за отступающими к 68-му разъезду частями белых. Озабоченно почесывая небритый подбородок, он соображал: предпримут ли белые еще атаку, а если станут уходить из-под Аральска, то в каком направлении?

Позвав с собой Еламана, Дьяков поспешил в штаб, и после короткого секретного совещания Еламан получил новое задание. Прямо из штаба, не заходя в свой отряд и не говоря никому ни слова, Еламан пошел домой. Разбудив жену и детей, поторапливая их, он наспех собрался, сложил постели и одежду. Он и Кенжекей не сказал, куда собирается. Таща узлы с постелями и одеждой, ведя за собой детей, Еламан и Кенжекей по темным улицам добрались до пристани, где их уже ждал пароход. Еще до рассвета, когда все прибрежье было объято сном, они вошли в большой залив недалеко от Уш-Шокы. Соблюдая все меры предосторожности, Еламана и Кенжекей высадили на берег. Пока матросы помогали Еламану устанавливать трехстворчатую юртчонку, на берег вывели также верблюдицу и коня.

IX

В этих краях белых еще не видали. Казалось, никто даже не допускал мысли, что они могут вообще сюда прийти. В аулах было мирно. Никто не думал прятать куда-нибудь скотину и домашний скарб. Сколько ни было аулов в этом краю, все равно, богатых или бедных, все они по традиционной беспечности казахов-скотоводов оставались на месте, не зная ни тревог, ни забот...

Не нарушил их безмятежного жилья и приезд Еламана. Любопытным Еламан отвечал, что они из рода Жакаим и приехали сюда с прибрежья Сырдарьи, что деды и прадеды обитали когда-то на западном побережье Аральского моря и вот теперь в поисках родичей в стороне Кок-Арала он с семьей потихоньку-полегоньку пробирается туда с верблюдицей и лошадью. Все было хорошо, да попутал его нечистый кочевать с детьми в эдакую жару... Да и на одной верблюдице везти жену с детьми и всю поклажу тяжело, вот и приходится делать частые остановки. А верблюдица еще и брюхата, ее беречь надо, разве далеко уедешь? Поэтому, говорил Еламан, он и решил здесь передохнуть дней пять...

На другой день на море показался небольшой пароход с баржой на буксире. Кенжекей готовила в это время возле юрты чай. Увидев пароход, направлявшийся прямо к ним, она позвала:

— Эй, отец Ашимжана, выйди-ка погляди!..

Однако Еламан не вышел, только осторожно выглянул из-под полога. С парохода сошел Дьяков в сопровождении бойцов. Выйдя на берег, они долго осматривали степь. Убедившись, что степь пустынная и опасности нет, Дьяков с бойцами подошел к юрте Еламана.

— Ну, как устроился?— спросил комиссар у вышедшего ему навстречу Еламана.

Еламан принял сокрушенный вид.

— Ой, тамыр, не спрашивай! Совсем замучился. А и зачем это я кочую в такую жару?

— Что? Что ты говоришь?

— Ничего не говорю. Я бедный человек из рода Жакаим с прибрежья Сырдарьи. Вот к родичам в Кок-Арал добираюсь...

— А не врешь?

— Как можно, таксыр? Истинная правда! Аллахом клянусь!

— Ну-ну... А скажи-ка, любезный, ты красных видел?

— Красных?

— Вот именно. Красных. А?

— А-а, этих безбожников? Не приведи аллах видеть этих гяуров!

— А что плохого они тебе сделали?

— А вот чего... Был у меня конь-скакун. Так они его у меня отняли, а взамен оставили вот эту толстобрюхую клячу.

— Клячу оставили? А что бы ты делал, если бы тебе ничего не оставили?

— Ай, не так сказал, тамыр, и за клячу спасибо! Да жалко только, уж больно хорош был у меня скакун...

Дьяков, посмеиваясь, любовался Еламаном. Какой у него был добродушный, невинный вид! Как ловко прикидывался он простаком, шаруа. На голове помятая войлочная шляпа, чапан подвязан ременными путами вислобрюхого коня, который пасся тут же, недалеко от юрты. Детишки его, мал мала меньше, поблескивая глазенками, со страхом и любопытством глядели сквозь прорехи юрты на незнакомых людей. Дьяков хотел раньше забрать детей в город, чтобы не подвергать их риску. Но теперь, разглядев их, отказался от этой мысли — благодаря этим малышам Еламан был вне всяких подозрений.

— О белых ничего не слышно?

— Нет, здесь пока никого не было.

— Ну что ж, тогда поедем посмотрим немного окрестности. И ты поезжай с нами.

С баржи быстро свели на берег коней, и вся группа поехала степью в сторону богатого аула. Еламану сегодня весь день нездоровилось — перегрелся на солнце,— и едва он отъехал от прибрежья и оказался в жаркой безветренной степи, как из носа у него пошла кровь. Запрокинув голову, прижимая к носу ладонь, Еламан остановил коня. Дьяков некоторое время сочувственно глядел на Еламана, потом вдруг оживился и пробормотал:

— А что? А ведь хорошо будет...— И тут же велел:— Размажь! Размажь хорошенько!

— Что?— не понял Еламан.

— Кровь, я говорю, размажь по лицу. Так... Теперь рубаху испачкай, утрись рубахой. Так... Ну вот, теперь совсем хорошо.

И засмеялся, очень уж Еламан стал похож на избитого до крови.

— Что, голубчик, получил по заслугам?— спрашивал весело он.— Будешь теперь Советскую власть хаять?

Вот так они и приехали в богатый степной аул. Дьяков с бойцами пошел в каку-то бедную юрту, стоявшую на краю аула. Окровавленный Еламан остался возле лошадей. Местные казахи, успевшие познакомиться с Еламаном, собрались возле него, жалели, вздыхали, советовали:

— Ты не перечь им. На кой они тебе черт сдались. А то еще пристрелят!

Кто-то из парней побежал, принес чайник воды. Кто-то вынес кумысу.

— А говорили, красные никого не обижают.

— А ты и поверил? Красные, белые, один черт, все чужаки, нечего им верить.

— Н-да, теперь только держись. Гляди, вон уже идут, дьяволы. Ну, родной, не перечь им, молчи и терпи. Что велят, то и делай. Храни тебя аллах!

Еламан поблагодарил их, сел на своего вороного и поехал вместе с отрядом. Они отъехали уже порядочно, когда на горизонте заклубилась пыль.

— Ого!— сказал Дьяков и, придержав коня, взялся за бинокль. Посмотрев минут пять, он позвал:— Еламан!

— Да?

— К аулу идет большая какая-то часть. Плохо видно, но, кажется, есть и артиллерия. Поезжай назад в аул, торопись, чтобы успеть раньше белых. Постарайся узнать, что за часть и куда направляется. Понял?

— Понял.

— Может, это какая-то отдельная часть, а может, передовой отряд всей армии. Понял?

— Понял.

— Только, смотри, будь осторожней. Ругай нас в хвост и в гриву!

— Ладно.

— В час ночи я буду в твоей юрте. Постарайся к этому времени все узнать. Запомни, в час ночи. Ну, желаю удачи.

Еламан повернул вороного назад. Он рассчитал, что вернется в аул раньше, чем придут туда белые, и не спешил. Рысью въезжая в аул, он заметил, как во всех юртах начался переполох. Напуганные появлением в степи большого отряда, люди бестолково бегали от юрты к юрте. Джигиты, наспех отвязав стоявших у коновязи коней, опрометью ударились в степь. Девушки и молодухи побежали вдоль оврага к прибрежным камышам.

Мрачный Еламан привязал коня у крайней юрты. Хозяин сидел среди перепуганных детей и жен и дрожал. Он только взглянул на вошедшего Еламана, но не сказал ни слова.

Не успели они опомниться, как передовой отряд белых уже въез-

жал в аул. Не сбавляя хода, конники поскакали дальше, чтобы окружить перепуганный аул.

Еламан с хозяином юрты выглядывали из-под полога. Пропыленные солдаты, едва войдя в аул, тут же начали расходиться по юртам.

К вечеру вернулась с выпаса скотина. Солдаты со смехом кинулись навстречу овцам, согнали их в круг и начали ловить самых молодых. Их тут же резали, обдирали и сваливали в котлы. Какой-то офицер, собрав не успевших спрятаться баб, заставил их доить коз. К этому времени прибыл еще один отряд белых.

Помогая солдатам резать овец, Еламан слишком поздно заметил проехавшего мимо него статного черноусого мурзу. Он замер, увидев Танирбергена, и холод колюче растекся у него по телу. Два офицера — справа и слева — ехали с мурзой. Танирберген был наряден, как всегда. Серый, из верблюжьей шерсти чапан был небрежно накинут на плечи поверх черного заморского бешмета. На голове его была щегольская плюшевая шляпа с пером. Шагом проехал он на прекрасном сивом коне, как будто и не заметил Еламана, который поспешно отвернулся от него. Побледнев, Еламан долго смотрел ему вслед, напряженно размышляя: заметил или нет? Узнал или нет?

Танирберген подъехал к самой лучшей в ауле белой юрте, слез с коня, кинул повод подбежавшему услужливому джигиту и вместе с офицерами вошел в юрту. Заметил или нет? Узнал или нет?.. Если при входе, думал Еламан, он обернется, хотя бы мельком посмотрит в его сторону, значит, узнал. Танирберген, высоко и прямо держа свою красивую породистую голову, не оглянулся. Но нехорошее предчувствие уже поселилось в сердце Еламана. Незаметно выбравшись из толпы, окружившей плотно казаны, он пошел к овцам, согнанным в кучу на краю аула. Там он подсел к пожилой бабе, доившей овцу.

— Женеше, помочь вам?— спросил Еламан.

— Да зачем это тебе, деверек?— неохотно ответила баба.

— Трудно, наверно, столько овец подоить, помогу немножко...

— Какой там трудно! Ничуть не трудно. А только пусть лучше ягнята пососут, чем этим сандатам[1] молоко давать. Это я просто так, для отвода глаз сижу и овцам сосцы мну.

Но Еламан не уходил от котана[2]. Хоть и навязался помочь подводить ягнят-сосунков к маткам, но каких именно ягнят нужно было отпускать с привязи, он не знал. И Еламан начал отпускать тех, которые изо всех сил рвались к маткам и блеяли. Руки его были заняты ягнятами, но мысли были прикованы к двери большой белой юрты, куда вошел Танирберген. Он все ждал, что сейчас выйдет кто-нибудь из юрты, оглядевшись, заметит его и поманит пальцем...

---

[1] Искаженное «солдатам».
[2] Загон для овец.

Если мурза не видел или не узнал его, думал Еламан, ни в коем случае нельзя больше попадаться ему на глаза. Обязательно выдаст!

К бабам, доившим овец, подошел офицер. Молока показалось ему подозрительно мало, и он нахмурился. Выматерив баб, он взглянул на Еламана и подмигнул ему. Видно было, что этот простоватый казах, который так усердно помогал бабам и возился с ягнятами, пришелся офицеру по душе. Еламан искательно улыбнулся ему в ответ. Кто знает, может быть, этот офицер еще пригодится, заступится когда-нибудь или еще какая в нем окажется нужда?

К юрте, где остановился Танирберген, Еламан осторожно подошел, когда уже начинало смеркаться. Возле двери толпился народ. Через головы впереди стоявших людей Еламан заглянул в юрту, полог которой был приподнят. И сразу же узнал подполковника, сидевшего рядом с Танирбергеном на почетном месте. Вылитый был отец, Тентек-Шодыр! И длинный, с горбинкой нос, и маленькие пронзительные серые глаза — все было точь-в-точь, как у его отца. И усы он брил, как отец, только рыжую густую бороду отпустил по грудь.

Подполковник Федоров был оживлен и разговаривал с сидевшим чуть пониже толмачом.

— Спроси-ка у него,— сказал он, кивая на хозяина юрты, мешавшего в большой раскрашенной чаше кумыс.— Спроси-ка, подходят ли сюда пароходы красных?

Толмач, подобострастно выслушав подполковника, тотчас заговорил с хозяином юрты. О чем говорили толмач с хозяином, Еламан не слыхал, он только видел, как хозяин часто закивал тюбетейкой.

Толмач снова повернулся к Федорову.

— Он говорит, красный пароход последние дни несколько раз заходил сюда.

— Спроси, есть ли на нем орудия.

— Он говорит, не обращал внимания, но, по слухам, есть.

— Так... Подходит ли он к самому берегу?

— Господин подполковник спрашивает, подходит ли пароход красных к берегу?

— Подходит, таксыр, подходит.

— В каком именно месте?

— В Уш-Шокы. А потом и к нашему берегу подходит. Там, где поставили недавно одинокую юрту.

— Юрта? Мне говорили, никакой тут юрты нет.

— Да, да, таксыр, юрта. Юртешка небольшая. Вы разве не видели, когда ехали к нам? На самом берегу стоит, одна-одинешенька.

— А что это за прокаженный, который один на отшибе живет?— спросил Танирберген.

Еламан похолодел. Руки его, которые лежали на плечах стоявших впереди, задрожали, и он поспешно сунул их в карманы. На смуглом холеном лице мурзы бродила странная усмешка. «Ай, ойбай-ау, все-таки заметил он меня,— с тоской подумал Еламан.— Но-

тогда почему он молчит! Почему не говорит белым, чтобы те меня схватили?»

— А с какого места удобнее обстреливать красный пароход?— переводил между тем толмач очередной вопрос Федорова.

— Э, любезный, откуда нам это знать? Мы ведь не военные. Если бы таксыр спрашивал о скотине, о пастбищах, тогда другое дело, а пушки...

— И-и, алла! Разве от этих бестолковых казахов чего-нибудь добьешься?— разводя руками, сказал толмач Федорову.

Танирберген нахмурился. Слова толмача задели его за живое.

— А чего тебе еще нужно?— сердито по-казахски сказал он.— Куда подходит пароход, сказали. Значит, самое удобное место для пушек — Уш-Шокы. Лучше всего стрелять от Уш-Шокы,— уже по-русски повторил он Федорову.

— А сколько до этого... Уш-Шокы верст?

— Да верст семнадцать будет, пожалуй. Я не ошибаюсь, джигиты?— обратился Танирберген к толпившимся у двери аульчанам.

Те утвердительно загудели.

— Так. Значит, в Уш-Шокы и поставим шестидюймовки,— решил Федоров.

В юрту вошел молодой офицер и доложил, что проводника-киргиза требует к себе командующий. Еламану даже понравилось, что мурза не вскочил, не засуетился, а, словно желая показать людям этого аула, что он не какой-нибудь низкородный казах, с достоинством поднялся, не торопясь, надел шляпу, накинул на плечи серый чапан и, ни на кого не взглянув, спокойно пошел из юрты. Следом за ним поднялся и пошел Федоров.

Еламан отступил в темноту. Танирберген и Федоров прошли совсем близко от него, и Еламан решил, что задерживаться ему здесь нельзя ни минуты. Оказывается, и генерал Чернов здесь, а значит, и его свита, в которой чуть не все его знают, и созвездие Плеяды уже взошло, и, должно быть, близок уже условленный час, когда должен подойти к его юрте пароход. Слава аллаху, что он побывал здесь! Нужно прежде всего предупредить Дьякова, чтобы пароходы даже близко не подходили к Уш-Шокы.

Теперь ему предстояло самое главное — благополучно выбраться из этого аула. С наступлением темноты вокруг аула выставили ночные дозоры, и теперь никому нельзя было выходить в степь. Едва только Танирберген с Федоровым ушли, Еламан пробрался в юрту. Подойдя к офицеру, который приходил давеча к бабам смотреть, сколько надоили молока, Еламан прижал обе руки к груди и попросил разрешить ему вернуться домой.

— А где твой дом?

— Недалеко отсюда, совсем рядом. Баба моя, марджа[1], болеет. А я вот помогал доить овец и задержался.

---

[1] Женщина. Искаженное «Мария».

— А почему ты живешь один?

— Да вот кочую с прибрежья Сырдарьи...

Офицер некоторое время разглядывал стоявшего перед ним с покорным видом рослого казаха. Еламан опять начал твердить, что жена больна и детишки-несмышленыши, мал мала меньше, без присмотра остались. Тут поддержал его и хозяин юрты:

— Таксыр, он истинную правду говорит.

Соседи, до сих пор толпившиеся у двери, заговорили все разом:

— Его, несчастного, перед вашим приходом красные чуть не до смерти избили.

— Весь в крови был, бедняга...

— Отпустите его, таксыр... Он правду говорит.

Все так же пристально разглядывая Еламана, рыжий офицер стал у него спрашивать о том, что уже знал со слов хозяина юрты: были ли в этих местах красные, подходят ли их пароходы к берегу? Чтобы не вызвать подозрений, Еламан повторил слово в слово то, что говорил хозяин: да, красные уже наведывались сюда, а пароходы их заходят к Уш-Шокы. Удовлетворенный офицер вызвал солдата и приказал выпустить казаха из аула.

Еламан, приложив руку к груди, поблагодарил офицера и только повернулся было, чтобы уйти, как тот вновь окликнул его:

— Эй! Что у тебя за шрам на лице?

Еламан, стараясь унять дрожь, погладил ладонью шрам, помедлив, сказал:

— Этот, что ли? Это лошадка лягнула.

Люди будто только теперь заметили на его лице шрам. Боясь при офицере говорить громко, удивленно зашептались.

— Апыр-ай, крепко копытцем задела!

— Еще повезло. Бог спас.

— Видно, молодая лошадка. Стригунок, может. А то бы тут же мозги вылетели.

Рыжий офицер немигающими глазами недоверчиво смотрел на Еламана. Еламану стало не по себе. Вдруг этот рыжий начнет проверять его и отведет к Федорову? Он стоял в тяжелом раздумье, смутно соображая, как же ему быть.

И тут совершенно неожиданно рыжий офицер брезгливо махнул рукой, буркнул:

— Убирайся!

Из юрты Еламан вышел заметно повеселевшим. Идя по темной степи, он ног под собой не чувствовал от радости, что не попался на глаза ни Танирбергену, ни офицерам из свиты Чернова. Юрту свою он еле нашел в безлунную ночь. Онемевшая от страха Кенжекей сидела, обхватив колени, у ног мирно спящих детей. Она вскочила, едва заслышав шаги Еламана, и не успел он войти в юрту, как она бросилась ему на шею, спрятала лицо у него на груди и заплакала, вздрагивая плечами, задыхаясь от слез.

— Давай уедем... Уедем отсюда...— выговаривала она. Голос ее прерывался.

— Ну, ну... Кенжеш! Успокойся... Ты же у меня молодец!

— Не могу я... Не могу больше!

— Да что с тобой такое?

— Боюсь.

— Чего еще выдумала!

— Нет, боюсь, боюсь.

— Тише, детей разбудишь. Давай-ка лучше сядем...

Кенжекей покорно села, но как только рядом присел Еламан, она опять уткнулась ему в плечо. Крепко обняв располневшее, тугое тело Кенжекей, Еламан стал молча гладить ее по голове.

За тонким войлоком юрты сонно ворчало море, мелкие волны с шипением взбегали на песчаный берег. Звенели степные сверчки Вернувшись из аула, Еламан снял с коня седло, стреножил его посвободнее и отпустил на выпас. Но трава возле юрты не понравилась вороному, и он сразу направился туда, где пасся днем. Было слышно, как он прыгал, удаляясь. Вслушиваясь в ночные звуки, Еламан с нежностью и участием думал о жене. Он думал, как она измучилась, наверное, как надоела ей беспокойная солдатская жизнь, как она тревожится за его судьбу... Чтобы хоть немного развеселить и успокоить ее, он сказал, посмеиваясь:

— Ну чего же ты боишься, глупая? Помнишь, бабушки наши нам рассказывали о железных батырах, которые в огне не горят и в воде не тонут? Вот и я такой же.

— Ах, оставь, мне не до шуток.

Возле юрты послышался шорох, и Кенжекей испуганно вскрикнула — кто-то большой неуклюже протискивался в маленькую юрту. При свете подслеповатой коптилки Еламан не сразу разглядел ночного гостя, а узнав, обрадовался и быстро поднялся.

— Кален-ага!

Кален сначала поздоровался с Кенжекей, смущенно стоявшей за спиной мужа, потом загадочно подмигнул Еламану и буркнул:

— А ну пойдем выйдем.

Еламан молча вышел с ним в степь. Недалеко от юрты сбилось вкруг несколько верховых. Еламан даже не удивился. Он уже привык к таинственным появлениям друга. В самую глухую ночь Кален безошибочно находил дорогу. И все-таки странно было, как Кален ночью нашел его затерянную в беспредельной степи одинокую юрту и как смог так бесшумно подъехать.

— Да будет вам во всем благополучие!—обратился Еламан к джигитам.

— Аминь! Пусть сбудутся твои слова.

— Что это вы ночью по гостям разъезжаете?

— Э, дорогой,— с удовольствием засмеялся Кален.— Когда это твой ага просто так по гостям разъезжал, а? У меня ведь всегда дело. Вот и сейчас по делу едем.

— Ну? Какое же дело?
— Вот у тебя приятель есть...
— Какой приятель?
— Ну, этот чахоточный комиссар твой.
— Дьяков, что ли?
— Он самый. Вчера вызывает меня и говорит: «Бери, тамыр, говорит, своих джигитов и отправляйся по берегу моря, по пути беляков. Понял?»—«Ладно, говорю, отправляюсь».—«Поезжай, говорит, впереди беляков и предупреждай все аулы, чтобы уходили, а колодцы по дороге закопайте. Понял?»—«Это что, спрашиваю, приказ такой?» А он, хитрый пес, улыбается. «Нет, говорит, не приказ, а просьба Советской власти, а?»—«Ну раз просьба, говорю, тогда выполню, сделаю все, как ты говорил».

Еламан рассмеялся над простодушием своего друга. Кален засопел в темноте.

— Чего смеешься?— обидчиво спросил он.— Еще этот твой приятель сказал: «Если все выполнишь, станешь таким батыром, который один стоит сотни врагов». А что, неправильно я сделал, что согласился?
— Очень даже правильно!
— У, мать твою!.. То-то!— по привычке добродушно выругался Кален.— Не зря, должно быть, в народе говорят, что ты душу продал красным. Небось не подумал, уцелеет ли твой Кален-ага, а подумал, выполнит ли он просьбу этого твоего дохляка. Что, не угадал я? Ну ладно, рад, что ты жив-здоров. Прощай!
— Удачного вам пути!

Кален вскочил на коня. Еламан пошел проводить его по степи. Он шел, держась за стремя, и рассказывал Калену о том, что передовой отряд белых уже прибыл сегодня в эти края и что он видел Танирбергена. Кален даже коня остановил.
— Ну?! А он-то чего с ним болтается?
— Он проводником у них. Поведет через богатые аулы, по тем местам, где есть колодцы.
— Вон оно что.
— Да, вот так-то. Он ведь берега Арала не хуже тебя знает.
— Так, так...— грозно повторил Кален. Подоткнув под себя полы чапана, он ударил себя по сапогу доиром. Потом, будто давая обет, глухо проговорил:— Да сгинет мое имя Кален, если я им в этой степи оставлю хоть каплю воды!

И, яростно ударив каблуками грызущего удила коня, пропал в черной степи. За ним пустились и тут же исчезли и остальные всадники. Копыта их коней были крепко обмотаны кошмой, и ночь поглотила их без единого звука.

Ускакали Кален и его джигиты. Ускакали добывать равенство и свободу. Не так давно, когда всколыхнулась казахская степь, не желая отдавать своих сынов на службу белому царю, и повстанцы повсюду оседлали коней, у всех на устах тоже было «равенство».

Ра-вен-ство... И предки, бывало, не слезали с коней, рыскали по степи, искали. Чего? Равенства? Редко когда приходилось им сидеть, сняв походные пояса, у очага с детьми и женами.

Батыра Тайкожу, знаменитого предка Еламана в седьмом поколении, говорят, в сражении с джунгарами ранило в ногу. Стрела пронзила бедро. Но чтобы не возликовал враг, торжествуя победу, он привязал раненую ногу к тороке и продолжал бой. И только потом, опасаясь заражения, приказал костоправу отнять ногу. С тех пор прозвали его в народе Хромым Волком. Ради чего сражался Хромой Волк, батыр Тайкожа? Какая мечта влекла и водила его бесстрашного предка в бой? Какая цель заставила его отказаться от всех земных радостей и рыскать, не слезая с коня, днем и ночью по степи? Может, бесшабашный батыр просто куражился над слабыми и совершал бездумные набеги на соседей?

И последующие поколения предков, хотя и не отличались отменной храбростью, как батыр Тайкожа, однако тоже провели жизнь в бесконечных набегах и грабежах. Случалось ли, чтобы хоть один из них задумался когда-нибудь о делах своих сородичей, призвал к равенству? Правда, отцы и деды свято чтили память и незыблемые законы предков. Они строго следовали по их стопам. Джигиты, возмужав и оседлав коней, даже подумать не смели о том, чтобы искать неведомые пути, и покорно следовали за кочевьем, которое возглавляли старейшины, послушно следовали у них на поводу. Но что выгадал, чего добился народ, из поколения в поколение покорно почитавший путь предков? Какие мечты его осуществились?

Еламан остановился, уставясь в ночную мглу. Потом, осторожно ступая, медленно пошел дальше. В ночной тиши особенно слышно потрескивала сухая трава под его ногами. Да-а... Кто знает, чего мы добились, а чего лишились на своем веку... Если бы нынешнее поколение тоже покорно пошло по проторенному пути предков, неизвестно, взялось ли бы оно за оружие и стало ли бы рука об руку с этим восставшим народом, чужим по языку и вере, добывать себе свободу и равенство. Да, неизвестно.

По чуткому редкому камышу Еламан возвращался к себе в юрту. По-прежнему было безветренно. Даже камыш не шевелился. Страх Кенжекей передался Еламану, и на душе у него было тревожно. Слава богу, повезло еще, что на глаза Танирбергену, кажется, не попался. Но рыжий офицер подозрительно на него посматривал. Глаза у дьявола, у-у-у, как у бешеной кошки, насквозь тебя пронизывают.

Пищали комары. Вокруг стояла душная ночь. Озорной ветерок прибрежья, как всегда к ночи, уморился, утих. Старый Арал вместе с рыбаками, измотанными за день волнами, тоже успокоился, на ночь забылся в коротком тяжелом сне. Но уж завтра спозаранок, дай только срок, проснется старик. И вновь схлестнется в яростной схватке с забиякой ветром. Трудно приходится рыбаку в ревущем море. Тут сетей не проверишь. Волны, как щепку, швыряют утлую

лодчонку. И если она, не дай бог, вдруг потеряет равновесие, накренится набок, э-э, не одна, так другая одичалая белопенная волна набросится, тогда... помолись скорей в последний раз своему ангелу-хранителю.

А вообще-то человек со временем привыкает к норову моря так же, как и к собственной дойной скотине. Как же иначе, если с малых лет живешь с ним бок о бок, душа в душу и всю жизнь кормишься им. А теперь, что ни говори, оторвался от моря. В те годы, когда мотался по волнам, тянул сети, он, словно провидец-знахарь, по малейшим приметам наперед угадывал настроение моря.

Еламан чутко вглядывался в темень. Моря не было видно. Только по шипению наката можно было понять, что оно где-то рядом. Еламан прибавил шагу. Вдруг впереди в безмолвном черном мире раздался сильный всплеск, будто кто-то коромыслом шлепнул по воде. «Должно быть, рыба резвится»,— подумал Еламан.

Неожиданно проснувшись в душной, безветренной ночи, зашевелились верхушки прибрежного молодого курака. С моря дохнуло свежестью, и Еламан с удовольствием повернулся лицом к влажному ветерку. «Теперь уже скоро и пароход причалит»,— решил он. Из аула, в котором расположились белые, доносились то блеяние овец, рев коров, то человеческие голоса. Вдруг пьяный солдат загорланил хриплым басом. Его нестройно поддержали. Несколько голосов все же набрели на мелодию, и песня полилась тихо, спокойно, постепенно угасая, обрываясь, словно заглушаемая мраком душной южной ночи. Еламан не шелохнулся, прислушиваясь к долетавшей из степи песне. В летние месяцы, когда, бывало, обе стороны выдыхались и бои прекращались, мгновенно все вокруг погружалось в непривычную оглушительную тишину. Солдаты устало опускались на землю. Одни тут же засыпали, прислонившись к стенке окопа спиной, другие дремали в обнимку с винтовкой. И вдруг в этой тишине кто-то заводил тихим голосом песню. Иногда и с той, вражеской, стороны доносился грустный напев. Все слушали замирая. И хотя порой нельзя было различить слов, но печальная мелодия проникала в самое сердце, будоражила, томила душу. Оборвется вдруг песня, и бойцы грустно вздыхают. Иные нашаривают на дне карманов махорку, свертывают козьи ножки, с наслаждением, жадно затянутся едким дымком и, задохнувшись, глухо откашливаются. И опять наступит полная тишина. Но Еламан догадывался, что никто уже не спит. Как и ему, всем надоела, осточертела эта затянувшаяся война. Задень только случайно любого из бойцов за больное, и каждый начнет изливать свою душу, свою тоску, заговорит о сокровенном. При любой передышке, в перерывах между боями все думают о детях, женах, родном крае. Еламан не раз видел и слышал, как русские парни, его ратные товарищи, грустили в окопах в пору сева, сенокоса, уборки и вспоминали родной дом и семьи. И тогда к Еламану приходили странные мысли. Многое, что творилось в этом мире, было для него непонятно и непостижимо...

Пароход подошел в условленный час. Дьяков на шлюпке съехал на берег. Еламан рассказал обо всем, что видел и слышал.

Потом Дьяков, попрощавшись, сел опять в шлюпку, а Еламан вернулся в юрту и лег рядом с женой и детьми. Он так сильно устал и переволновался за день, что уснул, едва коснувшись головой подушки.

За стенкой юрты перхнула верблюдица, и Еламан проснулся. Сев на постели, он вдруг почувствовал такую сильную головную боль, что, сжав виски, долго раскачивался, потом снова прилег. Но сна не было. Уже прошла короткая летняя ночь, уже начинало светать, а он все ворочался, и сон не шел к нему.

Одна и та же мысль не давала ему покоя: узнал ли его Танирберген? Он с грустью думал, что в последнее время все чаще стала навещать его бессонница. Раньше он засыпал мгновенно и спал крепко. Или это уже сказывается возраст? Ах, как быстро все-таки пролетела жизнь! А в жизни этой не только не было покоя, но, казалось, он сам только и делал, что искал в ней и находил всяческие тревоги. Так, где бегом, где шагом идя сквозь огонь и воду, он и не заметил, как дожил до сорока лет. А за этой межой уж и до старости недалеко. Еще десять — двадцать лет, и старость станет твоим уделом, и как бы ты ни брыкался, а придется ей покориться.

На постели, прижимаясь тугим горячим телом к его боку, спала Кенжекей. Он прислушался к ее ровному тихому дыханию. «Да, тело старится, но старится ли душа?» — думал Еламан. Пожил, пожил, и годы уже немалые, а душа, если судить по себе, молода все-таки, как у мальчишки. Он чувствовал себя все еще таким, как в давние времена, когда он женился на Акбале. Сила его еще не убывала. Он мог по-прежнему подняться бегом вверх по склону холма и не задохнуться. Вот разве в одном только стала проявляться его слабость — он не мог думать без слез о своих родных и друзьях, которых больше никогда не увидит.

Ушли из жизни Итжемес, рыжий Андрей, Култума, Мунке, Ализа, Есбол-кария, Рай... Закрыл навеки глаза и, может быть, не похоронен даже неуемный Судр Ахмет. А скольких еще других незабвенных людей уже нет в живых! Одних он любил, других недолюбливал, с одними жил как с братьями, с другими враждовал... Почему, из-за чего? Или им земли под солнцем не хватало? Или в нашей проклятой черствой душе не хватает человеческого тепла? Господи боже мой, как в своей куцей жизни люди не ищут мира, покоя, как чернят, унижают друг друга, ссорятся и враждуют! И вот почти никого из тех, с кем ты собачился за свою недолгую, если оглянуться, жизнь, нет на свете. Жестокая судьба торопится выкосить сначала тех, кого ты любил или ненавидел, а потом берется и за тебя. И главное, что все твои друзья и недруги не только сами уходили из жизни, а каждый раз забирали с собой некую драгоценную частицу и твоей души, невозвратимые мгновенья твоего детства, молодости и зрелых лет.

Еламан лежал неподвижно, даже дыхание его иногда замирало. Сквозь прорехи кошмы на него смотрели далекие мерцавшие звезды. Сон окончательно прошел. Видно, так уж создан человек, что со смертью близких в его душу каждый раз вселяются тоска и печаль и все чаще посещают его грустные думы. И тогда даже дома, рядом с женой и детьми, все равно чувствуешь себя одиноким и сиротливым перед лицом неминуемой смерти. Наверное, все это оттого, что близится старость... Что там говорить, вон даже Кален, неутомимый, железный Кален, заговорил однажды об усталости. Как он тогда сказал? Ах да... Там, где в детстве ударили асыком или ущипнула девушка, все в старости отзовется, все будет болеть. Рано или поздно каждый это чувствует.

На широкой постели вольно разметались четверо малышей. Вот кто-то из них заворочался, захныкал спросонья. Боясь, что проснется чуткая Кенжекей, Еламан осторожно потянулся через нее, ласково потрепал малыша по плечу, и тот сразу успокоился.

Конечно, нелегко приходится ей растить этих четверых от разных матерей. Только доброта и душевная щедрость помогают Кенжекей без обид разделить поровну ничтожные крохи бедного дома. Хорошо, если эти пострелята потом, когда встанут на ноги, помянут ее добрым словом.

Еламан еще раз искоса взглянул на детей, лежавших за женой. «Интересно все же, какими они станут?— вдруг подумалось ему.— Будут на нас похожи или нет?» Кто знает, откуда Дьякову ведомо, но он утверждает, что в будущем все люди на земле будут другими, самое главное — равными. Что ж... можно, конечно, допустить, что все будут одинаково одеты, обуты, сыты. Никто не будет обделен. Но если всех бог создал разными? Ведь даже между родными, что живут под одной крышей, греются у одного очага, и то не всегда бывает равенство. Ведь и там один верховодит, на резвом коне разъезжает. А другой с утра до вечера в жару и стужу за отарой плетется. Ну хорошо, разобьем врагов, будет все по-нашему, и жизнь изменится, и все люди будут равны, но сумеют ли они обуздать ненасытные свои желания, свою корысть? Возможно ли это? Не раз приходилось ему укрощать необузданных лошадей. Бывало, самая строптивая, норовистая, оказавшись под железными шенкелями наездника, становилась как шелковая уже через день-другой. Более того, она угадывала и исполняла малейшее желание всадника и послушно следовала капризу повода. А как же быть со строптивым, своенравным человеком? Неужели и его нужно, как лошадь, обуздывать? А? А? Нет, не понимаю. Все же, пока жива в человеке корысть, видно, и в будущем среди этих сорванцов кто-то будет в почете, кто-то у порога.

Жена и дети его спали, и им было хорошо, но невеселые думы будто собрались в юрту, и воздух в ней был напоен печалью. Еламану вспомнилась старая бабушка. Незадолго до кончины бедная совсем почти оглохла и, когда к ней обращались, каждый раз из-под

кимешека высвобождала ухо. Болезни одолевали, а она продолжала отчаянно бороться со смертью. Нет, не о себе, не о своей жизни она тогда думала. Все думы ее были о внуках, Еламане и Рае: кто о них после нее позаботится, кто для них разведет огонь, сготовит пищу, когда они, усталые, замерзшие насквозь, придут домой с моря? О бедная добрая бабушка, пусть тебе спокойно спится в этой земле! Господи, в кои веки вспомнил он вдруг ее! До чего же черств человек, до чего забывчив, до чего не думает о том, что и ему придется в свой час уйти в могилу. Едва умрет человек, как живые забывают его, будто ушедший и не жил никогда, как будто между живыми и мертвыми сразу же образуется и с каждым днем все больше расширяется тусклая пропасть. Едва исчезнут милые черты под землей, как в душе твоей уже гаснет пламя любви, и даже самые близкие люди, отец или мать, забываются, забываются...

Еламана вдруг пронзила щемящая боль от мысли, что и он такой же, что и он ничем не лучше проклятых людишек, как вши, ползающих по этой земле и думающих только об одном — как бы напитать ненасытное свое брюхо.

Вот и Рай... Апыр-ай, как скоро забыл он своего братишку! Старая бабушка, бывало, души в нем не чаяла. Он как бы задержался для нее в своем детстве. Он уже и вырос, и уходил вместе с рыбаками в море на промысел, а бабушка по-прежнему ласково называла его: «Мой ягненочек!» И Еламан внезапно так явственно представил себе дорогое, изрезанное сухими морщинами лицо бабушки, что даже дыхание затаил. Она так любила их, его и Рая, что, даже браня, не в силах была скрыть теплоту и нежность своего старого сердца.

Звезды давно скрылись, и небо поголубело и засияло, когда Еламан вскочил, уловив далекий топот копыт. Сердце его заколотилось.

— Кто это?— тихо спросила проснувшаяся Кенжекей, тоже прислушиваясь к приближавшемуся топоту копыт.

— Да что ты просыпаешься от каждого звука!

— Это белые, да?

— Какие там белые, чего им тут надо? Лежи, ради бога, я выйду узнаю...

— Еламан! Это белые!

— Вот выдумала.

— Я тебя не пущу!

Кенжекей кинулась к нему и так крепко обняла его, так прижалась, так бурно застучало ее сердце, что Еламану стало тоскливо, и он подумал, что вот пришла и за ним судьба.

Заря все разгоралась, даже в юрте с опущенным тундуком посветлело. Топот копыт приближался так стремительно, что казалось, еще мгновенье — и всадники растопчут юрту. И вдруг у самой двери все оборвалось.

— Эй, безбожник, выходи!

Еламан узнал голос толмача. Осторожно приподняв полог, он

увидел ноги трех нервно переступавших лошадей. Оттолкнув Кенжекей на постель, он кинулся вон из юрты. Парохода, подходящего к берегу, он не заметил. Вскинув глаза, он первым узнал Танирбергена. Равнодушно посмотрев поверх Еламана, мурза повернул свое спокойное черноусое лицо к Федорову и слегка кивнул. «Да, он самый!»— означал этот кивок. Толмач с противным металлическим свистом вытащил шашку.

— А ну скажи, безбожник, сколько наших ты погубил после Актюбинска, а?!— закричал он.

Еламан выхватил наган и выстрелил. Толмач, так и не успевший взмахнуть шашкой, дернулся, вытаращил глаза и начал валиться из седла.

Из юрты с диким воплем выскочила Кенжекей. Она только мешала Еламану, и он опять оттолкнул ее. Тотчас дружно заревели ребятишки. Побледневший Еламан отскочил, и прямо перед его глазами молнией вспыхнула с силой опущенная шашка Федорова. Конь Танирбергена, всхрапнув, понес, и мурза вдруг очутился далеко в стороне от юрты. Он видел, как, в бешенстве охлестав тупым ребром шашки своего жеребца, поднявшегося на дыбы, Федоров опять кинулся к Еламану. Глухо тявкнул выстрел в степи, в то же мгновенье блеснула шашка. По спине Танирбергена пробежали мурашки, будто шашка полоснула не Еламана, а его. Он моргнул, отвернулся, а когда опять поглядел в сторону юрты, увидел, что Федоров остервенело заворачивает норовящего унестись в степь жеребца, а Еламан, залитый кровью, бьется на земле, и тело его, содрогаясь, то сжимается, то опять вытягивается.

Кенжекей бросилась к мужу. Он корчился в пыли, порывался встать. Но левая рука была неестественно подвернута и чудом держалась на одной жилке. Еламан хрипло дышал. Его била лихорадка. На мертвенно бледном лице бездумно горели глаза. Он истекал кровью. Кенжекей сорвала с головы платок.

— О боже... боже... помоги!— твердила она, пытаясь перевязать мужу рану и успокаивая себя тем, что он жив.

В это время с парохода ударили из орудия, черный смерч разрыва поднялся невдалеке от крутившегося на коне Федорова, и обезумевший от страха жеребец понес окончательно. Танирберген, недолго думая, хлестнул своего коня и пустился вдогонку за Федоровым.

X

С момента отступления Южной армии из-под Аральска с Танирбергеном стало твориться что-то странное. Он начал сомневаться решительно во всем. «Что же это со мной? И неужели это я?»— думал он, как бы со стороны приглядываясь с недоумением к себе, к своему незнакомому двойнику.

То и дело возвращался он мысленно назад. Разве прежде жизнь его была столь уж легка? При всем богатстве и удачливости, быва-

ло, и ему не все сходило с рук, были и у него неприятности, были враги, завистники, и с ними нужно было бороться. И все-таки в самых тяжелых испытаниях, когда, казалось, и жизнь висела на волоске, он не терял ни самообладания, ни ясности ума. Когда после смерти брата, волостного, власть над краем перешла в его руки, разве редко приходилось ему биться в ожесточенных родовых распрях у самого устья жизни и чувствовать на себе мертвую хватку врагов? Но каждый раз молодой мурза оказывался дальновиднее, хитрее и расчетливее своих врагов. Уверенный, что все получится именно так, как он рассчитал, он уже не мог сдержать насмешливой улыбки. Но торжествующая улыбка редко проступала на его красивом, самоуверенном и бесстрастном лице, и никто, даже самые близкие ему люди, никогда не знали, что таится в душе у мурзы.

А теперь его словно подменили. Неудача за неудачей преследовали его. Но ужасней всего было то, что сам мурза, по-видимому, ничуть не изменился. По-прежнему был он находчив и изворотлив и все свои поступки загодя взвешивал и обдумывал. Но если раньше, когда дорога его шла в гору, достаточно было малейшего усилия с его стороны, чтобы самое запутанное или вовсе неразрешимое дело вдруг разрешалось будто само по себе, то теперь он диву давался: чем осторожнее делал он каждый шаг, тем настойчивее преследовала его беда за бедой.

Разве поверил бы кто-нибудь раньше в его нынешнюю участь? Быть у кого-то в услужении, быть чьим-то проводником, мотаться по степи, трепля полы чапана, разве это не удел людей мелких и презренных? Нет, нет, мир погиб, все погибло, весь порядок, весь тысячелетний уклад жизни.

Что ж, было время, ублажали его, прислуживали ему. Теперь, должно быть, настал его черед прислуживать. Но не эта перемена в судьбе удручала его. Страшно было другое — что бы он ни задумал за последнее время, все срывалось, все оборачивалось по-иному.

Водя дружбу с русскими и татарскими купцами, молодой мурза был хорошо посвящен в их дела. И чем пристальнее наблюдал он этих предприимчивых людей, тем сильнее росла в нем неприязнь к беспечным и ленивым по природе казахским баям со всеми их несметными табунами и неоглядными пастбищами. Но, хоть он и презирал образ жизни своих сородичей, он понимал, что не может свернуть в сторону с привычной, древней, дедовской дороги. Тем не менее все его старания были направлены на то, чтобы как можно меньше походить на тех, кто всю жизнь надеялся на счастье, ничего для этого счастья не делая.

С тех пор как он оседлал коня, он не довольствовался подобно другим баям тем только, что ниспошлет ему всевышний, и не ждал смиренно от слепой судьбы крохотной милостыни. Всю жизнь проводил он в оживленной деятельности. И тем более не мог отлеживаться и спокойно ждать завтрашнего дня теперь, когда какие-то небывалые времена неотвратимо надвигались на его вечно дремлю-

щую землю. И конечно же не мог он поэтому не отправиться в Челкар, чтобы не увидеть и не узнать все самому.

Думал ли он тогда, отправляясь в город, что эта поездка так плохо для него обернется? И почти наверняка не обошлось тут без Темирке. Именно купец указал на него генералу Чернову. Мурза хорошо запомнил свою последнюю встречу с Темирке. Столкнулся с ним на улице, когда мрачный возвращался от генерала. Он ни словом не обмолвился ни о том, что его назначили проводником, ни о том, что вообще был у генерала, но сразу понял, что тому решительно все уже известно. Догадку его подтверждало еще и то, что Темирке не лебезил, не расшаркивался перед ним, как бывало прежде, не расспрашивал о благополучии скота, семьи, аула и родных, не стискивал по-дружески обеими руками его руки, а сразу съежился, будто опаленная шкурка. Знакомая повадка — холодеть душой к тому, в ком отпала нужда, поспешно отводить глаза и делать вид, что тебе очень некогда. Так и тут, минуты не поговорили, а Темирке уже стал озабочен и рассеян, все поглядывал по сторонам, переминался с ноги на ногу, будто спешил по весьма неотложным делам и мурза только задерживал его.

Ах, какая досада взяла тогда мурзу, что был он когда-то с этим прохвостом в приятельских отношениях, и как после этой встречи расхотелось ему видеть еще кого-нибудь из многочисленных своих городских знакомых! И как, вынужденный сдерживаться, задыхался он на первых порах от обиды и ярости. Правда, сначала он в глубине души надеялся, что будет проводником лишь до Алты-Кудука[1], а уж там по людной степи армия Чернова и без него найдет дорогу. Постепенно уверив себя, что выйдет все так, как он задумал, он до самого Алты-Кудука служил с усердием, честно и преданно.

Все свое влияние на местных жителей он употребил на то, чтобы угодить генералу Чернову. Всю эту огромную армию, под тяжестью которой будто прогибалась казахская степь, вел он по самым богатым аулам, густо расположившимся в урочищах Улы-Кум и Киши-Кум, и только благодаря его усердию войска не испытывали ни в чем нужды. В своем старании он дошел до того, что собрал однажды знатных людей со всех аулов в Кара-Шокате и своим испытанным красноречием так зажег их, что те добровольно заменили чуть не всех выдохшихся за долгий путь солдатских коней.

Теперь он раскаивался, все его старания пошли ему же во вред. Красным стало известно, как он верой и правдой служит белым. А генерал Чернов, в свою очередь, был так доволен стараниями молодого мурзы, что уже не собирался его отпускать.

Только теперь мурза понял, что попал впросак. Из всех казахских баев он оказался единственным, который, бросив свой скот и

---

[1] Буквально: «Шесть колодцев». Когда-то, в момент основания Аральска, там будто бы было шесть колодцев.

свою семью, открыто стал служить тем, от кого явно отвернулась судьба. Ведь хозяевами этого рушащегося мира, несомненно, станут завтра красные. Если уж сам Колчак со всеми своими войсками не смог одолеть красных, то что же может сделать им какой-то несчастный мурза? Как бы ни боролся ты с ними, твой гнев для них все равно что барахтанье немощного котенка. Ну чего ты добился, указав сыну свирепого Шодыра на Еламана? Никого иного, как тебя же ожидает и расплата. Еламан погиб, но осталась его жена, свидетельница... Известное дело, как бы ни измывался русский над казахом, в грех ему это не ставится. Зато казах казаху не прощает и за смерть всегда будет мстить смертью же. Ну да что говорить, если уж не повезет, ни в чем не повезет.

— Ну?! Скоро колодец?

Танирберген быстро подобрал выпавший из рук повод. Конь понес его было вперед, но мурза натянул поводья, медленно повернулся и спокойно взглянул на рыжего офицера с кошачьими глазами. Отведя взгляд, он слегка ударил каблуком своего иноходца и, попрежнему равнодушно сидя в отделанном серебром седле, стал глядеть вперед.

Не оглядываясь, он еще некоторое время чувствовал спиной ледяной кошачий взгляд разъяренного офицера и с печалью думал о том, как все-таки неблагодарны люди. С тех пор как, потерпев поражение под Аральском, белая армия начала свое отступление по пустыне, сын Шодыра и этот рыжий офицер возненавидели его, как будто он один был во всем виноват. Да и другие смотрели на него враждебно, и только благосклонность генерала Чернова сдерживала их. Его терпели еще потому, что без него им было не выбраться из этой пустыни.

Сначала мурза побаивался их и старался держаться поближе к генералу, потом ожесточился и затаил на всех злобу. Теперь же он стал ко всему равнодушен — и к злобе офицеров, и к отвернувшемуся от него счастью, и к своим несметным табунам на выпасах, и к ласкам жен на супружеском ложе, и к нещадно палившему солнцу, и к этому выгоревшему небу, ко всему белому свету. И жизнь свою он готов был теперь проклясть, и все был готов отвергнуть и отринуть. Измученная душа его жаждала покоя. Исстрадавшаяся плоть молила о глотке воды. Его преследовала навязчивая мысль о бадье с ледяной водой, только что поднятой со дна глубокого колодца, и он морщился сглатывая горькую слюну.

В последнее время он совсем перестал думать о хозяйстве. Даже о своем ауле, который, отправляясь в Челкар, он оставил на новой летовке возле Карала-Копа, он вспоминал мельком. Расставаясь с братом — софы, он предупредил его, чтобы они не трогались с места, пока не получат от него вестей. Теперь он с мимолетной досадой подумал, что аул слишком долго находится на одном месте и что всю траву вокруг уже, наверное, вытоптала скотина. Людный, богатый скотом аул утопает теперь, должно быть, в пыли... Да и вооб-

ще нынче лето выдалось жаркое, засушливое, поэтому земля скудна, трава на покосах выросла редкая, чахлая. Нелегкая зима ожидает скотоводов.

Но думал обо всем этом мурза вскользь. Не до хозяйственных забот ему теперь было, не это его занимало. Сегодня весь день он почему-то жалел изнуренных коней, с трудом переставлявших ноги в раскаленном песке. Думал он и о генерале Чернове, с которым вот уже столько дней ехал бок о бок, и до боли жалко ему было этого старого человека.

От самого Челкара Танирберген следил за Черновым. Нравился ему умный, сдержанный, немногословный генерал. Какая жалость, что познакомились они в недобрый час. Казалось, все беды на этом свете разом обрушились на голову генерала. Власть, которая поставила его над этими людьми, уже не существовала больше. Войско разбито. Вот это отребье — остатки его армии. Разве можно верить этим людям? Ха!

Очнувшись, Танирберген спохватился, что усмехается вслух, и ему стало неловко перед офицерами, ехавшими рядом. Пустив коня рысью, он поравнялся с генералом. Чернов с надеждой посмотрел на мурзу, ожидая, не скажет ли тот ему что-нибудь утешительное. Угадав мысли генерала, Танирберген поспешно отвел глаза.

Они уже оставили позади места, где им должны были встретиться аулы, и, по предположениям Танирбергена, им сегодня вряд ли суждено было добраться до колодца. А завтра, наверное, начнут падать кони. Они и сейчас так взмокли, так запали мыльными животами, что мурза старался уже не замечать ни людей, ни коней, а смотрел прямо перед собой, в степь, в марево.

Безмолвна была дрожащая от жары степь. Безмолвны были и люди. И только измотанные кони время от времени фыркали и чихали, очищая забитые пылью ноздри. Все чаще и чаще спотыкались они то о кочки, то о корявые, обнаженные ветром корни полыни. Проваливаясь в сурчиные норки, они были уже бессильны вытащить ногу и припадали на колени, а всадники, понуро мотавшиеся в седлах, едва не вылетали через головы лошадей. Даже Танирберген, казалось, родившийся в седле, и тот сегодня еле-еле держался. То его кидало вдруг в сон, чего с ним в жизни прежде не случалось, то он расслаблял шенкеля, то начинал страшно мучиться от жажды.

Изболевшийся душой и телом, он то впадал в тупое оцепенение, то приходил в отчаянье. «Боже, боже, есть ли смысл во всех наших жизнях, стоит ли наша жизнь всех этих лишений и жертв? Нет, если вдуматься, чем дорожить? Небом над собою, или этим солнцем, или землей? Может быть, вот этой скрягой пустыней, в которой, как в обворованном доме, умирающий от жажды путник не может найти даже глотка воды? Великая правда в словах: «Лживый, обманчивый мир». Когда ты в отчаянье, во всем этом мире не остается ничего, за что ты мог бы уцепиться хоть ногтями. А когда для тебя иссякли его соблазны, ты уже не хочешь этого мира, но тебе от него

так же трудно избавиться, как от опостылевшей старой жены в постели».

Танирберген так устал, что ему было все безразлично. Для него теперь было все равно — белые, красные... Даже к своему кровному врагу, которого он преследовал всю жизнь, он не чувствовал теперь никакой ненависти. Захотел бы он теперь его смерти? «Мне все равно!»— мог бы он сказать. Да что говорить, даже тогда, когда привел он сына свирепого Шодыра к одинокой лачуге на берегу моря, бог свидетель, не крови он жаждал. Ему хотелось увидеть, как его враг, никогда не смирявшийся перед ним гордец, будет трусливо молить о пощаде под обнаженным клинком, валяться в пыли у его ног. О, как насладился бы он его позором! Но и в свой роковой час не захотел покориться ему этот упрямец. В одно мгновенье был убит толмач, и взвихрилась отчаянная схватка. Что же произошло в следующие короткие вспышки времени? Побледневший до пота Еламан под сверкнувшей над его головой голой шашкой, дикий блеск его огромных глаз... Безумный, истошный вопль Кенжекей, выскочившей из лачуги и кинувшейся на помощь мужу... И пароход красных, приближавшийся к берегу, гулкий удар орудия с палубы, визг и разрыв снаряда, испуганно присевший его иноходец... Уже решив уходить, он повернул коня и хотел поскакать, а сын Шодыра, вне себя от ярости, нещадно хлеща тупым ребром шашки дрожащего своего коня, оставляя на пыльном его крупе темные полосы, оскалившись, бросился на Еламана, размахнулся... Заслонившись рукой, вытянув другую руку с револьвером навстречу Шодыру, Еламан отступил назад и потом...

Сивый иноходец мурзы, шедший ровной мелкой своей иноходью, вдруг всхрапнул и вздернул голову, собираясь шарахнуться в сторону. Очнувшись, Танирберген подался вперед, взглянул через голову коня и увидал прямо на своем пути под одиноким кустом красного тузгена тускло белевшие обглоданные кости, должно быть, недавно задранной волком крупной скотины. «Где-то поблизости расположен аул»,— решил мурза. Привстав на стременах, он напряженно оглянулся окрест.

«Да что же это? Должны же здесь быть аулы!»— в отчаянии думал мурза. Он так долго вглядывался в раскаленный зыбкий горизонт, что глаза его заслезились. Кружилась голова. «Перегрелся!..»— решил мурза. Опустив плечи, склонив голову, он дотронулся рукою до виска. Вздувшаяся на виске жила трепетно билась под пальцами, и мурзе почудилось, что он вот-вот свалится с коня. Он качнулся в седле. Собрав все силы, он тряхнул головой и выпрямился. Потом долго растирал и поглаживал лоб и лицо. Головная боль немного утихла, осунувшееся лицо постепенно приняло свой обычный невозмутимый вид. Воспаленными глазами мурза опять обвел горизонт.

Выгоревшие бурые холмы, словно бурые волны, вал за валом уходили вдаль, растворяясь в дымке горизонта. Куда ни посмот-

ришь, всюду однообразный бескрайний мир. Да полно, есть ли предел этому миру? И если есть, то где? Испокон веков эта унылая степь навевала только тоску на человека. А может быть, с самого сотворения мира в это безмолвное пространство не заглядывал ни один смертный? Может быть, даже имени этой пустыни нет на человеческом языке? Или это как раз и есть та самая пустыня Кер-бала, в которой погибли все потомки могущественного Азрет-Али[1]? Именно пустыня Кер-бала, воистину так! Как это говорится в киссе? Прежде он наизусть ее знал... Эй, правоверные, внемлите повести печальной Кер-балы... Повести печальной Кер-балы... А дальше? Как же дальше-то было? Вот и память иссякла, высохла в этом пекле. Несчастный Хусаин, самый несчастный из всех, с головой опустившийся в горести...

«Вот и наш генерал такой же горемыка, как и Хусаин. Черная отрава разлилась по его жилам, а он молчит. Душу его собаки терзают, а он виду не подает, непроницаем, как камень. Что же это такое? Избитые долгой дорогой люди без конца ерзают в седлах, перемещаясь поочередно с одной ягодицы на другую, а генерал деньденьской не шелохнется. Сколько ни смотри на него, ни разу не увидишь, чтобы он изменил позу, сидит будто аршин проглотил. В какую бы минуту ни взглянул на него, все он маячит далеко впереди еле волочащегося за ним войска».

Долго, не отрываясь, смотрел мурза на вылинявшую от соленого пота спинку кителя, на поблескивающие на солнце седые виски генерала, на тонкую, старчески сухую его шею, на ямку на затылке величиной с большой палец, на залоснившийся воротник. И, слабея от острой жалости, опять думал, что та арабская пустыня, где погибло от жажды все войско Хусаина, должно быть, была такой же, как и эти аральские степи. Что и там пылало знойное солнце, и там были бурая пыль, бурые чахлые колючки, бурая безбрежная пустыня. И там не было ни глотка воды. Целый месяц шло обреченное на гибель войско Хусаина, а лик безжалостной пустыни был равнодушен. Разве не так же глуха и эта унылая скряга степь, по которой они бредут уже третий день? И опять подумалось: «Может быть, это все-таки и есть пустыня Кер-бала?» Потому что и этот раскаленный ветер, и дремотный блеск солнца, и зыбкое, призрачное степное марево были ему совсем неведомы. Это были чужие, другого мира ветер и миражи. И огненное солнце над их головами — чужое, арабское...

«Нет, перегрелся, перегрелся»,— опять подумал мурза. И тут же уши коня, на которые он глядел, задумавшись, стали вдруг куда-то удаляться, уплывать вперед и уменьшаться, исчезая за багровым туманом. Да, да, солнце нагрело, это уже бред, попить бы... Вот и этого бедного старого генерала тоже, наверное, хватит скоро солнечный удар. И Хусаина в пустыне Кер-бала убила жара.

---

[1] Зять пророка Магомета, полководец его армии.

Танирберген пытался отделаться от этих навязчивых, преследовавших его мыслей, хотел думать о другом, но в его воспаленном мозгу вновь и вновь возникали одни и те же видения. И он снова принимался думать, что Хусаин — жертва того древнего мира, жестокость и насилие которого как бы возродились вновь,— был похож, наверное, на этого русского генерала. Похож был не только участью своей, гибелью, но и телом, и душою. И, наверное, слезы навертывались на глаза нукеров, когда видели они неотвратимую гибель своего войска и смотрели на такие же, как и у этого русского генерала, потрескавшиеся серые губы, на тонкую сухую шею, торчавшую из грязной рубахи, на маленькую, с палец, ямку на затылке измученного жаждой Хусаина. Видно, в людях одинаковых судеб, будь то иноверцы или мусульмане, все равно, всегда бывает много общего, много схожего.

Почувствовав, что опять погружается в полузабытье, Танирберген встряхнулся и огляделся вокруг. Ничего не переменилось, все та же удручающе унылая степь, куда ни кинь взгляд, нигде ни единого кустика. Душа ныла от одного ее вида, будто смотришь на человека, изнуренного долгой неизлечимой болезнью. Мурза поспешно отвел глаза от безбрежных далей, повернулся, посмотрел назад. Позади до самого горизонта растянулось еле подвигавшееся войско. Понурые, исхудалые, обросшие солдаты, сняв с себя оружие, переложив его в повозки или повесив на седла, покачивались на истощенных конях, как какие-нибудь выходцы с того света. Никто уже не соблюдал строя, как прежде, все двигались как попало, подобно стаду, которое бродит по степи без пастуха.

Много было среди солдат раненых с перевязанными головами и руками. Повязки их почернели и спеклись от пота и пыли. Армия была сломлена, никто не хотел воевать, одна мысль была у всех — выйти поскорее из этого пекла. Обессиленные кони, тащившие орудия, шатались, останавливались, широко расставив дрожащие ноги, и никакими силами нельзя было сдвинуть их с места. Они дышали как в агонии, и из ноздрей их шла кровь. Артиллеристам было уже не до орудий, они давно бы бросили их в степи, но генерал Чернов оставался непреклонен. Когда тяжелые, как валуны, орудия глубоко увязали колесами в песке, генерал гнал солдат на помощь артиллеристам и коням.

Озлобленные солдаты теперь никого уже не боялись, матерились или не обращали внимания на приказы офицеров. Танирберген делал вид, что ничего не замечает. Разговаривал он только с генералом. Как ни устал он, ему не хотелось становиться тряпкой или скотом, он крепился изо всех сил. По всегдашней привычке в пути он замечал и запоминал каждый куст, каждую кочку.

Начинали попадаться солончаки, и тогда мукой взвивалась белая рыхлая пыль и клубилась под ногами коней. Вдали на горизонте играло и маняще зыбилось марево. Миражи эти разливались голубыми озерами, и в воспаленном воображении людей на мгновенье

вспыхивала надежда. Обманутые миражами, стремясь скорее добраться до воды, иные начинали колотить каблуками по натертым бокам шатавшихся от слабости коней.

Танирберген чувствовал себя виноватым перед этими обреченными на муку людьми. После отступления от Аральска подполковник Федоров предлагал идти побережьем, но мурза воспротивился этому плану. Кроме редких, малочисленных рыбачьих аулов, летом на побережье живой души не встретишь. Многолюдные богатые аулы, спасаясь от комаров и слепней Приморья, еще с весны перебирались в степи. Узнав от Танирбергена, что аулы эти располагаются возле колодцев, в которых вдоволь пресной холодной воды, генерал Чернов поддержал мурзу и решил отступать степью.

И вот теперь в этой хваленой степи не встретилось им ни одного аула и ни одного колодца. Масса людей обречена была на гибель в безводной и безлюдной пустыне, да и роковой час мурзы, казалось, был близок. Он все чаще стал думать, что они заблудились. Иначе откуда же тут эта пустынная степь, которую он сроду, с тех пор как научился сидеть в седле, не видел? Ему и раньше приходилось сбиваться с пути, но он каждый раз по почве, по растительности легко находил дорогу. Он и теперь, низко наклонясь с седла, принимался внимательно рассматривать травы и кустарники и ничего не понимал...

Все последнее время он чувствовал себя как бы между сном и явью. Он ехал, ехал, смотрел, слушал и порою не знал, верить или не верить всей этой кутерьме событий, происходивших у него на глазах, и тогда он как потерянный застывал на коне, выронив из рук поводья. Слишком много было непостижимых, необъяснимых событий! Белый царь, божий помазанник, всесильный владыка, оказался до позорного бессильным. Неужели он был столь ничтожным? Или уж слишком слабой была его опора во всех подчиненных ему землях?

Танирберген вспомнил всех известных ему, далеких и близких казахских баев, биев, аткаминеров — правителей этих степей. Вот этот Жузбай, вот тот Мынбай, Жылкыбай, Итбай... и самый пронырливый Рамберды. Потом перед его глазами вереницей прошли богачи карашекпены, черносюртучники, со своими промыслами на берегу моря — свирепый Шодыр, Хромой Жагор, Курнос Иван, Темирке. Думали ли они о крепости государства? Нет, когда мошна их была туга, а в руках сила, никто из них не думал ни о чем на свете, кроме как о своей корысти, о наживе, о том, как бы приумножить свои табуны, свое состояние, и только хапали и рвали друг у друга своими алчными, загребущими руками. Да и сам он был не лучше их. При жизни брата, волостного, только и знал, что наряжаться да красоваться на резвом коне по аулам да гонять по степи лисиц. А потом, когда сам пришел к власти, о чем он думал? Вместо того чтобы заниматься благосостоянием края, он всецело был поглощен своими женами, своим скотом, ублажением и почитанием

памяти каких-то древних предков, чьи кости давно уже истлели в чреве земли.

Чего же он добился, чего достиг, кого облагодетельствовал? А теперь загляни-ка вперед. Кого послушает и почтет эта саранча, эти дикие обормоты, вчера свергшие своего царя, сегодня разбившие Колчака? Есть ли такая сила на земле, которая могла бы противостоять им? Кто знает, кого и как насытят и облагодетельствуют эти голоштанники в будущем, зато уж, как только вся власть придет к ним, первые, кого они искоренят, будут богачи. Мурза вздохнул: верно говорят, мир переменчив... Благодатный мир, в котором еще вчера жилось так вольготно, теперь катастрофически сужался. Последней надеждой его был Аральск. Разбей они красных под Аральском, думал он, в казахских степях воцарились бы мир и благоденствие. Эту надежду лелеял и генерал Чернов, и солдаты были уверены в победе... Но, как говорится, не конь скачет, а удача. Иначе чем объяснить их разгром? Ведь и солдат, и оружия было у них гораздо больше, чем у красных. У них даже броневики и аэропланы были! И вот вместо победы полный разгром. Скольких солдат лишились, сколько оружия оставили! И бредут теперь уцелевшие солдаты, будто побитые льдом рыбешки в половодье. Глаза провалились, губы запеклись, и слабые кони их еле перебирают ногами, и на конских потных боках ходуном ходят, играют под кожей ребра. Кроме сивого иноходца Танирбергена, белого аргамака генерала да жеребца в яблоках Федорова, все остальные уж и на лошадей не походили.

Не зная, на какой удобнее примоститься ягодице, мурза поерзал в седле и опять уперся глазами в уши иноходца. Он не понимал, что с ним творилось. Стоило чуть отвлечься от одних мыслей, как тут же приходили, не давая передышки утомленной его душе, новые невеселые мысли. Опять пришел на ум Еламан, опять начал он перебирать в памяти все годы вражды с ним и вдруг с досадой оборвал воспоминания. «А чего это я убиваюсь? Чего, собственно, мучаюсь?»— спросил он сам себя. Почему, в самом деле, не может он избавиться от этих дум о нем? Или нет других забот и печалей на этом свете? Или его совесть замучила? Чувствует он вину перед ним, и оправдывается, и вымаливает прощение? Нет, он не злодей, нет! Он только злом отвечал на зло. Око за око, зуб за зуб, воистину так! Где и когда переступил он черту этой священной заповеди? И если суждено когда-нибудь родиться справедливому судье, способному рассечь мечом волосок вдоль[1] и взвесить человеческие деяния, будущие потомки убедятся, что мы не были злодеями. Нет, это время, как волков, натравливало человека на человека. Но если время — лютый волк, может ли он быть овечкой на привязи? «Нет! Нет! Не хочу!»— чуть не крикнул мурза вслух. Мгновенно яд и не-

[1] Фразеологическое казахское выражение, означающее высшую меру справедливости.

нависть переполнили его, сердце едва не разорвалось от чувств, молчком накопленных за долгие годы. Нет, трудно быть сдержанным, трудно. Загорелое лицо его вспыхнуло, пошло пятнами, и горячая кровь ударила в виски. Но уже через минуту он справился с собой, злоба и ненависть ко всему на свете улеглись, и равнодушие опять овладело его душой.

Так же, как и всех изможденных солдат, его давно уже мучила жажда. На зубах скрипел песок. Он облизывал потрескавшиеся, с белым налетом губы. Во рту было сухо, чувствовался прогорклый солончаковый привкус, клейкая слюна не глоталась, и он морщился, силясь ее проглотить. Опять его ничто не удручало, он ко всему охладел и был в таком отрешенном состоянии, что не сопротивлялся бы ничуть, если бы его даже стали резать на куски. «Может, это и есть смерть? Может, именно так умирают?»— вяло думал он. Видно, путь человеческой жизни всегда оканчивается вот так — разочарованием и досадой. Как это пел акын? В те годы, когда на земле царили еще покой и благополучие, один из назойливых певцов — жырау, которые вечно околачивались со своими почерневшими от времени домбрами в его ауле, сравнивал человеческую жизнь с кокпаром — козлодранием. Танирберген терпеть не мог этих певцов, поэтому тогда он только посмеялся в усы над таким сравнением. Он и в мыслях тогда допустить не мог, чтобы он — мурза!— стал когда-нибудь козлиной тушкой для забавы сытых и праздных джигитов. Нет, думал он, если уж и похожа человеческая жизнь на игру в кокпар, то уж он-то не тушка, предназначенная для кокпара, а ловкий, сильный, удачливый кокпарщик на крепком и быстром коне.

Зато теперь он думал иначе. Каждый, кто пришел однажды в этот мир, будь то хан или раб, все равно в тот день, когда от него отвернется счастье, окажется под ногой более удачливого соперника. Такой конец был у его брата, волостного. Кусая локти, один за другим покинули мир, казалось бы, всесильные его предки. Да как же ему в голову не пришло в свое время, что именно так кончит в будущем и он? Неужели не знал? Да нет, знал, знал, только храбрился, только хотел на других страху нагнать...

— Ну, скоро колодец?

Мурза даже не обернулся, он по голосу узнал рыжего офицера с кошачьими глазами. Между тем к рыжему подъехали еще несколько офицеров, и на мурзу посыпались вопросы:

— Где колодец?

— Когда приедем в аул, черт побери?

— Отвечай, сукин сын, долго еще нам мучиться?

— Ха! Ты думаешь, он тебе правду скажет? Попомните мое слово, он нас заведет... Все околеем!

— Что и говорить! А ему ничего не сделается....

— Надо доложить генералу. Этим азиатам нельзя верить!

— Ну, скажешь, когда колодец?

— Ишь молчит! Изрубить бы его в куски, как собаку!

Мурза только побледнел, и ноздри красивого его носа нервно сузились. Стиснув зубы, замкнувшись, он защищался от грязной солдатской ругани одним лишь своим презрением степного аристократа. Озверевшее офицерье изрядно опротивело ему, и не хотелось тратить слова на разговоры с этими собаками, не понимавшими, что такое достоинство человека. Да и к чему, в самом деле, все разговоры? Повернулась к нему судьба спиной, вот в чем главная причина. Ведь все эти места, аулы и колодцы были прекрасно известны ему. Каждый год не однажды по разным делам приходилось ему приезжать в Алты-Кудук. И зимой, и летом он ездил по этим степям. Зимой, бывало, закутанный в волчью шубу, садился он в легкие ковровые санки и не шевелился до тех пор, пока не выбегали ему навстречу с лаем собаки какого-нибудь аула, в котором он намеревался обедать или ночевать. Разгоряченный конь его, опушенный инеем, дымился, пофыркивал, вжикал подковами по крепкому снежному насту. На полном скаку круто осаживал бойкий кучер коня у какого-нибудь дома, хозяева которого хорошо знали Танирбергена, хотя сам он и не всегда узнавал их.

Просыпались хозяева, рано улегшиеся после сытного ужина. В слепом окошке желтым язычком вспыхивал огонек светильника. Вскоре с хрипом и писком отворялась настывшая наружная дверь; из дома, натягивая на ходу чапан на плечи, спеша и спотыкаясь, выбегал хозяин и, цыкнув на отчаянно лаявших собак, отогнав их широкими полами чапана, подбегал к саням. И пока он, сложив на груди руки и низко кланяясь, не начинал подобострастно молить: «Милости просим! Добро пожаловать, мурза! Будьте дорогим гостем!» — Танирберген даже не шевелился. О времена, времена!..

А летом, когда раскаленное солнце подолгу застревало в зените, мурза трогаться в путь днем не любил. Он предпочитал ехать ночью, по прохладе и, не доверяя никому из сопровождавшей его свиты, сам ехал впереди и сам находил дорогу, какая бы темень ни была. Нигде ни на минуту не останавливаясь, не размышляя, не сбиваясь, он ехал ровной шибкой рысью и непременно приезжал в намеченное место. Для всадника между Ак-бауром и Алты-Кудуком пять дней езды. И на этом расстоянии Танирбергену было известно решительно все: где самая вкусная вода, где богатые сочной травой пастбища, где, в каком прохладном овраге, возле какого колодца расположился тот или иной аул, какие люди к какому роду принадлежат, кто среди них именит, знатен, богат и кто самый почтенный старец.

И вот теперь с ним явно что-то случилось. Истощенному, черной тучей волочившемуся за ним войску он не мог найти ни глотка воды. Он вел армию от одного выложенного камнем колодца к другому. Он прекрасно помнил, как, бывало, не раз поил возле этих колодцев студеной водой своих коней в прежних ночных походах. Но сейчас какие-то неизвестные люди неизменно опережали его, разбирали каменную облицовку и засыпали колодцы землей. И богатые аулы,

недавно густо располагавшиеся со своим несметным скотом в этих местах, поспешно разобрав юрты, куда-то исчезали. Иногда на месте стоянки аула в рытых очагах еще тлела теплая зола.

Мурза понимал, что это неспроста. Несомненно, от самого Аральска за ними следил кто-то, знавший, по каким именно местам они решили идти. Мурза думал иногда суеверно, уж не дьявол ли их преследует? Он знал, что офицеры и солдаты имели право ему не верить, ведь он обещал им аулы и воду. На их месте и он бы, пожалуй, не поверил. Единственной пока опорой его был генерал Чернов, но и тот, похоже, начал к нему охладевать. Иногда и он, придержав своего аргамака и подождав, пока поравняется с ним мурза, прокашливался и спрашивал пытливо:

— Долго еще ехать, мурза?

Танирберген ерзал в седле. Куда подевались аулы и колодцы в этой безбрежной, ни разу за все эти дни не менявшей своего унылого облика степи, мурза сейчас и сам не понимал.

— Гляди, гляди... Видел?

— Что такое?

— Да вон, гляди, над головой кружатся...

— А-а!..

— А я их давно уже заметил.

— Раньше таких не видать было.

— Я за ними давно слежу. Как в барханы зашли да как кони падать стали, так эти стервы тут как тут! Сначала один был, теперь два...

— Во-он и еще один показался...

— Не бойсь, их, сволочей, тут скоро соберется по нашу душу!

— Это не орлы?

— Какой тебе черт орлы! Орел — птица благородная.

— А эти кто?

— А хрен их знает! Стервятники какие-то...

— Не по душе они мне что-то, братцы...

— А чего тебе в них?

— Они хоть на землю-то опускаются?

— А ты думал, воздухом кормятся?

— Бросьте трепаться. Сейчас бы водички глоток...

— Да-а, водица! Такой бы, чтоб в затылке заломило, а?!

— А я, братцы, за всю жизнь ни разу студеной воды не пил, матушка с батюшкой не разрешали. У меня горло слабое было: боялись, простужу.

— А ты слушался?

— А что ж иделаешь?

— Ну и дурак!

— Знамо, дурак. Теперя бы я напи-ился!..

— А эти так и будут теперь над нами кружиться?

— Погоди, сядут.

— Сколько уж гляжу, а все парят и крылами совсем не махают, а?

— Они на падаль садятся.

— Ну, этого добра им тут хватит после нас.

— Эй, будет тебе!

— А что, боишься?

— Да нет, к смерти-то я попривык, а вот как представлю, что эти стервы будут потом мои глазыньки выдирать... Прямо мурашки по коже бегают.

— О господи! Чем так-то в пустыне этой загибаться, уж лучше пуля бы под Аральском.

— Тьфу тебе, черт! Пуля! Не бойся, и от пули не уйдем, каркаешь тут...

— Гляди, гляди! Вон один вниз пошел!

Солдаты, разинув рты, уставились в небо.

Танирберген тоже посмотрел вверх. В вышине, в безоблачном небе, раскинув громадные крылья, парили два черных стервятника. Третий, оторвавшись от них, стремительно снижался. Зоркими глазами выследив что-то с высоты, на лету складывая крылья, он камнем падал все ниже, ниже и с каждым мгновеньем становился все крупнее, и все отчетливее были видны его голова, омерзительная шея и лапы. С шелестящим звуком пронесясь над головами замерших солдат, он скрылся за пыльными облаками, висящими над хвостом армии. «Видно, еще один конь пал. А может, и солдат...»— решил мурза. Многие, должно быть, подумали об этом же. На некоторое время стихли все разговоры. Солдаты даже коней не понукали вслух, а только с остервенением колотили их сапогами по бокам. С тех пор как начались пески, мурза все чаще нахлестывал своего иноходца камчой. Все-таки в степи коням было легче идти по твердому суглинку. После полудня, когда солнце стало накреняться к западу, пошли вдруг бурые пески с редкими и рослыми кустами рыжего бурьяна. При виде песков отчаявшиеся солдаты окаменели от ужаса.

А позади мурзы слышался громкий разговор между двумя офицерами:

— Вот увидите, он подослан красными! Уверяю вас!

— Да нет, он, говорят, бай, очень богатый...

— Ну знаете, бай или не бай, а только верить им нельзя.

— Да, они все нас ненавидят.

— И все генерал виноват! Не послушал, старый дурак, Федорова, поверил этой азиатской сволочи!

— Да, да, вы правы, совсем выжил старик из ума...

Танирберген посмотрел на генерала. Обычно командующего в походах сопровождала многочисленная свита. Теперь же возле него не было никого, кроме молодого адъютанта. И мурза понял, что генерал сейчас так же одинок, как и он. И еще мурза понял, что

жить ему осталось недолго. Как бы ни были беспомощны теперь офицеры и солдаты, но если он скоро не выведет их к воде, к аулам, ему не у кого будет искать защиты. Танирберген с тревогой огляделся вокруг. Господи, куда же это их занесло? Ведь подобных песков он никогда не видел. Даже пески Ак-Чили никогда не бывали столь убоги. Это другие места. Совсем другие, незнакомые!

Растерянно глядел он на начинавший змеиться под ногами песок. Хоть было уже далеко за полдень, солнце палило по-прежнему. Дул суховей, из-под конских копыт вздымалась пыль, песок сек лица, назойливо лез в глаза, в рот, в ноздри. Танирберген обвязал лицо шелковым платком. Стоило чуть приподнять голову, раскаленный ветер обжигал лицо, как пламя. Мурза хотел выплюнуть песок, но не было слюны.

Кони начали задыхаться. Танирбергену казалось, что они вряд ли сумеют преодолеть барханы даже на узком перешейке. В вязкий сыпучий песок кони проваливались выше бабок и останавливались, водя боками. Солдаты колотили их коваными сапогами, и кони опять трогались, чтобы через несколько шагов остановиться. Многие падали на ходу как подкошенные. Один молодой солдат на глазах Танирбергена сошел с ума. Весь последний день он молчал. Безразлично и отрешенно сидел он на еле тащившем ноги коне. Плечи его обмякли, голова опустилась, будто он крепко о чем-то задумался. Но было видно, что не думал он ни о чем и что его не мучила даже жажда, от которой изнывали другие. Солнце, нестерпимо пылавшее над головой, было ему нипочем. Он не понимал, куда едет и зачем, кто едет с ним рядом. Своими потухшими глазами он покорно глядел вперед. Спускаясь по песчаному бугру, конь его споткнулся и припал на колени. Вяло сидевший в седле молодой солдат перелетел через голову коня и ударился о песок. Конь, дрожа, поднялся на ослабевшие ноги и повесил голову. Но солдат даже не взглянул на своего коня. Резво вскочив, он вдруг завопил что есть силы: «Вода! Вода!»— и, размахивая руками, помчался вперед.

Изматывающий душу суховей в это время улегся. Подул обычный озорной степной ветерок. Всегда он налетал вихрем и, натворив разных мелких шалостей, мгновенно исчезал. Вот и сейчас как угорелый накинулся он на измученных людей, подразнил их, потрепал и унесся прочь, будто его не было.

Мурза об одном молил бога — скорей бы окончились пески! Обессиленные кони отставали один за другим. Мурза оглянулся. Отстал где-то и его враг — рыжий офицер. Облегченно вздохнув, мурза хотел погнать коня дальше, чтобы еще больше оторваться от рыжего, но ослабла подпруга, и седло стало ерзать по хребту. На спусках с барханов он едва не сваливался вместе с седлом, каждый раз с трудом удерживаясь, упираясь руками в холку.

Вконец измученный такой ездой, он остановился возле двух раскоряченных кустов бурьяна. От самого Уш-Шокы он редко слезал с коня и теперь, едва ступив на землю, почувствовал, как кружится

голова. Сивый иноходец с облегчением несколько раз кряду встряхнулся, позванивая стременами. Он весь потемнел от пота и тяжко водил боками, не в силах унять крупную дрожь.

Вид замученного коня огорчил мурзу. Да и его самого, как ему показалось, покидали последние силы. Мучимый жаждой, он все пытался набрать слюны и проглотить, но сухой, шершавый, как брусок, язык уже не ворочался во рту. Его неодолимо тянуло лечь в тень под брюхом коня, и немалых усилий стоило ему убедить себя, что нужно ехать дальше.

Подтянув подпругу рукой, в которой был зажат повод, он ухватился за холку и только было сунул ногу в стремя, как заметил краем глаза, что кто-то подъехал к нему вплотную. Всадник круто остановился, мокрая морда тяжело сопевшего под ним коня уперлась в хвост иноходца.

— Слезай!

Танирберген почувствовал, как у него холодеют ноги и начинает ныть в животе. Выдержка все-таки не изменила ему, и, не снимая со стремени ноги, он спокойно повернулся к подъехавшему:

— Что угодно, господин офицер?

— Слезай с коня, предатель!

— Зачем?

— А вот сейчас узнаешь, сволочь, зачем!..

Подъехало и остановилось еще несколько человек. «Ах, далеко, должно быть, уехал генерал!» — с отчаянием подумал мурза. Он не успел снять со стремени ногу, как рыжий офицер соскочил с коня и, оскалившись, ударил мурзу. Танирберген еще удержался, еще успел ухватиться разжавшимися было пальцами за гриву иноходца. Шляпа его отлетела в сторону. Офицер опять ударил его в висок. В глазах мурзы поплыли оранжевые круги, и он упал. Он не почувствовал боли и не успел ни о чем подумать, будто какая-то завеса накрыла его. Через секунду придя в себя, он повел глазами и увидел, что лежит на песке под мордой испуганного иноходца. Офицер сидел у него на груди, придавив коленями руки. Остальные торопливо спешивались и окружали их.

Не желая видеть лютые глаза и заросшие щетиной лица озверевших людей, мурза с тоской посмотрел вверх и увидел маленький, с ладонь, кусочек неба. Оно было выгоревшим и казалось серым. Мурза попытался сказать что-то, крикнуть о чем-то и не мог. Потные пальцы рыжего офицера, сжимавшие ему горло, вызывали в нем отвращение. Мурза понял, что пришла смерть, хотел забиться, но не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. В напрягшемся его теле только в груди еще еле-еле трепетал последний вздох. Проклятые пальцы, сжимаясь, по капле выдавливали из него остатки жизни.

Мурза опять на мгновение потерял сознание, а когда открыл глаза, увидел между сдвинувшимися и наклонившимися над ним людьми все тот же грязноватый, как ему казалось, клочок неба, которое чем-то напомнило ему зареванное бабье лицо, по которому

размазаны слезы. Вот все, что остается человеку в его предсмертный час, это все, что уносит он с собой из этого грешного мира, в котором он столько бился, боролся, враждовал с такими же, как и он, маленькими людьми. Полные слез глаза мурзы медленно потухали. Судорога пробежала по всему телу, и горький комок, пронзивший его последней болью, колом застрял в горле под цепкими пальцами душившего его офицера. О лживый, проклятый мир! Лживый! Обманчивый! Никчемный! Теряя в последний раз сознание и чувствуя, как глухота закладывает уши, он все-таки услышал какой-то слабый короткий звук, но не успел понять его смысла — звук оборвался, будто потухшее на ветру пламя свечи. И сразу же все, что он нес с собою целую жизнь, что составляло его самого — сознание, чувства, вся его сущность,— вместе с этим слабым коротким звуком вдруг провалилось в глухую черную бездну и оборвалось...

Придя в себя, Танирберген долго смотрел из-под ресниц в одну точку. Перед ним все зыбилось и было как в тумане. Он ощущал, что возле него суетились, хлопотали какие-то люди, но их лиц он еще долго не мог разглядеть. И ничего не слышал — уши были заложены. Он по-прежнему не мог двинуть ни руками, ни ногами, но тяжесть с груди как будто сняли, и дышалось легко. Горло, намятое пальцами, болело. Мурза приподнял было голову, но тут же опять закрыл глаза. Он решил, что полежит еще немного, наберется сил и потом уже встанет. И он продолжал с наслаждением, не шевелясь, лежать на раскаленном песке. Он чувствовал себя только что вернувшимся с того света, и, наслаждаясь этим возвращением к жизни, ничего не желая и ни о чем не думая, он вспоминал только давнишний (теперь ему все казалось давнишним) отрывистый далекий звук, который, по-видимому, и спас его от верной смерти. «Что бы это могло быть?»— никак не мог решить мурза.

Почувствовав, что уже может подняться, он зашевелился. Из ушей его будто вынули пробки, он услышал чей-то разговор, и тут же, подхватив с двух сторон, его начали поднимать. Его поднимали бережно, как долго пролежавшего больного, и, все еще не открывая глаз, мурза понял, что его мучителей больше не было возле него.

— Посадите его на коня,— сказал кто-то знакомым голосом.

— Ваше превосходительство, он еще...

— Ничего. Нам некогда ждать. Посадите и поддерживайте с обеих сторон.

Оставив с Танирбергеном двух солдат, генерал Чернов с небольшой свитой поехал вперед. Возле него было всего несколько человек, самых преданных ему теперь, из остатков Каппелевского полка, вооруженных с головы до ног. В поводу вели еще лошадь, навьюченную пулеметом.

Некоторое время, тоскливо глядя вслед уехавшим, мурза собирался с силами. Потом, опираясь на камчу, поднялся на ноги. На иноходца он взобрался с помощью солдат, но, очутившись в седле, приободрился и с радостью ощутил в разбитом теле привычную

ловкость. Привычно упираясь в стремена, он уселся в седле поудобней и покрепче. Конь его стоял понурясь. Мурза ударил его каблуками и направился по следам теням и бредущих среди песков конных и пеших. Едва они тронулись, как мурза заметил, что иноходец ступает неохотно и пугливо косится по сторонам. На песке то здесь, то там чернели трупы загнанных лошадей, тянулись неровные следы оставшихся без коней, валялось оружие. Танирберген низко надвинул на лоб шляпу. Долго ехал он, понуро опустив голову на грудь, не в силах видеть гибель солдат. Потом поднял голову и взглянул вперед.

Солнце шло на закат и теперь ослепительно било в глаза мурзе. Мурза заморгал, слегка отвел лицо в сторону, увидел небо и уже не мог оторваться от огромного синего свода. При виде неба он преобразился как истый мусульманин в ночь ляйлят-эль-кадр — в ночь свершения всех желаний. О боже всемогущий! Что видел он до сих пор? Или ходил по свету с завязанными глазами? Какое это непостижимое, таинственное чудо — бездонное, безбрежно простершееся синее небо над таким же громадным миром, над землей, по которой неприкаянно бредут они уже столько дней! Какая ширь! Без начала и без края. Но ведь все на свете должно иметь предел? И радости, и горести тоже имеют свой предел. Разве человеческий ум может себе представить нечто беспредельное? И не кощунственна ли сама эта мысль? Будь ты хоть семи пядей во лбу, хоть трижды мудрым, тебе дано постигнуть лишь доступный человеку мир. Все остальное загадка, священная тайна всемогущего творца. И это безбрежное синее небо над головой — только знак могущества создателя. Положим, ты и прежде знал, что это великое чудо, но задумывался ли ты о смысле этого могущества?

Мурза невесело усмехнулся. Где уж там! Прежде все твои мысли вертелись вокруг скота на пастбищах да жалкого скарба в доме. На большее тебя не хватало. А в остальное время, гонимый похотью, ты кобелем бегал за подолами разных бабенок. Ах, если бы человек хоть изредка задумывался, что, помимо земных забот, есть еще и иной мир, в котором, может быть, придется платить дорогой ценой за каждый миг прожитой жизни. Если бы он хоть изредка ублажал душу свою смирением, то, может быть, за куцый вершок своей земной жизни и не погряз бы так глубоко в грехах.

Подумать только! Ведь земли под ногами не чуешь, когда похваляешься, что среди твоих предков были и знаменитые благочестивые ишаны, и святые, и мудрые провидцы. Но ни один из твоих предков так же, как и ты, не являлся с утешением к страждущим и никогда не отдавал всего себя людям, как вот это бескорыстное небо. И потом, разве не сужаем мы безрассудно и не затеняем божий свет, когда, как кроты, выкапываем себе каждый по норке, ограживаемся друг от друга стенами, а вот это прекрасное небо так и не успеваем рассмотреть благоговейно?

Ты только погляди на это диво, до чего же оно высоко, недося-

гаемо и чисто! Его не оскверняло еще человеческое дыхание. И не дай бог добраться когда-нибудь человеку до неба, он и его непременно опоганит. А какое оно прозрачное, бесконечное и синее! О создатель, владыка вселенной, ведь для меня недавно было оно совсем не таким! Только клочок его я видел, и было оно серым, будто присыпанным пеплом. Каким ничтожно малым и грязным клочком увидел я этот огромный мир, когда умирал в лапах этого офицера...

Так что же, может быть, это и есть вся причитающаяся нам доля, которую, умирая, мы уносим с собой? Куда? Когда человек появляется из материнской утробы на белый свет, быть может, всевышним ему заранее определена роковая доля — клочок серого неба как смысл всей нашей жизни на земле? И будь ты даже ходжой или муллой, доволен ты этим смыслом жизни или не доволен, все равно только этим и исчерпывается вся твоя земная юдоль. Ничем, ничем больше... Как страшно!

Должно быть, потому и называют этот мир лживым! Лживый! Мурза, еле шевеля потрескавшимися губами, несколько раз повторил это слово: «Лживый, лживый, лживый». Но если тот мир, в который пришел ты не по своей воле, лжив, разве можешь ты его изменить? Даже если бы очень захотел, и то бы не смог. Ведь горе и насилие, как мор, расползающийся во все четыре стороны света, выдумал не человек, а дал ему всевышний в наказание за первородный грех. Господи, да ведь ты повторяешь слова брата — софы! Когда-то, когда мурза был еще мальчиком, плешивый мулла, которого держал богатый аул, тоже проповедовал нечто похожее. Кстати, мулла этот никогда не снимал с головы чалму, и то, что он был плешив, впервые открыл маленький Танирберген.

Однажды, когда взрослые уселись вокруг дастархана, он по стенке прокрался незаметно за спину муллы. Все дружно принялись за мясо. Мулла, как всегда, показывая себя благочестивейшим, дотрагивался до еды лишь кончиками пальцев и благоговейно шептал: «Писмил-ла...» Танирберген незаметно привязал к кончику чалмы за спиной муллы тоненькую пряжу. Другой конец пряжи он привязал к ножке зеленого крашеного сундука, на котором были сложены тюки вровень со стенкой юрты. Управившись с бесбармаком, взрослые стали вытирать руки. Мулла прочел благодарственную молитву и, будто с облегчением расставаясь с низменными заботами еще одного дня, важно поднялся. Вот тут-то и свалилась с его головы никогда не снимаемая чалма! «О господи, а наш почтенный мулла-то плешив!»— не удержалась тут одна из баб и от удивления ущипнула себя за вспыхнувшую щеку. Танирберген в эту минуту как ни в чем не бывало сидел где-то возле двери. Его душил смех, но он только скромно опускал глаза, как и подобает благовоспитанному ученику перед своим наставником.

Вот этот самый плешивый мулла, бывало, подолгу рассказывал в доме Кудайменде собравшимся на ужин гостям о том свете, будто

на этом свете не тревожили его уже никакие заботы. Точно так же, как и старший брат — софы, плешивый мулла, не глядя на тех, кто ловил каждое его слово, щуря слезящиеся глазки, сонно перебирая четки, время от времени указывал рукой куда-то вдаль, и все то хорошее, которое каждый из живущих надеялся вкусить еще при жизни, он неизменно отодвигал на тот свет. И все уже казалось недоступным, все мудрое существовало только на том свете, а наша жизнь представлялась бессмысленной и безнадежной суетой сует. О чем бы ни заговаривал мула, сворачивал он, в конце концов, на одно и то же: первородный грех, хождение по мукам, юдоль скорби, узкий мост, по которому должны пройти все грешники, рай и ад...

А еще любил мулла поговорить о двух страшных ангелах, приходящих перед смертью за душою грешника,— об Азраиле и Жабраиле. Но заводил разговор о них он каждый раз после сытного ужина, когда пребывал в благодушном настроении, и, должно быть, потому эти страшные ангелы, которые должны были когда-нибудь прийти и за его душой, ничуть не тревожили маленького Танирбергена. Более того, частые разговоры о них стали настолько привычными, что он иногда с любопытством думал: а интересно, на кого похожи эти ангелы? Но как ни силился маленький мурза, он так и не мог вообразить ни Азраила, ни Жабраила.

А сейчас он вдруг подумал, что эти ангелы очень похожи, наверное, на рыжего офицера, который его душил. Вспомнив об офицере, мурза опять почувствовал холодок ужаса в животе и тут же злорадно спросил себя: «Что, поджилки затряслись, голубчик? Не по душе небось умирать-то... Тогда, если можешь, не подыхай раньше срока, цепляйся за жизнь, старайся продлить ее хоть на день, хоть на час!»

Об этом же настойчиво твердили, напоминали мурзе и синее небо, и яркое лучистое солнце: не умирай, живи. И он вдруг с облегчением бросил думать о том, что ждет его впереди, и перестал волноваться о будущем этого помутившегося мира. Чем жаднее вглядывался он в чистое небо, тем острее и радостней чувствовал, что на время вырвался из когтей смерти, что еще может наслаждаться жизнью, что он еще не до конца изведал то, что отпущено ему судьбой. К чему терзать себя прошлыми и будущими муками, пока в груди еще теплится душа. Забудь, забудь все! Забудь!

И уже совсем повеселел мурза, спасительная умиротворенность овладела им, как вдруг будто какой-то вещий голос явственно произнес рядом с ним: «Да пошлет тебе бог погибель!» Откуда явился этот голос? Он ли когда-нибудь сказал кому-то эти страшные слова? Нет, никогда он никому этого не говорил. Это ему были сказаны когда-то такие слова.

«Да пошлет тебе бог погибель!» Мурза весь похолодел, и рука его с камчой задрожала, будто только сейчас бросили ему в лицо это проклятие. Но кто его проклял? Старик Суйеу? Нет! Красноглазый упрямый старик, крепко обидевшись однажды, навсегда решительно отвернулся не только от него, но и от единственной дочери.

Для старика ни он, ни она, преступившие родительское благословение, не существовали более, он их не видел больше никогда. Сколько раз пытались смягчить окаменевшее сердце старика, но все напрасно.

Тогда кто же? Может быть, Акбала? Нет, и не она тоже... Но кто же тогда его так страшно проклял? Или это ему приснилось? Говорят, сон — помет лисиц. А он слышал эти слова наяву. Ему даже помнится, что и тогда, когда услышал он эти слова впервые, он тоже похолодел, как сейчас, но не подал виду. «Да пошлет тебе бог погибель!»

Взволновавшись, мурза начал нахлестывать своего вялого иноходца и на песчаное угорье поднялся волчьей рысью. Впереди, на расстоянии крика, в окружении небольшой свиты ехал генерал Чернов. Танирбергену казалось, что он вот-вот его догонит, но генерал со своей свитой оказался уже на склоне следующего холма, и было хорошо видно, как мелко перебирают ногами истощенные кони, карабкаясь вверх. Ах, что ни говори, а белому аргамаку цены нет! Как живо, несмотря на измотанность, преодолел он подъем. Нет, это не какая-нибудь кляча, которая, обливаясь потом, все-таки бережет на всякий случай силенки. И стать, и норов у аргамака другие. Сколько ни скачи на нем, он никогда не покажет своей устали. Раздувая тонкие широкие ноздри, он будет мчаться птицей до тех пор, пока на всем скаку не рухнет замертво как подкошенный. «Да пошлет тебе бог погибель!» Кто же ему это сказал?..

Появившись на хребте песчаного холма и тут же перевалив его, Чернов опять скрылся с глаз. Те, что не поспевали за ним, все еще карабкались по склону. У адъютанта генерала, совсем еще юного офицерика, конь вдруг стал. Адъютант торопливо спешился, потянул за повод, но уморенный конь не двигался с места. Раздосадованный адъютант снова влез в седло и стал с остервенением хлестать коня по взмыленному крупу. Конь стоял, не в силах вытащить ног из вязкого песка. Бедное животное дрожало, и видно было, как мучительно хочет оно идти дальше и не может. «Да пошлет тебе бог погибель!», «Да пошлет тебе бог погибель!» Нет, доканает его это проклятие! Как капля долбит камень, так и слова эти точили мозг. «Да пошлет тебе бог погибель...»

Танирберген чуть не зажал уши руками. Юный адъютант в бессильной ярости продолжал избивать своего коня. «Не надо!» — хотел крикнуть ему мурза, но, посмотрев на потное безумное лицо адъютанта, промолчал. Мурза как раз подъезжал к адъютанту, когда конь того повалился и уже не пытался встать. Надвинув на лоб шляпу, стараясь не глядеть на адъютанта, беспрестанно понукая иноходца, мурза поторопился проехать мимо. Иноходец его настороженно вдруг поднял голову. Танирберген тоже посмотрел вверх и вздрогнул — огромный черный стервятник кружился над его головой. Редко и грузно помахивая крыльями, хищно вытянув шею, он зорко следил за двигавшимися внизу пешими и конными. Мурза

больше не глядел вверх, но все время чувствовал над своей головой то удалявшуюся, то вновь приближавшуюся тень черной птицы.

Понурившись, Танирберген некоторое время бессмысленно рассматривал отделанную серебром луку седла. «Кто же мне делал седло?» — думал он, стараясь вспомнить имя мастера, но так и не вспомнил. Позади раздался выстрел. «Адъютант?» — безучастно подумал мурза и вдруг поднял голову, услышав впереди какой-то возбужденный гул. Утерев залитые потом глаза, он подался вперед. Те, кто ехал впереди, уже достигли конца барханов. За последними невысокими дюнами начиналась широкая, опаленная зноем бурая степь. Измученные, оборванные, обросшие солдаты оживленно показывали друг другу на степь, кричали что-то хриплыми голосами и торопливо подбадривали коней. Мурза не слышал слов, которые выкрикивали солдаты, но при виде одинокой черной джиды на краю пустыни глаза его вдруг вспыхнули.

О создатель, верить ли своим глазам? Это же... Это... От волнения он не мог вспомнить название местности и, как потерянный, только бормотал:

— Да! Да, это оно!

Конечно, это то самое место! Где же генерал? А, вон он где едет... Надо догнать его, сказать... Мурза пытался закричать, привлечь к себе внимание, но, как ни напрягался, он мог только слабо хрипеть. Тогда он начал лупить своего иноходца, пока не догнал Чернова.

— Генерал! Генерал, вот это... Это...

Генерал посмотрел на возбужденного Танирбергена, на его черное от солнца и усталости лицо, увидел глаза, налитые слезами, увидел его волнение, его трясущиеся губы и тоже расчувствовался.

— Что, мурза, знакомые места?

— Да, да! Это вот...

— Лично я никогда не сомневался в вашей преданности и честности. Спасибо, мурза!

Танирберген все оглядывался на оставшуюся позади черную джиду. Потом переводил глаза под ноги коня, смотрел по сторонам, и чем больше он всматривался в почву и травы, тем все вокруг казалось ему роднее, милее, и внутренний ликующий голос нашептывал: «Смотри! Смотри, это начались родные места!» Теперь недолго ждать, скоро степь преобразится. Начнется мягкий грунт, не бьющий копыта коней. В иные, добрые годы, когда снега выпадало особенно много, ах, как покрывалось это поле весною лиловой кудрявой полынью, красным изенем и как тогда утопала вся степь в густом, сочном разнотравье. Где-то в этих краях, если он не ошибается, вон на той равнине, кажется, растет чий. Те места прямо задыхались, бывало, от густого белого, поющего под ветром чия. Видно, потому и край этот назвали Ак-Чили...

Это лето выдалось засушливое, все травы выгорели. Полынь с оголенными суховеем корнями валилась набок. Но повеселевший мурза не мог уже думать о плохом. С каждым шагом иноходца он

углублялся в знакомые с детства долины и угорья и никак не мог опомниться от охватившего его восторга. От нетерпения он беспокойно ерзал в седле, приподнимался в стременах и весело колотил по бокам шатавшегося коня. Должно быть, потому, что встретился он с родным краем в самый окаянный час своей жизни, все его сейчас волновало. Каждый камень, каждая пядь земли — все живо напоминало ему далекое, давно прошедшее. Вон впереди, за тем перевалом, тянется овраг Ак-Чили. В тот год, когда он украл Акбалу, их аул стоял здесь. Когда в степи под знойным солнцем увядали травы, в овраге Ак-Чили чуть не до конца лета сохранялась весенняя влага и между кустами лисохвоста вперемежку с пыреем благоухали серая полынь, лютики и мятник. О, какой аромат источали с утра до вечера, как щекотали ноздри буйные запахи полыни с мятником! «И все-таки плохо мне, плохо, сомлел я на этом солнце, кровь в жилах запеклась... Но ничего, к счастью, теперь уж добрались до Ак-Чили. Уж чего-чего, а воды в Ак-Чили вдоволь, все напьемся! В знойное лето табуны богатого аула паслись всюду, далеко рассыпавшись по оврагам, лощинам и склонам холмов, но когда, бывало, табуны эти косяк за косяком нескончаемо текли на водопой, ведь и тогда хватало воды в колодцах меж зарослей чия. Надо непременно предупредить генерала: измученным жаждой людям и коням пить надо сначала умеренно, понемногу...»

«Что это? Уши иноходца? Два, три, четыре... Разве бывает у коня четыре уха? Доконало все-таки меня солнце, кружится голова». Верховые вокруг мурзы зыбились, как в тумане, он не мог даже различить, у кого какой конь. Сивые, серые, вороные — все масти сливались. Земля под копытами иноходца качалась, будто море, и, чтобы не свалиться, мурза поспешно закрыл глаза. Негромко переговаривавшиеся до сих пор солдаты вдруг опять закричали, стали погонять коней. Мурза, боясь головокружения, не открывал глаз. Иноходец его шел шагом, а он, уронив голову на грудь, погружаясь в забытье, вспоминал тот первый год их жизни с Акбалой.

По желанию мурзы юрту поставили в некотором отдалении от большого аула, на самом краю оврага Ак-Чили. В том году даже в самые знойные месяцы густые травы в недоступном никакой жаре овраге до поздней осени сохраняли весеннюю сочность и аромат. Все лето Акбала не закрывала полог белой юрты, обращенный к оврагу. Никому не позволялось топтать траву возле юрты. Только самые почетные гости могли подъезжать верхом к юрте молодых. Многочисленные праздные путники, днем и ночью осаждавшие байский аул, как правило, спешивались где-нибудь подальше и к юрте добирались пешком. Дойный скот держали тоже далеко за аулом. Тундук белой юрты был неизменно опущен, кошма снизу слегка приподнята, и в юрте сохранялся постоянно приятный сумрак, а из-под низу поддувал бодрящий степной ветерок, настоянный на разнотравье. Иногда теплый ветер, носящийся над джайляу, неожиданно становился свеж и даже холоден к утру, и тогда, чтобы молодые под

легким шелковым одеялом не продрогли, женщины-служанки осторожно подходили к юрте и тихо прикрывали дверцу. Акбала просыпалась всегда раньше, на заре, накидывала легкий чапан на свое горячее, истомленное мужниными объятиями тело. Выходя из юрты, она широко распахивала обе створки дверцы, и тогда снаружи, прямо из оврага, врывался в юрту густой пряный аромат степных трав. И эта легкая утренняя свежесть приятно бодрила разморенного на перине молодого мурзу.

И на другой год, едва пришла весна, байский аул снова собрался в Ак-Чили. Зима в том году выдалась суровая. Весеннее солнце долго не могло пробить ледяной наст, заковавший всю степь. Когда с первыми же теплыми деньками зимовавшие у прибрежья аулы стали перекочевывать в степь, зима еще не унималась, и на хребтах увалов, над которыми гулял холодный ветер, все еще темными ноздреватыми пластами лежал снег. Растянувшееся на многие версты байское неторопливое кочевье, едва достигло всю зиму отдыхавшего джайляу, как вдруг хлынул весенний дождь. Жидкие серые тучки, давно уже несущиеся по небу, быстро сгустились и плотно обложили небо. Ветер утих, и с гулом полил тяжелый ливень. Пришлось поспешно, на ходу ставить юрты. Под проливным дождем вся степь мгновенно превратилась в грязное море, по балкам и оврагам за аулом забурлила талая вода. Но скоро ливень унялся и небо прояснилось. Яркий безветренный день был совсем по-летнему ласков и тепл. Напитавшаяся влагой, разбухшая земля курилась, исходила паром под теплым солнцем. Едва успел аул раскинуть свои юрты вдоль Ак-Чили, как начали ягниться овцы. Южные склоны увалов и оттаявшие бугры покрылись первой нежной зеленью. Особенно быстро пошла в рост пушистая трава в окрестностях Ак-Чили, и густо разросшиеся побеги туго налились, будто набухшее вымя.

В тот год люди не уставали дивиться мурзе. Все лето он ни на шаг не отходил от молодой жены, а когда уезжал куда-нибудь по неотложным делам, то весь изнывал душой по дому. Возвращаясь, еще задолго до аула он нетерпеливо приподнимался на стременах, высматривая среди белых юрт отау[1] Акбалы. А Акбала в тот год была особенно красива и нарядна. Сколько бы девушек и молодых женщин в ярких, пестрых одеждах ни толпилось возле юрт, Акбала все равно выделялась среди всех своим нарядом. Когда она в зеленом камзоле поверх белого платья с оборками, в высоком саукеле в серебряных подвесках, со звонкими чолпами в косах, грациозно ступая, выходила из юрты, даже старый софы, неохочий до женского пола, и тот при виде Акбалы поспешно отворачивал свое тяжелое, заросшее щетиной лицо и бормотал, отплевываясь: «Астафыралла! Эта греховодница кого угодно совратит!»

Прежде, возвращаясь из поездки, мурза неизменно останавливался в юрте старшей жены. К этому привыкли и байбише, и весь

[1] Юрта младшей жены.

аул. Но с тех пор как взял он себе в жены еще и Акбалу и поставил ей отдельную юрту, Танирберген изменил этому правилу. Правда, первое время он чувствовал некоторую неловкость и смущался, въезжая в аул. Смуглая надменная байбише, подчеркивая, что именно она хранительница очага, доставшегося ей от свекра и свекрови, высокомерно восседала в своей юрте на пути мужа, как бы говоря: «А ну-ка попробуй, голубчик, проехать мимо!» Танирберген знал об этом. Знал он также и то, что думала она в такие минуты. А думала она о богатом и влиятельном роде, откуда мурза взял ее замуж, внушала себе, что она дочь богатых родителей, что отец ее ни в чем не уступает свекру, а мать — свекрови и что она может потягаться знатностью со своим муженьком. Все это было хорошо известно Танирбергену. И хотя она поджидала мужа с уверенностью в себе, обида и тревога все-таки гнездились у нее в сердце, и чутко прислушивалась она к каждому шороху за стенкой. Когда топот копыт проплывал мимо и начинал удаляться, завистливая и ревнивая байбише не выдерживала, живо вскакивала с места и выглядывала в щель. Молодой мурза спиной чувствовал ее пронзительный взгляд. Никуда не сворачивая и не останавливаясь, он не торопясь подъезжал по нежной, как плюш, невытоптанной зеленой травке прямо к юрте Акбалы. Так же, как и байбише, молодая жена нетерпеливо дожидалась мужа и чутко прислушивалась, высвободив изпод саукеле ухо, и как только доносился до нее шорох шагов спешившегося мужа, быстро поднималась и, приветливо позванивая чолпами, бросалась к двери. Не успевал Танирберген переступить порога, как она, красивая, молодая, улыбаясь от радости и счастья, сияя черными глазами, выбегала из белой юрты. Зная, что весь аул от мала до велика наблюдает сейчас за ним, мурза испытывал легкую неловкость, и румянец выступал на смуглых его щеках. Но Акбала, ничуть не смущаясь, держа мужа за руку, под звон чолп, идя несколько впереди мужа, учтиво распахивала перед ним дверцу юрты. А потом...

«Э, да что это, в самом деле, стряслось, почему так кричат?» — подумал мурза и открыл глаза. Нахлестывая своих заморенных кляч, солдаты с веселыми криками все скакали и скакали вперед, обгоняя его. Передние давно уже добрались до пасшихся в низине многочисленных стреноженных лошадей. Одни, расседлав и бросив своих коней, торопливо седлали свежих, другие, спотыкаясь и оступаясь на затекших от долгой езды ногах, гонялись за пугливыми лошадьми.

«Что же это? Выходит, и теперь в Ак-Чили стоит аул?» — думал Танирберген, заражаясь общим волнением и колотя каблуками своего иноходца. Интересно, чей же это аул? А вдруг какого-нибудь знакомого почтенного человека, а он привел к нему разорение? Не приведи господь! Как ужасно все-таки, что здесь оказался аул... Чей бы он ни был, а кому-то на беду привел он этих оборванных, грязных и озлобленных солдат.

— Ну вот, мурза, вы оказались правы. Вы видите аул за перевалом?

— А?— растерянно откликнулся мурза.

— Аул, говорю. Вон, видите?..

— А-а! Да, да, аул...

— И юрты все белые. Богатый, вероятно, аул, как вы думаете?— оживленно спрашивал генерал Чернов, но мурза его уже не слышал.

Во все глаза глядел он на лошадей, которых ловили и седлали солдаты. Как ни старался он уверить себя, что обманывается, на ляжках коней, которых ловили солдаты, отчетливо было видно тавро величиной с копытце стригунка. Танирбергена прошиб холодный пот. Что же это?! Господи... О господи... Сердце его заколотилось, тошнотворная слабость овладела им. Он хотел крикнуть что-то генералу, весело заторопившемуся вперед, но не мог разжать челюсти.

У самого въезда в аул Танирбергену показалось, что иноходец его совсем не двигается. Спрыгнув с седла, хлестнув коня камчой, он в бешенстве побежал к аулу. Над аулом поднимался, перекатываясь из конца в конец, невообразимый шум. Мурза обезумел, пот, струившийся из-под шляпы, заливал ему глаза. «О господи, за что меня караешь?»— молился он.

В глазах у него потемнело, и он упал. Он тут же попытался встать, но мог только опереться на дрожащие руки. И опять будто кто-то совсем рядом произнес: «Да пошлет тебе бог погибель, Танирберген!» И он все вспомнил. Вспомнил, как возвратились джигиты, посланные им к туркменам, чтобы угнать лошадей. Все в черном, в глухую безлунную ночь, уже перед рассветом, неслышно, потому что копыта коней были обмотаны кошмой, тихо, крадучись, подъехали они к аулу, но в ауле, будто бы охваченном глубоким сном, их сразу услышали и повысыпали из землянок. Черные джигиты, спешившись, вели под уздцы черных, как ночь, коней. Покойник, завернутый в кошму, окостенело вытянув руки и ноги, лежал поперек седла на вороном коне. Припав к покойнику, не дав даже спустить его на землю, старуха мать закричала так, что вопль ее, казалось, поднялся к самым звездам. Все молчали кругом, и никто не осмеливался подойти к ней. Вышедший из своей юрты Танирберген тоже застыл в нерешительности, и чапан, накинутый наспех, соскользнул с его плеча. Вот тогда и крикнула ему старуха, перестав на минуту рыдать: «Ты лишил меня единственного сына, на старости лет отнял мою надежду, осиротил меня... Да пошлет тебе бог погибель!»

Прежде мурза любил степного жаворонка. Бывало, когда едешь один верхом по необозримой степи, один только жаворонок и ублажает душу путника. Как восторгался он этой голосистой крохотной, величиной всего лишь с детский кулачок, птичкой, упоенно заливавшейся в вышине от зари до заката, наполняя глухую степь бойкой

трелью, которая ни на мгновенье не давала скучать одинокому путнику.

Вот и теперь трепетал над ним, то взмывая, то опускаясь, жаворонок, но мурза больше не слышал его неугомонного трезвона. Пот, смешанный со слезами, крупными каплями струился у него по подбородку и, как дробинками, пробивал серую горячую пыль. Постепенно овладев собой, уняв слезы, он некоторое время еще сидел, опираясь на руки, потом с усилием поднялся и еле удержался на ногах.

И пока он уже равнодушно тащился к аулу, его обгоняли, обтекали, как какой-нибудь пень, пешие и конные солдаты, бесконечно наплывавшие сзади. Возбужденные, словно хищник, наметивший себе жертву, волна за волной врывались они, понукая коней, в безмятежный богатый аул на широкой равнине за черным холмом. Крик и плач стояли над аулом. Между белыми юртами с визгом метались обезумевшие от страха девушки. Хлопали винтовочные выстрелы, отчаянно скуля и волоча окровавленные зады, расползались по юртам собаки. Вне себя от ужаса, вопили бабы, зовя потерявшихся, только что игравших возле юрт детей. И равнодушно смотрел на все это мурза...

Когда он пришел в аул, солдаты уже волокли из юрт бокастые бурдюки с айраном и кумысом. Особенно многолюдно и шумно было возле колодца посередине аула. Издалека слышны были разноголосые крики и брань солдат, звон и лязг ведер и бачков, ржанье лошадей. Там уже находился и наводил порядок генерал Чернов. Туда же, волоча по земле подол чапана, сползавшего с плеча, пришел Танирберген. Никого и ничего не замечая вокруг, он бросился к ведру с водой, припал к нему, и кадык его задергался. Он успел сделать всего несколько глотков, как генерал Чернов кивнул одному из офицеров. Тот подошел и потянул к себе ведро:

— Хватит, хватит, мурза... Вредно!

Но Танирберген не мог оторваться от воды, и офицеру пришлось силой вырывать ведро из его рук. После первого же глотка крупный пот выступил на лбу у мурзы, но он не вытирал его и по-прежнему не обращал ни на что внимания, с тупой жадностью уставившись на ведро с водой в руках офицера. Генерал Чернов подошел к нему и некоторое время молча смотрел на него:

— Что, мурза, коня потеряли?

— Не знаю...

— Хороший был конь, редкий. Ну ничего, я уже послал солдат, чтобы гнали сюда всех коней, каких найдут. Выберете себе лучшего.

Танирберген промолчал.

— А аул нам встретился очень богатый, мурза. Нам повезло. Вон и старейшины стоят, нужно поговорить с ними и объяснить, кто мы...

Танирберген посмотрел туда, куда показывал генерал, и увидел возле большой белой юрты застывшую в страхе толпу. Люди были

перепуганы насмерть, от былой их гордости перед своими соплеменниками не осталось и следа. Танирберген отвернулся и презрительно скривился. Генерал заметил его гримасу.

— Что, знакомые?

— Да.

— Тем лучше... Кто же они такие?

— Мои родственники.

— Что?

— Это мой аул...

— Н-да... Вот как?— сказал генерал неопределенно, стараясь не смотреть больше в глаза мурзы.

Постояв несколько мгновений в нерешительности, он пожал плечами и молча отошел со своей свитой к колодцу. Едва отошел генерал, как к Танирбергену, переговариваясь шепотом, всей гурьбой потянулись его односельчане. Среди них были и байбише и старший брат — софы... Подойдя поближе, смуглая байбише вскрикнула, бросилась к мурзе, обняла его и заголосила, уже не сдерживаясь:

— Что с нами теперь бу-удет? Ойбай!..

— Эй, сноха, успокойся, будет тебе...— подал голос Алдаберген-софы и покашлял, глядя с изумлением на мурзу.

— Ойбай-ау, ата-еке-ау!..— не унималась байбише.— Как же мне быть спокойной-то...

— Ну хватит, хватит... Не вой! Эй, Танирберген, это ты, что ли, привел их сюда?

— Я...

— Ай-яй-яй! Ну и наделал же ты делов, ничего не скажешь... Вон гляди теперь, любуйся, как твои волосатые гяуры, как бешеные волки, грабят наш аул. Гляди!

Танирберген молчал, смотря себе под ноги.

— Уведи их отсюда. Не дай им грабить наш аул! Слышишь?

Тут и смуглая байбише, и близкие и дальние родственники, окружившие мурзу, заныли, загалдели, поддакивая старому софы.

— Таниржан!.. Милый, душа моя, внемли мольбе нашей...

— Так, так, родной, уведи их. Не накликай беду на нашу голову!

— Ведь ты не то, что мы, тебя они послушают...

— Они же нас разграбят вконец!

— Не отдавай нас на поругание...

— Если ты их не уймешь, они, как пожар, всех нас сметут...

Танирберген с трудом держался на ногах. Голоса родственников тупо били ему в голову. От жажды, ему казалось, кровь запеклась в жилах. Но он не просил ни воды, ни кумысу. Чем сильнее мучилась его плоть, тем большее удовлетворение испытывала душа. «Хорошо, хорошо! Так мне и надо!»— говорил он сам себе.

— Эй ты!— гаркнул старый софы.— Ты что, оглох? Не слышишь, что тебе говорят? Ты уведешь гяуров или нет? Почему ты привел этих сучьих выродков в наш аул? Ты над кем издеваешься, а?

Танирберген все не поднимал головы, будто о чем-то все время

размышлял. Лицо его ничего не выражало. Аксакалы в страхе и недоумении переглянулись. В толпе пополз шепот:

— Господи, да что же это с ним случилось?

— Может, свихнулся?

— Неспроста это... неспроста...

Богомольные старики начали поспешно бормотать молитву. Байбише, не отрываясь, глядела на мужа, и чем больше она в него вглядывалась, тем страшнее ей становилось.

Один Алдаберген-софы ничего не замечал. Самолюбие его вечно страдало от постоянного равнодушия к нему младшего брата. Молодой мурза никогда не принимал его всерьез. Старый софы решил, что и теперь, в эту страшную минуту, младший брат нарочно не отвечает ему, срамя его перед аульчанами.

— Ах так?!— гневно закричал софы и вдруг простер волосатые руки к заходящему багровому солнцу.

Догадавшись, что старый софы хочет проклясть брата в предзакатный час, когда любые желания доходят до всевышнего, все пришли в ужас.

— Ата-еке-ау, что это вы надумали?— завопила байбише, хватая Алдабергена за руки.— Разве недостаточно нас бог покарал?!

Оттолкнув невестку, старый софы опять решительно воздел руки.

— О господи, в этот предвечерний час, в час рока и возмездия, пошли ему...

Танирберген вдруг очнулся, вздрогнул и крикнул изо всех сил:

— Убирайтесь! Убирайтесь все с моих глаз!

Безумно крича что-то, он стал бросаться на перепуганных родственников. Таким мурзу еще никто не видал. Теперь и старый софы понял, что дело неладно, и испугался не на шутку. Не смея больше рта раскрыть, он попятился от брата. Боязливо оглядываясь, родственники пустились кто куда.

А над аулом стоял гул. Солдаты хватали все, что попадало под руку, не задумываясь, пригодится им это потом или нет. Девушки и молодые женщины, не успевшие спрятаться, мелькая подолами платьев, бегали от юрты к юрте. Совсем молоденькая девушка, за которой погнался солдат, не помня себя от ужаса, бросилась в степь за аулом. Растопырив руки, солдат бежал за ней, как за курицей. За солдатом мчалась мать. Жаулык слетел у нее с головы. Простоволосая, она вопила:

— Да есть ли мужчины в этом ауле?! Заступитесь, заступитесь, ойбай!

Танирберген пошатнулся. Перед глазами у него шли черные круги. Что-то сделалось у него со слухом — сплошной невнятный гул накатывался на него волнами. Потом ему показалось, что кто-то теребит его за рукав. Танирберген тупо повел глазами. Перед ним стоял молоденький джигит, почти мальчик, и говорил что-то.

— Что?— крикнул Танирберген.

— Агатай-ай... такой позор!..

— А? Да, да... позор...
— Там младшую жену софы-ага...
— Софы?
— Да! Жену софы-ага...
— Ну?
— Белоликую токал... там один солдат...

Больше Танирберген ничего не помнил. Он очнулся на другой день после обеда с таким чувством, будто у него переломаны все кости. Не в силах оторвать тяжелой головы от подушки, он долго лежал в прохладной затемненной юрте, то открывая, то закрывая глаза. Он силился вспомнить, что случилось вчера, но только какие-то отдельные бессвязные обрывки остались в памяти. Он помнил только, что побежал к той юрте, на которую указал ему юноша. Кто-то стоял у входа в юрту — русский или кто-то из своих? — и пытался было остановить его, но мурза ворвался в юрту. Опущены были и тундук, и кошма по низу юрты. После ярко-красных лучей заходящего солнца сумрак в юрте казался особенно плотным. Переступив порог, Танирберген сначала не мог ничего разглядеть. Только слышно было, как в глубине юрты, там, где мрак был особенно густ, раздавалось учащенное дыхание. Потом молодая токал, кажется, заметила, что кто-то вошел, потому что сказала вдруг прерывистым голосом:

— Эй, эй, бесстыжий... Что он делает, а? А ну вставай!

В глубине юрты, где были сложены тюки, одеяла и постель и где старый софы совершал обычно свои моленья, что-то темнело, возилось, покряхтывало. Мурза вдруг сообразил, что он прибежал сюда без ничего, с пустыми руками, и, освоившись с темнотой, он огляделся и схватил что-то тяжелое. Он даже не понял, что взял в руку, а только обрадовался, что увесистое, и пошел в глубину юрты. Солдат ничего не слышал, между тюками он и сам был как тюк, только судорожно дергающийся зад его — единственное место на его теле, которого не коснулось солнце,— белел в сумраке. Мурзе представилось вдруг, что это рыжий офицер, который душил его. Размахнувшись, он ударил солдата по затылку. Молодая токал взвизгнула. Темная струйка крови залила ей лицо и грудь, и, брезгливо отвернув голову, она выгнулась, сваливая с себя тяжелое, обмякшее тело. Узнав Танирбергена, она быстро подобралась, прикрыла подолом белые ляжки и хихикнула:

— Здравствуй, деверек!

— Прочь, шлюха! — прохрипел мурза.

Молодая токал живо выскочила из юрты, а мурза сел на пол и опять уже ничего не помнил.

Теперь он лежал и старался вспомнить, как попал к себе домой. Видно, байбише и родственники привели его или принесли, раздели и уложили в постель. На широкой никелированной кровати лежать было спокойно. Просторная байская юрта была, как и прежде, хорошо обставлена и украшена: вокруг на стенках висели дорогие

ковры, на полу расстелены текеметы с узорами и нашивками. Тундук был опущен, и жара на улице совсем не чувствовалась. Кошму снизу чуть приподняли с теневой стороны, и мурза видел, как легкий ветерок теребил бледную невзрачную травку, росшую вдоль стенки. Из-за стенки с улицы был слышен робкий разговор. Мурза догадался, что возле его юрты собрались люди и ждут, когда он очнется. Говорили негромко, боясь обеспокоить его. Кто-то — мурза не узнал кто — говорил азартнее других, то и дело смачно сплевывая, видно, заложил за губу насыбай.

— Ну и Кален, а? Чтоб он в гробу шакалом выл!— доносился возбужденный голос.— Как только мы ему поверили, этому псу?

Остальные, тяжело вздыхая, поддакивали ему.

— Ума не приложу... Видно, бес попутал, а?

— Сидеть бы и сидеть нам на месте, в Карала-Копе...

— Н-да, что теперь делать?

— Вот мурза придет в себя, скажет...

— Что ж, значит, видно, судьба наша такая. Пойдем-ка к Таниржану, может, проснулся...

За юртой начали подниматься и отряхиваться. Танирберген нахмурился и повернулся лицом к стене. Тихо открылась едва скрипнувшая дверь, и в юрту вошли на цыпочках, осторожно покашливая, родные и близкие. На бледном, изнуренном лице Танирбергена появилось всегдашнее неприступно-холодное выражение. Старый софы вместе со смуглой байбише, как самые близкие, выдвинулись вперед и подошли к изголовью высокой кровати, на которой лежал мурза.

— Таниржан... твой старший брат к тебе пришел,— нерешительно сказала байбише.

Алдаберген-софы начал крякать и кхекать, прочищая горло. Сегодня он присмирел против вчерашнего. Густомясое лицо его, заросшее сивой щетиной, осунулось за одну ночь.

— Таниржан, дорогой, подними голову...— робко начал старый софы.— Твои сандаты, слава аллаху, собираются в путь, коней седлают. Отпросись у них, если можно... Мы им вместо тебя другого проводника подыщем.

— Мы уже говорили через толмача с твоим жанаралом,— бойко подхватила байбише.— Он не возражает. Пускай, говорит, если хочет, остается.

Танирберген не отвечал. Он лежал, по-прежнему отвернувшись к стенке. Старый софы стоял, переминаясь с ноги на ногу, и ждал. Потом, чувствуя, что брат его не намерен отвечать ему, начал смущенно озираться вокруг. Родственники, набившиеся в юрту, растерянно переглядывались. В это время на улице послышалось оживление — к юрте подъезжали верховые. Собаки, еще вчера перепуганные насмерть, не осмеливались даже лаять, поскуливая, жались к юртам. Рыжая гончая, любимая сучка Танирбергена, зажав меж ног хвост, ворвалась в юрту, заметалась между гостями, а когда в юрту, бренча оружием, вошел солдат, забилась под кровать.

— Ну как, мурза, едешь или нет? Если едешь, одевайся, сейчас выступаем,— сказал небрежно солдат и тотчас вышел вон.

Мурза с усилием поднялся с постели. Не глядя на растерявшихся родственников, он молча стал натягивать на себя новую одежду, заранее приготовленную байбише. Потом умылся и напился кумысу. И, по-прежнему ни на кого не глядя, снял с гвоздя камчу с таволжьей ручкой, глухо буркнул:

— Оставайтесь с миром!— и вышел.

У входа его ждал саврасый конь с черной гривой и пышным черным хвостом. Мурза вскочил в седло и направил коня в широкий поток всадников, уже выступавших из аула. Из юрты выбежала байбише, догнала мурзу и схватилась за стремя. Ей хотелось по-вдовьи завыть во весь голос, чтобы все видели, какая она несчастная, но, боясь гнева мужа, она сдерживала злые слезы и только повторяла, задыхаясь от бега:

— Мурза... Мурза-ау...

Наступая на подол длинного своего платья, тяжело дыша, байбише потела, и на нее было неприятно смотреть. Ударив каблуками черногривого саврасого, Танирберген пустил его рысью, и петличка стремени вырвалась из рук байбише. Она пробежала по инерции еще несколько шагов и упала. Позади поднялся многоголосый вой, будто провожали мурзу в последний путь. Пустив саврасого галопом, мурза съехал по склону бурого холма и тогда только оглянулся назад. Богатый аул, привольно раскинувшийся на широкой равнине Ак-Чили, был теперь опустошен и печален, будто после налетевшей черной степной бури. До мурзы долго еще доносились вопли неутешных баб. И не было вокруг аула ни тучных отар овец, ни конских табунов... Куда ни кинуть взгляд, всюду, по всей равнине медленно бродили или стояли изнуренные, тощие, с подрезанными хвостами клячи. Все они еле держались на ногах, не в силах даже дотронуться до травы.

К обеду стало припекать. Дымчатые тени, с утра прыгавшие с кочки на кочку далеко по степи, постепенно стали укорачиваться, чернеть и наконец, как бы испугавшись застрявшего в зените солнца, убрались под брюха коней. Шальной ветер знойного лета крепчал, посвистывал в сухих стеблях. Он подхватывал поднятую копытами коней бурую пыль, как джинн, взвивался вверх и вдруг набрасывался на людей, обжигая лица своим огненным дыханием. Танирбергену казалось тогда, что к щекам его прикладывают раскаленное железо, и он старался сесть в седле боком и отворачивал лицо.

Кроме медленно едущих и бредущих солдат, во всей степи, куда ни погляди, не было видно ни единого живого существа. Птицы и звери попрятались, спасаясь от страшной жары. За весь путь от

Ак-Чили мурза только однажды увидел жаворонка, очумевшего от жажды. Обессилевшая крохотная пташка притаилась под пучком ковыля и, раскрыв маленький клювик, завела глаза. Услышав приближающегося всадника, жаворонок открыл глаза, но не взлетел, а только отполз немного, прижимаясь к земле брюхом.

Танирберген обвязал рот белым ситцевым платком. Далеко-далеко впереди из-за голубеющей на горизонте дымки марева проступили дрожащие очертания гор. Горы эти стояли одиноко среди безграничной плоской равнины, сиротливо возвышаясь отдельными своими хребтами. Вон Боташ, вон Бел-Аран и Бес-Шокы... А вон тот, поменьше, смутно выступающий из мглистых миражей, Жетым-Кара — одиночка-сирота. Извечная земля предков! Все эти вершины и равнины — немые свидетели бесследно исчезнувших за многие-многие века жизней и надежд...

Горы Бес-Шокы, Боташ, Бел-Аран
Окутаны — глянь! — синей мглой.
Вон степи мои — Ак-баур и Керей,
О край мой любимый, родной.

Защемило сердце мурзы. Задыхаясь от жары и не в силах глубоко вздохнуть, едва не припадая грудью к луке седла, он уперся в холку коня и свесил голову. Он знал теперь, что все пропало — пропала вера, пропали все близкие и родные и он сам тоже пропал! Пропадет, если уже не пропал, и его младший брат Жасанжан. И ничего ему уже не было жалко в этом утратившем свой смысл существовании — ни себя, ни братьев, ни так усердно приобретаемого всю жизнь богатства. Ему было только жалко до боли сердца вот эту землю, родной край, проклятый край, молчаливые горы и равнины, с которыми связана была вся его жизнь. И еще мельком подумалось, что у младшего брата его Жасанжана будет, пожалуй, еще более печальная судьба, нежели у него самого.

Почувствовав внезапные слезы на глазах, мурза помотал головой и утерся рукавом. Эта дорога кого угодно вымотает, думал он. Два дня прошло с тех пор, как они выехали из Ак-Чили, а все устали так, будто и не было отдыха в богатом байском ауле. Про лошадей и говорить нечего — сытые, застоявшиеся кони из байских табунов, на которых не ездили всю зиму и лето тоже, сразу стали выдыхаться, исходя тяжелым, жирным потом.

До гор, которые издали казались совсем близкими, добирались долго. Только вечером, уже перед заходом солнца, головная часть армии достигла подножия Бел-Арана. Генерал Чернов со свитой ехал на выстрел впереди остальных. Почти стремя в стремя поспевал за ним и Танирберген. Он был так хмур и молчалив всю дорогу, что даже со своим верным слугой, косоглазым юрким джигитом, который догнал его уже после выезда из аула, он не обмолвился ни единым словом. Когда свита генерала с громким топотом выскочила рысью на пригорок Бел-Арана, с левой стороны ей открылся, свер-

кая на солнце, широкий простор моря. При виде воды измученные жаждой кони начали ржать и нетерпеливо грызть удила. Потянув за повод, мурза сразу же повернул коня в сторону Ак-баура.

— Экая красота!— вырвалось у генерала Чернова.

Любуясь, он долго смотрел сначала на крутобокие склоны Бел-Арана, потом на переливавшееся под солнцем синее море, потом на уходящие в бесконечность пестрые пески Ак-баура и повернулся наконец к Танирбергену:

— Мурза, есть ли здесь пресная вода?

— Есть.

— Тогда здесь и остановимся на ночлег. Кстати, а есть ли поблизости аулы?

Танирберген смутился. И только когда генерал еще раз спросил об аулах и пристально посмотрел на Танирбергена, он молча кивнул и, ударив пятками коня, поехал вперед. Через некоторое время, пробившись сквозь толпу верховых, его догнал подполковник Федоров:

— Что, мурза, знакомые места?

— Знакомые...

— А что за местность?

— Вон те пески под горой — Ак-баур.

— Как? Акба...

— А вон тот черный перевал — Бел-Аран.

— Биль... Все равно не запомню. А места эти, мне кажется, я видел.

— Здесь когда-то ваш отец промышлял.

Танирберген незаметно оглядел Федорова. Под ним был теперь длинный серый конь, а его прежний, в яблоках, уже второй день шел в поводу. Этот быстроногий скакун, участвовавший во многих байгах, принадлежал раньше бедному охотнику, живущему в одинокой юрте у подножия горы Тебренбес, недалеко от станции Саксаульской. Когда Федоров отвязывал стоявшего на привязи скакуна и садился на него, женщины и дети, выбежавшие из юрты, вопили во весь голос. И только хозяин-охотник, крупный сутуловатый мужчина средних лет, молчал, сжав побелевшие пальцы. За день до этого он гонялся за сайгаками на равнине за горой, загнал коня в мыло и на выпас не отвел, а продержал всю ночь на привязи. Бедная семья все лето перебивалась одним молоком, сладкое сайгачье мясо было в диковинку, и потому, когда охотник добыл-таки сайгака, женщины наварили целый котел, ужинать все сели поздно, а спать легли уже под утро. Когда в предутренних сумерках появились солдаты, все в юрте спали безмятежным сном. Разбудило их тревожное ржанье скакуна. Услышав конский топот, хозяин выскочил наружу в одном исподнем, но было уже поздно — Федоров подъехал к скакуну раньше. Иначе в тех краях никто бы не угнался за Тарланом, разве что птица... И вот с самого Ак-Чили Федоров вел быст-

роногого скакуна в поводу, приберегая на крайний случай. Знал подполковник: на таком коне от самой смерти уйдешь.

Исподтишка наблюдая за Федоровым, Танирберген заметил, как побледнело у того лицо, когда он узнал край, где убили его отца. Он стал высокомерен, как и тогда, когда впервые, еще молодым офицером, приезжал сюда на торги. Должно быть, вспомнились ему несколько белых домишек да огромный, как караван-сарай, сумрачный лабаз на берегу моря. В своих письмах к сыну, всегда коротких и похожих друг на друга, будто он их одно с другого списывал, отец с нескрываемой гордостью писал каждый раз: «Слава господу, дела мои идут хорошо. Азиаты меня боятся. Промысел расширяется, и состояние наше, слава богу, растет».

Хваленое состояние Федоров увидел потом собственными глазами. Что же касается того, боялись отца азиаты или нет, Федорову было безразлично. Смерть равнодушна... После смерти все теряет смысл. Но все-таки ему больно было, что отца, как прокаженного, зарыли на рыжем холме в стороне от аула. Правда, поставили над ним деревянный крест, но крест этот скоро повалили пасущиеся за аулом верблюды. Сильный ветер, гулявший по открытой степи, развеял могилу, а теперь уж, наверное, и с землей ее сровнял, так что и следа не найдешь...

Конь под Федоровым испуганно всхрапнул и попятился назад. Задумавшийся Федоров быстро подобрал выпавший из рук повод, выпрямился, взглянул в ту сторону, куда опасливо косился конь. Перед ним стояло заброшенное зимовье. Вместо двери и окон зияли черные провалы.

— Тьфу, дьявольщина!— сам не зная почему, разозлился вдруг Федоров и поискал взглядом мурзу.

Танирберген, оказывается, уехал вперед. Группа всадников остановила его. Издалека было видно, как на мурзу замахивались камчами. Федоров шибкой рысью погнал туда коня.

— Вот, ваше благородие,— закричал какой-то казак, увидев подъехавшего Федорова,— опять обман! Опять, иуда, не туды завел, мать его... Опять воды нету!

— Где колодец?— приходя в бешенство, крикнул Федоров.

Танирберген с тупым упрямством молчал и не глядел ни на кого. Федоров подумал, что именно такие азиаты и убили его отца.

— Сейчас он у меня заговорит, стервец!— стекленея глазами, сказал он и расстегнул кобуру нагана. В эту минуту откуда-то сзади к нему протиснулся косоглазый джигит — слуга Танирбергена.

— Таксыр... таксыр!

Все замолчали и сразу обернулись к нему.

— Таксыр, мурза не обманывает вас! Нет, нет... Это зимовка нашего аула. Здесь было десять колодцев! Воды много-много... Все пили. Люди, и скотина, и путники...

— Врешь, подлец! Твой мурза с самого Аральска дурака валяет, обманывает нас.

— Нет, нет, таксыр... Он не валяй дурака, клянусь аллахом! Десять колодцев, бог свидетель!

— Ишь, холуй косоглазый! Куда же делись эти твои колодцы?

— Их рыбаки закопали...

— Рыбаки?

— Верно, таксыр. Это они нарочно — узнали, что сюда идет войско, и колодцы закопали... Они и вашего отца убили! Они всем нам вредили. Они тут рядом живут.

Танирберген, не вмешиваясь в разговор, стоял в стороне. Федоров, не глядя на мурзу, застегнул кобуру и ударил коня. Столпившиеся вокруг казаки, гикнув, понеслись за ним крупной рысью. Скоро они выскочили на небольшой бурый холм позади рыбачьего аула. Множество землянок рассыпалось у них перед глазами на круче, обрывавшейся в море. Ни души не было в ауле, а в море, уже почти на горизонте, тесной кучкой уходили вдаль лодки с поднятыми парусами.

В землянках было голо. Рыбаки весь свой немудреный скарб забрали с собой.

— Поджечь!— приказал Федоров.

Солдаты оживленно кинулись к опустевшим землянкам. Сухие сучья и разный хлам, сложенные у дверей домов, вспыхнули как порох. С громким треском запылали двери, рамы, черные столбы дыма поднялись в безоблачное небо, и одна за другой начали обрушиваться крыши землянок.

На ночлег устроились на берегу. Изнуренные жаждой кони, еще разгоряченные, потные, бросились и припали иссохшими губами к соленой морской воде. Некоторые пустились вплавь и пили там, где вода была не так взбаламучена. Солдаты, поспешно стянув с себя грязную, сопревшую одежду, с наслаждением окунались в прозрачную до самого песчаного дна воду.

На другой день все проснулись поздно. Танирберген прилег было на потник, не раздеваясь, да так и уснул и проспал всю ночь, овеваемый прохладным ветерком с моря. Прибрежная роса быстро высохла. Поднялся ветер, море потемнело, волны беспорядочной чередой, налезая друг на друга, пошли на берег. Небо со стороны моря покрылось черными взлохмаченными тучами.

Едва проснувшись, солдаты побежали ловить своих коней. Генерал Чернов, проснувшись раньше всех, давно уже сидел на белом аргамаке и внимательно осматривал окрестности. Подобрав развевавшиеся по ветру полы чапана, Танирберген пошел к своему коню. Черногривый жеребец ушел недалеко. Он стоял, отвернувшись от ветра, среди сбившихся в круг лошадей невдалеке от того места, где мурза стреножил его вчера.

Пока головные отряды не спеша выбирались в открытую степь, приморский ветер разошелся вовсю. Волны покрылись белой пеной, закачался и заныл под ветром редкий прибрежный камыш, поднялась пыль.Танирберген решил, что пойдет дождь, но ошибся. Плот-

ные тучи ветер будто распорол по швам и на просторном небе там и сям стали показываться светлые окна. Скоро по небу неслись уже рваные кучи облаков а под их брюхом мчались по земле большими пятнами, догоняя друг друга, легкие тени. Все чаще из-за этих кучеобразных облаков вырывалось солнце, и свет его был так ярок и жгуч, что мурза невольно начинал погонять коня, стараясь попасть поскорее в несущуюся впереди легкую тень.

Но скоро все-таки робко побрызгал дождичек. Редкие крупные капли слегка прибили рыхлую, мягкую пыль, испестрив ее поверхность глубокими темными оспинками. После обеда утих и ветер. Влага, которую успел все-таки принести дождик, мигом испарилась, и сразу же стало душно, будто в доме, в котором развесили сушить мокрое белье. Мурза скоро потерял из виду своего косоглазого слугу. Видно, конь у бедняги выдохся и отстал. Надеясь скорее добраться до воды, до селений, где бы можно было отдохнуть, генерал Чернов решил не останавливаться и не пережидать жару.

Бел-Аран остался далеко позади, и остатки армии все глубже и глубже уходили в одинаково безлюдную зимой и летом, глухую степь. Скоро началась красная каменистая пустыня без единого кустика, без единой, даже чахлой травинки. Эти места Танирберген знал уже плохо. Единственно, что было ему известно: до самой Каракалпакии, до далекого знаменитого Пятиградья, теперь им не встретится ни одна живая душа. По этой пустыне рыскали когда-то басмачи свирепого хана Жонеута, отсюда они совершали опустошительные набеги на казахские аулы, по этим местам увозили они награбленное добро, угоняли скот и женщин. Одни туркмены знали, где находятся редкие колодцы в этой пустыне. От немногих отважных караванщиков, ездивших за хлебом в Кунград и Чимбай, Танирберген слышал когда-то, что среди скал, нависших над морем, встречаются родники, из которых бьет прозрачная ледяная вода. Но сколько бы он теперь ни вглядывался в скалы, он не видел там ни малейших признаков зелени. По всему плато не было видно ни единого кустика, который бросал бы хоть чахлую тень. От соленой морской воды лошадей пронесло, и вид у них был такой измученный, что впору было бросить их и идти пешком.

Все западное побережье Аральского моря обрывисто и круто. Глянешь со скал вниз, голова кружится. И чем дальше войска подвигались вперед, тем все безнадежней казалось найти хоть какую-нибудь тропу к морю. А впереди их поджидали трудные перевалы через Каска-Жол, Кара-Тамак и Коян-Кулак. Танирберген понимал, что немногим суждено выдержать эту дорогу.

Похожий на живые мощи, генерал Чернов крепился из последних сил. По-прежнему прямой на своем аргамаке, он так же, как и прежде, держался на расстоянии выстрела впереди медленно двигающейся армии. Лицо его, опаленное зноем, окаменело, брови упрямо сошлись на переносице. Со вчерашнего дня обессиленные солдаты отставали и терялись в степи уже десятками, но генерал ни

на что не обращал внимания. Все его мысли были об одном: хотя бы с остатками армии как можно скорее добраться до границы казахской земли и Каракалпакии. Если генерал Нокс сдержит свое слово, там их с продовольствием и водой должны ждать войска Фелишева и Сафара.

О том, что где-то впереди их ждут части союзников, слышал и Танирберген, но не верил этому. Теперь он не верил не только лживому человеческому роду, но и самому богу на небе, и даже священному духу предков. То, что люди любят и жалеют друг друга,— вздор, выдумки. Его такими россказнями уже не проведешь, нет. Он познал жизнь и понял — те, что источают елей о человеколюбии и проповедуют жалость к ближнему, на самом деле есть бессердечные и жестокие люди. Хватая окровавленной рукой свою жертву за глотку, они твердят с мерзкой улыбкой: «Не убий!», «Человек человеку брат»... Они протягивают мед, предварительно всыпав туда яду. Он знает, он и сам был таким, сам драл по три шкуры со слабых. А потом дошла очередь и до него, и вот уже на его глазах растерзали его аул. Точно так же расправились бы они с аулом рыбаков, не уйди те заранее в море. Да что говорить, когда, в какие времена бывало, чтобы кто-то кого-то жалел?

До перевалов Каска-Жол и Кара-Тамак войска добрались, когда докрасна раскаленное солнце уже садилось. Никто не стал выбирать удобного места для ночлега, валились где попало. Расседлав коня, Танирберген подложил под голову седло и стал глядеть на усеянное звездами черное небо, пока не уснул. А проснулся он на заре от топота бегущих куда-то солдат, от криков и беспорядочной стрельбы. Мурза подумал сначала, что на них напали красные, но скоро понял, что какой-то отряд, подкравшись по-воровски, угнал перед рассветом многих лошадей. Как нарочно, угнали самых выносливых и надежных, в том числе и белого аргамака генерала Чернова, сивого в яблоках коня Федорова и черногривого саврасого Танирбергена.

Мурза не сомневался, что и в этом происшествии замешан Кален. Все муки, все горе, которые терпели они в пути от самого Аральска,— все это было делом его банды. Это он запугивал аулы на их пути, это он закапывал колодцы. Это он устроил так, чтобы аул Танирбергена перекочевал в Ак-Чили. И вот наконец он угнал лошадей...

Танирберген не побежал, как другие, за своим жеребцом. Он не отчаивался, не убивался, его даже не возмутил дерзкий набег удачливого врага. Он принял это как обычное, заурядное зло, какое испокон веков причиняют друг другу люди. Если есть сила, почему бы не поизмываться брату над братом, родичу над родичем, мусульманину над кафыром или кафыру над мусульманином?

Генерал Чернов, казалось, тоже остался равнодушен к случившемуся. Ему подвели какую-то клячу, он осмотрел ее и не сел. Взяв в руки палку, попробовав, на какой конец ее удобнее опираться, он

зашагал по пустыне, увлекая за собой своих умирающих солдат. Танирберген равнодушно взглянул на свое отделанное серебром седло и тоже пошел, увлекаемый потоком бессмысленно бредущих вперед солдат. «Пеший или конный, теперь все равно!»— безразлично думал он.

Только к вечеру преодолели солдаты перевалы Каска-Жол и Кара-Тамак. Многие так и остались по ту сторону перевалов, весь путь был усеян трупами людей и лошадей. Танирберген еле волочил ноги. Высокие каблуки этих проклятых сапог, за которые он щедро вознаградил когда-то сапожника, мешали теперь ему идти. Серый чапан из верблюжьей шерсти, все время сползавший с плеч, он давно уже сбросил, оставшись в одном бешмете. Он брел, думая об одном только, как бы не упасть. Вспомнив про генерала Чернова, он по привычке посмотрел вперед. Но и впереди теперь брели одни серые призраки, нельзя было уже разобрать, кто из них офицер и кто солдат. Оружие все давно бросили, одежду тоже. Многие стянули с себя и белье и брели нагишом. Сквозь выгоревшие лохматые волосы на грязных заросших лицах безумно горели запавшие глаза.

«О господи!»— хотел сказать Танирберген и не услышал своего голоса. Надсадный хрип вырвался из его пересохшего горла. Он зашатался и, чтобы обрести равновесие, остановился, расставив ноги. Взглянув вверх, он увидел огромную стаю стервятников, которые слетелись сюда со всей пустыни. А над стервятниками, над всем миром возвышалось чистое небо. Танирберген стоял, покачиваясь, и бесмысленно смотрел на высокие белесые облачка — остатки вчерашних туч. Потом лицо его дрогнуло и прояснилось. Он увидел в этом небе, он понял что-то совсем новое для себя.

Зачем судить мелких, завистливых людишек на земле? Как же им не грызться и не пожирать друг друга? Ты взгляни только на это небо! Ведь и там нет покоя. Тучи и ветер с сотворения мира бьются в бесконечной схватке. На небе всходит солнце. На небе всходит луна. День и ночь в вечном борении сменяют друг друга. И когда окончен день и заходит уморенное солнце, скажи, какой человек не предается унынию и печали, кому не кажется, что вместе с солнцем погасла и его надежда? Но где-то в глубине души всякий знает, что с закатом солнца жизнь не кончается, что вслед за мраком наступит свет и что радость и горе всю жизнь неразлучно идут бок о бок, что беспокойная жизнь на земле будет повторяться вечно. Веришь ли ты в это? Повторится ли она для тебя? Верят ли в нее вот эти отверженные? Не знаю, не знаю, вон те стервятники в небе, пожалуй, верят.

Мурза пошатнулся, и сознание его помутилось на минуту. Черный мрак вокруг озарился вдруг ярким огнем. «Да это пожар!»— подумал мурза. В лицо ему ударило горячее дыхание огня. Что-то темное мелькало в красном зареве. Это темное казалось почему-то Жасанжаном, бегущим навстречу пожару. Танирберген долго с не-

доумением следил за братом и вдруг засмеялся. О глупец! Несчастный глупец... Разве человек в здравом уме побежит навстречу всепожирающему пожару?

Жасанжан исчез в бушующем пламени, и сознание вновь вернулось к мурзе. По-прежнему висели над головой черные стервятники. И по-прежнему в недосягаемой высоте, до которой стервятникам было так же далеко, как и людям, сияло небо. Нет, что ни говори, а небо, куполом раскинувшееся над земной твердью, не столь жестоко, как эта старая скряга земля, жаждущая все новых человеческих слез и крови. Нет, небо добрее и справедливее! «Полно, так ли это?— спросил себя мурза.— Ко всем ли оно одинаково справедливо? Разве справедливо то, что сделало оно со мной и с этими несчастными?»

Как бы спрашивая ответа, Танирберген опять посмотрел на небо. Оно все так же сияло, чистое и далекое. А с запада нестерпимо били в глаза полыхающие снопы заходящего солнца. Танирберген задохнулся. Не может быть, чтобы даже небо было несправедливо. «Оно справедливо, справедливо, справедливо!»— хотелось ему кричать, возвещая всему лживому миру только что открытую им истину.

Но у него уже не было голоса.

КРАТКИЙ ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

Ага (агай) — старший брат; почтительное обращение к старшему по возрасту.

Адал-бакан — узорчатый столб посередине юрты.

Аже — бабушка.

Азреил (азраил) — архангел, вестник смерти.

Айналаин-ау — ласковое обращение к младшему.

Алаша — домотканый ковер грубой работы; полог, которым завешивают дверь.

Алхисса — торжественная песнь.

Альчи — игра в бабки.

Аман — приветствие.

Апа — дословно: старшая сестра; почтительное обращение к матери, а также к старшей по возрасту.

Апыр-ай — возглас удивления, сомнения.

Апыр-ау — то же по отношению к прошлому.

Аргамак — старинное название породистых восточных лошадей.

Аруах — дух.

Ассалаумалейкум — приветствие: «Мир вам»; алейкум-ассалаум — ответ на приветствие: «И вам мир».

Астафыралла — возглас, выражающий испуг, негодование.

Астыкчи — караванщики.

Асыки — бабки.

Атан — верблюд.

Аткаминеры — старейшины рода, правящая родовая верхушка; буквально: «севшие верхом на коней».

Аттан — призыв к походу.

Байбише — старшая жена.

Байга — скачки на приз; приз.

Бай-еке (байке) — ласкательно-почтительное обращение к богатому, знатному.

Барекельде — возглас утверждения, согласия.

Барымта — угон скота.

Баурсаки — кусочки пресного теста, изжаренные в кипящем жире.

Белбеусок — народная игра молодежи; буквально: «бей ремнем».

Бесбармак — национальное блюдо: накрошенная баранина, перемешанная с луком и лапшой и политая бульоном; буквально: «пять пальцев».

Бесин намаз — вечерняя молитва.

Бешмет — одежда, которую носят поверх рубахи; род пиджака, жилета.

Бий — судья; выборный родовой судья.

Болыс — волостной.

Болыс-еке — почтительное обращение к волостному.
Боялыш — степное растение, кустарник, употреблявшийся для топки.
Буйда — поводок верблюда.
Дарига-ай — возглас, выражающий горечь, досаду, сожаление.
Джайляу — летнее пастбище.
Джингил — тамариск.
Джут — массовый падеж скота от бескормицы в ненастную зиму; гололед.
Доир — толстый короткий бич.
Еркем — ласкательное обращение к золовке: милая.
Жаманкала — буквально: дрянной город. Раньше степняки так называли Орск.
Жарамазан — в мусульманской религии обычай просить подаяние в день религиозного праздника.
Жаулык — головной убор замужней женщины.
Женге (дженге) — невестки, жены старших братьев.
Женеше — уменьшительное от «женге».
Жент — еда, приготовленная из сушеного толченого пшена с конским жиром и сахаром.
Жесир — нареченная невеста.
Жуз — деление казахов по родовым признакам на три жуза: младший, средний, старший.
Жырау — певец, сказитель.
Зурият — последний в роду.
Исса (иса) — пророк.
Иркит — перебродившее кислое молоко, простокваша.
Ит-койлек — первая рубашка ребенка.
Итсигек — трава, непригодная в пищу скоту.
Ишан — высокое духовное лицо у мусульман.
Йок — нет.
Казы — конское мясо в кишке.
Калауш — огороженное кошмой место на горбах верблюда, где сидят дети и старухи во время откочевок.
Камчатовая — шапка из шкурки бобра.
Капские горы — Кавказские горы.
Карасакал — мужчина средних лет; буквально: «чернобородый».
Каратаз — буквально: «черная парша».
Кара-тирспай — черная холера.
Карагаш — милая.
Кария — старец.
Кария-ау — почтенный.
Кафыр — неверный.
Кереге — деревянный решетчатый каркас юрты.
Кимешек — головной убор пожилой женщины.
Коже — похлебка из толокна.
Куардак (кырдак) — жаркое.
Кукан — бечевка, на которую нанизывают под жабры рыбу.
Курак — молодой зеленый камыш.
Курбаши — главарь банды.
Курджун — специальный дорожный мешок всадника.
Курт — сухой овечий сыр.
Курук — шест с петлей для ловли лошадей.
Масуек — палочка.
Медресе — средняя мусульманская духовная школа.
Мурундук — палка для поводка, вдеваемая в нос верблюду.
Нагачи — родные по материнской линии.
Намаз — обязательные ежедневные пятикратные молитвы у мусульман.
Нар — одногорбый верблюд; лучшая порода.

Насыбай — тертый нюхательный табак.
Нукеры — буквально: «свора».
Ойбай-ау! — восклицание, выражающее удивление, обиду, недоумение.
Ойпырмай — возглас ужаса, недовольства, сожаления.
Ояз — уездный.
Пай-пай! — возглас одобрения.
Паруардыгар! — О пророк!
Пушпак ишик — шуба из лисьих лап.
Рахмет — спасибо.
Салем — просьба, приказ.
Сарбазы — воины.
Саукеле — нарядный головной убор молодой женщины.
Симир — так казахи называли Сибирь.
Соил — длинная дубинка.
Сорпа — мясной бульон.
Софы — священнослужитель.
Субхан алла! — О боже!
Судырак — болтун.
Суюнши — награда за добрую весть, подарок.
Сыбага — доля.
Такир — голая степь без растительности.
Такия — тюбетейка.
Таксыр — господин.
Тамыр — приятель.
Таниримl — О мой всевышний!
Теке-жаумит — знаменитая туркменская порода лошадей.
Текемет — большая кошма с узорами.
Той — торжественный пир в честь какого-нибудь события, как правило, сопровождаемый музыкой, плясками.
Токал — младшая жена.
Тулпар — крылатый конь.
Тумак — казахский малахай на меху.
Тундук — кусок войлока, которым закрывают верхнее дымовое отверстие юрты.
Тюре — привилегированная каста; человек высокого происхождения, чиновник.
Уа! — возглас обращения.
Улук — высокопоставленный чиновник.
Ураза — пост.
Урлюк — потолочная балка в доме.
Хадис-аят — молитва из Корана.
Хазрет — мусульманский священник, более почетное звание, чем мулла, почтительное обращение к духовному лицу.
Ходжа (от персидского ходже — господин, хозяин) — почетный религиозный титул распространенный в странах ислама; присваивается лицам, якобы ведущим свой род от дочери Магомета.
Чапан — верхняя одежда, халат.
Чекпен — мужской кафтан, стеганый, крытый плотной материей.
Чолпы — металлические украшения на ленточках, вплетенных в косы.
Шаруа — крестьянин-скотовод.
Шашу — монеты, конфеты, разные сласти, которыми, по обычаю, осыпают невесту, желая счастливой жизни.
Шеше — обращение к старой женщине, старуха, мать.
Шонжары — богатые казахи, феодалы.
Шрагм-ай! — О мой светоч!
Шуга — мелкий лед в виде кашеобразной массы, идущий перед ледоставом.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Книга первая

СУМЕРКИ

Часть первая 6
Часть вторая 86

Книга вторая

МЫТАРСТВА

Часть первая 192
Часть вторая 269
Часть третья 283
Часть четвертая 300

Книга третья

КРУШЕНИЕ

Часть первая 388
Часть вторая 492
Часть третья 558

Краткий пояснительный словарь . . . 659

НУРПЕИСОВ АБДИЖАМИЛ КАРИМОВИЧ

КРОВЬ И ПОТ

Трилогия

(перевод с казахского)

Редактор *Р. Арысланова.* Художник *А. Аканаев.*
Худож. редактор *Б. Машрапов.* Техн. редактор *М. Злобин.*
Корректоры *А. Аужанова, Е. Шкловская.*

ИБ 1347

Сдано в набор 08.08.80. Подписано в печать 28.11.80. Формат 60×90[1]/16. Бумага тип. № 1. Литературная ганитура. Высокая печать. Печ. л. 41,0. Уч.-изд. л. 46,96+0,75 п. л. вклеек. Тираж 200 000 экз. (Первый завод 1—60 000 экз.). Заказ № 1022.
Цена 3 руб. 40 коп.

Издательство «Жазушы» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480046, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.
Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480046, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.

